This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG3321
A9
1868
v.1

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

СОЧИНЕНІЯ

М. В. АВДѢЕВА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Изданіе

Ѳ. СТЕЛЛОВСКАГО,

Въ Большой Морской, въ домѣ Лауферта, № 27, въ С. Петербургѣ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1868.

ТИПОГРАФІЯ Ѳ. СТЕЛЛОВСКАГО,

на углу Большой Садовой и Екатерингофскаго проспекта, въ
въ С. Петербургѣ.

Библиотека
Инста[illegible] Ленина
[illegible] Ц.К. Р.К.П. (б.)
990
2[illegible]

СОЧИНЕНІЯ

М. В. АВДѢЕВА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Изданіе

Ѳ. СТЕЛЬКОВСКАГО,

Въ Большой Морской, въ домѣ Лауферта, № 27, въ С. Петербургѣ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1868.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящій романъ былъ напечатанъ отдѣльными повѣстями въ Современникѣ 1849, 1850 и 1851 годовъ. Это раздробленіе имѣло свои неудобства: общая идея романа и развитіе и измѣненіе характеровъ, представляясь по частямъ, не были вполнѣ ясны и не производили цѣльнаго впечатлѣнія. Издавая нынѣ этотъ романъ вполнѣ, я считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ о цѣли, съ которой онъ былъ задуманъ и моемъ взглядѣ на ея исполненіе. Бѣлинскій замѣтилъ, что Онѣгинъ и Печоринъ составляютъ одинъ типъ, и что характеръ Печорина есть тотъ же характеръ Онѣгина, измѣнившійся при послѣдовательномъ развитіи. Это замѣчаніе, по моему мнѣнію весьма справедливое, дало мнѣ мысль прослѣдить дальнѣйшее развитіе типа «героевъ своего времени» имѣвшаго еще и въ нашемъ своихъ представителей. Вотъ цѣль, съ которой я задумалъ Тамарина. Характеръ этотъ, породившій столько разнородныхъ толковъ, требуетъ объясненія. По этому я обращаюсь къ его первообразамъ.

Евгеній Онѣгинъ былъ вѣрный списокъ молодыхъ людей, *героевъ* тогдашняго времени, списокъ сдѣланный рукою геніальнаго художника, каковъ былъ Пушкинъ. Успѣхъ его былъ огроменъ, какъ успѣхъ превосходнаго литературнаго произведенія, но онъ не имѣлъ вліянія на дѣйствительную жизнь— онъ не произвелъ Онѣгиныхъ или подражателей Онѣгина въ обществѣ, да и не могъ этого сдѣлать, потому что Онѣгины были и безъ того, потому что пушкинскій Онѣгинъ былъ не оригиналъ, а только художнически-вѣрный портретъ дѣйствительности. Не таковъ былъ Печоринъ.

Лермонтовъ, въ предисловіи къ своему роману, говоритъ про Печорина: «это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи.» Такъ задумалъ Печорина Лермонтовъ, но, создавая его, онъ увлекся своимъ героемъ и поставилъ его въ какомъ-то поэтическомъ полусвѣтѣ, который, вмѣсто того, чтобы ярко выставить на видъ его пороки, придалъ ему ложную грандіозность. Критика и позднѣйшее здравомыслящее поколѣніе поняли эту ошибку и свели Печорина съ того пьедестала, на который поставилъ его авторъ; но иначе поняло его большинство его современниковъ. Ослѣпленное яркимъ эффектомъ красокъ и искусной драпировкой героя, — это большинство увлеклось имъ и, вмѣсто того, что— бы увидать въ немъ образецъ своихъ недостатковъ, стало рядиться въ него, стало ему подражать. Отъ этого, въ противоположность Онѣгину Пушкина, который былъ портретомъ съ дѣйствительныхъ Онѣгиныхъ, Печоринъ Лермонтова сдѣлался оригиналомъ, который породилъ Печориныхъ въ обществѣ. И не близорукая бездарность составляла (теперь уже можно говорить въ прошедшемъ) этотъ классъ дѣйствительныхъ Печориныхъ. Люди съ умомъ сильнымъ, съ душой жаждущей дѣятельности, но неумѣвшіе найти полезнаго и благороднаго приложенія этой дѣятельности, увлеклись печоринствомъ. Оно было по нихъ; оно успокоивало ихъ неугомонное самолюбіе, давало пищу ихъ безсильной энергіи: оно помогало имъ обманывать самихъ себя. Съ этихъ-то дѣйствительныхъ Печориныхъ — писанъ мой Тамаринъ, типъ замѣчательный и интересный, имѣвшій свое блистательное время, когда и самъ онъ, и другіе вѣрили въ его искренность, и дожившій въ нашихъ глазахъ до полнаго и горькаго разочарованія. Описать то и другое, показать обществу и человѣку, какъ они добродушно обманывались, и показать разоблаченіе этого обмана — вотъ въ чемъ была моя задача; вотъ отъ чего упрекъ въ сходствѣ съ Печоринымъ первымъ повѣстямъ этого романа. Но гораздо менѣе справедливъ другой высказанный мнѣ упрекъ, что я увлекся моимъ героемъ и описывалъ его съ любовью, которой онъ не заслуживаетъ. Нѣтъ, я не увлекся имъ, потому что разоблачилъ его изъ того ложнаго наряда, въ который онъ эффектно драпировался; я показалъ ложь этой драпировки ему самому и тѣмъ, которые простодушно вѣрили ей, но я описывалъ его съ любовью, какъ люблю всѣхъ добрыхъ лицъ моихъ разсказовъ. Я не сатирикъ, который смотритъ на все съ исключительной точки зрѣнія насмѣшки, и не оптимистъ, который видитъ во всемъ одну хорошую сторону: я заблуждаюсь тамъ, гдѣ постановка лица вводитъ въ заблужденіе его окружающихъ и разубѣждаясь

тамъ, гдѣ яркій свѣтъ обличаетъ въ ихъ глазахъ обманъ ложной обстановки. Я не ставлю предъ читателя сразу моихъ героевъ такъ какъ они есть, но показываю ихъ такъ — какъ они кажутся. Можетъ быть отъ этого мои дѣйствующія лица теряютъ голую и холодную вѣрность своей натурѣ, но они выигрываютъ въ живости, въ теплотѣ и въ искренности описанія. Я, можетъ быть, ошибаюсь,—но это мой личный взглядъ.

Съ этой точки зрѣнія странно было требовать, чтобы простодушный (и, какъ разсказчикъ, невполнѣ выдержавшій свой характеръ) Иванъ Васильичъ, и деревенская дѣвочка Варинька не ошиблись въ пониманіи Тамарина. Еще было бы страннѣе, если-бы я и самого Тамарина заставилъ въ своихъ же запискахъ смѣяться надъ собою и разсказывать, какъ онъ морочитъ почтенную публику, тогда какъ весь его характеръ состоитъ именно въ томъ, что онъ самъ въ себѣ обманывается. Отъ этого-то онъ и заслуживаетъ сожалѣніе и участіе, а не насмѣшку; отъ этого-то я и говорю, что описывалъ его съ любовію, какъ люблю всѣхъ добрыхъ лицъ моихъ разсказовъ. Припомните, что Пушкинъ заставилъ сказать своему Онѣгину одну даму:

«Но вы совсѣмъ не такъ опасны,
И знали-ль вы до сей поры
Что просто очень вы добры?

И такимъ дѣйствительно понималъ Пушкинъ своего Онѣгина. Отъ этого и Тамаринъ, въ концѣ своихъ записокъ, является просто добрымъ человѣкомъ, какимъ онъ и есть на самомъ дѣлѣ.

Что касается до Иванова, то это не противоположность Тамарина, какъ нѣкоторые думаютъ, а болѣе современный и близкій намъ типъ, какъ я его понимаю. Онъ у меня очерченъ на столько, на сколько былъ нуженъ для Тамарина, и если характеръ этотъ нѣсколько сухъ и бѣденъ поэтической стороной, то тѣмъ не менѣе, я полагаю, вѣренъ дѣйствительности.

Настоящій романъ, при своемъ появленіи въ Современникѣ, возбудилъ множество разнородныхъ толковъ, которые я выслушалъ молча. Нынѣ, издавая его отдѣльно, я счелъ нужнымъ высказать свой взглядъ. Вѣренъ ли этотъ взглядъ и каково выполнилъ я свою задачу, объ этомъ ужь не мнѣ судить.

М. Авдѣевъ.

С. Петербургъ,
1868.

I.

ВАРИНЬКА.

(РАЗСКАЗЪ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА.)

I.

Весной 184* года, я возвратился благополучно въ свое родовое Рѣдькино, которое, по домашнимъ обстоятельствамъ, ѣздилъ перезакладывать въ московскій опекунскій совѣтъ. Вечеромъ, за самоваромъ, который былъ поданъ часомъ позже обыкновеннаго, потому что моя Марья Ивановна разсматривала и примѣривала чепцы да уборы, привезенные мной съ Кузнецкаго моста, я наслаждался семейнымъ счастіемъ. Въ саду передъ окнами мои четверо мальчишекъ пересматривали и рвали книжки съ картинками, отнимали у сестры куклы, кричали и возились, несмотря на присутствіе двухъ нянекъ, которыя сидѣли въ пяти шагахъ; я, куря трубку, любовался ими, допивалъ третій стаканъ чаю, пускалъ колечки изъ дыму и слушалъ жену, которая, отобравъ отъ меня нужныя свѣдѣнія о моей московской жизни, разсказывала свои домашнія распоряженія, вновь открытыя ею мошенничества по имѣнію, мѣры исправленія и наконецъ жизнь и приключенія нашихъ сосѣдей. Перебравъ по косточкамъ старыхъ знакомыхъ, очередь дошла до новыхъ; я сталъ внимательнѣе.

— Въ Рыбное пріѣхалъ, говорила Марья Ивановна: — новый помѣщикъ Тамаринъ, франтъ, говорятъ, такой: я его еще не видала... вѣдь ты его знаешь?

— А! Сергѣй Петровичъ пріѣхалъ! давно пора; вѣдь ужь два года, какъ умерла покойница Анна Игнатьевна; я съ нимъ познакомился еще зимой въ N, по случаю размежовки, и еще тогда говорилъ, что надо ему побывать въ Рыбномъ: на-силу послушался!

— Какже! такъ онъ тебя и послушался; большая нужда ему, что въ деревнѣ обворовываютъ! пріѣхалъ бы онъ за этимъ, еслибъ не было Лидіи Петровны!

— А! и Лидія Петровна здѣсь?

— Здѣсь; ужь недѣли двѣ, какъ съ мужемъ притащилась; онъ старикъ, а ей лѣтъ двадцать пять; такая хорошенькая: нездорова, говоритъ, нуженъ сельскій воздухъ; невидаль сельскій воздухъ; будто въ Петербургѣ воздуху нѣтъ!

— Какже, матушка! извѣстно, сельскій воздухъ очень здоровъ, въ книгахъ пишутъ и всѣ говорятъ!

— Вздоръ всѣ говорятъ: я вотъ седьмой годъ живу въ деревнѣ, а все больна.

Послѣ этого мнѣ о воздухѣ спорить было нечего: дѣйствительно, дня не проходитъ, чтобы моя Марья Ивановна чѣмъ-нибудь не пожаловалась: то бокъ завалило, то подъ ложкой давитъ, а сама, прости Господи, такъ и плыветъ: всякой мѣсяцъ капоты разставляютъ. Странная болѣзнь такая!

— Ну, что? а каковъ этотъ Сергѣй Петровичъ? гордецъ, говорятъ?

— Э, полно, матушка! правда, онъ немного со странностями и сначала какъ-будто гордъ, — ну, человѣкъ нынѣшняго вѣка, не нашего поля ягода,—а впрочемъ славный малый, я у него не разъ обѣдывалъ: гастрономъ такой.

— Такъ тебѣ, душаньчикъ, надо сдѣлать ему визитъ, и самимъ отплатить ему хлѣбомъ солью. Поѣдешь къ нему?

— Поѣду, матушка, поѣду, только меня что-то сонъ клонитъ; чаю я больше не хочу, а вели-ка дать поужинать.

II.

Дня черезъ три, я собрался объѣздить моихъ сосѣдей. Позавтракавъ, часу въ десятомъ утра, я велѣлъ заложить тарантасъ, взялъ въ узелокъ новый коричневый фракъ и отправился. Ближе всего отъ насъ Рыбное. Оно принадлежало бригадиршѣ Аннѣ Игнатьевнѣ княгинѣ Кутуказевой, а послѣ нея досталось внуку ея, по дочери, отставному поручику Сергѣю Петровичу Тамарину, къ которому я и ѣхалъ.

Рыбное стоитъ надъ озеромъ, въ которомъ водится немного раковъ и очень много лягушекъ; сообразивъ это, мнѣ показалось страннымъ его названіе. Я обратился къ кучеру.

— Терентій! въ Рыбномъ озерѣ вѣдь нѣтъ рыбы?

— Нѣтъ! сказалъ онъ необорачиваясь.

— Такъ отчего же оно названо Рыбнымъ?

— Да на берегу заводъ, вино курятъ, отвѣчалъ онъ, незадумавшись.

Мнѣ показалось это объясненіе несовсѣмъ понятнымъ: почему озеро названо Рыбнымъ оттого, что на берегу винокуренный заводъ; я усомнился даже, дѣйствительно ли Терентій хотѣлъ отвѣтить на мой вопросъ, или въ его курчавой, угловатой головѣ лѣниво переворачивалась идея о винѣ и винокуренномъ заводѣ, и онъ на первый вопросъ выпустилъ эту завалившуюся идею. Дальнѣйшіе разспросы я почелъ излишними, и молча доѣхалъ до Рыбнаго.

Старый барскій домъ, въ которомъ жилъ Тамаринъ, былъ выстроенъ надъ озеромъ. Деревянный, длинный, сѣрый отъ старости, грустно глядѣлъ онъ своими мелкими, зелеными стеклами съ горы на противоположный плоскій берегъ. Отъ дома до озера спускался старинный англійскій садъ съ заросшими аллеями изъ столѣтнихъ деревьевъ. Вправо и лѣво тянулись сперва службы и амбары, а потомъ крестьянскія избы. Сзади—каретники, конюшни, гумно и далекое, пустое поле, съ зеленѣющимися озимями и чернымъ паромъ. Когда я подъѣхалъ къ крыльцу, на колокольчикъ выбѣжалъ хорошенькій мальчикъ, въ сѣромъ куцомъ фракѣ, съ бѣлыми гербовыми пуговицами.

— Дома Сергѣй Петровичъ?

— Дома, сейчасъ встали; какъ прикажете доложить?

— Скажи—изъ Рѣдькина, молъ, Иванъ Васильичъ.

Мальчикъ убѣжалъ, а я вошелъ въ большую залу, съ низенькими хорами; по серединѣ стоялъ бильярдъ, вѣрно, переставленный по приказанію Сергѣя Петровича, потому-что прежде онъ стоялъ въ боковой комнатѣ, правда, немного узкой, но въ сторонѣ; болѣе въ ней мебели не было.

Черезъ минуту вошелъ высокій усатый человѣкъ, въ сѣромъ, тоже какомъ-то куцомъ не то сюртукѣ, не то фракѣ: это былъ камердинеръ Сергѣя Петровича; я его видѣлъ въ городѣ.

— Сергѣй Петровичъ извиняется: они еще не одѣты, сказалъ онъ:—а если вы не будете въ претензіи, то приказали просить.

Послѣ этого пріема я хотѣлъ-было воротиться, да надѣть коричневый фракъ; но раздумалъ. Сергѣй Петровичъ человѣкъ хорошій, да городской и еще столичный, въ деревнѣ извиняется, что не одѣтъ, люди во фракахъ да жилетахъ, и всего-то двое въ домѣ! желалъ бы я посмотрѣть, какъ бы онъ вырядилъ такъ двадцать семь человѣкъ моихъ дворовыхъ.

Человѣкъ провелъ меня въ среднюю гостиную, изъ которой дверь вела въ садъ; у покойницы тутъ была чайная, а онъ изъ нея сдѣлалъ кабинетъ. Сергѣй Петровичъ встрѣтилъ меня въ дверяхъ. Я думалъ, что онъ и въ-самомъ-дѣлѣ не одѣтъ, или если и прикрытъ чѣмъ, то чѣмъ-нибудь этакъ въ рель, какъ говорится, а онъ сидитъ у себя дома, а самъ точно съ модной картинки, что́ жена получаетъ. Черный, страннаго покроя robe de chambre на малиновомъ подбоѣ, брюки, которые какъ-то закрывали ногу вплоть до самаго носка, что́ могъ только одинъ нѣмецъ выдумать, а русскому человѣку и въ голову не придетъ, и сверхъ нихъ крошечныя бархатныя туфли, которыя, по правдѣ сказать, моей Марьѣ Ивановнѣ и на шелковый чулокъ не взлѣзутъ.

— А! Иванъ Васильичъ, это вы? а мнѣ сказали, что какой-то Рѣдькинъ пріѣхалъ, сказалъ Сергѣй Петровичъ, протягивая мнѣ свою маленькую руку, которую я всегда боялся дружески пожать, опасаясь сломать ее.

— Нѣтъ, Сергѣй Петровичъ! это я. Я сказалъ: доложи, молъ, Иванъ Васильичъ изъ Рѣдькина; а мальчикъ и переврадъ. Рѣдькинъ! какой я Рѣдькинъ? я—слава Богу—Поповъ, а не Рѣдькинъ!

— Не хотите ли чаю, сказалъ Сергѣй Петровичъ, опустившись въ вольтеровское кресло и усадивъ меня противъ себя.

— Покорно васъ благодарю, я уже позавтракалъ; а впрочемъ отъ стаканчика съ дороги не откажусь.

Мнѣ подали чаю; на столѣ стояла ветчина, масло, телятина. Сергѣй Петровичъ предложилъ мнѣ ихъ къ чаю, увѣряя, что это очень хорошо. Но я поблагодарилъ и, признаюсь, подумалъ-было, что онъ хочетъ подшутить надо мной: мнѣ и въ голову бы не пришло, что можно ѣсть ветчину съ чаемъ, если бы послѣ не видалъ своими глазами, какъ самъ Сергѣй Петровичъ не разъ употреблялъ ее. Странный человѣкъ былъ этотъ Сергѣй Петровичъ! я, напримѣръ, никогда не видалъ, чтобы онъ горячился. Староста ли его надуетъ, а онъ замѣтитъ: призоветъ старосту, скажетъ, что онъ дуракъ, потому-что и надуть порядочно не умѣетъ—и онъ у него опять старостой! лакей ли налижется до положенья ризъ, лыка не вяжетъ, на ногахъ не стоитъ, а увѣряетъ и божится, что маковой росинки во рту не бывало: у меня вчужѣ сердце надорвется,—а Сергѣй Петровичъ съ нимъ и не споритъ, велитъ ему лечь спать, и на другой день ничего не сдѣлаетъ! Добръ былъ онъ очень, а ужь языченъ—не приведи Богъ! Смѣшно сказать: я, напримѣръ, и турецкую кампанію дѣлалъ, и въ Польшѣ былъ, пули, бывало, визжатъ надъ ухомъ, ядра летятъ надъ головой: не поклонишься, стоишь себѣ и ничего, только какія-то мурашки по тѣлу ползаютъ; а когда въ обществѣ зайдетъ рѣчь про меня, и Сергѣй Петровичъ въ разговоръ вступитъ —повѣрите ли: безпокойно на стулѣ сидѣть и платье какъ-будто узко становится! думаешь себѣ: какъ вздумается ему окрестить тебя такъ, шутки ради, какимъ нибудь словцомъ, холодно, мимоходомъ, какъ онъ иногда это дѣлаетъ, а огорошитъ имъ хуже пули, и насмѣется надъ тобой всякой, и дуракъ, и умный, и пойдетъ это словцо изъ устъ въ уста,—ну, опозоритъ на вѣки! да еще такъ, что и придраться не къ чему. Однакожь, Сергѣй

Петровичъ, спасибо ему, никогда надо мной не смѣялся; за это, можетъ, и любилъ я его.

Да, я его очень любилъ, хотя, по правдѣ сказать, мнѣ отъ него не было ни тепло, ни холодно; только самъ не знаю отъ чего, а я всегда чувствовалъ надъ собой его превосходство, и это меня нисколько не удивляло и не огорчало, какъ-будто такъ и слѣдовало быть; а какъ подумаешь, такъ точно удивительно, потому-что не одинъ я, хотя другіе и не сознаются, и не относительно только себя я видѣлъ это превосходство, эту какую-то силу, которая дѣлала то, что когда онъ бываетъ въ обществѣ, какомъ бы то ни было, гдѣ даже и важные люди есть, хотя онъ молчитъ себѣ, хоть ничего не дѣлаетъ, а чувствуешь, что первый въ этомъ обществѣ Сергѣй Петровичъ! Ну, что̀ онъ такое? отставной поручикъ, еще и армейскій, владѣтель какихъ-нибудь трехъ сотъ душъ, не князь, не графъ, а Тамаринъ, тоже, что нашъ братъ Поповъ!—За что̀бы, казалось, считать его лучше себя и другихъ? такъ нѣтъ! подите же: считаешь себѣ, да и только! Развѣ что уменъ? — дѣйствительно уменъ! въ этомъ и врагъ его сознается; да что въ этомъ умѣ? какую пользу приноситъ ему этотъ умъ? позвольте васъ спросить? Что онъ заставитъ каждаго языкъ прикусить?! — велика важность! Чтожъ это за умъ, съ которымъ онъ весь вѣкъ только глупости дѣлаетъ? напроказничалъ что-то въ Петербургѣ, исторію имѣлъ, карьеру испортилъ и былъ бы безъ гроша, какъ бы не бабушкино наслѣдство! да это и всякой съумѣетъ сдѣлать! По моему, такой умъ гроша не стоитъ! Григорій Григорьичъ, напримѣръ, вотъ такъ умъ! пошелъ служить писцомъ во фризовой шинели, а теперь съ тысячью душами, и капиталецъ есть. Вотъ умъ, такъ умъ!

Сергѣй Петровичъ былъ средняго роста, тонокъ и чрезвычайно строенъ; ноги и руки крошечныя, но мускулистыя; черты лица правильныя, умныя и чрезвычайно спокойныя; волосы свѣтлые, мягкіе, шелковистые; глаза большіе, каріе, прекрасные глаза, но странные. Обыкновенно они, какъ и все лицо его, были очень холодны и покойны; но, казалось, въ глубинѣ ихъ таилась какая-то особенная сила. Если онъ одушевлялся, что̀ впрочемъ бывало довольно рѣдко, то они начинали свѣтиться болѣе и болѣе. Тогда въ нихъ однихъ проявлялось столько воли, твердой и непреклонной, такая сила характера, какую мнѣ никогда не случалось видѣть въ самыхъ рѣзкихъ и выразительныхъ физіономіяхъ, а въ немъ и подозрѣвать было нельзя. Вообще онъ былъ недуренъ собой, повидимому довольно слабый, блѣдный, очень граціозный, но медленный въ движеніяхъ и какъ-будто усталый.

Разъ я его спросилъ:

— Отчего это вы всегда какъ-будто утомлены чѣмъ-то, Сергѣй Петровичъ?

— Жизнью, Иванъ Васильичъ, отвѣчалъ онъ по обыкновенію, полу-шутя, полу-серьёзно, такъ-что не знаешь, высказываетъ ли онъ свою мысль, или говоритъ, чтобы только сказать что-нибудь.

— Есть отчего устать, подумалъ я! — Тяжела твоя жизнь: по-утру ногти чистить, а остальное время барынямъ сказки сказывать.

Итакъ, сидѣлъ я у Сергѣя Петровича, пилъ чай и курилъ изъ своей дорожной трубки, а онъ, по обыкновенію, курилъ папиросу, да ногти чистилъ: по-утру онъ вѣчно насвистываетъ итальянскія аріи, да ногти чиститъ, такая уже у него была привычка. Я ему говорилъ про озими, да про запашку, а онъ мнѣ отвѣчалъ, что ничего въ нихъ не понимаетъ. Такъ мы проговорили съ часъ мѣста.

Погода была чудесная, дверь въ садъ была растворена, чрезъ нее видъ на озеро и, за нимъ, на красивую усадьбу барона Б*** былъ отличный; въ воздухѣ не шелохнется; мы сидѣли да покуривали, когда вошелъ мальчикъ и подалъ Сергѣю Петровичу на маленькомъ серебряномъ подносѣ записочку. Ну что̀ опять за мода на серебряномъ подносѣ записочки подавать? вѣдь везъ же ее, чай, форейторъ въ засаленномъ полушубкѣ! не на подносѣ же везъ онъ ее?

Сергѣй Петровичъ лѣниво пробѣжалъ записку, бросилъ на столъ и велѣлъ сказать: «хорошо».

Отъ кого бы это, думалъ я: — бумажка съ гербомъ и оплатка гербовая.

— Что вы улыбаетесь, Иванъ Васильичъ? спросилъ Сергѣй Петровичъ.

— Да ничего, я такъ улыбнулся!

— Вы думаете о запискѣ?

— Я нескромныхъ вопросовъ не дѣлаю, отвѣчалъ я.

— Эта записка отъ баронессы Б***: она зоветъ меня ѣхать верхомъ съ ней: видите, тутъ нѣтъ ничего особеннаго.

— Что тутъ необыкновеннаго, что молодая дама къ вамъ записки пишетъ! очень обыкновенно.

— Вы находите, можетъ быть, это страннымъ, непозволительнымъ? сказалъ Сергѣй Петровичъ такимъ тономъ, какъ-будто онъ спрашивалъ киргиза: а что̀, странно, братецъ, что я вилкой беру говядину?

— Нѣтъ! отвѣчалъ я: — чегожъ тутъ непозволительнаго! верхомъ ѣздить очень позволительно. А самъ думаю: что̀жъ мнѣ за дѣло: вѣдь записка не отъ Марьи Ивановны, а чужой лобъ не мнѣ на головѣ носить.

Сергѣй Петровичъ позвонилъ.

— Осѣдлать Джальму!

Я взялся за фуражку.

— Подождите, Иванъ Васильичъ: куда вы?

— Да я къ Маврѣ Савишнѣ.

— Къ какой Маврѣ Савишнѣ?

— Въ Неразлучное.

— Это по пути къ барону?

— По одной дорогѣ: версты три за Лункинымъ.

— Поѣдемте вмѣстѣ!

Сергѣй Петровичъ спросилъ переодѣться: надѣлъ сѣренькую джакетку, круглую кожаную фу-

ражку съ длиннымъ козырькомъ, взялъ хлыстикъ, —ну англичанинъ чистый! — и мы отправились, онъ верхомъ, а я въ тарантасѣ. Пока мы ѣхали вмѣстѣ, я любовался Джальмой. Что это за конь! Карабаиръ чистой крови! Сергѣй Петровичъ привелъ его изъ Оренбурга, гдѣ купилъ на мѣновомъ дворѣ у хивинцевъ. Тонкій, стройный, весь изъ жилъ и кости. А привязанъ былъ къ Сергѣю Петровичу какъ собака. Броситъ онъ его, и стоитъ Джальма какъ вкопанный; защелкаетъ Сергѣй Петровичъ, свиснетъ, и Джальма предъ нимъ какъ листъ передъ травой. Сѣрый въ яблокахъ; чуть проѣдетъ на немъ, и онъ дѣлался розовой: такъ тонка была у него кожа; глаза горятъ, а смиренъ какъ голубь! Сергѣй Петровичъ сказывалъ, что онъ купилъ его на пристяжку; въ первый разъ онъ пошелъ удивительно. Во второй только поднесли хомутъ, а онъ и задомъ и передомъ; кой-какъ ввели въ постромки, онъ изорвалъ зубами хомутъ на себѣ и на коренной и легъ: такъ и отбился отъ запряжки. Но ужь верховаго коня я лучше не видывалъ!

Я и не видалъ, какъ мы обогнули озеро и подъѣхали къ Лункину: такъ засмотрѣлся я на коня и сѣдока. И сѣдокъ хорошъ: сидѣлъ какъ прикованный; отлично ѣздилъ Сергѣй Петровичъ, и, спасибо, не по-англійски, а по-русски.... терпѣть не могу этой ѣзды въ присядку! только онъ вѣчно сидѣлъ въ сѣдлѣ опустившись, какъ-будто ему тяжело держаться прямо: видно, привыкъ къ мягкимъ кресламъ.

— Сергѣй Петровичъ! сказалъ я ему шутя:— продай коня.

— Не продажный, а завѣтный, отвѣчалъ онъ.

— А что завѣту?

— Да то, чего нѣтъ у васъ, Иванъ Васильичъ: женское чистое сердце! сказалъ онъ, кивнувъ головою, и повернулъ въ Лункино къ барону.

— Экой сердцеѣдъ какой! вишь чего захотѣлъ, подумалъ я и поѣхалъ крупной рысью къ Маврѣ Савишнѣ.

III.

Есть лица, въ присутствіи которыхъ становится какъ-то тепло на сердцѣ: къ числу ихъ принадлежала моя добрая знакомая и сосѣдка Мавра Савишна съ своей дочкой Варинькой. Перо мое съ любовью останавливается на ихъ портретахъ.

Мавра Савишна была вдова секундъ-майора, добрая русская помѣщица полутораста душъ; какъ теперь вижу ея маленькую фигурку съ чепцомъ на головѣ, очками на носу и вѣчнымъ чулкомъ въ рукахъ. Я не знаю человѣка, который бы не любилъ Мавры Савишны; правду сказать, знаю мало я такихъ, кого бы она не любила.

Мавра Савишна почти безвыѣздно послѣ смерти мужа жила въ деревнѣ, да любовалась своей дочкой Варинькой. Варинька была для нея все, и не на безплодную почву падала любовь ея: Варинька стоила этой любви.

Не будь я женатъ и не имѣй пять человѣкъ дѣтей, я бы влюбился въ Варинькy... да нѣтъ, не влюбился бы: не посмѣлъ бы влюбиться въ нее, а любилъ и люблю ее какъ родную дочь; и мудренаго нѣтъ! она выросла на моихъ глазахъ.

Будь я живописецъ и скажи мнѣ кто-нибудь: Иванъ Васильичъ, напиши какого-нибудь вѣстника радости и мира,—я бы написалъ портретъ Вариньки.

Ей было осьмнадцать лѣтъ; она была немного болѣе средняго роста. Не была она полна и не была тонка; но такого граціознаго, такого гибкаго, такъ мягко схваченнаго стана и не придумаешь. И голова была по стану: во всемъ лицѣ ни одной классически правильной, рѣзкой черты, которая бы бросилась въ глаза; но всѣ такъ чисты, такъ добры, такъ сгармонированы, что, казалось, природа съ особенной любовью занималась созданіемъ ихъ. Больше всего мнѣ нравились ея глаза, большіе, темно-голубые; свѣтло и спокойно смотрѣли они на Божій міръ, какъ-будто въ немъ не было ни нужды, ни горя, ни потеръ, ни заботы, ни длиннаго ряда заблужденій и обмановъ, въ концѣ котораго часто стоитъ разочарованіе и всегда могила.

Я сказалъ, что Мавра Савишна почти безвыѣздно жила въ деревнѣ, но я ошибся: когда Варинькѣ минуло шестнадцать лѣтъ, она двѣ зимы сряду ѣздила съ ней—въ свой губернскій городъ, гдѣ у ней были дѣла.

Въ эти двѣ зимы Варинька выѣзжала много, и не одинъ вечеръ, далеко за полночь, молча просиживала на балахъ Мавра Савишна, любуясь на свою дочку.

Но свѣтъ не привязалъ къ себѣ Вариньки своими пестрыми удовольствіями, своими ловкими кавалерами. Весело и покойно смотрѣла она на офицеровъ и бѣлогалстушныхъ франтовъ. Шутя выслушивала она ихъ полушутливыя, полусерьёзныя признанія: и ни разу ея дѣвственное сердце не забилось сильнѣе обыкновеннаго. Варинька любила всѣхъ, и потому никого не любила. Смотря на своихъ подругъ, которыя часто выбирали ее въ повѣренныя, она бо́льшею частію находила ихъ глубокія чувства слишкомъ мелкими, ихъ вѣчную любовь слишкомъ кратковременною, ихъ постоянныхъ обожателей слишкомъ вѣтренными; странны и непонятны казались ей увлеченія любви, и, раздумывая о себѣ въ долгія вечернія прогулки по темному саду, сознала она, что неспособно ея доброе, любящее сердце забиться этой любовью, что не закипитъ огнемъ страсти ея теплая кровь, и что благо сдѣлала природа, давъ ей много любви и раздробивъ эту любовь на весь міръ.

Вариньку воспитывала гувернантка-швейцарка. Въ шестнадцать лѣтъ Варинька бѣгло играла на фортепіано, говорила по-французски какъ француженка и пѣла серебрянымъ голоскомъ хотя и безъ искусства, но съ той натуральной прелестью, которую природа даетъ соловью и иногда хорошень-

кой дѣвушкѣ. Добрая гувернантка не успѣла налюбоваться своей питомицей: умерла въ то время, когда та начинала только жить, и оставила Варинькѣ свой маленькій капиталецъ, скопленный въ ея же домѣ: такъ любила она ее!

Но Варинька, оставшись одна, съ своей доброй, любящей ее до безпамятства матерью, которая однако-же не имѣла на нее никакого моральнаго вліянія, не была уже ребенокъ. Спокойно закрылись глаза ея доброй гувернантки, которая знала, что въ ея семнадцатилѣтней Варинькѣ есть чистая душа, вѣрный и свѣтлый взглядъ на жизнь и крѣпкая, твердая воля.

Итакъ, я ѣхалъ въ Неразлучное. За полверсты привѣтливо взглянулъ на меня желтенькій домикъ съ зелеными ставнями; у подъѣзда, съ низкимъ поклономъ встрѣтилъ меня старый слуга Савельичъ, въ длинномъ синемъ сюртукѣ, и съ зачесанными съ затылка напередъ волосами; а на террасѣ, выходящей въ садъ и крытой холстомъ отъ солнца, радушно приняла Мавра Савишна въ широкихъ креслахъ, съ очками на носу, тоненькимъ чулкомъ въ рукѣ и собачкой у ногъ.

— Ба, Иванъ Васильичъ! здравствуйте, батюшка, здравствуйте! каково въ Москву съѣздили? а мы соскучились безъ васъ; вчера еще Варинькѣ спрашиваю: что, молъ, это Иванъ Васильичъ долго не ѣдетъ? а она говоритъ: не знаю, маменька; анъ вотъ и Иванъ Васильичъ! ну, очень рада..... а что Марья Ивановна?

Я подошелъ къ рукѣ, сказалъ, что Марья Ивановна слава Богу и свидѣтельствуетъ свое почтеніе,—ну, и прочее.

Мавра Савишна спросила меня, не хочу ли я закусить, и хоть я и отказался и сказалъ ей, что сейчасъ только чай пилъ и закусывалъ, и честью увѣрялъ, что сытъ, но она все-таки велѣла подать водку и завтракъ: такая ужъ была хлѣбосолка!

— А что Варвара Александровна? спросилъ я.

— Варинька въ саду: Володя Имшинъ изъ городу пріѣхалъ и письмо ей привезъ, такъ она и разспрашиваетъ его про городскія новости. Варинька! Варинька! кричала Мавра Савишна, склонясь за перила:—Иванъ Васильичъ пріѣхалъ!

— Иду, maman, иду! отвѣчалъ серебряный голосокъ, и въ аллеѣ показалась стройная фигура Вариньки.

Володя Имшинъ былъ намъ землякъ и сосѣдъ Мавры Савишны. Лѣтъ пять назадъ, отецъ отвезъ его въ Петербургъ и, возвратясь домой, умеръ, какъ-будто ему и дѣлать на свѣтѣ было нечего. Володя остался сиротой, недоучился въ какомъ-то заведеніи, прослужилъ года два въ какой-то канцеляріи и съ чиномъ четырнадцатаго класса вышелъ въ отставку, чтобы заняться имѣніемъ, которое досталось ему отъ отца довольно запутаннымъ. И хорошо сдѣлалъ Володя, что вышелъ въ отставку: до генераловъ онъ бы не дослужился, а имѣніе бы разстроилъ. Имшинъ былъ мальчикъ лѣтъ двадцати съ небольшимъ, румяный, курчавый, хорошенькій собой; всѣ его любили какъ добраго малаго, и губернскія барышни, съ которыми онъ вмѣстѣ выросъ, звали его межъ себя Володей, а въ глаза Вольдемаромъ.

Чрезъ минуту пришла Варинька изъ саду и за ней Володя. Бѣленькая, розовая, она протянула мнѣ свою маленькую ручку, и въ голубыхъ глазкахъ ея я читалъ удовольствіе.

— Откуда вы? спросила она меня, послѣ первыхъ обычныхъ вопросовъ.

— Изъ Рыбнаго, отъ Сергѣя Петровича Тамарина.

— А вы знакомы съ нимъ?

— Какже! имѣю это удовольствіе, отвѣчалъ я.

Мы поговорили о томъ, о семъ: подали закуску; я выпилъ рюмку травнику, который у Мавры Савишны былъ отличный; Мавра Савишна вышла куда-то по хозяйству. Мы остались втроемъ.

Володя закурилъ папиросу и сталъ разговаривать съ попугаемъ, который сидѣлъ въ углу; а мы съ Варинькой пошли въ садъ.

— Такъ вы знаете Тамарина? начала Варинька.

— Знаю! отвѣчалъ я: хорошо знаю.

— Похожъ онъ на демона?

— Господь съ вами, Варвара Александровна! съ чего вы это взяли: Сергѣй Петровичъ хорошій человѣкъ. А впрочемъ, я демона не знаю!

— Вамъ мой вопросъ показался страннымъ; но прочтите, что мнѣ пишетъ Надинька.

И она вынула изъ кармана и подала мнѣ тоненькое письмецо на разрисованной бумажкѣ.

Вотъ что писала Надинька, губернская дѣвушка и львица, задушевный другъ Вариньки.

«Вчера вечеромъ Володя былъ у насъ и сказалъ, что онъ ѣдетъ въ свою деревню, и конечно тотчасъ же увидитъ тебя, ma chère Barbe. Какъ я позавидовала ему, какъ я хотѣла бы обнять тебя, разцѣловать и поболтать о многомъ, о многомъ! Впрочемъ, о чемъ же бы мы стали говорить съ тобой? Я все это время не живу, а прозябаю. Молодежь у насъ все такая скучная, приторная; веселостей нѣтъ; скучно, Варинька! Володя все вздыхаетъ по тебѣ и ждетъ случая уѣхать! Тамаринъ тоже уѣхалъ. Да! вѣдь Тамаринъ въ вашихъ краяхъ, кажется; видѣла ли ты его? Это лицо очень замѣчательное, хотя я его терпѣть не могу. Онъ пріѣхалъ сюда прошедшей весной, вскорѣ послѣ твоего отъѣзда. Молва опередила его, и вскорѣ онъ сталъ у насъ героемъ гостинныхъ; онъ очень уменъ, недуренъ собой, остеръ и золъ на языкъ; съ нимъ весело поболтать, но этакого холоднаго созданія, этакого эгоиста я невидывала! Онъ ухаживалъ и ухаживаетъ здѣсь за всѣми, отъ нечего-дѣлать, и громко говоритъ, что нехочетъ никого обижать невниманіемъ, и потому завелъ очередь: дѣйствительно, у него волокитство продолжается недѣлю; для меня онъ сдѣлалъ исключеніе и не ухаживаетъ вовсе, за что я ему очень благодарна. Братъ, который съ нимъ воспитывался, писалъ мнѣ, что въ школѣ они его прозвали демономъ; я иногда, чтобы по-

дразнить его, также называю демономъ, въ насмѣшку, и увѣряю его, что онъ вовсе не такъ опасенъ; но онъ никогда не обижается, и если замѣчаніе колко, то отгрызется: правду сказать, за словомъ въ карманъ не ходитъ, и мнѣ никогда не удавалось разсердить его. Богъ знаетъ, что̀ у этого человѣка на душѣ, но на лицѣ никогда ничего не прочтешь. Хоть онъ и увѣряетъ, что былъ влюбленъ семнадцать разъ, но мнѣ кажется, что онъ никогда не любилъ и не можетъ любить, и если онъ не опасенъ какъ демонъ, за то гордъ и самолюбивъ какъ чортъ.

«Прощай, ma toute chérie, значитъ, мнѣ нечего писать тебѣ, когда я цѣлое письмо проговорила о Тамаринѣ: когда я перечла его, такъ мнѣ стало досадно, и я хотѣла изорвать его, но подумала, что оно тебѣ можетъ быть пригодится, если ты съ Тамаринымъ еще не знакома; если же знакома, то поклонись ему отъ меня: онъ всегда со мной былъ вѣжливъ;—за вѣжливость вѣжливостью. Нынче лифъ обшиваютъ рюшикомъ, узенькимъ, узенькимъ, а на самомъ кончикѣ мысочка сажаютъ бантикъ. Toute à toi Nadine.

«P. S. Здѣсь пронесся слухъ, что Тамаринъ уѣхалъ въ деревню, потому-что въ сосѣдство къ нему пріѣхала какая-то баронесса Б***, изъ-за которой онъ имѣлъ исторію. Пожалуйста, узнай, правда ли это, и что это была за исторія, и какова баронесса? Все напиши по-подробнѣе: это меня очень интересуетъ»

— Что̀ вы объ этомъ думаете? спросила меня Варинька, когда я прочелъ письмо.

— Я думаю, во-первыхъ, что Надинька сердита на Тамарина, потому-что онъ за ней не ухаживаетъ, хотя и заинтересованъ имъ.

Варинька улыбнулась.

— И потомъ я думаю, что дурно знаю Тамарина, считая его только за добраго малаго.

— Почему же это?

— А потому, что въ школѣ его прозвали демономъ. Школьныя названія удивительно вѣрны и всегда чрезвычайно обрисовываютъ характеръ.

— Въ самомъ-дѣлѣ? Такъ вы думаете, что Тамаринъ дѣйствительно похожъ на демона?

— Мнѣ казалось, что нѣтъ, а теперь я начинаю этому вѣрить. У насъ, напримѣръ, входитъ въ училище одинъ новичекъ, а товарищъ мой, школьникъ страшный, и кричитъ: «Господа! баронъ Брамбеусъ пришелъ.» Что̀жъ, и вышелъ второй Брамбеусъ: острякъ былъ страшный.

— Знаете ли, Иванъ Васильичъ, мнѣ бы хотѣлось увидать Тамарина.

Мнѣ, не знаю почему, показалось это желаніе непріятно.

— Полноте, Варвара Александровна! въ немъ и интереснаго ничего нѣтъ! онъ и на демона совсѣмъ не похожъ: какой онъ демонъ!

— Вамъ кажется, не хочется, чтобы я его видѣла, сказала она улыбаясь:—ужь не боитесь ли вы за меня? И она посмотрѣла на меня такъ спокойно, такъ самоувѣренно своими голубыми глазками, что̀ я убѣдился, что никакой демонъ не вскружитъ ея головку.

— Хоть и силенъ демонъ, да онъ ангелу ничего не сдѣлаетъ, сказалъ я:— нѣтъ! я не боюсь за васъ.

— Ба, Иванъ Васильичъ! это комплиментъ, кажется?

— Нѣтъ-съ, не комплиментъ, это я такъ сказалъ; а вотъ пріѣзжайте съ маменькой, въ четвергъ, къ намъ, чай кушать; я и Сергѣя Петровича позову.

— Хорошо, сказала она.

Я пробылъ у Мавры Савишны весь день и поздно вечеромъ возвратился домой.

IV.

Въ четвергъ, часовъ въ 7 вечера, пріѣхала Мавра Савишна съ Варинькой, немного погодя Сергѣй Петровичъ и съ нимъ вмѣстѣ баронъ Б*** съ женою. Марья Ивановна съ баронессой познакомилась еще до моего пріѣзда, и я тоже былъ у барона: баронъ былъ человѣкъ лѣтъ 60, полный, круглый лицомъ, довольно важный и чрезвычайно довольный собой старичекъ; жена его, дама лѣтъ 23 — 24, высокая, худенькая, стройная и очень блѣдная. Лицо у нея было предоброе, но въ большихъ черныхъ глазахъ было много смѣлости и цинизма: эта женщина должно быть испытала горе, но не поддалась ему. Кто будетъ глядѣть на одно ея лицо, тому будетъ ея жалко; кто взглянетъ въ глаза— холодно отвернется отъ нея.

Вечеръ былъ чудесный. Мы пили чай на террасѣ. Потомъ баронесса сказала, что она хочетъ посмотрѣть садъ. Сергѣй Петровичъ подалъ ей руку, а мы остались. Разговоръ шелъ о цвѣтахъ. Варинька просила позволенія нарвать букетъ; я было хотѣлъ исполнить ея желаніе, но она сказала мнѣ, чтобы я не безпокоился, и убѣжала одна.

Минутъ чрезъ пять, она возвратилась съ букетомъ.

— Иванъ Васильичъ, посмотрите какую чудесную жоржину я нашла у васъ!

Я пошелъ къ ней на-встрѣчу.

— Мнѣ бы хотѣлось, чтобы Тамаринъ бывалъ у насъ, сказала она, когда я наклонился, чтобы разсмотрѣть цвѣтокъ.

Меня удивило это желаніе. Варинька была горда и никогда ни въ комъ не искала. Я взглянулъ на нее вопросительно: щеки ея горѣли, тихіе глаза свѣтились болѣе обыкновеннаго: видно было, что ее что-то раздосадовало.

— Я скажу ему, что вы этого желаете, сказалъ я.

— Какъ это можно!

— Такъ какъ-же это сдѣлать?

— Скажите ему отъ себя, посовѣтуйте, сдѣлайте, какъ хотите. И она это сказала тономъ балованнаго дитяти, которое не знаетъ «нѣтъ», когда го-

воритъ «я хочу». Я задумался. Новыхъ знакомствъ безъ нужды Тамаринъ не очень любитъ; совѣтовать ему было нелегко: не таковъ онъ, чтобы послушалъ совѣтовъ; я былъ въ затрудненіи.

— Сдѣлаете, Иванъ Васильичъ? сказала Варинька, и въ голосѣ ея была такая настойчивость и просьба, она такъ мило и увѣренно посмотрѣла на меня, что я ни за что на свѣтѣ не захотѣлъ бы отказать ей.

— Хорошо, будьте покойны, сказалъ я.

Вскорѣ возвратились и баронесса съ Тамариннымъ. На дворѣ стало темно и сыро. Подали свѣчи, и всѣ перешли въ гостиную.

Баронесса взяла шляпу, сдѣлала знакъ мужу и, извинясь, что у нея болитъ голова, уѣхала. Мы съ Тамариннымъ вышли ее провожать: онъ тоже было взялся за фуражку, но я у него отнялъ ее.

— Погодите, закусимъ, сказалъ я.

— Да я никогда не ужинаю!

— Ну, ужь тамъ, какъ хотите, а безъ хлѣба-соли не отпущу.

Дѣлать было нечего: онъ возвратился въ гостиную. Я взялъ его за руку и подвелъ къ Маврѣ Савишнѣ.

— Сергѣй Петровичъ Тамаринъ,—внукъ покойной княгини Анны Игнатьевны, сказалъ я.

Тамаринъ, спасибо ему, не показалъ и виду, что мое неожиданное представленіе его удивило. Онъ молча поклонился.

— Очень рада познакомиться, батюшка, очень рада! говорила Мавра Савишна: — я съ покойной княгиней была очень дружна. Она васъ очень любила и часто вспоминала объ васъ. «Что бы Сережѣ навѣстить меня на старости, хоть бы разъ его, голубчика, увидать!» говаривала покойница, дай-Богъ ей царство небесное; да не исполнилось ея желаніе; — конечно не ваша была воля: служба не свой братъ.

— Я бабушки не видалъ съ семи лѣтъ, сказалъ Сергѣй Петровичъ:—и, признаюсь, едва ее помню.

— Ну, да, конечно! гдѣжь вамъ помнить ее; а покойница васъ очень любила.

Потомъ разговоръ перешелъ къ добрымъ качествамъ покойницы, о которыхъ распространилась впрочемъ только Мавра Савишна, да изрѣдка жена ей поддакивала; потомъ разговоръ сдѣлался общимъ, потомъ стали ужинать, а потомъ наконецъ и разъѣхались.

— Милости просимъ къ намъ, сказала Тамарину Мавра Савишна, уѣзжая: — мы вѣдь сосѣди и вамъ всегда будемъ рады!

— Что вамъ, Иванъ Васильичъ, пришла фантазія представить меня старушкѣ? уѣзжая, сказалъ мнѣ Сергѣй Петровичъ, съ не совсѣмъ довольнымъ видомъ.

— Она ваша сосѣдка,—добрая такая, вамъ будетъ у нихъ весело, у нея дочь—невѣста, пробормоталъ я.

— А мнѣ-то что?

— Какъ что? Она — дѣвушка съ состояньемъ...

— Хм! полтораста душъ! сказалъ Тамаринъ.

— Конечно, состояніе небольшое, за то хорошенькая!

— На всѣхъ хорошенькихъ не переженишься, сказалъ онъ, садясь въ коляску.

— Ну, да ты тамъ что себѣ ни думай, а желаніе Вариньки я исполнилъ, и придется тебѣ познакомиться съ ними, думалъ я про себя.

И въ самомъ дѣлѣ, Тамаринъ былъ у нихъ на другой день съ визитомъ и даже обѣдалъ, потому что безъ обѣда отъ Мавры Савишны уѣхать было нельзя.

А дня черезъ три Варинька отправила письмо въ городъ, слѣдующаго содержанія:

«Я его видѣла, мой другъ, Надинька! видѣла твоего демона, и ему суждено занять въ этомъ письмѣ конечно столько же мѣста, сколько и въ твоемъ. Ты нехотя заинтересовала меня имъ, и мнѣ захотѣлось его видѣть. Третьяго дня мое желаніе исполнилось: я видѣла Тамарина у Ивана Васильича, и первое впечатлѣніе было не въ его пользу. Я ожидала видѣть высокую, холодную фигуру, брюнета, съ рѣзкими чертами и черными какъ смоль глазами, и вдругъ вижу блондина, средняго роста, стройнаго, вѣжливаго, веселаго, остраго. Нѣтъ! не такимъ я воображала демона: Тамаринъ показался мнѣ очень обыкновеннымъ; но потомъ, вглядѣвшись въ него, я нашла, что демонъ подъ этой личиной гораздо опаснѣе моего идеала. Дѣйствительно, есть что-то странное, загадочное въ Тамаринѣ, чего бы можетъ быть я и не замѣтила, если бы не желала разгадать, за что этого молодаго человѣка прозвали демономъ? Напримѣръ, замѣтила ли ты, когда онъ веселъ и смѣется? У него смѣхъ идетъ не отъ души: онъ какъ будто смѣется только наружно. Потомъ эти мягкіе темнокаріе глаза; мнѣ кажется, онъ ими можетъ передавать мысли, хотя совсѣмъ не прибѣгаетъ къ этимъ гадкимъ манерамъ, которыя называются играть глазами. Я это замѣтила вотъ почему: у Попова была баронесса Б***, съ которой Тамаринъ, дѣйствительно, кажется, очень коротокъ, хотя за ней совсѣмъ не ухаживаетъ. Когда мы отпили чай, Тамаринъ взглянулъ на баронессу, холодно, какъ будто нечаянно; но мнѣ показалось, что въ этомъ взглядѣ была какая-то воля. И дѣйствительно, баронесса тотчасъ объявила, что она хочетъ посмотрѣть садъ и подала Тамарину руку. Но что всего замѣчательнѣе въ немъ, это граціозная медленность его движеній, какъ будто онъ усталъ отъ какой-то внутренней борьбы, какъ будто ему лѣнь жить на свѣтѣ. Не удивляйся, ma chère, что я такъ подробно разбираю твоего демона: во-первыхъ, онъ меня заинтересовалъ своимъ названіемъ; во-вторыхъ, въ деревнѣ всякое лицо интересно, и въ третьихъ... я изучаю его, потому что мнѣ съ нимъ предстоитъ рѣзкая встрѣча, потому что онъ меня обидѣлъ, и я хочу отомстить ему. У меня отъ тебя нѣтъ секретовъ. Вотъ какъ это было: когда Тамаринъ гулялъ въ саду съ баронессой, я пошла нарвать букетъ. Наклонясь въ

кустарникъ, я рвала цвѣты, какъ вдругъ слышу въ аллеѣ, за густыми акаціями, голоса. Говорили баронесса и Тамаринъ; ни мнѣ ихъ, ни имъ меня видѣть было нельзя; я невольно слушала».

— Знаешь, демонъ, меня пригласили сюда для тебя (она говорила ему *ты* и тоже называла демономъ; послѣднее меня удивило; неужели это названіе такъ идетъ къ нему, что и въ Петербургѣ зовутъ его демономъ?).

— Что за идея! сказалъ онъ.

— Да, тутъ нѣтъ ничего страннаго: Попова и ея мужъ едва меня знаютъ и, кажется, не очень любятъ; они хотѣли, чтобы тебѣ не было скучно и пригласили меня; они, вѣроятно, знаютъ, что я твоя принадлежность, что я тебѣ нужна для того, чтобы ты менѣе скучалъ; послѣднія слова баронесса произнесла съ какою-то холодною горечью, и мнѣ стало жаль ея.

— Что тебѣ за охота мучить себя пустыми предположеніями! говорилъ Тамаринъ:—ты знаешь, что я тебя люблю болѣе всѣхъ.

— Да, оттого, что ты никого не любишь...

Тамаринъ молчалъ.

— Ну, не сердись! отчего не говорить ясно о своемъ положеніи? тебя, я знаю, оно не обманываетъ, зачѣмъ же мнѣ обманывать себя.

Тамаринъ все молчалъ.

— Ты думаешь, что мнѣ досадно это приглашеніе? что за вздоръ! Не все ли мнѣ равно, что думаютъ обо мнѣ Поповы, когда я не дорожу ни чьимъ мнѣніемъ. Напротивъ, я очень довольна, что тебя вижу. Мнѣ только непріятно, что сюда привезли Варинькy!..

— Это отчего? спросилъ Тамаринъ.

— Я не знаю, почему-то мнѣ непріятно ее видѣть,—я боюсь, чтобы она хотя на минуту не приковала тебя къ себѣ.

— Дитя! что за ревность! и къ кому же! къ семнадцатилѣтней деревенской дѣвочкѣ!..

— А она не дурна, сказала баронесса.

— Да! я люблю этотъ русскій типъ: славные русые волосы, глаза съ поволокой, темноголубые кажется?—и потомъ румянецъ прямо деревенскій; впрочемъ, она должна быть дѣвочка съ характеромъ: у нея тонкія, круто-загнутыя брови.

— Когда ты успѣлъ такъ разсмотрѣть ее? съ досадой спросила баронесса.

— Ты знаешь, что я при первой встрѣчѣ всегда обращаю вниманіе на выраженіе лица; надобно знать человѣка, съ которымъ встрѣчаешься, въ особенности женщину.

— И ты узналъ Варинькy?

— Да, у нея, кажется, экзальтированная головка, которую можно вскружить въ недѣлю.

— Фатъ! ты это можешь, я тебя знаю.

— Къ чему! сказалъ онъ.

— Да хоть къ тому, чтобы заставить страдать по себѣ. Тутъ она закашлялась.

— Пойдемъ, Лидія, сыро, тебѣ вредно, сказалъ Тамаринъ.

И они ушли.

«Ты не повѣришь, какъ этотъ разговоръ разсердилъ меня! Я деревенская дѣвочка, съ экзальтированной головкой, которую можно вскружить въ недѣлю! я, которая двѣ зимы не знала, что дѣлать съ поклонниками, и ни одного изъ нихъ не любила! Не слишкомъ ли много вы берете на себя, Мг. Тамаринъ? посмотримъ, кто кому вскружитъ голову: деревенская ли дѣвочка побѣдоносному демону, или онъ ей! Возвращаясь въ комнаты, у меня явилось ужасное желаніе отомстить Тамарину: въ эту минуту я его ненавидѣла, какъ и ты. Я сдѣлала такъ, что онъ съ нами познакомился, и вчера цѣлый день пробылъ у насъ. У него оригинальный умъ и взглядъ на вещи; я очень весело провела съ нимъ время, и признаюсь, была съ нимъ любезнѣе, чѣмъ съ кѣмъ нибудь. Ты не повѣришь, какъ мнѣ хочется отомстить ему. Maman взяла съ него слово, что онъ станетъ ѣздить къ намъ.

«Володя бываетъ у насъ почти каждый день и попрежнему вздыхаетъ обо мнѣ. Toute à toi.

Barbe.»

V.

Дни шли за днями, и немного прошло дней, а много измѣнили они Варинькy. Тамаринъ чаще началъ бывать у нихъ. Въ тихіе, темные іюньскіе вечера, долго хаживалъ онъ съ ней по тѣнистому саду, и рѣчь ихъ была оживлена и непрерывна, и добрая Мавра Савишна, сидя на террасѣ съ вѣчнымъ чулкомъ, съ любовью смотрѣла на свою Варинькy. О чемъ была ихъ рѣчь, не знаю; но говорилъ и правилъ ею бо́льшею частію Тамаринъ. Мало по малу онъ терялъ свой офиціальный, всегда холодно-вѣжливый характеръ, онъ становился разнообразнѣе, нецеремоннѣе и натуральнѣе. Иногда онъ былъ веселъ и оживленъ, бойко и рѣзко шелъ острый разговоръ, и звонкій смѣхъ Варинькн долеталъ до слуха Мавры Савишны, и Мавра Савишна была тоже весела и довольна. Чаще Тамаринъ былъ холоденъ и грустенъ; тихо звучала его спокойная и долгая рѣчь; и Варинька становилась задумчивѣе и грустнѣе. Румянецъ блѣднѣлъ на ея розовыхъ щечкахъ, и пристально смотрѣла она своими большими, темными глазами въ блѣдное лицо Тамарина, какъ будто хотѣла вычитать на немъ всю грустную повѣсть его прошедшей жизни, спуститься въ темную глубину души, въ которой рождалась и изъ которой текла эта охлажденная, отравленная горькимъ опытомъ рѣчь. И Мавра Савишна была тогда тоже скучна и безпокойна, и часто спрашивала:

— Здорова ли ты, моя Варинька?

Въ этотъ періодъ, Варинька писала своей подругѣ.

«Какую страшную игру затѣяла я, мой добрый другъ, Надинька! въ какой неровный бой вступила я, какъ много понадѣялась на свои дѣтскія силы! Я хотѣла вскружить голову Тамарину! я, ребенокъ,

неначинавшій жить, я, деревенская дѣвочка, знающая страсти по романамъ, хотѣла вскружить эту голову, выдержавшую не одну бурю, хотѣла играть сердцемъ, выстрадавшимъ грустную твердость, горькое право ничего не биться!

«Нѣтъ, Надинька! не знаешь ты этого человѣка; мое маленькое кокетство, деревенская жизнь, а болѣе желаніе поближе взглянуть на этотъ загадочный характеръ сблизили меня съ нимъ, и я много узнала его, хотя почти совсѣмъ его не знаю! такъ онъ разнообразенъ, такъ новъ, такъ великъ! Нѣтъ, Надинька, ты не знаешь Тамарина. Посмотрѣла бы ты на него, если бы онъ передъ тобой, какъ передо-мною, приподнялъ свою холодную, равнодушную маску, далъ взглянуть на себя такъ, какъ онъ есть!

«Мнѣ страшно, Надинька! Я отказалась давно отъ своей нелѣпой, самонадѣянной идеи, но я узнала Тамарина, и увидѣла въ глаза этого демона, не того тебѣ знакомаго демона гостиной, равнодушнаго эгоиста, который убиваетъ сарказмомъ все, въ чемъ есть тѣнь смѣшнаго, и который во всемъ, если захочешь, найдетъ это смѣшное: нѣтъ, гордаго, мощнаго демона, который велъ страшную борьбу за свое самолюбіе и, побѣжденный, вышелъ изъ битвы съ полнымъ сознаніемъ своей силы! Вотъ демонъ, котораго увидала я, который высказался мнѣ въ нашихъ частыхъ бесѣдахъ, и котораго я боюсь, потому-что какая-то обаятельная сила влечетъ меня къ нему! Теперь я веду другую борьбу: я уже не нападаю, а только защищаюсь... что, если я полюблю его? что, если онъ не полюбитъ? онъ никогда не говоритъ мнѣ о своей любви! можетъ быть, онъ уже не въ состояніи любить!

«Надинька! что тогда будетъ со мной?»

День-ото-дня, Варинька становилась грустнѣе и задумчивѣй; характеръ у ней сдѣлался неровный, часто блѣденькая вставала она по-утру и боялась новой встрѣчи, и рада была, когда пріѣзжалъ къ нимъ Тамаринъ.

— Нѣтъ ли писемъ съ почты? утомленная, нетерпѣливо спрашивала она, когда посланный возвращался изъ города, и ждала отвѣта отъ своей Надиньки, чтобы въ немъ почерпнуть новыя силы. Но отвѣта не было. Тамаринъ тоже наединѣ съ Варинькой (при Маврѣ Савишнѣ онъ былъ всегда одинаковъ) бывалъ часто какъ-будто скученъ, какъ-будто недоволенъ. Разъ онъ пріѣхалъ къ нимъ вечеромъ, блѣднѣе обыкновеннаго, и на его лицѣ выражалось что-то въ родѣ подавленной грусти. Варинька тотчасъ замѣтила это. По обыкновенію, [illegible] подалъ ей руку, и они пошли въ садъ. Тамаринъ [illegible] спросила Варинька, какъ-только они остались одни.

— Что съ вами?

— Мнѣ сегодня грустно, отвѣчалъ Тамаринъ:— скучаю я много; но грусти давно неиспытывалъ, и она тѣмъ больнѣе, что я отвыкъ уже отъ нее.

— Отчего же это? не разстроила ли васъ баронесса? наивно спросила Варинька, не знаю, отъ участія или съ досады.

— Оставьте ее, сказалъ онъ: — когда-то была она мнѣ дорога,—теперь я ей многимъ обязанъ; но она для меня какъ и всѣ;—я только могу быть благодаренъ ей.

— Благодарнымъ за любовь? Вѣдь она васъ любитъ! развѣ за любовь можно платить благодарностью.

— Что́жъ мнѣ дѣлать, сказалъ онъ.—Ея любовь не изъ тѣхъ, которыя возбуждаютъ взаимность. Можетъ быть, я слишкомъ самолюбивъ, но я не люблю, когда это чувство уже достается поношеннымъ. Мужчина можетъ любить нѣсколько разъ— его любовь не профанируется этимъ: женская любовь должна быть чиста и невинна, какъ сама женщина; она только имѣетъ высокую цѣну разъ въ жизни—въ первый разъ! оттого-то мнѣ и грустно, что я неиспыталъ этой любви.

— А независимость, которую вы такъ любите? Если за эту любовь вамъ придется заплатить своей независимостью?

— Что̀ это за любовь, которую покупаютъ? спросилъ Тамаринъ.—Развѣ можно купить истинную любовь, и развѣ можетъ существовать любовь, когда есть обязанность любить? Вамъ, можетъ быть, покажется смѣшно, что человѣкъ, испытавшій жизнь, сохранилъ еще дѣтскую вѣру въ возможность чистаго свободнаго чувства. Я васъ не стану увѣрять въ этомъ; но сознаюсь, что, Богъ вѣсть какимъ случаемъ, во мнѣ осталось убѣжденіе въ этой возможности,—можетъ быть оттого, что это была первая самая счастливая мечта моей юности, которая, вѣроятно, не сбудется, какъ и всѣ слишкомъ обольстительныя мечты. По крайней мѣрѣ до сихъ поръ она неосуществилась. Меня никто не любилъ этой любовью, которая не выпрашивается волокитствомъ, не возбуждается насильственно-романтическими чувствами, театральными положеніями. Подобная любовь приходитъ сама-по-себѣ, не разсуждаетъ: кончится ли она, какъ въ нравственныхъ повѣстяхъ, законнымъ бракомъ, не будетъ ли предосудительна въ глазахъ свѣта. Любовь, которая разсуждаетъ, уже не любовь. Эта любовь дается немногимъ; этой любовью любятъ человѣка со всѣми его недостатками, слабостями, пороками, любятъ его на-перекоръ разсудку, свѣту, приличіямъ: отдаются ему, какъ дитя отдается матери, безъ мысли, что онъ можетъ употребить во зло довѣренность, думая даже, что зло отъ него есть добро. Вотъ любовь, о которой я мечталъ и въ которую вѣрилъ. Но когда пройдешь пол-жизни, пройдешь просто куда ведетъ судьба, не драпируясь ни въ какія чувства, не становясь ни на какія ходули, называя въ глаза всякую вещь ея именемъ, и когда на всемъ пути не встрѣтишь [illegible] которое бы всмотрѣлось въ [illegible] ни одного существа, [illegible] сказало: я люблю тебя! тогда рождается горькое убѣжденіе, что не стоишь ты этого чувства, что самолюбіе обмануло тебя, что не выходишь ты на палецъ выше этой дюжины, которая идетъ вмѣстѣ съ то-

бою, шныряетъ по сторонамъ да выпрашиваетъ и вымаливаетъ такъ называемую любовь, какъ татаринъ съ козой и медвѣдемъ мѣдный грошъ у русскаго мужика!

Тамаринъ остановился и закашлялся: мнѣ кажется, желчь душила его; онъ опустилъ руку Вариньки, сѣлъ на скамью, закинулъ голову назадъ, прислонивъ ее къ дереву, и разсѣянно смотрѣлъ на Вариньку. На лицѣ его не было ни грусти, ни злости: это было блѣдное и спокойное лицо человѣка, который показываетъ доктору свою свѣжую рану и хладнокровно говоритъ: «она смертельна». Странное вліяніе произвели на Вариньку эти слова, въ которыхъ было такъ много грусти и желчи. Ей было жаль Тамарина, грустно и больно за него. Ей казалось, что справедливъ былъ этотъ ропотъ на судьбу уязвленнаго самолюбія, что Тамаринъ стоитъ той высокой любви, о которой говорилъ онъ: ей было досадно, что никто не оцѣнилъ этого человѣка; она возмутилась за него противъ судьбы, и сильнѣе прежняго какая-то невѣдомая ей сила влекла ее къ Тамарину. И добрая Варинька стояла передъ нимъ, какъ добрый духъ надъ умирающимъ грѣшникомъ. Страшная борьба совершилась въ ней. Все ея дѣтское самолюбіе, вся логика чистаго ума, вся женская, въ первый разъ потрясенная гордость, возстали, боролись и гнулись подъ демоническимъ вліяніемъ этого человѣка. Это была битва на-смерть, которая какъ въ зеркалѣ отражалась на лицѣ ея. Варинька была то блѣдна, то румяна; крупныя слезы дрожали на длинныхъ рѣсницахъ; она стояла молча, безъ движенья, безъ мысли, какъ-будто ждала, чѣмъ кончится эта битва, хотя сама не сознавалась, что такъ волнуетъ и тѣснитъ ея грудь. Не знаю, чѣмъ бы кончилась эта нѣмая сцена, если бы Тамаринъ не замѣтилъ наконецъ положенія Вариньки.

Что съ вами? спросилъ онъ ее.

Но Варинька не могла отвѣчать: при первомъ звукѣ его голоса, слезы брызнули у нея изъ глазъ, она закрыла лицо обѣими руками и убѣжала.

Тамаринъ прошелъ раза два по аллеѣ, зашелъ на пять минутъ къ Маврѣ Савишнѣ и уѣхалъ очень довольный собою.

VI.

Было уже поздно, когда Тамаринъ, верхомъ на своемъ Джальмѣ, возвратился домой. Бросивъ лошадь у крыльца, онъ вошелъ въ кабинетъ, раздѣлся, закурилъ папиросу и сѣлъ въ кресла, закинувъ, по обыкновенію, назадъ свою голову.

Въ домѣ была мертвая тишина, дворовые люди всѣ спали, одинъ только камердинеръ дремалъ въ прихожей. На дворѣ было также тихо, какъ и въ домѣ. Это была теплая, безлунная іюньская ночь, съ яркими звѣздами на темномъ небѣ, полная тишины, аромата и поэзіи.

Дверь въ садъ была отворена, но огонь не дрожалъ на свѣчкахъ: такъ покоенъ былъ воздухъ. Тамаринъ сидѣлъ и думалъ. О чемъ онъ думалъ, Богъ вѣдаетъ: это лицо такъ привыкло не выдавать тайныхъ думъ, что и на-единѣ, какъ въ гостиной, оно было, по привычкѣ, холодно, спокойно и безмолвно. Только въ большихъ темныхъ глазахъ было выраженіе. Это не было выраженіе мелочнаго самодовольства, удовлетвореннаго самолюбія. Нѣтъ, въ нихъ было гордое выраженіе человѣка, сознавшаго собственную силу, что-то похожее на торжество оскорбленнаго самолюбія, которому отдали должную справедливость. Свѣтло и гордо смотрѣли эти темные глаза, и странно было ихъ выраженіе, полное жизни на холодномъ, спокойномъ лицѣ, въ пустой, полу-освѣщенной комнатѣ.

Какія мысли проходили тогда въ головѣ Тамарина, какими существами воображеніе его наполнило окружающую его пустоту, на кого смотрѣлъ онъ этимъ гордымъ свѣтлымъ взглядомъ? Рисовалась ли передъ нимъ стройная фигура чистаго, дѣвственнаго существа, которое, забывъ и женскую гордость, и оскорбленное самолюбіе, рыдая прощается съ своей свободой и отдаетъ всю силу первой любви своего непорочнаго сердца, всю гордую, незнавшую принужденія волю ему, Тамарину, котораго Варинька почти не знаетъ, который не выстрадалъ права на ея любовь, который даже мимоходомъ не сказалъ ей, что онъ ее любитъ, что онъ будетъ любить ее, что онъ оцѣнитъ всю великость незаслуженнаго дара, не употребитъ во зло своей некупленной власти? Или передъ его внутреннимъ очами рисовалась другая картина: картина его прошедшей, невѣдомой намъ жизни, должно быть бурной и обильной происшествіями жизни, въ которой выработался этотъ твердый, холодный характеръ, выдержался сильный умъ,— жизни, которая должна была разбить его, и изъ которой онъ вынесъ новыя силы?

Богъ вѣдаетъ, о чемъ думалъ Сергѣй Петровичъ! Чужая душа потемки. Долго сидѣлъ онъ такъ, погруженный въ свои думы, и уже докуривалъ одну за другой третью папиросу; свѣчи пагорѣли; было около полуночи; вдругъ ему послышался шорохъ. Въ темной глубинѣ аллеи, сквозь растворенную дверь, увидѣлъ онъ женскую фигуру въ бѣломъ платьѣ, которая двигалась, поднимаясь въ гору, ближе, ближе, и вотъ она на порогѣ, и свѣтъ ярко обрисовалъ ее на темномъ фонѣ полночнаго неба.

— Баронесса! сказалъ Тамаринъ, вскочивъ и подавая ей руку,—Лидія!

Она молча оперлась на его руку, опустилась въ оставленное имъ кресло и, блѣдная отъ усталости и волненія, нѣсколько минутъ сидѣла молча, съ трудомъ переводя дыханіе.

Она была въ эту минуту очень хороша. На ней былъ бѣлый распашной капотъ, на головѣ легонькой спальный чепецъ, изъ-подъ котораго выбивались небрежно подобранные локоны; лицо было страшно блѣдно, и отъ этого еще рѣзче обозначались прозрачныя синенькія жилки на щекахъ,

ярче горѣли подъ длинными рѣсницами большіе черные какъ смоль глаза. Тамаринъ стоялъ передъ нею, держалъ въ рукахъ ея холодную руку и спокойно ждалъ упрековъ.

— Вы нѣсколько дней не были у насъ, Тамаринъ, вы насъ забыли и я пришла провѣдать васъ, здоровы ли вы, сказала наконецъ баронесса, поднявъ глаза на Тамарина. Видно было, что она хотѣла начать холоднымъ упрекомъ, но въ голосѣ ея была такая болѣзненная жалоба, упрекъ былъ высказанъ такъ робко, что онъ долженъ былъ дойти до души человѣка, у котораго только есть душа.

Тамарину стало жаль баронессы. Эта женщина въ свое время надѣлала ему много зла, но она много его любила, и онъ много простилъ ей; она такъ много его любила, что ему наконецъ нечего уже было прощать ей, и онъ считалъ себя ея должникомъ. И вотъ эта женщина, у которой онъ не былъ только нѣсколько дней, которую онъ забылъ на это время для другой, потому-что другая была новѣе, и поэтому болѣе развлекала его скучающій умъ, эта женщина, одна, въ полночь, приходитъ къ нему и еще разъ рискуетъ безполезно жертвовать добрымъ именемъ, семейнымъ спокойствіемъ для того только, чтобы увидать его и, можетъ быть, выслушать холодное наставленіе. Лицо Тамарина измѣнилось: какъ-будто маска спала съ него; изъ холоднаго и спокойнаго, оно сдѣлалось добрымъ и впечатлительнымъ; онъ взялъ съ дивана шитую подушку, бросилъ ее на полъ и сѣлъ у ногъ баронессы.

— Мы сегодня будемъ на «вы», Лидія? спросилъ онъ ее, глядя на нее привѣтливыми, ласкающими глазами.

Баронесса не выдержала этого взгляда. Въ немъ было чувство, а она не ожидала найти его. Вся ея холодность растаяла отъ бѣдной теплоты этого чувства: она заплакала.

— Тамаринъ! что ты со мной дѣлаешь? за что ты меня бросаешь для этой дѣвочки? развѣ ты любишь ее? спросила она, и Тамарину было слышно, какъ сердце билось у ней въ груди?

— Нѣтъ, сказалъ онъ.

— Право?

Тамаринъ задумался.

— Говори, Бога ради, говори!

— Нѣтъ, не люблю, сказалъ онъ.

Баронесса вздохнула свободно: вся кровь, которая прилилась и держалась у ея сердца, отступила отъ него, и легкій румянецъ заигралъ на щекахъ.

— Не любишь?.. Я тебѣ вѣрю: ты никогда, никогда не обманываешь! Зачѣмъ же ты забылъ меня? вѣдь ты три дня не былъ у насъ! вѣдь ты не можешь представить себѣ, что я выстрадала въ эти дни! я уже думала, что ты полюбилъ Вариньку. Теперь я знаю, тебѣ съ ней было веселѣе: вѣрно она полюбила тебя, или еще боится тебя любить; все равно, она тебя полюбитъ: тебя нельзя не любить, если ты этого захочешь; у тебя столько ума, столько странной привлекательности, что я тебя знаю три года, и ты для меня все новъ, какъ тогда, помнишь, какъ въ первый разъ ты съ своей насмѣшкой и равнодушіемъ явился между моими поклонниками!

Она наклонилась къ Тамарину, одной рукой обняла его шею, а другой играла его мягкими свѣтлорусыми волосами.

— Послушай, ты знаешь, какъ я люблю тебя: я тебя люблю, не смотря на то, что ты меня не любишь: Богъ знаетъ, чѣмъ ты умѣлъ привязать меня къ себѣ! Нѣтъ вещи, которой бы я для тебя не сдѣлала, нѣтъ жертвы, которой бы не принесла тебѣ. За все это ты мнѣ никогда ничего не далъ, кромѣ страданій и я не ропщу на тебя: ты отъ меня не слыхалъ ни одного упрека, да ты и не виноватъ ни въ чемъ: ты уже такъ созданъ. Но теперь, разъ, въ первый разъ въ жизни, у меня есть къ тебѣ просьба;—выполнишь ее?

Баронесса еще ближе наклонилась къ Тамарину; локоны ея доставали ему до лица; она опрокинула нѣсколько назадъ его голову и смотрѣла ему прямо въ глаза умоляющими глазами.

Тамаринъ улыбнулся.

— Тебѣ хочется, чтобы я отказался отъ Вариньки?

— Да! сказала баронесса робко.

— Дитя! не все ли тебѣ равно, любитъ ли она меня, или не любитъ? Я не люблю ее и не буду любить, потому-что для этого надо жертвовать тобой, а тобой я не пожертвую ни для кого на свѣтѣ. Ты это знаешь. Да и врядъ ли я ужь могу любить: чтожъ тебѣ до Вариньки?

— Нѣтъ! Бога ради, оставь ее, я тебя умоляю всѣмъ, что тебѣ дорого! я умоляю тебя объ этомъ для тебя же. Когда я въ первый разъ увидала ее, у меня стѣснилось сердце отъ какого-то дурнаго предчувствія; мнѣ кажется, что она должна обоимъ намъ принести несчастіе. Да и что тебѣ въ ея любви? Развѣ она сможетъ любить тебя, какъ я, развѣ у нея на это достанетъ силъ? вѣдь твоя любовь тяжела: ее не всякая выдержитъ! и потомъ, она не выстрадала права на эту любовь, она не поймѣтъ, какъ надо любить тебя: она возмутится противъ твоего деспотизма. И потомъ, знаешь ли, мнѣ жаль ее. Подумай, что съ ней будетъ! Она горда: у ней, ты самъ сказалъ, много характера. Если она возстанетъ противъ тебя, она разобьется о твою желѣзную волю; если она не устоитъ, я знаю, ты благороденъ, ты не употребишь во зло ея довѣренность... но есть жертвы болѣе матеріальной жертвы, которую можетъ принести дѣвушка: жертва спокойствіемъ жизни, волей, отреченіемъ отъ всего, что не ты... и это ждетъ ее. Развѣ тебѣ мало одной меня?

Она сказала это слово просто, безъ упрека, безъ жалобы: какъ будто такъ и слѣдовало быть ей его жертвой, какъ будто такъ ей и на роду ужь было написано! но много въ этихъ словахъ было

любви и просьбы—и не въ однихъ словахъ: въ ея взглядѣ, положеніи, наконецъ въ ея жаркомъ и прерывистомъ дыханіи, которое чувствовалъ Тамаринъ на своемъ лицѣ.

Тамаринъ молчалъ: очевидно было, что какія-то разнородныя мысли боролись въ его умѣ, потомъ онъ посмотрѣлъ на баронессу и сказалъ:

— Хорошо; завтра...

Она не дала докончить послѣднія слова и заглушила ихъ поцѣлуями.

Было уже поздно, такъ поздно, что становилось рано, когда Тамаринъ, подъ руку съ баронессой, спускались подъ гору по аллеѣ; онъ пошелъ проводить ее до дому; на небѣ еще не начинало свѣтать, но это было то темное утро, которое предшествуетъ разсвѣту. Она, закутанная въ турецкую шаль, шла медленно, прижавшись къ рукѣ Тамарина, какъ будто ей не хотѣлось разстаться съ нимъ. Онъ шелъ тихо, своей лѣнивой походкой, какъ человѣкъ, который взялъ всѣ наслажденія сегодня, и котораго ждетъ непріятное завтра.

VII.

Варинька встала поздно. Бѣдненькая, она не спала почти всю ночь. Страшно было ей одной мысли — любить Тамарина: она чувствовала, что природа дала ей любви только на одинъ разъ, и что за то велика должна быть эта единственная любовь. Она недавно еще замѣтила возможность любви, но ей уже было жаль отдать ее, разстаться съ сокровищемъ, которымъ только можетъ располагать разъ въ жизни. Еще страшнѣе ей было отказаться отъ любви къ Тамарину. Ей казалось, что никогда она не встрѣтитъ столько же богатой, прекрасной натуры, что никто, кромѣ его, не будетъ достоинъ ея сокровища, что умретъ безъ него ея любовь, какъ безполезный даръ, какъ зарытыя въ землю деньги скупаго. И долго совершалась въ ней внутренняя борьба. Нѣсколько разъ она собирала всѣ силы воли и убѣжденій разсудка, чтобы защитить себя отъ рождающейся любви; и нѣсколько разъ и воля, и убѣжденія ума раздроблялись объ прихоти сердца, которое билось подъ вліяніемъ Тамарина.

Къ утру она уснула, но и во снѣ, какъ на яву, ей слышалась тихая обворожительная рѣчь, видѣлся знакомый милый образъ.

Она встала, какъ я сказалъ, уже поздно, со всѣмъ тѣмъ она чувствовала какую-то болѣзненную томность и, вмѣстѣ, пріятную теплоту. Никогда она не была такъ интересна. Щеки ея были блѣднѣе обыкновеннаго, темноголубые глаза — томны, устали, какъ послѣ борьбы; но борьбы въ нихъ уже не было!..

Горничная подала Варинькѣ письмо: оно было отъ Надиньки; съ любопытствомъ, но безъ нетерпѣнья Варинька распечатала его и читала:

«Ты ли это писала ко мнѣ, Варинька? Ты ли, гордая, неприступная, боишься человѣка, который хвастался, что онъ вскружитъ тебѣ голову? Чтожь онъ въ самомъ дѣлѣ за демонъ, что успѣлъ до такой степени пріобрѣсти надъ тобой вліяніе? Чѣмъ онъ околдовалъ тебя? Какъ ты не видишь, что все въ этомъ человѣкѣ просто ложь? Онъ, съ своей баронессой, просто хотѣли посмѣяться надъ тобой, а ты ему вѣришь. Ты была предупреждена его хвастовствомъ и допускаешь обманывать себя. Какъ ты не расхохоталась ему въ глаза при первой его сантиментальной фразѣ! Я знаю, Тамаринъ мастерски притворяется. У него лицо необыкновенно послушно. Оно или ничего не выражаетъ, или выражаетъ то, что онъ хочетъ. Оно будетъ разстроено, спокойно, блѣдно, весело — на-перекоръ тому, что онъ чувствуетъ. Знаешь ли, до какой степени онъ владѣетъ собою? Здѣсь были проѣздомъ два петербургскіе актера. Мы были въ театрѣ, въ бенуарѣ; онъ въ креслахъ, возлѣ нашей ложи. Давали Отелло и играли прекрасно: у всѣхъ были слезы на глазахъ: онъ сидѣлъ очень веселый. «Вамъ не нравится игра?» спросила я его въ антрактѣ? Напротивъ, отвѣчалъ онъ:—пьеса шла удивительно хорошо для провинціальнаго театра. Незамѣтно, сказала я, чтобы она васъ разстроила. Онъ разсмѣялся. Послѣ этого давали водевиль. Въ самой уморительной сценѣ, когда хохоталъ весь театръ, онъ, блѣдный, разстроенный, со слезами на глазахъ обратился ко мнѣ.—Что съ вами? спросила я его. «Я вамъ хотѣлъ доказать, что умѣю быть чувствительнымъ, отвѣчалъ онъ и засмѣялся. Вотъ въ чемъ сила твоего демона, который для самолюбія, изъ эгоизма готовъ сдѣлать все на свѣтѣ. Теперь я спокойна: я увѣрена, что ты другими глазами взглянешь на него и сама надъ нимъ посмѣешься. Насмѣйся надъ нимъ, хорошенько насмѣйся, какъ ты можешь смѣяться, если бы тебѣ не мѣшало твое доброе сердечко. Этого человѣка не стоитъ жалѣть. Варинька, другъ мой, одурачь его хорошенько.

Прощай.

Toute à toi. Nadine».

«P. S. Володя Имшинъ опять здѣсь. Какъ тебѣ не жалко этого мальчика? Онъ тебя истинно любитъ. Онъ говорилъ мнѣ, что ты все занята Таминымъ, а на него не обращаешь вниманія, и что отъ этого онъ уѣхалъ. Лучше бы ты сдѣлала, еслибы слушала Володю; если онъ не говоритъ такъ хорошо и занимательно какъ Тамаринъ, за то онъ говоритъ, что чувствуетъ; а истинное чувство по-мнѣ лучше красивыхъ ложныхъ фразъ.»

Варинька прочла письмо, задумалась и сказала «поздно!» Потомъ она посмотрѣлась въ зеркало, увидѣла свое блѣдное и интересное личико, такъ измѣнившееся въ одну ночь, и грустно улыбнулась,—потомъ сошла внизъ къ матери, сѣла подъ окошко и думала, «за что Надинька не любитъ *моего* Тамарина, а сама смотрѣла на дорогу и слушала, не раздается ли топотъ знакомаго коня.

Не знаю, дѣйствительно ли Тамаринъ въ этотъ

день пріѣхалъ позже обыкновеннаго, или время въ первый разъ въ жизни казалось нестерпимо длинно нетерпѣливой Варинькѣ, только ей казалось, что она уже цѣлый вѣкъ въ раздумьи просидѣла у отвореннаго окна, когда вдали, верхомъ на сѣромъ Джальмѣ, показался Тамаринъ.

Онъ ѣхалъ медленной рысью; видно было, что онъ не торопился къ своей Варинькѣ, которая ждала его съ такимъ нетерпѣніемъ. Да и зачѣмъ было ему торопиться? Убить только-что зародившуюся первую любовь? Дать горя можетъ быть на пол-жизни, не давъ ни одной радости? Оттолкнуть отъ себя чистую неопытную дѣвочку, въ то время, когда она съ краской на лицѣ, съ замирающимъ сердцемъ, готова сказать первое люблю. Онъ еще успѣетъ это сдѣлать; еще рано, еще до обѣда у баронессы Сергѣю Петровичу остается два часа.

Когда Варинька увидала вдали знакомаго ей сѣраго коня, она вспыхнула, отодвинулась отъ окошка, сѣла за рояль и начала перебирать первыя попавшіяся ноты. Вскорѣ собачка Мавры Савишны залаяла, отворилась дверь, и вошелъ Сергѣй Петровичъ.

Онъ былъ какъ и всегда: одѣтъ прекрасно. Тоже блѣдное, холодное лицо, съ большими темными глазами и волнистыми черными усиками, таже насмѣшливо-веселая улыбка на устахъ, таже простота и граціозность въ лѣнивой походкѣ и движеніяхъ, которыя дѣлали его типомъ du comme il faut.

Ни тѣни безпокойства, ни тѣни думы на спокойномъ челѣ, какъ будто бы онъ пріѣхалъ на именинный обѣдъ.

Сергѣй Петровичъ поклонился Варинькѣ, сказалъ ей двѣ-три пустыя фразы и перешелъ въ другую комнату, къ Маврѣ Савишнѣ. Мавра Савишна приподняла очки и ласково привѣтствовала Сергѣя Петровича. Потомъ онъ подсѣлъ къ ней, спросилъ ее о здоровьѣ, а она поблагодарила его и спросила, началось ли у него жнитво, и зашелъ разговоръ о хозяйствѣ. Мавра Савишна входила во всѣ подробности и тонкости его; Сергѣй Петровичъ отвѣчалъ общими мѣстами, но такъ твердо и увѣренно, какъ будто весь вѣкъ просидѣлъ на запашкѣ. Такъ прошло съ четверть часа. И вдругъ между фразой: 60 сноповъ съ десятины и умолотъ самъ-семъ, зазвучалъ виртовскій рояль, и изъ другой комнаты послышалась пѣсня Вариньки. Мавра Савишна не докончила фразы и опустила чулокъ: она не узнала голоса Вариньки! въ немъ была такая полнота звуковъ, такая сила, такой грустный и вырвавшійся изъ души плачъ, какого она никогда не слыхала. И странна показалась ей эта перемѣна въ голосѣ дочери, безотчетно забилось сильнѣе обыкновеннаго ея любящее, материнское сердце, и опустила она чулокъ, и не окончила фразы, и задумалась Мавра Савишна, слушая пѣсню своей Вариньки. Замѣтилъ эту перемѣну и Сергѣй Петровичъ, но онъ не задумался, и сердце его не забилось сильнѣе обыкновеннаго. Онъ зналъ, что для него поется эта пѣсня, и слушалъ ее съ вниманіемъ дилетанта, который послѣ добраго обѣда сидитъ очень комфортно въ итальянской оперѣ и знаетъ, что для него поютъ и Віардо и Рубини, потому что онъ заплатилъ за это 8 рублей серебромъ. Однако, подъ конецъ и онъ какъ-будто задумался: едва замѣтная морщина темной, отвѣсной чертой обрисовалась между бровей на блѣдномъ лбу; но это продолжалось недолго. Голосъ смолкъ, Тамаринъ всталъ, встряхнулъ свѣтлыми кудрями и какъ будто этимъ движеніемъ сбросилъ темную думу. Веселый и спокойный, онъ подошелъ къ Варинькѣ.

— Вы сегодня особенно въ голосѣ, Варвара Александровна: вы пѣли такъ хорошо, такъ хорошо, что мнѣ невольно пришла въ голову нескромная догадка.

— Интересно было бы узнать, что̀ это за догадка? спросила Варинька.

— Я васъ предупредилъ, что она нескромна.

— Все равно, посмотримъ; я любопытна какъ мужчина....

— И хотите, чтобъ я былъ болтливъ какъ женщина.

— Благодарю за комплиментъ; однакожь, ваша догадка?

— Я думаю, что такъ пѣть, какъ вы сегодня пѣли, можетъ только та, которая любитъ.

Варинька два раза измѣнилась въ лицѣ.

— Такъ вы думаете, что я влюблена? сказала она смѣясь.

— Почти убѣжденъ, отвѣчалъ Тамаринъ.

— Въ кого же, напримѣръ?

— Да хоть бы въ Володю Имшина.

Вмѣсто отвѣта, Варинька улыбнулась насмѣшливо, выдвинувъ впередъ нижнюю губку.

— Если эта улыбка чистосердечна, такъ я не хотѣлъ бы быть на мѣстѣ Имшина, а между тѣмъ онъ не заслужилъ ея, сказалъ Тамаринъ.

— Давно ли вы къ нему такъ расположены?

— Не столько къ нему, сколько къ вамъ.

— Объясните пожалуйста: это что-то не совсѣмъ ясно.

— Съ удовольствіемъ, но это немного походитъ на наставленіе, и крайне неблагодарно платить этимъ за ваше пѣніе.

— Хоть я и несовсѣмъ люблю наставленія, но думаю, что мое пѣніе не стоитъ большой платы; объясните же.

— Вотъ видите ли, въ природѣ ужь такъ заведено, что по крайней мѣрѣ разъ въ жизни, а случается и больше, мы непремѣнно должны любить.

— Почему жь и непремѣнно?

— Да хоть потому, что любовь есть жизнь сердца; а какъ человѣкъ, чтобы жить вполнѣ, долженъ жить и умомъ и сердцемъ, слѣдовательно онъ долженъ любить. Не правда ли, что это ясно?

Варинька вполнѣ была бы убѣждена и безъ силлогизмовъ, потому-что сердце ея сильно билось въ груди; она догадывалась, что разговоръ идетъ

къ какой-то цѣли, и съ тайной надеждой слушала Тамарина; только страненъ и непріятенъ казался ей тонъ его разговора.

— Очень ясно, дѣло идетъ объ Имшинѣ, сказала Варинька.

— Да, или, точнѣе, объ васъ. Разъ въ жизни— если вы еще никого не любили, то вамъ прійдется любить, и для вашего счастья я желалъ бы, чтобы вы полюбили Володю.

— Отчего же именно его?

— Оттого, что онъ простой и добрый малый: отъ жизни и любви онъ требуетъ немногаго. Я завидую людямъ, созданнымъ какъ онъ. Онъ васъ любитъ и будетъ любить просто, безъ претензій, безъ тяжелыхъ требованій. Вы во всемъ выше его, и потому сохраните надъ нимъ больше вліянія. Въ любви, какъ и въ дружбѣ, одинъ непремѣнно рабъ другаго. Поэтому, если можно выбирать, такъ лучше быть господиномъ, чѣмъ слугой. Вы его тоже полюбите, потому-что его не за что не любить, будете счастливы, женитесь, а меня возьмете въ шаферы.

Варинькѣ было досадно, а между тѣмъ она невольно улыбнулась: ей вспомнилось письмо Наденьки, въ которомъ она заступалась за Володю.

— Знаете ли, Мг. Тамаринъ, что не вы одни хлопочете за Имшина: я недавно получила письмо, въ которомъ мнѣ даютъ почти такіе же совѣты.

— Не отъ вашей ли подруги, Надежды Васильевны?

— Вы угадали.

— Очень радъ, что хоть разъ въ жизни сошелся съ ней въ мнѣніяхъ; но я говорю серьёзно: отчего вамъ не любить Володю?

— Хорошо, и я вамъ буду отвѣчать серьёзно: — развѣ можно заставить себя любить кого-нибудь? Да и за что же любить Имшина?

— Любовь — привычка; повѣрьте, можно любить каждаго: — нужно только немного доброй воли. За что? вы спрашиваете. За то, что у него доброе, неиспорченное сердце; за то, что онъ очень недуренъ собой и любитъ васъ, какъ только умѣетъ любить.

— Должно сознаться, огромныя права! сказала Варинька съ досадой. — Послушайте, я буду съ вами говорить откровенно, хотя вы, можетъ быть, этого и не стоите, потому-что сейчасъ высказали обидное мнѣніе обо мнѣ. Неужели вы думаете, что я такъ мало цѣню свою любовь, что брошу ее первому влюбленному мальчику за то, что у него розовыя щеки и доброе сердце? Вы ошибаетесь, Мг. Тамаринъ, если думаете, что я такъ низко цѣню себя. Если я полюблю кого-нибудь, такъ полюблю человѣка, а не хорошенькаго мальчика,—человѣка, который бы стоилъ моей любви и зналъ ей цѣну, точно также, какъ зналъ бы цѣну и себѣ, — человѣка, которому бы свѣтъ и люди извѣстны были не по наслышкѣ, и который бы понималъ, что любовь иной деревенской дѣвочки можетъ быть и глубока, и сильна! Щеки Варинькины раскраснѣлись, голосъ дрожалъ, и на глазахъ готовы были навернуться слезы отъ грусти и досады. Она была хороша до того, что я бы упалъ передъ ней на колѣни, а Сергѣю Петровичу хотѣлось улыбнуться. Слова Варинькины хоть не были согласны съ его желаніемъ, но они ему тайно льстили: въ нихъ онъ уже видѣлъ свое вліяніе, а въ послѣднемъ намекѣ прочелъ болѣе любви и досады, чѣмъ правды. Но, вмѣсто улыбки, лицо его сдѣлалось грустнѣе.

— Вы меня не поняли, Варвара Александровна, и нашли обидный смыслъ въ словахъ, которыя были высказаны изъ желанія добра, изъ искренняго желанія добра. Кто вамъ говоритъ, что вы не стоите человѣка и съ глубокимъ умомъ, и съ высокой душею, — человѣка, который и жилъ, и страдалъ, и, какъ вы говорите, зналъ бы цѣну себѣ? Я не сомнѣваюсь, вы достойны такого человѣка и съумѣли бы любить его. Но знаете ли, каковъ этотъ человѣкъ? Онъ съ умомъ, съ душой, и знаетъ себѣ цѣну, а слѣдовательно онъ уже гордъ, самолюбивъ; видѣлъ свѣтъ и людей не въ однихъ романахъ: этого слишкомъ достаточно, чтобы быть эгоистомъ; жилъ и страдалъ — значитъ много, много утратилъ и живыхъ силъ, и теплыхъ вѣрованій, и свѣтлыхъ надеждъ. Нѣтъ; Варвара Александровна, вѣрьте мнѣ, не ищите подобныхъ людей: они далеко выходятъ изъ дюжины и посредственности; разъ сойдясь съ ними, вамъ Имшины покажутся мелки и ничтожны; но тяжела встрѣча съ подобными людьми! для нихъ созданы женщины свѣтскія, которыя любятъ по мѣркѣ, владѣютъ и своей мыслію, и своими чувствами, или другія женщины, какъ они же, выстрадавшія опытность, закаленныя въ горѣ, для которыхъ не ново никакое страданіе, которыя не разобьются ни отъ какого столкновенія. Любовь этихъ людей — тиранія; требованія невыносимы: они не дадутъ вамъ ничего, кромѣ страданій; вѣрьте мнѣ, Варвара Александровна, умѣйте довольствоваться немногимъ, и вы будете счастливы; если же вы встрѣтите подобнаго человѣка, отвернитесь отъ него, пока есть время, и трижды отрекитесь отъ всякаго къ нему чувства!

Трудно передать, что въ это время было съ Варинькой; она чувствовала, что въ словахъ Тамарина много правды, но не они пугали ее: ее пугала цѣль этихъ словъ; она смутно догадывалась, что Тамаринъ приготовляетъ ее къ чему то недоброму; мучительное сомнѣніе тяготило ее; она рѣшилась скорѣе выйти изъ него къ чему бы то ни было, и обратилась къ Тамарину.

— Послушайте! сказала она:—въ вашихъ словахъ много правды, но они ничего не доказываютъ: одна любовь мало требуетъ и мало даетъ, другая требуетъ много, зато и даетъ много. Скажите же прямо, къ чему вы мнѣ говорили все это?

И Варинька пристально смотрѣла въ глаза Тамарину, какъ-будто въ нихъ хотѣла вычитать его

тайную мысль; но глаза его ничего не высказывали.

— Я желаю вамъ добра и счастія, и хотѣлъ только предупредить васъ, сказалъ онъ.

— Въ любви, я думаю, есть одно самое страшное несчастіе, когда ея не раздѣляютъ, сказала Варинька не подумавши: если бы я встрѣтила человѣка, выходящаго изъ толпы, — человѣка, который и жилъ, и страдалъ, и уже усталъ отъ этой жизни: какъ вы думаете, могъ ли бы онъ полюбить меня?

Варинька старалась высказать этотъ вопросъ шутя, какъ ничего незначащую фразу; губы ея улыбались, но онѣ были блѣдны; она разсѣянно смотрѣла на Тамарина, но, сдѣлавъ вопросъ, сама испугалась его. Ей до сихъ поръ не приходило на мысль, что Тамаринъ искалъ ея любви; онъ давно увѣрялъ ее, что не любитъ баронессы, что никого не любитъ, она ему вѣрила и боялась только своей любви, а никакъ не его равнодушія. Но предъидущій разговоръ смутилъ ее; сомнѣніе уже запало въ ея душу, и вдругъ ее поразила мысль: что, если Тамаринъ откажется почему-либо отъ ея любви? что, если онъ скажетъ, что не любитъ ее, что не можетъ ее любить? И Варинька, какъ приговоренная, ждала отвѣта, а между тѣмъ блѣдное личико ея улыбалось и рука разсѣянно перебирала клавиши.

Непріятно было положеніе и Сергѣя Петровича: что ни говорите, а отказаться отъ любви молоденькой, хорошенькой дѣвочки, особенно въ то время, когда никѣмъ не занятъ, зная, что этимъ разобьешь ея первыя мечты, принесешь много, много горя, должно быть не весело. Впрочемъ, не знаю! со мной подобныхъ вещей не бывало. Но, думаю, невесело! потому то и Сергѣй Петровичъ задумался. Въ другое время онъ бы отдѣлался какой-нибудь двусмысленной фразой или обниакомъ; но тутъ другое дѣло: онъ далъ слово баронессѣ отказаться отъ Вариньки и долженъ былъ сдержать его. Впрочемъ, Сергѣй Петровичъ думалъ недолго; это было не въ его характерѣ.

— Если бы вы встрѣтили подобнаго человѣка, сказалъ Тамаринъ:—онъ бы васъ не полюбилъ.

— Отчего же это? робко спросила Варинька.

Въ это время дверь отворилась, и вашъ покорнѣйшій слуга своимъ пріѣздомъ нечаянно прервалъ ихъ разговоръ.

По утру мнѣ вздумалось побывать у Сергѣя Петровича; его я не засталъ дома и проѣхалъ къ Маврѣ Савишнѣ. Я еще тогда ничего не зналъ, что творится вокругъ меня, и въ невинности души не думалъ, что пріѣхалъ не во-время. Но, видно, мнѣ было на роду написано играть роль въ этой грустной комедіи. У меня Варинька видѣла въ первый разъ Тамарина, я познакомилъ его съ ними, и я долженъ былъ еще разъ олицетворить собою тотъ случай, который всегда является неожиданно въ пятомъ актѣ драмы, для развязки.

Я поздоровался съ Варинькой; но ея блѣдное, взволнованное личико поразило меня.

— Что съ вами, Варвара Александровна? спросилъ я:—вы сегодня ужасно блѣдны.

— У меня съ утра болитъ голова, отвѣчала она:—ничего, это пройдетъ.

Я догадался, что творится что-то недоброе для моей Вариньки, и съ невольнымъ упрекомъ посмотрѣлъ на Сергѣя Петровича. Онъ въ это время закуривалъ папироску и съ обыкновенной флегмой протянулъ мнѣ свою маленькую руку.

— Здравствуйте, Иванъ Васильичъ! откуда вы?

— Я былъ у васъ.

— Жалѣю, что сдѣлали напрасный визитъ.

— Не совсѣмъ напрасный!—отвѣчалъ я: — при мнѣ привезли къ вамъ письмо изъ Лункина, и я взялся его доставить.

При этомъ я вынулъ изъ кармана письмо и отдалъ его Сергѣю Петровичу.

Письмо было отъ баронессы: я узналъ его по почерку и облаткѣ и нарочно взялъ съ собой, чтобы отдать при Варинькѣ: мнѣ казалось, что Тамаринъ обманывалъ ее, скрывая свои сношенія съ баронессой, и я хотѣлъ его вывести на свѣжую воду; но письмо произвело только эффектъ на Варинькy: она вспыхнула какъ румяная заря; а Сергѣй Петровичъ посмотрѣлъ на адресъ, попросилъ позволенія прочесть и отошелъ въ сторону...

Я смекнулъ, что дѣло не обойдется безъ объясненій, и ушелъ поскорѣе къ Маврѣ Савишнѣ.

VIII.

Сергѣй Петровичъ распечаталъ конвертъ и вынулъ два почтовыхъ листа, кругомъ исписанные; онъ нашелъ не простую записку, какъ онъ могъ думать, а огромное письмо; а это ему, кажется, не понравилось, потому что на его гладкомъ лбу пробѣжала отвѣсная морщина — единственный признакъ его неудовольствія или думы. При шелестѣ развернутой бумаги, Варинька невольно взглянула на письмо: оно было исписано вдоль и поперегъ, какъ пишутъ только женщины; почеркъ тонкій, бумага какъ батистъ, которая можетъ разорваться отъ одного прикосновенія мужскаго пера. Она сообразила все это въ мгновеніе и не могла остаться долѣе въ комнатѣ; ей стало душно. Она отворила дверь на террасу и вышла въ садъ.

Тамаринъ читалъ:

«Мои предчувствія сбылись: любовь этой дѣвочки принесла мнѣ несчастіе. Я погибла, Тамаринъ, погибла, потому-что разстаюсь съ тобой, быть можетъ на-всегда! Мужъ мой узналъ все; онъ везетъ меня. Вокругъ меня увязываютъ вещи, готовятъ экипажъ; люди не понимаютъ причины отъѣзда и ходятъ какъ растерянные; баронъ бранитъ ихъ. Но какое мнѣ до нихъ дѣло! Я сказала, что лягу спать, заперлась на ключъ, и пишу къ тебѣ. Го-

лова моя кружится, а мнѣ надо сказать тебѣ многое, многое; это, быть можетъ, мое послѣднее письмо; Богъ знаетъ, увидимся ли мы еще!

«Тяжело припоминать то, что лежитъ пятномъ на совѣсти, что хотѣлось бы забыть на вѣкъ: но я все, все припомню предъ долгой, а можетъ быть и вѣчной разлукой. Не знаю, анализировалъ ли ты себя, слѣдилъ ли за страннымъ переворотомъ, который совершился въ тебѣ, или тебѣ было лѣнь заняться собою и ты къ себѣ охладѣлъ, какъ и къ другимъ? Но я, я знаю тебя, я знаю тебя лучше, чѣмъ ты самъ; любовь дала мнѣ то двойное зрѣніе, которымъ читаютъ всю внутреннюю жизнь человѣка; ею я поняла твое прошлое также, какъ настоящее, съ ужасомъ уразумѣла ту роль, которую когда-то играла въ твоей жизни, и съ грустью поняла то, чѣмъ я стала теперь для тебя.

Помнишь, когда сошлись мы въ первый разъ? Я была невѣстой, съ громкимъ именемъ и хорошенькимъ личикомъ; ты былъ только-что выпущенъ въ офицеры: тебя тогда уже товарищи называли демономъ: они не знали, сколько было вѣрнаго въ этомъ имени, а дали тебѣ его потому, что видѣли твой умъ, вездѣ, во всемъ одинъ только умъ; но они не видали твоего сердца, а у тебя было чудное сердце, нѣжное и раздражительное до болѣзненности. Я сама тогда не знала и не понимала его. Ты полюбилъ меня—за что, не знаю,—но ты меня полюбилъ такъ, какъ никогда не любилъ прежде и какъ теперь не въ состояніи больше любить. Послѣ, гораздо послѣ, въ долгіе дни разлуки съ тобой, я поняла эту любовь. Ты мнѣ нравился, мнѣ нравилось твое спокойное, благородное лицо, невольно обворожала твоя страстная, увлекательная рѣчь, которая составляетъ твою главную прелесть; но я любила той вѣтренной любовью, которая ни къ чему не обязываетъ, и у женщинъ начинается за мазуркой, а кончается вмѣстѣ съ зимою, а у мужчинъ называется волокитствомъ. Въ это время баронъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе; онъ былъ богатъ, у моихъ родныхъ не было ничего, кромѣ долговъ и громкаго имени; онъ былъ старъ, но мнѣ улыбались молодость, свобода и весь заманчивый блескъ свѣта. Я вышла за него. Это была первая рана, которую я нанесла твоему самолюбивому, болѣзненно-раздражительному сердцу. Отчего это? чѣмъ оскорбилъ твое самолюбіе этотъ бракъ? Ты на мнѣ жениться не думалъ, ты зналъ, что вдвоемъ, почти безъ состоянія, съ нашими привычками, мы были бы несчастливы. Отчего же этотъ бракъ такъ ударилъ въ твое сердце? или тебѣ было безсознательно досадно, что другому достается за богатство то, на что тебѣ давала права любовь? Говорятъ, мужчины всегда завидуютъ, когда хорошенькая дѣвочка выходитъ за-мужъ. Если такъ, то мое замужество должно было тебѣ быть больно. Но разсудокъ говорилъ тебѣ, что этотъ бракъ—по необходимости, что не я предпочла тебѣ *другаго*, а мои родные обвѣнчали меня съ чужимъ *богатствомъ. И ты продолжалъ* любить меня; но любовь твоя сдѣлалась притязательнѣе, капризнѣе, лихорадочнѣе. Мнѣ это не понравилось. Вокругъ меня вилась веселая, красивая молодежь, которая любила такъ легко, такъ мило, такъ нетребовательно. Особенно въ обществѣ, на балахъ, твоя любовь была тяжела; она дурно шла къ лядовской кадрили и кружевамъ, и тяготила меня.

«Тогда я промѣняла тебя....

«Простишь ли ты мнѣ, Тамаринъ, это слово? Мнѣ кажется одного его, одного напоминанія достаточно для твоего самолюбія, чтобы снова возстановить тебя противъ меня на нѣсколько лѣтъ. Что я тогда сдѣлала съ тобой, мой добрый другъ, мой злой демонъ! какое оскорбленіе я нанесла твоему страшному самолюбію! какъ безпощадно попрала твое мягкое, дѣтское сердце! Клянусь тебѣ, я не знала, я не понимала, не могла еще понять тебя тогда. Впрочемъ, къ чему увѣренія? ты самъ это знаешь и все-таки не перемѣнишься. Поздно! поздно!

«Нѣсколько мѣсяцевъ тебя нигдѣ не было видно... Что ты пережилъ въ эти мѣсяцы? потомъ, когда я тебя встрѣтила въ свѣтѣ, для меня ты былъ неузнаваемъ. Ты былъ и веселъ, и милъ, и чудно увлекателенъ; ты имѣлъ всѣ достоинства свѣтскаго человѣка и облекъ ими свою прежнюю сильную, высокую натуру. Но ты страшно облекъ себя свѣтскими условіями и приличіями. Изъ-за нихъ не прорывалось ни одно свободное чувство, ни одинъ сильный порывъ, который бы не подходилъ подъ уставъ свѣта. Ты сталъ типомъ умнаго, высокаго du comme il faut: какъ это слово странно звучитъ съ твоей прежней смѣлой, свободной натурой! И вотъ, измѣнившись, преобразясь, ты снова сталъ въ толпѣ моихъ поклонниковъ. Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? съ досады, изъ любви, или мщенія? тогда я увидѣла разницу между тобой и другими: ты головой былъ выше всѣхъ. Я прозрѣла, я полюбила; но было уже поздно! тогда я только узнала любовь, и чѣмъ болѣе я тебя знала, тѣмъ болѣе любила; я тебѣ отдалась вся, вся... Теперь я удивляюсь, какъ ты не оттолкнулъ меня тогда! какъ ты на слова любви не отвѣтилъ мнѣ укоромъ и презрѣніемъ! но ты отмстилъ хуже.

«Ты отъ меня взялъ все и ничего мнѣ не далъ. Тогда, какъ и теперь, твоя чудная, двойственная натура, заманчивая страннымъ столкновеніемъ противоположностей, влекла къ себѣ, невольно обѣщала что-то высокое, прекрасное—и давала только холодную, мертвую любовь. Боже мой, что я съ тѣхъ поръ вынесла! но я не ропщу, я не виню тебя: я, одна я всему причиной. Это я все сдѣлала. Мнѣ только хочется припомнить все, что пережили мы вмѣстѣ.

«Потомъ, эта послѣдняя вспышка твоей прежней натуры. Бездушный, о которомъ я думала, что любила, похвастался передъ тобой моей любовью и назвалъ тебя своимъ преемникомъ. О! клянусь тебѣ, Тамаринъ, онъ никогда не былъ для меня

тѣмъ, чѣмъ ты сталъ для меня—моимъ идеаломъ, моимъ добрымъ геніемъ, моимъ чернымъ демономъ! но онъ во многомъ былъ правъ. Отчего ты это сдѣлалъ? счелъ ли ты его слова за клевету, не зная, что я такъ низко упала, или въ тебѣ пробудился остатокъ прежней любви и не вынесла твоя гордая натура поруганія имени, которое она носила можетъ быть еще глубоко, глубоко, гдѣ-нибудь на днѣ сердца? или просто это былъ порывъ оскорбленнаго самолюбія, при мысли, что не ты былъ первымъ?..

«И мы разстались. Я помню это прощанье: я плакала, я не понимала себя... стыдъ, угрызенія совѣсти, любовь, жгучая любовь. Ты былъ скученъ, золъ и равнодушенъ, а между тѣмъ ты хотѣлъ быть ласковъ! твой послѣдній поцѣлуй былъ холоденъ, какъ первый поцѣлуй нашего свиданья. Безъ тебя я хлопотала о твоемъ прощеніи... не для тебя, нѣтъ: собственно для себя. Мнѣ было сладко быть чѣмъ-нибудь въ твоей жизни, больно и отрадно произносить въ слухъ твое имя. Всѣ думали, что я хочу загладить свое прежнее поведеніе, поправить репутацію... что мнѣ въ ней!

«И вотъ мы опять свидѣлись, чтобы снова разстаться, и, можетъ быть, уже на-всегда. Ты мало измѣнился, только еще болѣе охладѣлъ, излѣнился жить и чувствовать.

«Было ли это слѣдствіемъ прошлаго, или и другія, какъ я, дали тебѣ, мой бѣдный другъ, еще горькій урокъ, еще тягостное убѣжденіе, что жить и чувствовать значитъ страдать, что тяжело жить тому, кто наказанъ понимающей себя высокой натурой и имѣетъ право быть страшно самолюбивымъ. Я тебя не спрашивала объ этомъ: я боялась пробудить прошедшее.

«Боже мой! стучатся. Пора! пора! а мнѣ хотѣлось еще такъ много сказать тебѣ. Что ждетъ меня? Впрочемъ я рада, что мужъ все знаетъ. Будетъ мнѣ его обманывать. Мнѣ легче, что я передъ нимъ, какъ и передъ свѣтомъ, могу сбросить тяжелую маску.

«Только теперь онъ будетъ вѣчной преградой между нами. Я для тебя буду ничто, ничто, какъ заживо умершая! Это ужасно! только иногда развѣ ты невольно вспомнишь обо мнѣ; но какъ обо мнѣ ты вспомнишь? Бога ради, не поминай меня дурно! неужели я еще не выкупила своей вины? да я и не виновата: я была тогда другая, я была тогда для тебя тѣмъ чернымъ насланіемъ судьбы, которымъ ты былъ для меня во всю жизнь и чѣмъ будешь для другихъ. Для другихъ-то за что? Я хотѣла просить тебя, да нѣтъ, неиужно. Вчера я также приходила просить, но это было гибельно для меня. Вѣрно, такъ ужь надо, чтобы все такъ шло.

«Люби Вариньку, если можешь любить; позволь и ей любить себя.

«Быть можетъ, она дастъ твоему сердцу ту жизнь, которую отняла я у него. Тогда я первая благословлю ее. Если же нѣтъ, что же? вѣдь надобно и ей когда-нибудь страдать. Вѣдь страдали же и ты, и я!

«Опять стучатся! это голосъ барона... прости, прости

твою Лидію.

«Лошади поданы, мы сейчасъ ѣдемъ; шесть часовъ утра. Ты еще спишь теперь, Тамаринъ; я тебя не увижу!»

Пока Тамаринъ читалъ письмо баронессы, Варинька ходила по саду. Что̀ пережила она, бѣдненькая, въ эти два часа съ пріѣзда Тамарина!

Въ жизни чувствъ, какъ въ жизни растеній, есть неуловимое мгновеніе, въ которое они, какъ пунцовый цвѣтокъ, прорвавшій зеленую почку, вдругъ являются на Божій свѣтъ, и все тайно вскормленное и безсознательно выношенное въ сердцѣ, становится очевидностію. Этотъ фазисъ, поутру въ тотъ день, пережила Варинька.

Еще наканунѣ она легла въ томительномъ незнаніи, еще ночью, какъ неясныя грезы, неясны были ей чувства. Она проснулась, открыла глаза, взглянула на свѣтлый день — и увидала, что она любитъ. Она не могла дать себѣ отчета, когда, давно ли полюбила Тамарина: ей было ясно одно: что она его любитъ.

Еще по-утру, сидя подъ окномъ, склонивъ на маленькую ручку свою хорошенькую головку и поджидая Тамарина, она раздумывала о своей любви.

Мысли и мечты ея были тихи и чисты, какъ ея любовь. Она не испугалась ея. Она не знала, что есть на свѣтѣ ревность, нераздѣленная любовь, разлука, забвеніе, предпочтеніе другой и еще цѣлая бездна этихъ фурій, которыя по пятамъ ходятъ за любовью и готовы вмѣстѣ съ ней ворваться въ сердце, чтобы истерзать и изгрызть всю его внутренность. Она ничего не знала. Она думала, что можно весь вѣкъ пролюбить милаго, поджидая его съ увѣренностію, что онъ сейчасъ пріѣдетъ, или просиживая съ нимъ цѣлые дни, да слушая его тихую заколдованную рѣчь.

А между тѣмъ Тамаринъ ѣхалъ медленною рысью и везъ ей много новыхъ ощущеній, которыхъ дай бы Богъ и во вѣкъ не перечувствовать. Прошло часа два съ его пріѣзда, и они не были тайной для Вариньки. Много пережила она въ эти часы. Сначала ей было досадно, что Сергѣй Петровичъ прошелъ почти не останавливаясь мимо ея и усѣлся съ Маврой Савишной; потомъ—этотъ странный, загадочный разговоръ съ нимъ! И только-что въ концѣ разговора, какъ змѣя, уколола ее въ сердце мысль, что Тамаринъ не любитъ ее, отнимаетъ у нея даже надежду на свою любовь: въ это время ему подаютъ женское письмо, письмо изъ Лункина—значитъ отъ баронессы, отъ женщины, которая его любитъ, и которую, можетъ быть, и онъ любитъ тайно!

Варинька нѣсколько разъ прошлась безсознательно по аллеямъ. Она не знала, гдѣ она, что̀ съ нею, только чувствовала, что любовь ея вдругъ выросла цѣлыми годами. Мысли неясно проходили

въ головѣ, но ни на одной изъ нихъ она не останавливалась; въ груди что-то жало и давило ее; ей какъ будто хотѣлось плакать, но плакать она не могла; только двѣ слезы выступили и повисли на длинныхъ рѣсницахъ, тѣ слезы, которыя выжимаются изъ глазъ физической болью и нисколько не облегчаютъ страданій. Тамаринъ нашелъ ее въ самомъ темномъ углу сада, сидящую на скамейкѣ; вокругъ нея на землѣ лежали листочки оборванной георгины, въ рукахъ она держала ощипанный стебелекъ.

— Вы здѣсь! сказалъ онъ, подходя къ Варинькѣ: — насилу-то я нашелъ васъ.

Варинька оправилась.

— Я нарочно ушла сюда: тамъ жарко, а у меня нестерпимо болитъ голова.

И она приложила къ блѣдному, горячему лбу свою холодную ручку.

— Отъ кого вы это получили письмо? спросила она, стараясь какъ можно равнодушнѣе сдѣлать вопросъ.

— Отъ баронессы, отвѣчалъ Тамаринъ.

У Варинькн еще больше сжалось сердце: она знала чье это письмо, но не ожидала, что Тамаринъ назоветъ баронессу.

— А! вы съ ней въ перепискѣ! сказала она холодно.

— Да; я съ баронессой такъ давно и хорошо знакомъ, что она считаетъ себя въ правѣ, откинувъ церемонію, если встрѣтится надобность, обращаться прямо ко мнѣ.

— Письмами, на двухъ листахъ! замѣтила Варинька.

— Я рѣдко пользуюсь этой честью, сказалъ Тамаринъ:—сегодняшнее письмо—исключеніе. Баронесса уѣхала, я не зналъ объ ея отъѣздѣ и потому не успѣлъ быть у нея: она хотѣла на прощаньи сказать мнѣ нѣсколько словъ и объяснить свой отъѣздъ.

Варинька встрепенулась какъ птичка.

— Баронесса уѣхала! сказала она:—какъ? куда это? и такъ нечаянно!

— Она уѣхала въ Петербургъ, отвѣчалъ Тамаринъ:—баронъ скрутилъ отъѣздъ. Вчера съ вечера они еще и не думали о немъ. Но сегодня ночью ему представилась какая-то крайняя надобность. Вѣроятно, онъ получилъ эстафету, и въ шесть часовъ они уѣхали.

— Баронесса уѣхала? повторила Варинька: —и надолго?

— Не знаю, отвѣчалъ Тамаринъ:—можетъ быть, до слѣдующаго лѣта, вѣроятнѣе навсегда. Что она васъ такъ интересуетъ?

Варинькy, дѣйствительно, интересовала баронесса, хотя онѣ почти не видались. Есть тайная связь между женщинами, которыя любятъ или любили одного и того же мужчину. Каждая изъ нихъ желаетъ вывѣдать мнѣніе его о другой, инстинктивно понимая, что въ подобныхъ обстоятельствахъ съ нею могутъ поступить, какъ поступили съ тою.

— Мнѣ страшно, сказала Варинька: — что вы такъ равнодушно говорите объ ея отъѣздѣ: неужели вы не жалѣете о немъ?

— Напротивъ, очень жалѣю! отвѣчалъ Тамаринъ:—да что же дѣлать? ей надобно ѣхать въ Петербургъ, мнѣ—оставаться здѣсь. У всякаго свои обязанности, свои интересы. Случай свелъ насъ, случай развелъ. Я немного фаталистъ: думаю, что все дѣлается потому, что надо, чтобы все такъ дѣлалось. И потомъ, Боже мой! сколько бы горя и тоски прибавили мы себѣ, если бы допускали себя живо принимать къ сердцу разлуку или потерю всего, къ чему привыкаемъ. А къ чему не привыкаемъ мы?

Варинькѣ было грустно слушать эти слова, отъ которыхъ такъ и вѣяло душевнымъ холодомъ, и вмѣстѣ отрадно: онѣ успокоили ее ревность къ баронессѣ. Варинька вѣрила Тамарину и по вліянію, которое онъ имѣлъ на нее, и потому, что ей хотѣлось ему вѣрить. Она не думала больше о баронессѣ, а думала только о себѣ: о томъ, что все-таки онъ и ее не любитъ.

— Вы странный человѣкъ! сказала Варинька:— я васъ совсѣмъ не понимаю. Мнѣ говорили о васъ, какъ о человѣкѣ безъ сердца.

— Добрая Надежда Васильевна! замѣтилъ Тамаринъ.

Варинька улыбнулась и продолжала:

— Но это не правда. Во-первыхъ, вы добры.

— Вы говорите колкости, Варвара Александровна! сказалъ Тамаринъ.

— Ничуть. Всѣ окружающіе васъ любятъ: это общій голосъ тѣхъ, кто васъ знаетъ на дѣлѣ. Вы злы только на словахъ. Во-вторыхъ, вы благородны; и потомъ я не вѣрю, чтобы могъ существовать человѣкъ безъ сердца. Это что-то уродливое, неестественное. Отчего же эта всегдашняя холодность ко всему, въ чемъ есть жизнь и чувство? отчего это—рѣдко, рѣдко, и то какъ будто нечаянно, когда мы вдвоемъ,—у васъ вырвется задушевное слово, теплое чувство? За что вы наложили на себя такой тяжелый крестъ! зачѣмъ стараться такъ холодно, такъ издали смотрѣть на все! неужели вамъ нескучно такъ жить? какъ будто для васъ и солнце не свѣтитъ! сказала грустно Варинька, вздохнула и опустила голову.

Тамаринъ какъ-то добродушно посмотрѣлъ на нее. Во-первыхъ, какъ человѣкъ самолюбивый, онъ очень любилъ, когда говорили о немъ; во-вторыхъ, его, кажется, затронула эта любовь, это дѣтское участіе Варинькн, которой онъ ничего не показалъ, кромѣ безстрастнаго вниманія.

— Скучно, невыносимо скучно! сказалъ Тамаринъ: — да что же дѣлать! я не всегда былъ таковъ; я вѣрилъ много, но все, во что я ни вѣрилъ, меня обмануло: и чѣмъ сильнѣе я вѣрилъ, тѣмъ горьче было разувѣреніе; я странно созданъ; сердце у меня страшно привязчиво. Отъ этого я всегда всей силой воли держу его отъ увлеченій; не всякому достается на долю встрѣтить въ са-

момъ началѣ жизни чистое, неиспорченное свѣтомъ существо, которое, разъ полюбивъ, любитъ на-вѣкъ, и любитъ не по-немногу, не столько, на сколько позволено любить приличіями, а любитъ всѣми силами души. И потомъ, встрѣтивъ такую женщину, надобно рѣдкое счастіе, чтобы обратить именно на себя эту любовь. Мнѣ не выпалъ этотъ жребій, да и врядъ ли уже и выпадетъ. А между тѣмъ все надѣешься, все ждешь чего-то, а безъ этого не стоило бы и жить. — Вы любили когда нибудь? спросилъ Тамаринъ, вдругъ обратясь къ Варинькѣ.

Варинька поблѣднѣла какъ утренній мѣсяцъ. Она такъ много выстрадала въ эти часы, что сердце ея начало осваиваться съ страданіемъ, и вдругъ что-то отрадное, что-то похожее на надежду мелькнуло передъ нею, но она боялась вѣрить ей; ей послышались опять эти холодныя, мертвящія слова: «если вы встрѣтите подобнаго человѣка, онъ васъ не полюбитъ».

— Что вамъ до меня! сказала она и съ грустью, и съ горечью:—для меня хорошенькіе мальчики съ розовыми щеками и маленькими страстями: я не для людей съ глубокими чувствами и высокой душой, какъ вы, напримѣръ,—и Варинька постаралась насмѣшливо улыбнуться,—и они не для меня, вы сами это сказали!..

— Я говорилъ не о себѣ, сказалъ Тамаринъ:— я о себѣ совсѣмъ невысокаго мнѣнія, и притомъ вы меня не дослушали: Иванъ Васильичъ помѣшалъ. Люди, о которыхъ я вамъ говорилъ, не полюбили бы васъ потому, что не узнали и побоялись бы отдать вашему дѣтскому постоянству бѣдный, послѣдній остатокъ своей вѣры... А между тѣмъ, Боже мой! сколько счастья тому, на кого падетъ ваша первая любовь! сколько бы новыхъ силъ, сколько бы утраченныхъ убѣжденій возвратила она!..

Тамаринъ задумался; онъ долго смотрѣлъ на Варинькy, потомъ тихо взялъ ея руку.

— Любите меня! сказалъ онъ почти шопотомъ.

Варинька была какъ въ огнѣ,—ей казалось, что кровь жгла ее.

Такой рѣзкій переходъ отъ ревности и безнадежности къ полному счастью отуманилъ ее. Она не знала, что отвѣчать, что дѣлать. Прежде ея дѣвственная застѣнчивость не допускала мысли сказать «люблю» молодому человѣку. Теперь вся подавленная любовь еще сильнѣе, еще своевольнѣе просилась вырваться наружу. Голова ея горѣла; она не отнимала руки и молчала.

— Любите меня хоть немного! сказалъ Тамаринъ.—Голосъ его былъ чудно нѣженъ; онъ смотрѣлъ на нее, и въ его глазахъ былъ какой-то тихій, ясный свѣтъ.

Варинька смѣло приподняла головку, щеки ея горѣли, рука была горяча. Она взглянула прямо въ лицо Тамарину своими свѣтлыми темно-голубыми глазами, и какъ наивный ребенокъ, съ улыбкою отвѣчала:

— Развѣ вы не хотите, чтобъ я васъ много любила?

IX.

Вскорѣ послѣ этого мнѣ какъ-то вздумалось побывать у Володи Имшина; онъ былъ у меня нѣсколько разъ, и мнѣ надо было заплатить ему визитъ: деревня—деревней, а и въ ней есть визиты. Его имѣньице было недалеко за Неразлучнымъ Мавры Савишны. Онъ жилъ въ небольшомъ флигелѣ. Старый дѣдовскій домъ стоялъ съ закрытыми ставнями и заколоченными дверями и, разрушаясь, ждалъ, пока его сломаютъ.

Взглянувъ на этотъ домъ, мнѣ стало грустно: я вспомнилъ, когда бывалъ въ немъ еще мальчикомъ у дѣдушки Володи. Онъ жилъ барски, на большую ногу, и прожилъ въ немъ полторы тысячи душъ. Тогда этотъ домъ кипѣлъ жизнію и былъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ окружныхъ помѣщиковъ. Теперь онъ угрюмо, какъ будто нахмурясь, стоялъ посреди большаго двора и, казалось, съ презрѣньемъ смотрѣлъ сквозь закрытые ставни на маленькій флигель. Мнѣ кажется, если бы всталъ изъ гроба его старый баринъ, точно также бы взглянулъ онъ, въ лицѣ своего внука, на молодое тщедушное поколѣніе, которое живетъ прижавшись, и сегоднишнимъ займомъ прикрываетъ вчерашнія прорѣхи, забывъ, старый кутила, что онъ самъ же этому причиной.

Володю я засталъ одного: онъ лежалъ на постелѣ и читалъ въ іюлѣ одну изъ первыхъ книгъ какого-то русскаго журнала. Володя незадолго передъ тѣмъ возвратился изъ города, то есть изъ губернскаго города, въ который онъ ѣздилъ часто, но не надолго. Эти лихорадочныя поѣздки лучше всего обрисовывали его характеръ. Онъ былъ изъ тѣхъ, которые не въ состояніи ни примириться съ непріятнымъ положеніемъ, ни идти противъ него. Володя уѣзжалъ въ городъ, потому что Варинька скучала съ нимъ и отдавала видимое преимущество Тамарину, и вскорѣ возвращался назадъ, потому что въ городѣ ему было скучно и ему хотѣлось опять увидать Варинькy. Володя, должно быть, ужасно скучалъ; онъ мнѣ обрадовался, принялъ меня весьма радушно и, кажется, былъ очень доволенъ моимъ посѣщеніемъ; но онъ не умѣлъ принимать. Домомъ управляла его старая нянька. Въ хозяйствѣ у него была смѣсь женатой домовитости съ бездомностью холостяка: оно, какъ и самъ Володя, не принадлежало вѣку: не было у него ни размашистаго, неразсчетливаго обилія, ни уютнаго комфорта. Я пріѣхалъ къ нему послѣ обѣда. Онъ показалъ мнѣ свою небольшую псарню и бѣдный конскій заводъ, разрушившіяся и умаленныя дѣвскія заведенія. Уходясь, мы возвратились въ комнаты, и намъ подали чай. Чай и трубка располагаютъ къ откровенности; разговоръ отъ гнѣдокарихъ жеребятъ и половыхъ щенковъ перешелъ къ предметамъ болѣе интереснымъ, и, какъ гово-

рять, животрепещущимъ. Рѣчь шла о сосѣдкахъ.

Володя сначала жался, но потомъ сталъ откровеннѣе: видно, ему давно хотѣлось высказаться, но не было кому; за неимѣніемъ другаго, онъ былъ откровененъ со мною.

— Давно вы были у Мавры Савишны? спросилъ онъ меня.

— Давно не былъ: недѣли двѣ. А вы?..

— Я былъ недавно, но не надолго; впрочемъ я нынѣ къ нимъ рѣдко ѣзжу.

— Отчего же это? прежде, кажется, было не такъ?..

— Прежде было не то! грустно отвѣчалъ Володя: — прежде тамъ была Варинька; теперь она стала Варвара Александровна, изъ ребенка она стала дѣвицей, у нея и привычки перемѣнились, и вкусъ сталъ другой. Теперь ей не нравятся тѣ, которые играли съ ней въ куклы и росли вмѣстѣ. Ей надобно новое, оригинальное. Гдѣ жъ намъ быть оригинальными! сказалъ Володя съ горькой усмѣшкой.—Видно было, что онъ досадовалъ, и въ послѣднемъ словѣ крѣпко проявлялось желаніе зло съострить на счетъ Тамарина. Да не его это было дѣло: онъ былъ рожденъ просто добрымъ мальчикомъ. Мнѣ невольно пришло въ голову: что, если бы на его мѣстѣ былъ Сергѣй Петровичъ, ужъ отдѣлалъ бы онъ кого захотѣлъ.

— А что, Иванъ Васильичъ! продолжалъ онъ:— какъ вы думаете, любитъ Варинька Тамарина?

— Любитъ, отвѣчалъ я: — очень любитъ! Да и за что́ж ей не любить его: она же такая добрая.

— Нѣтъ... не то: я хотѣлъ спросить, любитъ ли она, т. е. влюблена ли она въ него...

— Ну, этого не думаю, сказалъ я: — Варвара Александровна дѣвица тихая, милая, любящая, но не пылкая. Не думаю, чтобы она увлеклась кѣмъ бы то ни было.

Володѣ хотѣлось вѣрить моимъ словамъ, какъ и мнѣ самому можетъ быть; но дѣйствительность плохо оправдывала ихъ.

— Нѣтъ, Иванъ Васильичъ, нѣтъ! кажется, вскружилъ онъ ей голову! А жаль ее, право жаль! и что она нашла въ немъ? (Володя видимо избѣгалъ произносить фамилію Тамарина, какъ будто это имя кололо его). Что онъ? эгоистъ страшный, смѣется надо всѣмъ,—и надъ ней будетъ смѣяться послѣ. Вы думаете, онъ ее любитъ? нисколько не любитъ! онъ такъ только, чтобы время убить. А она ему вѣритъ... у него и намѣреній благородныхъ нѣтъ. Онъ на ней не женится, право, не женится,—вотъ, вспомните меня... если бы можно было, я бы его... да мнѣ и придраться къ нему нельзя: всегда такой вѣжливый; впрочемъ его и не запугаешь: онъ ужь обстрѣленный гусь! А жаль, право, жаль, да нечего дѣлать! сказалъ онъ вздохнувъ.

И мнѣ было жаль Ваниньку, потому что много правды было въ словахъ Володи; но еще болѣе мнѣ было жаль самого его. Видно было, что многое шевелилось въ душѣ его, и многое хотѣлъ бы онъ высказать, да не могъ.

Есть же такія бѣдныя натуры, которымъ природа отказала въ возможности проявлять наружу свои чувства,—вѣроятно, найдя этотъ даръ безполезною для нихъ роскошью, какъ будто предугадывая, что свѣтъ немного потеряетъ, если останутся для него тайной эти мелкія чувства и ощущеньица.

Я недолго пробылъ у Володи. Солнце начинало садиться, я велѣлъ подавать лошадей. Когда я сѣлъ въ тарантасъ, Володя спросилъ меня, скоро ли я буду у Мавры Савишны. — Я отвѣчалъ: вѣроятно, скоро; а вы? спросилъ я его.—Я... не знаю, сказалъ онъ:—что мнѣ тамъ дѣлать! поѣхалъ бы въ городъ, да здѣсь уборка задерживаетъ, это скучно... да и въ городѣ, впрочемъ, скучно! прибавилъ онъ, какъ будто про себя. Онъ остановился, хотѣлъ, казалось, еще что-то сказать, замялся—и не сказалъ ничего. Я подождалъ немного, пожалъ ему руку и сказалъ: «пошолъ!» Мнѣ было жаль Володю.

Было уже поздно, когда я подъѣзжалъ къ Неразлучному. Солнце садилось; свѣжій вѣтерокъ отрадно пахнулъ въ лицо послѣ жаркаго дня. Вечеръ былъ чудесный; бойко катился мой тарантасъ по тройной колеѣ узкаго проселка. Я въѣхалъ въ рощу. Вдругъ, сзади меня, съ боковой дороги, я послышалъ топотъ, обернулся и ахнулъ отъ удивленія. Въ черной амазонкѣ и мужской соломенной фуражкѣ, на сѣромъ Джальмѣ скакала Варинька. Рядомъ съ нею, на черномъ какъ смоль конѣ, ѣхалъ Сергѣй Петровичъ, а сзади, на длинноногой старой рыжей лошади, въ армякѣ, ѣхалъ кучеръ, — какъ говорится, на случай. Поровнявшись со мной, Варинька узнала меня и ловко осадила лошадь. Отъ этого толчка тоненькая талія ея погнулась, и она покачнулась на сѣдлѣ, какъ цвѣтокъ на стеблѣ.

— А! Иванъ Васильичъ! откуда вы?

— Отъ Имшина, сказалъ я.

— Поѣдемте къ намъ, чай пить.

— Не поздно ли?—жена будетъ сердиться.

— Ничего, поѣдемте, maman будетъ вамъ очень рада. Да? Мы васъ будемъ ждать!.. Посмотрите, хорошо я ѣзжу?

Она толкнула лошадь и понеслась; вслѣдъ за нею, кивнувъ мнѣ головою, понесся и Тамаринъ. Кучеръ отсталъ отъ нихъ, а они мчались. Неясно, какъ въ сновидѣніи, виднѣлась и колебалась передо мною въ густомъ туманѣ стройная фигура Ваниньки. Рядомъ съ нею, на черномъ какъ смоль конѣ, летѣлъ Тамаринъ. Даль слила промежутокъ, который раздѣлялъ ихъ; сѣрый Джальма былъ почти не видѣнъ, пыль густымъ облакомъ стлалась въ ногахъ; и вотъ, сквозь вечерній туманъ, въ тѣсной рамѣ двухъ рядовъ вѣковыхъ зеленыхъ сосенъ, мнѣ казалось, я видѣлъ картину изъ нѣмецкой баллады, читанной въ дѣтствѣ. Далеко впереди, черный всадникъ, на черномъ конѣ, какъ демонъ мчался по воздуху, и возлѣ него стройная женская фигура неслась и колебалась, какъ будто онъ держалъ ее невидимыми руками, какъ будто

онъ уносилъ ее куда-то съ собою. Я вспомнилъ прозваніе, данное еще въ школѣ Тамарину, цѣну, которую шутя назначилъ онъ за своего Джальму, и сердце грустно сжалось во мнѣ: я не знаю, почему мнѣ стало жаль бѣдную Варинькy.

Подъѣзжая къ Неразлучному, моя пристяжная оборвала постромку; это задержало меня нѣсколько минутъ; притомъ же я и ѣхалъ не скоро. Поэтому, когда я вошелъ въ чайную Мавры Савишны, я нашелъ всѣхъ уже вокругъ стола за самоваромъ. Группа была чудесная.

Мавра Савишна, въ чепцѣ, изъ-подъ котораго выбивались сѣдые волосы, съ своимъ добродушнымъ, спокойнымъ лицемъ, какъ патріархъ семейнаго кружка, сидѣла въ сафьянныхъ вольтеровскихъ креслахъ. Возлѣ нея на столѣ лежали очки и чулокъ — ея неразлучные аттрибуты; у нея на колѣняхъ собачка терпѣливо дожидалась своей доли сдобныхъ домашнихъ булочекъ. Справа у нея, возлѣ дивана, стройная Варинька стояла передъ самоваромъ и дѣлала чай. Она успѣла перемѣнить туалетъ, и, вѣроятно для того, чтобы не терять времени на передѣлку прически, на ея русой головкѣ былъ легонькій чепчикъ. Съ загорѣвшимся отъ ѣзды личикомъ, въ этомъ чепцѣ, она походила на молоденькую даму, только-что вышедшую замужъ. Прямо противъ нея, немного бокомъ къ столу, а лицемъ къ Маврѣ Савишнѣ, сидѣлъ Тамаринъ. По праву сельской свободы онъ остался въ своемъ верховомъ костюмѣ и курилъ папироску. Въ этой картинѣ семейнаго круга, лицо молодаго мужчины было необходимо; но если бы я составлялъ ее, я бы не выбралъ Тамарина. Его блѣдное съ тонкими чертами лицо, его веселая и вѣчно немного-насмѣшливая улыбка, его всегдашняя граціозная, лѣнивая поза, и наконецъ свѣжій петербургскій покрой платья, — все это за деревенскимъ самоваромъ, среди добродушныхъ русскихъ лицъ, отъ которыхъ вѣяло откровенностью и здоровьемъ, было чрезвычайно эффектно: но оно не шло къ нимъ!

Странна какъ-то была фигура Тамарина въ этой обстановкѣ. Она какъ будто была вынута изъ другой картины, картины иного общества, иного круга, и гармонировала не по единству съ другими лицами, а только по контрасту. Все это пришло мнѣ въ голову, пока я, усѣвшись на четвертомъ краѣ стола, пилъ чай съ сдобными домашними булочками и слушалъ Мавру Савишну. Мавра Савишна говорила, что Сергѣй Петровичъ балуетъ ея Варинькy; что она никакъ не могла отговориться отъ позволенія подарить Джальму Варинькѣ, когда Сергѣй Петровичъ узналъ, что она не ѣздитъ верхомъ оттого, что у нея нѣтъ лошади, что она наконецъ вынуждена была принять подарокъ, но согласилась на это съ однимъ условіемъ, что Сергѣй Петровичъ возьметъ отъ нее рыжую тирольскую корову, которая доитъ ведро въ день. Сергѣй Петровичъ отвѣчалъ, что Джальма для него слишкомъ кротокъ, что онъ не могъ попасть въ болѣе хорошенькія руки, что рыжая корова гораздо полезнѣе Сергѣю Петровичу, потому-что онъ очень любитъ по утрамъ кофе со сливками, и что онъ ничего не потеряетъ въ мнѣ, потому-что уже назвалъ ее М-lle Кардовиль.

Варинька слушала и улыбалась. Она, казалось, была совершенно счастлива; слухъ ея съ удовольствіемъ ловилъ каждое слово Тамарина, голубые глаза часто останавливались на его лицѣ и съ любовью слѣдили за всѣмъ движеніемъ. Казалось, и на Тамарина эта любовь произвела доброе вліяніе. Онъ сдѣлался не такъ холоденъ, веселость его была добродушнѣе, онъ болѣе примирялся съ жизнію. Я просидѣлъ недолго у Мавры Савишны и уѣхалъ съ пріятнымъ впечатлѣніемъ. Воображеніе мое обѣщало впереди много хорошаго моей Варинькѣ. Я видѣлъ Тамарина освѣженнаго безъискусственной деревенской жизнію, обновленнаго столкновеніемъ съ этими добрыми и чудесными существами, каковы Мавра Савишна и ея дочка. Я воображалъ Варинькy съ розовымъ веселымъ личикомъ, съ чепцомъ на головѣ, какъ ее только-что видѣлъ, счастливою женою Тамарина, котораго она любитъ и перерожденіемъ котораго гордится, какъ дѣломъ собственнаго вліянія. Такъ ѣхалъ я отъ Мавры Савишны и въ сорокъ лѣтъ строилъ воздушные замки. Тихая ночь была тепла, воздухъ душистъ, мѣсяцъ свѣтилъ на свѣтломъ небѣ. Покойно катился тарантасъ мой по гладкой дорогѣ. Все располагало къ сладкой мечтѣ, и мудрено ли, что мечта моя, какъ бабочка на любимый цвѣтокъ, полетѣла къ Варинькѣ и наобѣщала ей много счастья. Только много стоило труда моему воображенію совладѣть съ непокорнымъ, холоднымъ лицемъ Тамарина, наградить его лицо деревенскимъ румянцемъ, надѣлить брюшкомъ его аристократическую фигуру и, вмѣсто моднаго платья англійскаго покроя, нарядить его въ деревенскій костюмъ нашего помѣщика.

X.

Была поздняя осень. Жена моя уѣхала въ деревню къ своей матери, погостить на мѣсяцъ, а я остался одинъ и скучалъ порядочно; на дворѣ то дожди, то заморозки, на охоту ѣздить было нельзя. Поэтому я ужасно обрадовался, когда, однажды раннимъ утромъ, Миронъ, камердинеръ, онъ же и стремянный, пришелъ мнѣ сказать, что на дворѣ хорошо и можно выѣхать по послѣднему черностопу. Я велѣлъ сѣдлать лошадей, напился чаю, хватилъ на дорогу чарку травнику и отправился.

Поле было удачно, и потому заманчиво; переѣзжая отъ острова къ острову, я заѣхалъ довольно далеко и не видалъ, какъ шло время; а между тѣмъ небо нахмурилось, пошелъ мелкій осенній дождь, который имѣетъ дурную привычку пробивать до костей; пустой желудокъ, какъ не дремлющій брегетъ, хоть и не звонилъ обѣдъ, но напоминалъ о немъ какими-то странными звуками, по-

добными отдаленному раскату грома; пора было убираться до дому, а до дому было не близко. По счастью, дорога шла черезъ Рыбное Сергѣя Петровича, и я вздумалъ заѣхать къ нему; кстати же и давно я у него не бывалъ. Я пустилъ лошадь крупною рысью, оставилъ далеко позади охоту и черезъ полчаса въѣхалъ на барскій дворъ. Слѣзая съ лошади, я увидѣлъ недалеко отъ крыльца хорошенькій дорожный фаэтонъ, видимо петербургской работы, весь въ грязи и пыли отъ дальняго пути. «Кто бы это?» подумалъ я и, войдя въ переднюю, поспѣшилъ удовлетворить свое любопытство.

— У васъ гости? спросилъ я у Якова, камердинера Сергѣя Петровича.

— Точно такъ-съ, князь Островскій, отвѣчалъ онъ.

А кто такой, братецъ, этотъ князь? продолжалъ я, неудовлетворенный лаконизмомъ Якова.

— Изъ Петербурга-съ. Они служили вмѣстѣ съ Сергѣемъ Петровичемъ.

Болѣе нечего было ожидать отъ него, и, стряхнувъ грязь съ охотничьяго платья, я пошелъ далѣе.

Я нашелъ Сергѣя Петровича въ кабинетѣ одного. Князь Островскій былъ въ другой комнатѣ, вѣроятно для поправленія дорожнаго туалета, потому-что онъ вошелъ черезъ пять минутъ хорошенькимъ какъ Адонисъ. Ему было, какъ я послѣ узналъ, лѣтъ подъ-тридцать, хотя казалось на взглядъ двадцать пять. Онъ былъ небольшаго роста, но крѣпко и прекрасно сложенъ, лицо выразительное, острое и очень красивое, густые, черные, назадъ зачесанные волосы вились отъ природы и были подстрижены у шеи; вообще онъ былъ самой выгодной наружности и пользовался репутаціей Ловеласа. Сергѣй Петровичъ представилъ насъ другъ другу. Разговоръ князя былъ веселъ, остеръ и не отзывался строгостью правилъ. Онъ сдѣлалъ честь закускѣ, поданной въ ожиданіи обѣда, водкѣ и хересу, съ аппетитомъ и жаждою, неуступающими уѣздному чиновнику или землемѣру. Вскорѣ подали и обѣдъ, нарочно пораньше для дорожнаго гостя. Обѣдъ у Сергѣя Петровича всегда былъ отличный. Вино отъ Рауля. Князь узналъ это по первой рюмкѣ мадеры. Впрочемъ, судя по количеству имъ выпитаго вина, онъ долженъ былъ быть знатокомъ въ немъ. Онъ пилъ систематически, т. е. мадеру послѣ супу, портеръ за говядиной и т. д. Сергѣй Петровичъ тоже пилъ хорошо, и вино на него никогда не имѣло дѣйствія. Но онъ дошелъ до *шато икемъ*, своего любимаго вина, и остановился на немъ. Князь продолжалъ до шампанскаго и ему отдалъ преимущество. Я было потянулся за нимъ, но у меня вскорѣ начала кружиться голова, и языкъ, безъ видимой причины, очень странно останавливался на каждомъ *ш* и *ч*, а они встали изъ-за стола какъ ни въ чемъ не бывало; только князь былъ еще веселѣй и острѣе, а Тамаринъ злѣе на языкъ. Я было хотѣлъ отправиться домой, но Сергѣй Петровичъ уговорилъ меня *отдохнуть у него*. Вслѣдствіе чего я легъ на диванъ, выкурилъ трубку, выпилъ чашку кофе, и погрузился въ то пріятное и лѣнивое полубдѣніе, которое слѣдуетъ послѣ хорошаго обѣда съ добрымъ виномъ. Мысли въ головѣ были неясны и легки, и пріятны какъ мечты; глаза не смыкались, но лѣниво смотрѣли изъ-за полу-опущенныхъ вѣкъ и нѣжились полусвѣтомъ комнаты. Погода была на дворѣ сѣрая. Смеркалось. Мелкій дождь билъ въ окна, а въ комнатѣ было тепло и отрадно. Свѣчей не было, но въ углу топился каминъ, и грѣлъ и освѣщалъ розовымъ переливающимся свѣтомъ; два свѣтскіе пріятеля сидѣли передъ нимъ, погрузясь въ мягкую двухспинную козетку. Ноги ихъ лежали на канвовыхъ подушкахъ; между ними, на маленькомъ столикѣ, стояли двѣ бутылки: одна съ замороженнымъ шампанскимъ, другая съ холоднымъ *шато икемъ*. Они курили, попивали и разговаривали. Эта легкая, острая бесѣда долетала до меня и пріятно нѣжила мой провинціальный слухъ, перебирая звучныя и знакомыя мнѣ по наслышкѣ имена. Вся она осталась у меня въ памяти.

— Ну, что Саша подѣлываетъ? спросилъ Тамаринъ.

— Разтолстѣлъ ужасно, а все прежній мазуристъ.

— Ну, а К.? уродъ по прежнему?

— Еще хуже, онъ сходилъ съ ума прошедшей весной, и у него остался видъ помѣшаннаго... уморителенъ!

— А братъ его Василій?—этотъ, надѣюсь, не сошелъ: ему не съ чего.

— Напротивъ, душа моя! представь странность: этотъ нашелъ на умъ.

— На чей же это? развѣ занялъ у кого-нибудь: ему вѣдь не привыкать дѣлать долги.

— Нѣтъ, ему Москва дала умъ на-прокатъ! Вотъ какъ это было: пріѣзжаю я въ Москву нынѣшней зимой,—вообрази мое удивленіе, меня всѣ спрашиваютъ: «что Базиль К***? знаете вы Базиля К***? вотъ умный молодой человѣкъ! вотъ злой языкъ!» Я отвѣчаю, что знаю одного, да полно про него ли вы спрашиваете? «Базиль К***, котораго сестра за Иваномъ В***». — Точно такъ. Только его мы знаемъ за дурака; развѣ поумнѣлъ въ отпуску. Всѣ мнѣ возражаютъ: какой онъ дуракъ! помилуйте, онъ былъ здѣсь проѣздомъ и на балѣ у В*** очень зло сострилъ надъ однимъ извѣстнымъ дуракомъ. Чтожъ оказывается? онъ повторилъ bon-mot, которое было сказано о немъ же нѣсколько лѣтъ назадъ тобой или мной, или кѣмъ-то изъ умныхъ людей. И вотъ какъ дѣлается репутація! стоитъ ли послѣ этого быть умнымъ!

— Мой милый, давно извѣстно, что дуракамъ счастье. Кстати о дуракахъ: что баронъ? Ты его видѣлъ въ Петербургѣ?

— Какъ же, дня за три до отъѣзда я его встрѣтилъ на вечерѣ у N. Тамъ я узналъ, что ты живешь здѣсь.

— А! Развѣ еще обо мнѣ говорятъ въ Петербургѣ?

— Очень мало. Развѣ иногда вспоминаютъ твои bons-mots, анекдоты, или послѣднюю твою исторію, которая надѣлала много шуму. Именно о тебѣ и вспомнили по случаю возвращенія баронессы. Говорятъ, что она сюда нарочно пріѣзжала для тебя, и что у васъ снова что-то вышло. Правда?

— Вздоръ! Мы съ ней встрѣтились нечаянно. А ее ты видѣлъ?

— На этомъ же самомъ вечерѣ. Она была чрезвычайно интересна, но холодна какъ мраморъ. Вѣрно, тебѣ мы этимъ обязаны. Въ доброе старое время наша любовь жгла, Тамаринъ, а теперь, видно, только морозитъ.

— Въ такомъ случаѣ оставайся вѣрнымъ шампанскому: тогда твоя любовь будетъ очень хорошо пристроена.

— Какъ твоя у Варинькн.... такъ, кажется?

Это имя было такъ неожиданно брошено въ разговоръ, что сонъ, который начиналъ-было клонить меня, мигомъ прошелъ; я думаю, что даже я повернулся на диванѣ, потому-что Сергѣй Петровичъ оборотился и посмотрѣлъ на меня; но я закрылъ глаза и притворился спящимъ. Князь тоже взглянулъ на меня.

— Qui est ce butor?... спросилъ онъ въ-полголоса.

Я тогда не понялъ этого слова, и только послѣ, въ лексиконѣ у дѣтей, нашелъ его не совсѣмъ выгодное значеніе.

— C'est notre voisin, отвѣчалъ Тамаринъ:—un bon-homme accompli; онъ спитъ, прибавилъ онъ.

— Я думалъ, не родственникъ ли онъ твоей Варинькн.

— Нѣтъ, но онъ другъ дома.

— Т. е. въ связи со старухой?

— Помилуй: ей шестьдесятъ лѣтъ.

— Что́жь, душа моя, всяко бываетъ: Ninon, напримѣръ....

— Ну, она не Ninon, а Мавра Савишна; однако скажи пожалуйста, Островскій, кто тебѣ говорилъ о Варинькѣ?

— Ага! вѣрно я попалъ прямо въ цѣль. Ты, который вѣчно возставалъ противъ друзей, говори же теперь, что они эгоисты и заняты только собою!

— Да, если нельзя сдѣлать сплетни или распустить клевету на чей нибудь счетъ.

— Тамаринъ, ты неисправимъ!

— Я это говорю не на твой счетъ, душа моя: ты еще никому не успѣлъ разсказать про меня; но я бы желалъ знать того друга, который тебѣ разсказывалъ?

— Мнѣ говорила баронесса. Она тебѣ велѣла кланяться и пожелать успѣха у Варинькн. Больше я не успѣлъ и разспросить. Скажи же, пожалуйста, она замужняя или вдовушка?

— Ни то, ни другое: она еще дѣвочка.

— Дѣвочка! воскликнулъ Островскій съ ужасомъ.—Это до такой степени непростительно, что я налагаю на тебя бутылку шампанскаго штрафу.

Сергѣй Петровичъ позвонилъ, велѣлъ взять пустую бутылку и подать новую. Когда бутылка была перемѣнена и лакей вышелъ, князь выпилъ стаканъ и продолжалъ:

— Такъ ты хочешь жениться? сказалъ онъ съ особеннымъ сожалѣніемъ.

— Откуда тебѣ приходитъ въ голову такой вздоръ, Островскій? ну, гожусь ли я для семейной жизни? Если бы мнѣ, наконецъ, и пришла эта дикая фантазія, то стоило бы только взглянуть на тебя, и она навѣрное бы прошла.

— Что́жь, ты меня считаешь опаснымъ? спросилъ князь самодовольно.

— Да, какъ и всѣхъ рогатыхъ.

— Смѣйся, смѣйся, mon cher, отвѣчалъ онъ очень серьёзно;—а дай Богъ всякому быть такъ счастливымъ, какъ я!

— Спасибо!

— Я прожилъ съ женою три года душа въ душу, на четвертомъ мы другъ другу надоѣли и разъѣхались; теперь мы живемъ еще счастливѣе и не безпокоимъ одинъ другаго. Что́жь тутъ дурнаго?

— А что̀ она все такая же хорошенькая?

— Очень хороша: въ послѣдній ея пріѣздъ въ Петербургъ я было чуть не влюбился въ нее и началъ волочиться, но она меня приняла очень сухо и послала къ актрисамъ и вдовѣ Клико; къ счастію она скоро уѣхала; я послушался ея совѣта и утѣшился. N волочился за ней нынѣшнимъ лѣтомъ въ Баденъ-Баденѣ, и говоритъ, что она еще похорошѣла. Ты вѣдь за ней тоже ухаживалъ?

— По обязанности твоего друга, — не больше. Впрочемъ, я былъ несчастливъ.

— Полно, такъ ли? Ты что-то все жалуешься на неудачи. Это моя старая метода; пожалуй, ты скажешь, что былъ несчастливъ и у барснессы, и у Варинькн. Кстати, что тебѣ за идея пришла волочиться за дѣвушкой? вѣдь ты въ нее не влюбленъ.

— Полно, братецъ, втожь въ наши лѣта влюбляется.

— Ну, лѣта бы еще ничего, да сердца-то въ насъ поизносились. Ста тысячъ годоваго дохода у нея нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Слѣдовательно ты на ней не женишься: ты ею не воспользуешься, потому-что слишкомъ благороденъ. Зачѣмъ же ты ей кружишь голову? Будь это въ столицѣ, въ большомъ кругу, я это понимаю: о васъ стали бы говорить:—ее жалѣть, а тебя бранить на чемъ свѣтъ стоитъ, называть человѣкомъ безъ сердца и проч. Это очень лестно. Но здѣсь, въ глуши, волочиться по страсти къ волокитству, кружить голову con amore, доставлять другой счастіе и несчастіе, а себѣ оставлять скуку —этого я рѣшительно не понимаю.

Князь пожалъ выразительно плечами, закурилъ новую сигару, долилъ стаканъ и погрузился въ молчаніе.

— Ты ни на палецъ не стоишь выше обыкновеннаго волокиты, отвѣчалъ Сергѣй Петровичъ. Твоя репутація Ловеласа фальшива, какъ волосы Ивана Васильича. При этомъ злодѣй Тамаринъ

показалъ на мою накладку, которой безъ этого князь бы, можетъ быть, и не замѣтилъ. Ты матеріалистъ, все твое наслажденіе состоитъ въ обладаніи женщиной.

— А ты въ немъ, небось, не находишь наслажденія? проворчалъ Островскій.

— Для меня есть наслажденіе гораздо выше: это моральное обладаніе женщиной. Представь себѣ хорошенькую, только-что сформировавшуюся дѣвочку; ты ей не братъ, не другъ: ты ей человѣкъ совершенно посторонній; судьба или случай сводитъ васъ. Потому-ли, что она тебѣ нравится, или просто, изъ каприза, ты отмѣчаешь ее въ своей памяти и говоришь: «она будетъ моя»! И вотъ, силой ума или воли, ты, человѣкъ чужой, ты, мимо котораго она бы прошла не взглянувъ даже на тебя,—ты становишься для нея всѣмъ: ты ея кумиръ, идолъ. Она смотритъ на вещи твоими глазами, мыслитъ твоимъ умомъ—для нея нѣтъ ничего на свѣтѣ кромѣ тебя.... ты бросилъ ее, уѣхалъ, умеръ, а она все твоя; она тебя будетъ благословлять или проклинать, а все твой образъ невольно будетъ носиться передъ нею, и сквозь всю жизнь пронесетъ она печать, которую ты наложилъ на нее; и умретъ она отмѣченная этой печатью! Вотъ мое обладаніе, вотъ истинное наслажденіе. И что̀жь мнѣ больше дѣлать на свѣтѣ? Я ничего не пишу кромѣ офиціальныхъ писемъ. Службѣ я не дался, наука—мнѣ не далась. Слава отъ меня также далека, какъ я отъ филантропическаго общества. Да и съ какой стати мнѣ хлопотать о томъ, что̀ станутъ говорить про меня твои внуки! А между тѣмъ невольно хочется быть чѣмъ-нибудь хоть для немногихъ. О мужчинахъ я не хлопочу: для нихъ и безъ меня многое есть на свѣтѣ. Я выбралъ нѣсколько хорошенькихъ женщинъ и посвятилъ себя имъ. И я твердо убѣжденъ, что это было мое назначеніе, что онѣ для меня только были и созданы, потому-что я не могу себѣ представить, что̀ бы безъ меня стали эти женщины дѣлать на свѣтѣ: я думаю—не будь меня, и ихъ бы не было!

Сергѣй Петровичъ задумался, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ его занимала мысль: что̀ бы стали дѣлать безъ него тѣ женщины, съ которыми судьба близко сводила его. Князь пристально и серьёзно посмотрѣлъ на него, стряхнулъ пепелъ съ сигары, отхлебнулъ изъ стакана и началъ.

— Все, что̀ ты мнѣ говорилъ, должно быть очень хорошо, потому-что ты человѣкъ умный. Можетъ быть, даже и справедливо. Я тебѣ вѣрю на-слово, но я плохо тебя понялъ, потому-что для этого надо думать, а думать послѣ обѣда я не могу. Ясно мнѣ только одно: тебѣ надобно непремѣнно уѣхать отсюда.

— Это зачѣмъ?

— А затѣмъ, что ты здѣсь пропадешь ни за грошъ. Ты завлечешься идеалами моральнаго обладанія,—и кончится тѣмъ, что и твоя душа, и твои оставшіяся души попадутъ подъ очень грязное *физическое об*ладаніе деревенской барышни,—короче: тебя женятъ! Со мной было тоже самое. Я былъ юнкеромъ; нашъ эскадронъ стоялъ близъ деревни моей тещи. Я безъ всякихъ отвлеченныхъ и положительныхъ идей волочился за ея дочкой. Кончилось тѣмъ, что на другой день моего совершеннолѣтія я женился; слѣдовательно, ранѣе меня этой глупости никто не дѣлалъ. Хорошо, что я попалъ на ангела, и мы, какъ я тебѣ сказывалъ, живемъ очень хорошо. Но не всякому же такое счастіе! Ты, напримѣръ, неспособенъ для него. Рѣшительно, тебѣ надобно ѣхать!

— Вотъ вздоръ какой! я отъ женщинъ не бѣгалъ. Не безпокойся: меня не женятъ.

— Не говори, душа моя! скука, одиночество удивительно измѣняютъ идеи. И потомъ деревенская жизнь чрезвычайно располагаетъ къ тучности и женитьбѣ. Первое надъ тобой начинаетъ сбываться, на мои глаза ты уже толстѣешь: смотри, чтобы не сбылось и послѣднее.

— Неужели ты находишь, что я потолстѣлъ? сказалъ Тамаринъ съ безпокойствомъ.

— Немного еще, но уже есть расположеніе. Цвѣтъ лица у тебя сталъ гораздо лучше. Посмотри на себя: ты скоро будешь румянъ, какъ твой Иванъ Васильичъ!

Тамаринъ подошелъ къ зеркалу, и отъ дѣйствія ли свѣта, или отъ жару—только, дѣйствительно, лицо его не было блѣдно какъ всегда.

— Послушай, Островскій, ты меня пугаешь, сказалъ Тамаринъ.—Неужели я въ-самомъ-дѣлѣ растолстѣю. Это будетъ непозволительно смѣшно!

— И очень ново: Тамаринъ смѣшонъ! Тамаринъ, который никому не прощаетъ тѣни смѣшнаго и безпощадно казнитъ его своимъ языкомъ! это восхитительно! Если мои надежды сбудутся, я пріѣзжаю къ тебѣ года черезъ два и снимаю съ тебя портретъ, или, лучше сказать, списываю семейную картину. Она будетъ представлять, — положимъ, хоть эту комнату, послѣ жирнаго обѣда (обѣдъ у тебя непремѣнно будетъ жирный); ты сидишь въ бухарскомъ халатѣ и дѣлаешь кейфъ. Глаза твои немного отекли и полузакрыты, какъ у жирнаго кота, которому почесываютъ шейку, тебѣ хочется спать. Передъ тобой здоровая кормилица держитъ полугодоваго ребенка; онъ реветъ, а кормилица уговариваетъ его: «не плачь, душенька: тятенька бабушки хочетъ». Возлѣ тебя сидитъ твоя супруга, бѣлая и румяная, какъ говорится, кровь съ молокомъ; она въ распашномъ капотѣ, отдувшемся спереди, потому-что находится въ томъ же почтенномъ положеніи, изъ котораго вышла полгода назадъ. Она смотритъ на тебя съ любовію, треплетъ бѣлой рукой твою пухленькую щеку и говоритъ тоненькимъ голоскомъ: «ты бы прилегъ отдохнуть—и я тоже прилягу!»

— Надо тебѣ отдать справедливость, Островскій: у тебя чудесное воображеніе. Но отчего ты не велишь нарисовать себѣ другую картину, напримѣръ...

— Не трудись, душа моя, моя жизнь и въ ори-

гиналѣ не интересна,—не только въ копіяхъ; а я знаю, что ты не любишь оставаться въ долгу.

— Да, въ этомъ случаѣ я на тебя не похожъ.

— И дурно дѣлаешь! меня учили въ политической экономіи, что долги — признакъ богатства. Но чортъ съ ними! мнѣ и такъ каждое утро напоминаютъ о нихъ. Поговоримъ лучше о тебѣ. Что̀жъ, ты ѣдешь?

— Куда? въ Петербургъ нельзя, за-границу не съ чѣмъ, да я ужъ по ней и потаскался. Губернскіе города похожи одинъ на другаго какъ двѣ капли воды, и всѣ ужасно скучны.

— Поѣдемъ со мной въ N.; мы его преобразуемъ. Мнѣ надо въ немъ жить, чтобъ устроить дѣла.

— То есть, чтобы заложить имѣніе.

— Нѣтъ, оно ужъ заложено. Но, видишь ли, въ Петербургѣ жить адски дорого. Надо годика два отдохнуть въ провинціи. Поѣдемъ въ N., тамъ вдвоемъ намъ будетъ веселѣе. Къ тому же баллотировка зимой. Мы, какъ помѣщики, должны же быть на ней. У меня нанята ужъ и квартира.

— Ну объ этомъ хлопотать нечего: у меня тамъ свой домъ; достался отъ бабушки.

— Я уважаю твою бабушку! она какъ будто предчувствовала, что ея внуку нужно будетъ жить въ N. Удивительно, какъ эти старые люди предусмотрительны! напримѣръ мой отецъ, какъ-будто зналъ, что для меня нѣтъ ничего несноснѣе управленія имѣніемъ и потому онъ заживо проживалъ все, что̀ успѣлъ.—Итакъ, мы ѣдемъ?

Сергѣй Петровичъ задумался. У меня въ эту минуту сердце билось, какъ голубь подъ ястребомъ. Я хотѣлъ вскочить и вмѣшаться въ разговоръ, но остановился только потому, что этимъ бы измѣнилъ себѣ. Если бы Сергѣй Петровичъ сказалъ, что остается, мнѣ кажется я бы разцѣловалъ его.

— Скука за скуку, отвѣчалъ онъ. Дѣйствительно, въ деревнѣ дѣлать нечего.—Ѣдемъ!

Злость взяла меня. Мнѣ кажется, слезы выступили у меня отъ досады. Скука за скуку! Въ деревнѣ ему дѣлать нечего! А Варинька, которую онъ влюбилъ въ себя! Варинька, которая съ улыбкой просыпается каждое утро, потому только, что она днемъ надѣется увидать его. Какъ же это онъ не подумалъ объ Варинькѣ! Какъ же это онъ не подумалъ, что̀ съ нею будетъ безъ него? Боже мой! изъ чего созданы эти люди, которые все думаютъ о себѣ, только объ одномъ себѣ!

— И прекрасно, мы поѣдемъ вмѣстѣ, сказалъ Островскій.—Завтра пораньше.

— Какъ-же это завтра, подумалъ я:—вѣдь надо же ему хоть проститься.

Сергѣй Петровичъ позвонилъ, — вошелъ его Яковъ.

— Мы завтра утромъ поѣдемъ въ N, сказалъ онъ: —на всю зиму. Возьми съ собой все, что нужно. Лишнее отправить въ обозѣ послѣ нась.

— Слушаю-съ, отвѣчалъ Яковъ.

Я не вытерпѣлъ, сдѣлалъ видъ, что проснулся, потянулся, зѣвнулъ и вскочилъ.

— Хорошо ли выспались, Иванъ Васильичъ? спросилъ Сергѣй Петровичъ.

— Хорошо, очень хорошо, отвѣчалъ я.—Что это вы говорили про обозъ?

— Я ѣду въ N; отвѣчалъ онъ.

— Когда же?

— Завтра утромъ.

— А къ сосѣдямъ развѣ не поѣдете прощаться?

— Къ кому же? Съ вами мы простимся сегодня. Передъ Маврой Савишной вы меня извините. Скажите ей, что я не могъ быть самъ, потому-что ѣду съ вниземъ, а онъ спѣшитъ отъѣздомъ?

Я взялся за фуражку.

— Куда же вы? спросилъ Сергѣй Петровичъ.

— Домой; цѣлый день не былъ, нужно на дѣтей взглянуть. Прощайте!

Онъ посмотрѣлъ на меня какъ-будто съ удивленіемъ, потомъ протянулъ руку и сказалъ: «ну, если такъ, то прощайте, Иванъ Васильичъ; будете въ N, заѣзжайте прямо ко мнѣ, я буду вамъ очень радъ». Я подалъ ему руку, и вышелъ не поклонясь князю: онъ былъ мнѣ противенъ. Сергѣй Петровичъ провожалъ меня до передней. Взявшись за ручку двери, я остановился: мнѣ все не вѣрилось, что человѣкъ можетъ такъ равнодушно отказываться отъ тѣхъ, съ кѣмъ онъ жилъ, кто его такъ много любитъ.

— Когда же вы къ намъ воротитесь? спросилъ я его.

— Не знаю, отвѣчалъ онъ:—можетъ быть весной, можетъ быть никогда. Я не разсчитываю на будущее.

— Какъ-же это? такъ Маврѣ Савишнѣ такъ и сказать.

— Да, Иванъ Васильичъ! потрудитесь поблагодарить ее за гостепріимство.

— Да вѣдь вы ихъ, можетъ быть, ужъ никогда больше не увидите, Сергѣй Петровичъ!

— Что̀ же дѣлать, Иванъ Васильичъ! Впрочемъ, гора со горой только не сходятся. Можетъ быть, меня судьба опять заброситъ сюда; можетъ быть, онѣ пріѣдутъ въ N; какъ знать, что̀ будетъ!

Я растворилъ дверь, но не утерпѣлъ—и на порогѣ опять остановился.

— А Варвара Александровна спроситъ? ей что̀ сказать?

— Скажите ей, отвѣчалъ Сергѣй Петровичъ медленно: — скажите, что я ей желаю много счастья!

Тутъ онъ мнѣ дружески кивнулъ головою; сердце сжалось у меня съ досады; я хлопнулъ дверью, вскочилъ на лошадь, и подъ дождемъ, темной ночью, поскакалъ домой какъ бѣшеный, поскакалъ такъ, какъ не скакалъ уже лѣтъ двадцать!

XI.

На другой день, мнѣ предстояла очень непріятная обязанность объявить Варинькѣ объ отъѣздѣ Тамарина. Я не зналъ, какъ мнѣ приняться за это.

Мнѣ хотѣлось разсказать ей все, какъ было: вырвать разомъ изъ ея сердца любовь къ человѣку, который ея не стоитъ, который уѣхалъ отъ скуки, бросилъ ее изъ каприза. Это была бы цѣлительная, но крайняя мѣра: послѣ нея Варинька должна была или выздоровѣть, или изнемочь; я боялся ее; я лучше Тамарина узналъ, какъ глубоко падаетъ въ душу Вариньки всякое чувство; и мнѣ больно было передать на словахъ то, что онъ не задумавшись рѣшился сдѣлать. Съ другой стороны, смягчить поступокъ Тамарина, дать его отъѣзду какой-нибудь благовидный предлогъ—значило оставить Вариньку подъ вліяніемъ этого человѣка и, щадя ее въ настоящемъ, готовить, можетъ быть, много, много зла въ будущемъ. И сказать ли правду? — я бы радъ былъ оправдать Тамарина въ моихъ собственныхъ глазахъ. Мнѣ не хотѣлось въ немъ разочаровываться: я любилъ его; любилъ я его за его злой языкъ и доброе сердце, за аристократическую изящность манеръ, за ту моральную силу, которою природа щедро наградила его и которую онъ носилъ такъ свободно и такъ негордо; любилъ я его больше за то, что его любила Варинька.

Въ нерѣшимости, съ досадой и злостью на Тамарина, подъ вліяніемъ самыхъ дурныхъ впечатлѣній, я выѣхалъ, часу въ двѣнадцатомъ утра, съ тѣмъ, чтобы навѣстить Мавру Савишну. Но прежде я велѣлъ заѣхать къ Сергѣю Петровичу: я думалъ, не удастся ли мнѣ застать еще его и переговорить съ нимъ; одно время я даже былъ убѣжденъ, что онъ, просто, не уѣдетъ, что ночью онъ одумается; что невозможно, чтобы онъ не увидалъ, какъ страненъ и предосудителенъ его поступокъ, на который онъ рѣшился не подумавши; наконецъ, мнѣ казалось просто невѣроятнымъ, чтобы человѣкъ, ни съ того ни съ сего, могъ бросить дѣвицу, которая ему нравится, которую онъ завлекалъ, которая любитъ его, — бросить, не стараясь даже оправдать себя въ ея мнѣніи, не проститься съ нею, оставить ее, какъ мы оставляемъ дома бумажникъ, когда въ немъ нѣтъ уже денегъ. Смѣшно сказать: когда я подъѣзжалъ къ крыльцу Тамарина, сердце во мнѣ билось, какъ въ тотъ день, когда я шелъ къ покойному тестю, чтобы просить у него руки Марьи Ивановны. На дворѣ никого не было, дверь въ домъ была отворена; я вошелъ въ переднюю. На порогѣ меня встрѣтила баба съ лоханью и чуть не облила помоями; другая, въ сарафанѣ, съ заткнутымъ за поясъ подоломъ, въ платкѣ, сбившемся на бекрень, съ раскраснѣвшимся лицомъ, съ котораго потъ катилъ градомъ, стояла въ томъ положеніи, которое обыкновенно принимаютъ бабы, когда моютъ полы. На вопросъ мой, дома ли Сергѣй Петровичъ, она, не приподнимаясь, повернула голову и закричала такъ, что едва не оглушила меня.

— Дома нѣтъ; съ часъ мѣста, какъ въ городъ уѣхали.

— *Совсѣмъ уѣхалъ?*

— Совсѣмъ, и Яковъ Григорьичъ съ ними (камердинеръ Тамарина). Послѣ этого она обмакнула мочалку въ кипятокъ, бросила ее на полъ и, размахнувшись обѣими руками, такъ сильно пустила струю воды по некрашенному полу, что я едва успѣлъ отскочить, чтобы не замочить ногъ.

Болѣе мнѣ дѣлать было нечего; я сѣлъ въ тарантасъ и съ стѣсненнымъ сердцемъ поѣхалъ къ Маврѣ Савишнѣ.

Варинька меня встрѣтила въ залѣ; она была такая розовенькая, свѣжая, веселенькая. По обыкновенію, она протянула мнѣ свою ручку.

— Здравствуйте, Иванъ Васильичъ! Вы насъ совсѣмъ забыли.... что, Марья Ивановна не возвратилась?

— Нѣтъ еще, отвѣчалъ я: — но она въ письмѣ поручаетъ вамъ кланяться.

— Вы изъ дому?

— Изъ дому: заѣзжалъ только къ Сергѣю Петровичу. Я къ вамъ пріѣхалъ по его просьбѣ.

— По какой это? спросила Варинька, съ любопытствомъ посмотрѣвъ на меня и покраснѣвъ, не знаю отчего.

— Вы не знаете: онъ уѣхалъ въ N., сказалъ я, какъ могъ веселѣе.

— Въ N! Это зачѣмъ?

— Не знаю. Вотъ видите ли: вчера я заѣхалъ къ Сергѣю Петровичу. У него былъ князь Островскій, изъ Петербурга, его бывшій сослуживецъ, который ѣдетъ тоже въ N. Мы отобѣдали. Послѣ обѣда я легъ вздремнуть, а Сергѣй Петровичъ съ княземъ долго о чемъ-то разговаривали. Когда я проснулся, мнѣ Сергѣй Петровичъ и говоритъ: я ѣду, Иванъ Васильичъ, въ N.—Зачѣмъ это? спрашиваю я. — Нужно, говоритъ; вы, говоритъ, потрудитесь съѣздить къ Маврѣ Савишнѣ и извинить меня передъ ней и Варварой Александровной, что не могу самъ къ нимъ заѣхать проститься. Я, говоритъ, ѣду завтра рано утромъ съ Островскимъ. Заѣзжаю я сегодня, а ужь ихъ и слѣдъ простылъ.

Варинька слушала меня съ неподвижно поднятыми на меня голубенькими глазами. Она вся поблѣднѣла, бѣдненькая, и хотѣла, казалось, о чемъ то спросить. Но въ это время послышался изъ другой комнаты голосъ Мавры Савишны.

— Что это вы тамъ разсказываете, Иванъ Васильичъ? Подите-ка сюда!

Я вошелъ къ Маврѣ Савишнѣ, подошелъ, по старинному обыкновенію, къ ея ручкѣ и повторилъ слово въ слово свой разсказъ.

— Что бы это значило? спросила она, приподнявъ на лобъ очки и опустивъ чулокъ, что было знакомъ величайшаго вниманія. Ужь не случилось ли чего съ Сергѣй Петровичемъ, Господь съ нимъ?

Мнѣ это участіе было досадно: я очень хорошо зналъ причину отъѣзда, и мнѣ невольно захотѣлось охолодить Мавру Савишну.

— Напрасно вы безпокоитесь, сказалъ я. — Съ Сергѣй Петровичемъ, кажется, ничего не случи-

лось особеннаго. Просто, пріѣхалъ къ нему его старый знакомый, другъ его, такой же, какъ и онъ, подговорилъ его съ собой ѣхать, — онъ и поѣхалъ.

— Что́ это вы, Иванъ Васильичъ, говорите? сказала Мавра Савишна, съ сердцемъ: — ну, статочное ли это дѣло! Человѣкъ живетъ пол-года въ деревнѣ, и хорошо ему, всего у него вдоволь, и обласканъ всѣми — и вдругъ, ни съ того, ни съ сего — взялъ да и уѣхалъ! Ну, сами вы разсудите: уѣдетъ оттого, что его подговорилъ какой нибудь проѣзжій пріятель, да еще и не простившись съ знакомыми, у которыхъ онъ бывалъ почти каждый день! Варинька! Варинька, слышишь, что́ Иванъ Васильичъ выдумалъ. Ну, какъ ты думаешь, —ну, возможное ли это дѣло?

Варинька была въ это время въ другой комнатѣ и стояла лицомъ къ окошку: не знаю, что́ она у него дѣлала. Я съ нетерпѣніемъ ждалъ ея отвѣта: мнѣ было обидно недовѣріе Мавры Савишны, и я надѣялся, что Варинька оправдаетъ меня. Она вошла блѣдная, задумчивая, и разсѣянно отвѣтила:

— Не знаю, maman.

— Ну, да чего тутъ не знать! ужь, конечно, коли уѣхалъ, такъ, не простившись, такъ—значитъ— важное дѣло! Какъ вы думаете, Иванъ Васильичъ, ужь не поссорился ли онъ съ этимъ, какъ бишь его, княземъ то?

— Помилуйте, они встрѣтились друзьями и пили вмѣстѣ: какая тутъ ссора!

— Ну, да вы знаете, какой нынче вѣкъ; пьютъ, пьютъ, а потомъ вдругъ за пистолеты, да и на дуэль. Вы не думайте, что коли встрѣтились хорошо, такъ и друзья. У Сергѣя Петровича, что́ есть на душѣ, знаетъ только Богъ да онъ. По лицу у него немного узнаешь; въ Петербургѣ, говорятъ, двоихъ уложилъ, а посмотрите-ка на него: цыпленка рѣжутъ при немъ, а онъ поблѣднѣетъ и отвернется. Сердце то у него предоброе, да голова горячая. Такъ вы думаете, что они не стрѣляться поѣхали?

Эти вопросы начинали наконецъ меня бѣсить. Въ первый разъ въ жизни я былъ сердитъ на Мавру Савишну. Хотѣлось мнѣ ей сказать, что ихъ Сергѣй Петровичъ просто съ жиру взбѣсился, какъ лѣтомъ любимая закормленная собака; да жаль было Варинькн, и притомъ, сознаться ли, я былъ убѣжденъ, что мнѣ бы не повѣрили и, пожалуй, еще подумали бы, что я клевещу на Тамарина. Однако я не утерпѣлъ, всталъ со стула и сказалъ:

— Мавра Савишна! я выполнилъ порученье Сергѣя Петровича и сказалъ вамъ свое мнѣніе; вы можете мнѣ вѣрить или не вѣрить, какъ вамъ угодно. Можетъ быть, у него въ самомъ дѣлѣ были какія-нибудь важныя причины: можетъ, нужно съ пріятелемъ стрѣляться, или дядя умеръ, или какая нибудь барыня свиданье ему назначила; все можетъ быть; но я больше ничего не знаю. Да и почему мнѣ знать? я не другъ ему, не петербургскій пріятель; онъ и со мной простился такъ, какъ и съ вами. За симъ имѣю честь кланяться. Я взялъ фуражку, поклонился и вышелъ.

— Куда вы, Иванъ Васильичъ? что́ съ вами? А обѣдать то! Но я ничего не слушалъ и шелъ въ переднюю. «Эвой съумасшедшій!» долетѣлъ до меня возгласъ Мавры Савишны, когда она увидала, что я не внемлю словамъ ея.

Пока я надѣвалъ шинель и велѣлъ подавать лошадей, изъ залы дверь отворилась и на порогѣ показалась Варинька.

— Вы сердитесь, Иванъ Васильичъ! Ну, полноте, останьтесь! Куда вы? И грустная, блѣдная, она улыбнулась,—и весело, сквозь слезы, смотрѣла на меня, какъ свѣтитъ иногда лѣтнее солнышко сквозь крупный дождь. Но я устоялъ.

— Нужно домой, Варвара Александровна, отвѣчалъ я: — жены нѣтъ, дѣти одни!

— Такъ проститесь, по крайней мѣрѣ, сказала она, протягивая мнѣ ручку.

Я взялъ ее и слегка пожалъ по нынѣшней модѣ.

— Послушайте, тихо сказала она, не отнимая руки:—вы, можетъ, не хотите огорчить маменьку и сказать правду, и хорошо дѣлаете; но со мной вы можете говорить откровенно.

Мнѣ опять стало досадно.

— Я вамъ сказалъ все, что́ знаю, отвѣчалъ я. — Мое мнѣніе: Тамаринъ уѣхалъ отсюда, просто потому, что здѣсь ему было скучно.

Варинька сдѣлала какое то нетерпѣливое движеніе головкой, и какъ будто хотѣла сказать этимъ: вы ничего не знаете, ему не могло быть здѣсь скучно.

— Оставимъ это, сказала она. — Ну, а еще... онъ вамъ ничего не поручалъ сказать?

Злость взяла меня. Въ эту минуту я былъ сердитъ на Варинькy за ея слабость, болѣе, чѣмъ на Тамарина за его поступокъ съ нею. Мнѣ даже нисколько не было жаль ея, и я очень равнодушно отвѣчалъ:

— Виноватъ, Варвара Александровна: Тамаринъ еще поручилъ мнѣ передать, что онъ желаетъ вамъ много счастья.

Яркій румянецъ вспыхнулъ на лицѣ Варинькн; она выпрямила свой тонкій, стройный станъ, гордо приподняла головку, и — да проститъ ей Богъ! — съ ея сжатыхъ устъ едва не сорвалось оскорбительное — вы лжете.

Я ей почтительно поклонился, она молча отвернулась и вышла, а я уѣхалъ.

Такъ я исполнилъ порученіе Сергѣя Петровича. Оно было причиной моей единственной размолвки съ сосѣдями, съ которыми я душа въ душу прожилъ пятнадцать лѣтъ, и едва не подарило меня названіемъ лжеца, отъ дѣвочки, которую я няньчилъ еще въ пеленкахъ и любилъ какъ дочь. По здравому разсужденію, оно такъ и должно было случиться. Вѣдь не могъ же быть виноватъ Сергѣй Петровичъ, когда его любятъ! Да и въ самомъ

дѣлѣ, въ чемъ же онъ виноватъ? А надо было кому нибудь да быть виноватымъ! Отчего же не быть виноватому мнѣ, степному помѣщику, который вздумалъ разсказывать голую правду про свѣтскаго человѣка, про человѣка нынѣшняго вѣка, да еще въ добавокъ и демона, въ которомъ прозаическая существенность имѣетъ поэтическую прелесть, и всякій, по нашему не совсѣмъ чистый поступокъ вытекаетъ прямо изъ благородной натуры! Да и вольно же было мнѣ, имѣя пять человѣкъ дѣтей, сдѣлаться вѣстникомъ грустной разлуки между любящими сердцами.

XII.

Съ мѣсяцъ я не видался съ моими сосѣдями. Кучеръ ихъ, проѣзжая за почтой, раза два заѣзжалъ ко мнѣ, по порученію барыни, провѣдать меня и спросить: что, дескать, Ивана Васильича не видно; но я велѣлъ отвѣчать ему, что я не совсѣмъ здоровъ. А между тѣмъ, сказать правду, я скучалъ порядочно. На бѣду, жена моя не возвращалась, и я долженъ былъ возиться съ ребятишками. И осень прошла, наступила зима. Вмѣсто охоты по черностопу, я охотился по порошѣ; наконецъ снѣгъ выпалъ такъ глубоко, что я лишился и этого развлеченія. Скука была ужасная, но къ сосѣдямъ я не ѣхалъ: такой ужь у меня характеръ. Наконецъ, разъ вечеромъ, подаютъ мнѣ записку: гляжу—рука Вариньки. Смѣшно сказать, сердце забилось во мнѣ, какъ будто я получилъ любовную записку. Варинька выговаривала мнѣ, что я совсѣмъ ихъ забылъ, и, по порученію матери, просила пріѣхать къ нимъ на другой день по-раньше утромъ, потому-что онѣ ѣдутъ на зиму въ городъ, и что передъ отъѣздомъ Маврѣ Савишнѣ нужно со мной повидаться. Прочитавъ записку, мнѣ стало грустно и досадно на Мавру Савишну: зачѣмъ несетъ ее въ N? вѣдь жилось же ей до сихъ поръ очень хорошо въ Неразлучномъ; къ тому же перспектива деревенской жизни одному, безъ сосѣдей, къ которымъ я такъ привыкъ и которыхъ любилъ, вовсе не нравилась мнѣ.

Ночь я провелъ очень дурно, или, по-просту сказать, мнѣ не спалось, а если и случалось забываться, то такая чепуха грезилась, что я былъ радъ, когда просыпался. Я всталъ вмѣстѣ съ солнышкомъ, и часу въ десятомъ отправился къ Маврѣ Савишнѣ. Утро было морозное, ясное; свѣжій снѣгъ хрустѣлъ подъ санями, и добрый бѣгунъ въ четверть часа примчалъ меня въ Неразлучное. Двѣ зимнія повозки были придвинуты къ крыльцу. Въ первой стоялъ сѣдой Савельичъ въ одномъ скуртукѣ. Вѣтеръ раздулъ его заиндевѣвшіе, зачесанные съ затылка волосы и обнажилъ тщательно скрываемую лысину. Савельичъ самъ ничего не укладывалъ, а только распоряжался лакеями и горничными, которыя выносили узелки и ящики.

— *А ты бы, братецъ ты мой,* вотъ этотъ сундучекъ поставилъ на-бокъ... вотъ такъ... да сѣнца, да сѣнца, такъ оно и не будетъ тереть. А это съ чѣмъ? спрашивалъ онъ.

— Ну, съ чѣмъ? съ чепчиками, отвѣчалъ звонкій голосъ горничной.

— Съ чепчиками? ну, такъ его сюда въ передокъ: тутъ чепчикамъ и хорошо... вотъ такъ, и при этомъ онъ щипнулъ черноглазую горничную за щеку.

— Полно вамъ, Тихонъ Савельичъ, не до васъ, шутъ старый...

— Старый, а тебѣ бы, небось, все молоденькихъ? а знаешь ли, дурочка, что старъ писварь, да уха сладка! Давай-ка сюда узелокъ-то... это съ индѣйками? ну, такъ къ чепчикамъ ихъ, къ чепчикамъ... тутъ, поближе.

Такъ распоряжался старый дворецкій, мѣшая дѣло съ прибаутками. Другая повозка грузилась дворнею безъ особеннаго порядка. У каретника кучера надѣвали хомуты на лошадей, на крыльцѣ набросано было сѣно, изъ дверей безпрестанно и все бѣгомъ выносили узелки и картонки. Въ прихожей, прижавшись въ уголъ, между дорожными вещами, стоялъ чернобородый староста и равнодушно посматривалъ на суетившуюся дворню, въ ожиданіи барскихъ приказаній.

Въ залѣ, несмотря на раннее утро, накрытъ уже былъ завтракъ; но Мавру Савишну я нашелъ въ третьей комнатѣ у чайнаго стола. Она была одѣта по дорожному, и, вмѣсто чулка, на ея колѣнахъ покоилась одна разкормленная собачка. Едва заслышавъ мои шаги, Мавра Савишна начала меня привѣтствовать.

— А поди-ка ты сюда, вѣтренникъ негодный! и не стыдно тебѣ мѣсяцъ цѣлый глазъ не казать? разсказывай-ка, что ты дѣлалъ въ это время? Безъ Марьи Ивановны только съ собаками возился, да, чай, волочился за бабами, а старыхъ знакомыхъ и навѣстить не хотѣлъ! и т. п.

Мавра Савишна, въ патетическія минуты жизни, какъ и въ этомъ случаѣ, говорила мнѣ ты. Я подошелъ къ ея рукѣ, пробормоталъ какое-то извиненіе; она взяла меня за ухо, посадила возлѣ себя, и мы по-прежнему стали друзьями.

— Что это вамъ вздумалось, Мавра Савишна, въ городъ ѣхать, да и еще съ-позаранку: едва зима началась? спросилъ я.

— Что дѣлать, Иванъ Васильичъ! что дѣлать, родной! Пока можно было оставаться, такъ и оставалась, а пришлось ѣхать, такъ и поѣдемъ! у меня тамъ дѣла есть кой-какія, да и надо Варинькѣ повеселиться... что ей въ деревнѣ дѣлать?

Мавра Савишна оглянулась и, удостовѣрившись, что мы одни, продолжала, понизивъ голосъ:

— Вѣдь ей у меня осьмнадцать лѣтъ, а о Покровѣ и девятнадцать будетъ! конечно, какія же это еще лѣта, да все надо и о будущемъ подумать; оно, разумѣется, судьбы своей не минуешь, но въ деревнѣ кто же ее узнаетъ; ну, а въ городѣ иное дѣло!

— Да ужь не устраивается ли у васъ что-нибудь? спросилъ я, думая, что въ моемъ отсутствіи могло что-либо и случиться.

— Нѣтъ, ничего нѣтъ такого, Иванъ Васильичъ; да чему же и быть? Володя еще мальчикъ, а Сергѣй Петровичъ... Ну, конечно, Сергѣй Петровичъ человѣкъ хорошій, да вѣдь не намъ за нимъ гоняться! Свѣтъ не клиномъ сошелся! для моей Варинькн и не такіе найдутся. Впрочемъ, власть Господня, а въ городъ ѣхать надобно, хоть и тяжелый годъ: гречихи, сами знаете, совсѣмъ не родилось. Не хотите ли чайку съ дороги, я было и забыла совсѣмъ. Варинька! Варинька! позовите Варвньку.

Черезъ нѣсколько минутъ пришла и Варвара Александровна. Она была въ дорожномъ чепчикѣ, который удивительно шелъ къ ея хорошенькой головкѣ. Мнѣ показалось сначала, что она нисколько не измѣнилась, только какъ-будто поблѣднѣла немножко, да не такъ была дѣтски весела какъ прежде. Но, всмотрѣвшись, я замѣтилъ въ ея лицѣ перемѣну гораздо серьезнѣе: всѣ черты его приняли болѣе оконченное выраженіе, какъ будто зрѣлая мысль прошла по этому лицу и углубила всѣ неясныя черты дѣтства. А впрочемъ она была хороша по прежнему, если не стала еще лучше. Тихая дума свѣтилась въ темно-голубыхъ съ поволокою глазахъ, уста привѣтливо улыбались, и двѣ ямки на щечкахъ смягчали серьезность лица. Она встрѣтила меня, какъ прежде встрѣчала—улыбкой и протянутой ручкой.

Съ ея приходомъ Мавра Савишна встала.

— Варинька! бѣглецъ воротился; напой его чаемъ, да пожури хорошенько, а мнѣ нужно еще поговорить со старостой. И съ этимъ она вышла, оставивъ насъ однихъ.

Варинька налила мнѣ стаканъ чаю, поставила его передо мной, сама налила въ него сливокъ, сѣла, подперши рукою головку, и съ улыбкой смотрѣла на меня.

— Ну, скажите, отчего жъ вы насъ забыли? какъ вамъ не грѣхъ! Maman ужасно по васъ соскучилась, и я также. Что сдѣлалось съ вами?

— Я думалъ, что вы на меня сердитесь, отвѣчалъ я: — и боялся, что мое посѣщеніе...

— Какъ вамъ не стыдно! прервала она.—Впрочемъ, всему я виновата; признаюсь, я вамъ тогда не повѣрила. Простите меня, и будемъ друзьями по прежнему.

И она мнѣ подала ручку, я поцѣловалъ ее.

— А теперь какъ вы убѣдились? спросилъ я.

— Я объ этомъ много думала, отвѣчала она.— Вы ни въ чемъ не виноваты, вы не такъ поняли его, или, лучше сказать, вы его совсѣмъ не поняли. И онъ не виноватъ: у него была какая-нибудь причина къ отъѣзду, причина, вздорная для другихъ, но важная для него.

«Какже, подумалъ я: — важная была причина! онъ испугался, что потолстѣетъ и женится на чудеснѣйшей дѣвочкѣ.»

— Вы его не знаете, продолжала Варинька: — иногда какая-нибудь ничтожная вещь имѣетъ на него страшное вліяніе, а иногда дѣйствительно что-либо важное не заставитъ его пошевельнуться; впрочемъ, онъ скрытенъ, и не вы одни въ немъ ошибаетесь. Имшинъ тоже вздумалъ обвинять его, но...

— Но что же?

— Я ему сказала безъ церемоніи, что онъ ничего не понимаетъ, и потому лучше, если не будетъ судить о Тамаринѣ.

— А часто бываетъ у васъ Володя?

— Почти каждый день, отвѣчала Варинька разсѣянно.

— И влюбленъ по прежнему?

— Мнѣ его жалко! сказала она и, задумавшись, подошла къ окошку.

Окошко это выходило въ садъ. Длинныя аллеи тянулись передъ глазами. Стройно и неподвижно стояли голыя деревья, холодно блистая инеемъ. Дорожки были покрыты свѣжимъ пушистымъ снѣгомъ, и ни одного слѣда не было на немъ. Все было тихо и мертво. Куртины, скамейки, бесѣдки, все, что хранило какое-нибудь воспоминаніе, все, на чемъ лежалъ слѣдъ прошедшаго, было схоронено подъ густымъ слоемъ снѣга; какъ вѣрный и ревнивый сторожъ, глубоко таилъ этотъ снѣгъ подъ собою все, что было ему отдано, и его дѣвственная поверхность ручалась за нетронутость береженаго. Долго Варинька смотрѣла на свой любимый садъ, прильнувъ къ стеклу горячимъ личикомъ; когда она отвернулась, двѣ слезы дрожали на ея рѣсницахъ, и она не старалась скрывать ихъ отъ меня.

— Что съ вами? спросилъ я ее съ непритворнымъ участіемъ.

Она немного задумалась, потомъ отвѣчала:

— Съ вами, Иванъ Васильичъ, я буду откровенна: я знаю, вы меня любите и ничего не истолкуете въ дурную сторону. Мы ѣдемъ въ N по моему желанію. Я намекнула объ этомъ маменькѣ и она приняла мою мысль какъ свою собственную; вы знаете, какъ она меня балуетъ. Но теперь, когда остается только сѣсть да ѣхать, и когда мнѣ приходится проститься съ Неразлучнымъ, мнѣ такъ грустно, что я готова бы, кажется, остаться здѣсь. Предчувствіе ли это чего-нибудь дурнаго, или мнѣ просто жаль разстаться съ роднымъ мѣстомъ, не знаю; но мнѣ ужасно хочется плакать. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь я выросла; каждый уголокъ въ этомъ домѣ, каждый кустъ въ этомъ саду даютъ мнѣ какое-нибудь теплое, прекрасное воспоминаніе! Здѣсь всѣ такъ любятъ меня; я была здѣсь такъ счастлива, такъ счастлива, какъ никогда уже не буду. А между тѣмъ я добровольно ѣду отсюда, ѣду въ городъ, гдѣ мнѣ всѣ почти чужіе, къ веселостямъ, которыя меня нисколько не занимаютъ. Богъ знаетъ, Иванъ Васильичъ, ждетъ впереди вашу Варинькy...

Она опустила голову на руку, и слезы ручьемъ изъ ея темненькихъ глазъ.

— Полноте, Варвара Александровна, Богъ милостивъ! все будетъ хорошо, и городъ вамъ такъ понравится, что и назадъ не захотите. Зиму повеселитесь, а будущей весной опять къ намъ воротитесь.

— Богъ знаетъ! грустно отвѣчала она: — если я и возвращусь, то такова ли возвращусь, какъ уѣзжаю; можетъ быть, вы и не узнаете меня, Иванъ Васильичъ.

— Конечно, можетъ быть, вы и измѣнитесь, отвѣчалъ я шутя, хотя у меня кошки скребли на сердцѣ: — и воротитесь къ намъ молоденькой дамою, съ молодымъ супругомъ; но я васъ все-таки узнаю.

— Нѣтъ, говорила она: — вы меня не поняли. Я думала о томъ, сколько своей веселости, сколько прежней безпечности, можетъ быть, оставлю я въ городѣ, и сколько новаго горя вывезу съ собою! Мнѣ что-то плохо вѣрится въ счастье.

Невольная грусть начала овладѣвать мною.

— Да зачѣмъ же вы ѣдете—спросилъ я ее — если пророчите себѣ такъ много дурнаго?

Варинька быстро подняла голову, отерла слезы съ блѣднаго личика, глаза ея были уже сухи, и она съ удивленіемъ посмотрѣла на меня.

— Какъ зачѣмъ? спросила она, потомъ какъ-будто одумалась и отвѣчала:—что же дѣлать, Иванъ Васильевичъ! Вѣдь не оставаться же здѣсь! и скажу вамъ по правдѣ, мнѣ теперь и здѣсь скучно: все какъ-то пусто, во всемъ какъ-будто нѣтъ жизни...

Варинька опустила голову, грустно задумалась и тихо продолжала, какъ будто говоря сама съ собою:

— Какъ же это я останусь здѣсь одна, совершенно одна, даже безъ извѣстія о томъ, что дѣлается! Да если бы я и рѣшилась на это, то у меня не достанетъ воли. Нѣтъ у меня ея! Да и какая же можетъ быть у меня воля, когда я живу чужой жизнію, когда у меня нѣтъ ни одной моей мысли.... Посмотрите на это облако и спросите его, отчего оно не остается спокойно розовымъ пятномъ на синемъ небѣ? Зачѣмъ оно гонится за темной тучей, которая, можетъ быть, поглотитъ его и разсыплетъ его по землѣ бѣлыми хлопьями?.... Зачѣмъ? спросила Варинька и грустно замолчала.

Она была въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи; я смотрѣлъ на ея разгорѣвшееся личико и боялся за ея здоровье; слезы скоплялись у меня на сердцѣ, и я не зналъ, какъ прервать молчаніе. Но изъ другой комнаты раздался голосъ Мавры Савишны.

— Варинька! лошади готовы. Пойдемъ закусить. Иванъ Васильичъ! милости просимъ съ нами дорожнаго хлѣба-соли откушать!

Варинька встрепенулась, личико ея опять прояснилось: она какъ-будто пришла въ себя изъ забытья.

— Слава Богу, наконецъ мы ѣдемъ! сказала она.

Потомъ ей какъ-будто стало меня совѣстно, она обернулась ко мнѣ и сказала:

— Я вамъ, думаю, кажусь странна, Иванъ Васильичъ! не обвиняйте меня: я, право, ни въ чемъ не виновата. Богъ знаетъ, увидимся ли мы съ вами, и какъ увидимся! ради Бога, не судите строго и не забывайте вашей Вариньки!

Она мнѣ протянула руку, я молча поцѣловалъ ее и не могъ сказать ни слова. Мы пошли къ завтраку.

Въ залѣ на столѣ было наставлено, наварено и напечено столько, что и десятокъ плѣнныхъ французовъ былъ бы сытъ. Мы усѣлись втроемъ; Варинька была спокойна, она взяла яйцо въ смятку, разбила его и занималась имъ во все время завтрака. Мнѣ кусокъ въ горло не шелъ, но при Маврѣ Савишнѣ нельзя было не ѣсть: она меня запотчивала; я покорился и наѣлся на порядкахъ; она тоже попробовала того и другаго понемногу. Мы ѣли молча. Только по временамъ раздавался голосъ Мавры Савишны:

— Матрена! не забыла ли взять квасу на дорогу? Иванъ Васильичъ, ветчинки съ горошкомъ!... Староста, не забудь же послать въ Анкудиновку гречихи приторговать: тамъ, слышь, много ея. Что нужно будетъ, такъ во всемъ относиться къ Ивану Васильичу.... Иванъ Васильичъ! ужь вы не оставьте, родной, приглядите за всѣмъ, а гдѣ нужно, и пугните ихъ. Такъ-таки и пугните какъ своихъ собственныхъ. Слышишь, Дементьичъ!

— Слушаю, матушка! отвѣчалъ голосъ старосты.

— Да сказать обозу, чтобы выѣзжалъ вмѣстѣ съ нами, непремѣнно! а то они останутся на полсутки, да еще перепьются. Иванъ Васильичъ, телятинки съ моченными яблочками, и т. д.

Наконецъ завтракъ кончился, и мы встали изъза стола. Лошади давно были заложены, пристяжныя рыли снѣгъ отъ нетерпѣнія и мороза, колокольчикъ вздрагивалъ подъ дугой при каждомъ движеніи коренной лошади и напоминалъ объ отъѣздѣ. Бѣготня дворни становилась менѣе и менѣе, и наконецъ затихла. Всѣ дворовые въ почтительномъ молчаніи столпились у дверей прихожей и коридора. Мавра Савишна начала одѣваться въ дорогу: надѣла теплые чулки, башмаки на мѣху и валенки, потомъ тулупчикъ, шаль и салопъ, на голову мѣховую шапочку и шерстяную косынку, наконецъ сверху обвязала шею пуховымъ шарфомъ, и такимъ образомъ, закутанная, разкраснѣвшись отъ жару и усталости, испустила тяжелое уфъ! и опустилась въ переднемъ углу въ кресло.

Варинька тоже одѣлась по дорожному; мы всѣ усѣлись, посидѣли, помолчали, встали, помолились Богу и начали прощаться. Я подошелъ къ рукѣ Мавры Савишны, при чемъ она меня перекрестила какъ малолѣтняго, потомъ къ Варварѣ Александровнѣ, а за мной наперерывъ пустилась прощаться вся дворня. Простясь со всѣми, отъ мала до велика, Варинька грустно окинула взгля-

домъ покидаемый домъ, потомъ обратилась ко мнѣ и сказала:

— У меня есть къ вамъ просьба, Иванъ Васильичъ. Пожалуйста, безъ меня не велите никому трогать моего Джальму. Бѣдный, онъ соскучится! Кто его будетъ кормить теперь каждый день хлѣбомъ?

— Пожалуй, съ удовольствіемъ, отвѣчалъ я: — только какъ-же это сдѣлать...? вѣдь онъ можетъ застояться.

— Велите проводить его или гонять на кордѣ, сдѣлайте какъ знаете, только, пожалуйста, чтобы на немъ никто не ѣздилъ; я не хочу, чтобы кромѣ меня кто-нибудь ѣздилъ на моемъ Джальмѣ!

Я обѣщалъ ей, а между тѣмъ, пока мы говорили, Мавра Савишна, съ помощію двухъ лакеевъ, была усажена въ дорожную повозку и уже звала оттуда Вариньку. Варвара Александровна тоже усѣлась; ихъ окутали одѣялами; лакей взмостился на козлы, кучеръ подобралъ возжи и только хотѣлъ тронуть, какъ въ ворота, весь въ пѣнѣ, влетѣлъ иноходецъ, и Володя Имшинъ впопыхахъ выскочилъ изъ саней.

— Какъ, вы уже совсѣмъ! сказалъ онъ, подходя къ повозкѣ.

— Совсѣмъ, батюшка; да чегожь намъ было ждать? вольно же вамъ опаздывать! отвѣчала Мавра Савишна, которая не любила, когда ее задерживали у подъѣзда.

— Представьте, Мавра Савишна, говорилъ Имшинъ:—какое несчастье! я цѣлую ночь, не знаю отчего, спалъ очень дурно, или лучше сказать, почти совсѣмъ не спалъ, а къ утру забылся, да и проспалъ! хорошо еще, что засталъ васъ.

— Ну, очень рада! Прощайте же, батюшка, прощайте! сказала Мавра Савишна.

Володя почти влѣзъ въ повозку и приложился къ рукѣ Мавры Савишны, которой стоило большаго труда высвободить ее изъ-подъ салопа и одѣялъ. Потомъ онъ зашелъ съ другаго боку, чтобы проститься съ Варинькой.

— Такъ вы ѣдете, Варвара Александровна? спросилъ онъ грустно, какъ-будто не вѣря еще, что она уѣзжаетъ.

— Какъ видите, отвѣчала Варинька.—Мы, вѣроятно, разстаемся не-на-долго: вы, конечно, на зиму тоже въ городъ?

— Я? нѣтъ! отвѣчалъ Володя съ горечью. — Зачѣмъ мнѣ въ городъ? мнѣ и здѣсь хорошо!

— Полноте! что вамъ дѣлать зимой въ деревнѣ! Такъ до свиданья?

Варинька протянула ему ручку, Володя взялъ и отвѣчалъ неясно:

— Не знаю!... я думаю.... что нѣтъ.... а впрочемъ.... Онъ держалъ еще ея руку и, казалось, боялся опустить ее, но Мавра Савишна перекрестилась, простилась съ нами и сказала: «съ Богомъ!»

Лошади тронулись, я посмотрѣлъ имъ въ подковы,—примѣта, чтобы отъѣзжающіе благополучно возвратились; въ это время Варинька выглянула изъ повозки и закричала мнѣ:

— Иванъ Васильичъ, такъ не забудьте же Джальму.

Потомъ она поглядѣла на домъ и садъ, еще разъ обернулась къ намъ, кивнула головкой и скрылась. За ними тронулась другая повозка, съ горничными и перинами, и обѣ помчались по деревнѣ. Въ тоже время изъ воротъ задняго двора, длинной вереницей, скрипя по мерзлому снѣгу, потянулся обозъ съ тяжелой кладью и провизіей, сопровождаемый бабами и ребятишками.

Мы съ Володей вышли на улицу и долго смотрѣли по дорогѣ за уѣзжающими.

Повозки скрылись за деревенскими избами, потомъ опять показались изъ-за нихъ и готовы были снова скрыться, а мы все смотрѣли. Володя даже забылъ надѣть фуражку, которую снялъ при прощаньи. Его темно-русые, длинные и курчавые волосы заиндевѣли отъ мороза; свѣжее, красивенькое лицо еще болѣе зарумянилось; на глазахъ, можетъ отъ пристальнаго глядѣнья, навернулись слезы, а онъ все смотрѣлъ въ слѣдъ. Наконецъ одна слеза скатилась на его розовую щеку, онъ поспѣшно отеръ ее и обратился ко мнѣ.

— Сильно морозитъ! сказалъ онъ.

— Да, морозитъ! отвѣчалъ я.

Повозокъ не было уже видно. Одинъ обозъ длинной вереницей тянулся вдали. Мы молча пожали другъ другу руки, и шагомъ поѣхали къ домамъ разными дорогами.

—

Тутъ кончается повѣсть моего стараго и добраго знакомаго Ивана Васильича. Она мнѣ досталась случайно, вмѣстѣ съ нѣсколькими тетрадями записокъ Тамарина. Въ одной изъ этихъ тетрадей, я встрѣтился съ лицами, дѣйствующими въ этомъ разсказѣ. Представляю ее читателямъ.

II.

ТЕТРАДЬ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ

ТАМАРИНА.

Умереть со скуки—выраженіе чисто гиперболическое. Мнѣ кажется, я началъ скучать съ тѣхъ поръ, какъ въ первый разъ чихнулъ при рожденіи,—однако, слава Богу, живу до сихъ поръ. И, въ самомъ дѣлѣ, я не помню, когда бы я не скучалъ: скучалъ я на школьной скамейкѣ, скучалъ на петербургскихъ балахъ, скучалъ въ походной палаткѣ, въ киргизскихъ степяхъ, а болѣе всего на званыхъ обѣдахъ. Правда, было время—время первыхъ эполетъ и первыхъ надеждъ, — самая юная, самая счастливая пора! но когда оно прошло, скука взяла свое, и еще съ жидовскими процентами! И я привыкъ къ ней: я ее созналъ и съ ней освоился. Для меня жить и скучать—два слова, почти однозначащія. Скука—своего рода препровожденіе времени: она для меня тоже, что костыль для безногаго; это не живой членъ, но вещь, которая его отчасти замѣняетъ.

Конечно, есть нѣсколько избранныхъ, у которыхъ дѣятельность ума имѣетъ широкое поле и идетъ рядомъ съ дѣятельностію жизни. Есть, и много есть, другихъ счастливцевъ, у которыхъ смиренный умъ живетъ по-маленьку, довольствуется хорошей погодой и теплымъ мѣстечкомъ, и ограничиваетъ свои требованія четвертымъ партнеромъ для грошовой игры. Но велика и наша семья праздношатающихся умниковъ, которые не умѣютъ примирить дѣятельность души съ дѣятельностью жизни, которые во весь вѣкъ не сдѣлаютъ ниодного дѣльнаго дѣла, и расходуютъ свой умъ по мелочи на острыя слова да злыя эпиграммы, и то для развлеченія чужой, а не собственной скуки.

Вотъ уже съ мѣсяцъ, какъ мы съ Островскимъ, въ одинъ прескверный осенній день, пріѣхали въ N. Онъ нанялъ лучшую квартиру въ Дворянской улицѣ, а я поселился въ бабушкиномъ наслѣдіи. Островскій предлагалъ мнѣ жить вмѣстѣ, но я не люблю стѣснять себя и отказался, приведя пословицу, что два медвѣдя въ одной берлогѣ не уживутся, хотя онъ и доказывалъ, что эта пословица не относится ко львамъ.

Домъ, доставшійся мнѣ отъ бабушки, стоитъ на крутомъ берегу Волги. Зимой его заноситъ снѣгомъ, потому что по пустой набережной почти никто не ѣздитъ; но лѣтомъ видъ изъ оконъ чудесный. Широкая Волга лѣниво катится подъ горою, а по ту сторону небо, да далекій поемный лугъ, испещренный деревеньками. Всѣ удивляются, зачѣмъ я поселился въ этой глуши, а я ею очень доволенъ. Мнѣ надоѣлъ торопливый и заботливый шумъ столицы; а мелкая суматоха провинціи еще несноснѣе. Впрочемъ, провинціальная жизнь имѣетъ свою хорошую сторону: здѣсь всѣ живутъ открыто, потому что нѣтъ возможности скрыть что нибудь. Выѣдешь изъ дому и знаешь, что на улицѣ встрѣтишь непремѣнно Семена Семеныча, и откуда ѣдетъ Семенъ Семенычъ, и какъ онъ при встрѣчѣ пріятно улыбнется. Увидишь Петра Петровича и ждешь, что онъ, здороваясь и прощаясь, скажетъ непремѣнно «всякаго», и знаешь, что это значитъ «всякаго вамъ благополучія»; слышишь, что Сережа разсказываетъ съ жаромъ и клянется, и увѣренъ уже, что онъ лжетъ. А по утру заѣдетъ Иванъ Иванычъ узнать, что новенькаго, и непремѣнно самъ разскажетъ всѣ новости. А барышни! барышни! Что лицо, то типъ, и всѣхъ знаешь, и всѣ тебя знаютъ. Нѣтъ, много хорошаго въ провинціи! Досадно только, что провинціалы не примиряются съ этой жизнью, что они отрицаютъ ее, сплетничаютъ, и бранятъ сплетни, — знаютъ другъ про друга всю подноготную, а маскируются; — другъ друга часто терпѣть не могутъ, а жмутъ руки до излома костей, и вѣчно хотятъ казаться непремѣнно не тѣмъ, чѣмъ они есть. Старая, всемірная пѣсня!

Проживъ здѣсь недѣлю, я сдѣлалъ визиты всѣмъ знакомымъ дамамъ и очень немногимъ мужчинамъ. Я не могу жить безъ женскаго общества, будь оно и съ грѣшкомъ по-поламъ, будь въ немъ даже грѣшка болѣе, чѣмъ на половину. Такова уже привычка моей объобщившейся натуры! Всѣ меня спрашивали съ какой-то улыбочкой про баронессу и

многія про Вариньку. Я всѣмъ отвѣчалъ, какъ могъ, любезно и изъ вѣжливости почелъ долгомъ спросить у каждой изъ нихъ (у кого таковой есть) о здоровьѣ ея возлюбленнаго. А одна почтенная барыня, мать трехъ взрослыхъ дочерей, которая все увѣряетъ, что любитъ меня какъ сына, потому что часто игрывала въ бостонъ съ покойной бабушкой, шопотомъ спросила, можетъ ли она меня *поздравить*; я отвѣчалъ ей, что кромѣ вчерашняго проигрыша въ клубѣ меня *поздравить* не съ чѣмъ, и тогда она объявила, что здѣсь носятся слухи о моей помолвкѣ съ Варинькой Домашневой, но что, впрочемъ, она этому не вѣритъ, потому что Варинька хоть и милая дѣвочка, но мнѣ не пара, жила въ деревнѣ, не имѣетъ *свѣтскихъ манеръ обращенія* (причемъ она невольно взглянула на трехъ дочекъ, на вытяжку сидѣвшихъ на стульяхъ) и прибавила, что, вѣроятно, я бы не сдѣлалъ подобнаго шага, не посовѣтовавшись съ добрыми знакомыми, которые любятъ меня какъ сына. Я успокоилъ ее, увѣривъ въ несправедливости слуха и высказавъ твердое намѣреніе никогда не жениться, противъ котораго, впрочемъ, она горячо спорила.

Изъ всего этого я удостовѣрился, что здѣсь догадываются о томъ, какъ я провелъ лѣто въ деревнѣ, съ моими сосѣдками; но я твердо убѣжденъ, что никто не знаетъ чего либо положительно; для большинства достаточно было слуха о сосѣдствѣ, и изъ этого вывели заключенія. Таковъ свѣтъ! онъ все толкуетъ въ дурную сторону. А между тѣмъ въ слухахъ обо мнѣ есть часть истины. Неужели правъ онъ съ своимъ чернымъ взглядомъ на вещи? неужели дурное—общее правило, а хорошее — только исключеніе. Если такъ, то это грустно! Впрочемъ, гдѣжъ тутъ дурное? и виноватъ ли я, что свѣтъ вороновымъ взглядомъ прочуялъ дурное и каркаетъ о немъ? я былъ скроменъ какъ могила: это мой порокъ!

Сказать по правдѣ, мнѣ жаль, что здѣсь нѣтъ моей хорошенькой сосѣдки. Въ послѣднее время я очень привыкъ къ Варинькѣ; я любилъ видѣть ее довольною, счастливою, веселою при встрѣчѣ со мною; я любилъ задумчивый, любящій взглядъ ея темно-голубыхъ глазъ, когда, по праву сельской свободы, сидя вдвоемъ въ саду, въ теплый осенній вечеръ, я передавалъ ей свои убѣжденія или разсказывалъ пеструю повѣсть моей прошедшей жизни: а она слушала, пристально смотря на меня хорошенькими глазками, и, казалось, хотѣла спросить ими: неужели ты все это пережилъ и перечувствовалъ? и нѣтъ морщинъ на твоемъ челѣ! и нѣтъ въ кудряхъ сѣдаго волоса! и весело можешь ты смотрѣть на вседневную жизнь! И слышно мнѣ было нервное біеніе пульса въ ея бѣлой рукѣ; и тѣшило меня ея дѣтское удивленіе, и радовала ея первая любовь! Много, можетъ быть, дней похоронилъ бы я еще въ деревнѣ, съ моей сосѣдкой! много, быть можетъ, хорошихъ дней утратилъ я съ своимъ отъѣздомъ! А всему виноватъ Островскій: онъ своей насмѣшкой разбилъ мою иллюзію, и я ему много благодаренъ; и, въ самомъ дѣлѣ, не смѣшонъ ли былъ я, герой въ романѣ деревенской дѣвочки? Смѣшное, смѣшное! вотъ бичъ, отъ котораго блѣднѣетъ наше поколѣніе! вотъ слово, которое убиваетъ хуже чумы! отъ него одного кровь бросается мнѣ въ голову, и сожмется сердце со всѣми тепленькими чувствами, холодно взглянетъ разнѣжившійся глазъ и насмѣшливая улыбка ляжетъ на уста, лепетавшія нѣжный вздоръ!

А все-таки жаль, что здѣсь нѣтъ моей хорошенькой сосѣдки, Вариньки!

—

На дняхъ какъ-то у меня поутру собралось нѣсколько человѣкъ знакомыхъ. Въ это время мнѣ доложили, что кто-то меня спрашиваетъ. Я вышелъ въ прихожую и увидѣлъ знакомое лицо Савельича; онъ низко поклонился и, пригладивъ рукою рѣденькіе волосы съ затылка на лысину, проговорилъ, какъ по выученному:

— Мавра Савишна приказала кланяться и приказали узнать о здоровьѣ.

— Развѣ здѣсь Мавра Савишна? спросилъ я.

— Вчерашняго числа изволили пріѣхать, отвѣчалъ Савельичъ:—Располагаютъ прожить здѣсь всю зиму и остановились на Казанской въ домѣ Мордасова.

Я велѣлъ ему благодарить Мавру Савишну и сказать, что я самъ скоро буду. Возвратясь къ гостямъ, я услышалъ громкій смѣхъ. Мой пріятель Островскій, узнавъ о посланіи Мавры Савишны, увѣрялъ, что мы съ ней въ очень короткихъ отношеніяхъ, что Мавра Савишна влюблена въ меня безъ памяти, и что я не ношу другихъ чулковъ кромѣ ея вязанья, которые она мнѣ даритъ на память. Всѣхъ разсмѣшила шутка Островскаго, но другіе стали дѣлать намеки гораздо справедливѣе; а одинъ бывшій тутъ мѣстный острякъ замѣтилъ, что не хочетъ ли Мавра Савишна навязать мнѣ что нибудь и на шею. Чтобы прекратить этотъ разговоръ, я объявилъ имъ, что Мавра Савишна моя добрая сосѣдка, у которой я бывалъ очень часто въ деревнѣ, что она поступила очень любезно, давъ мнѣ знать о своемъ пріѣздѣ, и въ заключеніе прочиталъ имъ девизъ англійскаго герба, напечатаннаго золотомъ въ моей шляпѣ. Догадливые тотчасъ же взялись за свои, и черезъ часъ я былъ у Мавры Савишны.

Я нашелъ Мавру Савишну въ хлопотахъ: она разставляла мебель и устраивала квартиру. Знаменитый чулокъ ея еще не былъ вынутъ изъ дорожнаго ридикюля. У нея сидѣла какая-то старушка, вся въ черномъ, что-то въ родѣ приживалки, и, какъ кажется, вводила ее въ курсъ городскихъ новостей. Мавра Савишна встрѣтила меня радушными русскими привѣтствіями и съ особенною заботливостію и даже безпокойствомъ разспрашивала о причинѣ моего отъѣзда. Я поблагодарилъ ее за участіе и поспѣшилъ отвѣтить какою-

то очень неопредѣленной отговоркой, потому что замѣтилъ въ другой комнатѣ Вариньку.

Варинька сидѣла на диванѣ; возлѣ нея былъ ея другъ и наперсница Надежда П*, извѣстная, просто, подъ именемъ Надиньки. Онѣ сидѣли рядомъ, положивъ руку въ руку, какъ прилично двумъ дѣвицамъ, долго невидавшимся и вѣрующимъ во взаимную дружбу. Надинька эта недурна собою, но не въ моемъ вкусѣ; она съ большими претензіями, но болѣе обѣщаетъ съ перваго разу, чѣмъ даетъ впослѣдствіи, потому что все въ ней ложно, начиная съ чувствъ и до косы включительно. За это, можетъ быть, и не люблю ее, потому что она мнѣ ровно ничего не сдѣлала ни хорошаго, ни дурнаго; вѣроятно, по закону сродства душъ, и она меня терпѣть не можетъ.

При моемъ входѣ, Варинька немного покраснѣла. Видно было, что она обрадовалась, но не хотѣла показать этого; я думаю, что Надинька не совсѣмъ выгодно объяснила ей мой отъѣздъ и постаралась, сколько могла, возстановить ее противъ меня, потому что съ видимымъ любопытствомъ наблюдала за нами. Но я увѣренъ, что на моемъ лицѣ она ничего не прочла: дорого и трудно мнѣ досталась эта привычка управлять его выраженіемъ; но теперь я имъ доволенъ: оно, какъ хорошій актеръ, играетъ всѣ роли. Я съ своей стороны наблюдалъ за Варинькой, потому что первая встрѣча—вещь въ высшей степени любопытная: тутъ можно съ разу прочесть все прошедшее и разгадать много будущаго.

Встрѣча Вариньки имѣла претензію на холодность: она постаралась равнодушно кивнуть головкой и не подала мнѣ руки; но голосъ, которымъ была сказана ея первая незначащая фраза, выдалъ ее: онъ дрожалъ и имѣлъ особенный, свойственный внутреннему волненію звукъ. Услышавъ его, я бы имѣлъ уже право взглянуть торжествующимъ взглядомъ на Надиньку, если бы позволялъ себѣ подобныя глупости. Пока мы мѣнялись обычными пустыми фразами, я сѣлъ противъ Вариньки и всматривался въ ея лицо: оно почти не измѣнилось, только немного похудѣло, но черты его приняли болѣе серьезное выраженіе и обѣщали бы мнѣ болѣе трудную борьбу, если бы борьба могла имѣть мѣсто. Варинька, вѣроятно, тоже старалась сыскать во мнѣ перемѣну, какъ это обыкновенно дѣлается при встрѣчахъ, потому что послѣ минутнаго молчанія, внимательно посмотрѣвъ на меня, она сказала:

— А вы нисколько не измѣнились.

— Я никогда не измѣняюсь, отвѣчалъ я:—это мой недостатокъ.

— Хорошо, если бы всѣ ваши недостатки походили на него, сказала Надинька.

— А вы замѣтили и другіе? спросилъ я.

— И очень много! иначе вы были бы совершенствомъ, потому что недостатокъ, который вы знаете, очень похожъ на добродѣтель, и оттого *его не вѣрю.*

— Изъ вашихъ словъ—отвѣчалъ я — я вывожу два заключенія: во-первыхъ, что вы видите во мнѣ много недостатковъ, во-вторыхъ, ни одной добродѣтели.

— Словомъ, настоящаго демона! замѣтила Надинька съ насмѣшливой миной, намекая на данное мнѣ еще въ пансіонѣ прозвище.

— Вы мнѣ льстите, отвѣчалъ я:—и я буду неблагодаренъ, если не скажу вамъ, что вы сегодня столько же напоминаете добраго духа, сколько я злаго.

Надинька бросила на меня взглядъ, который—да проститъ ей Богъ! — имѣлъ явное намѣреніе убить меня; но, благодаря моей живучей натурѣ, убійство не совершилось. Вслѣдствіе этой неудачи, Надинька встала и вышла въ другую комнату, оставивъ меня съ Варинькой, а мнѣ только этого и хотѣлось.

Минута была самая интересная. Варинька любила меня. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, я вырвалъ у ея дѣвической стыдливости это признаніе, ни слова не говоря ей о своей любви; положеніе мое было прекрасно и давало мнѣ огромное превосходство. Часто, во время уединенной прогулки по темнымъ аллеямъ деревенскаго сада, когда ея неопытный языкъ не могъ удержать словъ первой любви, которая такъ сильно ворвалась въ ея еще новое сердце, Варинька останавливалась, горячая бѣленькая ручка ея сжимала мою руку и хорошенькіе, полные любви, темноголубые глаза вопросительно смотрѣли на меня и ждали страстнаго признанія. Въ эти минуты покорной любви, я любилъ, горячо любилъ Варвару, но я никогда не отвѣчалъ словами; мой взглядъ, мои ласки высказывали ей мою любовь, и она вѣрила въ нее; но мои уста упорно молчали. Я говорилъ ей про себя, про нее, но никогда про мою любовь, и, можетъ быть, это-то несознаніе, эта-то недосказанность любви еще болѣе заставляли любить меня. И вдругъ я ускакалъ изъ деревни, не простясь съ Варинькой, ни чѣмъ не оправдывая, ничѣмъ не извиняя моего отъѣзда! Я поступилъ съ нею какъ фатъ, которому надоѣла женская любовь, а между тѣмъ я вовсе не до такой степени пресыщенъ и избалованъ любовью, чтобы могъ отъ нея бѣгать: напротивъ, я бѣжалъ только отъ смѣшнаго, отъ одной тѣни смѣшнаго. И вотъ мы свидѣлись съ Варинькой и сидимъ другъ противъ друга, и каждый желаетъ разгадать мысли другаго. Положеніе Вариньки было непріятно; но я молчалъ съ умысломъ: мнѣ хотѣлось видѣть, какъ она изъ него вывернется. Я боялся, что она не сладитъ съ своей любовью и начнетъ чѣмъ нибудь въ родѣ косвенныхъ упрековъ или жалобы: тогда бы она много потеряла въ моемъ мнѣніи. Но вышло не такъ: Варинькѣ, вѣроятно, пришла мысль, что я забавляюсь ея положеніемъ, потому что вдругъ щеки ея вспыхнули, выраженіе задумчивости слетѣло съ лица, она взглянула на меня нѣсколько прищурясь и быстро проговорила:

— Вы такъ скоро уѣхали изъ деревни, что, кажется, забыли взять свою любезность, потому что мы минуть пять какъ молчимъ.

— *Кто много чувствуетъ, тотъ не терлетъ словъ*, сказалъ я.

— А! это ново! давно ли вы начали чувствовать?

— Съ тѣхъ поръ — отвѣчалъ я — какъ узналъ васъ.

Отвѣтъ мой былъ бы пошлъ, если бы его нельзя было принять за насмѣшку; подумавъ, я бы не сказалъ его, но увлекся репликой, и мнѣ было крайне досадно на себя, потому что онъ глубоко оскорбилъ Варинькy.

— Жалѣю, что *я* васъ узнала! съ горечью отвѣчала она.

Я былъ благодаренъ Варинькѣ за этотъ отвѣтъ, потому что онъ былъ вполнѣ заслуженъ. Я былъ кругомъ виноватъ и готовъ бы былъ просить у нея прощенья, еслибъ я когда либо сознавался въ своей винѣ. Но это было не въ моей натурѣ, и я хотѣлъ по крайней мѣрѣ оправдать себя.

— Вы имѣете полное право сказать это, отвѣчалъ я съ видомъ глубокаго огорченія: — потому что наружность и истолкованіе Надежды Васильевны противъ меня; но вы несправедливы. Вамъ не понравилось мое молчаніе, потому что вы его не такъ поняли. Я слишкомъ гордъ, чтобы оправдываться, и слишкомъ самолюбивъ, чтобы напрашиваться на то расположеніе, котораго, можетъ быть, считаютъ меня недостойнымъ. Я былъ даже довольно деликатенъ, чтобы не напоминать о немъ. За тѣмъ отдаюсь вполнѣ на вашъ судъ, и какъ бы ни былъ онъ для меня невыгоденъ, я никогда не обвиню васъ.

Варинька слушала меня съ удовольствіемъ, потому что ей самой хотѣлось, чтобы я оправдался; можетъ быть, она [illegible] желала, чтобы оправданія мои были нѣсколько [illegible]нѣе и опредѣленіе, но за неимѣніемъ лучшихъ удовольствовалась и этими: хорошо имѣть дѣло съ судьей, у котораго подкуплено сердце. Взглядъ Вариньки прояснѣлъ и развеселился, хотя черныя брови, изъ упрямства, были еще нѣсколько сдвинуты.

— Ктожь обвиняетъ васъ! сказала она: — но я думала, что вы, по крайней мѣрѣ, объясните вашъ внезапный отъѣздъ.

Я сдѣлалъ мину по обстоятельствамъ и отвѣчалъ, пожавъ плечами:

— Чтожь дѣлать: такъ было надо!

Я люблю подобнаго рода отвѣты: они привлекательны своей неизвѣстностью и притомъ имѣютъ то преимущество, что всякій можетъ недосказанное истолковать по своему желанію. Впрочемъ, дѣйствительно, мнѣ надо было уѣхать изъ деревни. Островскій нарисовалъ мнѣ такую уморительную картину моей будущности, что, сбудься она хоть въ десятой долѣ, я былъ бы непростительно смѣшонъ. А куда я не убѣгу отъ смѣшнаго!

Нельзя сказать, чтобы мой отвѣтъ былъ весьма удовлетворителенъ, но Варинька знала меня: ей оставалось или примириться съ моимъ деспотизмомъ, или отвергнуть меня: она вздохнула и задумалась. Не знаю, чѣмъ бы кончилась эта сцена, если бы на самомъ интересномъ мѣстѣ ея не вошла Маврa Савишна съ Надинькой. Разговоръ пошелъ по другой колеѣ: говорили о предметахъ серьёзныхъ — урожаѣ, погодѣ, нарядахъ; я былъ не въ духѣ болтать вздоръ и чрезъ нѣсколько минутъ началъ дѣлать гигантскія усилія, чтобы не зѣвнуть передъ Маврой Савишной, которая считала это верхомъ неприличія. Къ счастію, пріѣхалъ одинъ чиновникъ, который кланялся съ особеннымъ почтеніемъ, и поэтому слылъ за прекраснаго человѣка. Отличительная черта его поклона заключалась въ томъ, что онъ каждому кланялся по одиначкѣ и дѣлалъ изъ спины совершенно полукружіе, при чемъ закрывалъ глаза, что и придавало ему видъ особенной почтительности. Когда очередь дошла до меня, я воспользовался минутой молчанія, всталъ, поклонился и вышелъ, предоставляя чиновнику удивляться моей невѣжливости, когда онъ, медленно приподнявъ голову, откроетъ глаза и увидитъ передъ собой пустое мѣсто.

Вообще, я остался очень доволенъ этой первой встрѣчей съ Варинькой. Теперь наши взаимныя отношенія такого рода, что отъ нихъ также близко къ короткости, какъ и къ совершенному разрыву. Я чрезвычайно люблю подобную неопредѣленность и жалѣю, что не началъ службы по дипломатическому корпусу: я, вѣроятно, не былъ бы поручикомъ въ отставкѣ; къ тому же эта неопредѣленность мнѣ необходима, потому что я не рѣшилъ еще, что мнѣ дѣлать съ Варинькой.

Наша деревенская короткость очень интересна, но ея станетъ не на долго. Мы скоро дойдемъ до той точки, на которой порядочные люди или разрываютъ, или женятся. Разрывъ тогда будетъ труднѣе чѣмъ теперь, а жениться я не намѣренъ.... Другой аргументъ: мнѣ порядочно скучно; если я не буду занятъ Варинькой, мнѣ будетъ еще скучнѣе; къ тому же Варинька меня любитъ, и разрывъ со мной очень огорчитъ ее. Спрашивается: благоразумно ли будетъ обрекать себя на скуку, а Варинькy на печаль изъ одной боязни будущаго?... Это сцѣпленіе обстоятельствъ такъ запутано, что я рѣшаюсь посовѣтоваться съ Ѳедоромъ Ѳедорычемъ.

—

Ѳедоръ Ѳедорычъ мой пріятель: онъ со мной однихъ лѣтъ, имѣетъ маленькое состояніе и независимую должность; по этому послѣднему обстоятельству онъ никому не кланяется; къ чести Ѳедора Ѳедорыча, думаю, что если бы онъ отъ кого-либо и зависѣлъ, то, вѣроятно, тоже не кланялся; но не знаю, служилъ ли бы онъ тогда. Ѳедоръ Ѳедорычъ очень уменъ, и потому часто позволяетъ себѣ говорить вздоръ; онъ очень дуренъ собой, и любимый предметъ его—женщины; у него предоброе сердце и превлой языкъ; въ характерѣ его много мечтательности и увлеченій, ч.

несмотря на это, онъ ужасный скептикъ и матеріалистъ. Кромѣ страшной лѣни, онъ не имѣетъ никоднаго качества, которое бы бросалось въ глаза, а между тѣмъ я бы не хотѣлъ его имѣть своимъ соперникомъ. Мы не были съ нимъ друзьями, потому что не вѣрили въ дружбу, но были большими пріятелями, потому что уважали другъ друга; и то сказать: мы шли съ нимъ всегда по разнымъ дорогамъ; но если бы сошлись на одной, то навѣрное были бы смертельными врагами!

Вчера, возвратясь домой съ званаго обѣда, я нашелъ у себя Ѳедора Ѳедорыча. Были сумерки; снѣгъ большими хлопьями тихо падалъ на землю. Ѳедоръ Ѳедорычъ сидѣлъ у окна въ креслѣ, положивъ на стулъ ноги. Когда я вошелъ, онъ протянулъ мнѣ руку и принялъ меня, какъ хозяинъ—непеременнаго гостя.

— Давно вы здѣсь? спросилъ я его.

— Съ часъ, отвѣчалъ онъ.

— Что-жъ вы дѣлаете?

— А вотъ любуюсь на видъ.

— Да за снѣгомъ ничего не видно.

— Что-жь дѣлать! за-то весной отсюда видъ чудесный.

— Хотите сигару?

— Благодарствуйте! ваши, что́ для гостей, очень слабы, а собственно вашихъ я не хочу курить, потому что ихъ держатъ только для себя.

— И для добрыхъ пріятелей, отвѣчалъ я, подавая свою сигарошницу.

— Пріятель пріятелемъ, а сигара сигарой, отвѣчалъ онъ:—очень хорошо, если то и другое доброе: въ такомъ случаѣ ихъ все-таки надо беречь для себя, потому что для всѣхъ добраго не наберешься. Но я возьму вашу, потому что мнѣ лѣнь достать свою.

За тѣмъ онъ очень вяло протянулъ руку, взялъ сигару, попросилъ человѣка подать ему свѣчку, которая стояла сзади его на столѣ, и, закуривъ, сталъ смотрѣть на снѣгъ. Съ полчаса просидѣлъ онъ такъ, не говоря ни слова, лѣниво куря сигару и пристально смотря на снѣгъ.

Богъ вѣдаетъ, какія мысли ходили въ это время въ его умной, прислоненной въ косяку головѣ. Воображеніе ли взяло свое и рисовало ему какую нибудь желанную, любимую картину его добраго и мягкаго сердца,—перевѣсилъ ли положительный и насмѣшливый умъ и перебиралъ въ карикатурѣ его друзей, или разсчитывалъ приходъ съ расходомъ—не знаю. Вѣрно только то, что онъ бы никогда не сознался въ мечтательности, и на вопросъ, о чемъ онъ думаетъ, назвалъ бы во всякомъ случаѣ самый прозаическій предметъ. Я зналъ его слабость прятать сердце за умъ, поэзію за существенность; мнѣ даже нравилась въ немъ эта застѣнчивость всего задушевнаго, и потому я никогда его не допрашивалъ. Между тѣмъ я велѣлъ затопить каминъ и придвинулъ къ нему два покойныхъ кресла. Когда огонь вспыхнулъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ оглянулся, увидалъ меня, комфортно куряшаго у камина, съ любовью посмотрѣлъ на приготовленное для него мѣсто, улыбнулся, зѣвнулъ, потянулся и лѣниво перетащилъ чрезъ комнату свою длинную фигуру.

— Вы умѣете жить, сказалъ онъ, опустившись въ кресло и положивъ ноги на подушку.

— Не совсѣмъ!—отвѣчалъ я—надо спросить вина, тѣмъ болѣе, что сегодня за обѣдомъ было пресквернное, и я почти ничего не пилъ.

— Я бы похвалилъ васъ за выдумку, если бы Пушкинъ раньше васъ не усадилъ точно также своего Онѣгина съ Ленскимъ. Вы умѣете понимать поэзію, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Ну, мы съ вами, кажется, не похожи на пушкинскихъ героевъ.

— Что жь! они сами по себѣ, мы сами по себѣ. Опиши насъ Пушкинъ, и мы были бы герои хоть куда.

— Я съ вами согласенъ, отвѣчалъ я.—Привести Чайльдъ-Гарольда, Онѣгина или Печорина, нарядить ихъ въ платье работы здѣшнихъ портныхъ, Водопьянова или Милоглазкина, и представить подъ другими именами, хоть той дамѣ, которая бредитъ ими, и повѣрьте, проживъ годъ въ одномъ съ ними городѣ, она бы обратила на нихъ вниманія менѣе, чѣмъ на насъ съ вами.

— И была бы совершенно справедлива, замѣтилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ:—потому что мы бы дѣйствительно стояли выше ихъ, всѣмъ превосходствомъ нашихъ петербургскихъ портныхъ передъ здѣшними.

Посвятивъ себя въ герои, мы успокоились и нѣсколько минутъ молча попивали раулевское вино.

— Гдѣ вы сегодня вечеромъ? спросилъ я.

— Въ клубѣ. А вы?

— У Домашневыхъ, я думаю; еще не былъ у нихъ вечеромъ. Вы ихъ знаете?

— Какже! Я помню Варинъку, когда она еще играла въ куклы, а теперь [illegible] сама она готова въ игрушки, сказалъ вздохнувъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Вамъ жаль ее, спросилъ я.

— Очень! потому что она будетъ забавлять васъ, а не меня.

— Почему же меня?

— Да потому, что вы прежде явились. А у васъ ея не вырвешь.

— Послушайте, Ѳедоръ Ѳедорычъ—сказалъ я—я очень радъ, что рѣчь зашла про Варинъку: я давно хотѣлъ съ вами посовѣтоваться.

— Напрасно! прервалъ меня Ѳедоръ Ѳедорычъ: — я никогда не даю совѣтовъ, потому что не люблю принимать на себя чужой вины впослѣдствіи. Впрочемъ, вамъ совѣтовать можно: вы человѣкъ умный, и потому навѣрно сдѣлаете по своему; я слушаю.

— Я съ вами буду говорить прямо, продолжалъ я: — потому что обиняками васъ не обманешь, и къ тому же вы такой человѣкъ, что если вамъ скажутъ что нибудь и по секрету, такъ вы и тутъ никому пересказывать не будете. Вотъ видите ли,

я съ Варинькой въ такомъ положеніи, отъ котораго весьма близко къ короткости и разрыву.

— То-есть она въ васъ влюблена, а вы, въ ожиданіи будущаго, отдалили ее отъ себя: я договариваю за васъ, потому что вы хотѣли говорить прямо.

— Положимъ, что такъ, отвѣчалъ я: — сойтись мнѣ съ ней легко, но это ни къ чему не поведетъ, потому-что я на ней жениться не намѣренъ; съ другой стороны, я имѣю самолюбіе думать, что разрывъ со мной много опечалитъ ее; теперь—вотъ въ чемъ вопросъ: должно ли жертвовать ею въ настоящемъ изъ опасенія худшаго будущаго?

Ѳедоръ Ѳедорычъ расхохотался.

— Вы сдѣлали этотъ вопросъ такимъ гуманнымъ, какъ будто представляете его филантропическому обществу, сказалъ онъ. — Мнѣ вы могли сказать просто: если я теперь разстанусь съ Варинькой, мнѣ будетъ ужасно скучно. Если я буду завлекать ее для своей забавы, то могу впослѣдствіи попасться въ хлопоты. И потому слѣдуетъ ли скучать теперь изъ опасенія бо́льшей скуки въ будущемъ? На это я вамъ, пожалуй, отвѣчу,—только скажите напередъ отровенно: зачѣмъ вы меня спрашиваете?

— Вы несносны, Ѳедоръ Ѳедорычъ! отвѣчалъ я: — съ вами непремѣнно надо называть всякую вещь ея именемъ; иначе вы сами назовете. Дѣлать нечего, принимаю ваше условіе. Я спрашиваю вашего совѣта совсѣмъ не для того, чтобы ему послѣдовать, потому-что въ дѣлахъ чувствъ очень часто не слушаешь даже самаго себя; но вопросъ, который я вамъ предлагаю, очень любопытенъ. И въ васъ, и во мнѣ, и въ другихъ изъ нашей братьи, два человѣка. Первое: человѣкъ просто честный, то-есть человѣкъ въ абсолютномъ значеніи этого слова; второе—человѣкъ честный свѣтскій. Первый долженъ бы идти прямой дорогой къ цѣли. Второй идетъ по тому же направленію, стараясь сколько можно спокойнѣе для себя совершить путешествіе, и потому иногда вынужденъ позволять себѣ маленькія отклоненія. Завлекать молоденькую дѣвочку ради собственнаго удовольствія, говоря откровенно, дѣло не совсѣмъ чистое; а между тѣмъ покойный Печоринъ, не смотря на то, что окомпрометировалъ княжну Мери, былъ весьма порядочный человѣкъ. Вы мнѣ не будете отвѣчать какъ педантъ, и потому мнѣ ваше мнѣніе будетъ интересно, какъ мнѣніе свѣтскаго и умнаго человѣка. Повторяю: я спрашиваю вашего совѣта чисто изъ любопытства.

Послѣ этого монолога я съ удовольствіемъ отдышался, закурилъ сигару, налилъ вина и приготовился слушать. Между тѣмъ Ѳедоръ Ѳедорычъ обдумался и, преодолѣвъ обычную лѣнь, отвѣчалъ:

— Вы меня ставите въ весьма непріятное положеніе говорить то, что думаешь, и, что еще хуже, думать о томъ, что бы я впослѣдствіи могъ самъ сдѣлать неподумавши; охота же вамъ выводить на судъ самого себя? вѣдь здѣшніе служащіе вашему примѣру не послѣдуютъ. Чтобы отвѣтить вамъ что нибудь, я скажу, что, разложивъ каждаго изъ нашей братьи, на два человѣка, вы много облегчили мою логику, тѣмъ болѣе, что сами же уничтожили одну половину, и потому привели всѣхъ къ одному знаменателю. Какъ человѣкъ просто честный, то-есть не такой, каковъ я есть, я вамъ скажу, что завлекать дѣвочку, хоть она будь и не княжна, а просто Варвара Александровна, вещь весьма безнравственная. Вы это и безъ меня знаете, потому тутъ распространяться нечего. Свѣтское мнѣніе будетъ двояко: старухи, у которыхъ десятки засидѣвшихся дочерей, старыя дѣвы,—словомъ все, что составляетъ грозный ареопагъ, который неумолимо судитъ и рядитъ всякое слово, или, попросту сказать, сплетничаетъ, — васъ безпощадно осудитъ,—осудитъ не по сознанію, а по привычкѣ все осуждать. Эта каста до такой степени ложна и пристрастна въ причинахъ, которыя побуждаютъ ее строго судить обо всѣхъ, что одного этого осужденія, будь оно даже совершенно справедливо, уже достаточно, чтобы извинить васъ въ глазахъ всего молодаго, бойко живущаго поколѣнія. И это поколѣніе, наша братія, наши близнецы, вскормленные и вспоенные однимъ съ нами духомъ и началами, оправдаетъ васъ и будетъ искренно въ своемъ приговорѣ. Каждый изъ нихъ не броситъ въ васъ камня, оттого, что побоится попасть имъ въ себя. Да и чтожъ, въ самомъ дѣлѣ? Вы дали Варинькѣ нѣсколько слезъ, ту боль сердца, которая называется страданіями; да вѣдь это страданія моральныя и относительныя! они зависятъ отъ раздражительности нервовъ и чувствительности сердца: какія это страданія! Это не кусокъ черствaго хлѣба, не жесткая скамья, да продранное платье! вотъ страданія, такъ страданія! За то, знаете ли, что вы дѣлаете этимъ? Вы ее избавите отъ скуки. Боже, какъ это много! Вы ей доставите право говорить своимъ подругамъ, и вамъ впослѣдствіи, что вы разбили ея жизнь, что вы отравили ея лучшія вѣрованія, и прочее и прочее. Великое для дѣвицы право! и, браня васъ, подруги ея будутъ тайно думать: счастливица Варинька! и подруги ея будутъ правы, потому что вы ей дадите жизнь; и сама Варинька съ наслажденіемъ вспомнитъ пережитое время! А вы гордо будете скучать своимъ успѣхомъ, смѣясь надъ мнѣніемъ старухъ вмѣстѣ съ молодежью, которая вамъ будетъ завидовать, и смиренно вынося колкія замѣчанія дамъ, которыя сами тайно пожелаютъ быть вами обманутыми. Впрочемъ, все это вы сами знаете очень хорошо, и прекрасно сдѣлаете, потому что во всякомъ случаѣ вы будете правы: стоитъ только взглянуть на себя и заставить глядѣть другихъ съ выгодной точки зрѣнія; а это самая легкая вещь на свѣтѣ.

— И это ваше мнѣніе? спросилъ я.

— Нѣтъ! отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ: — мое мнѣніе собственно то, что мы толкуемъ по пустякамъ, потому что всѣ наши разсужденія ни на волосъ не измѣнятъ того, что̀ будетъ, и что не

слѣдуетъ терять времени на вздоръ, когда въ клубѣ ждетъ партія виста.

Ѳедоръ Ѳедорычъ всталъ, пожалъ мнѣ руку и, захвативъ мимоходомъ мою фуражку вмѣсто своей, потому что она первая попалась ему подъ руку, ушелъ, кажется, въ дурномъ расположеніи духа, лѣниво шаркая ногами. А между тѣмъ Ѳедоръ Ѳедорычъ не любилъ картъ и игралъ отъ нечего дѣлать, всегда весьма равнодушно и неохотно, хотя громко проповѣдывалъ, что лучше ихъ нѣтъ занятія въ мірѣ.

Съ его уходомъ я остался одинъ у догорающаго огня и съ пустымъ стаканомъ. Кажется, Ѳедоръ Ѳедорычъ, вмѣсто моей фуражки, оставилъ мнѣ свое дурное расположеніе духа. Долго еще просидѣлъ я у камина, лѣниво переворачивая тлѣющія головешки, и непріятныя мысли смѣнялись въ головѣ моей. Мнѣ было досадно на свѣтъ, на нашъ людской, а не на Божій свѣтъ, за то, что добро въ немъ ходитъ объ-руку со зломъ, такъ что и не различишь ихъ одно отъ другаго, — за то, что создалъ этотъ свѣтъ свои правила, надъ которыми самъ же смѣется, — за то, что все въ немъ двулично, и стоитъ только перемѣнить мѣсто, чтобы бѣлое называлось чернымъ, а черное бѣлымъ. Мнѣ было досадно и на себя, за то, что, понимая этотъ свѣтъ, у меня не достаетъ энергіи вырваться изъ его колеи и гордо пройти жизнь прямой дорогой, не огибая предразсудковъ, надъ которыми смѣюсь и которымъ покоряюсь; мнѣ было еще досаднѣе, что я въ этомъ и нужды даже никакой не вижу. Мнѣ было до того досадно на свѣтъ и на себя, что стало грустно. Я спросилъ одѣваться и поѣхалъ къ Домашневымъ.

Былъ часъ десятый, когда я пріѣхалъ къ Маврѣ Савишнѣ. Она сидѣла на диванѣ съ той же добродушной улыбкой; она встрѣтила меня тѣмъ же гостепріимнымъ привѣтомъ, какъ и въ деревнѣ; на ней были и тѣ же очки въ серебряной оправѣ, но городская жизнь уже коснулась ея своимъ воздухомъ: бѣлый чепецъ ея былъ съ пестрыми лентами, и, вмѣсто патріархальнаго чулка, она держала въ рукахъ роковыя тринадцать картъ.

Мавра Савишна играла въ четверомъ въ бостонъ, по копейкѣ фишку; предсѣдатель уголовной палаты, совѣстный судья и еще кто-то, служащій тоже по выборамъ, — всѣ люди немолодые, небогатые и очень хорошіе, раздѣляли ея удовольствіе. Была тутъ еще какая-то барыня, одѣтая съ большой претензіей, которая при моемъ появленіи встала и, несмотря на приглашеніе поужинать, или хотя просто закусить, уѣхала, сказавъ, что пора ужъ на боковую, а не добрыхъ людей безпокоить, при чемъ, кланяясь, изкоса посмотрѣла на меня. Я узналъ ее: это была одна изъ того грознаго ареопага неумолимыхъ судей, про которыхъ говорилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ. Страсть ея была въ томъ, чтобы отпускать тонкія колкости и намеки. Къ несчастію, эти намеки большею частію *были до того тонки,* что ихъ бы никто и не примѣтилъ, если бы она сама же ихъ потомъ не разсказывала. Она меня ненавидѣла, особенно за то, что я не обращалъ вниманія на ея замѣчанія: я ее презиралъ какъ злую, но безсильную ханжу. Я былъ увѣренъ, что она уѣхала только для того, чтобы намекнуть на мой поздній пріѣздъ, и на другой день разсказать по этому случаю, какой я безнравственный человѣкъ, и какъ она таки не утерпѣла и отдѣлала меня; а я обрадовался ея отъѣзду потому, что могъ сидѣть съ Варинькой, не подвергая ее пустымъ пересудамъ.

Варинька сидѣла въ угловой комнатѣ на диванѣ и читала. Я пошелъ ей поклониться и сѣлъ съ нею. Разговоръ начался съ романа и продолжался городскими новостями: онъ также мало занималъ ее, какъ и меня, потому что у каждаго изъ насъ былъ въ умѣ другой разговоръ, въ сущности, быть можетъ, еще болѣе пустой, но гораздо болѣе интересный. Мы дошли наконецъ до него, потому что бросили старую тему; но никто не хотѣлъ начать другаго, и мы оба замолчали: она — потому, что ей нельзя было начать, я — потому, что не хотѣлъ начинать.

Комната, въ которой мы сидѣли, была только что отдѣлана: просто, свѣжо и съ большимъ вкусомъ. Въ разрѣзѣ одного угла стоялъ виртовскій рояль, въ другомъ — угольный комфортный диванъ, на которомъ мы сидѣли, обставленный цвѣтами; рѣшетки изъ густаго плюща окружали его съ обѣихъ сторонъ, и на аркѣ, обвитой зеленью, съ которою соединялись эти рѣшетки, висѣлъ цвѣтной фонарикъ. Въ рамѣ изъ цвѣтовъ и зелени, въ розовомъ темномъ полусвѣтѣ, молча сидѣла Варинька и была очень хороша въ эту минуту; блѣдная рука ея нервически вертѣла попавшуюся вѣтку; уста были сжаты, какъ будто она боялась, чтобы изъ нихъ не вырвалось невольное слово; черныя брови немного сдвинуты, и холоденъ, безстрастенъ былъ взглядъ ея голубыхъ глазъ. Долго и съ невольной грустью смотрѣлъ я на Варинькy: я рѣшился оставить ее и мысленно разставался съ нею, и, сознаюсь, мнѣ было больно и жалко оставить ее. Отъ магнетическаго ли вліянія глазъ, или нечаянно, она взглянула на меня, сначала мелькомъ, потомъ продолжительно; наконецъ взглядъ ея остановился на мнѣ и не отрывался. Грусть или невольное сознаніе вины читала она на лицѣ моемъ, или разгадала она на немъ тяжелую печать пустой, безцѣльно и безплодно убиваемой молодости, и прежнее участіе сильнѣе заговорило въ ней, только кровь бросилась ей въ голову, щеки вспыхнули, глаза блеснули, смутились: я не выдержалъ, протянулъ ей руку, и взглядъ мой глубоко и искренно просилъ прощенія. Румянецъ ея вспыхнулъ ярче, глазки опустились; она съ минуту колебалась, потомъ сжатыя уста раскрылись.

— Вы очень злы, тихо прошептала она, и рука ея упала въ мою руку.

Я припалъ къ этой рукѣ и горячо цѣловалъ ее. Мнѣ было досадно на себя, больно за Ва-

ринькy! какая то неопредѣленная, забытая боль стѣснила долго, долго дремавшее сердце и пахнула на меня первой молодостью. Въ эту минуту я много перечувствовалъ; но, Богъ вѣсть, была ли любовь между этими чувствами....

Я уѣхалъ отъ Мавры Савишны послѣ ужина и былъ въ такомъ добромъ расположеніи духа, что не отказался даже отъ грибковъ въ смѣтанѣ, которые у ней прекрасно сохранялись во всю зиму. Когда я проѣзжалъ мимо клуба, въ немъ еще были огни. Я зашелъ на минуту, чтобы посмотрѣть Ѳедора Ѳедорыча; но его тамъ не было. Островскій сказалъ мнѣ, что онъ ушелъ рано и былъ во весь вечеръ золъ и скученъ. За это извѣстіе онъ взялъ у меня сто рублей, сказавъ, что забылъ бумажникъ, потому что въ немъ не было ни гроша, и сѣлъ проигрывать мои деньги, а я поѣхалъ домой.

Лежа на постели, я разбиралъ пережитой день и остался крайне недоволенъ собой. Конечно, я очень мало сдѣлалъ новаго: я только возобновилъ съ Варинькой тѣ отношенія, которыя существовали въ деревнѣ; но то было въ деревнѣ! тамъ мы были одни, тамъ каждый нашъ шагъ, каждую нашу встрѣчу не слѣдилъ неусыпный свѣтъ и не разсказывалъ встрѣчному и поперечному въ своихъ непечатныхъ стоустыхъ вѣдомостяхъ.

А между тѣмъ, осуждая себя чуть не въ слухъ, я долженъ сознаться, что у меня было такъ весело и тепло на душѣ, какъ давно не было; и я заснулъ сладко и спокойно, какъ долженъ спать младенецъ на груди матери. Странное созданіе человѣкъ!

По всѣмъ соображеніямъ, я счастливъ, совершенно счастливъ, и сознаюсь въ этомъ, что̀ большая рѣдкость. Обыкновенно, мы ясно понимаемъ свое положеніе, когда выходимъ изъ него, и, только обратясь назадъ и обнявъ взглядомъ все пережитое, говоримъ: а славное тогда было время, я тогда былъ счастливъ! Но рѣдко бываетъ, чтобы человѣкъ сознавалъ настоящее и отдавалъ ему справедливость; это происходитъ оттого, мнѣ кажется, что всякое происшествіе рисуется намъ памятью, какъ картина, списанная съ натуры талантливымъ перомъ: нѣтъ тѣхъ маленькихъ физическихъ непріятностей, которыя отравляютъ ее; онѣ забиваются, сглаживаются и представляются воображеніемъ въ какомъ то неясномъ поэтическомъ свѣтѣ.

Я привыкъ строго слѣдить за собой и безпрестанно анализировать свое положеніе. Въ самомъ дѣлѣ, чего недостаетъ мнѣ теперь? я любимъ прехорошенькой дѣвочкой, и люблю ее сколько могу любить; встрѣчи наши не стѣснены и, при малѣйшей наклонности къ обыкновенному порядку вещей, я даже могу увѣнчать любовь свою законнымъ бракомъ. Если къ этому прибавить, что всѣ догадываются о томъ, что я любимъ, что мнѣ намекаютъ объ этомъ, что меня бранятъ за это и мнѣ завидуютъ, — что, кромѣ того, у меня теплый домъ, хорошій поваръ, доброе вино, очень мало долгу и трезвый камердинеръ: сообразивъ все это, надо быть особенно взыскательнымъ, чтобы не сознаться въ совершенномъ счастіи. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, это счастіе? Если такъ, то Боже мой, какая скука быть совершенно счастливымъ!

Я скоро пережилъ весь маленькій репертуаръ наслажденій дѣвственной любви. Условныя встрѣчи, рукопожатія, тихое «ты», сказанное при сотнѣ глазъ, въ отвѣтъ на почтительный поклонъ, и изрѣдка безгрѣшный поцѣлуй, сорванный полунасильно, полусвободно съ дѣвственныхъ устъ, трепещущихъ, чтобы не подмѣтилъ его чей нибудь нескромный взглядъ—вотъ и все! можно бы было увеличить его маленькой перепиской, да иногда скучно писать поздно вечеромъ, когда хочется спать, и беречь письма въ цѣлости, для того, чтобы возвратить ихъ послѣ разрыва. А впрочемъ, вѣдь это для меня только повтореніе задовъ. Я все зналъ напередъ: вольно же мнѣ было завести любовь съ дѣвочкой, да еще такой, у которой, кромѣ меня, есть другой и, къ несчастію, глупый поклонникъ!

Долженъ сознаться, что вся моя выходка противъ счастія вообще, и моего въ особенности, происходитъ оттого, что я сегодня провелъ прескучный вечеръ. Сюда пріѣхалъ Володя Имшинъ. Ему съ небольшимъ двадцать лѣтъ; года два назадъ онъ съ честью окончилъ служебное поприще, выйдя въ отставку съ чиномъ коллежскаго регистратора; онъ очень недуренъ собой и глупъ, какъ и слѣдуетъ быть хорошенькому мальчику, потому что природа не даетъ вдругъ, а каждому понемногу. По праву сосѣдства, дружбы дѣтскихъ лѣтъ и юношеской любви, онъ почти каждый день бываетъ у Домашневыхъ и страшно надоѣдаетъ и мнѣ, и Варинькѣ. Нѣтъ ничего непріятнѣе, какъ быть съ предметомъ любви, когда черезъ два стула отъ васъ цѣлый вечеръ сидитъ глупенькое лицо, очень недовольное собой и вами, изкоса поглядываетъ, вздыхаетъ да еще корчитъ разочарованнаго и позволяетъ себѣ дѣлать пошлыя замѣчанія. Захочется ли сказать теплое слово, согрѣться живымъ участіемъ, снять на минуту холодную маску, онъ тутъ какъ тутъ — нѣмой, непризванный свидѣтель! Можетъ быть и то, что безъ него бы мы надоѣли другъ другу, что мы бы разстались недовольные собой и еще болѣе охлажденные къ жизни, или что̀ еще хуже, что мы бы цѣлый вечеръ были глупы какъ онъ: находятъ же иногда и такія минуты! да все-таки ему то до насъ дѣла нѣтъ, и порядочный человѣкъ не долженъ мѣшать другому. Рѣшительно, при Володѣ я не остаюсь ни минуты съ Варинькой.

Варинька часто бываетъ грустна; она даже похудѣла немного, и розовыя ея щечки поблѣднѣли. Бѣдная Варинька! я знаю, отчего грустна она! Прошло и для нея время перваго увлеченія, прошло это дѣтское и прекрасное время, когда нужны только присутствіе милаго, ласковый

да тихое рукопожатіе. Жаль мнѣ тебя, моя Варинька! этого времени уже не воротишь, этотъ медовой мѣсяцъ дѣвственнаго сердца бываетъ только разъ въ жизни, одинъ разъ и въ единственную жизнь! какъ это мало! Какъ эта трава, которой имя не останавливаетъ любопытно дотрогиваться до нея — какъ нетронь-меня, которая свертывается отъ одного прикосновенія иногда нѣжной руки, твое сердце уже сжалось навсегда для первыхъ свѣтлыхъ впечатлѣній! оно можетъ горѣть пожаромъ страсти, но въ немъ не будетъ уже тихаго огня первой любви, подобіе котораго въ древности стерегли, какъ ты же, чистыя дѣвы! не будешь ты болѣе смотрѣть на жизнь изъ подъ солнца и, вмѣсто свѣтлой радуги, увидишь только мелкія капли дождя! Жаль мнѣ тебя, моя бѣдная Варинька!

Впрочемъ, что̀жъ! всему своя очередь! за весной жаркое лѣто, за лѣтомъ дождливая осень, а тамъ и зима,—холодная зима. Таковъ законъ природы! —а бываетъ еще иная весна да хуже осени. Конечно, я отчасти причиной Варинькиной грусти, но будь не я — былъ бы другой, не все ли равно! вѣдь не я же все это выдумалъ!

А дѣло въ томъ, что Варинька видитъ, что ей чего-то недостаетъ; она сама, можетъ быть, и нескоро бы увидѣла, да у нея есть другъ: на что̀ же и другъ, какъ не на то, чтобы подсолить подъ благовиднымъ предлогомъ! Я говорю про Надиньку. Она нейдетъ еще противъ меня открыто, потому что знаетъ мою силу у Вариньки: но, желая повредить мнѣ, уничтожаетъ понемногу ея иллюзіи; а послѣ я же буду виноватъ! меня же назоветъ она убійцей ея вѣрованій! И мало теперь Варинькѣ того, что̀ прежде составляло ея счастіе: она уже не довольствуется тихимъ и страстнымъ шопотомъ вдвоемъ, въ ея кабинетѣ среди цвѣтовъ и неяснаго полусвѣта; она уже не вѣритъ мнѣ на слово, ей уже успѣли натвердить, что я играю ею, что я ее обманываю. Чѣмъ я обманываю ее? Развѣ я обѣщалъ ей что-нибудь? И вотъ она хочетъ доказательствъ любви, хочетъ, чтобы я любилъ ее при всѣхъ, любилъ днемъ въ гостиной, любилъ вечеромъ на балѣ. Какъ молода, какъ провинціальна еще Варинька! Не знаетъ она, что такъ любятъ дѣвицъ только мальчики, у которыхъ усъ еще не пробился, да любятъ еще такъ иногда женщину, чтобы поскорѣе обмануть ее.

Далъ бы я ей прочитать эти строки, да дѣвицамъ большую часть умныхъ вещей не даютъ читать; и къ тому же я ихъ пишу только для себя и ради собственнаго удовольствія; а узнаетъ она все это изъ опыта на собственный счетъ, и то въ то время, когда ей нечего будетъ дѣлать изъ своего знанія.

И вотъ мы дошли до той границы, на которой надобно остановиться. Идти назадъ—скучно, идти впередъ—нельзя! невозможно и оставаться въ одномъ положеніи: въ двѣ недѣли надоѣшь другъ другу до нестерпимости; по неволѣ пойдешь окольной дорогой и будешь колесить вкругъ одного и того же мѣста! по неволѣ прибѣгнешь къ маленькимъ страданіямъ! они чрезвычайно хорошо поддерживаютъ любовь; они не дадутъ задремать ей, если и есть хоть капля любви, гдѣ нибудь на днѣ сердца, они выжмутъ ее наружу, конечно иногда съ нѣсколькими слезинками; да иначе и быть не можетъ! на то они и маленькія страданія. Страданія! Показалось ужь это слово въ твоемъ каталогѣ, моя бѣдная Варинька! Правду, видно, писала мнѣ про тебя въ послѣдній разъ Лидія!— «Вѣдь надобно же и ей когда нибудь страдать. Вѣдь страдали же и ты, и я!»

Да! и мы страдали! да зачѣмъ же Варинькѣ-то страдать? отчего же надобно страдать ей когда нибудь? неужели тотъ обреченъ уже на страданія, кто живетъ жизнію сердца? Если такъ, то не лучше ли задушить всю воспріимчивость сердца въ первой порѣ его развитія и оставить его биться однообразнымъ маятникомъ въ механизмѣ нашего тѣла! Тогда бы, какъ бронзовый гигантъ, смѣло и покойно могъ идти человѣкъ, отъ колыбели до могилы, и топтать неуязвимой пятой этихъ змѣенышей — эти страданія, которыя отравляютъ лучшіе соки нашей жизни. Тогда, пройдя отмѣренное поле безъ сожалѣнія къ оставленному, равнодушно могъ бы лечь человѣкъ въ отверстый гробъ, и умеръ бы онъ — не живя! Куда какъ весело! Нѣтъ; ужь, видно, коли жить, такъ и страдать! И нѣтъ жизни, если нѣтъ страданій! Грустный выводъ!

—

Вотъ уже съ мѣсяцъ, какъ любовь наша питается маленькими страданіями. Они пришли не вслѣдствіе разсужденія, не какъ дѣло ума и разсчета, а какъ необходимый путь любви, которая требуетъ развитія и беретъ косвенное направленіе, потому что ей прегражденъ прямой путь. Таковъ законъ всего, что̀ ложно и неестественно въ основаніи. Человѣкъ созданъ изъ плоти и духа, и любовь его, какъ онъ самъ, должна быть двойственна, для того, чтобы составить полное цѣлое. Вольно же было мнѣ, глубокому мыслителю, такъ аналитически разсуждающему о любви, очень дурно примѣнять ее на практикѣ! Я всякому чувству нахожу очень хорошую причину, и это мнѣ нисколько не мѣшаетъ дѣлать глупости; сдѣлавъ ихъ, я подчиняю себя логическому разбору, нахожу причину глупости и остаюсь совершенно доволенъ: таково направленіе моего несноснаго ума! Къ чему, напримѣръ, эта привязчивость, эта ревность, эти придирки, которыми мы преслѣдуемъ другъ друга, для того только, чтобы вытащить новое доказательство любви, и потомъ на минуту и сладко примириться? Что̀ за странная прихоть сердца— составлять несчастную любовь, тогда какъ у насъ есть всѣ условія для счастливой любви! Въ самомъ дѣлѣ, нашу любовь можно назвать несчастной, потому что сумма маленькихъ страданій составитъ одно большое. У дикихъ, у необразованныхъ людей есть ножъ, есть кровь, есть убійства и исти-

занія. У насъ, людей отполированныхъ, нервы такъ раздражены, чувствительность такъ утончена, что мы не имѣемъ нужды прибѣгать къ такимъ сильнымъ и грубымъ средствамъ: у насъ есть другія мученія—невниманіе, равнодушіе, предпочтеніе и насмѣшка, убійственная насмѣшка! — вотъ орудія нашей казни. И, Боже мой! какъ иногда глубоко и тяжко страдаетъ самолюбивый человѣкъ отъ одного неблагосклоннаго взгляда или небрежнаго отвѣта! Но, говоря правду, я не могу сказать, чтобы былъ очень несчастливъ, потому что въ моемъ маленькомъ романѣ я лицо дѣйствующее, а отнюдь не страдательное. Да и глупо бы было, если бы я выбралъ себѣ другую роль. Но я, какъ хорошій актеръ, часто увлекаюсь своимъ положеніемъ: прикидываясь огорченнымъ какимъ нибудь маленькимъ невниманіемъ, ревнуя Вариньку съ полнымъ убѣжденіемъ, что ревность моя неосновательна, я иногда до того усвоиваю постороннее чувство, что въ самомъ дѣлѣ глубоко и истинно страдаю. Только эти страданія продолжаются недолго: возвратясь домой, я вмѣстѣ съ перчатками скидаю свое расположеніе, смѣясь смотрю въ зеркало на свое поблѣднѣвшее лицо, и, свободно вздохнувъ, спокойно погружаюсь въ мягкое кресло. Нѣтъ, видно, я не люблю тебя, Варинька! видно, я тебя, въ самомъ дѣлѣ, обманываю! Отчего же мнѣ не удается обмануть себя? зачѣмъ внутри меня живетъ безпрерывно неусыпный доворщикъ, который открываетъ мнѣ пружину каждаго моего чувства, каждаго моего слова? Неужели невозвратно пропію для меня это золотое время, когда не нужно мнѣ было рядить себя въ чувства какъ въ чужія платья, когда они приходили сами по себѣ, когда я жилъ и забывался жизнью! Вотъ она, жизнь ума, о которой я мечталъ, когда жилъ сердцемъ. Вотъ она, холодная и спокойная жизнь, которая разсуждаетъ надъ каждымъ шагомъ, владѣетъ каждымъ душевнымъ движеніемъ и знаетъ причину и послѣдствія каждой мысли!

Впрочемъ, самъ же я виноватъ: теперь мнѣ бы надо заниматься торговыми оборотами да, какъ говорится, устроивать свои дѣлишки, или отдаться честолюбію, и все былобъ на своемъ мѣстѣ. А я еще гонялся за любовью, да за чувствомъ, хочу пожить еще сердцемъ, которое, я думаю, высохло какъ пергаментъ или лицо моей семидесятилѣтней тетки. Когда я отвыкну отъ этой старой и глупой привычки?

—

Вчера, часу въ третьемъ дня, я сидѣлъ дома, одинъ, погрузясь въ свое мягкое истертое кресло и протянувъ, по обыкновенію, на стулъ ноги. Я былъ утомленъ утренними посѣтителями. У меня были человѣка два-три безцвѣтныхъ лицъ. Они зашли ко мнѣ *такъ*, чтобы только зайти къ кому нибудь, говорили *такъ*, чтобы только не сидѣть молча, и надоѣли мнѣ страшно *такъ*, потому что они всегда всѣмъ надоѣдаютъ; должно быть, эти люди заразительны! Проводивъ ихъ, я остался въ самомъ дурномъ расположеніи духа, въ томъ расположеніи, въ которомъ они всегда находятся. Мнѣ не хотѣлось читать, не хотѣлось думать, не хотѣлось даже и курить, однако же, я курилъ, какъ и они, по привычкѣ. На дворѣ было что-то — въ родѣ моихъ посѣтителей: должно быть они и воздухъ заразили, какъ и меня. Погоды какъ будто не было рѣшительно никакой: не было холодно, и не было тепло; не было вѣтрено, не было и тихо; на небѣ не было солнца, и не было тучъ: просто и неба какъ будто не было, а было что-то такое безцвѣтное. Словомъ, подобной пустоты внутри себя и въ воздухѣ, который имѣетъ большое вліяніе на мое расположеніе духа, я давно не ощущалъ. Поэтому я ужасно обрадовался, когда въ этой пустотѣ примѣтилъ живое и интересное существо—Ѳедора Ѳедорыча. Онъ тащился, или какъ говорится, трусилъ передъ моими окнами на ванькѣ, сидя какъ-то въ полъ-оборота, потому что искалъ комфорта въ полуразвалившихся жесткихъ саняхъ, въ которыхъ ему некуда было протянуть длинныя ноги. Я послалъ зазвать его и вскорѣ услыхалъ по залѣ его лѣнивую, шаркающую походку.

— Здравствуйте, Тамаринъ; что́ вы дѣлаете? спросилъ входя Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Хандрю, отвѣчалъ я, протягивая руку.

— Хуже занятія вы и не могли придумать, сказалъ онъ:—и если зазвали меня, чтобы раздѣлить его, такъ ужь я лучше зайду въ другое время.

— Нѣтъ, отвѣчалъ я:—такихъ гостей, какъ вы, я этимъ не угощаю. Оставайтесь, пожалуйста, обѣдать!

— Это другое дѣло, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ и положилъ свою шляпу.

— Хотите халатъ?

— Нѣтъ, я лучше пошлю за своимъ. Вашъ слишкомъ хорошъ и новъ, а халатъ только тогда и имѣетъ истинный комфортъ, когда его обносишь до того, что локти начнутъ протираться.

Я былъ совершенно согласенъ съ Ѳедоромъ Ѳедорычемъ, послалъ къ нему за халатомъ и туфлями, и не велѣлъ никого принимать.

— Что́ новаго? спросилъ я Ѳедора Ѳедорыча.

— Да новаго ничего, кромѣ васъ.

— Это какъ? Я, напротивъ, безпокоюсь, что ко мнѣ всѣ начали страшно привыкать.

— Оно почти правда, но вы новы для тѣхъ, которые замѣтили въ васъ перемѣну. Вы очень перемѣнились въ послѣднее время.

— Въ самомъ дѣлѣ? спросилъ я, зѣвая, хотя это замѣчаніе меня очень интересовало и даже безпокоило.

— Да! отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ: — не ручаюсь; замѣтили ли эту перемѣну другіе, но я говорю за себя.

— Разскажите же, сказалъ я, подавая ему сигару.

— Нѣтъ, мы лучше поговоримъ объ этомъ послѣ обѣда. Сигара и интересный разговоръ портятъ аппетитъ, отвѣчалъ онъ.

Я не противорѣчилъ и велѣлъ тотчасъ подавать обѣдъ.

Послѣ обѣда, когда мы спокойно усѣлись съ кофе и сигарами, лицо Ѳедора Ѳедорыча приняло немного насмѣшливое выраженіе.

— Надъ чѣмъ вы смѣетесь? спросилъ я его.

— Я долженъ вамъ покаяться, отвѣчалъ онъ. —Давеча я увидалъ, что мое замѣчаніе васъ интересуетъ; вы обѣдаете поздно, а я былъ ужасно голоденъ; разсчитывая на вашу мнительность, я нарочно отложилъ разговоръ, зная, что это единственное средство заставить васъ измѣнить часъ обѣда.

— Вы подмѣтили мою слабую сторону и хорошо сдѣлали, что воспользовались ею, отвѣчалъ я, смѣясь.—Это и доказываетъ истинно умнаго человѣка.

— Не совсѣмъ! отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ: — умный человѣкъ не сознался бы безъ нужды въ своей хитрости.

— Однако вы мнѣ за нее должны поплатиться вашимъ замѣчаніемъ.

— Пожалуй; я вамъ говорилъ, кажется, что вы измѣнились въ послѣднее время, и это справедливо. Вглядитесь пристальнѣе въ себя, и вы сами убѣдитесь! Вы поблѣднѣли, даже похудѣли немного, въ обществѣ вы часто скучаете....

— Я всегда скучалъ, прервалъ я.

— Можетъ быть, но прежде вы терпѣливѣе сносили вашу скуку и нисколько не выказывали ея. Вы не такъ веселы, какъ прежде, говорите мало, а если и говорите, то всегда непростительно зло,— словомъ, вы кажетесь влюбленнымъ.

— Вотъ вздоръ какой!

— Да! я съ вами согласенъ, что вы не влюблены, потому что я васъ знаю; но другіе могутъ это подумать, и очень основательно! Въ васъ всѣ признаки влюбленнаго.

— А что̀ж я въ вашихъ глазахъ? спросилъ я Ѳедора Ѳедорыча, съ недовѣріемъ человѣка, который сомнѣвается, чтобы вѣрно поняли его.

Ѳедоръ Ѳедорычъ сдѣлалъ мину доктора, который раздумываетъ о болѣзни паціента, протянулъ небрежно къ столу допитую чашку кофе и опустилъ ее, вмѣсто стола, на полъ. Осколки зазвенѣли, и я невольно вздрогнулъ.

— У васъ ужасно раздражены нервы, сказалъ онъ, лѣниво опускаясь въ кресло, какъ будто въ самомъ дѣлѣ поставилъ на мѣсто пустую чашку.

— Не угадали, отвѣчалъ я. — У меня біеніе сердца. Это моя давнишняя болѣзнь.

— Отъ нервовъ, Тамариинъ, повѣрьте, отъ нервовъ! впрочемъ, это болѣзнь всѣхъ, кто сильно чувствуетъ.

— Такъ вы находите, что мнѣ надо лечиться? спросилъ я съ свойственною мнѣ мнительностію.

— Не мѣшало бы, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ, да для васъ нѣтъ доктора: ваша болѣзнь свѣтская болѣзнь, и тутъ докторъ непоможетъ. И, въ самомъ дѣлѣ, какъ онъ можетъ васъ лечить въ кабинетѣ, когда корень болѣзни сидитъ на мягкой кушеткѣ, гдѣ нибудь на Казанской, въ домѣ Мордасова, да читаетъ новый романъ, а думаетъ о васъ?

Я расхохотался.

— Значитъ, я неизлечимъ по вашему?

— Нѣтъ, это пройдетъ со временемъ, замѣтилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ серьёзно.—Я бы васъ вылечилъ скорѣе, да не хочу заводиться практикой: много хлопотъ; къ тому же я наблюдаю общественныя болѣзни по любви, а не по должности.

— А что̀ бы вы мнѣ прописали?

— Три визита въ день къ тѣмъ старухамъ, которыя васъ бранятъ и на всѣхъ сплетничаютъ.

— Тогда бы у меня разлилась желчь! замѣтилъ я.

— И то правда, желчь—болѣзнь самолюбиваго человѣка, точно такъ какъ біеніе сердца болѣзнь человѣка чувствительнаго, но скрытнаго. Вы вѣрное страдаете и тѣмъ и другимъ, потому что это болѣзни нашего вѣка.

Я перемѣнилъ разговоръ, изъ опасенія, чтобы Ѳедоръ Ѳедорычъ не открылъ во мнѣ еще какихъ нибудь болѣзней нынѣшняго вѣка. Когда онъ ушелъ, я, по свойственной мнѣ мнительности, подошелъ къ зеркалу и долго всматривался себѣ въ лицо. Дѣйствительно, я нашелъ, что похудѣлъ въ послѣднее время. Кромѣ того, я замѣтилъ въ себѣ другую перемѣну. Я взялъ журналъ и внимательно прочелъ его за послѣднее время. Я веду этотъ журналъ, чтобы слѣдить за собой. Если бы кто узналъ это, то назвалъ бы меня эгоистомъ, и, можетъ быть, не ошибся бы: но я слѣдую совѣту Пушкина и сознаюсь, что для меня предметъ въ высшей степени любопытный и достойный изученія—я самъ. Вотъ почему, не смотря на лѣнь, я записываю все, что̀ сколько нибудь относится до моей внутренней жизни; и сегодня я былъ вознагражденъ за это. Я ясно увидѣлъ и прослѣдилъ перемѣну въ себѣ. Страницы, начатыя подъ вліяніемъ моей насмѣшливо скучающей натуры, измѣнили свой характеръ. Чаще и чаще въ послѣднее время начали являться ребяческія выходки больнаго и раздражительнаго сердца. Одно успокоиваетъ меня: эти выходки всегда оканчиваются холоднымъ резонёрствомъ ума. Значитъ, есть еще время остановиться и успокоить мои бѣдные нервы, потрясенные маленькими страданіями. Нѣтъ, мало еще я закаленъ жизнію: я не умѣю завлекать, не увлекаясь!

7-го былъ балъ въ дворянскомъ собраніи. По утру я заѣхалъ къ Варинькѣ и нашелъ у нея Надиньку.

При моемъ входѣ, мнѣ показалось, что Варинька немного сконфузилась, какъ дитя, пойманное въ шалости; Надинька, напротивъ, была очень весела и протянула мнѣ руку. Послѣ этой встрѣчи я готовъ былъ прозакладывать голову, что противъ меня что нибудь затѣвается, и когда я осмотрѣлся внимательно, мнѣ тотчасъ бросился въ глаза букетъ, который стоялъ въ вазѣ на рабочемъ столикѣ Вариньки.

— Откуда у васъ этотъ букетъ, Варвара Александровна? спросилъ я, подойдя къ столу.

— Владиміръ Имшинъ прислалъ мнѣ къ сегод-

нишнему балу, отвѣчала Варинька холодно:—нравится онъ вамъ?

— Володя Имшинъ?

— Нѣтъ, букетъ.

— Въ немъ болѣе любезности, чѣмъ цвѣтовъ, замѣтилъ я, съ сожалѣніемъ посмотрѣвъ на связку зелени, въ которую были воткнуты одинъ мѣсячный розанъ и нѣсколько желтыхъ цвѣтковъ.

— Легче находить недостатки въ чужой любезности, чѣмъ догадаться сдѣлать ее самому, замѣтила Надинька, обратясь, по провинціальной привычкѣ, къ Варинькѣ, какъ будто ея слова не относились ко мнѣ.

— Счастливы слабые умомъ! замѣтилъ я: — у нихъ всегда есть покровители сильные духомъ. Но если этотъ букетъ завянетъ къ 9 часамъ, какъ я надѣюсь, продолжалъ я, обратясь къ Варинькѣ:— тогда у меня будетъ свѣжій для Варвары Александровны.

Варинька весело взглянула на меня и готова была, кажется, благодарить, но Надинька предупредила ее.

— А! вы на...дѣ...е...тесь, что онъ завянетъ! проговорила она протяжно, съ ударѐніемъ на первыя слова.

Я увидѣлъ, что сдѣлалъ маленькій промахъ; но дѣлать было нечего, и, разсчитывая на свое вліяніе надъ Варинькой, я отвѣчалъ съ увѣренностію:

— Я надѣюсь на все, въ чемъ убѣжденъ.

Но я разсчитывалъ безъ женской гордости и присутствія доброй подруги, которой боятся болѣе врага.

Варинька взглянула на меня какъ на фата, который хвастается небывалой побѣдой, и отвѣчала:

— Благодарю васъ, Мг. Тамаринъ! букетъ Имшина такъ хорошо сохраняется, что я не буду имѣть нужды въ вашемъ.

Я побоялся поблѣднѣть отъ злости, и потому счелъ нужнымъ пріятно улыбнуться. За тѣмъ я весело высказалъ глубочайшее сожалѣніе, поклонился очень низко и вышелъ.

На дорогѣ я повстрѣчалъ вѣчно веселую и рѣзвую Марію Б***, которую мы прозвали Маріонъ, за ея красоту и свободную прелесть обращенія.

Маріонъ была, кажется, создана для того, чтобы возбуждать ревность. Ея свобода обращенія, въ жеманномъ провинціальномъ кругу, тотчасъ доставляла пищу языкамъ, и молва кричала про новаго счастливца; но въ сущности всѣ мы выиграли у ней поровну — и очень мало. Ухаживать за ней было въ модѣ, и за ней ухаживали всѣ; но постояннаго поклонника у ней не было.

Маріонъ шла къ бульвару подъ руку съ своимъ мужемъ, блистая своей свѣжей красотой на утреннемъ морозѣ. Еще подъ вліяніемъ живой досады, поровнявшись съ нею, я остановился и вышелъ изъ саней.

— Держу пари, сказалъ я, подходя къ Маріонъ:— что вы, увидавъ меня, думали: откуда я ѣду.

— Вы вѣчно воображаете, что всѣ столько же заняты вами, какъ и вы собой, отвѣчала она, смѣясь.

— Однакожъ, я угадалъ.

— Совсѣмъ нѣтъ. Я думала, будетъ ли идти ко мнѣ сегодня розовое платье.

— Въ такомъ случаѣ я вамъ проигралъ букетъ изъ бѣлыхъ камелій.

— Ахъ! да это было бы очень мило и чрезвычайно любезно; только вы ихъ не найдете въ городѣ.

— Это уже мое дѣло. Въ девять часовъ я привезу букетъ.

— А я вамъ дамъ мазурку. Хотите?

— Еще бы!

За тѣмъ она подала мнѣ изъ муфты тепленькую руку, и мы разстались очень довольные другъ другомъ.

Возвратясь домой, я тотчасъ послалъ на почтовыхъ за двадцать верстъ за букетомъ, къ знакомому мнѣ барину, у котораго были чудесныя оранжереи, а самъ началъ пить зельтерскую воду, потому что желчь безпокоила меня. Меня взбѣсилъ разговоръ съ Варинькой. Какъ поставить меня въ параллель съ Имшинымъ, и еще отдать ему, хотя и притворное, преимущество! Какъ меня, будь это изъ прихоти, будь это изъ ревности, оскорбить минутнымъ униженіемъ до Имшина, да еще въ угоду злой дѣвкѣ, которой я не терплю, и въ ея же глазахъ! Какъ ставить на одни вѣсы мое вліяніе съ вліяніемъ какой нибудь подруги! При одномъ воспоминаніи желчь душитъ меня. О, Варинька! ты не знаешь, какъ опасно играть моимъ самолюбіемъ. Ты, ребенокъ, оскорбила во мнѣ ту струну, передъ которой я самъ раболѣпствую. Дорого поплатишься ты ей, моя Варинька, если тебѣ не удастся заставить молчать ее! Да гдѣжь тебѣ это сдѣлать? Конечно, тутъ болѣе всего виновата Надинька и ихъ глупая дружба; но зачѣмъ же поддаваться ей? А странная вещь эта дружба! Несмотря на все мое вліяніе надъ Варинькой, я не могу разъубѣдить ее, что между двумя дѣвочками это чувство неестественное, что это просто—взаимное обморачиваніе, средство для одной имѣть вліяніе на другую. Такъ нѣтъ! говоритъ, что я не понимаю этого чувства, что я скептикъ, что я ошибаюсь. А, просто, на этихъ губернскихъ барышень находитъ какое-то бѣшенство на дружбу. Увидятся во второй разъ въ жизни, и ужь ходятъ подъ руку, такъ что ихъ водой не разольешь; увѣряютъ другъ друга во взаимной симпатіи и разскажутъ про себя всю подноготную. За тѣмъ начинается переписка, обмѣнъ колецъ и браслетовъ, внутри *коих* вырѣзывается A* à son amie B*, годъ, мѣсяцъ и число. Все это продолжается, разумѣется, до первой кости, послѣ чего слѣдуютъ объясненія, чувствительныя сцены, разрывъ. Тотчасъ послѣ этого выбирается съ обѣихъ сторонъ новая подруга: ей жалуются на старую, разсказываютъ всѣ ея маленькіе секреты, которые послѣ этого отправляются по городу,—и опять та же пѣсня!

Я не знаю, откуда взялась у нашихъ барышень эта эпидемическая дружба! Молодая ли душа просится въ ней наружу, или она своими перепиской, клятвами и обмѣнами имѣетъ для нихъ прелесть безгрѣшнаго романа и хоть сколько нибудь разцвѣчиваетъ ихъ однообразную этикетомъ молодость?

Цѣлый день я былъ занятъ тѣмъ, что пилъ зельтерскую воду, да бранилъ про себя, за неимѣніемъ слушателей, дружбу и дѣлалъ на нее очень острыя и злыя замѣчанія.

Въ девятомъ часу посланный мой возвратился и, несмотря на осьмнадцать градусовъ морозу, привезъ мнѣ въ цѣлости чудесный букетъ, а въ десять я поѣхалъ къ Маріонъ. Она была одѣта уже по бальному и хороша по обыкновенію. Букетъ привелъ ее въ восхищеніе: и, въ самомъ дѣлѣ, камеліи въ январѣ можно только достать для красавицъ. Прелесть его рикошетомъ, должно быть, отразилась и на мнѣ, потому что я никогда не видалъ Маріонъ болѣе веселою, любезною и снисходительною. Мы провели чудесные четверть часа, въ неумолкаемой болтовнѣ, сидя другъ возлѣ друга въ бальныхъ туалетахъ. Бываютъ минуты, когда вдругъ какая-то невѣдомая сила сходитъ на два чуждыя существа и составляетъ между ними неосязаемую связь. Въ чемъ эта сила, откуда проявляется она, не знаю. Навѣваетъ ли ее видъ цвѣтка, или запахъ духовъ, или свѣжесть бальнаго туалета,—словомъ, что нибудь такое, что въ былое время, при другихъ обстоятельствахъ, играло роль въ какомъ нибудь эпизодѣ нашей жизни и безотчетно затрогиваетъ въ душѣ давно замолкнувшія, но когда-то сладко звучавшія струны,—только есть эта сила, которая возбуждаетъ въ насъ симпатичность, ставитъ въ доброе и странно пріятное расположеніе духа. Въ эти минуты и говорится, и смѣется, и весело на душѣ, и что-то тянетъ другъ къ другу. Подъ вліяніемъ этой силы, мы провели превеселые четверть часа en tête à tête съ прехорошенькой Маріонъ; и — каюсь въ собственной слабости — я палъ предъ искушеніемъ и поцѣловалъ ея руку; и она не отдернула ея съ жеманствомъ провинціалки, и не отдала ея равнодушно съ холодностью свѣтской кокетки, которая знаетъ, что не стоитъ гнаться за такими пустяками; у подобныхъ женщинъ я бы и не поцѣловалъ руки; но въ рукѣ Маріонъ были жизнь и теплота, глаза ея свѣтились и румянецъ сильнѣе заигралъ на щекахъ. Въ это время изъ залы послышались шаги, и едва лицо мое успѣло принять приличное обстоятельствамъ выраженіе, какъ въ дверяхъ показалась чопорная и надушеная фигура мужа, въ бѣломъ галстухѣ и жилетѣ.

— Я готовъ, душа моя, сказалъ онъ, обращаясь къ женѣ.—A! Mr. Тамаринъ! Вы сдержали слово... какой чудесный букетъ! Признаюсь, я думалъ давеча, что вамъ трудно будетъ исполнить обѣщаніе.

— Напрасно ты думаешь, мой другъ, сказала Маріонъ, такимъ тономъ, который можно было принять за нѣжный упрекъ и за самую злую насмѣшку.

— Я имѣю привычку обѣщать что могу, и выполнять что обѣщаю, отвѣчалъ я.

— О, да, да! я знаю, вы сдѣлаете все, что обѣщаете, сказалъ мужъ съ улыбкой, въ которой было неоспоримое убѣжденіе, что онъ сказалъ что-то чрезвычайно острое и тонкое.

— Я одного съ вами мнѣнія, Тамаринъ, сказала Маріонъ: — и напоминаю вамъ, что танцую съ вами мазурку. Поѣдемте.

И мы поѣхали.

Балъ уже начался. Звуки вальса объяснили намъ, что присутствіе начальницы города, до пріѣзда которой балы не начинались, сняло печать молчанія съ оркестра. Директоръ, добрый старичекъ, прекрасно играющій въ вистъ, что не давало ему еще права на знаніе приличій, — встрѣтилъ Маріонъ у дверей въ темно коричневыхъ, не первой молодости перчаткахъ. Маріонъ вошла, хороша какъ день, и

«Странный шопотъ встрѣтилъ
Ея явленье:—свѣтъ ее замѣтилъ.»

а мужъ ея самодовольно поправлялъ галстухъ и пошелъ кланяться всѣмъ наличнымъ важнымъ особамъ. Вслѣдъ за Маріонъ вошелъ и я въ кругъ танцующихъ, который широко раздвинулся передъ нею. Нѣсколько паръ пронеслось мимо насъ въ вихрѣ вальса, и между ними мой взглядъ тотчасъ отличилъ Варинъку. Она была въ бѣломъ платьѣ, убранномъ цвѣтами. Туалетъ ея былъ свѣжъ и очень милъ; сначала мнѣ было досадно, что я не нашелъ въ ней ниодного недостатка, къ которому могла бы придраться моя желчная насмѣшка, но второе чувство было гордое самодовольствіе. Мнѣ пріятно было думать, что это граціозное, молоденькое и миленькое существо, которымъ любовалась толпа зрителей, во всей этой толпѣ ищетъ только одного меня. А между тѣмъ, опустясь на руку кавалера, легко скользя по паркету и склонивъ немного блѣденькую, чѣмъ-то отуманенную головку къ правому плечу, Варинька неслась мимо меня, когда, при поворотѣ, передъ ней мелькнула моя фигура, рядомъ съ Маріонъ, которая не успѣла еще занять мѣста; она быстро оглянулась, какъ бы желая удостовѣриться, не ошиблась ли, и торопливо сказала:

— Mercі!

Кавалеръ спустилъ ее на первое свободное кресло, и я молча и холодно поклонился ей: въ рукѣ у нея былъ володинъ букетъ. Въ это время прошла мимо нея Маріонъ; она держала у розовыхъ губъ бѣлыя камеліи и легко кланялась. Варинька взглянула на нее, поблѣднѣла и отвернулась.

Мнѣ стало весело, и я пошелъ къ знакомымъ дамамъ.

Балъ былъ въ половинѣ. Музыканты фальшивили нестерпимо. Мой пріятель Островскій увивался около хорошенькихъ, не скупился на комплименты

и блисталъ остротами, говоренными имъ еще въ Петербургѣ. Ѳедоръ Ѳедорычъ, никѣмъ не занятой, довольно равнодушно переносилъ скуку и говорилъ только съ тѣми дамами, около которыхъ было свободное кресло. А я былъ лихорадочно одушевленъ, и особенно и удачно веселъ. Мои эпиграммы были мѣтки и остры, мои комплименты свѣжи и ловки. Мнѣ захотѣлось быть первымъ между всей молодежью, и я успѣлъ въ этомъ. Я не пропустилъ безъ вниманія ниодной дамы, будь она sur le retour, — ни одной дѣвицы, будь она зрѣлой дѣвой; и дамы и дѣвицы говорили обо мнѣ: il est charmant. Я даже не оставилъ въ покоѣ стариковъ и старухъ: и старики, и старухи были отъ меня въ восхищеніи, тѣмъ болѣе, что ими я не имѣлъ привычки заниматься. И изъ всей этой толпы къ одной не подошелъ я, одной не сказалъ ни слова, именно той, для которой все это дѣлалось. Да, я все это дѣлалъ для Варинькн, не для того, чтобы понравиться ей: это было не нужно, но по тому женскому кокетству, которое инстинктивно заставляетъ кружить сильнѣе голову поклонника, можетъ быть, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, когда его броситъ.

Между тѣмъ заиграли четвертую кадриль. Это былъ мой кадриль abonné съ Варинькой. Когда пары начали формироваться, я подошелъ къ Варинькѣ. Она сидѣла рядомъ съ своей Надинькой, которая что-то говорила ей; но Варинька, кажется, ее не слушала.

— Это, четвертая кадриль, сказалъ я, слегка наклоняясь.

Она приподняла голову, и, я думаю, оригинальную группу составляли мы для того, кто бы захотѣлъ въ эту минуту наблюдать за нами. Весело и свободно стоялъ я передъ нею, и лицо мое не выражало ничего, кромѣ беззаботной веселости. Но приподнятая на меня головка Варинькн была полна выраженія. Грусть и досада, кажется, просились въ ней наружу, но она владѣла собою сколько могла и не допустила ихъ выказаться. Отъ этого тихій взглядъ ея темноголубыхъ глазъ былъ грустенъ, и между тѣмъ на блѣдныхъ щекахъ обрисовывались двѣ улыбающіяся ямки; это столкновеніе противоположностей придавало столько игры и выраженія ея хорошенькому личику, что она, казалось, была взята изъ какой-то картины Сальватора. Но на первый взглядъ Варинька, просто, казалась разсѣянною: она молча смотрѣла на меня, и я вынужденъ былъ повторить мои слова.

— Это четвертая кадриль.

— Я думала, что вы забыли ее, сказала она, тихо приподнимаясь.

— За кого вы меня принимаете! отвѣчалъ я тономъ вѣжливаго укора и повелъ ее въ кругъ танцующихъ.

Островскій былъ моимъ vis-à-vis, и я устроилъ такъ, что онъ танцовалъ этотъ кадриль съ Маріонъ.

Когда Варинька встала на мѣсто, она должно быть догадалась, что я нарочно выбралъ для нея это vis-à-vis; она знала, что ничего не дѣлается у меня безъ умысла, и что я не упущу случая помучить ее. Варинька взглянула на меня безъ упрека, безъ досады; но взглядъ ея задумчивыхъ глазъ былъ такъ грустенъ, такъ безропотно печаленъ, что мнѣ ее стало жаль! Если бы въ эту минуту рука ея была въ моей, я бы, можетъ быть, былъ до того слабъ, что пожалъ бы ее, но мы стояли чинно, поодаль, и я одумался. Я принялся за свою роль и повелъ тотъ пустой и пестрый разговоръ, которымъ находчивый кавалеръ занимаетъ свою даму. Онъ былъ остеръ, игривъ и неумолкаемъ; я не далъ ей никакой возможности свести рѣчь на близкую намъ колею и цѣлый кадриль продержалъ ее въ этомъ положеніи. Варинька почти все время молчала. Будь на ея мѣстѣ незнакомая дама, я бы нашелъ ее крайне нелюбезною, но тутъ я обвинялъ ее только въ томъ, что она не взялась за роль, которую я ей оставилъ; и то правда! если бы она стала говорить со мной тѣмъ тономъ, которымъ я говорилъ съ нею,—тономъ бальной дамы, съ неинтереснымъ кавалеромъ,—это бы значило принять разрывъ; а Варинька, кажется, была далека отъ этого; она готова бы была сознаться въ винѣ и какой нибудь уступкой выкупить примиреніе,—да поздно: мнѣ уже порядкомъ надоѣла эта комедія!

Съ послѣднимъ ударомъ смычка, я закончилъ фразу, отвелъ Варинькy на мѣсто и поблагодарилъ ее самымъ почтительнымъ поклономъ. Худо скрытое выраженіе досады промелькнуло на ея лицѣ: надежды на примиреніе, по крайней мѣрѣ въ этотъ вечеръ, уже не было, и она, полная женской гордости, церемонно и холодно отвѣчала:

— Mercі monsieur!

Я отошелъ, но не такъ скоро, чтобы не замѣтить, какъ Варинька обернулась къ Надинькѣ и сказала съ досадой:

— Скажи ему, что я танцую съ нимъ мазурку.

Бѣдная! она оставляла для меня мазурку, на которую звалъ ее Володя!

Вслѣдъ за тѣмъ Надинька подозвала къ себѣ Имшина, что-то сказала ему; онъ поклонился Варинькѣ и пошелъ по залѣ, съ весьма самодовольнымъ и улыбающимся лицомъ.

Мнѣ начинала надоѣдать моя веселость. Я ушелъ въ боковую залу, къ играющимъ въ карты, и просидѣлъ въ ней до мазурки. Но когда заиграли ее, я вышелъ съ новыми силами. Моя веселость сдѣлалась прилипчива: она увлекала другихъ, и мазурка была чудно оживлена. Я съ Маріонъ былъ въ первой парѣ. Новая фигура смѣнялась одна другою; онѣ были разнообразны и одушевлены. Казалось, и оркестръ въ нашей веселости почерпнулъ новыя силы, и игралъ бойко и весело. Балъ вдругъ оживился, какъ будто невидимая нить связала всѣхъ и передавала веселость одного другимъ; дамскія личики разгорѣлись и улыбались, кавалеры стали ловчѣе и любезнѣе, и даже эта

фаланга маменекъ, тетушекъ и бабушекъ, которыя обыкновенно молча и безжизненно сидятъ рядомъ, вокругъ танцующей молодежи, какъ старые семейные портреты на стѣнахъ галереи, — даже эта фаланга странно зашевелилась, какъ трупъ отъ дѣйствія гальванизма, и какія-то мысли начали бродить по ея морщинистымъ или гладко безжизненнымъ лицамъ. Говорите послѣ этого, что нѣтъ силы воли, которая можетъ двигать однимъ желаніемъ постороннія лица, и что дѣтская сказка преданіе объ Орфеѣ, заставлявшемъ плясать камни!

Въ одинъ изъ короткихъ промежутковъ мазурки, когда другія пары дѣлали фигуру, а изъ насъ по какому-то чуду никого не выбрали, я позволилъ себѣ маленькую свободу молча отдохнуть возлѣ моей дамы,—мы просидѣли такъ нѣсколько минутъ, не въ томъ безпокойномъ молчаніи, когда разговоръ истощится и съ обѣихъ сторонъ пріискиваютъ какую нибудь фразу, чтобы поддержать его, но въ пріятномъ раздумьѣ пары, немного утомленной богатствомъ веселости и мыслей. Я повернулъ голову къ Маріонъ и любовался ею. Лицо ея горѣло полнымъ румянцемъ, и влажная кожа его была необыкновенно нѣжна; блескъ и одушевленіе глазъ потухали отъ утомленія, какъ жаркій уголь, который начинаетъ покрываться пепломъ; черные локоны развились до плечъ, и чудно изваянная грудь часто и замѣтно колебалась. Какая-то лѣнивая нѣга напала на меня; въ эту минуту я бы ни за что на свѣтѣ не взялся надѣть на себя какую нибудь маску или говорить не то, что думаешь: мнѣ было такъ хорошо быть тѣмъ, чѣмъ я есть. Я смотрѣлъ на Маріонъ съ наслажденіемъ, и ея головка будто почувствовала мой взглядъ и обернулась ко мнѣ. Мы посмотрѣли другъ на друга и, не знаю отчего, оба улыбнулись.

— Послушайте, Тамаринъ, сказала она:—у меня есть къ вамъ просьба.

— Все, что хотите, овѣчалъ я.

— Вы тоже скажете всякой дамѣ; но я бы желала, чтобы это была не одна фраза. Говорите, пожалуйста, прямо.

Я посмотрѣлъ на нее: она была прелестна.

— Извольте, отвѣчалъ я:—я вамъ сознаюсь, что не знаю почему, но вы сегодня имѣете особенную власть надо мной, и я не знаю, чего бы я для васъ не сдѣлалъ.

— Я это замѣтила, сказала она, съ самой кокетливой улыбкой: — и хочу воспользоваться случаемъ. Во-первыхъ, мнѣ нужна ваша откровенность. Скажите мнѣ, вы въ ссорѣ съ Варинькой?

— Прежде нежели я вамъ отвѣчу, я долженъ объясниться. Вы хотите, чтобы я отдался въ вашу власть безусловно. Я готовъ это сдѣлать, но знаете ли, почему? Я въ свою очередь тоже замѣтилъ, что вы сегодня особенно хорошо расположены ко мнѣ? Я сдѣлалъ этотъ отвѣтъ вопросомъ, и моя дама отвѣчала:

— Чтобы подать вамъ примѣръ откровенности, я вамъ скажу правду: дѣйствительно, сегодня я.... Маріонъ затруднилась въ выраженіи.... я.... ближе къ вамъ, чѣмъ когда нибудь и къ кому либо.

Разговоръ принялъ такой скользкій оборотъ, что угрожалъ въ самомъ началѣ кончиться весьма обыкновеннымъ объясненіемъ. Маріонъ замѣтила это и торопливо прибавила:

— Теперь отвѣчайте мнѣ: вы въ ссорѣ съ Варинькой?

Я посмотрѣлъ на Вариньку: она сидѣла почти противъ насъ съ Имшинымъ. Балъ былъ въ разгарѣ. Володя, кажется, былъ одушевленъ имъ: улыбка разцвѣчивала его простоватое лицо; я увѣренъ, что онъ говорилъ ужасныя пошлости, а между тѣмъ позволялъ себѣ нестерпимо самодовольный видъ. Возлѣ Вариньки сидѣла Надинька, по лѣвую сторону своего незначащаго кавалера, пересѣвъ нарочно, чтобы быть рядомъ съ своей подругой; она произвела на меня впечатлѣніе піявки, которая пристала къ хорошенькому тѣлу. Увидавъ Вариньку въ этой обстановкѣ, я даже необратилъ вниманія на нее; я не подумалъ, что, можетъ быть, много бурныхъ чувствъ колебало въ эту минуту ея нѣженькую грудь. Мнѣ только стало страшно досадно на себя, что я вступилъ, хоть и не въ трудную борьбу, съ такими ничтожными существами, какъ Имшинъ и Надинька. Я былъ мелокъ въ собственныхъ глазахъ, и сердце мое сжалось, какъ будто мнѣ нанесли кровную обиду. Холодно посмотрѣлъ я на Вариньку, и въ одно мгновеніе я твердо рѣшился бросить ее вліянію тѣхъ, чье вліяніе она мнѣ оскорбительно противопоставила.

Все это было дѣломъ минуты; я обратился къ Маріонъ, и какое-то пріятное ощущеніе овладѣло мной: какъ будто я смывалъ вину свою передъ собой и возвышался въ собственномъ мнѣніи. Я весь отдался этому чувству и отвѣчалъ на вопросъ ея съ странной во мнѣ откровенностью:

— Да! наша ссора не болѣе каприза, потому что я имѣю самолюбіе думать, что отъ меня зависитъ примиреніе. Но она прочна, потому что мнѣ надоѣла эта игра въ капризы.

— Я у васъ не спрашиваю причинъ,—мнѣ до нихъ нѣтъ дѣла,—я только хотѣла убѣдиться въ справедливости догадки. Мнѣ показалось, что вы намѣрены за мной волочиться.

— Я боюсь влюбиться въ васъ, отвѣчалъ я.

— Перестаньте! вы видите, я говорю съ вами прямо. Вы бросили бѣдную Вариньку и теперь хотите заняться мною отъ нечего дѣлать. Вотъ вамъ моя просьба: не ухаживайте за мной! это такъ обыкновенно, и такъ мнѣ надоѣло! мнѣ бы хотѣлось для себя, чтобы вы были лучшаго мнѣнія обо мнѣ, и для васъ, чтобы вы не впадали въ эту пошлость. Вы не повѣрите, какъ это несносно быть вѣчно предметомъ преслѣдованія, безпрестанно защищаться отъ намековъ на любовь, да отъ напрашиваній, бояться сказать кому нибудь доброе слово, чтобы его не истолковали сейчасъ въ свою

пользу. Право, иногда нестерпимо скучно быть хорошенькой женщиной!..

Послѣ этихъ словъ я почувствовалъ къ Маріонъ особенное уваженіе. Въ первый разъ взглянулъ я на нее, какъ на женщину, а не какъ на хорошенькую жену ближняго. Въ моемъ умѣ живо представилось положеніе красавицы въ нашемъ обществѣ, и я узналъ, сколько было правды въ словахъ ея. Въ самомъ дѣлѣ, отбросивъ мелкія забавы безпрестанно льстящаго самолюбія, къ которымъ можно привыкнуть до того, что онѣ перестаютъ даже тѣшить, какъ должно быть пріятно положеніе этого перла созданія, къ которому наша братья безпрестанно льнетъ какъ муха къ сахару, жужжитъ вѣчно одну и ту же избитую пѣсню и добивается только унести немного сласти, оставивъ послѣ себя черненькое пятнышко. Какъ должно быть невыносимо скучно быть вѣчно окруженной вниманіемъ и любезничаньемъ толпы поклонниковъ, и быть совершенно изолированной въ этой толпѣ! Какъ должны быть мелки и приторны въ ея глазахъ мы, мелкіе Ловеласы, съ нашими маленькими страстями и меленькими объясненіями! Повторяю, я глядѣлъ на Маріонъ съ уваженіемъ; а она была хороша по прежнему, еще лучше прежняго, потому что черныя брови ея немножко нахмурились и веселая улыбка проглядывала сквозь досаду, какъ иногда свѣтлый лучъ сквозь хмурую тучу.

— Вы совершенно правы, сказалъ я: — и мнѣ ничего не стоитъ исполнить вашу просьбу: я васъ слишкомъ уважаю, чтобы ухаживать за вами. Но, повторяю вамъ, я боюсь влюбиться въ васъ.

Въ голосѣ моемъ было столько убѣжденія и дѣйствительнаго страха; я, въ самомъ дѣлѣ, такъ боялся въ эту минуту серьёзно влюбиться въ Маріонъ, что она поглядѣла на меня большими любопытствующими глазами.

— Это странно! сказала она задумавшись.

Я не понялъ, къ чему относились ея слова, и продолжалъ:

— Что̀ тутъ страннаго? вы въ состояніи внушить страсть; вы сами въ этомъ сознаетесь; но я боюсь въ этомъ случаѣ не васъ, не борьбы, не сопротивленія: я выдержалъ не одну борьбу, и онѣ не страшатъ меня: я боюсь себя. Я боюсь быть рабомъ страсти, потерять власть надъ собой: тогда я въ состояніи надѣлать глупостей и позволить водить себя за носъ. Я буду смѣшонъ!

Маріонъ невольно улыбнулась.

— Да! для человѣка съ вашимъ самолюбіемъ это, дѣйствительно, страшно, сказала она:—я понимаю васъ; но не это мнѣ было странно: меня поразило сходство нашей настроенности. Вы вѣрите въ симпатію?

— Да, съ хорошенькими, отвѣчалъ я серьёзно.

— Знаете ли, что почти таже причина заставила меня начать этотъ разговоръ, и я увѣрена, что вы не истолкуете его въ дурную сторону. Да, я тоже боюсь васъ. Когда вы давеча передъ баломъ сидѣли у меня, я чувствовала къ вамъ какую-то странную симпатію, я была подъ вашимъ вліяніемъ, потомъ одумалась, испугалась и рѣшилась говорить съ вами какъ съ умнымъ и честнымъ человѣкомъ.

Въ эту минуту Маріонъ мнѣ до того нравилась своей милой откровенностью, что я готовъ былъ тотчасъ же объясниться въ любви, чтобы доказать ей, что я совершенно ее понялъ. Но она продолжала:

— Я не буду говорить вамъ о долгѣ замужней женщины, семейныхъ обязанностяхъ, собственномъ достоинствѣ: я знаю все, что̀ говорится въ этихъ случаяхъ, и *за* и *противъ*; объ этомъ мнѣ такъ нажужжали въ уши, что скучно и говорить; но я вамъ скажу просто: мы съ вами не шестнадцатилѣтніе юноши, въ насъ страсть не вспыхнетъ отъ одного взгляда, и мы знаемъ, чего стоитъ она: раньше или позже отъ нея остается одно сожалѣніе; а волокитству я не пожертвую собой. Такъ будемте же людьми, Тамаринъ: разойдемся пока есть время, и останемся друзьями, которые уважаютъ другъ друга.

Въ словахъ Маріонъ было много правды, въ глазахъ и голосѣ много было просьбы. Веселая мазурка гремѣла съ хоръ, и пестрыя пары мелькали предъ нами. А мы, полу-влюбленные другъ въ друга, сидѣли и философствовали. Странныя вещи случаются въ нашъ вѣкъ, когда умъ и чувства испортились какъ желудки и требуютъ иногда такой пищи, которая покажется невѣсть чѣмъ здоровому человѣку!

— Знаете ли, сказалъ я, что̀ мы дѣлаемъ съ вами? мы объясняемся въ прошедшей любви. Я теперь только могу дать себѣ отчетъ въ этомъ. Согласитесь, что сегодня передъ баломъ было нѣсколько минутъ, можетъ быть, нѣсколько мгновеній, когда мы любили другъ друга.

Маріонъ задумчиво посмотрѣла на меня и тихо улыбнулась вмѣсто отвѣта.

— Да, продолжалъ я: —мы любили другъ друга, и любили такъ, какъ въ наше время не любятъ! На насъ пахну̀ло той любовью, которою любятъ какіе нибудь аркадскіе пастушки, гдѣ нибудь далеко, подъ вѣчно голубымъ небомъ, въ тѣни душистыхъ рощъ, среди стада бѣленькихъ барашковъ! ее, можетъ быть, принесли и навѣяли на насъ бѣлыя камеліи, съ тѣхъ полей, гдѣ растетъ ихъ вольная семья? но мы не узнали этой любви; и что̀жь мудренаго! она была для насъ страннымъ, неестественнымъ анахронизмомъ! А теперь, когда эта любовь улетѣла отъ огня свѣчъ и шума музыки, мы увидали, что мы люди свѣтскіе, да еще съ характерами и самолюбіемъ. Мы на столько возвысились ею, что поняли ничтожность волокитства, но недостаточно для того, чтобы принять страсть. И мы испугались ея, какъ и прилично порядочнымъ людямъ, и начали отступать другъ отъ друга... Можетъ быть, все, что̀ я вамъ говорю.... чистый вздоръ! но онъ очень хорошо объясняетъ....

— Замолчите, Тамаринъ, ради Бога! сказала Маріонъ:—вы умѣете создать чудесную мечту, — и едва прилѣпишься къ ней, вы, какъ на зло, ее безпощадно разобьете. У васъ воображеніе такъ сильно, вашъ умъ до того гибокъ, что вы заставляете вѣрить и тому, и другому. Слушая васъ, всегда останешься въ положеніи человѣка, которому показали двѣ дороги: одну ровную и живописную, другую избитую и прескучную, и потомъ поставили на перепутьѣ съ завязанными глазами: не знаешь, куда идти, и по неволѣ отдашься вашему выбору. Я понимаю, отчего васъ прозвали демономъ, сказала она съ досадой, и на ея глазахъ чуть не навернулись слезы.

— Не все ли равно, сказалъ я:—какой бы дорогой ни дойти до цѣли.

— Да, только вы всегда приведете къ своей.

Я невольно улыбнулся.

— Чтобы доказать вамъ противное, отвѣчалъ я:—я принимаю вашу. Сказать по правдѣ, я самъ не знаю, что̀ справедливо въ моихъ словахъ. Но я думаю, что я сегодня дѣйствительно былъ влюбленъ въ васъ, потому что во мнѣ осталась какая-то странная и пріятная мечтательность. Что̀жь! вы справедливы: зачѣмъ разбивать мечту? прозы и безъ того такъ много на свѣтѣ! Мы провели сегодня чудесный день; на насъ пахну́ло какимъ-то свѣжимъ, прекраснымъ чувствомъ, послѣ котораго мы бесѣдуемъ, какъ старые друзья. Отчего же не сберечь его какъ рѣдкость, какъ отрадное воспоминаніе? отчего же, въ самомъ дѣлѣ, не допустить, что нечаянно, по странной игрѣ случая, среди свѣтской, мелочной и разсчетливой жизни, мы наивно любили другъ друга, какъ дѣти, не успѣвъ сознать этой любви, которая не пережила свѣжести сорваннаго цвѣтка! Что̀ намъ за дѣло, что, можетъ быть, это мечта нашей фантазіи, когда послѣ нея останется между нами та дружеская откровенность, то теплое чувство привязанности, которыя питаетъ другъ къ другу отлюбившая и мирно разошедшаяся чета!

— Да, сказала Маріонъ:—какое, въ самомъ дѣлѣ, намъ дѣло! и мы останемся такъ, Тамаринъ; зачѣмъ намъ бояться другъ друга и вести скучную борьбу, когда можно дружно и весело встрѣчаться вмѣстѣ. Не правда ли?

Маріонъ весело улыбнулась, личико ея вновь разцвѣло, и она смотрѣла на меня свѣтлымъ вопрошающимъ взглядомъ; а мнѣ только этого и хотѣлось.

— Тамаринъ! вамъ начинать, сказалъ Островскій, подойдя къ намъ. — Вы такъ заговорились, что можно сдѣлать нескромныя догадки, продолжалъ онъ, обратясь къ моей дамѣ и зло усмѣхаясь.

— Вы вѣчно съ нескромными, да еще и неудачными догадками! сказала Маріонъ, вставая.

— За вами отвѣтъ! продолжала она, дѣлая туръ, и голосъ ея тихо дрожалъ, какъ будто рѣчь шла о желанномъ, сердечномъ предметѣ.

— *Счастливъ*, кто умѣетъ закрыть книгу на ея лучшей страницѣ! отвѣчалъ я: — я вамъ сказалъ уже, что ни въ чемъ не могу отказать вамъ.

— Мегсі, Тамаринъ! сказала Маріонъ, сопровождая слова свои чудеснымъ взглядомъ, между тѣмъ какъ рука ея тихо пожала мою руку.

Я не знаю, за что̀ благодарила она меня: за отвѣтъ или мазурку, которая кончилась: но знаю только то, что пара внимательныхъ темноголубыхъ глазъ слѣдила за нами во все время разговора, и эти глаза не скрывали душевной тревоги.

Вскорѣ начали разъѣзжаться. Я проводилъ Маріонъ до подъѣзда.

«Послѣдній звукъ послѣдней рѣчи
Я отъ нея поймать успѣлъ;
Я чернымъ соболемъ одѣлъ
Ея блистающія плечи...»

— Карета Домашневыхъ готова! закричалъ жандармъ.

Я отступилъ отъ дверей, чтобы дать дорогу, такъ что меня не было видно. Осторожно прошла мимо меня Мавра Савишна, опираясь на руку лакея. Вслѣдъ за нею быстро проскользнула Варинька; салопъ ея былъ распахнутъ на груди, и она была блѣдна какъ мраморъ. Когда я сошелъ съ мѣста, мнѣ что-то попало подъ ногу. Я нагнулся: это былъ завянувшій володинъ букетъ!

Мужчины остались ужинать.

Всѣ усѣлись за отдѣльными столами: за однимъ— солидные чиновники, занимающіеся собственно ужиномъ и разговоромъ о дѣлахъ, за другимъ—отставные франты, большею частію усатыя и здоровыя фигуры. Съ этого стола слышалось частое хлопанье пробокъ, нестройный разговоръ, съ словами: «чисто-псовый, полевой, безъ угонки» и такъ далѣе. Былъ еще столъ юныхъ кавалеровъ, которые такъ часто встрѣчаются на губернскихъ балахъ. Это были все еще безбородые, неокончившіе курсъ надежды семейства, довольно красивенькія лица, изысканно одѣтые мѣстнымъ портнымъ и пламенно добивающіеся четырнадцатаго класса, чтобы имѣть право предложить руку *ей*. Имъ очень хотѣлось помѣститься съ нами; но я, Островскій и Ѳедоръ Ѳедорычъ заняли маленькій столъ такимъ образомъ, что на немъ не было мѣста четвертому.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ жаловался на усталость, хотя сидѣлъ почти весь вечеръ; я усердно молчалъ, а Островскій плотно ѣлъ, хорошо запивалъ и болталъ безъ умолку. Наконецъ ему надоѣло говорить одному.

— Однакожь, это скучно, господа! вы точно наложили обѣтъ молчанія. Положимъ, Ѳедору Ѳедоровичу лѣнь языкомъ шевелить, а ты что затихъ? спросилъ Островскій, обращаясь ко мнѣ.

— Некогда было говорить. Ты не давалъ времени.

— Вздоръ! ты вѣрно размышлялъ о какой нибудь жертвѣ? не правда ли, Ѳедоръ Ѳедорычъ?

Ѳедоръ Ѳедорычъ молча кивнулъ головой.

— Я не въ тебя, отвѣчалъ я.

— Кстати! что это значитъ? ты, кажется, началъ находить, что брюнетки лучше блондинокъ?

— Напротивъ! блондиновъ стали находить хуже брюнетовъ.

— Маріонъ, кажется, не этого мнѣнія. Скажи, пожалуйста, гдѣ ты досталъ ей букетъ?

— Посылалъ къ Ш* въ деревню.

— А у Варинькн твой же былъ?

— Нѣтъ, отъ Имшина.

Въ это время человѣкъ подалъ намъ три стакана шампанскаго.

— Кто прислалъ? спросилъ Островскій, протягивая руку.

— Владиміръ Ивановичъ, отвѣчалъ лакей.

— Вотъ легокъ на поминѣ! Имшинъ, что съ вами! вы сегодня особенно любезны: дамамъ подносите букеты, а мужчинамъ шампанское.

— Ничего! такъ! отвѣчалъ Имшинъ, подходя къ нашему столу:—весело, такъ и пьется! А вы, Сергѣй Петровичъ? спросилъ онъ, обращаясь ко мнѣ.

— Благодарю васъ: я не пью шампанскаго.

— Какъ же это можно?

— Какъ видите!

— А еслибъ я вамъ предложилъ выпить за чье нибудь здоровье?

— Я бы отказался: мнѣ свое дороже всѣхъ!

— А чье бы вы здоровье предложили? спросилъ Островскій.—Злодѣй Имшинъ! я знаю, сгубилъ онъ сегодня одно сердце и уничтожилъ кой-кого!

Имшинъ самодовольно улыбнулся.

— Гдѣ намъ! Вотъ *я*—люблю васъ, князь. Вы никогда не отказываетесь. Ѳедоръ Ѳедорычъ, вы за чье здоровье выпьете?

— За свое, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Эгоисты! сказалъ Островскій.—Мы съ вами не таковы, Имшинъ. Здоровье *ея!* Такъ, что ли? и Островскій подмигнулъ и усмѣхнулся.

— Идетъ! Чокнемтесь, князь! и Володя протянулъ стаканъ.

— Постойте, господа, сказалъ я.—Это слишкомъ неопредѣленно. *Ея! она!* Это дурной тонъ, это водилось пять лѣтъ назадъ. Нынче люди откровеннѣе и не прибѣгаютъ къ мѣстоименіямъ.

Имшинъ вопросительно посмотрѣлъ на Островскаго.

— Тамаринъ правъ, сказалъ Островскій. — Въ самомъ дѣлѣ, я могу пить за одну *ее*, а вы за другую *ее*. Опредѣлимте какъ нибудь положительнѣе.

— Только безъ собственныхъ именъ, прибавилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

Имшинъ былъ въ затрудненіи.

— Ну... ну... за здоровье моего букета! сказалъ Имшинъ, и лицо его прояснилось, какъ будто ему удалось вынырнуть изъ воды.

— Вотъ это дѣло! Каково придумалъ злодѣй Имшинъ! Здоровье букета!

Островскій чокнулся съ нимъ, и оба залпомъ выпили стаканы.

— Теперь вы можете получить его, сказалъ я, обратясь къ Володѣ.—Онъ мнѣ попался подъ ногу въ швейцарской.

— Быть не можетъ! отвѣчалъ онъ вспыхнувъ.

— Можете удостовѣриться, отвѣчалъ я, смѣясь.

Имшинъ пробормоталъ что-то сквозь зубы, отошелъ отъ стола и, немного погодя, скользнулъ въ двери; потомъ онъ не возвращался.

— Разодолжилъ! сказалъ Островскій, протягивая мнѣ руку.

Мы посмѣялись и разъѣхались.

Я вынесъ отъ этого дня какое-то неопредѣленное чувство, похожее на отдыхъ отъ сильной душевной усталости. Этимъ только я могу объяснить себѣ разрывъ съ Варинькой и странный разговоръ мой съ Маріонъ.

Меня утомили мои безцѣльныя и тревожныя встрѣчи съ Варинькой.

Я былъ доволенъ, что покончилъ на время съ нею, и очень хорошо сдѣлалъ, что далъ Имшину предлогъ сердиться на нее. Завтра у нихъ будетъ объясненіе. Она увидитъ, что была неправа передъ нимъ, и, по своей добротѣ, постарается любезностью загладить невольную обиду. Онъ истолкуетъ это въ свою пользу, и вотъ завязка! Скучно только, что я предвижу ее, а то бы она заняла меня. Но нечаянное столкновеніе мое съ Маріонъ очень оригинально. Въ сущности я остался не-причемъ и даже отрекся отъ волокитства за нею на будущее время. Впрочемъ, отчегожь не разыграть иногда въ нѣсколько часовъ романъ съ безгрѣшной развязкой? Хоть вообще я не охотникъ до сладенькихъ сценъ, но пріятно иногда отречься отъ такъ называемыхъ нечистыхъ помысловъ, въ особенности когда надоѣдятъ хлопоты, съ которыми они достаются, погрузиться усталой душой въ ванну тепленькихъ ощущеній и, вмѣстѣ съ полными силами, вынести оттуда чистую привязанность хорошенькой женщины. Неужели я началъ уже старѣться?!

—

Вотъ уже нѣсколько недѣль, какъ я заболѣлъ. Именно это было съ бала въ собраніи. Я тогда еще чувствовалъ какое-то странное расположеніе духа, а это было начало болѣзни. Болѣзнь была сложная — перемежающаяся хандра, съ примѣсью апатіи... Постоянная хандра можетъ продолжаться только нѣсколько дней. Въ промежуткахъ была апатія. Иногда все казалось мнѣ въ такомъ свѣтѣ, что не хотѣлось бы ни на что смотрѣть; иногда я былъ до такой степени равнодушенъ ко всему, что объяснись мнѣ тогда въ любви хорошенькая женщина, я бы отвѣчалъ ей очень учтивою благодарностью. Все это время я ничего не сдѣлалъ, что бы стоило записать сюда. Видался часто съ Маріонъ: она была нѣжна и заботлива, какъ съ старымъ и больнымъ другомъ; сначала мнѣ это нравилось, но потомъ я привыкъ къ ея участію. Я хорошо вошелъ въ свою роль съ нею и ей на первый разъ выпалъ не очень завидный жребій—нянчиться съ моими капризами; но — странная вещь! — она очень хо-

рошо выдержала испытаніе и никогда не скучала имъ. Женское сердце чрезвычайно сложно: въ немъ бываютъ привязанности, которыя не знаешь куда помѣстить, въ разрядъ любви или дружбы. Она и во мнѣ возбудила странное сочувствіе. Я не люблю ее, а между тѣмъ невольно привязался къ ней. Я не смотрю на нее какъ на хорошенькую женщину,— а между тѣмъ не будь она почти красавицей, она бы надоѣла мнѣ. Какая же пружина движетъ это чувство? неужели самолюбіе?.. Вѣчно самолюбіе!

Съ Островскимъ видался я рѣдко: его болтовня надоѣла мнѣ, и онъ неохотно встрѣчался со мной, потому что находилъ очень скучающаго слушателя, который парализировалъ собой его веселость, а иногда жолчнымъ словомъ давалъ очень невыгодный оборотъ его не слишкомъ разборчивому остроумію. Ѳедоръ Ѳедорычъ навѣщалъ меня. Мы съ нимъ просиживали по цѣлымъ часамъ молча, изрѣдка перекидываясь пустыми вопросами, и расходились очень довольные другъ другомъ. Но интересны были наши встрѣчи съ Варинькой.

Я у Домашневыхъ бывалъ рѣдко, и то по необходимости, но встрѣчался съ Варинькой довольно часто, и ни одной встрѣчи не прошло ей даромъ. Оттого ли, что въ душѣ я былъ золъ на нее, или это былъ просто капризъ моей больной натуры, только я находилъ странное удовольствіе мучить ее. Мнѣ говорили, что у меня есть на это собственный талантъ. Я умѣю всегда выбрать самую чувствительную, больно дрожащую струну, и о чемъ бы ни была рѣчь, какъ бы ни была коротка встрѣча, я умѣю ввернуть словцо, которое, не понятное другимъ, жестоко ранитъ мою жертву въ ея слабую струну. Такъ я преслѣдовалъ и Варинькy. Иногда, видя, какъ она вздрагивала и блѣднѣла отъ одного слова, какъ будто оно физически ранило ее, мнѣ самому становилось и больно, и жалко; но чрезъ нѣсколько минутъ, при первомъ случаѣ, я не могъ упустить, чтобы снова не повторить злой насмѣшки. Я оправдывалъ себя тѣмъ, что это вѣчное преслѣдованіе заставитъ ее скорѣе позабыть меня. Не знаю, разлюбила ли она меня, но я увѣренъ, что были минуты, въ которыя она меня ненавидѣла. А между тѣмъ я много помогалъ успѣху дѣлишекъ Имшина. Съ одной стороны, мои безпрестанныя преслѣдованія, которыми я возстановлялъ Варинькy противъ себя, съ другой безотвѣтная любовь, да совѣты подруги, и вотъ, въ одно утро, я былъ странно палевенъ отъ моей душевной болѣзни. У меня сидѣлъ Ѳедоръ Ѳедорычъ. Разговоръ не клеился, моя хандра и апатія и его заразили, и мы очень равнодушно соглашались, что иногда жизнь дѣйствительно бываетъ ужасно скучна. Вдругъ пріѣхалъ Островскій, на своемъ орловскомъ рысакѣ, разбитомъ на всѣ ноги.

— Что ты дѣлаешь, Тамаринъ? спросилъ онъ, входя.

— Хандрю, отвѣчалъ я.

— Хочешь пари, что я тебя вылечу?

— Сдѣлай одолженіе.

— Бутылку шампанскаго?

— Идетъ!

— Вели же подавать.

— Сперва вылечи.

— Повѣрь на слово.

— Пожалуй — для рѣдкости, отвѣчалъ я.

Я велѣлъ подать вина.

— И три стакана, прибавилъ Островскій.

— Ты знаешь, я не пью.

— Будешь, отвѣчалъ онъ и самодовольно погрузился въ молчаніе.

Когда стаканы были налиты, Островскій взялъ одинъ и, обратясь ко мнѣ, провозгласилъ:

— Поздравляю васъ, Сергѣй Петровичъ, съ помолвкой Варвары Александровны Домашневой съ Владиміромъ Иванычемъ Имшинымъ!

Признаюсь, эта новость была такъ неожиданна, что я готовъ былъ вскрикнуть отъ удивленія. Но Островскій смотрѣлъ на меня торжествующимъ взглядомъ, ожидая эффекта отъ своихъ словъ, и даже Ѳедоръ Ѳедорычъ, забывъ лѣнь, встрепенулся и съ любопытствомъ наблюдалъ за мною. Сердце сильно билось у меня, но я хладнокровно спросилъ Островскаго:

— Это городскія новости?

— Въ томъ то и штука, что это чистая правда, душа моя! отвѣчалъ онъ. — Я сейчасъ былъ у Мавры Савишны, и она сама объявила мнѣ объ этомъ.

Тогда я взялъ стаканъ и выпилъ его залпомъ.

— Браво! сказалъ Островскій. — Вотъ что значитъ радоваться чужому счастью! вѣрь послѣ этого тѣмъ, которые говорятъ, что ты эгоистъ!

— Отчего же и не вѣрить! отозвался Ѳедоръ Ѳедорычъ. — А я такъ убѣжденъ, что онъ тутъ въ долѣ, и его содѣйствіе было нужнѣе согласія Мавры Савишны. Да чего лучше! вѣдь онъ принялъ ваше поздравленіе, князь!...

— Поймали, поймали! закричалъ Островскій, хлопая въ ладоши съ непритворной радостью. — Въ первый разъ въ жизни вижу, что Тамаринъ выдалъ себя! У Ахиллеса найдена пятка! — Ѳедоръ Ѳедорычъ, намъ необходимо поздравить другъ друга съ открытіемъ.

Островскій долилъ свой и его стаканы, и чокнулся съ нимъ.

Я хотѣлъ разувѣрить ихъ, но Ѳедоръ Ѳедорычъ прервалъ меня.

— Князь, не давайте ему говорить, сказалъ онъ: — а то онъ непремѣнно вывернется, и честь нашего открытія пропадетъ ни за грошъ.

— Если вы обрекаете меня на молчаніе, отвѣчалъ я: — такъ я лучше оставлю васъ и поѣду поздравить Мавру Савишну.

— Что дѣло, то дѣло! отвѣчалъ Островскій:— тебѣ непремѣнно надо ее поздравить съ своей стороны. Ты вѣдь виновникъ торжества! Только боюсь, что она не догадается поблагодарить тебя: стара стала Мавра Савишна!

— Островскій, ты невеликодушенъ, сказалъ я.

Хорошенькая дѣвочка, за которой я ухаживалъ, выходитъ за мужъ. Положимъ, что я жениться на ней не хотѣлъ, но все-таки непріятно.... а ты еще надо мной подтруниваешь.

— То-то, братъ! Ты съ своей теоріей сидишь, сложивши руки, да хочешь, чтобы по тебѣ молча страдали, а тутъ явится хорошенькій мальчикъ, таетъ, таетъ, да въ удобную минуту и предложитъ руку и сердце, и прощай теорія. Эти хорошенькіе мальчики съ матримоніальными намѣреніями очень опасны — нужды нѣтъ, что глупы!

Ѳедоръ Ѳедорычъ посмотрѣлъ изкоса на Островскаго и тихонько пожалъ плечами. Въ словахъ Островскаго была часть правды, если допустить, что страшны не мальчики, а ихъ супружескія наклонности. Но я внутренно сознавался, что бракъ Володи съ Варинькой, если и не былъ прямо дѣломъ рукъ моихъ, то составился подъ моимъ вліяніемъ; я не хотѣлъ дать себѣ отчета въ этомъ вліяніи, боясь невыгоднаго для себя заключенія, и невольно согласился съ безмолвнымъ мнѣніемъ Ѳедора Ѳедорыча.

Черезъ полчаса мы разъѣхались.

Я отправился къ Маврѣ Савишнѣ. Едва я вошелъ въ гостиную и взглянулъ на нее, какъ убѣдился въ справедливости слуха. Вся добрая фигура Мавры Савишны была проникнута какою-то торжественностью. На ней былъ чепецъ съ пестрыми лентами и даже турецкая шаль. Чулокъ не только не лежалъ возлѣ, но былъ изгнанъ изъ гостиной, и бѣдная собачка, по случаю торжественности дня, не допускалась на колѣни, а поджавъ хвостъ, съ недоумѣніемъ посматривала на свою госпожу, не понимая, что не до нея теперь, что Мавра Савишна въ этотъ день помолвила свою единственную, любимую дочку Варинькy.

У Мавры Савишны сидѣла та дама, съ тремя взрослыми дочерьми, которая любитъ меня какъ сына. Она услыхала о помолвкѣ и пріѣхала удостовѣриться въ справедливости слуха. Съ пріятной улыбкой на устахъ, объясняя Маврѣ Савишнѣ, что она порадовалась ея радости, какъ будто пристраивала собственную дочь, она, однакожь, со вздохомъ прибавила, какъ иные браки бываютъ несчастливы, какъ не должно торопиться замужествомъ дочерей, и въ заключеніе привела нѣсколько весьма утѣшительныхъ для Мавры Савишны примѣровъ супружества, въ которыхъ мужъ съ женою живутъ какъ кошка съ собакой. Въ этомъ разговорѣ я нашелъ Мавру Савишну со слезами на глазахъ, слезами радости и боязни за участь своей Ваpиньки. Она объявила мнѣ о помолвкѣ; я ей поднесъ мое искреннее поздравленіе; а дама, которая любитъ меня какъ сына и говорила, что Варинька мнѣ не пара, сказала съ участіемъ:

— Что, Сергѣй Петровичъ! упустили, батюшка, невѣсту то! а ужь этакой другой со свѣчами поискать!... Э, эхъ, молодые люди! не умѣете вы ловить свое счастье.

Я ей отвѣтилъ, что за счастьемъ не угоняешься, и поспѣшилъ выйти въ другую комнату, потому что мнѣ непріятно было оставаться въ одной съ нею, а добрая Мавра Савишна утерла слезу удовольствія и принялась благодарить нѣжную даму за любовь ея къ Варинькѣ.

Въ другой комнатѣ — той самой диванной; въ которой мѣсяца полтора назадъ, однажды вечеромъ, при неясномъ свѣтѣ цвѣтнаго фонарика, окруженная цвѣтами и зеленью, трепещущая Варинька повторяла мнѣ свое люблю, — увы! въ этой комнатѣ таже Варинька, правда, немного побѣднѣвшая, но болѣе серьёзная и холодная, сидѣла рядомъ съ Имшинымъ, который, по праву жениха, цѣловалъ ея руку. Это сближеніе обстоятельствъ произвело на меня тяжелое впечатлѣніе. Можетъ быть, тѣже мысли въ это время пронеслись передъ воображеніемъ Варинькы; но она, какъ и я, глубоко затаила ихъ.

Пріемъ Варинькы былъ немного холоденъ и принужденъ, хотя она не могла скрыть румянца, вспыхнувшаго на ея щекахъ при моемъ появленіи. Она, можетъ быть, боялась, что мои сарказмы сильнѣе прежняго будутъ преслѣдовать ее, но я былъ вѣжливъ и добродушно веселъ, какъ прилично радующемуся ближнему: она не была уже моя Варинька, и я уважалъ въ ней чужую собственность. Вскорѣ пріѣхала и Надинька — полюбоваться на счастье соединенныхъ ею сердецъ; съ любопытствомъ посмотрѣла она на меня, и я сталъ еще веселѣе, еще добродушнѣе. Варинька немного конфузилась, когда рѣчь касалась предстоящаго брака; но я щадилъ ея деликатность, и она, кажется, въ душѣ была мнѣ благодарна.

Такъ я просидѣлъ все условное время визита, и моя безцеремонная веселость оживила всѣхъ. И добрая Мавра Савишна, проводивъ свою гостью, пришла полюбоваться на счастіе своей парочки, и была весела и говорлива. Но когда я могъ уѣхать, не оставляя толковъ на счетъ краткости визита, я взялся за шляпу.

— Куда вы, Сергѣй Петровичъ? сказала Мавра Савишна: — а нашего хлѣба-соли откушать, обрученныхъ поздравить? У меня сегодня никого не будетъ, но я васъ считаю своимъ: мы съ Варинькой еще въ Неразлучномъ такъ къ вамъ привязались, что, право, любимъ, какъ роднаго; и вы должны раздѣлить съ нами нашу семейную радость.

Мавра Савишна говорила отъ души; искренность ея словъ можно было прочесть на ея добродушномъ лицѣ. Варинька глядѣла на меня застѣнчивымъ, полу-любопытствующимъ, полу-просящимъ взглядомъ. Ей, кажется, хотѣлось, чтобы я принялъ эту роль близкаго человѣка, чтобы съ этой минуты я любилъ ее, но любовью роднаго, а не постороннаго; но я не хотѣлъ подъ маской одного чувства искать другаго: меня всегда возмущаетъ любовникъ жены, который ищетъ дружбы мужа, и я никогда и никуда не втирался подъ чужимъ именемъ. Я извинился передъ Маврой Са-

вишной, сказалъ, что у меня обѣдаютъ нѣсколько знакомыхъ, и уѣхалъ, не оставивъ своимъ пріѣздомъ темнаго пятна на этой, можетъ быть немного грустной, но тихой семейной картинѣ.

Однакожъ, надобно замѣтить, что я весь этотъ день былъ не въ духѣ и страдалъ желчью. Впрочемъ, быть можетъ, всему виной выпитый мною стаканъ шампанскаго, которое такъ вредно мнѣ!

—

Еще двѣ длинныя недѣли, которыя выкупилъ одинъ оригинальный вечеръ.

Я былъ у Домашневыхъ. Володя уѣхалъ въ Москву, дѣлать закупки. Варинька встрѣтила меня, какъ мы встрѣчались въ послѣднее время — довольно холодно, но непринужденно. Эта непринужденность невольно давала мнѣ мысли не совсѣмъ лестныя для моего самолюбія. Мнѣ казалось, что Варинька примирилась съ своею участью и стала равнодушна ко мнѣ. Но меня разубѣждала подмѣченная мною черта Варинькинаго характера: она никогда не дѣлала изъ себя героини романа. Она любила, она страдала, она начинала привыкать—скрывать свои чувства, но никогда не драпировалась ими. Убѣжденная опытомъ, что нельзя носить на лицѣ всякое движеніе сердца, она, если находила нужнымъ таить что-либо, то таила крѣпко и не поддавалась мелочному кокетству натуръ средней руки, которыя хотятъ, чтобы въ нихъ видѣли героинь и потому стараются надѣть какъ можно эффектнѣе маску притворства, оставляя въ ней приподнятый уголокъ, чтобы можно было догадываться о скрытомъ чувствѣ; за это я и любилъ Вариньку: это была чистая, прямая натура, граціозная въ своей простотѣ и завлекательная по своей неподдѣльности.

Мы сидѣли вдвоемъ въ диванной, но добрая Мавра Савишна вскорѣ насъ оставила, потому что встрѣтились какіе-то затруднительные вопросы при шитьѣ приданаго, которые требовали ея личнаго разрѣшенія и надсмотра. Мы остались вдвоемъ. Варинька сидѣла въ углу дивана, я прямо противъ нея, на мягкомъ креслѣ. Двѣ свѣчи горѣли между нами на рабочемъ столикѣ и ясно освѣщали блѣдныя, но спокойныя черты Вариньки. Остальная часть комнаты, въ которую свѣтъ пробивался сквозь рѣшетки, обвитыя плющемъ, тонула въ полутемнотѣ. Находясь подъ вліяніемъ, можетъ быть, разнородныхъ мыслей, несвязанные этикетомъ и поставленные въ ложное другъ предъ другомъ положеніе, мы, послѣ ухода Мавры Савишны, хранили глубокое молчаніе, и тогда среди этого молчанія разыгралась странная сцена.

Мнѣ хотѣлось узнать, дѣйствительно ли и до какой степени охладѣла ко мнѣ Варинька, и немного сблизить то почтительное разстояніе, на которое разошлись мы. Я тихо всталъ, оперся одной рукой на столикъ, а другую молча подалъ Варинькѣ. Варинька взглянула на меня холодно, холодно, на ея лицѣ какъ будто выразилось удивленіе, и только; она не пошевельнулась, она не сдѣлала никакого знака, который бы отвѣчалъ на мой призывающій жестъ и равнодушно оставила меня въ моей просящей позѣ.

Тогда у меня явилось непреодолимое желаніе пробить, если можно, эту холодную завѣсу, за которою скрыла Варинька свои задушевныя думы, уничтожить ея нѣмое, но тѣмъ не менѣе сильное сопротивленіе. Не оставляя своего положенія, я смотрѣлъ прямо въ темноголубые глаза Вариньки; сначала мой взглядъ, какъ и жестъ, не произвелъ никакого впечатлѣнія, но потомъ смутилъ ее. Легкая краска выступила на ея щекахъ, дыханіе стало чаще; она приподняла на меня глаза и тихо проговорила:

— Пожалуйста, не смотрите на меня такъ.

Но я, молча, продолжалъ смотрѣть на нее... Головка ея склонилась на грудь!.. она вся опустилась какъ птица подъ стекляннымъ колоколомъ, изъ подъ котораго вытянули воздухъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ рука ея упала въ мою руку.

Я взялъ ее: она была холодна какъ ледъ; тогда, сознаюсь, первымъ чувствомъ моимъ былъ испугъ: я думалъ, что съ Варинькой сдѣлалось дурно, и никакъ не ожидалъ подобнаго результата. Я старался согрѣть въ своихъ рукахъ ея руку и съ безпокойствомъ спросилъ Вариньку: что съ нею. Она приподняла голову и тяжело вздохнула. Я успокоился, оставилъ ея руку и съ удовольствіемъ опустился въ кресло: взглянувъ на себя въ зеркало, я увидѣлъ, что былъ блѣденъ какъ полотно. Нѣсколько минутъ мы просидѣли молча; наконецъ Варинька первая прервала молчаніе и съ упрекомъ сказала мнѣ:

— Что вы дѣлаете со мною, Тамаринъ?.. Вы открыли новое средство мучить меня.

— Боже мой! говорила Варинька, не обращаясь ко мнѣ, какъ будто думала вслухъ: — неужели я никогда не выйду изъ подъ этого вліянія? Неужели всѣ мои силы будутъ вѣчно разбиваться о вашу волю. Я васъ не люблю больше, я не хочу, не должна любить васъ! откуда жъ у васъ эта власть надо мною? кто вамъ далъ ее?

Я молчалъ.

— Долго ли, наконецъ, вы будете мучить и преслѣдовать меня? спросила она, разсерженная моимъ молчаніемъ. — Это несносно!.. кто далъ вамъ на это право?

Я посмотрѣлъ на нее, и въ первый разъ взглядъ мой былъ непритворно холоденъ, потому что въ эту минуту я видѣлъ предъ собой только свѣтскую дѣвицу, Варвару Александровну Домашневу, невѣсту одного моего знакомаго, Имшина, которая въ послѣднее время дѣлаетъ мнѣ честь очень холодно встрѣчать меня. Она мнѣ грустно напомнила Варинькину, ту миленькую, наивную деревенскую дѣвочку, которая заинтересовалась мной какъ ребенокъ сказкой, и влюбилась въ меня какъ дитя,—Варинькину, которая, увы! была для меня уже потеряна невозвратно! Мнѣ стало досадно. Я горько улыбнулся и началъ говорить ей:

— Помните, Варвара Александровна, съ полгода назадъ, въ Неразлучномъ, я пріѣхалъ къ вамъ однажды утромъ. Я зналъ уже, что нравлюсь вамъ, что моя полуотжившая натура интересовала ваше юное воображеніе, какъ новая нечитанная вами книга. Сознаюсь вамъ, мнѣ льстила и меня занимала эта дѣтская любовь, полная слѣпаго удивленія и преданности. Но я пріѣхалъ къ вамъ охлажденный обстоятельствами. Я отбросилъ самолюбіе и высказалъ вамъ нагую истину. Я показалъ вамъ, какъ опасно для хрупкой, свѣжей натуры столкновеніе съ полуотжившимъ человѣкомъ, какъ многаго требуетъ ваша любовь и какъ мало даетъ! Я все вамъ высказалъ: и тогда вы меня поняли. Разговоръ нашъ былъ прерванъ пріѣздомъ Ивана Васильича. Онъ мнѣ отдалъ письмо; пока я читалъ его, вы были въ саду, одни со своими мыслями; тогда было время раздумать и остановиться. Но я пришелъ, и какъ нашелъ васъ? Вы страдали не оттого, что я вамъ высказалъ, не отъ боязни будущаго, а отъ боязни, что будете лишены возможности испытать его. Я хотѣлъ выѣдать ваши чувства, и вы отвѣчали мнѣ, съ досадою дѣвицы, оскорбленной тѣмъ, что ее считаютъ за дитя: вы сердились на меня за то, что я хотѣлъ сберечь ваше дѣтское сердце и не дать разбиться вашимъ свѣжимъ иллюзіямъ. Тогда... я... я принялъ вашъ ребяческій вызовъ. Конечно, я виноватъ предъ вами: я долженъ былъ лучше знать ваши силы и наперекоръ вамъ отказаться отъ вашей любви; но вы бы мнѣ не простили этого... да имѣлъ ли я право щадить васъ, когда вы сами не хотѣли вашей пощади? Вы были хороши какъ распускающійся цвѣтокъ!.. я принялъ вашу любовь и отвѣчалъ на нее сколько могъ... Тогда вы были счастливы...

— Да, я была счастлива! сказала, вздохнувъ, Варинька.

— Потомъ мнѣ встрѣтилась надобность ѣхать...

— Скажите лучше, прервала она: — что вамъ надоѣла любовь деревенской дѣвочки. Вамъ предстояло другое развлеченіе, и вы бросили ее, какъ ребенокъ бросаетъ изломанную игрушку.

— Пожалуй и такъ! сказалъ я.—Я не даю болѣе, сколько обѣщаю. Да и какъ вы хотите, чтобы я умѣлъ щадить другихъ, когда я не щажу никогда самого себя? Я пріѣхалъ сюда, и вскорѣ вы пріѣхали за мной...

— Да, сказала Варинька съ горечью: — я притащилась сюда за вами. Я вытащила мою добрую старушку-мать... Конечно, я должна была надоѣсть вамъ! я должна была потерять право на ваше уваженіе! мнѣ стыдно за самое себя! Но что же дѣлать, прибавила она:—я не могла тамъ оставаться одна,—вѣчно одна! это было выше силъ моихъ...

Я далъ ей высказаться и потомъ продолжалъ:

— Вы меня не поняли: я былъ бы низокъ, если бы упрекнулъ васъ доказательствомъ вашей любви.

— Я васъ слушаю, сказала она.

Я продолжалъ:

— Мы встрѣтились здѣсь, но уже не тѣми, какими разстались. Наша ребяческая, немного смѣшная, но тѣмъ не менѣе прекрасная любовь была оставлена въ темныхъ аллеяхъ Неразлучнаго. Здѣсь наша любовь, какъ и всякая любовь въ свѣтѣ, стала игрой самолюбія; и потому, мудрено ли, что здѣсь, вмѣсто наивной Вариньки и ея интереснаго поклонника, сошлись просто Варвара Александровна съ Сергѣемъ Петровичемъ! и любили мы, какъ любятъ въ свѣтѣ, безпокойно, осторожно, часто подумывая, «что объ этомъ скажутъ.» И вотъ однажды вамъ показалось, что я—не то, чтобы мало любилъ васъ, а мало показываю эту любовь. И не то, чтобы вамъ самимъ это показалось, а вамъ намекнула добрая подруга. Ваше самолюбіе было оскорблено—это понятно. Вамъ должно было показать самой болѣе холодности, и мы были бы квиты. Но нѣтъ! вы захотѣли бо́льшаго торжества: вы захотѣли показать, что не дорожите мной, и по совѣту этой же подруги, да изъ участія къ одному страдальцу, который не боится, что въ свѣтѣ будутъ говорить про его любовь, вы мнѣ дали соперника, да еще показали ему преимущество. Скажу вамъ откровенно, я человѣкъ самолюбивый и ужасно не люблю счастливыхъ соперниковъ, а особенно такого рода, съ которыми и въ борьбу вступать не лестно. Тогда, сознаюсь, я испугался и уступилъ ему поле безъ битвы, а вы, чтобы довершить его торжество, наградили его своей рукой.

Варинька молчала, не была въ сильномъ волненіи. Я самъ начиналъ чувствовать какое-то безпокойство, но продолжалъ:

— Теперь все, что было общаго между нами, пережито. Вы захотѣли рѣзко отдѣлиться отъ прошлаго, и я безропотно повиновался вамъ. Я васъ не упрекалъ, я вамъ не сопротивлялся; сходимся мы теперь какъ чужіе, и встрѣчи наши холодны, холодны какъ ваши чувства ко мнѣ.

Я посмотрѣлъ на Вариньку: она вздохнула.

— Но какъ вы хотите, чтобы иногда, сидя вдвоемъ, въ той комнатѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ были другія встрѣчи, высказывались иныя чувства, — какъ вы хотите, чтобы прошлое не заневѣлилось въ душѣ и невольно не отразилось на насъ. А вы говорите, что я преслѣдую васъ. Вы спрашиваете, кто мнѣ далъ право васъ мучить, какъ я сохранилъ мое непрошеное вліяніе? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, я, и всегда я, буду во всемъ виноватъ? Неужели во мнѣ нѣтъ человѣческаго чувства и я вѣчно играю и собой, и другими! Спросите самое себя и судите сами!..

Желчь волновалась во мнѣ и послѣдній упрекъ былъ высказанъ мной отъ души. Варинька задумалась; воспоминанія, которыя я пробудилъ въ ней, казалось, произвели на нее сильное впечатлѣніе: она сдѣлалась мягче, доступнѣе и, немного помолчавъ, сказала:

— Можетъ быть, я поторопилась осудить васъ, можетъ быть, вы не виноваты. Дѣйствительно, нельзя такъ скоро оторваться отъ прошлаго: чув-

но холодно встрѣчаться; можно изъ близкихъ сдѣлаться чужими, но память о прошломъ, все, что крѣпко привилось къ душѣ, не скоро изъ нея изглаживается; я это знаю по себѣ, сказала она вздохнувъ. — Видите, я съ вами откровенна, продолжала она: — я сознаюсь, что мнѣ тяжело, мнѣ трудно разстаться съ памятью о томъ, что было мило. Но жребій брошенъ. Мы не можемъ, не должны любить другъ друга. Такъ разстанемся друзьями... Мы останемся ими, Тамаринъ, не правда ли? Вы единственный человѣкъ, котораго я любила... и вы будете моимъ лучшимъ другомъ!

Варинька смотрѣла на меня такъ добро, такъ привѣтливо! въ ея взглядѣ было еще болѣе просьбы, чѣмъ въ словахъ. Она создала себѣ отрадную мечту и прилѣпилась къ ней. Можетъ быть, со времени нашего разрыва это была ея первая сладкая мечта! Но она была не въ моемъ духѣ.

— Вашимъ лучшимъ другомъ—послѣ мужа! докончилъ я.

Варинька опечалилась и затаила грустный вздохъ.

— По крайней мѣрѣ, вы исполните другую просьбу, продолжала она.—Вы добры, вы благородны... если въ васъ осталось сколько нибудь прежнихъ чувствъ ко мнѣ, то именемъ этого прошлаго прошу васъ, помогите мнѣ забыть его. Видите ли, я говорю вамъ то, чтобы должна была скрывать отъ васъ, но я увѣрена, что вы не употребите во зло моей откровенности. И вамъ это будетъ такъ легко, Тамаринъ. Я вижу теперь: я вамъ никогда не была очень дорога. Къ тому же вы такъ хорошо владѣете собой, вы такъ легко отъ всего отрываетесь. Зачѣмъ вамъ нѣсколько моихъ лишнихъ слезъ, нѣсколько позднихъ сожалѣній?

Мнѣ казалось, я слышалъ мою прежнюю Варинъку: это была ея непритворная, простодушная рѣчь, ея грустныя и полныя дѣтскаго довѣрія слова. Мнѣ было жаль ея, мнѣ стало жаль и прошлаго.

— Видно, я васъ люблю еще, отвѣчалъ я: — потому что не могу отказать въ вашей просьбѣ. Но теперь, въ нашу, можетъ быть, послѣднюю откровенную бесѣду, я долженъ вамъ сказать нѣсколько словъ о себѣ: мнѣ бы не хотѣлось разстаться съ вами, оставивъ въ васъ тѣ убѣжденія, которыя вы сейчасъ высказали. Вы говорите, что я не очень дорожу вами, что я легко отъ всего отрываюсь. Почему вы знаете это? отчего вы это думаете? потому что я не тѣшу моихъ пріятелей разсказами о своихъ печаляхъ, до которыхъ имъ нѣтъ дѣла; что я не нуждаюсь въ ихъ утѣшеніяхъ, которыя нисколько мнѣ не помогутъ, и не возбуждаю сожалѣній, которыя ненавижу? потому что на моемъ лицѣ нельзя прочесть моихъ чувствъ: потому что я смѣюсь, когда, можетъ быть, грусть или досада шевелятся въ душѣ? Странно, что вы до сихъ поръ такъ мало узнали меня! и скажу вамъ больше: мнѣ грустно, что вы предполагаете во мнѣ одно дурное! Вы меня считаете эгоистомъ,— и не ошиблись; но знаете ли, что въ васъ болѣе эгоизма, чѣмъ во мнѣ? Вы теперь думаете только о себѣ. Вы хотите, чтобы только вамъ было легко примириться съ новымъ положеніемъ. Не правда ли? Но вы не подумали, какъ, можетъ быть, грустно и больно отрываться отъ послѣдней мечты, отъ послѣдней иллюзіи! Вы не подумали, что трудно примириться съ душевнымъ холодомъ тому, кто, можетъ быть, въ послѣдній разъ собралъ весь бѣдный остатокъ чувствъ и довѣрилъ его вамъ, для того, чтобы еще разъ обмануться. Тяжело утрачивать первую вѣру въ счастье, еще тяжелѣе — послѣднюю!

Я замолчалъ, потому что былъ сильно взволнованъ; я самъ разчувствовался отъ своей сантиментальной выходки. Мнѣ было грустно. Я взглянулъ на Вариньку: она была блѣдна, слезы выступили на ея большихъ темноголубыхъ глазахъ, но, казалось, какое-то тайное недовѣріе остановило ихъ, и, не смѣя упасть, эти слезы повисли на длинныхъ рѣсницахъ.

— Боже мой, что бы я дала, чтобы знать правду! сказала она.

А трудно было узнать эту правду: я и самъ не зналъ, любилъ ли я Вариньку.

— Скажите мнѣ, наконецъ, научите меня, что мнѣ дѣлать! сказала Варинька, болѣзненно сжимая свои руки; и въ ея дрожащемъ голосѣ, въ ея страдальческомъ лицѣ, въ ея безпокойномъ взглядѣ выражалась страшная борьба недовѣрія и надежды, сомнѣнія и рѣшимости.

Я видѣлъ эту борьбу, и она отразилась во мнѣ, она подняла со дна моей души группу смутныхъ и противоположныхъ чувствъ, между которыми я нескоро могъ освоиться. Первое изъ этихъ чувствъ было за Вариньку: я хотѣлъ вполнѣ примириться съ нею, смыть своею любовью всѣ огорченія, которыя нанесъ ей въ ея любви, освѣжить свое больное, измученное противорѣчіями сердце.

Послѣ долгихъ и скучныхъ лѣтъ тяжелаго одиночества робкой и себялюбивой души, которая вѣчно и безпокойно ищетъ сочувствій, но, вызвавъ ихъ, изъ пустой боязни смѣшнаго, какъ затронутый ёжъ, тотчасъ щетинится и прячется въ самое себя,—послѣ этихъ невыносимо долгихъ и страшно безцвѣтныхъ лѣтъ, это былъ первый благородный порывъ души моей.... Можетъ быть, въ этомъ порывѣ отчасти было и желаніе посмѣяться надъ Имшинымъ, который, кажется, думаетъ, что онъ въ состояніи бороться со мной,—можетъ, также, и другое желаніе—успокоить мое ненасытное самолюбіе, оскорбленное послѣдней холодностью Вариньки. Я не сознавалъ тогда этихъ послѣднихъ мыслей, но готовъ допустить ихъ тайными двигателями, какъ охотно допускаю въ себѣ все дурное. Какъ бы то ни было, въ первую минуту я любилъ и готовъ былъ любить Вариньку; и что-то свѣтлое и отрадное было въ этой минутѣ! Второе чувство—это вѣчно противорѣчащее и вѣчно живущее во мнѣ чувство—было мгновенно, но сильно. Оно мнѣ живо развернуло скучную картину нашихъ безпокойныхъ встрѣчъ, длинный рядъ тол-

ковъ и пересудовъ, которые могла бы возродить разошедшаяся свадьба. Оно мнѣ сдѣлало неизбѣжный вопросъ: «чѣмъ все это кончится?»

Съ невольнымъ сожалѣніемъ, какъ предъ долгой разлукой съ невѣрнымъ свиданіемъ, посмотрѣлъ я на разстроенную, безпокойно глядящую на меня Варинькy, и на вопросъ ея, что ей дѣлать—взявъ тяжелый вздохъ, отвѣчалъ:

— Выходить замужъ за Имшина.

И мои слова произвели на меня магическое дѣйствіе, когда я вспомнилъ объ Имшинѣ, какъ о женихѣ Вариньки: мнѣ показалось, что сожалѣть о ней значитъ ему завидовать. Гордость моя возмутилась, и холодъ сжалъ зашевелившееся сердце.

А Варинька еще нѣсколько мгновеній продолжала смотрѣть на меня своими влажными глазами, потомъ провела по нимъ рукою, какъ будто пробуждаясь отъ сна, и когда приподняла потомъ свою хорошенькую, но блѣдную головку, то глаза ея были уже сухи и холодное лицо спокойно.

— Благодарю васъ, Тамаринъ, тихо сказала она:—за то, что вы напомнили мнѣ мою обязанность, а еще болѣе за то, что дали узнать себя.

Я отвѣчалъ, что это не стоитъ благодарности, всталъ, поклонился и вышелъ.

Странное чувство я вынесъ отъ этого вечера! что-то похожее на сожалѣніе, что-то грустное шевелилось у меня на душѣ, а между тѣмъ самолюбіе мое было успокоено. Не отъ меня ли зависѣло разорвать свадьбу Вариньки?

Но страннѣе для меня то, что я остался какъ будто недоволенъ собою; отчего бы, кажется? развѣ не все дѣлается по моему желанію? А хотѣлось бы мнѣ знать, чего желаю я....

—

Мужчины мнѣ надоѣли страшно; Варинькy я не хотѣлъ видѣть: встрѣчи съ нею безполезно раздражали меня. У Маріонъ, какъ нарочно, умерла тетка, и она уѣхала къ ней. Остальныя женщины въ городѣ нисколько не интересовали меня и я ихъ охотно отнесъ къ разряду мужчинъ. Я стряхнулъ пыль съ моихъ любимыхъ авторовъ и заперся съ ними. Разъ, утромъ, я услышалъ громкій разговоръ въ моей прихожей.

— Дома Сергѣй Петровичъ? говорилъ скоро чей-то знакомый голосъ.

— Дома-съ, да не принимаютъ! отвѣчалъ мой мальчикъ, тѣмъ нерѣшительнымъ тономъ, которымъ обыкновенно отказываютъ наши лакеи.

— Отчего же это онъ не принимаетъ?

— Не знаю-съ; не приказали принимать.

— Да, что же, можетъ, боленъ онъ?

— Никакъ нѣтъ-съ: здоровы.

— Ну, можетъ, занятъ.... а? занятъ?

— Заняты-съ.

— Что̀жъ онъ дѣлаетъ?

— Кофей кушаютъ.

— Гм! ну, а можетъ есть у него кто? а?

— Никого нѣтъ-съ.

— Да ты врешь!

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Гм! ну, и никого не принимаетъ?

— Никого-съ.

— Ну, а не говорилъ онъ на случай, что если дескать Иванъ Васильичъ пріѣдетъ, просить, или доложить, что̀ ли? Иванъ Васильичъ изъ Рѣдькина! знаешь Рѣдькино?

Тутъ я позвонилъ и велѣлъ просить Ивана Васильича: мнѣ почему-то вдругъ захотѣлось посмотрѣть на его добрую фигуру.

— Ну, вотъ это по пріятельски, это по нашему! заговорилъ Иванъ Васильичъ, увидавъ меня, и только я успѣлъ протянуть ему руку, какъ услыхалъ на своемъ лицѣ его жаркое дыханіе, и три неумолимые поцѣлуя звучно напечатались на моихъ щекахъ.

— Ну, вотъ спасибо, что приняли! а то какъ, шутка ли? съ полгода не видались, да и не принять!

— Вы видите, Иванъ Васильичъ, что приказаніе не относилось къ вамъ; но я васъ никакъ не ожидалъ.

— Я такъ и думалъ! очень, очень вамъ благодаренъ, что не забыли меня.

Иванъ Васильичъ сдѣлалъ движеніе: я подумалъ, что онъ хочетъ снова облобызать меня и подвернулъ ему свою сигару.

Онъ взялъ ее, несмотря на то, что никогда сигаръ не курилъ, и вертѣлъ въ рукахъ.

— Садитесь-ка, Иванъ Васильичъ; да не хотите ли лучше трубку?

— Позвольте лучше трубочку, сказалъ онъ, осторожно сѣвъ въ мягкое кресло и отираясь шелковымъ платкомъ.

— Давно-ли вы здѣсь?

— Вчера только пріѣхалъ, Сергѣй Петровичъ, только вчера!

— По дѣламъ, вѣроятно?

— Гм.... да, и по дѣламъ, а главное, правду сказать, хотѣлось побывать на свадьбѣ Варинь.... у Варвары Александровны....

— А скоро развѣ ея свадьба, спросилъ я, и, не знаю отчего, кровь бросилась мнѣ въ голову.

— Какъ! вы развѣ не знаете? а еще въ городѣ живете! завтра, завтра отдаютъ ее, голубушку! И круглое лицо Ивана Васильича исказилось какой-то весело-плачущей улыбкой.

— Да что̀жъ вы здѣсь дѣлаете, что и этого даже не знаете? спросилъ онъ.

— Я сидѣлъ дома и никого не принималъ.

— Что̀ такъ?

— Былъ не совсѣмъ здоровъ, да и занимался.

— Гм; ноги отдѣлывали? или итальянскія аріи новыя какія нибудь распѣвали?

— И то и другое.

— А я къ вамъ съ порученіемъ отъ Варвары Александровны—вѣдь я у нея посаженымъ отцомъ —она проситъ васъ быть у нея шаферомъ.

— Что̀ это ей вздумалось выбрать меня? скоро

сил я, немного озадаченный этим неожиданным приглашеніем.

— Она говоритъ, что васъ знаетъ лучше всѣхъ изъ здѣшней молодежи, и что ей очень хочется, чтобы вы именно держали вѣнецъ надъ ней.

— А! въ такомъ случаѣ буду, непремѣнно буду. Я самъ поѣду благодарить ее за честь.

И мы оба замолчали.

Не знаю, почему я былъ взволнованъ.

Къ тому же меня интриговало желаніе Вариньки имѣть меня своимъ свидѣтелемъ. Я не понималъ этой прихоти выбора; онъ даже какъ то непріятно отозвался въ моемъ самолюбіи; но я принялъ его охотно, какъ иногда, въ извѣстной настроенности духа, охотно желаешь встрѣтиться съ непріятностью.

Не знаю, о чемъ думалъ Иванъ Васильичъ; но онъ часто и звучно пускалъ клубы дыма, какъ паровозная труба, потомъ поставилъ трубку, вынулъ свой шелковой платокъ, отеръ имъ лоснящееся чело и долго свертывалъ его комкомъ въ рукахъ.

— А знаете ли, Сергѣй Петровичъ, сказалъ онъ наконецъ:—я признаюсь вамъ, думалъ, что если мнѣ придется быть на свадьбѣ Варвары Александровны, такъ увижу я васъ тамъ съ ней только не съ вѣнцомъ, а подъ вѣнцомъ!

— Съ чего же это вамъ думалось? сказалъ я смѣясь.

— Да такъ вотъ, думалось, да и только. Ну, вотъ подите! Вѣдь какъ нашему брату влезетъ иногда какая нибудь мысль въ голову, такъ ужь такъ въ ней засядетъ, что и не выгонишь ее.... и видишь, что по пустому живетъ, а палачемъ ее оттуда не выманишь! А жаль, прибавилъ онъ, задумавшись.

— Отчего же жаль? сказалъ я:—чѣмъ Имшинъ не мужъ?

И я невольно усмѣхнулся. Иванъ Васильевичъ замѣтилъ эту усмѣшку, и она, кажется, оскорбила его за Вариньку.

— Да! сказалъ онъ съ большимъ, нежели въ немъ было, убѣжденіемъ:—дѣйствительно, Владиміръ Иванычъ прекрасный молодой человѣкъ, ведетъ себя не по лѣтамъ: не пьяница, не игрокъ, не мотъ; конечно, не забросаетъ онъ никого словами, не боекъ, да для семейнаго счастья этого и не нужно. Я радъ выбору Варвары Александровны.

— Ну, вотъ видите, сказалъ я:—вы столько насчитали достоинствъ въ Имшинѣ, что лучше его трудно и найти въ мужья.

— Оно конечно, дѣйствительно.... оно трудно, пробормоталъ Иванъ Васильичъ, видимо недовольный и тѣмъ, что нашелъ въ Володѣ одни только отрицательныя достоинства. Да что! вѣдь съ вами не сговоришь! сказалъ онъ рѣшительно, выходя изъ двухъ огней, между которыми поставилъ себя. Вы всегда правы останетесь... а скажу я вамъ *откровенно: прекрасный* человѣкъ Владиміръ Иванычъ, да для Варвары-то Александровны мнѣ бы еще получше хотѣлось.

— Вы льстите мнѣ, Иванъ Васильичъ:—смѣясь сказалъ я, находя глупое удовольствіе сердить добряка.

— Нѣтъ, не льщу я, не умѣю я льстить, отвѣчалъ Иванъ Васильичъ:—я не городской житель, не свѣтскій шаркунъ, а вотъ, что скажу я вамъ: человѣкъ вы умный, очень умный человѣкъ, да несмѣтливый. Ничего вы дѣльнаго во весь вѣкъ не сдѣлаете! пройдетъ у васъ счастье, съ позволенія сказать, подъ носомъ, а вы и усомъ не пошевельнете, чтобы поймать его. Богъ васъ знаетъ, лѣнь ли вамъ, боитесь ли вы чего, только скажу я вамъ, вѣчный вы врагъ себѣ, Сергѣй Петровичъ!

— Ну что? льщу я вамъ? спросилъ онъ потомъ; и улыбка весело пробѣжала по его открытому лицу, потому что онъ высказался и оправдался въ собственныхъ глазахъ. И мнѣ весело было слушать его: я никогда не видалъ такъ добродушно излившейся желчи.

— Однако, мнѣ пора, заболтался я, а еще надо въ Палату съѣздить... Вы на меня не сердитесь? сказалъ онъ, живо вставая и протягивая мнѣ руку. А Варварѣ Александровнѣ я скажу, что вы будете.... такъ до свиданія....

Я отъ души пожалъ его радушно-протянутую руку, но прежде нежели успѣлъ сказать ему что нибудь, какъ уже увидалъ передъ собой плотно натянутую спинку коричневаго фрака, съ раздвоившимися фалдами, и круглая фигурка Ивана Васильича, живо колеблясь съ ноги на ногу, быстро исчезла.

Я остался въ раздумьи, съ улыбкой на губахъ и неясными мыслями. Очнувшись, я нашелъ себя въ дурномъ расположеніи духа и, признаюсь, пожалѣлъ, что не оставилъ Ивана Васильича разсуждать въ передней съ моимъ мальчикомъ. Потомъ я спросилъ одѣться и отправился въ Маврѣ Савишнѣ, но не засталъ ее дома: сказали, что она уѣхала съ Варинькой верстъ за пять въ монастырь, помолиться чудотворной иконѣ. Тогда я пустился по знакомымъ и пол-городу показалъ свою веселую и очень довольную собой фигуру.

А безъ меня заѣзжалъ, говоритъ, ко мнѣ, Имшинъ и просилъ по обязанности шафера распоряжаться на его свадьбѣ. Вотъ-что называется въ чужомъ пиру похмѣлье!

—

Отдали ее! отдали Вариньку!... что за вздоръ! ктожъ отдалъ ее? сама вышла!

Вотъ какъ это было.

Въ восемь часовъ вечера я пріѣхалъ въ домъ Мавры Савишны. Онъ былъ освѣщенъ, но пустъ; въ гостиной былъ разостланъ коверъ, двери во внутреннія комнаты затворены.

Меня встрѣтилъ Иванъ Васильичъ, который одиноко прогуливался по залѣ и гостиной. Боялся ли онъ, что я сержусь на него, или подшепнулъ ему его добрый инстинктъ, что мое положеніе въ на-

стоящемъ случаѣ вовсе не завидно, только онъ все вертѣлся около меня и заглядывалъ мнѣ въ глаза, и страшно надоѣдалъ своею внимательностію.

— А невѣста? спросилъ я.

— Одѣваютъ-съ, одѣваютъ ее, Сергѣй Петровичъ! отвѣчалъ онъ какъ-то жалобно и при этомъ опять посмотрѣлъ мнѣ въ глаза.

Я отвернулся, зѣвнулъ и усердно замолчалъ. Иванъ Васильичъ, видя, что со мной дѣлать ему нечего, началъ передвигать свѣчи и ногой поправлять коверъ. А у косяка двери стоялъ Савельичъ, въ черномъ неуклюжемъ фракѣ, и приглаживалъ съ затылка на лысину свои длинные, сѣдые волосы.

Черезъ четверть часа скучнаго ожиданія растворились внутреннія двери, и хлынула толпа дѣвицъ съ розовыми, улыбающимися личиками и влажными глазами. Вошла и Мавра Савишна. Глаза ея были красны отъ слезъ; она мнѣ ласково поклонилась, но ея обыкновенно радушно-говорливыя уста были замкнуты грустью и волненіемъ. Вслѣдъ за ней вышла и Варинька.

На ней былъ обыкновенный свадебный нарядъ. Бѣлый вуаль падалъ на бѣлыя плечи и на русой головкѣ дрожалъ вѣнокъ — символъ невинности. Варинька была блѣдна, но спокойна. Она не плакала, но по временамъ слезы выкатывались и падали изъ темно-голубыхъ глазъ.

— Благодарю васъ, Сергѣй Петровичъ, что вы не отказались быть моимъ шаферомъ, сказала она, увидя меня.

— Мнѣ надобно благодарить васъ за доставленный случай быть свидѣтелемъ вашего счастья, отвѣчалъ я.

Она повернулась и сѣла какъ усталая, а я сталъ между дѣвицъ и въ первый разъ въ жизни не принудилъ себя быть любезнымъ, когда должно.

— Вы что-то не веселы, Сергѣй Петровичъ, сказалъ около меня какой то сладенькій, тоненькій голосъ.

Я обернулся и увидѣлъ Надежду П*. Она глядѣла на меня до красна натертыми глазами и силилась придать имъ выраженіе растроганнаго добродушія.

— Чемужь мнѣ радоваться? спросилъ я.

— Однакожь не отчего и грустить, я думаю, замѣтила она.

— Отъ этого я и не грущу, отвѣчалъ я; но Надинька не хотѣла отстать и, казалось, дала себѣ обѣтъ надоѣсть мнѣ до невозможности.

— Впрочемъ, на меня видъ свадьбы тоже всегда производитъ непріятное впечатлѣніе. Грустно видѣть дѣвицу, которая отрывается отъ дому, отъ матери и вступаетъ въ новую жизнь, гдѣ еще Богъ знаетъ что́ ожидаетъ ее! Не знаю отчего, но я всегда смотрю на невѣсту съ сожалѣніемъ.

— А сознайтесь, вамъ очень бы хотѣлось возбуждать подобное сожалѣніе, сказалъ я, и не утерпѣвъ и прямо посмотрѣлъ ей въ глаза.

— Вы нестерпимы! сказала она, отворотясь и уходя отъ меня.

Мнѣ давно хотѣлось ей сказать тоже самое, но я былъ скроменъ и ограничивался однимъ желаніемъ.

Вскорѣ пріѣхалъ шаферъ жениха, молоденькій мальчикъ, бывшій сослуживецъ Имшина, и объявилъ, что онъ въ церкви.

Тогда стали благословлять Варинькy.

Сперва благословила ее Мавра Савишна; принявъ благословеніе, Варинька упала въ ея объятія, и обѣ зарыдали.

Отчего рыдали онѣ? къ чему этотъ безотрадный, болѣзненно разрывающій душу плачъ? Ужь не грустное ли это предчувствіе чего нибудь недобраго?

Мнѣ было досадно смотрѣть на нихъ! одна выходитъ за мужъ по своему выбору, другая отдаетъ дочь по своему желанію. Разставаться имъ не приходится, а плачутъ, плачутъ какъ о покойникѣ!

Ктожь этотъ покойникъ? ты, дѣвичья воля? ты, запрещенное право отдать любому свое сердце?...

Будущее! таинственное будущее — вотъ что́ пугаетъ васъ! вотъ что́ какъ дѣтей заставляетъ васъ плакать! Неужели оно такъ страшно? Я не знаю.... я давно не вижу его передъ собой!

Слезы, какъ и смѣхъ, заразительно дѣйствуютъ на нервы. Мнѣ былъ непонятенъ, мнѣ досаденъ былъ плачъ Варинькн и ея матери, а между тѣмъ я крѣпко закусилъ губу, чтобы удержать непрошенную слезу.

Потомъ благословилъ Варинькy Иванъ Васильичъ и, прощаясь съ ней, въ буквальномъ смыслѣ слова, облилъ слезами ея руку.

Потомъ она простилась съ своими подругами, и подруги ея, всѣ въ бѣломъ, оплакивали ее какъ весталки ту неосторожную, у которой потухъ священный огонь...

А двумъ изъ этихъ весталокъ было подъ тридцать, и многимъ давно и сильно хотѣлось потушить свой огонь!

Когда Варинька прощалась съ своей Надинькой, я удивился, какъ не обжегъ ее іудинъ поцѣлуй этого друга!

И, простившись, дѣвицы, какъ рѣдкая стая передовыхъ птицъ, поспѣшили въ церковь.

— Не забудь дернуть за меня скатерть, когда будешь вставать изъ-за стола, уѣзжая шепнула Надинька своей подругѣ-невѣстѣ.

Онѣ уѣхали, и насъ осталось немного.

Варинька сѣла и спросила себѣ стаканъ воды; она такъ устала, бѣдная! я подалъ ей его; она выпила, успокоилась и сказала мнѣ:

— Съ вами, Тамаринъ, я прощусь съ послѣднимъ.

— Къ чему прощаться: мы еще увидимся, отвѣчалъ я.

— Нѣтъ! вы ужь не увидите больше Варинькн! тихо сказала она.

Въ это время доложили, что подана карета.

— Ну, теперь прощайте, Тамаринъ! сказала она, подавая мнѣ руку: — прощайте! и голосъ ея

вдругъ задрожалъ. Я наклонился и поцѣловалъ ея руку. Но меня болѣзненно поразилъ холодъ этой руки: мнѣ подумалось, что она какъ мертвая! Кровь прилила у меня къ сердцу, и когда я приподнялъ голову, я, должно быть, былъ очень блѣденъ.

Варинька взглянула на меня и грустно улыбнулась.

Мы поѣхали въ церковь.

Ваpиньку повезла одна почтенная дама, которая была посаженой матерью. Храмъ горѣлъ огнями и былъ полонъ народу. Я вошелъ вслѣдъ за невѣстой и съ любопытствомъ наблюдалъ за нею. Она была спокойна, но блѣдна и холодна какъ мраморная. Въ лицѣ у нея не было ни кровинки, только рѣзко обозначались синія жилки, да бѣлый вѣнокъ дрожалъ на головѣ.

Хоръ запѣлъ «гряди, гряди, моя голубица», и какъ голубица прошла Варинька къ налою между двухъ стѣнъ разступившейся толпы, и одобрительный шопотъ пробѣжалъ по этой толпѣ.

Началось вѣнчанье.

Наблюдательныя особы замѣтили, что Варинька первая вступила на подножіе, но свѣча ея сгорѣла больше чѣмъ у жениха.

Я не знаю, нервы ли мои были разстроены, или ихъ раздражила грустная сцена прощанья, которой я былъ свидѣтелемъ, только все, что я видѣлъ въ этотъ день, всякое незначительное происшествіе какъ-то рѣзко ложилось на мое воображеніе и болѣзненно потрясало его.

Наконецъ все кончилось. Пошли обниманья, цѣлованья, поздравленья! Всѣ лица прояснились; тѣ, которые навзрыдъ плакали за полчаса, теперь весело и радостно улыбались. О чемъ сокрушались они тогда? чѣмъ они такъ довольны теперь? Ихъ радость сердила меня, какъ сердили ихъ слезы!

Всѣ пріѣхали въ другой домъ: Варвара Александровна Имшина была хозяйка этого дома. Все въ ея новомъ жилищѣ было хорошо: просто, комфортно и мило; видно было, что женскій, но предусмотрительный и внимательный взглядъ позаботился обо всемъ.

Мавра Савишна была тутъ въ гостяхъ; она говорила: «пусть ихъ обживутся одни, узнаютъ другъ друга, а я переѣду къ нимъ послѣ.»

Приглашенныхъ было много: вся губернская знать и, по заведенному порядку, всѣ значительныя должностныя лица. Было и дамъ много; но дѣвицъ тутъ не было.... И неловко было положеніе молодой, и она какъ то робко посматривала вокругъ, и какъ будто съ грустью искала глазами оставившихъ ее подругъ.

А тутъ еще докучные остряки, со своими плоскими намеками да двусмысленными улыбками!

Было всякое угощеніе, а потомъ и ужинъ; пили здоровье каждаго порознь, и всѣхъ вообще... пили и мое здоровье! какъ будто имъ было нужно оно на что нибудь!

Наконецъ всѣ стали разъѣзжаться.

Сначала Варинька, казалось, была довольна этимъ: ее такъ утомила тревога дня! но потомъ, когда незнакомыя ей комнаты начали пустѣть, и рѣже и рѣже былъ кругъ близкихъ ей людей, она становилась задумчивѣй и печальнѣй. Уѣхалъ и Иванъ Васильичъ. Пришлось наконецъ ей проститься и съ Маврой Савишной; и тутъ онѣ немного опять поплакали.

Оставался я одинъ, благодаря моей обязанности шафера и весьма плохаго и лѣниваго распорядителя, и, признаюсь, по какому-то странному капризу, я радъ былъ случаю подолѣе не уѣзжать. Но наконецъ и я долженъ былъ ѣхать. Когда я подошелъ проститься съ молодыми, Варинька, какъ будто поджидая меня, стояла граціозно, положивъ руку на плечо своего мужа. Володя былъ румянъ и доволенъ какъ вербный херувимъ, онъ отъ души благодарилъ меня; онъ былъ, казалось, такъ счастливъ, что любитъ и меня! Варинька была разсѣянна; но когда я поклонился ей, она мнѣ весело подала руку; глаза ея оживились, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснула горькая и злая насмѣшка...

Въ эту минуту я дорого бы далъ, чтобы бросить при ней всю ея прежнюю любовь въ довольное лицо ея мужа!

Я вышелъ, и они остались одни.....

И теперь, когда давно спитъ весь добрый людъ, и только одни пѣтухи горланятъ на дворѣ сосѣда, я сижу одинъ и нахожу болѣзненное наслажденіе перебирать и записывать происшествія этого дня. Отчего же не спится мнѣ? отчего, возвратясь домой, я ходилъ по комнатѣ до упада, и кровь безпокойно кипитъ во мнѣ, и я чувствую какую то тупую боль въ сердцѣ? отчего я переживаю такія трудныя минуты? Вѣдь не влюбленъ же я, въ самомъ дѣлѣ, въ Ваpиньку? Вѣдь я же не хотѣлъ жениться на ней и самъ толкнулъ ее въ руки Имшина! Все отъ меня зависѣло.... и не сидѣлъ бы я тогда одинъ у заваленнаго книгами стола, да не маралъ бы бумаги вплоть до разсвѣта, на зло моему камердинеру, какъ теперь, напримѣръ!

А они?....

(Тутъ въ рукописи, вмѣсто точекъ, стояла страшная, раздвоившаяся клякса, какъ будто перо ударилось о бумагу и разщепилось вплоть до руки).

—

Я былъ боленъ. Докторъ нашелъ, что у меня разлилась желчь. Я это зналъ и безъ доктора. Онъ прописалъ мнѣ микстуру и велѣлъ сидѣть дома. Микстура была невыносимо противна, и потому я черезъ часъ по ложкѣ аккуратно выливалъ ее за окно. Когда я вылилъ три стклянки, докторъ объявилъ мнѣ, что я совершенно здоровъ, и я заплатилъ ему за визиты съ величайшей благодарностью. Тогда онъ далъ мнѣ совѣтъ больше выѣзжать и меньше обращать вниманія на чужія глупости. Я нашелъ совѣтъ лучше лекарства и рѣшился строго держаться его.

У Имшиныхъ я бывалъ сначала рѣдко: я не могъ равнодушно видѣть Вариньку женой другаго; но потомъ я хотѣлъ пересилить это чувство и нарочно началъ чаще бывать у нихъ; однакожь, привычка не избавила меня отъ какого то болѣзненнаго сжатія сердца, которое я чувствую всякій разъ, когда вижу Имшина. Напротивъ, часъ отъ часу впечатлѣніе дѣлается сильнѣе и больнѣе, часъ отъ часу я становлюсь раздражительнѣе. И теперь я нахожу странное удовольствіе въ этомъ чувствѣ: я съ какою то гордостью подставляю свое сердце подъ эти мелкіе удары и холодно смѣюсь надъ его болью.

Какъ скоро измѣнилась Варинька! какъ легко она вошла въ свою роль! Когда я пріѣхалъ къ нимъ въ первый разъ послѣ болѣзни, я почти не узналъ ея! вмѣсто осторожной, связанной этикетомъ дѣвицы я нашелъ граціозную, миленькую даму, которая будто весь вѣкъ была ею.

Меня всегда поражала способность нашихъ дѣвицъ становиться съ раза въ ту сферу, въ которую ее вводитъ перемѣна положенія; ихъ натура удивительно эластична: она тотчасъ принимаетъ новыя формы. Мужчина въ этомъ случаѣ гораздо грубѣе: ему надобно долго обнашивать свою женатость, чтобы свободно носить ее, а не то она сидитъ на немъ какъ дурно сшитое платье; но это очень понятно! отъ того то на сто смѣшныхъ мужей встрѣчается одна смѣшная жена.

Я не ухаживаю за Варинькой, — не потому, чтобы это было слишкомъ рано, и изъ боязни уронить себя въ ея глазахъ: я увѣренъ, она бы оскорбилась и не простила бы мнѣ моего волокитства. Но, сознаюсь, меня что то влечетъ къ ней. Что?—не знаю! можетъ быть, привычка, прелесть потеряннаго, или, наконецъ, избалованное самолюбіе, которое безпрестанно запрашиваетъ болѣе и болѣе. Впрочемъ надобно и то замѣтить, что теперь Варинька не деревенская дѣвочка: она имѣетъ всю заманчивую привлекательность женщины, да еще, въ добавокъ, такъ недавно выстрадавшей опытность. Еще одна новая, тщательно скрываемая черта варинькинаго характера притягиваетъ меня своей загадочностью: мнѣ удалось подмѣтить въ ней какую то внутреннюю сухость, какой то душевный холодъ, который изрѣдка пробивается сквозь ея граціозную непринужденность манеръ и странно противорѣчитъ съ ея видимою веселостью.

Что это? слѣды ли прошлаго, не совсѣмъ залеченнаго страданія, или — и самолюбіе подшептываетъ другую догадку — или остатокъ прежней противъ воли тлѣющей любви?

Все это вмѣстѣ очень интересуетъ и привлекаетъ меня. Къ тому же она такъ самонадѣянно безпечна, такъ равнодушно мила, что это меня сердитъ, особенно когда я вспомню, что не могу притупить глупую боль моего сердца!

—

Нѣтъ, я недоволенъ собой! я веду себя, какъ мальчишка! характеръ мой испортился до того, что я готовъ бы былъ его бросить и остаться совсѣмъ безъ характера, что̀ всего хуже на свѣтѣ. При Варинькѣ я—то̀ лихорадочно веселъ, то золъ какъ цѣпная собака; безъ нея—мнѣ скучно. Я едва удерживаю себя, чтобы не бывать у нея каждый день, и только мои всегдашнія странности избавляютъ меня отъ замѣчаній свѣта. Если я веселъ, говорятъ: Тамаринъ сегодня въ духѣ; если я золъ, говорятъ: у Тамарина желчь, и дѣло съ концомъ. Всѣ знаютъ, что и то̀ и другое у меня бываетъ безъ причины, и моя прочная репутація холоднаго эгоиста прикрываетъ меня.

А Варинька все по прежнему мила и равнодушна, — кажется, еще милѣе, еще равнодушнѣе! А глупое сжатіе сердца еще сильнѣе! Чтожь это, ревность, что-ли? и къ кому же? къ Володѣ! къ мужу!... досадно!...

Недавно мы случайно остались вдвоемъ съ Варинькой. Она что-то работала по канвѣ и опустила голову. Я сидѣлъ прямо противъ нея, на низкомъ креслѣ. Двѣ свѣчи стояли на пяльцахъ, и между ними, какъ въ святочныхъ гаданьяхъ, мнѣ видна была головка Вариньки. Я воспользовался своимъ положеніемъ, чтобы незамѣтно для нея полюбоваться ею. Варинька похорошѣла. На ея лицѣ нѣтъ живости деревенскаго румянца, но его смѣнилъ легкій розовый оттѣнокъ. Лицо это, одушевленное чудесными темно-голубыми, ясными глазами, и двумя ямками на щекахъ, окаймленное густыми, русыми, гладко причесанными волосами, дѣлало ея головку такой оживленной, и эта головка была такъ мило поставлена, такъ проникнута полнотою созрѣвшей мысли, что я съ наслажденіемъ любовался ею.... Я продолжалъ смотрѣть въ ея темно-голубые глаза и искалъ въ нихъ признаковъ смущенія и безпокойства; но они были тихи, ясны и смѣло остановились на мнѣ.

Прошла долгая минута ожиданія.

Наконецъ по устамъ Вариньки пробѣжала улыбка, ямки живѣе обозначились на щекахъ, и она, немного прищурясь, очень наивно спросила меня:

— Скажите, пожалуйста, что вы такъ пристально смотрите на меня?

Мнѣ стало совѣстно самого себя, и я смутился, какъ почтенный человѣкъ, который наединѣ дѣлаетъ передъ зеркаломъ умильныя гримасы — и вдругъ видитъ въ немъ два насмѣшливые посторонніе глаза. Но я оправился и отвѣчалъ ей:

— Я искалъ въ вашихъ чертахъ черты другой знакомой мнѣ особы.

— И что̀ же?

— И боюсь, что вмѣсто ея увидѣлъ васъ.

— Будто это такъ страшно?

— Не страшно, но неутѣшительно!

— Будете вы завтра въ театрѣ? спросила она.

— Вы хотите перемѣнить разговоръ?

— Нѣтъ! но завтра даютъ, говорятъ, хорошенькую пьесу: «Что имѣетъ, не храннмъ»...

— Она не въ моемъ духѣ, отвѣчалъ я: — можетъ быть, потому что я, потерявши, никогда не плачу.

Все это могло бы меня очень забавлять, если бы не было такъ досадно! Самая пора года, когда наша русская природа готовится къ превращенію, странно настроиваетъ душу, заставляетъ и ее желать какой-то перемѣны. Снѣгъ истерся въ песокъ, капли звучно падаютъ съ крышъ, небо сѣро какъ земля, и какъ земля его тучи держатъ массу воды, готовую смыть ея изношенную одежду. И вдругъ пахнетъ въ лицо теплый вѣтеръ, Богъ вѣсть откуда занесенный, и навѣетъ какія-то чуждыя мысли!...

Нѣтъ, рѣшительно я недоволенъ собой!

—

Я пересталъ бывать у Имшиныхъ. Мнѣ надоѣла эта внутренняя тревога, которая такъ потрясаетъ меня; но я не избѣгалъ ея; я несу ее съ собой въ шумный сборъ молодежи, въ тишину моего рабочаго кабинета; только безъ Вариньки она иначе дѣйствуетъ на меня: она производитъ впечатлѣніе какой-то постоянной тяжести, тупой, хоть и несносной боли. Впрочемъ, еще одна мысль заставляетъ меня тщательно избѣгать общества Вариньки: я хочу ее заставить почувствовать мое отсутствіе; когда она меня видитъ, она становится въ оборонительное положеніе, и борьба даетъ ей силы; но безъ меня ей придется имѣть дѣло съ своимъ воображеніемъ. «Легче побѣдить сто враговъ, чѣмъ самого себя», сказалъ кто-то прежде меня.

И вотъ однажды, утомленный пустотой общества, которое мнѣ надоѣло, скучая по разсчету, я сидѣлъ у открытаго окна моего кабинета. Были сумерки, тѣ ясныя и душистыя весеннія сумерки, которыя такъ настраиваютъ къ мечтательности. Глаза, мои, усталые отъ чтенія, лѣниво отдыхали на глубинѣ горизонта и невольно спустились съ него на развернутый передъ ними видъ. Разливъ Волги сливался съ далекимъ небомъ; вода его была гладка и спокойна какъ зеркало. Мѣстами ея поверхность была разорвана островами, и на нихъ рисовались силуэты полузатомленныхъ, дремавшихъ деревень. Иногда проскользнетъ тихо, будто на тайное свиданіе, тѣнь лодки съ одинокимъ гребцомъ, иногда послышится мѣрный плескъ воды, и другая лодка, махая какъ крыльями двумя рядами веселъ, птицей пронесется передъ глазами, и только успѣешь увидать ряды гребцовъ, дружно и вѣрно наклоняющихся надъ водою, и уже нѣтъ ея, и оставила она только два слѣда: полосу на водѣ, да веселую пѣсню въ воздухѣ. Былъ и третій слѣдъ, который весь этотъ видъ оставилъ тогда на душѣ моей, — неуловимый, мимолетный, но глубокій слѣдъ! Грустно и больно стало мнѣ, и тихо я вышелъ изъ дому, въ непонятномъ мнѣ волненіи.

Домъ Имшиныхъ былъ освѣщенъ слабо, по будничному, когда въ пустыхъ комнатахъ горятъ лампы, какъ уличные фонари. Но въ одномъ окнѣ свѣтъ былъ ярче, и, осмотрѣвшись кругомъ, я остановился передъ нимъ. Въ щель неплотно доходившей до низу сторы мнѣ была видна глубина комнаты. Варинька сидѣла одна, прислонясь въ мягкій загибъ угловаго дивана. Сзади ея стояла лампа, и только часть варинькинаго профиля была ярко освѣщена. Одной рукой она облокотилась на мягкую подушку, въ другой держала книгу: но книга была опущена. А глаза Вариньки были устремлены прямо, какъ будто она читала другую, невидимо раскрытую передъ ней книгу.... Сердце сильно забилось во мнѣ, и я вошелъ къ Имшинымъ.

— Дома баринъ? спросилъ я у лакея.

— Никакъ нѣтъ-съ: въ клубѣ.

— А барыня?

— Варвара Александровна дома, сказалъ онъ, шумно отворивъ дверь въ залу, что служило вмѣсто доклада.

Когда я вошелъ въ комнату, Варинька была въ той же позѣ, только голова ея была вопросительно повернута къ двери, и она, прищурясь, хотѣла поскорѣе разглядѣть нежданаго гостя.

— А, Мг. Тамаринъ! скажите, пожалуйста, что̀ сталось съ вами?

Я поклонился и, подойдя ближе, вошелъ въ яркій кругъ свѣта. Видно, я былъ очень блѣденъ, потому что лицо Вариньки измѣнилось, и она съ безпокойствомъ спросила:

— Что̀ съ вами, Тамаринъ?

— Боже мой! развѣ вы не видите, что̀ со мной? развѣ вы не видите, что я люблю васъ, что я васъ люблю! сказалъ я.

Досада, волненіе, чувство, невольное чувство— душили меня. Я едва могъ выговорить послѣднія слова и въ безсиліи опустился въ кресла.

Прошла минута страшнаго молчанія....

Но сила глубоко изъ сердца вырвавшагося слова велика тѣмъ, что она извлекаетъ отвѣтные звуки: на это слово нельзя отвѣчать холодно и разсчитано.

И Варинька съ смущеніемъ и грустью отвѣчала:

— Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ эти слова составляли бы мое счастіе, а теперь поздно.... поздно, Тамаринъ!

— Послушайте, сказалъ я:—я прежде не умѣлъ васъ понимать, я не могъ васъ понять: я не былъ къ этому подготовленъ; но теперь я васъ люблю, Варинька. Я васъ такъ люблю, что заставлю васъ забыть прошлое и простить меня.... Вы простите меня? спросилъ я.

Я взялъ ея руку и склонился надъ нею.

— Вы ни въ чемъ не виноваты, сказала она. Я это знаю и не обвиняю васъ!

— Да, я не виноватъ; но я вамъ далъ много горя. Простите меня, и у васъ впереди будетъ много счастья, чтобы забыть его!...

— Нѣтъ! счастья уже не будетъ! вздохнувъ сказала Варинька.

Я ни слова не говорилъ, но глядѣлъ на нее.

— Я васъ не люблю больше, прибавила Варинька, холодно, спокойно и твердо.

— Неправда! неправда! вы обманываете себя и меня, сказалъ я, и въ голосѣ моемъ было твердое убѣжденіе.

Варинька горько усмѣхнулась.

— Къ чему? сказала она:—я знаю мои обязанности и мой долгъ; я ихъ знаю, Тамаринъ! но знаю также и то, что сердцу приказывать нельзя.... Нѣтъ! я васъ не люблю, потому что вы убили мою любовь!

— Да! прибавила Варинька:—вы убили ее. Вы не думали тогда, что она пригодится вамъ, и что когда нибудь забьется ваше сердце и вы, блѣдный, измученный, придете за этой любовью!

— Тогда я не любилъ васъ, отвѣчалъ я.

— Знаю.... Вы не виноваты.... Вы не хотѣли, чтобы я страдала, но вы не хотѣли ничѣмъ жертвовать моей любви.... Вы не любили, но вы позволяли себя любить.... Это было очень великодушно! однако, всему есть мѣра: измученное сердце наконецъ замретъ, и тогда оскорбленная гордость откроетъ глаза....

Сердце сжалось во мнѣ, и изъ него начало отдѣляться другое чувство, которое всегда у меня на половину смѣшано съ остальными.

— Я всегда была съ вами откровенна, продолжала Варинька. — Сознаюсь вамъ, та мечта, которую создало и полюбило въ васъ мое дѣтское воображеніе, давно изчезла. Но я любила въ васъ двойственную, измученную противорѣчіями натуру. Когдажь я увидала, что вы всегда ребячески боитесь свѣта, что вы бѣгаете отъ всякаго чувства, которое можетъ нарушить ваше внутреннее спокойствіе, потревожить лѣнь вашего сердца, тогда у меня явилось сомнѣніе въ вашихъ силахъ, тогда я невольно подумала, что вы бѣгаете отъ борьбы съ собой потому, что не въ состояніи выдержать ея, и мое очарованіе пзчезло....

— И тогда, сказалъ я: — вы выбрали другой предметъ любви, болѣе достойный васъ.

Варинька не отвѣчала.

— Утѣшьтесь, продолжалъ я:—вы отомщены!

И, въ самомъ дѣлѣ, въ эту минуту, не знаю, отъ любви ли, досады, или самолюбія, но я страдалъ глубоко.

— Что мнѣ въ этомъ? сказала Варинька:—развѣ я искала мщенія? развѣ я кокетничала съ вами, чтобы возбудить вашу любовь? напротивъ, она глубоко огорчаетъ меня, потому что больше заставляетъ жалѣть невозвратимое. И вы думаете, легко мнѣ теперь?.. Знаете ли, что я дѣлала сейчасъ до вашего прихода? я мечтала о деревенской дѣвочкѣ, которая увидѣла одно загадочное, интересное для нея существо. Какъ она была счастлива!... Прошло полгода, и въ этой неопытной, наивной дѣвочкѣ, и въ этомъ холодномъ, но чудно влекущемъ ея существѣ я не узнала ни себя, ни васъ! У меня даже не осталось мечты, которую бы я могла любить....

— Боже мой! но виноватъ ли я, что я таковъ! сказалъ я, поддаваясь грустному впечатлѣнію и жалѣе болѣе о Варинькѣ, чѣмъ о себѣ. — Виноватъ ли я, что два чувства, которыя могли бы составить наше счастіе, пришли порознь и разбили его!...

— Что̀жь мнѣ дѣлать! чтожь мнѣ дѣлать! вздохнувъ повторилъ я.

— Жениться! сказала Варинька съ насмѣшкой....

За тѣмъ я спокойно улыбнулся, поклонился и вышелъ.

И странное тогда что-то творилось во мнѣ!...

—

Когда я пришелъ домой, я тотчасъ послалъ за докторомъ.

— Докторъ! сказалъ я, когда онъ явился на мой зовъ:—я боленъ. Я ужасно боленъ, докторъ!

— Что̀ съ вами? спросилъ онъ.

— Докторъ, у меня страшно болитъ грудь.

— Гм! это ничего.

— Кромѣ того, у меня стрѣляетъ въ лѣвый бокъ, боль проходитъ подъ ложечкой и оканчивается нестерпимой ломотой въ правой лопаткѣ, и все это отдается тупой болью въ позвоночномъ хребтѣ.

Мой докторъ задумался.

Я продолжалъ:

— Я кашляю днемъ и не сплю на-пролетъ цѣлыя ночи. Аппетиту нѣтъ рѣшительно никакого. Нервы раздражены, дыханіе тяжело. Біеніе сердца ужасное.

Докторъ посмотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ, но я былъ блѣденъ какъ полотно.

— А голова не болитъ? сказалъ онъ, заглядывая мнѣ въ глаза и щупая пульсъ.

Онъ думалъ, вѣроятно, что я помѣшался.

— Голова не болитъ, отвѣчалъ я.

Докторъ погрузился въ размышленіе.

— Знаете, докторъ, что придумалъ я? Я боленъ весь, рѣшительно весь; мнѣ нужно леченіе, которое бы возстановило весь мой организмъ: я думаю ѣхать на кумысъ.

— А что же? прекрасно — сказалъ докторъ — поѣзжайте: кумысъ возстановитъ васъ.

— Такъ вы совѣтуете, докторъ?

— Непремѣнно. Я вамъ рѣшительно прописываю кумысъ.

— И вы думаете?

— Я думаю, что это необходимо.

— Благодарю васъ, докторъ, вы меня спасаете! сказалъ я съ чувствомъ.

Я поднесъ ему ленту. И мы разстались очень довольные другъ другомъ.

На другой день въ 12 часовъ ко мнѣ пріѣхали Островскій и Ѳедоръ Ѳедорычъ, за которыми я посылалъ; у меня сидѣлъ уже докторъ, пришедшій навѣдать своего больнаго.

*

— Зачѣмъ ты присылалъ за нами? сказалъ Островскій, входя.

— Завтракать.

— Умно придумано!

— А отчего у васъ на дворѣ стоитъ тарантасъ? спросилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Я ѣду, отвѣчалъ я.

— Куда это?

— На кумысъ.

— Что за дикій вкусъ!

— Докторъ посылаетъ.

— Докторъ, что это вамъ пришла фантазія выгонять его отсюда?

— Сергѣю Петровичу это необходимо, отвѣчалъ докторъ: — я ему рѣшительно прописываю кумысъ.

— И ваше мнѣніе неизмѣнно? спросилъ Островскій.

— Положительно! сказалъ докторъ.

— Въ такомъ случаѣ намъ ничего не остается больше, какъ оплакать тебя и выпить съ горя.

— За этимъ дѣло не станетъ, отвѣчалъ я и велѣлъ подавать завтракъ и закладывать лошадей.

За другой бутылкой всѣ стали говорливѣе; Островскій съ большимъ одушевленіемъ доказывалъ мнѣ, что живительность винограднаго сока не можетъ ни съ чѣмъ сравниться, и совѣтовалъ мнѣ лѣчиться шампанскимъ.

— Попробуй, душа моя, говорилъ онъ:—выпивать бутылочку въ день; будетъ мало, такъ двѣ, но только аккуратно, непремѣнно аккуратно, и ты увидишь, какъ оно поможетъ. Лечатъ же молокомъ, лечатъ водой; не можетъ же быть, чтобы вино было менѣе полезно.

— Между нами, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ: — если вы ѣдете собственно лечиться, то вы по пустякамъ ѣдете. Вы больны только мнительностію.

— А развѣ это не болѣзнь? сказалъ я.

— Правда, отвѣчалъ онъ:—и очень опасная.

— Мнѣ что-то сдается, сказалъ Островскій: — что ты не для кумыса ѣдешь; я за тобой не зналъ страсти къ нему. А здоровье твое, благодаря Бога, не хуже нашего! правда, ты поблѣднѣлъ и похудѣлъ немного, да это къ тебѣ идетъ; я такъ вотъ не знаю, что съ собой дѣлать: толстѣю непозволительно! Нѣтъ ли у тебя тутъ страстишки?.. кстати! Ну, Тамаринъ, руку на сердце, а сердце на языкъ: скажи, какъ твои дѣлишки съ Варинькой.

— Ты знаешь, какъ я рѣдко у нея бываю.

— И вы не прощались съ ней? подозрительно спросилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Благодарю васъ, что напомнили, сказалъ я: — мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, надо проститься съ нею. Да мы отсюда заѣдемъ вмѣстѣ. Вы меня проводите до заставы?

— Непремѣнно, отвѣчалъ Островскій.

— Только мы съ княземъ проѣдемъ прямо туда, прибавилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Напротивъ, возразилъ Островскій: — ѣдемъ вмѣстѣ.

Черезъ полчаса три нашихъ экипажа шумно подъѣхали къ дому Имшиныхъ. Мы вошли вмѣстѣ. Володя встрѣтилъ насъ; Варинька сидѣла за работой и вопросительно посмотрѣла на мой дорожный костюмъ.

— Я заѣхалъ проститься съ вами, сказалъ я.

— Куда это вы? спросилъ Володя.

— Въ деревню.

— Такъ мы опять лѣто проведемъ вмѣстѣ? сказалъ чей-то голосъ изъ угла.

— Ба! Иванъ Васильичъ! вы еще здѣсь? Помнится, мы съ недѣлю какъ простились.

— Да-съ! да вотъ не собрался еще выѣхать. Жалко, что я не зналъ, а то бы вмѣстѣ...

— Ну, намъ было бы не по пути, сказалъ я:— я ѣду въ оренбургскую губернію.

— Это зачѣмъ? спросила Варинька.

— На кумысъ, отвѣчалъ я.

— Лѣчить разстроенную страданіями грудь! прибавилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

Я разсмѣялся.

Иванъ Васильичъ подошелъ и съ участіемъ посматривалъ на Варинькy: онъ боялся, что мой отъѣздъ огорчитъ ее.

— Охота же пить такую дрянь какъ кумысъ, прости Господи! проворчалъ онъ недовольно и плюнулъ.

— Я одного съ вами мнѣнія, Иванъ Васильичъ, сказалъ Островскій:—то ли дѣло вино!

— Что̀жь, надобно пожелать счастливаго пути отъѣзжающему, сказалъ Имшинъ и велѣлъ подать шампанскаго.

— Вашъ мужъ удивительно всегда находчивъ, замѣтилъ Островскій, обращаясь къ Варинькѣ. — А жалко вамъ Тамарина? спросилъ онъ ее.

Вопросъ былъ неожиданъ, но Варинька не смѣшалась.

— Очень! сказала она.

— Такъ уговорите его, по крайней мѣрѣ, поскорѣе возвратиться.

— А вы пробовали?

— Я совѣтовалъ ему вовсе не уѣзжать, да онъ не слушается.

— Въ такомъ случаѣ я не берусь, сказала Варинька:—я знаю, что ваши убѣжденія всегда были сильны надъ Сергѣемъ Петровичемъ.

Варинька намекала на мой отъѣздъ изъ деревни; она хотѣла быть равнодушной и была холодна.

Я не былъ ни скученъ, ни веселъ. По какому-то странному и непонятному для меня явленію, мое сердце ничего не чувствовало: оно какъ будто замерло; я не умѣлъ себѣ этого объяснить, но былъ очень доволенъ собой.

Подали вино. Варинька пожелала мнѣ добраго пути, дотронулась своимъ бокаломъ до моего и омочила въ него розовыя губы; я поблагодарилъ ее, попросилъ засвидѣтельствовать мое почтеніе Маврѣ Савишнѣ, пожелалъ много удовольствій и за тѣмъ поцѣловалъ ея руку. И это прикоснове-

ніе было холодно, какъ прикосновеніе нашихъ бокаловъ!

Потомъ я пожалъ руку Володѣ, трижды облобызался съ Иваномъ Васильичемъ, поклонился и вышелъ.

И вотъ наше прощанье!

Ѳедоръ Ѳедорычъ и Островскій проводили меня до заставы. Тутъ мы остановились, чтобы проститься.

— Варинька или очень любитъ васъ, или болѣе чѣмъ равнодушна къ вамъ, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Почему вы это думаете? спросилъ я.

— Оттого, что она не допустила себѣ выказать того мягкаго и отчасти нѣжнаго расположенія, которое всегда бываетъ у женщинъ при прощаньѣ съ хорошимъ знакомымъ: она скрывала что-то.

— А я такъ сдѣлалъ другое замѣчаніе, сказалъ я: — что вы принимаете въ Варинькѣ большое участіе.

— Вы ошиблись, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ:— вотъ видите ли, почему: я очень люблю смотрѣть на людей, какъ на актеровъ, которые разыгрываютъ свои роли болѣе или менѣе натурально, нисколько не подозрѣвая, что они мнѣ этимъ доставляютъ большое удовольствіе. Я выбираю изъ нихъ тѣхъ, которые занимательнѣе, а остальнымъ плачу полнымъ невниманіемъ. Съ этой точки зрѣнія вы много интересовали меня. Вы были очень эффектны своей холодной без-эффектностью въ драмѣ, въ которой грустная роль выпала Варинькѣ.

— Чего жъ лучше? прервалъ я:—теперь, когда я схожу со сцены, явитесь на ней тѣмъ неузнаннымъ утѣшителемъ, который въ пятомъ актѣ говоритъ: «бѣдная Амалія! ты несчастна, но это сердце наградитъ твою добродѣтель».

— Нѣтъ! сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ:—я слишкомъ лѣнивъ, чтобы брать на себя какія нибудь роли и предпочитаю остаться зрителемъ.

— Что ни говорите, сказалъ Островскій: — а я завидую Тамарину.

— А мое мнѣніе, господа, то, что смѣшно стоять въ полѣ и толковать о подобныхъ пустякахъ. До свиданія! сказалъ я, подавая имъ руку.

— И до скораго? спросили они.

— Не знаю! но у меня есть предразсудокъ никогда не говорить: «прощайте!» Это слово исключаетъ мысль о свиданьи, а мы, можетъ, еще и столкнемся гдѣ нибудь.

Мы пожали другъ другу руки и разошлись по экипажамъ.

Когда лошади готовы были тронуться, я привсталъ въ тарантасѣ.

— Ѳедоръ Ѳедорычъ! сказалъ я:—если увидите Маріонъ, поцѣлуйте отъ меня ея руку.

Онъ кивнулъ мнѣ головой и мы поѣхали въ противоположныя стороны...

И вотъ, черезъ десятки лѣтъ, я опять сижу въ томъ деревянномъ домѣ, въ той комнатѣ, изъ которыхъ когда-то, давно, давно, полуребенкомъ, я выѣхалъ въ далекій городъ по незнакомой дорогѣ. Много золотой мечты было въ моей дѣтской головѣ тогда; много горячихъ слезъ было пролито надо мной! и я плакалъ, и мнѣ было грустно, а что-то звало, что-то манило меня... и я уѣхалъ.

Прошли годы, я возвратился.

Мечты мои я растерялъ гдѣ-то на дорогѣ. Многіе изъ тѣхъ, которые горячо плакали надъ отъѣзжающимъ полуребенкомъ, давно вышли навстрѣчу и ждали у самаго въѣзда... на сельскомъ кладбищѣ! и низко поклонилась праху ихъ та голова, въ которой бы развѣ только сердце ихъ могло узнать дѣтскія черты.

И вотъ я на родинѣ!

Уединеніе ли отъ общества, или то небо, которое привыкло видѣть мой ясный, неиспорченный свѣтомъ взглядъ, просвѣтлило его, только на многое изъ моего уединенія смотрю я какъ не смотрѣлъ до нынѣ. Отсюда я вижу ясно и мою встрѣчу съ Варинькой. Или я вышелъ поздно на ея дорогу, или она рано на мою, но мы не могли идти вмѣстѣ. Мое сердце было слишкомъ обношено, чтобы забиться при первой встрѣчѣ; оно почувствовало ее тогда, когда варинькино болѣзненно о него разбилось. Но не безъ вліянія на него былъ этотъ дѣтскій ударъ: кора холодности, которая лежала на немъ, не распалась, но была пробита, и сквозь нее проскользнуло много новыхъ чувствъ, и больно потрясли они обнаженныя фибры! Но сельскій воздухъ, говорятъ, живителенъ!

Любимое мое занятіе здѣсь охота; особенно я люблю охоту по вечерней зарѣ на вальдшнеповъ. Только солнце станетъ садиться,—и выѣдемъ мы на длинныхъ дрогахъ въ лѣсъ, и растянемся цѣпью по извилистой дорогѣ. Сидишь одинъ на пнѣ или повалившейся березѣ, ружье на-готовѣ, взглядъ безсознательно вперенъ въ чащу: за то чуткое ухо напряжено и съ нетерпѣніемъ ждетъ, не задрожитъ ли безмолвный воздухъ отъ знакомаго звука. Но вечеръ тихъ, въ воздухѣ не шелохнется, слышно даже, какъ червякъ ползетъ по сухому листу. Чу!.. нѣтъ, это тихо кашлянулъ за смежнымъ деревомъ прислонившійся охотникъ. Но вотъ что-то далеко, чуть слышно, какъ будто захрипѣло въ воздухѣ, ближе, ближе... Такъ! это вальдшнепъ. Сердце забьется, какъ будто при знакомомъ и жданномъ шелестѣ женскаго платья... Ружье приподнято, взглядъ безпокойно ищетъ; и вотъ между зеленыхъ вершинъ, какъ будто вырѣзанныхъ на темнѣющемъ вечернемъ небѣ, мелькнула тѣнь... мгновеніе, и она опять скроется! Но блеснулъ огонь, выстрѣлъ грянулъ по лѣсу, гора отозвалась на него эхомъ, и все затихло, и птицы не слышно... и сердц еопять бьется: что, упала ли она опустивъ внизъ голову и шибко разсѣкая подбитымъ крыломъ воздухъ, или, смолкнувъ, быстро летитъ далѣе, и тогда цѣпь выстрѣловъ гремитъ по лѣсу на пути ея, и дробитъ ея воздушный слѣдъ и ловитъ ее на голубой вышинѣ, и нѣтъ безопасности тогда и въ вольномъ воздухѣ. А между тѣмъ стемнѣло, человѣка

въ лицо не разсмотришь... и потянутся по тропѣ живописныя темныя фигуры... Съ жаромъ разсуждая о выстрѣлѣ, покуривая, собираются охотники къ нетерпѣливымъ конямъ.

А часто, сидя одинъ и съ напряженіемъ слушая безмолвную тишину дремучаго лѣса, заношусь воображеніемъ далеко, и предъ неподвижно устремленнымъ взглядомъ проходятъ завѣтныя, знакомыя тѣни...

Вотъ онѣ... вотъ онѣ... и блѣдная страстно-холодная Лидія, и Варинька съ своей живописно освѣщенной русой головкой и темно-голубыми глазами, которые такъ грустно смотрятъ на меня... а вотъ и Маріонъ, веселая, прелестная Маріонъ! Она рѣзво несется мимо, и безмолвныя уста улыбаются мнѣ... И за ними другія, неясныя, какъ поблеклая картина, но когда-то тоже милыя тѣни... и шибко бьется сердце, хоть и не чуетъ напряженное ухо знакомаго полета надъ головою!

— А что, сударь, много убили вы? подсмѣиваясь спрашиваетъ сѣдоусый егерь, который въ дѣтствѣ носилъ меня на рукахъ:—«а былъ сегодня черезъ васъ летъ преотличный, да видно про другихъ птицъ думали вы?»

И тогда вспоминаю я обо всемъ, что безполезно пролетѣло предо мной, и задумавшись тогда ѣду я, въ темный вечеръ, домой, впереди сидящихъ съ поднятыми ружьями охотниковъ...

III.

ИВАНОВЪ.

ПОВѢСТЬ.

I.

Молодость, молодость! куда ты спѣшишь? куда ты бѣжишь, не озираясь по сторонамъ, торопясь прожить отъ сегодня до завтра! Смотри, близко, ближе нежели ты думаешь, на поворотѣ дороги ждетъ тебя зрѣлость съ своимъ спокойнымъ лицомъ и строго спрашиваетъ она тебя, что вынесла ты съ собою изъ своего торопливаго бѣга, подъ какой ношей потратила ты свои свѣжія силы, какой тяжелый запасъ ты такъ трудно и такъ спѣшно несла: что отвѣтишь ты ей?

Года прошли надъ Тамаринымъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы оставили его удалившимся въ деревню, для поправленія силъ, и немного расчувствовавшимся подъ вліяніемъ свѣжей любви и чистаго воздуха. И въ эти года были у него любопытныя встрѣчи. Много лицъ и мѣстъ прошло передъ нимъ, и между всѣхъ лицъ и во всѣхъ мѣстахъ онъ пристально наблюдалъ и болѣзненно всматривался въ самого себя. По прежнему онъ жадно искалъ чувствъ и, найдя ихъ, какъ натуралистъ, разсѣкающій рѣдкій цвѣтокъ, анализировалъ всякое внутреннее движеніе... нужды нѣтъ, что этимъ убивалъ его. Но мы пройдемъ мимо этихъ новыхъ лѣтъ, повторяющихъ прежнія, мимо этихъ новыхъ лицъ, напоминающихъ старыя. Не одинъ Тамаринъ *имѣетъ* право на наше вниманіе: и другіе образы, вмѣстѣ съ нимъ вызванные воображеніемъ, еще не досказали намъ своего послѣдняго слова.

Вставайте же, старыя, знакомыя тѣни!

Мы опять въ городѣ N***, въ томъ же деревянномъ домѣ надъ Волгой, на пустынной набережной. Былъ часъ седьмой вечера. Первый снѣгъ большими хлопьями ложился на избитую мостовую, прибавляя сумеркамъ новый оттѣнокъ свѣта. Подъ горой еще незамерзшая рѣка тяжело двигалась своей сизо-мутной, какъ будто иззябшей отъ стужи водой. На дворѣ знакомаго намъ дома стоялъ дорожный экипажъ. Четверня потныхъ и худыхъ лошадей отдыхала, понуря головы, привязанныя у дышла. Въ передней, на полу, лежало въ разбросъ нѣсколько дорожныхъ ящиковъ; камердинеръ, опоясанный широкимъ англійскимъ ремнемъ, и мальчикъ возились около стола; въ углу, въ изорванномъ полушубкѣ, въ мокромъ сѣромъ кафтанѣ, съ кнутомъ и рукавицами за поясомъ, стоялъ ямщикъ, въ ожиданіи на водку, и для препровожденія времени вытаскивалъ комки грязи изъ бороды. Въ нежиломъ домѣ было холодно и сыро. Первыя комнаты, темныя и пустыя, производили какое-то тяжелое впечатлѣніе; но въ угольной свѣтился огонь. Въ ней, у разгарающагося камина, сидѣлъ Тамаринъ, въ дорожномъ платьѣ и тепломъ пальто, которое не успѣлъ еще скинуть. Онъ былъ таковъ же, какъ мы знали его, и, по видимому, года

мало слѣдовъ оставили на немъ; но—и, можетъ быть, это было вліяніе дороги, которую онъ только что сдѣлалъ—въ темныхъ глазахъ его было меньше блеску и больше этого матоваго, холоднаго выраженія, слѣдствія физической или нравственной усталости; только его лѣнивыя, небрежныя движенія какъ будто потеряли часть юношеской гибкости и стали немного рѣзче и прямѣе, да отвѣсная морщина—признакъ какой-то постоянной мысли—глубже обозначалась на гладкомъ лбу, и двѣ легкія черты по угламъ рта придавали болѣе насмѣшливое выраженіе его улыбкѣ. А впрочемъ, то же спокойное, блѣдное, съ тонкими очертаніями лицо, которое одинаково глядитъ на радость и горе, та же простая и безыскусственная красивость манеръ, которыя до того прививаются иногда къ человѣку, что дѣлаются его натурой.

Сухія березовыя дрова трещали и ярко разгорались въ каминѣ. Протянувъ къ нему ноги изъ низкаго и широкаго кресла, Тамаринъ, закуривъ обычную папиросу, въ ожиданіи чаю, лѣниво грѣлся, пристально глядя на огонь. Вокругъ, на столѣ, этажеркахъ и окнахъ, лежали его книги и вещи въ томъ нетронутомъ порядкѣ, какъ нѣкогда были имъ оставлены. Года прошли надъ ними только слоемъ пыли, и все въ нихъ дышало еще вчерашней жизнью, хотя этому вчера минуло нѣсколько лѣтъ. Въ этой средѣ прошлаго, прошлыя впечатлѣнія невольно налетаютъ на душу; и немудрено намъ отгадать, отчего Тамаринъ такъ пристально смотрѣлъ на переливающійся по стоячимъ полѣньямъ огонь: это была для него та минута забытья, въ которую человѣкъ перестаетъ жить настоящей жизнью, воображеніе вдругъ отодвигаетъ ее назадъ и, вычеркнувъ изъ памяти цѣлый рядъ долгихъ и трудныхъ лѣтъ, вмѣсто ихъ вызываетъ изъ прошлаго нѣсколько давно пережитыхъ дней и ясно и рѣзко становитъ ихъ передъ внутренними очами... и, какъ будто для поддержанія обмана, вдругъ ему послышались знакомые голоса; кто-то скоро прошелъ по пустымъ комнатамъ и съ шумомъ вошелъ въ каминную.

— Ба! Островскій!

— Тамаринъ! какими судьбами?

И Островскій бросился обнимать Тамарина.

— Вотъ именно какъ снѣгъ на голову, сказалъ Островскій:—у насъ же сегодня первый снѣгъ выпалъ. Представь себѣ, ѣдемъ мы...

Въ эту минуту, лѣниво пришаркивая ногами, въ дверяхъ показалась длинная фигура.

— Ѳедоръ Ѳедорычъ! сказалъ Тамаринъ, идя ему на встрѣчу.

— Здравствуйте, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ, съ довольной улыбкой, пожавъ Тамарину руку немного крѣпче обыкновеннаго.—Продолжайте, князь, я васъ прервалъ, сказалъ онъ, подвигая къ камину покойное кресло и усаживаясь въ него.

— Ѣдемъ мы по набережной съ Ѳедоромъ Ѳедорычемъ—вдругъ видимъ у тебя огонь: мы и заѣхали. Откуда занесло тебя?

— Да чтобы ясно сказать, такъ съ послѣдней станціи, отвѣчалъ Тамаринъ.

— Надо прибавить, по какому тракту, замѣтилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Это все равно: я ѣзжу съ весны, лѣто провелъ на водахъ.

— На зиму къ намъ? ничего умнѣе ты не могъ придумать.

— Можетъ, пробуду и зиму—какъ поживется. Ну, а у васъ что новаго?

— Новаго немного. Самую занимательную вещь и доброе дѣло удалось сдѣлать мнѣ: я отучилъ здѣшнихъ жителей отравлять себя и гостей здѣшними винами. Теперь всѣ выписываютъ изъ Петербурга: а я хочу просить медаль за спасеніе погибавшихъ.

— А далѣе?

— А болѣе почти и нѣтъ ничего. Въ нашемъ городѣ какъ-то вообще ничего не случается, а если что и случится, такъ лучше, еслибъ ужь не случалось: поссорится кто нибудь, ребро сломаетъ, умретъ, родитъ, женится... все ужасно глупо... Прошло, братъ, доброе, старое время, когда одна половина города была влюблена въ другую. Бывало, у всякаго своя севильская маркиза, и даже двѣ порядочно воспитанныя комнатныя собаченки не могли встрѣтиться безъ того, чтобы не объясниться въ любви. Нынче не то! Молодежи новой понаѣхало: да глупая молодежь! все о дѣлѣ толкуетъ.

— Хорошая молодежь! замѣтилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ: — немного старики-молодежь, а хорошая.

— Ну, а женщины?

— Да женщины по-прежнему. Все новинькое любятъ: для нихъ, что матеріи на платье, что мужчины — послѣдній привозъ въ ходу.

— Ты мнѣ пророчишь успѣхъ, Островскій.

— Ну это вопросъ нерѣшеный! вѣдь ты ужь побывалъ на здѣшнихъ подмосткахъ. Вы какъ думаете, Ѳедоръ Ѳедорычъ?

Ѳедоръ Ѳедорычъ вынулъ сигару, отрѣзалъ машинкой ея кончикъ и сталъ закуривать: онъ собирался вступить въ разговоръ.

— Я думаю, сказалъ онъ, обращаясь къ Тамарину и пустивъ предварительно нѣсколько струекъ дыму, я думаю: — что если вы выступите въ старомъ амплуа, то будете имѣть успѣхъ у очень молоденькихъ дѣвочекъ.

— Вы мнѣ не льстите, отвѣчалъ съ усмѣшкой Тамаринъ.

— Впрочемъ, вы ошибаетесь, если думаете, что я принимаю какую нибудь роль, а чужую тѣмъ болѣе. Мнѣ и свои надоѣли. Я говорю про амплуа, а не роль: этого не должно смѣшивать. Вотъ видите ли, всѣ мы болѣе или менѣе актеры, потому что жизнь, по моему мнѣнію, бываетъ, смотря по обстоятельствамъ, интересная или пустая драма, а иногда и водевилемъ разъигрывается. Это ужасно старый взглядъ, но вы меня заставляете развивать его. Бездарность хватается за разныя роли.

сегодня молча драпируется рыцаремъ, а завтра будетъ брать взятки, и сегодня и завтра все будетъ бездарностью. Вы талантливый актеръ; но и таланты иногда мѣняютъ амплуа и пробуютъ свои силы въ другомъ родѣ. Я бы это могъ, пожалуй, подкрѣпить примѣрами, да не читаю ни «Пантеона», ни «Репертуара».

— Хорошъ талантъ, которымъ интересуются молоденькія дѣвочки! сказалъ Тамаринъ. — Продолжайте, Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Талантъ остается талантомъ, да вкусы мѣняются. Впрочемъ, я, можетъ, и ошибаюсь; но обѣщаюсь обстоятельно рѣшить вопросъ передъ вашимъ отъѣздомъ, и даже, если хотите, подкрѣплю его теоріей.

— О вкусахъ, прибавилъ Островскій.—Мой вкусъ, напримѣръ, не мѣшать вина съ водой, а здѣшній откупщикъ совсѣмъ другаго мнѣнія; но о вкусахъ не спорятъ, и я съ нимъ не спорю, и вамъ тоже совѣтую.

Тамаринъ усмѣхнулся своей невеселой, равнодушно насмѣшливой улыбкой. Ѳедоръ Ѳедорычъ съ наслажденіемъ принялся курить сигару, какъ человѣкъ, отдыхающій послѣ тяжелаго труда. Подали чай, и нѣкоторое время только слышенъ былъ стукъ опускаемыхъ стакановъ, да дымъ сигаръ и папиросъ вился между молчаливыми собесѣдниками и длинными струями тянулся въ ярко топившійся каминъ. Но Островскій не могъ сидѣть долго молча и первый заговорилъ:

— Ты во-время пріѣхалъ, Тамаринъ. Варинька Имшина на дняхъ переѣзжаетъ сюда. Ужь не списались ли вы?

— Ба! сказалъ Тамаринъ такимъ тономъ, который ровно ничего не говорилъ.

— Она уже здѣсь—вчера еще пріѣхала, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Быть не можетъ! какъ же я не зналъ этого?

— Странно, но справедливо! мнѣ Ивановъ сказывалъ.

— Ну, ему какъ не знать: онъ цѣлое лѣто пробылъ на слѣдствіи около деревни Имшиныхъ.

Тамаринъ взглянулъ искоса на Островскаго, потомъ спросилъ, какъ будто нехотя:

— Кстати, каково живетъ она?

— Ну, объ этомъ опять надо спросить у Иванова; а впрочемъ, хорошо, должно быть: съ полдюжины дѣтей ужь есть!

— Слухамъ должно вѣрить вполовину, замѣтилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ: — а для князя можно сдѣлать исключеніе и убавить втрое.

— Все равно: коли нѣтъ, такъ будутъ. Гдѣжь мнѣ чужихъ дѣтей помнить! сказалъ Островскій.

— А Ивановъ—что это такое? спросилъ Тамаринъ.

— Ничего, чиновникъ... Развѣ ты не знаешь, что Ивановы во всякомъ городѣ точно по штату положены: ну, и здѣсь есть Ивановъ.

— Такихъ, какъ этотъ, однакожъ, немного, замѣтилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— А что, онъ много побѣдъ дѣлаетъ? спросилъ Тамаринъ съ насмѣшкой.

— Лучше этого, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ:— онъ ихъ вовсе не ищетъ.

— Довольно не глупое средство, чтобъ имѣть успѣхъ. Такъ въ добромъ городѣ N*** есть Ивановъ-Фоблазъ!—Впрочемъ, чтожь мудренаго, нынче Фоблазовъ развелось какъ Ивановыхъ.

Ѳедоръ Ѳедорычъ ухмыльнулся довольно зло, но Тамаринъ не замѣтилъ этого. Его перебилъ Островскій.

— Не догадывайся, пожалуйста, Тамаринъ, или твоя проницательность будетъ пользоваться одинаковой репутаціей съ моимъ кредитомъ. Ивановъ столько же похожъ на Фоблаза, какъ мы съ тобой на Іосифа.

— А Варинька?

— Ну, это еще дѣло темное, а догадываться можно: ты знаешь лучше другихъ, что̀ значитъ прожить лѣто въ сосѣдствѣ, и будь не я...

— Ты, кажется, напрашиваешься, чтобъ я тебѣ запѣлъ арію изъ Роберта: «Ты мой спаситель». Это старо, Островскій. Но, чтобы не быть неблагодарнымъ, я тебя попотчую моимъ дорожнымъ ромомъ, и пожалуйста считай меня расквитавшимся.

— Принимаю условіе охотно, охотно принимаю, и даже нахожу, что ты сегодня немного великодушенъ: не разтрясло ли тебя?

— У меня вѣнская коляска, да у насъ нынче и шоссе очень порядочное. Не Ивановъ ли имъ здѣсь занимается? Вы, кажется, говорили, Ѳедоръ Ѳедорычъ, что онъ дѣловой?

— Очень, да по другой части. Онъ служитъ съ мужемъ Маріонъ.

— Ба! Mr Маріонъ здѣсь! Чтожь вы мнѣ не сказали? И съ женой?

— Да, и съ женой. Только будьте покойны: вакансія его друга свободна.

— Я на нее не мѣчу, Ѳедоръ Ѳедорычъ, а если бы и имѣлъ намѣреніе, такъ меня Ивановы не остановятъ: я бывалъ на скачкахъ съ препятствіями.

— И надо отдать справедливость: хорошо скачетъ другъ Тамаринъ. Ты мнѣ напомнилъ доброе старое время нашей англійской охоты. Но тутъ страшны не препятствія. Ты знаешь Маріонъ: это травленый звѣрь, который всегда уходилъ безъ угонки... Чудная женщина!

— Больше этого: женщина-рѣдкость, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ,—она еще никого не любила.

— Да чтожь мы о ней говоримъ Тамарину: онъ ее знаетъ лучше насъ, перебилъ Островскій.

— Ты едва ли не ошибаешься, отвѣчалъ Тамаринъ:—вамъ покажется смѣшно, если я скажу, что мы съ ней проходили курсъ дружбы. Это было очень ново и чрезвычайно забавляло меня.

— Да, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ:— въ самомъ дѣлѣ это было занимательно, — жаль только, что мало развито. Я думалъ повѣрить на опытѣ мое мнѣніе, что дружба есть чувство переходное; но

въ это время вы заняты были курсомъ любви съ Варинькой, и опытъ остался неоконченнымъ.

— А вы по прежнему любите наблюдать чужія глупости? спросилъ его Тамаринъ.

— Это лучшее средство не дѣлать ихъ самому, отвѣчалъ онъ.—Признаюсь вамъ, въ тотъ пріѣздъ вы меня много занимали, и не будь здѣсь Иванова, я бы въ состояніи былъ, я думаю, самъ начать жить, что̀ очень скучно. Я очень радъ, что вы пріѣхали, прибавилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ, лѣниво вставая и искренно пожавъ руку Тамарину.

— Куда же вы? спросилъ Тамаринъ.

— Да въ клубъ пора. Я съ вами заболтался. Боюсь, Николай Николаичъ разсердится: онъ не любитъ, когда поздно пріѣзжаешь.

— Хотите, я васъ завезу? сказалъ Островскій.

— Благодарствуйте: у меня есть извощикъ.

— Ну такъ вы меня довезете, потому что у меня нѣтъ его!

— До свиданья.

— До свиданья!

И они уѣхали.

Когда Тамаринъ остался одинъ, сильнѣе прежняго всколыхнулись и встали въ его воображеніи и прошлые дни, и полузабытые образы. Но это воспоминаніе не освѣжало его, а скорѣе—возбуждало какое-то тревожное, безпокойное ощущеніе. Разсказы пріятелей отчасти отдернули для него эту тонкую пелену забвенія, сквозь которую все даже непріятное прошлое видится въ какомъ-то успокоительномъ полусвѣтѣ. Такъ Варинька уже не видѣлась ему какъ часъ назадъ, едва вышедшей замужъ, молоденькой и уже немного разочарованной дамочкой, сохранившей еще всю прелесть и свѣжесть дѣвическихъ манеръ,—она не была уже его, когда-то любящей Варинькой; теперь ему видѣлась въ ней просто молоденькая провинціальная барынька, жена ничтожнаго мужа, котораго охотно дѣлаетъ ничтожнымъ отцомъ, да въ добавокъ еще съ какимъ-то поклонникомъ Ивановымъ. Тамаринъ вообще любилъ дѣтей, какъ Талейранъ, только тогда, когда они плачутъ, и то оттого, что ихъ въ это время обыкновенно уносятъ; но дѣтей женщины, которая ему нравилась, любилъ онъ еще менѣе. Не былъ онъ охотникъ и до соперниковъ, а намѣстниковъ у женщинъ онъ всегда находилъ рѣшительно лишними. И поэтому тяжелое чувство пробудило въ немъ воспоминаніе о Варинькѣ. Это была досада и язвительный укоръ огромнаго самолюбія, которому напомнили его прошлое униженіе; отъ одной этой мысли желчь его зашевелилась, рѣзче обозначилась отвѣсная морщина на лбу, и онъ слегка поблѣднѣлъ. Но воспоминанія, какъ цѣпь, въ которой одно звено выводитъ за собой другое, смѣнились, и граціозный образъ Маріонъ ярко и отрадно блеснулъ передъ нимъ; усталые глаза его оживились; ему представилась заманчивость нежданной встрѣчи, и, обрадованный проявившимся желаньемъ, онъ отбросилъ въ каминъ недокуренную папиросу, позвонилъ и спросилъ переодѣться.

II.

Мари Б***, которой мы оставимъ граціозное имя Маріонъ, данное ей молодежью и напоминающее по созвучію цѣлый рядъ блистательныхъ красавицъ, въ то время, когда ее застаетъ нашъ разсказъ, была одна. И надъ ея прелестной головкой прошли года; но они въ ней, какъ въ Нинонѐ, казалось, боялись разрушительно коснуться той прелести созданья, которую природа какъ будто творила съ любовью артиста: Маріонъ была хороша по прежнему. Это не была строгая классическая красота, бросающаяся въ глаза и возбуждающая удивленіе; при встрѣчѣ она не поразила бы васъ, но, разъ пристально взглянувъ, вамъ не хотѣлось бы отвесть глазъ отъ нея. Маріонъ было лѣтъ двадцать-шесть или семь; она была высока, стройна и какъ-то особенно легко сформирована. Темно-русые, почти черные волосы волнисто ложились на правильный овалъ лица. Черты этого лица и изгибъ профиля были необыкновенно тонки и изящно отчетливы. Каріе глаза, открытые и веселые, чудесно оживляли его. Но ротъ составлялъ ея лучшую прелесть. Въ складѣ и разрѣзѣ ея губъ была какая-то особенная доброта, а въ общемъ такая граціозная и свободная подвижность, что, глядя на него, можно было, кажется, видѣть, какъ вылетало изъ него каждое слово. Казалось, самую страстную, самую полную и глубокую любовь эта женщина могла бы высказать и передать однимъ тихимъ поцѣлуемъ.

Маленькая комнатка, въ которой сидѣла Маріонъ, была комфортно и хорошо меблирована, хотя неизбѣжно носила печать провинціи, гдѣ почти никогда не бываетъ полной гармоніи, и съ мебелью, выписанной изъ столицы, съ артистическими вещицами современной роскоши, красуется произведеніе домашняго столяра Антипа или подарокъ изъ «вновь пріѣзжающаго» двадцать лѣтъ сряду французскаго магазина Пентюхина.

Маріонъ, какъ я сказалъ, была одна. Она сидѣла на этомъ креслѣ-диванчикѣ, которое, кажется, называется помпадуръ, углубясь въ мягкую выемку спинки и положивъ ноги на его триповую обивку. Передъ ней на столѣ горѣла въ пол-огня лампа, подъ розовымъ колпакомъ, возлѣ стола недопитая чашка чаю, и развернутый романъ лежалъ верхъ корешкомъ; закуренная пахитоса была брошена на серебряной пепельницѣ. По туалету и позѣ Маріонъ можно было догадаться, что она откуда-то возвратилась утомленная и лѣниво отдыхала. На ней было свободное и простенькое платье, легко перехвѣченное поясомъ, а сверху натянута какая-то темная бархатная штучка въ родѣ душегрѣйки, и хорошенькая головка ея не была закинута, какъ у человѣка мечтающаго, или наслаждающагося лѣнью, но легко наклонена, какъ у скучающаго или усталаго; плечи будто отъ холода немного сжаты; руки, сложенныя одна въ другую кистями, брошены, словно лишнія, по станѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, Маріонъ недавно воротилась съ какого-то званаго обѣда. Но не обѣдъ этотъ утомилъ ее: она слишкомъ свыклась и съ безсонными ночами, и съ танцами до упаду, и съ невыносимыми раутами, чтобы уставать отъ нихъ.... нѣтъ! утомилъ ее внутренне-однообразный и пустой ходъ жизни, устала она отъ этихъ немногихъ безмятежныхъ годовъ, считаемыхъ зимнихъ веселостей, которыя проносились надъ нею такъ легко, что не отмѣтили своего слѣда ни одной морщинкой.

Если бы увидали Маріонъ сегодня пышную и нарядную, какъ цвѣтокъ ея букета, весело танцующую и блестящую на балѣ, если бы ее увидали завтра, ловко носящуюся въ черной амазонкѣ, на кровномъ рѣзвомъ конѣ, если бы ее увидали на раутѣ, свободно и игриво отвѣчающую направо и налѣво кружку лучшей молодежи, которая, въ своихъ фракахъ, тѣснится и жужжитъ около нея, какъ черные, вечерніе жуки на закатѣ у зеленой опушки лѣса,—какъ насмѣшливо и злобно посмотрѣла бы на нее цѣлая фаланга старыхъ дѣвъ, модча вянущихъ въ углу, и этихъ женщинъ, являющихся въ торжественныхъ костюмахъ на большіе балы и сидящихъ на нихъ вдоль стѣнъ, въ видѣ дурной лѣнной работы, весьма счастливыя, если ихъ *подниметъ* какой нибудь знакомый чиновникъ изъ *своихъ*,—съ какой завистью и ожесточеніемъ закричали бы онѣ мнѣ: «есть отчего утомиться и скучать твоей Маріонъ! мы бы отдали половину нашей жизни, чтобы также проскучать остальную»....

Да! было отчего скучать и утомиться моей Маріонъ! потому что въ ея прекрасное тѣло Богъ вложилъ теплую и живую душу, неудовлетворяющуюся обыденною жизнію. Часъ за часомъ, день за днемъ, годъ за годомъ шли передъ ней ровно, легко и пусто, какъ строй кордебалетныхъ фигурантокъ. Не сбиралась гроза надъ ея головой, не пробивалъ ее холодный морозъ до костей, не шла она съ замирающимъ сердцемъ по скользкой доскѣ надъ пропастью: день ея былъ ясенъ, дорога ровна, а мелкая пыль порошила да порошила, тонкимъ слоемъ все ложилась да ложилась на нее.

Маріонъ была институтка. Она вышла изъ института живая и хорошенькая, весело и прямо взглянула на жизнь молодыми глазами и почувствовала, что недаромъ дано ей право на эту жизнь, что надо изъ нея сдѣлать что нибудь, и нашла, что надо сдѣлать изъ нея романъ. Ей предложили въ спутники жизни Игнатія Иваныча: она согласилась безропотно, потому что ей очень хотѣлось быть дамой раньше всѣхъ подругъ, и, сочетавшись бракомъ, она считала себя жертвой разсчета.

Но Игнатій Иванычъ по справкѣ оказался очень добрымъ человѣкомъ, доставлялъ ей всѣ зависящія отъ него удовольствія и рѣшительно не походилъ на тирана: прямодушная Маріонъ созналась въ истинѣ. Между тѣмъ толпа поклонниковъ и утѣшителей разныхъ сортовъ и манеръ явилась вкругъ нея. Немного испуганная, хоть и очень довольная, Маріонъ вооружилась всѣмъ мужествомъ добродѣтели и рѣшилась обороняться до послѣдней капли крови отъ этой странной массы преслѣдователей; но большая часть пламенныхъ обожателей, увидавъ ея вооруженіе, весьма спокойно отошли безъ приступа, а тѣхъ, что были поназойливѣе и подошли ближе, она увидала въ лицо и нашла, что игра не стоитъ свѣчъ. Тогда Маріонъ обратилась къ мужу: она хотѣла окружить его спокойствіемъ, послѣ утомительныхъ работъ, подругой-утѣшительницей явиться ему въ черный день, любовью и женственной лаской облегчить ему трудный путь жизни. Но Игнатій Иванычъ, возвращаясь изъ совсѣмъ неутомительной должности, просилъ поскорѣе обѣдать и любилъ отдохнуть отъ заботъ часика два въ кабинетѣ; чернымъ днемъ считалъ тотъ, въ который проигрывалъ по маленькой въ клубѣ, и находилъ, что путь жизни, при его кругленькомъ состояніи и при благосклонности начальника, вовсе не труденъ.

И спала пелена съ хорошенькихъ глазъ Маріонъ; взглянувъ прямо на вещи своимъ свѣжимъ и здоровымъ умомъ, увидѣла она, что жизнь есть жизнь, а романъ есть романъ, что жизнь надо пережить, а романъ, если онъ пустъ и скученъ, можно бросить подъ столъ, и что поэтому съ иной жизни романовъ не пишется.

А между тѣмъ она была справедлива и должна была сознаться, что ея жизнь была сложена изъ самыхъ счастливыхъ условій. Маріонъ была молода и хороша, умъ ея былъ остеръ и разнообразенъ, состояніе порядочное, мужъ очень добрый человѣкъ. Хозяйствомъ Маріонъ заниматься было не зачѣмъ, потому что она имѣла кладъ домоправительницу. Дѣтьми Маріонъ Богъ не благословилъ; музыку она любила только слушать, но призванія къ ней не чувствовала; читать.... но не весь же день читать! она и то читала иногда романы Сю, Дюма и Мери, но и тѣ очень основательно ей надоѣли. Чтожъ было дѣлать ей, почти одной деньденьской, съ глазу на глазъ съ своимъ спокойствіемъ, безцѣльностью и досугомъ? И вотъ отдалась она обыденному ходу такъ называемой свѣтской жизни, и видѣла она своимъ яснымъ умомъ каждую простую и выкрашенную нитку, изъ которой соткана была эта жизнь; на досугѣ тѣшилась иногда насмѣшливо перебирая ее — и все-таки жила ею. А дни шли за днями и выводили годъ за годомъ. И вотъ отчего сидѣла Маріонъ утомленная и какъ будто усталая, и книга ея лежала недочитанная, и чашка стояла недопитая, и пахитосъ былъ брошенъ недокуренный. Маріонъ была уже не семнадцатилѣтняя институтка и не предавалась, какъ говорится, златымъ мечтамъ, потому что это значило только дразнить себя: но все же наединѣ съ собою думается о чемъ нибудь, даже и тогда, когда совершенно не о чемъ думать. И теперь, передъ полуусыпленнымъ воображеніемъ Маріонъ, несвязно и лѣниво проходило много безцвѣтныхъ знакомыхъ ей лицъ, много неясныхъ картинъ прошлаго отражались такъ смутно и неопредѣленно, какъ дурно

освѣщенный предметъ на дагерротипной дощечкѣ. Но одинъ эпизодъ этого прошлаго, какъ лучъ памяти, нечаянно упалъ на него, свѣтлѣе и живѣе предсталъ передъ нею, какъ иногда, среди длинной и однообразной дороги, вдругъ, на поворотѣ какой нибудь ландшафтъ нечаянно выглянетъ изъза угла лѣса, живописно и прихотливо раскинется передъ глазами и надолго прикуетъ ихъ къ себѣ всей прелестью неожиданнаго. Этотъ эпизодъ была встрѣча Маріонъ съ Тамаринымъ. Она была коротка и мимоходна. Посреди безцвѣтныхъ и однообразныхъ лицъ, наполнявшихъ N*ское общество, надо немного рельефности, чтобы быть замѣченнымъ. Какъ два путника, которыхъ свела и развела дорога, они прошли мимо другъ друга, но прошли не разъ оглянувшись назадъ и, можетъ быть, тайно жалѣя, что имъ выпалъ не общій путь. И, вспомнивъ о Тамаринѣ, Маріонъ живо нарисовался какой-то балъ, пестрый кругъ танцующихъ; она въ розовомъ платьѣ, съ букетомъ бѣлыхъ камелій, а возлѣ нея Тамаринъ, что-то ей тихо и оригинально говорящій, а впереди цѣлая толпа безмолвно рисующихся, не танцующихъ мужчинъ, которая смотритъ на нее, и ей такъ легко и хорошо, и она, полная внутренняго самодовольствія, тихо обводитъ глазами весь пестрый кругъ; а вотъ, въ сторонѣ, одна пара представилась ей рѣзко и ясно—и узнала она Варинъку, пристально смотрящую на нее задумчивыми темно-голубыми глазами, а возлѣ нея румянаго и счастливаго Володю, котораго она не слушаетъ.... и тутъ балъ исчезъ, и цѣлый рядъ другихъ мыслей бѣгло и тѣсно понесся передъ нею...

Въ это время портьера у двери немного приподнялась и кто-то въ черномъ едва слышно вошелъ по ковру.

Маріонъ повернула голову, немного вглядѣлась и тихо вскрикнула:

— Тамаринъ!

Тамаринъ поцѣловалъ добродушно протянутую ему ручку и сѣлъ въ кресло, въ изголовьи кушетки.

— Согласитесь, что вы меня не ждали, сказалъ онъ.

— Еще бы! Вы имѣете талантъ исчезать и являться точно нарочно для эффекта. Знаете ли, что я сію минуту думала объ васъ!

— А я вамъ это доказываю. Я пріѣхалъ не больше двухъ часовъ назадъ, и тотчасъ же къ вамъ.

— И я ужь успѣла замѣтить въ васъ перемѣну: вы воротились, кажется, любезнѣе и мало постарѣли, сказала Маріонъ оглядывая Тамарина.—Откуда вы?

— Когда лѣтъ пять не посидишь на мѣстѣ, такъ немного трудно отвѣчать на это. Жилъ въ деревнѣ, теперь изъ-за границы.

— Вездѣ занимались своей особой?

— А воротился къ вамъ....

— Не обморочите! Вы забыли, что мнѣ двадцать.... ну да сколько бы ни было, а ужь не семнадцать лѣтъ.

— Тѣмъ лучше! для васъ не нужно становиться на ходули.

— И для Варинъки теперь тоже: она немногимъ моложе меня. Чтожь вы не спрашиваете о ней, или ужъ навѣдались?

— Я у ней не былъ да и нескоро буду: вѣдь не давалъ же я обѣтъ хранить къ ней вѣчное постоянство; она меня также мало занимаетъ теперь, какъ разгрызанный орѣхъ...

— Котораго зернышко досталось другому, добавила Маріонъ.

Тамаринъ немного сморщился.

— Не бойтесь, говорите про нее: я не ревнива.

— Жаль очень: тогда бы можно было скорѣе надѣяться на успѣхъ.

Маріонъ выдвинула впередъ нижнюю губку.

— А вы на него разсчитываете?

— Я не отчаиваюсь.

— Фатъ!

— Будь послѣ этого съ вами откровененъ!

— Чтожь, я вамъ правду скажу: я вамъ очень рада.

— Почему?

— Я васъ давно не видала. Да, признаться, я порядочно скучаю.

— Слѣдовательно двѣ причины вмѣсто одной, чтобы влюбиться.

— Въ васъ?

— Разумѣется: во-первыхъ я не нахожу никого достойнѣе себя, и, во-вторыхъ, никогда не хлопочу для другихъ.

— Чтожь, влюбитесь въ себя, сказала Маріонъ, съ равнодушіемъ скучающей женщины и съ самоувѣренной насмѣшкой красавицы.

— Вы говорите слишкомъ самоувѣренно; это знакъ къ проигрышу.... Смотрите, чтобъ я въ самомъ дѣлѣ не влюбилъ васъ.

— Чѣмъ это, напримѣръ?...

— Ужь, конечно, не ухаживаньемъ.

— Слава Богу! Я было ужь приготовлялась зѣвать, замѣтила Маріонъ.

— Вотъ видите ли, одинъ камень подводный обойдешь, то же будетъ и съ другими. Но я долженъ сознаться, что мое положеніе довольно затруднительно.

— Ага! сознаётесь.

— Отчего же нѣтъ? Чѣмъ труднѣе побѣда, тѣмъ пріятнѣе.

— Полноте говорить вздоръ.

— Я совсѣмъ не шучу. Если бы я имѣлъ выгоду быть безобразнымъ какъ Отелло, я бы вамъ разсказывалъ сказки: женщины ужасно любятъ дѣлать героевъ.

— Да, женщины съ эксальтированной головой.

— Вашу нельзя этимъ поклепать, продолжалъ Тамаринъ.—Если бы я имѣлъ несчастіе быть хорошенькимъ мальчикомъ—самое жалкое въ моихъ глазахъ созданье—я бы принялъ методу очень простую: танцовалъ бы съ вами польку abonnée, ѣздилъ верхомъ, а въ промежуткахъ рисовался бы

передъ вами,—разумѣется, безъ аффектацій;—при этомъ никогда ни слова нѣжности, никогда ни малѣйшей претензіи или излишней навязчивости. Вы бы сначала привыкли ко мнѣ, потомъ отдали бы должную справедливость. Это дорога довольно избитая и медленная, но удобная и довольно вѣрная: это называется добиться любви.

Маріонъ разсмѣялась.

— Надо вамъ отдать справедливость: вы хорошо знаете предметъ, сказала она.

— Еще бы! это была моя спеціальность; я имъ нѣкогда серьезно занимался.

— Отъ того-то вы никогда и не влюблялись, что влюблялись по методамъ.

— Развѣ можно влюбляться по методѣ? Это и въ волокитствѣ довольно смѣшно. Да скажите мнѣ пожалуйста, отчего вы думаете, что я никогда не любилъ.

— Оттого, что вы слишкомъ самолюбивы.

— Боже мой, какое общее мѣсто! M-me B.! я васъ не узнаю. Да кто же не самолюбивъ? да кто же любитъ кого нибудь для него, а не для себя? Любили вы, напримѣръ, кого нибудь?

— Тамаринъ! развѣ дѣлаютъ подобные вопросы женщинамъ?

— Вамъ его можно сдѣлать, потому что вы дѣйствительно никого не любили.

— А я вамъ все-таки не отвѣчу: но если я и не любила, такъ, вѣроятно, оттого, что никто этого не стоилъ.

— Ничуть не бывало! во-первыхъ, это было бы ужь чересчуръ нелестно для всѣхъ вашихъ поклонниковъ, а во-вторыхъ—только мужчины бываютъ разборчивы. Въ женщинахъ такъ много любящаго, такъ велика, наконецъ, потребность любить, что имъ достаточно одной нравящейся черты въ человѣкѣ, чтобы не видать остальныхъ. Я зналъ премиленькую даму, которая была влюблена въ одного юношу оттого только, что у него была вздернутая верхняя губа и это ему придавало надменный видъ, а малый былъ добрякъ страшный и пустъ, какъ выпитая бутылка. Васъ спасло то, что вы живете на свѣтѣ не съ свѣтскими понятіями и требованіями: то, что онъ вамъ даетъ, для васъ мелко,—того, чего вамъ хочется, въ немъ нѣтъ. И вы, которыя не любили даже для себя, проповѣдуете какую-то отвлеченную любовь.

— Знаете, Тамаринъ, вы стали очень раздражительны, замѣтила Маріонъ.

— Охота же вамъ нарочно сердить меня, когда я пріѣзжаю къ вамъ съ самыми дружескими намѣреніями....

— Вскружить мнѣ голову?

— Для васъ же, повѣрьте, для васъ. Сознайтесь, вѣдь вамъ очень бы хотѣлось, чтобы кто нибудь васъ занималъ.

— Отчего же и нѣтъ, только боюсь, чтобы это мнѣ болѣе не наскучило.

— О нѣтъ, я не требователенъ.

— *Будто?*

— Доказательство, что уѣзжаю сейчасъ, а вы меня отмѣтьте своимъ поклонникомъ, да, пожалуйста, опаснымъ.

— Куда же вы? спросила Маріонъ.

— Въ клубъ, сказалъ Тамаринъ:—я еще никѣмъ не занятъ, такъ боюсь долго оставаться съ вами.

Онъ пожалъ ей руку довольно холодно и ушелъ.

Когда Маріонъ осталась одна, ей уже было какъ-то не такъ скучно. Хоть немного, а эта прихотливая, разнообразная натура Тамарина ее интересовала; она рада была, что теперь передъ нею будетъ часто лицо, которое никогда не наскучитъ; притомъ ее занималъ вопросъ: будетъ ли въ самомъ дѣлѣ Тамаринъ ея поклонникомъ или изберетъ другую, и кто будетъ эта другая? И, занятая этими мыслями, Маріонъ незамѣтно провела вечеръ. И теперь, если читатель въ нынѣшней Маріонъ не узнаетъ Маріонъ прежнюю, если какой нибудь строгій моралистъ найдетъ, что въ ея сухомъ разговорѣ, несогрѣтомъ чувствомъ, проглядывала какая-то праздная пустота души, пусть вспомнитъ онъ, что года свѣтской жизни прошли по ея чистымъ грезамъ и не осталась ни одна изъ нихъ, —пусть онъ вспомнитъ, что скука наложила на нее свою тяжелую руку, — а за что не ухватится скучающая женщина!—пусть, наконецъ, онъ оглянется кругомъ себя, и если за тѣмъ онъ броситъ камень осужденія въ мою бѣдную Маріонъ, то совѣтую ему предварительно собрать побольше камней около себя.

III.

Въ тоже время, въ другомъ углу города, другая женщина также одна собиралась коротать длинный осенній вечеръ, и много въ городѣ N, пожалуй, набралось бы подобныхъ женщинъ, съ тѣхъ поръ, какъ началъ процвѣтать англійскій клубъ, но не до всѣхъ ихъ намъ дѣло.

Въ одной изъ внутреннихъ комнатъ довольно большаго деревяннаго дома, въ той комнатѣ, которая составляетъ переходъ отъ полуобитаемыхъ залы и гостиной къ спальной и дѣтскимъ, и дѣвичьимъ—на диванѣ, за рабочимъ столикомъ, сидѣла молоденькая женщина. Она была средняго роста, и простенькое платье обхватывало довольно полный, но гибкій и мягко округленный станъ. Ей было лѣтъ двадцать-пять; русые волосы, гладко и не низко спущенные, обрамливали ея круглое, свѣжее лицо. Лицо это было лишено рѣзкихъ линій и только оттѣнялось темно-голубыми, съ поволокой подъ длинными рѣсницами, глазами, да ясно, и отчетливо обрисованными бровями. Подобнаго рода лица обыкновенно называются хорошенькими, но простыми; дѣйствительно, въ смыслѣ ограниченномъ это было простое лицо: на немъ не было печати ни сильной мысли, ни своевольной страсти; но его мягкія и пріятныя очертанія были согрѣты какой-то душевной теплотой, и оно, какъ нельзя лучше, именно своей невыразительностью, выража-

ло эту высокую простоту безхитростнаго, яснаго ума и чистаго сердца, которыя, безъ глубокаго пониманія, безъ мелочнаго анализа, тотчасъ видятъ всякую вещь въ ея естественномъ свѣтѣ, отзовутся на всякое слово прямымъ отзывомъ. Вообще по наружности сейчасъ было видно, что наше новое дѣйствующее лицо былъ этотъ чисто русскій типъ молоденькой помѣщицы, выросшенной и живущей въ провинціи, бо́льшею частію въ деревнѣ, среди безграничныхъ гладкихъ полей, подъ наметомъ какого нибудь стариннаго запущеннаго сада, въ большомъ деревянномъ съ пристройками домѣ, на сдобномъ печеньи, густыхъ сливкахъ, подъ надзоромъ матери-природы. И теперь всмотритесь въ нее хорошенько: узнаѐте ли вы нашу старую знакомую, нашу миленькую Варинькy!

Да, это была Варинька! Теперь, по всѣмъ бы приличіямъ, слѣдовало ее называть Варварой Александровной; но я прошу вашего позволенія, читатель, оставить ей ея первое имя: оно къ ней какъ-то больше идетъ, и—признаться ли въ слабости? —я люблю его: его первое начертило мое еще только очиненное тогда перо, и свыклось съ нимъ; оно пріятно, чѣмъ-то роднымъ звучитъ моему слуху.... Итакъ, съ вашего позволенія, я буду называть ее Варинькой; а она не разсердится: мы съ ней старые знакомые....

Если бы мы вошли въ ея комнату часа полтора назадъ, мы бы нашли молодую хозяйку за самоваромъ. Владиміръ Иванычъ, по прежнему румяный, по прежнему довольный судьбой и собою, довольно пополнѣвшій, но мало измѣнившійся и еще очень недурной наружностью (впрочемъ, смотря по вкусу), — Владиміръ Иванычъ представился бы намъ въ халатѣ на бѣличьемъ мѣху, съ трубкой въ зубахъ, въ низкихъ креслахъ, только что вставшій отъ послѣ-обѣденнаго сна и сидящій за тѣмъ же столомъ передъ большимъ стаканомъ чаю. А съ боку мы бы увидали двоихъ дѣтей, подъ надзоромъ няньки, сидящихъ, съ бѣленькими нагрудниками, на высокихъ стульяхъ.

Немного погодя, картина перемѣнялась. Столъ, со всѣми многочисленными принадлежностями чая, убирался въ стѣнѣ. Владиміръ Ивановичъ, удаляясь на нѣкоторое время въ кабинетъ, возвращался оттуда облаченный въ широкое пальто, нѣжно спрашивалъ жену: «ты, Варичка, что̀ будешь дѣлать»?, и, не дожидаясь отвѣта, цѣловалъ ее на счастье и отправлялся въ клубъ. За тѣмъ приводили дѣтей: Варинька крестила ихъ, укладывала спать и возвращалась въ свою любимую комнату. Тутъ, за рабочимъ столомъ, передъ двумя свѣчами, застаетъ ее нашъ разсказъ.

Когда въ долгій осенній или зимній вечеръ, за пяльцами или съ шитьемъ въ рукахъ, едва занятыя механизмомъ работы, вы, молодыя барыни, не закружившіяся въ свѣтскихъ выѣздахъ, сидите однѣ, молча бесѣдуя съ своей думой, когда послушная иголка блеститъ и звонко вытягиваетъ длинную нитку въ вашей проворной рукѣ или крючокъ быстро хватаетъ отъ пальца къ пальцу едва видныя шелковистыя петли,—скажите, пожалуйста, о чемъ думаете вы? Не все жь у васъ на душѣ мелкій расходъ да домашнее хозяйство, не все же думаете вы о дѣтскихъ болѣзняхъ, о послѣднемъ вечерѣ и будущемъ балѣ, о томъ, что̀ говорила одна ваша знакомая и что́ сдѣлала другая. Вѣдь проходитъ, я думаю, иногда передъ вами ваша простая и странная жизнь, вся скованная домашними стѣнами, да тѣснымъ кружкомъ знакомыхъ, и вся чудно составленная изъ неумолимыхъ непонятныхъ намъ движеній сердца, безпрерывныхъ душевныхъ волненій и какихъ-то маленькихъ, но недосягаемыхъ для насъ мыслей....

Много ли, кажется, вамъ надобно для полнаго счастья: одного человѣка, только одного человѣка по душѣ да по сердцу. И ктожь изъ васъ не встрѣчалъ этого человѣка? А гдѣ жь теперь этотъ человѣкъ? гдѣ онъ, вашъ суженый? Одну развела судьба, давъ въ мужья и несуженаго и не ряженнаго, другая и сошлась и соединилась съ нимъ, да какъ посмотрѣла поближе, то и вздохнула, Богъ вѣсть отъ чего и по комъ; а передъ третьей стоитъ онъ прямо лицомъ къ лицу и зоветъ, и манитъ къ себѣ всей желанной прелестью свою любимую, и полетѣла бы она къ нему,—ань, глядь, мужъ, за котораго она вышла года два назадъ, отъ нечего дѣлать ведетъ ее подъ руку, да и спрашиваетъ: «куда это ты, душечка?» И выходитъ, что съ любовью повила мать-судьба, щедро благословилъ Господь ту изъ васъ, которая, окинувъ эту жизнь, не найдетъ въ прошломъ ни поздняго упрека, ни безвыходнаго сожалѣнія, улыбнется настоящему и съ надеждой можетъ обѣщать себѣ отрадное будущее.... И выходитъ на повѣрку, что въ прошломъ, передъ многими изъ васъ, какъ злая насмѣшка, стоятъ и проходятъ, въ тиши уединенной работы, печальныя тѣни несбывшихся дѣвическихъ грезъ, кругомъ васъ настоящее и пусто и безцвѣтно, будущее.... и будущаго-то многія не смѣютъ, бѣдныя, скрасить иначе, какъ грѣшной мечтой....

Такъ скажите жь, пожалуйста, о чемъ думаете вы?

Но барыни имѣютъ похвальную привычку не говорить никогда, о чемъ онѣ думаютъ, если только онѣ не думаютъ въ ту минуту о совершеннѣйшихъ пустякахъ; а у насъ уже принято за аксіому, что женское сердце неразрѣшимая загадка; поэтому я не берусь рѣшить, о чемъ думала Варинька, сидя одна съ шитьемъ въ рукахъ за рабочимъ столикомъ.

И долго она сидѣла такъ, и нѣсколько разъ перемѣняла она длинныя нитки, вдѣвая ихъ въ едва видныя ушки, и пока глаза ея были пристально устремлены на бѣглую руку, вооруженную иглой и серебрянымъ наперсткомъ, вольная дума ея гдѣ-то немало носилась и гуляла. Иногда Варинька задумывалась, останавливалась шить и разсѣянно водила кончикомъ иглы по стеариновой свѣчѣ, потомъ какъ будто прислушивалась и опять

нималась шить, и опять, среди мертвой тишины, только слышались шарканья нитки о полотно. Но, видно, въ этотъ день судьба сжалилась надъ моими барынями и не судила имъ коротать однѣмъ длинный вечеръ. Было уже часовъ около десяти, когда стукнула дверь въ прихожую Имшиныхъ, кто-то вошелъ, и вскорѣ послышалась изъ залы мужская походка.

Варинька воткнула иголку въ шитье и повернула голову къ двери; она, кажется, угадывала наперед: кто долженъ войти. Въ самомъ дѣлѣ, почти въ это же время вошелъ какой-то статскій господинъ, по складу, должно быть, еще молодой, но лѣтъ довольно неопредѣленныхъ, потому что былъ онъ нѣсколько старообразъ. Покрой его платья ясно обличалъ хорошаго столичнаго портнаго, но во всемъ туалетѣ, несмотря на его простоту, проглядывала какая-то небрежность: видно было, что о немъ мало думали. Молодой человѣкъ былъ средняго роста, худощавъ, но крѣпко сложенъ и не то, чтобы темно-русъ, не то чтобы бѣлокуръ; густые и короткіе волосы, немного курчавые, закидывались назадъ и не скрывали сильно развитыхъ выпуклостей головы. Черты его лица были неправильны и, положительно, некрасивы, но не отталкивающи, и выразительны, манеры порядочны, но безъ всякой утонченности, просты и естественны. Словомъ, это былъ человѣкъ, на первый взглядъ не подкупающій напередъ себѣ мнѣнія, человѣкъ, котораго женщина можетъ истинно любить не находя красавцемъ, и про наружность котораго обыкновенно говорятъ: онъ нехорошъ собой, но у него умное лицо, и за тѣмъ, въ видѣ утѣшенія, прибавляютъ довольно нелѣпое, что если мужчина немного лучше чорта, то онъ красавецъ.

Вошедшій молодой человѣкъ былъ чиновникъ Ивановъ.

Увидавъ его, Варинька, не перемѣняя положенія, улыбнулась и протянула ему руку.

— Скажите, пожалуйста, что̀ съ вами? гдѣ вы пропадали?

— Мнѣ давно къ вамъ хотѣлось, да нельзя было: дѣло попалось серьёзное, сказалъ Ивановъ, пожавъ руку Вариньки и садясь противъ нея.

— Вы вѣчно съ дѣлами! Скажите, что онѣ васъ очень занимаютъ? вы находите въ нихъ наслажденіе?

Ивановъ разсмѣялся.

— Ну, наслажденія-то, по правдѣ сказать, мало, замѣтилъ онъ:—однако, есть и такія дѣла, въ которыхъ дѣйствительно принимаешь искреннее участіе, потому что ими задѣтъ живой вопросъ или онѣ вопіютъ о справедливости; а бываютъ и другія: не все на свѣтѣ высокая драма. Да вы, я замѣчаю, хотите сегодня говорить со мной какъ съ чиновникомъ?

— Нѣтъ, я хотѣла вамъ сказать, что соскучилась объ васъ; я такъ привыкла почти каждый день видѣть васъ въ деревнѣ.

— Что же дѣлать: работа! зато я теперь отдѣлался и принадлежу весь себѣ.

— И намѣрены много выѣзжать?... Постойте! пили вы чай?

— Нѣтъ еще. Да я въ клубѣ напьюсь; къ чему вашихъ людей безпокоить!

— Полноте! они очень рады лишній разъ чаю напиться....

Варинька позвонила и велѣла подать самоваръ.

— Да! такъ вы будете теперь выѣзжать.

— Надо бы,—да, признаться, лѣнь: въ тому же, нѣтъ ничего скучнѣе первыхъ знакомствъ, покуда не спознаешься съ людьми, и я, право, не вижу, зачѣмъ ѣздить, куда не хочется.

— Что̀ же, все сидѣть съ дѣлами, книгами да съ пріятелями? Неужто у васъ нѣтъ другихъ потребностей?

— Какъ не быть! Оттого-то двухъ дней не пройдетъ, чтобы я у васъ не побывалъ.

— Ну, я совсѣмъ другое.

— А больше мнѣ ничего и не надобно. Когда у меня голова устанетъ, я иду къ вамъ, и на душѣ становится какъ-то легче: ужь мы такъ устроены, чѣмъ ни занимайся, а все надо хоть посидѣть съ женщиной.

— А для васъ надо по-больше: мнѣ бы хотѣлось, чтобы вамъ кто нибудь вскружилъ голову.

— Избави Боже! да для чего же это? Я не знаю хуже положенія влюбленнаго.

— Ну, это только со стороны такъ кажется, а вамъ бы не мѣшало на себѣ испробовать. Еслибъ я васъ не знала лучше, я бы подумала, что вы сухой человѣкъ; а то вы мнѣ странны. Вы развиты до того, что сочувствуете всему. Вы и женщинѣ сочувствуете, и глубоко и прекрасно понимаете ее; да вы смотрите на нее какъ-то издали, какъ знатокъ, какъ любитель на картину, вы ее разбираете и любуетесь, а не чувствуете той простой вещи, что въ ней, какъ въ живомъ существѣ, надо принимать участіе жизнью.... понимаете ли? не говорить надо о ней, не восхищаться или смотрѣть на нее, а жить ею.....

Въ это время подали самоваръ. Варинька встала, немного зарумяненная разговоромъ, вся милая и природной миловидностью, и безпритязательной простотой и естественностью, и занялась исключительно кипяткомъ, который зажурчалъ въ чайникъ и задымился надъ нимъ горячимъ паромъ.

Ивановъ сидѣлъ противъ нея. Онъ весело смотрѣлъ на эту добрую хозяйку и любовался ею. Даже, одно время, на его лицѣ отразилось такое теплое и живое чувство, которое заставляло предполагать, что онъ можетъ любоваться женщиной едва ли не по правиламъ Вариньки; но вскорѣ рука его, вѣроятно, почуявъ приближеніе чаю, произвольно отправилась въ лѣвый карманъ, вынула оттуда сигарочницу, и Ивановъ занялся ею.

Закуривъ сигару, онъ отвѣчалъ:

— Вы прекрасно судите о женщинахъ; да чтобы всѣхъ ихъ оцѣнивать по вашему, право, жизни

недостанетъ. Положимъ, сдѣлаешь исключеніе для одной, а на другихъ ужь поневолѣ придется посматривать простымъ любителемъ!

— Да ктожь вамъ говоритъ обо всѣхъ. Выберите одну, и она будетъ представительницей другихъ: на ней и выкажется вашъ взглядъ на женщину вообще. А дѣло въ томъ, что вы ни для кого исключенія не дѣлаете. Для этого-то я и хочу, чтобы вамъ хоть одна вскружила голову. Вамъ сливокъ или лимону?... Вотъ видите, вы хотите непремѣнно, чтобы всякій любилъ кого нибудь исключительно! А если нѣтъ, вы такъ сейчасъ заключаете о сухости сердца.

— Да вѣдь у насъ и кромѣ сердца есть еще кое-что; а исключительная любовь иногда такъ его защемитъ, что про остальное-то и не подумаешь. Когда я былъ помоложе и кровь бойчѣе текла въ жилахъ, и я еще не зналъ, какая внутренняя потребность безпрерывно шевелится во мнѣ и не даетъ покою, я искалъ столкновенія съ женщинами и влюблялся, и разочаровывался, и снова влюблялся,—и отъ всего этого оставалась только какая-то тяжелая накипь въ сердцѣ да усталость, а требованье все не удовлетворялось. Теперь, когда для меня цѣль и даль жизни стали поясньѣе, я знаю, какую часть въ ней должно занимать сердце; отъ этого я и не бѣгаю отъ любви, да и за ней не бѣгаю; коли хочетъ, пусть сама придетъ, и если бы можно, такъ посмирнѣе да поспокойнѣе.

Ивановъ стряхнулъ пепелъ съ сигары и принялся за чай.

Варинька, во время его рѣчи, смотрѣла на него съ безпокойнымъ участіемъ. Она была достаточно охлаждена опытомъ, чтобы не увлекаться рѣзко высказаннымъ мнѣніемъ или ловко надѣтой маской. Она видѣла, что передъ ней сидитъ не актеръ, говорящій свою рѣчь, а человѣкъ, просто объясняющій свой взглядъ и убѣжденія; именно поэтому она и приняла въ немъ участіе.

— Послушайте! сказала Варинька:—вы впадаете въ другую крайность—въ дѣятельность практическую, которая также не удовлетворяетъ васъ.

— Что же дѣлать! вѣдь надобно же быть чѣмъ нибудь! Не могу же я сидѣть сложа руки, когда всякій встрѣчный на улицѣ имѣетъ право спросить меня, что ты здѣсь дѣлаешь, когда этотъ вопросъ, наконецъ, безпрестанно стоитъ передо мной, когда я долженъ каждую минуту отвѣчать на него и себѣ и другимъ. А если моя дѣятельность не удовлетворяетъ меня, такъ это другой вопросъ, да и когдажь, наконецъ, человѣкъ удовлетворяется? За то есть и хорошія минуты, которыхъ бы, можетъ, и не оцѣнилъ безъ того. Развѣ, напримѣръ, не хорошая минута посидѣть вечеръ съ вами, да поговорить о маленькихъ вещахъ, которыхъ всегда такъ много на душѣ, провести вечеръ, какъ теперь, напримѣръ, или какъ мы проводили у васъ въ деревнѣ: чай на террасѣ, передъ глазами старый садъ, деревья не подрѣзанныя, дорожки, по которымъ, какъ въ лѣсу, заблудиться можно, вечеръ тихій, румяный, и въ этой тишинѣ откровенный задушевный разговоръ, а еще лучше—помолчать вдвоемъ, да послушать эту тишину, въ которой изрѣдка прогудитъ дальній стукъ телѣги, да вѣтеръ донесетъ какую нибудь заунывную пѣсню.... Славно, славно.... тихо прибавилъ замечтавшійся и задумавшійся Ивановъ.

Варинька не прерывала его: она, кажется, сама немного замечталась; но это не была грустная мечтательность, — напротивъ, къ ней будто прибавлялись какая-то веселость и пріятная мысль. Варинька смотрѣла на Иванова немного разсѣянно, а между тѣмъ сдержанная лукавая и довольная женственная улыбка обличала эту тайную мысль и такъ хорошо оживляла собой ея ясное и спокойно-милое лицо.

Ивановъ, однакожь, замечтался не надолго. Онъ потеръ руку объ руку, какъ это дѣлаетъ иногда нецеремонный человѣкъ, когда у него что нибудь шибко зашевелится на душѣ, и прибавилъ въ видѣ заключенія:

— Какая досада, что у насъ теперь зима! и потомъ попросилъ себѣ чаю.

И за тѣмъ пошла у нихъ простая, мирная и задушевная бесѣда. Варинька не дѣлала больше пытающихъ вопросовъ и, казалось, была довольна ихъ выводомъ. Ивановъ какъ будто избѣгалъ этихъ грустно тяжелыхъ и всегда почти безвыходныхъ мыслей, передъ которыми часто останавливается смущенный умъ. Напротивъ, ихъ бесѣда для ума холоднаго, для слушателя безучастнаго показалась бы, можетъ быть, скучна и незначаща: ее надо было слушать сердцемъ, понимать чутко настроеннымъ чувствомъ; она походила на говоръ, сопровождающій конецъ дня, когда солнце уже сядетъ, на западѣ еще не потухли розовыя облака, а ужь съ другой стороны всталъ мѣсяцъ и облилъ бѣлымъ свѣтомъ широкій кругъ на небѣ и широкую полосу по землѣ, и вся природа передъ сномъ спѣшитъ договорить свои предсонные, вечерніе звуки. Слышенъ въ этихъ звукахъ только какой то неясный говоръ; ни одинъ изъ нихъ отрывчато не поразитъ вашего слуха, но всѣ они составляютъ одну ночную гармонію, навѣваютъ на душу тишину несказанную, и какая то отрадная и освѣжительная мысль стелется тогда по душѣ, какъ прохладный туманъ по полю....

И долго шла у нихъ эта бесѣда. Часы уже пробили полночь, когда Ивановъ вспомнилъ, что почта, вѣроятно, уже получена, взялъ фуражку, пожалъ руку Варинькѣ и отправился въ клубъ читать газеты. Варинька не удерживала его, но, по уходѣ его, взявъ со стола свѣчу и проходя мимо часовъ, подумала, что хорошо бы придумать такіе симпатическіе часы, которые бы очень громко били при однихъ гостяхъ и молчали при другихъ; потомъ она вошла въ смежную комнату, но вдругъ на самомъ порогѣ, какъ будто прикованная, остановилась. Бываютъ иногда такія неожиданныя и такъ нечаянно поражающія мысли, что на мгновеніе

какъ молнія, разсыпавшаяся передъ глазами, ослѣпляютъ и парализируютъ всѣ способности. Но это длится недолго: разсудокъ беретъ мысль въ свое вѣдѣніе и начинаетъ судить ее. Варинька вошла въ спальню и, едва слышно вздохнувъ, притворила за собой дверь.

IV.

Ивановъ отправился пѣшкомъ отъ Имшиныхъ. Бѣлый снѣгъ лежалъ густымъ и мягкимъ слоемъ по землѣ и крышамъ. Мѣстами выказывалась изъ подъ него замерзшая кочка или черная колея прорѣзывала его. Бо́льшая часть домовъ была уже темна и ночь для нихъ наступила со всѣми правами; но, на поворотѣ за уголъ, большой каменный двухъ-этажный домъ весь свѣтился огнями. У подъѣзда его стояло нѣсколько экипажей; кучера, постукивая рукавицами, толкали другъ друга для препровожденія времени, иные дремали на пролеткахъ, иные, какъ лазарони подъ портиками Венеціи, спали на каменныхъ ступеняхъ крыльца. Ивановъ пробрался между ними, при чемъ они на него, какъ на пѣшехода, посмотрѣли нѣсколько презрительно, оставилъ шинель, шляпу и галоши въ швейцарской и, узнавъ, что принесена почта, торопливо вбѣжалъ по широкой лѣстницѣ. Нѣсколько комнатъ, которыя пришлось проходить Иванову, были заставлены столами, и правильныя группы играющихъ сидѣли за ними между четырехъ свѣчъ. Въ первой комнатѣ была игра, такъ называемая, дѣтская, по маленькой, въ слѣдующей — серьёзнѣе; но шуму и возгласовъ было въ обѣихъ одинаково достаточно. При входѣ Иванова нѣкоторые изъ играющихъ ему поклонились, другіе не примѣтили, третьи, не отворачивая головы отъ картъ, только искоса посматривали на него. Изъ одного угла раздался голосъ: «Дмитрій Семенычъ! Дмитрій Семенычъ!» Ивановъ оглянулся и увидѣлъ одного малознакомаго ему господина, свирѣпой наружности, съ сѣдыми всклокоченными волосами, который звалъ его. Ивановъ подошелъ.

— Полюбуйтесь-ка, полюбуйтесь, сказалъ ему свирѣпый господинъ, голосомъ трагическаго отца, упрекающаго виновника несчастія.

— Проиграли? спросилъ Ивановъ, сколько могъ жалобнѣе.

— Чего тутъ спрашивать! развѣ вы не видите! сердито сказалъ господинъ, показывая на запись съ минусами. — Вотъ они! всѣ съ дышломъ! съ разбѣгу девять роберовъ! Это только со мной можетъ случиться, пробормоталъ сердитый господинъ, отворачиваясь отъ Иванова, котораго, кажется, нашелъ мало ему сочувствующимъ, и отыскивая кому бы еще разсказать о своемъ несчастіи.

Тутъ же недалеко сидѣлъ Ѳедоръ Ѳедорычъ и вынималъ изъ портъ-монне деньги.

— И вы проиграли? спросилъ Ивановъ, дотронувшись *до его плеча*.

— Немного! отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ, лѣниво протягивая ему руку.

— Да нѣшто ему, замѣтилъ его партнёръ мягкимъ голосомъ, аккуратно укладывая депозитки въ кусокъ бумаги, замѣнявшей ему бумажникъ. — Ему бы воротнички побольше выпустить, да вотъ съ княземъ, да съ Григоріемъ Петровичемъ и идти въ ту комнату за дѣтскій столъ. Ну, какъ вамъ теперь было не ходить съ дамы въ мой инвитъ! Тузъ подъ сюркупомъ, коли имъ промирятъ, и я имъ пасъ сдѣлаю.

— Не сдѣлали бы, замѣтилъ утвердительно Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Какъ не сдѣлалъ бы! слышите! когда у меня тузъ бубенъ бланкъ, пріемный листъ, пики гардѣ, фосски снесъ и трефы франки: вся игра ассюрирована! Богъ вамъ судья, Ѳедоръ Ѳедорычъ! заключилъ онъ, ласково погрозивъ ему, за тѣмъ посмотрѣлъ карту ужина и спросилъ себѣ: омлетъ а ла рюсъ съ финизертомъ и каракеты съ амуретами подъ ламбертовымъ соусомъ.

А Ѳедоръ Ѳедорычъ взялъ Иванова подъ руку и отправился съ нимъ въ библіотеку.

Пока Ивановъ просматривалъ новые журналы и газеты, человѣка три-четыре молодежи, его близкихъ знакомыхъ, присоединились къ нему. Потомъ, чтобы не мѣшать другимъ, они вышли въ сосѣднюю комнату. Ѳедоръ Ѳедорычъ поспѣшилъ придвинуть покойное кресло и усѣсться у камина. Ивановъ и его пріятели расположились около, нѣкоторые спросили чаю, закурили сигары, и вскорѣ въ этомъ углу образовалась живая и интересная группа. Численно она была не велика, но тѣмъ не менѣе замѣчательна. Ее составляло нѣсколько молодыхъ людей, получившихъ основательное образованіе. Наградила ли ихъ мать природа яснымъ взглядомъ на вещи, или, просто, обставила ихъ развитіе счастливыми условіями, только не размѣняли они Богомъ данный талантъ на мелкую монету, не потратили его на покупку маленькихъ успѣховъ, а старательно искали честной и полезной дѣятельности и предавались ей со всей горячностью и энергіей молодости. Очень естественно, что, движимые одной общей цѣлью добра, согрѣтые одними интересами, они, сойдясь вмѣстѣ, тотчасъ поняли и отличили другъ друга, и, какъ камни въ калейдоскопѣ, сдвинулись въ одну гармоническую группу. Ее то застаетъ нашъ разсказъ въ то время, когда она безпорядочно расположилась вкругъ камина и въ ней закипалъ разговоръ живой и разнообразный, и все, что́ близко касалось жизни, — все, что́ было еще тепло современнымъ интересомъ, нашло отголосокъ въ этомъ разговорѣ.

Въ другомъ углу комнаты была другая картина. За ярко освѣщеннымъ столомъ, съ бокалами и стаканами, сидѣло нѣсколько человѣкъ, между которыми мы узнаемъ Тамарина и Островскаго: передъ ними стоялъ значительный рядъ бутылокъ, и громкій разговоръ шелъ шумно, пестрѣлъ остро-

тами и анекдотами и перебивался иногда до того, что нельзя было разобрать, кто кому говоритъ.

Тамаринъ довольно поздно пріѣхалъ отъ Маріонъ въ клубъ поужинать. Его встрѣтило нѣсколько протяжныхъ «а! вотъ и онъ» отъ тѣхъ изъ его прежнихъ знакомыхъ, которые знали уже о его пріѣздѣ. Непредупрежденные же всѣ закричали: «ба, ба, ба! откудова!», и вслѣдъ за тѣмъ ему отворилось нѣсколько объятій и протянулось много рукъ, изъ которыхъ нѣкоторыя, въ знакъ искренней радости, такъ пожали его небольшую худощавую руку, что онъ не закричалъ отъ боли только потому, что посовѣстился. Островскій, кончавшій уже партію въ карты, по праву старой дружбы, взялъ Тамарина въ свое исключительное распоряженіе и повелъ въ залу.

— Откуда это во фракѣ? спросилъ онъ, прохаживаясь съ нимъ.

— Отъ *нея!* отвѣчалъ Тамаринъ.

— Да ктожь тебя знаетъ, кто нынче у тебя *она*! Маріонъ, что ли?

— Отъ тебя рѣшительно ничто не укрывается.

— Ну и дѣлишки идутъ хорошо?

— Ты обо всемъ по себѣ судишь: увидалъ женское платье — сейчасъ и объясненье.

— Чтожь! я и не раскаиваюсь! попробовать всегда должно, а за остальное не отвѣчаешь, по крайней мѣрѣ совѣсть чиста.

— Ну, я не въ тебя. Да и чтожь ты хочешь? Маріонъ вѣдь не шестнадцати лѣтъ! А ты слышалъ, у кого посовѣтовалъ мнѣ Ѳедоръ Ѳедорычъ искать успѣха.

— Что Ѳедоръ Ѳедорычъ!... Ѳедоръ Ѳедорычъ нынче завирается! сдружился съ какой то молодежью, которая ни въ дудочку, ни поплясать: совсѣмъ портиться началъ!

— Кстати о молодежи, кто у васъ здѣсь?

— О, есть славные ребята! Вотъ они, всѣ въ столовой: видишь, вонъ этотъ, напримѣръ, что руками размахиваетъ, двадцать три года, а одинъ усидитъ бутылку рому, и какъ ни въ чемъ не бывалъ! Замѣчательная личность! Пойдемъ ужинать: я тебя познакомлю съ ними.

Но Тамаринъ отговорился тѣснотой и спросилъ себѣ ужинать въ каминную. Островскій тоже. Мало по малу славные ребята, любившіе Островскаго, начали присоединяться къ нимъ, и вскорѣ образовался тамъ кружокъ, въ которомъ мы и Ивановъ нашли Тамарина.

Кружокъ этотъ составляли молодые, даже бо́льшей частью очень молодые люди, которые ровно столько же были современны XIX столѣтію, сколько были бы и XVII и, пожалуй, XXI: типъ ихъ мало измѣняется вѣками.

Во время о́но пальма первенства въ такомъ кружкѣ доставалась храбрѣйшему на дуэляхъ, ночныхъ похожденіяхъ и всякаго рода опасныхъ стычкахъ. Впослѣдствіи, когда нравы, благодаря успѣхамъ просвѣщенія и полиціи, пріусмирѣли, женская добродѣтель показалась соперникомъ болѣе достойнымъ и безопаснымъ, и первенствовалъ тотъ, за которымъ насчитывали болѣе побѣдъ надъ нею. Нынѣ между этой молодежью господствуетъ — кутежъ. Вино признано самымъ опаснымъ соперникомъ, и какая нибудь замѣчательная личность, безнаказанно одолѣвающая бутылку рому, пользуется совершеннымъ уваженіемъ. Про него разсказываются анекдоты, онъ имѣетъ свой авторитетъ и полное право смотрѣть съ презрѣніемъ на какого нибудь господина, у котораго языкъ пришепетываетъ отъ нѣсколькихъ стакановъ шампанскаго. А между тѣмъ это была бо́льшей частью молодежь весьма добрая. И много свѣжихъ силъ и энергіи, и хорошихъ побужденій она соритъ вмѣстѣ съ деньгами только потому, что не приготовлена потратить ихъ на что либо лучшее!

Тамаринъ, попавшись въ подобный кружокъ, былъ не очень доволенъ. Правда, что на него въ немъ смотрѣли съ уваженіемъ, — правда, что, поклоняясь авторитету другаго рода, для него забыли и передъ нимъ смирились всѣ замѣчательныя личности, усиживающія болѣе или менѣе бутылокъ, и если еще изрядно пили, то это только по привычкѣ; но ихъ уваженіе не слишкомъ ему льстило. Все же онъ, также по пустому тратившій свои силы, носилъ сознаніе ихъ; все же онъ былъ внутренно, можетъ быть ложно, но глубоко развитъ, все же онъ былъ неизмѣримо выше ихъ.

Тамаринъ довольно разсѣянно слушалъ окружающихъ, довольно холодно отвѣчалъ на вопросы и спѣшилъ кончить ужинъ. Но когда вошла новая партія молодежи, въ которой былъ Ивановъ, когда онъ вслушался въ ихъ разговоры, то почувствовалъ свое положеніе еще болѣе неловкимъ... Есть что то особенное въ этой серьезной, честной и благонамѣренной молодежи, которая, слава Богу, въ настоящее время составляетъ нѣкоторую массу, а неисключеніе. Ее не всѣ любятъ, нескоро съ ней сходятся, но всѣ уважаютъ. Тамаринъ, долго жившій въ деревнѣ и за границей, въ первый разъ сошелся съ нею. Онъ ее смутно, но инстинктивно понялъ. Она невольно обратила на себя его обыкновенно равнодушное вниманіе, и какое то безпокойное и непріятное чувство пробудилось въ немъ. Можетъ быть, отличивъ въ ней лучшую часть молодежи, ему было досадно показаться ей въ несовсѣмъ избранномъ кружкѣ, къ которому никогда не принадлежалъ и въ который попалъ случайно, а, можетъ быть, представитель своего времени, онъ отгадалъ въ ней ядро новаго поколѣнія,—поколѣнія, которое идетъ совсѣмъ иной дорогой и современемъ съ обиднымъ сожалѣніемъ отзовется о нихъ, въ свое время такъ желчно и безпощадно смѣявшихся надъ другими. Какъ бы то ни было, но встрѣча съ Ивановымъ и его пріятелями, особенно въ настоящую минуту, произвела на Тамарина непріятное впечатлѣніе; оно усилилось еще болѣе отъ столкновенія противоположностей, для него невыгодныхъ. Между тѣмъ какъ съ одной

стороны до него долетали живыя и бойкія рѣчи, дѣльныя и оригинальныя замѣчанія, кругъ себя онъ слышалъ старые анекдоты и плоскія или избитыя остроты. Тамаринъ пытался было уйти, но десятки рукъ его удерживали и всѣ хоромъ убѣждали остаться. Наконецъ прозвонилъ первый звонокъ, и монотонный голосъ прокричалъ: «втораго половина!»

— Господа! сказалъ тогда Тамаринъ, вставая: — нѣтъ общества, котораго не покидаютъ....

— Говорилъ король Дагоберъ, выбрасывая своихъ паршивыхъ собакъ за окошко, прибавилъ Островскій, слѣдуя его примѣру.

И вся компанія поднялась съ шумомъ.

Тамаринъ готовъ уже былъ выдти изъ комнаты, какъ въ самыхъ дверяхъ его встрѣтили двѣ растопыренныя руки, остановили и крѣпко обняли. Это былъ Володя Имшинъ.

— Сергѣй Петровичъ! какими судьбами! какъ радъ васъ видѣть! говорилъ раздобрившійся Володя уже не нерѣшительнымъ тономъ слабаго соперника, а съ самоувѣренностью человѣка, сознавшаго собственное достоинство. А я заигрался въ той комнатѣ и не зналъ, что вы здѣсь.... Очень, очень радъ.

Тамаринъ, увидѣвъ его самодовольную наружность, невольно улыбнулся, пожавъ ему руку отвѣтилъ что-то и искалъ случая разстаться. Въ это время проходилъ Ивановъ. Имшинъ и его поймалъ.

— А, Дмитрій Семенычъ! и вы здѣсь! Сергѣй Петровичъ! вы не знакомы? Мг. Ивановъ — Мг. Тамаринъ.

Тамаринъ готовъ былъ сказать дерзость Имшину за это непрошенное знакомство. Онъ слегка прикусилъ губу, какъ дѣлалъ это во время сильной досады, и сухо поклонился Иванову. Ивановъ, въ свою очередь, отвѣтилъ ему довольно холодно, и они поспѣшили разойтись.

— Посмотрите, Ѳедоръ Ѳедорычъ, какой послѣдовательный народъ эти мужья! говорилъ въ это время Островскій, кивнувъ на Имшина головою: — Володя-то счелъ обязанностью свести прошедшее съ настоящимъ.

— Вы, можетъ быть, угадали вѣрнѣе, нежели думали, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.

— Надѣюсь! самодовольно замѣтилъ Островскій, думая, что его замѣчаніе относится къ Варинькѣ.

V.

Какому-то умному человѣку разъ пришло въ голову, что если люди пріѣзжаютъ въ гости для того, чтобы танцовать или играть въ карты до бѣла утра и, разъѣзжаясь, говорятъ иногда, что имъ было очень весело, то недурно бы было созвать этихъ людей просто затѣмъ, чтобы имъ доставить удовольствіе видѣться съ хозяевами или своими знакомыми, дать случай говорить не урывками во время кадрили, а сколько кому и съ кѣмъ пожелается, дѣлать не то, что̀ заставляютъ, а что̀ кому вздумается. Умный человѣкъ полагалъ, что всѣмъ будетъ страшно весело, и сдѣлалъ раутъ. Не знаю, что̀ думали разъѣзжаясь его гости, но мое личное мнѣніе, что рауты самая скучная вещь на свѣтѣ.

Въ нѣкоторыхъ солидныхъ домахъ столицы они еще имѣютъ свое значеніе: на нихъ собираются знаменитости всѣхъ родовъ; знаменитости служебныя, знаменитости родовыя, знаменитости артистическія; гостиная принимаетъ тогда видъ живаго собранія рѣдкостей, дѣлается чѣмъ-то въ родѣ музеума, и чѣмъ она полнѣе, тѣмъ слава ея громче, тѣмъ хозяинъ довольнѣе.

Посмотримъ теперь раутъ провинціальный.

Въ городѣ N. жила почтенная дама, которой фамиліи и придумывать не стану, потому что она мало интересуетъ и васъ, и меня. Почтенная дама была уже въ лѣтахъ, какъ и слѣдуетъ почтенной дамѣ, имѣла состояніе, оставалась вдовой человѣка, пользовавшагося въ свое время вѣсомъ въ губерніи, и, къ несчастію, не играла въ карты, иначе она бы дѣлала очень милые карточные вечера, на которыхъ всякому выигравшему было бы довольно весело. Почтенная дама была немного сплетница и мало кѣмъ любима, у почтенной дамы была вѣчно скука непроходимая; но всѣ находили, что она почтенная дама и ѣздить къ ней считали необходимостью. Вслѣдствіе этого она назначила день, и у ней образовались хроническіе рауты.

Въ иные дни у почтенной дамы собиралось очень мало, развѣ только самые праздношатающіеся и самые искательные; первые ѣздили оттого, что некуда было дѣваться, а вторые хоть и были вполнѣ убѣждены, что они тутъ ровно ничего не сыщутъ, но ѣздили на всякій случай, думая про себя: «не ровенъ часъ: можетъ и понадобится.» Но иногда совѣсть или сама почтенная дама упрекала и другихъ жителей города N, и тогда они, чтобы не скучать по-одиночкѣ, сговаривались между собою, и гурьбой являлись въ назначенный день. Въ одинъ изъ этихъ дней и мы отправимся къ почтенной дамѣ.

Былъ часъ одинадцатый вечера, и, несмотря на манію нашихъ дамъ съѣзжаться поздно, гостиная почтенной дамы начала уже наполняться, потому, можетъ быть, что всѣ знали привычку хозяйки пораньше ложиться спать. Черезъ часъ съѣхалось почти все, что̀ имѣло намѣреніе съѣхаться, и небольшая комната наполнилась, какъ чаша подъ рукой тороватаго кравчаго.

Влѣво отъ двери, у средины внутренней стѣны, стоялъ, какъ водится, классическій диванъ и передъ нимъ, въ видѣ баррикады, овальный столъ; въ обѣ стороны отъ него, широкимъ полукругомъ, стояли кресла. Обычай, оставшійся, вѣроятно, еще отъ монгольскаго ига и сохраняющійся до днесь во всей неприкосновенности, соблюдался и тутъ, какъ вездѣ: въ началѣ вечера дамы были сами по себѣ, мужчины сами по себѣ. Дамы занимали

диванъ и кресла около него, при чемъ какъ-то очень искусно между ними устроилось нѣкотораго рода мѣстничество, и болѣе другихъ почтенныя дамы сидѣли на диванѣ съ самой почтенной дамой. Мужчины стояли въ противоположной сторонѣ, близъ оконъ. Иногда какой нибудь не очень развязный господинъ, подходившій къ хозяйкѣ дома, чтобы засвидѣтельствовать ей свое нижайшее почтеніе, отдавъ поклонъ и освѣдомившись о ея здоровьи, весьма затруднялся отступательнымъ движеніемъ и ретировался съ замѣшательствомъ Наполеона въ 1812 году. За-то иные бойкіе юноши, понимая, впрочемъ, всю тяжесть обязанности дамскаго кавалера, смѣло входили въ заповѣдное полукружіе и обращались къ которой нибудь изъ дамъ съ вопросомъ, рѣшительно нестоящимъ того, чтобы для него сдвинуться съ мѣста. Но, поставленные въ необходимость, весьма выгодно рисуясь бѣлымъ жилетомъ передъ одной избранной, показывать спинку своего фрака противоположной сторонѣ, они тоже не долго выдерживали невыгодное положеніе, но, при отступленіи, выказывали бо́льшее знаніе свѣтской тактики.

Вообще разговоръ не клеился. Дамы, сидящія на диванѣ, говорили довольно громко; дамы, сидящія въ креслахъ, говорили въ-полголоса съ одной изъ своихъ сосѣдокъ, при чемъ, чтобы показать свободу манеръ, поправляли ей воротничекъ или играли кончикомъ длинной ленты ея пояса. Мужчины, стоящіе у противоположной стѣны, тоже довольно затруднялись своимъ положеніемъ и говорили другъ съ другомъ поворачиваясь только головою. Нѣкоторые, принявъ озабоченный видъ или даже, для бо́льшей натуральности, потеревъ рукой по лбу, поспѣшно подходили къ своему пріятелю и, взявъ его подъ-руку, уводили въ залу, какъ будто для серьезнаго разговора!

— Что тебѣ нужно? спрашивалъ пріятель.

— Да что́, братецъ! скука ужасная, не знаешь что дѣлать, отвѣчалъ тотъ.

И какъ пріятель его совершенно съ нимъ соглашался, то оба они, сохраняя все-таки озабоченный видъ, продолжали ходить по залѣ молча, или говоря о пустякахъ, но при этомъ, когда видѣли, что могли быть замѣчены хозяйкой, дѣлали руками весьма одушевленные жесты.

Наконецъ, когда общая скука и связанность достигли полнаго развитія, хозяйка дома, какъ будто дожидавшаяся нарочно этой минуты, рѣшилась поразнообразить вечеръ и, обратившись къ одной весьма зрѣлой дѣвицѣ, сказала ей мягкимъ голосомъ:

— Не споете ли вы намъ, ma chère, что нибудь? Потомъ адресовалась къ ея матери, сидѣвшей на диванѣ, и прибавила: какой у вашей Sophie пріятный голосъ! я ее всегда слушаю съ наслажденіемъ.

Въ отвѣтъ на это мать какъ-то понагнулась и скромно поправилась на диванѣ, а дочь, знавшая, что дѣло безъ ея пѣнія не обойдется и давно только ожидавшая приглашенія, сдѣлала кисло-сладкую улыбку и отправилась къ фортепіано. У зрѣлой дѣвы были очень маленькій голосъ и большіе глаза; поэтому фіоритуры и высокія ноты она преимущественно выдѣлывала послѣдними. Хотя ни тотъ, ни другіе давно уже не производили эффекта, хотя и голосъ, и фортепіано много потерпѣли отъ времени, но нравственное вліяніе пѣнія было огромно. Всѣ затруднявшіеся доселѣ своею особой и незнавшіе, что изъ нея сдѣлать, нашли себѣ занятіе. Нѣкоторые изъ мужчинъ спѣшили принять позы, другіе садились, соблюдая строжайшую тишину; глаза всего общества обратились на пѣвицу съ выраженіемъ такого вниманія и участія, какъ будто покойница Малибранъ пѣла предъ избранными меломанами, и всѣ слушали, казалось, съ такимъ наслажденіемъ, съ какимъ первый любовникъ Александринскаго театра выслушиваетъ признаніе своей возлюбленной. Арія кончилась, и всѣ поспѣшно бросились благодарить зрѣлую дѣву, вѣроятно, боясь, чтобы она не запѣла еще что нибудь. Дѣйствительно, чара была уже совершена и дальнѣйшее пѣніе было рѣшительно не нужно. Большая часть дамъ, пользуясь предлогомъ, встали съ своихъ мѣстъ, поправивъ при этомъ, какъ водится, сзади платье; нѣкоторыя, ссылаясь на духоту, взявшись подъ-руки по двѣ и по три, пошли ходить по залѣ; другія вышли въ сосѣднюю, маленькую гостиную. Мужчины раздѣлились между ними, и съ этой минуты каждый имѣлъ право привольнѣе скучать съ кѣмъ нибудь, что́ все-таки веселѣе, чѣмъ скучать въ одиночествѣ, а одинъ скромный юноша даже нашелъ въ это время, что вечеръ очень одушевился.

И вотъ вамъ такъ называемый провинціальный раутъ. Если я говорю раутъ, то это потому, что жителямъ города N очень нравилось давать это названіе скучнымъ вечерамъ: оно какъ будто возвышало въ собственныхъ глазахъ ихъ значеніе. Вслѣдствіе этого нѣкоторые простосердечные люди понимали это слово совсѣмъ въ другомъ значеніи, такъ что одинъ пріѣзжій изъ уѣзда господинъ, возвратясь съ бала, на вопросъ жены: «весело ли было», отвѣчалъ зѣвая: «нѣтъ, матушка, раутъ былъ ужасный!»

Но если я привелъ васъ, читатель, на вечеръ почтенной дамы, то конечно не съ тѣмъ, чтобъ показать вамъ его скуку,

Между настоящимъ вечеромъ и предъидущими сценами прошло нѣсколько недѣль. Въ этомъ промежуткѣ времени съ нашими героями не произошло ничего примѣчательнаго. Ивановъ по прежнему бывалъ у Вариньки; по прежнему тихи, добродушны, теплы были ихъ задушевныя бесѣды. Тамаринъ часто началъ посѣщать Маріонъ; его общество много развлекало ее и ей нравилось. Но онъ волочился за ней—если только допустить, что это было волокитство—слишкомъ открыто, слишкомъ равнодушно и холодно, чтобы можно было предположить что нибудь серьезное въ этомъ волокитствѣ: скорѣе это было какое-то нѣмое условіе разнообразить взаимную

скуку, придать себѣ какое нибудь значеніе въ собственныхъ глазахъ, хлопотать ни о чемъ, для того только, чтобы считать себя чѣмъ нибудь занятымъ.

Между тѣмъ добрые жители города N, не прибѣгая къ изобрѣтенію особыхъ подтверждающихъ фактовъ, по какому-то единодушному сочувствію связывали въ своихъ понятіяхъ и разговорахъ эти двѣ пары, каждую между собою. Гдѣ была рѣчь о Варинькѣ, тамъ дѣлали намекъ на Иванова; если говорили, что тамъ-то будетъ Маріонъ, то добавляли, что, вѣроятно, пріѣдетъ и Тамаринъ. Итакъ, несмотря на наше молчаніе, взятая нами повѣсть развилась сама собою. Такъ незамѣтно ходятъ по небу разрозненныя облака, пока, сойдясь, не сольются въ одну тучу, не загремятъ громомъ и не блеснутъ передъ глазами яркой молніей.

Варинька, въ извѣстный намъ вечеръ, была у почтенной дамы. Былъ тутъ и Ивановъ, которому почтенная дама давно уже и неоднократно выговаривала, что онъ не хочетъ навѣстить ее; но мы позволяемъ себѣ думать, заодно съ жителями города N, что не одни эти выговоры заставили его пріѣхать въ этотъ разъ.

Довольно поздно пріѣхала Маріонъ, какъ всегда прелестная, и какъ всегда очень мило одѣтая. Вскорѣ послѣ нея явился и Тамаринъ, что̀ дало случай одной дамѣ сказать другой что-то такое на ухо.

Вечеръ шелъ своимъ чередомъ, и много, можетъ быть, маленькихъ сценъ, маленькихъ драмъ, рѣшительно невидимыхъ равнодушному зрителю, разыгралось на немъ, но мы исключительно займемся нашими дѣйствующими лицами.

Въ началѣ вечера, когда еще общая скука и какая-то неподвижность, казалось, осязательно тяготѣли надъ обществомъ, Маріонъ сидѣла въ углу близь дивана, а Варинька наискось отъ нея. Тамаринъ и Ивановъ имѣли ловкость пристроиться какъ-то позади своихъ дамъ и не раздѣлять неловкаго положенія бо́льшей части присутствующихъ дамъ. Теперь, когда эти двѣ пары были помѣщены одна подлѣ другой, рѣзче бросалась въ глаза разница между ними. Какъ я ни люблю мою первую героиню, но долженъ сознаться, что она, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, теряла отъ сравненія съ Маріонъ. Не говоря уже, что Варинька уступала ей наружностью, не было въ ней этой немного небрежной свободы, изящной граціозности манеръ Маріонъ; не было даже прихотливаго, но всегда чудеснаго вкуса ея въ туалетѣ. За то въ Варинькѣ была какая-то милая простота обращенья, что-то доброе и влекущее къ ней, что-то симпатизирующее всему хорошему, какъ будто ея прекрасная душа была наружу и украшала ее невидимой прелестью.

Между ихъ кавалерами была своего рода яркая противоположность.

Тамаринъ во всякой гостиной былъ какъ у себя. Онъ былъ бы замѣтенъ не только въ скромномъ *собраніи у почтенной* дамы, но и въ лучшемъ салонѣ столицы. Его холодный, нѣсколько рѣзкій и самоувѣренный тонъ, его выдержанность въ свѣтѣ, который онъ зналъ не по наслышкѣ, а видѣлъ насквозь, со всѣми закулисными машинами и красиво намалеванными декораціями, — все въ немъ, начиная со всегда безукоризненнаго и отнюдь не рабски моднаго туалета до спокойно блѣднаго и послушнаго лица, клало на него какую-то отличительную печать, съ перваго же взгляда отдѣлявшую его отъ массы. Онъ не игралъ нынѣ уже довольно избитую роль льва, но львы первой руки не затемнили бы его.

Не таковъ былъ Ивановъ. Онъ не былъ въ свѣтѣ ни робокъ, ни неловокъ, ни изящно развязенъ. Какъ человѣкъ получившій прекрасное образованіе, выросшій и державшійся постоянно въ порядочномъ кругу, и даже болѣе этого — человѣкъ отъ природы порядочный, онъ всюду былъ на своемъ мѣстѣ; но чтобы замѣтить и отличить его, надо было его узнать. Видно было, что свѣтъ и успѣхъ въ немъ не былъ, какъ для многихъ, цѣлью его жизни; онъ не пренебрегалъ имъ, потому что понималъ его истинное значеніе, но по этой же самой причинѣ и не предавался ему исключительно. Въ немъ для большинства онъ былъ дюжиннымъ человѣкомъ, но для людей его знающихъ — стоялъ выше всѣхъ блестящихъ молодыхъ людей, дѣлающихъ себѣ карьеру польками и считающихъ десятками свои жертвы.

Не знаю, о чемъ говорилъ Ивановъ съ Варинькой—говорилъ, казалось, весело и добродушно ало; но дама его была какъ будто разсѣянна. Иногда она обводила глазами присутствующихъ, на мгновеніе останавливала ихъ на Тамаринѣ и Маріонъ, и вслѣдъ за тѣмъ обращалась къ Иванову и старалась показать, что она слушаетъ его внимательно; но въ словахъ ея было видно какое-то легкое смущеніе. Бываетъ извѣстное состояніе духа, когда, Богъ вѣсть отчего, сжимается сердце, будто чуя что-то недоброе; бываетъ еще и другое состояніе, когда присутствіе какого нибудь совершенно посторонняго лица ставитъ насъ въ какое-то безпокойство: люди ученые приписываютъ это магнитическому вліянію, а старухи-няньки говорятъ просто, что это съ глазу,—ученымъ людямъ вѣрятъ, а надъ старыми няньками смѣются, хотя, по моему, эти мнѣнія вовсе не далеко расходятся, и едвали послѣднее не имѣетъ передъ первымъ преимущества давности. Какъ бы то ни было, но въ подобномъ расположеніи духа была Варинька. Ивановъ, кажется, не замѣчалъ этого и продолжалъ говорить обращаясь то къ ней, то къ ея сосѣдкѣ, а между тѣмъ взглядъ Вариньки довольно часто, и какъ будто нечаянно, направлялся въ противоположный уголъ.

Тамъ сидѣли, какъ я уже сказалъ, Маріонъ и Тамаринъ.

Ихъ разговоръ тоже остался намъ неизвѣстенъ, но, по нѣкоторымъ даннымъ, можно было составить о немъ опредѣленное понятіе.

Тамаринъ, въ этотъ вечеръ, въ первый разъ встрѣчался съ Варинькой, послѣ долгаго отсутствія. Правда, что, дѣлая визиты, онъ былъ и у Имшиныхъ, но видѣлъ только одного Володю. И, какъ нарочно, въ это первое свиданіе, Ивановъ, котораго городскіе слухи давали въ поклонники, и, можетъ быть, въ счастливые поклонники Варинькн, былъ почти неотлучно съ нею. Это обстоятельство, въ глазахъ Тамарина, не имѣвшаго случая повѣрить справедливость слуховъ, не могло пройти незамѣтнымъ и, какъ человѣку самолюбивому, не могло быть не досадно.

Оно, кажется, не укрылось и отъ женской проницательности Маріонъ, и вотъ отчего ихъ неслышный разговоръ былъ отчасти понятенъ.

Есть удовольствіе безнаказанно мучить непріятнаго человѣка, есть двойное удовольствіе мучить человѣка скрытнаго и самолюбиваго, когда въ немъ замѣтишь слабую струну. Маріонъ понимала это удовольствіе и рада была ему, какъ средству оживить и разнообразить свои отношенія къ Тамарину, на основаніи хорошо извѣстной пословицы, что маленькія ссоры поддерживаютъ дружбу. Боюсь утверждать, но, можетъ быть, женская гордость, никогда не прощающая чужихъ, хотя и прошедшихъ успѣховъ, играла тутъ свою роль. Такъ или иначе, но, по живымъ, веселымъ чернымъ глазамъ Маріонъ, быстро переносящимся отъ Варинькн и Иванова къ Тамарину, можно было догадаться о предметѣ разговора, а по насмѣшливой улыбкѣ, которая на ея особенно выразительныхъ устахъ имѣла какую-то прелестную и острую колкость, видно было, что она не щадила его. Тамаринъ составлялъ рѣзкую противоположность съ оживленной фигурой сосѣдки. Онъ былъ немного блѣднѣе обыкновеннаго. Выраженіе его лица, всегда холодное и равнодушное, на этотъ разъ было еще холоднѣе, еще равнодушнѣе, что̀ даетъ поводъ думать, что оно таило совсѣмъ другое расположеніе духа. Взглядъ Тамарина стремился иногда за взглядомъ Маріонъ, останавливался на Варинькѣ и на Ивановѣ съ какимъ-то презрительнымъ невниманіемъ; въ его короткихъ и рѣзкихъ отвѣтахъ, сопровождаемыхъ ѣдкой усмѣшкой, виднѣлась скрываемая желчная раздражительность, и можно было держать пари, что Тамаринъ недурно защищался. Такъ шло время до тѣхъ поръ, пока зрѣлая дѣва не спѣла своей аріи. По окончаніи ея, Маріонъ встала и—не знаю, безъ умысла ли, или съ умысломъ,—взяла Варинькн подъ-руку и пошла съ нею въ смежную комнату. Тамъ онѣ сѣли на маленькій двойной диванчикъ. Возлѣ него было одно только кресло. Ивановъ, вошедшій вслѣдъ за дамами, увидалъ какой-то киписокъ на столѣ и занялся имъ. Мѣсто осталось свободное. Вскорѣ Тамаринъ занялъ его:

Тамаринъ пошелъ было въ залу, нашелъ, что тамъ также скучно, какъ и вездѣ, и хотѣлъ, кажется, ѣхать, но, увидавъ Маріонъ рядомъ съ Варинькой, вдругъ воротился.

Онъ подошелъ къ дамамъ своей лѣнивой, немного небрежной походкой; лицо его приняло веселое выраженіе, и двѣ морщинки около рта обозначали улыбку. Варинька давно знала эту улыбку, и въ эту минуту чувствовала себя какъ-то неловко: она такъ давно отвыкла отъ всѣхъ тревожныхъ встрѣчъ, она такъ полюбила свое настоящее спокойствіе.

Предчувствіе не обмануло Варинькн. Тамаринъ сѣлъ возлѣ нея и обратился къ ней:

— Вы знаете, что я былъ у васъ, M-me Имшинъ; но вы не хотѣли доставить мнѣ удовольствіе видѣть васъ, сказалъ онъ.

— Я сама очень жалѣла, что не могла къ вамъ выдти, отвѣчала Варинька,—въ это время я была занята.

— Можно узнать, *какъ*? спросилъ Тамаринъ, пристально глядя ей въ лицо и продолжая улыбаться.

— Боже мой! дѣтьми, можетъ быть, хозяйствомъ, отвѣчала Варинька, немного покраснѣвъ.—Я теперь уже не помню.

— И прекрасно дѣлаете! знаете, иногда очень хорошо умѣть забывать.

— Надѣюсь не въ этомъ случаѣ: это не стоило того, чтобы забывать или помнить.

— Вы меня совершенно поняли, продолжалъ Тамаринъ: — я именно и говорилъ не про этотъ случай. — Удивительно, какъ мы съ вами до сихъ поръ понимаемъ другъ друга.

— Напротивъ, вы нынче говорите такъ загадочно, что я рѣшительно не понимаю васъ, сказала Варинька, стараясь казаться какъ можно равнодушнѣе.

— Не понимаете?! возразилъ Тамаринъ съ удивленіемъ. — А я, безумецъ, все мечталъ, что мы такъ хорошо понимаемъ другъ друга. Знаете ли, что вы этимъ словомъ разрушили мои лучшія иллюзіи. Я такъ вѣрилъ въ симпатію, такъ твердо былъ убѣжденъ въ сродство душъ! Это было мое единственное утѣшеніе во времена разлуки. Когда я въ послѣдній разъ былъ въ Парижѣ, тамъ всѣ толковали о симпатическихъ улиткахъ, а я слушалъ съ пренебреженіемъ и думалъ: «толкуйте, друзья! Намъ съ M-me Имшиной не нужно симпатическихъ улитокъ: мы и безъ нихъ за тысячи верстъ умѣемъ сочувствовать». Пріѣзжаю, спѣшу васъ видѣть—и вдругъ...

Тутъ Варинька встала, пожала руку Маріонъ и, сказавъ, что ей пора ѣхать, вышла изъ комнаты. Она, казалось, приняла весь разговоръ Тамарина за простую болтовню праздношатающагося стараго знакомаго и осталась совершенно равнодушною къ ней. Но, по неровному и частому дыханію, по какому-то собственному оттѣнку глазъ, можно было замѣтить ея внутреннюю тревогу.

Маріонъ посмотрѣла ей вслѣдъ, обернулась къ Тамарину и покачала головою.

Тамаринъ усмѣхнулся.

— Какъ вы злы! сказала Маріонъ.

— Да вѣдь вамъ этого и хотѣлось, отвѣчалъ Тамаринъ равнодушно.

Маріонъ оставила его и пошла къ дамамъ.

Тамаринъ лѣниво всталъ, пробрался лѣниво между гостями и уѣхалъ домой.

Вскорѣ послѣ ихъ ухода Ивановъ закрылъ кипсекъ и вышелъ. Не знаю, остался ли онъ доволенъ рисунками, но онъ былъ немного блѣднѣе обыкновеннаго.

Маленькая комната, свидѣтельница маленькой сцены, осталась пустою.

VI.

Быть можетъ, мой читатель, или моя читательница, посѣтуютъ на меня, что я имъ описываю мелкія сцены мелкой жизни; быть можетъ, найдутъ они, что эти обыденныя вещи слишкомъ незначительны для того, чтобы на нихъ останавливать вниманіе, и что я имъ показываю бурю въ стаканѣ воды. Да позволено будетъ мнѣ оговориться.

Любо мнѣ было бы, давъ волю фантазіи, широкой кистью рисовать яркія картины. Привольно было бы моему перу чертить во весь ростъ правильныя, рѣзкія и высокія фигуры людей, созданныхъ воображеніемъ, и въ просторной рамѣ развернуть ихъ пылкія и глубокія страсти. Но что бы я отвѣтилъ тогда себѣ, еслибъ, строго взвѣшивая и цѣня свой свершенный трудъ въ тишинѣ рабочаго кабинета, при взглядѣ на полную картину, въ которой ищешь мелкихъ невѣрностей, чтобы поправить ихъ послѣднею чертою,—если бы въ это время предо мной возникъ вопросъ: чьи это образы? гдѣ живутъ эти люди? какому вѣку, какой странѣ, какому слою общества принадлежатъ они? гдѣ они взяли свои живописные костюмы? гдѣ они выучили эффектныя роли? у кого переняли они эти античныя позы? И тогда, читатель, поглядѣвъ на Божій свѣтъ, поглядѣвъ на общество, въ которомъ живемъ и ты и я, и въ которомъ, можетъ быть, мы не разъ встрѣчались, я бы — даже при увѣренности, что моя картина займетъ тебя, поставилъ бы ее передъ собою, съ авторскимъ самолюбіемъ каждый день любовался бы ею — но посовѣстился бы показать ее и, смиривъ полетъ фантазіи, принялся бы чертить небольшихъ людей въ небольшихъ драмахъ, которые имѣютъ неудобство походить на тебя, на меня или на нашихъ знакомыхъ.

Съ другой стороны, есть отрадное убѣжденіе и утѣшительная мысль при выборѣ вѣрной и мелкой драмы, назначенной суду публики. Довольство ею, внѣ условій исполненія, есть признакъ нашего внутренняго развитія. Бой быковъ и смерть гладіаторовъ не нужны для потрясенія людей, умѣющихъ плакать надъ вымысломъ слѣпаго старца. Сильно настроенная струна звучитъ отъ легкаго прикосновенія, воспріимчивой бумагѣ достаточно одной *секунды свѣта, чтобы* рѣзко запечатлѣть всю отраженную на ней картину. И въ нашемъ обществѣ, гдѣ все такъ чинно, такъ приличио, такъ без-эффектно, часто отъ одного рѣзкаго слова, отъ одного холоднаго взгляда невидимо, но долго болитъ чуткое сердце, и весело и съ улыбкой смотритъ иногда свѣтскій человѣкъ на разрушенное счастіе всей своей жизни.

Вотъ отчего я описываю мелкія сцены.

И за тѣмъ къ дѣлу.

Въ городѣ N, какъ во всѣхъ почти губернскихъ городахъ, лучшія даже улицы незастроены сплошь большими домами и промышленость не толпится на нихъ занять всякій свободный уголъ. На одной изъ этихъ улицъ, небольшой пятиоконный деревянный домъ, довольно благообразной наружности, былъ занятъ Ивановымъ. Комнатъ въ этомъ домѣ было немного, и большая и лучшая изъ нихъ, которая, кажется, въ намѣреніяхъ строителя должна была играть роль залы, т. е. самой безполезной и всегда почти незанятой въ семейной жизни, была обращена Ивановымъ въ кабинетъ. Меблировка его не отличалась провинціальными претензіями на столичную роскошь. Широкіе покойные диваны и шкапъ съ книгами занимали три стѣны; огромный столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, стоялъ почти во всю длину четвертой. Столъ этотъ былъ весь заваленъ книгами, бумагами, дѣлами, и только по срединѣ его оставалось небольшое свободное пространство, на которомъ былъ письменный приборъ, портфели и мѣсто для письма. По угламъ, у диванова, были два небольшіе столика; нѣсколько покойныхъ креселъ по комнатѣ и одно у стола дополняли меблировку.

Былъ еще часъ десятый утра, а ужь Ивановъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ и что-то писалъ. Вскорѣ пришла какая-то баба-просительница и долго разсказывала свою претензію, въ которой почти нельзя было доискаться смысла, и нѣсколько разъ принималась кланяться и плакать, подпершись предварительно рукою щеку; потомъ ушла она. Пришелъ мужикъ и тоже толковалъ долго, и когда Ивановъ, выслушавъ, отпустилъ его и принялся было писать, мужикъ отошелъ немного, вытащилъ изъ подъ зипуна платокъ, развязалъ узломъ завязанный уголъ, вынулъ цѣлковый и, подкравшись, осторожно подалъ его Иванову.

— Ступай, ступай, сказалъ Ивановъ, невольно улыбнувшись.

Мужикъ отошелъ, вытащилъ опять платокъ, опять развязалъ узелокъ, вынулъ еще цѣлковый и снова поднесъ уже оба потихоньку Иванову.

— Ступай: вѣдь я тебѣ сказалъ, что просьба твоя будетъ исполнена; чегожъ тебѣ еще! сказалъ опять Ивановъ.

Мужикъ отошелъ и задумался.

— Чтожъ, батюшка! вѣдь это не то, чтобы тово: вѣдь это изъ уваженія къ милости вашей; за что же отказомъ обижать?

Но замѣтивъ, что Ивановъ начиналъ сердиться,

онъ вышелъ, думая про него, что вотъ и хорошій человѣкъ, а гордый: благодарности не принимаетъ!

А между тѣмъ Ивановъ снова принялся писать, и писалъ долго и скоро, весь погруженный въ свое занятіе, пока наконецъ не окончилъ бумаги; и тогда, бросивъ перо, онъ опустился къ спинкѣ кресла, вздохнулъ, какъ послѣ тяжелаго труда, закурилъ сигару и задумался. Его умное и выразительное лицо, такъ недавно еще озабоченное работой, теперь все было отдано мысли и отражало сильную внутреннюю тревогу... Да, Ивановъ переживалъ одну изъ тяжелыхъ минутъ жизни.

Бываетъ извѣстная, болѣзненная настроенность и раздражительность сильной души, когда вдругъ помрачено одно изъ ея свѣтлыхъ вѣрованій или хотя слабо поколеблено какое нибудь пылкое убѣжденіе.

Тогда сомнѣніе, какъ зимній воздухъ въ недотворенную дверь, нахлынетъ на нее, и нѣтъ уже болѣе для нея, въ эту минуту, ни вѣрованій, ни убѣжденій. Все лучшее души и всѣ ея завѣтные помыслы одѣты этимъ тонкимъ паромъ сомнѣнія, а все жесткое и черное жизни такъ и встаетъ передъ очами, такъ и звучитъ въ ушахъ грустнымъ воплемъ. Это не раздражительность желчнаго человѣка, котораго сердитъ и дурная погода, и худо свернутая сигара, и пошлое лицо перваго встрѣчнаго: это — сомнѣніе странника, идущаго гладкой дорогой и спрашивающаго себя, въ ту ли сторону ведетъ она; это—невѣріе факира, пол-жизни бодро стоящаго передъ идолами и начинающаго въ нихъ подозрѣвать деревянные истуканы.

Тяжело было Иванову, подавивъ внутреннюю тревогу и весь сонмъ разнородныхъ мыслей, который кипѣлъ въ головѣ его, сидѣть за дѣловой бумагой, да выслушивать и разбирать чужія просьбы; но едва ли не тяжелѣй стало ему, когда онъ отдался своимъ думамъ.

Догадается, вѣроятно, читатель, что вчерашній разговоръ Тамарина съ Варинькой былъ главной причиной этой раздраженности Иванова; но ошибется тотъ, кто подумаетъ, что любовь играла тутъ какую нибудь роль. Нѣтъ! Ивановъ не былъ влюбленъ въ Вариньку; но для него она олицетворяла безхитростное, чистое существо, до котораго жизнь коснулась одной только благотворной стороной, — существо, которое во всемъ видитъ одно добро, потому что само не испытало и никому не дѣлало зла. И вдругъ Тамаринъ, которому Ивановъ мало сочувствовалъ—и потому уже, что видѣлъ въ немъ человѣка преданнаго только свѣту, и по его натурѣ, которая была діаметрально противоположна его собственной—вдругъ этотъ свѣтскій господинъ, при первой встрѣчѣ, говоритъ съ Варинькой тономъ вѣжливаго пренебреженія, дѣлаетъ ей какіе-то намеки на ея прошлое, почти смѣется надъ ней, а она, вмѣсто того, чтобы остановить Тамарина и заставить его краснѣть и извиниться, сама приходитъ въ замѣшательство, какъ будто въ ней потревожили старый укоръ, открыли пятно прошлаго, которое она тщательно скрывала...

Ивановъ въ свой вѣкъ, какъ и всякій, многому вѣрилъ и во многомъ ошибался; каждая ошибка служила ему урокомъ, каждый разъ онъ съ бо́льшей осторожностью довѣрялся новому выбору; но года и опытность не изгладили въ немъ душевной теплоты, не уменьшили въ немъ потребности привязанностей; онъ выбиралъ строже, довѣрялся рѣже, но, разъ выбравъ, отдавался охотно и довѣрчиво своему предмету, своей вѣрѣ, своему убѣжденію, и тѣмъ больнѣе была для него всякая ошибка. Въ настоящемъ случаѣ, Ивановъ не разочаровался въ Варинькѣ: онъ не былъ такъ подозрителенъ, чтобы по одному намеку разомъ потерять къ ней всю довѣренность, и такъ строгъ и нетерпимъ, чтобы ставить въ преступленіе всякій проступокъ. Но она теряла въ его глазахъ свою нетронутую, незапятнанную чистоту: можетъ быть, это пятно было и невелико и невидно,—да оно было. И разъ, когда сомнѣніе смутило его внутреннее спокойствіе, на многое иначе взглянулъ Ивановъ своей встревоженной душой; много вопросовъ, какъ стая спугнутыхъ птицъ, чутко дремлющихъ на почлегѣ, поднялось и встрепенулось въ глубинѣ мысли, — и недовѣрчивымъ окомъ посмотрѣлъ онъ тогда на многое внутри и внѣ себя.

Да! Ивановъ переживалъ, можетъ быть, благотворную, но трудную минуту.

Онъ былъ выведенъ изъ задумчивости приходомъ одного пріятеля—молодаго человѣка, во фракѣ съ форменными пуговицами.

— Здравствуй, Ивановъ, сказалъ пришедшій:— я къ тебѣ по дѣлу—посовѣтоваться съ тобой; да ты, кажется, сегодня въ хандрѣ?

— Ничего! отвѣчалъ Ивановъ, дружески пожавъ ему руку. — Хандра хандрой, а дѣло дѣлать; что тебѣ?

Тутъ пришедшій господинъ вынулъ какую-то бумагу, началъ разсказывать дѣло и потомъ довольно долго толковалъ о немъ съ Ивановымъ.

Когда они кончили, пріятель Иванова посмотрѣлъ на часы и, замѣтивъ, что еще рано къ должности, спросилъ: не задерживаетъ ли его? и, получивъ отрицательный отвѣтъ, закурилъ сигару.

— Кстати, Ивановъ: чѣмъ рѣшено у васъ дѣло этой вдовы съ родственникомъ Петра Петровича? спросилъ онъ.

— Ничѣмъ еще, отвѣчалъ Ивановъ: — большинство, кажется, противъ нея; но я подалъ свое мнѣніе; хочешь прочитать?

— Пожалуйста!

Ивановъ подалъ нѣсколько только что исписанныхъ листовъ, и пріятель его принялся читать. Онъ читалъ молча; но по его лицу Ивановъ угадывалъ и мѣсто, которое онъ прочитывалъ, и впечатлѣніе, производимое на него чтеніемъ. Иногда онъ сурово сдвигалъ брови, иногда приподнималъ ихъ выразительно и немного выдвигалъ губы, какъ будто хотѣлъ сказать: «вотъ оно что!»; иногда онъ

улыбался, какъ улыбаются любимому ребенку, когда онъ немного зашалитъ. Прочитавъ бумагу, онъ подалъ ее Иванову.

— Дѣло чистое и правое, сказалъ онъ:—ты иначе и поступить не могъ; но, знаешь, немного рѣзко высказано: видно, что ты писалъ его не совсѣмъ спокойно. Тутъ надобно дѣйствовать осторожно. Ты знаешь, что Петръ Петровичъ противъ него; онъ здѣсь силенъ, а на тебя и безъ того, кажется, дуется....

— За то, что я не ѣзжу его поздравлять съ праздниками. Тѣмъ лучше: это выведетъ насъ изъ ложныхъ отношеній. Я терпѣть не могу, когда мнѣ дружески жмутъ руку и въ тоже время подставляютъ ногу, чтобы я споткнулся.

— Скажи, пожалуйста, что̀ тебя разсердило сегодня?

— Вздоръ! отвѣчалъ Ивановъ.—Отчего ты не былъ вчера у Р***?

— Лѣнь было: часовъ до десяти занимался, усталъ и для отдыха началъ читать; потомъ съ чаемъ, съ книгой, въ халатѣ и съ сигарой, мнѣ было такъ хорошо, что я рѣшительно не понималъ, зачѣмъ ѣхать на вечеръ, гдѣ, я увѣренъ, встрѣтишь скуку.

— И еще кой-что хуже скуки. Ты знаешь Тамарина?

— Видалъ. Неглупъ, кажется, да изъ праздношатающихся.

— А ничего не знаешь объ его отношеніяхъ къ Варинькѣ Имшиной?

— Рѣшительно ничего! Тамаринъ въ свое время, говорятъ, имѣлъ успѣхъ, да къ Имшиной это относиться не можетъ.... А что̀?

— Этотъ Тамаринъ, долженъ быть, страшно самолюбивъ, и, не знаю чѣмъ, а вѣроятно Имшина оскорбила его. Языкъ у него злой и хоть кого такъ срѣжетъ. Вчера вечеромъ ему вздумалось позабавиться надъ Имшиной: онъ надъ ней смѣялся, дѣлалъ какіе-то намеки и сконфузилъ ее, бѣдную. Хорошо, что при этомъ были только я, да Мари Б***.

— Не знаю! ничего не знаю! задумавшись, отвѣчалъ пришедшій господинъ.

Въ это время чья-то лошадь мелькнула мимо оконъ и остановилась у подъѣзда.

Чрезъ минуту вошелъ Островскій.

Ивановъ былъ знакомъ съ нимъ только по встрѣчамъ въ обществѣ; поэтому пріѣздъ Островскаго немного удивилъ его, но, разумѣется, онъ не далъ этого ему замѣтить.

— Здравствуйте, князь! сказалъ онъ, идя ему на встрѣчу.

— Ба! вы уже встали и, кажется, за дѣломъ! Я сегодня рано выѣхалъ и воображалъ, что всѣхъ, какъ Тамарина, застану чуть не въ постели.

— Я встаю рано, отвѣчалъ Ивановъ.—Угодно сигару или папиросъ?

Островскій сѣлъ и закурилъ.

— Я къ вамъ съ просьбой, сказалъ онъ:—сегодня концертъ одной пріѣзжей пѣвицы, — слышали вы?

— Да, слышалъ! Говорятъ, плохо поетъ.

— Можетъ статься, да зато прехорошенькая. Я взялся раздавать билеты; помогите, пожалуйста.

— Раздавать я не берусь, потому что никого сегодня не увижу, а для себя возьму.

— А вамъ угодно? спросилъ Островскій, обращаясь къ пріятелю Иванова.

— Съ удовольствіемъ, отвѣчалъ тотъ.

Островскій вынулъ билеты, получилъ деньги, показалъ, что еще много осталось нерозданныхъ, и разговоръ на минуту перемежился.

— Да вотъ къ кому всего лучше обратиться съ вопросомъ, сказалъ пріятель Иванова.—Вѣдь вы давно здѣсь живете, князь?

— И не спрашивайте! пріѣхалъ на полгода— живу шесть лѣтъ. Это только я могу дѣлать такой вздоръ! А что̀ вамъ?...

Ивановъ немного смѣшался. Ему, кажется, вовсе не хотѣлось сдѣлать Островскаго участникомъ предъидущаго разговора.

— А съ Тамариннымъ нынче только познакомились? продолжалъ его пріятель.

Островскій усмѣхнулся.

— Помилуйте! мы съ Тамариннымъ вмѣстѣ выпущены изъ школы, вмѣстѣ нѣсколько лѣтъ выѣзжали и влюблялись вмѣстѣ. Я съ Тамариннымъ сходился чаще, нежели рюмка съ графиномъ. Голова отличная, языкъ острѣе англійской бритвы, сердца меньше, чѣмъ у меня наличныхъ денегъ. А женщины отъ него безъ ума.... оттого, что онъ съ ними обходится какъ ребенокъ съ игрушкой.

— Вотъ объ этомъ-то и рѣчь, продолжалъ пріятель.—Не знаете ли вы, въ какихъ отношеніяхъ онъ прежде былъ съ Имшиной?

— А! съ Варинькой? Это старая исторія. Лѣтъ пять назадъ Тамаринъ жилъ въ деревнѣ по сосѣдству съ ними. Ну, знаете, въ деревнѣ скука: тутъ нечего быть разборчивымъ,—онъ и занялся ею, а дѣвочка-то въ него и влюбилась, да такъ, какъ только въ состояніи влюбиться однѣ провинціальныя барышни. Ну, просто ночей не спитъ и похудѣла. Тамаринъ сюда переѣхалъ: ну и ее мать сюда привезла. Что̀ ему здѣсь съ ней дѣлать? Тутъ Имшинъ подвернулся; Тамаринъ парень не глупый; онъ ей посовѣтовалъ, или тамъ холодность показалъ, хлопъ! она и вышла за Володю. Ну, ужь тутъ положительнаго я ничего не могу сказать, не думаю ничего дуриаго объ ихъ отношеніяхъ, рѣшительно ничего,—но знаю, что тутъ маленькая страстишка была; впрочемъ, Тамаринъ скоро уѣхалъ отсюда.... Однакожь, я заболтался съ вами, а у меня еще семьдесятъ билетовъ. До свиданія, господа!

И Островскій пожалъ имъ наскоро руки и уѣхалъ.

— Охота тебѣ была спрашивать этого болтуна! сказалъ съ досадой Ивановъ.

— Мой учитель-нѣмецъ говаривалъ, что нѣтъ такой глупой книги, изъ которой нельзя бы было почерпнуть что нибудь поучительное, и хоть это только нѣмцы въ состояніи извлекать поучительное

даже изъ глупыхъ книгъ, но, по нуждѣ, и ты можешь послѣдовать примѣру. Въ словахъ Островскаго вѣрно есть что нибудь и справедливое; а впрочемъ.... это меня мало интересуетъ, желаю и тебѣ того же.

За тѣмъ и пріятель Иванова простился съ нимъ и уѣхалъ.

Ивановъ остался въ прежнемъ расположеніи духа, если еще не хуже, и, надо правду сказать, предъидущіе разговоры были не такого рода, чтобы могли развлечь его. Но, взглянувъ на часы, онъ поспѣшно отобралъ нѣкоторыя бумаги, переодѣлся и вышелъ.

Какъ иногда бываетъ невыносимо тяжело оторваться отъ пустой и даже горькой мысли для какого нибудь серьёзнаго дѣла!

Черезъ часъ послѣ ухода Иванова вошелъ его слуга и положилъ на письменный столъ какое-то запечатанное письмо.

VII.

Иванъ Кузьмичъ Б*, или, чтобы лучше объяснить читателю, мужъ Маріонъ, котораго, какъ и многихъ изъ мужей на семъ свѣтѣ, больше знали по женѣ, чѣмъ по его собственной личности, и отъ этого называли иногда Мг Маріонъ—Иванъ Кузьмичъ, было ли у него занятіе, или нѣтъ, утро всегда проводилъ въ кабинетѣ, какъ и слѣдуетъ дѣловому человѣку.

Кабинетъ Ивана Кузьмича былъ во всѣхъ отношеніяхъ приличный кабинетъ. Этажерки съ книгами, разставленными въ строгомъ порядкѣ и по формату, бюро, на которомъ онъ никогда не писалъ, хотя на немъ всегда лежала бѣлая бумага, покойный сафьянный диванъ съ шитыми по канвѣ подушками—даръ почтенныхъ дамъ въ дни его тезоименитства, пирамидка съ трубками и бисерной табачницей возлѣ дивана, наконецъ письменный столъ съ двумя десятками ящиковъ, бумагами, аккуратно разложенными и придавленными прессами, великолѣпной чернилицей и прочими аттрибутами письма, —всѣ было чисто, опрятно, прилично. Даже на стѣнахъ кабинета висѣли, какъ слѣдуетъ, передъ столомъ — календарикъ и портретъ какого-то господина почтенной наружности—со звѣздой, а надъ диваномъ большая картина масляными красками, въ золоченой рамѣ, черная до того, что на ней ничего нельзя было разобрать, и освѣщена такъ искусно, что откуда ни посмотри, всегда увидишь отраженіе котораго нибудь окна.

Если кабинетъ былъ совершенно приличенъ дѣловому человѣку, то самъ Иванъ Кузьмичъ былъ до того приличенъ своему кабинету, что одному безъ другаго чего-то недоставало, и трудно рѣшить, что было нужнѣе—кабинетъ ли Ивану Кузьмичу, Иванъ ли Кузьмичъ своему кабинету.

Иванъ Кузьмичъ былъ добрѣйшій человѣкъ, довольно мягкихъ правилъ, весьма готовый, безъ большихъ пожертвованій и сохраняя благовидность, угодить—какъ говорится—и нашимъ, и вашимъ; но наружность его была до того приличка, что рѣшительно не позволяла подозрѣвать этихъ маленькихъ слабостей. Онъ былъ черноволосъ и носилъ спереди небольшой хохолокъ, или тупей. Лицо, худощавое и благообразное, съ маленькими бакенбардами около ушей, было степенно, серьёзно и даже важно именно на сколько слѣдовало человѣку въ его положеніи. Глаза не обладали особенной выразительностью, но за то были опушены сверху густыми, черными, весьма подвижными бровями, изъ которыхъ Иванъ Кузьмичъ, какъ опытный человѣкъ, извлекалъ всевозможную пользу, придавая ихъ движеніями всѣ желанныя выраженія лицу.

Былъ часъ второй утра. Иванъ Кузьмичъ сидѣлъ въ креслахъ, бокомъ къ письменному столу, пилъ кофе изъ *фамильной* чашки, курилъ сигару и читалъ въ *Пчелѣ* производства и политическія новости. На немъ былъ темно-коричневый сюртукъ, застегнутый доверху; что, однако жь, нисколько не мѣшало красной орденской лентѣ вполнѣ рисоваться на высокомъ черномъ галстухѣ, и, дополняя туалетъ, на носу его были золотыя очки, посаженныя такъ ловко, что Ивану Кузьмичу стоило немного важно откинуть назадъ голову, чтобы читать съ ихъ помощью, и склонить ее, чтобы, приподнявъ брови, хитро и глубокомысленно смотрѣть поверхъ нихъ.

Въ такомъ положеніи былъ Иванъ Кузьмичъ, когда вошедшій слуга доложилъ объ Ивановѣ. Иванъ Кузьмичъ посмотрѣлъ на него черезъ очки, сдѣлалъ видъ, какъ будто задумался, хотя не имѣлъ и мысли отказать Иванову, и наконецъ сказалъ: «проси».

Съ Ивановымъ Иванъ Кузьмичъ былъ всегда любезенъ и, сколько могъ, простъ. Есть люди, передъ которыми никто не важничаетъ и не говоритъ свысока, хотя бы они были и моложе, и ниже въ служебной іерархіи: чувствуется, что передъ ними это безполезно и даже неловко. Кромѣ того, и Иванъ Кузьмичъ любилъ Иванова и уважалъ, какъ дѣльнаго человѣка. Поэтому онъ его принялъ, какъ принималъ только равныхъ себѣ.

— А я сегодня не пошелъ въ присутствіе, сказалъ онъ послѣ обычныхъ привѣтствій: — голова что-то ужасно болитъ, такъ, вотъ начиная съ этого мѣста вплоть до затылка. Ужь кофеемъ лечусь. Не прикажете ли?

— Благодарствуйте: я не пью, отвѣчалъ Ивановъ.—А у насъ сегодня слушается дѣло NN?

— Да! знаю! родственника Петра Петровича, съ этой вдовой.... какъ бишь ее? забылъ фамилію! Ну, да она должна его проиграть, я думаю.

— Не знаю. Я, съ своей стороны, подалъ мнѣніе за нее, сказалъ Ивановъ.

— Мнѣніе! гм! мнѣніе! А позвольте полюбопытствовать, нѣтъ ли его съ вами?

— Вотъ у меня черновая: я нарочно принесъ вамъ показать.

Иванъ Кузьмичъ поправилъ очки, закинулъ голову назадъ, придалъ было бровямъ глубокомысленное выраженіе, но съ первыхъ же словъ приподнялъ ихъ въ видѣ восклицательнаго знака, да такъ и оставилъ.

Ивановъ между тѣмъ закурилъ сигару и пытался разсмотрѣть картину, на которой ничего не было видно.

— Гм! сказалъ Иванъ Кузьмичъ, складывая бумагу и передвинувъ брови. — Вы разсматриваете вопросъ съ новой точки зрѣнія. Конечно, въ отношеніи единокровности вдова права, а взгляните-ка на нее со стороны единоутробности, такъ и выйдетъ вопросъ нерѣшенный.

— Мнѣ кажется, она со всѣхъ сторонъ права, сказалъ Ивановъ.

— Нѣтъ, не говорите! А единоутробность-то! Единоутробность ей дѣло портитъ! Да притомъ же у родственниковъ-то Петра Петровича дѣтей то что! дѣтей-то что! да все малъ-мала-меньше.

— Это къ дѣлу нейдетъ: пожалуй, вдова выйдетъ замужъ и у нея можетъ быть ихъ вдвое больше.

— Ну нѣтъ, ужь вы этого не говорите! гдѣ ей! Вѣдь у того, прибавилъ Иванъ Кузьмичъ почти шопотомъ и раздвинувъ брови:—жена-то все двойни носитъ. Да на бѣду-то все живутъ. Давно ли родила, а вотъ опять съ здаинимъ ходитъ! Да! Ну да и Петръ-то Петровичъ вѣдь, знаете, человѣкъ одинъ съ нѣсомъ, ну да и съ гоноромъ человѣкъ: не любитъ, чтобы ему на ногу наступали.

— Можетъ, у него мозоли, замѣтилъ Ивановъ.

— Вы все шутите! А дѣло щекотливое,—вѣрьте мнѣ. Ну вотъ теперь слѣдствіе поднялось съ Тараринной. Дѣло каверзное! Концовъ не соберешь; въ третій разъ переслѣдуютъ. Ну какъ туда васъ турнутъ! Да и Петръ-то Петровичъ человѣкъ почтенный, знаете: это его огорчитъ; а у него приливы крови бываютъ къ головѣ....

— Послушайте, Иванъ Кузьмичъ. Вы хотите, чтобы я говорилъ серьёзно—извольте! Дѣла Тараринскаго я не боюсь, даже нахожу, что это очень любопытное дѣло. Что же касается до Петра Петровича и его приливовъ крови, до того, что ему многіе кланяются, оттого, что у него есть родня и знакомые, которымъ онъ самъ кланяется вдвое ниже, — все это нисколько не измѣняетъ ни дѣла, ни моего взгляда на него. Двойни, приливы крови и родство—не юридическіе факты. Я хотѣлъ только показать вамъ свое мнѣніе, но не измѣнно его.

И Ивановъ взялся за шляпу.

— Да! сказалъ Иванъ Кузьмичъ, перемѣнивъ тонъ и поправивъ очки: — дѣйствительно со стороны единокровности вы справедливы, — совершенно справедливы, хотя съ точки единоутробности и можно сдѣлать возраженія. Но проклятая головная боль сегодня мнѣ покоя не даетъ, и мыслей даже никакихъ нѣтъ въ головѣ, — совсѣмъ нѣтъ! точно пустой боченокъ! отъ этого и въ присутствіе не поѣхалъ... Такъ, вотъ, съ этого мѣста вплоть до затылка.... Водки не хотите ли? у меня есть такъ называемая семя-отрадъ: удивительная!

Ивановъ отказался, пожалъ Иванъ Кузьмичу руку и вышелъ.

Иванъ Кузьмичъ, притворивъ дверь, покачалъ вслѣдъ ему головой, спросилъ, дома ли жена, и пошелъ къ ней: онъ чувствовалъ необходимость высказаться кому нибудь.

—

У Маріонъ сидѣлъ князь Островскій. Онъ былъ весьма доволенъ раздачею билетовъ, потому что это давало ему случай перебывать въ двадцати мѣстахъ въ одно утро и очень нескучно убить его. Въ строгомъ смыслѣ, онъ болѣе развозилъ новости, чѣмъ билеты, и собиралъ болѣе слуховъ и сплетенъ, чѣмъ денегъ.

Вѣроятно, онъ много сообщалъ любопытныхъ вещей Маріонъ, довольно равнодушно его слушавшей, прежде нежели нашъ разсказъ дошелъ до него; но въ настоящее время рѣчь его коснулась близкаго намъ предмета.

— Ахъ! забылъ вамъ разсказать уморительную вещь, говорилъ Островскій. — Былъ я сегодня у Тамарина. Онъ только что всталъ, закусываетъ и пьетъ, вмѣсто чаю, зельтерскую воду. Что, я говорю, пріятель, вѣрно вчера шампанскаго выпилъ?

— Нѣтъ, говоритъ:—на ночь скукой объѣлся.

— Признайся, вѣрно разсердилъ кто нибудь, говорю я.

— Да какъ, говоритъ, не разсердиться: цѣлый вечеръ видѣть передъ глазами глупѣйшую идилію—Ишину съ Ивановымъ; да тутъ, говоритъ, еще....

Островскій остановился.

— Что такое? спросила Маріонъ.

— А тутъ вы подтрунили надъ его прежней слабостью.... За то, кажется, и досталось отъ него Ишиной; да еще онъ жалѣлъ, что она скоро уѣхала.

— Не говорите, пожалуйста, сказала Маріонъ:— Тамаринъ былъ вчера невзвинителенъ.

— Ну ужь и невзвинителенъ! Помилуйте! Дѣвочка была отъ него безъ ума, съ досады вышла замужъ за пошлаго дурака, прекрасно! Но вотъ проходитъ какихъ нибудь пять лѣтъ, Тамаринъ возвращается и, вмѣсто того, чтобы найти ее по крайней мѣрѣ холодной, страдающей, вдругъ видитъ пополнѣвшую барыню, очень довольную своимъ мужемъ, который позволяетъ ей любезничать съ какимъ нибудь Ивановымъ... Да это, надѣюсь, хоть кого взбѣситъ!

— Да! сказала Маріонъ:—дѣйствительно, какъ не страдать ей весь вѣкъ по Тамаринѣ!

— Да ужь лучше страдать весь вѣкъ по Тамаринѣ, чѣмъ утѣшаться Ивановымъ. Но послушайте. Этимъ исторія не кончилась. Мнѣ хотѣлось посмотрѣть на огорченнаго любовника: вѣдь Ивановъ вчера все слышалъ. Заѣзжалъ я къ нему, онъ какъ будто и ничего, только волосы встрепаны; пріятель

у него сидитъ. О чемъ же начали они меня разспрашивать: о прежнихъ отношеніяхъ Тамарина къ Иминой!

— Ну, вы, я думаю, не поскромничали, замѣтила Маріонъ.

— О, нѣтъ! конечно, я разсказалъ имъ кое-что, но повѣрьте, далеко не все, что знаю. Да Иванову и говорить нельзя: онъ и такъ-то всегда серьёзенъ, а влюбленный долженъ быть просто свирѣпъ: подумаетъ еще, что клевещу, скажетъ: фактовъ подавай....

— Здравствуйте, князь, сказалъ Иванъ Кузьмичъ, входя. — Вы вѣрно говорите про Иванова: вообразите, какихъ вещей онъ мнѣ сейчасъ наскazалъ! говоритъ: и двойникъ, и родство Петра Петровича, и связи его,—все, говоритъ, это не юридическіе факты; ему, говоритъ, всѣ кланяются оттого, что онъ самъ кланяется вдвое ниже.... да и пошелъ, и пошелъ.

— Ха, ха, ха! Ну, да ему сегодня можно извинить: онъ не въ своей тарелкѣ, сказалъ Островскій.

— А что?

— Да такъ: его муха укусила!

— То-то я вижу, что должно быть муха укусила, замѣтилъ глубокомысленно Иванъ Кузьмичъ.— Человѣкъ просто въ петлю лѣзетъ. Видите ли, дѣло есть одно, — каверзное дѣло у вдовы одной съ родственникомъ Петра Петровича. Ну, вдова-то съ нѣкоторой стороны права, т. е. со стороны единокровности, хотя съ точки зрѣнія единоутробности, (Островскій поправился на креслахъ, будто неловко сидѣлъ) и представляются затрудненія. Я, признаться, знаете, чтобы и вдову-то необижать, ну да и Петръ Петровичъ человѣкъ знакомый и всегда такъ любезенъ со мной, я и въ присутствіе не поѣхалъ; думаю, пусть ихъ тамъ! а Ивановъто, какъ вы думаете? брякъ мнѣніе за вдову.... какъ будто она ему теща какая нибудь или свояченица.

— Чтожь, развѣ ему за это достанется? спросила Маріонъ съ любопытствомъ.

— Нѣтъ, матушка! кто говоритъ: достанется! Онъ былъ въ правѣ это сдѣлать. Даже съ нѣкоторой стороны, т. е. съ одной стороны, онъ и справедливъ; да мнѣніе! вѣдь молодые люди шутятъ мнѣніемъ.... Я вотъ тридцать-три года служу, да никогда своего мнѣнія не подавалъ, да притомъ нелюблю, когда и другіе подаютъ. Ивановъ хорошій человѣкъ, дѣльный и честный человѣкъ, да безпокойный, безпокойный! Ну что онъ теперь Петра Петровича вооружилъ противъ себя: онъ шутитъ Петромъ Петровичемъ! ему горя мало! говоритъ: справедливость! Ну, а вотъ какъ пошлютъ тарараевское дѣло преслѣдовать; вотъ ему и справедливость, и юридическій фактъ! да это и.... и.... и....

Иванъ Кузьмичъ замоталъ головой и не договорилъ.

Островскій этимъ воспользовался и всталъ.

— Постойте, князь! куда же вы?

— Нужно; дѣла есть, сказалъ онъ, торопясь уйти.

— Подождите, сказала Маріонъ. — Увидите вы сегодня Тамарина?

— Какже! мы вмѣстѣ обѣдаемъ.

— Скажите ему, чтобъ заѣхалъ вечеромъ.

— Непремѣнно! А меня чтожь не зовете.

— Вамъ будетъ скучно со мной и мнѣ съ вами едва ли не тоже.

— Вы меня вѣчно огорчаете; поѣду утѣшаться, сказалъ Островскій.

— Да чего лучше, князь! хотите семи-отрадной? чудная водка; по секрету рецептъ достала! пойдемте ко мнѣ.

— И какъ нельзя больше кстати. А меня сейчасъ Григорій Григорьичъ угостилъ домашней билибердиной должно быть *трехъ горестей*: къ нему жена съ дѣтьми пріѣхала.

И онъ ушелъ съ Иваномъ Кузьмичемъ въ его кабинетъ.

—

Все, что слышала Маріонъ про Иванова, ее безпокоило. Его разспросы Островскаго, его вмѣшательство въ дѣло, которое могло навлечь ему непріятности, въ чемъ убѣдилъ ее еще болѣе Иванъ Кузьмичъ во время обѣда, она приписывала раздражительности влюбленнаго, оскорбленнаго вчерашней выходкой Тамарина и дошедшими до него слухами о Варинькѣ. Совѣстливость Маріонъ упрекала ее. Добрая душа, она считала себя отчасти причиной всего происшедшаго: не затрогивай она раздражительнаго самолюбія Тамарина, можетъ быть, ничего бы и не было. А тутъ изъ-за ея прихоти нарушается тихое счастіе двухъ любящихся существъ (Маріонъ, не вполнѣ довѣряя слухамъ, все-таки считала Варинькy и Иванова немного влюбленными другъ въ друга),—можетъ быть, имъ грозитъ разлука. Ивановъ, котораго она мало знала, но считала за хорошаго человѣка, можетъ повредить себѣ, и вообще затѣвается какая-то *исторія*,—какъ очень часто изъ-за ничего, благодаря праздными толкамъ, онѣ затѣваются въ небольшихъ городахъ, и въ эту исторію будетъ впутано имя Варинькн, къ которому, какъ доброе существо къ доброму, она чувствовала невольное расположеніе. Все это мгновенно представилось Маріонъ, какъ только она услыхала болтовню Островскаго и разсказъ мужа; выходка Тамарина ей и безъ того не нравилась, и поэтому она поручила Островскому пригласить Тамарина къ себѣ, чтобы высказать ему свое неудовольствіе, какъ позволяетъ это себѣ всякая хорошенькая женщина съ мужчиной, который за ней ухаживаетъ.

Но, обдумывая болѣе это маленькое происшествіе, маленькіе слухи, маленькія предположенія, изъ которыхъ, какъ изъ всего маленькаго, могли выйти большія непріятности, что въ провинціальной жизни, гдѣ все очень мелко, обыкновенно такъ и водится,—Маріонъ рѣшилась употребить все усиліе, чтобы потушить дѣло въ самомъ началѣ. Че-

мудрено, что она въ этомъ случаѣ поступила какъ умный дипломатъ; я сказалъ уже, что она была хорошенькая женщина, но ей надобно было имѣть дѣло съ самолюбіемъ такого человѣка, какъ Тамаринъ, а тутъ и дипломація не поможетъ. Маріонъ придумывала такъ долго, сколько можетъ придумывать женщина, т. е. ровно нѣсколько минутъ съ секундами, — и ничего не придумала. Между тѣмъ время шло; нѣсколько разъ мысль ея обращалась къ занимавшему ее предмету и съ прежнимъ же неуспѣхомъ оставляла его, чтобы тотчасъ же перенестись совсѣмъ на другой. Маріонъ начинала уже сердиться, но, взглянувъ по привычкѣ на себя въ зеркало, улыбнулась и вовсе перестала думать.

Часу въ девятомъ вечера, когда Маріонъ, прижавшись въ уголъ дивана, курила пахитосу, ей доложили о Тамаринѣ. Поза ея не была картинна; но она, по примѣру героинь свѣтскихъ романовъ, не перемѣнила ея, зная, что всякая поза хорошенькой женщины очень хороша; туалетъ ея былъ ея обыкновенный туалетъ, вообще она осталась такова, какъ была всегда. Тамаринъ, напротивъ, былъ въ какомъ-то апатическомъ расположеніи духа; онъ какъ будто усталъ, что̀, можетъ быть, казалось отъ желтоватаго цвѣта лица, при огнѣ переходящаго въ блѣдность.

Маріонъ приняла его немного холодно.

— Вы меня звали? спросилъ Тамаринъ.

— Да! отвѣчала Маріонъ, не подавъ ему руки: —я хотѣла вамъ сказать, что сердита на васъ.

— Что̀ вамъ за охота застращать меня съ первыхъ же словъ! хоть бы приготовили! замѣтилъ Тамаринъ, весьма равнодушно садясь въ кресло.

— Вы не изъ робкихъ! а все-таки я вамъ скажу, что серьёзно сердита на васъ.

— За что̀жь немилость! ужь не за Имшину ли?

— И за нее, и за себя. Съ чего, во-первыхъ, вы взяли, что доставляете мнѣ удовольствіе нападками на бѣдную Вариньку?...

— Я узнаю вашу чувствительность, отвѣчалъ Тамаринъ.—Когда передъ хорошенькой женщиной является другая хорошенькая, она съ ней очень мила и любезна, хоть и не прочь немножко ей повредить. Чуть эта женщина унижена, сейчасъ являются глубокое состраданіе, и участіе, и сожалѣніе.... Это я не о васъ собственно говорю....

— Не обо мнѣ говорите, а обо мнѣ думаете, и думаете ошибочно, потому что судите по себѣ. Я ни съ кѣмъ не соперничаю, а съ Варинькой тѣмъ менѣе, да и не изъ-за чего. Впрочемъ, вы мнѣ не вѣрите; да это все равно!

Тамаринъ наклонилъ голову въ знакъ согласія.

— Во вторыхъ, вашъ поступокъ съ Варинькой не извинителенъ. Мстить, и мстить женщинѣ, за то, что она черезъ пять лѣтъ перемѣнила мнѣніе и ей другой нравится больше васъ! Прекрасно!

— Вы находите, что это было мщеніе? Я не зналъ, что у меня такія южныя страсти.

— *Да это мстительность* самолюбія, которое до того раздражено, что оскорбляется всѣмъ на свѣтѣ. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, забыть Тамарина, когда онъ нѣсколько лѣтъ назадъ удостоивалъ своимъ вниманіемъ! какъ остаться равнодушною при его появленіи и быть любезною съ какимъ нибудь Ивановымъ!..

И, говоря это, Маріонъ дѣйствительно сердилась; лицо ея нѣсколько разгорѣлось и черные глаза оживились: она была чудно хороша.

— Вы должны быть довольны, прибавила она съ злой усмѣшкой: — Ивановъ все слышалъ, и вашъ разговоръ, можетъ быть, будетъ имѣть непріятныя послѣдствія и для него, и для Вариньки. Радуйтесь!

Тамаринъ дѣйствительно былъ доволенъ. Въ наше время слова «какъ вы злы»—имѣютъ значеніе комплимента. Притомъ же онъ зналъ, что женщина, которая сердится, есть уже женщина, которая интересуется. Онъ посмотрѣлъ на одушевленную Маріонъ и не могъ удержаться отъ улыбки; но онъ ей придалъ другое выраженіе.

— Дѣйствительно, я ужасно злой человѣкъ и, кромѣ того, страшно самолюбивъ и мстителенъ, сказалъ онъ. Въ благодатномъ городѣ N очень мирно живутъ два любящихся существа, восхищаются красотами природы и собственными душевными качествами, и, какъ кажется, одинъ обѣщаетъ другому открыть новый міръ, гораздо чудеснѣе открытаго Колумбомъ. И вдругъ, въ среду этихъ невинныхъ занятій, откуда то занесло какого-то Тамарина, и этому Тамарину вздумалось, скуки ради, посмѣяться надъ мечтательной провинціальной барыней, у которой во время оно былъ совсѣмъ другой вкусъ... и — о ужасъ!—сколько шуму и суеты въ этомъ мирномъ кругу, какая тревога, какія огорченія! Тамаринъ эгоистъ, Тамаринъ золъ, Тамаринъ мстителенъ! а Тамарину просто пришла охота мимоходомъ задѣть хлыстикомъ по муравейнику. Виноватъ ли онъ, что все въ немъ такъ перетревожилось.

— Да! съ тѣмъ исключеніемъ, сказала Маріонъ:— что въ этомъ муравейникѣ онъ задѣлъ женщину, которая ему прежде нравилась, и человѣка, котораго она предпочла ему!

— Мнѣ столько женщинъ нравилось на моемъ вѣку и столько изъ нихъ потомъ плѣнялись другими, что если бы вздумалось имъ мстить, я бы давно попалъ въ герои десяти трагедій. И, повѣрьте, если бы я зналъ, что мой предполагаемый соперникъ и его дульцинея такъ встревожатся отъ моей шутки и что ее припишутъ коварнымъ замысламъ оскорбленнаго самолюбія, я бы ихъ оставилъ мирно наслаждаться тихимъ счастіемъ.

— А если такъ, то докажите это! Положимъ, не ваша вина, что, благодаря вѣстовщикамъ, изъ шутки дѣлаютъ какую-то исторію, что, можетъ быть, они приняли ее слишкомъ горячо: вамъ очень легко все поправить. Варинька васъ не приняла—поѣзжайте къ ней завтра, обратите все въ шутку и докажите ей, что вы на нее не сердитесь.

— Вамъ этого хочется? сказалъ Тамаринъ.

— Вы мнѣ доставите удовольствіе, сказала Маріонъ:—тѣмъ больше, что я тутъ считаю себя немного виноватой.

— Извольте! сказалъ Тамаринъ:—я васъ успокою и поѣду завтра въ Имшиной. Я часто игралъ роль камня, который падаетъ въ воду и возмущаетъ ея невинныхъ обитателей. Пора приняться за другую. Какъ сладко, должно быть, чувство отца, который простираетъ руки надъ любящимися сердцами и говоритъ: «дѣти мои, будьте счастливы!»

Тамаринъ всталъ, поклонился и вышелъ.

Маріонъ поглядѣла ему вслѣдъ и улыбнулась.

VIII.

Ивановъ возвратился домой часу въ четвертомъ. Онъ забылъ и вчерашнюю выходку Тамарина, и болтовню Островскаго, и Вариньку. Цѣлое утро онъ ѣздилъ по дѣламъ или ими занимался, и въ головѣ его, какъ у игрока, проведшаго нѣсколько часовъ за картами, вмѣсто тузовъ и двоекъ, вертѣлась какая-то пестрая смѣсь отношеній, предписаній, перебранившихся бабъ и франтовъ, хлопочущихъ объ свидѣтельствахъ на имѣнія. Кромѣ того, его очень интересовало вновь открывшееся тарараевское дѣло, которымъ Иванъ Кузьмичъ хотѣлъ запугать его, и дѣло это, съ своей запутанностью, сложностью и драматизмомъ завязки, представлялось ему во всей юридической трудности и прельщало его воображеніе, какъ прельщаетъ стратегиста планъ неизвѣстнаго ему сраженія, математика—вычисленіе пути новой кометы, или женщину—романъ какого нибудь пресловутаго французскаго писателя въ двадцати-семи томахъ и съ самымъ страшнымъ заглавіемъ. Однакожь, ни тарараевское дѣло, ни хаосъ бумагъ и просителей не заставили его забыть часъ обѣда. Онъ позвалъ слугу, чтобы велѣть накрыть на столъ.

— Изволили видѣть письмо? спросилъ слуга.

— Какое письмо?

— Принесли отъ Имшиныхъ.

Онъ взялъ его съ письменнаго стола, подалъ и вышелъ.

Ивановъ повертѣлъ письмо въ рукахъ, распечаталъ, нашелъ кругомъ исписанный мелкимъ почеркомъ почтовый листъ, какъ только умѣютъ писать однѣ женщины, взглянулъ на подпись, пожалъ плечами и началъ читать.

Письмо было отъ Вариньки. Вотъ оно:

«Мое письмо удивитъ васъ. Вы сдѣлаете вопросъ: къ чему писать, когда мы такъ часто видимся, когда можемъ все пересказать другъ другу? Это правда. Но есть вещи, которыя тяжко пересказывать, не потому, чтобы въ нихъ заключалось сознаніе вины или проступка: нѣтъ! но просто, есть чувства, есть случаи, про которые трудно говорить женщинѣ даже самому близкому человѣку, даже своему другу. А я именно объ этомъ должна говорить съ вами: вотъ отчего я къ вамъ пишу.

«Вамъ показался страннымъ вчерашній поступокъ человѣка, котораго имя мнѣ даже непріятно написать здѣсь, его насмѣшки, его намеки на прошедшее? Еще страниѣе, можетъ быть, было для васъ то, что я не остановила его, растерялась и, вмѣсто отвѣта, котораго онъ заслуживалъ, спѣшила уйти. Этому вы были причиной. Я знала, что вы тутъ, что вы все слышите: меня смущала мысль: что вы обо мнѣ подумаете? мнѣ было совѣстно и досадно, что я ничего не говорила вамъ! Отчего—спросите вы—именно объ васъ только я думала въ эту минуту? потому, что вашимъ мнѣніемъ я дорожу болѣе всего, потому, что считаю васъ добрымъ, искреннимъ, безкорыстнымъ другомъ... Ошиблась ли я?.. Вотъ причина, по которой хотѣла я только одного—какъ можно скорѣе прервать это невыносимое положеніе. Оно отчасти продолжается для меня и теперь. Я буду спокойна только тогда, когда все вамъ скажу, хотя, Богъ видитъ, какъ мнѣ тяжело припоминать это, полузабытое, уже неясное, какъ непріятный сонъ, прошлое. Слушайте же.

«Лѣтъ пять-шесть назадъ, я еще не была замужемъ, а жила съ матушкой въ Неразлучномъ. Мнѣ было осьмнадцать лѣтъ; сосѣдей, особенно молодыхъ, не было. Володю, съ которымъ я росла, я считала за роднаго, за мальчика, и потому не обращала на него большаго вниманія. Въ это время, въ четырехъ верстахъ отъ насъ, поселился Тамаринъ.

«Если бы я встрѣтила его не приготовленная, не настроенная доходящими до меня слухами, я бы, можетъ быть, прямо взглянула на него и скоро его разгадала. Но у меня была подруга, которая, не любя его, выставила въ какомъ-то загадочномъ свѣтѣ; возлѣ насъ жила прехорошенькая баронесса ***, которая, говорятъ, страстно любила Тамарина, и на которую онъ имѣлъ какое-то странное вліяніе. Онъ былъ интересенъ, ловокъ, опытенъ; складъ ума его былъ для меня новъ и оригиналенъ — звали его демономъ. Баронесса уѣхала, и онъ началъ ухаживать за мной: чего же еще больше, чтобы заставить полюбить себя молодую, неопытную дѣвочку?.. Да, я полюбила его!.. Ужь какъ тяжело мнѣ было написать это слово!..

«Теперь, оглядываясь черезъ столько лѣтъ на это отжитое чувство, оно мнѣ кажется страннымъ и непонятнымъ... не потому, что я любила Тамарина, но потому, что я любила въ немъ именно его ложную сторону—то, что теперь заставило бы меня отвернуться отъ него и пожалѣть о немъ. Мнѣ въ немъ нравился не человѣкъ свѣтскій, одаренный умомъ рѣзкимъ, оригинальнымъ и анализирующимъ, не человѣкъ богатый способностями, на ничто потратившій ихъ, самолюбивый потому, что онъ сознавалъ собственную цѣну, и мученикъ этого самолюбія: нѣтъ! нравились мнѣ въ немъ его игра чувствами, его душевныя страданія, которымъ я вѣрила и которыхъ источникъ мнѣ былъ неизвѣстенъ. Видѣла я въ немъ человѣка высшей натуры, одареннаго какою-то моральною властью;

мнѣ нравилось въ немъ особенно то, чего я не понимала: его загадочность, его *демонизмъ*,—они давали просторную канву моему пылкому воображенію и ему было любо вышивать по ней прихотливые узоры! Много доставлялъ онъ мнѣ горькихъ минутъ, глубокихъ страданій, и я ихъ принимала, какъ что-то должное, чѣмъ обязана была платить за его любовь: мнѣ сладко было даже страдать отъ него... Что вы хотите! когда мы любимъ человѣка, мы любимъ въ немъ и его недостатки, которые кажутся намъ въ какомъ-то особенномъ свѣтѣ. Я была слѣпа; но я тогда была счастлива.

«Тамаринъ на зиму переѣхалъ сюда; я уговорила матушку сдѣлать тоже.

«Здѣсь, живя и встрѣчаясь въ обществѣ, воображенію было меньше раздолья. Поступки Тамарина со мною, его боязнь общественнаго мнѣнія, заставили меня взглянуть на него иначе, и изъ подъ моего призрака началъ проглядывать для меня другой человѣкъ: сухой эгоистъ, безсильный самолюбецъ. Простая, безъискусственная любовь Володи показалась мнѣ въ другомъ свѣтѣ, мнѣ хотѣлось разорвать связь съ Тамаринымъ—я вышла замужъ. Признаюсь, что я это сдѣлала скорѣе убѣгая отъ моей прежней любви, чѣмъ идя на встрѣчу новому чувству, и не безъ борьбы обошлась мнѣ эта рѣшимость: но какъ скоро мысль допускаетъ возможность чего либо, первый шагъ къ исполненію уже сдѣланъ.

«Что вамъ сказать больше? Когда я вышла замужъ, Тамаринъ снова явился ко мнѣ, и въ этомъ случаѣ любовь его была, можетъ быть, искреннѣе всѣхъ его прежнихъ чувствъ; но ослѣпленіе начинало уже исчезать: онъ мнѣ показался мелокъ. Тамаринъ уѣхалъ. Тихая семейная жизнь въ деревнѣ благотворно подѣйствовала на меня. Когда побудешь глазъ на глазъ съ природой, отъ души такъ легко отпадаетъ все ложное и искусственное. Потомъ далъ Богъ послалъ въ наше уединеніе. Да! вы именно нужны были для моего совершеннаго исцѣленія и имѣли на меня большое вліяніе. Чтобы увидѣть всю ложь, всю болѣзненность, всю неестественность человѣка умнаго и способнаго, какъ Тамаринъ, надобно было поставить противъ него васъ, благороднаго, честнаго, съ вашимъ простымъ и здравымъ взглядомъ на вещи, съ вашей любовью ко всему прекрасному и трудомъ для его достиженія. Говорю я вамъ прямо и о моемъ мнѣніи, и о моемъ чувствѣ къ вамъ. Мнѣнія моего вы не примете за лесть. Чувства мои такого рода, что я могу о нихъ говорить громко, не краснѣя ни передъ собою, ни передъ другими: вы, я знаю, ихъ не перетолкуете.

«Теперь вы поймете, отчего я вчера была такъ неизобразимо, отчего я такъ боялась вашего осужденія; но, высказавъ вамъ все, я спокойна. Мнѣ не страшны будутъ выходки Тамарина, и я найду на нихъ отвѣтъ, когда вы узнаете наши прежнія отношенія, въ которыхъ онъ думалъ найти права надо мною. Я слѣдую вашему правилу—избѣгать ложныхъ положеній, и все вамъ высказываю. Васъ, котораго я уважаю болѣе всѣхъ, избираю моимъ судіей: неужели вы обвините меня?

«В.»

Ивановъ прочиталъ письмо, повертѣлъ его въ рукахъ, опять мѣстами перечиталъ и положилъ въ портфель. По выраженію лица его, видно было, что онъ остался доволенъ его содержаніемъ, но что, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно заключало въ себѣ что-то его смущающее.

Долго Ивановъ ходилъ скорыми шагами по комнатѣ; онъ не слыхалъ, какъ слуга два раза докладывалъ ему, что стынетъ горячее на столѣ,—наконецъ, внимая его гласу, пообѣдалъ разсѣянно, закурилъ сигару и опять началъ ходить. Немного погодя, Ивановъ какъ будто на что-то рѣшился, спросилъ шляпу и уѣхалъ.

—

Былъ вечеръ. Варинька сидѣла одна въ извѣстной намъ комнатѣ, за работой, какъ и въ первый разъ, когда мы встрѣтились съ ней въ этомъ разсказѣ. Только она не была такъ покойна, какъ прежде. Лицо ея было блѣдно, и на немъ, какъ отъ легкаго облака въ ясный день, лежалъ какой-то оттѣнокъ, который придаетъ невольная дума. Зато, при каждомъ скрыпѣ двери, когда Варинька быстро поворачивала голову, яркій румянецъ мгновенно разливался на щекахъ ея и потомъ медленно, медленно съ нихъ сбѣгалъ. Она продолжала шить бѣгло, скоро, какъ будто этой спѣшностью работы торопила время. Видно было, что какая-то неспокойная мысль управляла ея движеніями.

Съ полчаса или часъ длилось это ожиданіе; наконецъ дверь еще разъ стукнула, румянецъ опять вспыхнулъ на щекахъ Варинькн, но въ этотъ разъ послышалась знакомая походка, и румянецъ исчезъ мгновенно: блѣдная, но съ веселой улыбкой встрѣтила Варинька вошедшаго Иванова.

Они, какъ и всегда, пожали другъ другу руку, но крѣпче обыкновеннаго было ихъ рукопожатіе.

— Я хотѣлъ бы сердиться на васъ, сказалъ Ивановъ. — Къ чему это объясненіе, къ чему эта исповѣдь прошлаго? развѣ не достаточно было бы одного слова вашего, чтобы разъяснить мои сомнѣнія, если бы я ихъ имѣлъ? Развѣ, наконецъ, я сомнѣвался когда нибудь въ васъ? Но, вспомнивъ вашу довѣренность, мнѣ остается только искренне, искренне благодарить за нее.

Варинька подняла на Иванова темно-голубые глаза, зарумянилась и тихо спросила:

— Такъ вы не обвиняете меня?

— Боже мой! кто-жъ не увлекался изъ насъ ложнымъ эффектомъ, загадочностью... кто не ошибался? отвѣчалъ Ивановъ.

— Да, я тогда была молода! вздохнувъ, сказала Варинька.

— Послушайте: зачѣмъ тревожить это прошлое! оно прошло—и слава Богу! Вы изъ него вынесли спасительный урокъ. Оставьте его. Стоятъ ли нѣсколько вздорныхъ словъ, сказанныхъ Тамаринымъ,

чтобы обращать на нихъ вниманіе. Если бы вы встрѣтили ихъ болѣе хладнокровно, вы бы, конечно, не допустили его и, надѣюсь, впередъ не допустите повторить что нибудь подобное.

— О, нѣтъ! теперь, когда вы все знаете, когда я увѣрена, что вы не обвиняете меня, я спокойна, и меня нисколько не тревожитъ встрѣча съ Тамариным; но вчера, если бы вы знали, какъ мнѣ было совѣстно предъ вами. Я не спала цѣлую ночь. Меня мучило сомнѣнье, что вы обо мнѣ подумаете, что вы подумаете объ этомъ прошломъ, на которое такъ низко намекалъ Тамаринъ. Я не могла себѣ простить, что ничего прежде не сказала вамъ, и успокоилась только тогда, когда все вамъ написала.

— Я уже васъ благодарилъ за довѣренность, сказалъ Ивановъ: — и, повѣрьте, высоко цѣню ее. Но къ чему вамъ подчинять себя чужому мнѣнію? отчего это недовѣріе къ собственному суду? развѣ вамъ недостаточно его?

— Чтожь дѣлать! мы, женщины, ужь такъ созданы: намъ нужна непремѣнно опора или руководитель. Мужчина можетъ насъ увлечь въ гибель, онъ же долженъ поддерживать насъ и на прямомъ пути. Я не думаю, чтобы женщина по собственному произволу могла пасть или возвыситься. Развѣ вы недовольны, что я обратилась къ вамъ?

Варинька посмотрѣла на Иванова такъ мило, такъ мило, что вѣрно каждый изъ васъ, читатель, хотѣлъ бы быть на его мѣстѣ.

Ивановъ, вмѣсто отвѣта, улыбнулся и немного наклонился.

— Да! продолжала Варинька: — я вамъ должна высказаться... Я недаромъ обратилась къ вамъ. Я вамъ многимъ, многимъ обязана, хотя вы, быть можетъ, и не замѣчаете этого. Общество честнаго, безхитростнаго и благороднаго человѣка невидимо цѣлебно. Наши тихія, откровенныя бесѣды много измѣнили меня. Я чувствую,—я какъ-то теплѣе, прямѣе и проще стала смотрѣть на вещи, у меня есть сознаніе, что я лучше стала съ тѣхъ поръ, какъ узнала васъ: какъ же мнѣ не уважать, какъ же мнѣ...

Варинька немного остановилась.

— Какъ же мнѣ не чувствовать къ вамъ искренней довѣренности и дружбы!

Варинька говорила это съ какой-то особенной добротой и задушевностью. Слушая ее, казалось, что она дѣйствительно должна была все это высказать. Она, кажется, была бы неправа, ей было бы совѣстно передъ собой не сказать Иванову того, что она чувствовала. И на ея прямодушномъ, откровенномъ лицѣ, немного зарумянившемся и какъ-то особенно въ эту минуту тихо-прекрасномъ и одушевленномъ, можно было читать искренность каждаго слова, замѣтить, какъ оно было прочувствовано въ душѣ и какъ вѣрно его передали.

Ивановъ смотрѣлъ на Ваиньку и съ удовольствіемъ, и съ грустью. И на его умномъ и довольно рѣзко очертанномъ лицѣ показалось мягкое, несвойственное ему выраженіе, какъ будто какое-то тоскливое чувство невольно пробилось наружу и смутило эти рѣзкія черты.

— Вы слишкомъ много мнѣ приписываете, отвѣчалъ онъ.—Не знаю, кто изъ насъ болѣе выигралъ отъ взаимнаго сближенія; и я въ свою очередь могъ бы сказать, чѣмъ я вамъ обязанъ. Но мнѣ особенно грустно было васъ слушать именно теперь. Чѣмъ короче и задушевнѣе будетъ наше сближеніе, чѣмъ полнѣе мы поймемъ необходимость другъ въ другѣ, тѣмъ больше будетъ лишеніе и тѣмъ труднѣе разлука: мнѣ надобно ѣхать.

— Куда это? поблѣднѣвъ, съ недовѣріемъ, спросила Варинька.

— Мнѣ даютъ порученіе въ ***.

— И на долго?

— Не знаю навѣрное, но думаю, что очень на долго. Я нарочно зашелъ къ вамъ, чтобы сообщить объ этомъ. Въ 10 часовъ меня ждутъ, чтобы окончательно переговорить о дѣлѣ.

Ивановъ посмотрѣлъ на часы и, вставая, сказалъ:

— Я почти опоздалъ.

Онъ подалъ и пожалъ Варинькѣ руку; но она смотрѣла на него, всѣ какъ будто не вѣря.

Ивановъ пошелъ, и былъ уже почти у дверей, когда Варинька остановила его.

— Послушайте! сказала она и остановилась въ нерѣшимости.

Ивановъ ждалъ.

Варинька хотѣла, кажется, сказать: «нельзя ли вамъ не ѣхать»?, но только спросила его: такъ вы поѣдете?... Но этотъ вопросъ былъ такъ сдѣланъ, что онъ былъ краснорѣчивѣе всякой просьбы.

Ивановъ немного смутился: какая-то борьба видимо овладѣла имъ.

Было одно мгновеніе, когда Ивановъ, казалось, готовъ былъ отказаться и отъ свиданья, и отъ дѣла и воротиться къ Варинькѣ; онъ стоялъ въ какой-то непонятной нерѣшимости и разсѣянно отвѣтилъ:

— Не знаю, можно ли мнѣ остаться.

У Варинькн былъ еще, казалось, какой-то готовый вопросъ; но, прежде, нежели она его сказала, Ивановъ уже вышелъ.

Варинька осталась одна, блѣдная, задумчивая. Долго, долго сидѣла она, не выпуская изъ рукъ работу и, между тѣмъ, не работая. Въ головѣ у нея толпились смѣшанныя, неожиданныя мысли. То она думала, какъ бы сдѣлать, чтобы Ивановъ не ѣхалъ, то—какъ ей будетъ скучно и пусто, когда онъ уѣдетъ. Она остановилась на первой мысли и дѣлала разныя предположенія, придумывала разные способы, чтобы удержать Иванова. Но, видно, ничего добраго не придумала и не предвидѣла ея хорошенькая и грустно склоненная головка, потому что она все неподвижно-задумчиво сидѣла надъ неконченной работой, и какія-то темныя думы проходили и отражались на ея блѣдномъ челѣ. Въ домѣ была тишина мертвая: все, что было въ немъ живаго, давно уже спало.... только въ передней и

въ дѣвичьей чуть свѣтились нагорѣлыя свѣчи, и камердинеръ Володи и горничная Варинька крѣпко дремали. Наконецъ, когда сани Володи, возвращающагося изъ клуба, подъѣхали къ дому и зазвенѣлъ колокольчикъ у двери, Варинька очнулась будто изъ забытья и, все такая же грустная и задумчивая, взяла свѣчи и вышла въ спальню.

IX.

Чтобы объяснить внезапное рѣшеніе Иванова, мы должны отступить на нѣсколько часовъ назадъ.

Получивъ письмо Вариньки, Ивановъ надъ нимъ задумался. Привыкнувъ прямо смотрѣть на вещи, не обманывать себя ложными истолкованіями, разбирать часто замаскированное начало и по возможности угадывать его исходъ, онъ увидѣлъ изъ письма Вариньки, что эта тихая привязанность, которая начинается обыкновенно привычкой, сходствомъ взгляда и вкуса, крѣпчаетъ и переходитъ во что-то скрывающееся подъ фирмой дружбы; что эта привязанность, высказанная теперь Варинькой, благодаря потрясенію, которое невольно далъ ей Тамаринъ, начинаетъ принимать другой оборотъ и перерождаться въ болѣе опредѣленное чувство. Строго по этому случаю взглянулъ Ивановъ и на себя, и не могъ не признаться, что онъ самъ находитъ большое удовольствіе въ обществѣ Вариньки, что онъ охотно поддается этому *влекущему*,—симпатіи, которая иногда такъ далеко увлекаетъ. Откровенность Вариньки, довѣренность и *дружба*, ею высказанныя, сладко затронули въ немъ самыя звучныя струны,—и зналъ онъ, что едва ли устоитъ противъ заманчивой склонности, если она сильнѣе и опредѣлительнѣе разовьется. Все это предвидѣлъ и чувствовалъ Ивановъ, и неизбѣжный вопросъ: «что изъ этого выйдетъ?», невольно представился ему, не какъ разсчетъ холоднаго эгоизма, который взвѣшиваетъ проигрышъ съ выигрышемъ, но какъ мысль пловца, котораго незамѣтно прибиваетъ волна въ заманчивую пристань и который видитъ, что есть еще время, хотя съ трудомъ, воротиться въ неспокойную, но нужную ему быстрину.

Многіе изъ насъ задаютъ себѣ подобные вопросы, но, въ отвѣтъ на нихъ, настроятъ такихъ рогатыхъ силлогизмовъ, что всегда выводъ будетъ въ пользу собственнаго удовольствія. Не таково было рѣшеніе Иванова. Онъ нашелъ, что нужно избѣжать этого безплоднаго чувства, которое повлечетъ за собой утомительную борьбу, пока еще есть время. Ему тотчасъ же представилось трудное, запутанное дѣло, которымъ пугалъ его Иванъ Кузьмичъ, представляющее широкое поле его жаждѣ труда и пользы. Онъ колебался недолго: отправился къ одному господину, отъ котораго зависѣло назначеніе чиновника, и предложилъ свои услуги. Господинъ этотъ посмотрѣлъ на Иванова съ маленькимъ недоумѣніемъ, но былъ весьма радъ его *предложенію. Лучшаго чиновника* ему нельзя было желать; къ тому же, можетъ быть, онъ, какъ многіе, питалъ уваженіе къ Петру Петровичу, и имѣлъ случай убить однимъ камнемъ двухъ птицъ: поэтому назначеніе ему было обѣщано.

Да не подумаютъ, чтобъ я хотѣлъ выставить моего героя типомъ безукоризненной добродѣтели. Нѣтъ, онъ имѣлъ свои недостатки, и, можетъ быть, эти именно недостатки облегчили ему болѣе, чѣмъ кому либо другому, настоящую рѣшимость: Ивановъ не слишкомъ любилъ нѣжныя склонности. Обладая теплымъ и живымъ сердцемъ, онъ боялся его увлеченій; онъ допускалъ ихъ, но желалъ, какъ онъ выражался, чтобы они пришли потише да поскромнѣе. Ему было бы тяжело нести чувство, которое могло связывать его мысль и дѣятельность. Вотъ отчего выборъ для него былъ нетруденъ; вотъ отчего, говоря съ Варинькой и увидѣвъ всю глубокость ея расположенія, какой-то укоръ, какое-то сожалѣніе поднялись въ глубинѣ его души, — ему жаль стало Вариньки, а можетъ быть и себя; ему въ первый разъ блеснулъ вопросъ: не слишкомъ ли много жертвуетъ онъ потребностями сердца требованію своихъ убѣжденій, не отдаетъ ли онъ много теплаго и святаго чувства за одну мысль? Волнуемый этими вопросами, онъ спѣшилъ уйти отъ Вариньки; и тогда тише и тише становился въ его ушахъ отзвукъ нѣжныхъ словъ; недолго ему представлялся выразительный взглядъ ея прекрасныхъ темно-голубыхъ глазъ. Взорамъ его виднѣе и виднѣе возставала общественная жизнь, сильнѣй и сильнѣй слышались ему житейскіе вопросы. Когда Ивановъ пришелъ домой, онъ уже рѣшился ѣхать.

—

На другой день, часу во второмъ, Ивановъ отправился къ Ивану Кузьмичу. Его онъ не засталъ дома; но слуга сказалъ, что барыня принимаетъ, и Ивановъ зашелъ къ ней проститься.

Маріонъ, кажется, не ждала его, но, судя по встрѣчѣ, была очень довольна его приходомъ.

— A! Mr Ивановъ! Вы рѣдкій гость, сказала она:—и я тѣмъ больше рада васъ видѣть. Отчего вы такъ мало показываетесь, бѣгаете отъ общества?

— Я, дѣйствительно, меньше бываю въ немъ, чѣмъ нужно и чѣмъ бы мнѣ хотѣлось бывать. Но въ этомъ случаѣ я бѣгаю не отъ общества, а отъ тьмы маленькихъ условій, которыя оно налагаетъ и которыя, кромѣ невыносимой скуки, отнимаютъ пропасть времени.

Маріонъ чувствовала по себѣ, какъ пусто и несносно это иго маленькихъ обязанностей; но она не знала, какъ избавиться отъ нихъ: это ее занимало.

— Я васъ понимаю, сказала она: — но не у всѣхъ же такая охота и терпѣнье заниматься дѣлами, какъ у васъ; нельзя же быть и безъ общества: въ немъ скучно, а безъ него еще скучнѣе.

— Разумѣется, если нѣтъ никакого интереса въ жизни, если нѣтъ обязанностей или призванія, которымъ отдаемся съ охотой. Но вы не думайте, чтобы, за всѣмъ тѣмъ, мы оставались безъ обще-

ства. Есть нѣсколько человѣкъ одинаковаго, въ этомъ случаѣ, мнѣнія, которые рады встрѣтиться другъ съ другомъ, и встрѣчаются часто и охотно, просто, безъ претензій: вотъ общество, въ которомъ отдыхаешь.

— Положимъ, такъ; но это общество мужское: а женщины?

— Это другой вопросъ. Вотъ отчего и недостаточенъ нашъ кругъ, отъ этого иногда и есть необходимость выѣзжать въ свѣтъ, особенно если нѣтъ одного или нѣсколькихъ коротко знакомыхъ семействъ.

— Теперь я понимаю, отчего вы мало выѣзжаете! улыбаясь, замѣтила Маріонъ:—у васъ нѣтъ недостатка въ подобномъ семействѣ и остальнымъ вашимъ знакомымъ приходится пенять на монополію Варинькн Ишпиной.

И Маріонъ была довольна оборотомъ, который принялъ разговоръ: ей давно хотѣлось навести рѣчь на Варинькy.

— Я съ ней познакомился лѣтомъ, въ деревнѣ, сказалъ Ивановъ:—а вы знаете, что нигдѣ нельзя такъ скоро сойтись. Это преимущество деревенской жизни; я его сохранилъ и здѣсь.

— И я увѣрена, что сохранили съ удовольствіемъ: Варинька премилая женщина, я ее очень люблю. Давно вы ее видѣли?

— Я къ ней заходилъ вчера вечеромъ, чтобы сказать, что я ѣду. Я и къ вамъ пришелъ проститься.

— Какъ! куда же вы уѣзжаете?

— Довольно далеко отсюда. Меня посылаютъ по дѣлу.

Маріонъ сейчасъ припомнила разговоръ ея мужа. Она вообразила, что Ивановъ, въ минуту огорченія, вошелъ противъ Петра Петровича, и что это причина его отъѣзда. Неудивительно, что она дѣлала подобныя предположенія: она такъ долго жила въ провинціи, гдѣ все объясняютъ по своему. Маріонъ стало жалко Иванова.

— Послушайте, Мr Ивановъ, сказала она: — я вамъ сдѣлаю, можетъ быть, нескромный вопросъ, но сдѣлаю его изъ участія къ вамъ: скажите мнѣ, что за причина вашего отъѣзда?

Иванову странно показался этотъ вопросъ.

— Тутъ нѣтъ ничего нескромнаго или тайнаго, отвѣчалъ онъ.—Дѣло, по которому я ѣду, весьма серьезно; оно было запутано людьми неблагонамѣренными, и я просилъ, чтобы меня назначили, въ надеждѣ открыть истину.

Маріонъ посмотрѣла на Иванова съ недовѣріемъ. Сначала ей показалось необъяснимо: какое дѣло человѣку принимать на себя трудъ для того, чтобы открыть истину въ предметѣ совершенно его не тревожившемъ. Потомъ ей сейчасъ мелькнула другая идея, что Ивановъ, разсорившись съ Варинькой, хочетъ уѣхать онъ нея. Ей была тяжела мысль, что она, можетъ быть, была причиною ссоры, и она рѣшилась, во что бы ни стало, объяснить все Иванову.

— Такъ вы сами просились? спросила она. По тону, которымъ былъ сдѣланъ вопросъ, Ивановъ видѣлъ, что онъ сдѣланъ не для того, чтобы только спросить что нибудь: его очень заинтересовало, почему Маріонъ принимаетъ въ немъ такое участіе.

— Да! отвѣчалъ онъ.—Почему жъ вы не допускаете этого?

— Вы, какъ я слышала, человѣкъ прямой, Мr Ивановъ, и я съ вами буду говорить прямо, въ увѣренности, что вы мнѣ такъ же отвѣтите. Я думаю, что я знаю настоящую причину вашего отъѣзда. Вы мнѣ не хотите ее сказать,—эта деликатность понятна. Но эта причина неосновательна; вы увлечены недоразумѣніемъ, ошибкой, и я бы хотѣла вывести васъ изъ заблужденія, потому что принимаю въ немъ живое участіе.

Иванова очень удивили и догадки Маріонъ, и самое участіе; онъ подозрѣвалъ, что тутъ что-то кроется, и въ свою очередь тоже хотѣлъ все разъяснить.

— Чтобы говорить откровенно, сказалъ онъ:— такъ не надобно играть въ загадки. Я вижу, что вы почему-то принимаете участіе въ моемъ отъѣздѣ и много за это вамъ благодаренъ; но, чтобъ скорѣе дойти до цѣли, я прошу васъ называть вещи прямо, а не намекать на нихъ. Это гораздо проще и лучше. Вѣрьте, что прямая дорога самая короткая: къ чему дѣлать дѣло вполовину!

Маріонъ немного затруднилась. Она знала, что въ свѣтѣ можно все сказать, но умѣючи. Но ей понравился вызовъ Иванова: она видѣла, что съ нимъ именно надо говорить прямо, потому что онъ не перетолкуетъ ничего въ дурную сторону.

— Хорошо! сказала Маріонъ.—Въ такомъ случаѣ признайтесь, что вы уѣзжаете не собственно для дѣла, а просто отъ Варинькн?

Ивановъ не могъ постичь, чтобы женская проницательность могла итти такъ далеко.

— Это не совсѣмъ такъ, отвѣчалъ онъ, подумавши:—но половина причины отъѣзда, дѣйствительно, Варвара Александровна.

— И все это началось по поводу разговора у Р***, который вы слышали.

Глаза Иванова значительно увеличились въ орбитѣ.

— Да, я не хочу лгать: этотъ разговоръ имѣлъ вліяніе, отвѣчалъ Ивановъ.

— Я васъ не спрашиваю, продолжала Маріонъ: —потому что это было бы слишкомъ нескромно; но я знаю, вы любите Варинькy....

— Въ такомъ случаѣ, отвѣчалъ совершенно растерявшійся Ивановъ:—я долженъ признаться, что вы знаете болѣе меня, потому что я, право, самъ не знаю, люблю ли ее....

Маріонъ улыбнулась самодовольно.

— Да, сказала она:—вы ее любите, хотя не признаетесь въ этомъ даже самому себѣ. Въ такомъ случаѣ, я должна вамъ сказать, что причина вашего отъѣзда неосновательна. Варинька нисколько не виновата. Тутъ больше всѣхъ виноваты вы и я.

Ивановъ рѣшительно уже ничего не понималъ.

— Ктожъ обвиняетъ Варвару Александровну? сказалъ онъ. Но я рѣшительно не понимаю, почему мы съ вами виноваты!

— Оттого, что мы были причиной разговора Тамарина съ Варинькой: я—потому, что смѣялась надъ Тамаринымъ и задѣла его самолюбіе, вы—потому, что подали мнѣ этотъ случай и возбудили его ревность.

— Я?! спросилъ съ удивленіемъ Ивановъ.—Г. Тамаринъ меня считаетъ соперникомъ, и короткость M-me Имшиной со мной возбуждаетъ его зависть! Вотъ ужь этого-то я никакъ не ожидалъ! прибавилъ онъ.

— А между тѣмъ это такъ, и вотъ настоящая причина его неизвинительной выходки.—Признавая себя виноватой въ ней, я хочу поправить ея послѣдствія. Вамъ, можетъ быть, дурно пересказали прежнія отношенія Вариньки къ Тамарину, и они огорчили васъ. Но вы несправедливы: Варинька ни въ чемъ не виновата; вы не должны на нее сердиться и не-вѣсть для чего уѣзжать отъ нея.

Ивановъ увидалъ свѣтъ.

— Вы ошибаетесь, сказалъ онъ.—Прошлое Варвары Александровны мнѣ хорошо извѣстно, потому что она сама захотѣла мнѣ все разсказать. На нее я нисколько не сержусь, и не имѣю ни права, ни причины сердиться: она ни въ чемъ не виновата.

— Такъ зачѣмъ же.... и Маріонъ остановилась. —Нѣтъ! сказала она:—я ошиблась и невольно вовлекла васъ въ откровенность; я не имѣю права спрашивать болѣе.

— Вы были откровенны со мной и выказали ваше участіе; вы имѣете право и на мою откровенность, сказалъ Ивановъ.—Разговоръ Тамарина дѣйствительно имѣлъ на меня вліяніе: онъ заставилъ меня дать себѣ отчетъ въ моихъ чувствахъ къ Варварѣ Александровнѣ. Я вамъ сказалъ уже, что не знаю, люблю ли ее; но я знаю, что могу любить. Чтожъ изъ этого выйдетъ? Любовь нераздѣленная или ставящая насъ въ ложныя отношенія? Я врагъ ложныхъ дорогъ и положеній: пока есть время, я рѣшился ѣхать. Съ другой стороны, дѣло, которое мнѣ поручаютъ, дѣйствительно меня интересуетъ: тутъ я могу дать себѣ волю служить своему призванію и убѣжденіямъ; тутъ я, можетъ быть, буду полезенъ. Вотъ отчего я ѣду.

Ивановъ говорилъ это просто, не драпируя себя героемъ. Видно было, что онъ говорилъ что чувствовалъ.

Маріонъ посмотрѣла на него и невольно сказала:

— Вы честный человѣкъ!

И потомъ, вздохнувъ, прибавила:

— Тѣмъ больше мнѣ жаль бѣдную Вариньку!

Иванову, кажется, это направленіе разговора не нравилось, и онъ поспѣшилъ дать ему другой оборотъ.

— Такъ я возбуждаю зависть? сказалъ онъ смѣясь.—Я кажусь Тамарину счастливымъ поклонникомъ M-me Имшиной: онъ вмѣшивается въ дѣло, воображаетъ, что разстроиваетъ наше тихое счастіе, и по этому случаю, вѣроятно, считаетъ себя орудіемъ судьбы, которая бросаетъ его, какъ молотъ на главу невинныхъ жертвъ....

Ивановъ нечаянно, но вѣрно очертилъ Тамарина именно такимъ, какъ онъ казалъ себя передъ Маріонъ, и ей стала понятна и смѣшна искуственная интересность Тамарина.

— Въ настоящую минуту онъ рисуется передъ Варинькой, сказала Маріонъ:—я его послала къ ней извиниться.

— Я думаю, что Тамаринъ дурно исполнитъ ваше желаніе:—онъ такъ самолюбивъ, что вѣрно никогда въ жизнь не признавался въ ошибкѣ,— и не изъ упрямства, а потому, что самъ увѣренъ, что все, что онъ сдѣлаетъ, должно быть такъ сдѣлано. Однакожь, мнѣ бы хотѣлось убѣдить его, что хоть разъ въ жизни онъ ошибся: именно въ своемъ предположеніи обо мнѣ.

За тѣмъ, обмѣнясь еще нѣсколькими словами съ Маріонъ, Ивановъ поблагодарилъ за участіе, ею высказанное, простился и уѣхалъ.

И прощанье ихъ было тепло и радушно: отъ одного откровеннаго разговора они будто стали давно и близко знакомы другъ съ другомъ, — и Маріонъ было жаль, что уѣзжаетъ Ивановъ.

X.

Въ то время, какъ происходила описанная [illegible] сцена, встрѣча другаго рода была въ домѣ Имшиныхъ.

Въ урочный часъ визитовъ, Тамаринъ довольно лѣниво, почти нехотя отправился къ Варинькѣ. Ему предстояла не очень завидная роль извинить свой поступокъ и, можетъ быть, слушать упреки; но онъ не смущался этимъ. Онъ былъ такъ увѣренъ въ своемъ превосходствѣ надъ Варинькой, что вполнѣ надѣялся дать такой оборотъ объясненію, какой ему вздумается, или съ высоты собственнаго достоинства намекнуть ей, что онъ ее болѣе не потревожитъ, потому что мало ею занятъ, или, зная по опыту, что ничто такъ часто не сближаетъ съ женщиной, какъ ссора, помириться съ Варинькой и оттолкнуть отъ нея Иванова.

Тамаринъ, сказалъ я, собирался нехотя—просто потому, что ему лѣнь было ѣхать.

Въ такомъ расположеніи духа, мало, впрочемъ, думая о встрѣчѣ, Тамаринъ спокойно вошелъ въ гостиную Имшиныхъ.

Варинька, по обыкновенію, сидѣла одна; мужъ ея куда-то уѣхалъ. Она никого не ждала къ себѣ, но всего менѣе ждала Тамарина, когда, услыхавъ шаги, обратилась къ двери и увидѣла его, какъ и всегда, холодную и равнодушную фигуру. Варинька была немного блѣдна и очень интересна; приходъ Тамарина не измѣнилъ ни того, ни другаго; напротивъ, она его встрѣтила такъ спокойно, какъ будто ждала его съ пустымъ визитомъ.

— Видите ли, какъ я неотступно желаю имѣть удовольствіе васъ видѣть, М-me Имшинъ, сказалъ Тамаринъ.—Вы не хотѣли пустить меня въ первый разъ, я пробую счастіе во второй.

Варинька очень мило отвѣтила на поклонъ Тамарина, просила его сѣсть и стала что-то искать въ рабочей корзинѣ: она хотѣла, чтобы Тамаринъ самъ началъ разговоръ.

— Вы на меня сердитесь? сказалъ Тамаринъ.

— За что? съ удивленіемъ спросила Варинька.

— Мнѣ казалось, что вамъ не понравился мой разговоръ прошедшаго вечера.

— А вы хотѣли имъ понравиться?

— Я не до такой степени неловокъ, чтобы избирать подобныя средства, сказалъ Тамаринъ. — Но есть положенія, въ которыхъ поддаешься невольному чувству. Я былъ неправъ передъ вами и пріѣхалъ въ этомъ сознаться, и вмѣстѣ съ тѣмъ, однакожъ, мнѣ бы хотѣлось объяснить вамъ причину этого, и тогда, я увѣренъ, вы бы не строго обвинили меня.

— Объясниться? ! перестаньте, М-г Тамаринъ: это на васъ непохоже. Причины — я ихъ очень хорошо знаю: вамъ, просто, было досадно, что пріѣздъ вашъ не произвелъ на меня никакого впечатлѣнія, что я встрѣтила васъ гораздо равнодушнѣе, нежели вы ожидали. Признайтесь, вы, я думаю, очень жалѣли, что у васъ не осталось отъ прошлаго ничего такого, что бы вы могли съ презрѣніемъ бросить передъ всѣми и сказать: смотрите, какъ я мало дорожу имъ; у васъ только и было, что нѣсколько намековъ и насмѣшекъ, которыми вы могли заплатить бывшей деревенской дѣвочкѣ за ея прежнія чувства, за то, что ея пылкая голова сдѣлала изъ васъ какого-то героя, и слѣпо и смѣшно вѣрила въ ваши достоинства. Странное средство заставить — не скажу: любить, но уважать себя.

Варинька, говоря это, нѣсколько одушевлялась, и на ея блѣдныхъ щекахъ заигралъ легкій румянецъ.

Тамаринъ слушалъ такъ равнодушно, какъ будто дѣло шло не о немъ.

— Вы слишкомъ строги, отвѣчалъ онъ: — и много приписываете моимъ словамъ. Но потрудитесь поставить себя на мое мѣсто и тогда осуждайте меня. Я не говорю, что я сохранилъ къ вамъ прежнія чувства; но какъ хотите, все остается какое-то странное влеченіе, или, точнѣе, чувствуешь какія-то права на ту, которая прежде добровольно признавала надъ собой ваше вліяніе, и кажется, что не можетъ она совершенно отречься отъ него. Вдругъ, когда видишь, что по одной прихоти сердца не только отбросили, но смотрятъ съ какимъ-то унижающимъ равнодушіемъ на это вліяніе,—мало того, что, проходя безъ вниманія мимо того, котораго прежде такъ высоко цѣнили, въ его же глазахъ поклоняются и удивляются невѣсть кому... о! тогда—очень естественно—придетъ на языкъ желчное слово, и захочется бросить устарѣлое чувство и клятвы, которыя остаются у васъ какъ ненужныя тряпки поношеннаго платья.

— Все это, можетъ быть, очень справедливо съ вашей точки зрѣнія: я и не спорю. Развѣ я обвиняла васъ?... Но одного я тутъ не поняла. Объясните, пожалуйста, кто этотъ не-вѣсть кто, которому я поклоняюсь и удивляюсь?

— Я нескромныхъ замѣчаній не объясняю, сказалъ Тамаринъ, — и предоставляю вамъ самимъ угадать.

— Одинъ человѣкъ, съ которымъ я ближе другихъ знакома: это—Ивановъ. Если вы говорите про него, сказала Варинька:—такъ этотъ не-вѣсть кто можетъ и очень можетъ замѣнить кого бы-то ни было. Я ему не поклоняюсь и не удивляюсь, но искренно уважаю его, и ваше самолюбіе можетъ быть покойно: чувства мои къ нему совсѣмъ другаго рода, чѣмъ къ вамъ.

Тамаринъ понялъ эпиграмму, и, несмотря на его желаніе быть равнодушнымъ, желчь зашевелилась въ немъ.

— Послѣ вашихъ словъ, сказалъ Тамаринъ:—я самъ начинаю питать къ г. Иванову глубокое уваженіе, особенно за его умѣнье внушать какія-то особенныя чувства....

— Этихъ чувствъ вы никакъ не поймете, отвѣчала Варинька: — они не въ вашей натурѣ.

— Тѣмъ интереснѣе было бы ихъ узнать, сказалъ онъ, улыбаясь: — учиться никогда не поздно.

— Вы хотите ихъ знать, сказала Варинька:— извольте.—Въ васъ я любила какой-то призракъ, который создала моя семнадцатилѣтняя пылкая и неопытная голова; вы сами это чувствовали и какъ-то искуственно поддерживали его; всѣ наши отношенія были ложны, и отъ этого, оба свободные, мы скрывали, мы инстинктивно стыдились своихъ чувствъ. Отношенія и чувства мои къ Иванову такъ просты, такъ естественны и чисты, что мы не имѣемъ нужды ихъ таить, и я, жена другаго, могу, не краснѣя ни передъ собой, ни передъ мужемъ, сказать, что люблю Иванова какъ лучшаго друга....

Тамаринъ всталъ, поклонился и, улыбнувшись, сказалъ:

— Съ чѣмъ и имѣю честь поздравить васъ и его.

Но, прежде, нежели онъ вышелъ, онъ встрѣтилъ взглядъ Варинъки, и отъ этого взгляда, можетъ быть, послѣ многихъ лѣтъ самоувѣреннаго спокойствія, онъ въ первый разъ почувствовалъ себя какъ-то неловко.

—

Тамаринъ возвращался отъ Имшиныхъ въ непріятномъ расположеніи духа. Онъ не могъ еще дать отчета въ своемъ чувствѣ; но какое-то смутное неудовольствіе несносно овладѣвало имъ. Въ первый разъ, конечно, не сбывались его намѣренія и ожиданія; но никогда еще онъ не выдерживалъ такой неудачи; прежде онъ переносилъ ихъ хладнокровно и съ увѣренностью въ отыгрышъ,

какъ отступающій полководецъ, который увѣренъ въ своихъ силахъ; теперь этой неудачной встрѣчей въ немъ была потрясена его увѣренность въ самомъ себѣ. Онъ не сознавалъ этого вполнѣ; но самая безотчетная непріятность происходила отъ этого инстинктивнаго сознанія.

Браня себя за то, что былъ у Варинькн, Тамаринъ естественно вспомнилъ Маріонъ, которая была этому причиной, и тогда его неудовольствіе, найдя исходъ, вдругъ все обратилось на нее. И вспомнились тогда Тамарину вся безцѣльность и безплодность его ухаживаній за Маріонъ, ея умѣнье поставить себя съ нимъ въ короткія, но холодныя отношенія, ея тактъ, съ которымъ она постоянно сохраняла надъ нимъ какое-то превосходство. Самолюбіе Тамарина, только лишь оскорбленное Варинькой, еще сильнѣе болѣло въ немъ отъ этой неудачи; ему было необходимо, онъ чувствовалъ какую-то потребность его удовлетворенія,—и онъ спѣшилъ къ Маріонъ, какъ будто что-то звало и тянуло его туда, между тѣмъ какъ желчь и злость поселились у него въ душѣ.

Между тѣмъ Маріонъ была совершенно въ противоположномъ настроеніи духа отъ свиданья съ Ивановымъ. Она въ первый разъ близко увидала прямую, дѣльную и полную благодарныхъ побужденій натуру этого свѣжаго душой и чувствами человѣка, и какъ-то тепло и благотворно эта встрѣча на нее подѣйствовала. Пристальнѣе и глубже взглянула Маріонъ на свою жизнь, и она показалась ей еще пустѣе и безцвѣтнѣе. И тогда мечта—эта вторая жизнь женщины—расправила крылья и понесла ее къ другой жизни, показала ей въ ясномъ и тихомъ свѣтѣ новую жизнь въ иномъ обществѣ. И думала Маріонъ: какъ бы хорошо было, отвергнувъ эти мелкія и тяжелыя вериги маленькихъ свѣтскихъ условій и приличій, удалясь отъ пестраго и пустаго круга, составить себѣ другой кружокъ, въ которомъ бы жизнь души и ума питалась и отдыхала, въ которомъ можно бы было говорить, не заботясь о пересудахъ, слушать и не слыхать мелкихъ изворотовъ въ мелкихъ толкахъ и претензіяхъ,—слушать и услыхать живое и теплое слово, искренній и прямой отвѣтъ на всякій задушевный вопросъ....

Въ это время вошелъ Тамаринъ. И, надо признаться, онъ не могъ придти болѣе не кстати.

— А, это вы? сказала Маріонъ, нехотя отставая отъ своей мечты.

— Да, это я, отвѣчалъ Тамаринъ. — Я пришелъ вамъ сказать, что исполнилъ ваше желаніе и, благодаря васъ, провелъ скучнѣйшую четверть часа въ жизни.

— Вы, кажется, не находили этого прежде въ бесѣдахъ съ Варинькой, замѣтила Маріонъ:—значитъ, обязаны перемѣнѣ себѣ, а не мнѣ.

— Если бъ не вы, мнѣ бы не пришло въ голову идти къ Имшиной затѣмъ, чтобы слушать ея объясненія въ нѣжныхъ чувствахъ къ Иванову.

— Я понимаю, что онъ стоитъ ихъ, сказала Маріонъ.

— Давно ли вы раздѣляете вкусъ Варвары Александровны? спросилъ Тамаринъ.

— Съ тѣхъ поръ, какъ ближе узнала Иванова: онъ сейчасъ былъ у меня.

— Я замѣчаю, сказалъ Тамаринъ очень серьёзно:—что въ городѣ N Ивановъ становится чѣмъ-то въ родѣ повѣтрія; это сирокко, который сушитъ женскія сердца какъ ромашку въ аптекѣ. Покойные Донъ-Жуанъ и Ловласъ передъ нимъ мальчишки, и я удивляюсь бездѣйствію здѣшнихъ мужей и мѣстной полиціи.

— Вотъ видите ли, есть разные способы нравиться, отвѣчала Маріонъ:—самый простой — это часто встрѣчаться, умѣть занять и развлечь, быть всегда разнообразнымъ и угодливымъ, не выказывая претензій и излишней предупредительности.... Ахъ, кстати: я васъ забыла поблагодарить за визитъ къ Имшиной.

— Не стоитъ благодарности, отвѣчалъ Тамаринъ.

— Да! нужно,—словомъ, заставить привыкнуть къ себѣ.... сдѣлаться необходимымъ.... Вы, кажется, говорили, что это называется добиваться любви?...

Тамаринъ поклонился.

— Есть еще и другіе способы, продолжала Маріонъ: — вы ихъ много что-то насчитали, и они вамъ всѣ хорошо извѣстны. Но вы забыли одинъ, и самый простой: это быть тѣмъ, что̀ есть, и не добиваться ничего,—и это прекрасный способъ. Когда всякій день видишь одного въ своей заученой роли, другаго — вѣчно драпирующагося въ какое нибудь интересное чувство, — всѣхъ, точно актеровъ, на подмосткахъ, изъ которыхъ каждый силится обратить на себя вниманіе всѣхъ, съ бездной претензій на успѣхъ: знаете ли, какъ послѣ этого обрадуешься, когда увидишь просто хорошаго, безъискусственнаго человѣка, который не навязываетъ вамъ своихъ чувствъ и убѣжденій, не бросаетъ пыли въ глаза, не ищетъ ни удивленія, ни поклоненій, а является такимъ, какъ есть, и если нравится, такъ нравится испытаннымъ своимъ достоинствомъ. Вотъ секретъ Иванова, и онъ, право, недуренъ.

— Извините за сравненіе, М-me Б*, сказалъ Тамаринъ:—но вы сегодня поучительны, какъ россійскія прописи.

— А вы становитесь скучны, какъ онѣ, съ досадой отвѣчала Маріонъ.

— Во всякомъ случаѣ, вы согласитесь, что я разнообразенъ, вставая, сказалъ Тамаринъ: — до сихъ поръ я не доставлялъ вамъ этого развлеченія; я хотѣлъ допустить его какъ рѣдкость.

За тѣмъ онъ поклонился и вышелъ.

И послѣ него Маріонъ съ какой-то отрадой и наслажденіемъ опять предалась своей мечтѣ и сладкой задумчивости, опять перенеслась въ созданный ея воображеніемъ кругъ. Ей это было такъ извинительно! она всегда сидѣла и сознава-

ла пустоту безцѣльной свѣтской жизни, но не знала выхода изъ нея. Послѣ разговора съ Ивановымъ ей открылся исходъ, и тогда много еще блестокъ свѣтской жизни опало въ ея глазахъ; несносенъ и скученъ своей душевной скудостью показался ей Тамариинъ,—этотъ блестѣвшій въ свое время представитель свѣтской молодежи; и вотъ отчего, въ порывѣ свѣжаго впечатлѣнія, она такъ дурно приняла его,—вотъ отчего она съ такимъ удовольствіемъ, по его уходѣ, снова отдалась своимъ мечтамъ. Сбудутся ли онѣ или разлетятся какъ и всѣ мечты? И если сбудутся, то не покажется ли ей существенность далеко ниже ихъ: не покажется ли она ей, непокрытая блестками, жестка и тяжела? Не будетъ ли ей странно принимать у себя безцеремонныхъ людей, позволяющихъ себѣ приходить вечеромъ въ сюртукахъ, и, вмѣсто милыхъ любезностей, говорить иногда рѣзкую правду? Не будетъ ли тяжело ея самолюбію отдалиться отъ лучшаго свѣтскаго круга, въ которомъ она первенствовала, и который отдалится самъ отъ нея и будетъ находить ее странною? Знаетъ ли она, сколько надобно твердости и силы, чтобы оторваться отъ этихъ маленькихъ условій и требованій, которыя ей кажутся теперь такими пустыми и скучными, и къ которымъ между тѣмъ она такъ привыкла... и увѣрена ли ты, Маріонъ, въ своихъ силахъ, и увѣрена ли ты, что краска ложнаго стыда не бросится тебѣ въ лицо и не смутится твое самолюбіе отъ одного пустаго вопроса, когда прежняя твоя подруга, свѣтская барыня, спроситъ тебя: «съ кѣмъ это я васъ встрѣтила вечеромъ», и ты на отвѣтъ должна будешь назвать какого нибудь неизвѣстнаго свѣту Иванова, и не найдешь ничего прибавить для объясненія его положенія, какъ сказавъ только то, что онъ хорошій человѣкъ?....

Время одно можетъ рѣшить эти вопросы, и я не берусь раскрывать ихъ передъ читателемъ. Знаю только, что въ настоящія минуты они не приходили въ хорошенькую голову Маріонъ: безотчетно и сладко предавалась она розовымъ мечтамъ, и вызвало ее изъ нихъ не строгое раздумье, а голосъ Ивана Кузьмича.

— Машенька! Машенька! кричалъ онъ изъ залы:—слышала ты, Ивановъ-то на слѣдствіе ѣдетъ? да добро бы посылали, а то самъ вызвался—просто-таки самъ. А? какъ это тебѣ покажется? Да его, въ самомъ дѣлѣ, какая-то муха укусила, или, лучше сказать, у него, просто, какая-то муха въ носу сидитъ и не даетъ ему покоя.... да! — Матушка! сказалъ онъ, взглянувъ на Маріонъ и всплеснувъ руками:—что ты это дѣлаешь со мной: четыре часа, а ты еще не одѣта! Развѣ ты забыла, что у Анны Семеновны маленькій сынокъ, Шушу, именинникъ! А ты, чай, и поздравлять не посылала? Хорошо, что я самъ заѣхалъ. Ты знаешь, что Шушуньчикъ ея любимецъ! Она насъ звала обѣдать, и всего-то будутъ мы, Григорій Григорьичъ съ женой, да самые короткіе. И, пожалуй еще, Григорья-то Григорьича мы, по твоей милости, ждать заставимъ!...

— Иду! иду! сказала Маріонъ, нехотя вставая.

XI.

Ѳедоръ Ѳедорычъ, по утру въ этотъ день, узналъ о скоромъ отъѣздѣ Иванова, и ему стало грустно и досадно. Человѣкъ бездѣйствующій, и бездѣйствующій сознательно, онъ умѣлъ сдѣлать себѣ занимательнымъ свое безжизненное существованіе: онъ жилъ чужой жизнью. Все новое и занимательное въ моральномъ мірѣ сильно привлекало его вниманіе; онъ жадно слушалъ каждый звукъ жизни, онъ наблюдалъ и анализировалъ каждое ея проявленіе, и во всемъ онъ былъ только посторонній зритель. Одаренный отъ природы умомъ проницательнымъ и яснымъ, онъ развилъ его еще болѣе привычкою постоянной мысли, и мысль въ немъ росла насчетъ дѣятельности и, поддержанная физической лѣнью, поглотила всю его практическую жизнь. Богъ знаетъ, для кого и для чего копилъ онъ огромный запасъ наблюдательности, не думая его никому передать, еще менѣе думая самому сдѣлать изъ него примѣненіе. Наблюдательность сдѣлалась его страстью. Его интересовалъ всякій оригинальный характеръ, всякая прямая или уродливая натура. Отличивъ кого нибудь изъ знакомыхъ какой либо стороной ума или характера, выходящаго изъ обыкновеннаго уровня, онъ слѣдилъ за нимъ, какъ натуралистъ за неизвѣстнымъ ему животнымъ или насѣкомымъ, и наблюдалъ до тѣхъ поръ, пока не разгадывалъ его. Чѣмъ богаче и разнообразнѣе была встрѣтившаяся ему натура, тѣмъ сильнѣе влекла она его къ себѣ, тѣмъ съ большей любовью онъ къ ней привязывался. Но, разъ понявъ совершенно человѣка, онъ оставлялъ его какъ прочитанную книгу. Онъ и книги читалъ по своему: если въ нихъ попадался ему какой нибудь характеръ, то, разобравъ и понявъ его такимъ, какъ хотѣлъ его изобразить авторъ, онъ видѣлъ въ немъ лицо живое, уже близко ему знакомое. Тогда онъ слѣдилъ за нимъ во всѣхъ выведенныхъ на сцену положеніяхъ и часто вдругъ останавливался и говорилъ: «не можетъ быть, чтобы такой-то сдѣлалъ или сказалъ это: онъ долженъ былъ вотъ что сдѣлать», и за тѣмъ онъ умственно передѣлывалъ сцену; но если замѣчалъ дальнѣйшее отклоненіе автора, то говорилъ: «э! пріятель, не туда пошелъ!» и за тѣмъ бросалъ книгу, какъ бы интересна ни была она.

Понятно, отчего, въ свое время, Тамаринъ много интересовалъ Ѳедора Ѳедорыча; но его пора прошла и, какъ новое и современное явленіе, все вниманіе его привлекъ Ивановъ. Вотъ почему отъѣздъ его такъ огорчилъ Ѳедора Ѳедорыча. Но, прежде нежели ему должно было разстаться съ своимъ любимымъ и богатымъ субъектомъ, онъ хотѣлъ доставить себѣ послѣднее удовольствіе. Предложъ

онъ отыскивалъ недолго и тотчасъ же отправилъ записку къ Иванову и Тамарину слѣдующаго содержанія:

«У меня сегодня имянинница тетенька: пріѣзжайте обѣдать и поздравить меня».

За тѣмъ онъ послалъ за лучшимъ въ городѣ поваромъ, велѣлъ ему по собственному усмотрѣнію приготовить маленькій обѣдъ, досталъ добраго вина и сѣлъ отдыхать послѣ свершеннаго труда, ожидая съ удовольствіемъ условленнаго часа.

Домашній бытъ Ѳедора Ѳедорыча очень вѣрно отражалъ его лѣнь и беззаботность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, любовь къ удобству. Первая комната, совершенно пустая, была украшена пятью стульями, склонившимися къ полу подъ весьма прихотливыми углами, и столомъ, который, при удобномъ случаѣ, очень охотно переваливался съ ноги на ногу. Въ крайней, въ углу, одиноко стояла кровать со столомъ, исправляющимъ должность туалетнаго, потому что на немъ было разбросано нѣсколько хорошенькихъ, но въ большомъ безпорядкѣ, вещицъ изъ туалетнаго несессера. Въ средней комнатѣ опять столъ длинный, запыленный, заваленный кучею книгъ сверху и снизу, и съ пустой чернилицей и засохшими перьями по срединѣ; но у противоположной стѣны этой комнаты замѣтно отдѣлялся любимый уголъ хозяина. Тамъ былъ каминъ, не для украшенія, какъ это дѣлается во многихъ домахъ, но каминъ, способный топиться, чѣмъ Ѳедоръ Ѳедорычъ очень часто и съ удовольствіемъ пользовался. Около камина стояли два весьма покойныхъ кресла, такой же диванъ и маленькіе столики. Тутъ постоянно сидѣлъ—во все время, когда не лежалъ—Ѳедоръ Ѳедорычъ, и тутъ, у свѣтлаго и теплаго огонька, мы застаемъ его поджидающимъ гостей.

Въ извѣстный часъ, Ивановъ и Тамаринъ пріѣхали почти вмѣстѣ: Ивановъ немного раньше, Тамаринъ немного позже. Оба они были нѣсколько удивлены такой тѣсной и нечаянной встрѣчей; но Ивановъ не обратилъ на нее особеннаго вниманія, а Тамаринъ, кажется, догадался и усмѣхнулся.

— Ѳедоръ Ѳедорычъ! сказалъ онъ входя:—есть у вашего слуги оракулъ?

— Нѣтъ: онъ чтеніями не развлекается, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.—На что онъ вамъ?

— Въ немъ отмѣчены черные дни, сказалъ Тамаринъ.—Мнѣ хотѣлось бы посмотрѣть, есть ли въ немъ нынѣшній!

— А что, развѣ съ вами были какія неудачи?

— Да, я сегодня получилъ отъ дядюшки непріятное письмо. Кстати, поздравляю васъ съ имянинами тетушки.

— Черные дни кончаются до обѣда, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ.— Давайте закусывать.

Вскорѣ за тѣмъ они сѣли за столъ.

Столъ, благодаря смѣтливости слуги, подложившаго подъ его ноги бумажки, стоялъ весьма ис*кно, а при помощи* жившей на верху барыни, знакомой съ Ѳедоромъ Ѳедорычемъ, сервированъ очень хорошо; обѣдъ изготовленъ былъ прекрасно, и все бы шло какъ нельзя лучше, еслибъ Тамаринъ, какъ будто нарочно, не былъ упрямо молчаливъ. Но хорошій обѣдъ и вино всегда дѣйствуютъ благотворно, и когда подали замороженное шампанское, Тамаринъ былъ уже въ гораздо лучшемъ расположеніи духа.

— У васъ славный поваръ, сказалъ онъ.—Желаю вашей тетушкѣ почаще быть имянинницей.

— А я желаю вашему дядюшкѣ перестать совсѣмъ къ вамъ писать, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ: а между тѣмъ мы хорошо сдѣлаемъ, если пожелаемъ добраго пути отъѣзжающему.

— Вы развѣ ѣдете? спросилъ Тамаринъ, который еще ничего не слыхалъ объ этомъ.

Ивановъ отвѣчалъ утвердительно и коротко разсказалъ ему, куда и зачѣмъ онъ ѣдетъ.

Этотъ отъѣздъ, кажется, заинтересовалъ Тамарина и окончательно разсѣялъ его молчаливость.

Тамаринъ и Ивановъ въ первый разъ сходились близко и были поставлены въ такое положеніе, что должны были говорить другъ съ другомъ. Оба они выиграли во мнѣніи одинъ другаго отъ этого сближенія. Конечно, они не чувствовали другъ къ другу особеннаго влеченія, но каждый могъ отдать, и отдавалъ, справедливость другому. Не раздѣляя взгляда на вещи Тамарина и сознавая всю ложность его убѣжденій, Ивановъ видѣлъ въ немъ умнаго и далеко не дюжиннаго человѣка и уважалъ искреннность его убѣжденій. Тамаринъ съ своей стороны сознался, что онъ слишкомъ свысока смотрѣлъ на Иванова, и что, не уронивъ собственнаго достоинства, можно имѣть такого соперника, и, разъ допустивъ эту мысль, Тамарину хотѣлось поближе узнать его.

Наши собесѣдники, вставъ изъ за стола, усѣлись вкругъ камина.

Ранніе зимніе сумерки спускались на землю, свѣчей не было въ комнатѣ. Красно-синеватый огонь трещалъ, извиваясь по сухимъ дровамъ, и дрожалъ, и сводилъ и наводилъ длинныя тѣни по противоположнымъ стѣнамъ и блестѣвшимъ окнамъ. Близь камина, за чертой сильнаго жара, но подъ яркимъ освѣщеніемъ сидѣли два гостя. Отчетливо отъ яркаго огня обрисовывался рѣзкій и умный профиль Иванова, и какъ будто измѣнялись и переливались красивыя и тонкія черты лица Тамарина. А немного сзади ихъ, усѣвшись съ ногами въ уголъ дивана, погруженная въ полумракъ и полусвѣтъ, рисовалась длинная фигура Ѳедора Ѳедорыча; то вдругъ ясно и рѣзко выдавалась она облитая свѣтомъ, то опять, неопредѣленная и темная, тонула во мракѣ.

Никогда человѣкъ не бываетъ такъ способенъ къ откровенной и простодушной бесѣдѣ, какъ послѣ хорошаго и легкаго обѣда. Физическое довольство и спокойствіе дѣлаетъ его добрѣе, и ему становится какъ-то лѣнь скрытничать и притворяться въ это время.

Но бываютъ другія минуты, когда не говорится о пустякахъ, когда не болтается и не хочется заниматься мелочью и вздоромъ, и, напротивъ, съ души поднимаются самые дорогіе, самые близкіе ей вопросы,—они требуютъ высказаться, хочется подѣлиться и обмѣняться ими, хочется показать ихъ какъ лучшую картину небольшому кругу знатоковъ, чтобы узнать ей настоящую цѣну. Въ настоящее время это была именно такая минута. Сумерки, такъ всегда настроивающіе къ тихой, задушевной бесѣдѣ, неопредѣленность и самая картинность освѣщенія, вызывающая что-то серьезное, наконецъ чувство, что находишься съ людьми, которымъ подъ силу всякая мысль, которые не повѣрятъ ей на слово и не преклонятся безусловно предъ ней, а взвѣсятъ здраво и обмѣняются равносильной мыслію,—все это располагало къ чему-то болѣе глубокому, болѣе достойному самаго себя.

Нѣсколько времени всѣ сидѣли молча, каждый о чемъ-то тихо задумавшись. Только дымъ сигаръ и папиросъ тонкими синеватыми и изгибающимися струями тянулся въ каминъ, да душистый желтый чай легко испарялся изъ стакановъ, сквозя въ нихъ какъ чистый янтарь и переливаясь отъ огня золотистыми красками.

Тамаринъ первый прервалъ молчаніе.

— Я бы на вашемъ мѣстѣ, Мг. Ивановъ, неохотно поѣхалъ отсюда, сказалъ онъ.

— Отчего же?

— Не далѣе, какъ сегодня утромъ я слышалъ о васъ такіе отзывы двухъ прехорошенькихъ женщинъ, что ради ихъ стоило бы здѣсь остаться.

— Хорошіе отзывы мало обѣщаютъ, Мг Тамаринъ, да если бы и дѣйствительно обѣщали какой нибудь успѣхъ, такъ это бы нисколько не остановило меня.

— У всякаго свой взглядъ, сказалъ Тамаринъ:— но надо быть очень пресыщеннымъ этими успѣхами, чтобы легко отъ нихъ отказываться.

— Да, если они составляютъ цѣль жизни, отвѣчалъ Ивановъ:—въ мою они не входятъ.

Тамарина это замѣчаніе нѣсколько укололо.

— Трудно, однакожь, найти вещь лестнѣе и пріятнѣе, замѣтилъ Тамаринъ:—и ужь, конечно, честолюбіе ихъ не стоитъ.

— Вы сравниваете съ ними такую фальшивую монету, передъ которой они, дѣйствительно, стоятъ очень высоко. Я совершенно согласенъ съ вами, что эти успѣхи и лестны, и пріятны; но они слишкомъ дорого обойдутся, если отдать имъ всего себя.

— Я понимаю, сказалъ Тамаринъ:—что вы ставите выше ихъ дѣятельность практическую, ищете другаго, болѣе обширнаго поля для своихъ свѣжихъ силъ и способностей... кто изъ насъ не искалъ этого! Когда я былъ молодъ, и я мечталъ объ этой благородной, блистательной дѣятельности. Да гдѣжь она? Найдите мнѣ ее... да! найдите мнѣ ее по моимъ силамъ и способностямъ... А когда на ихъ богатый запасъ придется мелкій трудъ, съ грошевой пользой, тогда... тогда успокоишь золотыя мечты и запросы самолюбія и отдашься жизни чувствъ, и будешь искать и довольствоваться тѣми успѣхами, которые вы такъ дешево цѣните.

Тамаринъ замолчалъ и принялся раскуривать потухшую папиросу.

— Да! сказалъ Ивановъ:—я съ вами согласенъ: запросы молодости и самолюбія велики; а имъ часто выпадаетъ на долю узкая невидимая тропа, которую они считаютъ слишкомъ мелкою, чтобы идти по ней: чтóжь дѣлать! не всякому достается широкая дорога труда, увѣнчанная лаврами. И, конечно, гораздо легче и пріятнѣе обратить на себя вниманіе ловко протанцовавъ польку на балѣ, нежели всю жизнь пробиваться трудовой дорогой къ далекой пользѣ.

— И часто для того, чтобы наткнуться въ ней на какой нибудь брошенный невѣждою камень и разбить объ него послѣднія силы? Ну ужь, слуга покорный! смѣясь, сказалъ Тамаринъ:—я, можетъ быть, слишкомъ устарѣлъ и сталъ матеріаленъ, но лучше протанцую свои силы на балѣ, нежели разобью ихъ на какой нибудь неблагодарной работѣ.

— Я, можетъ быть, слишкомъ молодъ и мечтателенъ, улыбнувшись, сказалъ Ивановъ:—но я думаю, что когда будетъ не подъ силу и не подъ стать танцовать болѣе, тогда должно наступить тяжелое раздумье для танцовавшаго весь вѣкъ человѣка.

— Тогда остаются коммерческія игры съ почтенными людьми, равнодушно отвѣчалъ Тамаринъ.

— А всего лучше, сложивъ руки, смотрѣть на чужія хлопоты, послышалось позади ихъ,—и вслѣдъ за тѣмъ, нагнувшись къ стакану, выдалась изъ тѣни и ярко освѣтилась длинная и флегматическая фигура Ѳедора Ѳедорыча.

Тамаринъ и Ивановъ обернулись къ нему и оба улыбнулись.

Вдругъ въ это время послышались въ первыхъ комнатахъ чьи-то шаги и голоса, и человѣка четыре или пять пріятелей Иванова вошли въ гостиную.

— Здравствуйте, Ѳедоръ Ѳедорычъ! Мы собрались къ Иванову провожать его, но узнали, что онъ у васъ, и пріѣхали за нимъ. Вы извините насъ, сказалъ одинъ изъ пришедшихъ.

— Охотно извиняю и очень радъ, что вамъ пришла мысль явиться сюда, сказалъ Ѳедоръ Ѳедорычъ, радушно здороваясь съ ними. — Но Иванова я такъ скоро не отпущу. Мы здѣсь пожелаемъ ему счастливаго пути и вмѣстѣ разопьемъ прощальный бокалъ.

Онъ велѣлъ подать вина.

Пріѣзжіе гости усѣлись около камина, и за тѣмъ пошла оживленная и веселая бесѣда.

Говорили объ отъѣздѣ Иванова; но никто не останавливалъ его, не предлагалъ тѣхъ иногда дѣльныхъ, но всегда охлаждающихъ замѣчаній, которыя многіе такъ охотно, какъ холодной водой на огонь, угощаютъ въ извѣстныхъ случаяхъ, въ видѣ добрыхъ совѣтовъ. Напротивъ, нашлось мно-

го теплыхъ и ободряющихъ словъ, поддерживающихъ Иванова въ его добромъ намѣреніи. Потомъ разговоръ перешелъ къ другимъ предметамъ: кто говорилъ о своемъ начатомъ трудѣ, другой о своихъ намѣреніяхъ и надеждахъ. Видно было, что это не былъ такъ называемый кружокъ, навязывающій всѣмъ свои убѣжденія, замыкающій всѣхъ въ узкую и тѣсную раму одного исключительнаго взгляда. Нѣтъ, это былъ кругъ людей, добровольно сошедшихся, каждый съ своимъ взглядомъ, каждый съ своими убѣжденіями и занятіями, но всѣ соединенные взаимною симпатіею, влеченіемъ добраго и честнаго къ честному и доброму. Въ разговоръ ихъ не было брошено ниодного женскаго имени, ничья сердечная склонность не выставлялась тутъ на показъ, осмѣянная напередъ самимъ собой, чтобы ея не осмѣяли другіе. Зато все живое и благородное въ жизни было тепло и съ участіемъ ими принято, на все доброе нашлось у нихъ отвѣтное слово — всякое зло нашло въ каждомъ изъ нихъ личнаго врага. И видно было, что не умствовали они, а жили и трудились,—жили дѣльной практической жизнью, а не безплодными воззрѣніями. Отодвинувшись въ уголъ, Тамаринъ долго ихъ молча слушалъ. Никто на него не обращалъ вниманія, не стѣснялся имъ. На свободѣ вслушивался онъ въ ихъ рѣчи и увидалъ себя въ какомъ-то чуждомъ мірѣ. Все, что такъ живо ихъ интересовало, было далеко отъ него. Ихъ идеи, ихъ взгляды были ему новы и странны. Долженъ онъ былъ сознаться, что многое, мимо чего равнодушно не разъ проходилъ онъ, возбуждало ихъ живое участіе, было выставлено ими въ ясномъ и рѣзкомъ свѣтѣ. И увидѣлъ Тамаринъ, что широкая и непроходимая полоса отдѣляла его отъ этой новой молодежи, что свѣтлѣе и далеко глубже ихъ взглядъ, что прямо, какъ отважные пловцы, врѣзались они въ жизнь молодою грудью и приняли ее безъ прикрасъ и обольщеній, съ ея тяжелой, холодной волной, съ ея свѣтлыми брызгами. Долго слушалъ ихъ Тамаринъ, и рѣчи ихъ казались ему какъ-то другаго склада и другаго звука, и видѣлъ онъ себя посторонникъ и ненужнымъ въ этомъ свѣжемъ, молодомъ кругу... Взялъ тихонько Тамаринъ свою шляпу и вышелъ никѣмъ незамѣченный...

Шумный и оживленный разговоръ продолжался еще нѣкоторое время. Подано было вино, и всѣ дружно сдвинули свои бокалы съ бокаломъ Иванова и отъ души пожелали ему всего добраго. Наконецъ пора было ѣхать.

Пріятели Иванова отправились къ нему на квартиру; простившись съ Ѳедоромъ Ѳедорычемъ, Ивановъ поотсталъ отъ нихъ и послѣдній подошелъ къ нему.

— Ну, прощайте, Ѳедоръ Ѳедорычъ! сказалъ Ивановъ, оставшись одинъ.

— Прощайте, прощайте! говорилъ Ѳедоръ Ѳедорычъ, крѣпко пожимая Иванову руки.

И на его лицѣ, обыкновенно равнодушномъ, явилось какое-то мягкое выраженіе. Онъ, казалось, что-то хотѣлъ сказать и не рѣшался.

Ивановъ былъ уже въ дверяхъ, когда Ѳедоръ Ѳедорычъ удержалъ его.

— Постойте-ка, постойте, сказалъ онъ:—хочется мнѣ вамъ сказать одну вещь. Вотъ видите, я не люблю совѣтовъ давать и высказываться много не люблю, но хотѣлъ бы я вамъ замѣчанье одно сказать. Вотъ видите ли, все, что вы тамъ говорили о добрѣ и пользѣ, все это хорошо, очень хорошо, и дай вамъ Богъ, чтобъ все это сбылось, и дай вамъ Богъ силъ на все это; но знаете ли, что все вы думаете о другихъ, о чужомъ добрѣ, да объ общей пользѣ,—странное у васъ самолюбіе этакое; вы его все въ другихъ кладете; а не грѣхъ и о себѣ подумать. Вы вотъ точно смотрите въ окошко да думаете, какъ бы вотъ помочь сосѣду, у котораго печка не топлена, а свою-то дверь забываете притворить. Догадываюсь я, напримѣръ, что вы боитесь немного въ сердечныхъ дѣлахъ запутаться: какъ, въ самомъ дѣлѣ, отдаться какому нибудь чувству, когда вы себѣ на голову столько чужихъ заботъ набрали! Оно прекрасно! хорошо чужому человѣку въ бѣдѣ помочь, бѣдному руку подать, да свою-то избу зачѣмъ безъ нужды студить? смотрите, чтобы послѣ холодно не стало... Ну, однакожь, я заболтался. Прощайте, прощайте!

— Спасибо вамъ! сказалъ Ивановъ, крѣпко пожавъ его руку.

Ѳедоръ Ѳедорычъ проводилъ его и возвратился, задумавшись, къ своему камину.

«Самолюбіе!—думалъ онъ—и у этого огромное самолюбіе! Но тотъ все о себѣ, а этотъ—о другихъ. Трудную, благородную дорогу избралъ Ивановъ, не жалѣетъ ни силъ, ни труда для *общей* пользы, а ничего не дастъ какому нибудь *одному* доброму, любящему сердцу, которое все готово отдаться ему...»

Потомъ Ѳедоръ Ѳедорычъ подумалъ, что и у него есть свое самолюбіе, которое состоитъ въ томъ, чтобы подмѣчать и наблюдать сколько нибудь сильныя или оригинальныя личности, но что и его самолюбіе не всегда удовлетворяется и ему часто приходится смотрѣть на давно знакомыя, давно насквозь высмотрѣнныя лица, въ которыхъ столько же разнообразія, какъ во всѣхъ бубновыхъ валетахъ изъ различныхъ колодъ.

И за тѣмъ Ѳедоръ Ѳедорычъ отправился въ клубъ.

—

Было темно и холодно, когда Тамаринъ возвратился домой. И его, въ угольной, удобной комнатѣ, поджидалъ ярко топившійся каминъ, къ которому, переодѣвшись, подсѣлъ Тамаринъ; но у камина поджидали его темныя и безвыходныя мысли.

Наступилъ для Тамарина тотъ день, когда, по выраженію Иванова, видитъ весь свой вѣкъ танцовавшій господинъ, что ему не подъ стать и не подъ силу танцовать болѣе, и приходитъ для него часъ тяжелаго раздумья. Легко было ему съ наружнымъ равнодушіемъ отвѣтить, что тогда остается

играть въ карты съ почтенными людьми; но зналъ онъ очень хорошо, что не всякое самолюбіе усидится спокойно за карточнымъ столомъ.

Весь вѣкъ Тамаринъ жилъ одною жизнію часто насильственныхъ ощущеній и чувствъ. Любо ему было въ свое время рядиться въ картинныя положенія и чувства, когда нарядъ этотъ былъ въ модѣ и ему къ лицу, когда и самъ онъ, и другіе вѣрили въ натуральность этого наряда. Любо ему было играть ощущеніями, когда самолюбіе его выигрывало въ эту игру. Но когда замѣтилъ онъ, что устарѣлъ и становится обыденнымъ его прежній нарядъ, что не много чести, по предсказанью Ѳедора Ѳедорыча, играть замѣтную роль въ глазахъ молоденькихъ дѣвочекъ,—тогда другими глазами взглянулъ онъ на себя и на прошлое.

Сила и новое столкновеніе обстоятельствъ иногда круто поворачиваютъ человѣка и ставятъ его на такую точку, что съ иной стороны приходится ему посмотрѣть на давно знакомые и хорошо, казалось, осмотрѣнные предметы. И вдругъ подъ угломъ этого взгляда иногда открываются ему такія вещи, существованія которыхъ онъ и не подозрѣвалъ доселѣ. Это какъ будто боковой лучъ, нечаянно упавшій въ темный и забытый уголъ и вдругъ ярко освѣтившій въ немъ какую-то невиданную картину, нежданно возставшую передъ изумленными очами, — иногда грустную и безвыходно-суровую картину. Хотѣлось бы отвести отъ нея глаза, хотѣлось бы не видать и забыть, что видѣлъ ее, а она стоитъ передъ очами и влечетъ ихъ къ себѣ всей силой новизны и истины, и съ трепетомъ останавливается передъ ней испуганное, но пораженное ею воображеніе.

Такъ было и съ Тамаринымъ. Въ первый разъ въ этотъ день самолюбіе его было сильно и глубоко задѣто. Въ первый разъ онъ увидалъ, что устарѣлъ съ своими понятіями, сужденіями и чувствами, что прошло, видно, его время, и что другое поколѣніе, молодое, свѣжее и здоровое, идетъ передъ нимъ совсѣмъ другою дорогою, и на это поколѣніе теперь смотритъ женщина и его успѣхамъ привѣтно улыбается. Понялъ Тамаринъ, что странно онъ будетъ въ ряду этой молодежи, въ своемъ устарѣломъ нарядѣ, что не выдержатъ борьбы съ свѣжими силами его истощенныя силы и что пришла ему пора отойти въ сторону и дать другимъ дорогу. Тогда взглянулъ онъ на свое прошлое и сталъ повѣрять все вынесенное имъ изъ своего пережитаго,—все, что должно ему дать право на уваженіе его намѣстниковъ, все, чѣмъ ему остается жить остальную жизнь.

Грустно сознаться, что прошла наша молодость, наша лучшая пора; грустно подводить итоги всему прожитому и истраченному, такъ весело прожитому и такъ щедро потраченному; и грустно и больно, пройдя этотъ путь молодости, остановиться и приниматься пересматривать вынесенные изъ пройденнаго пути пожитки, собираться жить новымъ, собой нажитымъ добромъ. А что же должно чувствовать тогда, какъ увидишь, что даромъ потрачены лучшее время и свѣжія силы, и что не осталось отъ молодости ничего болѣе, ничего кромѣ усталости!

Дѣльнаго Тамаринъ ничего не сдѣлалъ, — онъ это зналъ, слѣдовательно тутъ ему и вспоминать было нечего.... Жилъ онъ жизнью чувствъ, и сталъ онъ перебирать свои чувства.

Долго, задумавшись, сидѣлъ Тамаринъ, и пестрая вереница воспоминаній проходила передъ нимъ. Но нерадостны были эти воспоминанія. Другими, болѣе строгими глазами смотрѣлъ онъ на нихъ, и ихъ ложныя краски блѣднѣли и спадали передъ этимъ взглядомъ. И увидалъ онъ длинную цѣпь искусственныхъ положеній, добродушныхъ обмановъ и насильственно и ложно возбужденныхъ чувствъ. И отъ всѣхъ этихъ воспоминаній не осталось ниодного, отъ котораго бы забилось его сердце, ниодного теплаго, задушевнаго, надъ которымъ онъ могъ бы сладко задуматься, которымъ могъ бы согрѣть свое охолодѣлое чувство! А было бы что сохранить! было бы что сберечь и затаить глубоко на сердцѣ, и носить и лелѣять какъ святыню! Но холодно и безъ участія проходилъ онъ, въ свое время, мимо этихъ святыхъ чувствъ и гордо смотрѣлъ на нихъ съ высоты своего самолюбія.

И вотъ пройдена молодость, подведенъ итогъ прошлому, и осталось отъ него — ничего. И вотъ что онъ съ гордостію можетъ показать молодому поколѣнію, — вотъ подножіе, на которое имѣетъ право стать его самолюбіе. А передъ нимъ еще пол-жизни, пол-жизни, которую долженъ онъ прожить этимъ ничѣмъ. И тогда передъ Тамаринымъ, такъ охотно рядившимся и вѣровавшимъ въ свои прежнія страданія, явилось страданіе истинное, страданіе самолюбія, которому не на что опереться, обидное сознаніе въ безсиліи того, кто такъ много заставлялъ ожидать и обѣщалъ выполнить.... горькое, безвыходное страданіе! и нарядиться-то нельзя въ него, и нельзя его вынимать на показъ, и живописно драпироваться имъ.... страданіе, которое, какъ прорѣху на модномъ платьѣ, надо прятать отъ посторонняго глаза, потому что оно въ состояніи возбудить не участіе, а только обидное сожалѣніе!...

Горько и невыносимо досадно было Тамарину. Хотѣлъ было онъ самъ, въ порывѣ досады, унижая свое самолюбіе, убѣдить себя, что не могъ жить иначе, что не было ему дано силъ на что либо бо́льшее; но нѣтъ! Самое сознаніе настоящаго положенія, самая сила страданія говорили ему противное. Не сталъ бы дюжинный человѣкъ анализировать свое прошлое, строго судить самого себя. Махнулъ бы онъ рукой на свою молодость, крякнулъ бы и сталъ бы жить не задумавшись. Не то было съ Тамаринымъ. Страшныя, безвыходно тяжелыя минуты переживалъ онъ. Было особенно одно мгновеніе—кризисъ страданія, когда всѣ чер-

ныя мысли разрослись до самаго грознаго размѣра. Въ это мгновеніе взглядъ Тамарина упалъ на ящикъ съ пистолетами, стоявшій на столѣ, и приковался къ нему. Но потомъ онъ оторвалъ отъ него глаза, провелъ рукою по блѣдному лбу, какъ будто желая смахнуть съ него черныя мысли, и горько улыбнулся. Это была искренняя и ядовито насмѣшливая улыбка, и надъ собой разсмѣялся ею Тамаринъ; надъ всѣмъ своимъ прошлымъ, надъ всѣми своими вѣрованіями и убѣжденіями посмѣялся онъ ею. И много желчныхъ и мѣтко-злыхъ словъ пришло ему тогда на умъ. Ихъ только однихъ вынесъ онъ какъ результатъ всего прожитаго. На свой собственный счетъ выростилъ онъ и скопилъ ихъ запасъ: и имъ обрадовался Тамаринъ, и, вооружившись ими, онъ остался жить....

Если вамъ случится встрѣтить въ обществѣ человѣка, никогда добродушно ничему не улыбающагося,—человѣка, который всякій успѣхъ, всякое полезное дѣло принимаетъ холодно, который во всемъ старается подмѣтить одну слабую сторону и безпощадно и мѣтко смѣется надъ нею,—человѣка, отъ котораго не укроется ничего смѣшнаго, и который съ наслажденіемъ показываетъ его всѣмъ, злаго языка котораго боятся всѣ нетвердо увѣренные въ себѣ,—всмотритесь въ него: это переживший свое время Тамаринъ. Это Тамаринъ, котораго мучитъ всякій дѣльный успѣхъ, потому что онъ напоминаетъ ему его ничтожество. Это отживший Тамаринъ, котораго нечего бояться, но о которомъ стóитъ сожалѣть!

XII.

Часу въ девятомъ вечера, большія открытыя дорожныя сани остановились у подъѣзда Имшиныхъ. Ивановъ вышелъ изъ нихъ и нашелъ Володю, Варинькy и дѣтей всѣхъ за круглымъ чайнымъ столомъ. Взглянувъ на дорожное платье Иванова, Варинька невольно поблѣднѣла: она не знала, что Ивановъ такъ скоро уѣзжаетъ.

— Вы уже ѣдете? спросила она его.

— Да! отвѣчалъ Ивановъ:—я заѣхалъ къ вамъ проститься.

И за тѣмъ, въ послѣдній разъ, онъ подсѣлъ къ знакомому столу, за которымъ такъ часто и такъ отрадно бесѣдовалъ съ Варинькой. По прежнему она угостила его чаемъ, но не по прежнему шла ихъ бесѣда.

Бесѣда, лучше сказать, вовсе не шла. Говорилъ бóльшею частію Володя, да Ивановъ изрѣдка старался поддерживать разговоръ. Варинька молчала. Было что-то тяжелое и грустное тогда въ этомъ кружкѣ. Пустые слова и вопросы Володи какъ-то звучали одиноко и глухо. Не знаю зачѣмъ и для кого говорилъ онъ ихъ. У Варинькы и Иванова было что-то много скопившееся на душѣ. Богъ знаетъ, были ли это теплыя слова дружбы, запоздалыя ли сожалѣнія, или накопившіяся слезы. Они сами не сознавали этого, они были рады каждый, что не имѣли случая и времени высказаться другъ другу. Имъ, можетъ быть, было бы это еще тяжелѣе; но и теперь имъ было невыносимо, безсознательно тяжело. Ихъ угрюмое молчанье походило на затишье передъ грозою. Въ воздухѣ темно и душно, нѣтъ ни солнца, ни тучъ, одна какая-то желтая знойная мгла, и все смолкнетъ, и все будто со страхомъ ждетъ чего-то неизвѣстнаго.... вотъ, можетъ быть, пахнетъ свѣжій вѣтерокъ и все разгонитъ,—можетъ вотъ сію минуту блеснетъ молнія и страшный ударъ разразится надъ головою.

Ивановъ не могъ долго выдержать этого положенія.

— Пора! сказалъ онъ, вставая.

Всѣ за нимъ встали.

Ивановъ облобызался съ Володей и поблагодарилъ его, потомъ подошелъ къ Варинькѣ, но ничего не сказалъ ей; онъ только горячо поцѣловалъ и крѣпко пожалъ ея руку, да потомъ одно, только одно мгновеніе они какъ-то странно посмотрѣли другъ на друга, и Ивановъ поспѣшно вышелъ.

Почтовая тройка двинулась, и поѣхалъ Ивановъ по длиннымъ, изогнутымъ улицамъ, мимо знакомыхъ ему домовъ, справа и слѣва смотрѣвшихъ на него своими разнохарактерными физіономіями. Вскорѣ сани спустились съ горы, выѣхали на рѣку и развязанный колокольчикъ зазвенѣлъ подъ дугой. Его однообразный, заунывный и глухой отъ морозу лепетъ, темная и пасмурная ночь, живая грусть,—все скопилось вмѣстѣ и навѣяло Иванову горькія мысли. Пришли ему на умъ замѣчаніе Ѳедора Ѳедорыча и разговоръ съ Тамаринымъ, и подумалъ онъ, не односторонняя ли жизнь его, не отдался ли онъ всѣми силами и способностями одной ея частности, забывъ о существованіи другой, не менѣе обширной и глубокой; не будетъ ли ему со-временемъ холодно на его трудовыхъ и тяжко заработанныхъ плодахъ, не будетъ ли онъ бѣденъ и одинокъ среди богатаго запаса сжатыхъ дѣлъ, сѣянныхъ во всю молодость, политыхъ пòтомъ?... Да и удастся ли еще ему собрать эту богатую жатву? не суждено ли ему какъ неудачному и безсильному труженику спотнуться на какой нибудь брошенный судьбою камень и безплодно погибнуть, со своею молодостью, силами и способностями, гдѣ нибудь въ безвѣстномъ, темномъ углу?.... И долго ѣхалъ Ивановъ въ горькомъ и тяжкомъ раздумьѣ, подъ заунывный, однообразный звонъ колокольчика, подъ грустный настрой печальныхъ думъ; долго онъ ѣхалъ въ темную, холодную ночь, и черныя сомнѣнія, какъ ночныя птицы, вмѣсто сна, носились надъ головой его... Но вотъ всталъ изъ-за горы полный, блѣдножелтый мѣсяцъ. Какъ бѣлая, изгибистая лента выдѣлилась своей ровной, матовой поверхностью покрытая пушистымъ снѣгомъ рѣка, по которой шла зимняя дорога. Справа темными, неосвѣщенными обрывами стояли горы, и ихъ го-

лые отвѣсные бока были рѣзко обнажены. Съ другой стороны стлался, на сколько глазъ охватитъ, низкій луговой берегъ. Однообразно и холодно раскинулась его освѣщенная луной равнина, съ переливами свѣта и тѣни, какъ заунывная музыка съ легкими и монотонными варіаціями. То блестѣла она и искрилась блѣдными огнями, то разрѣзывалась по перекату прозрачно желтой тѣнью. Мѣстами, когда подходила дорога къ ея некрутому берегу, тощій, обнаженный кустарникъ торчалъ наклонно своими голыми, худыми, будто иззябшими прутьями. Мѣстами, когда дорога перевалилась къ крутояру, на немъ, по изгибу горъ, мрачно и хмуро высился сосновый лѣсъ. Но его свинцово-темная зелень, будто посинѣлая отъ стужи, была еще холоднѣй, еще суровѣй среди зимняго ландшафта, нежели голые сучья кустовъ.

Взглянулъ Ивановъ на эту холодно ясную, обнаженную отъ всѣхъ поэтически-прекрасныхъ вешнихъ убранствъ природу, и что-то родственное душѣ его увидалъ онъ въ ней. И онъ также принялъ жизнь, какъ она есть, не съ одними ея душистыми цвѣтами и яркой зеленью,—и онъ принялъ ее такую, какъ эта безъискусственная, обнаженная природа, и любо стало ему смотрѣть въ глаза этому созвучному съ его мыслями, унылому чувству. И нашелъ онъ въ немъ какое-то суровое наслажденіе. Казалось, силы его росли и крѣпли на перекоръ морозу, и послышалъ онъ, что горячая кровь играетъ въ груди его. Стряхнулъ Ивановъ тяжелыя думы, крикнулъ ямщику: «пошелъ!», и, надвинувъ мѣховую шапку, помчался по гладкой дорогѣ.

—

И тутъ мы остановимся и простимся, читатель, съ нашими дѣйствующими лицами, которыми я, можетъ быть, слишкомъ долго утомлялъ твое вниманіе. Простимся и съ Тамариными, одиноко сидящимъ съ своей искренней и дорого купленной хандрой, и съ новымъ знакомцемъ Ивановымъ, который выбралъ трудный путь, и съ Ѳедоромъ Ѳедорычемъ, который не трудился выбирать себѣ никакого пути. Прости и ты, моя хорошенькая Маріонъ, которую я оставилъ задумавшуюся на распутьи двухъ дорогъ, — и вы всѣ, разнохарактерныя, полуочерченныя лица, которыя мелькомъ являлись и проходили по нашей сценѣ.... Но, какъ отъѣзжающій, который, навсегда покидая знакомый ему городъ, впослѣдніе уже оборачивается къ нему, и въ то время, когда онъ уже тонетъ въ дали, старается еще разъ взглянуть на одинъ близкій, родной ему домъ, еще разъ посмотрѣть, не увидитъ ли онъ кого у знакомаго ему окна: такъ я еще разъ возвращаюсь на минуту, чтобы впослѣдніе взглянуть на Варинькy.

—

Проводивъ Иванова до прихожей, Володя поспѣшно отправился въ кабинетъ, переодѣлся и вошелъ къ женѣ проститься. Онъ нашелъ ее блѣдную, задумчиво сидящую, пригорюнившись, у стола.

— Ну, вотъ ты какая Варинька! сказалъ онъ.— Вотъ ужь ты и опечалилась. Эдакая ты привязчивая! чуть 'поближе съ кѣмъ познакомилась, ужь и любитъ какъ роднаго. Ну, что тебѣ? Ивановъ, конечно, хорошій человѣкъ, да не родня какая нибудь. Ну, полно, дурочка моя! сказалъ онъ, нѣжно взявъ ее двумя пальцами за подбородокъ и потормошивъ за него. — Ну, полно, сказалъ онъ: — не грусти, я сегодня пораньше изъ клуба вернусь.

За тѣмъ онъ ее поцѣловалъ и вышелъ увѣренный, что онъ совсѣмъ утѣшилъ жену.

Когда Варинька осталась одна, она осмотрѣлась и почувствовала какую-то страшную мертвящую пустоту, будто вдругъ у нея оторвали отъ сердца что-то родное, что-то приросшее къ нему.

Варинька была привязана къ мужу той тихой и родственной привязанностью, которая доставляетъ домашнее спокойствіе. Но было у нея другое чувство, живительное и отрадное, — чувство, которому она отдавалась съ наслажденіемъ, потому что сознавала его чистоту и непорочность, — единственное чувство, которое смѣла она допустить въ свое сердце и которое составляло его живой родникъ, его святыню, ею отрадно лелѣемую. И вдругъ корень этого чувства вырванъ, — вырванъ безвозвратно! А передъ ней еще цѣлая жизнь, а въ груди ея еще свѣжее, полное огня и жаждущее любви сердце! И ничего, ничего впереди! ниодного теплаго луча, который согрѣлъ бы ее, — ни одной свѣтлой отдаленной точки, на которой съ тайной надеждой могла бы она остановить взглядъ, къ которой она хоть бы не дошла, но мечтала дойти! Ничего! одна ровная, гладкая, мертвая пустыня!

Страшно стало бѣдной Варинькѣ! Не грустно, а какъ то безотрадно, болѣзненно заныло ея сердце: какой-то неопредѣленно мертвящій страхъ сошелъ на него и наложилъ свою холодную, безпощадную руку.

Ею овладѣло какое-то безпокойство; боязно ей стало оставаться одной въ этой комнатѣ, гдѣ она такъ часто сидѣла въ длинный зимній вечеръ, поджидая Иванова.

Блѣдная встала Варинька и спѣшила выдти: точно тутъ была какая-то грозящая, неотвязно стоявшая предъ нею мысль, отъ которой она хотѣла спастись, убѣжать. И она поспѣшно отворила дверь и вошла въ смежную комнату. Это была ея спальня. Темные зеленые обои, при слабомъ освѣщеніи, придавали ей какой то унылый видъ. Лѣвая сторона комнаты вся тонула въ полумракѣ, и только неясно и живописно оттѣнялись въ немъ тяжелые штофные занавѣсы. Но направо, въ углу, свѣтился огонь. Передъ широкимъ рѣзнымъ кіотомъ горѣла лампада. Ея мерцающій и вздрагивающій свѣтъ, отражая на потолкѣ три будто двигающіяся тѣни цѣпочекъ, скупо разливался и терялся въ комнатѣ, но ярко горѣлъ на золотыхъ окладахъ, изъ которыхъ таинственно

смотрѣли святые лики. А кругомъ была тишина, тишина.

И было что-то величественно спокойное и, вмѣстѣ, скромное въ этомъ слабо освѣщенномъ уголкѣ, тихо и одиноко стоявшемъ, съ его вѣчно мерцающей серебряной лампадкой. Было въ немъ что-то неодолимо влекущее и успокоивающее, нежданное, точно свѣтлая мысль надежды, которая вдругъ вспыхнетъ въ головѣ, загроможденной грустными и черными думами. И, взглянувъ на этотъ уголокъ, Варинька бросилась къ нему, какъ странникъ бросается къ родному берегу, какъ утопающій къ добродушно и сострадательно протянутой къ нему рукѣ. Она пала ницъ передъ кіотомъ и горько, горько заплакала.

Это была ея молитва,—самая искренная, самая горячая, самая доступная небесамъ молитва. Въ этой молитвѣ не было ни словъ, ни просьбъ, ни желаній, ни мыслей. Она только плакала, она будто хотѣла только выплакать въ слезахъ всю свою душу и положить ее такъ, какъ она есть, на судъ Творца, къ Его подножію. И долго, недвижная, лежала Варинька; только плечи ея вздрагивали отъ глухихъ рыданій, только густые темнорусые волосы ея скатились съ головы и волной вокругъ лица упали на полъ. Мало по малу рыданія ея становились тише и тише. Безмолвіе, ими нарушенное, низходило и низходило. И наконецъ всё смолкло, и стала опять эта святая, недвижная тишина во всемъ своемъ таинственномъ величіи. Какъ будто необходима была она, чтобы молитва, ничѣмъ не сдержанная, могла свободно возноситься. И молитва Вариньки неслась выше и выше, и донеслась она до далекихъ небесъ....

Вдругъ послышался шорохъ, и надъ ухомъ Вариньки заговорилъ неясный дѣтскій голосокъ:

— Мама, мама, перекрести насъ, сказалъ кто-то.

Варинька очнулась, встала и горячо прижала къ взволнованной и еще высоко вздымающейся груди курчавыя, полусонныя головки двухъ дѣтей своихъ.

ЯСНЫЕ ДНИ.

(ИДИЛЛІЯ).

O primavero—gioventù dell' anno
O gioventù—primavero della vita!

Вамъ, можетъ быть, случалось, мой читатель, или моя читательница, не разъ искрещивать Русь не по однимъ шоссе и, отправляясь на лѣто въ деревню, дѣлать пути въ тысячу верстъ, которыхъ бы за-глаза хватило, чтобы, перерѣзавъ всю Германію, доѣхать отъ Петербурга до Парижа, — и если случалось, то вы, конечно, помните эти длинные, жаркіе лѣтніе дни, когда утомленные, зноемъ, безсонницей, вы ѣдете пять-шесть дней. Воображеніе ваше долго занимало и тѣшило васъ; наконецъ оно устало и утомилось, какъ ваше тѣло: въ больной головѣ нѣтъ мыслей; передъ закрытыми глазами нѣтъ ниодной картины, а вы все ѣдете, ѣдете... трясетесь вы по избитой дорогѣ и ни о чемъ не думаете; а зной такъ и душитъ, пыль стоитъ неподвижно, лошади бѣгутъ самой несносной перевалкой, которую онѣ, кажется, нарочно выдумали, чтобы сердить васъ; а передъ вами все безконечная, широкая дорога, съ двумя рядами березокъ, между которыми, по волѣ колеи, лавируетъ вашъ экипажъ отъ одного ряда къ другому, какъ мореходъ по фарватеру; и безконечная дорога отъ этого дѣлается еще длиннѣе, еще безконечнѣе.

Но вотъ зной спалъ, ветерѣетъ, станція близко, и лошади побѣжали дружнѣе; при въѣздѣ на мостикъ васъ такъ тряхнуло, что вы только успѣли вскрикнуть: «эхъ!» — и сонъ какъ рукой снядо. Свѣжій вѣтеръ пахнулъ вамъ въ лицо. Вы начинаете подумывать о кипящемъ самоварѣ, который васъ ждетъ на станціи, погоняете ямщика и закуриваете папироску; можетъ быть, къ этому прибавляется сладкая мысль, что вамъ осталось всего какихъ нибудь сотни двѣ верстъ до мѣста, и что завтра, въ эту пору, вы будете дома. Оживилось ваше воображеніе, и видится вамъ старушка-мать, сидящая близко-близко возлѣ васъ, и отецъ, много посѣдѣвшій въ послѣднюю разлуку, въ спокойно веселыхъ распросахъ котораго звучитъ его мужская, не пробивающаяся наружу, но глубокая любовь; а въ сторонѣ сосѣдка, или кузина, съ синими глазами, русой косой въ три кольца и зарумянившимся какъ заря лицомъ, или юноша, неспускающій съ вашего лица задумчивыхъ и полныхъ жизни глазъ... И вамъ хорошо, взоръ вашъ просвѣтлѣлъ, и, очнувшись отъ своихъ думъ, вы полной грудью пьете свѣжій, душистый вечерній воздухъ и любо-

пытно озираетесь по чужимъ, незнакомымъ мѣстамъ. Вдругъ березки распустились; узкій проселокъ бѣжитъ, изгибаясь, въ сторону; вы слѣдите за нимъ, и вотъ веселая деревня разсыпалась передъ вами задумчивыми, разнохарактерными избушками; пыль стоитъ облакомъ, у околицы стадо пестрѣетъ и гремитъ подъ ней; а въ сторонѣ одинокая деревянная церковь, окруженная могильными крестами, деревянная церковь, ветхая, но богатая теплыми молитвами, которыя усердно шлетъ въ ней и молодой мужикъ, и ветхая старушка, и румяная дѣвица — всѣ моля о своихъ скромныхъ желаніяхъ. За ней, на пригоркѣ, сквозь густую зелень сада, проскользнетъ и встанетъ передъ вами широкій барскій домъ, весь облитый золотисто-румяной краской заката, съ блестящими на солнцѣ стеклами. На пространномъ дворѣ видно движеніе: баба несетъ въ горницы клубящійся паромъ самоваръ; мальчикъ пробѣжалъ съ приказаніемъ; осѣдланный конь играетъ у подъѣзда въ рукахъ кучера; стройная женская фигура, въ легкомъ нарядѣ, мелькнула между цвѣтовъ и зеленью балкона и остановилась на немъ, завидя вашу пылящую тройку, и пристально глядитъ вслѣдъ за ней, рисуясь, какъ воздушное видѣніе, въ рамѣ олеандровъ и рододендръ, вся розовая и пышно освѣщенная послѣднимъ лучемъ солнца. И воображеніе ваше разыгралось, и глазъ вашъ не хочетъ оторваться отъ этой живой картины, которая скоро и, быть можетъ, навсегда промелькнетъ передъ нимъ; и спрашиваете вы ямщика: «Чей это домъ, братецъ?»—«Да господскій», отвѣчаетъ онъ вамъ. — «А кто господинъ?» — «Петръ Афонасьичъ Нена... Нена... Ненабоковъ, кажись...» И, какъ бы сознаваясь, что онъ немного погрѣшилъ, надѣливъ человѣка непринадлежащимъ ему прозвищемъ, ямщикъ ударитъ по лошадямъ, и полетѣли вы впередъ и впередъ, вздымая желтую пыль на мягкой дорогѣ, и пока вашъ взглядъ спѣшитъ уловить убѣгающую картину, воображеніе пытается угадать, кто это Петръ Аѳанасьичъ, и чей конь рвется у крыльца изъ рукъ дюжаго конюха, и чья стройная фигура мелькнула на балконѣ, склонясь надъ затуманившеюся далью, и неясный узоръ романа заткался въ головѣ вашей, и, не замѣчая длинныхъ верстъ, задумавшись, доѣзжаете вы до станціи.

Я вамъ разскажу, если хотите, нѣсколько сценъ изъ этой сельской жизни,—сценъ, которыя рисуетъ и старается отгадать ваше воображеніе. Не обѣщаю, впрочемъ, ни повѣсти, ни романа.

Но прежде-нежели я введу ваше вниманіе въ средину сельской жизни, мою любимую среду, гдѣ такъ много простоты, солнца, воздуха, раздольныхъ полей и темнаго лѣса, я прошу васъ побыть немного въ Петербургѣ.

По календарю была весна. Молодая грудь просила душистыхъ ночей; горячая кровь, оживленная теплымъ воздухомъ, сильно играла въ венахъ. И вотъ позеленѣли стройныя березки за городскими заставами, пыль поднялась по улицамъ, барки задвигались по Невѣ и каналамъ, временемъ перепадали легкіе дождики. Петербургцы потянулись на дачи.

По календарю *** военнаго училища, была другая весна. Экзаменъ кончился, выпускъ затворилъ двери класснаго ученья и отворилъ ихъ для новой тяжелой науки—науки жить. Шумно и весело вышла молодежь, полная силы и надеждъ, на вольный свѣтъ, и радостно спѣшила зажить своей весной, не глядя въ будущее, не думая, что эта весна подчасъ скучнѣе и ненастнѣе петербургской весны. Чудная пора радужныхъ надеждъ!

Около этого времени, небольшая квартирка, о двухъ комнатахъ и передней въ которомъ-то полку, съ недѣлю какъ была занята прапорщикомъ Рожковымъ. Квартира была чистенькая, свѣтлая, отдѣланная за-ново. Все въ ней было въ свѣжемъ безпорядкѣ. Это не былъ безпорядокъ обжитый, хроническій, сдѣлавшійся своего рода порядкомъ. Напротивъ, всякая вещь только начинала служить своему назначенію и говорила о неустановившемся хозяйствѣ. Въ первой комнатѣ, у наличной стѣны, стоялъ большой письменный столъ; на немъ въ безпорядкѣ было разбросано нѣсколько бездѣлушекъ, только что принесенныхъ изъ магазина, нѣкоторыя еще не развернутыя, другія рядомъ съ оберточной бумагой, валявшейся тоже на столѣ и еще вгрубѣ хранящей ихъ форму. Противъ стола — большое комфортное кресло, на спинѣ котораго голова еще не оставила темнаго слѣда; нѣсколько креселъ полукомфортныхъ, турецкій диванъ и ломберный столъ. Справедливость, однакожь, заставляетъ меня замѣтить, что дѣвственность зеленаго сукна этого стола была уже нарушена безпорядочной группой неровныхъ, нетерпѣливо начертанныхъ цифръ, между которыми одинъ рядъ стройно и многозначительно прошелъ по серединѣ, видимо обличая аккуратную и солидную руку.

О назначеніи другой комнаты давала понятіе простая односпальная кровать у внутренней стѣны. Въ ней было еще болѣе безпорядка: каска, шпага, эполеты, въ ящикахъ и безъ ящиковъ, лежали въ разныхъ мѣстахъ; у окна стоялъ небольшой столъ; на немъ складное зеркало, бритвенный приборъ и нѣсколько баночекъ съ помадой, духами и мылами; среди комнаты стоялъ стулъ, у котораго новенькій военный сюртукъ, свѣсивши рукава, обнималъ спинку.

Былъ часъ второй дня. Надо было особенное счастіе, чтобы въ это время застать дома вновь выпущеннаго офицера. Однакожъ, прапорщикъ Рожковъ былъ у себя. Его можно было видѣть во второй комнатѣ, передъ зеркаломъ. Рожковъ былъ высокаго роста, еще несовершенно, но крѣпко сложенъ; румяное лицо его весело и открыто; онъ былъ видимо добрый малый. Костюмъ его въ настоящую минуту выказывалъ недавнее возвращеніе, потому что въ немъ, для совершенной полноты, недоставало только сюртука, заботливо повѣшеннаго руками камердинера на спинку стула.

Рожковъ сидѣлъ передъ зеркаломъ и пристально разсматривалъ верхнюю губу; не довѣряя глазамъ, онъ проводилъ надъ ней кончикомъ мизинца, менѣе другихъ пальцевъ утратившаго чувствительность: юноша-Рожковъ, какъ видите, наблюдалъ за рощеніемъ усовъ, для ускоренія котораго онъ вчера обрилъ ихъ. Въ это время въ прихожей зазвенѣлъ колокольчикъ.

— Дома? спросилъ кто-то.

— Дома, батюшка, пожалуйте, отвѣчалъ голосъ стараго слуги.

Дверь отворилась; Рожковъ поближе подвинулъ лицо къ зеркалу, торопливо посмотрѣлъ съ той и другой стороны на пробивающіеся бакенбарды, которыми онъ прежде не успѣлъ заняться, и, еще не видя гостя, закричалъ:

— Здравствуй, Волжинъ!

И, вслѣдъ за тѣмъ, онъ подалъ вошедшему руку.

Волжинъ былъ — какъ вы справедливо догадываетесь—товарищъ Рожкова, и я съ удовольствіемъ познакомлю васъ съ нимъ, въ увѣренности, что онъ вамъ непремѣнно понравится. Представьте себѣ нѣжную мужскую натуру въ первой порѣ ея развитія, въ то переходное время, когда еще не знаешь, какъ опытъ жизни выработаетъ ее; съ невольнымъ участіемъ всматриваешься въ нее и желаешь спросить у будущаго: свѣтлыми днями, или мелкимъ дождемъ да холодной изморозью оно будетъ ростить этотъ свѣжій ростокъ, и одѣнется ли онъ твердой корой, которой не пробьетъ ни жаркій лучъ, ни морозная ночь, или будетъ вытягиваться подъ тонкой оболочкой, со страхомъ вглядываясь въ каждую тучку, или, наконецъ, можетъ быть, смѣло и стройно взнесется онъ красивымъ, зеленымъ деревомъ и гордо будетъ купаться кудрявой головой въ синемъ небѣ, и спокойно ждать грозы и ведра...

Волжину было небольше восемнадцати лѣтъ; лицо правильное, съ тонкими и легко изогнутыми очертаніями, блѣдное, но блѣдности не болѣзненной, а нѣжной, не подкрашенное румянцемъ, но оттѣненное синими нервами, большими темно-карими глазами подъ длинными рѣсницами и легкой прорѣзью усовъ; мягкіе съ волною волосы были совсѣмъ свѣтлые, съ пепельнымъ отливомъ; весь онъ былъ тоненькій и стройный, и новенькій сюртучекъ легко обхватывалъ его длинный и гибкій станъ.

Волжинъ скинулъ замшевую перчатку, протянулъ свою худенькую и продолговатую руку Рожкову и весь ушелъ въ мягкое кресло.

— Ну, что? спросилъ Рожковъ.

— Ничего! отвѣчалъ Волжинъ.

И разговоръ перемежился. Рожковъ спросилъ трубку, а Волжинъ закурилъ папироску.

— Ты у Скосырева берешь эполеты? спросилъ Рожковъ.

Нѣтъ, у Вальдшека.

перчатки?

Перчатки въ Косметикъ.

— А я для деревни заказалъ лѣтній сюртукъ.

— А ты ѣдешь въ деревню?

— Хочу на дняхъ подать въ отпускъ на двадцать-восемь дней.

— Счастливецъ!

— Да, братецъ! Что дѣлать здѣсь лѣтомъ? да я же и дома давно не бывалъ... А ты?

— Куда же мнѣ дѣваться? Бабушка наняла дачу у самой заставы, чтобы больше глотать пыли. Имѣнье далеко; да и что мнѣ одному дѣлать въ немъ? А, признаться, хотѣлось вспомнить старые годы! Я до двѣнадцати лѣтъ жилъ въ деревнѣ и съ удовольствіемъ вспоминаю о ней.

— Да, хорошо въ деревнѣ, особенно, коли сосѣди есть; а какая, братъ, у насъ сосѣдка—я тебѣ скажу!

Рожковъ, для поясненія фразы, приложилъ кончики трехъ пальцевъ къ губамъ и чмокнулъ.

— А мѣсто хорошо?

— И мѣсто славное. Болото за самымъ домомъ; бекасовъ пропасть. Ты вѣдь охотникъ?

— Охотился; да ужь года три ружья въ рукахъ не бывало. Я думаю, и стрѣлять разучился; а подъ Петербургомъ какая охота!

— Знаешь что, Волжинъ: поѣдемъ ко мнѣ.

— Какъ къ тебѣ?

— Бери отпускъ, да и поѣдемъ вмѣстѣ. Мои будутъ тебѣ рады, какъ родному... А ужь какъ мы поохотимся, а сосѣдки какія! Чудо какъ славно заживемъ вмѣстѣ. Поѣдемъ, душа моя! сказалъ Рожковъ особенно мягкимъ голосомъ.

Волжинъ улыбнулся, какъ улыбаются въ его годы всякой сладкой мысли.

Можетъ быть, въ его воображеніи пронеслось и синее небо, и бѣлая рѣка, и старинный домъ, который смотрится въ эту рѣку, и темная дубовая роща съ ея задумчивымъ шопотомъ,—вся свѣтлая и чудная картина отжитаго дѣтства.

— Какъ же это сдѣлать! сказалъ онъ въ раздумьи: — твои родные меня не знаютъ, да и бабушка не отпуститъ.

— Вотъ пустяки! мой лучшій товарищъ будетъ у нихъ первымъ гостемъ; и ручаюсь, что тебя полюбятъ, какъ меня; у меня славные старики! И ты ихъ полюбишь... а бабушку уговори: скажи, что здоровье нужно поправить: она для твоего здоровья все сдѣлаетъ. Поѣдемъ, душа моя, вотъ разодолжишь... ну, сдѣлай мнѣ дружбу.

И Рожковъ протянулъ руку Волжину.

— Дай подумать, по крайней мѣрѣ, и посовѣтоваться съ бабушкой.

— Ну вотъ, что тутъ раздумывать! бабушка—ничего! а кузины да тетушки еще будутъ отговаривать. Душенька... поѣдемъ... не откажи! приставалъ Рожковъ.

За Рожкова былъ сильный ходатай у Волжина—его собственное желаніе. Онъ защищался слабо и наконецъ согласился.

— Ну, вотъ разодолжилъ! закричалъ Рожковъ,

вскочивъ съ мѣста и бросаясь обнимать Волжина:— вотъ это по-товарищески! вотъ спасибо!

И Рожковъ былъ совершенно счастливъ.

— Иванъ, Иванъ! кричалъ Рожковъ своего стараго слугу. — Сходи за полковымъ писаремъ, сказалъ онъ, когда тотъ вошелъ:—знаешь, Волжинъ съ нами ѣдетъ въ деревню!

— Чтожъ, батюшка, милости просимъ! Василій Сергѣичъ и Марья Степановна будутъ вамъ рады: они у насъ господа добрые, хлѣбъ-соль любятъ, да и вамъ съ Петромъ Васильичемъ будетъ не скучно, отвѣчалъ Иванъ Семеновъ.

— Ну, пошли же за писаремъ, Иванъ! Сейчасъ вмѣстѣ и просьбы подадимъ. Да знаешь, Волжинъ, съ радости бутылочку бы холодненькаго.

— Пожалуй; улыбаясь, сказалъ Волжинъ.

— Иванъ, слышишь, бутылочку!

Иванъ Семеновъ задумался, помолчалъ и сказалъ нерѣшительно:

— Клико прикажете?

— Нѣтъ! редереръ.

Иванъ Семеновъ молча повернулся и медленно вышелъ.

Долго сидѣли Рожковъ и Волжинъ вмѣстѣ. Волжинъ разспрашивалъ, Рожковъ отвѣчалъ, рисуя все розовыми красками. Сговаривались, что̀ взять съ собой и какъ проводить время. И весело и немолчно шла ихъ бесѣда, и нехолодное вино подогрѣвало ее. Богато и щедро стелетъ воображеніе свои узоры въ извѣстные годы, особенно когда двумъ собесѣдникамъ вмѣстѣ не пробило зрѣлости одного человѣка, когда имъ обоимъ нѣтъ еще и сорока лѣтъ.

—

Теперь въ тотъ край, куда давно зоветъ меня воображеніе, — въ край, гдѣ такъ много поэзіи,— въ деревню, которую я такъ люблю, можетъ быть и оттого, что живу постоянно въ городѣ.

Дня за три пути отъ Петербурга на югъ была тоже весна, но такая полная весна, что уже переходила въ молодое лѣто. Вечерѣло, и глазъ, утомленный долгимъ однообразіемъ бѣлаго снѣга, съ наслажденіемъ останавливался на темной зелени лѣса, который горѣлъ и трепеталъ подъ малиновымъ лучемъ заката. Торный проселокъ бѣжалъ въ гору отъ большой дороги. Ранней весной, когда снѣгъ еще не совсѣмъ сталъ и лужи свѣтлой воды стояли между проталинами, въ базарный день, мужики сбирались изъ городу. Продажа была хорошая и зашли мужики попробовать, съ барышей, на дорогу зелена вина. За тѣмъ передовой мужикъ влѣзъ въ телѣгу, стегнулъ сивку и, положивъ голову на нахлестку, преспокойно заснулъ на ней, какъ на пуховой подушкѣ. Его примѣру послѣдовали и остальные, и порожняки тронулись. Сивка довольно небрежно и равнодушно бѣжала по дорогѣ, весьма дерзко не сворачивая предъ встрѣчными экипажами, къ крайнему оскорбленію почтовыхъ ямщиковъ и нѣкоторыхъ изъ господъ проѣзжающихъ. Справедливость требуетъ замѣтить, что по этому случаю ея хозяину доставалось нѣсколько хлыстовъ по кожаному тулупу, сопровождаемыхъ весьма сильными выраженіями; но хозяинъ, однакожъ, не обратилъ вниманія ни на то, ни на другое, и продолжалъ спокойно опочивать, постукиваясь головой о деревянную нахлестку. Итакъ, сивка добѣжала до поворота и, завидя село, возъимѣла похвальное намѣреніе прибавить рыси; но тутъ ей представилось затрудненіе: старая дорога была потоплена водою. Однакожъ, она не потерялась, подумала и пустилась лавировать цѣликомъ между лужами. За сивкой отправилась пегашка, за пегашкой буланка и т. д., и когда всѣ онѣ добѣжали до села и остановились каждая у своихъ воротъ, проселокъ былъ проложенъ,—и вотъ вамъ его исторія.

Мы проѣдемъ по этому проселку прямо къ барскому дому. Домъ былъ деревянный, обшитый тесомъ, въ два этажа и съ мезониномъ. Видно было, что онъ сразу былъ строенъ для большаго семейства, потому-то не пестрѣлъ пристройками и имѣлъ претензію на архитектуру. По правдѣ сказать, собственно архитектуры въ немъ не было, хотя тѣнь его строителя крайне бы огорчилась, или, просто, не повѣрила бы этому замѣчанію, приписавъ его моей зависти; но эта претензія составляетъ сама собой особый домашній родъ архитектуры. Домъ стоялъ бокомъ къ селу, принимая гостей широкими воротами къ крытому подъѣзду. Лицомъ онъ былъ къ полю. Длинный балконъ втораго этажа лежалъ на шести толстыхъ колоннахъ: колонны упирались на широкую террасу; терраса лежала передъ разбитыми въ трехъугольники цвѣтникомъ. За цвѣтникомъ начинались густыя аллеи, которыя медленно спускались по скату къ пруду. Среди пруда стоялъ—затѣя сельской остроты—искуственный островъ съ китайской бесѣдкой; маленькій плотъ плавалъ по канату и служилъ для сообщенія. За прудомъ начиналось поле съ перелѣскомъ, и горизонтъ замыкался рядами березъ, пересѣкающихъ его вмѣстѣ съ большой дорогой. Внутренній фасъ дома съ подъѣздомъ смотрѣлъ на дворовыя службы. Но мезонинъ былъ счастливѣе другихъ этажей. Съ одной стороны тремя маленькими окнами, съ бѣлыми занавѣсками, переглядывался онъ черезъ дорогу съ дальнимъ полемъ, пестрѣющимъ сосѣднею деревушкой, съ другой — черезъ низкія крыши службъ смотрѣлъ онъ на густой лѣсъ, начинающійся за дворомъ. Раннимъ утромъ и позднимъ вечеромъ бѣлый паръ по зарѣ вставалъ надъ зеленымъ лѣснымъ болотомъ, и чудно драпировался тогда темный лѣсъ его густымъ и длиннымъ облакомъ.

Было время, домъ этотъ былъ первымъ домомъ въ уѣздѣ и не послѣднимъ въ губерніи. Жилъ въ немъ сѣдой старикъ-подагрикъ, вдовецъ, коротавшій конецъ жизни, какъ говорится, въ сельскомъ уединеніи.

Домашній очагъ составляли: ключница, управлявшая хозяйствомъ, нахлѣбникъ, лицо страдатель-

ное, худое, кланяющееся, да шутъ изъ дворни. Года въ два-три разъ во весь опоръ подъѣзжала къ дому коляска и выскакивалъ изъ нея стройный гусаръ, и дворня кричала:

— Молодой баринъ пріѣхалъ.

Тогда ключница становилась со всѣми ласковѣе и бѣгала съ утра до вечера; тогда вынимались изъ погреба завѣтныя бутылки, чаще подъ руки проводили изъ-за стола нахлѣбника, шутъ постоянно ходилъ въ своемъ колпакѣ, а деревенскія красавицы въ кумачныхъ сарафанахъ. Все оживлялось.

Прошли года.

Въ склепѣ сельской церкви прибавился одинъ гробъ; вскорѣ вынесли и ключницу въ церковную ограду. Тамъ же въ уголкѣ пріютились смирно и безмолвный нахлѣбникъ, и краснобай-шутъ. И во всемъ домѣ остались два памятника отъ прежнихъ жильцовъ: въ гостиной—портретъ сѣдовласаго старика, да внизу, въ бильярдной, широкоплечій бюстъ шута въ колпакѣ, довольно похоже, послѣ шести неудавшихся опытовъ, снятый домашнимъ ваятелемъ, посредствомъ весьма простаго способа налѣпливанія алебастра на лицо,—способа тѣмъ болѣе удобнаго, что лицо это, подернутое природнымъ глянцемъ, не нуждалось въ смазкѣ.

Нѣсколько лѣтъ домъ стоялъ пустой и, одѣваясь пылью и паутиной, ждалъ новыхъ жильцовъ.

Наконецъ, въ одно прекрасное, а можетъ и дурное утро, смели съ него пыль и паутину, и новые жильцы пріѣхали: Василій Сергѣичъ Рожковъ съ супругой Марьей Степановной поселились въ родовомъ наслѣдіи, почить отъ московской жизни, а можетъ, какъ говорили злые языки, поправлять неудачи спекулятивныхъ оборотовъ съ опекунскимъ совѣтомъ.

Я не буду утомлять ваше воображеніе разсказомъ, какъ новый владѣлецъ и жена его, прежде модная мечтательная московская барышня, превратились въ сельскихъ жителей, какими мы ихъ увидимъ.

Время сбиваетъ мечты и драпировку чувствъ, какъ бѣлый градъ пожелтѣлые листья, и человѣкъ, въ извѣстную пору, является наблюдательному глазу во всей наготѣ безыскуственной природы. Не будемъ же на живые образы наводить утраченныя краски, затѣмъ, чтобы показывать, какъ линяли онѣ, и войдемъ прямо въ домъ.

Взобравшись по довольно широкой деревянной лѣстницѣ изъ нижняго въ бэль-этажъ, я бы остановился въ передней, потому что передняя вообще любопытная и чрезвычайно характеристическая часть дома; но эта передняя не представляетъ ничего замѣчательнаго ни въ дуриомъ, ни въ хорошемъ отношеніи. Зала тоже не стоитъ особаго вниманія—съ своими бѣлыми стѣнами и рядомъ прямоспинныхъ стульевъ. Большая, свѣтлая, высокая, она была хороша для многолюднаго обѣда, а еще лучше для того, чтобы вечеромъ, въ часъ тихихъ сумерекъ, склонивъ голову и скрестивъ руки, долго и однообразно мѣрять ее длинными шагами, и подъ ихъ ровный стукъ думать тихую думу и далеко нестись вольною мыслью и вновь переживать чутко настроенной душою и грусть разлуки, и радость свиданія, и шопотъ чуднаго разговора, сказывать когда-то недосказанныя рѣчи и слышать, въ безмолвной тиши, сладко-звучащіе, желанные отвѣты.

Гостинная была совсѣмъ въ другомъ родѣ: она была темна—и отъ темныхъ обоевъ, и отъ трехъ широко-разставленныхъ оконъ, мало дававшихъ свѣта ея глубинѣ.

На длинной, полуосвѣщенной стѣнѣ надъ диваномъ висѣли два портрета: одинъ — про который мы говорили — старика съ рѣзкимъ профилемъ и густыми, бѣлыми волосами; другой—женщины, еще молодой, съ красивыми, но дурно сгармонированными чертами, обезображенными костюмомъ старой моды, который непріятно поражаетъ отвыкшій глазъ, при всемъ желаніи сыскать въ немъ что нибудь живописное. Странное впечатлѣніе производилъ этотъ портретъ. Въ немъ было что-то недосказанное, что-то невыдержанное, непріятно привлекающее и отталкивающее любопытство, какъ неудавшійся романъ талантливаго пера. Была ли эта неполнота недостаткомъ портрета, или составляла вѣрно схваченный характеръ самого оригинала, выказывающій грустную повѣсть жизни, я не берусь рѣшить; но портретъ, въ особенности рядомъ съ своимъ рѣзко очерченнымъ сосѣдомъ, производилъ тяжелое впечатлѣніе. Оба они безмолвно глядѣлись въ два зеркала, наклонно висѣвшія противъ нихъ, въ простѣнкахъ оконъ. Зеркала эти были въ темныхъ рамахъ краснаго дерева, съ высокими верхними досками, въ которыхъ блестѣли черныя кружки съ золотыми изображеніями богинь, неизвѣстныхъ ни въ одной извѣстной миѳологіи. Затѣмъ вся комната была завалена мебелью цѣльнаго краснаго дерева.

Гостинная, какъ вы можете судить, была мрачная и производила тяжелое впечатлѣніе, по этому оставалась почти всегда пустою, кромѣ какихъ нибудь экстренныхъ дней, когда наѣхавшіе сосѣди оживляли ее.

Но рядомъ съ ней была другая, болѣе счастливая комната, напоминающая собою любимое дитя въ большой семьѣ. Изъ нея слышится звонъ чашекъ и веселый говоръ, и въ ней мы остановимся.

—

Я вамъ сказалъ уже, кажется, что былъ вечеръ, чудный майскій вечеръ, тихій, румяный и душистый; небольшая комната, въ которую мы входимъ, была вся залита его свѣтомъ. Дверь изъ этой комнаты на балконъ была отворена и закатный лучъ, пробившійся сквозь зелень сада вверхъ до втораго этажа, горѣлъ на ея стеклѣ такъ, что больно было глазамъ смотрѣть на него, а дымъ отъ трубки, попадая подъ него, тянулся синими полосками.

Въ глубинѣ комнаты, прямо противъ дверей на балконъ, стоялъ длинный столъ, покрытый бѣлою скатертью; широкій турецкій диванъ, по стѣнамъ, огибалъ его съ трехъ сторонъ. Большой, красной

мѣди, ярко вычищенный самоваръ кипѣлъ на столѣ и клубился паромъ. Разнообразная группа сидѣла вокругъ стола за вечернимъ чаемъ.

Прямо передъ самоваромъ сидѣла высокая, полная женщина, лѣтъ сорока. Это была хозяйка дома, Марья Степановна. Еслибъ съ ея круглаго, неправильнаго, но добраго и озабоченнаго лица снять лѣтъ двадцать, мы бы увидѣли московскую барышню, очень не дурную собой, съ добрымъ задаткомъ свѣжести и здоровья на многіе годы,— одну изъ тѣхъ барышень съ сантиментальными мечтами, которыхъ судьба, на перекоръ ихъ мечтамъ, творитъ какъ будто нарочно, чтобы быть хлѣбосольными хозяйками. И Марья Степановна исполняла свое призваніе: бразды хозяйства она держала не совсѣмъ граціозными, но полными и ловкими руками, изъ которыхъ ничто не вывалится. Шелковый распашной капотъ плотно облегалъ, нисколько, впрочемъ, не стѣсняя — на что было обращено особенное вниманіе — ея сильно развитыхъ формъ. Обставленная вареньемъ, сливками, лепешечками, сдобными кренделями, чашками, блюдечками и стаканами, она, передъ увѣсистымъ, клокочущимъ самоваромъ, съ своимъ одноцвѣтнымъ и крѣпко румянымъ, но добрымъ лицомъ, составляла типъ сельской барыни-хозяйки. Марья Степановна одна занимала всю длинную сторону стола, какъ будто выражая этимъ, «что ужь тамъ, дескать, гдѣ я, такъ прошу не соваться: не нужна мнѣ ничья помощь, и что хоть я и женщина, и слабая женщина, а ужь авось какъ нибудь сама справлюсь, а на свою нашесть сосѣдову курицу не пущу, — нѣтъ ужь, не пущу!»

На другой сторонѣ дивана сидѣла Татьяна Терентьевна. Татьяна Терентьевна была сосѣдка изъ мелкопомѣстныхъ, лѣтъ пятидесяти. Она жила въ своей деревушкѣ, изъ пяти дворовъ, въ двухъ верстахъ отъ Рожковыхъ, и каждый день приходила къ нимъ. Если вы по этимъ даннымъ составите себѣ идею о бѣдной старушкѣ, ухаживающей за богатыми сосѣдями, въ томъ чаяніи, что они къ празднику пришлютъ ей пары двѣ гусей да утокъ, а къ Великому посту гороху да гречихи, вы крайне ошибетесь. Татьяна Терентьевна была вершковъ шести ростомъ; сухія формы ея прямаго стана были крѣпки и сильны; темное, рябоватое лицо, съ орлинымъ носомъ и быстрыми глазами; волосы съ просѣдью и маленькой косичкой кое-какъ причесаны и безъ чепца; голосъ громкій и рѣзкій; нога въ грубомъ чулкѣ и кожаныхъ башмакахъ, смѣло выставленная изъ подъ короткаго платья, не стыдилась своего поларшиннаго размѣра. Оставаясь весь вѣкъ дѣвицей, Татьяна Терентьевна каждый день аккуратно бывала у Рожковыхъ, потому что ей скучненько было одной, и любила она Рожковыхъ, какъ добрыхъ сосѣдей, и Рожковы ее любили, потому что въ сущности она была добрая женщина; а, можетъ даже, у Татьяны Терентьевны была и цѣль, смѣлая цѣль, которую мы объяснимъ впослѣдствіи.

Возлѣ Татьяны Терентьевны лежалъ завязанный шарфъ изъ толстой красной шерсти, на аршинныхъ иглахъ; рядомъ съ шарфомъ рабочій мѣшокъ исполинскихъ размѣровъ; а возлѣ мѣшка сидѣла худенькая и щепетильная Маланья Аркадьевна, которая по нуждѣ могла бы умѣститься въ него. Маланья Аркадьевна была кузина Марьи Степановны, ея необходимое дополненіе, существо, жившее ея утраченными мечтами, въ противоположность ей отдалившее отъ себя всѣ существенныя заботы и крѣпко усвоившее всю эфемерную, испарившуюся часть ея юношескихъ грёзъ. Маланьѣ Аркадьевнѣ было тоже подъ сорокъ; она была небольшаго роста, худенькая и увертливая. Съ перваго взгляда она бы показалась вамъ немного смѣшна; но, узнавъ ее, вы бы непремѣнно примирились съ ней и весело бы полюбили ее. Маланья Аркадьевна любила, когда ее звали Мэланіей Аркадьевной. Лицомъ она была далеко не хороша; но въ немъ ничего не было непріятнаго; маленькій носъ ея былъ расплюснутъ съ конца и даже немного сдвинутъ въ бокъ, какъ будто нарочно, чтобы посмѣшить васъ. Лобъ маленькій, рябоватый, глаза узенькіе, сѣрые, но живые и умные. Маланья Аркадьевна одѣвалась всегда чисто, щеголевато, но безъ претензій; ея жиденькіе волосы были тщательно приглажены и пробраны широкимъ рядомъ накось; черепаховая гребеночка весьма живописно торчала въ маленькой косичкѣ.

Маланья Аркадьевна была слишкомъ умна, чтобы не понять, что претензіи въ ея года и съ ея фигурой были бы крайне смѣшны; но она не могла вполнѣ примириться съ дѣйствительностію, — въ хозяйствѣ любила только то, что проявлялось подъ романической формой: собирать грибы, снимать сливки къ чаю, сушить розовый цвѣтъ; и разсказывая о какой нибудь прогулкѣ, она не могла никогда умолчать о такихъ, напримѣръ, подробностяхъ, что «вечеръ былъ прелестный, соловьи поютъ, цвѣтки цвѣтутъ, и ручеекъ этакъ въ сторонѣ, а кавалеры все такіе ловкіе.»

Но, отказавъ себѣ, по природному уму, въ надеждахъ осуществить свои грёзы, Маланья Аркадьевна не могла совершенно отречься отъ нихъ и нашла случай примирить мечты съ дѣйствительностью: она перенесла ихъ на свою Лизу. Лиза была дочь Марьи Степановны и Василья Сергѣича. Поэтъ сказалъ бы, что надъ ея темно-русой головкой шла шестнадцатая весна. Но я имѣю свои причины считать иначе: я скажу весьма просто, что ей было невступно шестнадцать лѣтъ, но что она только вступала въ свою первую весну. Только тогда, когда тонкая травка пробьется на свѣтлый лучъ и весело заиграетъ свѣжей зеленью надъ черною пашнею, мы говоримъ: «взошло!» и любопытно слѣдимъ, что выйдетъ изъ зеленой травки —выбѣжитъ ли стройный колосъ, колеблющійся отъ тяжести благодатнаго зерна, подъ дуновеніемъ вѣтра, или взойдетъ красивый, но безплодный цвѣтокъ, мимолетно веселящій нашъ праздный взоръ, или встанетъ грубое, неблагодарное плевело.

Лиза, по годамъ, была довольно большаго роста. Можно было сказать, что у нея были черные волосы, если бы наши русскіе черные волосы не имѣли своего матоваго, свѣтлаго отлива, отличающаго ихъ отъ черныхъ волосъ юга и востока. Но эти черно-русые волосы такъ хорошо обрамливаютъ молочную бѣлизну съ пышно-розовымъ румянцемъ нашихъ русскихъ красавицъ, что надобно быть очень требовательнымъ, чтобы не удовольствоваться имъ. Такіе волосы были у Лизы; они были подстрижены и падали пышной кудрявой волной на ея голую шею, оставляя наружѣ только одно горлышко. Лицемъ она не была красавица! это было просто кругленькое, полненькое, хорошенькое личико, съ двумя ямками на щекахъ, подернутое легкимъ весеннимъ загаромъ, какъ будто нарочно для того, чтобы оно къ зимѣ выглянуло бѣленькое и розовое, какъ первый снѣгъ на утренней зорькѣ. Станъ Лизы еще не сформировался; но это былъ тотъ мягкій и упругій станъ, который можно сжать двумя кистями руки, но который хочется обвить только одною. Вообще, Лиза была деревенское дитя, вскормленное на чистомъ воздухѣ молокомъ и домашними булочками,—чудесное дитя, отъ котораго вѣяло жизнью, свѣжестью и весельемъ.

Лизѣ, по моему счету, была первая весна. Она выходила изъ дѣтей и не была еще дѣвицей. Съ первымъ теплымъ лучемъ солнца, когда сбѣжалъ мартовскій снѣгъ, которымъ она не забыла умыться, и душистый вѣтеръ пахнулъ въ ея веселое личико, и соловей запѣлъ вечеромъ въ зеленомъ лѣсѣ, и лѣсъ впервые зашелестилъ новыми листьями, —сердце какъ-то странно забилось въ молодой, только что начинающей округляться груди Лизы; и вопросительно, любопытно посмотрѣла она своими черными, свѣтлыми глазками изъ-подъ черныхъ рѣсницъ на окружающія ее лица; а лица всѣ были тѣже добрыя, немного озабоченныя и хлопотливыя, полныя лица, которыя всегда окружали ее. Только одна тетя, ея балунья-тетя, какъ будто лукаво посматривала на нее своими маленькими, сѣрыми глазками, и только какъ будто кончикъ ея приплюснутаго носика побольше сбочился отъ сдержанной улыбки, только она, какъ ребенокъ передъ сюрпризомъ, будто хотѣла сказать ей: «Подожди, Лизочка! посмотри-ка, что будетъ изъ тебя!...» И Лиза чего-то весело ждала, и сердечко ея билось, билось...

Лиза сидѣла за тѣмъ же столомъ, спиной къ балкону, возлѣ своей тети. Марья Степановна, угостивъ всѣхъ, благоразумно подумала о себѣ: налила чернаго какъ сусло чаю въ свою чашку, долила ее густыми, кипяченными съ пѣнкой сливками, выбрала подрумянившійся крендель и съ степенностью доброй хозяйки принялась наслаждаться первой чашкой.

Но вдругъ, проглотивъ кусокъ, она остановилась въ какомъ-то странномъ недоумѣніи; блюдечко въ одной рукѣ и кренделекъ въ другой остались, не*тущенные,* на воздухѣ,—и Марья Степановна нѣмымъ, вопрошающимъ взглядомъ обвела окружающихъ. Окружающіе молча смотрѣли на нее, остановивъ тоже свои приподнятыя чашки: всѣ ждали чего-то необыкновеннаго, и прошло мгновеніе мертвой тишины.

— Никакъ кренделькн кислы? сказала Марья Степановна съ волненіемъ.

— Нѣтъ, кажется, не кислы, замѣтила, сообразивъ важность вопроса, Маланья Аркадьевна.

— Нѣтъ, maman, не кислы, сказала Лиза.

— Совсѣмъ не кислы. Это вамъ такъ показалось. Когда у васъ бываютъ кислые кренделп! рѣзко сказала Татьяна Терентьевна, какъ будто упрекая Марью Степановну тѣмъ, что у нея не бываетъ кислыхъ кренделей.

— Нѣтъ! это, можетъ, у васъ не кислы, а мнѣ попался кислый. Вотъ попробуйте моего, продолжала Марья Степановна, отломивъ кусочекъ своего кренделя и подавая Татьянѣ Терентьевнѣ.

— И пробовать не хочу. Знаю, что не кислы. Вы просто обмишулились, рѣшила Татьяна Терентьевна, и принялась съ аппетитомъ за свой.

— Попробуй, кузина, продолжала неуспокоившаяся Марья Степановна.

Кузина попробовала, внимательно пожевала и, проглотивъ, еще подумала и потомъ утвердительно отвѣчала, что кренделькн не кислы.

На вкусъ Лизы Марья Степановна не полагалась, и потому въ раздумьѣ и нерѣшительно обратилась къ своему.

— Странно! наконецъ сказала она: — вѣдь въ самомъ дѣлѣ не кислы! отчего же мнѣ это показалось?

Въ это время къ столу приблизилась небольшая мужская фигурка, съ длинными усами, и, протянувъ руку съ двумя сложенными пальцами, сказала сладенькимъ голосомъ:

— Марья Степановна, позвольте и мнѣ попробовать вашего креиделька.

Марья Степановна съ искреннимъ сожалѣніемъ посмотрѣла на фигурку и жалобно отвѣтила:

— Да ужь нѣтъ, Иванъ Иванычъ, я его съѣла.

Иванъ Иванычъ смѣшался и поспѣшилъ отдернуть руку.

— Экъ, батюшка, когда хватился пробовать! сказала Татьяна Терентьевна и громко захохотала.

Ея примѣру послѣдовали другіе, и громкій смѣхъ огласилъ всю комнату, и въ немъ смѣхъ Лизы долго звенѣлъ какъ колокольчикъ, пока другой густой смѣхъ не послышался изъ угла и не покрылъ его своимъ перекатомъ. Это былъ добродушный смѣхъ Василья Сергѣича.

Но, виноватъ! я, кажется, ничего не сказалъ ни объ Иванѣ Иванычѣ, ни о Васильѣ Сергѣичѣ: когда я заговорю о женщинахъ, я вѣчно забываю о мужчинахъ.... Впрочемъ, въ мои года это извинительно.

Иванъ Иванычъ Чепыжниковъ былъ племянникъ Татьяны Терентьевны.

Отслуживъ лѣтъ двадцать въ какомъ-то пѣкот-

номъ армейскомъ полку и получивъ въ наслѣдство отъ покойныхъ родителей восемьдесятъ душъ, онъ съ чиномъ штабсъ-капитана вышелъ въ отставку и поселился въ деревнѣ, подъ покровительствомъ сосѣдки-тетушки. Татьяна Терентьевна любила его по своему—не весьма нѣжно, но тѣмъ не менѣе сильно. Ваня составлялъ предметъ ея гордости и заботливости. Она думала, что лучше ея Вани никого на свѣтѣ нѣтъ. А Ваня былъ простой и добрый малый. Онъ имѣлъ одну претензію—на красоту, въ которой ему рѣшительно отказала природа. Онъ носилъ волосы подъ гребенку и огромные усы, которые на ночь тщательно завивалъ и безпрестанно закручивалъ. Ничего не было страннѣе, какъ видѣть надъ этими усами узенькій, заостренный носъ, маленькіе, чрезвычайно добродушные глаза и вѣчную пріятную улыбку. Иванъ Иванычъ постоянно ходилъ въ венгеркѣ, сильно перехватывающей его аляповатый станъ. Венгерка эта составляла предметъ его всегдашней мечты, и онъ былъ счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ, когда въ первый разъ надѣлъ ее. Онъ считалъ венгерку верхомъ хорошаго тона и изящнаго вкуса, и по этой причинѣ весь гардеробъ его состоялъ изъ различныхъ венгерокъ. Онъ этимъ гордился.

Иванъ Иванычъ, представленный тетушкой, каждый день бывалъ у Рожковыхъ, и я никакъ не поручусь, что онъ не имѣлъ тайныхъ видовъ на Лизу, потому что всегда особенно пріятно улыбался ей. Въ настоящее время онъ, какъ между двумя магнитами, сидѣлъ въ срединѣ между столомъ, окруженный дамами и Васильемъ Сергѣичемъ, съ которымъ онъ большею частію игралъ въ шашки, а остальное время имѣлъ привычку постоянно молча сидѣть, показывая этимъ знакъ своего особеннаго вниманія.

Въ заключеніе картины, мнѣ остается сказать о самомъ хозяинѣ, Васильѣ Сергѣичѣ. Онъ былъ очень полонъ, чтобы не сказать толстъ; но толщина его умѣрялась большимъ ростомъ. Лицо полное, сильно рябоватое и смуглое; рѣденькіе съ просѣдью волосы на головѣ были гладко приглажены. Видно было, что Василій Сергѣичъ, съ своимъ атлетическимъ сложеніемъ, былъ когда-то молодецъ. Но года пронеслись надъ нимъ, и вотъ вышелъ передъ нами добрый, здоровый старикъ, спокойно отдавшій и себя и хозяйство въ управленіе распорядительной супруги, и наслаждающійся круглый годъ счастливымъ кейфомъ, прерываемымъ иногда охотой, и то въ воспоминаніе прежнихъ лѣтъ и для возбужденія аппетита. Каждый день Василій Сергѣичъ, для разнообразія, имѣлъ привычку, въ одинадцать часовъ утра и въ девять вечера, кромѣ обыкновенной порціи передъ обѣдомъ и ужиномъ, выпивать по рюмкѣ травнику, послѣ которой непремѣнно долженъ былъ крякнуть, чѣмъ выражалъ свое полное удовольствіе. Если ему случалось, почему либо, послѣ выпитой рюмки не крякнуть, она для него теряла половину наслажденія, и тогда онъ обыкновенно наливалъ себѣ четверть рюмочки, выпивалъ и крякалъ, уже сильнѣе и продолжительнѣе. Изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы Василій Сергѣичъ придерживался чарочки; напротивъ, это была обыкновенная порція, нисколько не измѣняющая нормы его расположенія духа.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда онъ чувствовалъ ознобъ или боль подъ ложечкой, Василій Сергѣичъ прибѣгалъ къ травнику, какъ уже къ лекарству, никогда ему неизмѣнявшему. Пособіе въ этомъ случаѣ дѣлалось необыкновенно скоро и почти очевидно. Проглотивъ цѣлебное, Василій Сергѣичъ тотчасъ слѣдилъ рукой направленіе, по которому текла внутри его живительная влага, и говорилъ: «ну, вотъ, теперь, хорошо». Этимъ леченіе оканчивалось, и кромѣ его не зналъ Василій Сергѣичъ другихъ леченій. Но одно происшествіе, не задолго до эпохи нашего разсказа, сильно смутило Василья Сергѣича.

Это было за обѣдомъ. Не предчувствуя ничего особеннаго, онъ преспокойно занимался бараньимъ ребрышкомъ, какъ вдругъ что-то хрустнуло у него во рту. Онъ поднесъ руку и вынулъ вывалившійся, совсѣмъ здоровый, передній зубъ. Василій Сергѣичъ взглянулъ на него и поблѣднѣлъ какъ полотно: такъ его поразилъ первый признакъ разрушенія, который коснулся его крѣпкой натуры. Весь этотъ день Василій Сергѣичъ ходилъ пасмуренъ и, выпивъ вечернюю рюмку, совсѣмъ не крякнулъ и долго послѣ того съ удивленіемъ и горькой улыбкой разсказывалъ всѣмъ, что и онъ старикъ, что и у него ужь зубъ выпалъ, при чемъ, въ подтвержденіе словъ, показывалъ его мѣсто и даже предлагалъ показать и самый зубъ.

Въ то время, когда его густой смѣхъ, заглушивъ собой смѣхъ другихъ, обратилъ на него наше вниманіе, Василій Сергѣичъ сидѣлъ въ спокойныхъ креслахъ у отворенной двери балкона, на своемъ никогда неизмѣняющемся мѣстѣ, такъ что въ мягкой спинкѣ этого кресла выпечаталась постоянно давящая ее фигура.

Передъ Васильемъ Сергѣичемъ стоялъ Ѳедулъ съ дѣтьми. Чтобы не вовлечь въ недоразумѣніе читателя, спѣшу сказать, что это былъ не человѣкъ, а самый невинный, домашней работы, столикъ о четырехъ прямыхъ ножкахъ, въ который вкладывалось еще нѣсколько такихъ же столиковъ, одинъ меньше другаго. Въ настоящее время Ѳедулъ-отецъ не наслаждался полнымъ семействомъ. Въ то время, когда самъ онъ важно держалъ возложенную на него большую, любимую хозяйскую чашку съ чаемъ, самый маленькій Ѳедульчикъ, не пользующійся особеннымъ довѣріемъ, по причинѣ весьма близко-сходящихся ножекъ, робко стоялъ возлѣ, узенькій и тоненькій, едва держа поставленную на него шитую табачницу съ жуковскимъ, и ожидалъ перваго толчка, чтобы упасть вмѣстѣ съ ношей къ стопамъ большаго Ѳедула.

Когда женскій смѣхъ затихъ, Иванъ Иванычъ сидѣлъ уже на своемъ мѣстѣ и, чтобы оправиться

отъ промаха, съ ожесточеніемъ принялся за трубку и, улыбаясь, испускалъ страшные клубы дыма: но по мѣрѣ спокойствія, возстановлявшагося въ его крови, клубы становились меньше и меньше, и наконецъ, какъ знакъ совершенной тишины духа, его губы сложились нулиюмъ, и изъ нихъ, какъ голубь мира, вылетѣло круглое дымовое колечко, за нимъ другое и третье, и, перегоняя одно другое, они растягивались волнующимися кругами въ спокойномъ воздухѣ.

Вдругъ Лиза подняла вверхъ пальчикъ и остановилась, къ чему-то прислушиваясь; черезъ минуту съ большой дороги послышался колокольчикъ. Лиза тотчасъ очутилась на балконѣ и, прикрывъ отъ солнца рукою глаза, отчего эта рука сдѣлалась будто прозрачная и видно было, какъ розовая кровь переливалась въ ней по жилкамъ, стала всматриваться. Но она вскорѣ съ досадой повернулась и, садясь у оставленной чашки, сказала:

— Нѣтъ, мимо.

— А скоро Петръ Васильичъ-то пріѣдетъ? спросила Татьяна Терентьевна.

— Да, скоро долженъ быть, отвѣчала Марья Степановна:—онъ писалъ намъ отъ семнадцатаго, что, говоритъ, на будущей недѣлѣ надѣюсь выѣхать. Сегодня у насъ.... которое у насъ сегодня число, Василій Сергѣичъ?

Василій Сергѣичъ очень равнодушно отвѣчалъ:

— Не помню, матушка.

— Сегодня двадцать-осьмое, сказала Маланья Аркадьевна.

— Нѣтъ, двадцать-седьмое, утвердительно сказала Татьяна Терентьевна.

— Э! двадцать-осьмое, возразила Маланья Аркадьевна съ весьма хитрой улыбкой.

— Да ужъ не спорьте, Маланья Аркадьевна! я знаю навѣрно, что двадцать-седьмое. Я посмотрѣла въ святцы: двадцать-седьмаго—Ферапонта.

Этимъ доказательствомъ всякое недоразумѣніе было прекращено.

— Ну, такъ, видите ли, двадцать-седьмое суббота, двадцать-шестое пятница, двадцать-пятое четвергъ; далѣе Марья Степановна продолжала что-то вполголоса, отсчитывая пальцемъ правой руки пальцы лѣвой.—Семнадцатое середа! сказала она громко:—значитъ, онъ писалъ въ прошедшую середу, что выѣдетъ; ну, и коль онъ выѣхалъ хоть въ четвергъ послѣ обѣда, сегодня бы ужь долженъ быть здѣсь.

— Ну, и этотъ съ нимъ ѣдетъ, другой-то.... какъ его?

— Волжинъ, Павелъ Николаичъ? какже! съ нимъ.

— Ну, а зачѣмъ его несетъ сюда? продолжала Татьяна Терентьевна:—что вы, родни ему, что-ли! Отъ роду и не слыхивали и не видывали другъ друга; вдругъ, ни съ того, ни съ сего, къ чужимъ людямъ въ гости ѣдетъ. Что, нынче мода, что ли, такая?

На эту сердитую выходку ввязалась отвѣчать Маланья Аркадьевна, вѣчная защитница юности и романтизма. Она очень краснорѣчиво описала узы дружбы, связывающія Волжина съ Пьеромъ, и какъ пріятны эти узы, и какъ молодому человѣку сладко вдыхать ароматическій воздухъ деревни, наслаждаться пѣніемъ соловья, подъ сѣнію мирнаго семейства своего друга.

Татьяна Терентьевна что-то ворчала про себя, и, къ стыду ея, я долженъ сказать, что краснорѣчіе Маланьи Аркадьевны не произвело на нее никакого эффекта. Это я могъ заключить изъ того, что, возвращаясь домой, въ темные сумерки, пѣшкомъ, опираясь на суковатую палку и размахивая руками, Татьяна Терентьевна говорила сама съ собою, какъ имѣютъ привычку это дѣлать героини мелодрамъ на сценѣ, у которыхъ она, впрочемъ, ничего не могла заимствовать — по той причинѣ, что никогда не видала ихъ:

— Гм! Не себѣ ли Маланья жениха прочитъ? Пора! Али для племянницы выписываетъ.... Много тамъ голи-то всякой! Да нѣтъ, дудки! у насъ свой найдется. Татьяны не проведешь! Нѣтъ, не проведешь!...

И тутъ она глухо засмѣялась, такимъ смѣхомъ, что вблизи стоящая береза затряслась каждымъ листомъ и спугнула заснувшую на ней ворону. Ворона встрепенулась и полетѣла, каркая, надъ Татьяной Терентьевной.

— На свою голову! сказала она громко, обращаясь къ воронѣ, и бойко продолжала путь свой.

Но возвратимся въ чайную.

Прежде нежели кончился краснорѣчивый монологъ Маланьи Аркадьевны въ защиту юности, Василій Сергѣичъ снялъ съ этажерки гитару, вышелъ на балконъ, прислонился къ стѣнѣ, и утвердясь предварительно на одной ногѣ, закинулъ другую, какъ гидальго, когда поетъ серенаду подъ окномъ своей дольчезы, и затѣмъ взялъ нѣсколько аккордовъ.

Услышавъ ихъ, Маланья Аркадьевна оставила безполезный споръ и, обратясь къ Василью Сергѣичу, сказала сладенькимъ голосомъ:

— Братецъ! сыграйте «Сизаго голубочка»; вы его давно не играли.

— «Голубочка»? что̀жь и «голубочка» сыграемъ, отвѣчалъ добрый Василій Сергѣичъ.

И, сдѣлавъ приличную прелюдію, онъ заигралъ извѣстную: «Стонетъ сизый голубочекъ».

Продолжая играть, Василій Сергѣичъ видимо увлекался и трогался своей игрою, такъ что чрезъ нѣсколько минутъ тихо, безъ словъ, онъ началъ подпѣвать себѣ. Голосъ его былъ хриплъ и беззвученъ, но довольно гибокъ. Впрочемъ, верхнія ноты Василій Сергѣичъ выдѣлывалъ преимущественно бровями, и вообще мимика играла едва ли не главную роль въ его пѣніи.

Но не безъ интереса и особеннаго рода грустной прелести было это пѣніе въ настоящей обстановкѣ. Сумерки спускались на землю. Говоръ женскихъ голосовъ слышался изъ комнаты; а вечеръ мертвой тишины стлался передъ глазами, и было

видно, какъ вся земля кругомъ засыпала. И въ это время, слушая беззвучную пѣсню, стоило внимательно всмотрѣться въ лицо Василья Сергѣича, принимавшее грустное выраженіе. И послышался бы вамъ тогда другой голосъ, невидимо отъ него, безсознательно для него, глухо поющій въ его груди. И пѣлъ бы для васъ этотъ голосъ грустную пѣсню, горькую жалобу когда-то полнаго надеждъ, крѣпкаго и свѣжаго молодостью духа.

И часто любилъ пѣть Василій Сергѣичъ; это была привычка, оставшаяся въ немъ отъ молодости; и самъ онъ не зналъ, отчего онъ любилъ пѣть и что тогда шевелилось въ его груди и волновало его до такой степени, что онъ всегда послѣ пѣнія съ особеннымъ удовольствіемъ выпивалъ травнику, закуривалъ трубку и отдыхалъ въ своемъ креслѣ. И не знаю, долго ли бы онъ пѣлъ въ тотъ разъ, если бы стѣнные часы въ залѣ не пробили девяти. Съ послѣднимъ звукомъ пружины, Василій Сергѣичъ вошелъ тихо въ комнату, положилъ на мѣсто гитару и вышелъ. И едва шаги его замолкли въ гостиной, какъ въ дальнихъ комнатахъ кто-то сильно крякнулъ.

Въ этотъ вечеръ ничей пріѣздъ не возмутилъ обычнаго порядка, и часа черезъ два, когда бѣговыя дрожки унесли Ивана Иваныча, когда Татьяна Терентьевна, опираясь на сучковатую палку, успокоенная обращеніемъ къ воронѣ, большими шагами проходила просѣку, одна полная луна глядѣла черезъ балконную дверь въ знакомую намъ комнату и съ особеннымъ любопытствомъ свѣтила прямо въ лица двухъ акварельныхъ портретовъ: одного, изображающаго весьма довольнаго собой гусара, другаго—какой-то мечтательной и интересной дамы въ бѣломъ платьѣ съ таліей подъ мышкой, съ улыбкой на устахъ протягивающей огромный розанъ вплоть къ золоченой рамкѣ,—портреты Василья Сергѣича и Марьи Степановны въ дни ихъ прошедшей молодости!

—

Тарантасъ, запряженный тройкой ямскихъ, бойко ѣхалъ по большой дорогѣ подъ ночнымъ холодкомъ. Два запыленные юноши дремали въ немъ, покрикивая изрѣдка въ просоньи: «пошелъ»! Это были наши знакомые, давно жданные Рожковъ и Волжинъ. Темное перед-утреннее небо поблѣднѣло, и розовая зорька только что заиграла на востокѣ, когда тарантасъ поворотилъ влѣво на проселокъ. Тогда Иванъ Семеновъ, бывшій дядька, а нынѣ камердинеръ Рожкова, обернулся и промолвилъ:

— Петръ Васильичъ! проснитесь, батюшка: къ дому подъѣзжаемъ.

— А! Въ самомъ дѣлѣ! сказалъ Рожковъ, протирая глаза, и радостно сталъ осматривать и признавать знакомыя мѣста. Волжинъ тоже встрепенулся и съ любопытствомъ всматривался въ раскрывающуюся незнакомую мѣстность, которая выставлялась ясно и рѣзко полуосвѣщенными сторонами, и еще болѣе манила взглядъ своими темными, сливавшимися во мракѣ очертаніями. А между тѣмъ тарантасъ въѣхалъ въ еще не проснувшееся село. Дня-три собаки встрѣтили и провожали его лаемъ; ямщикъ свиснулъ и прикрикнулъ, и чрезъ нѣсколько минутъ тройка въѣхала въ незатворенныя ворота и остановилась подъ крытымъ подъѣздомъ. Рожковъ выскочилъ первый и постучался въ запертую дверь. Сердце его сильно билось. Цѣпная собака подала свой голосъ. Занавѣска въ окнѣ спальной зашевелилась, и вскорѣ шаги послышались по лѣстницѣ.

— Кто тутъ? сказала заспанная горничная, отворивъ двери, и, прежде нежели получила отвѣтъ, ахнула:—Петръ Васильичъ! и побѣжала опрометью наверхъ.

Рожковъ наскоро показалъ Волжину комнаты внизу и скрылся.

И пока на верху слышались бѣготня и неясный говоръ голосовъ, Волжинъ одинъ остался въ незнакомыхъ комнатахъ, въ которыя вскорѣ начали вносить ихъ вещи.

Я долженъ немного познакомить васъ съ прошедшей жизнью Волжина; но не бойтесь: я буду кратокъ.

Волжинъ лишился рано отца и матери. У него осталось о нихъ только неясное и полное грустной прелести воспоминаніе, какъ объ образахъ, видѣнныхъ во снѣ. Поэтому онъ подросталъ и воспитывался въ домѣ бабушки, вмѣстѣ съ ея внучками. Кузины были старше Волжина и любили его покровительствующей любовью. Какъ меньшой въ семействѣ, какъ единственный представитель мужской линіи, онъ былъ въ немъ всеобщимъ любимцемъ. Всѣмъ извѣстно вліяніе, которое имѣетъ домашнее воспитаніе на внутреннее развитіе, на взглядъ и на манеры человѣка: женскій воспитанникъ, маленькій Волжинъ, взглянувъ на свѣтъ въ офицерскихъ эполетахъ, сохранилъ на себѣ отпечатокъ этого воспитанія. Хотя кадетская жизнь сгладила и укрѣпила въ немъ много его слабыхъ сторонъ, и отъ этого онъ много выигралъ, но онъ все-таки былъ склоненъ къ мечтательности, нервозенъ и, можетъ быть, немного болѣе женственъ, чѣмъ бы слѣдовало. Но въ его года это такъ извинительно; зато въ Волжинѣ сохранился этотъ тонкій тактъ, эта задушевная склонность и симпатія ко всему прекрасному и поэтическому, наконецъ эта пріятная прелесть въ манерахъ и одеждѣ, которая составляетъ неотъемлемыя достоинства женщинъ. Волжинъ, взросшій между ними, въ обществѣ не былъ ни робокъ, ни застѣнчивъ; но, оставшись одинъ въ домѣ, гдѣ ему были знакомы только два лица, Петръ Рожковъ да его пестунъ Иванъ Семеновъ, и пріѣхавъ въ этотъ домъ не съ визитомъ, не на день, а на мѣсяцъ, вступая произвольно въ домашнюю жизнь чужаго семейства, онъ съ меньшей увѣренностью спросилъ себя: хорошо ли онъ сдѣлалъ, что такъ нецеремонно пріѣхалъ гостить, и съ любопытствомъ осматривалъ въ немъ незнакомыя комнаты и бюстъ шута, кото-

рый стоялъ въ углу, думая по нимъ ознакомиться съ характеромъ жильцовъ. Но утренній свѣтъ дрожалъ на голыхъ, бѣлыхъ стѣнахъ комнаты, и полинялый бюстъ шута какъ-то жалко смотрѣлъ въ этомъ полу-свѣтѣ. Деревенскій лакей, переносившій вещи, замѣтивъ его вниманіе къ бюсту, сказалъ Волжину: «Это, сударь, былъ шутъ покойнаго барина», и въ подтвержденіе своихъ словъ, проходя мимо, далъ шуту щелчекъ въ носъ, проговоривъ: «ну, ты, Мироша, глупая рожа!» хотя у него самого рожа была ничуть не умнѣе, и шута звали совсѣмъ не Мирошей, а Селифонтомъ.

Въ отвѣтъ на эту остроумную шутку, Волжинъ попросилъ умыться.

Рожковъ не надолго забылъ своего товарища: онъ вскорѣ сбѣжалъ внизъ и потащилъ Волжина къ чаю. Тотъ было вздумалъ отговариваться и ранней порой, и тѣмъ, что въ первыя минуты свиданія съ родной семьей посторонніе бываютъ лишніе, но вдругъ явился Василій Сергѣичъ и прекратилъ его совѣстливость. Поблагодаривъ Волжина за дружбу къ сыну и за любезность, съ которой онъ подарилъ его семейство своимъ пріѣздомъ, добрый Василій Сергѣичъ, разчувствовавшись отъ собственныхъ словъ, какъ Щепкинъ, читающій патетическое мѣсто, сказалъ, что теперь онъ не чужой въ ихъ семьѣ, и въ доказательство заключилъ Волжина въ свои объятія. Волжинъ понялъ искренность этого радушія и былъ благодаренъ за него. Съ своей стороны, Василій Сергѣичъ, обнявъ Волжина, нашелъ его такимъ маленькимъ, такимъ худенькимъ въ сравненіи съ размѣромъ своей особы, что почувствовалъ къ нему необыкновенную покровительствующую склонность, и чрезъ нѣсколько минутъ они шли вверхъ по лѣстницѣ рука объ руку, совершенно довольные другъ другомъ.

Столъ, накрытый бѣлой скатертью, въ извѣстной намъ комнатѣ, уже былъ почти весь заставленъ чайными принадлежностями, и самоваръ красной мѣди клокоталъ на немъ и дымился бѣлымъ паромъ. Короткое время отсутствія Петра Рожкова было употреблено дамами на поправку слишкомъ поспѣшно сдѣланнаго туалета, и вся семья только что сошлась вмѣстѣ, когда Василій Сергѣичъ ввелъ Волжина. Представленіе было коротко.

— Вотъ вамъ нашъ дорогой гость, сказалъ Василій Сергѣичъ и, потомъ, обратясь къ нему, поименовалъ:—вотъ жена моя, вотъ кузина, вотъ дочь; а этого, чай, вы сами знаете, прибавилъ онъ, показывая на сына.

Марья Степановна, въ избыткѣ радости, не по-англійски, а по-русски подала обѣ руки Волжину. Маланья Аркадьевна, быстро окинувъ его съ головы до ногъ сѣренькими глазками, тотчасъ замѣтила про себя, что онъ хоть и не бель-омъ, но премиленькій кавалеръ, и, какъ свѣтская дѣвица, сказала ему нѣсколько привѣтственныхъ фразъ такимъ сладенькимъ голоскомъ, и при этомъ ея предательскій носикъ такъ мило погнулся, что въ ея радости было замѣтно удовольствіе видѣть такого друга у племянника. Лиза не сказала ни слова; но она такъ открыто и привѣтно посмотрѣла на него своими черными глазами изъ подъ высоко приподнятыхъ рѣсницъ, что Волжинъ почувствовалъ, какъ кровь теплою струей побѣжала къ груди его. Весело и отрадно смотрѣть и на чужую радость: весело моему перу писать эти строки.

Какая славная въ эту минуту была эта маленькая комната въ барскомъ домѣ Рожкова! Въ ней было столько свѣтлой, невозмутимой радости, что, кажется, ею можно было дышать какъ воздухомъ. И какія славныя лица были тогда у этой группы, усѣвшейся вокругъ самовара! У пожилыхъ какъ будто свѣжая кровь потекла по жиламъ, и черты ихъ точно сбросили тяжелые слѣды лѣтъ и выглянули изъ подъ нихъ свѣжія и помолодѣлыя, какъ вновь открытыя изъ подъ пепла помпейскія картины. А молодежь, и безъ того полная жизни и надеждъ! Хорошъ былъ этотъ Петя, выѣхавшій рослымъ и рѣзвымъ мальчикомъ съ откиднымъ воротничкомъ, который отлично спускалъ змѣя, ѣздилъ верхомъ на клеперѣ и съ ранняго утра пропадалъ изъ дому, возвратившійся теперь молодцомъ-офицеромъ въ давно оставленную семью и съ свѣтлымъ отъ радости лицомъ торопящійся наглядѣться и наговориться съ своими дорогими. Хорошъ былъ и Волжинъ, съ своей тоненькой, стройной фигуркой, которая еще рѣзче и легче выдавалась среди деревенскихъ лицъ; форменный сюртукъ его былъ застегнутъ на всѣ пуговицы, блѣдное лицо немного завѣтрено и большіе темные глаза утомлены отъ дороги. Напротивъ его сидѣла Лиза въ бѣломъ утреннемъ капотѣ, который она забыла перемѣнить. Ея розовое личико еще хранило слѣды недавняго сна и дышало свѣжестью; прибавьте къ этому раннюю пору встрѣчи, которая еще болѣе оживляла ее. Солнце только-что вставало по другую сторону дома. Его лучи не попадали въ комнату; но вся развернутая передъ нею даль зарумянилась отъ нихъ. Лиза растворила дверь балкона, и майское утро, съ всѣмъ ароматомъ, свѣжестью и гармоніей, со всей своей чудной поэзіей, повѣяло ей на встрѣчу. А разговоръ былъ полонъ отрывистыхъ, перерывающихся, живыхъ и шумныхъ разспросовъ. Самоваръ клокоталъ въ срединѣ собравшейся семьи, и вьющійся дымъ табаку былъ такъ пріятенъ въ смѣси съ чистымъ воздухомъ. Даже маленькая живая фигурка Маланьи Аркадьевны, съ сѣренькими, улыбающимися глазками, приплюснутымъ носикомъ и маленькой косичкой, приколотой сбоченившейся гребенкой, гармонировала въ этой картинѣ. И теперь скажите мнѣ, не любо ли, не весело ли слѣдить эту группу?

Но еще лучше, другъ-читатель, положить перо, закрыть книгу и тихо задуматься надъ другою глубоко отмѣченною въ памяти встрѣчею, отъ которой шибко, шибко когда-то билось твое сердце.

—

Въ это утро Татьяна Терентьевна и Иванъ Иванычъ, проснувшись отъ сна, хотя и жили въ раз-

ныхъ деревняхъ, первымъ словомъ услышали вѣсть: что въ Рожково на зарѣ молодой баринъ пріѣхалъ. Дивно передаются извѣстія между деревенскими сосѣдями. Если у васъ на званомъ обѣдѣ не удалось пирожное, или получите письмо, что тетка у васъ умерла, или ночью корова принесла двойни, можете быть увѣрены, что чрезъ часъ узнаютъ объ этомъ всѣ сосѣди. Богъ вѣсть какими тайными путями и случайностями доходятъ вѣсти, но онѣ доходятъ необыкновенно скоро. Непремѣнно случится, что въ минуту происшествія или разнощикъ съ товаромъ продалъ тутъ тесемки и старыя книги, или телка вашей Аксиньи забѣжала въ чужую усадьбу, или, наконецъ, ужь если и этого не было, такъ просто надо допустить, что извѣстіе, какъ говорится, сорока на хвостѣ принесла; но, какъ бы то ни было, посредствомъ торгаша, телки или сороки, вѣсть тотчасъ дойдетъ до васъ. Это меня заставляетъ думать, что электрическіе телеграфы намъ вовсе не нужны. Послѣ этого объясненія всякому, вѣроятно, будетъ понятно, какимъ образомъ Татьяна Терентьевна и Иванъ Иванычъ узнали о пріѣздѣ Рожкова, и никого не удивятъ невинныя измѣненія туалета, въ которомъ они явились въ это утро.

Татьяна Терентьевна явилась первая, и въ ней эти измѣненія почти не были примѣтны: она также пришла пѣшкомъ, не смотря на двадцать-пять градусовъ тепла, поставила въ сѣняхъ сучковатую палку, и явилась въ маленькую гостиную, съ огромнымъ мѣшкомъ на рукѣ и горѣвшимъ какъ зарево лицомъ; только, вмѣсто капота изъ простой холстинки, на ней былъ капотъ изъ холстинки *альпакой*, впрочемъ, той же фабрики.

Татьяна Терентьевна была прилично радостна. Широко растворивъ двери, она живописно остановилась въ нихъ, какъ будто хотѣла сказать пріѣзжимъ: «Смотрите, вотъ она, Татьяна!» и, окинувъ комнату свѣтлымъ взглядомъ, остановила его на Петрѣ Рожковѣ, и подлетѣла къ нему съ словами:

— А, соколъ ясный!..

Соколъ ясный любезно поспѣшилъ ей на встрѣчу и, въ порывѣ воспоминанія дѣтства, готовъ былъ поцѣловать ея ручку, но, взглянувъ на нее, пришелъ почему-то въ замѣшательство.

Однако, Татьяна Терентьевна тотчасъ вывела его изъ ложнаго положенія: она преспокойно обняла его и поцѣловала въ обѣ щеки, проговоривъ:

— Что ты, батюшка, не узналъ, что ли, меня? къ ручкѣ вздумалъ подходить: точно въ первый разъ видишь!

Потомъ она отодвинулась отъ него, какъ будто для того, чтобы лучше его разсмотрѣть; окинула съ головы до ногъ и прибавила:

— Экой молодецъ! А вы, чай, Марья Степановна, гостю-то совсѣмъ не рады.

Марья Степановна только улыбнулась на тонкую шутку Татьяны Терентьевны да посмотрѣла на Петрушу, и на глазахъ ея навернулись слезы радости. Тогда молодой Рожковъ представилъ Татьянѣ Терентьевнѣ своего товарища. Обернувшись къ нему, лицо Татьяны Терентьевны вдругъ приняло какое-то спокойно-величественное выраженіе; неостанавливаясь, она отвѣчала на поклонъ Волжина, приподнявъ голову и подавшись впередъ богатырскою грудью, и при этомъ пришаркнула ногой на ходу и посмотрѣла на него прищурясь. Сдѣлавъ этотъ маневръ, Татьяна Терентьевна усѣлась на свое обычное мѣсто, довольная сознаніемъ, что она высказала пріѣзжему франтику, въ какой степени знакома съ манерами высшаго круга. Вскорѣ застучали бѣговыя дрожки и явился Иванъ Иванычъ. При взглядѣ на него, Татьяна Терентьевна осталась имъ недовольна; онъ, по ея мнѣнію, слишкомъ много выказалъ вниманія къ пріѣзжимъ своимъ туалетомъ. Въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Иванычъ былъ въ совершенно новой венгеркѣ, сплошь исписанной снурками, и весь усъ его былъ круто завитъ локономъ. И ему представили пріѣзжихъ. При этомъ Иванъ Иванычъ выказалъ обычную скромность и любезность, отвѣтивъ на представленіе самой пріятной улыбкой, послѣ которой поспѣшно поправилъ усы, боясь, вѣроятно, не разстроила ли она ихъ.

И день пошелъ бы обычной чередой, какъ шли всѣ дни въ благодатномъ селѣ Рожковыхъ, если бы лицо Волжина, изъ другой среды нечаянно вошедшее въ этотъ кругъ, не смутило его нѣсколько. Я говорю: Волжина, потому что Петруша былъ свой; на Петрушу любуются, Петрушей восхищаются, но Петрушу не нужно занимать. Занимать! великая обязанность! камень испытанія хозяйской любезности въ провинціи, камень претновенія для многихъ, которые считаютъ необходимымъ занимать гостей.

Утомленный дорогою, не оглядѣвшійся между новыми лицами, да еще слишкомъ молодой и ненабравшійся достаточно опытности, чтобы принять на себя издержки разговора, Волжинъ составлялъ предметъ хозяйской заботливости, и Василій Сергѣичъ, забывъ лѣнь, съ радости и въ порывѣ расположенія, занялся имъ исключительно и превзошелъ самого себя. Онъ спросилъ Волжина, охотникъ ли онъ, и, получивъ отвѣтъ, что охотникъ съ ружьемъ, показалъ ему свою небольшую оружейную, разсказавъ исторію каждаго ружья и предложивъ, на случай поля, выбирать любое.

— Я бы вамъ совѣтовалъ взять вотъ это, сказалъ онъ, подавая ему одностволку въ сажень длины съ полдюймовыми стѣнками.—Настоящій Кингельстонъ, на сто шаговъ кряковную держитъ, и ложа настоящая французская; попробуйте, какъ прикладисто.

Волжинъ попробовалъ и нашелъ, что его кадетское ружье было перышко въ сравненіи съ этимъ.

— Ружье доброе, сказалъ онъ:—но у меня есть свое съ собой.

— А! у васъ есть ружье! позвольте [illegible]

Волжинъ хотѣлъ идти за нимъ, но Василій Сергѣичъ не допустилъ его и крикнулъ слугу.

Въ этотъ день, день радостнаго волненія, прислуга оказала чудеса бдительности и аккуратности. На зовъ Василья Сергѣича выскочили двое мальчиковъ.

— Скажи кто нибудь Ивану Семенову, чтобы подалъ ружье Павла Николаича.

Мальчики выскочили оба, на лѣстницѣ подрались изъ-за того, кому идти, и, не рѣшивъ вопроса, въ перегонку бросились оба.

Черезъ нѣсколько минутъ, въ маленькую гостиную, съ приличной важностью, вошелъ Иванъ Семеновъ и внесъ небольшой ящикъ палисандроваго дерева, съ мѣдными наугольниками и бляхой, на которой были вырѣзаны буквы П и В.

— Что это? сказала Лиза, подбѣгая къ ящику, на который съ любопытствомъ смотрѣли дамы.

— Это мое ружье, отвѣчалъ Волжинъ, отпирая его и вынимая изъ бархата тоненькіе, матовые англійскіе стволы.

— Ахъ, Боже мой, ружье! закричала съ ужасомъ Маланья Аркадьевна.

— Чего испугалась, матушка? сказалъ Василій Сергѣичъ:—развѣ не видишь, что разобрано?

— Да оно, можетъ, и такъ выстрѣлитъ, продолжала она.

Татьяна Терентьевна только посмотрѣла на нее.

— Не бойтесь: оно не заряжено, сказалъ Волжинъ, сбирая ружье.

И Маланья Аркадьевна успокоилась.

Василій Сергѣичъ, посмотрѣвъ на англійскую надпись и не разобравъ ея, продолжалъ осматривать ружье.

— Славное ружьецо! Мастера англичане, нечего сказать! только легко черезчуръ!.. А, впрочемъ, на бекасовъ хорошо. А далеко бьетъ?

— Не пробовалъ, отвѣчалъ Волжинъ.

— Какъ же это? не пробовавши, купили?... А какъ цѣна?

— Двѣсти-пятьдесятъ.

— Двѣсти-пятьдесятъ!.. Коли порядочно бьетъ, очень недорого. Одна укладка чего стоитъ. Я вѣдь за Кингельстона далъ сто-восемьдесятъ.

— Да вѣдь это серебромъ, папа! сказалъ Петръ Васильичъ:—а вы заплатили ассигнаціями.

— Серебромъ?.. Позвольте, что̀жъ это выйдетъ?

Онъ приготовился смекнуть, но Волжинъ отвѣчалъ:

— Восемьсотъ-семдесятъ-пять.

— Восемьсотъ-семьдесятъ-пять... Точно! и подумалъ: «не попробовавши!»

Размышленіе свое Василій Сергѣичъ заключилъ многозначительнымъ «гм!» и, посмотрѣвъ еще на ружье, продолжалъ:

— А вотъ, сударь мой, я вамъ покажу ружья наши... Это, позвольте узнать, гдѣ вы изволили купить?

- Въ англійскомъ магазинѣ.

Да-съ! Ну, а у насъ не изъ англицкаго магазина, а бьютъ недурно: вы эдакихъ ружей не видали... Позвать Парфена съ Степаномъ-чеботаремъ, да велѣть имъ и ружья захватить.

Иванъ Семеновъ отправился, а Иванъ Иванычъ рѣшился подать голосъ.

— Славное ружьецо, сказалъ онъ, мягко улыбаясь.—А вотъ-съ, когда мы стояли въ мѣстечкѣ Тептеневѣ, такъ поручикъ Ендуковъ, мой товарищъ, выпонтировалъ у одного проѣзжаго ружье, тоже очень хорошее, аглицкое ружье.

Послѣ этого онъ немного смѣшался, отодвинулся и поправилъ усы.

Вскорѣ доложили, что Парфенъ съ Степаномъ-чеботаремъ пришли. Мужчины вышли въ переднюю.

Степанъ-чеботарь былъ парень высокій и бойкій, но праздникамъ являвшійся даже за барскимъ столомъ. Зная, въ чемъ дѣло, онъ подошелъ первый въ растворенныя двери, поклонился и, улыбаясь, подалъ необыкновенно длинное и широкодульное ружье, самой грубой работы.

— Не угодно ли полюбоваться? сказалъ, усмѣхаясь, Василій Сергѣичъ.

Волжинъ повертѣлъ ружье, нашелъ его крайне плохимъ и грубымъ, и не зналъ, что̀ сказать.

А Степанъ-чеботарь улыбался подъ носъ и развязно переступалъ съ ноги на ногу.

Василій Сергѣичъ наслаждался недогадливостью Волжина.

Вдругъ Волжинъ вскрикнулъ:

— Что̀ это? стволъ совсѣмъ кривой! изъ него стрѣлять нельзя!

Лицо Василья Сергѣича просіяло, и на устахъ Степана-чеботаря явилась такая улыбка, которая навѣрное пробѣжала бы кругомъ головы, еслибъ ей не помѣшали уши.

— Вотъ тутъ-то и штука, сказалъ Василій Сергѣичъ:—что онъ этимъ ружьемъ обстрѣляетъ надалекѣ и васъ, и меня.

Степанъ-чеботарь, знавшій, по неоднократнымъ опытамъ, что̀ послѣ этихъ словъ слѣдуетъ ему вступать въ объясненія, началъ:

— Это ружье, сударь, смѣю доложить, сначала было очень хорошо, только я, примѣрно, уронилъ его и, должно быть, помялъ. Какъ помялъ, оно и начало бить вправо. Жалко стало ружья. Вотъ я, напримѣрно, и подумалъ: коли оно бьетъ вправо, такъ надо его погнуть влѣво. Пошелъ къ Парфену въ кузницу (Парфенъ кузнецъ, онъ же и слесарь, при этомъ скромно погладилъ бороду) и говорю ему: такъ, молъ, и такъ. Парфенъ говоритъ: можно погнуть, да не испортить бы ружья; попробуемъ, говоритъ. И погнули немного. Выстрѣлили потомъ въ цѣль—оно еще правитъ. Вотъ мы, напримѣрно, взяли да еще погнули. Гнули, гнули, да такъ напримѣрно, и пригнали въ цѣль.

— Да изъ него цѣлить нельзя, замѣтилъ Петръ Рожковъ.

— Оно и точно, что было неловко, да приноровился, напримѣрно, такъ ничего-съ.

Ружье обошло по рукамъ и было возвращено

Степану-чеботарю. Тотъ видѣлъ, что его роль кончена, самодовольно улыбнулся и отступалъ за Парфена.

Парфенъ былъ коренастый мужикъ, весь въ сажѣ, съ всклокоченными волосами и такой же бородой..

— А какъ вамъ понравится вотъ это ружье? сказалъ Василій Сергѣичъ:—оно мастера Парфена, деревенскаго.

Парфенъ выступилъ, поклонился и, съ скромностью самороднаго таланта, подалъ свое произведеніе Волжину.

Это было двухствольное ружье, собранное Парфеномъ; стволы его были разнаго калибра и толщины, грубо спаянные. Простая ложа крайне плоха, но замки выказывали русскую смѣтку. Правый замокъ не представлялъ ничего особеннаго и, вѣроятно, принадлежалъ тому же ружью, изъ котораго былъ и стволъ; но лѣвый — отъ одноствольнаго ружья—уже не годился, потому что вся внутренность его была обращена влѣво. Парфенъ нашелся. Онъ прирѣзалъ замокъ на оборотъ, такимъ образомъ, что собачка спускалась прямо къ носу; а чтобы не тянуть спускъ отъ себя, что было бы неловко, онъ привязалъ къ нему веревочку, которая огибала вбитый противъ него гвоздь и такимъ образомъ замѣнила приводъ.

Всѣ посмѣялись находчивости Парфена; но Василій Сергѣичъ не удовольствовался этимъ и снова обратился къ Парфену.

— Какъ называется твое ружье?

— Сами изволите знать, отвѣчалъ Парфенъ, почесываясь.

— Ну, говори, братецъ!

— Съ противорѣчіемъ, тихо сказалъ Парфенъ.

— Какъ?

— Съ противорѣчіемъ! повторилъ Парфенъ.

Смѣхъ снова возобновился. Комедія была кончена; Парфену съ Степаномъ-чеботаремъ велѣно было поднесть по чаркѣ, и господа пошли въ гостиную.

— А что, вашъ поручикъ Ендуковъ, я чай, такихъ ружей не выигрывалъ? спросилъ Василій Сергѣичъ.

— Нѣтъ-съ, не случалось! улыбаясь отвѣчалъ Иванъ Иванычъ, и вслѣдствіе этого поправилъ усы.

Василій Сергѣичъ уже затруднялся, чѣмъ занять гостя и въ раздумьи зашелъ въ буфетъ, гдѣ и крякнулъ вполголоса; но, къ счастію, въ это время подали завтракъ и затѣмъ кофе. За кофеемъ мужчины спросили трубки: Волжинъ, который не имѣлъ привычки курить до завтрака, тутъ вынулъ папироску и попросилъ у дамъ позволенія. Дамы, особенно Татьяна Терентьевна, очень удивились, что на подобныя вещи просятъ позволенія, а Маланья Аркадьевна замѣтила, что Волжинъ очень милый и деликатный кавалеръ. Папиросы въ то время еще были новостью, которая не появлялась въ продажѣ. Волжину приготовлялъ ихъ его лакей, не вставляя картона, а просто—насыпая сухой табакъ въ заграничную бумажку, и потому курилъ онъ ихъ изъ янтарнаго мундштука, или осторожно приставляя къ губамъ тоненькую обертку. Новость возбудила вниманіе мужчинъ; дамы полюбовались серебряной портъ-сигаръ. Иванъ Иванычъ не удовольствовался этимъ и съ застѣнчивостію сказалъ: «Позвольте попробовать.»

Волжинъ подалъ ему папироску и огня. Иванъ Иванычъ забралъ ее въ зубы, курнулъ и въ недоумѣніи раскрылъ ротъ; намоченная бумажка въ немъ развалилась, и сухой табакъ облѣпилъ горло Ивана Иваныча. Долгій смѣхъ разразился на счетъ бѣднаго Ивана Иваныча. Благодаря этому происшествію, которое еще болѣе возстановило противъ Волжина предубѣжденную Татьяну Терентьевну, было убито все утро. Когда разговоръ прерывался, Василій Сергѣичъ обращался къ Чепыжникову и спрашивалъ его:

— А что, Иванъ Иванычъ, не хотите ли папироски?

И смѣхъ возобновлялся снова. А время шло. И скоро Василій Сергѣичъ крякнулъ въ другой разъ; это значило, что кушанье подано.

За столомъ Василій Сергѣичъ, принимаясь за баранью котлетку, вдругъ ударилъ себя по лбу, положилъ вилку и обратился къ сыну.

— Петя! сказалъ онъ.

— Что, батюшка?

— А ты видѣлъ у меня обновку?

— Какую?

— Посмотри!

И онъ полуоткрылъ ротъ и мизинцемъ показалъ на пустое мѣсто зуба.

— Что это, зубъ выпалъ?..

— Да, братецъ!.. Представь, года два назадъ, тоже вотъ эдакъ за столомъ, ѣмъ я баранье ребрышко. Вдругъ... И Василій Сергѣичъ подробно разсказалъ исторію, заключивъ со вздохомъ: — да, старость приходитъ.

Послѣ этого онъ уже рѣшительно не зналъ, что показывать, и потому тотчасъ послѣ обѣда ушелъ спать, предоставивъ Волжина дамамъ.

Дамы имѣютъ больше такта, чѣмъ мужчины; это вещь неоспоримая. Поэтому, не показывая никакихъ рѣдкостей, онѣ незамѣтно провели послѣобѣда. Когда спалъ полдневный жаръ, и садъ съ цвѣтущими деревьями одѣлся тѣнью и пахнулъ свѣжестью, Пьеръ, подъ руку съ сестрою, Волжинъ и Маланья Аркадьевна спустились въ него. Весело и долго ходили они по его темнымъ аллеямъ, неумолчно болтая. Разъ, выйдя къ цвѣтнику, они взглянули на домъ, горѣвшій румянцемъ заката, и, въ открытомъ окнѣ, передъ ними нарисовалась фигура только что проснувшагося Василья Сергѣича, вся освѣщенная солнцемъ и дышащая довольствомъ. Не говоря ни слова, дамы повернули въ комнаты, въ увѣренности, что самоваръ уже поданъ. И опять собрались всѣ вокругъ знакомаго намъ стола, на которомъ клокоталъ самоваръ. Душистый чай полился въ стаканы, табачный дымъ струйками тянулся въ открытыя окна, и Федюк

Съ дѣтьми радушно раскинулся для пріѣзжихъ. А между тѣмъ солнце закатилось, и смуглый вечеръ, одѣваясь тѣнью и дыша ароматомъ, тихо и тихо спустился. Есть что-то чарующее въ этой тишинѣ, и какъ бы ни была шумна бесѣда, она смолкаетъ подъ ладъ всей природѣ. Такъ было и въ семьѣ Рожковыхъ: мужчины молча курили; дамы изрѣдка, въ полголоса, перебрасывались словами. И это въ природѣ людей, когда день проведенъ весело и счастливо: вечеръ долженъ быть тихъ и полонъ сладкой думы.

Въ это время сумерекъ, когда всякій занятъ собой, когда взглядъ неглядя бродитъ по предметамъ, а мечта расправляетъ крылья, Лиза, пріютившись въ углу дивана, долго и пристально смотрѣла въ одну сторону, а въ этой сторонѣ, въ широкихъ и мягкихъ креслахъ, рисовалась темнымъ силуэтомъ тоненькая, немного согнутая фигура Волжина: одинъ только правильный профиль лица довольно рѣзко отдѣлялся на полуосвѣщенномъ окнѣ, и голова его была задумчиво опущена. Не умѣю сказать: на него ли смотрѣла Лиза, пользуясь темнотой и мѣстомъ, на которомъ никто не могъ подмѣтить ея взгляда, и не знаю, что могли разсмотрѣть въ этой темнотѣ ея черные, шестнадцатилѣтніе глаза, только вдругъ лукавая улыбка пробѣжала по ея пунцовымъ губамъ. Она осторожно встала и, неслышно ступая, подкралась къ Волжину. Всѣ смолкли и смотрѣли на нее; а она приложила пальчикъ къ устамъ и, стройная и хорошенькая, свѣжая, какъ только что распустившаяся роза, тихо, тихо нагнулась надъ незамѣчавшимъ ее Волжинымъ. Тогда осторожный смѣхъ зашумѣлъ по комнатѣ. Волжинъ приподнялъ голову, и взглядъ ихъ встрѣтился. И много было чудно-граціознаго въ этой живой картинѣ, полуосвѣщенной сумерками. Лиза, нагнувшаяся, какъ цвѣтокъ на стеблѣ, съ пальчикомъ на губахъ, вся вспыхнула румянцемъ, какъ ребенокъ, пойманный въ шалости. Волжинъ, утомленный дорогою, забывшійся отъ усталости и вдругъ приподнявшій блѣдную голову, увидѣлъ надъ собой лукаво-склонившуюся, хорошенькую Лизу.

— Лиза! Лиза! сказала, покачавъ головою и невольно улыбаясь, Марья Степановна.

Лиза отбѣжала; Волжинъ вскочилъ; а Пьеръ, обратясь къ нему, лаконически спросилъ:

— Вздремнулъ?

— Замечтался! смѣясь, отвѣчалъ онъ.

Дружный, добродушный смѣхъ отвѣтилъ ему, и ледъ этикета былъ разбитъ.

Волжинъ не извинялся; Рожковъ не думалъ претендовать на него. Съ этой минуты онъ сталъ свой и съ нимъ перестали церемониться. Есть такія неловкости, изъ которыхъ надо только выдти свободно, и шагъ къ короткости сдѣланъ.

— Вы устали съ дороги: цѣлую ночь не спали и поцеремонились отдохнуть послѣ обѣда, съ упрекомъ сказала Марья Степановна.—А это все я виновата. Мы съ радости готовы были проговорить еще сутки. Я велю подавать ужинать.

— Пожалуйста, не спѣшите! отвѣчалъ Волжинъ: я, дѣйствительно, былъ немного утомленъ, но теперь снова готовъ сидѣть до разсвѣта. А за то, что вы меня разбудили, Лизавета Васильевна, продолжалъ онъ, обращаясь къ ней:—я попрошу васъ съиграть что нибудь.

— Я дурно играю, сказала она, выходя въ залу: — и вамъ не удастся вздремнуть подъ мою музыку.

— Заставь его лучше спѣть, сказалъ Пьеръ сестрѣ.

— Споете? сказала она, остановясь и повернувъ къ нему головку.

— Извольте, отвѣчалъ онъ.

И они оба ушли.

— Что это, батюшка, твой-то пріятель не выспался, что ли, въ Петербургѣ? спросила Татьяна Терентьевна тотчасъ, когда за Волжинымъ едва затворились двери.

— Онъ не спалъ всю дорогу, отвѣчалъ Пьеръ:— я увѣренъ, maman извинитъ его.

— Полно, Пьеръ! онъ такой славный; я отъ души рада ему.

— Въ самомъ дѣлѣ, бѣдненькій, онъ долженъ быть очень утомленъ, прибавила Маланья Аркадьевна:—онъ такой худенькій, интересненькій.

Татьяна Терентьевна видѣла, что всѣ беруть сторону Волжина, но, не привыкнувъ отступать въ бою, вѣроятно, продолжала бы споръ, если бы въ это время, въ высокой и длинной залѣ, не зазвучалъ рояль, и свѣжій, мягкій теноръ не запѣлъ арію изъ «Пуританъ».

Всѣ смолкли и заслушались.

— Какой прекрасный голосъ! воскликнули дамы, когда арія кончилась.

— О! голосъ во сто тысячъ франковъ! отвѣчалъ Пьеръ тономъ знатока.

А между тѣмъ раздалась другая музыка—звонъ тарелокъ и рюмокъ. Вскорѣ доложили, что подано кушать.

Не знаю, какой эффектъ произвело пѣніе Волжина на Лизу; но, проходя гостиную, она въ полголоса сказала ему:

— Вы на меня не сердитесь за то, что я васъ разбудила?

— Вы надо мной не будете смѣяться? отвѣчалъ онъ.

И они, веселые, вошли вмѣстѣ.

И такъ кончился день... Скоро послѣ ужина разошлась немного утомленная длиннымъ днемъ счастливая семья Рожковыхъ. Только одна Татьяна Терентьевна, Богъ вѣсть почему, ушла, какъ говорится, не въ своей тарелкѣ, и, идя темной просѣкой, шибко размахивала палкой и что-то тихо шептала. А въ это время надъ барскимъ домомъ уже стояла мертвая тишина, и спали всѣ, отъ мала до велика; спала счастливая семья, встрѣтивъ жданаго гостя, спала Лиза тонкимъ дѣвичьимъ сномъ;

—какъ убитый спалъ Волжинъ крѣпкимъ сномъ молодости, и всю ночь чудилось ему, что стоитъ, нагнувшись надъ нимъ, какое-то стройное существо и звучно смѣется дѣтскимъ смѣхомъ.

—

И пошла жизнь прежнимъ чередомъ въ благодатномъ селѣ Рожковѣ. Она не измѣнилась нисколько съ пріѣздомъ двухъ товарищей; но оживилась имъ. Время шло такъ же; но юность внесла въ него свои силы, мечты и живость, и поэзія жизни проглянула сквозь утомительно-однообразный порядокъ. Планы Петра Рожкова несовсѣмъ сбылись. Сосѣдки, о которыхъ онъ мечталъ, уѣхали куда-то на воды, и изъ всей заманчивой группы, какъ голая существенность, осталась одна Татьяна Терентьевна. Но онъ отъ этого не унылъ; время, на которое онъ пріѣхалъ, было коротко: сельскихъ удовольствій въ его года много. Однакожь, въ этой мирной семьѣ образовалась группа, въ которой тихо развивалась маленькая драма — драма простая, какъ деревенская жизнь, свѣтлая, какъ весеннее утро съ розовымъ небомъ, по которому иногда бѣгаютъ сѣрыя тучки. Я говорю о Лизѣ и Волжинѣ. Терпѣливый и догадливый читатель, вѣроятно, давно ожидаетъ, когда эти два существа, оба въ первой порѣ развитія, повинуясь взаимному влеченію, улучатъ удобную минуту въ то время, когда почиваютъ папенька и маменька, а тетенька сидитъ за работой, пріютятся гдѣ нибудь подъ тѣнію деревъ, при легкомъ дуновеніи вѣтерка, и, посмотрѣвъ достаточное время другъ на друга, въ робкомъ и мятежномъ молчаніи, вдругъ какъ-нибудь нечаянно коснутся руки рукою и объяснятъ, какъ дважды два — четыре, что они любятъ другъ друга и намѣрены любить до гроба, а пожалуй, коли мало покажется, такъ и за гробомъ. Но, увы! пусть гнѣвъ читателя теперь обрушится на меня: я не хочу вводить его въ заблужденіе и признаюсь, что въ моей простой исторіи не будетъ подобнаго эпизода, который я могъ бы описать съ большимъ жаромъ. Я предчувствовалъ, что мои молодые герои не сдѣлаютъ ничего подобнаго и лишатъ меня случая выказать вполнѣ мой талантъ; поэтому прошу читателя вспомнить, что я не обѣщалъ ему романа. Романъ я напишу впослѣдствіи: у меня въ воображеніи уже раскидывается его широкая канва, и перо ждетъ только досуга и просится рисовать его затѣйливые узоры; но теперь оно чертитъ эти простые контуры, и я возвращаюсь къ моей исторіи.

Да! герои мои, противъ всякаго ожиданія, не влюбились другъ въ друга. Живя среди сельской свободы, вдыхая полной молодой грудью этотъ прозрачный и живительный весенній деревенскій воздухъ, который, кажется, пропитанъ ароматомъ рощи, полей и нѣги, они, оба молодые, оба хорошенькіе, оба въ первой порѣ полнаго развитія, они не бросились другъ другу на встрѣчу! Была ли этому причиной натура ихъ, или этотъ богатый запасъ жизни и надеждъ, которыхъ лишены мы, поизжившіеся служители свѣта, торопящіеся пользоваться коротенькими благопріятными обстоятельствами, я не берусь рѣшить. Но, не любя, или не сознавая любви, тѣмъ не менѣе Волжинъ и Лиза были часто вмѣстѣ; ихъ невольно какъ-то влекло другъ къ другу, и они не противились этому влеченію, и имъ было такъ хорошо... Часто утромъ, когда еще жаръ не успѣвалъ пробить темныя аллеи, и Василій Сергѣичъ, крякнувъ, усаживался за шашечницу съ Иваномъ Иванычемъ, Волжинъ подъ руку съ Лизой сбѣгали въ садъ, и долго подъ густымъ и темнымъ сводомъ акацій мелькало ея бѣлое платье, или, гдѣ-нибудь на деревянной скамейкѣ, подъ наклоненными вѣтвями цвѣтущей липы, слышался ихъ смѣхъ и говоръ. Иногда, послѣ обѣда, когда солнце безпощадно жгло землю, когда вся природа млѣла и замирала подъ его лучами, и неподвижный воздухъ былъ густъ и зноенъ, Лиза вытаскивала свою тетю, которая ни въ чемъ не умѣла отказать ей, и втроемъ съ Волжинымъ пробирались онѣ вдоль узенькой тѣни строенія, отправлялись въ рощу. Тамъ миніатюрная Маланья Аркадьевна, вся красненькая отъ жару, въ утомленьи садилась подъ первымъ деревомъ, а Лиза и Волжинъ отправлялись рвать ландыши. Но и надъ свѣжими силами утомленье брало верхъ. Вскорѣ возвращались они. Лиза, покрывъ бѣлымъ платкомъ смуглую головку, вся румяная, какъ созрѣвшая роза, высоко дышала полной грудью и помахивала, вмѣсто опахала, пучкомъ ландышей на разгорѣвшееся лицо. Нѣжная кожа его и прикрытыхъ кисейной пелеринкой плечъ, открывъ невидимыя поры, была влажна, и черные глаза, прикрытые длинными рѣсницами, млѣли отъ истомы. Волжинъ шелъ возлѣ нея, лѣниво покачивая свой тоненькій станъ, который, казалось, не имѣлъ силы держаться прямо. Въ утомленьи оба они скорѣе падали, чѣмъ садились подъ густую тѣнь зелени, гдѣ-нибудь недалеко отъ Маланьи Аркадьевны, и долго молчали отъ усталости. Лиза сдергивала платокъ, и подстриженныя кудри черныхъ волосъ чудесно обрамливали тогда ея полу-дѣтское личико. Волжинъ снималъ бѣлую фуражку, и бѣлизна его высокаго лба, прикрытаго козырькомъ, рѣзко отдѣлялась отъ загорѣлаго лица. Мало-помалу они отдыхали, и скоро завязывался отрывчатый, безцѣльный, но полный чудесной для нихъ пустоты разговоръ. А жаръ, казалось, жегъ кругомъ. Тишина была мертвая. Даже птицъ не слышно было по лѣсу, и все въ природѣ, казалось, не смѣло двигаться; только душистый паръ тихо поднимался маревомъ надъ болотомъ, поросшимъ желтыми и бѣлыми цвѣтками, склонившимися надъ широкими листьями, да сосновая роща дышала смолистымъ жаркимъ воздухомъ. Между тѣмъ добрая Маланья Аркадьевна, гдѣ-нибудь въ нѣсколькихъ шагахъ, согнувшись клубочкомъ, дремала подъ деревомъ. Да не сердятся на нее за неосторожность тѣ неусыпныя тетушки и старыя кузины, которыя олицетворяютъ отжившихъ аргусовъ. Любя

отъ души монхъ юныхъ героевъ, я заступлюсь за ихъ добраго генія и замѣчу, что, по моему мнѣнію, при встрѣтившейся въ обманѣ надобности трудно было бы имъ провести ихъ добренькую тетю. Но въ этомъ случаѣ она, вмѣстѣ со мной, могла быть увѣрена, что опасности никакой не существуетъ. Впрочемъ, и тутъ я никакъ не поручусь, чтобы ея сѣренькіе, маленькіе глазки не поглядывали иногда украдкой изъ подъ опущенныхъ рѣсницъ на молодую чету, дружно и живописно сидящую подъ густой тѣнью. Но я думаю, что эти взгляды скорѣе смотрѣли для наслажденія, нежели надсмотра: Маланья Аркадьевна такъ любила свою Лизу! И надо сознаться, что она любила и Волжина, во-первыхъ за то, что онъ нравился ея Лизѣ, во-вторыхъ, за его свободную и граціозную прелесть манеръ, даже, можетъ быть, и за тотъ мягкій и гармоническій выговоръ, съ которымъ онъ произносилъ ея имя такъ, что въ немъ не слышно было ни грубой и деревенской опредѣленности Маланьи, ни приторной нѣжности романической Mélanie. Къ тому же, сердце Маланьи Аркадьевны не всегда безплодно билось въ груди. Романъ ея жизни былъ простъ и коротокъ. Давно, можетъ быть десятка за два лѣтъ назадъ, когда Василій Сергѣичъ только женился на Марьѣ Степановнѣ, въ домъ ея матери ѣзжалъ молодой гусарскій офицеръ. Маланьѣ Аркадьевнѣ, которая жила у тетки, было тогда семнадцать лѣтъ. Она не была хороша собою, но маленькая талія ея была гибка и хорошо схвачена, разговоръ живъ и веселъ, сѣренькіе глаза быстры и лукавы. Гусаръ былъ ловокъ и строенъ; черный, небольшой усъ его лежалъ живописно и обѣщалъ современемъ закрутиться. Онъ протанцовалъ мазурку съ Маланьей Аркадьевной, и любилъ иногда поболтать съ ней въ углу гостиной. Малаша, бѣдная Малаша, не устояла: она влюбилась въ гусара со всею пылкостью семнадцатилѣтняго романическаго сердца, продумала о немъ напролетъ цѣлую ночь и весь день искала его сѣренькими глазками. И гусаръ, кажется, не былъ равнодушенъ къ ней: онъ чаще садился въ уголку гостиной и, во время танцевъ, возъимѣлъ привычку крѣпко держать ея руку. Но въ то время, когда романъ созрѣвалъ подъ самыми благопріятными признаками, судьба готовила ему другую развязку. Въ одно утро, гусаръ явился и объявилъ, что онъ заѣхалъ проститься: его полку велѣно было выступить въ походъ. Бѣдная Малаша навѣрное лишилась бы чувствъ, если бы въ гостиной въ это время не было ея тетки. Она ушла къ себѣ въ комнату и, горько плача, едва успѣла зашить маленькую прядь и безъ того жиденькихъ волосъ въ сердечко изъ розоваго атласа, и въ этомъ зашиваньи потеряла послѣднія минуты, которыя могли бы быть посвящены прощальной бесѣдѣ. Когда она вошла въ гостиную, гусаръ, вѣроятно только ожидавшій ее, всталъ и началъ прощаться; онъ былъ развязенъ и веселъ, а она едва держалась на ногахъ. Однакожъ, протянувъ ему руку, она успѣла вложить ему розовое сердечко съ волосами и сердоликовое колечко. Гусаръ посмотрѣлъ на нее какъ-то вопросительно, поклонился и вышелъ. На другой день, рано утромъ, заиграли трубы, и полкъ выступилъ, а бѣдная Малаша лежала вся въ жару: черезъ нѣсколько дней у нея открылась оспа. Когда она оправилась, полкъ уже былъ на границѣ, а оспа унесла бѣдный остатокъ красоты и свѣжести, который ей удѣлила природа: романъ Малаши грустно остановился на первой страницѣ. И потомъ пошли долгіе годы; Малаша, сирота, небогатая племянница, да еще дурная собой, стала старою дѣвой. Сказать эти слова коротко; но пережить все, что въ нихъ есть грустнаго и горькаго, трудно, трудно! И великъ долженъ былъ быть запасъ ея доброты и терпѣнія, чтобы не озлобиться противъ свѣта, противъ молодости и красоты, которая весело проходила передъ ней съ своими надеждами и радостями, насмѣшливо поглядывая на старую дѣву. Но она пережила тяжелый періодъ и, съ поблекшими мечтами, съ жизнью почти безъ прошлаго, успѣла сохранить теплое сердце, и стала той доброй теткой, которую мы знаемъ. А гусаръ? спросите вы. Гусаръ какъ въ воду канулъ. Недаромъ говорится, что дарить волосы — дурная примѣта. Разъ, правда, когда фамилію его по какому-то случаю, закраснѣвшись по старой памяти, произнесла Маланья Аркадьевна, Иванъ Иванычъ выпустилъ трубку и тихо замѣтилъ: «Я ихъ знаю-съ».

— Какъ, гдѣ же вы его знали? спросила Маланья Аркадьевна съ біеніемъ сердца.

— Когда мы остановились въ мѣстечкѣ Маломонешти, сказалъ Иванъ Иванычъ: — такъ Ендуковъ, Петръ Осипычъ, и говоритъ мнѣ: у меня есть здѣсь знакомый, говоритъ, пойдемъ къ нему, Чепыжниковъ; я говорю ему: не поздно ль? нѣтъ, говоритъ, онъ долго сидитъ; такъ не помѣшаемъ ли? говорю, можетъ они чѣмъ заняты. А онъ усмѣхнулся, да и говоритъ: у него, братецъ, говоритъ одно занятіе: какъ ни приди, все карты тасуетъ.—Вотъ мы зашли, а они сидятъ одни и перепускаютъ колоду картъ изъ одной руки въ другую, да этакъ вѣеромъ мастерски перепускаютъ, а какъ увидали насъ и говорятъ: не сразиться ли, господа? Соза, вели-ка, говоритъ, подать новыя; а Соза такая хорошенькая...

Но тутъ Маланья Аркадьевна вскочила и сказала:

— Вы, Иванъ Иванычъ, Богъ вѣсть про кого разсказываете. У насъ въ домѣ тетушки такихъ знакомыхъ не водилось!

И, несмотря на всю деликатность манеръ, она ушла, хлопнувъ дверью, и долго, къ крайнему удивленію Ивана Иваныча, не-вѣсть за что сердилась на него. И теперь, когда она перенесла всю свою любовь и надежды въ Лизу, и когда въ полу-дремотѣ она поглядывала на нее маленькими глазками изъ подъ опущенныхъ вѣкъ, сознайтесь, не былъ ли это скорѣе взглядъ наслажденія, нежели дозо-

ра? Не видѣлась ли ей въ шестнадцатилѣтней Лизѣ ея короткая и безплодно погибшая весна жизни, возродившаяся теперь въ новой прелести и украшенная много-обѣщающими надеждами? А Волжинъ, сидящій возлѣ Лизы, не напоминалъ ли ей другой оставшійся въ сердцѣ образъ, тѣмъ болѣе дорогой, что онъ былъ единственный. И дремота, смѣшавъ дѣйствительность съ грёзами, доставляла ей сладкія минуты, и согнувшейся клубочкомъ, рябоватой и красненькой тётѣ Маланьѣ Аркадьевнѣ казалось, будто снова была она Малаша, похорошѣвшая, точно по мановію волшебницы, и будто снова сидѣлъ возлѣ нея стройный гусаръ, лучше и стройнѣе прежняго, и, снова лаская ея слухъ забытыми звуками, лилась его рѣчь тихо и сладко, тише и слаще прежняго.... Вотъ отчего Маланья Аркадьевна, не смотря на послѣобѣденный жаръ, никогда не отказывала Лизѣ идти съ нею въ рощу; вотъ отчего просиживала она съ ними до тѣхъ поръ, пока солнце спускалось за высокую рощу и просыпался Василій Сергѣичъ, и самоваръ красной мѣди, шумящій кипяткомъ и дымящійся бѣлымъ паромъ, торопливо проносился кухаркой по двору.

А тамъ наступалъ вечеръ, тихій, душистый; кружокъ, собравшійся за чайнымъ столомъ, размыкался, и всѣ отправлялись въ садъ. Оставался только Василій Сергѣичъ, на обычномъ мѣстѣ, у открытаго окна; лаковая шашечная доска водружалась на Ѳедула-отца; молча подсаживался къ ней Иванъ Иванычъ, которому, можетъ, и хотѣлось бы спуститься въ темныя аллеи, откуда слышались звонкіе голоса; но ни миной, ни нетерпѣливымъ движеніемъ не высказывалъ онъ нескромнаго желанія, и начинался однообразный, непрерывный стукъ костяныхъ шашекъ въ опустѣвшей комнатѣ. А въ саду, между тѣмъ, тихо и чинно ступая по широкимъ аллеямъ, толковали барыни объ ежедневныхъ, ничего не значащихъ пустякахъ. Вдругъ у пруда рѣзвая Лиза вскакивала на плотъ и говорила, посматривая кругомъ:

— Кто со мной?

Но братъ ея куда-то обыкновенно исчезалъ, дамы были заняты разговоромъ и поворачивали въ другую аллею, оставался одинъ Волжинъ. Легко вспрыгивалъ онъ на плотъ, и тихо отдѣлялись они отъ берега, скользя какъ тѣни по нешелохнутой глади пруда. Иногда достигали они бесѣдки, и тогда, подъ ея легкимъ наметомъ, долго на блѣднѣющемъ оранжевомъ небѣ рисовались ихъ стройные и тоненькіе силуэты; иногда, заговорившись, останавливались они среди пруда и, облокотясь на перила, тихо покачивались на упругой влагѣ. О чемъ разговаривали они, Богъ вѣсть! Если уловить и положить на бумагу ихъ отрывчатый, иногда прерываемый долгими паузами разговоръ, вышла бы ничего-незначущая, пустая болтовня, и, вѣрьте, подозрительный читатель, что любви въ ней не было и помину. Волжинъ говорилъ о томъ, какъ отрадно, покинувъ шумный и многолюдный городъ, жить на деревенской свободѣ, вдоволь дыша цвѣтами и воздухомъ. Лиза говорила, какъ должно быть весело носиться по скользкому паркету подъ оживляющіе звуки оркестра, передъ глазами блестящей и шумной толпы... Вы видите: Волжинъ завидовалъ Лизѣ, Лиза завидовала Волжину; тому и другому хотѣлось ближе войти въ ту полузвѣстную среду, въ которой жили они. Они разспрашивали другъ друга, и часто одинъ разсказывалъ какой-нибудь незначительный эпизодъ своего короткаго прошлаго, другой внимательно слушалъ, и такъ шла ихъ бесѣда, иногда веселая, иногда полная какой-то невысказываемой грусти, всегда ничего почти незначущая и всегда для нихъ прелестная. А между тѣмъ примѣтно темнѣло; холодная роса, испарина жаркой земли, выступала на зеленой травѣ; бѣлый туманъ поднимался съ пруда, и за домомъ, изъ лѣснаго болота, соловей, спрятавшись въ покрытой бѣлыми цвѣтами, душистой черемухѣ, заводилъ свою пѣсню, сначала прерывистую и нерѣшительную, потомъ громкую и блестящую. О чемъ пѣлъ онъ? что онъ высказывалъ своими трелями? Можетъ быть, вся его длинная и чудная пѣснь могла бы быть передана двумя самыми прозаическими словами... А между тѣмъ, заслушавшись ее, можно провесть въ чудномъ раздумьѣ цѣлую ночь! Не удивляйтесь же, что я не передалъ разговоровъ Лизы и Волжина: въ нихъ была музыка невысказываемаго, непонятнаго имъ самимъ чувства.

Тогда Лиза и Волжинъ возвращались въ домъ. Волжинъ садился за рояль, бралъ сначала пустые аккорды, прерываемые фразами, потомъ пѣлъ. Иногда онъ пѣлъ «Серенаду» Шуберта, и ему казалось, что въ самомъ дѣлѣ онъ вызывалъ кого-то на тайное свиданіе. Не было еще формы у его мечты; но онъ уже былъ полонъ скрытой мольбы; а пѣсня соловья, какъ будто нарочно, чтобы дополнить иллюзію, долетала, замирая, изъ ближней рощи, и Лиза непонимала, кто и куда, но какъ-будто зоветъ ее. Иногда онъ пѣлъ «Русалку» Лангера, эту чудную гармонію звуковъ, дополненную чудной гармоніей словъ, и тогда въ этой пустой, едва освѣщенной выходящею луной, да умирающими сумерками залѣ, казалось, плескала волна объ волну и невидимая русалка начинала свою тоскливую пѣсню, свою грустную и полную страшнаго недоумѣнія жалобу на этого загадочнаго рыцаря чужой стороны, который спитъ на ея груди страннымъ сномъ, и не дышетъ, не шепчетъ во снѣ... Слова замирали, пѣсня кончалась, и только слышанъ былъ плескъ далекихъ волнъ въ темнѣющей залѣ.... А между тѣмъ, во время пѣнія, тихо растворялись двери, и неслышно входили и Маланья Аркадьевна, и Марья Степановна, и даже Татьяна Терентьевна съ вязаньемъ и длинными спицами въ рукахъ, и всѣ неподвижно слушали. Только оставались на своихъ мѣстахъ Василій Сергѣичъ съ Иваномъ Иванычемъ, за шашечницей, водруженной на Ѳедулѣ-отцѣ, при одной свѣчѣ.

довѣренной худенькому Ѳедулу-сыну; а то, во время какой нибудь блестящей, свѣжей ноты, останавливалась на воздухѣ, съ приподнятой шашкой, рука Василья Сергѣича, не трогавшаго гитары съ пріѣзда Волжина, и, повернувъ ухо и сбоченивъ немного голову, онъ неподвижно вслушивался и потомъ, спуская шашку, говаривалъ:

— Экой голосъ!

— Да-съ! считалъ обязанностью прибавить Иванъ Иванычъ:—хорошо поютъ-съ.—А вотъ у насъ въ ротѣ былъ пѣсенникъ Антиповъ: пьяница горькая, а тоже славно пѣлъ.

Послѣ этого онъ торопливо поправлялъ усы и замышлялъ пробраться въ довѣди.

И такъ шли дни за днями—славные, ясные дни. И погода, казалось, была заодно съ счастливой семьей: ни одного облачнаго, ненастнаго дня; изрѣдка набѣгутъ тучи, крупный дождь прольется съ шумомъ, быстро убѣгая за ними, освѣжительный громъ прокатится по небу,—смирные обитатели села Рожкова перекрестятся... Глядь, и опять тучи разбѣжались, солнце заблистало еще свѣтлѣе, играя лучами на дождевыхъ капляхъ, воздухъ сталъ душистѣе, свѣжѣе; только дворовые гуси да утки подняли крикъ и бросились купаться въ широкія лужи, да деревенскіе, бѣловолосые мальчишки соперничали съ ними и, приподнявъ рубашонки, отправлялись въ мутную воду, осторожно и, съ наслажденіемъ ступая въ грязь босыми ногами. А дни шли да шли—ясные, однообразные дни.

Признаюсь, въ началѣ этого разсказа я много надѣялся на Татьяну Терентьевну. Описывая ея темную, рембрантовскую фигуру, вглядываясь въ ея смуглое, рябоватое лицо, съ уваженіемъ мѣряя глазами ея огромный ростъ и вслушиваясь въ жестія рѣчи, отрывисто бросаемыя ея громкимъ и грубымъ голосомъ, я думалъ, что она оттѣнитъ мою свѣтлую картину; я думалъ, что она смѣло вмѣшается въ идиллію моихъ героевъ и смутитъ ихъ ясные дни. Но, увы! и она измѣнила мнѣ. Татьяна! Татьяна! гдѣ твои замыслы? гдѣ твоя энергія? Что сталось съ твоими смѣлыми предположеніями, которыя высказывала ты себѣ, идя вечеромъ по лѣсной просѣкѣ и торопливо шевеля губами? Надъ кѣмъ смѣялась ты своимъ густымъ смѣхомъ, спугнувшимъ дремлющую ворону? Надъ собой ты смѣялась, Татьяна! И въ тебѣ недостало смѣтки и рѣшимости. Смутилась ты своимъ топорнымъ умомъ, когда, вмѣсто мощнаго соперника, увидала жиденькую фигурку, которую легко могла бы перешибить пальцемъ. Удивилась ты, когда эта фигурка отвѣчала мягкимъ, вѣжливымъ голосомъ на твои заносчивыя выходки и граціозно поклонилась на твой гордый пріемъ. Ты, вѣрно, думала встрѣтить десятивершковаго молодца съ перехватомъ въ таліи да лихо закрученнымъ усомъ, который начнетъ сыпать остроты да играть черными глазами? Вѣдь эти люди неопасны, Татьяна: вѣдь это люди дурнаго тона; понимаешь ли? А *какъ* увидала ты блѣдненькаго, худенькаго, съ узенькими плечами, по твоему выраженію, молокососа, съ его свободно развязными манерами, да попробовала подслушать его равнодушно-пустую, ни на что не напрашивающуюся, безпритязательную рѣчь — успокоилась ты своимъ недальнимъ умомъ и спустила рукава!

А знаешь ли ты, что этотъ добренькій мальчикъ, который, кажись, пальцемъ воды не замутитъ, навсегда разбилъ всѣ твои лучшія мечты, всѣ твои любимые замыслы? Знаешь ли ты, что имѣвшій невѣжливость задремать въ гостиной въ первый день пріѣзда, да еще и не извинившись послѣ того передъ дамами, не покраснѣвъ даже, а отдѣлавшись передъ Лизой одной только пѣсенкой, убилъ, наповалъ убилъ твоего вѣчно услужливаго, предупредительнаго Ваню, каждый день завивающаго на ночь усы и играющаго по цѣлымъ днямъ въ шашки съ Васильемъ Сергѣичемъ. Да, Татьяна Терентьевна! пропали твои планы, пропалъ твой Ваня, и съ венгеркой, и съ усами и съ ловко разсказанными кстати воспоминаніями. Между нимъ и Лизой вѣчно будетъ стоять, покачиваясь, худенькая фигурка Волжина: уѣдетъ онъ, не воротится, безъ вѣсти пропадетъ — а будетъ вѣчной помѣхой... Что безпокойно озираешься ты, что поглядываешь то на Лизу, то на Волжина, то на безмолвнаго, съ улыбкой на лицѣ, ловко пускающаго дымовыя колечки Ваню? Ты начала догадываться!... Ты замѣтила улыбку Маланьи Аркадьевны, которая смотритъ на тебя, прищуря сѣренькіе глазки и насмѣшливо сбоченивъ маленькій носикъ! Да! опростоволосилась ты, Татьяна Терентьевна; догадалась, да поздно—поздно: я уже кончаю!...

Да, наша простая исторія близка къ концу. Ясные дни не длятся долго, да и хорошо дѣлаютъ. Перемѣна погоды необходима для здоровья прозябанія,—перемѣна обстоятельствъ нужна для полноты жизни. И, къ тому же, отпускъ въ двадцать-восемь дней проходитъ скоро. А наши пріѣзжіе были уволены всего на четыре недѣли.

Къ концу этого времени темное облако какъ будто начало бросать тѣнь на спокойную жизнь нашей деревенской семьи. День отъѣзда близился; свѣтлыя лица становились задумчивѣе, въ веселомъ разговорѣ слышалась затаенная грусть. Разъ, вечеромъ, когда рѣчь зашла о скорой разлукѣ, Марья Степановна нерѣшительно замѣтила что-то о короткомъ знакомствѣ своемъ съ уѣзднымъ докторомъ, и съ тайнымъ волненіемъ посмотрѣла на Петрушу и Василья Сергѣича; но намекъ ея остался безъ послѣдствій, и день отъѣзда былъ назначенъ.

Тогда семейный кружокъ сомкнулся тѣснѣе.

Маланья Аркадьевна вмѣстѣ съ Лизой принялись вышивать дорожный мѣшокъ для Петруши. Работа была спѣшная, и онѣ проводили за нею большую часть дня; кромѣ того, Лиза вязала кошелекъ Волжину, и это отнимало у нея послѣднее свободное время. Небо хмурилось заодно съ лицами, и

прогулки прекратились. Волжинъ обыкновенно садился около пялецъ. Общая бесѣда его, Лизы и Маланьи Аркадьевны была весела, игрива и, должно признаться, немного мечтательна. Юность брала свое, а добрая Маланья Аркадьевна въ душѣ была не старѣе ихъ. Но въ рѣдкія минуты, когда Маланья Аркадьевна зачѣмъ-нибудь покидала работу, и Волжинъ оставался вдвоемъ съ Лизой, разговоръ ихъ не клеился и часто прекращался, и странное что-то творилось въ нихъ во время этого молчанія. Въ умѣ каждаго возникали какіе-то неясные, задушевные вопросы другъ къ другу; имъ хотѣлось бы высказать ихъ, дорого бы дали они, чтобы получить отвѣты на эти несознанные и невысказанные вопросы, а между тѣмъ они упорно молчали. Они думали о скорой разлукѣ, они мечтали другъ о другѣ, и имъ хотѣлось бы наглядѣться на черты, которыя скоро останутся только въ памяти, и ни одинъ изъ нихъ не поднималъ глазъ на другаго. И было что-то тяжелое и, вмѣстѣ, пріятное въ этой нѣмой бесѣдѣ съ упрямо-потупленными глазами, и сердца ихъ бились шибко, шибко, и невольный румянецъ игралъ на лицахъ, будто они ждали чего-то трепетно, сладко. Случалось иногда, что взглядъ Ивана Иваныча, отрываясь отъ шашечницы, упадалъ въ это время на молчаливую пару, и Иванъ Иванычъ, не знаю почему, смущался и терялся. Тогда Василій Сергѣичъ медленно снималъ одну изъ его шашекъ, неперевертывалъ ее и, поплевавъ ей въ задокъ, отставлялъ въ сторону.

— Что это вы дѣлаете, Василій Сергѣичъ? спрашивалъ, встрепенувшись, Иванъ Иванычъ.

— А фукнулъ вашу шашку, Иванъ Иванычъ: вамъ слѣдовало брать мою, да вы прозѣвали; я и фукнулъ. Не зѣвайте впередъ.

Тогда Иванъ Иванычъ смущался еще болѣе и, вмѣсто отвѣта, торопливо поправлялъ усы и внимательно погружался въ разстроенную игру.

А между тѣмъ, послѣ каждой ночи, день отъѣзда какъ будто видимо приближался.

И вотъ, въ одно утро, дорожный мѣшокъ былъ конченъ, кошелекъ довязанъ, подарки розданы по принадлежности; вечеромъ этого дня Рожковъ и Волжинъ должны были ѣхать.

Тучи заволокли небо, мелкій дождь моросилъ какъ сквозь сито; вплоть до обѣда всѣ просидѣли вмѣстѣ, толкуя о предположеніяхъ, о будущей зимѣ, о слѣдующемъ свиданьѣ. За обѣдомъ передъ жаркимъ, Василій Сергѣичъ подозвалъ дворецкаго и тихо отдалъ какое-то приказаніе. Вслѣдъ за тѣмъ дворецкій явился съ бокалами, и почти всѣ взглянули на нихъ съ затаеннымъ вздохомъ. Не думала вздыхать только Татьяна Терентьевна, никогда ни о чемъ не вздыхавшая; да Иванъ Иванычъ, посмотрѣвъ на узенькую талію бокала, въ первый разъ, кажется, съ опредѣленной цѣлью расправилъ усы. И вскорѣ дворецкій громко хлопнулъ пробкой и началъ пѣнить вино.

Я не люблю шампанскаго; да и вообще мы, русскіе, не столько любимъ пить, сколько истреблять его; но надо признаться, что иногда въ одномъ бокалѣ, выпитомъ въ извѣстную минуту, болѣе грусти и поэзіи, чѣмъ капель вина!

И много было грустнаго для семьи Рожковыхъ и Волжина въ этихъ прощальныхъ бокалахъ. Выпили ихъ, разумѣется, за здоровье отъѣзжающихъ, и Марья Степановна при этомъ случаѣ поплакала. Отъ души поблагодарили радушные хозяева Волжина за удовольствіе, которое онъ доставилъ имъ, и Волжинъ не остался въ долгу по искренности своего отвѣта; добрая Маланья Аркадьевна съ особеннымъ чувствомъ пожелала ему всего хорошаго и попросила не забывать ихъ, и при этомъ лукавая улыбка блеснула въ ея сѣренькихъ глазахъ и кончикъ носа погнулся самымъ насмѣшливымъ образомъ. Лиза не сказала ни слова Волжину; она только кивнула ему головкой, да дотронулась бокаломъ о бокалъ и обмочила въ него алыя губки; за то Волжинъ выпилъ свой до капли. Затѣмъ Татьяна Терентьевна встала во всю величину своего роста и весьма пространно и подробно вычитала Петру Рожкову различныя блага, которыя желаетъ ему, и, обратясь къ Волжину, прибавила: «И вамъ того же.» Послѣ этого спича она выпила бокалъ разомъ и, садясь на мѣсто, крѣпко имъ стукнула. Иванъ Иванычъ былъ по обыкновенію кратокъ; онъ только сказалъ: «Счастливаго пути-съ», расправилъ усы, хотѣлъ выпить бокалъ однимъ глоткомъ, какъ дѣлалъ одинъ его знакомый—Тютергинъ, Григорій Григорьичъ, но поперхнулся и закашлялся до такой степени, что Татьяна Терентьевна, сидѣвшая возлѣ него, не утерпѣла и замѣтила: «экъ тебя!» Но потомъ чувство нѣжности взяло верхъ, и она сказала: «Дай я тебѣ стукну въ спину», и затѣмъ въ самомъ дѣлѣ такъ стукнула бѣднаго Ивана Иваныча, что спереди у его венгерки отлетѣла одна пуговица, сдѣланная въ видѣ боченка. Однакожъ, лекарство помогло, и всѣ встали изъ-за стола.

Послѣ обѣда, не знаю почему, Лиза и Волжинъ взглянули въ одно время въ окошко; но сѣрыя тучи все висѣли на небѣ и мелкій дождь моросилъ какъ сквозь сито.

Въ этотъ день Василій Сергѣичъ и Марья Степановна не почивали послѣ обѣда. Общій разговоръ былъ вялъ и грустенъ: всѣмъ хотѣлось на прощаньи высказать многое и всѣмъ какъ-то не говорилось. Волжинъ былъ, не знаю почему, безпокоенъ; ему хотѣлось сѣсть возлѣ Лизы и поговорить съ ней, и, смѣшно сказать, это ему не удалось. То ему казалось неловкимъ подойти просто къ ней, тогда какъ прежде онъ дѣлывалъ это весьма часто и не подумавши, то мѣшалъ ему кто нибудь. Разъ, онъ вышелъ въ залу, сѣлъ за рояль и началъ разсѣянно брать аккорды. Онъ думалъ, что Лиза выйдетъ на этотъ неусловленный призывъ; сердце его билось шибко отъ ожиданія, и оно, казалось, не обмануло его: вскорѣ послышались шаги, дверь растворилась и вошла—Татьяна Терентьевна.

Волжинъ вскочилъ со стула и ушелъ, а Татьяна Терентьевна насмѣшливо проводила его глазами.

Не помню, сказалъ ли я моему читателю о тайномъ замыслѣ Татьяны Терентьевны; впрочемъ, думаю, онъ и безъ меня догадался о немъ: Татьяна Терентьевна задумала женить своего Ваню на Лизѣ и войти въ семейство Рожковыхъ не съ шаткими правами нецеремонной гостьи, которыми она до сихъ поръ пользовалась, а со всею властью близкой родственницы. Но, увы! ея смѣлому плану едва ли суждено осуществиться: легкій и граціозный образъ Волжина свободно ложился въ сердцѣ Лизы и глубоко затушевывалъ тотъ ничтожный слѣдъ, который такъ трудно и терпѣливо пробивалъ бѣдный Иванъ Иванычъ своими ежедневными посѣщеніями, своей безмолвной, покорной и улыбающейся услужливостью. И почуялъ, вѣрно, опасность недальновидный инстинктъ Татьяны Терентьевны: въ день отъѣзда она встрепенулась, стала на-сторожѣ и упорно мѣшала столкновенію Лизы съ Волжинымъ.

А между тѣмъ время шло, день клонился къ вечеру; а небо все было пасмурно, дождь все моросилъ какъ сквозь сито. Марья Степановна поговаривала было, чтобы отложить отъѣздъ до завтра; но молодымъ офицерамъ откладывать было нѣкогда; день отъѣзда былъ ими разсчитанъ слишкомъ точно; къ тому же дождь былъ маленькій, а Татьяна Терентьевна замѣтила, что выѣзжать въ дождь весьма счастливо.

Велѣли вывезти дорожный экипажъ и укладываться, а между тѣмъ подали знакомый намъ самоваръ красной мѣди, и въ послѣдній разъ семейный кругъ дружно и тѣсно сомнулся вокругъ стола. Вскорѣ послышалась суетня людей, выносящихъ вещи, и вдругъ звякнулъ колокольчикъ.

Минуты до отъѣзда были сосчитаны.

Тогда Волжинъ, въ какомъ-то порывѣ, всталъ, закурилъ наскоро сигару и пошелъ къ балкону.

— Куда это вы, Павелъ Николаичъ? спросила Маланья Аркадьевна своимъ мягкимъ, нѣжнымъ голосомъ.

— У меня крѣпкая сигара, сказалъ онъ и вышелъ, затворивъ за собой стеклянную дверь.

Тогда онъ сталъ одинъ прямо передъ этимъ садомъ, въ которомъ гулялъ такъ часто,—прямо передъ зелеными полями, перелѣскомъ, незнакомой сосѣдней деревушкой, которая выглядывала черезъ дорогу, прямо передъ всей короткой, ясной и полной спокойствія деревенской жизнію: и всѣ знакомыя мѣста, и вся эта жизнь, казалось, были передъ его глазами, и смотрѣлъ онъ на нихъ, тихо задумавшись, и цѣлый рой смѣшанныхъ думъ проходилъ въ головѣ его, и отъ всего этого хаоса думъ ему было тяжело и грустно. И, задумавшись, онъ молча курилъ и смотрѣлъ тѣми неподвижными глазами, которые направлены на какой-нибудь листокъ или тычинку, и передъ которыми, между прочимъ, ясно проходятъ желанныя картины...

Дождь только что пересталъ идти. Въ воздухѣ было свѣжо и тихо; но по небу быстро бѣжали тучи разнообразными, причудливыми массами, сходясь и расходясь, и смѣшиваясь. Солнца не было видно: оно было за густой, сизой тучей; но лучи его просвѣчивали сквозь ея прозрачные, бѣловатые края, и отъ этого во всемъ воздухѣ было какое-то желтое, странное освѣщеніе. Иногда какой нибудь обрывокъ облака попадалъ подъ лучи и одинокой яркой полоской горѣлъ причудливыми красками на прочистившейся лазури неба, и легко бѣжалъ, играя своимъ нарядомъ. Зелень сада была изумрудно чиста: цвѣты во всей свѣжести красокъ, окропленные дождемъ, стояли неподвижно, но какъ-то грустно, стройно, и, казалось, чего-то ждали; за садомъ лежала дорога черной полосой, и ниодинъ проѣзжій или прохожій не виднѣлся на ней; далекія избушки, крытыя лубкомъ или соломой, всякая тычинка забора, всякій сучокъ дерева — все ясно и рѣзко виднѣлось и бросалось въ глаза; и все въ этомъ желтоватомъ освѣщеніи, въ этомъ свѣжемъ неподвижномъ воздухѣ и тишинѣ было полно какой-то непонятной оригинальности, какъ будто вся природа сбросила ежедневныя формы и явилась въ настоящемъ, безыскусственномъ видѣ, котораго каждая сторона, каждый кусокъ говорилъ внятно и ясно свою мысль, вложенную въ него при созданіи, свое слово, которое носилъ онъ отъ вѣка въ великой книгѣ бытія. Словомъ, это была одна изъ тѣхъ картинъ, богатыхъ не разнообразіемъ и живописностью вида, но тономъ и освѣщеніемъ,—одна изъ тѣхъ минутъ, въ которыя, подойдя къ окну, вдругъ увидишь всю знакомую, привычную глазамъ обстановку въ какомъ-то новомъ, чуждомъ ей свѣтѣ; и долго простоишь молча, глядя на нее, и много, много передумаешь доселѣ недуманнаго. Такъ стоялъ и Волжинъ на балконѣ, прислонясь спиною къ холодной стѣнѣ дома, куря сигару и безсознательно глядя на раскрытую даль. Его тоненькая, интересная фигурка была какъ нельзя болѣе кстати настоящей картинѣ. Блѣдное лицо его было блѣднѣе обыкновеннаго; синіе нервы ясно выступали на вискахъ и открытомъ, слегка наморщенномъ лбѣ, и онъ, какъ и все окружающее, былъ полонъ какой-то новой мысли. А мысль эта была о Лизѣ. Его юное и свѣжее воображеніе, какъ на зло, за минуту до отъѣзда, ясно рисовало ему эту хорошенькую, полную едва распустившейся красоты дѣвочку, во всѣхъ заманчивыхъ, разнообразныхъ положеніяхъ, во всемъ спокойствіи и безпечности деревенской жизни. И, въ тоже время, ему вспомнился шумный Петербургъ, съ его вѣчной суетой и дѣятельностью. Ему ясно рисовалась вся его будущая жизнь въ немъ: балы, мимолетныя встрѣчи, разговоры о вчерашней оперѣ, о завтрашнемъ балетѣ, о вновь купленной лошади и о вновь показавшейся танцовщицѣ. Ему было жаль оставить въ деревенской тиши, въ этой однообразной и монотонной, какъ стукъ дождевыхъ капель, жизни маленькую Лизу, которая такъ чудесно созрѣла

для другой жизни, полной чувствъ и дѣятельности; ему было грустно думать, что разводитъ ихъ разная дорога, въ разные кружки общества, и что, можетъ быть, имъ не суждено и встрѣтиться. О, гордый человѣкъ! ему было досадно, что онъ не унесетъ съ собой отъ этого столкновенія ничего — ничего, кромѣ воспоминанія объ ясныхъ дняхъ, да сожалѣнія о безцѣльно потерянныхъ и все-таки чудесныхъ минутахъ... И, задумавшись, онъ стоялъ такъ долго, и вдругъ балконная дверь тихо стукнула; онъ поднялъ глаза: передъ нимъ стояла Лиза. Въ чайной былъ разговоръ о томъ, совершенно ли пересталъ дождь, или только перемежился, и будетъ ли онъ мочить отъѣзжающихъ, или не будетъ. Мнѣнія на этотъ счетъ были совершенно разногласящія; заинтересованная вопросомъ, Лиза встала и, сказавъ: «а вотъ я посмотрю», вышла на балконъ.

Для насъ совершенно неизвѣстно или, какъ говорится въ исторіи древнихъ временъ, покрыто мракомъ неизвѣстности, дѣйствительно ли съ этой цѣлью вышла Лиза. Но, затворивъ за собою дверь, она быстро окинула быстрыми черными глазами и прозрачную даль, и волнующееся тучами небо, и остановила ихъ на Волжинѣ. И даль, и небо, и Волжинъ — все было въ какомъ-то желтомъ картинномъ свѣтѣ; все ей что-то говорило—говорило новое, несказанное... и вдругъ какія-то чуждыя ей доселѣ мысли толпой нахлынули въ ея дѣтскую темнокудрявую головку... сильно забилось сердце, вспыхнули какъ заря алыя щеки, и стояла она, себя не чувствуя, вся зардѣвшаяся, передъ Волжинымъ, и Волжинъ, взглянувъ на нее, весь смутился. Тогда встрѣтившіеся ихъ взгляды слились въ одинъ взглядъ, и вмигъ они поняли и себя, и одинъ другаго.

И поняли они все, что̀ влекло ихъ другъ къ другу, всю неясную прелесть ихъ пустыхъ бесѣдъ, ихъ долгихъ прогулокъ; и поняли они, что любили другъ друга, давно-давно, можетъ быть, съ первой встрѣчи, но что любовь ихъ, не вызванная наружу никѣмъ происшествіемъ, никѣмъ постороннимъ вліяніемъ, тихо дремала въ ихъ сердцѣ, подъ однообразный ходъ деревенской жизни, и могла бы такъ продремать еще долго... Но вскользнулась ихъ жизнь предстоящимъ отъѣздомъ, и, въ послѣднее минутное свиданіе, отъ одного встрѣтившагося взгляда вспыхнуло ихъ глубоко таившееся чувство, и поняли они разомъ и всю сладкую нѣгу первой любви, и всю горькую, сжимающую сердце разлуку.

И стояли они такъ другъ передъ другомъ, смущенные, зарумянившіеся, не въ силахъ отвести слившихся взглядовъ. Имъ казалось, можетъ, что они переживали цѣлый вѣкъ, короткій какъ мгновеніе: это было то чудное состояніе, въ которое не чувствуется времени. Головы ихъ были полны какихъ-то неясныхъ мыслей, имъ было чудно хорошо и страшно больно, хотѣлось что-то сказать и не говорилось, и руки готовы были встрѣтиться и сжаться крѣпко, крѣпко...

— Я вѣдь говорила, что дождь пересталъ, сказала Татьяна Терентьевна, растворивъ дверь и остановившись въ ней во всей красѣ своего богатырскаго роста.

— Да! сказалъ Петръ Рожковъ: — теперь намъ можно ѣхать.

Волжинъ и Лиза невернулись лицомъ къ саду и чуть не заплакали.

Чрезъ полчаса, дорожный экипажъ, гремя колокольчикомъ и бубнами разгонной тройки, отъѣзжалъ отъ крытаго подъѣзда барскаго дома. Молодой Рожковъ и Волжинъ, повернувъ голову, махали своими военными фуражками. На козлахъ, рядомъ съ кучеромъ, сидѣлъ степенный слуга Иванъ Семеновъ, медленно раскланиваясь съ вокругъ стоящей дворней. На подъѣздѣ осталась вся знакомая намъ деревенская семья: полная фигура Василья Сергѣича, съ крѣпко-румянымъ, растроганнымъ лицомъ, во всегдашнемъ бѣломъ сюртукѣ, котораго пуговицы не были знакомы съ петлями,— Марья Степановна, вся заплаканная и разстроенная, —Лиза, приклонившая чернокудрую головку къ плечу, —Маланья Аркадьевна, у которой слезы, пробравшись по рябоватому лицу, капали съ приплюснутаго носика, и Татьяна Терентьевна, у которой лицо не въ состояніи были пробить ни слезы, ни улыбки; а сзади Иванъ Иванычъ съ физіономіей, приличной обстоятельству; кругомъ вся дворня отъ мала до велика, отъ ветхаго старика до груднаго ребенка, и все смотрѣло, не спуская глазъ съ дорожнаго экипажа. А экипажъ бойкой рысью выѣхалъ со двора и помчался по гладкой дорогѣ, прямо къ селу, гдѣ весь свободный людъ уже высыпалъ къ воротамъ; вотъ онъ уже у церкви, вотъ сейчасъ повернетъ за ограду и скроется, и въ послѣдній разъ Рожковъ и Волжинъ махнули бѣлыми фуражками....

— Стойте! постойте! вдругъ раздался голосъ Марьи Степановны.

И материнскій плачъ слышался въэтомъ голосѣ, и была въ немъ боязнь, что не долетитъ ея зовъ до отъѣзжающихъ.

— Стой! стой! закричала вся дворня, басомъ всѣхъ кучеровъ и визгливымъ дискантомъ бабъ, махая руками.

И экипажъ остановился.

— Положили ли цыплятъ жареныхъ? сказала Марья Степановна прерывающимся отъ слезъ голосомъ.

— Положили ли цыплятъ жареныхъ? кричали бабы и дворовыя дѣвки, побѣжавъ къ экипажу и адресуясь къ Ивану Семенову.

Голоса Ивана Семенова не было слышно; но вся его степенная фигура ясно обрисовывалась на высокихъ козлахъ. Онъ выразительно показалъ рукою на ящикъ и утвердительно кивнулъ головою. Тогда колокольчикъ снова зазвенѣлъ, экипажъ повернулъ за уголъ и скрылся.

И, постоявъ еще минуту, грустно вошли господа въ опустѣвшій домъ, и, толкуя про молодыхъ господъ, медленно потянулась по службамъ многочисленная дворня. Остался одинъ только столяръ Епифанъ, извѣстный въ дворнѣ глубокомыслiемъ своихъ замѣчаній, да садовникъ Вавило, къ имени котораго дворовые остряки обыкновенно прибавляли: «воткни голову на вилы», извѣстный тѣмъ, что онъ никогда не дѣлалъ никакихъ замѣчаній.

Епифанъ, подперевъ руки въ бока и значительно посмотрѣвъ на дорогу, обратился къ Вавилѣ.

— Оченно хорошіе господа! сказалъ онъ.

— Хорошіе, отвѣчалъ Вавило.

— И не грѣхъ бы было пожелать имъ благополучнаго пути и скатертью дороги, замѣтилъ Епифанъ.

— Не грѣхъ бы, отвѣчалъ Вавило.

Больше они не разсуждали, но тихо начали спускаться подъ горку къ одному хорошо имъ извѣстному домику у большой дороги.

Между тѣмъ не совсѣмъ еще разсталась добрая семья съ своими дорогими гостями: всѣ знали, что почти прямо передъ домомъ разступается безконечный рядъ березъ, и широкая дорога открыто лежитъ изрытой полосою, и всѣ поспѣшно проходили длинныя, казалось, опустѣлыя комнаты, и всѣ торопились на широкій балконъ, хотя уѣхавшіе нескоро могли показаться передъ нимъ.

И вотъ, черезъ нѣсколько минутъ грустнаго ожиданія, послышался снова дребезжащій колокольчикъ, и знакомая тройка вдругъ выбѣжала изъза березокъ. Тогда, передъ собравшейся на балконѣ группой, въ клубахъ желтой пыли, промелькнулъ дорожный экипажъ, въ которомъ сидѣли двое молоденькихъ военныхъ, пристально глядящихъ на нее и махающихъ бѣлыми фуражками. Тогда передъ дорожными мелькнулъ двухъ-этажный, съ балкономъ и террасою, домъ, и на балконѣ пестрая группа, махающая платками и вся ясно обрисованная и ярко освѣщенная румянымъ закатомъ. Еще минута—и скрылся экипажъ; только пыль, клубясь желтымъ облакомъ, постояла надъ слѣдомъ; но и та улеглась мало по малу; почти въ это же время опустѣлъ и широкій балконъ. Но въ углу его, между зеленью южныхъ деревьевъ, долго и неподвижно стояла Лиза; бѣлое платье ея пышно горѣло отъ лучей заката; заслонивъ рукою лицо отъ солнца, она смотрѣла на большую дорогу, и рука ея казалась прозрачной. Межъ тѣмъ вечерѣло замѣтно; бѣлый паръ началъ подниматься надъ болотомъ; съ широкаго стекляннаго пруда, надъ которымъ одиноко торчала китайская бесѣдка, пахнуло сыростью; а Лиза, склонивъ надъ рѣшеткой чернокудрую голову, все смотрѣла на дорогу. Дорога длинной, темной полосою, обозначаясь двумя рядами березъ, тянулась далеко, далеко, и ниодна живая душа по ней не шла и не ѣхала; а сзади Лизы спокойно стоялъ домъ, съ своей широкой террасой и толстыми колоннами, сверкая длиннымъ рядомъ оконъ. Тихъ и пустъ казался онъ, и не было въ немъ замѣтно никакого движенія. А солнце садилось безоблачно и чисто; у околицы, вздымая пыль, гремѣло стадо, и впереди его медленно шла бѣлая корова: завтра, по всѣмъ примѣтамъ, опять будетъ ясный день.

Но до этого завтра намъ уже нѣтъ дѣла. Какое намъ дѣло до жизни какой-нибудь помѣщичьей семьи, когда поэзія юной любви перестала освѣщать его своимъ розовымъ свѣтомъ. Я и такъ уже надоѣлъ, я думаю, тебѣ, мой терпѣливый читатель, тихо развертывая передъ тобою первое робкое чувство, которое медленно развивалось въ тиши и только въ самомъ концѣ разсказа едва обозначилось, какъ новый, только-что прорѣзавшійся мѣсяцъ на блѣдномъ еще небѣ. Можетъ-быть, ты спросишь: что сталось съ этимъ юнымъ чувствомъ? что сталось съ нашими юными героями? По правдѣ сказать, я объ этомъ ничего не знаю. Но думаю, что съ ними сбылось то, что обыкновенно бываетъ. Юноши мужаютъ; первое чувство, какъ ранній цвѣтъ, не созрѣвъ, вянетъ и падаетъ. Наши герои не были разлучены какимъ-нибудь грознымъ препятствіемъ. Сблизилъ ихъ простой случай — пріѣздъ въ отпускъ; разлучила ихъ самая простая вещь—конецъ отпуска; каждый изъ нихъ возвратился въ свою среду, изъ которой временно вышелъ, и каждый нашелъ, что такъ и быть слѣдовало. Очень можетъ быть, что и свидятся они, и вспомнятъ прежнее время. Но какъ вспомнятъ?... Хорошо, если добромъ помянутъ они эти ясные дни, это чистое и свѣтлое чувство; и благотворно освѣжитъ ихъ это воспоминаніе и, тихо улыбнувшись, они скажутъ: «славные были дни!» Но очень можетъ статься, что—люди свѣтскіе—посмѣются они и надъ прежними длинными, безцѣльными прогулками, и надъ своей робкой, безмолвной, какъ застѣнчивое деревенское дитя, любовью, посмѣются и надо мной, который сдѣлалъ изъ этой любви какую-то идиллію, и надъ тобой, который терпѣливо дочитываетъ ее.... Надъ чѣмъ не смѣется человѣкъ!

ГОРЫ.

РАЗСКАЗЪ.

Года полтора назадъ, я очень мирно процвѣталъ въ добромъ губернскомъ городѣ, который не называю, чтобы не раздражать провинціальную обидчивость... Разъ, часу во второмъ утра, я сидѣлъ еще за письменнымъ столомъ и шелъ по пути къ безсмертію, какъ говоритъ одинъ мой знакомый композиторъ, когда сочиняетъ польки—по-просту сказать пилъ кофе и на поляхъ бѣлаго листа рисовалъ все, что умѣю рисовать—греческіе носы въ профиль. Въ это время ко мнѣ вошелъ Андрей Ивановичъ Локтевъ, мой хорошій пріятель и сосѣдъ по оренбургскому имѣнію. Чтобъ познакомить читателя съ его личностью, я пока скажу только, что онъ былъ въ темненькомъ пиджакѣ, шляпѣ и какомъ-то желто-буромъ пальто, котораго онъ не снялъ, ради безцеремоннаго знакомства и кратковременнаго посѣщенія.

— Здравствуйте, сказалъ онъ, протягивая мнѣ руку.—Что вы дѣлаете?

Къ чести моего пріятеля и къ моему особенному удовольствію, я долженъ замѣтить, что онъ очень слабо пожималъ руку всѣмъ вообще, и совершенно независимо отъ глубины своего расположенія.

— Подражаю, отвѣчалъ я, поворачиваясь къ нему съ кресломъ.

— Кому?

— Да еще не знаю.

— Объясните, пожалуйста.

— Вотъ видите ли, сказалъ я: — когда я предалъ тисненію свою первую повѣсть, нашли, что я подражаю Лермонтову; послѣ второй рѣшили, что подражаю Гоголю; теперь, можетъ быть, найдутъ, что подражаю Бальзаку, или Диккенсу. На свѣтѣ столько было писано, что вовсе нехитро найдти сходство. Какъ же мнѣ знать, кому я подражаю.

— Ну, я очень радъ, сказалъ Локтевъ:—что вы именно въ подражательномъ расположеніи духа. Не хотите ли мнѣ подражать сегодня?

— Въ волокитствѣ, что ли? спросилъ я.

— Нѣтъ, на это у всякаго своя манера. Я зашелъ за вами, чтобъ вытащить васъ гулять. Погода славная, а вы такъ лѣнивы, что одни никогда не соберетесь.

— Совершенно справедливо, сказалъ я: — пойдемте.

Пріятелю моему подали кофе, и пока онъ выкурилъ папироску и допилъ стаканъ, я одѣлся, и мы вышли. Надобно вамъ сказать, что въ группѣ моихъ пріятелей, изъ которой иныхъ люблю за славное сердце, другихъ за умную голову, третьихъ за то и другое вмѣстѣ (повѣрьте, у меня и такіе есть), Локтева я любилъ особенно за то, что онъ былъ совершенно порядочный человѣкъ. Чтобъ меня не упрекнули въ дендизмѣ, хотя, между нами будь сказано, порядочный тонъ ничего не портитъ, я долженъ прибавить, что Локтева я зналъ недавно, и потому не успѣлъ еще полюбить его за другія качества. Но для поверхностнаго знакомства, признаюсь, очень люблю подобныхъ людей. Локтеву было лѣтъ подъ-тридцать. Онъ былъ средняго роста, довольно полонъ, крѣпко и хорошо сложенъ; лицо у него было... хорошее лицо, правильное, пріятное, спокойное и безъ особенной подвижности, легко и свободно принимающее оттѣнки насмѣшки, веселости и даже глубокой мысли. Говорилъ мой пріятель очень просто, но игриво, умно, безъ притязаній на умъ, и вообще разговоръ его имѣлъ тотъ гибкій и легкій складъ, который дѣлаетъ бесѣду чрезвычайно текучею, и который, должно признаться, къ несчастью, довольно рѣдокъ между нашей молодежью. Манеры Локтева были, если можно такъ выразиться, прочноловкія, то-есть ловкія безъ молодечества, спокойныя безъ важности — манеры, которыя на всю жизнь хороши. Одѣвался мой пріятель всегда отлично, просто и съ большимъ вкусомъ. Онъ очень хорошо понялъ, что мода есть умѣнье одѣваться хорошо, не бѣгая за каждой выдумкой и не подчиняясь чужому выбору. Рѣзкихъ вещей въ туалетѣ онъ никогда не допускалъ. Онъ говорилъ, что для этого надо быть Бруммелемъ, этимъ Наполеономъ моды, а что для обыкновенныхъ смертныхъ подобный рискъ опасенъ: онъ граничитъ съ смѣшнымъ. Повторяю, я очень любилъ встрѣчи съ Локтевымъ.

О глубокомысленныхъ вещахъ и такъ-называемыхъ *вопросахъ* говорить намъ не случалось, да, признаюсь, я и не большой охотникъ разсуждать о нихъ съ свѣтскими пріятелями; но ничего не можетъ быть пріятнѣе, въ лѣнивую и свободную минуту, сойдтись и поболтать съ подобнымъ человѣкомъ у себя или въ обществѣ: въ это время чувствуешь себя какъ-то особенно спокойно, знаешь, что не услышишь какой нибудь шероховатой выходки или аляповатаго остроумія, что не придется краснѣть за чужую неловкость, или выпутывать ненаходчивую хозяйку изъ какого-нибудь двусмысленнаго намека. Въ обществѣ для меня это громадное условіе. Я думаю, вамъ случалось самимъ нести тяжелыя вериги дружбы, когда вы, вдвоемъ съ пріятелемъ, входите въ полузнакомую гостиную. Если пріятель не соперникъ вашъ, если вы не покраснѣете отъ удовольствія при каждой его глупости, если вы сами наговорили о немъ кучу похвалъ и васъ просили представить его въ домъ— о, какъ трепещетъ ваше сердце при каждомъ его словѣ, при каждомъ движеніи! Тутъ вы забываете о себѣ и живете своимъ пріятелемъ: въ немъ все ваше самолюбіе; говоритъ ли онъ любезность, — ваши уста раздвигаются и на нихъ ложится сладкая улыбка; силится ли онъ сказать что-нибудь остроумное—вы слѣдите за его фразой съ трепетомъ матери, присутствующей при родахъ дочери, предвидите, сквозь туманъ мысли, зерно остроты и ждете мгновенія ввернуть слово помощи; и когда совершились благополучно эти трудные роды остроты, какъ кровь отливаетъ отъ вашего сердца, какъ вы чувствуете себя легко, и съ какимъ удовольствіемъ, зло улыбаясь, посматриваете на хозяйку, будто желая сказать: «каковъ мой пріятель?» И такимъ образомъ идетъ бесѣда, и вы, забывая о себѣ, съ тайнымъ трепетомъ поглядываете на пріятеля и ужъ торопите окончаніе визита, а вашъ пріятель, самодовольно погрузясь въ мягкое кресло и получивъ, благодаря вашимъ ежеминутнымъ усиліямъ, высокое понятіе о своемъ свѣтскомъ умѣ и любезности, и не думаетъ уѣхать. Вы начинаете сердиться, терять терпѣніе, проклинать минуту, въ которую вамъ вздумалось похвалиться пріятелемъ, а онъ все сидитъ и, увѣренный въ успѣхѣ, еще пуще силится спорить, злословить и говорить любезности! Но вотъ вы встали съ мѣста, вы откланиваетесь, пріятель вашъ волей-неволей дѣлаетъ тоже. Вы уносите отрадное убѣжденіе, что трудъ совершенъ, визитъ конченъ благополучно, пріятель вашъ оказался умнѣйшимъ и ловчайшимъ человѣкомъ. Вы, склонясь головой предъ хорошенькой хозяйкой, пріятно улыбаетесь и въ это же время очень ловко скользите въ бокъ и оборачиваетесь къ благодатной двери; но вдругъ, о ужасъ! пріятель вашъ отпустилъ на прощанье какую-то любезность, какую-то фразу изъ тѣхъ тяжелыхъ, старыхъ, аляповатыхъ фразъ, которыя сразу въ состояніи убить человѣка въ общественномъ мнѣніи! уже въ дверяхъ, и вы не въ состояніи поправить его, и нѣтъ возможности поднять вашего провалившагося пріятеля. Весь трудъ потерянъ; вы убиты, убиты языкомъ вашего пріятеля, убиты невинно... и видите одно только спасеніе въ бѣгствѣ! Скомкавъ шляпу, разорвавъ перчатки, вы спускаетесь по лѣстницѣ; пріятель догоняетъ васъ и съ особенной развязностію, съ самоувѣренностью побѣдителя, поправляетъ галстухъ, пріятно улыбается и покровительствующимъ тономъ говоритъ вамъ: «Спасибо, mon cher, что ты меня представилъ! Право, госпожа Н. очень милая дама!»

А если вашъ пріятель застѣнчивъ, робокъ и неловокъ, какъ стараетесь вы всякому его слову придать лоскъ остроумія, какъ усиленно наводите разговоръ на его знакомую колею! У вашего пріятеля широкія нелѣпыя перчатки, онъ одѣтъ безъ вкуса— вы намекаете, что онъ оригиналъ; онъ задѣваетъ за стулъ — вы подсмѣиваетесь надъ его близорукостью; онъ говоритъ «да», да «нѣтъ», или молчитъ — вы его просите оставить свое глубокомысліе... О, есть ужасныя пытки, налагаемыя на насъ узами пріятельства!..

Все это я говорю для того, чтобъ сказать, какъ пріятно имѣть пріятелемъ совершенно порядочнаго человѣка. Съ какой увѣренностью входите вы съ нимъ въ общество! Вы спокойны за него; вы имѣете полную свободу думать только о собственной особѣ и выказывать во всемъ блескѣ свои разнообразныя достоинства. Кромѣ вашего ума и ловкости, на васъ отражаются умъ и ловкость вашего пріятеля; разговоръ бѣжитъ весело, игриво, непринужденно. Захочетъ ли пріятель подшутить надъ вами, онъ не задѣнетъ, а только пріятно пощекочетъ ваше самолюбіе. Время течетъ незамѣтно—хозяйка весела и довольна, и вы веселы и довольны; вамъ кажется, что шляпа ваша, которую вы въ жару разговора стиснули подъ локтемъ, такъ пріятно сморщилась, какъ будто хочетъ улыбнуться, какъ будто и она весела и довольна. Очень, очень пріятно быть пріятелемъ порядочнаго человѣка... Теперь вамъ понятно, отчего я любилъ Локтева.

Итакъ, мы вышли гулять съ моимъ пріятелемъ. Мнѣ совѣстно сказать, что было прекрасное утро, потому что въ повѣстяхъ вообще, и въ русскихъ въ особенности, царствуетъ всегда такое благораствореніе воздуха, что, читая ихъ, рѣшительно не понимаешь назначенія ваточныхъ шинелей и непроницаемыхъ пальто. Однакожъ, изъ уваженія къ истинѣ, долженъ сказать, что утро въ самомъ дѣлѣ было очень хорошее, что, впрочемъ, нисколько не помѣшало мнѣ закутаться въ шинель съ теплымъ воротникомъ, потому что дѣло было осенью. Городъ, который я не называю, имѣлъ очень хорошіе бульвары по набережной, надъ одной изъ лучшихъ нашихъ рѣкъ. Жители этого извѣстнаго мнѣ города, къ которымъ принадлежалъ и я, имѣютъ привычку восхищаться этими бульварами и набережной, и всѣхъ пріѣзжихъ спрашиваютъ: «а были ли вы на нашей набережной?» Въ то же самое время эти же самые жители, изъ которыхъ я не исключаю и себя,

очень мало гуляютъ по своей набережной и обыкновенно восхищаются ею, прыгая по наломанной мостовой Дворянской улицы, которую я называю сѣлою, потому что во всѣхъ извѣстныхъ мнѣ городахъ есть Дворянскія улицы.

Въ видѣ исключенія, мы, однакожь, шли по бульвару въ набережной. Говорить намъ не хотѣлось, и мы очень весело молчали. Желтые, опавшіе листья хрустѣли у насъ подъ ногами. Солнце свѣтило сквозь какую-то мглу, и въ воздухѣ была свѣжая прохлада, совѣтовавшая всякому порядочному человѣку запасаться платьемъ изъ тѣхъ мохнатыхъ матерій, которыя очень обязательно придумываютъ для насъ англичане. Рѣка была тоща водами и пустынна; въ одномъ только мѣстѣ тяжело-нагруженный паромъ тащился черезъ нее. Цвѣтъ воды былъ какой-то мутно-свинцовый, такъ что, когда взглянешь на него, то становится холоднѣе и хочется покрѣпче завернуться въ шинель; за рѣкой нѣсколько деревушекъ стояли уныло и рѣзко отдѣлялись отъ обнаженныхъ и желтыхъ полей. Мнѣ едва не сдѣлалось грустно, но, къ счастью, я вспомнилъ, что гуляю съ пріятелемъ — порядочнымъ человѣкомъ. Есть ли возможность грустить въ обществѣ подобнаго человѣка, хотя бы онъ былъ назначенъ природой въ намѣстники самому Байрону? Я думаю, рѣшительно невозможно. И вотъ еще выгоды имѣть пріятелемъ порядочнаго человѣка! Я, напримѣръ, только что хотѣлъ приличво вздохнуть и раздѣлить съ нимъ грустныя впечатлѣнія отъ осенняго вида, какъ вдругъ всѣ мои идеи повернулись, и, вмѣсто вліянія природы на всякую впечатлительную душу, мнѣ, не знаю отчего, сейчасъ представился вопросъ: соотвѣтствуетъ ли времени года жилетъ моего пріятеля, хотя мой военный сюртукъ давалъ мнѣ полное право не заботиться не только о качествахъ, но и о существованіи жилетовъ. Я нашелъ, что жилетъ моего пріятеля зелено-желтовато-красноватый и мягкій, на подобіе болотнаго мха, былъ какъ нельзя болѣе приличенъ времени года и состоянію температуры. Я, грѣшный человѣкъ, невольно подумалъ, какъ должно быть пріятно носить подобные жилеты и, придумывая какое-нибудь описаніе природы, водить рукой по его мягкой поверхности. Я даже убѣдился, что нѣкоторые повѣствователи, такъ хорошо изображающіе прелести сельской природы, непремѣнно носятъ подобные жилеты и, не въ состояніи болѣе владѣть собою, воскликнулъ:

— Какой славный у васъ жилетъ!

— Это старенькій, отвѣчалъ пріятель, взглянувъ себѣ на грудь и, вѣроятно, забывъ — о, неблагодарный! — что онъ носитъ на ней. — А вотъ мнѣ на дняхъ прислалъ портной, продолжалъ онъ: — изъ матеріи нынѣшняго привоза, какой-то бусый и мохнатый, точно мышиная шкурка.

— Счастливецъ! сказалъ я, вздохнувъ:—вы можете носить жилеты на подобіе мышиной шкурки!

— А я такъ вамъ завидую, отвѣчалъ Локтевъ.— Ваши сюртуки такъ плотно закрываютъ грудь, такъ просты и удобны, что нѣчего заботиться о жилетахъ.

Тутъ только мнѣ пришло на умъ, что дѣйствительно Локтевъ можетъ быть справедливъ, и я, по этому случаю, совершенно здраво заключилъ, что человѣкъ никогда не доволенъ тѣмъ, чѣмъ обладаетъ. Въ подобныхъ пріятныхъ и поучительныхъ разговорахъ мы довольно долго проходили. Набережная была совершенно пуста. Появившись на ней, какъ исключеніе, мы, говоря словами Марлинскаго, готовы уже были исчезнуть, какъ невозможность, когда вдругъ на противоположномъ концѣ бульвара, между двухъ голыхъ березъ, показалась женская фигура. Мы шли ей на встрѣчу, и чрезъ нѣсколько времени пріятель мой, обладающій хорошимъ зрѣніемъ безъ помощи очковъ или лорнета, сказалъ:

— Это М-me К.

Дѣйствительно, это была она.

М-me, или, пожалуй, Катерина Петровна К. очень миленькая дама, лѣтъ двадцати-трехъ. Я ее зналъ довольно давно и довольно коротко. Даже, сказать правду, одно время я за ней немножко волочился, но, къ несчастью, безъ всякаго успѣха. Она мнѣ сказала, что ей не нравится моя положительность; я сказалъ, что идеальнѣе быть не въ состояніи, и мы разстались очень мирно. У Катерины Петровны былъ мужъ, очень хорошій человѣкъ, который поутру сидѣлъ у должности, послѣ обѣда спалъ, а вечеромъ игралъ въ клубѣ. За то онъ доставлялъ женѣ удовольствіе почти ежедневно съ ней вмѣстѣ обѣдать и даже пить чай: вы видите, что онъ еще былъ любезнѣе многихъ мужей.

Хроника нашего города, которой я не обозначаю даже звѣздочками, говорила, что за Катериной Петровной ухаживалъ въ послѣднее время мой пріятель Локтевъ, но я ей не вѣрю, какъ и всѣмъ подобнымъ хроникамъ. Катерина Петровна была довольно высокаго роста, худенькая, очень стройная и очень миленькая. Она шла къ намъ навстрѣчу довольно тихо, немного перегибаясь съ боку на бокъ, какъ и всѣ худощавыя; плечи ея были сжаты, и она плотно завернулась въ темно-малиновую бархатную, опушенную мѣхомъ мантилью. Когда она приблизилась, я замѣтилъ, что холодъ нѣжно зарумянилъ ея обыкновенно блѣдное и бѣлое личико, и даже кончикъ ея носика немного покраснѣлъ, что, увѣряю васъ, нисколько ее не портило.

— Вы, никакъ, гуляете? спросила она, кивнувъ намъ головою и вопросительно посмотрѣвъ на насъ.

— И довольно давно, отвѣчалъ Локтевъ.

— А вы какъ рѣшились? спросила она меня.

— Имѣлъ предчувствіе, что встрѣчу васъ, отвѣчалъ я, кутаясь въ теплый воротникъ отъ вѣтра, который подулъ съ рѣки.

— Не простудитесь, сказала она.

— Ваше присутствіе согрѣваетъ меня, отвѣчалъ я, постукивая ногами.

— А еслибъ мнѣ вздумалось простоять здѣсь съ четверть часа? сказала она, подсмѣиваясь.

— Я бы ушелъ, отвѣчалъ я.

— Хорошо, что откровенны. Однако, въ самомъ дѣлѣ холодно.

И она пошла далѣе. Мы пошли съ нею. Разговоръ шелъ съ нами. Лакей Катерины Петровны шелъ позади всѣхъ и молча наслаждался нашею бесѣдой.

Съ Локтевымъ Катерина Петровна говорила съ той осторожностью, съ которой обыкновенно говорятъ дамы съ своимъ поклонникомъ, когда хотятъ держать его на почтительномъ разстояніи. Со мной—увы!—она обращалась такъ безцеремонно, какъ будто я былъ какое-то созданіе вымысла, котораго нѣтъ возможности считать опаснымъ. Я объяснялъ это нашимъ старымъ знакомствомъ и, за неимѣніемъ лучшаго, оставался доволенъ своею судьбою. Совѣтую всѣмъ читателямъ въ подобномъ положеніи слѣдовать моему примѣру. Такимъ образомъ мы дошли до конца бульвара. Госпожѣ К. надо было идти направо, намъ прямо. Мы раскланялись.

— Послушайте, господа, сказала Катерина Петровна:—приходите ко мнѣ пить чай.

Локтевъ сказалъ, что будетъ; я, сообразивъ, что, можетъ быть, третій будетъ тутъ лишнимъ, поклонился молча. Но Катерина Петровна будто поняла меня.

— А вы придете? спросила она.

— Постараюсь, отвѣчалъ я.

— Что это значитъ? спросила она.

Это значило, что я располагалъ провести вечеръ въ клубѣ; но какъ отъ дамскихъ приглашеній по этой причинѣ не отказываются, то я все сваливалъ на приготовленіе къ почтѣ.

— Пустяки! сказала она.—Я знаю, что значитъ почтовой день. Вы забыли, что это всегдашняя отговорка моего мужа. Мсье Локтевъ, я вамъ поручаю пріѣхать не иначе, какъ съ нимъ.

Она кивнула на меня головой, сдѣлала какую-то прехорошенькую мину и ушла.

Женщины имѣютъ даръ иногда говорить замысловатѣе древнихъ оракуловъ. Отвѣту Катерины Петровны можно было придать десять различныхъ значеній и все-таки не угадать настоящаго; однакожь я остерегся истолковать его, боясь добиться несовсѣмъ выгоднаго для себя смысла.

Вечеромъ, часу въ девятомъ, я и Локтевъ сидѣли уже въ маленькой гостиной Катерины Петровны.

Имѣетъ провинція свои особыя права, скажу я, подражая Пушкину. Есть и въ ней чинные дома, въ которыхъ соблюдается этикетъ строже, нежели въ лучшихъ домахъ Петербурга; но въ нихъ ѣздятъ рѣдко и неохотно. Домъ Катерины Петровны не принадлежалъ къ ихъ числу; въ немъ этикетъ не стѣснялъ небольшаго кружка хорошихъ пріятелей, а свобода обращенья нисколько не мѣшала порядочному тону. Впрочемъ, у миленькой и умной хозяйки иначе и быть не могло. Поэтому никто не удивится, если я скажу, что мы у Катерины Петровны сидѣли въ сюртукахъ и курили папиросы. Я даже питалъ нѣкоторую надежду увидѣть на Локтевѣ новый жилетъ изъ матеріи на подобіе мышиной шкурки, но долженъ признаться, что эта надежда не оправдалась: на моемъ пріятелѣ былъ просто черный жилетъ.

Маленькая гостиная въ домѣ Катерины Петровны — очень хорошенькая комнатка. Обои ея выбраны со вкусомъ; мебель очень покойна; въ углу каминъ. Мы только что напились чаю. Хозяйка сидѣла на диванѣ. Передъ ней, на столѣ, горѣла лампа подъ цвѣтнымъ бумажнымъ колпакомъ; по другую сторону стола сидѣлъ Локтевъ, а я, выбравъ самое покойное кресло, усѣлся въ сторонѣ, курилъ и усердно молчалъ.

— Что вы забились въ уголъ? сказала мнѣ хозяйка:—придвигайтесь, да скажите что-нибудь.

— На дворѣ выяснило и стало очень холодно, сказалъ я, придвигаясь съ кресломъ.

— Хотите, я велю затопить каминъ?

— Я всегда находилъ, что вы проницательны, а теперь не сомнѣваюсь въ этомъ, отвѣчалъ я.

Катерина Петровна позвонила, и черезъ пять минутъ свѣтлый огонекъ забѣгалъ въ каминѣ. Я отодвинулся отъ стола и подсѣлъ къ нему.

— Точь въ точь сцена изъ какого-нибудь романа, сказалъ Локтевъ: — темная осенняя ночь, полусвѣтъ лампы, огонь въ каминѣ...

— Хорошенькая хозяйка, сказалъ я.

— И ваша худая и блѣдная фигура передъ каминомъ, перебила она.—Знаете ли, что вы этакъ очень эффектны? Точно какой-нибудь страшный незнакомецъ...

Я поклонился.

— Который разсказываетъ такія вещи, что отъ нихъ волосы становятся дыбомъ...

— Къ счастью, я, кажется, молчу, сказалъ я.

— Это не отговорка, возразила хозяйка.—Изъ любезности, вы должны довершить сходство и разсказать что-нибудь.

— Вы знаете, что я не умѣю разсказывать; да хоть бы и умѣлъ, что прикажете разсказывать? Страшное происшествіе? Да развѣ бываютъ на свѣтѣ страшныя происшествія? развѣ бываютъ, наконецъ, какія-нибудь происшествія? Ваша тетушка, Арина Ивановна, надѣла вчера чепецъ съ розами и открытое платье; оно, конечно, страшно, да вѣдь это не происшествіе.

— Я знаю, что вы не любите тетушки Арины Ивановны, сказала М-me К.—потому-то и она васъ крайне не жалуетъ; но вы правы: дѣйствительно, въ жизни все несносно послѣдовательно. И послѣ этого еще говорятъ, что въ нашъ вѣкъ всѣ скучаютъ! Да что жъ прикажете дѣлать, если не скучать?

Затѣмъ Катерина Петровна съ досадой отодвинулась въ уголъ дивана и замолчала. Бѣдная Катерина Петровна!

— Вы ошибаетесь, сказалъ Локтевъ: — и тотъ, кто первый замѣтилъ, что жизнь чаще походитъ на романъ, нежели романъ на жизнь, сказалъ правду. Съ кѣмъ изъ насъ не случалось происшествій, которыя стоитъ только описать поживше, чтобъ вы первыя замечтались надъ ними? Вы вышли замужъ по любви—какая хорошенькая идиллія! Вы вышли замужъ безъ любви, какая грустная повѣсть! Если вамъ разсказать вашу жизнь, вы не узнаете себя и вдоволь надъ ней надумаетесь. Дѣло въ томъ только, что въ разсказѣ сжато группируются всѣ самыя эффектныя мѣста и становятся къ слушателю самыми рѣзкими сторонами. Кромѣ того, со всякимъ, хоть рѣдко, но бываютъ происшествія, которыя не нуждаются въ прикрасахъ, чтобъ быть занимательными.

— И съ вами бывали? спросила Катерина Петровна, посмотрѣвъ на Локтева испытующимъ взглядомъ.

— Бывали и со мной, какъ, вѣроятно, и съ вами, и съ нимъ (онъ указалъ на меня).

— Со мной ничего не случалось, сказала Катерина Петровна съ видомъ совершенной апатіи.

— Извините, если я вамъ не повѣрю, сказалъ Локтевъ.—Вы вышли замужъ — вотъ ужь громадное происшествіе въ жизни женщины.

— Въ самомъ дѣлѣ, Катерина Петровна, разскажите, какъ вы вышли замужъ? сказалъ я, подмѣтивъ ея полугрустную, полусмѣющуюся улыбку.

— Какой вздоръ! сказала она, смѣясь:—вышла очень просто. Петръ Иванычъ за меня посватался; онъ мнѣ понравился—я и вышла. Что жь тутъ разсказывать?

— А чувство? а борьба? а нерѣшимость? а старые идеалы? Да вы ничего не разсказываете! сказалъ я.

— Этого ничего не было; а еслибъ и было, такъ развѣ это разсказывается? замѣтила Катерина Петровна съ такой улыбкой, которая сама-по-себѣ могла бы составлять происшествіе, еслибъ всякая хорошенькая женщина не дѣлала этого происшествія по желанію.

— Жалко, сказалъ я съ непритворнымъ сожалѣніемъ. — Разсказъ хорошенькой женщины о замужествѣ — какая глубокая, какая чудная поэма! И какъ мы хорошо расположены для разсказовъ! Покойная мебель, папиросы (тутъ я вынулъ папиросу и поподчивалъ m-me К.), тлѣющій огонекъ и завываніе осенняго.... виноватъ! вѣтру нѣтъ, но и безъ него мы расположены какъ нельзя лучше.

— Что жь, зачѣмъ дѣло стало? М-г Локтевъ! вы сказали, что съ вами было какое-то интересное происшествіе; извольте разсказывать.

— Я хотѣлъ только сказать, что оно бываетъ со всякимъ. Вы въ этомъ сознались не-хотя. Вы то же согласитесь съ мной? спросилъ онъ меня.

— Какъ же, я совершенно соглашаюсь, что бываютъ! сказалъ я, вспомнивъ, что, въ противномъ случаѣ, вся наша братья-разскащики были бы первостатейными лгунами.

— Конечно, и съ вами бывали, сказалъ Локтевъ, будто безъ вниманія.

— Гм, да! И со мной бывали, отвѣчалъ я необдуманно.

— Ну такъ, въ такомъ случаѣ, вамъ и разсказывать ихъ, потому-что вы сами вызвали на это.

Я видѣлъ, что, говоря аллегорически, попался въ собственныя сѣти; но дѣлать было нечего. Катерина Петровна усѣлась съ ногами на кушетку, повернувшись бокомъ ко мнѣ и лицомъ къ камину. Локтевъ ближе придвинулся къ намъ. Я протянулъ ноги во всю длину, сложилъ на груди руки, какъ слѣдуетъ доброму разскащику, и началъ:

— Самое замѣчательное происшествіе, которое имѣло сильное вліяніе на всю мою жизнь, случилось со мною такъ давно, что я и не помню. Тѣмъ неменѣе я вамъ разскажу его. Это было въ О*, въ тысяча-восемь-сотъ-двадцать.... которомъ именно году, не могу сказать, потому-что имѣю на это особенныя причины. Разъ, въ темную сентябрскую ночь, передъ самымъ разсвѣтомъ, когда почти все спало въ городѣ—я родился! Замѣчательнѣе этого событія, могу васъ увѣрить, со мной не случалось.

— Это для насъ совсѣмъ неинтересно, сказала хозяйка съ самымъ убійственнымъ равнодушіемъ, доставивъ предварительно мнѣ величайшее удовольствіе недовольной улыбкой. — Вы должны разсказать что-нибудь выходящее изъ круга ежедневныхъ вещей.

— Развѣ вы полагаете, что люди, какъ я—родятся каждый день? сказалъ я съ чувствомъ оскорбленнаго самолюбія.

Катерина Петровна отвѣтила мнѣ усмѣшкой, которая хотя и не была лишена нѣкотораго рода прелести, но почему-то мнѣ не совсѣмъ понравилась. Локтевъ выразился гораздо опредѣленнѣе.

— Вы должны разсказать что-нибудь странное, страшное, сказалъ онъ:—вы сознались, что съ вами бывали подобные случаи.

Я потеръ лобъ, нарочно призадумался и сказалъ: «слушайте!»

— Довольно-давно, въ одинъ изъ такъ-называемыхъ голодныхъ годовъ, въ которомъ, впрочемъ, никто не умиралъ съ голода, я возвращался изъ отпуска по нижегородскому тракту. Шоссе не было тогда кончено, и дорога шла по убійственной деревянной мостовой. Вотъ отнажды на станціи, вечеромъ, въ то время, когда я пилъ чай, смотритель, въ видѣ утѣшенія, сообщилъ мнѣ, что на дорогѣ, гдѣ приходится проѣзжать часть муромскаго лѣса, есть разбойники...

— Позвольте прервать васъ и усомниться, сказалъ Локтевъ:—въ наше время я не вѣрю въ разбойниковъ.

Признаюсь, это замѣчаніе привело меня немного въ замѣшательство.

— Какъ хотите! сказалъ я равнодушно: — но

какъ же вы назовете людей, изъ которыхъ одинъ, не болѣе какъ за сутки до моего пріѣзда, подсѣлъ сзади брички одного почтеннаго господина, ѣхавшаго съ своей супругой, и началъ вырѣзывать шкатулку изъ-подъ сидѣнья съ такой дерзостью, что задѣлъ ножомъ за... платье супруги?

— Виноюсь, сказалъ Локтевъ: — это были разбойники.

Я продолжалъ:

— Пожалуй, если хотите, станціонный смотритель выражался очень легко, говоря, что по дорогѣ *шалятъ*; но эти слова, надѣюсь, должно понимать въ переносномъ смыслѣ. Какъ бы то ни было, но мнѣ было тогда восемнадцать лѣтъ; разсказъ смотрителя не произвелъ на меня большаго впечатлѣнія и, къ стыду моему, я долженъ сознаться, что я даже улыбнулся надъ происшествіемъ съ шкатулкой. Въ это время, на бѣду мою, вошелъ новый проѣзжавшій, маленькій, толстенькій человѣкъ съ большими усами. Узнавъ въ чемъ дѣло, онъ велѣлъ какому-то Гаврюшкѣ вынуть дорожные пистолеты и саблю.

— А у васъ есть съ собой какое-нибудь оружіе? спросилъ онъ меня, очень пріятно улыбаясь.

Я отвѣчалъ, что со мной всегда лежитъ моя шпага въ чехлѣ и перочинный ножъ въ несессерѣ. Онъ опять улыбнулся, распространился о выгодахъ огнестрѣльнаго оружія, защищающихъ личность на пятьдесятъ шаговъ въ окружности, и предложилъ мнѣ одинъ изъ своихъ пистолетовъ. Я отказался; но обязательный человѣкъ, замѣтивъ мое сопротивленіе, приставъ, какъ говорится, съ ножемъ къ горлу, далъ мнѣ ветхій пистолетъ, прибавивъ, что онъ не заряженъ, и обязалъ меня окончательно, снабдивъ патрономъ. Затѣмъ онъ уѣхалъ, сказавъ мнѣ, что намѣренъ ночевать на слѣдующей станціи, гдѣ я возвращу ему оружіе; а у меня что-то чинили въ тарантасѣ, и я долженъ былъ сидѣть еще съ часъ. Отъ нечего-дѣлать, я занялся приготовленіемъ къ защитѣ. Пистолетъ оказался дряннѣйшимъ; я продулъ его—духъ шелъ. Курокъ былъ съ кремнемъ, но кремень изъ него выпадалъ. Я хотѣлъ ввернуть новый и обратился къ смотрителю. «Позвольте», ваше благородіе, я самъ это сдѣлаю: я служилъ въ военной службѣ», сказалъ онъ. Смотритель усѣлся на лавкѣ, я противъ него. Когда новый кремень былъ ввинченъ, онъ подсыпалъ пороху на полку, уставивъ пистолетъ въ меня и спустилъ курокъ. Опытъ былъ удаченъ, порохъ вспыхнулъ.

— Послушайте, я въ этомъ ничего не понимаю, сказала m-me К.:—пожалуйста, нельзя ли поскорѣе къ разбойникамъ?

— *Я еще до нихъ* не доѣхалъ, отвѣчалъ я.— *Позвольте замѣтить*, Катерина Петровна, что въ *началѣ разсказа* надо подготовить завязку и разсѣять *любопытство*.

Раздражайте! сказала m-me К. съ поворотомъ *послушной жертвы*.

Итакъ, опытъ былъ удаченъ, продолжалъ я:—огня въ кремнѣ было много, и порохъ вспыхнулъ. «Проверти-ка затравку, да попробуй еще разъ», сказалъ я. Смотритель исполнилъ мое желаніе, подсыпалъ пороху и спустилъ курокъ. Раздался выстрѣлъ, и меня осыпало дробью!...

— Васъ убило! наивно воскликнула хозяйка.

— Никакъ нѣтъ-съ, отвѣчалъ я: — еслибъ это случилось, я не имѣлъ бы удовольствія бесѣдовать съ вами сегодня. Зарядъ пролетѣлъ на вершокъ отъ груди, и часть дроби отскочила въ меня отъ стѣны. Это иногда бываетъ, когда зарядъ неслененъ и лѣсъ стѣны сухъ и крѣпокъ.

— Не подражаете ли вы опять? сказалъ, улыбаясь, Локтевъ.—Это что-то въ родѣ лермонтовскаго фаталиста.

— Неблагодарный! воскликнулъ я.—Я подтверждаю ваши слова, разсказывая истинное происшествіе, похожее на печатное, и вы же меня подозрѣваете! Впрочемъ, если вы поѣдете черезъ деревню П* и если почтовая станція не переведена въ другой домъ, то въ избѣ, у окна, вы можете найдти слѣды выстрѣла.

— А разбойники? спросила хозяйка.

— Да разбойниковъ, къ-несчастью, я не видалъ. Мы благополучно проскакали сломя голову часть Муромскаго лѣса, и только выѣхавъ изъ него, когда я велѣлъ остановиться и хотѣлъ нижомъ раскурить сигару, оказалось, что кремня въ пистолетѣ не было, а ямщикъ долго не могъ остановить лошадей, потому-что коренная развозжалась передъ въѣздомъ въ лѣсъ, а остановиться въ такомъ страшномъ мѣстѣ онъ не посмѣлъ, предпочитая скакать безъ возжей.

— А я на разбойниковъ-то и надѣялась! наивно сказала Катерина Петровна, и въ голосѣ ея было слышно непритворное сожалѣніе.

— Что жь дѣлать, Катерина Петровна! отвѣчалъ я съ искренней грустью. — Я вамъ разсказалъ, какъ я родился и какъ меня едва не убили. Интереснѣе этого, ей-ей, со мною ничего не случалось.

Сердце у Катерины Петровны было предоброе. Ее, кажется, тронуло мое уныніе. Она бросила на меня взглядъ, отъ котораго вдругъ я почувствовалъ себя удивительно-покойно, и, обратясь къ моему пріятелю, сказала:

— Теперь ваша очередь.

Лицо Локтева приняло серьёзное и даже немного-грустное выраженіе.

— Происшествіе, которое я долженъ вамъ разсказать, началъ онъ: — къ-несчастью, не такъ невинно. Онъ составляетъ одно изъ самыхъ тяжелыхъ моихъ воспоминаній, и я тревожу его неохотно. Еслибъ вы позволили мнѣ не говорить о немъ, я бы вамъ очень былъ благодаренъ.

— Нѣтъ! разсказывайте; вы должны непремѣнно разсказывать, сказала хозяйка, пріютившись плотнѣе въ уголъ дивана: — иначе я невѣрю въ необыкновенныя происшествія.

Тутъ я бы могъ снова обидѣться замѣчаніями

Катерины Петровны. Но впечатлѣніе ея взгляда еще на меня дѣйствовало, и, заинтересованный вступленіемъ Локтева, я поспѣшилъ покойнѣе усѣсться и такъ придвинулся къ огню, что чуть не опалилъ кончики усовъ: я люблю слушать съ удобствомъ.

Мой пріятель обратился къ Катеринѣ Петровнѣ и началъ:

— Прошедшее лѣто я жилъ въ оренбургской деревнѣ, по которой мы съ нимъ сосѣди (онъ указалъ на меня). Оренбургская губернія — чудный край. Это именно край, а не губернія—край и по пространству, и по своей совершенно-особенной физіономіи. А какое разнообразіе и въ климатѣ, и въ жителяхъ! Въ Гурьевѣ зрѣетъ виноградъ, въ Ранибѣ водятся тигры и барсы, на границѣ вятской губерніи съ трудомъ поспѣваетъ одна рѣпа. И на этомъ пространствѣ живутъ киргизы, калмыки, башкиры, мордва, чуваши, татары, черемисы, мещеряки, тептяри—всѣхъ и не перечтешь. Все это говорю я вамъ, чтобъ дать понятіе о разнообразіи живописности края, въ которомъ Европа сошлась съ Азіей, пароходъ встрѣчается съ верблюдомъ, и танцовальная зала дворянскаго собранія, по проэкту Тона, въ двадцати верстахъ отъ кочевой кибитки. Итакъ, я жилъ въ оренбургской деревнѣ, ѣлъ шесть разъ въ день, пилъ кумысъ съ большимъ удовольствіемъ, нежели раулевское вино, и охотился. Надобно вамъ сказать, что имѣніе мое стоитъ въ Башкиріи—въ лѣсной Башкиріи. Кругомъ лѣсъ, степи и озера, совершенно-ровная мѣстность, на которой изрѣдка торчатъ шиханы — известковыя, почти голыя, уединенныя горы. Но на юго-востокъ, въ ясный день, рисуется темносиняя отдаленная черта: это горы, горная, самая глухая и дикая часть Башкиріи. Разъ, сослучившись охотой за мелкой и крупной дичью, я вздумалъ поохотиться на медвѣдей и оленей. Къ-тому же эти неизвѣстныя мнѣ горы, въ которыя еще съ яздѣтства уносила меня ребяческая фантазія, давно интересовали меня. Я велѣлъ заложить добрую тройку своихъ доморощенныхъ полубашкировъ въ тарантасъ, или, какъ тамъ назы ваютъ, карандасъ—просто длинныя дроги—взялъ съ собой нѣсколько человѣкъ охотниковъ, а у меня ихъ половина дворни, и поѣхалъ. Какъ теперь помню, мы выѣхали рано утромъ; бѣлый туманъ густо стлался кругомъ, но сквозь него проглядывало свѣтлое небо, и къ востоку онъ отливалъ какимъ-то особеннымъ свѣтомъ. Это былъ не мрачный, свинцовый туманъ Петербурга, а скорѣе освѣжительный паръ, который кругомъ задернулъ отъ насъ окрестность. Дорога шла лѣсомъ и въ гору. Черезъ часъ мы взъѣхали на вершину, и передъ нами развернулась чудная картина. Туманъ началъ ложиться. Голыя вершины известковыхъ шихановъ, мѣстами густой лѣсъ, мѣстами деревушки, разбросанныя на косогорѣ, прорывались изъ него и ярко освѣщались заревомъ утренняго солнца, между-тѣмъ, какъ бѣлой пеленой онъ стлался и волновался по долинамъ, и какъ густой дымъ клубился надъ рѣчками. Такія картины не забываются; за эти картины я такъ много люблю оренбургскій край, въ которомъ природа и сильна, и полна жизни.

— «Хорошая погода будетъ, замѣтилъ мой старый егерь, Софроновъ:—туманъ на землю падаетъ.

«Затѣмъ онъ принялся высѣкать огонь, и вскорѣ запахъ саксонскаго табаку съ вишневымъ листомъ, составъ, которымъ мой Софронычъ гордился, пріятно защекоталъ обоняніе на свѣжемъ утреннемъ воздухѣ.

«Мы ѣхали долго. Проѣхали Чувашскій Куганакъ и Церковный Куганакъ. Потомъ пошли Арметьевы: Большая Арметь, Средняя Арметь, Малая Арметь. При въѣздѣ въ деревню, тьма собакъ встрѣчала насъ, такъ-что мы своихъ лягавыхъ должны были брать на тарантасъ, чтобъ ихъ не загрызли. Эти встрѣчи всегда возбуждали негодованіе моихъ егерей и особенно старика Софронова.

— «Ишь собаки! (Въ этомъ случаѣ Софроновъ подразумѣвалъ не собственно собакъ, а башкирцевъ или татаръ). Ишь! самимъ кусать нечего, а сколько собакъ держатъ.

— «Это они отъ воровъ, иронически замѣчалъ другой егерь, тонко намекая на то, что всѣ башкирцы отъявленные конокрады.

— «Поди-ка! Есть у нихъ что украсть. Развѣ малахай старый, замѣтилъ третій.

«Мы все ѣхали. Горы обрисовывались яснѣе. Сквозь густой лѣсъ, сплошной массой покрывавшій ихъ, можно было отличать голые синеватые камни, едва покрытые мохомъ, или рѣзко обнаженные въ обрывѣ. Между тѣмъ солнце начинало жечь нестерпимо. Я не взялъ съ собой кумыса, въ надеждѣ найти его у башкирцевъ, и мнѣ страшно хотѣлось пить. Я сообщилъ объ этомъ Софронову.

— «А вотъ за опушкой деревня должна быть, Янгыскаинъ: тамъ можно найти кумысу.

— «Да есть у тебя тамъ знакомые?

— «Какъ-же-съ! ухмыляясь, отвѣчалъ за Софронова другой:— у него тамъ пріятель есть Мукаська.

— «Лѣтъ пять назадъ, денегъ ему, собакѣ, далъ; говоритъ: пчелами отдамъ, да вотъ до сихъ поръ все отдаетъ, проворчалъ Софроновъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, выѣхавъ изъ лѣсу, мы чуть не наткнулись на деревушку, которая вдругъ словно изъ земли выросла. Егерь, соскочившій отворить ворота, ожидая обычной встрѣчи собакъ, взялъ было кнутъ въ руки, но, къ удивленію, все было тихо кругомъ, будто вымерло. Ѣдемъ далѣе — ни души. Двери избъ и ворота были затворены; нѣкоторыя окна прикрыты лубками, у болѣе зажиточныхъ — ставнями.

— «Э! да они ужь откочевали! сказалъ Софроновъ:— рано же поднялись!

— «Глядь-ка, и твой-то пріятель на дачу переѣхалъ, замѣтилъ егерь, кивнувъ головой на сбоченившуюся избушку.

— «Да еще и окна забилъ, чтобъ стеколъ не

украли, прибавилъ другой, намекая на бараній пузырь, который въ избушкѣ замѣнялъ стекла.

«Дѣлать нечего, пришлось ждать. Наконецъ, проѣхавъ еще двѣ пустыя деревни и перерѣзавъ коммерческій трактъ, который идетъ изъ Белебея черезъ Стерлитамакъ въ Верхнеуральскъ, мы круто повернули влѣво, и горы стали прямо передъ нами. На подошвѣ ихъ, почти въ ущельѣ, была разсыпана довольно большая деревня. Переѣхавъ въ бродъ горную рѣчку, которая неслась по каменистому дну, мы проѣхали рады избушекъ, выстроенныхъ по *плану*, какъ говорятъ башкиры, обогнули деревянную мечеть съ остроконечнымъ минаретомъ и остановились у выштукатуреннаго девяти-оконнаго съ мезониномъ дома: это былъ домъ башкирца.

«Въ глуши, въ Башкиріи, въ бѣдной деревушкѣ, за сто верстъ отъ ближайшаго города, который самъ похожъ на деревню, найти подобный домъ было бы пріятной неожиданностью, еслибъ я не былъ предупрежденъ. Махметъ Абдрахимычъ, какъ на русской ладъ называли хозяина, былъ прежде кантоннымъ начальникомъ, слѣдовательно не мудрено понять какимъ образомъ онъ соорудилъ себѣ такой домъ; теперь онъ занимался торговлей. Пользуясь мѣстностью деревни, которая была на рубежѣ горъ, онъ вымѣнивалъ горнымъ башкирцамъ все для нихъ необходимое на звѣриныя шкуры или другіе ихъ продукты, и бралъ барыши на томъ и другомъ. Махметъ Абдрахимычъ былъ намъ знакомъ, и зеленыя ворота его дома, несмотря на его отсутствіе, сейчасъ намъ отворились.

«Все кругомъ носило смѣшанный характеръ европеизма, передѣланнаго на азіатскій ладъ. Домъ, какъ я сказалъ, былъ по наружности хоть куда, въ девять оконъ на улицу и семь въ переулокъ, и очень напоминалъ одинъ знакомый помѣщичій домъ; но рамы и ставни были выкрашены яркозеленой краской; мезонинъ и крыльцо подпирались вычурными тоненькими колонами. Ширины онъ былъ въ одну комнату и весь перегороженъ на нѣсколько частей; сзади по всей длинѣ шла галерея также съ колонками, и окна всѣхъ комнатъ выходили съ одной стороны на улицу, съ другой на эту галерейку.

«Внутри дома та же смѣсь Европы съ Азіей. Дверь въ сѣни была обита малиновымъ сафьяномъ съ зелеными сердечками, кружками и каемками, убитыми бронзовыми гвоздиками. Въ первой, самой большой комнатѣ, меня пріятно встрѣтилъ мягкій диванъ на пружинахъ и порядочное зеркало въ орѣховой рамѣ, пріобрѣтенные хозяиномъ отъ какого-то управляющаго заводомъ. На стѣнахъ двое часовъ, до которыхъ азіатцы большіе охотники: одни съ кукушкой, другіе подъ стекляннымъ колпакомъ, оклееннымъ по краямъ бумагой, въ зеленомъ, подъ цвѣтъ ставнямъ, футлярѣ. На окнѣ чалма, свитая изъ добраго десятка аршинъ бѣлой кисеи; въ углу непремѣнный мѣдный умывальникъ съ полотенцомъ. Но тутъ собственно и кончалось *владычество* цивилизаціи. Въ слѣдующихъ, гораздо меньшихъ комнатахъ, была уже Азія: широкія нары вокругъ стѣнъ, устланныя коврами или войлоками, съ горою перинъ, подушекъ, богатые халаты, тюбетейки на гвоздикахъ, шкафъ съ маленькими чашечками и прочей чайной посудой и, наконецъ, въ послѣдней, въ углу, большая кадка съ кумысомъ, закрытая отъ мухъ крышкой, и на ней деревянный ковшъ и мѣшалка. За этой комнатой были сѣни, а тамъ еще комната съ шуваломъ т. е. азіатскимъ каминомъ, въ которую уединялись хозяйскія жены.»

— А много ихъ было? спросила, съ скрытымъ любопытствомъ, хозяйка дома, прервавъ моего пріятеля.

— Только двѣ, отвѣчалъ онъ.—Нынѣче азіатцы рѣдко пользуются и этой роскошью; у большей части всего одна. Но мой хозяинъ былъ богатъ и незадолго позволилъ себѣ взять молодую жену, заплативъ за нее тысячу рублей калыма. Старая занималась у него хозяйствомъ; молодая...

— И вы ее видѣли? спросила снова Катерина Петровна.

— Очень хорошо. У нихъ выходитъ изъ обыкновенія прятаться или закутываться.

— И хороша она?

— Да, не дурна, но страшно набѣлена и нарумянена, брови и рѣсницы насурмлены, ногти выкрашены. Впрочемъ, когда я уѣзжалъ и она вышла на галерейку въ шелковомъ бешметѣ и бархатной шапкѣ, опушенной бобромъ, съ золотыми галунами и кисточкой, она была довольно эффектна.

— Дурно же вы заплатили за гостепріимство! насмѣшливо замѣтила Катерина Петровна.

— Напротивъ, отвѣчалъ Локтевъ очень серьезно:—я его строго уважаю, и не она играетъ роль въ моемъ разсказѣ.

— Виновата, я васъ прервала, сказала хозяйка.

Локтевъ продолжалъ:

— Въ этотъ день, сдѣлавъ переѣздъ верстъ въ пятьдесятъ, я не располагалъ охотиться. Поваръ мой, бывшій со мной въ качествѣ егеря, приноравливаясь къ мѣстнымъ средствамъ и обычаямъ, сдѣлалъ бишбармакъ и отличную салму, приправивъ ее крутомъ (башкирскимъ сыромъ). Благодаря лѣтнему зною и отъ давно томившей меня жажды, я выпилъ огромную чашку кумысу, не принявъ въ разсчетъ, что онъ гораздо крѣпче моего домашняго. Вскорѣ у меня закружилась голова; я свалился на диванъ и заснулъ, какъ убитый.

«Когда я проснулся, былъ уже часъ шестой. Жаръ значительно уменьшился; кругомъ меня была мертвая тишина, и только міріады мухъ жужжали по комнатѣ. Въ сѣняхъ Софронычъ, стащивъ съ наръ нѣсколько огромныхъ подушекъ, спалъ на нихъ подъ тѣнью лѣстницы; на лавкахъ крыльца спали другіе слуги. Я взялъ фуражку, легонькое охотничье ружье и незамѣтно вышелъ бродить по окрестности.

«Только шагъ за ворота, и я былъ лицомъ къ лицу съ природой.

«Три горы стояли передо мною: Красная Гора, Срединная и Колѣно-поклонная (я перевожу названья). Двѣ первыя названы: одна по цвѣту камня, другая—по положенію; про третью существуетъ преданіе. Какая-то старуха-башкирка, по обѣту, взошла на нее на колѣняхъ; я бы не въ состояніи былъ сдѣлать этого. Крайнія горы, сходясь, образовали долину; средняя сзади замыкала ее. Эта долина, начинающаяся отъ Срединной Горы ущельями, убѣгала отъ горъ легкимъ скатомъ, который, расширяясь, переходилъ въ необозримыя волнистыя поля и вдалекѣ сливался съ небомъ.

«Изъ двухъ ущелій, образованныхъ среднею горою, столкнувшеюся съ крайними, шумя и дробясь о камни, падали два ручья. У подошвы они соединялись, принимали въ себя десятки ключей, которые сочились изъ земли и образовывали рѣчку Иганку. Я ничего не видалъ милѣе и прихотливѣе этой рѣки: то она неслась съ шумомъ и пѣной по кремнистому, сильно-наклонному дну, усѣянному валунами, и была мелка и тоща водами, то вдругъ затихала въ глубокихъ плёсахъ, потомъ развѣтвлялась и обѣгала зеленые, какъ изумрудъ, острова, среди которыхъ, сплошь подернутыхъ сочной травой, одиноко высились нѣсколько осокорей, то опять соединяла воды и неслась плавно въ низкихъ берегахъ, закрытыхъ ветлой, купавшей въ ней свои гибкія, густыя вѣтви.

«Домъ моего хазрета (пріятеля), Муханмеда Абдрахимова, стоялъ въ концѣ деревни, на краю горы. Я вышелъ въ сопровожденіи своего неразлучнаго спутника, стараго Тритона, чудесной марковской собаки, тотчасъ за воротами поворотилъ вправо и, спустясь по крутому скату, очутился въ долинѣ.

«Сойдя въ нее, я невольно остановился и долго осматривался: такъ жива и разнообразна была картина, раскинувшаяся передо мною. Я колебался, куда идти. Сначала меня едва не подманило дальнее болото, лежащее на самомъ низкомъ покатѣ долины, которое только привычный глазъ могъ различить по яркой зелени, да пиголицамъ, носившимся надъ нимъ. Потомъ голые, изрытые впадинами утесы и сумрачное ущелье повлекло меня къ себѣ своей таинственной дикостью; я повернулъ къ нему.

«Я шелъ легко въ своихъ охотничьихъ сапогахъ по каменистому берегу, изъ котораго то сочились, то пробивались холодные и чистые, какъ хрусталь, ключи, и на душѣ у меня было особенно свѣтло и отрадно. Невольно я началъ распѣвать вполголоса какія-то итальянскія аріи, вывезенныя въ ту зиму изъ Петербурга, и мнѣ было и смѣшно, и весело, что музыку Беллини и Доницетти, въ которой, нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, восхищали меня Віардо и Рубини въ Большомъ Театрѣ, я, странствующій дилеттантъ, завезъ въ горы Башкиріи.

«Шелъ я такъ, Богъ-вѣстъ о чемъ думая, довольно долго, пока, наконецъ, рѣчонка едва не вывела меня изъ терпѣнія. То она прямо пересѣчетъ мнѣ дорогу, и я перехожу черезъ нее или по высунувшимся изъ воды камнямъ, или по переброшенному съ берега на берегъ дереву, то вдругъ очутится справа или слѣва, и заставитъ меня дѣлать крутые обходы. Наконецъ, голый обрывистый утесъ загородилъ мнѣ путь, и я поневолѣ долженъ былъ остановиться.

«Къ тому же я усталъ порядочно, выбралъ выдавшійся, покрытый мхомъ камень, сбросилъ фуражку, оперся на ружье и, прислонясь къ утесу, очень удобно усѣлся; мой вѣрный Тритонъ улегся у меня въ ногахъ.

«Тутъ я только замѣтилъ, что, несмотря на долгій путь, я ушелъ вовсе недалеко; въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей отъ меня, въ полугорѣ, торчали крайнія избушки деревни. Но зато трудно было найдти точку, съ которой видъ представлялся бы полнѣе.

«Я находился на самомъ высокомъ краю долины, гдѣ она примыкала къ задней горѣ. Солнце было довольно низко, и почти горизонтальные лучи его начали принимать тотъ нѣжно-розовый, золотистый цвѣтъ, который имѣетъ свойство такъ роскошно окрашивать всѣ видимые предметы. Сзади меня высился и нависъ утесъ; его неровные обрывы то рѣзко выдавались, ярко освѣщенные лучами, которые прямо ударялись въ него, то убѣгали въ глубь, темные и неопредѣленные. Влѣво начиналось ущелье; полныя сумерки уже наступили въ немъ, и сквозь нихъ только пробивалась бѣлая пѣна ручья, который, вдругъ вырываясь на свѣтъ, чудно искрился и какъ алмазъ переливался огнями. Но въ глуби ущелья ничего не было видно, густой туманъ поднимался бѣлой пеленой и, вмѣстѣ съ сумерками, закрывалъ картину.

«Влѣво была опять гора, крутая, сплошь застланная густымъ, мрачнымъ, вѣковымъ лѣсомъ; зато прямо передо мной разстилался чудный ландшафтъ. Почти у моихъ ногъ рѣка стояла глубокой плёсой и, несмотря на глубину ея, можно было видѣть на днѣ каждую мелкую гальку. Вдоль по долинѣ мнѣ видѣнъ былъ весь излучистый бѣгъ ея; видно было, какъ она уклончиво обѣгала острова, то закрывалась тѣнистыми берегами, то, вырываясь изъ нихъ, какъ змѣя, блестѣла и извивалась на солнцѣ, пока плотина не загораживала ей дороги и не заставляла ее разлиться широкимъ прудомъ. Группы дикихъ утокъ и домашнихъ гусей черными точками скользили по его гладкой, какъ зеркало, поверхности. Надъ плотиной темнымъ силуэтомъ обрисовывалась мельница, и бѣлая пыль надъ колесами стояла радугой. Далѣе шло необозримое волнистое поле, все ярко освѣщенное красноватымъ свѣтомъ и испещренное деревушками, и гдѣ-то далеко, почти на самомъ горизонтѣ, отдѣлясь отъ земли, горѣлъ, какъ огонь, золотой крестъ заводскаго храма, тогда какъ изъ-за горы доносился до меня протяжный, монотонный голосъ азанчи, призывающій мусульманъ къ вечерней молитвѣ...

«Не знаю, случалось ли вамъ испытать то,

странное, чудно-пріятное и, вмѣстѣ, томительное состояніе духа, когда, вечеромъ, въ тихія сумерки, сидишь одинъ-на-одинъ съ природой и, ничѣмъ неразвлекаемый, вполнѣ отдаешься ея созерцанію. Сначала зрѣніе какъ-будто пріобрѣтаетъ особенную силу: оно врѣзывается въ самые отдаленные предметы и словно проникаетъ въ ихъ недосягаемую глубину; потомъ эта же самая сила сообщается вашей мысли: вы чувствуете, что шире и глубже смотрите на вещи, что ближе къ вамъ стала вся природа, какъ-будто она хочетъ открыть передъ вами свои недосягаемыя, заповѣдныя тайны, и вдругъ, Богъ-вѣсть отчего, вамъ становится грустно, такъ грустно, что сердце заноетъ... и есть какая-то горькая отрада въ этой безвыходной тоскѣ, словно хочется кого-то издалека призвать къ себѣ, хочется кому-то высказаться, съ кѣмъ-то слиться всей переполненной чудными ощущеніями душой...

«Въ такомъ странномъ состояніи духа былъ и я. Никого изъ особенно-близкихъ не оставилъ я въ тѣхъ дальнихъ краяхъ, изъ которыхъ, послѣ долгаго отсутствія, только-что возвратился; никого не жаль было мнѣ, ни въ кого влюбленъ не былъ я,—а между-тѣмъ мнѣ кого-то хотѣлось видѣть. Богъ-вѣсть, по комъ мнѣ было грустно! Глаза мои неподвижно устремились на какую-то дальнюю, неопредѣленную точку, и между-тѣмъ какъ я пытался опредѣлить, кого бы хотѣлъ я въ настоящую минуту перенести къ себѣ, отъ этой самой пытливости встрепенулась цѣлая вереница воспоминаній и быстро проносилась передо мною, и много-много изъ моего прошлаго я пережилъ снова въ эти минуты.

«Вдругъ мой Тритонъ повернулъ голову и тихо заворчалъ. Я оглянулся, и въ десяти шагахъ отъ себя, на берегу рѣки, увидѣлъ женщину. Это была башкирка и, судя по косамъ, унизаннымъ монетами, замужняя. На ней былъ обыкновенный простой костюмъ башкирокъ: длинная синяя рубаха и на головѣ бѣлое покрывало, котораго концы спускались до пояса. Черезъ правое плечо у нея перегнулось коромысло съ двумя ведрами; она, казалось, только-что хотѣла зачерпнуть воду, но, увидѣвъ меня, вдругъ остановилась.

«По естественному любопытству, я сталъ всматриваться въ ея молодое и свѣжее лицо, и первое, что поразило меня, что, встрѣтивъ мой взглядъ, она не отвернулась и не закрылась. Потомъ будто что-то знакомое показалось мнѣ въ ея чертахъ; я сталъ припоминать и вдругъ узналъ ее.

— «Изикэй! сказалъ я, невольно вскочивъ и подходя къ ней: — Изикэй!

«Я видѣлъ, какъ у нея вспыхнуло лицо; она быстро прикрыла его бѣлой чадрой, однакожъ такъ, что глаза остались незакрыты, и, стыдливо склонясь и смотря на меня, сказала:

— «Узналъ?

«Но тутъ я долженъ сдѣлать отступленіе.

«*Верстахъ* въ двухъ отъ нашего имѣнія, жила бѣдная вдова башкирка. Мужъ ея много помогалъ моему дѣду въ покупкѣ у башкирцевъ земли, на которой впослѣдствіи и заселена была деревня. Поэтому, когда онъ умеръ, оставя въ наслѣдство своей женѣ дочь и пустую избу, вдова пользовалась изъ нашего дома всѣмъ для нея необходимымъ и часто бывала у насъ; съ ней вмѣстѣ, держась за полу ея платья, приходила и дочь ея. Мнѣ было тогда лѣтъ десять и я жилъ въ деревнѣ. Маленькая башкирка мнѣ понравилась; я любилъ играть съ ней, и плакалъ, когда она долго не приходила. Вслѣдствіе этого, Изикэй была всегда чисто одѣта, и ей вольно было каждый день ходить ко мнѣ. Потомъ меня отвезли въ Петербургъ. Когда я пріѣзжалъ въ слѣдующій разъ, мнѣ было лѣтъ пятнадцать, Изикэй лѣтъ девять; она сначала дичилась меня, но я ее прикормилъ конфектами, и она снова привыкла ко мнѣ. Въ послѣдній разъ передъ встрѣчей, про которую я разсказываю, я ее видѣлъ лѣтъ за пять. Я тогда служилъ еще въ военной службѣ и пріѣзжалъ въ отпускъ. Изикэй попрежнему часто ходила къ намъ въ домъ; но ей тогда было лѣтъ четырнадцать и она уже закрывала лицо рукавомъ всякій разъ, какъ я говорилъ съ нею. А какъ она тогда уже была прехорошенькая и обѣщала много, то это не мѣшало намъ говорить съ ней довольно часто. Потомъ я уѣхалъ и, разумѣется, совершенно забылъ про нее.

«Но, встрѣтивъ Изикэй такъ неожиданно, встрѣтивъ ее въ минуту чуткой настроенности, окруженную чудесной обстановкой природы, я ей много обрадовался, такъ обрадовался, какъ радуешься только встрѣчѣ съ близкими сердцу. Въ воображеніи у меня мгновенно пролетѣло все мое дѣтство — безпечное, счастливое, вѣчно окруженное горячими ласками, любовью и заботами. Она мнѣ живо напомнила весь этотъ маленькій домашній міръ тетушекъ, бабушекъ, нянекъ, мамокъ и дядекъ, которыхъ лица память не рисуетъ мнѣ иначе, какъ съ добродушной улыбкой на устахъ, съ озабоченнымъ и, вмѣстѣ, чудно-добрымъ взглядомъ — весь этотъ дряхлѣвшій міръ, который съ такой нѣжностью и надеждами лелѣялъ мое дѣтство и изъ котораго рѣдкому удалось видѣть мою юность.

«Изикэй теперь было лѣтъ двадцать. Изъ хорошенькаго ребенка она сдѣлалась прекрасивой женщиной. Двѣ большія, темнорусыя косы, унизанныя серебряными монетами, были переброшены черезъ плечи на грудь; лицо у нея было, какъ у всѣхъ башкирокъ, просто и нерѣзко обрисовано; но въ его мягкихъ, пріятныхъ чертахъ было разлито какое-то расположеніе къ нѣгѣ, къ страстности. Я вамъ сказалъ уже, что весь ея нарядъ состоялъ изъ бѣлой чадры и длинной синей рубахи, отороченной на груди красной лентой; но самая простота этого наряда много красила ее. Сквозь его совершенно-свободную оболочку, при каждомъ движеніи можно было угадывать весь

очерк стана высокаго, крѣпкаго, стройнаго... Изикэй была очень-хороша.

— «Изикэй, ты меня узнала? спросилъ я, подойдя къ ней.

— «Я тебя тотчасъ узнала, отвѣчала она.

«Надобно вамъ сказать, что Изикэй довольно-хорошо говорила по-русски и употребляла «ты» не слѣдствіе короткости, а по привычкѣ всѣхъ азіатцевъ.

— «Какимъ-образомъ ты здѣсь?

— «Замужемъ, отвѣчала она: — ты развѣ не зналъ?

— «Давно?

— «Года два.

— «Гдѣ же ты живешь?

«Она указала на крайнюю избушку, которая выглядывала въ полугорѣ.

— «Помнишь, Изикэй, какъ ты бывала у насъ?

— «Помню, отвѣчала она, вздохнувъ:—хорошо было тогда!

— «А теперь?

— «Теперь работа, тяжело теперь; мужъ есть...

— «Любитъ онъ тебя? спросилъ я.

— «Любитъ, больно любитъ, да не хорошо любитъ.

— «Отчего же?

«Она замялась немного, хотѣла что-то отвѣтить, но, не знаю, затруднилась ли въ выраженіи, или просто сконфузилась, только сильнѣе стала закрываться чадрой, отвернулась и вдругъ, взглянувъ въ сторону, торопливо опустила ведро и быстро проговорила:

— «Уйди! уйди!

— «Что съ тобой? спросилъ я.

«Она мнѣ не отвѣчала ни слова и, зачерпнувъ воду, указала головою на гору.

«Я оглянулся.

«Вдоль по горѣ, отъ деревни, которая была разбросана по ея скату, вилась дорога. Сначала она была довольно-торна, но потомъ, поднимаясь выше и выше, все съуживалась и, наконецъ, почти тропой лѣпилась по косогору, проходила надъ нашей головой и терялась въ ущельѣ. По этой тропинкѣ ѣхалъ башкирецъ. Онъ сидѣлъ верхомъ на маленькой, тощей лошаденкѣ, запряженной въ передки. Между колесъ, на оси, былъ привязанъ улей. Все это я едва могъ угадать по привычкѣ: такъ далеко и высоко надъ нами была эта фигура.

— «Кто это? спросилъ я, стараясь вглядѣться.

— «Мужъ; уйди, пожалуйста! сказала Изикэй, торопясь зачерпнуть воды; но, какъ нарочно, ведро сорвалось у нея и упало.

«Я отодвинулся назадъ и прислонился къ утесу, такъ-что сверху нельзя было меня замѣтить.

«Оттуда я любовался башкиркой. Она нагнулась надъ рѣкой и старалась поймать коромысломъ ведро, которое увертывалось на водѣ. Изгибъ ея тонкаго и стройнаго стана обрисовался яснѣе, лицо разгорѣлось яркимъ румянцемъ, и вся она, молодая и свѣжая, ярко освѣщенная закатывавшимся солнцемъ, была очень хороша.

«Вдругъ странная, капризная мысль мелькнула у меня въ головѣ. Мнѣ стало досадно, что какой-нибудь башкирецъ можетъ мѣшать моему разговору.

— «Изикэй, спросилъ я: — ты боишься мужа?

«Она молчала.

— «Послушай! Мнѣ хочется видѣть его. Я провожу тебя и ты мнѣ покажешь свою юрту.

— «Ай, нѣтъ, нѣтъ! торопливо и тихо проговорила она, не повертывая головы.—Онъ и такъ, когда сердитъ, зоветъ меня барыней, говоритъ, что я кого-то люблю...

— «А, такъ онъ ревнивъ! сказалъ я.—Послушай, Изикэй, когда же я тебя увижу?

«Она опять молчала.

— «Завтра? спросилъ я.

— «Завтра рано мы въ кочевку идемъ.

— «Далеко?

— «Верстъ двадцать.

«Повѣрите ли, что въ эту минуту мнѣ стало страшно-досадно и больно? Какъ-будто я любилъ Изикэй, какъ-будто я давно и страстно ждалъ свидѣться съ нею...

— «Что жъ? такъ мы не увидимся? спросилъ я съ невольной досадой.

«Она подняла ведра на плечи и, обернувшись ко мнѣ, вздохнувъ, отвѣчала:

— «Нельзя.

— «Тебѣ лучше знать, сказалъ я. — Какъ хочешь!

«Въ это время Изикэй пошла домой. Узкая тропинка, на которую ей слѣдовало идти, пролегала мимо меня.

«Поровнявшись со мной, она посмотрѣла мнѣ въ лицо и сказала:

— «Не сердись, пожалуйста; мнѣ и такъ горько.

— «Я не сержусь, отвѣчалъ я: — а мнѣ досадно. Я скоро уѣду и опять надолго. Мы, можетъ-быть, и не увидимся.

«Изикэй остановилась въ нерѣшимости. Въ лицѣ ея было замѣтно сильное волненіе; въ черныхъ глазахъ отражалось какое-то внутреннее смущеніе, которое имъ придавало особенный, чудесный свѣтъ.

— «Какъ же быть? спросила она, пристально смотря на меня и будто желая на моемъ лицѣ прочесть отвѣтъ.

«Каюсь, въ эту минуту я любовался ея смущеніемъ и ни за что не хотѣлъ разрѣшить его.

— «Какъ знаешь! холодно отвѣчалъ я.

«Она еще нѣсколько мгновеній грустно смотрѣла на меня; потомъ сдѣлала движеніе, чтобъ идти. Рука Изикэй свѣсилась черезъ коромысло; я остановилъ ее за руку.

— «Такъ что жъ? мы не увидимся? спросилъ я.

«Щеки Изикэй сильно зарумянились, глаза ея вдругъ облились какой-то влагой; она быстро осмотрѣлась кругомъ, опять обернулась ко мнѣ и неровнымъ голосомъ, тихо и скоро, проговорила:

— «Въ полночь, вонъ у этого дерева.

«Она указала въ сторону, отдернула руку и съ тяжелыми ведрами едва не побѣжала въ гору.

«Немного погодя, я вышелъ изъ своей засады. Кругомъ не было ни души. Начинало смеркаться. Ущелья и рѣка словно затопились паромъ. Въ душистомъ, влажномъ воздухѣ была тишина мертвая, и только изрѣдка бубенчики, привязанные къ шеѣ лошади, чтобъ легче было отыскать ее, дребезжали гдѣ-то въ лѣсу.

«Я пошелъ къ дереву, на которое мнѣ указала Изикэй. Это была высокая, одинокая осокорь. Она стояла на островѣ, густо усаженномъ по берегамъ ветлою и почти примыкающемъ къ противоположной горѣ. Осмотрѣвъ мѣстность, я старался замѣтить дорогу, что̀, по излучистому, иногда раздвоившемуся бѣгу рѣки и множеству островковъ, было для непривычнаго довольно трудно; потомъ медленно побрелъ домой и, сознаюсь въ глупомъ самолюбіи, былъ очень доволенъ.

«Когда я возвратился домой, были ужь сумерки. Самоваръ, который у татаръ имѣетъ талантъ закипать въ пять минутъ, давно ждалъ меня. Софронычъ, страшный охотникъ до чая, ждалъ съ еще бо́льшимъ нетерпѣніемъ. Напившись, я отдалъ самоваръ въ распоряженіе егерей, которые, поставивъ его на крыльцѣ, усѣлись вокругъ и принялись пить.

«На войнѣ, какъ на войнѣ», говорятъ французы. Люблю я въ отъѣзжемъ полѣ или на рыболовствѣ подсѣсть къ кружку егерей или рыбаковъ и послушать ихъ веселую, сдобренную иногда крупной солью, бесѣду. Къ тому же, въ домѣ было темно, пусто и отзывалось какимъ-то мыльнымъ запахомъ, неизбѣжнымъ во всѣхъ татарскихъ домахъ и лачужкахъ, по которому можно тотчасъ узнать и отличить ихъ. Поэтому я вышелъ также на крыльцо, закурилъ сигару и усѣлся на ступенькѣ, въ увѣренности, что, зная мою привычку, егеря мои не будутъ стѣснять себя ради моего присутствія.

— «Вотъ, сударь, сказалъ Софроновъ, попивая чай съ сотами, которыхъ наша хозяйка поставила передъ нимъ цѣлое блюдо. — Вѣдь говорилъ я, что не будетъ теперь ни медвѣдя, ни оленя: такъ оно и есть.

— «А тебѣ кто сказалъ? спросилъ я.

— «Да я охотника призвалъ, и онъ то же сказалъ. Да гдѣ онъ? Эй, хазретъ! закричалъ Софроновъ.

«Изъ-за крыльца вышелъ башкирецъ въ истасканномъ синемъ кафтанѣ и скинулъ войлочный малахай.

«Онъ мнѣ подтвердилъ слова Софронова, и на разспросы о другой дичи сказалъ, что по горамъ водится много тетеревей. Я былъ не въ духѣ толковать объ охотѣ и, удовольствовавшись этимъ, хотѣлъ его отпустить, но Софроновъ, имѣвшій привычку изъ каждой поѣздки извлекать всѣ удовольствія, остановилъ башкирца.

«Намъ старшина сказывалъ, что ты на чебызгѣ хорошо играешь; ну-ка, сыграй барину что-нибудь, да горломъ подтяни, сказалъ онъ.

— «Можно, отвѣчалъ башкирецъ, приготовившійся, какъ видно, напередъ показать свое искусство, и вынулъ тотчасъ изъ-за пазухи чебызгу.

«Чебызга—родъ дудки съ ладами, инструментъ чисто башкирскій, который, говорятъ, составляетъ странное явленіе въ ряду духовыхъ инструментовъ. Чтобъ играть на ней, башкирецъ упираетъ ее верхнимъ концомъ въ глазной зубъ и, скрививъ ротъ, поддерживаетъ ее нижнею губою. Другой инструментъ, который мнѣ тоже нигдѣ не случалось слышать, кромѣ Башкиріи—горло. Башкирецъ, дикій питомецъ степей, горъ и лѣсовъ, не хитеръ на изобрѣтенія. Тамъ, гдѣ можно вырѣзать дудку, онъ срѣжетъ ее и сдѣлаетъ чебызгу; тамъ, гдѣ нѣтъ дудки, онъ играетъ на горлѣ. Для этого онъ полураскрываетъ ротъ и издаетъ какіе-то странные, иногда необыкновенно-сильно вибрирующіе гортанные звуки, совсѣмъ-непохожіе на пѣніе, а скорѣе на какой-то дикій инструментъ. Это, кажется, очень просто, а между-тѣмъ не всякій это сдѣлаетъ, и, услыхавъ въ первый разъ игру на горлѣ, вы не узнаете звуковъ—такъ необыкновенны они.

«Но верхъ музыкальнаго искусства, по понятіямъ башкирца, это—соединеніе обоихъ инструментовъ: чебызги и горла. Чтобъ быть въ нихъ глазахъ истиннымъ артистомъ, надобно играть на чебызгѣ и акомпанировать себѣ горломъ; такъ сдѣлалъ и мой виртуозъ.

«Вынувъ инструментъ изъ-за пазухи и посмотрѣвъ, не раскололся ли онъ, башкирецъ приставилъ чебызгу къ зубу, надулся, сколько позволяли лёгкія, и заигралъ.

«Трудно передать впечатлѣніе этой музыки. Башкирецъ затянулъ одну гортанную низкую ноту и, вмѣстѣ съ тѣмъ, заигралъ пѣсню. Сначала меня поразила необыкновенная сила его груди: нѣсколько минутъ, непереводя духа, онъ пѣлъ и игралъ. Въ качествѣ дилетанта, имѣвшаго абонированное кресло въ оперѣ, я не могъ не отдать должной справедливости его лёгкимъ и нашелъ, что онъ съ большимъ успѣхомъ могъ бы замѣнить надувальный мѣхъ въ любой кузницѣ.

«Потомъ, однакожь, музыка взяла свое. Эта длинная, заунывная башкирская пѣсня, безпрерывно переливающаяся изъ ноты въ ноту и вѣчно кончающаяся однимъ долгимъ протяжнымъ и дребезжащимъ, какъ плачъ, звукомъ, эта неизмѣняющаяся, непрестанно слышимая сквозь всѣ переливы пѣсни гортанная нота,—дѣйствуютъ сильно на нервы и невольно рисуютъ воображенію какую-то безпредѣльную, голую степь, мертвую, пустынную, по которой только бѣлый ковыль переливается и колышется, какъ однообразная, безбрежная морская зыбь.

«Но въ этотъ вечеръ я не былъ расположенъ къ мечтательности. Уложивъ Тритона, который вздумалъ-было подтягивать башкирцу, я спросилъ

хлѣба и началъ прикармливать двухъ ощипанныхъ хозяйскихъ собакъ, которыя глядѣли на меня очень неблагосклонно. Сначала онѣ, однакожь, выдерживали характеръ и ѣли шарики, которые я имъ бросалъ, сохраняя враждебный видъ, но потомъ мало-по-малу смягчились и, рѣшившись подойдти ко мнѣ, начинали посматривать на меня ласковымъ взглядомъ.

«Это невинное занятіе начинало мнѣ нравиться, въ особенности при видѣ успѣховъ, которые я дѣлалъ въ сердцахъ собакъ, какъ вдругъ оно было прервано приходомъ неожиданнаго посѣтителя, разогнавшаго моихъ питомцевъ. Посѣтитель этотъ былъ башкирецъ. Смиренно вошелъ онъ въ ворота, подошелъ къ крыльцу, поклонился мнѣ и сталъ возлѣ музыканта. Онъ былъ низокъ и широкоплечъ. Судя по бронзово-смуглому лицу, съ широкими скулами и длиннымъ приплюснутымъ на концѣ носомъ, ему можно было дать лѣтъ сорокъ. Рѣдкая темнорусая бородка торчала клиномъ. Небольшіе сѣрые глаза были живы, но большею частью какъ-то глупо потуплены. Я бы не обратилъ вниманія на этого вновь-пришедшаго башкирца и готовъ былъ счесть его за зѣваку, пришедшаго посмотрѣть на пріѣзжихъ, но мой Софроновъ, увидавъ его, воскликнулъ съ тономъ легкой насмѣшки:

— «А! Абдулъ Мазитычъ! Здорово живешь?

— «Здорово, Иванъ Софронычъ, отвѣчалъ башкирецъ, взглянувъ на него и снова потупясь.

— «Что скажешь?

— «Да вотъ къ Мухаммедъ Абдрахимычъ пришелъ; крупа мала-мала надо.

— «Дома нѣтъ Мухаммедъ Абдрахимыча, въ городъ лежать пошелъ.

— «Нешто, отвѣчалъ Абдулъ.

«Надобно вамъ сказать, что башкирцы, вмѣсто словъ: пробыть, остаться, прожить, говорятъ «лежать»: они этимъ очень хорошо выражаютъ свое лучшее време-провожденіе. Русскіе, въ разговорѣ съ ними, чтобъ быть понятнѣе, поддѣлываются къ ихъ манерѣ.

— «А твоя, сударь, сказалъ башкирецъ, обращаясь ко мнѣ:—смѣю спросить, давно изъ Петербургъ пришелъ?

«Меня этотъ вопросъ удивилъ порядочно.

— «Недавно, отвѣчалъ я.—Да ты развѣ меня знаешь?

«Башкирецъ ухмыльнулся.

— «Какъ не знать, сударь! Вотъ какъ ты такой еще былъ, такъ я ужь зналъ тебя.

«Онъ растопырилъ черную руку и опустилъ ее на аршинъ отъ земли. Я посмотрѣлъ на Софронова, тотъ меня понялъ.

— «Развѣ вы не помните, сударь, Абдулку заводскаго, на поташномъ заводѣ что жилъ?

Я, въ-самомъ-дѣлѣ, началъ припоминать что-то подобное.

— «Какъ же-съ! продолжалъ Софроновъ.—Онъ все около насъ жилъ, покуда не женился. Да вы, чай, и жену-то его помните—къ вамъ играть ходила, Изикэйкой звали.

— «А! невольно сказалъ я, снова осмотрѣвъ Абдула.

«Онъ стоялъ потупясь, съ очень глупымъ выраженіемъ лица, и молчалъ, какъ-будто про него и рѣчи не было.

— «Ну, а что жена твоя? здорова? спросилъ Софронычъ.

— «Нисяго, живетъ! отвѣчалъ башкирецъ.

— «Вишь какую хорошенькую подтибрилъ! Губа-то не дура! продолжалъ Софронычъ.—Что? чай, дѣти есть? А? бараньчукъ есть?

— «Нѣтъ бараньчукъ, отвѣчалъ башкирецъ.

— «А другой жены нѣтъ? а?

— «Нѣтъ.

«Софроновъ пересталъ разспрашивать. Абдулъ, кажется, остался этимъ доволенъ; а музыкантъ, увидѣвъ, что всѣ заняты разговоромъ, давно прекратилъ музыку и спряталъ чебызгу.

— «А что, смѣю спросить, сударь, сказалъ Абдулъ послѣ нѣкотораго молчанія, обращаясь ко мнѣ:—зачѣмъ твоя пришелъ?

— «На охоту, отвѣчалъ я.

— «Да ваши мѣста лучше, возразилъ онъ:—зачѣмъ сюда ходить?

— «Я думалъ, что здѣсь найду медвѣдей или оленей.

— «Нѣтъ! Какой теперь медвѣдь! пора не та! и олень нѣтъ! никого теперь нѣтъ!

— «Да, знаю, отвѣчалъ я.

«Мы опять помолчали.

«Абдулъ вертѣлъ въ рукахъ войлочный малахай, какъ-будто что-то у него было на умѣ.

— «А что, смѣю спросить, сказалъ онъ, искоса поглядывая на меня:—долго ваша пробудетъ здѣсь?

— «Тебѣ на что? спросилъ я.

— «Такъ! мы такъ спросимъ! сказалъ онъ, смиренно опустивъ глаза.

— «До завтра, я думаю, отвѣчалъ я.

— «Гм! Нешто! только днемъ жарко больно, лошадямъ тяжело. Ночь пора хороша бы идти, сударь.

«Я не отвѣчалъ ни слова. Абдулъ помолчалъ, потомъ поклонился мнѣ.

— «Ну, прощай! сказалъ онъ.

— «Прощай! отвѣчалъ я.

«Затѣмъ Абдулъ ушелъ.

«Только-что онъ скрылся за ворота, какъ Софроновъ осмотрѣлся и позвалъ потихоньку кучера.

— «Гдѣ у тебя лошади? спросилъ онъ.

— «Въ сараѣ, отвѣчалъ кучеръ.

— «А крѣпокъ сарай?

— «Крѣпокъ.

— «Смотри: Абдулка спрашивалъ, когда ѣдемъ! Да кромѣ него, здѣсь и другихъ много — какъ разъ сведутъ!

— «Небось! самоувѣренно замѣтилъ кучеръ.

— «Что тутъ небось! Какъ сведутъ, такъ и будетъ небось! А ты возлѣ лошадей ложись. Да ч

ты бы, братъ, Аѳонасій, продолжалъ Софроновъ, обращаясь къ другому егерю: — и ты бы, братъ, съ нимъ легъ, да и Тритонку взяли бы съ собой; а нихія-то собаки знаютъ ихъ и лаять не будутъ.

— «А и въ-самомъ-дѣлѣ, отвѣчалъ тотъ.—А то отъ Абдулки станется, изъ-подъ носа уведетъ.

— «Да развѣ онъ воръ? спросилъ я.

— «И, сударь. Да такого конокрада и свѣтъ не производилъ. Пока его не выжили отъ насъ, такъ покоя не было. Что ночь, то пропажа. А все онъ.

— «Да если знали, такъ отчего не поймали его? спросилъ я.

— «Да, поймаешь его! Восемь человѣкъ еженощно около деревни дозору было. Да что толку —все воруютъ! ми и караулить бросили! Да. Ну, а какъ пропадетъ скотина, поищешь, да Абдулкѣ же поклонишься.

— «Зачѣмъ же?

— «Какъ зачѣмъ, сударь? Да вѣдь гдѣ же лошадей-то съискать? Ну, коли пропадетъ лошадь и идешь къ нему, али къ другому конокраду извѣстному, и скажешь, вотъ, такъ и такъ. Онъ и отвѣтитъ, можно ли воротить лошадей, али нѣтъ. Коли можно, такъ спросить: давай вотъ столько-то, поищу. Ну поторгуешься, да и дашь десять или пятнадцать рублей, и коль ужь деньги взялъ, такъ воротятся лошади—ужь это вѣрно. Или скажетъ, гдѣ поймать въ лѣсу, такъ тамъ и съищешь, или просто ночью въ околицу подпустятъ. А коли не взялъ денегъ или поскупился дать, такъ и поминай какъ звали лошадокъ. Спроводятъ ихъ глухими дорогами на линію—и ищи тамъ ихъ. У меня, года три назадъ, двухъ матокъ укралъ, да, спасибо, за двадцать рублей выкупилъ.

— «Экой ты какой, Иванъ Софронычъ! замѣтилъ другой егерь.—Вѣдь ему, братецъ ты мой, деньги нужны были: онъ женился тогда, калымъ надо было выплатить. Подумай объ этомъ: вѣдь онъ, чай, влюбленъ былъ, братецъ ты мой!

— «Влюбленъ? спросилъ я, заинтересованный замѣчаніемъ.

— «Какъ же-съ! Туда же влюбился, собака! замѣтилъ егерь.—Мать изикэйкина сказывала тогда. Пристаетъ, говоритъ, съ ножомъ къ горлу: что хочешь калыму возьми, да отдай ее. Да нѣтъ, та не отдала; говоритъ: человѣкъ не хорошій; да и дочь-то не шла: туда же! жениховъ браковала!

— «Такъ какъ же она вышла за него?

— «Да мать-то умерла. Дочь къ себѣ дядя взялъ. Абдулка къ нему давай приставать, тотъ запросилъ триста рублей калыма. Что же, сударь! Выплатилъ въ одинъ годъ. Ну, да ужь и досталось же сосѣдямъ—что ночь, то покража. Послѣ того его и выпроводили сюда.

— «Ну, ужь Абдулъ—прямой обдулъ! замѣтилъ Софроновъ.

«Дальнѣйшій разговоръ не интересовалъ меня.

«Между-тѣмъ на дворѣ совершенно смерклось. На небѣ не было ни одного облачка, и кой-гдѣ, *далеко-далеко,* чуть проглядывали по немъ звѣзды. Я отпустилъ музыканта, приказавъ ему придти рано утромъ, чтобъ вести насъ на тетеревовъ и, отпустивъ людей, улегся въ залѣ. Сначала слишно мнѣ было, какъ они переговаривались въ сѣняхъ и укладывались; потомъ изрѣдка перебрасывались словами и вскорѣ замолкли. Кругомъ стала совершенная тишина, и только двое часовъ безпрестанно и несносно чикали у меня надъ головою.

«Не знаю, отчего, но я не могъ заснуть. Было ли мнѣ душно, или неспокойно, или просто меня волновало предстоящее свиданье—только сна не было ни въ одномъ глазѣ. Долго я вертѣлся съ боку на бокъ; окна кругомъ были закрыты ставнями и ночь была такъ темна, что не просвѣчивались ихъ щели. Я всталъ, поднялъ подъемъ, отлолкнулъ ставень: свѣжій воздухъ пахнулъ мнѣ въ лицо, кругомъ все было темно и тихо. Выкуривъ у окна сигару, я опять легъ и долго смотрѣлъ на открытое окно, которое рисовалось едва-видимымъ четыреугольникомъ на темной стѣнѣ. Время шло для меня невыносимо-медленно,—не отъ нетерпѣнія, а отъ скуки, тишины и какого-то внутренняго, чрезвычайно непріятнаго безпокойства. Наконецъ мнѣ показалось, что окно начало обрисовываться рѣзче, небо посвѣтлѣло, и бѣлая труба на крышѣ проглянула довольно ясно. Я догадался, что началъ всходить мѣсяцъ. Въ это же время часы у меня надъ головой зашипѣли, и кукушка довольно хриплымъ голосомъ прокричала одинадцать.

«Я всталъ, одѣлся и вышелъ.

«Мои егеря спали на крыльцѣ; я прошелъ мимо ихъ безъ всякой предосторожности, но никто и не пошевелился. На дворѣ хозяйскія собаки залаяли-было очень злобно, но, узнавъ меня, тявкнули нерѣшительно раза два, какъ-будто для успокоенія совѣсти, чтобъ никто ихъ не смѣлъ упрекнуть, что онѣ не лаяли, а потомъ отворотили морды и пошли въ сторону.

«Въ это время было полнолуніе. Мѣсяцъ всталъ изъ-за горъ и свѣтилъ такъ ясно-ясно... Вышедъ за ворота, я осмотрѣлся. Ни души не видѣлось по улицамъ, только кой-гдѣ собаки лаяли. Я проскользнулъ вдоль забора. Вдругъ мнѣ показалось, что чья-то тѣнь мелькнула около сарая, Останавливаюсь—никого нѣтъ. Я спустился по горѣ, которая, по счастью, была вся въ тѣни; но этой тѣнью я пользовался недолго: надо было выступить на долину, всю ярко облитую свѣтомъ.

«Трава была влажна отъ вечерней росы и блестѣла ею на лунномъ свѣтѣ. Рѣчка тоже, то переливалась какъ серебряная бить, то стояла какимъ-то темнымъ зеркаломъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ мнѣ приходилось переходить ее, иногда по выдавшимся на перекатѣ камнямъ, иногда по переброшенной доскѣ. Часто какой-нибудь пенекъ, или тѣнь дерева, рѣзко ложившаяся по землѣ, казались мнѣ людьми и заставляли останавливаться и осматриваться. Разъ мнѣ показалось, что я вижу Изикэй, всю въ бѣломъ, будто поджидавшую меня. Я окликнулъ—отвѣта не было, подошелъ ближе—

это была береза. Наконецъ я подошелъ къ знакомой осокорь: только рѣка, въ этомъ мѣстѣ довольно-глубокая, отдѣляла меня отъ нея. Черезъ воду лежало бревно; я перешелъ по немъ и очутился на мѣстѣ. Это былъ, какъ я сказалъ уже, небольшой островокъ. Берега его густо обросли ветлою; въ срединѣ образовалась маленькая поляна, на которой одиноко стояла высокая осокорь, голая внизу и широко раскинувшая вѣтви у вершины.

«Я подошелъ къ дереву: изъ-подъ ногъ у меня вдругъ выскочилъ заяцъ, можетъ-быть тоже пришедшій на какое-нибудь свиданіе, и признаюсь, испугалъ меня нечаянностью; я осмотрѣлся, прислушался—нѣтъ никого; все стояло неподвижно, будто дремало; кругомъ такъ тихо, тихо... Я пришелъ еще рано.

«Отъ подошвы дерева ничего не было видно, кромѣ густой ветлы, сквозь которую, въ чащѣ корней и листьевъ, проглядывала какая-то особенно черная тьма; надъ ветлами высились верхушки горъ, надъ ними небо, усѣянное звѣздами; слѣдовательно, только горы да звѣзды могли видѣть насъ.

«У того мѣста, гдѣ черезъ рѣку лежало бревно, между кустовъ, прорѣзывалась узкая тропинка. Это былъ единственный путь, по которому можно было попасть на островъ. Тутъ я рѣшился ждать Изикэй. На мнѣ былъ кожанъ (родъ пальто изъ кожи). Я сбросилъ его на землю, чтобы предохранить себя отъ сырости, и легъ на него.

«Теперь я нахожу, что ждалъ я, должно-быть, недолго, но тогда мнѣ казалась невыносимо-долга каждая минута. Я смотрѣлъ, несводя глазъ, въ темную чащу противоположныхъ кустовъ; иногда я отводилъ ихъ, чтобъ лучше прислушиваться; ухо мое было чутко настроено, и малѣйшій шорохъ доходилъ до него. Есть среди самой глубокой ночной тишины какіе-то странные звуки... птица ли шевелится гдѣ-нибудь на вѣткѣ, рыба ли плещется на водѣ, звѣрь ли шумитъ въ кустахъ. И всѣ эти звуки ясно долетали до меня, и при всякомъ изъ нихъ кровь сильнѣе волновалась, и сердце билось сильно-сильно...

»Но вотъ я заслышалъ отдаленный шорохъ: то листъ зашумитъ и смолкнетъ; то вѣтка хрустнетъ и опять смолкнетъ; послышалось наконецъ что-то похожее на шелестъ шаговъ, осторожныхъ, нерѣшительныхъ; вотъ оно ближе, ближе... ясно было, что кто-то идетъ, — но кто идетъ? Вдругъ зашумѣли противоположные кусты, и женская рука въ широкихъ серебряныхъ запястьяхъ робко раздвинула вѣтви.

«Это была Изикэй; она вышла изъ кустовъ, ступила на дерево и, держась одной рукой за вѣтку, хотѣла идти далѣе, но я всталъ въ это время; шумъ испугалъ ее, и она остановилась въ нерѣшимости.

«Какъ теперь вижу ее въ этомъ положеніи: оно почему-то рѣзко и неизгладимо легло въ моей памяти. Луна прямо падала на ея высокую, стройную фигуру. Темнорусая голова ярко обрисовывалась бѣлой чадрой, которой контуры будто дрожали отъ блѣдно-желтаго освѣщенія. Румяное, немного загорѣлое лицо Изикэй, желтовато-смуглое, особенно согрѣвалось внутреннимъ волненіемъ; оно словно просвѣчивалось сквозь него и придавало ему необыкновенную жизнь, которая дрожала въ каждомъ нервѣ. Черные глаза ея свѣтились и врѣзывались въ ночной мракъ; косы, унизанныя монетами, висѣли съ плечъ, и монеты эти, слегка дрожа, издавали тихій металлическій звукъ, и вся она, стоя на тонкомъ бревнѣ, словно отдѣлялась отъ земли, а подъ ней глубокая рѣка была точно темное зеркальное стекло, и тѣнь ея ложилась ясно на незыблющуюся гладь...

«Прошло мгновеніе, въ которое я любовался Изикэй. Потомъ я тихо назвалъ ее по имени; она узнала голосъ, увидала меня, и какъ бѣлка пробѣжала по дереву...»

Тутъ Локтевъ на минуту остановился. Кажется, несмотря на его стараніе быть спокойнымъ, разсказъ и воспоминаніе начинали волновать его. Хозяйка дома тоже была несовсѣмъ равнодушна; она неподвижно прижалась въ уголъ дивана, и глаза ея часто, прикованные вниманіемъ, останавливались на разскащикѣ, но въ послѣднія минуты они будто подернулись какимъ-то смущеніемъ и безцѣльно смотрѣли въ глубь комнаты, а на щекахъ ея пробился и заигралъ тонкій румянецъ.

Послѣ минутной остановки Локтевъ продолжалъ:

— Я не помню, какъ прошла эта ночь. Знаю только, что тутъ были и слезы... Какъ сквозь сонъ припоминаю, что разсказывала мнѣ Изикэй какую-то тяжелую, грустную повѣсть бѣдной сироты-башкирки, которая видѣла вблизи барскую жизнь, которая нѣсколько привыкла къ ней, кажется, любила кого-то, была немного избалована и посторонними, и нѣжно любившей ее матерью, потомъ вдругъ всего лишилась, была продана за воровски-пріобрѣтенный калымъ негодяю башкирцу, котораго нетерпѣла она, и потомъ потянулась передъ ней длинная жизнь трудовъ, лишеній, побой — жизнь безвыходная, жизнь, которой и конца не видно... Все это какъ-будто я во снѣ видѣлъ, все это какъ-то страшно было перемѣшано съ горячими ласками... Помню я только, что какая-то ранняя птица чирикнула на деревѣ, Изикэй оглядѣлась какъ-то страшно, закрыла обѣими руками лицо, и какъ безумная бросилась бѣжать. Видѣлъ я, какъ разступились и тотчасъ же закрылись за ней кусты, слышалъ нѣсколько минутъ легкій шорохъ и трескъ сломанной вѣтки; потомъ все замолкло...

«Свѣжій вѣтерокъ дулъ мнѣ въ лицо. Кругомъ меня все было подернуто синимъ утромъ; и горы, и лѣсъ, и рѣка—все слилось въ какую-то синюю, неясную, предразсвѣтную мглу. Съ горы доносился крикъ пѣтуха и лай собаки; раннія птицы начали чирикать; отъ воды, когда близко подойдешь къ ней, видно было, какъ подымался мелкими струйками паръ, точно она хотѣла закипать, точно дымилась она.

«Медленно побрелъ я домой, и не знаю, отчего на душѣ у меня было что-то тяжелое. Не радъ я былъ, что встрѣтился съ Изикэй, не радъ я былъ и свиданью съ нею. Не знаю, какъ это случилось, но я сбился немного съ дороги и зашелъ съ другой стороны деревни. Почти на краю ея, въ полугорѣ, увидалъ я черную, сбоченившуюся избу; я узналъ ее: это была Абдулкина изба, которую указала мнѣ Изикэй. Вся она состояла изъ двухъ срубовъ, связанныхъ между собой сѣнями. Деревянное крыльцо, изъ полуобтесанныхъ, сложенныхъ въ клѣтку брусьевъ, выходило прямо на улицу. Возлѣ него была просыпана зола, которою часто торгуютъ башкиры. На золѣ ясно отпечатался женскій слѣдъ: видно, Изикэй опередила меня и уже воротилась. Избушка глядѣла какъ-то уныло, грустно.... Я поскорѣй прошелъ мимо, вошелъ домой, никѣмъ незамѣченный, и, пройдя мимо спавшихъ на крыльцѣ мертвымъ предутреннимъ сномъ людей, усталый, бросился въ постель. На небѣ только-что начинало бѣлѣть. Я уснулъ, какъ убитый.

«Меня разбудилъ голосъ Софронова, который стоялъ надо мною и подробно доказывалъ, что пора вставать. Утро было ясное, солнечное; свѣтъ такъ и брызнулъ мнѣ въ глаза. На столѣ стоялъ самоваръ и, кажется, сердился на меня за то, что я долго не встаю: такъ онъ шипѣлъ и клокоталъ, и обливался бѣлой пѣной.

«Я наскоро напился чаю; егеря тоже. Мы осмотрѣли ружья и патронташи и забрали всѣ охотничьи принадлежности. Тутъ вошелъ кучеръ, чтобъ взять въ свое распоряженіе самоваръ и въ свою очередь напиться чаю, и на вопросъ мой: «что лошади?» отвѣчалъ, что все благополучно.

— «А вѣдь, однако, кто-то подходилъ, прибавилъ онъ таинственно.

— «Э? замѣтилъ Софроновъ.

— Пра, подходилъ! Да Тритонка залаялъ, а я закричалъ: кто тутъ? онъ и ушелъ.

«Подозрѣній своихъ я не сообщалъ, и мы вышли.

«На крыльцѣ ждалъ насъ вчерашній музыкантъ, чтобы показать мѣсто для охоты. Ружья своего онъ не взялъ, хотя былъ отличный стрѣлокъ, потому-что башкирцу не рука охотиться съ нашимъ братомъ, который стрѣляетъ и въ лѣтъ, и въ мѣру, и не въ мѣру: башкирцу дорогъ каждый зарядъ; въ дрянное ружьишко свое, въ родѣ винтовки, онъ кладетъ крошечную щепотку пороху, счетное число дробинокъ; онъ выжидаетъ, выглядываетъ, подкарауливаетъ, и ужь выстрѣлъ его не пропадетъ даромъ.

«Вышедши за ворота, проводникъ повелъ насъ прямо въ гору, которая стояла круто и высоко передъ нами, заслоняя утреннее солнце. Добравшись до перваго уступа, я остановился отдохнуть. Внизу мнѣ была видна вся деревня, разсыпанная по косогору. Въ ней была какая-то особенная дѣятельность. Скрипѣли несмазанныя ворота; выво-
------ь лошади; нѣкоторыя изъ нихъ были тяжело навьючены кибитками, кадками и разнымъ домашнимъ хламомъ; другія только осѣданы. На осѣданной ѣхалъ обыкновенно хозяинъ, или жена его, часто и тотъ и другой вмѣстѣ. Вьючныхъ привязывали къ хвосту передовой; сзади бѣжало нѣсколько жеребятъ, и такимъ образомъ отправлялись длинной вереницей.... Башкирцы переселялись на кочевку. Телѣги не было ниодной, потому-что по горнымъ тропинкамъ нельзя было проѣхать въ телѣгѣ.

«Я взглянулъ на избу Абдулки: поодаль отъ другихъ, на краю горы, она стояла уединенно; ни души не было видно ни въ ней, ни на дворѣ— хозяева уже уѣхали....

«Немного отдохнувъ, мы снова начали взбираться.

«Это было дѣло нелегкое. Гора была и крута, и высока. Ружье и патронташъ тоже давали себя чувствовать. Наконецъ, то цѣпляясь за кусты, то едва лѣпясь по каменьямъ, обросшимъ скользкимъ мхомъ, мы взобрались на вершину, покрытую лѣсомъ, которая, изгибаясь и извиваясь, тянулась вдаль нескончаемо. Я усталъ жестоко. Хотѣлъ-было броситься на траву, но она была вся мокра отъ росы. Къ-счастію, я увидѣлъ подъ сосной огромный красный муравейникъ, бросилъ на него платокъ, черезъ минуту сдѣлавшійся влажнымъ, и когда снялъ его, то онъ былъ пропитанъ сильнымъ муравейнымъ спиртомъ, который освѣжилъ меня. До насъ доходилъ похожій на отдаленный говоръ клекотъ тетеревовъ; мы осмотрѣли ружья и разбрелись по горѣ.

«Черезъ часъ или полтора ходьбы я отдѣлился отъ охотниковъ. Сначала мнѣ слышны были вдали ихъ выстрѣлы и оклики; потомъ они становились рѣже, тише, и наконецъ смолкли. Тритонъ мой, отыскивая дичь, бѣжалъ впереди и велъ меня на окраину; онъ началъ искать лѣнивѣе, я тоже усталъ; потому, выбравъ мѣсто, я расположился отдохнуть. Солнце было порядочно высоко и начинало сильно припекать. Кругомъ меня, какъ глазъ окинетъ, все виднѣлись горы да горы. Справа былъ обрывъ, и глухой шумъ рѣки долеталъ изъ него. Утомленный ходьбой, жаромъ и безсонной ночью, я скоро, какъ говорится, забылся. Это былъ не сонъ, а то состояніе полусна и полубдѣнія, когда смутно слышишь еще, что творится кругомъ, а между-тѣмъ всѣ предметы смѣшиваются, сознаніе теряется и дѣйствительное мѣшается съ фантастическимъ.

«Не знаю, долго ли пролежалъ я такъ, какъ вдругъ протяжный, ужасный крикъ поразилъ меня. Это былъ одинокій тонкій крикъ, но въ немъ было столько отчаянія, такой раздирающій душу вопль, что только какая-нибудь необыкновенная катастрофа могла вырвать его изъ человѣческой груди. Я былъ пораженъ этимъ крикомъ и вскочилъ, страшно испуганный. Сердце у меня билось; точно вырваться хотѣло; холодный потъ выступилъ на лицо. Оглядываюсь—никого нѣтъ. У меня уже мелькнула мысль, не во снѣ ли это мнѣ причудилось; но другой

звукъ тоскливо потрясъ меня: мой Тритонъ стоялъ на краю обрыва и, вытянувъ морду, ощетинившись, протяжно завылъ.

«Я бросился къ обрыву, но за камнями и за деревьми ничего нельзя было видѣть. Не знаю, какая-то сила влекла меня внизъ. Крутизна была страшная, но, не прійдя еще совершенно въ себя, я, подъ вліяніемъ какого-то невольнаго порыва и волненія, бросился спускаться.

«Я цѣплялся то за кусты, то за расщелины камней, дороги я совсѣмъ не разбиралъ и ставилъ ногу наудачу. Естлибъ я былъ въ спокойномъ состояніи духа, я, конечно, и не подумалъ бы спускаться тамъ, гдѣ спускался. Но теперь я лѣпился съ инстинктомъ дикой козы и долго лѣпился удачно. Наконецъ какой-то камень, за который я держался, оборвался, повлекъ за собой землю и другіе камни, и я полетѣлъ вмѣстѣ съ ними. Къ-счастью, обрывъ тутъ былъ глинистый, не очень крутой, и пересѣкался тропою. Вмѣстѣ съ градомъ камней и земли, исцарапанный, оборванный, я упалъ на нее.

— «Шайтанъ! (бѣсъ) сказалъ кто-то испуганнымъ голосомъ.

«Я очутился въ срединѣ небольшой кучи башкирцевъ, которые раздались при моемъ неожиданномъ паденіи. Прямо предо мной стоялъ кто-то съ лицомъ, позеленѣвшимъ отъ страха и внутренняго потрясенія—съ такимъ лицомъ, про которое говорятъ: «лица на немъ не было.»

«Вглядываюсь—это Абдулъ.

— «Что здѣсь случилось? спросилъ я.

«Сначала мнѣ никто не отвѣчалъ; потомъ какой-то башкирецъ сказалъ, показывая на Абдула:

— «Лошадь его упала.

— «Одна? спросилъ я.

— «Съ женой! глухо отвѣчалъ башкирецъ.

«Меня что-то какъ за сердце схватило... Я чуть не вскрикнулъ.

«Кругомъ всѣ молчали и стояли неподвижно.

— «При васъ? спросилъ я, нѣсколько прійдя въ себя.

— «Нѣтъ. Мы сзади шли, вонъ за поворотомъ были, не видали, отвѣчали башкирцы, поглядывая внизъ.

«Почти отъ того мѣста, гдѣ мы стояли, широкая полоса, проложенная по землѣ тѣломъ, которое скатилось по ней, шла отъ окраины тропы и вдругъ обрывалась. Я подошелъ къ обрыву, сталъ на колѣно, уперся одной рукой въ камень и свѣсился. Уступъ шелъ саженъ двадцать. Голые камни выдавались изъ него; всѣ они были краснаго цвѣта, и никакого слѣда не было видно на нихъ. Внизу, на днѣ ущелья, было темно, и ручей шумѣлъ и пѣнился. Сначала я ничего не могъ разсмотрѣть; потомъ на берегу ручья разглядѣлъ бѣлую лошадь; потомъ... невдалекѣ... страшно вспомнить! что-то окровавленное... Голова у меня закружилась; я едва успѣлъ отскочить, чтобъ не упасть.

— «Всѣ деньги тому, кто первый подастъ ей помощь! сказалъ я, бросивъ бумажникъ башкирцамъ, потому что самъ не въ состояніи былъ идти.

«Они сначала переглянулись, потомъ, кажется, поняли въ чемъ дѣло, и, взявъ деньги, бросились отыскивать спускъ.

«Мы остались вдвоемъ съ Абдуломъ. Лицо его было по-прежнему зелено-блѣдно, но спокойно. Онъ стоялъ, прислонясь къ горѣ, и, нотупивъ голову, смотрѣлъ въ землю. Когда я взглянувъ на его низкоплутовскую и безчувственную физіономію, у меня родилось подозрѣніе... мнѣ припомнилась фигура, которая мелькнула передо мной ночью, и зола, просыпанная на крыльцѣ, съ отпечатавшимся на ней женскимъ слѣдомъ.

«Я пристально смотрѣлъ на Абдула: онъ стоялъ понурясь, съ тѣмъ же тупымъ, безсмысленнымъ выраженіемъ.

— «Абдулъ! сказалъ я.

«Онъ посмотрѣлъ на меня, нисколько не смутясь, и опять потупился.

— «Какъ упала жена?

— «Я впередъ шелъ, сказалъ онъ:—остановился подпругу подтянуть; а она хотѣла впередъ идти, —лошадь оборвалась.

— «Ты не толкнулъ лошади? спросилъ я, пристально смотря на него.

«Вопросъ не оскорбилъ его нисколько.

— «Зачѣмъ толкать! отвѣчалъ онъ равнодушно:—лошадь сорокъ рублей стоитъ.

«Послѣ этого отвѣта я понялъ, что мои бездоказательныя подозрѣнія ни къ чему не поведутъ. Ясно, что Абдулъ или не виноватъ, или такой плутъ, что словами не поймаешь его. Я больше не разспрашивалъ, а снова сталъ на колѣно и свѣсился надъ обрывомъ.

«Тутъ мнѣ пришла мысль, что если Абдулъ столкнулъ жену изъ ревности, то ему нѣтъ ничего легче въ настоящую минуту, какъ столкнуть и меня; и я невольно обернулся.

«Абдулъ смотрѣлъ на меня; но взглядъ его попрежнему былъ безчувственно-тупъ.

«Въ это время я услыхалъ въ ущельѣ голосъ одного изъ башкирцевъ; ему удалось спуститься. Дыханье замерло у меня отъ волненія; я приросъ глазами къ мѣсту, гдѣ лежала Изикей; я ждалъ, не спаслась ли она какимъ-нибудь чудомъ...

«Башкирецъ проходилъ мимо разбитой лошади, толкнулъ ее ногою, прошелъ еще нѣсколько шаговъ, нагнулся, приподнялъ что-то окровавленное, потомъ взглянулъ на меня вверхъ и махнулъ рукою... Черезъ часъ я скакалъ домой, и горы были далеко позади меня...»

Пріятель мой замолчалъ. Онъ былъ блѣденъ и нѣсколько минутъ оставался неподвиженъ, какъ-будто еще не могъ освободиться отъ пробужденнаго тяжкаго воспоминанья; потомъ всталъ, молча поклонился и вышелъ.

Мы остались вдвоемъ съ хозяйкой дома, и тогда только я подсмотрѣлъ, какое впечатлѣніе произвелъ на нее разсказъ. Катерина Петровна, прижавшись

въ уголъ дивана, провожала глазами Локтева. Въ этомъ взглядѣ было много теплаго участія и сочувствія... Потомъ, Катерина Петровна, блѣдная, интересная, осталась въ какомъ-то раздумьѣ, какъ-будто мысль ея блуждала еще въ дальнихъ горахъ Башкиріи, посреди той живописной мѣстности, куда перенесъ насъ разсказъ Локтева. Я позавидовалъ ему и ничего не придумалъ лучшаго, какъ послѣдовать его примѣру—раскланяться.

Признаюсь, и на меня произвело впечатлѣніе слышанное мною происшествіе. Чтобъ изгладить его, я пошелъ въ клубъ и сталъ играть въ карты; но, сдѣлавъ въ три робера четыре ренонса, къ неописанному негодованію партнёровъ, изъ которыхъ одинъ даже такъ разсердился, что назвалъ меня поэтомъ, я долженъ былъ и отъ картъ отказаться.

Послѣ этого мнѣ оставалось только одно—идти домой и лечь спать, что̀ я сдѣлалъ неотлагательно. Но и тутъ все мнѣ снилась бѣдная лачужка, бѣдная башкирка, которая тянетъ въ ней тяжелую, трудную жизнь, припоминая то счастливое время, когда она была на свободѣ; потомъ видѣлось мнѣ, какъ башкиръ тихо, тихо подстерегалъ Изикэй и сыпалъ золу, чтобъ подстеречь слѣды ея. Видѣлось мнѣ еще, какъ ѣхали они верхами, трудно поднимаясь въ гору по узкой тропинкѣ, какъ мужъ остановилъ свою маленькую уродливую лошадь, сказалъ женѣ, чтобъ она ѣхала впередъ и, когда она, бѣдная, поравнялась съ нимъ, вдругъ злобой и ревностью исказились черты его обыкновенно бездушнаго лица; онъ толкнулъ лошадь, и съ дикимъ воплемъ ринулась несчастная Изикэй въ бездонную пропасть... Но тутъ вдругъ, налету, какимъ-то страшнымъ, но въ то же время для меня очень понятнымъ образомъ, Изикэй превратилась въ трефовую даму, ту самую трефовую даму, которая неизвѣстно куда запряталась между картъ, когда я долженъ былъ перекрыть ею валета; я хочу схватить ее — не могу: она улетѣла, а я снова сдѣлалъ ренонсъ, и партнёръ снова назвалъ меня поэтомъ...

Бѣда имѣть впечатлительную натуру!

—

По соображенію догадливаго читателя, тутъ бы, вѣроятно, слѣдовало закончиться этому правдоподобному повѣствованію. Я соглашаюсь съ читателемъ тѣмъ охотнѣе, что, мѣсяцъ назадъ, былъ самъ рѣшительно того же мнѣнія. Но, по странному стеченію обстоятельствъ, мой очень круглo законченный разсказъ получилъ совершенно неожиданное приращеніе. А случилось это слѣдующимъ образомъ.

Надобно вамъ сказать, что вскорѣ послѣ вечера, проведеннаго у Катерины Петровны, я получилъ назначеніе въ Петербургъ. Локтевъ въ ту пору куда-то уѣзжалъ, и я, непростясь съ нимъ, оставилъ губернскій городъ.

Разъ какъ-то, и не очень давно еще, полѣнившись съ Невскаго ѣхать обѣдать домой, я зашелъ къ Дюссо̀, и усѣлся въ той маленькой комнатѣ, устроенной между двухъ стѣнъ, окна и двери, въ которой двумъ хорошо поѣвшимъ человѣкамъ было бы тѣсно. Уже касимовскій татаринъ въ черномъ фракѣ, съ завитыми волосами и салфеткой въ рукѣ, спрашивалъ меня, предпочитаю ли я супъ «потофе» супу «бранвасъ», и тѣмъ повергъ меня въ величайшее затрудненіе; уже я, по склонности всякаго человѣка къ таинственному, начиналъ склоняться на сторону бранваса, котораго личность рѣшительно мнѣ не была знакома, какъ вдругъ за дверьми слышу голосъ:

— Занята?

— Занята-съ, отвѣчалъ другой татаринъ.

Голосъ мнѣ показался знакомъ; я выглянулъ изъ комнаты.

— Ва! Локтевъ!

— Какими судьбами?

— Давно ли?

И тому подобное.

— Вы одни здѣсь? спросилъ я его.

— Одинъ. А вы?

— Тоже. Слѣдовательно мы обѣдаемъ вмѣстѣ.

Поставили еще приборъ, и маленькая комната была полна.

Къ чести кулинарнаго искусства Дюссо, говоря высшимъ слогомъ, и къ чести нашего аппетита, должно признаться, что мы сначала болѣе бесѣдовали съ вареными и жареными произведеніями природы, нежели другъ съ другомъ.

Но, удовлетворивъ себя пищею физической, мы обратились къ духовной.

— Скажите, пожалуйста, спросилъ меня Локтевъ, наливая себѣ кофе:—какъ это сдѣлалось, что вы такъ скоро уѣхали тогда? Я отлучался на недѣлю; возвращаюсь, спрашиваю о васъ въ домѣ—ужь и слѣдъ простылъ.

— Я очень торопился выѣхать, отвѣчалъ я.

— Что̀ жь? развѣ вамъ не нравился нашъ городъ?

— Напротивъ, добрый, славный городъ!

— Да. Такъ у васъ здѣсь были дѣла?

— Особенно экстренныхъ не было. Я спѣшилъ собственно уѣхать изъ вашего города.

— Да вѣдь вы сами же отзываетесь о немъ очень хорошо.

— Вотъ въ этомъ-то и дѣло. Я очень люблю губернскіе города, но не надолго: всѣ они хлѣбосольны, гостепріимны и сначала довольно веселы. Пока въ нихъ обживешься, знакомишься, встрѣчаешь лица, которыя интересуютъ—они очень хороши. Но въ одно сумрачное утро проснешься, подумаешь, какъ бы провести день—и хандра невыносимая нападетъ на васъ. Всѣ лица вамъ знакомы до того, что вы ихъ наизусть знаете; всѣ сплетни и источники сплетень вы сами можете разсказать про весь городъ; всѣ дома, прислуга, лошади—все, что̀ имѣетъ какую-нибудь собственную физіономію, все это до того врѣзывается въ вашу память, что стоитъ только закрыть глаза,—

какъ любое семейство съ чадами и домочадцами такъ и пройдетъ передъ носомъ. Сегодня тоже, завтра будетъ тоже, и послѣ-завтра непремѣнно будетъ тоже... Вотъ отчего я такъ скоро и уѣхалъ.

— Это справедливо, пока живешь въ городѣ, отвѣчалъ Локтевъ:—но уѣзжать изъ него я люблю медленно. Есть наслажденіе встрѣчаться съ нѣкоторыми добрыми знакомыми и думать: «эту физіономію, которая надоѣдаетъ мнѣ каждый день, —скоро, наконецъ, я перестану видѣть».

— Да! А съ другой стороны есть и такія, на которыхъ хочется насмотрѣться. Кстати, что Катерина Петровна?

— Гм... да—ничего! отвѣчалъ Локтевъ.

— Я ее тоже не видалъ передъ отъѣздомъ, продолжалъ я: — больна была. Именно, не видалъ ее съ того вечера, когда мы были вмѣстѣ и вы разсказывали....

Но тутъ я остановился, хотя немного поздно. Мнѣ стало совѣстно, что я нечаянно затронулъ воспоминаніе, грустное для моего пріятеля, и неосторожнымъ словомъ разрушилъ все спокойное довольство, которое нисходитъ на человѣка послѣ хорошаго обѣда, да еще, пожалуй, помѣшалъ и пищеваренію.

Однакожъ, къ моему крайнему удивленію, пріятель мой встрѣтилъ грустное воспоминаніе очень равнодушно и даже хуже этого. Онъ улыбнулся, какъ мнѣ показалось, очень самодовольно, и сказалъ:

— Да, помню.

Я посмотрѣлъ на него не безъ удивленія, и въ благообразномъ лицѣ его едва не отыскалъ чего-то мефистофелевскаго.

— Что вы такъ на меня посматриваете? спросилъ Локтевъ, продолжая улыбаться.

— Признаюсь, отвѣчалъ я:—я думалъ, что воспоминаніе, которое я неосторожно потревожилъ, произведетъ на васъ совсѣмъ другое впечатлѣніе...

Тутъ мой пріятель просто расхохотался.

— Вы можете, не упрекая себя, тревожить это воспоминаніе, сказалъ онъ:—оно не опечалитъ меня.

— Но согласитесь, однакожъ, замѣтилъ я съ нѣкоторою самостоятельностью: — что оно вовсе не изъ веселыхъ?

— Да, еслибъ только не было мною выдумано, отвѣчалъ Локтевъ.

— Какъ? Изикэй совершенно несуществуетъ и не существовала?

— Нѣтъ, это опять несовсѣмъ справедливо. Есть тамъ около насъ какая-то Изикэй; я думаю, она и теперь здравствуетъ.

— Но подробности, которыхъ вы не жалѣли?...

— Да вѣдь вы знаете очень хорошо, что подробностями только и можно придать вѣроятіе...

— Надо вамъ отдать справедливость: вы красно выдумываете. И притомъ же, отвѣчалъ я, нѣсколько обиженный обманомъ, въ который такъ легко вдался:—привыкнувъ вамъ вѣрить, я не могъ сомнѣваться въ справедливости разсказа.

— Вотъ ужъ вы меня считаете чуть не за лжеца! А скажите по правдѣ, случилось ли хоть одно происшествіе, которое вы разсказали печатно?

— Это дѣло другое, возразилъ я.—На то мы и сочинители, чтобъ всѣ знали, что мы разсказываемъ, чего не было. Для этого-то все и печатается. Ктожь вѣритъ печатному?

— Отчего же, если допускается разсказывать небывалыя вещи печатно тысячамъ читателей, не разсказать ихъ двумъ-тремъ слушателямъ? Согласитесь, что это еще болѣе имѣетъ достоинства, какъ импровизація.

— Положимъ и такъ, сказалъ я: — но отчего же въ такомъ случаѣ не выдать выдуманнаго за выдуманное, а называть истиннымъ происшествіемъ?

— Скажите, пожалуйста, вы для чего пишете? спросилъ меня Локтевъ совершенно неожиданно.

— Для того... для того...

Признаюсь, вопросъ этотъ меня совершенно смутилъ, потому-что я до сихъ-поръ хорошенько не понимаю, для чего всѣ мы пишемъ пустые разсказцы.

— Для того, чтобъ произвесть впечатлѣніе на читателей, продолжалъ за меня Локтевъ.—А какого же вы можете ожидать впечатлѣнія отъ разсказа, когда въ началѣ объявите, что въ немъ не будетъ ни слова правды?

— Однакожъ, съ какой же цѣлью вамъ вздумалось тогда насъ морочить.

— Вы не оскорбитесь, конечно, улыбаясь продолжалъ Локтевъ: — если я скажу, что собственно на васъ я не разсчитывалъ. Но.... впрочемъ, это дѣло прошлое, и вамъ я могу его открыть. Видите ли, есть странныя женщины: для нихъ все, что существуетъ въ порядкѣ вещей, все, что естественно, просто, не производитъ никакого впечатлѣнія. Явись къ нимъ въ гостиную Манфредъ, Фаустъ, пожалуй хоть Донъ-Жуанъ, да будь на немъ фракъ такой же, какъ на насъ грѣшныхъ, онѣ и не обратятъ на него вниманія, если молва не наговоритъ о немъ чего-нибудь чудеснаго или особеннаго. Такихъ женщинъ у насъ, особенно въ провинціи, очень много. Имъ все героевъ подавай, да еще героевъ, у которыхъ бы на лицѣ было написано, что герой, да чтобъ у него и походка-то была геройская. Между нами сказать, Катерина Петровна отчасти въ этомъ родѣ; а какъ я въ то время немножко за ней ухаживалъ, а геройствъ особенныхъ за мной не водилось, то очень естественно, что я, намѣреваясь воспользоваться ея слабой стороной, вздумалъ самъ произвести себя въ герои... Однакожъ, я заговорился, а мнѣ пора въ оперу, прибавилъ Локтевъ, посмотрѣвъ на часы и торопливо вставая.

— Постойте, постойте! сказалъ я, останавливая его въ дверяхъ.—Ну, что же? а успѣхъ-то былъ?

— О, конечно, нѣтъ! отвѣчалъ Локтевъ.

Но я вамъ сказалъ уже, что пріятель мой былъ порядочный человѣкъ.

ДЕРЕВЕНСКІЙ ВИЗИТЪ.

(АНЕКДОТЪ).

Была та пора зимы, когда русское солнце поворачиваетъ на лѣто и, вслѣдствіе того, начинаются трескучіе морозы. Часу въ двѣнадцатомъ утра яснаго и холоднаго, по узкому и волнистому, отъ ухабовъ, проселку бойко неслась повозка, запряженная тройкою гусемъ. Въ воздухѣ стояла неподвижная тишина, спасительная, въ двадцать градусовъ мороза. Солнце поднялось высоко, но оно вовсе не грѣло, какъ-будто это было совсѣмъ не его занятіе, а только искрилось и играло на снѣгу, а еще выряднлось, хотя и было далеко до святокъ, въ какой-то странный нарядъ, который въ простонародьѣ называется ушами.

Раскрывавшійся видъ не былъ особенно разнообразенъ. Спереди, на сколько глазъ охватитъ, все виднѣлся снѣгъ; сзади, ровно на столько же, опять виднѣлся снѣгъ. Только справа стоялъ вдали, голый, перепутавшійся сучьями лѣсъ, да по направленію проселка, и то какъ-будто для того, что надо же ему наконецъ куда-нибудь да выйдти, снѣгъ былъ приподнятъ и изъ-подъ его бѣлой и блестящей коры выглядывали на солнышко, какъ черныя кучи, тёмныя, окутанныя соломой избушки.

Взглянувъ на этотъ зимній видъ, на эти безграничныя снѣжныя, недвижно-изогнутыя поля, на этотъ хмурый, вялый лѣсъ, который стоитъ насупясь и нешелохнувшись подъ насѣвшими на него иглами инея; на эту одинокую деревушку, полузанесенную снѣгомъ; взглянувъ на весь этотъ видъ, въ которомъ только и было живаго, что черные тетерева да вороны, каркавшія изрѣдка, словно замерзшія кочки на самой вершинѣ какого-нибудь высокаго дерева; на весь этотъ видъ въ неподвижномъ холодномъ воздухѣ,—такъ и кажется, что вся природа, словно медвѣдь въ берлогѣ, заснула зимнимъ сномъ на шесть мѣсяцевъ и стоитъ въ дремотѣ нешелохнувшись, терпѣливо выжидая перваго теплаго вѣтерка, чтобъ зашевелиться подъ тяжелымъ слоемъ снѣга и выглянуть изъ-подъ него тощей и исхудалой на весеннее солнышко. Но до этого солнышка было еще далеко, очень-далеко, и потому вся природа, закутавшись въ бѣлое одѣяло *отъ трескучаго* мороза, казалось, боялась пошевельнуться подъ нимъ, и странно было видѣть среди этого мертвеннаго затишья, какъ повозка, о которой было уже упомянуто, словно фрегатъ по волнамъ, очень-бойко ныряла по ухабамъ, кренилась то на тотъ, то на другой бокъ, и представляла нѣчто весьма-оживленно двигавшееся. Двигалась эта повозка сначала усердіемъ бураго жеребца, впряженнаго въ длинныя постромки, потомъ гнѣдаго мерина, задумчиво глядѣвшаго ему въ хвостъ, и, наконецъ, рыжей кобылы, сѣменившей между вязовыхъ оглобель подъ здоровой дугой, но еще болѣе, полагаю, двигалась она усердіемъ двухсаженнаго веревочнаго кнута, ползавшаго вдоль повозки и имѣвшаго удобство досягать тоненькимъ кончикомъ до самыхъ отдаленныхъ и нѣжныхъ частей передоваго бураго жеребца и, полагаю это на томъ основаніи, что вся тройка съ мохнатой приподнявшейся и заиндѣвѣвшей шерстью, головастая и пузатая, видимо принадлежала къ той добропѣзжей породѣ лошадей, которая возитъ по тридцати верстъ безъ устали, но любитъ кнутъ досыта.

На козлахъ повозки сидѣлъ приземистый и дюжій кучеръ, вооруженный кнутомъ и шестью веревочными возжами. Лицо его, какъ-будто нарочно на случай мороза, спасительно поросло сплошной бородой и усами, сквозь которые на встрѣчу снѣжной пыли, зорко и немигнувъ, смотрѣли бойкіе глаза, опушенные замерзшими рѣсницами. Не столь успокоительный видъ представлялъ сидѣвшій къ нему бокомъ лакей, явно предназначенный для комнатной услуги и въ этомъ качествѣ лишенный натуральныхъ, предохранительныхъ отъ холода, принадлежностей. Онъ былъ одѣтъ въ суконную лѣтнюю шинель поверхъ дубленаго тулупа; сгорбленная посадка его фигуры, съ протянутыми неподвижно вдоль боковъ руками, съ которыхъ свѣсились длинные рукава, изображала личность, сосредоточившуюся до послѣдней степени подъ бараній тулупъ и затѣмъ, съ неподвижной покорностью, отдавшуюся на злобу и ухищреніе мороза. Все его поползновеніе къ самосохраненію ограничивалось тѣмъ, что когда снѣжная пыль изъ-подъ лошадей и встрѣчный холодъ слишкомъ пробиралъ

его, то онъ поворачивалъ въ сторону красное съ багровыми пятнами, голое лицо, сильно отдувался и крякалъ.

Затѣмъ въ глубинѣ самой внутренности повозки, на подушкахъ, въ ситцевыхъ наволочкахъ, сидѣла медвѣжья шуба, въ бобровой шапкѣ, изъ-подъ которой проглядывалъ солидный человѣческій носъ.

Доморощенная тройка, кучеръ съ лакеемъ и носъ принадлежали Петру Егоровичу Хрулеву.

Петръ Егоровичъ служилъ прежде въ гражданской службѣ, въ Петербургѣ, потомъ переѣхалъ въ свою губернію, былъ выбранъ въ предсѣдатели палаты, но, отбывъ два трехлѣтія, незадолго до новой баллотировки, вслѣдствіе какихъ-то неопредѣленныхъ предчувствій, вышелъ въ отставку съ чиномъ статскаго совѣтника и сдѣлался агрономомъ. Петръ Егоровичъ былъ высокаго роста, худощавъ, холостъ, имѣлъ домоправительницу и продолговатое сухое лицо, съ длиннымъ прямымъ носомъ, тонкимъ сверху, но къ-низу расположеннымъ на широкомъ основаніи. Ходилъ онъ всегда въ сѣромъ сюртукѣ, медленно, степенно и нюхалъ изъ золотой табакерки очень-много табаку, вслѣдствіе чего былъ вынужденъ имѣть при себѣ всегда три носовыхъ платка. Выражался Петръ Егоровичъ обдуманно, разсуждалъ солидно, говорилъ плавно и только изрѣдка между словъ позволялъ себѣ немного помычать. Отъ природы онъ былъ нѣсколько туповатъ, но подъ его солидной наружностью, этотъ маленькій недостатокъ отнюдь не былъ замѣтенъ. Къ высшимъ онъ былъ съ достоинствомъ почтителенъ, къ низшимъ снисходительно-благосклоненъ. За то половина сосѣдей его любила, друга—уважала. Дворня Петра Егоровича положительно называла его генераломъ, но мелкопомѣстные, говоря съ нимъ, позволяли себѣ, и то, какъ-будто мимоходомъ, вставлять какое-то неопредѣленное названіе: вашество.

Но куда это ѣхалъ Петръ Егоровичъ въ будничный день, въ рождественскій постъ и въ трескучій морозъ?

Вотъ проселокъ, извиваясь, ужомъ перевалившается помимо воротъ чрезъ занесенную снѣгомъ околицу и вбѣгаетъ въ деревню. Петръ Егоровичъ въѣхалъ въ эту деревню. Посреди нея, внутри широкаго двора, стоялъ большой деревянный домъ съ мезониномъ. Домъ и деревня принадлежали тремъ незамужнимъ дѣвицамъ-сестрамъ, имѣвшимъ до двухсотъ душъ и до полутораста лѣтъ въ общей сложности, которыя занимались хозяйствомъ, ѣздили сами на ярмарку продавать ободья и мочало, и были извѣстны подъ общимъ именемъ тугаевскихъ барышень.

Поравнявшись съ воротами барскаго дома, кучеръ Ѳаддей сильно задергалъ длиннѣйшей лѣвой вожжей; вслѣдствіе этого бурый передовой, сбоченивъ голову тоже налѣво, по странной прихоти, поворотилъ направо, и за нимъ вся тройка влетѣла на дворъ и направилась къ подъѣзду.

— Куда ты? Экой ты дуракъ, брратецъ ты мой! послышалось изъ повозки.

Но тройка, поощряемая кнутомъ, который то развертывался во всю длину и досягалъ до заднихъ оконечностей бураго, то сжимался и ложился кончикомъ на крестецъ рыжей коренной, промчалась мимо подъѣзда и, къ крайнему удивленію тугаевскихъ барышень, показавшихся у оконъ, сдѣлала вольтъ на дворѣ и вынеслась на улицу.

Еще тугаевскія барышни не успѣли прійдти въ себя и, въ крайнемъ изумленіи, не знали—чему приписать такой пассажъ со стороны почтеннаго Петра Егоровича; еще онѣ, подойдя къ окну, долго толковали и объясняли себѣ, что̀ бы такое это могло значить, а уже повозка мчалась въ концѣ деревни, гдѣ бурый, какъ-будто сочувствуя тайнымъ мечтаніямъ коченѣвшаго лакея, вздумалъ-было повернуть къ кабачку, но кучеръ Ѳаддей такъ страшно закричалъ: «у-у-у разбойники!», что бурый какъ сумасшедшій бросился въ противоположную сторону, едва не завязилъ всю повозку въ сугробѣ, но, заметавъ ее и сидѣвшихъ въ ней изрядным количествомъ снѣга, который, впрочемъ, лакей Гаврило и не подумалъ стряхнуть съ себя, а только отдулся,—тройка вынесла опять на проселокъ, перелетѣла снова мимо занесенныхъ воротъ черезъ околицу и, погрузясь вся точно въ разверзтую хлябь морскую, въ исполинскій ухабъ, причемъ повозка на нѣсколько мгновеній совершенно какъ-будто исчезла съ дороги, показалась на верхнемъ хребтѣ ухаба и помчалась далѣе.

Куда, однакожъ, ѣхалъ Петръ Егоровичъ?

Петръ Егоровичъ всталъ въ это утро въ очень-хорошемъ и спокойномъ расположеніи духа, выпилъ двѣ большія чашки чаю, закурилъ сигару и началъ думать:—по̀утру Петръ Егоровичъ всегда имѣлъ обыкновеніе думать. Извѣстно, что мы трудно владѣемъ своими мыслями, и никакъ не можемъ утвердительно сказать, что̀ намъ придетъ на умъ черезъ минуту. Мы знаемъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что первая мысль Петра Егоровича, когда онъ усѣлся у окна, была о томъ, что видѣлъ онъ въ Петербургѣ машинку, сдѣланную въ видѣ пальмовой руки съ ногтями, которою очень-удобно чесать спину, и что надо бы ему пріобрѣсть эту машинку; потомъ ему пришло въ голову, что хорошо бы было получить какимъ-нибудь способомъ персидскій орденъ съ брильянтовыми украшеніями, и, надобно сказать правду, эта вторая мысль заняла его гораздо-пріятнѣе, и, не разъ даже вообразивъ себѣ, что онъ ужь владѣетъ этими знаками, онъ улыбнулся такой улыбкой, въ которой, какъ выражаются французы, ротъ хочетъ сказать ушамъ, что носъ дотрогивается до подбородка; но послѣ этой улыбки Петръ Егоровичъ поспѣшилъ прійдти въ себя, и торопливо и шибко понюхалъ табаку. Далѣе ужь мы теряемся въ лабиринтѣ думъ Петра Егоровича, и никакъ не беремся рѣшить,—какимъ логическимъ порядкомъ, послѣ машинки для чесанія спины и персидскаго ордена, ему вдругъ при-

шло въ голову, что онъ ужасно-давно не былъ у Ивана Игнатьевича Гуськова, и что ему необходимо сегодня же побывать у него. Справедливость требуетъ замѣтить, что дѣйствительно Петръ Егоровичъ давненько не былъ у Ивана Игнатьевича, и именно съ прошедшей зимы; несправедливо было бы умолчать и о томъ, что не разъ онъ думалъ, что пора бы къ нему съѣздить, а иначе жена Ивана Игнатьевича будетъ въ сильной претензіи, но никогда необходимость визита не представлялась ему въ такой поразительной силѣ и никогда онъ не представлялъ ее себѣ въ такомъ пріятномъ свѣтѣ. Ему казалось, что это еще ничего, что онъ съ годъ не былъ у Ивана Игнатьевича, но что если онъ сегодня не поѣдетъ къ нему, то все будетъ кончено! завтра ужь будетъ невозвратно поздно. Потомъ игривое воображеніе нарисовало ему очаровательную картину свиданія съ милой и гостепріимной хозяйкой послѣ долгой разлуки, да кстати онъ вспомнилъ, что еще ни слова не говорилъ Ивану Игнатьевичу о свиданіи съ начальникомъ губерніи, и о томъ, какъ начальникъ былъ съ нимъ благосклоненъ. Вслѣдствіе этого Петръ Егоровичъ поспѣшно велѣлъ запрягать лошадей, торопилъ прислугу и съ безпокойствомъ нюхалъ табакъ до-тѣхъ-поръ, пока извѣстная намъ кибитка тройкой не была подана къ крыльцу. Въ дѣсять часовъ безъ пяти минутъ Петръ Егоровичъ сѣлъ въ повозку и завернулся въ медвѣжью шубу. Лакей Гаврило взмостился на козла, хлопнулъ раза два руками, вытянулъ ихъ и принялся коченѣть. Оаддей тронулъ возжами и повозка двинулась.

Теперь мы знаемъ, куда ѣхалъ Петръ Егоровичъ.

Сосѣдъ Петра Егоровича, Иванъ Игнатьевичъ, жилъ отъ него верстахъ въ двадцати съ хвостикомъ; онъ былъ невысокаго роста, кругловатъ и толстенекъ. Характеръ имѣлъ веселый, лице красненькое съ пятнышками. Спеціальность его состояла въ томъ, что въ тридцать градусовъ жара или въ тридцать холода ему все было жарко, да еще когда ему случалось встрѣчать здоровую дѣвку или бабу, неизвѣстно почему, онъ всегда улыбался. Въ этомъ случаѣ онъ дѣлалъ исключеніе только для своей супруги, которая хотя и была развита наподобіе извѣстной по народнымъ картинамъ греческой красавицы Бобелины, которую рисуютъ неосторожно наступившей одной ногой на весь турецкій флотъ, но неизвѣстно, почему Иванъ Игнатьевичъ, на другой же годъ послѣ свадьбы, пересталъ ей улыбаться. Прасковья Семеновна была высокаго роста, полная и благообразная лицомъ, широка въ плечахъ, впрочемъ столько же широка и въ остальныхъ частяхъ. Но характеръ ея не пользовался той ровностью, которая замѣчалась въ ея физическомъ развитіи. Вообще она была женщина предобрая, любила хорошо принять гостя и подчивала такъ усердно и настойчиво, какъ-будто положила себѣ за правило испортить своему гостю желудокъ; а если это случалось, то любила и полечить домашними средствами. Но было съ ней иногда, что не той ногой съ постели встанетъ, или просто ужь такой часъ, что-ль, на нее находилъ, только въ это время характеръ ея значительно измѣнялся, и тогда надо было подступать къ ней осторожно, потому-что любила она тогда покричать и кричала громко, выражалась энергично и ѣдко, и была иногда, по выраженію ея горничной, даже дерзка на руку. Въ это дурное расположеніе духа своей супруги, Иванъ Игнатьевичъ лѣтомъ имѣлъ обыкновеніе на цѣлый день уѣзжать въ поле или на охоту, а зимой ложиться въ кабинетѣ на кушетку и спать: вслѣдствіе этого Ивану Игнатьевичу въ иную зиму приходилось спать не меньше суслика.

Часовъ около двѣнадцати утра, когда комнатный мальчикъ Ивана Игнатьевича, въ казакинѣ верблюжьяго сукна, началъ разстилать скатерть сонительной бѣлизны на столъ, въ воротахъ дома показалась вздернутая морда бураго, и знакомая намъ повозка остановилась у подъѣзда. Мальчикъ, оставивъ скатерть, бросился-было въ гостиную, но вскорѣ вылетѣлъ оттуда какъ пуля, и скрылся въ кабинетѣ Ивана Игнатьевича. Въ кабинетѣ долго слышалось какое-то мычанье, потомъ можно было разобрать торопливые вопросы, сдѣланные испуганнымъ голосомъ: А кто? зачѣмъ? потомъ все торжественно стихло.

Когда Петръ Егоровичъ, скинувъ шубу, шарфъ и теплые сапоги, причесавъ волосы карманной щеточкой съ зеркальцомъ и поправивъ передъ нимъ станиславскую ленту на галстухѣ, вошелъ въ залу, его встрѣтилъ Иванъ Игнатьевичъ съ пунцовой, въ рубцахъ, правой щекой, которую онъ имѣлъ неосторожность перележать во снѣ. Неизвѣстно, почему этотъ пред-утренній сонъ произвелъ на Петра Егоровича несовсѣмъ-пріятное впечатлѣніе.

При видѣ гостя, Иванъ Игнатьевичъ такъ улыбнулся, какъ-будто предъ нимъ стояла какая-нибудь здоровенная, краснощекая и наливная какъ крымское яблоко Акулина. Помявъ, нѣкоторое время, съ чувствомъ другъ другу руки, Иванъ Игнатьевичъ попросилъ Петра Егоровича въ кабинетъ и въ дверяхъ почтительно пропустилъ его впередъ, затворивъ за собой дверь кабинета.

Въ угольной комнатѣ, за рабочимъ столикомъ, сидѣла Прасковья Семеновна, передъ ней лежало какое-то вязанье, въ которомъ длинная спица только-что поддѣла у своей противницы петлю, но, не успѣвъ вывернуться, была брошена на столъ въ моментъ самой оживленной дѣятельности. Полное, бѣлое и румяное лицо Прасковьи Семеновны трепетало отъ сильнаго внутренняго волненія: черные глаза искрились и были гнѣвно и вопросительно устремлены на сидѣвшую передъ ней собесѣдницу. Собесѣдница эта, двоюродная сестра Ивана Игнатьевича, была дѣва лѣтъ сорока, высокая, сухопарая, имѣвшая назначеніе проживать въ домѣ Ивана Игнатьевича и слушать Прасковью Семеновну, когда ей хотѣлось передъ кѣмъ-нибудь высказаться. Надобно отдать справедливость, что

Клеопатра Степановна понимала свое призваніе и слушала съ большимъ талантомъ.

— Ну, скажите на милость, говорила Прасковья Семеновна, крѣпко сложивъ руки и прижимая ихъ къ груди:—ну, скажите на милость, зачѣмъ онъ пріѣхалъ? (Прасковья Семеновна, нужно замѣтить, говорила Клеопатрѣ Степановнѣ *вы*—только въ особенно-одушевленномъ разговорѣ).

— Да ужь, признаться, я и сама не понимаю, зачѣмъ они пріѣхали, отвѣчала Клеопатра Степановна.

— Да нѣтъ, вы посудите! Вѣдь съ годъ не былъ—и вдругъ пріѣхалъ!

— Да, ужь съ годъ, какъ они не были.

— Ну, добро бы праздникъ былъ, или именины, а то постъ, да еще пятница; ну хоть бы суббота родительская была! воскликнула Прасковья Семеновна, теряя терпѣнье.

— Родительская суббота еще на будущей недѣлѣ будетъ, утвердительно замѣтила Клеопатра Степановна.

— Да вотъ еще: чѣмъ кормить-то его? Вѣдь, чай, скоромное ѣстъ. Позвать Трофима! крикнула Прасковья Семеновна.

— Слышь, Паланька! позови Трофима, сказалъ кто-то, въ другой комнатѣ, повелительнымъ женскимъ голосомъ.

— Аксютка! кликни Трофима къ барынѣ, сказала Паланька вполголоса въ задней комнатѣ.

— Спиридоновна! кликни Трофима къ барынѣ, послышался изъ растворенныхъ сѣнныхъ дверей тоненькій голосъ Аксютки.

— Молода, въ Саксоніи не была, сама сбѣгаешь, едва слышно отвѣчалъ вдали дряблый голосъ; дверь хлопнула и все смолкло.

— Надо, однако, узнать, что онъ ѣстъ, сказала Прасковья Степановна.—Клепинька, вели закуску подать: сыръ, селедку и грибки, а Яшкѣ вели посмотрѣть, что онъ тамъ будетъ закусывать, да тотчасъ же и придти сказать.

Задуманныя съ макіавельской хитростью приказанія Прасковьи Семеновны немедленно были исполнены. Въ то время, когда графинчики съ горькой, сладкой и очищеиной зазвенѣли въ коридорѣ, Трофимъ растворилъ тихо дверь и остановился въ ней.

Поваръ Трофимъ былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, носилъ волосы въ кружокъ, небольшую бородку, былъ смуглъ, имѣлъ мрачный видъ, сальное лицо и таковой же фартухъ. Онъ стоялъ молча; вошла Клеопатра Степановна и сѣла молча; сама Прасковья Семеновна, въ ожиданіи извѣстій изъ кабинета, тоже молчала. И было нѣчто торжественное въ этомъ молчаливомъ ожиданіи.

Наконецъ вбѣжалъ мальчикъ, въ верблюжьемъ казакинѣ.

— Ну что?

— Выпили горькой, да грибковъ закусили, сказалъ онъ, запыхавшись.

— Неужто онъ грибное ѣстъ? Поди-ка, посмотри, еще чего не возьметъ ли?

Мальчикъ вышелъ. Прасковья Семеновна обратилась къ Трофиму.

— Что, сегодня у насъ грибное-то? Щи, каша, котлетки картофельныя, картофель жареный да кисель. Нельзя же его этимъ кормить.

Трофимъ мрачно молчалъ.

— Подбавь грибовъ побольше къ щамъ, да и къ котлетамъ грибовъ прибавь. А пирогъ съ груздями есть?

— Есть, да мука черна, замѣтилъ Трофимъ.

— Ну, дѣлать нечего, не изъ крупичатой печь. Скажу, что была хороша, да выродилась. А къ киселю сдѣлать молова миндальнаго.

Вбѣжалъ Яшка и закричалъ:

— Селедку кушаютъ.

— Ну, вонъ оно! Пошелъ, смотри еще. А ты намъ-то обѣдъ оставь какъ есть; грибы-то нынче кусаются—два съ полтиной фунтъ. Барину что варилъ?

— Уху варилъ изъ ершей.

— Ну и хорошо; только лимону покрошить. Клепинька, много у насъ лимоновъ?

— Парочка только осталась, жалобно отвѣчала Клеопатра Степановна:—до розговѣнья къ чаю не хватитъ.

— Ну, ты немного кроши, одну корочку, для блезиру. Холодное-то — судака свари, этто славнаго судака мельникъ прислалъ. Жаркое—караси?

— Подлещики.

— Ну и подлещики хорошо; а пирожное-то — кисель останется, только молока къ нему миндальнаго.

— Выпили еще горькой, да сыру закусили! запыхавшись, сказалъ вбѣжавшій Яшка.

— Ишь его! не могъ съ сыру начать! закричала взбѣшенная Прасковья Семеновна на Яшку.

Яшка потупился, какъ будто въ самомъ дѣлѣ считалъ себя виноватымъ въ непослѣдовательности Петра Егоровича.

— Накрывай на столъ, да скатерть чистую постели, и Терешка чтобъ къ столу пришелъ. Затѣмъ Прасковья Семеновна съ находчивостью импровизатора продиктовала повару:—въ уху лимону не клади. Супъ съ фаршемъ. Баранью котлетку съ горошкомъ, жаренаго гуся, а пирожное—кисель будетъ, только миндальнаго молока къ нему сдѣлай.

— Да миндалю нѣтъ, замѣтилъ флегматически Трофимъ.—Этто на тугаевскихъ барышень послѣдній вышелъ.

— Такъ что жь сдѣлать? спросила озадаченная хозяйка.

Трофимъ подумалъ, можетъ-быть, нарочно, желая насладиться сознаніемъ собственной силы—кто изъ насъ не самолюбивъ!—потомъ сказалъ съ мрачнымъ снисхожденіемъ:

— Будинъ можно.

— Да! въ-самомъ-дѣлѣ, будинъ!

И рѣшено было сдѣлать пуддингъ.

Но возвратимся въ кабинетъ.

Хотя обѣденный часъ былъ измѣненъ и отсро-

ченъ противъ обыкновеннаго, но, благодаря закускѣ, время не тянулось особенно-медленно ни для ума, ни для желудка Петра Егоровича, равно и Ивана Игнатьевича. Этому еще болѣе способствовала бесѣда сколько пріятная, столько же и поучительная. Разговоръ завязался сначала, какъ водится, о погодѣ; Петръ Егоровичъ, потеревъ руки, замѣтилъ, что холодновато. Иванъ Игнатьевичъ со вздохомъ возразилъ, что онъ объ этомъ предметѣ судить не можетъ, потому-что ему все какъ-будто жарко, и что у градусника его(термометръ), выставленнаго за окно, кто-то сломалъ стеклянную трубку, и хоть онъ привязалъ потомъ ее ниточкой, но большой довѣренности къ ней не имѣетъ, присовокупивъ при этомъ, что виновникъ этого поступка, несмотря на самый тщательный розыскъ — не открытъ. Потомъ поговорили о цѣнѣ на хлѣбъ и оба выразили сожалѣніе, что всеобщій урожай уронилъ цѣны. Далѣе коснулись политики и отдали должную справедливость дѣйствіямъ одного иностраннаго принца, о которомъ узнали изъ «Московскихъ Вѣдомостей»; вслѣдъ за тѣмъ Иванъ Игнатьевичъ, значительно кивнувъ головой, спросилъ: «Правда ли, что затѣвается что-то съ туркомъ?» но Петръ Егоровичъ сильно возразилъ противъ этого слуха и опровергъ его окончательно, замѣтивъ, что онъ недавно видѣлся съ его превосходительствомъ, котораго назвалъ съ умышленной фамильярностью просто Семеномъ Семеновичемъ, и что Семенъ Семеновичъ навѣрно бы сказалъ ему объ этомъ, потому-что всѣмъ извѣстно, какъ онъ *коротокъ* съ Семеномъ Семеновичемъ, и, воспользовавшись этимъ, Петръ Егоровичъ такъ распространился о своей короткости съ Семеномъ Семеновичемъ, что Иванъ Игнатьевичъ имѣлъ случай съ полчаса молчать и стирать покрытое постоянной испариной чело, а Петръ Егоровичъ далеко еще не кончилъ рѣчи объ этомъ интересномъ предметѣ, когда вошедшій Яшка, выглянувъ изъ-за двери, доложилъ, что готово кушать.

Несмотря на этотъ призывъ, Петръ Егоровичъ, привставъ уже съ дивана, имѣлъ еще намѣреніе наскоро досказать какую-то особенную черту своей фамильярности съ Семенъ Семеновичемъ, но въ это время послышался скрипъ некрашеннаго пола подъ знакомою походкой, и въ глубинѣ залы появилась Прасковья Семеновна.

При видѣ ея фигуры, Петръ Егоровичъ почему-то замялся на полсловѣ, а Иванъ Игнатьевичъ, сдѣлавъ поспѣшный жестъ, которымъ указывалъ онъ, неизвѣстно, на столъ или на жену, прибавилъ «не прикажете ли»—и оба поспѣшно вышли.

Вступленіе гостя и хозяина предъ лицо Прасковьи Семеновны сопровождалось совершенно-различными послѣдствіями. Ивану Игнатьевичу сдѣлалось гораздо-жарче обыкновеннаго. Петръ Егоровичъ, напротивъ, почувствовалъ легкій ознобъ съ мурашками. Иванъ Игнатьевичъ, метнувъ на супругу робкій, боковой взглядъ, отправился къ столику, на который была перенесена водка, и, обратясь спиною къ публикѣ, взялъ тихонько рюмку, прижалъ ее чуть не къ груди, налилъ и выпилъ такъ скромно, что стоящая сзади Клеопатра Степановна видѣла только, что братецъ ея откинулъ на мгновеніе назадъ голову и потомъ поспѣшно схватился за кусокъ чернаго хлѣба, чтобъ затушить имъ огонь стоградуснаго элексира. Петръ Егоровичъ, напротивъ, улыбался самымъ пріятнымъ образомъ; нагнулся слегка и, выступая впередъ одной правой ногой, сдѣлалъ нѣсколько очень-ловкихъ глиссадъ по направленію къ Прасковьѣ Семеновнѣ. Но ни робость супруга, втихомолку пробиравшагося отъ водки къ своему обычному мѣсту за столомъ, ни улыбка и глиссады Петра Егоровича не произвели никакого благопріятнаго дѣйствія на Прасковью Семеновну. Она стояла неподвижно; бѣлое лицо ея по наружности было спокойно, и только высокая и полная грудь сильно и часто колыхалась подъ распашнымъ капотомъ, какъ иногда колышется морская волна послѣ стихнувшей бури...

— Прасковья Семеновна, какъ вы изволите быть въ своемъ здоровьѣ? сказалъ вкрадчивымъ голосомъ Петръ Егоровичъ.

— Давненько не имѣли удовольствія васъ видѣть, отвѣчала Прасковья Семеновна, слегка прищурясь и голосомъ нѣсколько-дрожащимъ.

— Да-съ, дѣла были... мм... мм... въ городъ ѣздилъ... Семенъ Семенычъ... мм... желалъ видѣть.

— А чему это сегодня мы обязаны вашимъ присутствіемъ? рѣзко продолжала она, еще болѣе прищурясь.

— Да соскучился по васъ, Прасковья Семеновна, право, соскучился; такъ давно не имѣлъ удовольствія видѣть васъ, что совѣстно, ей-ей совѣстно и мм.... Этакая пріятная погода...

— Холодно? спросила Прасковья Семеновна, быстро поворотивъ голову къ небритому, въ длинномъ сюртукѣ, старому слугѣ Захару.

— Вороны мерзнутъ, мрачно отвѣчалъ Захаръ.

Нѣсколько мгновеній было молчаніе. Прасковья Семеновна подошла къ столу, взялась за разливательную ложку и всѣ усѣлись.

— Вы скоромничаете? спросила Прасковья Семеновна.

— Я все ѣмъ... мм... сдѣлайте одолженіе не безпокойтесь.

— Ухи или супу?

— Ухи, если позволите, отвѣчалъ Петръ Егоровичъ, думая почему-то, что это будетъ пріятнѣе хозяйкѣ.

Но стоявшій за его стуломъ Яшка крайне смутился, полагая, не попритчилось ли ему что Петръ Егоровичъ закусывалъ сыръ; робость Яшки увеличилась еще болѣе, когда Петръ Егоровичъ раздѣлилъ съ Иваномъ Игнатьевичемъ холоднаго судака; не отказался и отъ гречневой каши, предложенной Прасковьей Семеновной, попросивъ только оросить эту кашу ложечкой грибныхъ щей. Но когда Петръ Егоровичъ скромно воткнулъ вилку въ поданную, въ свою очередь, баранью котлету,

бѣдный Яшка отъ души пожелалъ ему аппетита, а Клеопатра Степановна подумала, что слова Петра Егоровича «я ѣмъ все» не были одной риторической фигурой.

Весь обѣдъ, несмотря на обиліе рыбныхъ, грибныхъ и скоромныхъ яствъ, шелъ мрачно. Дурное расположеніе духа Прасковьи Семеновны тяготѣло надъ присутствовавшими. Такъ иногда, въ знойный лѣтній день, воздухъ, насыщенный электричествомъ, тѣснитъ дыханіе; темныя облака заволокутъ небо и спустятся чуть не до земли, всѣ со страхомъ ждутъ грозы, а гроза, неразражаясь, виситъ надъ самой головой....

Попробовалъ было Петръ Егоровичъ завести рѣчь о Констанціи Александровнѣ, супругѣ его превосходительства Семена Семеновича, и вскользь замѣтилъ, что и она къ нему была очень-любезна, но это не имѣло успѣха; тогда онъ даже рѣшился позлословить немножко, и съ этой цѣлью началъ какую-то исторію про извѣстнаго въ губерніи отставнаго князька съ татарской фамиліей, но Прасковья Семеновна вдругъ прервала его неожиданнымъ вопросомъ старому Захару:

— А отчего Терешка не служитъ?

Старикъ замялся и отвѣчалъ:

— Онъ нездоровъ-съ.

— Развѣ нынче праздникъ какой, что онъ нализался? вспыхнувъ спросила Прасковья Семеновна, допуская самое обыкновенное объясненіе болѣзни Терешки.

— Нѣтъ-съ; онъ тверезъ, отрывисто возразилъ Захаръ, видимо нежелая при гостѣ разъяснять домашнія дѣла.

— Такъ что же?

— Ухо ознобилъ, примолвилъ Захаръ.

— Велика важность! Гусинымъ саломъ намазать; а служить все можно, возразила Прасковья Семеновна Захару, и, видимо недовольная скрытностью, посмотрѣла на него пытливымъ окомъ; Захаръ потупился и проговорилъ сквозь зубы:

— Да онъ бокъ спалилъ.

— Это какъ?

— Вчера съ почты возвратился, да и легъ на печь; во снѣ и не слыхалъ, какъ спалилъ.

— Вѣчно они печь накаливаютъ! замѣтила Прасковья Семеновна. — Вели и бокъ гусинымъ саломъ натереть! помолчавъ, отрывисто прибавила она.

И снова все смолкло; гроза все не разразилась. Петръ Егоровичъ безпокойно молчалъ. Иванъ Игнатьевичъ, имѣвшій неудобство сидѣть прямо противъ своей супруги, смотрѣлъ въ тарелку и постоянно очищалъ ее до послѣдняго зернышка. Яшка глядѣлъ, несмигнувъ, въ глаза барынѣ; небритый Захаръ мрачно углублялся въ себя, одна Клеопатра Степановна, какъ мужъ испытанный въ бояхъ, оставалась покойна и, въ ожиданіи жаренаго картофеля, твердой рукою скальпировала подлещика, котораго тонкій скелетъ оставлялся въ пользу одной любимой кошки, а мясистыя частицы, поджаренныя въ постномъ маслѣ, съ трогательной нѣжностью передавала Ивану Игнатьевичу, который и истреблялъ ихъ немедленно.

Наконецъ обѣдъ кончился.

Иванъ Игнатьевичъ, подъ предлогомъ куренія, пригласилъ Петра Егоровича въ кабинетъ. Петръ Егоровичъ, отдавъ, мимоходомъ, приказаніе заложить лошадей, съ удовольствіемъ за нимъ послѣдовалъ. Тамъ закурили гаванскія сигары перваго сорта фабрики г-на Неслинда, которыя если и усвоили себѣ болѣе запахъ капустнаго листа, нежели табаку, — за то носили самое безукоризненное испанское наименованіе.

Время, когда совершается процессъ пищеваренія, особенно послѣ постнаго обѣда, дѣйствуетъ губительно на умственныя способности. Мысль въ эту пору лѣниво засыпаетъ и уступаетъ мѣсто воображенію, которое разъигрываетъ пріятныя варіаціи на подкрѣпленныхъ жизненною силою нервахъ.

Живой примѣръ тому представляла бесѣда Петра Егоровича и Ивана Игнатьевича. Напрасно бы стали въ ней искать того глубокаго здраваго смысла и ясности идей, которыя характеризовали ихъ дообѣденный разговоръ. Освободясь отъ тяжкаго присутствія почтенной хозяйки, куря сигары Regalia cazadores superfine № 1-й и запивая ихъ кофеемъ (къ которому Иванъ Игнатьевичъ соблазнился подлить сливочекъ, строго запретивъ Яшкѣ говорить объ этомъ), гость и хозяинъ чувствовали какую-то лѣниво-пріятную нѣгу; съ спокойной душою они отдались этому ласкающему ощущенію, и разговоръ ихъ, согрѣтый воображеніемъ, началъ принимать тѣ легкія и игривыя ухватки, которыя, разъигравшись, выдѣлываютъ телята, что, какъ извѣстно, предвѣщаетъ дурную погоду. Досказывая прерванный за обѣдомъ разговоръ о Констанціи Александровнѣ, Петръ Егоровичъ замѣтилъ, что она стройностью стана напоминаетъ языческихъ богинь и имѣетъ косу, которой могла бы позавидовать русалка (Петръ Егоровичъ не держался того мнѣнія, что у русалокъ зеленыя косы). Иванъ Игнатьевичъ, при этомъ описаніи красоты, сладко улыбнулся и вдругъ сдѣлалъ Петру Егоровичу слѣдующій странный вопросъ:

— А изволили вы видѣть русалокъ?

Петра Егоровича этотъ вопросъ нѣсколько озадачилъ.

— Мм.... то-есть на картинахъ или въ статуяхъ и въ описаніи поэтовъ, даже на сценѣ извѣстную оперу «Русалку» видѣлъ не однажды, отвѣчалъ онъ.

— Нѣтъ-съ; а въ натурѣ, то-есть дѣйствительно?

— То-есть, какъ же это дѣйствительно? спросилъ съ недоумѣніемъ Петръ Егоровичъ.

— Да вотъ такъ-съ, просто, какъ, напримѣръ, теперь вы меня видите, отвѣчалъ Иванъ Игнатьевичъ.

— Признаюсь, такой отвлеченный предметъ мм... вымыселъ поэтовъ и художниковъ для удовольствія публики, мм... я полагаю, едва ли можно видѣть! замѣтилъ съ нѣкоторой обидчивостью Петръ Егоровичъ.

— А вотъ мнѣ такъ случилось.... скромно сказалъ Иванъ Игнатьевичъ.

— Въ-самомъ-дѣлѣ? съ легкимъ недовѣріемъ спросилъ Петръ Егоровичъ.

— Да-съ; я развѣ вамъ не разсказывалъ?

— Нѣтъ, въ первый разъ слышу. Сдѣлайте одолженіе, разскажите, съ любопытствомъ сказалъ Петръ Егоровичъ.

Иванъ Игнатьевичъ улыбнулся той довольной улыбкой, которая невольно ложится на уста разскащика, когда ему удастся поймать человѣка, ни разу еще неслыхавшаго интересное происшествіе, несмотря на то, что о немъ было передано уже сотнѣ слушателей. Онъ закурилъ новую cazadores superfine, отеръ чело, и началъ:

— Нынѣшнимъ лѣтомъ, когда вы изволили быть въ городѣ, пошелъ я разъ на охоту....

«Знаемъ мы, по какому случаю ты отправляешься на охоту», подумалъ Петръ Егоровичъ, и, вспомнивъ при этомъ о Прасковьѣ Семеновнѣ и ея настоящемъ расположеніи духа, поспѣшилъ изгладить непріятное воспоминаніе крѣпкой понюшкой табаку.

— Вотъ-съ, пошелъ я на охоту, взялъ съ собой лягавую сучку, Макриду — славная такая сучка была, маркловской породы, я ее отъ тугаевскихъ барышень щенкомъ досталъ, да Григорій Никитичъ оттягалъ у меня: отдай-да-отдай, я и отдалъ... А знаете, что̀ съ Григорьемъ Никитичемъ случилось.

— Нѣтъ, не знаю.

— Ѣздилъ этта въ городъ, да кончикъ носа ознобилъ; теперь вотъ ужь съ недѣлю табаку нюхать не можетъ.

— Скажите, какъ это непріятно! замѣтилъ Петръ Егоровичъ.

— Очень, очень-непріятно. Вотъ-съ иду я на охоту, продолжалъ Иванъ Игнатьевичъ:—а день, надо вамъ доложить, былъ такой жаркой, что бѣда! Застрѣлилъ кряловную на Бакалдѣ, отъ дѣтей была, да на Бабьей-Плёсѣ чирка подстрѣлилъ; чирокъ-то упалъ въ воду, и Макридка вытащила, только, подлая, на другой берегъ снесла. Ну, да ничего, я обошелъ. Вотъ-съ, этакъ, время-то уже къ полдню было, пора бы и обѣдать, признаться,— да я обѣдать не пошелъ домой, а у меня съ собой легкая закуска была.

Петръ Егоровичъ опять понюхалъ табаку.

— Присѣлъ я на траву, продолжалъ Иванъ Игнатьевичъ:—закусилъ; Макридкѣ далъ косточку, а солнце такъ и печетъ; потъ съ меня въ три ручья льетъ (Иванъ Игнатьевичъ при этомъ отерся). Думалъ водкой освѣжиться, двѣ рюмки выпилъ: сначала оно какъ-будто и полегче, да нѣтъ, моченьки моей не стало. А, надобно вамъ доложить, было это недалеко отъ Хлыщевскаго-Выселка, надъ рѣкой, вотъ еще гдѣ Прокофій Сазоновичъ лѣсъ сплавляетъ. У него нынче съ купцомъ Ватруги- опять исторія была, да я ее вамъ послѣ жу; потрудитесь напомнить. Вотъ-съ и думаю я: хорошо бы выкуваться. Взялъ, да и пошелъ. Шелъ, шелъ и пришелъ. А на берегу-то тутъ, надо вамъ доложить, все ветла растетъ, а передъ ветлой-то песокъ.

Вотъ-съ я на песочкѣ-то раздѣлся и стою... вѣтерокъ, этакъ, продуваетъ меня, и такъ хорошо мнѣ... хорошо... Постоялъ, постоялъ я немного, продуло меня, и пошелъ къ рѣкѣ, раздвинулъ, этакъ, бережно ветлу, тихонько, этакъ, знаете, чтобъ не оцарапаться, раздвинулъ, да какъ раздвинулъ-съ да такъ и обомлѣлъ....

— Э? недовѣрчиво спросилъ Петръ Егоровичъ.

— Да-съ! Дай Богъ съ мѣста не сойдти, такъ и обомлѣлъ. Представьте вы себѣ, Петръ Егорычъ, что этакъ шагахъ въ двадцати какихъ-нибудь отъ меня, у самаго почти берега.... лежитъ преогромная карша, и на каршѣ-то-съ, на самой-то каршѣ, сидитъ русалка....

— Можетъ ли это быть? робко воскликнулъ Петръ Егоровичъ.

— Пусть лопнутъ мои глаза, своими глазами видѣлъ-съ. Такъ-таки вотъ и сидитъ въ двадцати шагахъ отъ меня, сидитъ, этакъ, голенькая, на каршѣ, да ножкой въ водѣ поигрываетъ, а сама что̀-то напѣваетъ, да такъ сладко, сладко....

— Что̀ жь она пѣла?

— Да ужь сказать вамъ не могу, а русское что-то, словъ-то я и не разобралъ, а ужь такъ сладко! такъ сладко!...

— Ну, а изъ себя-то она какова? съ живѣйшимъ любопытствомъ спросилъ Петръ Егоровичъ.

— А изъ себя-то, какъ-бы вамъ сказать, этакая дѣвка видная, славная этакая; а коса-то такъ-таки вотъ вплоть до карши и свѣсилась....

— Ну-съ, такъ какъ же вы?

— Ну-съ, я вамъ доложу: сначала-то я оробѣлъ, такъ вотъ оробѣлъ, что душа въ пятки ушла, а потомъ, какъ начало отходить, я все и гляжу, глазъ бы моихъ не отвелъ, такъ бы все и глядѣлъ, а она, какъ обернется, этакъ, увидала меня— да въ воду б... б... б... ухъ! сказалъ Иванъ Игнатьевичъ, да вдругъ и остановился съ раскрытымъ ртомъ.

Петръ Егоровичъ оглянулся, въ самыхъ дверяхъ увидѣлъ Прасковью Семеновну.

— Шшшто-то это онъ вамъ разсказываетъ? крѣпко прищурясь, спросила Прасковья Семеновна, сдѣлавъ сильное удареніе на первомъ словѣ.

— Одно мм... странное происшествіе, бывшее съ Иваномъ Игнатьевичемъ, на счетъ мм.... русалки....

— А! Ну, что̀ жь? какъ вы это находите? съ видимымъ любопытствомъ освѣдомилась Прасковья Семеновна. Несмотря на то, что вопросъ этотъ былъ предложенъ, казалось, простодушнѣйшимъ образомъ, Петръ Егоровичъ почему-то заподозрѣлъ таившуюся за нимъ заднюю мысль и пришелъ въ нѣкоторое смущеніе.

— Странное происшествіе! отвѣчалъ онъ нерѣшительно, однакожь, съ наружною увѣренностью.

Конечно, съ одной стороны, трудно допустить, чтобъ, такъ-сказать мм... отвлеченный вымыселъ поэтовъ и художниковъ мм.... въ нынѣшнее время, при бдительномъ надзорѣ земскихъ властей, могъ такъ видимо проявиться. Съ другой стороны, надобно согласиться, что вѣдь эти господа взяли же съ чего-нибудь все это... и свидѣтельство Ивана Игнатьевича...

— А такъ вы вѣрите, что русалки среди бѣла дня въ Хлыщевкѣ купаются? сказала Прасковья Семеновна голосомъ нѣсколько-дрожащимъ, въ которомъ замѣтнѣе пробивалась иронія.

— Нѣтъ-съ, съ одной стороны, мм... говорилъ Петръ Егорычъ, вставая.

— И вамъ хотѣлось бы посмотрѣть, какъ онѣ тамъ купаются? прервала его Прасковья Семеновна, еще болѣе дрожащимъ отъ внутренняго волненія голосомъ.

— Я этого не говорю, но мм... съ другой стороны.... возразилъ нѣсколько-робко Петръ Егоровичъ, потихоньку протягивая одну руку къ фуражкѣ.

— Очень, очень-пріятно, должно-быть, смотрѣть, какъ купаются хлыщевскія дѣвки... продолжала Прасковья Семеновна голосомъ, уже восходящимъ въ верхнія ноты.

— Во всякомъ случаѣ... мм... странно, что земскія власти... мм... Я непремѣнно скажу Семену Семеновичу, перебивалъ довольно-несвязно Петръ Егоровичъ, пробираясь къ двери.

— Да, въ ваши лѣта, говорила Прасковья Семеновна сильнымъ сопрано:—въ ваши лѣта, убѣленныя сѣдинами, это, должно-быть, дѣйствительно, очень, очень-пріятно...

— Свидѣтельствую свое нижайшее почтеніе, съ пріятной улыбкой перебилъ ее Петръ Егорычъ— и проскользнулъ въ прихожую.

Голосъ Прасковьи Семеновны зазвучалъ еще сильнѣе, но Петръ Егоровичъ проговорилъ «прошу не безпокоиться» и поспѣшно притворилъ дверь, въ которую успѣлъ между-тѣмъ пробраться и Иванъ Игнатьевичъ.

— До пріятнаго свиданія, любезнѣйшій Иванъ Игнатьичъ, сказалъ Петръ Егорычъ, надѣвъ медвѣжьи сапоги и наскоро окутавъ шею вязанымъ шарфомъ.

— Очень, очень вамъ благодаренъ, почтеннѣйшій Петръ Егоровичъ, говорилъ Иванъ Игнатьевичъ, провожая гостя на крыльцо.

У подъѣзда стояла знакомая намъ повозка. Петръ Егоровичъ сѣлъ въ нее, полозья заскрипѣли и тройка двинулась. Послѣ отъѣзда гостя, Иванъ Игнатьичъ снялъ галстухъ, разстегнулъ сюртучокъ и съ наслажденіемъ подставилъ обнаженную грудь подъ 20-ти-градусный морозъ; и долго онъ стоялъ такъ на трескучемъ морозѣ, медленно отирая влажное чело и съ видимымъ удовольствіемъ навѣвая на разгорѣвшееся лицо и грудь струю рождественскаго воздуха. Голосъ Прасковьи Семеновны, пройдя по всѣмъ комнатамъ, звучалъ уже какъ отдаленный колокольчикъ въ заднихъ аппартаментахъ, когда Иванъ Игнатьевичъ, нѣсколько прохладившись, пошелъ въ кабинетъ, гдѣ и продолжалъ прерванный сонъ вплоть до слѣдующаго утра.

Между-тѣмъ знакомая намъ тройка неслась ужь далеко за околицей. Полный мѣсяцъ высоко стоялъ на блѣдномъ, ясномъ и сверкавшемъ звѣздами небѣ. Кругомъ повозки, на сколько глазъ охватитъ, виднѣлось чистое, бѣлое поле, холодно блестѣвшее каждой снѣжинкой. Морозный, недвижный воздухъ захватывалъ дыханіе. Въ немъ и въ природѣ была такая тишина и мертвенность, что среди ихъ, казалось, можно было замѣтить, какъ тихо лился блѣдно-желтый свѣтъ луны на снѣжное поле, и въ мерцаніи его на каждой снѣжинкѣ было, словно, что-то двигавшееся. Одинъ только узкій проселокъ лежалъ, извиваясь темной и взъерошенной полосою, и по немъ, вздымая искрящуюся пыль, бодро скакалъ, низко нагнувъ морду, передовой бурый. Гнѣдой меринъ подскакивалъ за нимъ въ веревочныхъ постромкахъ, непредставляя своей личностью никакого опредѣленнаго характера; но рыжая коренная, съ подтянутой вверхъ головою, неслась самостоятельной рысью и бойко и отчетливо выверты-вала ногами очень-мелкія штучки. На козлахъ коренастый кучеръ уже успѣлъ подернуться сплошнымъ серебромъ инея. Сидѣвшій бокомъ къ нему лакей покраснѣлъ какъ вареный ракъ и, вытянувъ руки, коченѣлъ неподвижно, а въ темной глубинѣ повозки виднѣлась одна медвѣжья шуба Петра Егоровича, и только выставившійся сквозь мѣхъ воротника кончикъ его длиннаго и солидно-поставленнаго носа, очистившаго себѣ дорогу, съ похвальной цѣлью снабжать воздухомъ особу своего владѣльца, побѣлѣлъ самымъ зловѣщимъ образомъ.

НЫНѢШНЯЯ ЛЮБОВЬ.

ПОВѢСТЬ.

Было, говорятъ, время, когда, подъ сводомъ темно-синяго неба, на берегу журчавшаго ручейка, подъ обаятельной истомой вѣчной весны, въ тихіе сумерки, какой-нибудь юноша встрѣчался съ извѣстной ему дѣвой и.... и были счастливы: они любили.

Было время: рыцарь, съискавъ даму своего сердца, становился передъ нею на одно колѣно; дама повязывала ему черезъ плечо шарфъ, и онъ отправлялся въ невѣдомыя страны. Тамъ рыцарь рубилъ направо и рубилъ на лѣво: рубилъ невѣрнаго мусульманина — за то, что онъ невѣрный, и рубилъ храбраго рыцаря — потому, что онъ храбрый; а дама, сидя одна въ высокой залѣ замка, пряла или вышивала, слушала пѣсни бродячаго менестреля... вы думаете, что рыцарь сражался, а дама занималась хозяйствомъ—ничуть не бывало! они любили.

Вотъ, красная дѣвица сидитъ за досчатой перегородкой съ сквозными щелями и грызетъ орѣхи, а молодой парень, въ смежной избѣ, расправивъ усъ, съ поклономъ вытягиваетъ чару вина: дѣвица и парень любятъ, и любятъ не вино и орѣхи, а другъ-друга!

Вотъ, раздушенный и напудренный маркизъ говоритъ мадригалъ нарумяненной маркизѣ, у которой, надъ розовой губой, налѣплена черная мушка: они любятъ.

Блѣдный юноша, въ чайльд-гарольдовомъ плащѣ, свирѣпо смотритъ на едва живую дѣву: они любятъ.

Господинъ во фракѣ говоритъ дамѣ грубости, а дама смѣется: они любятъ.

Интересный господинъ сидитъ съ интересной дамой, и оба изъ всѣхъ силъ стараются показать, что они скучаютъ: они любятъ.

Хорошенькая женщина разсѣянно замѣчаетъ, что нынче нѣтъ любви, а молодой человѣкъ, со стеклышкомъ въ глазу, спрашиваетъ ее: «что это такое любовь?»—они страстно другъ друга любятъ.

И все это любовь въ разныя эпохи и въ разныхъ странахъ! И, дѣйствительно, въ извѣстное время и въ извѣстномъ краю любовь выражается такъ, а не иначе. Послѣ этого въ самомъ дѣлѣ можно, какъ господинъ со стеклышкомъ въ глазу, спросить: да что жь это такое любовь?

Любовь, милостивые государи и государыни, была всегда одна и та же любовь, которую вы, вѣроятно, очень хорошо знаете, и потому опредѣлять ее совершенно излишне; но, въ различныя времена, всегда была великая разница въ признакахъ любви: въ ней исключительно проявлялся духъ каждой эпохи. Всегда и во всякое время — это была струна, по звуку которой можно было узнавать внутреннюю настроенность современнаго человѣка. Любовь маркиза XVIII столѣтія не то, что любовь нынѣшняго француза; итальянецъ и англичанинъ любятъ каждый по своему, и про это-то чувство можно безъ всякаго парадокса выразиться: «скажи мнѣ, какъ ты любилъ, и я скажу кто ты».

И вотъ это всемірное и всевѣковое чувство, рождавшееся, перерождавшееся и вырождавшееся, дошло и до насъ. И изъ насъ бо́льшая половина отдала ему свою дань увлеченій, молодыхъ и свѣтлыхъ надеждъ, горячихъ вѣрованій и тяжелыхъ разубѣжденій. Но выплыли мы изъ этой кипящей жизненной струи, — выплыли болѣе или менѣе счастливо. Инаго нехотя выбросила вдругъ житейская волна прямо на сухой берегъ, и, какъ опьянѣлый, смутно озирается онъ кругомъ и не сознаетъ еще, гдѣ онъ и что съ нимъ, и не чувствуетъ еще тѣхъ ранъ и ушибовъ, которыхъ въвѣкъ, можетъ быть, не залечитъ ему. Другой, истомленный и измученный, тяжело добирается до берега и долго, худой и блѣдный, какъ пластъ лежитъ на немъ, съ трудомъ переводя дыханіе, пока не отлежится. А иной выскочитъ какъ встрепанный, фыркнетъ и встряхнется, такъ что брызги кругомъ полетятъ... глядишь, онъ ужь сухъ какъ гусь и, не оглядываясь, пошелъ себѣ гоголемъ. Но благо тому, кто вынесъ изъ этой живой струи новый запасъ силъ, кто окрѣпъ и освѣжился въ ней, бодро ступилъ твердой ногой на берегъ и, отличивъ просвѣтленнымъ взглядомъ дальнюю цѣль, пошелъ къ ней прямо и весело...

Любопытно намъ—не холоднымъ взглядомъ скептика и не сквозь эффектную призму повѣствователя, ставящаго своихъ героевъ, для вящаго интереса, въ театральныя позы — посмотрѣть на нынѣшнюю любовь; посмотрѣть взглядомъ наблюдателя, спокойно сидящаго на берегу, но съ теплымъ участіемъ и, можетъ быть, съ невольнымъ вздохомъ и улыбкой подмѣчающаго маленькіе и обыкновенные случаи знакомой намъ и уже обмелѣвшей нынѣ переправы.

Изъ длинной вереницы болѣе или менѣе интересныхъ юношей и дѣвъ, иногда сѣдыхъ юношей и весьма зрѣлыхъ дѣвъ, которую воображеніе и память проводятъ передъ нами, мы выбираемъ всѣхъ чаще встрѣчаемыхъ нынѣ юношу и дѣву. Вотъ, съ противоположныхъ береговъ, они подходятъ, по мягкому склону, къ заманчивой струѣ. Какъ тверда и осторожна ихъ поступь, какъ неробко и обдуманно идутъ они! Нѣтъ въ нихъ смѣлости и ловкости опытныхъ пловцовъ, но нѣтъ также ложныхъ и неуклюжихъ ухватокъ учениковъ, по книгамъ учащихся искусству; видна въ нихъ неопытность, но видна и породистая кровь, которая словно въ своихъ составныхъ частяхъ носитъ и вырабатываетъ всѣ привычки и убѣжденія отцовъ. Вотъ, шутя они затрогиваютъ еще игривую струйку и, кажется, не думаютъ ступать глубже; но нужды нѣтъ, что не кидаетесь вы, нынѣшніе пловцы, какъ кидались наши дѣды, прямо съ обрыва, зажмуривъ глаза и очертя голову,—нужды нѣтъ! горячая кровь жаждетъ холодной и опьяняющей влаги, склонъ такъ мягокъ и незамѣтенъ, обрывъ невиденъ.... и идете вы дальше и дальше, сами того не замѣчая, —идете, весело плескаясь, и вдругъ—ухъ! кажется, влюбились по уши...

Счастливый путь, друзья! посмотримъ, какъ то выплывете вы!

—

Въ одномъ прекрасномъ губерискомъ русскомъ городѣ, весьма знакомомъ читающей публикѣ по тому обстоятельству, что въ газетахъ очень часто помѣщаются любопытныя извѣстія о маленькомъ *бѣломъ* облакѣ, появившемся надъ этимъ городомъ съ юго-западной стороны, такого-то числа, въ столько-то часовъ, которое потомъ обратилось въ *черную* тучу, разразившуюся проливнымъ дождемъ, или о томъ, что въ этомъ городѣ есть театръ, на сценѣ котораго актриса Хорькова въ водевиляхъ съ переодѣваніемъ и актеръ Свиристелевъ въ трагедіи играютъ совершенно удовлетворительно, или, наконецъ, просто извѣщаютъ о томъ, что мы, жители провинціи, удаленные на столько-то тысячъ верстъ отъ вашей блестящей столицы, проводимъ время очень пріятно, что общество у насъ все весьма образованное, и что такого-то числа въ домѣ собранія былъ балъ, на которомъ всѣмъ было чрезвычайно весело... И такъ, въ этомъ прекрасномъ городѣ, гдѣ, вѣроятно, всѣ бы безконечно блаженствовали, если бы надъ нимъ не появлялись съ юго-западной стороны маленькія непріятности въ видѣ маленькихъ облаковъ, — на одной вымощенной и всегда способной къ проѣзду улицѣ былъ большой деревянный, благообразный домъ. Домъ этотъ принадлежалъ всѣми любимому и уважаемому Ивану Наумовичу Доброхотову, который, женившись въ молодости на одной дочери бѣдныхъ и благородныхъ родителей, спустя яко-бы лѣтъ тридцать, получилъ за ней какимъ-то образомъ тысячу душъ приданаго. У Ивана Наумовича было большое семейство. Нѣкоторыя изъ его дѣтей учились, другіе служили въ военной, а двое въ гражданской службѣ; послѣдніе пользовались заслуженной репутаціей прекрасныхъ чиновниковъ, уважали родителя, хотя далеко обогнали его образованіемъ, и ревностно преслѣдовали лихоимство. Иванъ Наумовичъ былъ человѣкъ ума практическаго, фигурой не великъ, но коренастаго сложенія, и весьма представителенъ, въ дѣлахъ крутъ, говорилъ мало, любилъ водить хлѣбъ-соль и въ бабьи дѣла, какъ онъ выражался, не вмѣшивался. Супруга его, Анна Кондратьевна, принесшая за собой такое значительное приданое, была женщина высокая и полная—пышная женщина, къ мужу была уступчива и отъ этого въ незначительныхъ вещахъ водила его за носъ, гордилась бабушкой Чуфлыгиной, старалась держать домъ на высокой ногѣ, говорила плохо по-французски и любила этимъ блеснуть. Кромѣ сыновей, у Доброхотовыхъ были дочери, изъ которыхъ одна—невѣста. Невѣсту звали Сашей.

Боже мой! зачѣмъ я не могъ писать разсказовъ въ то счастливое время, когда еще не умѣлъ писать! Помню я живо повѣсти и разсказы того добраго времени. Вездѣ была на первомъ планѣ любовь, и какая любовь! пламенная, чистѣйшая любовь, съ ревностью, мщеніемъ и безконечными пожертвованіями. Въ нихъ была любовь перваго сорта — и ничего, кромѣ любви. Самый мнительный умъ не могъ заподозрить тѣхъ разсказовъ въ личности; да и какъ было подозрѣвать, когда дѣйствовали въ нихъ *онъ* и *она*: *онъ*—прекрасный юноша и *она* — прелестная дѣва? А теперь не любятъ имѣть дѣло съ миѳами, и спрашиваютъ, кто *онъ* и кто *она*, гдѣ они жили и кто были ихъ родители и родственники въ восходящей и низходящей линіяхъ до третьей степени включительно. А теперь хоть и не обходится почти ниодного разсказа безъ любви, — но какъ далеко прячутъ эту любовь подъ различныя, ненужныя вещи! И грозно смотритъ критика на нынѣшняго писателя, осмѣлившагося поставить слово любовь на первой страницѣ разсказа, и нельзя ему ниодного изъ дѣйствующихъ лицъ своего разсказа назвать дурнымъ человѣкомъ безъ того, чтобы десятокъ лицъ не принялъ это на свой счетъ и немедленно не обидѣлся....

Не знаю, извѣстно ли читателямъ, что во всѣхъ провинціальныхъ городахъ, какъ бы они пріятны ни были, есть два сорта невѣстъ: однѣ, если позволено мнѣ будетъ такъ выразиться, назначаемыя

собственно для внутренняго обихода, другія — непремѣнно на вызовъ. Въ первыхъ преобладаетъ элементъ провинціальный, во вторыхъ — общечеловѣческій. Невѣсты домашнія суровы съ пріѣзжими женихами, нескоро попадаются имъ на глаза, думаютъ даже, что онѣ и не стараются бросаться въ глаза, позволяютъ себѣ страстно влюбляться въ мѣстныхъ юношей и выходятъ замужъ или за какого-нибудь пожилаго чиновника, довольно мягко приготовившаго семейное гнѣздо, или за молодаго помѣщика съ усиками и заложеннымъ имѣніемъ. Невѣсты внѣшнія вообще очень изящны и съ перваго раза бросятся вамъ въ глаза. Онѣ не питаютъ никакой склонности къ мѣстнымъ кавалерамъ, хотя очень милы съ ними,—и мѣстные кавалеры, совершенно увѣренные въ ихъ недоступности, весьма безкорыстно съ ними танцуютъ и любезничаютъ. Репутація этихъ невѣстъ, несмотря на самый подозрительный и бдительный надзоръ подругъ, остается незапятнанною подозрѣніями въ какой-нибудь мѣстной любви; но за то если явится какой-нибудь пріѣзжій, молодой человѣкъ — о! тогда кончено! каждый ихъ шагъ, каждое слово будетъ взвѣшено, обсуждено и осуждено непремѣнно. Не то, чтобы невѣсты для пріѣзжающихъ были особенно благосклонны къ нимъ: нѣтъ! онѣ только имѣютъ талантъ какъ-то исключительно остановить на себѣ ихъ вниманіе, и если вы услышите отъ кого-нибудь, что въ такомъ-то городѣ есть такая-то милая дѣвица,—будьте увѣрены, что это невѣста для пріѣзжающихъ. Но не всегда надежды этихъ невѣстъ и ихъ матушекъ сбываются: много иногда перебываетъ заѣзжей молодежи прежде, нежели какой-нибудь счастливецъ увезетъ одну изъ нихъ, на законномъ основаніи, въ иныя страны. Долго онѣ иногда томятся и вянутъ въ ожиданіи этого счастливца; иныя и совсѣмъ увядаютъ, не дождавшись; иныя, неблагопріятствуемыя счастьемъ, выходятъ и за мѣстнаго жениха, но тогда онѣ становятся уже губернскими львицами. Вообще внутреннія невѣсты питаютъ къ внѣшнимъ легкую зависть и отчасти ненависть; внѣшнія къ внутреннимъ—маленькое презрѣніе; но это имъ нисколько не мѣшаетъ быть соединенными узами нѣжнѣйшей дружбы.

Вижу я улыбку недовѣрія моихъ читателей. «Да кто жъ такъ дѣлитъ невѣстъ?» спрашиваютъ они. Дѣлитъ ихъ такъ — отвѣчаю я — не прихоть разсадника, а сильное слово: обстоятельства! Сами посудите: за одной въ приданое мѣстная протекція — и только; за другой и дадутъ кое-что, но натурой: домикъ, лошадокъ, и овсеца лошадкамъ будутъ привозить изъ деревни.... все это вещи, конечно, очень хорошія и цѣнятся по достоинству тузенными претендентами, — но что̀ въ нихъ заѣзжему человѣку! А съ другой стороны, вотъ у этой такое хорошенькое личико, что такъ и хочется взять его съ собой, чтобы показать своимъ пріятелямъ, а у другой очень, очень маленькій и уклюдистый капиталецъ, да и танцуютъ-то эти невѣсты такъ легко, такъ воздушно, что вотъ, кажется, говорятъ: «улетимъ вмѣстѣ, прекрасный чужеземецъ!...»

Я затрудняюсь, куда причислить старшую дочь Ивана Наумовича. У ней было очень много достоинствъ, вполнѣ заслуживающихъ всеобщей извѣстности, и личико, которое могло бы произвести эффектъ въ бенуарѣ итальянской оперы, и.... но я и забылъ, что она еще не невѣста. О приданомъ ея ни отецъ, ни мать ничего не сообщали, по довѣренности, своимъ короткимъ знакомымъ, да она и не была еще ни на одномъ балѣ: можно ли послѣ этого ставить ее въ тотъ или другой разрядъ!

Наступилъ Сашенькѣ семнадцатый годъ; наступила и зима съ своими веселостями.... Завтра будетъ первый балъ, на который вывезутъ Сашеньку, и часто она выходитъ изъ гостиной, чтобы взглянуть на свое бѣлое платье, и пять кадрилей и мазурка уже ею обѣщаны.

Дождалась наконецъ она и бала.

Но тутъ опустите книгу, мои читательницы, и вспомните вашъ первый балъ; вы не будете раскаяваться. Ни въ какой книгѣ вы не вычитаете того, что̀ пронесется передъ вами вереницей при этомъ воспоминаніи; никакой волшебный разсказъ не заставитъ такъ сильно биться ваше сердце, ни отъ одной драмы такъ тоскливо не сожмется оно, какъ отъ этого воспоминанія! Нужды нѣтъ, былъ ли этотъ балъ въ великолѣпной залѣ какого-нибудь барскаго дома, былъ ли онъ въ небольшой, оклеенной желтенькими обоями комнатѣ—все равно! Молодость, мечты и надежды для всѣхъ одинаково драпируютъ стѣны! Вспомните ваше бѣлое, пышное вашей свѣжестью платье, вспомните букетъ вашихъ цвѣтовъ и того, кто привезъ вамъ этотъ букетъ. Помните ли, какъ,—точно облако пронеслось у васъ передъ глазами при первомъ шагѣ въ залу? помните ли, какъ высоко вздымалась ваша стыдливая грудь?... Раздвинулась толпа, пахнуло вамъ въ лицо горячимъ воздухомъ, грянулъ оркестръ, и ловкая рука обхватила вашъ станъ... и понеслись вы по залѣ, не чувствуя подъ собою паркета, и страшно и чудно-пріятно вамъ. Помните ли, какъ новъ былъ тогда вамъ разговоръ вашихъ кавалеровъ, и какъ надоѣли они вамъ впослѣдствіи? Помните, былъ ли между этихъ кавалеровъ одинъ, котораго бы вамъ хотѣлось встрѣтить тамъ, или тутъ только въ первый разъ вы встрѣтили его? И гдѣ-то онъ теперь, и таковъ ли онъ теперь, какъ вамъ казался тогда? А вы?...

Но бросимъ воспоминанія! Ихъ конецъ бываетъ иногда скучнѣе иного скучнаго разсказа.

Верхній этажъ дома дворянскаго собранія горѣлъ огнями, затемняя свѣтъ уличнаго фонаря. У подъѣзда горѣли три плошки и стоялъ жандармъ. Въ дверяхъ между залой и лѣстницей вертѣлся полицейскій чиновникъ, но ближе къ лѣстницѣ, нежели къ залѣ.

Балъ уже начался и на этотъ разъ былъ очень

богатъ участвующими. Оркестръ игралъ вальсъ, и нѣсколько паръ кружилось по залѣ. Лихо вальсировали тутъ три брата Піоновыхъ — всѣ трое смуглые, съ черными усами и съ такими взглядами, которые, кажется, говорили: «А хочешь, я тебѣ сейчасъ исторію сдѣлаю?» Ловко и деликатно скользилъ по паркету съ изъявцами одинъ изящный блондинъ, крѣпко прильнувъ къ своей дамѣ, немного согнувшись и пріятно улыбаясь. Какой-то лѣсничій, оттопыривъ локоть, сурово вращалъ свою толстую даму. Были еще и другіе вальсёры, болѣе или менѣе вносившіе въ танецъ свои личные характеры. Изъ нихъ двое добрѣйшихъ юношей, страстные охотники до вальса и польки, такъ неудобно удовлетворяли своей невинной склонности, что бѣдныя дамы блѣднѣли при ихъ приближеніи и подавали имъ руку съ такимъ замираніемъ сердца, какъ-будто имъ предстояла самая опасная переправа въ утломъ челнокѣ черезъ бурную рѣку. Изрѣдка какой-нибудь господинъ солиднымъ лѣтъ, давно промѣнявшій танцы на коммерческія игры, разлюбезничавшись нечаянно, до составленія партіи, съ какой-нибудь дамой, и большей частію по предложенію самой дамы, съ улыбкой натягивалъ на руку черныя перчатки и пускался въ вальсъ, который и выполнялъ, къ особенному удовольствію своихъ сверстниковъ —

«Отмѣнно-тонко и умно,
Что имъ нѣсколько смѣшно.»

А между тѣмъ Доброхотовыхъ все не было. Не заболѣли ль зубы у Анны Кондратьевны, не прихлопнулъ ли ударъ Ивана Наумовича? Одинъ молодой человѣкъ, за двѣ недѣли выпросившій у Сашеньки первую кадриль и мазурку, съ живѣйшимъ безпокойствомъ поглядывалъ на двери и крайне боялся, что ему прійдется танцовать съ кѣмъ ни попало, или вовсе не танцовать. Наконецъ показалась сѣденькая голова Ивана Наумовича, зашумѣло пышное розовое платье Анны Кондратьевны; у залы они разступились и пропустили впередъ Сашеньку.

Я сказалъ уже, что Сашенька была шестнадцати лѣтъ. Но лѣта лѣтамъ рознь, и разныя бываютъ шестнадцать лѣтъ. Сашенька была счастливая дѣвочка; много хорошаго принесли ей эти лѣта: онѣ не сформировали изъ нея совершенную дѣвицу, которая бы развернулась вполнѣ, какъ пышный, совсѣмъ созрѣвшій цвѣтокъ, весь блестящій полной красотой и свѣжестью, но онѣ ей дали лучшую красоту, прелестную полураскрывшуюся красоту настоящаго, которая обѣщаетъ еще болѣе въ будущемъ. Сашенька была того прекраснаго роста, который можно поставить между большимъ и среднимъ. Формы ея только что сбросили дѣтскую угловатость и приняли круглость и свѣжесть ясно обрисованныхъ очертаній. Лицомъ она была далеко не красавица, въ частностяхъ его были даже неправильности; но все вмѣстѣ, милое и розовое, оно, готовое вспыхнуть яркимъ румянцемъ при малѣйшемъ волненіи, дышало какой-то веселой гармоніей. Одни глаза ея, небольшіе, темно-каріе и ясно очертанные (прехорошенькіе глаза) были умнѣе своихъ лѣтъ. Не то, чтобы они были задумчивы или, что называется, глубоки: нѣтъ, они смотрѣли весело, немного наивно, немного любопытно, какъ слѣдуетъ шестнадцатилѣтнимъ глазамъ; но иногда въ нихъ просвѣчивался умъ свѣтской двадцатилѣтней дѣвицы, — дѣвицы, которую не обморочишь ловко связанной фразой, и которая, смотря на васъ, видитъ не одинъ хорошо пробранный по-англійски рядъ: у нашихъ дѣвицъ-полудѣтей часто бываютъ такіе глаза.

Сашенька была, по обыкновенію, въ простомъ бѣломъ платьѣ; въ рукѣ букетъ; на головѣ только кольцомъ лежала крупно-сплетенная темнорусая коса—ея собственная, а не выписанная изъ Москвы коса. Нарядъ чересчуръ уже простой! но легкое платье пышно ложится на свѣжія формы; бѣлый цвѣтъ, нѣжно-розовый румянецъ, темные волосы и яркій съ зеленью букетъ — все вмѣстѣ дѣлало ее очень нарядной. Она вошла въ залу не робко, но была нѣсколько смущена. Полуоткрытая грудь ея высоко дышала; на бѣломъ лицѣ, то ярко вспыхивая, то замирая, играла и переливалась молодая кровь. Раздвинулась передъ нею толпа мужчинъ, и всѣ они, отъ состарѣвшагося надъ бумагами совѣтника до юноши, едва выступившаго на поприще свѣта и канцеляріи — всѣ они невольно и весело улыбнулись. Улыбнулись ей и подруги ея, болѣе или менѣе весело, и только нѣкоторыя дѣвы, чувствующія уже необходимость надѣвать особенно яркія платья и шу, посмотрѣли на нее съ скрытой подъ совершеннымъ равнодушіемъ ненавистью. Вальсъ приближался къ концу, и почтенный старшина собранія съ удовольствіемъ приподнималъ уже руку, чтобы подать знакъ музыкантамъ, когда одинъ ловкій кавалеръ ввелъ Сашеньку въ кругъ и легко понесся съ нею; понеслись, увлеченныя ихъ примѣромъ, и другія пары... и вальсъ разгорѣлся снова, какъ иногда зимой разгорается, вспыхнетъ и весело затрещитъ огонь въ каминѣ, когда хмурый слуга подсунетъ къ тлѣющимъ угламъ разорванную и неудобную къ напечатанію кипу сочиненій того, у котораго онъ находится на прислугахъ.

Балъ шелъ своимъ чередомъ и прошелъ бы какъ и многое множество баловъ, на которыхъ, судя по газетнымъ извѣстіямъ, всѣмъ, до швейцара, дремлющаго съ булавой, включительно, бываетъ чрезвычайно весело, если бы на этомъ балѣ не случилось маленькаго, но весьма для насъ интереснаго обстоятельства.

Это обстоятельство съ самаго начала вечера ходило по залѣ въ черномъ фракѣ и бѣломъ жилетѣ, въ видѣ одного молодаго человѣка. Молодой человѣкъ былъ дѣйствительно человѣкъ молодой—лѣтъ двадцати-трехъ, можетъ быть двадцати-шести. Кто узнаетъ вѣрно года нынѣшнихъ молодыхъ людей? Одѣтъ онъ былъ не провинціаль-

нымъ Шармеромъ, котораго фракъ непремѣнно рѣжетъ подъ мышкой, и даже не московскимъ Шармеромъ, который хоть пуговицами или чѣмъ нибудь, а ужь дастъ себя узнать, но, должно полагать, настоящимъ Шармеромъ, или какимъ нибудь петербургскимъ профессоромъ его мастерства, потому-что одѣтъ молодой человѣкъ былъ такъ, что рѣшительно не было возможности остановить вниманія на его туалетѣ, какъ будто онъ никогда его не дѣлалъ, а такъ ужь родился одѣтымъ. Остальная наружность этого господина соотвѣтствовала его туалету, т. е. была прилична, но ничѣмъ не замѣчательна: волосы русые, причесанные коротко и просто, черты лица неправильныя, мягкія, но довольно пріятныя, ростъ средній, носъ безъ всякаго характера; бакенбардъ и особыхъ примѣтъ не имѣлось.

Видимо было, что молодой человѣкъ явился въ общество неизвѣстнаго намъ города въ первый разъ. Онъ ходилъ безъ цѣли, смотрѣлъ на лица, на которыя въ городѣ уже перестали смотрѣть, иногда невольно останавливалъ вниманіе на странностяхъ какого-нибудь господина, давно обратившихся для всѣхъ не въ странность, а въ его необходимую принадлежность.

Сначала молодаго человѣка замѣтили, и то вскользь, очень немногіе, сдѣлали о немъ два-три вопроса и, не получивъ удовлетворительнаго отвѣта, успокоились. Но когда пріѣхала первая дама въ городѣ и пріятно улыбнулась молодому человѣку, когда онъ поговорилъ и потомъ сдѣлалъ съ нею нѣсколько туровъ вальса совершенно удовлетворительно,—кругомъ послышались вопросы: «кто онъ?» и «что онъ»? И нѣкоторые обратились съ ними даже къ полицейскому чиновнику, стоявшему въ дверяхъ между входомъ и залой, но ближе къ входу. Оказалось, что это нѣкто Черковъ, чиновникъ изъ Петербурга, пріѣхавшій по какому-то дѣлу. Болѣе никто ничего не могъ узнать; но на первый разъ и этого было достаточно: всѣ болѣе или менѣе нечаянно и мимоходомъ посматривали на Черкова, и вскорѣ около него точно изъ земли выросъ какой то господинъ зрѣлыхъ лѣтъ, съ самоувѣренной осанкой, слегка задѣлъ его локтемъ, весьма вѣжливо извинился и потомъ нѣсколько покровительствующимъ тономъ спросилъ:

— Вы, если не ошибаюсь, не здѣшній?

— Да, я вчера только пріѣхалъ сюда, отвѣчалъ Черковъ.

— Конечно, по дѣламъ службы, или по собственнымъ?

— По службѣ.

— Иначе и быть не могло! кого сюда понесетъ для собственнаго удовольствія? Не завидую вамъ, коль и служить здѣсь придется.

— Я здѣсь не останусь постоянно, сказалъ Черковъ уклончиво, не желая вступать въ разговоръ съ незнакомымъ ему человѣкомъ, но не желая вѣсть съ тѣмъ и выказать ему это.

— Все-таки отсюда нескоро выберетесь. Будетъ же вамъ работы, только троньте старыя дѣла, особенно въ ***.

— Я не для ревизіи, отвѣчалъ Черковъ.

— Жаль, очень жаль: не имѣлъ бы здѣсь кой у кого пульсъ нощупать... говорилъ неизвѣстный господинъ, подмигнувъ глазомъ; а самъ думалъ: «да зачѣмъ же тебя принесло-то сюда?»

— Вы, вѣроятно, знаете моего брата въ Петербургѣ... вѣдь вы изъ Петербурга, если не ошибаюсь?

— Изъ Петербурга, отвѣчалъ Черковъ вѣжливо.

— Тептелевъ, служитъ въ ***.

— Нѣтъ-съ, я его не знаю.

— А мнѣ показалось, что вы служите такъ же? «Почему же это тебѣ показалось?» подумалъ Черковъ: «на физіономіи, я думаю, не написано, кто гдѣ служитъ?» да, какъ будто желая убѣдиться въ этомъ, и посмотрѣлъ на физіономію своего собесѣдника.

— Братъ мой.... человѣкъ съ вѣсомъ... продолжалъ неизвѣстный господинъ, съ разстановкой, поглядывая разсѣянно по сторонамъ и постукивая носкомъ лѣвой ноги объ полъ. — Двѣ тысячи кало-ванья, ква-ртира, ото-пленіе, осв-ще-ніе.

Вопрошающій господинъ, которому, кажется, не понравился пытливый взглядъ Черкова, мало по малу смолкъ, не отходя, однако, отъ Черкова, а Черковъ, которому ничего не удалось угадать по его физіономіи, очень довольный этимъ молчаніемъ, съ любопытствомъ обратилъ вниманіе на одну занимательную пару. Жиденькій и очень молоденькій господинъ пустился вальсировать съ какою то зрѣлой и крѣпко сложенной дѣвицей. Обхвативъ ея туго-стянутую талію, онъ повернулся было очень бойко, но вдругъ встрѣтилъ сильнѣйшее противодѣйствіе со стороны своей дамы. Онъ сильнѣе уперся ногами и хотѣлъ повернуть ее вкругъ себя, а она, кокетливо упираясь, предоставляла ему себя увлечь; но какъ молодой человѣкъ ни бился, желая *понестись въ вихрѣ вальса*, а все они продолжали вертѣться на одномъ и томъ же мѣстѣ. Наконецъ, утомясь въ безпльной борьбѣ, кавалеръ уступилъ и принялся дѣлать туръ, не онъ кружа даму, а самъ легко порхая около нея.

Черковъ, не позволяя себѣ улыбнуться, съ удовольствіемъ любовался этой парой, когда вдругъ мимо его, склонивъ немного, будто подъ тяжестью русой косы, хорошенькую головку къ плечу кавалера, свѣжая и нарядная, какъ цвѣтокъ ея букета, пронеслась, вальсируя, Сашенька.

— Кто эта дѣвица? невольно спросилъ Черковъ, обратясь къ своему прежнему собесѣднику.

— Эта? улыбаясь, отвѣчалъ онъ. — Это дочь человѣка почтеннаго: Доброхотова, Ивана Наумыча—вонъ того сѣденькаго, что табакъ нюхаетъ. Это у насъ первая невѣста въ городѣ. Господинъ Доброхотовъ человѣкъ почтенный, получилъ за женой тысячу душъ приданаго, а у тестя то отъ

роду ни души не было, кромѣ собственной, да и та, чай, чорту запродана.

Черковъ посмотрѣлъ на неизвѣстнаго господина съ недоумѣніемъ.

— Да-съ, получилъ тысячу душъ, да сотъ пять, я думаю, еще скоро получитъ, продолжалъ тотъ, иронически улыбаясь.

— Это не дѣти ли его служатъ въ Петербургѣ?

— Да, его. А вы ихъ изволите знать?

— Они мои хорошіе пріятели! сухо поклонясь, сказалъ Черковъ и повернулся въ другую сторону.

— Прекрасные молодые люди.... началъ было неизвѣстный господинъ, но, увидавъ, что Черковъ отъ него ушелъ, продолжалъ уже въ своемъ умѣ: «прекрасные! такіе же, какъ и ты, гусь лапчатый, —нынѣшняго поля ягода! Ну ужь, народецъ! Двадцати лѣтъ, а кремень-кремнемъ! Ты бы изъ него слово вышибить, а онъ десять изъ тебя вытащитъ, поклонился да и пошелъ! Ай да кремень петербургскій! Молодецъ!»

Впослѣдствіи Черковъ имѣлъ удовольствіе узнать, что этотъ первый его знакомецъ былъ сильнѣйшій взяточникъ, выгнанный изъ службы, нечистый на языкъ и на руку, и вообще не пользующійся въ городѣ ничьимъ расположеніемъ. Пока этотъ господинъ Тептелевъ, всегда ему впослѣдствіи раскланивавшійся, кончалъ свой умственный монологъ, Черковъ пробрался сквозь толпу и подошелъ къ Ивану Наумовичу Доброхотову.

— Я имѣю удовольствіе говорить съ Иваномъ Наумычемъ Доброхотовымъ? сказалъ ему Черковъ, вѣжливо наклонясь.

— Къ вашимъ услугамъ-съ, къ вашимъ услугамъ, отвѣчалъ Доброхотовъ, немного склонясь на бокъ и остановивъ на полдорогѣ къ носу щепотку табаку, которую держалъ двумя пальцами.

— Я хорошо знакомъ и служу вмѣстѣ съ вашимъ сыномъ Петромъ Иванычемъ. Я сегодня только пріѣхалъ и не успѣлъ еще доставить вамъ письма, которыя онъ поручилъ вамъ передать; поэтому вы мнѣ позволите завтра имѣть удовольствіе...

— А!

Сдѣлавъ это краткое восклицаніе, Иванъ Наумовичъ поспѣшно вынюхалъ табакъ, спряталъ табакерку и, освободивъ такимъ образомъ руки, радушно протянулъ ихъ Черкову.

— Очень радъ, очень радъ, другъ моего Петра —другъ нашего дома... Позвольте познакомиться, съ кѣмъ имѣю честь?...

— Черковъ.

— Имя, отчество?

— Василій Ѳедорычъ.

— Очень радъ! Прошу къ намъ безъ церемоніи. Позвольте васъ познакомить съ женой.

Иванъ Наумовичъ взялъ Черкова подъ руку и подвелъ къ Аннѣ Кондратьевнѣ.

— Василій Ѳедорычъ Черковъ, сказалъ онъ, указавъ на жилетъ Черкова:—другъ нашего Петра, изъ Петербурга.

— Ахъ, аншантэ! Мосьё Черковъ, подавшись грудью впередъ, сказала Анна Кондратьевна: — аншантэ! Вы давно здѣсь?

Черковъ отвѣчалъ, и у нихъ завязался разговоръ.

— Наша дочь, Alexandrine! сказала она, указывая на зарумянившуюся и немного запыхавшуюся Сашеньку, которую кавалеръ только что оставилъ.

— Мосьё Черковъ, сказала она ей.

Черковъ сказалъ нѣсколько фразъ Сашенькѣ, Сашенька что-то отвѣчала Черкову, и разговоръ ихъ кончился тѣмъ, что они рѣзво, ловко, весело понеслись по залѣ.

Аппетитъ приходитъ во время ѣды, говорятъ французы. Провальсировавъ съ Сашенькой, Черковъ попросилъ у нея кадриль; но тутъ встрѣтилось сильное препятствіе: всѣ ея кадрили и мазурки были давнымъ-давно ею обѣщаны; кто жь могъ предвидѣть, что къ этому балу пріѣдетъ изъ Петербурга новый и очень ловкій кавалеръ! Однакожь, они помирились на польке-abonnée, а послѣ польки Сашенька подозвала къ себѣ какого-то осьмнадцатилѣтняго юношу съ длинными волосами, сказала ему что-то и такъ мило съѣжила личико, такъ прищурила хорошенькіе глазки, что хотя лицо юноши вытянулось гораздо болѣе, нежели сашенькино сжалось, но онъ пріятно улыбнулся и сдѣлалъ руками нѣсколько такихъ выразительныхъ жестовъ, которыми видимо убѣдительнѣйше просилъ не безпокоиться. Но Сашенька продолжала просить, юноша горячѣе сталъ ее успокоивать, наконецъ кончилъ тѣмъ, что успокоилъ ее совершенно и отошелъ отъ нея съ лицомъ, казалось, весьма довольнымъ, но похожимъ на то, которое дѣлаетъ человѣкъ, когда за большимъ обѣдомъ у него засядетъ въ горлѣ маленькая рыбья косточка.

А Сашенька мимоходомъ сказала Черкову:

— Мосье Черковъ, я перепутала кадрили: хотите, я вамъ дамъ четвертую?

И затѣмъ она посмотрѣла на него съ такой весело-открытой и невинной улыбкой, что не было никакой возможности не вѣрить ей.

Очень скромно поклонился Сашенькѣ Черковъ, сказавъ, разумѣется, что онъ чрезвычайно радъ. Но, отойдя потомъ въ сторону, онъ не утерпѣлъ и, раздвинувъ большой и указательный пальцы, придавилъ ими воротнички рубашки и съ тайнымъ самодовольствіемъ погрузилъ въ нихъ подбородокъ.

Танцовали они четвертую кадриль и чрезвычайно удивились, что она кончилась, какъ имъ показалось, на второй фигурѣ...

Поздно ночью, когда въ домѣ собранія погасили огни, и зала, за часъ еще шумная и весело оживленная, стояла теперь тиха и мертвенно пуста, и только луна ярко свѣтила въ нее и стлала косыя четыреугольныя окна трепетнаго и блѣднаго свѣта на паркетъ, задѣвая вскользь бѣлыя колонны, когда, можетъ быть, тѣни красавицъ

валеровъ, нѣкогда тоже шумно веселыхъ и блестящихъ, собравшись теперь, неслышныя и невидимыя, продолжали замолкнувшій балъ и, вспоминая старину, незримо порхали по этой залѣ, когда уличный фонарь, испытывая тоже судьбу всего земнаго, вдругъ загасъ всѣми четырьмя рожками, подъ дуновеніемъ закутаннаго въ рогожу фонарщика, а гдѣ то далеко, на колокольнѣ кладбищенской церкви, пробило четыре: когда въ это время мы заглянули бы въ одинъ нумеръ гостинницы для пріѣзжающихъ, гдѣ за ширмой подъ красное дерево съ зеленымъ коленкоромъ, на желѣзной кровати, спалъ какъ убитый одинъ нашъ знакомый, а черный фракъ, опустивъ рукава, висѣлъ на стулѣ,—если бы въ тоже время мы осмѣлились заглянуть въ мезонинъ одного дома, въ которомъ была чистенькая и свѣтлая, но недоступная для насъ комната, и если бы мы имѣли возможность бросить мимолетный и нескромный взглядъ на маленькую кроватку, въ которой одна наша знакомая, откинувъ на подушку стройную руку и прижавъ къ ней горячую и разгорѣвшуюся щеку, почивала сладко, и если бы мы могли подглядѣть ихъ грезы и подслушать предсонныя мечты,—мы бы согласились, можетъ быть, съ газетными объявленіями, что на такомъ то балѣ, въ извѣстномъ намъ городѣ, если не всѣмъ, то нѣкоторымъ бываетъ очень весело.

Изъ нѣсколькихъ лѣтъ жизни, проведенной въ разныхъ болѣе или менѣе удаленныхъ отъ столицъ краяхъ многоземельной Россіи, изъ многихъ встрѣчъ и знакомствъ, сдѣланныхъ тамъ съ пріѣзжавшими въ тѣ же края изъ Петербурга молодыми людьми, мы имѣли случай убѣдиться, что изъ этихъ молодыхъ людей рѣдко пріѣзжалъ кто нибудь изъ Петербурга влюбленнымъ.

Слишкомъ далекій отъ мысли, чтобы причиной такого любопытнаго факта былъ недостатокъ привлекательности здѣшнихъ обитательницъ вообще, а изъ нихъ—моихъ читательницъ въ особенности, я скорѣе готовъ допустить предположеніе, что если уже петербургская жительница прекраснаго пола внушитъ любовь, такъ такую, что нѣтъ никакой возможности оторваться отъ предмета своей страсти.

Положивъ это, мы обращаемся къ нашему разсказу.

Черковъ пріѣхалъ изъ Петербурга, и тоже небылъ влюбленъ, слѣдовательно на другой день бала, вмѣстѣ съ письмомъ отъ Петра Доброхотова онъ повезъ въ домъ Ивана Наумыча сердце, доступное всѣмъ прекраснымъ склонностямъ, начиная отъ легкой дружбы до пылкой любви включительно.

И дѣйствительно, легкая дружба—тонкое и милое растеніе, на которомъ часто, къ совершенному удивленію, развертываются очень полные цвѣточки, извѣстные подъ именемъ любви,—легкая дружба, говорю я, вскорѣ и незамѣтно пустила корешки *въ свѣжія* сердца Сашеньки и Черкова, и очень пріятно защекотала ихъ. Весело было нашимъ героямъ танцовать другъ съ другомъ, потому что оба танцовали очень мило и, какъ говорится, удачно станцовались. Весело имъ было ворковать другъ съ другомъ—если позволено мнѣ будетъ такъ назвать немного-нѣжную и игривую свѣтскую болтовню—гдѣ-нибудь вдвоемъ, въ сторонѣ, внѣ общаго разговора, весело потому, что они открыли въ себѣ удивительное согласіе въ мысляхъ и вкусахъ. Говорилъ ли Черковъ, что такая-то подруга Сашеньки, или молодой человѣкъ, немного ухаживающій за ней, чрезвычайно смѣшны, и дѣйствительно Сашенька находила, что они въ самомъ дѣлѣ очень смѣшны, и ей казалось чрезвычайно страннымъ, что она этого до тѣхъ поръ не замѣчала. Говорила ли Сашенька Черкову, что онъ очень золъ, и что съ нимъ опасно говорить, и хотя Черковъ въ этомъ и защищался, но сознавался въ глубинѣ души, что онъ, дѣйствительно, подчасъ бываетъ очень золъ и даже весьма опасенъ.

Отношенія Черкова въ домѣ Ивана Наумовича давали молодымъ людямъ полную возможность ростить и лелѣять взаимную дружбу, къ совершенному своему удовольствію. Иванъ Наумовичъ былъ хлѣбосолъ. Черковъ, какъ человѣкъ заѣзжій, какъ другъ его сына Петеньки, болѣе чѣмъ кто-либо имѣлъ право на гостепріимство, и надобно отдать справедливость каждому: гостепріимство Ивана Наумовича было радушно, а Черковъ съ своей стороны очень охотно имъ пользовался. Только первый знакомый Черкова, извѣстный въ городѣ злоязычникъ Тептелевъ, иногда подмигивая глазомъ, выражался на этотъ счетъ, что дескать «Доброхотовы петербургскаго-то гуся прикармливаютъ».

И молодые люди пользовались временемъ и возможностью, и дружба ихъ росла и росла, и, несмотря на то, что для нихъ еще была ничѣмъ непримѣтна, въ глазахъ общества неизвѣстнаго намъ города она превратилась въ такое огромное растеніе, которое всѣмъ вообще и каждому въ особенности лѣзло прямо въ глаза и, вмѣстѣ съ тѣмъ, очень раздражительно щекотало языкъ. Очень понятно, что когда случается подобное обстоятельство, когда при взглядѣ на какую-нибудь пару, заподозрѣнную во взаимной склонности, вы чувствуете колотье въ глазу и раздраженіе языка, а это—странная вещь!—случается часто, то недьзя же не сообщить своихъ ощущеній какому-нибудь пріятелю или пріятельницѣ, и не желать удостовѣриться, ощущаетъ ли онъ что-либо подобное. Такъ поступили всѣ безъ исключенія въ неизвѣстномъ намъ городѣ, и всѣ, къ общему удовольствію, удостовѣрили другъ-друга, что ощущаютъ положительно одно и тоже. Получили отрицательный отвѣтъ только тѣ, которые, вслѣдствіе короткости отношеній или шутками, вздумали убѣдиться полнѣйшимъ образомъ, вынудивъ собственное сознаніе виновниковъ безпокоившаго всѣхъ чувства.

Однакожъ, давъ съ совершенной искренностью отрицательные отвѣты, попристальнѣе взглянули

наши герои на свои взаимныя отношенія, и результатъ былъ слѣдующій. Черковъ, возвращаясь поздно вечеромъ домой отъ Доброхотовыхъ, сдѣлалъ себѣ такой вопросъ:

«А вѣдь, кажется, я Сашенькѣ-то вскружилъ немного голову?»

И, убѣдившись, что на улицѣ господствуетъ, вопреки горящимъ фонарямъ, совершенный мракъ, очень самодовольно улыбнулся.

Въ тоже время Сашенька, укладывая передъ зеркаломъ свою темную косу подъ бѣленькій ночной чепчикъ, подумала:

«А кажется, Черковъ-то совершенно влюбленъ въ меня.»

И, осмотрѣвшись въ зеркало, она весело улыбнулась и отдала Черкову справедливость, что у него вкусъ недуренъ.

О, молодость! молодость наивная, безкорыстная! Никому изъ нихъ и въ голову не пришло попытаться заглянуть въ свое сердце и посмотрѣть, что тамъ дѣлается. Они только и думали другъ о другѣ!

А еще есть люди, которые говорятъ, что нынче всѣ страшные эгоисты!

Но не безнаказанно любознательный человѣкъ тѣшится тѣмъ, что задаетъ себѣ тотъ или другой вопросъ. Не успѣетъ онъ отвѣтить на него, какъ совершенно уже безъ его вѣдома изъ этого рѣшеннаго вопроса вылѣзаетъ какой нибудь близкій его родственникъ и, опираясь на права наслѣдства, требуетъ и на свою долю бо́льшую или меньшую часть вашихъ мыслительныхъ способностей, а за нимъ и другой, и третій, пока наконецъ, утомленные толпой претендентовъ, вы не прогоняете ихъ вмѣстѣ съ родоначальникомъ и принимаетесь, избѣгая всякихъ умственныхъ занятій, играть въ карты или читать современныя повѣсти.

Такъ было и съ Черковымъ. Рѣшивъ положительнымъ образомъ вопросъ о степени расположенія къ себѣ Сашеньки, ему, во всей обширности и съ разныхъ точекъ зрѣнія, представился другой: «кто такая Сашенька?» На это онъ отвѣчалъ:

Сашенька миленькая шестнадцатилѣтняя дѣвочка, съ умненькими глазками, что̀ ему очень нравилось.

Она говоритъ хорошо по-французски, играетъ по утрамъ на фортепіано, танцуетъ граціозно, отвѣчаетъ на разные тонкіе вопросы такъ непринужденно, какъ только можетъ отвѣчать дѣвочка съ умненькими глазками,—слѣдовательно она умна и прекрасно образована.

Состояніе Сашеньки... но тутъ въ глазахъ Черкова очень непріятно зарябило что-то много маленькихъ ея братцевъ и сестрицъ, которыхъ онъ всѣхъ не успѣлъ еще привести въ извѣстность. Впрочемъ, какое ему до этого дѣло? Вѣдь не жениться же ему на ней! Онъ только хотѣлъ удостовѣриться, не будетъ ли компрометировать его побѣда надъ нею, прилично ли ему ухаживать за ней, и удостовѣрился, что подобная побѣда не только прилична во всѣхъ отношеніяхъ, но даже будетъ ему дѣлать честь, особенно принявъ въ соображеніе, что сердце Сашеньки до сихъ поръ еще никѣмъ, сколько извѣстно по слухамъ, завоевано не было. Тутъ онъ хотѣлъ было, на всякій случай, привести въ нѣкоторую ясность состояніе Ивана Наумовича, но, очутившись въ продолженіе предъидущихъ мыслей на своей постели, онъ услыхалъ, какъ слуга его, вытянувъ губы, дунулъ на свѣчку, и кругомъ его стала темнота. Въ потьмахъ Черковъ думать не могъ, и потому, уткнувшись лицомъ въ подушку, онъ уснулъ безмятежнымъ сномъ благоразумнаго юноши, который привелъ въ нѣкоторый порядокъ сердечныя дѣла, съ удовольствіемъ нашелъ въ нихъ приходъ, и полагая, что если бы ему и пришлось немного запутать ихъ собственной склонностью, то отъ любви до женитьбы еще далѣе, нежели отъ займа денегъ у пріятелей до расплаты съ ними.

Но не такъ хитростны и разсчетливы наивныя мысли у дѣвушекъ. Увидавъ молодаго человѣка, извѣстнымъ образомъ улыбающагося при встрѣчѣ съ ними, или даже еще и не улыбающагося, онѣ задаютъ себѣ простой и ясный вопросъ: «партія онъ мнѣ или не партія?» Вопросъ этотъ онѣ разсматриваютъ съ своей собственной точки зрѣнія: онѣ думаютъ только, съ кѣмъ онѣ будутъ входить въ общество и въ чемъ онѣ будутъ входить. Такъ думала и Сашенька.

Она думала, что наружностью Черковъ весьма удовлетворителенъ и, слѣдовательно, показаться съ нимъ въ свѣтъ очень пріятно, что одѣтъ онъ всегда мило и со вкусомъ, слѣдовательно и она не встрѣтитъ затрудненія въ выборѣ своего туалета. Имя его не дурно. Фамилія очень порядочная и приличная; и съ этой стороны не встрѣтится никакого препятствія къ ихъ взаимному счастію, какъ оно встрѣтилось ея подругѣ Надинѣ, которая должна была отказать одному премилому молодому человѣку оттого только, что еще съ самыхъ юныхъ лѣтъ, когда въ школѣ на перекличкѣ дежурный кричалъ: «Гаврила Затычка!» этотъ молодой человѣкъ благодаря своему родоначальнику-малороссу, поставленъ былъ въ непріятную обязанность отвѣчать: «я!»

Въ такихъ пріятныхъ мысляхъ заснула Сашенька и видѣла во снѣ, что примѣривала прехорошенькій дамскій головной уборъ и чудесно вышитый гладью распашной капотъ, и очень совѣстилась, что должна была примѣривать ихъ при Черковѣ...

Свой особенный взглядъ имѣютъ также родители молодыхъ людей, особенно людей женскаго пола. Но объ этомъ взглядѣ мы поговоримъ послѣ, а теперь искренно пожелаемъ исполненія твоихъ, о юность! сладкихъ грёзъ. Осторожно ступаешь ты по скользкому наклону чувствъ и внимательно осматриваешь своего противника, прежде нежели садишься съ нимъ играть по маленькой. И хорошо дѣлаешь! какъ знать, чѣмъ кончится игра!...

—

Случилось мнѣ въ дѣтствѣ быть свидѣтелемъ слѣдующаго происшествія:

Сидѣлъ я у открытаго окна и училъ наизустъ географію. Окно выходило на берегъ пруда. День былъ жаркій, и двое осьмилѣтнихъ мальчишекъ: Сидорка и Ефремка, соблазнясь приманчивой прохладой воды, вздумали купаться. Дно пруда было мягкое, вода стояла не шелохнувшись какъ стекло, и они шутя забрели по поясъ. Тутъ зашелъ между ними слѣдующій разговоръ:

— А ты, Ефремка, зайди вотъ по плечи, сказалъ Сидорка.

— Ишь ты, какой прыткой! сказалъ Ефремка.

— Ничего, а ты ступай, ступай, Ефремка, а я-те пособлю, сказалъ Сидорка.

И, дѣйствительно, онъ началъ пособлять, тихонько подталкивая его въ спину.

— Ну, а теперь ты ступай, сказалъ Ефремка, войдя по горлышко: — ступай.

И пошелъ Сидорка по горлышко, а Ефремка его подталкивалъ.

— А теперь такъ ступай, чтобы вода тебѣ подъ носъ подошла, сказалъ Ефремка, подталкивая его.

И дѣйствительно, Сидорка зашелъ такъ, что вода подступила ему подъ носъ; онъ даже имѣлъ любопытство понюхать ее—захлебнулся и пошелъ пускать пузыри. Ефремка полюбовался пузырями достаточное время, а потомъ ужь побѣжалъ сказать объ этомъ сидоркиной матери, которая мыла на берегу бѣлье.

— Глядь-ка, тетка Ѳедосья, какъ Сидорка-то буль-бульки пуска-итъ, сказалъ онъ, вытянувъ послѣдній слогъ.

Къ счастью, тетка Ѳедосья подоспѣла во-время, вытащила сынишку изъ воды и, давъ ему очнуться, тутъ же на берегу прочла ему очень чувствительное нравоученіе по заднимъ частямъ.

Это полузабытое происшествіе пришло мнѣ на память по поводу моихъ героевъ.

Разъ, въ зимній вечеръ, очень вскорѣ послѣ описанныхъ мною разсужденій, Черковъ былъ, по обыкновенію, у Доброхотовыхъ. Постороннихъ, кромѣ его, никого не было. Анна Кондратьевна сидѣла въ угловой комнатѣ за какой-то работой, Иванъ Наумовичъ сидѣлъ въ кабинетѣ, а Черковъ ходилъ съ Сашенькой. Ходили они вдвоемъ по длинной залѣ и занимались очень весело оживленными разговорами. Вотъ какого невиннаго рода была ихъ бесѣда. Черковъ, какъ намъ извѣстно, полагалъ, что Сашенька имъ интересуется; Сашенька съ своей стороны полагала, что Черковъ въ нее немножко влюбленъ. Оба они очень были довольны своими предположеніями, и каждому, по естественному любопытству, хотѣлось въ нихъ удостовѣриться. Есть одинъ очень милый и никогда неистощимый для людей, чувствующихъ другъ къ другу легкое влеченіе, предметъ разговора—предметъ нѣсколько избитый, если хотите, но въ которомъ всегда остается, по видимому, какой нибудь нетронутый уголокъ: — это разговоръ о чувствахъ. И кто изъ насъ въ былыя времена, съ тайнымъ трепетомъ сердца, не разработывалъ этого нетронутаго уголка на страстный, элегическій или шутливый тонъ, смотря потому, обращалась ли рѣчь къ чернымъ, темноголубымъ или небольшимъ каримъ глазамъ? и кто изъ насъ, въ душевной простотѣ, не полагалъ, что онъ открылъ новый міръ чувствъ, что онъ высказалъ тьму самыхъ новыхъ и никому невѣдомыхъ тонкостей! Счастливъ тотъ, которому внимали, съ сочувствіемъ, на кого умильно смотрѣли въ то время извѣстные ему глаза: онъ дѣйствительно открывалъ для себя маленькій міръ новыхъ чувствъ и невѣдомыхъ ему ощущеній! Но есть въ этомъ разговорѣ другое поле, менѣе чувствительное, но болѣе остроумное: на немъ развѣдываются чувства, ловятся и истолковываются взгляды, и представляется ловкому человѣку много извилинъ, по которымъ очень удобно и деликатно можно завести желаниый предметъ въ болѣе тонкія мѣста. Въ эту игру очень охотно и мастерски играютъ между собою и дипломаты, и свѣтскіе донъ-жуаны обоего пола. Этой игрой играли и наши самоучки. И надобно отдать имъ справедливость, они играли очень хорошо для начинающихъ. Нельзя передать эту смѣсь словъ, взглядовъ, намековъ и улыбокъ... все имѣло тутъ значеніе: очень ловко дѣлали они другъ другу тонкіе вопросы, перетолковывали отвѣты, ловили на словахъ и довольно искусно разставляли одинъ другому маленькія ловушки, попавшись въ которыя, какое нибудь неосторожно-ободряющее слово оттуда уже не выпускалось, а откладывалось въ запасъ пріобрѣтеній. Такимъ образомъ, они, за исключеніемъ мелодраматическаго конца (да извинятъ мое сравненіе), напоминали нѣкоторымъ образомъ тѣхъ двухъ мальчишекъ, которыхъ я видѣлъ въ дѣтствѣ, и, очень наивно подталкивая другъ друга впередъ по дорогѣ чувствъ, говорили иными фразами: «влюбитесь въ меня вотъ до сихъ поръ, а я вамъ пособлю!» Каждому очень хотѣлось, чтобы другой влюбился по уши, хотя еще оба, надо отдать справедливость, были далеки отъ этой желанной черты.

Въ такихъ пріятныхъ и изощряющихъ умъ занятіяхъ время идетъ весело и быстро. И не думаетъ ни о чемъ, предаваясь имъ, беззаботная молодость; но думаетъ иногда за нее дальнозоркая и мнительная старость.

Въ это время, когда Черковъ и Сашенька прогуливались по залѣ, дверь кабинета тихонько отворилась, высунулась оттуда сѣденькая голова Ивана Наумовича, а за нею вошла и вся его добродушная фигура.

— А! Василій Ѳедорычъ! сказалъ онъ и, крѣпко пожавъ его руку, прибавилъ: — не хотите ли табачку?

Хотя Иванъ Наумовичъ и зналъ, что Черковъ табаку не нюхаетъ, но это была его особеннаго рода шутка, которую онъ употреблялъ всегда, когда бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа.

— Благодарю васъ! улыбаясь, отвѣчалъ Черковъ.

— Какой вы чиновникъ, коли табаку не нюхаете! сказалъ Иванъ Наумовичъ.

И это была опять особеннаго рода шутка, которую всякій разъ говаривалъ Иванъ Наумовичъ послѣ отказа Черкова.

Въ этотъ вечеръ онъ до того былъ въ хорошемъ расположеніи духа, что попотчивалъ табакомъ даже Сашеньку. Сашенька была тоже въ не менѣе хорошемъ расположеніи духа и, чтобы доставить удовольствіе папа, взяла немножко табаку, прищурила глазки, понюхала и расчихалась.

— Вотъ будетъ славная чиновница, сказалъ Иванъ Наумовичъ.

И, совершенно довольный своей шуткой, онъ весело отправился къ женѣ.

Анна Кондратьевна, какъ было уже замѣчено, сидѣла за работой, въ угловой, черезъ двѣ отъ залы, комнатѣ.

Иванъ Наумовичъ подсѣлъ на диванъ къ супругѣ, щелкнулъ съ раздумьемъ по табакеркѣ, открылъ ее, довольно долго помялъ табакъ двумя пальцами, наконецъ сбоченилъ голову и протяжно понюхалъ.

— Что это вы шьете, Анна Кондратьевна? сказалъ онъ нѣсколько саркастическимъ тономъ.

— А вотъ Сашенькѣ пар-де-сю на голову, сказала она, да и посмотрѣла вопросительно на Ивана Наумовича.

— Нѣтъ, я такъ! я въ ваши женскія дѣла не мѣшаюсь, сказалъ онъ.

Они помолчали.

— А что это пар-де-сю-то въ приданое, что-ли? сказалъ Иванъ Наумовичъ.

— Какое приданое! Это просто, чтобы, ѣхавъ съ балу, на голову надѣвать отъ простуды, отвѣчала Анна Кондратьевна.—Съ чего ты взялъ приданое?

— Да такъ! Я вѣдь въ вашихъ нарядахъ толку не знаю: мое дѣло мужское, сказалъ Иванъ Наумовичъ, скромно подсмѣиваясь.

Вмѣсто отвѣта Анна Кондратьевна отложила шитье, прислонилась своей широкой спиной къ спинкѣ дивана и, сильно прищурившись, посмотрѣла на Ивана Наумовича.

А Иванъ Наумовичъ пощелкивалъ по табакеркѣ и разсѣянно посматривалъ на стороны.

— Жанъ! я тебя рѣшительно не понимаю, сказала наконецъ Анна Кондратьевна.

— Да я ничего, матушка! простодушно замѣтилъ Иванъ Наумовичъ. — Я вотъ только думалъ, какъ бы намъ съ тобой новый-то нашъ знакомый какого-нибудь петербургскаго пар-де-сю на голову не надѣлъ.

Анна Кондратьевна опустилась пониже на диванъ и приняла ту спокойную позу, которую даетъ основательное пониманіе предмета разговора.

— Пустяки! сказала она: — Александринъ еще ребенокъ: это они такъ только.

— Ну, Саша-то не очень ребенокъ, возразилъ, какъ будто про себя, Иванъ Наумовичъ. — Можетъ, они и не совсѣмъ такъ только.

— Что-жь! если бы у нихъ что и вышло: Черковъ, кажется, партія приличная! несовсѣмъ увѣренно сказала Анна Кондратьевна.

— А ты его знаешь? спросилъ Иванъ Наумовичъ, такимъ тономъ, что Анна Кондратьевна нѣсколько обезпокоила диванъ.

— А что? спросила она.

— А то, матушка, что мы Черкова-то съ тобой меньше китайской грамоты знаемъ. Онъ, кажется, человѣкъ хорошій: не пьетъ, не играетъ, ну, и съ Петей знакомъ; да кто онъ таковъ, а?

— Я напишу Пьеру съ первой же почтой, сказала Анна Кондратьевна такъ торопливо, какъ будто спѣшила писать.

— Какъ знаешь, матушка! я въ ваши женскія дѣла не мѣшаюсь, сказалъ скромно Иванъ Наумовичъ, хотя у него уже наканунѣ посланы были сыну Петру нѣкоторые вопросные пункты.

И онъ предобродушно улыбнулся Сашѣ и Черкову, которые вошли въ это время въ комнату.

—

Должны мы сознаться и вынуждены довести до всеобщаго свѣдѣнія, что жители провинціи имѣютъ два совершенно ложныя убѣжденія. Во-первыхъ, они очень ошибочно полагаютъ, что существенное призваніе ихъ петербургскаго знакомаго состоитъ въ томъ, чтобы немедленно и аккуратно исполнять всѣ ихъ коммиссіи. Во-вторыхъ, они крайне заблуждаются, думая, что кто-нибудь знаетъ въ Петербургѣ своего знакомаго, т. е. такъ знаетъ, какъ они привыкли знать своихъ провинціальныхъ.

По первому пункту, я полагаю, что никто изъ жителей Петербурга не будетъ въ претензіи на своихъ провинціальныхъ знакомыхъ, если они съ своими порученіями будутъ предпочтительно обращаться въ контору компаніи комминссіонерства подъ фирмою «Дѣятельность», и думаю даже, что это будетъ небезвыгоднѣе и для самихъ поручителей. По второму пункту,—что нѣтъ ниодного тайнобрачнаго растенія, котораго бы жизненное питаніе было менѣе извѣстно натуралисту, нежели жизненное питаніе и родственныя связи петербургскаго молодаго человѣка средней руки — своимъ петербургскимъ же пріятелямъ.

По этому Иванъ Наумовичъ былъ не совсѣмъ удовлетворенъ, когда письмо его къ сыну, пропрыгавъ въ различныхъ сумкахъ немалое количество верстъ, съ отдыхомъ, впрочемъ, въ разныхъ губернскихъ конторахъ, принесло ему черезъ мѣсяцъ отвѣтъ, пропрыгавшій то же количество верстъ и тоже съ отдыхами.

Вотъ какія свѣдѣнія Петруша сообщалъ папенькѣ о Черковѣ, при чемъ мы позволимъ себѣ отмѣтить въ скобкахъ данныя, на которыхъ они основаны...

Писалъ онъ, что знаетъ Черкова съ отличной стороны давно и хорошо (они встрѣчались, кромѣ

публичныхъ мѣстъ, постоянно разъ въ недѣлю у одного общаго знакомаго), что Черковъ на прекрасной дорогѣ (занимаетъ видное мѣсто безъ жалованья), любимъ начальникомъ (который всегда съ нимъ кланяется, и даже съ улыбкой), любимъ въ обществѣ (въ маскарадахъ бываетъ интригуемъ), и, должно полагать, имѣетъ состояніе (абонированное кресло въ оперѣ и хорошій туалетъ).

Хотя эти свѣдѣнія и показались Ивану Наумовичу недостаточно обстоятельными (если бы зналъ Иванъ Наумовичъ, на чемъ они основаны!), но, прибавляя къ нимъ собственныя наблюденія, по которымъ ему было извѣстно, что хоть Черковъ не совсѣмъ обстоятельный, не то, чтобы солидный человѣкъ, который никогда не пропадетъ, но и не пьяница, не игрокъ и не мотыга,—онъ положилъ, что нѣтъ пока необходимости прерывать ходъ дѣлъ, и предоставилъ дѣла молодыхъ людей ихъ собственному теченію.

А пока они текутъ къ извѣстной имъ, а можетъ быть и неизвѣстной цѣли, нужно намъ самимъ сказать наконецъ, кто такой нашъ герой.

Раздирая понемногу завѣсу, подъ которой таится его петербургская личность, мы, къ удовольствію читателей, замѣтимъ, что семейныя отношенія Черкова остаются для насъ покрытыми такимъ туманомъ неизвѣстности, что онъ сначала представляется намъ чѣмъ-то въ родѣ Венеры, родившейся, какъ достовѣрно извѣстно, изъ морской пѣны. Мальчикомъ привезенъ онъ былъ въ Петербургъ и отданъ въ одно прекрасное учебное заведеніе, въ которомъ съ успѣхомъ учился многимъ наукамъ, впослѣдствіи совершенно забытымъ. По окончаніи курса, онъ является передъ нами, какъ говорится, на своихъ уже ногахъ, т. е. ходящимъ съ ихъ помощію въ департаментъ и проживающимъ наслѣдство. Видимая часть этого наслѣдства было золотое кольцо съ гербомъ, невидимая — такъ и остается невидимой. Велика ли она была, или нѣтъ, наслаждался ли онъ только ея плодами, или прикусывалъ и часть плодоносныхъ вѣтвей—совершенно неизвѣстно. О родителяхъ онъ не говорилъ и, вѣроятно, имѣлъ несчастіе потерять ихъ въ раннемъ дѣтствѣ; въ отпускъ никуда не ѣздилъ и принадлежалъ весь Петербургу, какъ растеніе его наносной почвы, Богъ вѣсть откуда на нее занесенное, которое довольно комфортно пускаетъ свои маленькіе корни нисколько не заботясь о томъ, что, можетъ быть, остались въ какомъ нибудь дальнемъ краѣ другіе корешки, ему весьма родственные. Жилъ Черковъ въ Петербургѣ порядочно, т. е. многаго себѣ не позволялъ и во многомъ себѣ не отказывалъ. Квартира у него была небольшая, содержалась опрятно наемнымъ слугою и неохотно посѣщалась мухами, за совершеннымъ отсутствіемъ въ ней всего съѣдомаго. Черковъ чувствовалъ въ себѣ врожденную склонность къ музыкѣ и постоянно занимался ея изученіемъ въ креслѣ итальянской оперы,— отдавалъ должную справедливость платью, находя, что оно ровно столько же краситъ человѣка, сколь и человѣкъ его, и потому заботился о немъ, какъ и о собственной личности. Въ литературѣ считалъ онъ обязанностью прочесть каждую книгу, о которой много говорятъ, а такъ какъ о русскихъ книгахъ, въ извѣстныхъ кругахъ, не только мало не говорятъ, но и не говорятъ вовсе, то онъ и себя и не утруждалъ, — впрочемъ, былъ отчасти знакомъ съ Пушкинымъ, Лермонтовымъ и Гоголемъ и отзывался о нихъ съ очень выгодной стороны, но другихъ литераторовъ считалъ, весьма основательно, недостаточно-возвысившимися, чтобы съ успѣхомъ занимать его особу. Русскихъ газетъ онъ также рѣшительно не читалъ и даже питалъ къ нимъ недоброжелательство, но дурно переварилъ свой утренній кофе, если не могъ за нимъ прочесть *дебаты* (Journal des Débats). Вообще, Черковъ интересовался всѣмъ современнымъ, съ любопытствомъ узнавалъ, кто выбранъ депутатомъ города Коко, не всегда обозначаемаго на картахъ, смущался финансовымъ кризисомъ Испаніи, очень безпокоился и даже совѣщался съ своими знакомыми, получитъ ли англійское министерство нужное большинство при балотировкѣ предстоящаго билля о безпошлинномъ ввозѣ хлопчатой бумаги, а къ настоящей гаванской сигарѣ чувствовалъ такое уваженіе, какое питаютъ индійцы къ мистическому лотосу. Затѣмъ общерусскихъ слабостей къ охотѣ, лошадямъ, собакамъ, картамъ и къ крѣпкимъ напиткамъ, какъ истый петербургецъ, Черковъ не имѣлъ и даже не понималъ, какъ можно ихъ имѣть.

Вотъ каковъ былъ господинъ Черковъ, котораго судьба привела на время въ провинцію.

Въ ней онъ не скучалъ... по многимъ причинамъ: главная состояла въ томъ, что онъ нашелъ въ клубѣ *дебаты* и встрѣтилъ на балѣ прехорошенькое личико, съ умненькими глазками; но дебаты, къ крайнему его огорченію, опаздывали и теряли цѣну свѣжести, а хорошенькое личико было свѣжо, какъ весенній цвѣтокъ, и съ каждымъ днемъ становилось для него новѣй и интереснѣе, и вскорѣ дебаты, можетъ быть въ первый разъ въ жизни, были имъ забыты.

Куда, однакожь, запыли молодые люди, отданные собственному произволу?

Времени съ тѣхъ поръ утекло довольно (для любви каждый день дорогъ), а они не теряли времени. Опять нашъ разсказъ застаетъ ихъ то тутъ, то тамъ, и все вмѣстѣ, и все въ неистощимой бесѣдѣ; но не такова уже теперь ихъ бесѣда! Не нужно имъ было выпытывать другъ у друга маленькихъ намековъ, двусмысленныхъ полупризнній. Нѣтъ! забавная игорка не маленькой кончилась. Все, что можно было сказать шутя, обѣщать, себя не связывая, все было высказано, и сознавалъ каждый изъ нихъ, что въ его груди зашевелилось искреннее чувство. Наши юные игроки вытащили всѣ карманныя деньги маленькихъ чувствъ, и имъ приходилось играть на фонды. Надо отдать

нимъ справедливость: искусно завели они одинъ другаго до послѣдней полосы, на которой нога еще чувствуетъ подъ собою дно; ниодному изъ нихъ не удалось пустить впередъ по опасному пути своего соперника; но, дойдя до этой грани, они оба остановились. Еще шагъ—и спасительный грунтъ потерянъ, и охватитъ тебя зыбкая волна, и начнетъ качать по своей прихоти: закружится голова, и отдашься ты ея произволу! А тутъ-то твой другъ-противникъ, наклонясь и свѣсившись самъ надъ кипучей бездной, поймаетъ тебя твердой рукою и если не спасетъ на выгодныхъ условіяхъ, такъ съ удовольствіемъ окунетъ поглубже...

Время шло къ великому посту; дѣло, по которому пріѣхалъ Черковъ, кончилось; сегодня послѣдній балъ, на которомъ онъ танцуетъ съ Сашенькой мазурку. Послѣдняя мазурка—это заключительная глава всякаго любовнаго романа, который если не оканчивается ею, то, по крайней мѣрѣ, переходитъ во вторую часть.

Чувствовали это наши герои, и не безъ волненія ожидали они этого бала. Долго обдумывала Сашенька свой туалетъ и не придумала ничего лучше, какъ одѣться почти такъ, какъ она была на своемъ первомъ балѣ. Это было вдохновеніе врожденнаго кокетства дѣвушки, инстинктивно доходящаго до тѣхъ же выводовъ, къ которымъ приводитъ самое разсчетливое и обдуманное кокетство женщины на поворотѣ лѣтъ. Съ тайнымъ волненіемъ занималась Сашенька этимъ туалетомъ. Въ маленькомъ романѣ съ Черковымъ ея роль была полустрадательная. Она не могла дѣйствовать иначе, какъ своимъ вліяніемъ; ей оставалось только ждать развязки, которую заблагоразсудится сдѣлать Черкову; но она могла тоже приблизить, отдалить и склонить эту развязку въ ту или другую сторону. Извѣстна та сторона, на которую дѣвицы, встрѣтивъ приличную партію, клонятъ ее. Можно догадываться, съ какимъ чувствомъ сбирается дѣвушка на балъ, когда ожидаетъ, что тамъ, можетъ быть, ей будетъ сдѣлано предложеніе. Такъ собиралась Сашенька, съ полу-довольной, нетерпѣливой улыбкой посматривая въ зеркало на свое разгоравшееся личико, и трепетавшей отъ волненія рукой давала она послѣднюю складку своему наряду. Не безъ волненія посматривала на нее и Анна Кондратьевна, чуявшая материнскимъ сердцемъ, что что-то творится въ сердцѣ ея дочери: пугала ее ея неопытность, но нѣсколько успокоивали ея умненькіе глаза. Одинъ только Иванъ Наумовичъ оставался равнодушенъ, какъ будто ничего не замѣчалъ, и, понюхивая табакъ, торопилъ жену и дочь къ отъѣзду.

Долго передъ этимъ баломъ, заложивъ руки за спину, ходилъ и Черковъ изъ угла въ уголъ по своему пустынному нумеру въ гостинницѣ. Изъ взаимныхъ отношеній нашихъ двухъ героевъ,—его было наиболѣе затруднительное: ему предстояло разрубить тотъ маленькій гордіевъ узелъ, который они оба такъ весело путали. Онъ не спрашивалъ себя, любитъ ли онъ Сашеньку, потому что всякій разъ, какъ онъ вздумывалъ о ней, онъ невольно и съ удовольствіемъ улыбался, и разнообразныя впечатлѣнія, произведенныя Сашенькой, выражалъ одной фразой: «чортъ знаетъ, какъ мила!» Но съ мыслью о скорой разлукѣ ему пришла и другая: «а не жениться ли мнѣ?» И этой мысли онъ тоже улыбался, но другой улыбкой — не совсѣмъ рѣшительной. Серьезныхъ онъ препятствій тому не находилъ: Сашенька мила, умна, хорошо воспитана и къ нему не совсѣмъ равнодушна. Состояніе его, вмѣстѣ съ ея приданымъ, достаточны, чтобы жить такъ, какъ привыкли они жить; но жениться? И при этой мысли ему становилось какъ-то страшно, точь-въ-точь, какъ иногда въ лѣтній день—такъ и хочется броситься въ холодную рѣку, а боишься: вода холодна!

А сегодня послѣдній балъ, послѣдняя мазурка! неужели послѣдняя? Однако, пора! пора! И онъ пошелъ съ рѣшимостью защищаться и, если можно, побѣдить; но подумывалъ, что пріятно будетъ и сдаться!

Балъ уже дошелъ до половины. У Сашеньки не было недостатка въ кавалерахъ, и она танцовала много; но среди танцевъ ея глаза иногда разсѣянно пробѣгали по толпѣ мужчинъ, стоявшей въ отдаленіи, и не такъ непринужденно, какъ всегда, она поддерживала разговоръ.

Но вотъ одна ея подруга—простенькая, добрая и невзрачная—лучшая ея подруга, потому что не могла быть соперницей, поправила мимоходомъ ей ленточку на рукавѣ; Сашенька взглянула въ сторону и стала весела, какъ всегда, живѣе стали ея танецъ и разговоръ, и ея кавалеръ, скромно приписывая себѣ эту перемѣну, тоже повеселѣлъ и сдѣлался очень доволенъ собою.

А въ сторонѣ, у колонны, въ это время появился Черковъ.

Черковъ не танцовалъ во весь балъ; но заиграла мазурка—онъ подошелъ къ Сашенькѣ и повелъ ее на мѣсто.

О мазурки, мазурки! Когда варшавскіе танцоры танцовали васъ на сценѣ Большаго театра, у многихъ изъ аплодирующихъ зрителей сильно билось сердце, безъ отчета вспоминая другія, давно оттанцованныя мазурки!...

Боже мой, какая хорошенькая въ этотъ вечеръ была Сашенька! Какъ хорошъ былъ ея свѣжій бѣлый нарядъ! какъ сама она была въ немъ свѣжа и нарядна! Онъ живо напомнилъ Черкову первый балъ, на которомъ онъ увидалъ ея первый, еще немного робкій шагъ въ свѣтѣ; но какъ она похорошѣла, какъ прекрасно сформировалась въ эту зиму! Полураздвѣтшій розанъ развернулся пышно, и раскрылась въ его глубинѣ вся тугая столистенная завязка румяныхъ лепестковъ.

Они заняли мѣсто въ уголку, подальше. Черковъ посмотрѣлъ на свою даму, подумалъ любимую фразу... да только объ этомъ ужь и думалъ.

Я же, съ своей стороны, теперь твердо убѣжденъ,

что Сашенька рѣшительно не создана для глуши роднаго города: нѣтъ! ранѣе или позже, Черковъ или кто иной—увидите—увезетъ и пересадитъ ее на другую, болѣе людную и богатую почву!

Тоже думала и одна ея пріятельница, сама крѣпко желавшая подобнаго переселенія и, хотя не по внутреннему достоинству, но по давности претензіи имѣвшая на него неоспоримое право.

Всѣ остальные члены бала не только думали, но и говорили, что Черковъ женится на Сашенькѣ.

А они сидѣли въ сторонѣ. Имъ хотѣлось сказать много, хотѣлось услыхать другъ отъ друга еще болѣе — и они молчали.

Дѣвицы съ умненькими глазками хорошо владѣютъ собою: Сашенька первая прервала молчаніе.

— Вы скоро ѣдете? спросила она.

— Не знаю! отвѣчалъ Черковъ, и въ самомъ дѣлѣ въ эту минуту не зналъ онъ, когда ѣдетъ,— и уѣдетъ ли когда-нибудь.

Въ это время подруга-съ-претензіей выбрала Сашеньку.

Когда его дама возвратилась, Черковъ немного собрался съ мыслями.

— Вы меня спрашивали, когда я ѣду... сказалъ онъ.—Я долженъ скоро ѣхать. Но... скажите, вамъ никогда не случалось уѣзжать куда-нибудь надолго — уѣзжать съ мыслію, что, можетъ быть, никогда не пріѣдется опять пріѣхать въ этотъ городъ?

— Никогда, отвѣчала Сашенька.

— Это странное и непріятное чувство! я самъ его въ первый разъ испытываю. Пріѣдешь въ совершенно новый кругъ людей, ознакомишься съ нимъ, войдешь въ его жизнь и поживешь этой жизнью... и... уѣдешь!

Черковъ говорилъ какимъ-то грустнымъ напѣвомъ, и—странная вещь! — Сашенька нашла, что онъ сказалъ что-то грустное и многозначительное, и сама немножко задумалась.

— Хорошо, если, продолжалъ Черковъ, медленно говоря:—хорошо еще, если остаешься безучастнымъ зрителемъ и веселостей, и интересовъ этого круга, посмотришь на него, какъ на какой-нибудь спектакль, на пестрый дивертиссементъ, и равнодушно поѣдешь домой пить чай. Но если этотъ спектакль привлечетъ вниманіе, если увидишь на немъ дѣйствующее лицо, которому сочувствуешь, въ которому привяжешься, если какое-нибудь лицо такъ увлечетъ собою, что его радости невольно васъ радуютъ, его печали васъ печалятъ, тогда непріятно уѣзжать въ самой срединѣ спектакля и думать, что будетъ еще ваше любимое лицо, ваша любимая актриса играть долго, и будетъ, можетъ быть, еще интереснѣе, еще увлекательнѣе; но вы ничего этого не увидите, а увидитъ это какой-нибудь вашъ сосѣдъ, который имѣетъ привычку хохотать въ патетическомъ мѣстѣ, если комическій лакей, утирая слезы, вынетъ дырявый платокъ, для удовольствія зрителей...

— Въ этомъ случаѣ едва-ли не непріятнѣе положеніе того лица, которое остается играть передъ такими зрителями, задумчиво замѣтила Сашенька. — Говорятъ, что уѣзжающему всегда легче... Скажите откровенно, прибавила она съ лукавовеселой, но не знаю, искренней ли, улыбкой: — ждетъ васъ кто-нибудь въ Петербургѣ... нетерпѣливо... съ кѣмъ бы вамъ хотѣлось очень, поскорѣе увидаться?..

Имъ пришлось дѣлать фигуру.

— Да, сказалъ Черковъ, вставая:—меня ждетъ... мой наемный слуга; но я не спѣшу къ этому свиданію...

И въ то время, когда онъ слегка притопывалъ и подпрыгивалъ подъ музыку, передъ нимъ мысленно пронеслось все то, что ожидало его въ Петербургѣ: его комфортная и пустая квартира, безъ мухъ, въ четвертомъ этажѣ, груда старыхъ *debats* въ бандероляхъ, концерты заѣзжихъ артистовъ, обѣды въ ресторанахъ, гдѣ всегда пахнетъ кухней, а лѣтомъ—Излеръ со своими увеселеніями, прогулки по окрестностямъ, въ безукоризненномъ туалетѣ, и наслажденіе красотами природы въ то время, когда васъ толкаютъ справа и слѣва, и, вмѣсто живописнаго пейзажа, вы неожиданно усматриваете проѣзжающій подъ носомъ экипажъ, который обдаетъ васъ пылью, или грязью...

И все, что прежде составляло развлеченіе и удовольствіе Черкова, показалось ему холодно, безжизненно: погрѣвшись хоть у чужаго, но теплаго домашняго очага, ему не хотѣлось оторваться отъ него для пестраго и уже, какъ ему казалось, скучнаго фейерверка!..

— Да, сказалъ Черковъ, возвращаясь на мѣсто и принимаясь за прежнюю тему, потому что въ головѣ его происходилъ маленькій безпорядокъ:— тѣмъ непріятнѣе оторваться отъ интересной драмы, когда дома ждутъ пустота и скука...

— Э, повѣрьте, иногда хорошо не дослушать конца, сказала Сашенька съ легкой грустью: — какъ знать, чѣмъ кончится хорошенькая роль, интересующая въ началѣ... И лучше иногда и для актрисы, и для зрителя, когда онъ, уходя взволнованный, бросаетъ ей букетъ и уноситъ хорошее воспоминаніе!

И Сашенька, увлеченная своей же мыслію, тихо задумалась.

— Но... но когда, сказалъ Черковъ голосомъ совсѣмъ спокойнымъ: — когда оставляешь кругъ, въ которомъ былъ не однимъ зрителемъ, когда самъ, хоть не долго, но былъ тоже дѣйствующимъ лицомъ: тогда... недостаточно бросать букетъ, но... хотѣлось бы и самому увезти что-нибудь, кромѣ воспоминанія...

— Тоже цвѣточекъ? сказала наивно Сашенька и, нерѣшительно оторвавъ камелію изъ своего букета, повертѣла ее двумя пальцами и отдала Черкову.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Черковъ, съ удовольствіемъ воткнувъ цвѣтокъ въ петличку:—хотѣлось бы вывезти убѣжденіе, что вамъ въ этомъ кругу было хоть одно сочувствующее лицо, хоть одинъ зри-

гель, который оцѣнилъ васъ сколько-нибудь, хотѣлось бы...

— Вы недовольны?...

— Но... цвѣтокъ скоро засохнетъ...

— А что же вѣчно? сказала Сашенька, и умненькіе глазки ея потупились и словно чѣмъ-то затуманились...

Черковъ хотѣлъ говорить, но почувствовалъ, что ему точно кто-то совершенно неожиданно защемилъ горло. Онъ кашлянулъ, а въ это время дѣвица-съ-претензіей протянула ему руку.

Онъ только что сѣлъ на мѣсто, а первая пара, въ которой кавалеръ былъ такъ-называемый «душа общества», затѣяла фигуру, гдѣ всѣмъ приходилось участвовать.

— Боже мой! кто выдумываетъ такія фигуры! съ досадой сказалъ Черковъ.

Можетъ-быть тоже думала и Сашенька, но она только улыбнулась.

— Завтра у васъ будутъ человѣкъ десять обѣдать и просидятъ вплоть до ночи, продолжалъ Черковъ, чуть не сердито. — Все утро вы дѣлаете визиты....

— Да, если не очень устану сегодня....

— О! такъ я постараюсь, чтобы вы устали, сказалъ Черковъ и дѣйствительно употребилъ на это все стараніе.

«Душа общества» съ своей стороны далъ тоже, кажется, обѣтъ измучить всѣхъ до послѣдней степени: музыка превратилась въ вальсъ, вальсъ превратился въ польку — и Сашенька, кажется, отъ души уставала съ Черковымъ!

Наконецъ, маменьки, начинавшія дремать въ своихъ креслахъ вдоль колоннъ и образовывавшія собою, съ самаго начала вечера, рядъ маленькихъ разнообразныхъ каріатидъ, поднялись, вырвали у кавалеровъ своихъ разгорѣвшихся дочекъ и, накинувъ имъ на голову различные пар-де-сю, увлекли домой....

Изъ мужчинъ многіе остались. Одни ужинали въ столовой, другіе доигрывали въ карты; Черковъ, не занимавшійся ни тѣмъ, ни другимъ, ходилъ по опустѣвшей залѣ, въ которой догорали уже свѣчи.

Онъ ходилъ и мечталъ, но уже не думалъ. Изрѣдка онъ позволялъ себѣ немножко улыбнуться, и улыбался мечтѣ о завтра: завтра онъ рѣшился сдѣлать предложеніе.

«А! зашибло, видно, тебя, петербургскій кремень!» подумалъ одинъ господинъ и спросилъ Черкова:

— Васъ можно поздравить?

Черковъ остановился, приподнявъ голову: передъ нимъ стоялъ его первый знакомецъ, извѣстный читателямъ Тептелевъ.

— Съ чѣмъ? спросилъ онъ, весьма недовольный, что прервали его сладкія мечты.

— А вотъ хоть съ этой штучкой, лукаво замѣтилъ Тептелевъ, показывая на его цвѣтокъ въ петлицѣ. — Тоже пріятный знакъ отличія, прибавилъ онъ.

Черковъ довольно сухо поклонился.

— Хотя, быть можетъ, можно было бы поздравить васъ и еще кое-съ-чѣмъ, продолжалъ Тептелевъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ.... носится слухъ.... но я не смѣю спрашивать, достовѣренъ ли онъ.... говорятъ, что вы.... женитесь.

«Говорятъ, что ты плутъ и негодяй, но вѣдь я тебя объ этомъ не спрашиваю!» подумалъ Черковъ и отвѣчалъ, пожавъ плечами:

— Мало ли что говорятъ!

— Конечно. Здѣсь то ли выдумываютъ! Да вотъ, напримѣръ, вы знаете, я думаю, Знобкова; рожа еще у него такая, что точно чихнуть сбирается — да вонъ онъ въ карты играетъ. Вотъ-съ, пріѣхалъ онъ сюда и знакомства разныя сдѣлалъ, ну — и у меня былъ....

Тутъ Тептелевъ пріостановился, думая, не извинится ли Черковъ, что не сдѣлалъ ему визита. Обманувшись въ ожиданіи, онъ продолжалъ:

— Вдругъ и заговорили, что онъ женится на старшей Тарасенкѣ: всѣ такъ и положили. Вотъ я разъ тоже этакъ его и спрашиваю: «что, говорю, Петръ Степанычъ, скоро ли мы тебя семьяниномъ увидимъ?» — «А вотъ, говоритъ, заѣзжайте недѣли черезъ двѣ.» Что же-съ? недѣли черезъ двѣ къ нему заѣзжаю, а у него жена съ четырьмя дѣтьми меня и встрѣтила.

Черковъ усердно молчалъ, но Тептелевъ этимъ нисколько не стѣснялся и продолжалъ ходить рядомъ съ нимъ.

— Конечно, вы, господа столичные, разборчивы, заговорилъ онъ опять: — но и для васъ у насъ найдутся невѣсты. Вотъ хоть бы Ивана Наумыча дочка, Александра Ивановна — чѣмъ не невѣста? А?

— Мм...да! сказалъ Черковъ, нехотя.

— Нѣтъ, вы напрасно такъ равнодушно изволите выражаться! сказалъ Тептелевъ. — Невѣста, можно сказать, прекраснѣйшая! И собой хороша, и манера отличная, а ужь умница, такъ я вамъ скажу, что умна....

Черковъ сдѣлалъ легкое усиліе, чтобы не улыбнуться.

— Ну, и семейство прекрасное: Ивана Наумыча всѣ уважаютъ. Конечно, тамъ всяко толкуютъ о пріобрѣтенномъ состояніи; но какъ бы то ни было, а оно пріобрѣтено; а состояніе кругленькое!.... И дѣтей воспиталъ, и приданое даетъ приличное — все тысячъ десять серебромъ дастъ.

— Ну, это приданое не велико! разсѣянно замѣтилъ Черковъ.

— Однако же-съ! Вѣдь это тридцать-пять тысячъ. Конечно, это не Богъ-знаетъ что, ну, да больше онъ дать не можетъ, онъ и за старшей столько же далъ.

— А развѣ есть у него еще дочь?

— Какъ-же! неужто вы не знаете? Есть! съ мужемъ въ деревнѣ живетъ.... да Доброхотовы съ ними не въ ладахъ, такъ мало и говорятъ про нее. Изъ-за приданаго и вышло все: мужъ-то думалъ, что чистыми дадутъ десять тысячъ, а Иванъ Наумычъ ему тряпки въ ту же сумму всучилъ; вѣдь онъ, между нами сказать, кулакъ.

— Но я думалъ, сказалъ Черковъ съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ:—что онъ могъ бы ей и побольше дать.

— Нѣтъ! больше не далъ и не дастъ. Старшая-то дочь еще съ изъянцемъ: на правый бокъ крива, такъ ей бы больше слѣдовало; да не можетъ онъ больше дать.

— Однакожь, съ его состояніемъ....

— Да что жь состояніе! А дѣти! Дѣтей-то сколько — вы сами разчислите!

— Что жь! Два или три сына, ну, дочь, да вотъ еще дочь замужняя, говорите вы....

Тептелевъ посмотрѣлъ на Черкова, да только что не засвисталъ отъ удивленія:

«Ну, братъ!» думалъ онъ: «да какой же ты фо-фа-нъ, а еще я думалъ, что ты петербургскій гусь! Ну!....»

— Что вы на меня такъ смотрите? спросилъ Черковъ.

— Да такъ-съ! мнѣ странно, что вы такія ошибочки въ счетѣ дѣлаете.

— Какія же ошибки? нѣсколько сконфузившись, сказалъ Черковъ.

— А вотъ-съ насчетъ прогенитуры-то Ивана Наумыча. Не угодно ли считать: сынъ Петръ, что служитъ въ Петербургѣ по гражданской службѣ— изволите знать? — разъ; да другой — Иванъ, тамъ же, въ гражданской — два; да два въ гвардіи — Семенъ и Василій: это будетъ четыре; да въ корпусѣ одинъ, Гаврило — пять; да въ училищѣ одинъ... какъ бишь его? еще коситъ немного — шесть; да рыженькій Степа въ пансіонѣ — семь; да двѣ дочери: и того девять, да еще одинъ умеръ въ прошедшемъ году... такъ съ нимъ бы и весь десятокъ набрался.

Въ продолженіе этого счета, за которымъ Черковъ слѣдилъ съ напряженнымъ любопытствомъ, его физіономія была, должно полагать, въ родѣ той, когда — по выраженію поэта —

«Сталъ считать Казбекъ угрюмый
И не счелъ враговъ....»

потому что всѣ дѣти Ивана Наумовича, за исключеніемъ Сашеньки, показались ему въ это время злѣйшими врагами!

— Такъ извольте разчислить, что придется на дочь, когда кромѣ ея семь человѣкъ сыновей: а извѣстно, что дочь въ наслѣдствѣ? пятнадцатая часть сына?...

— Дѣйствительно, дочь—это пятнадцатая часть сына, прибавилъ Черковъ, да тутъ же въ залѣ надѣлъ шляпу, да какъ пришибенный и побрелъ *ногa за ногу* на лѣстницу.

А Тептелевъ, проводивъ его глазами, не утерпѣлъ и хоть тихонько, а посвисталъ ему вслѣдъ весьма насмѣшливо и даже презрительно.

Дурно провелъ эту ночь мой герой и плохо спалось ему въ своей одинокой комнатѣ. Не торопитесь бросать въ него камень осужденія, вы, строгіе цѣнители и судьи чужихъ поступковъ! не зовите его разсчетливымъ себялюбцемъ и вспомните, что вы же клеймите названіемъ глупца какого-нибудь пылкаго юношу, который въ порывѣ чувства смѣло принялъ на себя ношу и отвѣтственность семейныхъ обязанностей, и, не соразмѣривъ силъ, палъ подъ тяжестью неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Нѣтъ, мой герой не былъ то, что называется интересанъ: не хотѣлъ онъ жить на счетъ своей жены, видалъ онъ много богатыхъ невѣстъ, но не влюблялся въ нихъ и не сватался за ихъ приданое. Нѣтъ, онъ былъ только благоразумный молодой человѣкъ! Онъ хотѣлъ только, чтобы склонность его сердца жила въ ладу съ разсчетомъ ума. Кому жь не извинительно имѣть такія умѣренныя желанія! Но онъ любилъ въ Сашенькѣ самоё Сашеньку. Можетъ, и не влюбился бы онъ въ нее, если бы зналъ заранѣе, что не слѣдуетъ ему въ нее влюбляться. Это другой вопросъ! Положимъ, что онъ полюбилъ Сашеньку по правиламъ благоразумія, но онъ полюбилъ ее. И тѣмъ хуже и досаднѣе человѣку на свой близорукій умъ — когда знаетъ, что смотрѣлъ онъ, негодный, да недосмотрѣлъ!

Что же мѣшаетъ, однакожъ, исполненію желаній Черкова? Онъ имѣетъ нѣкоторое состояніе; вмѣстѣ съ приданымъ Сашеньки, умѣривъ нѣсколько свои требованія, они могли бы жить довольно удобно. Такъ! но умѣрить желанія — развѣ это легко? Развѣ легко ограничивать свои привычки, каковы бы онѣ ни были? Разная бываетъ бѣдность, и переходъ отъ гаванской сигары къ рижской ровно столько же непріятенъ, какъ отъ саксонскаго табаку къ такъ-называемому тютюну.

«Прощай, семейное счастіе!» вздыхая, думалъ Черковъ, и передъ нимъ рисовалась Сашенька, милая, любящая Сашенька, такая хорошенькая, такая умненькая, и съ ней много хорошенькихъ вещей рисовалось его молодому воображенію.

«Женюсь!» говорилъ онъ рѣшительно и, въ знакъ твердости рѣшенія, крѣпко ударялъ кулакомъ по столу. — И вотъ улетучивалось его постоянное кресло въ оперѣ; широковѣщательные дебаты сжимались до ненавистнаго ему формата русскихъ газетъ; гаванская сигара принимала вкусъ капустнаго листа съ претензіей на табакъ, и самая Сашенька являлась вовсе не въ томъ хорошенькомъ платьѣ, которое къ ней такъ идетъ....

Черковъ провелъ очень дурную ночь, и только къ утру, припомнивъ себѣ, что Тептелевъ имѣлъ репутацію извѣстнѣйшаго сплетника и лгуна, онъ нѣсколько успокоился.

Но нельзя же безцѣльно надѣлить человѣка такимъ значительнымъ количествомъ дѣтей!...

По утру Черковъ спросилъ счетъ и попробовалъ кой о чемъ поговорить съ коридорнымъ. Счетъ былъ поданъ весьма обстоятельный и достигающій вполнѣ своего назначенія, но коридорный говорилъ о вещахъ, совершенно нейдущихъ къ дѣлу, и на косвенный вопросъ о многочисленности семейства Ивана Наумовича отвѣчалъ, что этого не знаетъ.

Часу въ первомъ Черковъ отправился къ нѣкоторымъ знакомымъ и у всѣхъ, по странному стеченію обстоятельствъ, заводилъ разговоръ статистическаго рода — о степени размноженія народонаселенія и объ его финансовыхъ средствахъ.

Изъ этихъ разговоровъ Черковъ вывелъ два заключенія: что всѣ тамошніе богатые люди удивительнымъ образомъ соразмѣряли свое состояніе съ количествомъ дѣтей, и что Тептелевъ, къ несчастію, не всегда оправдывалъ свою репутацію.

Съ запасомъ этихъ свѣдѣній Черковъ отправился къ Доброхотовымъ. Онъ не принялъ никакого рѣшенія: не зналъ, сдѣлаетъ ли предложеніе Сашенькѣ, или не сдѣлаетъ; ему хотѣлось бы только ей высказаться, хотѣлось бы, чтобъ и она своими умненькими глазками взглянула на тотъ розовый, съ нѣкоторыми терніями, путь, по которому можетъ-быть и ей придется идти, перемѣнивъ тоненькіе прюнелевые башмаки на другіе, болѣе прочные; хотѣлось бы ему узнать ея мнѣніе и насчетъ этой перемѣны, и не придумаетъ ли она обойдтись безъ нея, съ помощію какой-нибудь милой бабушки, которая предпочтительно любитъ одну изъ своихъ внучекъ....

Вѣдь бываютъ же на свѣтѣ такія бабушки! не писатели же ихъ выдумывали!

— Принимаютъ? спросилъ, входя, Черковъ.

Слуга, вѣроятно получившій кой-какую инструкцію, молча отворилъ дверь въ залу. За роялемъ сидѣла Сашенька.

— А, М-г Черковъ! Maman нѣтъ дома.... но она, впрочемъ, скоро должна пріѣхать, сказала Сашенька.

— А вы?

— Я вчера слишкомъ устала....

Дѣйствительно, отъ усталости ли, или отъ другихъ причинъ, Сашенька была немного блѣдна и какъ-будто утомлена. Странная вещь! какъ эта блѣдность и усталость, которыя бы привели въ отчаяніе женщину на склонѣ лѣтъ, такъ шли къ ея свѣжему, молоденькому личику! Хороши были и ея простенькій утренній нарядъ, и немного небрежная прическа волосъ, носившихъ еще вчерашнюю складку.

Все это замѣтилъ Черковъ, замѣтилъ и отвѣтъ ея; но, вмѣсто улыбки удовольствія, больно какъ-то все это отозвалось въ его сердцѣ. Онъ былъ тоже блѣденъ, молча придвинулъ стулъ къ роялю и сѣлъ противъ молодой хозяйки. Сашенька, казалось, ждала чего-то. Онъ не зналъ, какъ и что начать. Оба въ скрытномъ и тревожномъ волненіи, они провели нѣсколько мгновеній тяжелаго молчанія.

— Вы тоже дѣлали визиты? спросила Сашенька, чтобы спросить что-нибудь.

— Да! прощальные, отвѣчалъ Черковъ.

— Уже! сказала она голосомъ, которому старалась придать тонъ равнодушнаго участія.

— Я на дняхъ уѣзжаю, довольно тихо проговорилъ Черковъ.

Сашенька быстро взглянула на него, и въ одно мгновеніе она прочла перемѣну, которая произошла въ Черковѣ. Иначе бываетъ взволнованъ и блѣденъ человѣкъ, пришедшій просить руки и сердца и предложить въ замѣнъ свои собственныя. Нѣтъ въ немъ тогда этой холодной, проступающей сквозь лицо грусти, не бываетъ онъ такъ угрюмъ и скучно-молчаливъ. Значитъ, все кончено! Прочь же эти задумчивость и легкая печаль, которыя Черковъ можетъ истолковать въ свою пользу!

Сашенька придвинулась ближе къ роялю; щеки ея слегка зарумянились; она пробѣжала рукой по клавишамъ и весело сказала:

— Хотите, я вамъ съиграю прехорошенькую польку?

— Пожалуйста, не играйте, отвѣчалъ Черковъ.—Вамъ весело, а мнѣ—далеко нѣтъ!

— Отчего это? спросила она съ искреннимъ участіемъ, прикрытымъ маленькой насмѣшкой.

— Во-первыхъ, потому, сказалъ Черковъ:—что веселаго въ моемъ положеніи немного, а во-вторыхъ.... я получилъ грустное письмо отъ одного моего пріятеля, котораго очень люблю.

— Что же пишетъ вашъ пріятель? спросила Сашенька.

— Вотъ видите ли, началъ Черковъ, съ разстановкой, потупивъ нѣсколько голову и глядя съ любопытствомъ на кончики своихъ пальцевъ:— мой пріятель былъ въ отпуску.... и тамъ влюбился.... то-есть онъ думаетъ, что влюбился.... въ одну дѣвушку; дѣвушка тоже къ нему была неравнодушна.... по крайней мѣрѣ онъ думаетъ, что она къ нему неравнодушна....

Черковъ, не приподнимая головы, изъ подлобья взглянулъ на Сашеньку.

— Не ошибался ли вашъ пріятель?... мужчины очень самолюбивы.... сказала она.

— Можетъ, и ошибался, но ему казалось, что она къ нему не совсѣмъ равнодушна.... Пріятель мой хотѣлъ просить ея руки.... Но.... но тутъ встрѣтилось.... глупое, если хотите, но тѣмъ не менѣе серьёзное препятствіе. У моего пріятеля есть небольшое состояніе, которымъ онъ можетъ жить довольно порядочно для холостаго человѣка. Предметъ склонности выросъ и жилъ въ богатствѣ, привыкъ ни въ чемъ себѣ не отказывать, но... не могъ принести съ собою такого состоянія, которое, вмѣстѣ съ его собственнымъ, позволяло бы имъ жить.... такъ, какъ они оба привыкли жить. Мой пріятель долго думалъ, и обязанъ былъ подумать

о томъ, что̀ ожидаетъ ихъ. Оба они имѣли привычки, въ которыхъ выросли, съ которыми сжились такъ, что привычки эти сдѣлались для нихъ необходимостью. Оба они должны были выйдти изъ того круга, къ которому принадлежали и по рожденію, и по воспитанію: они бы не имѣли средства держаться въ этомъ кругу.... Пріятель мой думалъ не о себѣ — онъ бы еще могъ отъ всего этого отказаться—но онъ думалъ о ней. Захочетъ ли она сдѣлать эти пожертвованія для него? А если бы, какъ дѣвушка несовсѣмъ понимающая ихъ теперь, и готова была бы ихъ сдѣлать.... то не раскается ли впослѣдствіи, не слишкомъ ли тяжела ей покажется эта жертва?... какъ знать.... любовь пройдетъ, лишенія останутся.... И.... вотъ въ какомъ положеніи мой пріятель. Онъ не знаетъ, на что рѣшиться.... и проситъ моего совѣта....

Черковъ взглянулъ опять на Сашеньку изъ подлобья: щеки ея горѣли, она вертѣла въ рукахъ ленточку, и ленточка слегка дрожала.

— Какъ вы думаете, тихо спросилъ Черковъ:— что̀ остается дѣлать моему пріятелю?

Много мыслей какъ вихрь пронеслись въ хорошенькой головкѣ Сашеньки; многое она хотѣла бы отвѣчать, но слышала она звукъ голоса разсказчика; глубже, нежели онъ самъ, угадала она женскимъ инстинктомъ его тайную, самому ему невѣдомую мысль, вспыхнули ея щеки, и она быстро отвѣчала:

— Какое мнѣ дѣло до вашего пріятеля! Вы, кажется, передъ отъѣздомъ намѣрены разсказывать чувствительныя исторіи!...

И она насмѣшливо засмѣялась. Но сквозь женскую гордость этого отвѣта слышны были подавленныя слезы ея молоденькаго сердечка.... Слезы любви или досады? можетъ-быть того и другаго вмѣстѣ!

Застучалъ экипажъ у подъѣзда, но они его не слыхали. Смущенные, они сидѣли другъ противъ друга нѣсколько мгновеній молча и потупивъ глаза. Это были длинныя и тяжелыя мгновенія. Но растворились двери, и вошла извѣстная намъ подруга-съ-претензіей.

— Ахъ, какъ ты мило сдѣлала, что заѣхала ко мнѣ! сказала Сашенька, побѣжавъ къ ней на встрѣчу, и такъ искренно, такъ радушно протянула обѣ руки своей подругѣ, что та, питавшая тайную надежду пріѣхать не во время, была несовсѣмъ пріятно обрадована.

Онѣ весело о чемъ-то защебетали, и Черковъ тихо вышелъ, какъ-будто незамѣченный.

—

На другой день былъ уже Великій постъ. Городъ, еще наканунѣ оживленный масляничной суетой, вдругъ затихъ. Колокола звонили заунывно; избитыя въ ухабы улицы, почернѣвшія уже отъ первыхъ оттепелей, были пустынны. Но часу въ третьемъ дня Черковъ куда-то отправился, и вскорѣ, несмотря на необычный день визитовъ, сани его остановились у дома Доброхотовыхъ. Онъ вошелъ, и о немъ доложили.

Хотя онъ былъ и коротко принятъ въ домѣ, но его визитъ нѣсколько удивилъ Анну Кондратьевну, и она, сказавъ слугѣ: «проси!» съ интересомъ поджидала Черкова; можетъ быть, и еще кой-кто,— очень миленькое и немного скучающее кой-кто, сидѣвшее въ углу гостиной за работой, такое поджидало его не безучастно, но едва ли оно не догадывалось, зачѣмъ пріѣхалъ Черковъ.

Онъ вошелъ, и первыя слова его объяснили недоразумѣніе Анны Кондратьевны.

— Я пріѣхалъ къ вамъ проститься, сказалъ Черковъ.

— Какъ! Такъ скоро? воскликнула Анна Кондратьевна.

— Мое порученіе окончено: мнѣ надобно спѣшить, отвѣчалъ Черковъ.

Анна Кондратьевна разсыпалась въ сожалѣніяхъ, что такой прекрасный молодой человѣкъ такъ скоро оставляетъ ихъ городъ, и въ порывѣ горести напутала такихъ французскихъ фразъ, которыя въ устахъ, болѣе по этой части опытныхъ могли бы показать дѣйствительно сильное душевное разстройство. Послала она за Иваномъ Наумовичемъ, и Иванъ Наумовичъ, оставивъ занятія, пришелъ изъ кабинета и тоже съ своей стороны изъявилъ сожалѣніе.

И было, дѣйствительно, много теплаго и искренняго въ сожалѣніяхъ этихъ гостепріимныхъ людей. Одна только Сашенька не принимала участія въ разговорѣ, но, тѣмъ не менѣе и независимо отъ нея, грустно было Черкову проститься, можетъ-быть навсегда, съ радушнымъ домомъ, въ которомъ такъ ласково приняли его въ семейномъ кружкѣ, гдѣ ему бывало иногда очень и очень тепло!...

Черковъ, съ своей стороны, неменѣе искренно поблагодарилъ Доброхотовыхъ за гостепріимство, просилъ считать его за человѣка вполнѣ преданнаго ихъ семейству, и на этомъ основаніи поручать ему исполненіе петербургскихъ комиссій, потомъ всталъ, простился съ Анной Кондратьевной, облобызался съ Иваномъ Наумовичемъ, который тотчасъ послѣ этихъ лобзаній снабдилъ себя продолжительной и сильной понюшкой табаку, но уже Черкову не предлагалъ понюхать.... Потомъ Черковъ подошелъ и къ Сашенькѣ.

Они простились съ улыбкой на устахъ, какъ слѣдовало прощаться совершенно постороннимъ, хорошо знакомымъ молодымъ людямъ, и пожелали взаимно много пріятныхъ вещей. Богъ вѣсть, что было у нихъ тогда на сердцѣ, что̀ хотѣли бы они высказать въ послѣднемъ и откровенномъ словѣ другъ-другу на этомъ прощаньѣ: лица ихъ ничего не выражали и только ихъ слабое пожатіе руки было, можетъ быть, немножко трепетно. Затѣмъ Черковъ вышелъ.

Вечеромъ въ этотъ же день почтовая карета, вмѣстѣ съ разными письмами и посылками, увезла

и Черкова изъ неизвѣстнаго намъ города. И поѣхалъ онъ въ Петербургъ, гдѣ ждали его комфортная квартира, не посѣщаемая мухами, кресло въ оперѣ, дебаты, обѣдъ въ ресторанѣ и много другихъ удобствъ и удовольствій. И пріѣхалъ онъ, и все нашелъ какъ и слѣдуетъ. Неизвѣстно намъ только достовѣрно, нашелъ ли онъ сначала, что, можетъ-быть, немножко дорого заплатилъ за всѣ эти удобства и удовольствія. Но вскорѣ онъ такъ опять сжился и сроднился съ ними, что врядъ ли понималъ возможность отречься отъ нихъ, хотя любилъ вспоминать о Сашенькѣ, встрѣтивъ заѣзжаго знакомаго, ея земляка, любилъ поразспросить и поразговориться о ней, и послѣ этого разговора иногда, вздохнувъ, искренно и изъ глубины души восклицалъ: «а надо отдать справедливость, чортъ знаетъ какъ мила эта Сашенька!...»

А что Сашенька? Но о ней я, право, ничего не знаю, а полагать надобно, что если она еще не замужемъ, то скоро выйдетъ: хорошенькія дѣвушки съ такими умненькими глазками не остаются долго дѣвушками.

—

Такъ кончается исторія любви нашихъ героевъ. Такъ кончается и множество любовныхъ исторій въ наше время. Можетъ-быть она бы кончилась совершенно иначе, если бы, напримѣръ, по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ, дальнѣйшее развитіе любви нисколько не стѣснило обоюднаго комфорта героевъ; но любовь этого сорта не была предметомъ нашего разсказа.

И теперь заключить ли намъ этотъ разсказъ вздохомъ участія къ судьбѣ нашихъ героевъ, посмѣяться ли надъ ихъ любовью, или одобрительно отозваться о ней, или наконецъ заклеймить словомъ укора ихъ слабодушное недовѣріе къ собственнымъ силамъ, ихъ робкое отступленіе безъ борьбы предъ встрѣтившеюся преградой?

Можно сказать многое въ пользу и того и другаго, а потому предоставляемъ собственному возрѣнію и вкусу каждаго изъ нашихъ читателей вздыхать, улыбаться, отдавать справедливость или сердиться на нынѣшнюю любовь. Мы же съ своей стороны позволяемъ себѣ сдѣлать одно только замѣчаніе: тугъ сталъ на женитьбу нынѣшній молодой человѣкъ!

ОГНЕННЫЙ ЗМѢЙ.

РАЗСКАЗЪ.

По поднебесью летитъ онъ, злодѣй,
шаромъ огненнымъ, по землѣ разсыпается
горючимъ огнемъ, во теремѣ красной дѣвицы становится молодымъ молодцомъ
несказанной красоты. Сушитъ, знобитъ
онъ красну дѣвицу до истомы...

Сказанія русскаго народа.

На дняхъ, по нѣкоторымъ литературнымъ обстоятельствамъ, я долженъ былъ принимать живѣйшее участіе во всѣхъ петербургскихъ увеселеніяхъ. И я принималъ это участіе. Я бывалъ въ оперѣ, балетѣ, циркѣ, русскомъ и французскомъ театрахъ. Я былъ на балахъ и маскарадахъ, и даже собирался на минеральныя воды къ Излеру, но по счастью узналъ, что тамъ еще не веселятся, а только собираются веселиться. Я ужасно веселился со всѣми моими петербургскими читателями и имѣлъ еще бо́льшее удовольствіе разсказывать о нашихъ веселостяхъ читателямъ иногороднымъ, и вскорѣ мнѣ предстоитъ опять подобное удовольствіе: я опять заживу полной жизнью всѣхъ петербургскихъ веселостей; опять театры, балы, маскарады и все, что къ тому времени Петербургъ придумаетъ веселаго. Какъ видите, мы, писатели, живемъ иногда чрезвычайно весело. Намъ стоитъ только веселиться, да среди веселостей наблюдать разныя стороны частной и общественной жизни и потомъ, болѣе или менѣе искусно, разсказывать свои замѣчанія, сдобривая ихъ краснымъ словцомъ фантазіи. Но съ нѣкоторыми изъ насъ бываетъ слѣдующаго рода непріятность. Во всѣхъ народныхъ преданіяхъ есть одно повѣрье; оно говоритъ, что люди, одаренные властью надъ нечистой силой, должны безпрерывно задавать ей работу. Какъ скоро она кончитъ одну и вы не успѣете ей задать другую, нечистая сила изъ вашей рабы дѣлается госпожею, беретъ надъ вами власть и распоряжается вами очень непріятно. Точно то же дѣлаетъ съ нами иногда нашъ выѣздной конёкъ— воображеніе. Я, напримѣръ, хотѣлъ бы немножко отдохнуть между двумя періодами веселостей, я бы хотѣлъ посидѣть дома, тихо переваривая сладкія воспоминанія прошлыхъ удовольствій и предвкушая сладость будущихъ.

«Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть!»

но вдругъ... ба! мое воображеніе возмутилось. Оно говоритъ, что ему скучна вся эта масса веселостей: что ему надоѣли наши театры, балы и маскарады; что ему не хочется смотрѣть на наше свѣтское общество: что ему мало этой скудной пищи, которую даютъ ему наши ровныя, гладкія и приличныя отношенія, наши тихія, непроглядывающія наружу, да, кажется, и не забивающіяся въ глубину чувства; что ему тѣсно прогуливаться и по Петербургу, гдѣ оно витаетъ, и по провинціи, гдѣ я неоднократно заставлялъ его копошиться; что ему хочется другой жизни, жизни связанной не этикетомъ, а преданіями, жизни, въ которой заботятся не объ угожденіи той или другой почтенной заслуженной личности, а какому-нибудь живущему гдѣ-то за печкой домовому; что ему нужна обстановка лѣса, покрытаго инеемъ, степи, занесенной снѣгомъ, клеушка, загороженнаго тычинками, а не города съ многоэтажными домами надъ рѣкой съ берегами изъ гранита; что ему надоѣли шармеровскіе фраки, пропитанные духами, газъ и ленты нашихъ прелестныхъ женщинъ, съ волосами, зачесанными назадъ à la Margo, и что ему хочется освѣжить себя въ душной избѣ, съ тараканами и лучиной, подышать поэзіей нагольнаго тулупа и вымытой тряпицы. Что за дикая фантазія! А между тѣмъ, оно мчитъ меня, мчитъ изъ Петербурга и когда же? въ самомъ началѣ нашего *сезона*, мчитъ по желѣзной дорогѣ... нѣтъ, мимо — и быстрѣе паровозовъ, въ губернскій городъ — мой милый губернскій городъ, гдѣ я такъ весело скучалъ... нѣтъ, еще мимо! Вотъ мы спустились на Волгу, на *зимній трактъ*; вотъ мы несемся по ней, своротили, поднялись на нагорный берегъ; вотъ большая дорога, уставленная рядами заиндѣвѣвшихъ березъ, по ней дальше, глубже въ Русь; вотъ и торный проселокъ, на которомъ еще видѣнъ слѣдъ Григоровича.... Воображеніе! насъ опять укорятъ въ подражаніи! нѣтъ, дальше, еще дальше мчитъ оно меня! Вотъ проселокъ, занесенный снѣгомъ, едва протоптанный: по немъ, по немъ, мы мчимся десятки верстъ; — не встрѣчая жилья, мы заблудились, кажется; насъ занесетъ бураномъ и я замерзну вмѣстѣ съ тобою... Но вотъ въ сторонѣ блеснулъ гдѣ-то огонекъ, гдѣ-то тявкнула собака; вотъ пѣтухъ запѣлъ гдѣ-то здѣсь близко, мы наткнулись на что-то... Ба! Это, кажется, жилье... и мы остановились...

У! какая глушь!

Темно. На небѣ нѣтъ ни тучъ, ни звѣздъ. Сквозь сѣрую тьму ночи едва видна какая-то густая и ровная полоса... Что это — стѣна? нѣтъ, это долженъ быть боръ: слышите, какъ шумитъ онъ! А кругомъ снѣгъ и снѣгъ, и только вѣтеръ разгуливаетъ по немъ, шелестя и наметая сугробы. Но вотъ въ одномъ мѣстѣ какой-то перевалъ, а за нимъ, обозначась темными очертаніями, ряды избушекъ, окутанныя соломой, какъ будто только-что приподнялись изъ-подъ снѣга и не успѣли еще стряхнуть бѣлый и толстый слой его, который лежалъ мягкою подушкою на крышахъ, и оборванными клочьями висѣлъ на тычинахъ изгородей и узорчатой рѣзьбѣ навѣсовъ. На улицахъ ни души: и только изъ одного, или двухъ маленькихъ оконъ слабый свѣтъ вырывался туманнымъ снопомъ къ землѣ и, дойдя до нея, дрожа, разстилался по снѣгу. Что это? засидѣлась ли какая-нибудь припугнутая свекровью молодка надъ пряжей, или хлопотунья-хозяйка обозналась временемъ и встала спозаранку? Который-то часъ? но здѣсь нѣтъ часовъ! Здѣсь и не знаютъ часовъ, а знаютъ полдень и полночь, утро и вечеръ, разсвѣтъ и сумерки, и показываетъ здѣсь время въ ясный день солнце, въ глухую ночь пѣтухъ кричитъ его, и пѣтухъ этотъ «хоть не человѣкъ, а свое дѣло знаетъ и бабъ научаетъ». Да гдѣ жь мы? Далеко ли мы отъ Петербурга, наконецъ? И это совершенно неизвѣстно; здѣсь даже не знаютъ, есть ли городъ Петербургъ или нѣтъ, и очень можетъ быть, что мы здѣсь за полтораста лѣтъ до его основанія. Да какой же здѣсь, уѣздный или губернскій городъ? Есть городъ и въ немъ бывали даже нѣкоторые мужики, и названіе есть этому городу; а губернскій онъ или уѣздный — Богъ его знаетъ! и губернія ли тутъ или воеводство — этого тоже утвердительно сказать не могутъ! Боже мой! да гдѣ же это мы? Какой здѣсь вѣкъ, какой здѣсь годъ? Это тоже неизвѣстно, Богъ его знаетъ какой вѣкъ: старики свой доживаютъ, а малые начинаютъ, а годъ — годъ тяжелый: греча плохо родилась, озими повылегли; да этого и ждать надо, потому что прошлой зимой Касьянъ имянинникъ былъ: а когда Касьянъ бываетъ имянинникъ, такъ это високосъ, извѣстно, тяжелый годъ. Да мѣсяцъ какой идетъ: декабрь ли, январь или февраль? — А Богъ его вѣдаетъ мѣсяцъ какой, а извѣстно, что солнцеворотъ давно прошелъ, на Варвары зима мосты намостила, а на Савву гвозди заострила, до Петра полукорма еще не дошло, а ужь объ Васильевъ-вечеръ день прибылъ на куриный шагъ и еще нечего беречь носъ, потому что Аѳанасій не пришелъ, а потомъ будутъ Тимоѳеи полузимники... Я ничего не понимаю! Да какъ у васъ пишутъ вотъ въ концѣ письма послѣ покорнѣйшаго слуги и проч. годъ, мѣсяцъ, число? Да у насъ ничего не пишутъ, потому что и грамотѣ во всей деревнѣ никто не знаетъ... О, невѣжество! Какое ужасное невѣжество! А между тѣмъ странно: у этихъ людей есть свой календарь и весьма вѣрный календарь, и знаютъ они, напримѣръ, что отъ водокрещь до Евдокеи семь съ половиною недѣль, и Илья пророкъ три часа приволокъ, и во что̀ Макавеи во то и розговѣнье, и знаютъ они, сколько морозовъ было и сколько будетъ, и какъ какой морозъ называется, и каждый день въ году имѣетъ для нихъ свое значенье, и звѣзда падающая и птица перелетающая говорятъ имъ непонятнымъ для насъ языкомъ, и преданія живутъ и передаются въ ихъ безграмотныхъ устахъ, и духи злые и добрые витаютъ вмѣстѣ съ ними съ незапамятныхъ временъ, и есть у нихъ доброе

и грозное слово для этихъ духовъ, и есть чары непонятныя, и есть зелья чародѣйныя, и вся жизнь ихъ идетъ мѣрнымъ, стройнымъ, неизмѣннымъ теченіемъ, какъ шла она, сотни лѣтъ назадъ, при ихъ пращурахъ, какъ пройдетъ, сотни лѣтъ впередъ до ихъ правнуковъ, будто какой-то невѣдомый духъ обошелъ ее невѣсть когда! И бѣжитъ съ тѣхъ поръ хлопотно, торопливо впередъ и впередъ, озабоченный міръ кругомъ ея, а она стоитъ, глубоко погруженная въ свои думы, и не видитъ остальнаго міра, будто ждетъ, когда, свершивъ свой круговоротъ, онъ снова дойдетъ до нея и сольется съ ней!..

Какой странный, какой чудный міръ!

На самомъ краю этого маленькаго міра, не значащагося на географическихъ картахъ міра, но извѣстнаго въ околодкѣ подъ именемъ сельцаОзнобихи, далеко отдѣляясь отъ деревни, стоитъ избушка. Судя по наружности, она не принадлежитъ къ крестьянскимъ. И въ самомъ дѣлѣ, около нея видите занесенный снѣгомъ остовъ какого-то стариннаго каменнаго дома, отъ котораго остались только стѣны; а за домомъ голыя деревья сада, который, за давностью лѣтъ, обратился въ лѣсъ и слился съ ближнимъ лѣсомъ. Избушка, видно, принадлежала прежде къ службамъ этого дома и, ветхая, деревянная, по какому-то странному случаю пережила своего каменнаго господина и, какъ старый и вѣрный слуга, одиноко сторожитъ его развалины. Разъ, въ зимній вечеръ, далеко изъ открытаго поля, которое разстилалось передъ лѣсомъ и деревней, можно было видѣть какіе-то два свѣтящіеся глаза: это былъ огонёкъ, блестѣвшій изъ маленькихъ оконъ избушки. Внутренность избы мало отличалась отъ обыкновенной крестьянской: та же большая печка въ углу и перегородка, тѣ же лавки по стѣнамъ, тѣ же, темныя отъ времени и дыма, стѣны. Только не было надъ входомъ низкихъ и широкихъ палатей, а вмѣсто нихъ на протянутыхъ веревочкахъ висѣли какія-то травы. Пучки этихъ же травъ висѣли, привязанные къ деревяннымъ гвоздикамъ, по стѣнамъ и были ихъ единственнымъ украшеніемъ. Въ избушкѣ не было видно крестьянской домовитости, не было куръ, иногда клокчущихъ подъ печкой или лавкой; мало было домашняго скарба; въ ней было чище, чѣмъ въ крестьянскихъ избахъ, но какъ-то пустѣе, нелюднѣе. Тихо было въ избушкѣ; только сверчокъ чирикалъ гдѣ-то въ щели, да какой-то глухой и неясный шопотъ слышался на печкѣ, и шопотъ однозвучный и тихій, какъ шелестъ сухихъ листьевъ. Въ переднемъ углу передъ деревяннымъ столомъ, въ поставцѣ стояла сухая дудка, налитая внутри саломъ: ея-то слабый огонекъ блестѣлъ въ полѣ и едва обозначалъ темные углы избушки; но онъ ясно освѣщалъ хорошенькую женскую фигуру.

Это была дѣвушка лѣтъ шестнадцати. Судя по одеждѣ, она принадлежала къ крестьянамъ; на ней былъ синій пестрядинный сарафанъ, съ мѣдными пуговками, и бѣлая холщевая рубаха. Темно-русые, гладко-причесанные волосы окаймляли невысокій лобъ и, перегнувшись за уши, падали густой косой до самой поясницы. Лицо дѣвушки было немного-худощаво, смугловато, но чрезвычайно-красиво. Ротъ маленькій и немного-выгнутый, какъ стрѣлковый лукъ, прямой и небольшой носъ, темно-каріе, ясно очерченные глаза, и брови тонкія и крутозагнутыя надъ внутренними углами глазъ. Все это лицо, продолговатое и нѣжно законченное подбородкомъ, несмотря на молодость, имѣло много выраженія. Оно смотрѣло весело и открыто; на немъ не лежало никакой особой мысли, но оно было какъ-то хорошо отѣнено. Небольшой румянецъ смуглыхъ щекъ, желтоватая бѣлизна гладкаго лба, и блѣдно-молочный подбородокъ, едва видные темные волоски на вискахъ и ясные глаза, даже маленькая, какъ у всѣхъ смуглыхъ, тѣнь подъ глазами,—все это вмѣстѣ дѣлало лицо дѣвушки чудесно освѣщеннымъ, какъ это мы иногда видимъ на портретахъ новой итальянской живописи, освѣщеннымъ и согрѣтымъ такъ, что на немъ, не-смотря на неподвижность линій и непрозрачность кожи, можно, по какому-то переливу тѣней, ясно читать внутреннее настроеніе. Очеркъ молодаго стана, еще нѣсколько худощаваго, можно было слѣдить подъ складками свободной одежды. Станъ этотъ былъ гибокъ, строенъ и, какъ молодое зерно колоса, только-что наливался. Изъ широкаго рукава рубахи виднѣлась тонкая, молодая рука, и рука эта мало была огрублена суровой крестьянской работой: видно, не много несла она ее.

Дѣвушка сидѣла у стола и торопливо шила. Къ однообразному крику сверчка, къ странному и глухому шопоту, который слышался на печкѣ, присоединялось частое ширканье нитки, сшивающей какіе-то лоскутки. Дѣвушка вся была погружена въ работу; изрѣдка она останавливалась, разглядывала шитье, немного сбоченивъ голову на ту или другую сторону, и тихо, безъ словъ, запѣвала какую-то пѣсенку; потомъ опять принималась шить, умолкала, и тогда немного-сдвинувшіяся брови и наморщенный лобъ обозначали заботу, между-тѣмъ-какъ на губахъ отражалась какая-то веселая и свѣтлая мысль. Вдругъ въ запертое окно кто-то стукнулъ.

Дѣвушка вздрогнула, закрыла свѣтъ рукой и стала всматриваться; но частый скрипъ женскихъ шаговъ по снѣгу послышался вдоль внутренней стѣны, потомъ на крыльцѣ—и дверь растворилась.

Густой паръ холоднаго воздуха влетѣлъ въ избушку, но дверь захлопнулась, паръ исчезъ и, выступивъ изъ него къ столу, подошла другая дѣвушка. Пришедшая была невысокаго роста, тоже молоденькая, но полненькая; яркій румянецъ отъ мороза сильно горѣлъ на ея щекахъ; вздернутый носикъ покраснѣлъ, и русые волосы, немного желтаго отлива, слегка заиндѣвѣли; бойкое, круглое и хорошенькое лицо ея выглядывало изъ краснаго платка, который покрывалъ голову и былъ завязанъ у полнаго подбородка; на плечи была накинута овчинная шубёнка.

— Здорово, Васена! сказала вполголоса вошедшая, цѣлуясь съ хозяйкой.—Я за тобой прибѣжала.

— А! это ты, Дуня! А что?...

— Да дѣвки собрались и уже пошли по деревнѣ. Пойдемъ и мы; намъ еще впервóй ходить.

— Постой, вотъ я бабушкѣ скажусь.

— А она дома? спросила Дуня.

— Слышь!...

Но въ это время шопотъ замолкъ и послышался дребезжащій голосъ.

— Кто это пришелъ?

— Здорово, баушка, это я!

— А! ты, Дуня? Что тебя?

— Отпусти, баушка, Васену: тауси пѣть, мы еще съ ней не ходили!

— Тауси? ну пусть идетъ, таусень надо справлять.

Во время переговоровъ Васена сложила работу и прислушивалась къ словамъ бабушки; но, получивъ согласіе, тотчасъ же вскочила.

— Вотъ я только переодѣнусь, сказала она и вошла за перегородку.

— А ты скорѣй, смотри! сказала Дуня и стала грѣть руки у печи.

Вскорѣ вышла Васена въ тонкой бѣлой рубашкѣ и новомъ малиновомъ кумачномъ сарафанѣ; она перетянула его плетенымъ поясомъ и молодая грудь ея едва обозначалась. За тѣмъ она накинула платокъ на голову и шубенку на плечи.

— Баушка, ты загаси огонь, сказала она.

— Ладно! отвѣчалъ дребезжащій голосъ, и онѣ вышли.

— Пойдемъ скорѣй; Ѳедюшка, чай, продрогъ, сказала Дуня, едва онѣ вышли въ сѣни.

— А онъ ра-ѣ съ тобой?

— Со мной, отвѣчала она, и онѣ подошли къ калиткѣ.

Но, растворивъ ее, обѣ дѣвки были нѣсколько удивлены: вмѣсто одного Ѳедюшки, было два парня.

— Здорово, Васена! сказалъ невысокій, но крѣпкій парень лѣтъ 18-ти; онъ былъ въ коротенькомъ полушубкѣ; вьющіеся волосы его, выбивавшіеся изъ-подъ шапки, заиндѣвѣли; пушокъ на бородѣ и усахъ тоже побѣлѣлъ. По сходству открытаго, смуглаго лица, въ немъ можно было сейчасъ узнать брата Дуни.

— А это кто? Ты, Антипъ? спросила Дуня.

— Я, отвѣчалъ нерѣшительно другой парень, повыше и пожиже Ѳедюшки.

— А для-че ты здѣсь? спросила сердито Дуня.

— А я-было вотъ къ Ѳедюхѣ пришелъ, да узналъ, что онъ сюда ушелъ.... вотъ и я тоже.

— Больно нужно было!...

— Ну, эка бѣда! что, онъ-те съѣстъ, что ли? замѣтилъ братъ.

— Съѣстъ не съѣстъ; а что дѣвки будутъ баить, коль увидятъ: они и то ѣдятся на насъ.

— Пусть ихъ ѣдятся, сказалъ Ѳедюшка и хотѣлъ подойдти къ Васенѣ.

Но дѣвки схватились подъ-руки и пошли скоро впередъ; парни едва успѣвали за ними. Мѣсяцъ высоко стоялъ на синемъ и ясномъ небѣ; морозный воздухъ былъ неподвиженъ и жегъ лицо: снѣгъ искрился, отливалъ и блестѣлъ на мѣсяцѣ. Торопливые шаги двухъ паръ, скрипя, удалялись все дальше-и-дальше,—и изъ деревни, совершая какой-то обрядъ, никому невѣдомый, никѣмъ непонимаемый, но обрядъ завѣщанный стариною, слышалось пѣнье женскихъ голосовъ:

Таусень! Таусень!
Походи, погуляй
По святымъ вечерамъ,
По веселымъ теремамъ.
Таусень! Таусень!..

Между-тѣмъ въ избушкѣ, оставленной Васеной, стало еще пустѣе, еще унылѣй. Свѣчка нагорѣла, сверчокъ чиркалъ громче и шопотъ на печкѣ становился слышнѣй-и-слышнѣе. Но вотъ кто-то завозился, закряхтѣлъ и чья-то тощая и согнутая фигура, лѣпясь и придерживаясь, слѣзла тихо съ печки. Это была высокая, худая старуха; истасканный и лоснящійся нагольный тулупъ прикрывалъ ее; сморщенная, желтая, какъ сухой листъ, шея, на которой только было видно жилы да складки, высовывалась изъ одежды; сухое лицо старухи, также какъ и шея, съежилось въ морщины, и трудно сказать, каково было это лицо съ-молоду; только нижняя губа старухи и подбородокъ отвисли, и она все будто жевала что-то, жевала и безпрестанно шептала, но что шептала—неизвѣстно. На головѣ у нея былъ платокъ, изъ-подъ котораго выбивались черные всклокоченные волосы, несмотря на старость, едва подернутые сѣдиной, и эта голова дрожала.

Старуха подошла къ поставцу, прищурилась, обломала немного дудку близъ огня, потомъ прислушалась; но въ избушкѣ и кругомъ нея ничего не было слышно, кромѣ крика сверчка и старушечьяго шопота. Тогда, шаркая ногами, подошла старуха къ печкѣ, отодвинула заслонку, вынула какой-то горшечекъ, взяла въ обѣ руки, согнулась низко, низко, вплоть до полу, и, сунувъ горшокъ подъ печку, что-то прошептала по-громче, приподнялась и поклонилась. Затѣмъ сморщенными губами она задула огонь, ощупью добралась до печки и, кряхтя, взобралась на нее. Въ избушкѣ стало темно. Сверчокъ, покричавъ малую-толику замолкъ; дальше слышался шопотъ старухи, но и онъ замолкъ, но такъ тихо замолкъ, какъ-будто умеръ вмѣстѣ съ нею, и только мѣсяцъ свѣтилъ въ избушку сквозь замерзшія окна. Вдругъ подъ печкой послышался какой-то шорохъ и будто кто-то тихо и осторожно началъ ѣсть.

—

Черезъ нѣсколько дней послѣ того, тоже вечеромъ, въ другой избѣ, уже въ самой срединѣ деревни, ярко горѣла лучина, и въ низенькую калитку по-одиночкѣ и попарно, торопливо пробѣжавъ отъ воротъ до воротъ, шмыгали женскія фигуры. На дворѣ было морозно, но въ самой избѣ тепло

і даже душно. За большимъ столомъ, въ передне-мъ углу, сидѣло по лавкамъ нѣсколько дѣвокъ; всѣ онѣ были нарядны и большею-частью молоды; между ними съ краю сидѣли наши знакомки, Васена и Дуня. Послѣдняя часто вставала и хлопотала: она была хозяйка.

Васенѣ и Дунѣ, обѣимъ ровесницамъ, только по осени минуло шестнадцать лѣтъ; нынѣшнюю зиму онѣ въ первый разъ были допущены къ взрослымъ, въ первый разъ дѣвки на-выданьѣ, невѣсты, не отгоняли ихъ отъ себя, какъ молоденькихъ дѣвчонокъ, и приняли въ свой кружокъ, хотя приняли не безъ зависти: что̀ дѣлать! во всякомъ кругу молодость и красота больно колютъ неказистую зрѣлость. Поэтому Дуня, дочь мужика не бѣднаго, чтобъ сойтись съ подругами, зазвала ихъ къ себѣ вечеръ покоротать, святки справить обычной ворожбой и пѣснями.

Дѣвки сидѣли немного-чинно и какъ-то связанно; изрѣдка онѣ перекидывались словами; чаще подруга съ подругой перешептывались; видно было, что чего-то не доставало, что веселье не началось еще. Въ углу баба, ужь немолодая, низенькая, худощавая, съ лицомъ холоднымъ и озабоченнымъ, что то возилась и хлопотала у печки. Въ другомъ углу, у двери, стояли три или четыре парня, и между ними хозяйскій сынъ, Ѳедюшка, съ своимъ крестовымъ братомъ, Антипомъ. На полатяхъ, въ самой серединѣ какая-то голова, вся обросшая курчавыми волосами, облокотясь на сложенныя руки, спокойно и неподвижно глядѣла внизъ, а около нея также глядѣли двѣ бѣловолосыя дѣтскія головки—и всѣ чего-то будто ждали.

Вдругъ распахнулась дверь, и въ избу словно вплыла какая-то баба.

— Ѳедосѣвна! тётка Ѳедосѣвна! сказали всѣ.

Теткѣ Ѳедосѣвнѣ можно дать на взглядъ лѣтъ подъ-сорокъ. Это была баба невысокая, толстая и спокойно-самоувѣренная. Ея лицо, изрытое оспой, съ приплюснутымъ носомъ и бойкими сѣрыми глазами, смотрѣло чинно и степенно. Она вошла, остановилась, три раза перекрестилась передъ образомъ и потомъ обратилась къ бабѣ, хлопотавшей у печки.

— Здорово, мать-Васильевна, сказала она съ поклономъ, подошла и три раза поцѣловалась съ хозяйкой.

— Здорово, Ѳедосѣвна, отвѣчала та.

— Здорово, красны дѣвицы! миръ честной компаніи! сказала она развязывая платокъ.

— Здорово, тетка Ѳедосѣвна, отвѣчали дѣвки.

— А что̀ жь это вы, красныя, собрались, да поджавъ руки сидите, нонѣ можно и пѣсни спѣть: святки честныя справить какъ-слѣдъ.

— Да тебя ожидали, тетка Ѳедосѣвна, сказала Дуня:—ты у насъ всему урядъ: справишь и наставишь.

— О-охъ вы, молодежь! Ну да твое дѣло, Дуня, неразумное, ты же и вперво̀й еще; а вотъ вамъ бы, дѣвушки, и нѣча чужа ума ждать, самимъ пора бы все знать, да и другихъ научать. Ну, да ужь давайте, дѣлать нечего.

Дѣвки съ удовольствіемъ разступились; пустили Ѳедосѣвну на почетное мѣсто, въ передній уголъ, и смотрѣли ей въ глаза.

Ѳедосѣвна усѣлась, спросила блюдо, хлѣба, соли и угля, и принялась устроивать подблюдныя пѣсни.

Приказанія Ѳедосѣевны исполнялись точно и безпрекословно. Все, что̀ Ѳедосѣевна дѣлала, было проникнуто какою-то торжественностью, обрядностью. Она дѣлала свое дѣло съ твердою увѣренностью знанія; спокойное лицо ея приняло нѣсколько-важное, озабоченное выраженіе, и въ немъ была видна твердая и полная вѣра. Въ поданное блюдо, звеня, падали мѣдныя кольца и серьги, потомъ закрыли блюдо и подъ ихъ мѣрный звякъ тонкіе и дружные голоса протяжно, торжественно запѣли «Славу». И славили онѣ «Бога на небѣ», «государя нашего на сей землѣ», и славили онѣ Русь святую, и чтобъ правда была на святой Руси; славили ея рѣки вольныя, чтобъ большимъ рѣкамъ слава неслась до моря, малымъ рѣчкамъ до мельницы; и хлѣбу пѣсни поютъ, хлѣбу честь воздаютъ. И потомъ: «Покатилось зерно по бархату», и «Идетъ кузнецъ изъ кузницы», и «Летитъ соколъ по улицѣ», и «Поскакалъ груздокъ по ельничку»... и пр.

Долго пѣлись эти пѣсни, и, смотря потому, что̀ сулило будущее каждой дѣвушкѣ, лицо ея веселѣло или задумывалось. Если дѣвушки не знали значенія которой-нибудь изъ пѣсенъ, онѣ обращались къ теткѣ Ѳедосѣвнѣ, и Ѳедосѣвна разрѣшала ихъ недоумѣнія, сказывала счастье счастливой, утѣшала несчастливую. Хорошая пѣсня выпала на долю Дуни:

— Быть те-ѣ нонишній годъ замужемъ безпремѣнно, вышла на долю ровня счастливая, сказала Ѳедосѣвна.—Гоже тебѣ, что вышла ровня—и черезъ золото слезы льются, мать моя!

Дуня осталась довольна, а Антипка изъ угла посмотрѣлъ на нее, хотѣлъ что-то сказать, да только крякнулъ.

Но не такова была доля Васены. Золото и жемчугъ, и камни самоцвѣтные вышли ей въ пѣснѣ, но пѣсня эта имѣла неопредѣленное значеніе. Однѣ говорили, что къ богатству, другія, что къ несчастью.

— Растолкуй, тетка Ѳедосѣвна, сказала Васена, и свѣтлые глаза ея безпокойно ждали отвѣта.

— А много значитъ эта пѣсня, дѣвка, много разнаго значитъ: али богатство большое, али что недоброе; а попросту, дѣвка, по моему разуму, нѣтъ еще нонишній годъ никакой те-ѣ судьбы.... Ну да молода еще ты, мать моя, и подождешь: годикъ еще, чай, семнадцатый?

— Шо̀стнадцатый, сказала Васена.

— Что жь, и постарше тебя есть, да ждутъ Божьей благодати....

Одно кольцо осталось только въ блюдѣ и одиноко звякало. Было около полупочи. Ѳедосѣвна, а

за ней и дѣвки встали и начали собираться по домамъ.

— А чье кольцо осталось? спросила Ѳедосѣвна.

— Мое! отвѣчала дѣвка высокая, блѣдная и ужь не первой молодости.

— Экая ты безталанная! сказала съ участіемъ Ѳедосѣвна: — не выходитъ те-ѣ судьба твоя! А можно узнать ее, мать моя, сказала она тихо:— возьми ты это кольцо и хлѣбецъ возьми, и ступай ты въ полночь, въ овинъ или въ баню, слушать.

— Не надо-ть, отвѣчала дѣвка грустно и равнодушно:—я свою участь знаю.

Ѳедосѣвна прищурилась, поглядѣла на нее и спросила тихо:

— Смотрѣла?

— Смотрѣла, также тихо отвѣчала дѣвка.

— Видѣла?

— Видѣла, отвѣчала она.

Гурьбой вышли дѣвки и парни изъ избы, и вскорѣ говоръ ихъ послышался за воротами, разбрелся по деревнѣ и мало-по-малу замолкъ. Васену оставила Дуня ночевать у себя оттого, что далеко ей идти было. Онѣ хотѣли ужь ложиться спать, какъ вдругъ дверь отворилась и Ѳедосѣвна поманила ихъ. Онѣ вышли въ сѣни.

— Нарочно, голубки, воротилась для васъ, сказала Ѳедосѣвна: — вы дѣвки молодыя, ничего не знаете, а при людяхъ не слѣдъ мнѣ вамъ было говорить. Хотите попытать судьбу свою и узнать все вдосталь навѣрное?

— Какъ же это, тётя, шопотомъ говорили онѣ.

— А много случаевъ есть: въ банѣ сидѣть хотите.

— Вмѣстѣ?

— Коли вмѣстѣ, вмѣстѣ ничего не будетъ.

— Боюсь, сказала Дуня.

Ѳедосѣвна посмотрѣла вопросительно на Васену.

— И я боюсь, нерѣшительно сказала она.

— Не въ бабушку ты, видно, пошла, сказала Ѳедосѣвна:—та, не къ ночи молвить, и пострашнѣй не боится.

— Что́ те-ѣ баушка! сказала съ упрекомъ Васена.

— Ну, да я такъ только, къ слову пришлось; а ты дѣвка добрая; такъ что же, мати мои, на перекрестокъ съ зеркальцемъ тоже боитесь?

Дѣвки задумались.

— Ну такъ я вамъ вотъ что скажу: это дѣло не страшное, а вѣрное; и сегодня день такой: выйдьте вы въ полночь за ворота и зажмурьтесь вы и повернитесь три раза, коя какъ встанетъ, и взгляньте вы на небо, и коль увидитъ коя *стожары* на правой рукѣ — и быть той замужемъ, а коль увидитъ коя *дѣвичьи зори*—годовать той въ дѣвкахъ безпремѣнно. Ну прощайте, красныя, спать пора....

— Спасибо-те, Ѳедосѣвна! сказали дѣвки. Ѳедосѣвна ушла и дѣвки воротились въ избу.

Около полуночи, въ одномъ углу темной избы слышался шопотъ; тихо встали обѣ дѣвки, надули на плечи шубёнки, которыми были одѣты, и вышли. На дворѣ было темно; мѣсяцъ ужь закатился, но тѣмъ ярче и виднѣе на синемъ небѣ блестѣли и мерцали крупныя и мелкія звѣзды. Дуня и Васена вышли за ворота, постояли недолго и, говоря о чемъ-то вполголоса, возвращались. Вдругъ въ сѣняхъ кто-то остановилъ Васену за руку.

— Что́, Васена, видѣла? тихо спросилъ кто-то.

— Пусти, Ѳедюха! отвѣчала она.

— Да что́?

— Плохо!

— А ты, Дуня? робко сказалъ другой голосъ.

— Антипка, ты какъ здѣсь?

— Я остался у крестоваго. Что́, Дуня?

— Гоже! А те-ѣ что за дѣло?

Неизвѣстно, что́ отвѣчалъ ей Антипка, только она вдругъ рванулась сердито и прикрикнула: «Ну-у! Мотри ты у меня!» и обѣ дѣвки проскользнули въ дверь и тихонько улеглись на лавкѣ.

—

Я не знаю, какъ обозначать время въ этомъ странномъ уголкѣ, гдѣ нѣтъ ни лѣтъ, ни мѣсяцевъ, ни чиселъ. Знаю только, что, вскорѣ послѣ описанныхъ происшествій, разъ утромъ, когда солнце только-что вставало надъ деревушкою и надъ каждой избой, точно бѣлые султаны высоко, высоко въ небо подымались и стали, нешелохнувшись, прямые и ровные столбы дыма,—какой-то крестьянинъ, только-что проснувшись, вышелъ въ одной рубахѣ на крыльцо и, почувствовавъ сильнѣйшій морозъ, флегматически замѣтилъ: «трещи не трещи, а минули водокрещи». Знаю, что были потомъ, какъ слѣдуетъ, морозы аѳанасьевскіе, за ними тимоѳеевскіе, и наконецъ послѣдніе, срѣтенскіе. Вотъ пришли и капельники и плюшники; начались съ сорокóвъ сорокъ утренниковъ. Алексѣй—съ горъ потоки пролилъ, Дарья испортила проруби, пришли на Марью пустые щи, и вотъ Ѳедулъ—теплый вѣтеръ подулъ и весна землю вспарила. Тогда, стряхнувъ съ себя снѣгъ и солому, бодрѣе выглянули на теплое солнышко темныя избушки, яснѣе обозначилась одна изъ нихъ, отшатнувшаяся къ полю и лѣсу, на стражу каменныхъ развалинъ. Теперь пора сказать, кто были ея жилицы.

Давно, очень-давно тому назадъ, когда вѣтеръ не сорвалъ еще крыши и ставней съ каменнаго дома, а стоялъ онъ просто заколоченный, жилъ въ новой избѣ, заслоненной этимъ домомъ отъ вьюги и непогоды, нѣкто Терентій Бодяга, отчасти садовникъ, а больше коновалъ, искалѣченный лошадьми, которыхъ онъ пользовалъ, и оставленный, за увѣчьемъ, сторожемъ при домѣ. Жилъ Бодяга съ женой своей, Никоновной, и дочкой, Ариной, и жилъ довольно-долго. Время шло; домъ разваливался и входилъ въ землю; Бродяга вошелъ въ нее окончательно; за то, у дочери его Арины, словно изъ земли, выросла дочь Василиса. Въ одинъ прекрасный день дѣвица Арина неизвѣстно куда отлучилась, и съ-тѣхъ-поръ прошло много дней и прекрасныхъ, и дурныхъ, но Арина не возвращалась, и осталась въ избушкѣ одна бабуш-

ка Никоновна съ внучкой Василисой, или, какъ ее звали въ деревнѣ, Васеной. И жили онѣ хоть и не въ довольствѣ, но и безъ большой нужды, а чѣмъ жили—никто не зналъ: сберегъ ли и оставилъ деньгу про черный день коновалъ Бодяга, старуха ли его, Никоновна, добывала ее своимъ ремесломъ—неизвѣстно; но недобрые слухи ходили въ маленькомъ мірѣ сельца Ознобихи про Никоновну и ремесло ея. А ремесло это состояло въ лѣченіи разныхъ недуговъ разными средствами: травами и нашептываньемъ, и говорили про старуху, что не чисто ремесло ея; что водитъ она знакомство съ личностями болѣе или менѣе невидимыми въ крещеномъ мірѣ, и что иногда въ глухую ночь совершаетъ она дальнія путешествія при помощи метлы, выѣзжая на ней въ дымовую трубу. Нельзя завѣрять въ томъ, чего не знаешь навѣрное, но дѣйствительно страненъ и страшенъ былъ видъ дряхлой старухи, когда она, въ бурю и непогодь, шла иногда согнувшись надъ клюкою въ поздніе сумерки изъ темнаго лѣса, несла пучки какихъ-то травъ, шла тихо, тряся старческой головою и все что-то шептала, что-то шептала.

Когда грозила кому-нибудь напасть близкая, когда что̀ недоброе творилось въ семьѣ, или недугъ злой и непонятный медленно грызъ и изводилъ кого, тогда, полные сознанія въ силѣ и убѣжденные въ свѣдѣніяхъ Никоновны, вечеромъ, съ узелкомъ въ рукахъ, пробирались, задами, къ ней люди нуждающіеся; и хоть старуха была ворчлива и непривѣтлива, но помогала многимъ своимъ таинственнымъ знаніемъ. Несмотря на это, косо смотрѣлъ деревенскій людъ на старуху, хотя и боялся ея; боялся ея глаза впалаго и чернаго, боялся ея шопота, никому непонятнаго, боялся, чуждался и не любилъ ее. И изъ всего большаго и меньшаго люда Ознобихи, только одна Васена, смуглая и хорошенькая дѣвочка, долго бѣгавшая въ одной рубашонкѣ, не боялась старухи: умаявшись днемъ, она довѣрчиво припадала русой головкой къ чахлой и хрипящей груди старухи, и сладко засыпала подъ ея таинственный шопотъ. Время шло. Старуха Никоновна, словно завороженная отъ его власти, все оставалась такой же старухой Никоновной, все таскалась въ лѣсъ за травами и шептала; но Васена выросла, выровнялась и изъ хорошенькой дѣвчонки сдѣлалась хорошенькой дѣвушкой, и шире раздвинулся передъ ней маленькій міръ, раздвинулся изъ четырехъ стѣнъ избушки во все пространство сельца Ознобихи; красота и молодость сняли съ нея недобрую славу, тяготѣвшую надъ ея родною кровлей; молча, косясь, приняли ее деревенскія дѣвки въ свой тѣсный кружокъ, и изъ нихъ Дуня, ея сверстница, сдѣлалась даже ея подругой.

Въ тотъ неизвѣстный годъ, когда воображеніе занесло насъ въ Ознобиху, грачи прилетѣли прямо на гнѣзда, и весна была дружная. Она пришла рано и, можетъ-быть, поторопилась оттого, что на Красную Горку ее дружно закликали дѣвки:

Весна, весна красная!
Приди весна съ радостью,
Съ великою милостью;

и пришла она для мужиковъ

На сошенькѣ
На бороночкѣ,

а для дѣвокъ съ веселыми хороводами. Вечеромъ, передъ закатомъ солнца, подоивъ коровъ и загнавъ скотину, собирались дѣвки и парни на лугу у околицы, неподалеку отъ Ѳедосѣвниной избы, и затѣвали игры. Завидя ихъ, выплывала своей утиной походкой и сама Ѳедосѣевна. Тогда дѣвки и парни приставали къ ней, и она, поломавшись малую-толику, принимала участіе въ ихъ играхъ—и игры эти шли стройнѣй и веселѣе; то входила Ѳедосѣевна въ кругъ, садилась и дрему дремала; а межъ-тѣмъ, сцѣпясь рука съ рукою, медленно ходилъ подъ ладъ тихой пѣсни пестрый кружокъ молодежи; то, сходясь и расходясь стѣна съ стѣною, онѣ просо сѣяли, то заплетались плетнемъ, то спрашивали другъ у друга новости.

Спрашивали молодыя бабы у старыхъ, что̀ въ городѣ вздорожало? и отвѣчали старыя:

Вздорожали молодыя бабы:
На овсяной блинъ по три бабы,
А четвертая провожата,
А пятая на придачу.

Спрашивали ли о томъ же молодые парни, отвѣчали имъ молодыя бабы:

Вздорожали добрые молодцы:
По восьми молодцовъ на полденьги,
А девятый провожатый,
А десятый на придачу.

Спрашивали ли дѣвки у добрыхъ молодцевъ: что̀ вздешевѣло? Добрые молодцы отвѣчали:

Вздешевѣли красны дѣвушки:
По ету рублей красна дѣвица,
А по тысячѣ дѣвицѣ на косицу.

Но чаще въ замкнутый кругъ входили мужчина и женщина; тутъ разъигрывались простыя сцены простой ежедневной жизни: ревнивый мужъ жену ревновалъ; жена ругала мужа-пьяницу и горько жаловалась иная молодка на сноху или свекровь. Только странно какъ-то случалось, что коль нужно было выходить парню съ дѣвкой, выходили большею частью однѣ и тѣ же пары, и изъ нашихъ знакомыхъ часто выходили Васена съ Ѳедюшкой и Антипъ съ Дуней. Говорилъ парень дѣвкѣ: «Богъ на помочь, красна дѣвица», а красна дѣвица гордо проходила мимо и ему не кланялась, и тогда, надѣвъ шапку на-бекрень, пріосанившись, грозилъ парень дѣвкѣ заслать сватьевъ и за себя ее взять, и будетъ тогда дѣвка у кроватушки стоять, будетъ бѣлы руки цѣловать, будетъ дѣвка держать шелкову плетку въ рукахъ: смирялась гордая дѣвка и, потупясь, отвѣчала:

Я думала, что не ты идешь,
Не ты идешь, не мнѣ кланяешься.

Хороводъ, тихо снуя, пѣлъ въ кругу; молча разъигрывалась простая драма; а, между тѣмъ, солнце давно ужь сѣло; вотъ и мѣсяцъ показался на небѣ; сѣдой туманъ вставалъ густой тучей и ложился холодной росою, а въ лѣсу кто-то странно то стоналъ, то хохоталъ. Торопливо расходились дѣвки по домамъ, и тогда по узкой тропинкѣ пробиралась въ свою избушку Васена, и часто Дуня провожала ее, и за ихъ мелькающими и размахивающими въ темнотѣ бѣлыми рукавами виднѣлись двѣ какія-то темныя фигуры въ смурыхъ кафтанахъ.

—

Извѣстное дѣло: лягушка квачетъ — овесъ скачетъ; на Петровъ день солнце поворотило на зиму — лѣто на жары; пришла убогая вдовица-купальница—и наступилъ сѣнозорникъ лѣта макушка. Сбилъ онъ у мужика мужицкую спѣсь, что некогда и на печь лѣзть; и баба бы плясала, да макушка лѣта настала; а все это оттого, что на дворѣ пусто, за то въ полѣ густо, и это широкое поле густое желтымъ хлѣбомъ и зеленой травой надо было сжать и скосить.

И вотъ однажды ночти весь женскій людъ деревни Ознобихи возвращался съ покоса. Дни передъ тѣмъ стояли жаркіе и ведреные; много рядовъ подкошеннаго сѣна полосами лежало на лугу и быстро высыхало: надо было убрать его до дождя, а дождь былъ на носу. Съ утра облака ниже и сизѣе начали сбираться на небѣ; завидѣвъ ихъ, быстрѣе закипѣла крестьянская работа, и вотъ, еще задолго до заката, мужикамъ оставалось только дометать и свершить стога, а бабы, собравъ и свозивъ сѣно, торопились до дождя къ домамъ, и онѣ шли пестрою гурьбою съ граблями на плечахъ и звонкой пѣснею; а между тѣмъ небо все темнѣло и темнѣло; густыя сизыя тучи почти сплошь заволокли его; въ спертомъ воздухѣ становилось ужь не жарко, а нестерпимо душно.

«Быть грозѣ, того и гляди!» подумали бабы, торопливо прибавили шагу—и пѣсня замолкла.

И какъ будто вмѣстѣ съ пѣснью замолкло все въ природѣ: листъ не шевелился на деревѣ, птица не щебетала въ воздухѣ, и стала кругомъ непробудная тишь, и страшно что-то стало на сердцѣ... Но деревня ужь недалече. Вонъ перелѣсокъ; вдоль его опушки на бѣлой лошади какой-то охотникъ пробирается рысцой къ дому; теперь только поворотить направо и по задамъ прямо въ деревню; ея еще не видно за кустами, но вдали, на сѣромъ грунтѣ потемнѣвшаго и грозно нахмурившагося лѣса, ужь виденъ голый остовъ каменнаго дома и возлѣ него маленькая избушка Никоновны, какъ будто присѣвшая отъ страха, стоитъ скривленная и тщедушная, робко глядитъ чуть видными окнами и ждетъ грозы...

Вдругъ... Что это? Что это?

Въ воздухѣ показался красноватый свѣтъ, но это не свѣтъ молніи. Всѣ головы запрокинулись разомъ, и видятъ летитъ надъ ними огненный шаръ, летитъ медленно отъ Чортова Болота, широко разметавъ свой огненный хвостъ... Тихо летитъ въ густомъ неподвижномъ воздухѣ, среди грозной тишины, спускается ниже и ниже и съ трескомъ и съ искрами разсыпается надъ трубой избушки...

Обомлѣла толпа и стала какъ вкопанная, и въ молчаливомъ ужасѣ переглядывались блѣдныя лица.

— Змѣй огненный! пронеслось по толпѣ.

— Къ Никоновнѣ, тихо сказалъ кто-то.

— Нѣтъ! Недавно видѣли, какъ Никоновна, опираясь на палку, трясясь и шепча, плелась въ лѣсу.

— Къ Васенѣ! еще тише сказалъ кто-то, и угрюмое молчаніе толпы подтвердило страшный приговоръ бѣдной дѣвушкѣ.

Громъ зарокоталъ надъ лѣсомъ; крупныя капли дождя начали падать; толпа повернула въ пролѣсокъ и, крестясь и запыхаясь, бѣжала по домамъ, и только слышенъ былъ говоръ:

«Къ Васенѣ! къ Васенѣ!»

А между тѣмъ, что дѣлала бѣдная Васена? Проводивъ бабушку, которую не пыталась отговаривать идти въ лѣсъ, потому что знала безполезность попытки, знала, что есть у нея неизмѣнный день и неизмѣнный часъ для сбора той или другой травы и что не много можетъ непогодь надъ ея окостенѣвшимъ тѣломъ, Васена отворила окошко, сѣла у него съ чулкомъ и тихо запѣла пѣсенку. Не знаю, что пѣла она, но переливъ ея длинной пѣсни былъ спокоенъ и безмятеженъ. Правда, была какая-то затаенная грусть въ ея напѣвѣ, но грусть безъ тоски и печали—это ровная и тихая грусть русской пѣсни, въ которой отразилась вся неизбѣжная ровная и тихая грусть цѣлой жизни.

И пѣла Васена свою пѣсню, о чемъ-то раздумывая, какъ она привыкла раздумывать въ длинные дни одинокой жизни; пѣла она, какъ поютъ птицы вольныя, да молодость беззаботная, оттого только, что имъ просто поется, и не видала Васена грозы, которая собиралась надъ нею, грозы въ воздухѣ, и не чуяла сердцемъ другой, болѣе страшной грозы; а между тѣмъ та и другая собирались молча. И вотъ стало темно и душно; и вотъ что-то сверкнуло въ воздухѣ; трескъ послышался надъ головою Васены и сѣрный запахъ разлился по избушкѣ, искры блеснули кругомъ; и едва успѣла Васена отскочить отъ окошка, едва, блѣдная отъ страха, занесла она руку, чтобъ оградить себя крестнымъ знаменьемъ—гляды! прямо передъ нею стоитъ какой-то красавецъ...

—

Когда, въ слѣдующее воскресенье, собрались дѣвки и парни, по обыкновенію, къ околицѣ, супротивъ Ѳедосѣевниной избенки ужь не хороводъ водить, потому что ихъ пора миновала, а просто поиграть въ горѣлки, подъ вечеръ пришла туда и Васена. Она была далеко лучше нежели въ первый разъ, когда мы ее видѣли зимою. Умывалась ли

она мартовскимъ снѣгомъ, вешней росою или первымъ дождикомъ: дала ли ей какого нибудь снадобья ея бабушка,—или сама мать-природа, щедрая лѣтомъ, убравъ лѣсъ зеленою листвою, лугъ пестрыми цвѣтами, надѣлила Васену полною красой. И Васена развернулась какъ почка на деревѣ, расцвѣла какъ цвѣтокъ въ полѣ. Ея гибкій и стройный станъ сталъ мягче, обрисовался круглѣе; мало коснулся загаръ лица ея; но румянецъ на смуглыхъ щекахъ игралъ и пробивался сильнѣе; полевая работа не огрубила тѣла ея, какъ она огрубила и зачернила ея бѣлоликихъ подругъ—лучше всѣхъ по деревнѣ стала Васена, лучше стала и наряднѣе, а между тѣмъ, смотрите! только подошла она къ играющимъ—и какъ-то странно затихъ ихъ говоръ и смѣхъ; поклонилась она—ей никто не кланяется; робко сторонятся отъ нея подруги; неохотно парни играютъ съ ней, и самая игра скоро прекратилась. Какъ будто что-то связывало и стѣсняло ея беззаботное веселье. Замѣтила это и Васена, замѣтила, и сама смутилась, и сама стала въ сторону.

Одна только Дуня, пользуясь сумерками и разбродомъ, подошла къ Васенѣ и тихо сказала:

— Васена, что это съ тобой?

— А што?

— Про те-я неладно баютъ у насъ.

— Да што баютъ? пѣсколько нетвердымъ голомъ спросила Васена.

Дуня затруднилась какъ будто отвѣчать ей.

— Да кто у те-я былъ ономнясь, въ грозу? сказала она.

— А ра-ѣ видѣли кого? тихо спросила Васена, и видно было сквозь темноту, какъ румянецъ во всю щеку вспыхнулъ у нея на лицѣ.

— Вся деревня видѣла: бабы съ поля шли. Я ногу наколола, такъ не ходила на сѣнокосъ, а то всѣ баютъ: видѣли, какъ онъ спустился.

— Кто спустился?

— Да змій, что ли, огненный...

Поблѣднѣла Васена при этомъ страшномъ словѣ, но вскорѣ оправилась и даже, казалось, улыбка пробѣжала по ея алымъ губамъ.

— Экъ сплели! сказала она.—Пусть ихъ баютъ! Языкъ безъ костей: все мелетъ!

— Да съ чево жъ это взяли? вѣдь вся деревня видѣла.... недовѣрчиво замѣтила Дуня.

— Али и ты туда же? сказала Васена:— пожалуй, вѣрь!

Дуня задумалась немного.

— Прощай, Васена. Мнѣ мама заказала и говорить съ тобой, сказала она, взглянувъ на Васену и какъ-будто ожидая что та разрѣшитъ ея сомнѣніе.

— Прощай! холодно замѣтила Васена.

Дуня, задумавшись, повернула къ деревнѣ, а Васена, взволнованная и возмущенная, быстро пошла по тропинкѣ, протонтанной къ ея одинокой избѣ.

Она вышла ужь въ поле—и вотъ видитъ: чья-то тѣнь появилась изъ-за задовъ и стала скоро приближаться. Васена не останавливалась, не оглядывалась и бойко шла, но тѣнь все приближалась, и узнала Васена Ѳедюху, въ смуромъ кафтанѣ, наброшенномъ на плечи.

— Постой, Васена! сказалъ Ѳедюха.

— Ну что те-ѣ? сердито сказала Васена.

Ѳедюха былъ немного озадаченъ ея голосомъ; онъ привыкъ ее видѣть доброй и ласковой.

— Да я все хотѣлъ спросить те-я, замѣтилъ нерѣшительно Ѳедюха:—у насъ бабы баютъ.... Онъ замолчалъ.

— И ты тоже? Што жь баютъ? про змія огненнаго? сказала громко Васена, вдругъ остановясь. —Што жь, правду баютъ! Прилеталъ онъ, ударился о землю и сталъ предо мной красавцемъ, да такимъ красавцемъ, што ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать.... Ну што жь те-ѣ? Те-ѣ что за дѣло?

— Какъ что за дѣло? пробормоталъ оторопѣвшій Ѳедюха.

— Ну, да что же те-ѣ за дѣло? жена што ли я твоя? Прилеталъ раскрасавецъ, не те-ѣ чета! Проваливай! сердито сказала она, повернулась и пошла быстро прочь.

Постоялъ немного на мѣстѣ Ѳедюха, почесалъ затылокъ въ раздумьи и, пробормотавъ: «што за притча такая?» побрелъ тихонько домой.

Не знаю, что была за притча, и какая была причина дурнаго обхожденіи Васены съ Ѳедюхой и холоднаго съ Дуней: возмутили ли ее слухи деревенскіе, обуяла ли гордость грѣшная, только и сама Васена отшатнулась отъ подругъ, которыя видимо чуждались и избѣгали ея, и осталась Васена одна въ своей избушкѣ, одна, съ старой бабушкой; а коль случалось Васенѣ проходить деревней, гордо и одиноко проходила она ее, и никому въ деревнѣ она не кланялась и никто изъ деревенскихъ съ ней не разговаривалъ. Но недолго продолжалось это. Стали люди замѣчать, что Васена будто худѣетъ и задумывается. Дѣйствительно, стала Васена задумываться; начали блѣднѣть ея румяныя щеки; и часто видѣли мимоходомъ, какъ она одиноко сиживала на завалинѣ пригорюнясь. Скучала ли Васена одиночествомъ, грусть ли тайная гнала ее, или тяжело ей стало бремя людской молвы, бремя мірскаго презрѣнія и отчужденія—тяжкое бремя во всякомъ кругу, во всякомъ мірѣ, раскинутъ ли онъ въ многодомныхъ городахъ, замкнутъ ли въ бѣдной и малой деревушкѣ! И не безъ удовольствія замѣтили люди эту перемѣну: въ ней они видѣли подтвержденіе своей страшной догадки! Извѣстно всѣмъ, какова жгучая любовь того существа, которое летитъ по небу зміемъ огненнымъ, прилетаетъ къ краснымъ дѣвкамъ и является чуднымъ молодцомъ. Жжетъ эта любовь молодое сердце, крушитъ свѣжія силы; сохнетъ и вянетъ та красавица, на которую падетъ эта страшная любовь! И стала мало-по-малу сохнуть и вянуть Васена!...

Но не въ одной Васенѣ произошла дурная пе-

ремѣна: задумался и Ѳедюха, доселѣ ни надъ чѣмъ незадумывавшійся. И онъ перемѣнился. Болѣлъ онъ душою и за Васену, надъ которой тяготѣла людская молва и съ которой произошла какая-то непонятная перемѣна; болѣлъ и за себя, потому-что Васена совсѣмъ перемѣнилась къ нему. Встрѣтится ли онъ съ ней, поклонится—она поклонится непривѣтливо, заговоритъ ли съ ней—отвѣчаетъ неласково. Неласкова и непривѣтлива, напримѣръ, и сестра его Дуня, съ крестнымъ братомъ Антипкой: вѣчно шпыняетъ или толкнетъ, или выбранитъ, да то совсѣмъ-другое: въ ея грубомъ обхожденіи была своего рода короткость, или ласка; сквозь крупное и сердитое слово проглядывала привязанность: такова ужь была Дуня, такъ выражалось ея чувство. Но не такъ въ доброе, старое время выражались привязанность и ласка Васены: голосъ ея былъ мягокъ, слово привѣтливо!

Конечно, мало вѣрилъ Ѳедюха бабьимъ сплетнямъ, на то онъ былъ мужчина. Мужикъ бабью рѣчь въ одно ухо впускаетъ, а въ другое выгоняетъ; молчитъ себѣ, только въ бороду глядитъ и не поперечитъ, а свое смекаетъ, и что думаетъ, то держитъ себѣ на умѣ. Но Ѳедюхѣ было осьмнадцать лѣтъ, и шибко полюбилась ему Васена, и шибко задѣвала его за-сердце ея видимая перемѣна, и работа у него не спорилась, и отъ рукъ отбивалась, а страда была въ самомъ разгарѣ, и крѣпко нужны въ эту поры крѣпкія руки для тяжелой и спѣшной работы.

Разъ—было это около бабьяго лѣта, то-есть когда лѣто уже миновалось, и желтый да ярко-красный листъ зашелестили на деревьяхъ—разъ Ѳедюха, напоивъ лошадей, вмѣсто того, чтобъ поужинать да лечь спать послѣ трудоваго дня, сталъ, прислонясь къ плетню, да безсознательно глядѣлъ на околицу; видитъ онъ—идетъ Антипка по улицѣ, и, завидя его, подошелъ къ нему.

— Што, Ѳедюха, ты все-тово... сказалъ онъ:—вѣдь, чай, и спать пора.

— Да што, братъ, плохо! отвѣчалъ Ѳедюха:—и сонъ на умъ нейдетъ.

Антипка хотѣлъ, казалось, сказать ему что-то, да вѣрно не придумалъ, и молча сталъ тоже у плетня.

— Работа изъ рукъ валится, продолжалъ Ѳедюха:—такъ бы, кажись, на свѣтъ не глядѣлъ. Какая тутъ работа— и батька бранится: што ты, баитъ, за себя работника, што ли, нанялъ? или мы, баитъ, на те-я работники? хлѣбъ то, баитъ, самъ для те-я въ закромы ляжетъ да печоный въ ротъ полѣзетъ, а твое дѣло жевать только? Во, на старости лѣтъ кормильца какова себѣ взростилъ...» И мама тоже, та все больше молчкомъ беретъ, только ономнясь сижу я тоже, этакъ, да спать не йду, а она увидала меня, да и говоритъ: что, баитъ, спать не йдешь, или все о Васенѣ думаешь? ишь, нашелъ, баитъ, раскрасавицу, у не*чистаго, прости* Богъ! што ли перебить захотѣлъ...

— А вправду, брось ты ее, Ѳедюха, сказалъ Антипъ:—выкинь ты ее изъ головы...

Ѳедюха усмѣхнулся.

— Выкинь! А какъ ее викинуть! Соръ, что ли, это какой. Самъ вижу, что плохо и правду они баютъ, да што будешь дѣлать—не могу!

— Да што же это съ Васеной-то сталось? сказалъ Антипъ.

— Въ толкъ не возьму! отвѣчалъ Ѳедюха:—ужь я и подсматривалъ, раза два въ избу къ ней въ полночь заглядывалъ—ничего! темно!.. А разъ и видѣлъ... да немного!

— Э?

— Да! пошелъ я этто какъ-то, съ недѣлю назадъ, тоже поглядѣть; прошелъ мимо избенки—ничего. Вотъ я и залегъ въ травѣ, и лежу. Лежалъ, лежалъ; близь полночи ужь, чай, было на дворѣ; стожары высоко такъ взошли; вдругъ слышу, скрипнула дверь, глядь—выходитъ Васена. Вышла она; на плечахъ шубенка накинута. Осмотрѣлась этакъ, да и пошла къ старому дому, почитай возлѣ меня прошла. Я все лежу, молчу, гляжу, што будетъ? Вотъ подошла она къ дому, сѣла лицомъ къ лѣсу: кругомъ, знаешь, все видно; сѣла и сидитъ,—такая безстрашная! Вотъ она сидѣла, сидѣла, этакъ, знашь, подгорюнившись, сидѣла, сидѣла; я все гляжу. И такъ она долго сидѣла, вплоть до пѣтуховъ, и пѣтухи пропѣли: все сидитъ. Потомъ слышу—вздохнула, этакъ, поднялась, посмотрѣла кругомъ и пошла къ избушкѣ. Какъ поровнялась со мной, я не вытерпѣлъ и всталъ.

— Ково, я говорю, это ты ждала, Васена?

Какъ она отскочитъ! Испужалась больно, а потомъ, какъ узнала меня да и напустилась...

«Што баитъ, коли ночью въ избѣ не спится, такъ нельзя и на дворъ выдти? Што ты мнѣ за дозорщикъ? Днемъ, баитъ, отъ людей проходу нѣтъ, да и ночью-то тоже! Этто, баитъ, дрожжецъ надо было, подошла я къ вамъ, думала у Дуни попросить, да наткнулась на мать твою, такъ мало она меня позорила, и, баитъ, чернокнижница-то я съ бабушкой и еретичка-то и, баитъ, изъ съ ней людей только изводить, да ляху болѣзнь напускать, и тобой корила, и во дворъ ходить запретила, а тутъ ты еще досматривать пришелъ! Што, баитъ, я твоя жена, ра-ѣ, или полюбовница? Ввѣкъ не буду ей!» а у самой глаза такъ засверкали...

— Ну, што жь ты?

— Да што, я сначала-то такъ и опѣшилъ, а потомъ маленько оправился. «Васена, говорю ей, я у самаго голосъ такъ и дрожитъ, Васена, говорю, ра-ѣ я для ляха за тобой подсматриваю, ра-ѣ мнѣ не тяжело, говорю, ночей не спю, все о тебѣ думаю: что, думаю, съ ней сдѣлалось: разсердилъ, что ли, я ее чѣмъ? отчего я ей опостылѣлъ такъ? Бабы на те-я невѣсть что сплели, всѣ отшатнулись отъ те-я; я одинъ не отшатнулся! Вспомни, я говорю, Васена, такъ-ли жили мы съ тобой?

— Ну, а она што же?

— Она словно и разжалобилась. Вздохнула, да и говоритъ: «не вспоминай, баитъ, Ѳедюха, что̀ было: что было, то сплыло и быльёмъ поросло. Спасибо, баитъ, те-ѣ за любовь твою и за ласку, только не труди ты ими и себя, и меня. Много, баитъ, у меня и безъ тебя горя, не прибавляй ты его ночнымъ дозоромъ, да встрѣчами: люди, баитъ, увидятъ, еще больше сплетутъ, и коль любишь меня, дай мнѣ зарокъ и не подходить ночью къ избѣ, а то, баитъ, ввѣкъ не прощу и слова не вымолвлю съ тобой». Далъ я ей зарокъ и заклятье: «только, говорю, не сердись на меня», хотѣлъ было, знашь, за руку взять, а она вырвала ее, да таково̀ жалостно говоритъ мнѣ: «прощай, говоритъ, Ѳедюха, не та стала я теперь...» взяла—да и убѣжала. Поглядѣлъ я ей въ-слѣдъ: сердце такъ-вотъ захватило, инда слезы прошибли, и пошелъ домой...

— Эко дѣло! сказалъ Антипъ: — такъ ничего и не узналъ?

Ѳедюха задумался, и потомъ ударилъ кулакомъ по плетню, такъ, что тотъ затрещалъ.

— Нѣтъ мочи моей! не втерпёжъ совсѣмъ, надо порѣшить чѣмъ-нибудь, сказалъ онъ.—Далъ я Васенѣ зарокъ не подглядывать за ней—и не буду; а не давалъ зарока узнавать, кто крушитъ и измѣнилъ ее, не давалъ—и узнаю.

— Да какъ же ты это узнаешь?

— То-то вотъ какъ: думалъ баушкѣ Никоновнѣ поклониться: ужь кабы она взялась, такъ ужь сдѣлала бы дѣло: хоть нечистому душу бы продалъ, да узналъ навѣрное. Только не пойдетъ Никоновна противъ внучки. Къ Ѳедосѣвнѣ ра-ѣ?

— А што и взаправду! Оно, знашь, Ѳедосѣвна супротивъ Никоновны не постоитъ, а однако все-таки, тово, смекаетъ дѣло...

— Пойду! попытаюсь! сказалъ Ѳедюха, и отправился.

— Скажи, мотри, што̀ она-те скажетъ.

— Ладно!

Они разошлись въ разныя стороны, но Ѳедюха предварительно завернулъ въ клѣть, покопался тамъ что-то и отправился.

—

Въ маленькомъ мірѣ сельца Ознобѝхи тетка Ѳедосѣвна была не послѣдняя спица въ колесницѣ. Никто не заподозрѣвалъ ее въ знахарствѣ, или короткомъ знакомствѣ съ личностями, извѣстными подъ именемъ нечистыхъ; но нужно ли было свадьбу сладить, игры снарядить, больнаго ребенка съ уголька умыть, или совѣта спросить—за всѣмъ и про все шелъ деревенскій людъ съ поклономъ къ Ѳедосѣвнѣ, и шелъ не даромъ: знала Ѳедосѣвна всякій урядъ и порядокъ; знала все,—что̀, когда и какъ творилось встарину, слѣдовательно знала все, что̀, когда и какъ должно твориться и нынѣче — должно нерушимо перейдти и къ потомкамъ. Не мало знала она и того, что̀ творится въ каждой семьѣ и избѣ. И отъ всѣхъ былъ Ѳедосѣвнѣ почетъ за ея знаніе; и поило, и кормило это знаніе Ѳедосѣевну.

Несмотря на довольно-позднюю пору, въ избушкѣ Ѳедосѣевны былъ еще огонь, а сама хозяйка что-то копошилась у печки, когда пришелъ къ ней Ѳедюха. Онъ снялъ шапку еще въ сѣняхъ; войдя, три раза перекрестился и низко поклонился Ѳедосѣевнѣ.

— Здорово, родной! Зачѣмъ Богъ принесъ? сказала она.

Но Ѳедюха, вмѣсто отвѣта, полѣзъ въ карманъ, вынулъ двугривенный съ дырочкой и, звякнувъ имъ, положилъ на столъ. Увидѣвъ приношеніе, Ѳедосѣевна, съ своей скорой перевалкой, подошла къ столу, стерла съ него тряпицей пыль, чинно сѣла на лавку и приготовилась слушать.

— Прими, тетка Ѳедосѣевна, не побрезгуй, сказалъ Ѳедюха:—только пособи горю.

— Впередъ не приму, родной, ни за̀-што не приму, а коль увижу, что могу пособить, тогда дѣло иное, сказала она. — Што жь тебѣ?

— Да такъ, и такъ, Ѳедосѣевна, отъ тебя нечатать, продолжалъ Ѳедюха и разсказалъ Ѳедосѣевнѣ свое горе.

Лицо Ѳедосѣевны, чинное и неподвижное, приняло задумчивое выраженіе, хотя ея сѣрые, маленькіе глаза и часто поглядывали изподлобья на разсказчика, словно хотѣли уловить и выпытать его тайныя думы; но на открытомъ и отуманенномъ горемъ лицѣ Ѳедюхи не было ничего скрытаго.

— Охъ, родной! Недоброе творится съ твоей Васеной, таинственно сказала потомъ Ѳедосѣевна: — повадился къ ней опасный гость: не совладать тебѣ съ нимъ и не устоять супротивъ него!

— Слыхалъ я это, тетка, да плохо вѣрится! замѣтилъ Ѳедюха. — Научи ты меня, какъ увидать во̀рога, научи, дай ты мнѣ увидать его—въ этомъ и просьба вся моя.

Ѳедосѣевна задумалась не на-шутку, хотя и говорила нерѣшительно:

— Можно... оно, пожалуй, можно...

— Въ избу въ полночь глядѣлъ? прибавила она.

— Глядѣлъ и больше не буду: я сказалъ те-ѣ, што зарокъ далъ, сказалъ Ѳедюха.

— Ну, коль ты не побоишься, такъ сдѣлай ты, парень, вотъ што! надумала Ѳедосѣевна.—Возьми ты ножъ острый и ступай ты въ лѣсъ, что̀ позади никоновниной избы, и выдь ты въ ночь на раздорожицу, а нонеже кстати и ущербъ начался, обведи ты ножомъ кругъ около себя и воткни ножъ посередь круга и самъ въ немъ стань. И жди ты первую ночь до первыхъ пѣтуховъ: коль никого не увидишь, то вторую жди до вторыхъ пѣтуховъ, а на третью жди до третьихъ пѣтуховъ, и коли тутъ ужъ ничего не увидишь, такъ, значитъ, те-ѣ талану нѣтъ. А вотъ те-ѣ ладонка: на себя надѣнь, съ ней ничего те-ѣ не будетъ.

Она пошла въ сундукъ, порылась, достала ла-

донку и отдала Ѳедюхѣ. И Ѳедюха вышелъ отъ нея, довольный совѣтомъ.

«Все ему, горемыкѣ, съ ножомъ-то ничего не приключится», подумала Ѳедосѣевна, запирая дверь.

—

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи, гдѣ, въ давнія времена, сходились и бились невѣдомыя враждебныя племена, и ряды низкихъ кургановъ надъ костями падшихъ въ бою, да молва народная сохранила темное преданіе о забытыхъ битвахъ, въ этихъ мѣстахъ есть повѣрье о *бѣломъ конѣ*. Въ годовщины битвъ, говоритъ оно, въ темную полночь зажигаются огоньки надъ могилами и слышится свистъ молодецкій, и на этотъ свистъ, откуда ни берется, и выбѣгаетъ бѣлый конь, и мчится, развѣявъ по вѣтру гриву, между могилъ, жалобно ржетъ, и ищетъ въ теченіе вѣковъ вѣрный конь своего падшаго въ бою всадника.

Неизвѣстный годъ, который шелъ надъ нашими дѣйствующими лицами, не былъ, какъ и всѣ предъидущіе и многіе послѣдующіе, отмѣченъ мѣстными жителями той или другой цифрой, но былъ онъ памятенъ знаменіями небесными и явленіями чудными, и эти знаменія и явленія крѣпче всякой цифры сохранятъ его въ народной памяти, и преданія о немъ долго будутъ передаваться въ длинные зимніе вечера, у дымящейся лучины, дряхлой бабушкой, трепещущему отъ страха и любопытства внучку. Лѣтомъ, въ тотъ годъ, видѣла вся деревня змія огненнаго; осенью пронесся слухъ, что въ лѣсу, близъ поляны и заросшихъ бурьяномъ и кустами кургановъ, слыхали по ночамъ свистъ молодецкій и видали бѣлаго коня, прядующаго во тьмѣ межь могилами.

Несмотря на эти слухи, несмотря на то, что неподалеку отъ поляны была раздорожица, гдѣ долженъ былъ стоять Ѳедюха, несмотря и на то, что не зналъ онъ, съ кѣмъ лицомъ къ лицу предстояло ему встрѣтиться, въ эту же ночь, выйдя отъ Ѳедосѣевны, взялъ нашъ парень ножъ острый и пошелъ въ лѣсъ на опасное свиданіе.

Мѣсяцъ былъ на ущербѣ. Поздно поднялся изъза лѣса его тонкій, полуистаявшій серпъ и освѣтилъ ужъ Ѳедюху въ лѣсу на раздорожицѣ. Стоялъ Ѳедюха подъ навѣсомъ дуба, который растянулъ надъ нимъ свои кривыя, полуобнаженныя вѣтви. Справа и слѣва, Богъ-вѣсть откуда, бѣжали и сходились двѣ узкія дороги и прямо передъ лицомъ полуночнаго сторожа сливались въ одну, выходящую на зады избушки Никоновны. У ногъ Ѳедюхи, воткнутый въ землю, блестѣлъ острый ножъ.

Но мѣсяцъ едва показался и скрылся. На темномъ осеннемъ небѣ заблистали звѣздочки; пожелтѣлый лѣсъ слабо шумѣлъ сухими листьями. Долго стоялъ Ѳедюха, всматриваясь въ темноту, прислушиваясь къ шороху — и ничего онъ не видалъ и не слыхалъ, кромѣ темноты и шелеста. Чу! какой-то ранній пѣтухъ, никакъ, закричалъ на деревнѣ; слабо долетѣлъ его крикъ до лѣсу; вотъ подхватили его и сильнѣй разнесли другіе пѣтухи. Вздохнулъ Ѳедюха, вынулъ ножъ изъ земли и побрелъ домой.

Наступила вторая ночь. Мѣсяцъ еще тощѣй и еще блѣднѣе, словно трудно-больной, собравшій свои послѣднія силы, опять приподнялся и ужь едва выглянулъ надъ лѣсомъ; опять увидалъ онъ Ѳедюху на прежнемъ мѣстѣ, освѣтилъ его на минуту слабымъ лучомъ и тотчасъ же опустился. И Ѳедюха, какъ мѣсяцъ былъ, казалось, блѣдней и худѣе вчерашняго; но, несмотря на усталость и душевную тревогу, бодро ждалъ неизвѣстной встрѣчи, а небо все темнѣло и темнѣло; едва видныя звѣзды мерцали въ вышинѣ; полночь спускалась на землю и тишина стала по лѣсу. Долго ждалъ Ѳедюха въ темнотѣ и тишинѣ, и вотъ слабый крикъ пѣтуха-запѣвалы долетѣлъ до него, другіе подхватили этотъ крикъ и, какъ проснувшіеся сторожа, протянули его и разнесли по деревнѣ и потомъ снова смолкли и уснули. Тогда изрѣдка тихій трескъ послышался по лѣсу; видно проснулся звѣрь голодный; видно птица ночная рѣетъ между вѣтвями и черная тьма освѣтила для нея то, что скрываетъ Божій свѣтъ. Ѳедюха все стоялъ; сердце его билось сильнѣе; чуткое ухо пугливо прислушивалось и взглядъ, привыкшій къ темнотѣ, тревожно всматривался. Но опять напрасно ждалъ онъ: въ другой разъ запѣли пѣтухи. Вынулъ Ѳедюха ножъ изъ земли и, теряя надежду, побрелъ къ дому, опустивъ голову.

И вотъ наступила третья ночь; темна, непривѣтлива сошла она на землю. Не было на небѣ ни звѣздъ, ни мѣсяца, словно не хотѣлось имъ выходить въ такую ночь на обычный дозоръ; а между-тѣмъ вышелъ въ эту ночь на свой дозоръ нашъ ночной сторожъ. Закутанный въ осенній мракъ, угрюмо стоялъ обнаженный лѣсъ, простирая во тьмѣ сухія, искривленныя вѣтви. Угрюмѣе его стоялъ Ѳедюха на своемъ мѣстѣ, и не одинъ осенній мракъ наложилъ темныя тѣни на его лицо. Стоитъ и ждетъ Ѳедюха. Глубокой тишиной сошла полночь на землю, сошелъ вмѣстѣ съ ней весь сонмъ незримыхъ и страшныхъ существъ, которыми такъ обильно населенъ міръ народныхъ повѣрій. Проснулись въ разстроенномъ воображеніи Ѳедюхи всѣ слышанные имъ съ-издѣтства разсказы, живѣе увѣровалъ онъ въ тѣ страшныя преданья, въ которыхъ онъ никогда не сомнѣвался. И вдругъ, какъ-будто въ подтвержденіе этихъ разсказовъ, послышался ему свистъ отдаленный и вскорѣ на этотъ свистъ, чудится ему, слабо отвѣтило съ поляны ржаніе коня. Кровь сильно била въ жилахъ Ѳедюхи, сердце сильно стучало, но стоитъ онъ терпѣливо и ждетъ. И вотъ видитъ онъ сквозь чащу лѣса какой-то слабый блескъ... Волчій ли глазъ свѣтитъ во тьмѣ; зажглись ли полночные огоньки надъ могилами падшихъ?.. Но чу! запѣли первые пѣтухи по деревнѣ и отрадень былъ ему этотъ успокоительный крикъ.

И опять все замолкло, но не надолго. Лѣсъ слабо зашумѣлъ и вся ночная жизнь стала про-

сыпаться въ немъ. Вотъ хрустнула вѣтка подъ чьей-то невидимой ногой; вотъ какой-то глухой, странный крикъ протянулся и замеръ въ воздухѣ; вотъ пахнуло Ѳедюхѣ въ лицо чье-то холодное дыханье и кто-то, словно въ испугѣ нежданной встрѣчи, отпрянулъ отъ него. Ярче забѣгали во тьмѣ и замелькали въ чащѣ лѣса блуждающіе огоньки, волки печально завыли вдали и опять слабое ржаніе коня послышалось съ поляны. Силы начали измѣнять Ѳедюхѣ. Онъ едва стоитъ отъ волненія и усталости. Но запѣли вторые пѣтухи. «Недолго» подумалъ онъ,—и наступилъ послѣдній срокъ страшнаго ожиданья.

Снова замерло все въ лѣсу и воздухѣ. Предъутренній сонъ какъ-будто одолѣлъ и природу. Гуще и темнѣе сошелъ предразсвѣтный мракъ, и эта темнота и это затишье тяжелѣе всѣхъ страстей ночныхъ ложились на сердце. Но у Ѳедюхи будто замерло сердце; онъ не чувствовалъ ничего; только напряженный слухъ его сталъ чутокъ, какъ у звѣря дикаго, только зрѣніе его, привыкшее къ темнотѣ, стало зорко, какъ у птицы ночной, и онъ всѣми силами прислушивался къ тишинѣ и всматривался въ предразсвѣтную мглу.

И вотъ далеко, далеко гдѣ-то послышалась ему тяжелая поступь, вотъ яснѣе и тихо она застучала по дорогѣ, идущей отъ избушки. Смотритъ онъ и что-то бѣлое мелькаетъ сквозь чащу вѣтвей и приближается. Затрепеталъ Ѳедюха какъ листъ, затаилъ дыханіе, вытянулся впередъ и весь обратился въ зрѣніе... а кто-то близится, близится и поравнялся съ нимъ... И увидалъ Ѳедюха, несмотря на мракъ ночной, ясно и отчетливо онъ увидалъ... Крикъ злобы и отчаянія вырвался у него изъ груди; мгновенно поднятый ножъ блеснулъ у него въ рукѣ. Но чей-то испуганный конь рванулся впередъ, чья-то тѣнь быстро пронеслась мимо, и раздавшійся топотъ глубже-и-глубже уходилъ въ лѣсъ, тише-и-тише доносился изъ дали и неслышно замеръ.

На другой день, блѣдный и истомленный, очнулся Ѳедюха дома. Передъ нимъ стоялъ Антипъ, который давно выжидалъ его пробужденья и съ этою цѣлью даже неоднократно поталкивалъ его въ бокъ.

— Ну, что? спросилъ Антипъ: — кого видѣлъ?

Ѳедюха сначала постоялъ, что-то смутно припоминая, потомъ вдругъ такъ тряхнулъ головой и курчавыми волосами, какъ-будто за тридевять земель хотѣлъ отбросить какую-то тяжелую мысль, и махнулъ рукою на весь крещеный міръ. Ничего не добился и ничего не узналъ больше Антипъ; только съ-тѣхъ-поръ не подсматривалъ больше Ѳедюха за Васеной, избѣгалъ съ ней встрѣчи и не говорилъ о ней, точно никогда и не зналъ ее, да съ той же поры, словно желая размыкать какое-то безотвязное горе, завихрился Ѳедюха и закутилъ во всю ивановскую.

—

Прошла тяжелая страда и кончилась дожинками; прошли разныя помочи для другихъ работъ: колотушки, потрепушки, супрядки, но не было на этихъ помочахъ Васены,—никто не звалъ ее, никому она не была нужна. Наступили и веселыя капустницы; гурьбой собирались дѣвки капусту рубить, полакомиться кочерыжками, и живо шла работа подъ веселую пѣсню. Прошло Вздвиженье; шуба потянула съ мужика кафтанъ и насталъ тотъ тяжелый мѣсяцъ глубокой осени, въ которомъ, какъ говорятъ крестьяне, только и добра, что пивомъ взялъ.

Разъ въ эту пору сидѣла Васена передъ своей избушкой на завалинкѣ. Былъ ясный осенній день. Вдали голыя поля чернѣли непривѣтливо, выжатая пашня, точно выстриженная борода, желтѣла торчащей соломой; обнажился ближній лѣсъ, и только изрѣдка какой-нибудь одинокій красный листъ трепеталъ на сухой вѣткѣ, точно чахоточный румянецъ на осунувшемся лицѣ. Солнце свѣтило ярко, но еще грустнѣе; подъ его лучомъ выдавались рѣзкія, ничѣмъ несмягченныя краски и безъ того грустнаго вида.

Васена вышла погрѣться на солнышко — видно плохо грѣла ее, бѣдную, молодая кровь. Въ самомъ дѣлѣ, въ лицѣ у нея небыло, какъ говорится, ни кровинки; но блѣдное и похудѣлое это молодое личико все еще было очень-хорошо. Смуглота и печаль наложили на него легкія тѣни; темно-каріе глаза стали будто больше, хотя и глядѣли какъ-то грустнѣе. На темно-русой головѣ Васены былъ красненькій платочекъ, на плечахъ поношенная коротенькая шубёнка, а въ ушахъ довольно-богатыя для крестьянки серьги. Но все это было надѣто потому, что попалось подъ-руку, надѣто не старательно, безъ мысли кому-либо нравиться. И кому, въ самомъ дѣлѣ, нравиться ей? Въ деревню она не ходитъ, и узкая тропинка къ ихъ избѣ почти заросла травою; какъ прежде, на ней тяготѣла дурная молва, про нее ходили странные слухи, и маленькій міръ, въ которомъ была замкнута и доселѣ жила она, оттолкнулъ ее съ презрѣніемъ. Грустно нести это иго общественнаго отчужденія и въ лѣта зрѣлаго возраста, еще грустнѣе и тяжелѣе ложится оно на молодую голову, гнететъ и убиваетъ расцвѣтъ той весны, когда такъ тепло и бойко бьется сердце, такъ и хочется весело и привѣтно броситься въ полную жизнь свѣжими силами, и встрѣтить веселый и привѣтливый отзывъ въ людской толпѣ. А онъ? Что жь онъ, этотъ таинственный и невѣдомый намъ гость, который вдругъ огненнымъ метеоромъ разразился надъ головой молодой дѣвушки, словно заколдованной чертой отдѣлилъ ее отъ деревенскаго міра, позоромъ и страшной молвой покрылъ ее— что жь онъ? Выкупилъ ли онъ своею любовью все, чего лишилъ Васену? Заставилъ ли онъ ее забыть всѣхъ, кто забылъ и отвергъ ее? Что онъ далъ этой бѣдной крестьянской дѣвочкѣ, у которой только и было добра, что красота да честное

имя—красота, имъ разрушенная, имя, имъ опозоренное? Богъ знаетъ! Часто видали въ послѣднее время Васену съ заплаканными глазами. Радость и счастіе не крушатъ и не сушатъ, и, видно, правду говорятъ народное повѣрье, что только жжетъ и изводитъ дѣвку эта нечистая любовь...

Васена сидѣла на завалинкѣ; взглядъ ея безцѣльно бродилъ по окрестности и былъ грустенъ и не оживленъ: ничего она имъ не искала, никого не высматривала; однакожь, одно обстоятельство, несовсѣмъ-обыкновенное въ деревенской жизни, остановило на себѣ ея вниманіе.

Вдали, на единственной и широкой улицѣ Озноби хи, собрался народъ; посреди него стояли двѣ тройки насупротивъ Ѳедосѣевниной избы, а можетъ, и сосѣдней съ ней. И вотъ кто-то сѣлъ въ телѣги; замахали шапки, и лихія тройки съ свистомъ и шумомъ, гремя бубенчиками, тронулись и понеслись къ околицѣ. Что это, не свадьба ли? не выходитъ ли Дуня замужъ за Антипа? Нѣтъ! Поѣздъ малъ и ѣдетъ онъ не по той дорогѣ; онъ ѣдетъ сюда: знать, въ городъ! «Кто бы это»? думала Васена и старалась всмотрѣться въ лицо ѣдущихъ въ то время, когда они, трясясь въ телѣгахъ, подъѣзжали ближе-и-ближе по дорогѣ, которая лежала невдалекѣ отъ васениной избушки. Вонъ они ужь поравнялись, а она все не узнаетъ; вотъ сейчасъ проѣдутъ мимо...

— Стой, братцы! сказалъ кто-то на передовой телѣгѣ:—дайте мнѣ проститься напослѣдяхъ!

Тройка остановилась и съ телѣги сошелъ Ѳедюха. На немъ былъ новый нанковый полушубокъ, смушатая шапка на бекрень. Онъ подошелъ къ Васенѣ.

— Здорово, Василиса Матвѣевна! сказалъ онъ, снимая шапку; — я съ тобой попрощаться пришелъ.

— Куда это ты? съ недоумѣніемъ спросила она, приподнявъ голову и смотря на него.

— А въ службу царскую везутъ: нонѣ некрутчина.

— Да ра-ѣ на васъ очередь была?

— Нѣтъ, отвѣчалъ Ѳедюха:—мы тройники, а чередъ былъ съ четверниковъ. До насъ бы не скоро дошло, а къ тому времю братишко бы подоспѣлъ... Да міръ сказалъ батюшкѣ, «что» баютъ «завихрился, Васильичъ, твой Ѳедюха: міру онъ не подмога—отдай его!» И отецъ баитъ: «я сыну не потатчикъ»! А по мнѣ все-равно!.. Чѣмъ я царю не слуга? Я охотой иду, только бы и ставили меня какъ охотника. Ишъ съ какимъ весельемъ везутъ, сказалъ Ѳедюха, кивнувъ на тройку, и ухмыльнулся. А въ головѣ у Ѳедюхи было, кажется, для бодрости немного заложено.

Но посмотрѣла Васена печально на Ѳедюху, и ему какъ-то неловко стало. Улыбка сбѣжала съ его лица и онъ потупился.

— Васена! сказалъ онъ прерывисто: — это ты все, Васена... Богъ те-ѣ судья... Послушай, Васена! *тихо продолжалъ онъ:* — я все знаю... все знаю! Отрекись ты отъ него... забудь его... Вѣдь ужь онъ не воротится... забылъ ужь, чай, онъ, что ты и на свѣтѣ есть... Полюби ты меня, Васена... будемъ жить попрежнему... я те-я за себя возьму... вѣкъ ничѣмъ не попрекну... Еще есть время... отмыню я отъ некрутчины: подставной пойдетъ... Руку себѣ обрублю... изувѣчу себя, а отмыню... Пойди за меня... молилъ Ѳедюха. Самъ онъ былъ блѣденъ, слезы дрожали у него въ голосѣ; у Васены текли онѣ по лицу.

— Спасибо те-ѣ, Ѳедюха, за честное слово... сказала Васена:—не могу я за те-я идти... Да и что я те-ѣ! Ра-ѣ мало дѣвокъ на деревнѣ лучше меня? За что́ те губить себя изъ-за меня. Возьми другую... А мнѣ... куда ужь мнѣ!..

— Полно, Васена, говоритъ Ѳедюха:—уговорю я и батюшку, и матушку... другой человѣкъ буду, выдь только ты за меня...

Но Васена прервала его.

— Нѣтъ, Ѳедюха! не таковъ мой талантъ, доля моя не такая выпала... и не проси лучше!.. Запала мнѣ эта дорога!.. Не пойду, ни за кого не пойду! сказала Васена, и въ тихомъ голосѣ ея звучала твердая рѣшимость.

Ѳедюха стоялъ, опустивъ голову. Онъ еще боялся думать, что это было послѣднее слово Васены; онъ не рѣшался ступить шагъ назадъ, потому что не было ему возврата съ этого шага, когда изъ телѣги послышались голоса:

— Ну, иди, Ѳедюха! Полно тамъ те-ѣ!

Приподнялъ Ѳедюха голову, взглянулъ на Васену и снялъ шапку.

— Такъ прощайте, Василиса Матвѣевна, сказалъ онъ и кашлянулъ, потому-что у него что-то словно засѣло въ горлѣ.—Прощайте, сказалъ онъ.—Видно вамъ не любовь моя дорога... подвѣсочки, видно, вамъ полюбились дорогіе... сережки разноцвѣтныя...

Вспыхнуло лицо Васены какъ зарево. Она схватилась за серьги, сломала ихъ и бросила. А Ѳедюха тѣмъ временемъ, заломилъ шапку набекрень, повернулся и пошелъ молодцомъ.

Не успѣлъ Ѳедюха дойти до телѣги, какъ по дорогѣ послышался чей-то голосъ и показались двѣ женщины. Увидѣвъ, что лошади остановились, онѣ отдалились отъ толпы и побѣжали. Старшей было лѣтъ за сорокъ, но, видно, трудовая жизнь, дѣти и горе состарѣли ее. Она была худа, станъ ея согнутъ, продолговатое лицо блѣдно, на немъ дрожали неотертыя слезы и лежала какая-то страшная печаль. Она едва бѣжала и кричала что-то; голосъ ея прерывался, ноги подкашивались, но она бѣжала и кричала... Другая бѣжала Дуня, съ заплаканнымъ лицомъ.

— Батюшки, погодите! погодите, родимые! задыхаясь кричала она, увидѣвъ, что Ѳедюха садится въ телѣгу:—дайте мнѣ обнять дѣтище... дайте мнѣ впослѣдніе обнять его... Ѳедюха, родимый, подожди мать свою! Подожди, Ѳедюха!.. съ отчаяніемъ

закричала она... Но лошади рванулись, Ѳедюха махнулъ ей шапкой и тотчасъ же запѣлъ:

Охъ, да голова ли ты моя головушка,
Голова ли моя разудалая,
Никому-то ты, голова, не надобна...

Да такъ громко запѣлъ, такъ громко, какъ-будто хотѣлъ заглушить и не слыхать голосъ матери и другой голосъ, который, можетъ, звучалъ у него въ груди....

Еще нѣсколько шаговъ пробѣжала старуха въ догонь за тройками, потомъ, отъ усталости ли или отчаянія, упала на колѣни, склонилась ничкомъ на землю и продолжала выть и голосить... А между-тѣмъ пыль ложилась на дорогѣ и звонкая пѣсня едва долетала.

— Полно, полно убиваться, мама! говорила Дуня, поднимая ее:—полно... ужь не воротишь...

Старуха приподнялась, взглянула... вдали ужь никого не видно, и все тихо кругомъ нея. Сильнѣе взвыла бѣдная старуха; тихо поддерживаемая дочерью, она повернулась къ деревнѣ, хотѣла идти и вдругъ увидала Васену.

— А, это ты! воскликнула она, и худой станъ ея выпрямился, и слезы застыли въ глазахъ. Это ты, змѣя подколодная, извела его! Ты, съ своей вѣдьмой, баушкой, его околдовала... Такъ знай же: чтобъ тебѣ ни на томъ свѣтѣ, ни на этомъ покоя не было... Чтобъ тебѣ...

Васена встала и ушла въ избу, но долго еще проклятія матери слышались по дорогѣ и отзывались въ ушахъ Васены.

—

Прошла грязниха, наступили заморозки и вскорѣ появилась зима. Снова, какъ въ первый разъ, когда мы взглянули на Ознобиху, избушки ея, словно въ теплую шубу, закутались въ солому, и ихъ мало-по-малу начало заносить снѣгомъ. Появились зарневицы. Въ темное зимнее утро, когда еще не знаешь, наступаетъ ли день или ночь, вдругъ блеснетъ огонь въ сторонѣ и въ отверстіи низкаго соломеннаго овина, ярко-освѣщенныя горящей лучиной, замелькаютъ тѣни молотильщиковъ, мѣрно и звучно размахивающихъ цѣпами. Взойдетъ ли солнце въ туманѣ и на встрѣчу ему изъ каждой трубы поднимутся бѣлые и тонкіе столбы дыма съ клубящейся верхушкой. Наступаетъ ли ночь, на ясное небо высыпятъ звѣзды, и выходитъ сметливый крестьянинъ посмотрѣть на нихъ. Не спроста смотритъ онъ: есть для него звѣзды многовѣщающія; знаетъ онъ тайну ихъ рожденія, а онѣ, молча, съ небесъ подаютъ ему совѣты и предостереженія. Не пойдетъ онъ въ путь противъ Чигирь-звѣзды; Стожары даютъ вѣсть ему, когда въ лѣсъ на медвѣдя идти; знаетъ онъ кѣмъ населено Утиное Гнѣздо и отчего оно, порой, такъ ярко блещетъ; слыхалъ про трехъ Проклятыхъ Сестеръ, которыя горятъ и догораютъ Дѣвичьими Зорями... и многое еще знаетъ онъ.

Въ одну изъ такихъ ночей вдругъ разнеслась по деревнѣ страшная вѣсть, что на небѣ что-то творится неладное. Высыпала вся деревня на улицу и видитъ, что, скользя межь разорванныхъ облаковъ, катился полный мѣсяцъ, но край его какая-то невидимая рука задернула черной полосой, и все больше-и-больше скрывала его; вотъ остался одинъ только свѣтлый серпъ его, вотъ и его не стало, одно только черное пятно тихо плыло передъ смущенной толпою... Знали старые люди отчего тускнѣетъ свѣтлый мѣсяцъ, и со страхомъ смотрѣли на страшное дѣло, которое свершалось передъ ними...

Въ одной кучкѣ стояли двѣ бабы и о чемъ-то толковали. Одна изъ бабъ была наша знакомая, Ѳедосѣевна, другая—сосѣдка ея. Маленькая дѣвчонка, дочь этой бабы, куталась въ длинный отцовскій тулупъ, который волочился по землѣ, и жалась къ матери.

— Мама! мама! что это? спрашивала дѣвочка.

— Ну полно, дура! Много знать будешь, скоро состаришься... Ишь какое дѣло опять затѣяли! сказала она, обращаясь къ Ѳедосѣевнѣ.

— И не говори, мать моя! отвѣчала та.—Что-то нонѣ больно супротивъ другихъ годовъ куролѣсить начали...

— А ты слышала,—у насъ-то вечоръ какая бѣда стряслась? сказала баба: пѣгую-то кобылу, не къ ночи молвить, домовой въ ясли забилъ, насилу поутру-то вытащили, чуть живехоньку! И не знай, что съ нимъ сдѣлалось? никакихъ проказъ намъ отъ него не было—добрый такой былъ, еще буланкѣ гриву плелъ, а тутъ вдругъ, прости Богъ, задурилъ! а кажется, ничѣмъ не прогнѣвили...

— Оно бываетъ, мать моя, что онъ бѣсится, да весной, а теперь рано бы еще. А ты скажи хозяину-то своему, чтобъ онъ кнутъ съ онучами лошади-то на шею привязалъ; онъ подумаетъ, что самъ хозяинъ на лошади сидитъ, и не тронетъ ее.

— Дѣло, матка, дѣло! спасибо те, научила! А то вотъ, говорятъ, еще, козла хорошо больно держать: духу-то, слышь, онъ его не терпитъ. Намеднись останавливался у насъ кучеръ съ заводу, старикъ Антонъ — знаешь, чай; такъ онъ сказывалъ. «У насъ, говоритъ, жилъ козелъ — и все благополучно было. Да блудливъ больно былъ козелъ-то: все бодался. Вотъ онъ и околѣй. Да и околѣлъ-то отчего: на плетнѣ красный платокъ висѣлъ, а онъ въ его и ну пырять, да и завязилъ рога-то въ плетню, а рожищи были, баитъ, страшные — такъ и нашли на другой день мертваго. Вотъ, баитъ, кучеръ-то, дядя Антонъ, и пошло, баитъ, неладно у насъ: что ни утро, посмотришь, а одна лошадка — бѣлая была, мудрено какъ-то называлъ — стоитъ слышь, въ мылѣ или поту, да и лошадь-то, что ни есть любимая молодаго сына-то управляющаго, что лѣтомъ въ побывку пріѣзжалъ. А не взлюбилъ-то онъ ее, должно быть, оттого, что не русская была, а, знать, горская, что-ли. Вотъ, баитъ Антонъ, и говорю я молодому-то, такъ-и-такъ, неладно у насъ, Александр

Иванычъ! велите вы козла на конюшню дать. Ну а онъ что? Извѣстно, ничему не вѣритъ, только смѣется; да и пострѣлъ кучеренокъ-то, баетъ Антонъ, что̀ въ городу жилъ, тоже ухмыляется, вишь и онъ, знаешь, тамъ ума-то ужь больно много набрался, умнѣе старыхъ людей сталъ.... Ну а мнѣ што́, баитъ Антонъ, лошадь не моя, я и молчу, а лошадь все, глядишь, въ поту, да въ поту. Да вотъ ужь, баитъ, по осени, передъ самымъ отъѣздомъ, прощаться съ нимъ Александра-то Иванычъ сталъ, да и говоритъ — ну, баитъ, Антонъ, велѣлъ я тебѣ козла на конюшню дать: «не будетъ теперь никто на моей лошади ѣздить». Что жь, матка, вѣдь и въ самомъ-дѣлѣ: все, слышь, съ той поры благополучно—вотъ оно и смѣйся надъ козломъ!

— Мама, а мама! да что это? приставала опять дѣвчонка.

— Ну что канючишь? Ра-ѣ не видишь? Злые люди скрадываютъ мѣсяцъ!

— И кто это, сказала Ѳедосѣевна:—такой грѣхъ творитъ? Ужь не затѣяла ли чего, прости Богъ, старуха Никоновна!...

— И не говори! прибавила другая, подперевъ рукой щеку:—не къ ночи молвить, больно не-чисто у нея, да и съ внучкой-то...

Межъ-тѣмъ на мѣсяцѣ проглянулъ свѣтлый край, вскорѣ онъ зашелъ за тучи и вся деревня, нѣсколько успокоенная насчетъ его судьбы, поспѣшила въ теплыя избы, отогрѣваться на печкѣ.

А что́ дѣлается у Никоновны?

—

Снова мы видимъ избушку, полузанесенную снѣгомъ; замела мятель и тропинку къ ней; снова опять, какъ два свѣтящіеся глаза, блестятъ слабымъ огонькомъ ея маленькія окна. Въ избушкѣ, на печи, опять слышится странный глухой шопотъ; сверчокъ кричитъ гдѣ-то въ углу, и на лавкѣ, у стола, снова сидитъ Васена, прядетъ и поетъ пѣсни; но не такова была ужь и пѣсня, и пѣвица!

Случалось ли вамъ слышать женщину, когда она поетъ и вмѣстѣ плачетъ? Могу васъ увѣрить, ничего грустнѣе, ничего безотраднѣе вы не услышите, какъ это странное сочетаніе слезъ и пѣнія. Я слышалъ подобную пѣсню. Какая-то еще молодая женщина сидѣла подгорюнившись, пѣла и горько плакала. Я не помню, гдѣ и когда слышалъ я, у меня не остался въ памяти даже образъ этой женщины, но мнѣ стоитъ только закрыть глаза и вздумать о ней, какъ потрясающій звукъ этой пѣсни, этотъ плачъ и рыданія переливающіеся въ долгой, однообразной нотѣ, такъ и раздадутся у меня въ ушахъ, и снова, какъ въ первый разъ, когда я услышалъ ихъ, сердце мое сожмется и заноетъ отъ боли. Это не пѣніе Дездемоны у ногъ проклинающаго ея отца, это не плачъ, вырванный отчаяніемъ въ страшную минуту жизни — нѣтъ! Это тихое [illegible] пѣніе, вызванное тихимъ, но глубокимъ [illegible] это длинная грустно-переливающаяся рус[illegible], которая слабо дрожитъ отъ неудержанныхъ слезъ и изрѣдка перерывается сжавшимся отъ плача горломъ: она не приведетъ васъ въ ужасъ, но, какъ тонкое жало, больно и глубоко вонзается въ сердце.

Такъ пѣла и Васена. Худая, блѣдная, но все еще прекрасная, сидѣла она на поддонцѣ прялки, вырывала изъ мочки длинную нитку, тихо пѣла длинную, грустную пѣсню и слезы медленно катились изъ глазъ ея по смуглымъ щекамъ. Она пѣла:

Хорошо тому на свѣтѣ жить,
У кого нѣту стыда въ глазахъ,
Нѣтъ стыда въ глазахъ, ни совѣсти,
Нѣтъ у молодца заботушки,
Въ ретивомъ сердцѣ зазнобушки!
Зазнобилъ меня любезный другъ,
Зазнобилъ сердце, повысушилъ,
Безъ краснова солнца высушилъ,
Безъ мороза сердце вызнобилъ....

Она пѣла, и не знаю—пѣсня ли вызвала ея слезы, слезы ли вызвали ея пѣсню, но долго она пѣла и тихо плакала, и уныло, безвыходно-грустно звучала эта пѣсня въ полутемной, почти пустой избѣ.

Но вотъ на печкѣ послышался шорохъ; кряхтя, завозилась старуха, кряхтя и лѣпясь, слѣзла съ печи, прикрыла рукой глаза, дрожа подошла къ столу, сѣла на лавку противъ Васены и, облокотясь на столъ, стала всматриваться въ лицо внучки.

— Ишь какъ извелась! сказала она, качая дряхлой головой.—Полно те плакать-то, полно убиваться-то, тоску инда нагнала.

Васена замолчала.

На сморщенномъ лицѣ старухи показалось что-то похожее на участіе.

— Хошь пособлю я тебѣ, тихо сказала она.

— Не пособишь! отвѣчала Васена.

— Гм! не пособишь! обидясь сказала Никоновна:—што я, даромъ, што-ли, вѣкъ-то изживаю, даромъ, што-ли, я таскаюсь по лѣсу да по болотамъ и днемъ, и въ глухую ночь? Да знаешь ли ты, какая трава у меня есть? У меня есть прикрышъ-трава, есть у меня сонъ-трава, есть цвѣтъ кочедыжника, семь лѣтъ кряду доставала я его подъ Иванову-ночь; есть плакунъ-трава, что̀ всю нечистую силу устрашитъ... есть тирличь-трава, таинственно сказала она. Вотъ только нечуй-вѣтра нѣтъ, оттого что зрячимъ не достается она; какъ совсѣмъ ослѣпну, такъ поищу, прибавила Никоновна, какъ-будто говоря сама съ собою.

Васена слушала и молчала.

Старуха продолжала ворчать:

— Другая бы слезно вымолила у меня эти травы, сказала бы: «баушка, что это у те-я? разскажика мнѣ, научи меня». Я стара, умереть могу, прахомъ все пойдетъ, вздохнувъ, прибавила она.

— Нашто онѣ мнѣ? вѣдь не помогутъ, сказала Васена.

— Онѣ не помогутъ те-ѣ, такъ отъ другаго помогутъ. А для те-я есть у меня слова такія, вѣрныя есть слова: хошь, што-ли, отведу?

Васена задумалась.

— Нѣтъ, баушка, сказала она помолчавъ; — мнѣ мила моя тоска и дума; что я буду безъ нея.... У меня только и осталось, сказала она и заплакала.

— Ну плачь! плачь, коль охота! Изводи себя! А онъ, чай, съ другими разгуливаетъ, другихъ дуръ сушитъ...

У Васены слабо вспыхнули щеки; она отерла слезы, съ любопытствомъ посмотрѣла въ лицо бабушкѣ, какъ-будто хотѣла удостовѣриться на немъ въ ея знаніи, и потомъ нерѣшительно и робко сказала:

— Нѣтъ, баушка, не нужно меня отводить; а не можешь ли ты, не знаешь ли ты... такова слова, чтобъ его приключить?

Никоновна задумалась.

— Стара стала, память плоха! Дай вспомнить... А знала!

Старуха приномнила что-то и тихо шептала. Васена тревожно всматривалась въ ея лицо.

— У ти-нѣтъ его волосъ? спросила она.

— Нѣтъ! стыдливо отвѣчала Васена.

Опять старуха о чемъ-то задумалась и молча трясла головой.

— Поди, сказала она:—поди, посмотри, въ кою сторону вѣтеръ дуетъ, не въ его ли сторону, да принеси съ дороги снѣгу пригоршню.

Васена вышла изъ избы и скоро воротилась со снѣгомъ.

— Въ его сторону дуетъ, отвѣчала она.

— Ну! сказала старуха: — сама я вдругъ всего не припомню, иное слово и выпустишь, я лучше те-я самое выучу, ты ровнѣе скажешь.

Старуха опять замолчала и, собирая въ памяти какія-то слова, только шевелила губами, потомъ придвинулась къ Васенѣ, сказала ей: «слушай!» и начала дрожащимъ, дряхлымъ голосомъ что-то ей причитать.

Сверчокъ чирикалъ за печкой, лучина дымилась и трепетно свѣтила, а слова старухи звучали какимъ-то мѣрнымъ, глухимъ напѣвомъ...

Было около полуночи. Тучи сплошь заволокли небо. Вѣтеръ гулялъ по снѣжному полю мятелицей и, завывая, проносился мимо избушки. На крыльцѣ стояла Васена. Она была въ одномъ сарафанѣ; русая коса у ней распущена, длинные волосы распались кругъ лица, вѣтеръ развѣвалъ ихъ, и снѣжной пылью порошилъ волосы и лицо Васены. Въ правой рукѣ она что-то крѣпко сжимала.

За Васеной, въ темной впадинѣ дверей, едва виднѣлась какая-то согбенная фигура и дрожала головой.

— Начинай! сказалъ голосъ за Васеной, и Васена начала говорить:

— На морѣ, на окіанѣ, на островѣ на Буянѣ лежитъ камень алатырь; подъ тѣмъ камнемъ лежитъ доска, подъ той доской лежитъ тоска. Плачетъ тоска, рыдаетъ тоска, бѣлаго свѣта дожидается. Мечется тоска, рвется тоска, на бѣлый свѣтъ просится. Мечись тоска, кидайся тоска, въ его буйну голову, ему въ тылъ и ликъ, въ его очи ясныя, въ его сердце ретивое, въ умъ его и разумъ, въ волю и хотѣнье. Плачь тоска, рыдай тоска, дожидайся свѣту бѣлаго. И чтобъ онъ такъ плакалъ и метался, меня рабу дожидался. И чтобъ не могъ онъ безъ меня ни быть, ни жить, какъ рыба безъ воды, какъ младенецъ безъ матери. Чтобъ не могъ онъ ни пить, ни ѣсть, спать и не заспать, думать и не задумать, ни на утренней зарѣ, ни на вечерней, ни обыдень, ни въ полдень, ни при частыхъ звѣздахъ, ни при буйныхъ вѣтрахъ, ни въ день при солнцѣ, ни въ ночь при мѣсяцѣ. И чтобъ была я ему краснѣе солнца краснаго, нужнѣе воздуха вольнаго, милѣе свѣта бѣлаго, и будь мое слово крѣпко и лѣпко, и несите его вѣтры буйные къ милу другу, несите и не оброните...

Волосъ Васены сначала былъ тихъ и не твердъ, но мало-по-малу онъ крѣпчалъ и звучалъ сильнѣе. Волосы ея разметались, румянецъ зажегся и разгорѣлся на блѣдномъ лицѣ, глаза засверкали; громко и грозно сказала она послѣднія слова, размахнула похудѣлой рукой, и пустила чары на вѣтеръ...

ПОѢЗДКА НА КУМЫСЪ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Отъ Петербурга до Москвы.

Въ бездомной жизни холостяка, домашній очагъ котораго удобно помѣщается въ дорожномъ чемоданѣ, есть наслажденіе — поодичавъ немного въ провинціи, пріѣхать въ началѣ зимы въ Петербургъ. Какой милый городъ Петербургъ зимою! Какъ удобна въ немъ вся хозяйственная, практическая обстановка жизни для человѣка, котораго первое наслажденіе—не имѣть заботъ о домашнемъ хозяйствѣ! Какъ полна въ немъ спѣшная жизнь современнымъ интересомъ! Да и гдѣ у насъ этотъ современный интересъ, кромѣ Петербурга? Гдѣ у насъ эти теплыя, еще животрепещущія новости, которыхъ не вычитаешь въ газетахъ, которыя завозитъ въ провинціи, простывшія, перевранныя, какой-нибудь заѣзжій? А опера, театры, маскарады, мокрыя отъ типографскаго станка газеты, лошади цирка высшей школы, газовое освѣщеніе и прочее, и прочее.

Да, есть высокое наслажденіе прожить зиму въ Петербургѣ, но еще высшее — уѣхать изъ него весною!

Пестрая разнообразными веселостями зима кончилась, прошелъ и Великій постъ; немногіе виртуозы, дававшіе концерты, разъѣхались; снѣгъ раскололи и свезли, грязь счистили, двинулась вода въ рѣкѣ и каналахъ, двинулись барки, нагруженныя мебелью для дачъ; на тротуарахъ Невскаго проспекта запестрѣла сплошная масса разноцвѣтныхъ зонтиковъ, защищающихъ личность прогуливающихся отъ безвреднаго петербургскаго солнца; появились дни, въ которые можно было рискнуть выйдти въ холодномъ пальто—наступила весна.

Зимой вездѣ снѣгъ и морозъ; но весною, когда все въ природѣ встрепенется и закипитъ жизнью, когда усталая грудь съ болѣзненнымъ наслажденіемъ жаждетъ свѣжаго, ароматнаго воздуха, когда кровь бойко бѣжитъ въ жилахъ и хочется человѣку простора, а какая-то дремотная нѣга клонитъ его отъ рабочаго стола—въ это время тяжело и досадно дышать пылью, слушать немолчный стукъ экипажей по сѣрой, горячей каменной мостовой, видѣть кругомъ сплошныя стѣны домовъ....

Подъ вліяніемъ этого тяжелаго чувства, къ которому присоединялась нетерпѣливость больнаго, боящагося упустить лучшее для пользованія время, съ первыхъ чиселъ мая я жилъ въ Петербургѣ и безпокойно ждалъ.... попутнаго вѣтра. Наконецъ пахнулъ этотъ желанный вѣтеръ, и я могъ выѣхать.

Но прежде, нежели поведу читателя по той дальней дорогѣ, которую намъ прійдется проѣхать, считаю нужнымъ оградить себя отъ замѣчанія, которое впослѣдствіи онъ можетъ мнѣ сдѣлать. Не имѣя ни права, ни желанія занимать его любопытство своею личностью, я поневолѣ должень буду говорить иногда о себѣ, по той необходимости, что я описываю свою собственную поѣздку и, къ несчастію, не могу, вмѣсто себя, послать какую-нибудь интересную личность выдуманнаго мною героя. Говорю «къ-несчастію», потому-что понимаю всю выгоду писателя, разсказывающаго чужія похожденія: во-первыхъ, я бы постарался сдѣлать моего путешественника такимъ интереснымъ, что читатель готовъ былъ бы слѣдовать за нимъ хоть на край свѣта; во-вторыхъ, путешествіе его было бы полно самыхъ разнообразныхъ приключеній, которыхъ, Богъ-дастъ, со мною никогда не случится; въ-третьихъ, путешествія выдуманныхъ героевъ производятся на-счетъ издателей и стоятъ автору нѣсколькихъ дней труда и нѣсколькихъ листовъ бѣлой бумаги. Но, несмотря на всѣ эти выгоды, я все-таки не могу послать вмѣсто себя какого-нибудь героя—не могу потому, что намѣренъ говорить о томъ, что̀ вижу, а не о томъ, что̀ хотѣлъ бы видѣть; не могу потому, что ни на волосъ не будетъ мнѣ легче, если заставлю растолстѣть отъ кумыса моего героя; не могу потому, наконецъ, что не хочу, сидя въ кабинетѣ, дразнить и раздражать свое воображеніе одною мыслью о томъ знакомомъ пути, о той любимой сторонѣ, которые мнѣ такъ хочется и такъ весело будетъ увидѣть.

Итакъ, я собрался ѣхать на кумысъ, въ оренбургскую губернію, куда меня призывали и разстроенное здоровье, и собственныя дѣла. Оренбургскій край новъ и разнообразенъ; путь къ нему пересѣкаетъ пол-Россіи. Много и мы, и иностранцы пишемъ про заграничныя поѣздки, мало и рѣдко наблюдательнымъ взглядомъ путешественника смотримъ по сторонамъ собственно на-

ь дорогъ: поэтому я намѣренъ въ этихъ письговорить о своей поѣздкѣ.
одно прекрасное петербургское утро, когда ыло ни солнца, ни дождя, ни вѣтра, а было о сѣренькое, очень хорошо извѣстное жите- Петербурга, именно, 18-го мая въ 11-мъ я простился съ сѣверной Пальмирой, чтобъ авиться въ сердце Россіи. Передъ окномъ квартиры, на шоссе Обуховскаго проспекта, ъ старинный гранитный верстовой столбъ, съ ѣчными часами и съ надписью: «Отъ Царска- ела 25 верстъ, отъ Москвы 725 верстъ». Нанѣ я посылалъ въ Царское село по желѣзной гѣ, и мой посланный возвратился чуть-чуть ерезъ часъ; прочитавъ надпись верстоваго ба, которая въ переводѣ значитъ: трое или ero сутокъ ѣзды, я отправился на станцію рбургско-московской желѣзной дороги. Рус- простонародье зоветъ желѣзныя дороги *чугун-* Есть у него названіе и паровозу, названіе, рое такъ и переноситъ васъ въ сказочный міръ нятныхъ чудесъ: онъ называетъ паровозъ *чорнымъ конемъ*. Но не думайте, по этому имени, ь это изобрѣтеніе запада казалось ему до того стижимымъ, что онъ объясняетъ его себѣ содѣйъ нечистой силы. Вообще, не такъ легко озаъ чѣмъ-нибудь простаго русскаго человѣка. ервый разъ онъ какъ-будто и удивится, и ска- : «ишь, штука какая!» а потомъ будетъ смоь на эту штуку какъ на вещь весьма обыкную, потому-что хотя и несовсѣмъ пойметъ, екнетъ ее. Онъ ужь и смекнулъ ее; онъ гоъ: «чортовъ конь—огневкѣ братъ»; а огнева его мѣткомъ языкѣ, значитъ пароходъ.
о всего мною сказаннаго нисколько не слѣь, чтобъ я думалъ именно объ этомъ, подъя къ станціи желѣзной дороги. Напротивъ, я въ прекрасномъ расположеніи духа и думалъ шенно о другихъ предметахъ, даже, кажется, чемъ не думалъ. Мнѣ просто было весело гиться на четыре мѣсяца съ милымъ горо- Петербургомъ, съ его толками, новостями, юстями, пылью, стукомъ; я только наслаждалъставаньемъ съ милыми предметами, потомуесть большое удовольствіе покинуть милые леты, когда видишь ихъ сряду девять мѣсяцевъ. ителямъ столицы нечего говорить о прекрасзданіи петербургской станціи желѣзной до- Это двух-этажное зданіе, съ двумя воротами окамъ, изъ которыхъ въ одни ввозятся товары, ченные къ отправленію въ Москву, а изъ ихъ вывозятся грузы и выѣзжаютъ пріѣзжіе Москвы. Въ 11-мъ часу пріѣхавшіе изъ Мосужь спокойно брѣются въ своихъ квартирахъ, вощики, ихъ ожидавшіе, ужь разъѣхались. Эки, привозящіе отъѣзжающихъ, не остаются; о незначительное число ихъ, ожидающее возенія провожавшихъ, стоитъ въ отдаленіи. Подъютъ торопливо путешественники къ большому ѣзду, берутъ свои вещи, съ помощью собственнаго слуги, или извощика, и скрываются съ ними въ двери: у зданія опять пусто и спокойно. Но въ большой со сводами залѣ, въ которую входишь, сейчасъ бросается въ глаза суетящаяся толпа отъѣзжающихъ. Тутъ всѣ торопятся, хлопочутъ, безпокойно чего-то ищутъ. Первое, къ чему бросается неопытный путникъ это,—полукруглый, со стеклами, фонарь, внутри котораго стоятъ вѣсы, и сквозь который видѣнъ разрѣзъ крытаго двора, съ чугунной сѣтью стропилъ на верху и параллельными рядами рельсовъ по землѣ... Всякій торопится скорѣе сдать свои вещи.

— Потрудитесь принять мои вещи, говоритъ отъѣзжающій, складывая въ сторонѣ отъ другихъ свои чемоданы и коробки.

— Билетъ есть? спрашиваетъ пріемщикъ, когда доходитъ до нихъ очередь.

— Билета еще не взялъ, отвѣчаетъ путникъ.

— Такъ не угодно ли взять его вонъ тамъ?

— Да нельзя ли принять вещи? а я билетъ ужь послѣ возьму, продолжаетъ отъѣзжающій.

— Нельзя! отвѣчаетъ пріемщикъ, втаскивая сквозь отнятую раму другой чемоданъ.

— Да отчего же нельзя?

Пріемщикъ продолжаетъ взвѣшивать чужія вещи, и отъѣзжающій господинъ справляется, гдѣ раздаютъ билеты; ему показываютъ бюро налѣво отъ входной двери, и онъ отправляется къ нему.

— Билетъ на мѣсто перваго класса! говоритъ онъ.

— Позвольте паспортъ, отвѣчаетъ кассиръ.

Онъ показываетъ паспортъ.

— Онъ не прописанъ, говоритъ кассиръ, отрѣзывая и штемпелюя билеты для другихъ требователей.

— Да гдѣ жь его прописать? слегка поблѣднѣвъ, говоритъ неопытный господинъ, воображая, что ему надобно ѣхать куда-нибудь прописывать паспортъ и пропустить часъ отхода поѣзда. Но кассиръ показываетъ ему на другое бюро; отъѣзжающій успокоивается и спѣшитъ пробраться къ нему. На дорогѣ ему встрѣчаются знакомые и пріятели, пріѣхавшіе его проводить; но ему не до нихъ: онъ еще не увѣренъ, поѣдетъ ли онъ, потому-что число отъѣзжающихъ велико, а число мѣстъ ограничено.

Наконецъ паспортъ его прописанъ и на немъ положенъ штемпель; отъѣзжающій начинаетъ совершать обратное путешествіе отъ бюро къ бюро— получаетъ билетъ, причемъ спрашиваетъ, сколько онъ стоитъ,—хотя знаетъ напередъ объявленную цѣну,—сдаетъ вещи, расплачивается за нихъ у другаго бюро, получаетъ ярлыки съ номерами билетовъ, наклеенныхъ на чемоданахъ, бережно укладываетъ ихъ въ бумажникъ и, спокойный, довольный, отправляется въ толпѣ отыскивать своихъ пріятелей.

Между-тѣмъ отворяется боковая дверь, и толпа отъѣзжающихъ, съ дорожными мѣшками въ рукахъ, проходитъ, черезъ двѣ комнаты, въ большую и красивую залу, уставленную по стѣнамъ

лакированными деревянными скамьями: здѣсь ожидаютъ минуты отъѣзда. Зала эта представляетъ совершенную противоположность предъидущей: тутъ все тихо, всѣ сидятъ, или стоятъ со своими знакомыми, группами около своихъ мѣстъ; всѣ, въ ожиданіи звонка, хотятъ поговорить съ отъѣзжающими, передать имъ какую-нибудь просьбу, поручить какую-нибудь коммиссію, и всѣ или помалчиваютъ, или говорятъ пустѣйшія фразы; забытая вещь, неказанное слово, вспоминаются ужь обыкновенно тогда, когда свиснетъ свистокъ паровоза... Но вотъ первый звонокъ. Растворяются двери на платформу, всѣ хватаютъ дорожные мѣшки, наскоро прощаются и спѣшатъ въ свои вагоны, какъ-будто боясь не попасть въ нихъ. Черезъ нѣсколько минутъ, на галереѣ за балюстрадой остаются одни провожающіе; между ними и вагонами пустое пространство, по которому ходятъ кондукторы и распорядители. Изъ оконъ вагоновъ виднѣются разнохарактерныя головы, кивающія друзьямъ и дѣлающія имъ прощальные знаки руками. И опять тишина и ожиданіе; нѣтъ разнощиковъ газетъ и мелкихъ торговцовъ, предлагающихъ на заграничныхъ дорогахъ пищу для ума или желудка отъѣзжающихъ; все тихо, чинно. Наконецъ послышался третій звонокъ, съ нимъ вмѣстѣ слился пронзительный звукъ свистка, клубы густаго пара ударились въ желѣзную кровлю дебаркадера, и вотъ слышите вы тяжелые и рѣзкіе вздохи паровоза и постепенное звяканье натягиваемыхъ колецъ, которыми соединены вагоны. Вотъ звякнуло кольцо вашего вагона, и вся галерея, съ пестрымъ рядомъ провожавшихъ, отодвигается назадъ; отодвинулось, кажется, и самое зданіе; чаще и чаще послышались взлеты вырывающагося пара; зданія и пустые вагоны, ожидающіе сзади, замелькали передъ вами—и вы полетѣли.

Въ первое время пассажиры молча осматриваются по сторонамъ дороги, осматриваются вокругъ себя. Но дорога идетъ по безжизненнымъ болотамъ, и личность спутниковъ удерживаетъ за собою права на вниманіе. На лицахъ людей, считающихъ себя весьма образованными оттого только, что они безусловно восхищаются всѣми современными открытіями, видно самодовольствіе: они гордятся торжествомъ ума человѣческаго, изобрѣтшаго паровозы. Вообще очень удобно ѣхать по 50 верстъ въ часъ, по гладкой дорогѣ, въ спокойной каретѣ, и гордиться этимъ торжествомъ ума, споспѣшествуя его развитію нѣсколькими рублями за перевозъ своей особы. Люди болѣе скромные, отдавая должную справедливость геніальному изобрѣтенію, немного побаиваются его: они будутъ имъ гораздо довольнѣе, складывая свои вещи на извощика. Остальные, наконецъ, къ которымъ принадлежитъ бо́льшая часть пассажировъ третьяго класса, принимаютъ вещь очень хладнокровно и благоразумно: они не восхищаются ею и не боятся, а ѣдутъ потому, что *ничего стали такъ возить*. Есть еще разрядъ пассажировъ, которые принимаютъ всякое изобрѣтеніе и открытіе, стоящее человѣчеству столькихъ трудовъ и времени, какъ дань, подобающую ихъ особѣ, и очень недовольны человѣческимъ умомъ, который не можетъ отвратить легкаго сотрясенія, происходящаго отъ быстроты ѣзды.

Но вотъ раздаются два свистка; вслѣдъ за ними слышится скрыпъ тормазовъ, и поѣздъ останавливается.

— Что такое? торопливо спрашиваютъ, явно встревоженные, скромные путешественники.

— Что это мы остановились? спрашиваютъ съ неменѣе сильнымъ, но болѣе скрытнымъ безпокойствомъ соревнователи и жаркіе поклонники ума человѣческаго, невольно подумывая: не сплоховалъ ли немного человѣческій умъ, встрѣтивъ какое-нибудь непредвидѣнное обстоятельство?

— Зачѣмъ мы остановились? спрашиваютъ небрежно первоклассные пассажиры, очень недовольные остановкой въ стремленіи ихъ особы къ Москвѣ, въ то время, когда они не имѣли желанія останавливаться.

Кондукторы отвѣчаютъ, что здѣсь запасаются водою—и всѣ успокоиваются. Нѣкоторые любезные кавалеры, за минуту встревоженные, съ улыбкой легкой насмѣшки надъ трусостью женщинъ начинаютъ увѣрять своихъ дамъ, что имъ бояться нечего. Многіе пассажиры выходятъ на платформу, но не отходятъ отъ своихъ вагоновъ, боясь остаться. Но черезъ нѣсколько минутъ раздается звонокъ, всѣ спѣшатъ на мѣста, паровозъ засвистѣлъ—и поѣздъ снова двинулся.

Время идетъ, версты мелькаютъ мимо; кругомъ все болото, поросшее мелкими соснами; даль, какъ-будто кружась, отодвигается назадъ, но видъ не измѣняется: все тотъ же лѣсъ и болото; пассажиры свыкаются съ своимъ положеніемъ, ищутъ удобства въ своемъ креслѣ и входятъ въ свои роли.

Исключительная особенность русскаго путника, особенность, происходящая отъ характера и отъ малочисленности поѣздокъ, или привычки дѣлать ихъ въ своихъ экипажахъ—состоитъ въ томъ, что онъ въ дорогѣ не эгоистъ. Если онъ хочетъ быть эгоистомъ, хочетъ имѣть всѣ удобства, онъ ищетъ себѣ отдѣльнаго мѣста и готовъ заплатить за него въ три-дорога; но разъ садясь въ общественный поѣздъ, въ почтовой ли каретѣ, дилижансѣ, или вагонѣ, онъ держитъ въ немъ себя совѣстливо, отрекается отъ своей личности, дѣлается уступчивъ, услужливъ и нетребователенъ. Нѣтъ у него ни спора за открытое окно, изъ котораго въ него дуетъ, ни ссоры за мѣсто для своихъ ногъ, которое занялъ сосѣдъ своимъ мѣшкомъ: онъ напередъ обрекаетъ себя на эти маленькія непріятности; отъ этого, можетъ быть, мы вообще не любимъ дешевыхъ мѣстъ и общественныхъ экипажей. Такъ все тихо и мирно шло въ нашемъ поѣздѣ: не было ни у кого ни сегодняшней газеты, ни какого нибудь «Путеводителя» въ рукахъ; всѣ занимались другъ другомъ, или углублялись въ самихъ себя. Это право ничего не дѣлать и ничѣмъ не заниматься въ дорогѣ многіе находятъ однимъ изъ

ея наслажденій. Только въ первоклассномъ вагонѣ двѣ дамы вынули изъ дорожныхъ мѣшковъ французскіе романы миніатюрнаго брюссельскаго формата, да одна во второклассномъ — о милая женщина!—начала читать русскій романъ; но вскорѣ предпочла ему апельсины и исключительно занималась ими бо̀льшую часть дороги. Многіе выразили сожалѣніе, что не взяли съ собою картъ—не картъ дороги, а обыкновенныхъ нашихъ игорныхъ картъ; одинъ какой-то растрепанный и самоувѣренный юноша, проживъ въ Петербургѣ два мѣсяца, горячо началъ разсказывать о немъ своему сосѣду, а сосѣдъ его, почтенный человѣкъ, лѣтъ 45, въ первый разъ выѣхавшій изъ Петербурга, слушалъ его съ большимъ интересомъ. Молоденькая дама, у которой въ лицѣ было много игры и, какъ говорится, физіономіи, живо болтала съ тремя кавалерами, сидѣвшими рядомъ и противъ нея; а одна дѣвица, лѣтъ сорока, съ очень добрымъ, хотя и не казистымъ лицомъ, и едва ли имѣющая собственное хозяйство, свое *я*,—а, какъ кажется, долженствующая проживать весь вѣкъ у родныхъ и знакомыхъ въ качествѣ кузины, тетки или компаньонки, едва познакомясь съ своими сосѣдками, сказала имъ:

— Мнѣ вчера княгиня У* говорила, что мы очень хорошо доѣдемъ.

Хотя никто изъ ея сосѣдокъ не зналъ княгини У*, и еще менѣе могъ знать, почему княгинѣ У* извѣстно, что мы хорошо доѣдемъ, но никто не улыбнулся этой невинной замѣткѣ, и всѣ, повидимому, были очень довольны и предсказаніемъ княгини, и сосѣдкой, которая была знакома съ нею. Но болѣе всѣхъ остался доволенъ этимъ замѣчаніемъ сосѣдъ мой, котораго исполненныя таланта и наблюдательности статьи я не могу назвать (онѣ такъ извѣстны публикѣ, что это значило бы назвать его по имени) и котораго счастливый случай послалъ мнѣ въ спутники.

Собственно о сооруженіяхъ желѣзной дороги я говорить не буду: они такъ значительны и серьезны, что нельзя говорить о нихъ вскользь, и описаніе ихъ можетъ быть предметомъ спеціальной статьи. Но нельзя умолчать, что всѣ эти сооруженія такъ изящны, удобны и часто великолѣпны, что не только въ Россіи, гдѣ они появляются въ первый разъ, но и въ Европѣ дали бы полное право нашей петербургско-московской дорогѣ на одно изъ первыхъ и почтеннѣйшихъ мѣстъ въ огромной линіи ея желѣзныхъ дорогъ.

Одинъ изъ самыхъ живописныхъ видовъ, которыми такъ небогата наша дорога, находится на пересѣченіи ея съ Волховомъ, и потомъ Веребьею, черезъ оврагъ которой поѣздъ мчится около полуверсты по огромнѣйшему мосту, на двадцать саженъ высоты отъ дна. Часто останавливается поѣздъ, согласно назначенію, на 5 или 10 минутъ, на станціяхъ для принятія пассажировъ и для снабженія водою. На одной изъ этихъ станцій васъ ждетъ готовый завтракъ; неторопясь, вы можете въ 10 минутъ достаточно удовлетворить требованія желудка, и мчитесь далѣе. Въ Малой Вишерѣ, за 150 верстъ отъ Петербурга, мы въ первый разъ остановились на 30 минутъ.

Представьте себѣ прекрасное, почти эллиптическое каменное зданіе, обнесенное крытой галереей. Близь этого зданія, за исключеніемъ другаго круглаго, назначеннаго для помѣщенія и починки локомотивовъ, на десятки верстъ болото и пустыня, — а между тѣмъ съ утра въ немъ начинается дѣятельность: повара готовятъ обѣдъ на сотню кувертовъ, прислуга накрываетъ въ большой залѣ длинный общій столъ и нѣсколько маленькихъ столовъ по бокамъ, и уставляетъ его различными винами, въ бутылкахъ или полубутылкахъ, на которыхъ вывѣшена ихъ цѣна; нѣсколько буфетовъ уставлено разными закусками. Кругомъ тишина и пустыня,—а между тѣмъ въ извѣстный часъ прислуга, въ черныхъ фракахъ съ мѣдными значками въ петлицѣ, уже ждетъ на своихъ мѣстахъ, и маленькая группа дамъ, принадлежащихъ къ семействамъ должностныхъ при дорогѣ лицъ, появилась на галереѣ, въ ожиданіи неизвѣстныхъ гостей. Но вотъ, вдали, на одной парѣ чугунныхъ рельсовъ, одиноко пересѣкающихъ пустыню, показывается бѣлая струйка дыма; чрезъ нѣсколько минутъ долетаетъ звукъ свистка, и едва успѣютъ поставить пятую тарелку съ горячимъ супомъ надъ четырьмя другими, составляющими каждый приборъ, какъ ужь длинная нить вагоновъ стоитъ у галереи, и изъ нихъ, одинъ за другимъ, выходятъ сотни гостей, бросаются къ столамъ и въ минуту усаживаются вокругъ нихъ самой разнообразной нитью. Нѣсколько служителей безпрерывно принимаютъ тарелки, другіе обносятъ блюда съ кушаньемъ; очень порядочный общій обѣдъ состоитъ изъ пяти блюдъ; наконецъ вамъ предлагаютъ тарелку, на которую вы должны положить, въ замѣнъ всего съѣстнаго и испиваемаго, маленькое количество сребра или злата. Черезъ полчаса слышится звонокъ, потомъ свистокъ—и новый локомотивъ, смѣнившій отъѣхавшаго свою дистанцію, уноситъ поѣздъ. Вокругъ галереи снова пустыня, въ большой залѣ тарелки съ остатками кушанья, пустыя бутылки и рюмки, прислуга, ихъ прибирающая, и буфетчики, считающіе деньги...

Ошибается тотъ, кто думаетъ, что нельзя позавтракать въ десять минутъ, или пообѣдать въ полчаса: можно не только пообѣдать, но выпить чашку кофе или чая и нѣсколько минутъ для моціона проходить по галереѣ. Вообще опытный путешественникъ все дѣлаетъ неторопясь и никогда не опаздываетъ. По мѣрѣ удаленія отъ Петербурга, всѣ до нѣкоторой степени пріобрѣтаютъ этотъ практическій навыкъ. Останавливается поѣздъ на пять минутъ; большая часть пассажировъ выходитъ на галерею, прогуливается и по звонку мѣрно усаживается на своихъ мѣстахъ. Вечеромъ, на станціи Бологовской, вторая и послѣдняя получасовая остановка. Эта станція стоитъ ровно на полдорогѣ,

и потому поѣзды, въ одно время выходящіе изъ Петербурга и Москвы, сходятся въ ней. Ѣзда по желѣзной дорогѣ такъ аккуратна, что въ то самое время, когда мы входили въ залу съ одной ея стороны, въ противоположныя двери входили московскіе путники, подъѣхавшіе съ другой стороны зданія, и мы не знаемъ, кто изъ насъ пріѣхалъ ранѣе. Опять всѣ на-скоро удовлетворяютъ возобновившимся требованіямъ желудка. Петербургцы, большею частью, пьютъ чай, московцы ужинаютъ, и потомъ перемѣшиваются, чтобы поглядѣть другъ на друга и посмотрѣть, нѣтъ ли между пріѣзжими кого-нибудь изъ знакомыхъ. Опять звонки, опять разъѣздъ...

Между тѣмъ наступила ночь, — не та свѣтлая петербургская ночь, которая вдохновляла поэтовъ и при которой можно читать газеты,—ночь потемнѣе, но все-таки довольно свѣтлая. Въ вагонахъ зажгли свѣчи, но скоро въ свѣчахъ не оказалось надобности: всякій, кто могъ дремать — дремалъ, иные просто спали. Бѣловолосый юноша, сидѣвшій около молоденькой дамы, у которой было много физіономій, единственный ея поклонникъ, потому что остальные вышли на дорогѣ, закутавшись въ испанскій плащъ, говорилъ тихо, но глядѣлъ большими глазами, если можно такъ выразиться, очень громко. Дама его, доселѣ живая и веселая, вѣроятно, показалась ему томной: ей хотѣлось спать. Вскорѣ она сняла шляпку, свернулась какъ-то эластично въ маленькій комокъ, удобно помѣстившійся въ креслѣ, и заснула. Въ вагонѣ стало тихо, и среди этой тишины только слышались мѣрный, частый стукъ паровоза, да нѣкоторыя невинныя души иногда всхрапывали такъ же громко, каждый своимъ собственнымъ всхрапомъ, какъ онѣ имѣли обыкновеніе еженощно это дѣлать на своей постели.

На солнечномъ восходѣ, подъ Тверью, надъ нашимъ поѣздомъ промелькнула темная тѣнь небольшаго моста: это московское шоссе, пересѣкающее желѣзную дорогу. Незамѣтно, едва потревоживъ его двумя мостиками, проскользнула подъ шоссе эта дорога. Что́ сталось теперь съ пожарскими котлетами въ Торжкѣ, и съ яжельбицкими форелями, кофеемъ съ вафлями и медвѣжьей ветчиной Помераніи, и съ этими пресловутыми валдайскими баранками, съ поцѣлуями продавицъ, которыя, въ послѣднее время, какъ будто предчувствуя свое паденіе, вдругъ постарѣли, такъ что баранки утратили свою лучшую приправу?.. Все это теперь сдѣлалось воспоминаніемъ, и чрезъ нѣсколько лѣтъ сохранится только въ мѣстныхъ преданіяхъ.

Мы очнулись отъ сонной дремоты на подмосковныхъ станціяхъ. Молодая дама, у которой было много физіономій, причесала голову карманнымъ гребнемъ, надѣла шляпку и по-прежнему стала весела и кокетлива; но юный кавалеръ ея потерялъ всю свою любезность: онъ нѣсколько осовѣлъ. Галереи станцій, у которыхъ мы останавливались, были украшены березками, и свѣжій запахъ едва распустившихся срубленныхъ деревцовъ разливался въ утреннемъ воздухѣ; нѣкоторые вагоны тоже украсились зелеными вѣтками; по этому старинному русскому обычаю, имѣющему свою поэтическую прелесть, но стоящему жизни нѣсколькимъ тысячамъ деревьевъ, можно было узнать, что насталъ Духовъ день. Поѣздъ мчался такъ же быстро, какъ и прежде, но его движеніе казалось намъ ужь медленно—такъ скоро человѣкъ ко всему привыкаетъ и всѣмъ пресыщается. Наконецъ, въ урочный часъ—въ девять часовъ утра, ровно черезъ двадцать-два часа по выѣздѣ изъ Петербурга, поѣздъ остановился у дебаркадера московской станціи; чрезъ нѣсколько минутъ, по предъявленнымъ ярлыкамъ, намъ выдали вещи, и новый утренній приливъ петербургцевъ разсыпался по улицамъ Москвы. Княгиня У*, сказавшая наканунѣ одной изъ нашихъ спутницъ, что мы доѣдемъ прекрасно, — сказала правду. Но, при настоящемъ устройствѣ и отличномъ порядкѣ нашей новой желѣзной дороги, можно смѣло пророчить прекрасную поѣздку для ея проѣзжающихъ: это предсказаніе всегда сбудется.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Отъ Москвы до Нижняго-Новгорода. — Отъ Нижняго-Новгорода до Казани.

Прямо со станціи желѣзной дороги я отправился въ почтамтъ и успѣлъ найдти мѣсто въ почтовой каретѣ, которая въ этотъ же день отходила въ Нижній-Новгородъ. Устроивъ свой отъѣздъ, я пошелъ въ гостинницу, шагахъ въ пяти отъ почтамта, куда отправилъ уже мои вещи. Между множествомъ различныхъ гостепріимныхъ городовъ и странъ, предлагающихъ пріютъ проѣзжающимъ, между Европой, Парижемъ и Дрезденомъ, стоящими на Тверской, Лондономъ, отодвинувшимся къ Охотному ряду, и Лейпцигомъ у Кузнецкаго моста, я выбралъ Берлинъ на Мясницкой. Вообще я сдѣлалъ привычку къ Берлинамъ съ тѣхъ поръ, какъ прожилъ полтора года въ очень плохомъ Берлинѣ-Ярославскомъ, который, впрочемъ, пользуется такою мѣстною извѣстностью, что, въ подражаніе ему, есть въ Ярославлѣ другая гостинница, подъ фирмою Малый-Берлинъ, ужь окончательно неудобо-обитаемая. Надобно отдать справедливость московскому Берлину, что онъ, съ своей стороны, тоже довольно плохъ; но его дѣлаетъ привлекательнымъ для безпечныхъ людей близость къ почтамту, такъ что, пріѣзжая, или имѣя намѣреніе отправиться въ почтовомъ экипажѣ, всего ближе отдать ему на нѣсколько часовъ сохраненіе своей особы.

Первое, что́ дѣлаетъ въ Москвѣ большая часть петербургскихъ пріѣзжихъ, это—переводитъ часы. Въ то время, когда Петербургъ началъ жить половину десятаго, Москва ужь истратила ее и принималась за одинадцатый часъ. Мы, пріѣзжіе, въ

двадцати-двухъ часовой переѣздъ потеряли полчаса жизни: мы ихъ не жили, намъ остается утѣшеніе наверстать ихъ въ обратный проѣздъ.

Москва, въ день нашего пріѣзда, праздновала Духовъ день обычнымъ гуляньемъ въ Сокольникахъ. Московское гулянье не то, что петербургское. Въ послѣднемъ, гулянье это—развлеченіе, произвольная забава: въ Москвѣ — это дѣло, обычай, налагающій обязанность выполненія. И надобно видѣть, что такое, напримѣръ, гулянье въ Духовъ день въ Сокольникахъ! Все, что можетъ двинуться въ этотъ день, непремѣнно двигается въ Сокольники; всѣ, кто могутъ блеснуть чѣмъ бы то ни было, непремѣнно стараются обратить на себя вниманіе; и вотъ опять московская особенность—желать непремѣнно чѣмъ-нибудь выказаться, отличиться. Взгляните на здѣшнихъ франтовъ: что у нихъ за туалеты! ничего простаго, ничего безъ эффектно-изящнаго, вездѣ и всюду претензія. Точно тоже и на гуляньѣ: для него нарочно дѣлаютъ новые экипажи, новую одежду кучерамъ, и если не могутъ этого сдѣлать, то по-крайней-мѣрѣ закладываютъ эти экипажи какъ-нибудь иначе, чѣмъ обыкновенно; тутъ вы увидите четверню въ рядъ, а кучеровъ, одѣтыхъ ямщиками; пролетки, заложенныя тройкой, съ раззолоченной дугой, бубенчиками и разноцвѣтными лентами въ лошадиныхъ гривахъ, и рядомъ съ ними старинная карета, скрипящая и звенящая, карета, въ которой еще болѣе претензіи, чѣмъ въ раззолоченныхъ купеческихъ экипажахъ, потому-что ее только разъ въ годъ, въ этотъ день, провѣтриваютъ на свѣжемъ воздухѣ. Все это пестро, оригинально, отчасти эффектно, а отчасти забавно, потому-что почти въ каждомъ изъ этихъ экипажей ѣдетъ шагомъ какая-нибудь расфранченная личность, которая посматриваетъ на пѣшеходовъ такими глазами, сидитъ въ такой позѣ, что такъ и хочетъ сказать: «Эй, вы! любуйтесь мною,—знай нашихъ».

Никому не нужно и, конечно, не будетъ интересно знать, какъ я провелъ нѣсколько часовъ въ Москвѣ. Въ шесть часовъ вечера, въ то время, когда всѣ экипажи мчались по направленію къ Сокольникамъ, почтовая карета повезла насъ къ Рогожской заставѣ, отъ которой идетъ нижегородское шоссе.

Мы ѣхали, какъ я уже сказалъ, съ тяжелой почтой.

Въ сумерки мы пріѣхали на первую станцію, Горенки. На ней впервые, въ ожиданіи перекладки, пассажиры выходятъ на шоссе отдохнуть отъ переѣзда, и испробовать, долго ли имъ предоставляется удовольствіе прогуливаться, или дремать на своихъ мѣстахъ. Тутъ впервые, сквозь сумерки, всматриваемся въ лицо спутниковъ и хотимъ угадать, кто они и что они; но лица моихъ спутниковъ были къ-несчатью неинтересны. Какой-то нѣмецъ съ обще-нѣмецкой физіономіей, какой-то пожилой господинъ со стриженными усами, въ рыже-зеленомъ сюртукѣ съ бронзовыми пуговицами, какая-то старушка въ чепцѣ — все добродушныя лица съ маленькими претензіями, умѣщающимися въ наружныхъ мѣстахъ.

Впереди по шоссе тянулись двухъ-этажныя зданія фабрики; около нихъ гуляли *фабричные*, то-есть не то, чтобъ прогуливались, а гуляли, справляя праздники, какъ обыкновенно гуляетъ и празднуетъ мастеровой человѣкъ. Позади насъ стояли на шоссе красивенькій домикъ для шоссейнаго сбора: эти домики, своей свѣжей и опрятной наружностью, производятъ пріятное впечатлѣніе; всѣ они украшены маленькими палисадниками и цвѣтниками, что заставляетъ предполагать, что ихъ смотрители большіе любители ботаники или цвѣтоводства.

Немного надобно времени, чтобъ взглянуть на все это; гораздо больше его потребно было на перекладку тюковъ. Съ непріязненнымъ чувствомъ ко всѣмъ отправителямъ посылокъ, ко всѣмъ любезникамъ, посылающимъ по почтѣ подарки, ко всѣмъ провинціальнымъ потребителямъ, выписывающимъ себѣ разныя потребности изъ столицъ, поручая закупать ихъ своимъ знакомымъ, смотрѣлъ я, какъ ямщики перекладывали грузные тюки. Нѣкоторые изъ этихъ тюковъ были адресованы въ Иркутскъ: сколько разъ по дорогѣ прійдется имъ перевалиться изъ одной телѣги въ другую! Многіе были составлены изъ майскихъ книжекъ журналовъ.

Какъ негодовалъ тогда я на васъ, толстые петербургскіе журналы, за вашу толстоту. Какъ я былъ радъ, что изъ нѣсколькихъ сотъ тысячъ читающихъ и нечитающихъ людей, составляющихъ нашу образованную публику, у васъ едва наберется по четыре тысячи подписчиковъ. Какъ я былъ доволенъ нашимъ обычаемъ попросить у своего знакомаго какой-нибудь книжечки почитать и потомъ зачитать окончательно эту книжечку! Что-бы было, въ-самомъ-дѣлѣ, съ проѣзжающими въ почтовыхъ экипажахъ, еслибъ всякій образованный человѣкъ выписывалъ у насъ книги или журналы, когда и теперь грузятъ ихъ на каждой станціи болѣе получаса семь ямщиковъ на семь телѣгъ и везутъ на семи тройкахъ!

Вслѣдъ за Горенками, надъ живописно разбѣгающеюся рѣчкой Пекрою, стоитъ барскій домъ: домъ дѣйствительно барскій. Взглянувъ съ шоссе на этотъ каменный двух-этажный домъ съ бельведеромъ и флигелями, соединенными колоннадой, взглянувъ на весь широкій размѣръ этого богато и живописно обстановленнаго и природой, и искуствомъ барскаго дома, воображеніе невольно рисуетъ граціозныя, живыя и разнообразныя лица общества, которыми хотѣлось бы населить это прекрасное мѣсто; невольно зарождается въ головѣ нить игриваго и полнаго жизнью романа, которую хотѣлось бы сплести и развязать въ этой богатой обстановкѣ... Но досужее воображеніе проѣзжающаго писателя ѣдетъ мимо, въ томъ или другомъ экипажѣ, по той или другой дорогѣ, и темна для него та жизнь, которая вдругъ иногда выставится

наружу живописной стороною, затронетъ и пробудитъ въ немъ, какъ стаю спуганныхъ птицъ, неясную группу какихъ-то образовъ и скроется за перелѣскомъ или горою. Впрочемъ, Пекра, о которой теперь я говорю, была счастливѣе другихъ мѣстъ, если только въ этомъ есть какое-нибудь счастье: ее избралъ графъ Жюльвекуръ мѣстомъ дѣйствія для своего весьма нелѣпаго французскаго романа: «Natalie, ou faubourg St.Germain Moscovite». Помню, какъ сквозь сонъ, что, вѣрный правиламъ нелѣпой французской школы, этотъ романъ разсказывалъ какія то нелѣпыя вещи, и съ-тѣхъ-поръ Пекра потеряла для меня много своей прелести: все мнѣ видится въ ней какая-то графиня, влюбленная въ урода-карлика, или карликъ, утопающій въ рѣкѣ отъ безнадежной любви къ какой-то графинѣ; все слышится одна нелѣпая фраза, какъ на зло уцѣлѣвшая въ памяти отъ всего романа: «à vos places, rebiata», говоритъ дворецкій нарядным гребцамъ: à vos places, rebiata: voilà la barienia qui vient avec ses gosti...» и живописный бѣгъ рѣки, широко-разлившейся и теряющейся въ группахъ кустовъ и деревьевъ, навсегда обезображенъ для меня какими-то уродливыми картинами. Мы ѣхали далѣе и Пекра осталась за нами. Вотъ и города начали попадаться на пути: вотъ Богородскъ, потомъ Покровъ. Если вы въ первый разъ ѣдете въ почтовомъ экипажѣ по этому тракту, вы съ удовольствіемъ мечтаете о пріѣздѣ въ городъ. Прошли десятки лѣтъ съ-тѣхъ-поръ, какъ Пушкинъ описалъ уѣздныя гостинницы и станціи, сбылись отчасти его мечты, и шоссе пересѣкли много земли въ подмосковныхъ губерніяхъ, а трактиры для пріѣзжающихъ все тѣ же и не измѣнили ихъ ни время, ни порядочныя дороги, ни общественные экипажи и увеличившійся проѣздъ. Года пролетѣли надъ ними, а не сняли съ нихъ ни одной пылинки. И поневолѣ позавидовалъ я двумъ моимъ спутникамъ, вѣрнымъ старинѣ и ѣдущимъ съ многочисленными узелками. Съ завистью и невольной улыбкой смотрѣлъ я, какъ старушка въ дорожномъ чепцѣ и пожилой господинъ въ рыжевато-зеленомъ казакинѣ, спросивъ себѣ одной горячей воды, предлагали другъ другу попробовать чайку, взятому ими въ Москвѣ, и сравнить его достоинство. Развязали узелки и очутились окруженные разными сдобными и жареными подорожниками, плодами собственной предусмотрительности и кухни, или нѣжной заботливости своихъ знакомыхъ...

На другой день, часу въ третьемъ, мы были во Владимірѣ и могли кой-чѣмъ удовлетворить аппетитъ въ гостинницѣ, извѣстной оригинальностью своей карты, замѣченной графомъ Соллогубомъ въ его «Тарантасѣ»: тутъ можно найдти и *говядину на газѣ*, и *арерусъ съ стерлядью*, и заманчивое пирожное, носящее названіе *испанскихъ вѣтровъ*. Не имѣя намѣренія говорить объ историческихъ памятникахъ, впрочемъ довольно рѣдкихъ на пути, имѣя возможности увидать въ нихъ что-либо новое, *смотря изъ* окна почтовой кареты, я долженъ предупредить читателя, что въ этихъ письмахъ онъ не найдетъ никакихъ историческихъ замѣтокъ: я просто пишу очеркъ того длиннаго пути, который лежитъ передо мною, очеркъ тѣхъ картинъ, которыя промелькнутъ передъ моими глазами; не придаю этимъ очеркамъ претензіи на серьезный трудъ и только желаю моимъ читателямъ неповстрѣчаться въ нихъ со скукой.

На первыхъ верстахъ за Владиміромъ экипажи наши остановились: они не могли проѣхать сквозь толпы народа. Съ высоты пригорка намъ было видно, какъ по прямой полосѣ шоссе волновалась и медленно двигалась пестрая и длинная масса богомольцевъ. Это было 20-го мая, день, въ который изъ Боголюбова монастыря, лежащаго верстахъ въ 12-ти отъ Владиміра, ежегодно переносятъ въ городъ икону Боголюбской Божіей Матери. Это шествіе сопровождается всегда многочисленнымъ стеченіемъ народа. Ровно годъ назадъ, въ этотъ самый день, здѣсь случилась страшная катастрофа. Одинъ изъ мостовъ, надъ довольно-глубокимъ оврагомъ, загруженный народомъ, не выдержалъ его тяжести, колыхнулся, затрещалъ и обрушился, а толпа, шедшая сзади, продолжала двигаться и напирать, и къ первымъ жертвамъ прибавила новыя...

Рано утромъ на третій день мы спустились по крутой горѣ и очутились въ Вязникахъ. Вязники очень-порядочный уѣздный городъ, лежащій подъ горою, скатъ которой густо усѣянъ яблонями, бывшими ужь въ цвѣту. Въ Вязникахъ есть изрядная гостинница, помѣщенная въ большомъ каменномъ домѣ. Гостинница эта замѣчательна не отдѣлкой своей въ купеческомъ вкусѣ, съ расписаннымъ потолкомъ и картинами, дѣланными, кажется, одной съ потолкомъ кистью, но тѣмъ, что въ ней есть очень-хорошіе сафьянные диваны на пружинахъ— вещь, которая единожды встрѣчается въ гостинницахъ всего моего двух-тысяче-верстнаго пути. Она замѣчательна еще тѣмъ, что, спросите ли вы себѣ чаю или обѣдъ, прежде нежели исполнятъ по возможности ваши требованія, вамъ предложатъ непремѣнно купить русскаго холста, точно такъ какъ въ Кельнѣ ко всему подадутъ бутылку о-де-колона. Мы напились чаю и ожидали, пока труба кондуктора возвѣститъ отъѣздъ, и во время этого ожиданія между моими спутниками завязался интересный разговоръ. Спутники эти были, какъ я ужь говорилъ, нѣмецъ пожилыхъ лѣтъ и въ рыжеземномъ казакинѣ нашъ соотечественникъ, котораго значеніе въ обществѣ до-сихъ-поръ остается мнѣ загадкой. Этотъ господинъ, покинутый своей спутницей-старушкой, оставшейся во Владимірѣ, сдѣлался гораздо-сообщительнѣе; онъ отпилъ чай вмѣстѣ съ нѣмцемъ и у нихъ зашелъ слѣдующій разговоръ:

— А давно вы въ Россіи? спросилъ господинъ въ казакинѣ своего иногороднаго спутника.

— Два года съ половиной, отвѣчалъ нѣмецъ довольно-чистымъ русскимъ языкомъ.

— А какъ вы хорошо говорите по-русски! Я вотъ былъ на Рейнѣ, тамъ тоже понаторѣлъ понѣмецки... ну, однакожь не такъ.

— Сначала я не учился по-русски, отвѣчалъ нѣмецъ:—потому-что въ Россіи можно жить и безъ всякаго русскаго языка; но разъ я слышалъ, какъ читали стихи Пушкина: мнѣ русскій языкъ показался такимъ звучнымъ, что я захотѣлъ выучиться ему и читать Пушкина, выучился и прочиталъ Пушкина.

— О! Пушкинъ! Пушкинъ чудо какъ писалъ, сказалъ господинъ въ казакинѣ, элегическимъ напѣвомъ, приподнявъ къ верху глаза.

— А Лермонтовъ? Вашъ Лермонтовъ тоже очень хорошо писалъ, я и его прочелъ.

— Лермонтовъ! Лермонтовъ! удивительно писалъ! Лермонтовъ Пушкина бы за-поясъ заткнулъ, да рано умеръ! О, Лермонтовъ! сказалъ нашъ соотечественникъ и опять поднялъ глаза къ верху.

— А вотъ господина Гоголя я тоже читалъ нѣсколько, но несовсѣмъ понимаю, сказалъ иностранецъ.

— Ну, Гоголь не то! Гоголь смѣшитъ, правда, ужасно смѣшитъ, ну, а не то будетъ! Да и *карикатуренъ* очень. Вотъ въ «Сѣверной Пчелкѣ» справедливо о немъ говорятъ.

— Однакожъ и господинъ Гоголь, какъ говорятъ, весьма-геніальный писатель, замѣтилъ любознательный нѣмецъ.

— Нѣтъ, Гоголь не то! съ увѣренной улыбкой замѣтилъ господинъ въ зеленоватомъ казакинѣ.

— А кто у васъ изъ настоящихъ, новыхъ писателей замѣчателенъ?

— Новыхъ? Да у насъ новыхъ писателей извѣстныхъ нѣтъ.

— Однакожь, кто же пишетъ въ журналахъ?

— Извѣстно, кто! Пишутъ тамъ журналисты.

— Кто же эти журналисты?

— Да разные! фамилій-то ихъ, признаться, я и не знаю; иныя вещи недурно пишутъ, прочтешь— ну, а на фамилію-то не посмотришь. Знаешь, что иная повѣсть, или тамъ романъ какой въ такомъ-то журналѣ былъ, а какое дѣло, кто ихъ тамъ писалъ! Въ каждой книжкѣ человѣкъ десять пишутъ и все разные: гдѣ ихъ упомнишь!

— Гм! замѣтилъ нѣмецъ.—Ну, нѣтъ, хорошую статью надо знать, кто писалъ, надобно выписать тотъ журналъ, въ которомъ извѣстные авторы свои статьи помѣщаютъ.

— Такъ чтожь, по вашему: одинъ годъ одинъ журналъ выписывать, а на другой годъ другой? Да ктожь знаетъ, каковъ онъ будетъ на другой-то годъ? Да и опять говорю я вамъ, что нѣтъ у насъ теперь извѣстныхъ писателей.

— Быть не можетъ! замѣтилъ нѣмецъ. — Ну, нѣтъ Пушкиныхъ, Лермонтовыхъ—такіе писатели рѣдки—а все, вѣроятно, есть болѣе или менѣе извѣстные писатели.

— Да нѣтъ же, говорю вамъ! Вѣдь вотъ я тоже читаю кой-что. Ну, вотъ Гоголя я не читалъ, а все же знаю, что Гоголь былъ извѣстный писатель. Какъ бы не слыхать про извѣстныхъ писателей? Да нѣтъ ихъ, извѣстныхъ-то; есть, да все неизвѣстные.

— Гм! недовѣрчиво замѣтилъ нѣмецъ.

Въ это время затрубилъ кондукторъ и мы поспѣшили къ своимъ мѣстамъ.

— Вотъ, тихо сказалъ мнѣ господинъ въ зеленомъ казакинѣ, кивнувъ головой на своего спутника, который спускался передъ нами съ лѣстницы: — вотъ присталъ! скажи ему, кто теперь извѣстные писатели! Ну, сами посудите, кто ихъ знаетъ, теперешнихъ извѣстныхъ писателей! Ну, вотъ Гоголь умеръ, ну, и всѣ говорятъ, что онъ былъ извѣстный писатель, ну, и другіе умрутъ,—то же, можетъ, скажутъ; а теперь кто ихъ знаетъ!

Я съ нимъ совершенно согласился и мы отправились далѣе.

Около полудня мы подъѣхали къ рѣкѣ Клязьмѣ. Мостъ на ней перестроивался и перевозъ устроенъ на хорошемъ паромѣ, который ходитъ по канату. Человѣкъ десять перевощиковъ, съ лямками черезъ плечо, захлестываютъ ея концомъ, на которомъ прикрѣплена деревянная шишечка, за канатъ, и тянутъ, мѣрно и скоро, ступая подъ ладъ живой пѣсни, изъ которой я запомнилъ только два стиха:

Ахъ ты лоцманъ, большой носъ!
Ты вели давать завозъ.

Едва перевощикъ доходитъ до конца парома, какъ отхлестываетъ конецъ лямки и возвращается къ началу каната. Такимъ образомъ нескончаемая вереница перевощиковъ сновала передъ нами, пѣсня пѣлась стройно и живо, и мы не примѣтили, какъ съ послѣднимъ ея стихомъ причалили къ противоположному берегу. Эта переправа была одна изъ самыхъ веселыхъ переправъ, которыя мнѣ случалось дѣлать; шапки перевощиковъ, которыя они сняли, провожая насъ, не остались пусты.

Но я забылъ сказать нѣсколько словъ о городѣ, который остался ужь за нами. Этотъ городъ, мимо котораго всѣ проѣзжаютъ и котораго, вѣроятно, большая часть проѣзжающихъ никогда не видала, называется Гороховецъ. Я именно и говорю о немъ изъ благодарности и уваженія къ скромности, съ которой онъ прячется верстахъ въ двухъ отъ станціи Красное Село и даетъ о себѣ знать только тѣмъ, что заставляетъ почту употребить съ часъ времени на отсылку слѣдующаго ему постпакета и на пріемъ его тщедушной корреспонденціи. Не могу умолчать, что онъ поступилъ бы еще любезнѣе, еслибъ вовсе не заставлялъ ждать этой присылки, или по-крайней-мѣрѣ давалъ возможность ждать ее въ какомъ-нибудь болѣе удобномъ пріютѣ. Мы взошли въ знакомую мнѣ комнату верхняго этажа постоялаго дома, одна изъ стѣнъ которой украшена картою полушарія, начертанною по системѣ Меркатора. Мы имѣли достаточно времени полюбоваться безконечно-растянутой на картѣ Сибирью и Гренландіей прежде, нежели, по усилен-

нимъ просьбамъ, къ намъ явилась хозяйка дома; она же и содержательница ресторана. Наканунѣ у нея была лихорадка, поставившая ее въ дурное расположеніе духа.

— Нѣтъ ли чего поѣсть? спросили мы.

— Да чего вамъ поѣсть! Варили себѣ щи, да кашу—вы, чай, ѣсть не станете?

— Нельзя ли яицъ сварить? робко замѣтилъ я.

— Сварить-то можно, да дорого будетъ, отрывисто отвѣчала она.

— Отчего же это?

— Да для нихъ надо самоваръ ставить.

Я разрѣшилъ ее на эту издержку и чрезъ полчаса явилась тарелка съ яицами, сѣрая соль и мѣдная ложечка.

— Одолжите салфетку, сказалъ я.

— А на что-те салфетка? возразила хозяйка.

— Яйца горячи, нельзя держать въ рукѣ.

— Нѣжны больно! замѣтила хозяйка, однакожь, подала салфетку; но когда спутники мои разсмѣялись и повторили ту же просьбу, она рѣшительно разсердилась, сказала, что они прихотничаютъ и едва-едва согласилась исполнить ихъ требованіе.

Около шестидесяти послѣднихъ верстъ нижегородское шоссе идетъ почти безъ сгиба по совершенно-ровной мѣстности, окруженной огромными болотами, поросшими сосной и изрѣдка прерываемыми грядами сыпучаго песку. Полагаютъ, и не безъ основанія, что на этомъ мѣстѣ сливались во время оно Ока и Волга. *Стрѣлка*, какъ вообще называетъ нашъ народъ острый мысъ земли, образующійся при сліяніи двухъ рѣкъ, стрѣлка заносилась иломъ и пескомъ, все далѣе и далѣе врѣзывалась и отодвигала рѣки и, отогнавъ наконецъ Оку до горы, легла противъ Нижняго-Новгорода.

Съ половины предпослѣдней станціи, то есть верстъ за двадцать-пять, вдали, по направленію шоссе, на горѣ начинаютъ виднѣться зданія: это Нижній-Новгородъ. Мы ѣхали скоро и, отдѣляясь отъ ровной мѣстности, городъ яснѣе и яснѣе вставалъ передъ нами. Вотъ, наконецъ, и широкая ярославская дорога, усаженная березками, выглянула слѣва и стала, изгибаясь, приближаться къ шоссе, вотъ она сошлась съ нимъ у заставы и мы въѣхали *на ярмарку*.

Шоссе въ этомъ мѣстѣ идетъ въ высокой насыпи; справа примыкаетъ къ нему Кунавинская Слобода, слѣва поемное мѣсто, на которомъ построены зданія знаменитой нижегородской ярмарки. Это же самое шоссе весной, во время полноводія, раздѣляетъ два моря-разлива: справа, затопивъ дома и пробравшись между ними, подходитъ разливъ Оки; слѣва примыкаетъ и расходится, верстъ на двадцать въ даль, огромный разливъ Волги, и правильные ряды ярмарочныхъ зданій стоятъ въ немъ,

> ...какъ Тритонъ,
> По поясъ въ воду погруженъ!

Въ то время, когда мы въѣзжали въ Нижній, окскій разливъ ужь вступилъ въ берега, и рѣка была полна водами, какъ налитая вплоть до краевъ чаша. Но Волга еще не собрала свои воды и разливъ ея блисталъ далеко на солнечномъ закатѣ, хотя ужь блисталъ не сплошнымъ зеркаломъ, а отдѣльными озерами, разорванными зелеными островами; онъ только огибалъ ярмарку, но ярмарка стояла ужь на сухой землѣ. Въ настоящую минуту она была еще пуста и безлюдна; всѣ временныя строенія, разобранныя, лежали въ штабеляхъ, еще мокрыя отъ воды; но пройдетъ нѣсколько дней, вода сойдетъ окончательно и тысячи мастеровыхъ бросятся возобновлять этотъ огромный городъ, живущій въ годъ только два мѣсяца. Въ какихъ-нибудь пять-шесть недѣль масса балагановъ и лавочекъ встанетъ на отведенныхъ мѣстахъ, мосты лягутъ черезъ Оку и ея затонъ, и тамъ, гдѣ теперь еще свободно ходитъ паромъ, изъ отощавшей рѣки выдвинется песчаная гряда, и на ней построятся трактиры, постоялые дворы и такъ называемый *желѣзный рядъ*, на которомъ производится вся огромнѣйшая торговля желѣзомъ. Къ двадцатому іюля ярмарка готова и ждетъ со всѣхъ странъ съѣзжающихся гостей своихъ.

Нижній Новгородъ стоитъ на горѣ, омываемой съ одной стороны Окой, съ другой—Волгой; видъ на эту гору, усѣянную зданіями, особенно на Кремль, котораго старинная зубчатая стѣна ползетъ по горѣ, глядясь съ двухъ сторонъ въ рѣки и окруженная съ двухъ другихъ бульварами, прекрасенъ; неменѣе хорошъ видъ съ горы на огромное, разстилающееся передъ ней, блестящее рѣками и пестрѣющее селами, низовье; вообще мѣстоположеніе Нижняго-Новгорода одно изъ самыхъ счастливыхъ и живописнѣйшихъ.

Едва мы подъѣхали къ перевозу, не дожидаясь, пока тяжелые экипажи будутъ переправлены на досчаникахъ черезъ Оку, я взялъ лодку и поспѣшилъ въ городъ. Въ немъ, кромѣ многихъ добрыхъ знакомыхъ, должны были ждать меня спутники, которые намѣревались отправиться со мною на кумысъ; я боялся, чтобъ они не уѣхали безъ меня.

— Есть пароходы на пристани? спросилъ я у перевозчиковъ.

— А не знаемъ. Былъ одинъ, да вчера въ Казань убѣжалъ.

— Много на немъ поѣхало?

— Господъ-то? Да, кажись, поѣхало довольно.

О моихъ спутникахъ мнѣ никто не могъ дать свѣдѣній. Въ неизвѣстности и нетерпѣніи увидаться съ добрыми знакомыми, я поспѣшилъ въ издавна мнѣ дружескій домъ, гдѣ для меня всегда гостепріимно открыта дверь и гдѣ ждалъ меня радушный пріемъ.

Не знаю, случалось ли читателю, съ которымъ я теперь бесѣдую, коротко знакомиться съ жизнью того или другаго губернскаго города? Я говорю не о томъ знакомствѣ, которое дѣлается мимоѣздомъ или впродолженіе временнаго пребыванія.

рнскіе города—города самолюбивые; они сна-
становятся къ заѣзжему человѣку своей кра-
й стороной, и многіе изъ ихъ гостей, уѣзжая
ѣ нѣсколькихъ недѣль веселостей и угощенья,
здохомъ говорятъ: «вотъ счастливая жизнь!»
ворю не про эту жизнь и не про это знаком-
нѣтъ! Случалось ли моему читателю прожить
акомъ-нибудь губернскомъ городѣ нѣсколько
, войдти въ жизнь его, сдѣлаться губернскимъ
мъ и узнать свой городъ до послѣдняго су-
а? Если случалось, то я не скажу ему ничего
го; но чтобъ имѣть право говорить, дѣлаю
дное для себя предположеніе, что губернскій
дъ для моего читателя—страна невѣдомая, и
олжаю свои замѣтки. Жизнь въ провинціи
но раздѣлить на два періода. Первый—эпоха
ованія: вы пріѣзжаете въ городъ, дѣлаете
омство и, къ крайнему своему удивленію, на-
те себя въ какой-то миѳической Аркадіи, обн-
ой исключительно прекраснѣйшими и госте-
мнѣйшими людьми, разнообразными, оригиналь-
, каждый съ своей маленькой странностью и
енной личностью, но безъ исключенія людьми
одобными. Прекраснѣйшій человѣкъ и N. N.,
вающій деньги, и N. N., проживающій ихъ;
одобный человѣкъ В. В., тихо ведущій свою
ую жизнь въ средѣ семьи, у домашняго очага;
чнѣйшій человѣкъ и В. В., неимѣющій ни кола,
вора, но встрѣчаемый во всѣхъ домахъ, за
оченіемъ своего собственнаго. Губернская жизнь
ъ передъ вами лицевымъ фасадомъ, выкра-
ымъ розовой краской: вездѣ вы встрѣчаете
ку, крѣпкое рукопожатіе и радушный пріемъ;
ъ восторгѣ отъ губернской жизни! Второй
одъ—періодъ короткаго ознакомленія, періодъ
твенно губернской жизни. Вы часто бываете
нихъ изъ вашихъ знакомыхъ, вслѣдствіе чего
іе начинаютъ несовсѣмъ благосклонно отзы-
ся о васъ: вы примыкаете къ тому или дру-
кругу; съ этой минуты вы человѣкъ губерн-

Все, что̀ бъ ни сдѣлалъ N. N., будетъ въ
хъ глазахъ очень неблаговидно; все, что̀ бъ
озволилъ себѣ В. В., вы находите извини-
ымъ; вы горячо защищаете одного и пори-
з другаго; жизнь около васъ мелка, интере-
мало; всякая маленькая новость, всякій ма-
ій слухъ становятся для васъ громкими и
мательными: вы съ удовольствіемъ слушаете
гни и еще съ бо̀льшимъ удовольствіемъ ихъ
азываете. Какъ бы ни было велико ваше
ѣніе въ городѣ, но къ вамъ привыкаютъ и
ое незначительное новое лицо затмѣваетъ
; и не мудрено: оно имѣетъ великій интересъ
тересъ новизны! Но утѣшьтесь! какъ затмѣ-
не помрачаетъ надолго солнца, такъ и васъ
омрачитъ надолго пріѣзжая личность: она
ѣзжаетъ вскорѣ, или къ ней также скоро при-
ютъ, и каждый занимаетъ свое мѣсто въ
ственной сферѣ. Видность этого мѣста есть
ая прелесть губернской жизни. Какое бы мѣ-
сто ни занимали вы въ губернской сферѣ, мѣсто
это имѣетъ свой вѣсъ и свое значеніе: васъ не по-
давляетъ огромность общества, какъ, напримѣръ,
въ столицахъ; вы чувствуете, что вы не незамѣт-
ный атомъ этого общества, но одинъ изъ его бо-
лѣе или менѣе сильныхъ рычаговъ; и не мудрено:
губернская жизнь такъ несложна, что въ ней вся-
кое колесо на виду; и вотъ вы, замѣтное колесо,
вертитесь изо всѣхъ силъ съ шумомъ или молча.
Если вы человѣкъ благоразумный и практическій,
то оботретесь на своемъ мѣстѣ, заведете связи,
пустите, можетъ быть, корни въ губернскую жизнь
и окончательно въ ней оклиматизируетесь, и мир-
но будете вращаться до тѣхъ норъ, пока не со-
вершите въ ней свой кругооборотъ.

Я провелъ въ Нижнемъ шесть лѣтъ молодости
и сохранилъ одно изъ самыхъ пріятныхъ воспоми-
наній о радушіи и гостепріимствѣ его общества.
Но общество это не очень велико и преимуще-
ственно состоитъ изъ людей служащихъ. Въ горо-
дѣ едва можно насчитать три-четыре дома, при-
надлежащіе помѣщикамъ. Жизнь его, мало само-
стоятельная и отчасти разъединенная, за недо-
статкомъ коренныхъ старожиловъ, около которыхъ
она могла бы группироваться, точно такова, какъ
и жизнь всѣхъ губернскихъ городовъ: она пре-
имущественно оживляется зимою. Знаменитая яр-
марка мало измѣняетъ эту жизнь; она входитъ въ
нее, какъ случайный элементъ, невытекающій соб-
ственно изъ мѣстной жизни, и имѣетъ значеніе
только для тамошняго купечества, да въ хозяйст-
венныхъ закупкахъ. Въ городѣ есть постоянная
труппа актеровъ, оживляемая въ ярмарочное время
пріѣзжими артистами. Собственно въ городѣ она
даетъ представленія въ ветхомъ деревянномъ зда-
ніи. Несмотря на неудобное помѣщеніе, нижего-
родская труппа имѣла свое блистательное время.
Въ ней были талантливые актеры; она охотно и
постоянно привлекала публику, и нѣкоторые изъ
ея бывшихъ сюжетовъ, какъ, напримѣръ, г-жа
Косицкая, г. Соколовъ и г-жа Шмитгофъ съ
успѣхомъ нынче играютъ на московской сценѣ.
Но это доброе старое время прошло; нынѣшняя
нижегородская труппа, какъ говорятъ, крайне-
незамѣчательна; публика къ ней охладѣла, и она
даетъ представленія если не собственно для сво-
его удовольствія, то для удовольствія очень и
очень-немногихъ лицъ, принимающихъ участіе въ
ея судьбѣ и заботы о ея существованіи

Я говорилъ, кажется, что почтовая карета при-
везла насъ въ Нижній-Новгородъ послѣ двух-
суточнаго пути, часу въ восьмомъ. Здѣсь, вмѣстѣ
съ добрыми знакомыми, встрѣтили меня добрыя
вѣсти: двое моихъ пріятелей, также чающихъ ис-
цѣленія отъ кумыса, поджидали меня, чтобъ ѣхать
вмѣстѣ, и на пристани, былъ пароходъ отправляю-
щійся на другой день въ Казань. Въ слѣдующее утро
мы запаслись билетами и въ четыре часа послѣ
обѣда собрались на берегу Волги, у [illegible]

маго Боровскаго перевоза, находящагося подъ Волжскимъ откосомъ.

Часть горы, на которой лежитъ Нижній-Новгородъ, обращенная къ Волгѣ, или такъ-называемый Волжскій откосъ, прекрасно отдѣлана, и эта отдѣлка стоила большихъ усилій и суммъ. Весь огромный откосъ выпланированъ, овраги на немъ засыпаны, бугры срыты; онъ сходитъ къ рѣкѣ ровнымъ и крутымъ дерновымъ скатомъ, по которому разбитъ садъ. Два большіе съѣзда идутъ по немъ съ горы, и сходятся у рѣки. Тутъ же стоитъ небольшое, но превосходно-устроенное водоподъемное зданіе, которое двумя паровыми машинами снабжаетъ городъ ключевою водой, собранною въ колодцы. Жаль, что этотъ откосъ видѣнъ только съ Волги; въѣзжающіе въ городъ не водою—не видятъ его.

Лѣтъ десять назадъ, ходили по Волгѣ съ грѣхомъ пополамъ три или четыре плохіе парохода, принадлежавшіе астраханскимъ купцамъ-армянамъ. Теперь существуетъ нѣсколько компаній пароходства, имѣющихъ въ сложности болѣе 60-ти пароходовъ прекраснаго устройства. Нѣкоторые изъ этихъ пароходовъ желѣзные, отъ 400 до 600 силъ. Верстахъ въ пяти отъ Нижняго устроена фабрика, выдѣлывающая всѣ нужныя для пароходовъ машины; въ городѣ Балахнѣ (въ 35-ти верстахъ отъ Нижняго) ихъ строятъ. Проѣзжая по Волгѣ, въ иной день встрѣчаешь до семи пароходовъ, ведущихъ подчалки; зато неуклюжія конныя машины съ каждымъ годомъ встрѣчаются рѣже-и-рѣже. Но, несмотря на это развитіе, волжское пароходство находится еще въ дѣтствѣ: это только начало прекраснаго дѣла, которое со временемъ должно принять огромное развитіе. Особенно это относится къ пароходамъ пассажирскимъ, потому что пароходовъ собственно для пассажировъ еще не существуетъ, и вы можете имѣть каюту только на тѣхъ, которые везутъ какую-нибудь кладь или идутъ за нею. Въ рейсахъ нѣтъ никакой правильности, дни отхода пароходовъ не назначены; ихъ не знаютъ заблаговременно даже и въ самыхъ конторахъ компаніи: по этому о нихъ и не публикуютъ. Пріѣхавъ въ прибрежный городъ, вы должны справляться и ежедневно навѣдываться.

Шестидесяти-сильный пароходъ «Рафаилъ», на которомъ мы должны были ѣхать, принадлежитъ одной изъ лучшихъ и благоустроеннѣйшихъ компаній, подъ названіемъ «Меркурій». Онъ велъ за собою одну *баржу* (*) съ дровами. Каюты его удобны; двѣ каютъ-компаніи, особенно назначенныя для пассажировъ 1-го класса, обиты обоями, украшены картинами, статуэтками, снабжены часами и вообще отдѣланы очень чисто и мило.

Мы пріѣхали на пароходъ большимъ и веселымъ обществомъ. День былъ славный. Въ пять часовъ послѣ обѣда прозвонилъ третій звонокъ; бѣлый паръ началъ мѣрно рваться изъ трубы; колеса зашумѣли—и мы двинулись. Пассажировъ было немного. Въ первомъ отдѣленіи трое насъ, ѣдущихъ на кумысъ, дама и дѣвица, сестры одного изъ моихъ спутниковъ, ѣхавшія въ Васильсурскъ, за 160 верстъ, въ гости—и только, да во второклассныхъ каютахъ было человѣкъ пять мнѣ неизвѣстныхъ лицъ, между которыми я встрѣтилъ двухъ моихъ спутниковъ по почтовымъ каретамъ: любознательнаго нѣмца и господина въ зеленоватомъ казакинѣ; но каюты наши, устроенныя внутри, въ кормовой и носовой частяхъ, отдѣленныхъ машиной, постоянно раздѣляли насъ, и мы съ ними сходились изрѣдка только на палубѣ. Общество увеличивали еще нѣсколько нашихъ общихъ знакомыхъ, поѣхавшіе проводить насъ верстъ за двадцать.

Мы сидѣли на палубѣ, и знакомая мнѣ панорама волжскихъ береговъ двигалась передъ нами. Сначала показался живописно-пріютившійся въ полугорѣ древній Печерскій монастырь, нѣкогда, какъ говорятъ, стоявшій гораздо выше; но откосъ горы, на которомъ онъ былъ построенъ, отъ неизвѣстныхъ физическихъ причинъ, скользя, спустился по склону, и монастырь со всѣми зданіями опустился съ нимъ вмѣстѣ. Подобнымъ скольженіямъ огромныхъ массъ земли есть много примѣровъ и едвали это скольженіе незамѣтно не продолжается и до нынѣ. За монастыремъ потянулись длинной вереницей избы Подновья, въ которомъ приготовляются извѣстные подновскіе огурцы. Нижній сталъ скрываться за горою; вскорѣ вмѣстѣ съ нимъ скрылись и всѣ подгородныя строенія, и мимо насъ однообразно потянулись: справа—глинистыя горы, сплошь поросшія лѣсомъ; слѣва — нижній берегъ луговой стороны, мѣстами затопленный еще стоявшимъ разливомъ. Но мы, полюбовавшись живописнымъ видомъ Нижняго-Новгорода, не скучали однообразіемъ выступавшихъ береговъ: на палубѣ и въ нашей общей каютѣ было весело и шумно,—тутъ шли проводы, не тѣ грустные проводы, когда надолго разстаешься съ близкими сердцу, а веселые проводы пріятелей, разстающихся до скорой и веселой встрѣчи.

Незамѣтно проѣхали двадцать верстъ, и почтовая станція, до которой провожали насъ нижегородцы, ужь показалась на горѣ, когда мы увидали вдали по рѣкѣ маленькую струйку дыма. «Пароходъ на-встрѣчу!» закричалъ лоцманъ, и вскорѣ мы ясно различили бѣгущій вверхъ по рѣкѣ пароходъ. Онъ быстро приближался къ намъ по другому фарватеру. Мы подняли флагъ, закричали въ рупоръ — и онъ остановился; наскоро простились мы съ нашими гостями, шлюбка отчалила, отвезла ихъ на встрѣчный пароходъ, и мы отправились далѣе.

Изъ всѣхъ способовъ перевозить съ мѣста на мѣсто свою особу—переѣздъ на пароходѣ по рѣкѣ есть, по моему мнѣнію, самый пріятнѣйшій и удобнѣйшій: вы не чувствуете ни тряски, ни качки:

(*) Барка — родъ высокой барки, на которой везется ѣ.

сидите въ каютѣ или гуляете по палубѣ; по сторонамъ васъ движется панорама береговъ, и вы, не чувствуя усталости, наслаждаясь всѣми удобствами пловучей квартиры, быстро несетесь впередъ. Прибавьте къ этому общество добрыхъ знакомыхъ и пріятелей, съ которыми вы давно не видались—и вы будете имѣть понятіе о нашей поѣздкѣ, одной изъ самыхъ пріятныхъ поѣздокъ, которыя мнѣ случалось дѣлать. Вотъ, справа, на высокой горѣ, опускающейся крутымъ и лѣсистымъ скатомъ въ Волгу, виднѣнъ верхъ бѣлаго двух-этажнаго павильона. Это павильонъ, выстроенный въ саду князя Д*, домъ котораго едва проглядываетъ сквозь зелень деревьевъ. Ежегодно 8-го іюля все лучшее нижегородское общество съѣзжалось за 40 верстъ въ домъ князя. Въ этомъ павильонѣ, убранномъ цвѣтами и южными деревьями, бывалъ большой обѣдъ и потомъ балъ, длившійся до разсвѣта. Этотъ ежегодный сельскій праздникъ, этотъ балъ, среди цвѣтовъ и зелени, въ павильонѣ, сквозь отворенныя двери и окна котораго глядѣлась теплая іюльская ночь, а внизу, сквозь ночную темь, виднѣлась широкая темная полоса Волги, вѣроятно долго будутъ памятны нижегородцамъ. Но въ нынѣшнемъ году, въ этотъ день, домъ не отворился для шумныхъ гостей; павильонъ остался пустъ: князь Д* умеръ въ Москвѣ нынѣшней зимою.

Ночью мы подплыли къ Макарьеву. Нынче это одинъ изъ незначительнѣйшихъ уѣздныхъ городовъ Нижегородской губерніи, но нѣкогда онъ былъ знаменитъ своею ярмаркой, переведенной впослѣдствіи въ Нижній-Новгородъ, и до сихъ поръ у купцовъ и простонародья извѣстной подъ именемъ Макарьевской. Шумно пробѣжалъ нашъ пароходъ мимо самыхъ стѣнъ монастыря св. Макарія—патрона ярмарки: освѣщенныя луной, бѣлыя стѣны древней обители стояли въ водахъ разлива, и этотъ ночной видъ тихаго монастыря, глядящагося въ дремлющія воды, былъ чудно-хорошъ; а за нимъ стояла затопленная и какъ-будто выросшая изъ воды роща. На противоположной горѣ темнымъ вырѣзаннымъ силуэтомъ раскидывалось село Лысково, окруженное сотнею вѣтряныхъ мельницъ. Это богатое село съ семью церквами, извѣстное своей хлѣбной торговлей и пристанью, дня за три до нашего пріѣзда схоронило своего столѣтняго владѣльца, князя Георгія Грузинскаго.

Благодаря комарамъ, которые, забившись отъ холода въ каюты, не давали намъ спать, мы какъ тѣни бродили цѣлую ночь съ палубы въ общую каюту и изъ каюты на палубу. Часу въ шестомъ утра пароходъ бросилъ на нѣсколько минутъ якорь передъ Василемъ-Сурскимъ. Полусонные, простились мы съ нашими спутницами, которыхъ лодка высадила на берегъ, и оставшись одни, съ ожесточеніемъ напали на комаровъ, выгнали ихъ изъ нашихъ каютъ и, закупорившись герметически, въ страшной духотѣ проспали едва не до Казани. Впрочемъ, болѣе ничего намъ не оставалось и дѣлать: берега Волги на этомъ переѣздѣ очень мало представляютъ замѣчательныхъ или живописныхъ мѣстъ, на которыхъ взглядъ останавливается съ удовольствіемъ. Въ первомъ отдѣленіи насъ было трое, которымъ вмѣстѣ предстоялъ еще долгій путь; спутники втораго отдѣленія играли въ карты въ своей общей каютѣ, и изъ нихъ никто не интересовалъ насъ особенно... Однакожъ, объ одномъ изъ нихъ я долженъ сказать нѣсколько словъ. Надобно прежде замѣтить, что рядомъ съ нашей общей каютой, изъ корридора, по бокамъ котораго идутъ двери въ частныя каюты, былъ входъ въ буфетъ; поэтому мы сначала нисколько не обращали вниманія на одного высокаго и виднаго мужчину съ бородой и въ длинномъ сюртукѣ, какіе носятъ обыкновенно купцы или мѣщане. Мужчина этотъ выходилъ по нашей лѣстницѣ въ корридоръ, осторожно проходилъ его, взглядывалъ въ нашу общую каюту и потомъ скрывался въ сосѣднюю дверь. Черезъ нѣсколько минутъ онъ выходилъ оттуда, такимъ же порядкомъ возвращался и оставался на нѣкоторое время невидимкой; потомъ снова возвращался и снова уходилъ; но вотъ этотъ, самъ-по-себѣ незначущій процессъ повторяется днемъ, повторяется ночью, постоянно повторяется весь слѣдующій день и всю слѣдующую ночь, и крайне заинтересовалъ насъ. По окончаніи тридцати-восьмичасоваго переѣзда, мы полюбопытствовали узнать, что дѣлалъ этотъ господинъ въ свои частыя посѣщенія въ буфетъ? Оказалось, что онъ выпилъ двѣ бутылки хересу, восемь бутылокъ пива и сорокъ рюмокъ водки! «А ничего не кушали-съ», прибавилъ словоохотливый буфетчикъ, сообщившій намъ эти статистическія свѣдѣнія: «рѣшительно ничего-съ! Разъ только сказали, что скушали бы вотъ они поросенка подъ хрѣномъ — да поросенка у насъ не случилось, такъ они ничего и не кушали».

Коснувшись статистическихъ данныхъ, я не излишнимъ считаю сказать о цѣнахъ мѣстъ на пароходѣ. Каюта въ первомъ отдѣленіи отъ Нижняго до Казани стоитъ 10 руб. сер., во второмъ 8 р., мѣста на палубѣ 3 руб., а мѣсто на баржѣ 1 руб.; за мѣсто для экипажа берутъ 10 руб. Впрочемъ, эти цѣны нѣсколько измѣняются, смотря по устройству пароходовъ. На пароходѣ есть буфетъ и кухня, и цѣны за все очень-умѣренныя. Плаваніе весною на рѣчномъ пароходѣ мало подвержено случайностямъ: нѣтъ ни мелей, ни перекатовъ; фарватеръ широкъ, ночи свѣтлыя и коротки, и потому пароходы на ночь не останавливаются. Впрочемъ, во избѣжаніе столкновенія, по бокамъ парохода на ночь вывѣшиваются красный и зеленый фонари, и простой фонарь на верхушкѣ мачты; кромѣ того, въ сильный туманъ, они обязаны часто звонить въ колоколъ.

Итакъ мы плыли спокойно и прекрасно внизъ по Волгѣ, когда, на третій день, часу въ шестомъ утра, насъ разбудили извѣстіемъ, что скоро остановимся на мѣстѣ. Въ-самомъ-дѣлѣ, впереди, едва возвышаясь надъ разливомъ воды, въ утреннемъ

туманѣ показались строенія Казани, и черезъ часъ «Рафаилъ» бросилъ якорь въ Услонѣ.—Это большое село, расположенное на правомъ берегу Волги, противъ устья Казанки. Ближе къ Казани, за мелководіемъ Казанки, нароходъ подойдти не могъ. Намъ оставалось еще верстъ семь переѣзда водою; мы наняли досчаникъ, перегрузили на него вещи и экипажъ, и простились съ пароходомъ. На берегу въ Услонѣ, прямо противъ того мѣста, отъ котораго мы отправились, на довольно-большомъ деревянномъ домѣ была вывѣска; мы могли разобрать на ней надпись: «Уѣздный Трактиръ»; ниже было еще что-то написано, но, къ крайнему сожалѣнію, мы ничего болѣе не могли прочесть.

Часа полтора мы употребили на то, чтобъ переѣхать Волгу и подняться вверхъ по Казанкѣ. Черезъ сорокъ часовъ послѣ отъѣзда изъ Нижняго—и то благодаря сырымъ дровамъ, которыми топился пароходъ, сдѣлавъ переѣздъ около 400 верстъ и избѣжавъ весьма-незавидный лѣтній трактъ между Нижнимъи Казанью,—мы были въ послѣднемъ.

Письмо третье

Отъ Казани до Башкиріи.

Казань—одинъ изъ самыхъ большихъ губернскихъ городовъ. Въ ней есть общество и очень, какъ говорятъ, значительное, чего нельзя сказать про всѣ наши губернскіе города; университетъ придаетъ ему еще бо́льшее значеніе. Въ Казани есть даже маленькая литература, и, неговоря о постоянныхъ ученыхъ трудахъ гг. профессоровъ университета, время-отъ-времени появляются въ ней книжечки ея собственнаго произведенія. Кромѣ всего этого, въ Казани есть новость, которою она всего болѣе занимается въ настоящее время; это—новое каменное зданіе театра и новая его труппа. Я намѣренъ сказать о немъ нѣсколько словъ по многимъ причинамъ. Первая изъ нихъ, это—значеніе театра въ настоящей казанской жизни; вторая состоитъ въ томъ, что театръ во всякомъ городѣ есть въ нѣкоторой степени мѣрило эстетическаго образованія публики. Казанскій театръ, въ этомъ случаѣ, есть явленіе утѣшительное и достойное подражанія, потому-что устроенъ не промышленными видами какого-нибудь антрепренёра, а иждивеніемъ общества, чувствующаго въ немъ потребность. Новое каменное зданіе театра просто, удобно и чисто; оно могло бы быть изящнѣе, но хорошо и то, что̀ есть; только партеръ намъ показался ужь слишкомъ-малъ. Дирекція составлена изъ нѣсколькихъ образованныхъ лицъ, употребившихъ небольшой капиталъ на содержаніе труппы, и въ этомъ случаѣ далеко оставила за собой нижегородскую; декораціи новы и очень-мило написаны г. Живокини, братомъ извѣстнаго артиста московской *сцены; этому же опытному* и знающему свое дѣло агенту было поручено дирекціей составленіе труппы, и оно исполнено имъ по возможности удовлетворительно. Вообще, дирекція имѣетъ и, вѣроятно, сохранитъ въ немъ дѣятеля, весьма ей полезнаго.

Мы пріѣхали въ Казань въ субботу и должны были остаться до понедѣльника. На столѣ нашего знакомаго, давшаго намъ пріютъ, лежала афишка, извѣщавшая, что въ воскресенье даны будутъ пьесы: «Въ людяхъ ангелъ, не жена, дома съ мужемъ—сатана» и «А и Ф».

«Будете вы въ театрѣ?» спрашивали насъ: «Поѣзжайте смотрѣть Стрѣлкову и Владимірова. Стрѣлкова», говорили казанскіе театралы, въ числѣ которыхъ былъ и нашъ гостепріимный пріятель: «Стрѣлкова, это чудо что за актриса! Жаль только, не увидите ее въ «Материнскомъ благословеніи». Въ «Материнскомъ благословеніи» Стрѣлкова выше Самойловой. А Владиміровъ! Да, Владиміровъ въ иныхъ роляхъ выше Мартынова!»

Надобно сказать, что провинціальные театралы если ужь начнутъ кѣмъ восхищаться, такъ не восхищаются въ половину, они сейчасъ сравнятъ свои знаменитости съ петербургскими, да еще и отдадутъ имъ предпочтеніе. Въ Казани много театраловъ: это хорошій залогъ для театра; пока театралы существуютъ, театръ не останется пустымъ. Казанскіе театралы дѣлятся на Стрѣлкистовъ и Прокофьистовъ. Г-жу Стрѣлкову 2-ю я зналъ еще на нижегородской сценѣ, когда она играла въ «Новичкахъ въ любви» и танцовала «стиріанскій танецъ». Г-жу Прокофьеву, на сторонѣ которой не столько драматическій талантъ, сколько физическіе дары природы, я прежде не видалъ и потому ожидалъ спектакля, чтобъ посмотрѣть, въ какой степени развернулся талантъ первой, и каковы другія казанскія знаменитости.

Въ воскресенье послѣ обѣда мы были въ русской Швейцаріи. Это большой паркъ, съ расчищенными дорожками, расположенный на горѣ. Въ немъ устроены качели и трактиры для простаго народа; глубже есть нѣсколько дачъ. Несмотря на пасмурную погоду, народа было много, но исключительно рабочаго класса. Видъ съ горы на разливъ Казанки очень живописенъ. Верстахъ въ двухъ, на другой горѣ, видна другая Швейцарія—нѣмецкая; но мы въ ней не были, потому что спѣшили въ театръ.

Я уже говорилъ про пьесы, которыя въ немъ давались; выполнены были онѣ очень недурно; но господа театралы, сравнивающіе г-жу Стрѣлкову 2-ю и г. Владимірова съ г-жей Самойловой 1-й и г. Мартыновымъ, кажется, смотрятъ на достоинства своихъ артистовъ въ слишкомъ увеличивающую театральную трубку. Г-жа Стрѣлкова 2-я дѣйствительно много развернулась съ тѣхъ поръ, какъ мы видѣли ея дебюты на нижегородской сценѣ. У нея есть талантъ, особенно для ролей, въ которыхъ чувство проявляется въ сильныхъ и рѣзкихъ выраженіяхъ. Такъ, напримѣръ, вы пьесѣ «Въ людяхъ ангелъ, не жена, дома съ мужемъ — са-

тана», вторая половина пословицы была выполнена ею очень удовлетворительно и правдоподобно; но первой въ ея игрѣ мы не видали. Вообще, при стараніи г-жи Стрѣлковой 2-й и ея любви къ театру, изъ нея можетъ выйдти очень хорошая актриса; но ей надобно много трудиться, чтобъ преодолѣть нѣкоторые недостатки въ манерахъ, голосѣ и дикціи. Игра г-жи Стрѣлковой 2-й была вознаграждена двумя букетами, изъ которыхъ одинъ былъ изъ сирени. Роль г-жи Прокофьевой (въ А и Ф») была такъ незначительна, что по ней нельзя судить о ея талантѣ, если онъ только есть у нея, потому что она ничего не сдѣлала, чтобъ придать какое нибудь значеніе своей роли. Г. Владиміровъ игралъ въ обѣихъ пьесахъ; въ первой хотя роль Прындика и была имъ исполнена оригинально, но онъ отнялъ у нея всю комическую сторону и сдѣлалъ ее очень скучною, тогда какъ въ пьесѣ это одна изъ лучшихъ ролей. Гораздо лучше онъ игралъ въ «А и Ф.» и напоминалъ игру г. Мартынова въ этомъ фарсѣ: и этого ужь довольно!

Но, по чувству справедливости, я долженъ сказать нѣсколько словъ объ одной актрисѣ, игравшей тоже въ первой пьесѣ, актрисѣ замѣчательной, о которой никто ни слова не говорилъ мнѣ въ Казани: я говорю о г-жѣ Стрѣлковой 1. Затемненная свѣжестью, молодостью и удачными дебютами своей меньшой сестры и воспитанницы, она, кажется, не обратила на себя вниманія казанской публики; но, зная давно игру г-жи Стрѣлковой 1-й, мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что это лучшая артистка казанской труппы, особенно для ролей старухъ и сварливыхъ женщинъ. Въ Казани есть еще очень добросовѣстный и хорошій драматическій актеръ—г. Аѳанасьевъ; но въ этотъ разъ мы его игры не видали.

Заговорившись о казанскомъ театрѣ, я забылъ, что мнѣ предстоитъ еще длинный путь, и, отъѣхавъ 1.400 верстъ, я все еще, какъ Вѣчный жидъ, слышалъ голосъ, который говорилъ мнѣ: «впередъ! впередъ!» Пробывъ болѣе двухъ сутокъ въ Казани, мы наконецъ собрались въ дальнѣйшій путь.

Путь этотъ былъ ужь не таковъ, какъ мною сдѣланный: не было на немъ ни пароходовъ, ни паровозовъ, ни почтовой кареты къ услугамъ проѣзжающаго, ни гостинницъ для его питанія—словомъ, начиналась ѣзда на поэтической разбитой тройкѣ, въ тарантасѣ съ деревянными осями, которыя горятъ всю дорогу, съ пуховыми подушками и перинами отъ тряски и запасомъ провизіи на нѣсколько сутокъ, потому что путь идетъ по странѣ, въ которой можно найдти только самоваръ съ горячей водой, да тамъ и сямъ одну какую нибудь курицу. Дѣйствительно, я долженъ былъ купить въ Казани тарантасъ, котораго ось дымилась во всю дорогу, и, съ запасомъ чая, мы пустились въ путь.

Не разъ проѣзжая по настоящему пути, зная вообще, что̀ такое ѣзда по большимъ дорогамъ, я нахожу, что лучшая система ѣзды по этимъ дорогамъ — ѣзда безъ остановки и отдыха; ѣзда безсонная, но по крайней мѣрѣ скорая; спутники мои думали иначе и мечтали съ надеждами объ уѣздныхъ городахъ, которые лежали на нашемъ пути.

Отъ Казани до Бугульмы учреждена вольная почта. Удобство ея состоитъ въ томъ, что, заплативъ при выѣздѣ двойные прогоны за весь путь, вы ужь не встрѣчаете задержки въ лошадяхъ, которой, впрочемъ, по этому тракту и прежде не было, потому что татары и башкирды рады были возить всѣхъ за обыкновенные прогоны и были совершенно довольны, если, вмѣсто пяти копеекъ ассигнаціями, ихъ разсчитывали по полторы копейки серебромъ за версту.

Выѣхавъ въ полночь, мы вскорѣ проѣхали *Дунькинъ-Врагъ*, лежащій верстахъ въ семи отъ Казани. Это названіе осталось за нимъ, какъ говоритъ преданіе, по имени женщины-атамана, которая разбойничала здѣсь съ своей шайкой. Къ утру мы пріѣхали въ Шуранъ. Вы, по всей вѣроятности, не знаете, что̀ такое Шуранъ и чѣмъ онъ замѣчателенъ. Но, въ мои неоднократныя поѣздки въ оренбургскую губернію, ни разу я не проѣзжалъ эту деревню, или, лучше сказать, одно мѣсто этой станціи, чтобъ въ моемъ воображеніи не всколыхнулся и не всталъ цѣлый рядъ картинъ, когда-то живыхъ и разнообразныхъ, а теперь—увы!—блѣдныхъ и только интересныхъ по воспоминанію.

Представьте себѣ огромную гору, которая крутымъ, красноглинистымъ обрывомъ упирается въ рѣку; рѣка эта—Кама. Кама не похожа ни на одну изъ нашихъ европейскихъ большихъ рѣкъ: широкая и многоводная, она какъ-то особенно-пасмурно и угрюмо бѣжитъ въ своихъ пустынныхъ берегахъ. Надъ этой бурной рѣкою, на горѣ, почти свѣсившись надъ обрывомъ, стоитъ двух-этажный, старинный, разваливающійся каменный домъ, съ заглохшимъ садомъ и двумя рядами длинныхъ каменныхъ службъ по сторонамъ,—домъ, въ которомъ видимо когда-то жили по-барски, но домъ мрачный, угрюмый и пустынный, какъ рѣка и голый обрывъ, надъ которыми онъ высится.

Припомните теперь, читатель, то доброе старое время, когда вы съ наслажденіемъ и учащеннымъ біеніемъ сердца, вмѣсто нынѣшнихъ простыхъ и обыкновенныхъ, какъ наша ежедневная жизнь, повѣстей, жадно читали цвѣтистыя и страшныя повѣсти Марлинскаго; припомните одну изъ этихъ повѣстей, подъ заглавіемъ «Латникъ», въ которой у бивачнаго огня разсказываются разныя страшныя происшествія и, между-прочимъ, приключенія одной Софьи или Лизы, которая, соединясь узами брака съ своимъ возлюбленнымъ, томилась за это въ подземельяхъ стариннаго, едва не разбойничьяго дома. Этотъ домъ я вамъ сейчасъ описалъ: страшная драма повѣсти разыгрывалась въ Шуранѣ. Въ лѣта моей ранней молодости я видалъ этотъ романическій домъ; ночью, перемѣняя лошадей на шуранской станціи, которая помѣщалась и помѣщается во флигелькѣ этого дома, обращенномъ окнами въ садъ, моему горячему воображе-

нію, настроенному разсказомъ Марлинскаго, представлялась влюбленная чета, гуляющая по этому заброшенному и поросшему травой саду, чудились стоны и крики, которые неслись изъ подземелья разрушающагося и нависшаго надъ рѣкой дома. Но—прошли года, и старинный домъ, теперь подновленный и подштукатуренный, вовсе не грозно стоитъ надъ рѣкою; повѣсти Марлинскаго нравятся намъ теперь, какъ нарумяненная женщина съ претензіями и мушками, надъ которой не смѣемся только потому, что знали ея блистательную пору, и, что́ всего хуже, прошла и самая молодость съ чудесно-настроеннымъ воображеніемъ... и Шуранъ замѣчателенъ теперь для насъ только потому, что подъ нимъ, спустившись съ крутой горы, переѣзжаютъ Каму, по которой, мимоходомъ сказать, нынче тоже ходятъ пароходы.

Первое разочарованіе моихъ спутниковъ, надѣявшихся на уѣздные рестораны, ожидало ихъ въ «Чистомъ Полѣ». Этотъ хорошенькій съ виду городокъ лежитъ, окруженный сотнею вѣтряныхъ мельницъ, на гладкомъ и ровномъ, какъ ладонь, мѣстѣ, которое дало ему, вѣроятно, свое названіе. При въѣздѣ въ одну изъ улицъ, мы увидѣли съ удивленіемъ и прочли на питейномъ дому татарскую надпись. Поклонники Мухаммеда, которые и прежде любили простое винцо, но, изъ уваженія къ запрещенію Корана, пивали его обыкновенно, отвернувшись лицомъ въ уголокъ, теперь, вѣроятно, не соблюдаютъ этой скромности.

Насъ подвезли къ какому-то трактиру или, правильнѣе, харчевнѣ. Не зная, чѣмъ можемъ мы располагать здѣсь для удовлетворенія аппетита, мы поспѣшили къ вывѣшенной на стѣнѣ картѣ кушаньямъ, и прочли слѣдующее:

Холодное:

Рыбное и скоромное вообще—80 к. (ассигн.)

Горячее:

Рыбное и скоромное вообще—80 к.

Жаркое:

Рыбное и скоромное вообще—80 к.

Выборъ былъ, какъ видите, очень-обширный; впрочемъ, половой прибавилъ, что это «такъ только, для видимости», а въ сущности ѣсть было почти нечего. По-счастью мы нашли маленькихъ стерлядокъ и ограничили обѣдъ плохенькой ухой. Зато карта винамъ была не такъ обща, но очень-разнообразна: въ ней было и *коньякъ*, и *фаяльское* и *бенжарло*, *греческое бѣлое и красное*, *сантуринское*, *мушкатель* и, въ заключеніе, *тотемское шампанское* и *пунштъ* простой и двойной. Впрочемъ, чтобъ не распространяться о неудовлетворенномъ аппетитѣ, чему подвергается всякій незапасливый проѣзжающій, замѣчу, что въ Бугульмѣ, второмъ на этомъ пути городѣ, въ трактирѣ, намъ предлагали только одну соленую рыбу, которая, по сознанію даже самого трактирщика, была *не очень* хороша, и потому трое сутокъ мы по утру и вечеромъ пили чай, обѣдали — чаемъ, и ужинали—чаемъ. Пріѣхавъ на мѣсто, мы на нѣсколько дней получили отвращеніе отъ этого благодѣтельнаго напитка.

Вскорѣ по въѣздѣ въ оренбургскую губернію, начинается та превосходная дорога, которою она славится вмѣстѣ съ сибирскимъ краемъ. Дорога эта состоитъ изъ черноземно-глинистаго грунта, ежегодно удабриваемаго хрящемъ. Это удабриваніе такъ идетъ въ грунту, что, соединясь съ нимъ, составляетъ крѣпкую кору, по которой даже въ сильные дожди ѣзда не дѣлаетъ колеи и экипажъ едва оставляетъ слѣды. По тракту отъ Бугульмы до Уфы устроены каменные мосты. Въ лошадяхъ, при обиліи охотниковъ изъ татаръ и башкирцевъ, какъ я ужь сказалъ, всегда возить за прогоны, остановокъ нѣтъ, и возятъ прекрасно. На станціяхъ, благодаря попеченію почтоваго начальства, вездѣ найдете одну или двѣ опрятныя комнаты, и если на всемъ пути едва сыщете кусокъ съѣстнаго, то это ужь не его вина. По старой привычкѣ я говорю въ *оренбургской губерніи*, тогда-какъ, едва въѣдешь въ нее, черезъ нѣсколько десятковъ верстъ, врѣзывается по тракту уголъ самарской губерніи, въ которую вошелъ, бывшій прежде въ оренбургской, бугульминскій уѣздъ. За двѣ станціи недоѣзжая Бугульмы, больные другаго рода поворачиваютъ на извѣстныя сергіевскія сѣрныя воды.

Въ исходѣ третьихъ сутокъ самаго продолжительнаго и скучнаго переѣзда, мы пріѣхали въ Уфу. Это одинъ изъ самыхъ небогатыхъ губернскихъ городовъ, въ которомъ сосредоточено гражданское управленіе губерніи, тогда какъ военное и жительство генералъ-губернатора находится въ Оренбургѣ. Этотъ городъ, несмотря на небогатство своего строенія, очень живописно раскинутъ на горѣ, омываемой рѣкою Бѣлой. Въ Уфѣ такъ мало замѣчательнаго, что говорить о ней почти нечего. Общество въ ней очень немногочисленно. Лучшія въ ней зданія казенныя и только нынче тамъ строится прекрасный домъ дворянскаго собранія. Мы пробыли въ Уфѣ нѣсколько часовъ и отправились далѣе по оренбургскому тракту.

Но длинный путь нашъ и его описаніе клонятся къ концу. По такой же прекрасной, какъ и предъидущая, дорогѣ, мы проѣхали съ небольшимъ сто верстъ, и около полудня, свернувъ съ послѣдней къ Стерлитамаку станціи влѣво, переѣхали Бѣлую и были на мѣстѣ, въ Башкиріи, слишкомъ за 2.000 верстъ отъ Петербурга. Весь этотъ переѣздъ по желѣзной дорогѣ, въ почтовой каретѣ, на пароходѣ, по вольной и обыкновенной почтамъ, сдѣлалъ я, за исключеніемъ остановокъ, въ восемь сутокъ. Кругомъ меня была Башкирія съ ея горами, лѣсами и цвѣтущею степью: послѣ городской жизни на насъ цѣлебно пахнулъ свѣжій воздухъ моей родины: въ краю новомъ и разнообразномъ, для насъ началась сельская жизнь съ ея тишиной и разнообразіемъ, жизнь въ деревнѣ, окруженной башкирцами. На другой день по пріѣздѣ, за обѣдомъ, мы выпили по первому стакану кумыса. Но о кумисѣ я буду говорить въ слѣдующемъ письмѣ.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ И ПОСЛѢДНЕЕ.

Кумысъ.—Башкирія.

... Луною чуть озарена,
Съ улыбкой жалости отрадной,
Колѣна преклонивъ, она
Къ его устамъ *кумыса* * прохладный
Подноситъ тихою рукой...

Пушкинъ («Кавказскій плѣнникъ»).

На другой день нашего пріѣзда, за раннимъ деревенскимъ обѣдомъ, на столѣ стояла большая бутыль съ жидкостью молочнаго цвѣта.

— Что̀ это, кумысъ? увидавъ ее, спросили въ одинъ голосъ мои спутники, и ихъ любопытствующія лица невольно поморщились при мысли о напиткѣ, приготовляемомъ изъ кобыльяго молока, какъ иногда морщится человѣкъ, глядя, въ раздумьѣ, на первую ложку новой микстуры и подумывая: «посмотримъ, какую-то штуку прописалъ мнѣ мой медикусъ: должно быть, дрянь страшная».

Но я ихъ успокоилъ.

— Это сыворотка, сказалъ я:—передъ кумысомъ надо нѣсколько дней попить сыворотку.

— А изъ какого молока? изъ коровьяго, или...

— Изъ коровьяго, отвѣчалъ я.

Затѣмъ, взболтавъ жидкость, я налилъ стаканъ и съ удовольствіемъ выпилъ давно-знакомый мнѣ и любимый напитокъ.

Выпили его и мои спутники, но безъ знаковъ особеннаго удовольствія.

— Каково̀? спросилъ я.

— Недурно, отвѣчалъ одинъ, оптимистъ страшный.

— Такъ-себѣ, отвѣчалъ другой, немного поморщившись.—А кумысъ будетъ похуже этого?

— Немного.

— Гм!

Но тутъ я ихъ поздравилъ съ началомъ кумыснаго леченія: напитокъ былъ башкирскій кумысъ, за которымъ, чтобъ сдѣлать сюрпризъ моимъ пріятелямъ, я посылалъ верстъ за пятнадцать, потому-что по близости его еще не начинали дѣлать.

— Въ самомъ дѣлѣ кумысъ? спросили они съ недовѣріемъ.

— Дѣйствительно. А что̀?

— Гм, ничего! сказалъ оптимистъ, искоса поглядывая на бутыль.

— Дрянь порядочная, замѣтилъ другой.

— Я ему сказалъ, что черезъ три дня онъ привыкнетъ, а черезъ недѣлю полюбитъ кумысъ. Онъ мнѣ не повѣрилъ и нѣсколько дней отзывался о кумысѣ весьма непочтительно, хотя и пилъ его; потомъ пилъ и молчалъ, а потомъ, разъ, наливая себѣ десятый стаканъ, замѣтилъ:

— А вѣдь ужасно пьется онъ, проклятый.

Оптимистъ съ другаго дня пилъ, крякалъ и похваливалъ.

Однакожъ, надобно сказать, что̀ такое кумысъ, гдѣ, и какъ мы истребляли его.

Всѣмъ болѣе или менѣе извѣстно, что кумысъ есть напитокъ, приготовляемый изъ кобыльяго молока; но многіе полагаютъ, что это молоко и кумысъ одно и то же: смѣю увѣрить, что между ними величайшая разница. Кобылье молоко сладковато, очень-прѣсно и чрезвычайно приторно: пить его (по-крайней-мѣрѣ на мой вкусъ) крайне-непріятно; между тѣмъ какъ кумысъ есть одинъ (все-таки на мой вкусъ) изъ пріятнѣйшихъ напитковъ; а приготовляется онъ слѣдующимъ, весьма-простымъ способомъ. Берется обыкновенное коровье кислое молоко (оно служитъ закваской) (*) и на него наливается цѣльное кобылье; эту смѣсь держатъ въ избѣ, или комнатѣ (но отнюдь не на погребѣ), чтобъ оно скорѣе могло скиснуться, и какъ-можно чаще болтаютъ. Для этого башкирцы, когда дѣлаютъ кумысъ въ турсукахъ, то держатъ въ нихъ палку, съ лопаточкой на концѣ, которою взбалтываютъ кумысъ. Когда напитокъ скиснется —кумысъ готовъ; но это дѣлается только для начала; впослѣдствіи же, по мѣрѣ убыли такимъ-образомъ приготовленнаго кумыса, его добавляютъ только молокомъ и болтаютъ или мѣшаютъ дотѣхъ-поръ, пока онъ снова не скиснется—и вотъ вамъ пресловутый напитокъ! Чѣмъ болѣе болтаютъ кумысъ, тѣмъ онъ дѣлается лучше. Онъ имѣетъ цвѣтъ молока, вкусомъ кисловатъ, и эта кислота зависитъ отъ степени его окисленія: молодой прѣснѣе, старый кислѣе; кромѣ того, онъ, какъ говорится, ядренъ. Башкирцы, которые употребляютъ его страшное количество, и потому иногда имѣютъ недостатокъ въ молокѣ, подмѣшиваютъ къ нему воду. Умѣренная подмѣсь ея не вредитъ кумысу и даже, способствуя броженію, дѣлаетъ то, что башкирскій кумысъ крѣпче на вкусъ и пьянѣе. Цѣльный домашній кумысъ, приготовленный въ бутыли, имѣетъ игру, какъ шампанское: взболтанный передъ тѣмъ, какъ наливать (что дѣлается всегда, чтобъ взмѣшать отстой), онъ шипитъ, пѣнится и даже рветъ пробку. Мнѣ случалось пивать хорошій кумысъ, который имѣетъ отзывъ горькаго миндаля, что, вѣроятно, зависитъ отъ травъ пастбища; этотъ кумысъ высоко цѣнится знатоками. Очень часто башкирцы и киргизы держатъ кумысъ въ турсукахъ, особенно при перевозкѣ. Но вы, можетъ-быть, не знаете, что̀ такое турсукъ? Это очень удобный кожаный сосудъ, который дѣлается весьма-просто; съ задней ноги, разумѣется, убитой лошади, снимается

(*) «Кумысъ дѣлается изъ кобыльяго молока. Напитокъ этотъ въ большомъ употребленіи между всѣми горскими и кочующими народами Азіи. Онъ довольно-пріятнаго вкуса и почитается весьма-здоровымъ.» (Пушкинъ, прим. 6. къ Кавказскому плѣннику.)

(*) Закваску дѣлаютъ иногда иначе: въ козье или кобылье молоко кладутъ высушенный телячій желудокъ, который употребляется для закваски сыра.

кожа, шерсть кожи обжигается, самая кожа коптится, затѣмъ, на широкій отрѣзанный конецъ этой кожи, сшитый такъ, какъ она есть на ногѣ, пришивается дно, узкій конецъ (у колѣна) затыкается камышомъ или травой, — турсукъ готовъ. Поставленный на дно, онъ имѣетъ видъ большаго окорока: да и немудрено, потому-что это не что иное, какъ кожа съ лошадинаго окорока. Кумысъ, который держится въ турсукахъ, получаетъ отзывъ кожи и дыма, что̀, по моему вкусу, его нисколько не портитъ. Кумысъ, какъ всякій благородный напитокъ, улучшается отъ перевозки, потому-что въ это время болтается; но онъ скоро можетъ перекиснуть до крѣпости порядочнаго уксуса.

Мнѣ сію минуту пришла въ голову слѣдующая мысль. Я увѣренъ, что у бо́льшей половины моихъ читателей и у всѣхъ, думаю, безъ исключенія, читательницъ настоящихъ замѣтокъ, которые не испытали удовольствія лично познакомиться съ башкирскимъ напиткомъ, я увѣренъ, что у всѣхъ васъ, мои читатели, при чтеніи или слушаніи предъидущихъ строкъ, лица измѣнились извѣстнымъ и совершенно одинаковымъ образомъ. Это измѣненіе, я полагаю, заключается въ томъ, что лѣвая половина губъ вашихъ немного приподнялась и выдвинулась, а лѣвая сторона носовъ немножко сморщилась. Сiю васъ увѣрить, что подобное выраженіе вашихъ лицъ, въ моихъ глазахъ, ихъ нисколько не портитъ, но оно молча говоритъ слѣдующее: «Хорошъ долженъ быть этотъ напитокъ, приготовленный изъ Богъ-знаетъ какого-то молока, молока, которое скислось, содержится въ *какой-то* кожѣ и получило ея *букетъ* съ запахомъ копоти и дыма! Да, хорошъ долженъ быть и вкусъ автора, который выхваляетъ подобный напитокъ!»

Если моя авторская проницательность не споткнулась въ этомъ предположеніи торжественнымъ образомъ, если она, какъ говорятъ дилетанты, не сдѣлала фіаско, то я позволю себѣ отвѣчать слѣдующее:

Во-первыхъ, милостивые государи и преимущественно государыни, о вкусахъ не спорятъ, что̀, по заведенному обычаю, я могу даже подтвердить пословицей: «de gustibus non est disputandum», которая, впрочемъ, говоритъ по-латыни совершенно то же, что̀ я сказалъ по-русски; во-вторыхъ, я рѣшительно не понимаю, почему мысль о молокѣ такого прекраснаго животнаго, какъ лошадь, возбуждаетъ во многихъ антипатію, тогда какъ молоко весьма доброй и почтенной, но отнюдь не красивой коровы, пользуется совершенно-другимъ кредитомъ. Я увѣренъ, что въ числѣ моихъ читателей нашлись бы нѣкоторые, нераздѣлявшіе моего вкуса, напримѣръ, къ лимбургскому сыру и устрицамъ, еслибъ я похвалилъ эти почтенныя принадлежности гастрономіи (а я бы непремѣнно и неменѣе искренно похвалилъ ихъ, еслибъ пришлось къ слову), но зато другая и большая половина читателей, конечно, заступилась бы за меня и сказала бы противникамъ устрицъ, сыра и моего вкуса, что они неправы и неправы потому, что охуждаютъ вещи (я говорю только объ устрицахъ и лимбургскомъ сырѣ), которыхъ вкусъ и таинственную прелесть они не поняли, не хотѣли или не умѣли оцѣнить. Точно тоже, я увѣренъ, скажутъ тѣ немногіе изъ моихъ читателей, которые или въ теченіе нѣкотораго времени кумысъ, и тѣ многіе башкирцы, которые хоть и не имѣютъ преимущества быть моими читателями, но болѣе всѣхъ ихъ пьютъ кумысъ,—точно тоже, я увѣренъ, скажутъ они и противникамъ кумыса.

Кумысъ имѣетъ то особенное свойство, что онъ чрезвычайно-легко пьется и притомъ, употребляемый въ огромномъ даже количествѣ, нисколько не обременителенъ. Въ жаркіе лѣтніе дни мы его пили свободно стакановъ по двадцати. Башкирцы же не знаютъ ему мѣры; въ праздники Байрама они разъѣзжаютъ другъ къ другу въ гости, и цѣлые дни сидя и попивая кумысъ, доходятъ до того состоянія, что не могутъ сжать въ кулакъ отекшіе и раздувшіеся пальцы рукъ.

Кумысъ чрезвычайно питателенъ и, употребленный натощахъ или въ большомъ количествѣ, производитъ особенное, ему собственно свойственное опьяненіе: на васъ нападаетъ лѣнь необъятная, не хочется сдвинуться съ мѣста, тяжело протянуть руку; вы находитесь въ какой-то нѣгѣ и истомѣ, и васъ тихо клонитъ ко сну...

Понятно, что кумысъ, при большой питательности и вмѣстѣ съ тѣмъ легкости, съ которою онъ пьется и безъ обремененія можетъ быть употребляемъ въ огромномъ количествѣ, долженъ развивать силы, значительно укрѣплять весь организмъ и благотворно дѣйствовать на него. Въ этомъ я полагаю все достоинство и всю особенность кумыса; но не думаю, чтобъ онъ могъ спеціально дѣйствовать на ту или другую болѣзнь. Впрочемъ, это мое личное мнѣніе, а я профанъ въ медицинѣ, и весьма можетъ быть, что въ болѣзняхъ, въ которыхъ вообще съ успѣхомъ употребляется молочное леченіе, независимо отъ своего укрѣпляющаго свойства, кумысъ можетъ излечивать радикально. Говорятъ также, что для того, чтобъ кумысъ вполнѣ помогъ, надобно употреблять его два лѣта сряду. Справедливость этого замѣчанія я отчасти испыталъ на себѣ, потому что курсъ нынѣшняго лѣта помогъ мнѣ болѣе прошлогодняго, но я думаю, что это основано на совершенно-простомъ заключеніи, что хорошаго тѣмъ больше, тѣмъ лучше, и на этомъ основаніи три курса къ ряду, вѣроятно, будутъ еще полезнѣе двухъ.

Во всякомъ случаѣ, благотворное дѣйствіе кумыса не подлежитъ сомнѣнію, и крайне-жалко, что у насъ такъ мало обращено вниманія на это леченіе, которое составляетъ исключительную собственность Россіи. Такъ, напримѣръ, проѣздомъ въ Казани, я слышалъ слѣдующій случай:

Жена одного изъ тамошнихъ жителей, молодая дама, была долго больна и доктора присовѣтовали ей ѣхать въ Италію. Она исполнила ихъ совѣтъ,

провела въ Италіи годъ; но благотворный климатъ юга не помогъ ей; она сдѣлала консиліумъ, и мѣстные врачи единогласно рѣшили, что ей непремѣнно надобно отправиться на кумысъ... который можно найдти въ смежной съ ея родиной губерніи! Теперь эта дама ужь въ Россіи; и если не воспользовалась, то, конечно, съ весны воспользуется этимъ совѣтомъ.

Впрочемъ, независимо отъ того, что кумысъ еще недостаточно изслѣдованъ въ медицинскомъ отношеніи, нельзя винить и тѣхъ больныхъ, которые даже по совѣту врачей неохотно ѣдутъ имъ пользоваться, и если имъ предоставленъ выборъ между кумысомъ и какими-нибудь минеральными водами, или поѣздкой на югъ, то предпочитаютъ послѣднія. Если вамъ скажутъ: поѣзжайте въ Баденъ-Баденъ, или въ Эмсъ, вы и ѣдете или въ Баденъ-Баденъ, или въ Эмсъ; вы пріѣдете туда, наймете квартиру, пригласите доктора, и, въ большомъ обществѣ, среди удобствъ жизни и веселостей, исполняете предписаніе врача. Но вамъ скажутъ: «поѣзжайте на кумысъ». — «Куда, докторъ?» — «Въ оренбургскую губернію». — Но оренбургская губернія велика! Тамъ считается тысячами верстъ разстояніе отъ одного конца края до другаго; очень легко можетъ быть, что оренбургскій край вамъ совершенно неизвѣстенъ, что у васъ нѣтъ въ немъ никого знакомыхъ,—гдѣ же остановиться на этомъ пространномъ и разнообразномъ краѣ? гдѣ же раскинуть свою кочевую кибитку среди его необозримыхъ степей? у какого дикаго и рѣзваго табуна его головастыхъ кобылицъ взять цѣлебнаго молока? какой широколицой и смуглой башкиркѣ поручить его приготовить? Положимъ даже, что нехитро пріѣхать въ оренбургскую губернію, остановиться въ первой башкирской деревнѣ или у перваго кочевья, котораго, мимоходомъ сказать, вы не встрѣтите ни у одной большой дороги; но вы должны будете жить въ самомъ неудобномъ помѣщеніи, одни, среди народа, который часто не пойметъ вашего языка, безъ всякихъ средствъ къ удовлетворенію самыхъ необходимыхъ потребностей жизни и рѣшительно безъ совѣтовъ врача, который бы сказалъ вамъ, какъ надобно пользоваться кумысомъ. Впрочемъ, послѣднее обстоятельство, какъ оно съ перваго взгляда ни кажется важнымъ,—на мѣстѣ, если только состояніе здоровья больнаго, кромѣ кумыса, не требуетъ другихъ пособій, оказывается совершенно ненужнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ вамъ сказать докторъ, когда кумысное леченіе не приведено ни въ какую систему? Кумысомъ у насъ лечатся по какимъ-то преданіямъ, да по разспросамъ и примѣру башкирцевъ, пьющихъ его въ страшномъ количествѣ, но которымъ никогда не приходила въ бритую голову мысль лечиться имъ отъ чего бы то ни было. Спросите у зажиточнаго башкирца, который, впрочемъ, всегда вѣритъ въ благотворное вліяніе кумыса: какъ нужно лечиться его національнымъ напиткомъ? Онъ вамъ отвѣтитъ: «пей, бачка (батюшка), больше кумысъ, да ашай (ѣшь) больше баранину» (говядины же, кстати, вы тамъ и не найдете); другой, похитрѣе, пожалуй, вамъ скажетъ: «пей, бачка, одинъ кумысъ, и кромѣ его не пей и не ашай болѣе», что тоже, при питательности кумыса, весьма возможно — и вотъ вамъ вся діэта и всѣ правила кумыснаго леченія, и, кромѣ этого, могу васъ увѣрить, ничего не пропишетъ никакой докторъ, если только не прибавитъ стереотипную фразу: «хорошій моціонъ и спокойная жизнь!»

Такъ лечатся всѣ, лечащіеся кумысомъ; такъ лечились и мы. Но для тѣхъ, которые не могутъ находиться въ одинаково-благопріятныхъ съ нами условіяхъ касательно помѣщенія, я долженъ прибавить, что одинъ изъ богатыхъ оренбургскихъ помѣщиковъ, г. Тевкелевъ, которому пространныя и превосходныя степи, огромные косяки (табуны) лошадей и его татары-крестьяне даютъ всю возможность приготовлять отличный и въ большомъ количествѣ кумысъ, завелъ у себя въ имѣніи кумысное леченіе, гдѣ, за извѣстную плату, можно имѣть помѣщеніе, продовольствіе, кумысъ и совѣты доктора. Объ этомъ истинно-благодѣтельномъ и давно-необходимомъ заведеніи было имъ объявлено въ Оренбургскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ; но это объявленіе, непомѣщенное и неперепечатанное, сколько мнѣ помнится, въ другихъ газетахъ, извѣстно, кажется, очень немногимъ. Чтобъ покончить этотъ для многихъ малоинтересный и сухой трактатъ о кумысѣ, я долженъ прибавить, что лучшее время для леченія, разумѣется, весна, когда табуны тощихъ и иногда всю зиму бродящихъ на *подножномъ* корму (на тебеневкѣ) башкирскихъ или киргизскихъ лошадей начнутъ питаться свѣжей, разнообразной и сочной травой душистыхъ степей, и начало лѣта, когда эти степи покроются сплошнымъ и густымъ ковромъ тысячи полевыхъ цвѣтовъ. По мѣрѣ того, какъ травы, спаленныя жгучимъ солнцемъ, осѣменяются и увядаютъ, кумысъ становится менѣе вкусенъ и, вѣроятно, менѣе полезенъ; онъ самъ по себѣ начнетъ вамъ наскучать; наступаетъ жаркая страда, въ иной день ранняя осень мелкимъ и безпрерывнымъ дождемъ проглянетъ сквозь задернутое сплошными сизыми тучами небо, деревенская жизнь вамъ покажется крайне-однообразной, васъ потянетъ въ другой край, въ другой удобный, стоящій въ кипучей средѣ общественной жизни домъ. Чтожь? поѣзжайте: вашъ курсъ леченія конченъ, и дай вамъ Богъ надолго увезти съ собой новый запасъ силъ и здоровья... Впрочемъ, кумысъ можно доставать до поздней осени, а иные очень-зажиточные башкиры имѣютъ его, уже какъ роскошь и лакомство, даже въ теченіе всей зимы.

Теперь мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о томъ уголкѣ оренбургскаго края, который преимущественно богатъ кумысомъ и въ которомъ мы пріютились на лѣто. Я говорю о Башкиріи.

Если, проѣхавъ Бугульму и оставя верстахъ въ

полутораста въ сторонѣ знаменитыя Сѣрныя воды, вы своротите вправо съ большой дороги и пуститесь прямо на уѣздный городъ Белебей, а оттуда по такъ-называемому коммерческому тракту въ Стерлитамакъ, то мѣстами вы ужь будете встрѣчать башкирскія деревни или, лучше сказать, пустыя избы, покинутыя жителями, и странное произведутъ онѣ на васъ впечатлѣніе... Вы въѣзжаете въ отворенныя и большею частью сломанныя ворота околицы, и на васъ, вмѣсто ожидаемыхъ говора и жизни, вдругъ какъ-будто дохнетъ и повѣетъ пустыней. Скривленныя избёнки стоятъ уныло, и тупо глядятъ окнами, въ которыхъ, вмѣсто стеколъ, вставленъ закопченный и гремящій отъ вѣтра пузырь *). На дворахъ ни телѣги, ни животнаго; даже ниодна голодная собака, которыхъ всегда такъ много въ башкирскихъ деревняхъ, даже ниодна собака, прыгая передъ лошадьми съ лаемъ, не встрѣтитъ и не проводитъ васъ: все —точно вымерло... Зато иногда ночью, среди огромной, пустынно и гладко межь горъ растянувшейся степи, въ то время, когда сквозь сонную дрему вашъ глазъ ужь привыкнетъ ничего не видѣть, кромѣ темносиняго неба съ высоко и слабо-мерцающими звѣздами и темной и низкой полосы земли, которая вся слилась въ одну густую массу, вдругъ въ сторонѣ блеснутъ огоньки; какъ низкіе стога или копны, выдѣлятся изъ ночной темноты кибитки, вы подъѣзжаете ближе, и десятки собакъ яростно отвѣтятъ на звонокъ вашего колокольчика. Ярко-освѣщенный, съ красноватымъ отблескомъ огня на смугломъ и почти нагомъ тѣлѣ, промелькнетъ мимо васъ башкиренокъ, вскочившій съ земли и провожающій васъ бойкими любопытными глазами; сквозь открытый край войлока вы увидите иногда во внутренности кибитки котелокъ, повѣшенный на деревянный крюкъ или сучокъ, надъ слабо-тлѣющими угольями и возлѣ него безпечно-лежащаго башкирца или присѣвшую на корточкахъ жену его; рядомъ съ кибитками, въ загороди изъ кольевъ, вы едва разсмотрите силуэты неподвижно стоящихъ кобылицъ, и только какая-нибудь морда жеребенка высунется изъ-за нея и освѣтится отблескомъ огня, какъ будто нарочно для того, чтобъ съ тоской и молчаливой жалобой показать деревянную рогульку, недозволяющую этой мордочкѣ прикасаться къ материнскимъ сосцамъ...

И тутъ уже, говорю я, на этомъ пустомъ и малопроѣзжемъ трактѣ встрѣчаете вы башкирцевъ и ихъ кочевки; но мы еще глубже вдвинемся въ край и, проѣхавъ снова нѣсколько русскихъ деревень, выѣдемъ за Стерлитамакъ.

Этотъ маленькій уѣздный городокъ, стоящій на ровномъ мѣстѣ, надъ рѣкою Стерлею, которая, впрочемъ, получила свое названіе не отъ стерлядей, потому-что ихъ въ ней не водится, нравится мнѣ только по одному обстоятельству: съ какой точки внутри этого города вы ни взглянете вокругъ себя, вы не увидите самого города; или если вы и увидите нѣсколько коротенькихъ улицъ и маленькихъ домовъ, то они сейчасъ исчезнутъ передъ широкою панорамою холмовъ, луговъ и горъ, которые раскинулись вокругъ него, и весь маленькій городокъ какъ-будто сожмется у вашихъ ногъ, чтобъ не заслонить окрестныхъ видовъ. Одна сторона этихъ видовъ, очень живописная, непремѣнно обратитъ на себя ваше вниманіе. Взгляните на востокъ: однѣ ближе, другія дальше, на голубомъ и къ низу желтоватомъ небосклонѣ, ясно вырисуются передъ вами нѣсколько одиноко-стоящихъ известковыхъ горъ. Странное и какое-то неясное, но глубокое впечатлѣніе производятъ онѣ. По ихъ бѣлымъ и скалистымъ обрывамъ, по ихъ общему родственному тону и освѣщенію, вы сейчасъ видите, что это дѣти одной семьи, но семьи разрозненной и разметанной. Богъ-вѣсть, когда и какая сила разметала ихъ, но стоятъ онѣ съ тѣхъ поръ одна въ виду другой, одинокими и суровыми массами; стоитъ каждая, высоко рисуясь своеобразнымъ очеркомъ, надъ лѣсомъ, изгибами и оврагами, и сторожитъ рѣку. Рѣка эта—Бѣлая... Вытекая изъ Уральскихъ горъ, она вплоть до Уфы не имѣетъ постояннаго нагорнаго берега, и только около Стерлитамака пять уединенныхъ горъ стерегутъ ея правый берегъ. Но наскучили ей и эти безмолвные и холодные стражи. Подмывая одну или двѣ изъ горъ, она далеко откинула отъ другихъ прихотливый побѣгъ и оставила ихъ однихъ, голыхъ, хмурыхъ и мрачныхъ, одиноко выситься надъ богатыми растительностью долинами.

Я невольно и, можетъ-быть, слишкомъ долго остановился надъ описаніемъ этихъ горъ. Двѣ изъ нихъ, одна длинная, съ изгибомъ посрединѣ, другая круглая и острая, называемая Юрак-Тау (Сердце-Гора), потому-что ея профиль похожъ на очеркъ сердца, первыя привѣтно встрѣчаютъ меня на порогѣ къ дому. Рано утромъ, или поздно вечеромъ, сидя у окна моего деревенскаго дома, я любилъ смотрѣть, какъ иногда облако задѣнетъ и станетъ у ихъ вершины; какъ иногда сильный туманъ совсѣмъ закроетъ ихъ, какъ будто и не было никогда этихъ горъ, или когда словно затопятся и задымятся онѣ выходящимъ изъ каменныхъ ущелій паромъ и, глядя на нихъ, крестьянинъ скажетъ вамъ: «горы затопились—ненастью быть»; и будетъ непремѣнно ненастье. Переправясь черезъ Бѣлую и проѣхавъ между этихъ горъ, десятка полтора верстъ, вы въѣзжаете въ Башкирію. Здѣсь, на землѣ, окруженной съ трехъ сторонъ башкирскими селеніями, и когда-то также купленной у башкирцевъ, мы остановились: здѣсь мы пили кумысъ.

Хотя мы были и достаточно худы, и достаточно блѣдны, чтобъ возбуждать участіе, но изъ уваженія къ дѣйствительности, я долженъ сознаться, что,

(*) Пузырь или требухъ—высушенная плева желудка, которая облекаетъ внутренность животнаго, коровы или лошади. Она пропускаетъ сквозь себя слабый свѣтъ, и потому у бѣдныхъ башкирцевъ часто замѣняетъ стекло.

Луною чуть озарена,
Съ улыбкой жалости отрадной
Колѣна преклонивъ...

никакая *она* къ нашимъ устамъ кумысъ прохладный не подносила тихою рукой, а приготовлялся онъ для насъ у одного довольно-зажиточнаго башкирца, за урядъ хорунжаго, по имени Галіагбера, а попросту Калекбарки, къ которому мы посылали за кумысомъ каждый день верстъ за шесть и съ которымъ довольно часто ссорились, потому-что онъ къ цѣлебной влагѣ подбавлялъ слишкомъ-много воды, непользовавшейся особенно-цѣлебной репутаціей.

Башкирцы вообще народъ здоровый, умный, хитрый и въ высшей степени лѣнивый и праздный. Работаютъ они только тогда, когда имъ ѣсть нечего; хлѣба сѣютъ мало, и то по распоряженію правительства, которое пріучаетъ ихъ къ хлѣбопашеству. Сѣнокосъ у нихъ начинается поздней осенью, когда русскій мужикъ принимается уже за жнитво ржи. Зато надъ этой лѣнью башкирца и любитъ подтрунить русскій мужикъ: «Ишь, башкирская собака», говоритъ онъ (нашъ мужикъ коли не зоветъ мусульманина хазретомъ, то-есть пріятелемъ, такъ непремѣнно величаетъ собакой): «ишь, собака, когда косить вздумалъ: у него Ильинъ-то день на Воздвиженье пришелъ!» (*).

— Эка, братецъ ты мой! возражаетъ другой:— за то сѣна сушить не надо: трава-то давно на корню высохла.

— Абдулка, наймись у меня хлѣбъ жать, али нельзя: бока отлежалъ? говоритъ третій.

Башкирецъ слушаетъ молча и утѣшаетъ себя мыслью, что, въ случаѣ нужды, онъ этихъ же подтрунивающихъ надъ нимъ мужиковъ, какъ говорится, проведетъ и выведетъ.

Башкирскія деревни, лежащія въ лѣсистыхъ мѣстахъ и поближе къ городамъ и русскимъ селеніямъ, къ *Расеи*, какъ выражаются тамошніе крестьяне, довольно-порядочны и даже нѣкоторыя, какъ говорятъ башкиры, *плантамъ строилъ*, то-есть, по распоряженію начальства, строятся по плану. Жители этихъ деревень въ кочевку не ходятъ, сѣютъ немного хлѣба, и косятъ сѣно, работаютъ иногда лѣтомъ въ наймѣ у русскихъ крестьянъ, а зимой возятъ руду на заводы. Зато другія, *въ горахъ* деревни, построены изъ лачужекъ, которыя будто высыпаны сверху изъ большаго мѣшка на землю, и какъ, и куда какая упала, такъ и стоитъ въ томъ мѣстѣ и положеніи. А бываютъ еще и не такія деревни.

Одинъ мой знакомый посланъ былъ на слѣдствіе въ дальнюю башкирскую деревню, отстоящую отъ Оренбурга верстъ, этакъ, за шестьсотъ. Это было зимою. Ѣхалъ мой знакомый сначала по двадцати верстъ въ часъ, потомъ по двадцати верстъ въ день, потому что дорога становилась хуже-и-хуже, и доѣхалъ онъ до такихъ деревень, къ которымъ вовсе не было никакой дороги, а ѣздили иногда башкирцы верхомъ по тропѣ, заносимой снѣгомъ. Для того, чтобъ провести его повозку, выходили цѣлыя деревни, прокладывали и уминали дорогу и, напутавъ гусемъ десятокъ лошадей, тащили ее коекакъ; наконецъ, въ одно прекрасное утро, лошади остановились и провожатые башкирцы торжественно сказали: «пріѣхали». Знакомый мой выскочилъ изъ повозки и крайне удивился, увидавъ себя среди голой, занесенной снѣгомъ степи.

— Да гдѣ жь деревня такая-то? спросилъ онъ.

— А здѣсь деревня, бачка, отвѣчали башкирцы.

— Да гдѣ жь она?

— А вотъ! отвѣчалъ провожатый.

И увидалъ мой знакомый шалашъ изъ прутьевъ, занесенный снѣгомъ, съ отверстіемъ для дыма вверху и съ лазейкой, въ которую можно было влѣзть только ползкомъ.

— Да въ деревнѣ значится сорокъ юртъ (избъ), гдѣ же остальныя?

— А вотъ другія, отвѣчалъ башкирецъ, уткнувъ пальцемъ въ воздухъ.

Тогда, на разстояніи версты или двухъ, увидалъ мой знакомый другой подобный шалашъ, а за нимъ, на такомъ же разстояніи, третій, и узналъ онъ, что вся такъ-называемая деревня раскинута верстъ слишкомъ на десять. Знакомый мой долженъ былъ прожить въ этой деревнѣ съ недѣлю, писалъ дѣловыя бумаги лежа у огня на брюхѣ и, въ буквальномъ смыслѣ слова, едва не умеръ съ голоду, потому-что съѣлъ свой запасъ хлѣба, а хлѣба достать было невозможно.... Многимъ можетъ показаться это страннымъ, а между-тѣмъ совершенно справедливо, что нѣкоторые кочевые народы, какъ, напримѣръ, киргизы и часть башкирцевъ, слишкомъ далеко углубившіеся въ самую малонаселенную часть края, живутъ иногда безъ хлѣба. Да и гдѣ имъ взять муки? въ чемъ испечь ее? Вскипятитъ себѣ башкирецъ воды въ котелкѣ, броситъ туда горсть пшена, заправитъ варево крутомъ (*) — и *юра* готова. Вообще надобно замѣтить, что этотъ народъ можетъ ограничиваться въ пищѣ удивительно-малымъ. Къ веснѣ, и онъ, и его стада, стоявшія часто на подножиомъ кормѣ, отощаютъ до послѣдней возможности, зато наступитъ весна, появятся травы и кумысъ,—и какъ скоро они поправятся! Впрочемъ, все это я говорю о самой отдаленной и глухой части Башкиріи; другіе живутъ гораздо лучше, работаютъ, промышляютъ и между ними есть даже очень зажиточные.

Разъ я разговорился съ однимъ моимъ знакомымъ о житьѣ башкирцевъ.

— Азіатецъ, какъ есть азіатецъ! замѣтилъ онъ: —все роскошь азіатская, нѣга восточная!

(*) Воздвиженье Честнаго Креста 14 сентября; св. пророка Ильи 20 іюля; около этого дня начинается сѣнокосъ.

(*) Сыръ, приготовленный изъ коровьяго, козьяго или иногда овечьяго молока. Онъ имѣетъ форму небольшой круглой булки, и для того, чтобъ непортился, сушится и коптится. Онъ очень жестокъ, чрезвычайно солонъ, киселъ и остеръ на вкусъ.

— Помилуйте, какая тутъ нѣга и роскошь, когда иному ѣсть нечего!

— А отчего? Отъ лѣни, отъ нѣги восточной. Затѣмъ правительство и обязываетъ ихъ хлѣбопашествомъ заниматься. Нашъ мужикъ съ самой весны дня безъ работы не живетъ: то паръ паритъ, то пашетъ, то сѣетъ, то сѣно да хлѣбъ убираетъ, а башкирецъ знай-себѣ лежитъ, да кумысъ потягиваетъ, ажно лопнуть хочетъ, или запряжетъ телѣгу, посадитъ всю семью отъ мала до велика и ѣдетъ въ гости на нѣсколько дней! Нашъ-то мужикъ и зимой только ночью на печкѣ погрѣется, да на котомкѣ спитъ, а онъ-себѣ шувалъ (*) затопитъ, да и сидитъ передъ нимъ, поджавъ ноги; кусать ему нечего, а перина да подушка ужь непремѣнно есть, да самъ съ себя и сапогъ не скинетъ, а жену заставитъ—какъ же это не роскошь, не нѣга азіатская?

Зато надобно видѣть башкирца, когда, вынужденный необходимостью, онъ принимается за работу. Что за проворный, ловкій, сметливый народъ! Разъ я рыбачилъ на Бѣлой; сидѣлъ я въ кустахъ и терпѣливо ожидалъ, не вздумается ли какому-нибудь окуню, или жадной щукѣ, попробовать учтиво-предложенной мною на кончикѣ заостреннаго крючка пищи. Вдругъ невдалекѣ по берегу слышу стукъ телѣгъ, говоръ, топотъ и страшный шумъ въ водѣ. Тутъ ужь было не до рыбаченья; я вышелъ изъ кустовъ и увидалъ странную картину: башкирцы подводахъ на сто, собрались ѣхать за рудою, и чтобъ неплатить денегъ на сосѣднихъ перевозахъ, рѣшились ѣхать вплавь; а рѣка въ этомъ мѣстѣ саженъ въ пятьдесятъ шириною, и хотя въ мелководье бываетъ тутъ бродъ, но въ настоящее время вода была далеко выше малорослыхъ башкирскихъ лошаденокъ. Сначала башкирцы потолковали, потомъ бросились къ подводамъ и началась преоригинальная переправа. Лишнихъ лошадей отпрягали и съ шумомъ и гикомъ вогнали въ воду; на которыхъ посѣли верхами и перегнали на другую сторону; легонькія телѣжонки съ неокованными колесами привязывали къ лошадиному хвосту, сами бросались и плыли вмѣстѣ съ лошадьми и телѣгами; Богъ вѣсть, откуда появилось у нихъ нѣсколько лодчонокъ, такихъ лодчонокъ, которыя легче нести на себѣ, нежели ихъ заставить нести себя по рѣкѣ, и на каждыя двѣ такія лодки, ничѣмъ несвязанныя, парою колесъ въ одну и парою въ другую, становили повозки, что погрузнѣе, и, гребя чѣмъ-то въ родѣ лопатъ, стоя на ногахъ въ кормѣ, переплывали рѣку, разгружались и тотчасъ же возвращались; непрерывный шумъ, говоръ, плескъ воды и сумятоха впродолженіе двухъ или трехъ часовъ — и всѣ переправились. Однакожь пару лошадей утопили.

Разговорившись о башкирцахъ, мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ и о ихъ прекрасномъ полѣ. Вообще, этотъ прекрасный полъ не очень красивъ: онъ страшно бѣлится, румянится, сурмитъ себѣ брови и рѣсницы, и краситъ ногти; но типъ его лица, похожій на татарскій, довольно правиленъ, мягокъ въ очертаніяхъ, и мнѣ случалось видѣть нѣсколько башкирокъ вовсе недурныхъ собою. Запросто онѣ ходятъ въ длинныхъ синихъ рубахахъ, совершенно закрывающихъ ихъ шальвары и отороченныхъ на груди красненькой тесьмою; дѣвушка заплетаетъ двѣ косы; у замужнихъ одна, и непремѣнно повязана платкомъ, котораго одна длинная сторона спускается назади. Этимъ платкомъ онѣ, при встрѣчѣ съ незнакомымъ, иногда прикрываютъ лицо, но большею частью употребляютъ на это широкіе рукава своей рубахи. Впрочемъ, обычай закрывать лицо, когда это лицо несовсѣмъ дурно, плохо соблюдается, особенно внѣ глазъ соотчичей, которые могли бы найдти подобную нескромность предосудительною; вообще же онѣ не очень застѣнчивы, и одна, моя давнишняя знакомка, нынче, при встрѣчѣ со мною, подала мнѣ руку такъ развязно, какъ бы это сдѣлала истая свѣтская англоманка, съ тою только разницей, что башкирки, по азіатскому обычаю, подаютъ, здороваясь, не одну, а обѣ руки.

Незадолго до нашего отъѣзда, мнѣ случилось видѣть въ гостяхъ зажиточную молоденькую башкирку съ двумя падчерицами. Одна изъ падчерицъ была дѣвушка, другая, какъ бы вамъ сказать, замужняя дѣвица, или, правильнѣе, незамужняя женщина. Для тѣхъ, кому покажется страннымъ подобное положеніе, считаю нужнымъ сказать, что башкирцы, сосватавъ невѣсту и условясь въ калымѣ, ѣздятъ къ ней въ домъ на правахъ мужа, но не берутъ ее къ себѣ до тѣхъ поръ, пока не выплатятъ всего калыма: въ этомъ неопредѣленномъ состояніи была и вышеупомянутая башкирка. Всѣ три онѣ были одѣты очень нарядно; шелковые бешметы (родъ казакина) сверхъ рубахъ, нагрудники, вышитые шелкомъ и золотомъ и унизанные монетами, а на головахъ колпаки — обыкновенные бумажные спальные колпаки съ кисточкой, заломленные на бокъ; у одной только колпакъ былъ прикрытъ бархатной шапочкой. Но меня поразили на ихъ страшно набѣленныхъ и нарумяненныхъ лицахъ какія-то блестки: это были налѣпленныя мушки изъ сусальнаго золота! Главная принадлежность наряда всякой порядочной башкирки — монеты, вплетенныя въ косу и нашитыя на грудь: какъ бы бѣдна башкирка ни была, у нея все есть хоть нѣсколько просверленныхъ старыхъ пятачковъ, которые звенятъ при ея движеніяхъ. Впрочемъ, я нахожу этотъ обычай довольно удобнымъ. Разъ, напримѣръ, при мнѣ одному башкирцу понадобился полтинникъ. Денегъ съ нимъ не было, но съ нимъ была жена; онъ поговорилъ съ ней что-то по-своему, *пожалякалъ*, какъ выражаются наши крестьяне, а вслѣдствіе этого каляканья отрѣзалъ съ нагрудника жены требуемую монету и пустилъ ее въ оборотъ.

(*) *Родъ камина, весьма употребительный у башкирцевъ.*

Но я слишкомъ долго, кажется, остановился на подробностяхъ того уголка края, въ которомъ мы провели нѣсколько мѣсяцевъ, подробностяхъ живыхъ, любопытныхъ и разнообразныхъ, когда онѣ бросаются въ глаза въ дѣйствительности, сухихъ и, можетъ быть, мало интересныхъ на бумагѣ. Я не буду говорить вамъ о той природѣ Башкиріи, полудикой и еще полудѣвственной, которая вмѣстѣ съ кумысомъ благотворно лелѣетъ здоровье, о ея темныхъ лѣсахъ, черной, какъ смоль, отъ тучнаго чернозема, пашнѣ, душистыхъ и цвѣтущихъ степяхъ ея пастбищъ и о другихъ степяхъ, голыхъ, безплодныхъ и унылыхъ, по которымъ случилось мнѣ нынче проѣхать за Ураломъ; еще менѣе я буду говорить о тихихъ, ровныхъ и спокойныхъ дняхъ беззаботной деревенской жизни, разнообразной той или другой охотой, рыболовствомъ или поѣздками по окрестностямъ: все удовольствіяхъ чисто деревенскихъ, незатѣйливыхъ, но скрашиваемыхъ одной чудной красотою, ничѣмъ незаслоненной отъ глазъ природой. Вліяніе такой жизни на человѣка, ей не чуждаго, стоитъ, по моему мнѣнію, и для здоровья, не менѣе всякаго леченія. Но она хороша только для себя, и описывать ее здѣсь не мѣсто и у меня не было въ намѣреніи; даже какъ-то грустно и досадно вспоминать о ней, когда вступишь въ другую заботливую жизнь, когда петербургская осень дождемъ, пронзительнымъ вѣтромъ и снѣгомъ бьетъ въ двойныя рамы, а климатъ сѣверной Пальмиры, этотъ вѣрный и обязательный другъ нашихъ фельетонистовъ, которымъ онъ доставляетъ неисчерпаемый источникъ разговора, посматриваетъ на тебя, какъ будто хочетъ спросить, «а что, братъ, много ты тамъ, на кумысѣ-то здоровья набрался?» и дѣлаетъ этотъ вопросъ съ явнымъ намѣреніемъ добраться до твоего здоровья и удостовѣриться лично въ его прочности...

Для людей, требующихъ во всемъ обстоятельности, замѣчу, что спутники мои пробыли на кумысѣ полтора мѣсяца, я—вдвое болѣе: всѣмъ намъ онъ помогъ болѣе или менѣе. Затѣмъ напоминаю моимъ читателямъ, что я имъ не обѣщалъ разсказывать небывалыя приключенія какого нибудь героя, или говорить о вещахъ и бывалыхъ, но лично до меня касающихся: я хотѣлъ только описать поѣздку на кумысъ такъ, какъ она была—и сдержалъ свое обѣщаніе.

ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

ПОВѢСТЬ.

Порядочный человѣкъ по-французски «un homme comme il faut».

(Изъ фѣльетона Ѳ. Б.)

Да онъ подлецъ, коль онъ честный человѣкъ».

Гоголь.

I.

Въ исходѣ мая тысяча восемьсотъ нѣкотораго, и даже очень-недавняго года, довольно высокая, хоть и не старая коляска, съ почтовымъ четверикомъ въ дышлѣ, мирно стояла на дорогѣ. Но много нынче дорогъ большихъ и малыхъ, почтовыхъ и коммерческихъ, шоссированныхъ и желѣзныхъ—словомъ, проложенныхъ болѣе или менѣе искусною рукою человѣка, или просто кованнымъ колесомъ, по волѣ невзнузданной лошади, пестрятъ и нашу дорожную карту. Есть и такія, которыя и не пестрятъ ея, но тѣмъ не менѣе существуютъ. На какой же мы дорогѣ?

Посмотрите назадъ.

Солнце стоитъ высоко и прямо, жгучими лучами бьетъ въ голую пыльную гору. По подошвѣ горы, на крутыхъ и ровныхъ скатахъ, грудно стоитъ большой и своеобразный городъ. Дома всѣ каменные, всѣ съ балконами и галереями, многіе съ плоскими крышами, то тѣснятся узкими переулками, по которымъ едва можно проѣхать, то разбѣгаются широкими улицами и площадями, и тогда уже принимаютъ европейскій характеръ. На вершинѣ горы стоятъ угрюмо развалины какой-то старинной крѣпости, или замка съ башнями, такого же пыльнаго, желтоватаго цвѣта, и безжизненно смотрятъ на разстилающійся у подножія городъ: и ихъ безпощадно жжетъ солнце. Внизу, перерѣзывая городъ, и проходя подъ самыми домами, съ нависшими надъ нею балконами, шумно и бѣшено катится рѣка. На противоположномъ берегу опять гора, но пониже; по ней тоже грудно тѣснятся плоскокрышіе и много-балконные домики, но мельче и грудне. На улицахъ почти пусто; изрѣдка женщина, въ черномъ платьѣ и бѣлой чадрѣ, лѣниво проходитъ по отѣненной сторонѣ домовъ; проскачетъ

парный извощикъ; оборванный, но красивый, смуглый имеретинъ-тулукчи (водовозъ) плетется въ гору за сѣрой лошадью, навьюченной кожаными мѣхами съ водой; на базарахъ, въ открытыхъ лавкахъ лѣниво работаютъ, пекутъ, варятъ, куютъ и дремлютъ армяне и грузины. И на всемъ городѣ, улицахъ, горѣ и какъ глазъ окинетъ окружной мѣстности лежитъ какой-то знойный, желто-пыльный цвѣтъ; точно все выжжено жаркимъ солнцемъ, точно все гнется, тоскуетъ, замираетъ подъ его жгучими лучами.

Узнаете вы этотъ городъ? Если нѣтъ, я могу сказать вамъ, что это Тифлисъ. Не таковъ онъ въ тихій осенній вечеръ, весь покрытый прозрачной синевой и отливами зари, съ женщинами на балконахъ и кровляхъ, съ садами, переплетенными созрѣвшимъ виноградомъ, съ пронзительными звуками зурны и пѣснью сазандара, долетающими издали, живой, страстный, полный прелести и нѣги. Не таковъ онъ ночью, когда съ голубаго, съ чуть-видными и едва-мерцающими звѣздами неба, полный мѣсяцъ словно льетъ на него желтоватый дребезжащій свѣтъ, а онъ стоитъ, тихо и таинственно покоясь; балконы и террасы его то выступаютъ на свѣтъ, то уходятъ въ заманчивую глубь, и только сердитая Кура и сѣрные ключи шумятъ по каменистымъ ложамъ, и вамъ кажется, что вы обстановлены какой-то чудной декораціей, что на всѣхъ этихъ балкончикахъ, крышахъ, террасахъ происходятъ какіе-то таинственные романы, слышится страстный, сдержанный шопотъ, и вы ждете, что вотъ-вотъ выступятъ изъ тѣни, въ своихъ живописныхъ національныхъ костюмахъ, дѣйствующія лица и начнется чудная музыкальная драма.

Но до того Тифлиса намъ нѣтъ дѣла. Въ исходѣ мая въ Тифлисѣ жарко, душно. Всѣ, кто могутъ, уѣзжаютъ изъ него въ деревни, на дачи, на воды; потому и мы отправимся изъ него по большой дорогѣ къ Ставрополю, или, какъ тамъ говорятъ, въ Россію.

Не очень далеко отъ городской заставы, когда рѣже-и-рѣже, точно отставая одно отъ другаго, попадаются строенія, почти послѣднимъ одиноко стоитъ каменный домикъ, съ лицевой стороны весь покрытый навѣсомъ. Подъ навѣсомъ видны прилавокъ, стѣна, покрытая изображеніями какихъ-то зеленыхъ лошадей и всадниковъ, и дверь. Это одинъ изъ многихъ духановъ, не то трактиръ, лавка или кабачокъ, которые часто встрѣчаются по дорогѣ. Но здѣсь обыкновенно прощаются уѣзжающіе изъ Тифлиса, и духанъ этотъ носитъ грустное и поэтическое, какъ и все въ томъ чудномъ краѣ, названіе *Духана Слезъ*.

Возлѣ этого духана стояла знакомая намъ коляска. Костлявыя лошади, понуривъ головы и разставивъ переднія ноги во вторую позицію, какъ обыкновенно стоятъ разбитыя лошади и ученики въ танцклассѣ, были погружены въ безвыходную апатію. Русскій ямщикъ, избоченясь на козлахъ, *почти* лежалъ и, для развлеченія, легонько похлестывалъ кончикомъ кнута иногда по воздуху, иногда по лошади. У самаго Духана Слезъ, подъ навѣсомъ стояла группа людей, совершенно-негармонирующихъ съ его печальнымъ названіемъ.

Большею частью это были молодые люди, статскіе и военные, иные въ черкескахъ, а иные въ сюртукахъ съ аксельбантами. Всѣ они окружали одного господина и группировались около него. Господинъ этотъ былъ средняго роста, плотенъ и даже немного тученъ, въ военномъ сюртукѣ, но безъ эполетъ. Лѣтъ ему было поменьше пятидесяти, но далеко за сорокъ; изъ-подъ нависшей черной папахи выглядывали черные волосы и красное лицо. Лицо было не казисто, но, что́ называется, и непротивно, обыкновенное, простое лицо грубой отдѣлки; года́ и жизненныя тревоги сильно помяли его; загаръ положилъ на него сплошную красную краску. Отъ загара же, полагать надобно, а можетъ, и съ помощью кахетинскаго, носъ принялъ болѣе-густой оттѣнокъ.

Около группы суетились духанщикъ-армянинъ, черный—съ большимъ, какъ водится, носомъ, на кончикѣ не то мхомъ, не то волосами; русскій лакей, въ жакеткѣ, плотный, нѣсколько-мрачный, но проворно-дѣлавшій свое дѣло, и высокій дѣтина въ казакинѣ, малороссъ, рябой, нелѣпый и непробудно-глупый, не то деньщикъ, не то сторожъ, съ рукой, на ладони которой аккуратный нѣмецъ могъ бы завести образцовую ферму. Можно было почти безошибочно сказать, что его звали Иваномъ.

Иванъ носилъ подносъ со стаканами; другой человѣкъ и духанщикъ наливалъ шампанское.

— Ну, господа, сказалъ пожилой господинъ:— отъѣзжающимъ *на воды* надобно пожелать многіе *годы*.

— Ха, ха, ха! Князь вѣчно съ экспромтомъ, говорила, смѣясь, молодежь; а одинъ жиденькій господинъ, заискивающаго свойства, нѣжно обѣими руками потрепавъ князя за бока, поспѣшно схватилъ бокалъ и началъ съ нимъ цѣловаться.

Всѣ начали чокаться и обращались съ своими стаканами къ князю и другому молодому человѣку, который стоялъ противъ него, прислонясь спиной къ прилавку.

Молодой человѣкъ былъ довольно высокаго роста, хорошо сложенъ, бѣлокуръ и, судя по его продолговатому, но не худому и здороваго, даже излишне-нѣжнаго цвѣта лицу, не имѣлъ особенной нужды въ цѣлебныхъ водахъ. Лицо его, съ голубыми глазами, было нѣсколько-безжизненно и холодно, но правильно и красиво. Одѣтъ былъ онъ по дорожному, въ коротенькой жакеткѣ, съ желтой англійской сумкой черезъ плечо, въ бѣловатой лѣтней фуражкѣ. Судя по его платью, бѣлью и перчаткамъ, онъ былъ повидимому порядочно-воспитанный человѣкъ, и молодые люди, обращаясь къ нему, принимали, какъ съ полузнакомымъ, особенно-вѣжливыя позы, а иные почему-то считали обязанностью говорить не иначе, какъ на французскомъ діалектѣ.

— Князь, смотрите же, привезите къ намъ сюда М-г Чолокова, сказалъ одинъ господинъ въ статскомъ сюртукѣ.

— Непремѣнно, непремѣнно, подхватили другіе.

— Мнѣ такъ нравится здѣшній край и здѣшнее общество, господа, сказалъ молодой человѣкъ, котораго называли Чолоковымъ: — что я почти-навѣрное могу обѣщать вамъ воротиться сюда.

— И отлично! подхватилъ хоръ, допивая свои стаканы.

— Ужь я его привезу — будьте покойны, сказалъ князь легкимъ басомъ:—отъ меня не отвертится. Ну, а теперь намъ *прійдется* пожелать здоровья тѣмъ, кто *остается*, прибавилъ онъ, съ особенно-серьёзнымъ видомъ, обращаясь къ Чолокову.

Опять всѣ засмѣялись. Вино было налито и снова начали чокаться.

Въ это время изъ-за поворота дороги показался запыленный тарантасъ и приближался къ духану. Пятерикъ потныхъ и усталыхъ лошадей, лѣнивой рысью, медленно волочилъ его къ городу. Разумѣется, на него обратилось вниманіе молодежи.

— Кто это? спросилъ, прищуриваясь, господинъ съ аксельбантомъ, такимъ тономъ, какъ-будто онъ былъ крайне удивленъ, что кто-нибудь изъ неизвѣстныхъ ему лицъ можетъ ѣхать мимо.

— Кажется, дама сидитъ, замѣтилъ молодой человѣкъ въ сюртучкѣ.

— Да еще и хорошенькая! прибавилъ другой, въ черкескѣ, брюнетъ, съ большимъ носомъ, черными, какъ смоль, волосами—непремѣнно грузинъ.

— Ну, ужь у тебя и глаза разгорѣлись! У тебя все хорошенькая, возразилъ тоненькій господинъ заискивающаго свойства.

— А вотъ увидишь, что хорошенькая, отвѣчалъ грузинъ.

— Да что тутъ спорить: остановимъ ихъ! сказалъ князь.

— Остановить, разумѣется, остановить! закричали всѣ. — Эй, вина, духанщикъ, и еще стакановъ! Стой! стой! кричала толпа, приближаясь къ тарантасу.

У духана оставался только Чолоковъ и господинъ съ аксельбантомъ. На лицѣ перваго легла маленькая презрительная усмѣшка, которая хотѣла, кажется, сказать: «А! ужь подкутили молодцы и начали проказничать!» Онъ глядѣлъ на толпу и думалъ: «выпить можно, но терять благоразуміе и забываться—неприлично порядочнымъ людямъ.»

Господинъ съ аксельбантомъ, кажется, понялъ мысль его и сказалъ:

— Васъ это удивляетъ? Надобно вамъ объяснить, что у грузинъ есть обычай останавливать проѣзжающихъ, которые встрѣчаются во время проводъ, и просить ихъ пожелать добраго пути отъѣзжающему. По ихъ мнѣнію, это приноситъ счастіе, и отказать имъ, значитъ обидѣть.

Сказавъ это, господинъ съ аксельбантомъ привалился спиной къ духану и посмотрѣлъ съ такимъ видомъ, который говорилъ: «видите, это извинительно; но я нахожу это неприличнымъ.» Однакожъ Чолоковъ былъ другаго мнѣнія: въ его глазахъ происшествіе приняло занимательность мѣстнаго колорита, и онъ тотчасъ же нашелъ его прекраснымъ и любопытнымъ.

— А, я не зналъ! въ такомъ случаѣ пойдемте къ нимъ: мнѣ этотъ обычай чрезвычайно нравится.

Чолоковъ пошелъ, и господинъ съ аксельбантомъ поспѣшно за нимъ послѣдовалъ.

Между-тѣмъ, заслышавъ крики: «стой, стой!», ямщики немедленно остановили лошадей, точно только и ждали они, чтобъ ихъ кто-нибудь остановилъ, а самыя лошади повиновались имъ, кажется, не безъ удовольствія, но скрыли это подъ такимъ апатичнымъ видомъ, какъ будто имъ было совершенно все равно—бѣжать или стоять на мѣстѣ.

— Извините, господа, началъ князь, подходя къ тарантасу: — извините, что мы, по здѣшнему обычаю...

Но въ это время высунувшійся изъ экипажа, съ озабоченнымъ и заспаннымъ лицомъ, толстенькій господинъ испустилъ такое протяжное «а-а»! какъ будто онъ тащилъ его съ послѣдней станціи.

— А-а, князь! воскликнулъ онъ:—здравствуйте! Куда это вы?

— Ба! ба! ба! Василій Семенычъ!

И князь съ Васильемъ Семеновичемъ трижды звучно чмокнули другъ друга въ мягкія щоки.

— Давно ли изъ Георгіевска? спросилъ князь.

— Да вотъ къ вамъ въ Тифлисъ, дѣльцо есть; недѣлю ужь тащимся...

— Здравствуйте, князь, сказалъ звонкій голосъ изъ тарантаса, покрывая отвѣтъ Василья Семеновича.

И, высунувшись изъ-за спины путника, показалась здоровая, раскраснѣвшаяся отъ жара и довольно пріятная лицомъ барыня.

— Ахъ, матушка, Анна Петровна! простите, я васъ за этимъ толстякомъ и не видалъ! сказалъ князь, торопливо перебѣгая на другую сторону экипажа.

— Гдѣ ужь меня замѣтить! торжественно, не вѣря себѣ въ душѣ, сказала дама, и протянула пухленькую и влажную руку безъ перчатки.

Князь схватилъ руку и нѣсколько разъ съ апетитомъ поцѣловалъ ее.

— Куда это вы, князь? продолжала дама.

— На воды, Анна Петровна, въ Пятигорскъ.

— Знаю я, зачѣмъ вы на воды ѣдете! плутовски замѣтила дама.

— Какъ зачѣмъ? сказалъ князь, коварно улыбаясь: — извѣстно зачѣмъ! минеральная вода: се бонъ пуръ лестома!

И онъ, въ подтвержденіе словъ, щелкнулъ себя пальцемъ по брюху.

— Полноте! полноте! вѣдь мы кой-кого встрѣтили!

— А гдѣ вы ихъ встрѣтили? торопливо спросилъ князь, нѣсколько смѣшавшись.

— Въ Пайсанаурѣ лошадей ждали.

«Эге! вонъ ужь они гдѣ!» подумалъ князь и, чтобы перемѣнить или замять разговоръ, воспользовался приближеніемъ духанщика съ подносомъ и, наливъ стаканъ, подалъ его дамѣ.

— Пожелайте жь намъ счастливаго пути, Анна Петровна! сказалъ онъ, подавая стаканъ.

— Желаю! сказала дама, взявъ стаканъ и чокаясь.

Она отпила немного.

— Матушка! нѣтъ, нельзя, пейте все!

— Ну, развѣ пожелать вамъ еще кой-чего? Воротиться къ намъ съ молоденькой, хорошенькой женой, лукаво замѣтила дама и отпила.

Князь ухмыльнулся.

— Нѣтъ, еще! еще, матушка!

— Нѣтъ, князь, не могу.

— Ну, родная, пожалуйста!

— Право, не могу.

— На колѣни стану!

— Ахъ, какой вы, право, князь!

Пока продолжались эти переговоры, Василій Семеновичъ здоровался, разговаривалъ и чокался съ мужчинами, которые ему, кажется, бо́льшею частью были знакомы. Выпилъ онъ за здоровье князя. Подруга его, краснѣя и какъ будто съ неудовольствіемъ, подала князю пустой стаканъ. Князь, принявъ его, сказалъ: «Вотъ такъ!» и еще разъ бросился цѣловать ручку, и они наконецъ простились.

— Пошолъ! сказалъ Василій Семеновичъ.

— Смотрите же, князь, исполните мое желаніе! звонко кричала дама, высунувшись изъ экипажа и грозя князю пальцемъ.

Князь самодовольно улыбался и махалъ папахой.

— Однакожъ, господа, сказалъ онъ, обращаясь къ молодежи: — сколько намъ *ни возиться*, а надобно *проститься*.

— Ну, еще по прощальному — живѣе!

Стаканы снова налились. Князь видимо началъ торопиться. Опять чоканье и наконецъ прощанье. Съ княземъ всѣ лобызались въ три темпа. Чолокову жали руки до излома костей и желали разныхъ пріятныхъ вещей, бо́льшею частью по-французски.

Князь расплатился, духанщикъ подсадилъ его подъ руку въ коляску, за что̀ и получилъ абазъ на водку. Рядомъ съ княземъ сѣлъ Чолоковъ и дверцы захлопнулись.

Ямщикъ подобралъ возжи и кончикомъ кнута вывелъ лошадей изъ мечтательной задумчивости. Неуклюжій Иванъ, отличавшійся особенною неповоротливостью во всѣхъ случаяхъ жизни, на этотъ разъ какъ-то изловчился и, Богъ вѣсть когда, успѣлъ, должно полагать, поднести себѣ порядочную чарку, потому что, держась рукой за рессору, нѣсколько разъ безплодно старался поставить ногу на ступицу колеса, чтобъ усѣсться на запяткахъ, гдѣ была предусмотрительно постлана бурка.

— А, ты опять никакъ!... мрачно сказалъ князь, замѣтивъ его маневры.

— Что я! Я ничего! отвѣчалъ Иванъ, тыкая ногой въ ступицу.

— Но...о...о...о!

Голосъ князя принялъ такую интонацію, что Иванъ, молча, собралъ силы, шагнулъ въ спицы и громко хлопнулся на запятки, усѣвшись лицомъ къ дорогѣ. Другой слуга Чолокова, тоже, какъ кажется, хлѣбнувшій, нисколько отъ того не распустился, а напротивъ, сосредоточился въ себѣ, проворно сѣлъ на облучокъ и сурово крикнулъ: «пошолъ!»

— Прощайте! до свиданья! послышалось съ обѣихъ сторонъ, самыми искреннѣйшими и растроганными голосами; на лицахъ у всѣхъ изображалось трогательное участіе; фуражки и папахи замотались въ воздухѣ; коляска поскакала.

Провожавшіе смотрѣли ей вслѣдъ и нѣкоторое время имѣли удовольствіе сквозь клубы пыли видѣть задъ экипажа и обращеннаго къ нимъ лицомъ Ивана, который, держась руками за стоячія рессоры и свѣсивъ ноги, болтался на запяткахъ. Пыль поднялась гуще. Одинъ изъ толпы чихнулъ и всѣ поворотили къ своимъ экипажамъ.

— А жаль князя: добрый онъ малый! сказалъ кто-то: — глупъ только больно!

— Да и притомъ же свинтусъ большой руки, замѣтилъ другой.

— А по моему, господа, такъ и Чолоковъ долженъ быть дрянь, рѣшилъ третій, садясь въ пролетку, и экипажи провожавшихъ тоже тронулись обратно.

Пыль задымилась справа и слѣва и, постоявъ въ душномъ воздухѣ, медленно и тяжело стала опускаться. Армянинъ залѣзъ въ свою каморку, и Духанъ Слезъ одиноко смотрѣлъ на горячую, опустѣвшую дорогу. Солнце жгло безпощадно и цвѣтущая Грузія томительно задыхалась въ полуденномъ зноѣ.

II.

Между-тѣмъ, какъ знакомая намъ дорожная коляска болѣе или менѣе успѣшно подвигалась впередъ, скажемъ нѣсколько словъ о положеніи въ свѣтѣ ея путниковъ.

О князѣ говорить много нечего. Фамилія его Мухрубакаевъ; родъ — происхожденія смѣшаннаго. Князь былъ одинокъ, холостъ и занималъ хорошее мѣсто. Кромѣ-того, онъ имѣлъ состояніе и на Кавказѣ считался прекраснымъ женихомъ. Въ молодости князь любилъ кутнуть; не прочь былъ отъ этого и въ позднѣйшемъ возрастѣ; къ женскому полу былъ слабъ, но вообще чувствовалъ робость къ нему. Давно заброшенный судьбою на Кавказъ, въ его тревожной бивачной жизни, въ одинокихъ станицахъ, онъ не имѣлъ возможности часто бывать въ хорошемъ обществѣ, а впослѣдствіи тяготился въ немъ и облегчалъ эту тяжесть игрою въ карты по крупной. Таковъ былъ князь Мухрубакаевъ. Совсѣмъ не таковъ былъ его спутникъ.

Алексѣй Николаевичъ Чолоковъ принадлежалъ къ старинной и довольно-богатой дворянской фамиліи н-ской губерніи. Дома онъ воспитывался, какъ обыкновенно воспитываются дѣти хорошихъ семействъ, то-есть постепенно переходилъ отъ русской кормилицы къ нянькѣ-англичанкѣ, потомъ замѣненной дядькой-нѣмцемъ, пока не поступилъ окончательно въ вѣдѣніе гувернера-француза. Ознакомясь такимъ практическимъ способомъ съ различными національностями, онъ поступилъ въ одно изъ высшихъ учебныхъ заведеній Петербурга, гдѣ и окончилъ полный курсъ. Затѣмъ Чолоковъ поступилъ на службу, въ Петербургѣ же.

Надобно перебрать, одно за другимъ, всѣ впечатлѣнія дѣтства и юности, прослѣдить тщательнѣйшимъ образомъ всю обстановку и происшествія этихъ возрастовъ, чтобъ опредѣлить и сказать положительно, отчего молодой человѣкъ пріобрѣтаетъ тѣ или другія наклонности, становится такимъ, какимъ мы его видимъ. Отчего, напримѣръ, Иванъ А* помѣшанъ на приличіяхъ, въ то время, какъ папенька его не выходитъ изъ засаленнаго сюртука, за исключеніемъ пріѣзда Б*, котораго имѣніемъ управляетъ онъ, и отчего сынъ этого Б* только и счастливъ въ той компаніи, гдѣ приличія оставляются въ прихожей? Отчего Сережа В*, сынъ мирнаго чиновника, не можетъ безъ душевнаго трепета видѣть какого-нибудь рысистаго жеребца Сарданапала, а Коля Г* не возьметъ въ руки разряженнаго ружья, и, кутаясь въ шубу, съ уваженіемъ обходитъ разбитую клячу Ваньки, когда въ жилахъ его течетъ кровь незнакомаго со страхомъ и фуфайкой ветерана? Отчего Алеша Д*, честно проживая благопріобрѣтенное на службѣ имѣніе родителя, не можетъ безъ благороднаго негодованія говорить о лихоимствѣ, а сынъ ученаго Ж* чувствуетъ пристрастіе только къ одного рода картамъ, издаваемымъ въ пользу Воспитательнаго дома. Отчего также З*, имѣвшій родителемъ откупщика, а дѣдушки неимѣвшій вовсе, находитъ, что въ жилахъ его течетъ аристократическая кровь, и не пьетъ ничего, кромѣ шампанскаго? Или отчего, наконецъ, русскій человѣкъ, сознавая все свое достоинство, любитъ прикинуться англоманомъ, а какой-нибудь нѣмецъ Бирмбахеръ, стуча себя въ грудь, кричитъ, что онъ русскій? Отчего это? отчего всѣ эти несообразности? отчего?

Можно бы съ помощью тончайшаго анализа разъяснить эти, повидимому малоестественныя вещи самымъ яснымъ образомъ и доказать, какъ дважды-два, что оно иначе и быть не могло, точно также, какъ докторъ послѣ смерти больнаго всегда легко находитъ очень-хорошую причину его смерти; но, чтобъ избѣжать многословія и психологическихъ тонкостей, допустимъ просто, что есть въ человѣкѣ *нѣчто*, положимъ хоть легкія, которыя извѣстнымъ образомъ переработываютъ вдыхаемый воздухъ, *нѣчто*, которое развиваетъ и дѣлаетъ человѣка такимъ, какъ онъ есть, отклоняясь или нѣтъ отъ вѣроятностей.

Въ силу этого нѣчто, мы находимъ Алексѣя Николаевича Чолокова совершенно порядочнымъ молодымъ человѣкомъ, лѣтъ, этакъ, тридцати, какъ и всѣ молодые люди. Правда, фамильныя связи Чолокова и субсидіи, присылаемыя родителемъ, давали ему возможность бывать въ лучшихъ домахъ столицы; но одинъ, на свободѣ, въ Петербургѣ, онъ весьма-легко могъ бы себѣ пріобрѣсть совершенно-другія наклонности. Могъ, однакожъ не пріобрѣлъ. Бывалъ онъ и на веселыхъ холостыхъ пирушкахъ, и въ обществѣ дамъ, небывающихъ въ обществѣ, но всегда только съ молодыми людьми порядочными, неизмѣнно держалъ себя съ тѣмъ тактомъ, который составляетъ непремѣнную принадлежность порядочныхъ людей, и никогда двусмысленная исторія не коснулась его репутаціи. Не знаемъ, былъ ли Чолоковъ въ строгомъ смыслѣ честный человѣкъ, но можно смѣло сказать, что честь его была незапятнана; исторій за нимъ, какъ мы сказали, не водилось; должишки были, но онъ платилъ ихъ по-мѣрѣ возможности. Касательно этого пункта, то-есть по-возможности, надобно сдѣлать нѣкоторыя объясненія. Воспитывался Чолоковъ и получалъ, говоря иносказательно, родительское благословенье отъ тысячи съ небольшимъ душъ; но когда, по закону неизмѣннаго порядка, родитель его умеръ (матери онъ лишился въ дѣтствѣ), то ему на его долю пришлось ровно $127^{7}/_{8}$ душъ наслѣдства, потому что слѣдовало дѣлиться съ семью братьями. Одну восьмую братья ему уступили безспорно, но тѣмъ не менѣе средства его значительно убавились отъ-того, что прежде Чолоковъ получалъ болѣе другихъ братьевъ, которые, будучи старше его, менѣе нуждались въ пособіи. Имѣніемъ управлять, при всемъ своемъ тактѣ, Чолоковъ не умѣлъ и потому серьёзнѣе занялся своей службой, строже глядѣлъ на свою будущность, и такимъ образомъ онъ дошелъ до тѣхъ тридцатыхъ годовъ, около которыхъ колеблется еще грань молодости. Тутъ Чолокову дали порученіе въ Тифлисъ.

Въ Тифлисъ онъ пріѣхалъ зимою, пробылъ въ немъ около четырехъ мѣсяцевъ и Тифлисъ ему понравился. Онъ сталъ подумывать перейдти на службу въ этотъ чудный край, который такъ богатъ и просторенъ для служебной дѣятельности; но прежде, нежели рѣшиться на этотъ шагъ, онъ испросилъ себѣ отпускъ, чтобъ на минеральныхъ водахъ отдохнуть и освѣжить силы, и между-тѣмъ сдѣлать окончательный выборъ. Не-задолго передъ отъѣздомъ, онъ познакомился съ княземъ Мухрубакаевымъ, который также ѣхалъ на воды, и они рѣшились ѣхать вмѣстѣ: князю было это пріятно, Чолокову удобно.

Таково было нравственное положеніе нашихъ героевъ; физическое было тоже довольно-сносно. Покачиваясь въ коляскѣ, они опустились въ долину Куры и поѣхали крутымъ ея берегомъ. Вотъ на поворотѣ показалась еще серебряная рѣка, а за

ней, на выдавшейся вершинѣ горы, развалины какого-то монастыря.

Чолоковъ, жадно осматривавшійся кругомъ, вдругъ встрепенулся.

— Князь! какая это рѣка? спрашивалъ онъ.

Князь начиналъ ужь дремать.

— Гдѣ? А! это Арагва!

— Она тутъ впадаетъ въ Куру!

— Впадаетъ.

— Такъ вонъ тамъ на горѣ долженъ-быть тотъ самый монастырь, въ которомъ томился Мцыри.

— Какой Мцыри?

— А у Лермонтова, помните:

Тамъ, гдѣ, сливаясь, шумятъ,
Обнявшись, будто двѣ сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Былъ монастырь...

— Ну коли тамъ, такъ здѣсь должно быть, весьма-основательно заключилъ князь.

Чолоковъ пришелъ въ поэтическое настроеніе и попробовалъ декламировать далѣе; но, сказавъ еще стиха два, замѣтилъ, что эти стихи, кажется, принадлежатъ ужь ему, Чолокову, а не Лермонтову. Онъ оставилъ свою импровизацію и опять обратился къ князю:

— А вы знали Лермонтова?

— Знавалъ, на правомъ флангѣ! лѣниво отвѣчалъ князь, сильно-томившійся отъ внутренняго и наружнаго жара.

— Каковъ онъ?

— Кто?... правый флангъ?

— Нѣтъ, Лермонтовъ?

— Хорошій былъ офицеръ.

Дальнѣйшіе разспросы Чолоковъ счелъ излишними и князь скоро погрузился въ томительную дремоту. Между тѣмъ они поворотили влѣво по Курѣ и на противоположномъ берегу передъ ними открылась живописная группа Мцхета, когда-то резиденція грузинскихъ царей, а теперь церковь съ полуразвалившимся строеніемъ вокругъ, нѣсколько грузинскихъ домиковъ и гробовыя плиты,

Которыхъ надпись говоритъ
О славѣ прошлой, и о томъ,
Какъ, удручепъ своимъ вѣнцомъ,
Такой-то царь, въ такой-то годъ,
Вручалъ Россіи свой народъ,

между тѣмъ, какъ сѣрныя ванны этихъ царей — Тифлисъ, разросшись въ многолюдный городъ.

Чолоковъ по этому случаю помечталъ о суетѣ міра; князь дремалъ. По каменному мосту, изогнувшемуся и упирающемуся со скалы на скалу, переѣхали они черезъ Куру, повернули почти назадъ, миновали Мцхетъ и его растреснувшуюся сторожевую башню, которая сердито грозитъ бросить часть своей стѣны въ любопытно-приподнятую голову проѣзжающаго по ущелью. Любопытно-приподнятая голова была на этотъ разъ Чолокова, а князь мрачно опущенная, болталась, погруженная въ дремоту.

Вскорѣ путники наши пріѣхали на арпискарскую станцію, замѣчательную тѣмъ, что въ ней не только люди, но и курицы страдаютъ отъ лихорадокъ тутъ князь проснулся.

— Живѣе, лошадей! проворчалъ онъ наспаннымъ басомъ, выходя изъ коляски.

Избитый до костей лихорадкою, смотритель, закутанный сверхъ сюртука въ тулупъ, стоялъ на крыльчикѣ и, лѣниво развертывая подорожную, отвѣчалъ:

— Нѣтъ лошадей!

— Лошадей! крикнулъ князь, и въ голосѣ его послышалась хрипота.

— Лошади, ваше-ство, только воротились, попробовалъ было отвѣтить смотритель, успѣвшій въ подорожной прочитать чинъ и званіе князя.

— Лошадей! закричалъ князь съ такимъ переливающимся въ горлѣ гнѣвомъ, что смятенный смотритель юркнулъ въ корридоръ и тамъ, встрѣченный требованіями другаго проѣзжающаго, который уже давно посвистывалъ на станціи итальянскія аріи, смотритель только развелъ руками, приподнялъ плечи въ видѣ «что прикажете дѣлать?» и, указавъ на князя, скрылся.

Чолоковъ нѣсколько смутился гнѣвомъ князя и, въ качествѣ порядочнаго человѣка, недоумѣвалъ, какъ можно выходить изъ себя, но каково же было его удивленіе, когда, подойдя къ князю, онъ нашелъ его совершенно равнодушнымъ и спокойнымъ: видимый гнѣвъ былъ ничто иное, какъ привычка въ извѣстномъ случаѣ возвышать голосъ до самыхъ грозныхъ нотъ.

Чрезъ нѣсколько минутъ они поѣхали, правда, на лошадяхъ едва живыхъ, но все-таки поѣхали, сопровождаемые поклонами смотрителя, получившаго нѣсколько абазовъ, и сердитымъ взглядомъ проѣзжающаго, который снова принялся насвистывать аріи.

То погружаясь въ отрадную тѣнь скалъ, чинаръ или орѣшника, то снова выѣзжая подъ утомительный зной, то по горамъ, то по нависшему берегу Куры или Арагвы, ѣхали наши путники по цвѣтущей Грузіи. Они миновали Душетъ, первый отъ перевала и послѣдній на выѣздѣ, грузинскій городокъ, въ третій разъ перемѣнили лошадей въ Ананурѣ съ его безподобнымъ монастыремъ и поздно вечеромъ пріѣхали въ Пайсанауръ. Чолоковъ всю дорогу жадно любовался безпрерывно-смѣняющимися одинъ прелестнѣе другаго видами. Князь, давно знакомый съ этою дорогою, мирно дремалъ и сквозь сонъ лѣниво удовлетворялъ любопытству своего спутника.

— Когда здѣсь были Лысковы, больной старикъ съ семействомъ, въ двухъ экипажахъ? спросилъ князь у сторожа дома и вмѣстѣ ресторатора.

— Въ полдень уѣхали, васе-ство, отвѣчалъ жидокъ:—только цай Арагва врядъ ли перепустила.

— А что Арагва?

— Играетъ, васе-ство: мостъ снесла!

— А есть что̀ ѣсть?

— Супъ зъ курицы, катлетки, заркое...

— Давай всего.

Они поужинали, запили привезеннымъ съ собою кахетинскимъ и Чолоковъ ужь началъ съ любовью посматривать на деревянные диваны, думая, чего бы помягче подостлать на одинъ изъ нихъ, какъ его вывелъ изъ задумчивости Иванъ, доложившій, что лошади готовы.

— Развѣ мы не ночуемъ здѣсь? спросилъ Чолоковъ.

— Нѣтъ, знаете, днемъ жарко ѣхать. Мы лучше по холодку, отвѣчалъ князь.

Чолоковъ попробовалъ сдѣлать замѣчаніе на счетъ темноты ночи, дурной дороги и тому подобное, но получилъ на все ясное опроверженіе; онъ ѣхалъ въ чужомъ экипажѣ, еще не коротко ознакомился съ княземъ: спорить ему, какъ порядочному человѣку, не приходилось; онъ постарался примириться съ обстоятельствами и они поѣхали.

...Ночь была — тюрьмы чернѣй.

Узкая дорога подъ нависшими скалами вилась надъ самою рѣкою: князь погонялъ. Арагву они, перекрестившись переплыли въ бродъ и хорошо сдѣлали, что перекрестились, потому что чуть-чуть ихъ не опрокинуло водою. Часа два съ помощью десятка осетинъ поднимались они по усыпанному камнями квишетскому подъему первой ступени на горы, и Чолоковъ имѣлъ удовольствіе видѣть съ него густой пред-утренній туманъ, сплошь застилавшій самый цвѣтущій видъ по всей дорогѣ: Кайшаурскую долину. Уже совсѣмъ бѣлѣло, когда они въѣхали на кайшаурскую станцію. Кругомъ близились и надвигались голыя горы. Было холодно не на шутку. Князь, едва открывъ глаза, крикнулъ опять: «лошадей!»

Но потомъ, увидавъ на дворѣ два знакомые ему тарантаса, сказалъ Чолокову:

— А, впрочемъ, здѣсь и вздремнуть можно.

Чолоковъ только того и ждалъ.

— Есть свободная комната? спросилъ онъ.

— Пожалуйте налѣво: тамъ не заняты.

Чолоковъ бросился на диванъ, не мечтая уже, чего бы помягче подостлать на него.

III.

Мы оставимъ нашихъ путниковъ дѣлать перевалъ—трудный и утомительный переѣздъ черезъ горы, и догонимъ ихъ въ узкой долинѣ или, правильнѣе, въ ущельѣ, по которому падаетъ Терекъ, именно въ Ларсѣ.

Ларсъ—небольшое мѣстечко, пріютившееся у подножія горъ на каменистой площадкѣ. Все оно состоитъ изъ казармы и казенныхъ домиковъ, въ которыхъ помѣщается команда, да пяти или шести избушекъ и почтоваго дома, составляющихъ улицу, спускающуюся отъ казармъ къ Тереку. На этой-то улицѣ вечеромъ того дня, который Чолоковъ радостно встрѣтилъ сномъ, стояли видѣнные нами въ Кайшаурѣ два тарантаса и коляска. Экипажи были забрызганы грязью, запылены, покривлены: они были цѣлы, но на нихъ легла печать разрушенія, какъ на лицо человѣка, пережившаго тяжелыя минуты: переѣздъ черезъ горы, въ жизни экипажей, долженъ играть роль разрушительныхъ и бурныхъ страстей человѣческой жизни.

Вечеръ былъ ясный, тихій. Безплодныя горы, обступившія мѣстечко съ трехъ сторонъ, и скалы, высившіяся по ту сторону рѣки, стояли точно мертвыя; послѣдніе лучи заката грустно, какъ чахоточный румянецъ играли на ихъ верхушкахъ, и весь маленькій Ларсъ засыпалъ въ мертвенномъ спокойствіи, среди котораго шумѣлъ однообразный, неумолкаемый ревъ Терека. Но деревянный, немного сбоченившійся пятиоконный домикъ для пріѣзжающихъ, кипѣлъ жизнью и рѣзко отдѣлялся отъ окружающаго усыпленія. Люди бѣгали взадъ и впередъ черезъ улицу отъ него къ противоположному духану, нося подносы, чашки, самоваръ и прочее; въ духанѣ сквозь растворенную дверь видѣнъ былъ разведенный въ печи огонь, въ домикѣ были пріѣзжающіе.

У открытаго окна, въ креслѣ, обложенномъ подушками, сидѣлъ старикъ, сѣдой какъ лунь, съ всклокоченными волосами. Лицо его правильное, красивое, съ длинными сѣдыми усами, было блѣдно и изнурено; взглянувъ на него, сейчасъ можно было узнать стараго служаку, сбитаго съ военнаго поля болѣзнью. Въ самомъ дѣлѣ, бѣдный старикъ сидѣлъ неподвижно по необходимости: онъ не могъ ходить.

Въ углубленіи выбѣленной комнаты, на кожаномъ диванѣ, сидѣла маленькая старушка въ чепцѣ, худенькая, живая, съ пріятнымъ меленькимъ лицомъ, которое, лѣтъ тридцать назадъ, должно быть, было очень мило. Она часто и торопливо нюхала табакъ, иногда вскакивала, суетилась и хлопотала.

Старушка — Катерина Степановна Лыскова; — старикъ — Семенъ Гавриловичъ, мужъ ея. Между ними, на стулѣ, помѣщался князь Мухрубакаевъ.

На столѣ, покрытомъ красной ярославской скатертью, стоялъ самоваръ и чайный приборъ. За нимъ хлопотала довольно-высокая, полная женщина, лѣтъ сорока, въ чепцѣ, капотѣ и платкѣ, веселая, бойкая, по манерамъ среднее между горничной и дальней родственницей, называвшаяся Матреной Тихоновной,—должно полагать, нѣчто въ родѣ экономки или компаньонки изъ русскихъ.

На другомъ диванѣ сидѣла дѣвушка лѣтъ 18, блондинка, съ золотистыми, густыми вьющимися волосами, которые пышно лежали по обѣимъ сторонамъ пробора; ростъ она имѣла средній, станъ перехваченный низко, хорошо округленный, гибкій и мягкій, точно безъ костей, очень граціозный станъ, но который со временемъ, при распущенности, могъ пополнѣть. Продолговатое лицо, съ голубыми, переходящими въ синіе и подернутыми влагой глазами, было довольно полно, бѣло и го-

рѣло румянцемъ. Цвѣтъ его былъ даже рѣзокъ, еслибъ не смягчался особенною нѣжностью кожи, какая бываетъ только у сильныхъ блондиновъ. Вообще, лице и волосы готовы были перейти въ тотъ оттѣнокъ, которымъ римскіе поэты восхищались, величая его золотистымъ, а мы безъ метафоръ называемъ рыжимъ; но онъ остановился именно на той счастливой грани, гдѣ сохраняется вся нѣжность и теплота красокъ этого оттѣнка, и нѣтъ въ немъ ничего рѣзкаго, несчастно-коричневаго. Прибавьте къ этому маленькій съ малиновыми выдающимися губками ротъ, да продолговатый, несовсѣмъ правильный, съ сѣдельцемъ, но небольшой и хорошенькій носъ — и вы будете имѣть понятіе о дочери Лысковыхъ, Ольгѣ Семеновнѣ. Ее нельзя было назвать красавицей, но, при встрѣчѣ, не выдержишь, чтобъ не сказать: какая хорошенькая!

На другомъ концѣ дивана сидѣлъ Чолоковъ; наружность его нисколько не потерпѣла отъ дороги; онъ какъ-то умѣлъ хорошо сохраниться, какъ-будто и не выходилъ изъ комнаты. Князь, напротивъ, былъ сильно помятъ; волосы его въ безпорядкѣ, галстухъ растрепанъ и черная щетина невыбритой въ узаконенный срокъ бороды рѣзко проступила на щекахъ.

— Что это, Матрена Тихоновна, кажется, отъ самовара чадомъ пахнетъ? спросила Ольга.

— Ну, матушка, у васъ ужь вѣчно самоваръ чадитъ! Отчего ему чадить? А вы бы, чѣмъ здѣсь въ духотѣ-то сидѣть, пошли бы на крылечко, я бы вамъ туда и чай принесла.

— Въ самомъ дѣлѣ, пойдемте, сказала Ольга.

Чолоковъ всталъ и пошелъ за нею. На широкія скамьи, подъ навѣсомъ крыльца, постлали персидскій коверъ, и они усѣлись. Княземъ овладѣло нѣкоторое безпокойство; ему тоже видимо хотѣлось отправиться за Ольгой, но онъ не посмѣлъ и остался со стариками.

Во время длиннаго перевала, гдѣ, то поднимаясь на горы, то спускаясь съ нихъ, спутники часто должны были выходить изъ экипажей, Чолоковъ сдѣлалъ странное открытіе: по его наблюденіямъ оказалось, что бойкій и беззастѣнчивый говорунъ въ холостомъ кругу, или съ безцеремонными дамами, князь былъ трусливъ и робокъ съ Ольгой Лысковой. Было ли это вообще слѣдствіемъ непривычки къ женскому обществу, или затронута тутъ была другая, болѣе-нѣжная струна, которая многихъ, и половчѣе князя, дѣлаетъ неловкими, только онъ велъ большею частью подъ-руку старушку, да иногда отпускалъ шуточки Матренѣ Тихоновнѣ, такъ что Ольга предоставлена была исключительно внимательности Чолокова. Какъ молодежь, они часто опережали стариковъ; князь порывался къ нимъ, иногда пытался вступить въ ихъ разговоръ, но робость одолѣвала его, онъ видимо казнился и ретировался къ старичкамъ.

За то Чолоковъ вполнѣ воспользовался своимъ положеніемъ. Какъ человѣкъ свѣтскій, онъ вообще не чувствовалъ въ какомъ-бы то ни было обществѣ того затруднительнаго положенія, когда на душу находитъ какое-то невидимое смущеніе, и тѣлу кажется, что его жметъ платье.

Душа и тѣло Чолокова чувствовали себя всегда очень просторно; но, при встрѣчѣ съ Ольгой Лысковой, онъ сейчасъ нашелъ, что онъ выше ея, выше не какимъ-либо духовнымъ развитіемъ или нравственными качествами, а просто своей привычкой къ свѣту, знакомствами и связями, словомъ, что онъ доселѣ принадлежалъ и вращался въ болѣе высшемъ кругу, нежели она, недавно-выпущенная институтка. Должно съ горестью замѣтить, что превосходство послѣдняго рода въ обыденныхъ отношеніяхъ нашей жизни имѣетъ передъ первымъ, то есть духовнымъ, большое преимущество. Еслибъ Чолоковъ былъ фатъ, онъ бы сейчасъ началъ немножко ломаться; но, какъ человѣкъ порядочный, онъ, не теряя собственнаго достоинства, очень снисходительно и ловко сталъ въ-уровень съ положеніемъ Ольги и, удержавъ за собою то нравственное вліяніе, которое давала ему его свѣтскость, очень скоро сошелся съ нею.

Во всякомъ человѣкѣ, не исключая и прекрасный полъ, есть маленькая врожденная подлость, которая безсознательно заставляетъ насъ охотнѣе сближаться съ высшими, нежели съ равными, или низшими. Ее можно, пожалуй, тоже назвать благороднымъ стремленіемъ къ высокому въ обширномъ смыслѣ слова, и мы именно пріймемъ эту слабость въ значеніи достоинства, потому что она была и въ хорошенькой Ольгѣ. Въ силу его, Ольга очень скоро сблизилась съ Чолоковымъ и чувствовала себя съ нимъ, какъ съ давно-знакомымъ. Они вмѣстѣ восхищались цвѣтущей красотой Грузіи и дикимъ величіемъ Кавказа; опираясь на руку Чолокова, Ольга съ крутаго обрыва старалась заглянуть въ глубокую пропасть, и Чолоковъ, бережно поддерживая ее, останавливалъ и упрашивалъ отойдти подальше, что̀ ему доставляло двойное удовольствіе и за себя, и за Ольгу.

Въ разговорѣ узналъ Чолоковъ, между-прочимъ, что Ольга полгода какъ вышла изъ института и пріѣхала въ Ш*, гдѣ служилъ отецъ ея, что въ Ш* очень-много фруктовъ, но еще болѣе скуки; что отецъ Ольги по болѣзни долженъ былъ выйдти въ отставку и послѣ водъ намѣренъ ѣхать на житье въ свою тамбовскую деревеньку; что Ольга этому очень-рада; что князь бывалъ у Лысковыхъ раза два въ Ш* и видался иногда въ Тифлисѣ, и что онъ кажется Ольгѣ очень-забавнымъ, наконецъ, что сама Ольга очень умненькая, живая и милая дѣвушка.

Ольга и Чолоковъ, усѣвшись подъ навѣсомъ крыльца, сначала очень-усердно занялись чаемъ. Несмотря на всю заботливость, съ которой молодыя женщины вообще, а дѣвицы въ особенности скрываютъ досадную требовательность желудка и посильно желаютъ уподобляться нѣкоторымъ духовнымъ существамъ, неимѣющимъ надобности въ пищѣ, дорожный апетитъ взялъ свое, и, поощряе-

мая примѣромъ Чолокова, который очень-усердно занялся ближайшимъ знакомствомъ съ сдобными печеньями Лысковыхъ, Ольга также сдѣлала имъ честь. Какъ ни досадно сознаться, но справедливость требуетъ замѣтить, что натощахъ самыя нѣжныя и тонкія потребности сердца умаляются самымъ предательскимъ образомъ на нѣкоторое время при видѣ хорошо-приготовленныхъ вещей, удовлетворяющихъ болѣе-грубымъ требованіямъ нашего бреннаго тѣла. Но за то, когда успокоены сіи послѣднія, какъ тихо и мирно вступаютъ въ свои права наши благороднѣйшія чувства! какой примирительный и любящій взглядъ рождается послѣ легкой закуски! Вообще, вопросъ о вліяніи пищи на человѣческія страсти остается до-сихъ-поръ еще неблагодарно-неразработаннымъ.

Наши молодые люди были именно въ такомъ пріятномъ и располагающемъ къ нѣжнымъ ощущеніямъ положеніи при второй смѣнѣ чая. Хорошенькая Ольга, съ видомъ веселаго и счастливаго довольства, лѣниво мѣшала въ чашкѣ тончайшимъ и до болѣзненности высушеннымъ обломкомъ сахарнаго кольчика, и откусывала отъ него кончиками бѣлыхъ зубовъ такія маленькія крошки и такъ игриво, какъ-будто имѣла привычку ѣсть только для шутки: она чувствовала себя почти духовнымъ существомъ и была довольна.

Чолоковъ вынулъ добрую гаванскую сигару и, спросивъ дозволенія Ольги закурить ее, пустилъ струйки двѣ ея благовоннаго дыма, и прихлебнувъ чаю, хотя и не почувствовалъ онъ себя духовнымъ существомъ, но былъ тоже доволенъ своимъ положеніемъ.

Занявшись своими особами, они нашли, что можно заняться другъ другомъ и окружающими предметами.

А окружающіе предметы были такого рода, что невольно заставляли заниматься собою, и, перенося непривычнаго человѣка въ совершенно-новую и чуждую ему обстановку, возбуждали новыя, доселѣ чуждыя ему мысли. Справа—въ пѣнѣ и брызгахъ шумѣлъ Терекъ, дробясь и прыгая по камнямъ; надъ нимъ—отвѣсной стѣной стояли и громоздились голыя дикія скалы. Прямо предъ крыльцомъ, по ту сторону улицы, крутымъ гребнемъ шла гора и, на выдающемся свѣсѣ ея надъ самымъ Терекомъ, темной вырѣзкой рисовался замокъ. Замокъ этотъ весь состоялъ изъ каменнаго, двухэтажнаго, обнесеннаго галереями дома, примыкавшаго къ круглой башнѣ; около дома грудно тѣснились, сложенныя тоже изъ плитняка, плоскокрышія жилья.

Въ вечернемъ свѣтѣ, среди дикой и пустынной природы, замокъ былъ угрюмъ и живописенъ.

— Чей это замокъ? спросила Ольга.

— Этотъ замокъ принадлежитъ извѣстной осетинской фамиліи Д*, отвѣчалъ Чолоковъ. — Когда я въ первый разъ проѣзжалъ здѣсь, въ немъ жила молоденькая, образованная и хорошенькая хозяйка; не знаю, тутъ ли она теперь. Еслибъ Терекъ не шумѣлъ такъ несносно,—можетъ-быть, мы бы услыхали звуки фортепіано.

— Кто она? Вы ее знаете? Она здѣшняя уроженка? спрашивала Ольга, лицо которой оживилось искреннимъ любопытствомъ.

— Нѣтъ, я ее не знаю, но она родилась и жила до замужства въ столицѣ.

Ольга задумалась.

— Не правда ли, надобно очень любить человѣка, чтобъ рѣшиться схоронить свою молодость въ этомъ ужасномъ мѣстѣ? продолжалъ Чолоковъ, предаваясь легкой мечтательности.

— Я только-что объ этомъ думала, сказала Ольга.—Да! это огромная жертва, и сильно должно быть чувство, которое въ состояніи оживить и сдѣлать сносными эти вѣчныя, голыя скалы.

— А впрочемъ, дѣло, можетъ быть, было гораздо-проще, замѣтилъ Чолоковъ, снова уходя въ себя: — и любовь не играла тутъ никакой роли; дѣвицѣ представился хорошій человѣкъ; она вышла за него замужъ и живетъ въ его имѣніи, очень-мирно занимаясь хозяйствомъ, не думая, что это имѣніе называется замкомъ и что эти скалы представляютъ убійственно-грустный видъ.

— Боже мой! къ-чему такъ... (Ольга хотѣла сказать «пошло», но пропустила это слово):—къ-чему такъ объяснять положеніе женщины въ подобной обстановкѣ? Будь это въ другомъ мѣстѣ, я бы повѣрила можетъ быть, но здѣсь... взгляните кругомъ, неужели можно забыть эту природу?

Во взглядѣ Ольги былъ упрекъ, и она съ любопытствомъ смотрѣла на своего собесѣдника, желая разгадать, до какой степени онъ способенъ къ чувствительности.

Чолоковъ хотѣлъ-было продолжать въ прежнемъ тонѣ, но посмотрѣлъ вокругъ и инстинктивно по своей порядочности замѣтилъ, что здѣсь, въ этомъ мѣстѣ, въ-самомъ-дѣлѣ *неприлично* говорить такъ, какъ онъ говорилъ обыкновенно въ Петербургѣ. Онъ былъ еще живой человѣкъ, и новыя струны пробудились въ немъ въ этой новой для него атмосферѣ.

— Да, сказалъ онъ, задумываясь: — вы правы: здѣсь нельзя исключительно погрузиться въ мелочи жизни; все такъ велико, такъ сурово, что непремѣнно заставитъ подчиниться себѣ и стать нѣсколько подъ-ладъ къ природѣ. Здѣсь можно переносить много, можно рѣшиться на великія жертвы, можно всего скорѣе безвыходно грустить и страдать, но—воля ваша—счастливо любить здѣсь нельзя; здѣсь ничего нѣтъ веселаго, улыбающагося, допускающаго счастіе, какъ, напримѣръ, въ Грузіи. О, Грузія! это чудный край, продолжалъ Чолоковъ, одушевляясь, и на лицѣ его отразилась пріятность еще свѣжаго воспоминанія:—отъ Грузіи я въ восторгѣ. Вотъ край! весь въ солнцѣ, въ садахъ, въ зеленѣющихъ горахъ, край, созданный для любви. Въ немъ, мнѣ кажется, нельзя не любить—неправда-ли?

— А если некого? плутовски улыбаясь и под-

нявъ глаза на Чолокова, сказала хорошенькая Ольга.

— А еслибъ было кого? сказалъ Чолоковъ, тоже улыбаясь и глядя въ ея глаза.

Въ воздухѣ была такая тишина, что ревъ Терека сталъ еще слышнѣе и рѣшительно заглушалъ слова.

Для продолженія разговора Чолоковъ и Ольга должны были ближе сѣсть другъ къ другу.

Южныя сумерки спустились такъ скоро и внезапно, что подъ прикрытіемъ ихъ прозрачной темноты, не боясь быть нескромнымъ, можно было вглядываться другъ въ друга.

Есть слова, которыя не могутъ быть переданы на бумагѣ; они имѣютъ какой-то музыкальный, затрогивающій и раздражающій звукъ. Есть взглядъ, отуманивающій голову; онъ вырывается невольно; но, обмѣнявшись имъ, можно разомъ высказать болѣе, нежели многими словами.

За шумомъ Терека неслышно было словъ разговаривающихъ; за темнотой сумерекъ невидно было ихъ взглядовъ; но разъ только этотъ взглядъ, какъ электрическій токъ, пробѣжалъ между ними; румянецъ ярко вспыхнулъ на лицѣ Ольги: она потупила глаза, но вскорѣ тихо подняла ихъ и съ улыбкой остановила на Чолоковѣ.

Вскорѣ позвали ихъ ужинать. За столомъ зашелъ разговоръ объ опасности военно-грузинской дороги отъ Ларса до Екатеринограда.

— Мы будемъ провожать васъ, если позволите, сказалъ князь, взглянувъ на Ольгу и обращаясь къ старушкѣ Лысковой.

— Ахъ, батюшка! сдѣлайте милость, отвѣчала она:—съ вами, чай, и ружья есть.

— Кто жь здѣсь безъ ружья ѣздитъ? возразилъ князь, принимаясь за котлетку.

— И съ вами есть? спросила Ольга Чолокова.

— Да, и я придерживаюсь здѣшняго обычая, отвѣчалъ онъ и крайне пожалѣлъ, что не имѣетъ репутаціи Немврода, хотя, сколько намъ извѣстно, Немвродъ изъ ружья не стрѣливалъ.

— О, съ такимъ прикрытіемъ бояться нечего, полушутя, полусерьезно сказала Ольга.

Когда на другой день, раннимъ утромъ, путники наши выѣхали на дорогу къ Владикавказу, прозрачный туманъ висѣлъ на вершинахъ горъ; лучи солнца, просвѣчивая сквозь него, придавали суровому виду какой-то мягкій и влажный оттѣнокъ. Можетъ-быть, благодаря этому освѣщенію, Ольга и Чолоковъ много примирились съ дикою и безплодною мѣстностью; и имъ показалось, что и на ней можетъ взойдти и расцвѣсть пышный цвѣтокъ.

IV.

Въ перегибѣ между высокой, изломанной Бештау и лѣсистой, конусообразной Желѣзной, у подножія послѣдней стоитъ, протянувшись одной грязной улицей въ гору, небольшая казачья станица, извѣстная своими цѣлебными водами.

На кавказскихъ водахъ, какъ и во многихъ вещахъ міра сего, бываютъ иногда трудно-объяснимыя случайности. Одинъ годъ, напримѣръ, большинство больныхъ лѣчится на сѣрныхъ водахъ, въ другой ихъ шлютъ на щелочныя, въ третій — на кислыя, и т. д. Съѣзжаются ли уже такіе больные, что ихъ надобно лечить именно этими, а не другими водами, или вдругъ кредитъ тѣхъ или другихъ водъ въ извѣстный курсъ возвышается, или понижается въ мнѣніи докторовъ, только фактъ существуетъ.

Въ годы нашего разсказа, особенно посчастливилось желѣзнымъ водамъ. У большинства больныхъ оказалось нервное разстройство; паралитикамъ стали помогать желѣзныя воды, и съѣздъ на желѣзныхъ водахъ былъ огромный. Всѣ домики или, лучше сказать, казачьи мазанки, были заняты; два, три частные дома, единственные во всей станицѣ, и нумера гостинницы тоже были полны; цѣны квартиръ поднялись втрое; посѣтители негодовали, обыватели радовались; поэтому нѣтъ ничего мудренаго, что около половины іюня мы найдемъ въ Желѣзноводскѣ всѣхъ дѣйствующихъ и многихъ еще недѣйствовавшихъ лицъ нашего повѣствованія. Старикъ Лысковъ лечился строго, въ ванну его возили въ колясочкѣ на ослахъ, но на питье воды онъ не показывался. Въ Ольгѣ найдено маленькое нервическое раздраженіе и ей предписаны были легкія калмыцкія ванны и много движенія; у Чолокова маленькое нервическое разслабленіе и ему предписаны были ванны посильнѣе, и два стакана чистой воды съ прогулкой. Князь Мухрубакаевъ пріѣхалъ позже; его противъ воли продержали нѣсколько времени въ Есентукахъ, на щелочной водѣ, но наконецъ перевели на желѣзныя. Богъ знаетъ, чѣмъ былъ болѣнъ онъ, но бралъ самыя сильныя и холодныя ванны осьмаго нумера, пилъ по четыре рюмки горькой водки передъ обѣдомъ —неизвѣстно, съ вѣдома или безъ вѣдома доктора, —и чувствовалъ себя лучше.

Еще была толстая барыня изъ Петербурга по фамиліи Терская, съ худенькой и зеленой дочерью; обѣнмъ воды были равно-необходимы. Дама считала себя первой дамой и только намекала на свои связи и состояніе; дочка обращалась со всѣми весьма-привѣтливо и развязно и, независимо отъ водъ, не прочь была и отъ замужства—тоже, говорятъ, весьма-хорошаго лекарства въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ. Затѣмъ было еще много болѣе или менѣе хромыхъ, безногихъ и разслабленныхъ, чающихъ движенія воды; были наконецъ и такіе, которые болѣе чаяли движенія вина и картъ, нежели воды; эти послѣдніе, пили ли они вино оттого, что были здоровы, или были здоровы оттого, что пили вино (есть на семъ свѣтѣ и такія счастливыя комплекціи), чувствовали себя лучше всѣхъ.

Разъ, часу въ седьмомъ утра, когда солнце начало уже немножко грѣть, туманъ, до половины

закрывавшій Бештау, сталъ подниматься, и огромныя, но довольно-безвредныя змѣи, извѣстныя подъ названіемъ «желтопузовъ», убрались съ дорожекъ, на которыхъ любятъ ночевать, а самыя лѣнивыя изъ нихъ были прогнаны бдительною метлою сторожей: на длинной нижней аллеѣ парка, прорубленнаго въ густомъ лѣсу по горѣ, съ боковыхъ тропинокъ начали показываться больные, торопливо идущіе къ ключамъ, отстоящимъ за версту и болѣе отъ станицы. Вскорѣ между посѣтителями показался и Чолоковъ.

Алексѣй Николаевичъ нашъ былъ одѣтъ съ глубоко-обдуманной, такъ-сказать художественной простотой порядочнаго человѣка. Въ отношеніи этой наружной порядочности, онъ былъ первымъ на водахъ, сознавалъ свое положеніе и, надо отдать ему справедливость, скромно и съ тактомъ имъ пользовался. Никого онъ не унижалъ, никого не стѣснялъ своимъ превосходствомъ, а, напротивъ, былъ очень-милъ, вѣжливъ и услужливъ со всѣми, чувствуя, что стоитъ такой твердой ногой на своей, для многихъ смертныхъ скользкой и недоступной стезѣ, что его не можетъ поколебать или низвести короткость обращенія съ какими-нибудь хромающими въ этомъ отношеніи личностями. Такое обхожденіе Чолокова неоспоримо обнаруживало глубину пропитавшей его порядочности и ясность взгляда, и тонкость анализа, съ которыми онъ обдумывалъ въ свободныя минуты жизни свои малѣйшіе поступки.

Алексѣй Николаевичъ, освѣженный недавнимъ сномъ, бодро и скоро по утреннему холодку прошелъ длинную аллею, кланяясь, кивая головой и пожимая руки, съ многими незамѣтными, но только чувствуемыми оттѣнками, своимъ знакомымъ, подошелъ къ галереѣ,—гдѣ сторожъ у ключа, съ получающею на водку услужливостью, поднесъ ему стаканъ воды,—выпилъ его и разсѣянно окинулъ взглядомъ внутренность галереи.

— Ольги Семеновны нѣтъ еще! какъ-бы желая предупредить его вопросъ, сказалъ Чолокову маленькій одноногій господинъ, ловко подскочивъ на ключкахъ и пожимая Чолокову руку.

— А, здравствуйте! отвѣчалъ Чолоковъ, повернувши въ другую аллею.—Ну, что, какъ вы?

— Доктора перемѣнилъ, продолжалъ Крапулинскій, подскакивая на ключкахъ за Чолоковымъ:—тотъ ничего не смыслитъ. Буду лечиться по другой системѣ: утромъ теплую ванну, вечеромъ холодный душъ; кровь дистилируется и приходитъ...

Но Чолоковъ не дослушалъ, во что̀ приходитъ кровь, потому-что пришла другая особа, гораздо для него интереснѣйшая, нежели кровь Крапулинскаго: прямо на встрѣчу ему съ пригорка спускалась Ольга Семеновна съ Матреной Тихоновной.

Матрена Тихоновна, женщина на всѣ угодья, исполняла во время прогулокъ Ольги роль ея дуэньи. Бойкая хлопотунья на кухнѣ или за самоваромъ, теперь она имѣла степенный видъ: носила тафтяной капотъ, чепчикъ съ оборками и клѣтчатый платокъ, вѣчно-перекосившійся на-бокъ. Ольга шла закутавшись въ свой тифлисскій бурнусъ изъ козьяго пуха; густые, курчавые волосы ея были въ маленькомъ раздражающемъ безпорядкѣ. Живой румянецъ отъ холода проступалъ пятнами и игралъ сквозь нѣжную кожу лица; влажные, темно-голубоватые глаза еще хранили истому недавняго сна. Завидя Чолокова, она улыбнулась и была хороша, какъ розовое, смѣющееся весеннее утро.

— А я сегодня чуть не проспала, сказала Ольга, протянувъ изъ-подъ бурнуса теплую кисть руки и подавая ее Чолокову съ провинціальной короткостью.

— Да ужь нечего сказать, матушка, проспитъ, да потомъ и начнетъ торопиться: «Матрена Тихоновна, поскорѣе; да скоро ли вы, Матрена Тихоновна?» такъ, кажется, будетъ свѣта преставленье, коль опоздаешь; а куда спѣшить—вода не уйдетъ. Ну, вотъ и пришли къ ней! говорила Матрена Тихоновна, какъ-будто въ-самомъ-дѣлѣ сердясь, хотя до встрѣчи съ Чолоковымъ и ни слова не упоминала про торопливость Ольги.—Эй, голубчикъ, дай-ка водицы, продолжала она, обратясь къ сторожу.—Ухъ, умаялась!

— Подождите пить, Матрена Тихоновна, вода холодная, сказалъ Чолоковъ.

— Нѣтъ, оно лучше прохладитъ, да вотъ присяду на скамеечку; а вы гуляйте, за вами вѣдь не угоняешься.

Матрена Тихоновна выпила залпомъ стаканъ желѣзной воды, которою пользовалась по собственному произволу, безъ всякой методы, да и безъ надобности, и подсѣла къ какой-то больной. Ольга и Чолоковъ стали ходить, сначала по галереѣ, а потомъ подъ-руку спустились въ паркъ.

Не знаемъ, о чемъ они говорили, но говорили весело и громко, такъ, однакожь, что разобрать, о чемъ рѣчь была—трудно. На нихъ не обращали особеннаго вниманія, какъ на пару, которую всѣ привыкли уже встрѣчать, хотя иные изъ молодежи, пройдя мимо, и улыбались весьма-насмѣшливо. Встрѣчались имъ и пріѣхавшія изъ Петербурга Терскія—толстая мать, съ худенькой зеленькой дочерью, и только раскланялись. Съ Лысковыми Терскія, пріѣхавшія послѣ, не знакомились домами, считая ихъ ниже себя, и обращались съ привѣтливой снисходительностью. Чолоковъ у Терскихъ не бывалъ, потому-что не любилъ ихъ, хотя они и были къ нему, особенно сначала, очень-благосклонны. Чолокову не нравились Терскія—во-первыхъ, за свой покровительствующій съ Лысковыми тонъ, который отзывался высокимъ о себѣ мнѣніемъ, во-вторыхъ—Терскія, дамы втораго круга съ аристократическими претензіями, надоѣли ему и въ Петербургѣ. Но въ Петербургѣ онъ сжился съ этимъ кругомъ,—болѣе: этотъ кругъ былъ ему потребенъ, какъ тамошній сырой и туманный, но все-таки необходимый для дыханія воздухъ. Здѣсь онъ позволилъ себѣ вольность пошалить и понѣжиться въ нѣсколько-низшемъ, но болѣе-балую-

щемъ его кругу, какъ вѣчно-затянутая барышня любитъ походить въ деревнѣ въ блузѣ и безъ корсета. Вѣроятно вслѣдствіе взаимности, и Терскія стали къ Чолокову холоднѣе.

Но вниманіе нашей пары обратилъ на себя одинъ господинъ. Это былъ человѣкъ очень-высокаго роста, съ сильно-выдающимися и крупными чертами лица, въ военномъ сюртукѣ и надвинутой на брови папахѣ, изъ-подъ которой выбивались густые черные волосы. Онъ безпрестаино попадался имъ на встрѣчу и бросалъ то огненный и пожирающій взглядъ на Ольгу, то мрачный на Чолокова. Чолоковъ, въ свою очередь, также попробовалъ отвѣтить пристальнымъ и холодно-удивленнымъ взглядомъ; но какъ это не произвело рѣшительно никакого усмиряющаго вліянія, а, напротивъ, господинъ въ папахѣ началъ смотрѣть на Чолокова еще свирѣпѣе, то Алексѣй Николаевичъ и принялъ видъ, какъ-будто не замѣчаетъ его. Ольгу, однакожь, смущала нѣсколько эта встрѣча. Она и прежде часто замѣчала за собой длинную тѣнь незнакомца, но никогда онъ не принималъ такого мрачнаго характера.

— Кто этотъ господинъ? спросила Ольга.

— Право не знаю, отвѣчалъ Чолоковъ—здѣсь такъ ихъ много.

— Но отчего онъ такъ непріятно и пристально смотритъ?

— Очень-просто: онъ въ васъ влюбленъ.

— Какой вздоръ!

— Отчего же вздоръ?

— Зачѣмъ предполагать у него такой дурной вкусъ....

— Какъ у меня, тихо прибавилъ Чолоковъ смѣясь, и слегка прижалъ локоть руки, на которомъ довѣрчиво лежала рука его дамы.

Ольга не отвѣчала, но румянецъ ярче заигралъ на ея развеселившемся личикѣ.

Больные и прогуливающіеся стали возвращаться къ квартирамъ; наша пара зашла за снисходительной Матреной Тихоновной, и всѣ пошли обратно.

Весело разговаривая, они лѣниво спускались и поднимались по волнующейся аллеѣ, какъ вдругъ на поворотѣ имъ попался запыхавшійся и торопливо-поднимающійся въ гору князь Мухрубакаевъ. Волосы у него пристали ко лбу, лицо, и безъ того довольно-красное, раскраснѣлось еще болѣе; онъ усталъ и задыхался.

— Князь! куда это вы? спросилъ Чолоковъ.

— Какъ куда? на воды! отвѣчалъ князь нѣсколько смутившись, и кланяясь Ольгѣ.

— Опоздали немного! продолжалъ Чолоковъ, подсмѣиваясь.

— Что прикажете дѣлать! Разбойникъ Ванька вѣчно проспитъ и не разбудитъ во-время.

— Надо бы самимъ позаботиться, князь, сказала Ольга:—иначе вы рискуете всегда опаздывать.

Мухрубакаевъ смутился еще болѣе, но на его счастье, или несчастье, подошли Терскія, шедшія сзади. Терская мать, переваливаясь, опиралась на руку худенькаго сѣдаго старичка, носившаго въ семъ воинственномъ краѣ названіе штатскаго полковника. Дочь шла одна.

— Князь! въ наказанье за то, что вы опаздываете, дайте мнѣ руку, сказала она:—я устала.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, сказалъ князь, благодаря своей тучности, уставшій не менѣе дѣвицы Терской.

И онъ подставилъ свой локоть, употребивъ съ своей стороны всѣ зависящія средства, чтобы улыбнуться.

Пары разрознились и пошли далѣе. Незнакомецъ въ папахѣ продолжалъ свои преслѣдованія. Онъ обгонялъ нѣсколько разъ Ольгу и Чолокова; зайдя впередъ, садился на скамейку, выжидалъ ихъ прохода и снова перегонялъ.

— Придете читать сегодня послѣ обѣда? спросилъ по-французски Чолоковъ Ольгу, когда довелъ ее до дома.

— Нѣтъ, я поѣду верхомъ.

— Полноте, что за ѣзда! жарко! сказалъ Чолоковъ, небольшой охотникъ до казачьихъ лошадей.

— Ну, вы оставайтесь, смѣясь отвѣчала Ольга.

— Приходите лучше читать.

— А вамъ хочется?

— Очень! придете?

Ольга немножко пококетничала, улыбнулась и кивнула головкой. Чолоковъ пожалъ ей руку на прощаньѣ, дружески поклонился ничего-непонимавшей, но много смекавшей Матренѣ Тихоновнѣ, и они разстались.

—

Время до обѣда идетъ на водахъ скоро. Послѣ прогулки маренковый кофе и маленькое отдохновеніе, потомъ ванна, а тамъ, часу въ первомъ или во второмъ, и обѣдъ.

Около полудня описываемаго нами дня, Алексѣй Николаевичъ, освѣженный недавней ванной, подъ палящимъ зноемъ лучей, лѣниво переходилъ, играя тросточкой, песчаную площадку, отдѣляющую нумера отъ гостинницы.

Несмотря на полный костюмъ изъ лѣтней матеріи, который устроенъ былъ такъ артистически—легко и свободно, что представлялъ, какъ итальянская вилла, всѣ удобства для вентиляціи, несмотря на откинутые воротнички и галстухъ въ видѣ ленточки, повязанный такъ, что не знаешь, зачѣмъ онъ повязанъ, несмотря на то, что все платье Чолокова сидѣло такъ, какъ-будто оно совсѣмъ не сидѣло, а только исполняло должность листочка на древнихъ статуяхъ, Алексѣй Николаевичъ съ удовольствіемъ вошелъ подъ галерею гостинницы и потомъ въ общія комнаты.

Въ небольшой залѣ за большимъ столомъ собралось уже много посѣтителей; на первомъ мѣстѣ, въ видѣ предсѣдателя, сидѣлъ князь Мухрубакаевъ. Надобно замѣтить, что съ нѣкотораго времени между княземъ и Чолоковымъ было маленькое разъединеніе. Жили они порознь, но сходясь,

хотя и сохраняли наружную короткость, но внутренно князь чувствовалъ смутно какую-то непріязнь къ Чолокову, которая выражалась довольностранно: князю было неловко; онъ чувствовалъ себя связаннымъ въ присутствіи Чолокова и, вмѣстѣ, подчиненнымъ ему. Чолоковъ ясно видѣлъ и очень-хорошо понималъ причину: князю не нравились отношенія его къ Ольгѣ, а между тѣмъ онъ, не будучи сначала откровеннымъ съ Чолоковымъ, не имѣлъ права обвинять его. Чолоковъ, съ своей стороны, напротивъ былъ очень-милъ и спокоенъ съ княземъ, и, повидимому, дѣйствовалъ совершенночисто въ-отношеніи къ нему, хотя сознавалъ легко выгоды своего положенія, отдавалъ должную справедливость макіавелизму своей тактики и язвительно въ глубинѣ души подсмѣивался надъ княземъ.

Князь былъ обставленъ бутылками и апетитно ѣлъ. Увидя Чолокова, онъ торопливо поздоровался съ нимъ и еще глубже сосредоточился на обѣдѣ.

На другомъ концѣ стола сидѣлъ одинъ изъ мелкихъ кавказскихъ львовъ, по фамиліи Терепентѣевъ; онъ сначала служилъ въ уланахъ, потомъ перешелъ на Кавказъ и тамъ акклиматизировался. Вкусивъ сладость черкесскаго костюма, онъ пристрастился къ нему и дошелъ по этой части до нѣкотораго рода дендизма: носилъ черкеску верблюжьяго сукна красноватаго отлива, очень-живописную на смугломъ и оборванномъ джигитѣ, а не въ гостиной на худенькомъ блондинѣ; ходилъ постоянно въ чевякахъ, которые, за неимѣніемъ подошвы, ловки для стремени, но нестерпимы на камняхъ, и даже въ лѣтній зной держалъ голову въ папахѣ, несмотря на то, что она не обладаетъ азіатскимъ преимуществомъ быть выбритой, какъ нашъ подбородокъ.

Впрочемъ, Терепентѣевъ былъ добрый малый, но не безъ тонкости, что̀ и любилъ при случаѣ выказать; имѣлъ вѣжливыя и деликатныя манеры, зло ухаживалъ за барынями средней руки и пользовался репутаціей маленькаго Ловласа. Онъ встрѣчался съ Чолоковымъ въ Пятигорскѣ и, замѣтивъ, что тотъ человѣкъ порядочный и, по его выраженію, носу не вздергиваетъ, питалъ къ нему расположеніе и даже съ своей стороны заискивалъ его.

Чолоковъ былъ встрѣченъ восклицаніями, доказывающими нѣкоторое къ нему расположеніе общества.

— Алексѣй Николаичъ! А, Алексѣй Николаичъ! Вотъ и Алексѣй Николаичъ! послышалось съ разныхъ сторонъ.

— Здравствуйте, Алексѣй Николаичъ, сказалъ въ свою очередь вкрадчивымъ голосомъ Терепентѣевъ, привставъ и протягивая Чолокову руку.

— А! М-г Терепентѣевъ! воскликнулъ въ свою очередь Чолоковъ. — Вы къ намъ въ гости?

— Нѣтъ, совсѣмъ! Возьму здѣсь маленькій курсъ водъ. Садитесь ка сюда.

Окружающіе собесѣдники, зная похвальную привычку Чолокова пить хорошее вино и еще болѣе похвальную—подчивать имъ сосѣдей, съ удовольствіемъ раздвинулись.

Чолоковъ усѣлся, просмотрѣлъ карту обѣда, сдѣлалъ основательныя, но снисходительныя замѣчанія на составъ ея, и спросилъ обѣдать.

— Что̀, много у васъ здѣсь хорошенькихъ? спросилъ Терепентѣевъ.

— Немного, а есть.

— Ольга Лыскова, напримѣръ? Вѣдь не дурна-съ.

— Очень, сказалъ Чолоковъ самымъ равнодушнымъ голосомъ.

— Какъ очень! Просто прелесть! Ну, а что князь съ ней? По прежнему таетъ и не можетъ рѣшиться на предложеніе?

— Развѣ онъ намѣренъ сдѣлать его?

— Какъ же! Вы не знаете? Вотъ ужь съ годъ, какъ только и бредитъ Ольгой Лысковой; и жениться бы не прочь, да робость нашла. Не можетъ сдѣлать предложеніе—да и баста!

— Я въ первый разъ слышу, сказалъ Чолоковъ.

— А! такъ вы еще ничего не знаете! Хотите шампанскаго?

— Благодарю васъ; мнѣ оно запрещено теперь.

— Ну, это доктора пустяки говорятъ: шампанское никогда не вредно. Да дѣло не въ томъ. Я вамъ покажу фокусъ, который мы съ княземъ часто въ Тифлисѣ дѣлаемъ.

Обѣдъ приближался къ концу. Многіе изъ участвовавшихъ уже кончили свой и вышли изъ-за стола. Мѣста рѣдѣли и только на концѣ остался еще князь Мухрубакаевъ.

— Ваше сіятельство, сказалъ Терепентѣевъ съ фамильярностью, незабывающей, однакожь, ранга:— ваше сіятельство, мы съ Алексѣемъ Николаичемъ пьемъ здоровье *ея*.

И Терепентѣевъ поднялъ пустой стаканъ.

— Ну! ну! полно! сказалъ князь, нѣсколько смущенный вмѣшательствомъ Чолокова.

— Нѣтъ, ваше сіятельство, какъ хотите, мы пьемъ здоровье *ея*. Вамъ не угодно съ нами участвовать?

Въ душѣ Мухрубакаева произошла, кажется, маленькая борьба, которой онъ не выдержалъ.

— Что жъ, не водой же пить, сказалъ онъ, прикрывая свое паденіе наружной суровостью. — Человѣкъ! дай шампанскаго!

— Ну вотъ я узнаю ваше сіятельство, продолжалъ Терепентѣевъ:—а ужь я думалъ, что вы измѣнили!

Вскорѣ вино было подано. Терепентѣевъ всталъ съ своимъ стаканомъ и, подмигнувъ, сказалъ вполголоса Чолокову:

— Пойдемте къ нему!

Чолокова начинала интересовать эта продѣлка. Они подошли къ князю, чокнулись стаканами и усѣлись около него. Близко никого не было; бесѣда принимала дружескій характеръ.

— Послушайте, ваше сіятельство, сказалъ Терепентѣевъ, осушивъ свой стаканъ: — что жъ, въ

самомъ дѣлѣ, зачѣмъ дѣло стало? Отчего вы не женитесь?

— Да отвяжись пожалуйста, вотъ пристала! Ну, женись самъ, коли нравится! сказалъ князь сурово.— Эй! дай еще вина!

— Гдѣ намъ жениться, ваше сіятельство, на такихъ красавицахъ! на насъ и не смотрятъ; а вотъ вы такъ—другое дѣло: вамъ, ваше сіятельство, отказа ужь не будетъ. Вамъ только слово сказать, такъ за васъ, ваше сіятельство, не только молодая, да сама старуха отъ живаго мужа пойдетъ.

— Слышите, что̀ напѣваетъ! сказалъ князь Чолокову, кивнувъ на Терепентѣева головой.

— Что жь, М-г Терепентѣевъ правъ! отвѣчалъ Чолоковъ:—было бы только желаніе, а вамъ, конечно, отказа бояться нѣчего.

— Вы думаете? спросилъ князь, изподлобья и недовѣрчиво поглядывая на Чолокова:—родители, положимъ, такъ, а молодая-то особа что̀ скажетъ—а?

— Что жь молодая особа! Я не такъ коротко знакомъ съ ней, чтобъ знать ея расположеніе къ вамъ, сказалъ Чолоковъ, стараясь казаться серьёзнымъ:—и судить о ея вкусѣ; но не думаю, чтобъ онъ у нея былъ дуренъ, и вамъ, князь, сомнѣваться, по-моему, нѣчего.

Князь еще посмотрѣлъ на Чолокова, но тотъ отвѣчалъ ему такимъ свѣтлымъ и невиннымъ взглядомъ, что Мухрубакаевъ вдругъ ухмыльнулся и просіялъ, какъ-будто какая-то тревожная мысль отлетѣла отъ него.

— Хорошо вамъ толковать! сказалъ князь, развеселившись.—Гм! Человѣкъ, дай вина! Се бонъ пуръ л'эстома!

— Оно такъ! Се бонъ, ваше сіятельство, возразилъ Терепентѣевъ:—да вотъ это не бонъ, что нерѣшительны вы очень. А вѣдь Лысковы-то отсюда въ деревню уѣдутъ: смотрите, не пропустите случая.

— Ну! ну! хорошо! Объ этомъ послѣ потолкуемъ, сказалъ князь, нежелавшій разстроивать своего счастливаго расположенія.—А теперь выпьемъ еще здоровье ея! Человѣкъ, вина! Терепентѣевъ, а вѣдь хороша, чортъ возьми!

— Какъ хороша! Этакъ про нее выражаться нельзя, ваше сіятельство. Это значитъ обижать ее; по-моему, такъ это прелестнѣйшее созданіе. Это... это просто Калифорнія, ваше сіятельство!

— Ха! ха! ха! Калифорнія, а вѣдь дѣйствительно Калифорнія. Ну, здоровье Калифорніи. Выпьемъ, Алексѣй Николаичъ!

— Не могу, князь, и такъ голова кружится! сказалъ онъ вставая:—я пойду отдохнуть.

— А не можете, какъ хотите; я никогда не подчую насильно. Крапулинскій, хочешь выпить съ нами? сказалъ онъ подвернувшемуся на костыляхъ Крапулинскому.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, ваше сіятельство, отвѣчалъ тотъ.

Чолоковъ, между тѣмъ, взялъ фуражку и вышелъ. Князь Мухрубакаевъ проводилъ его глазами и потомъ сморщилъ носъ и лѣвую щеку такъ выразительно, что это означало весьма-ясно и нѣсколько-презрительно, «что-де не нашего ты поля ягода; хитришь ты, братецъ мой».

Терепентѣевъ и Крапулинскій молча кивнули головой въ отвѣтъ на мину князя.

V.

Чолоковъ, однакожь, не пошелъ домой: онъ сѣлъ на краю площадки, подъ навѣсомъ вѣтвистаго карагача, прислонясь къ нему спиною и вытянувъ ноги по скамейкѣ. Прямо передъ нимъ высилась конусообразная Желѣзная, покрытая сплошнымъ лѣсомъ, сквозь который мѣстами проглядывали нависшіе камни, а на нихъ, иногда, на зарѣ, дикая коза встанетъ недвижнымъ изваяніемъ, рисуясь на тонкихъ ногахъ своей стройной фигурой. Сзади Чолокова былъ склонъ къ оврагу, занятый лѣсомъ. По-лѣвѣе между деревьевъ проглядывали бѣлые домики, изъ которыхъ одинъ былъ занятъ семействомъ Лысковыхъ.

Чолоковъ отдался пріятной лѣни и мечтамъ; глаза его оказывали сильное поползновеніе сомкнуться, но закуренная сигара отгоняла сонъ и оставляла мѣсто только легкой нѣгѣ. Вдругъ внизу, на скатѣ, послышались голоса.

— Куда это вы, Прасковья Ивановна? спросилъ мужской голосъ.

— А для барышни воды зачерпнуть. Здравствуйте, Ѳедоръ Иванычъ! отвѣчалъ женскій.

— А можно маленечко повременить?

— Нѣтъ, теперь нѣкогда.

— А отчего же нѣкогда?

— Пусти, Ѳедя! барышня ждетъ.

— А пусть ее подождетъ, велика важность! *Мой* ждалъ же меня этто цѣлый часъ.

— Ну, убирайся, говорятъ тебѣ.

— Да что ты расфуфырилась больно и дотронуться нельзя? Коль я тепереча тебѣ, дурѣ, вниманье дѣлаю...

— Пусти, Ѳедька! Женитесь прежде съ барномъ-то на насъ, да тогда ужь и распоряжайтесь.

— А зачѣмъ жениться, коль насъ и такъ любятъ?

Въ отвѣтъ на это самодовольное замѣчаніе послышался плескъ воды.

— Пашка, сумасшедшая, что ты...

— А вотъ тебѣ, больно расхвастался! а ты орѣхи-то грызи, да скорлупки прячь.

— Паша, да подожди... а ужо?.. Пашка... Ушла! Ахъ ты вертихвостка этакая! Ну, попадешься же ты мнѣ...

Вдали послышался только шелестъ платья между деревьями и мужской голосъ перешелъ въ неясную ворчливость.

Алексѣй Николаевичъ узналъ въ разговарива-

ющихъ своего камердинера и горничную Ольги, и остался очень-доволенъ слышаннымъ разговоромъ, а въ-особенности замѣчаніемъ своего слуги. Онъ чувствовалъ себя немножко дон-Хуаномъ, котораго понимаетъ его Лепорелло.

Чолоковъ нѣсколько времени еще понѣжился, потомъ зашелъ домой, взялъ какую-то книгу и отправился въ паркъ. Шелъ онъ довольно-медленно для человѣка, идущаго на трепетное свиданье; но еслибъ ему помѣшалъ кто-нибудь, онъ остался бы очень-недоволенъ. Онъ былъ въ положеніи недавно-позавтракавшаго господина, который, однако, подумываетъ, чего бы поѣсть за обѣдомъ. Я знаю, что въ настоящую минуту герой мой начинаетъ навлекать на себя гнѣвъ многихъ добродѣтельныхъ читателей, а особенно читательницъ, и они готовы уже видѣть въ немъ или коварнаго обольстителя, готоваго воспользоваться чувствами неопытной дѣвочки, или—что менѣе-ужасно, но не менѣе возмущаетъ ихъ—еще какого-нибудь новаго Печорина, сбирающагося отъ нечего дѣлать поиграть невиннымъ сердцемъ и даже съѣсть его (въ переносномъ смыслѣ), не утоливъ, второй вампиръ, своего ненасытнаго аппетита.

Такое мнѣніе, смѣю увѣрить моихъ читателей и читательницъ, будетъ весьма преждевременнымъ и, если позволятъ мнѣ такъ выразиться, отзовется незрѣлостью сужденій. Нѣтъ! Алексѣй Николаевичъ мой не былъ ни Ловласъ, ни Печоринъ; онъ былъ просто Алексѣй Николаевичъ; онъ даже отнюдь не былъ герой въ смыслѣ этого слова, и я только по необходимости называю его *моимъ* героемъ; онъ былъ самый простой и обыкновенный смертный, не герой, а человѣкъ, какъ вы и я и всѣ, и еще въ добавокъ очень-порядочный человѣкъ; а порядочный человѣкъ, какъ извѣстно, не уронивъ себя, не можетъ быть героемъ, точно такъ, какъ всѣ герои были болѣе или менѣе люди, можетъ-быть и великіе, но несовсѣмъ порядочные.

Чолокову очень нравилась Ольга, даже болѣе: онъ любилъ ее. Но Алексѣй Николаевичъ былъ не идеалистъ, хотя и несовсѣмъ положительный человѣкъ; онъ не былъ фразёръ и боялся смѣшной стороны увлеченій. Съ этой точки зрѣнія онъ былъ отчасти правъ, потому-что нѣтъ ничего смѣшнѣе для холоднаго взгляда, какъ разнѣжившаяся отъ теплыхъ ощущеній физіономія, а мрачныя или горячія чувства даются немногимъ и, еще менѣе въ наше время чернаго фрака и длиннаго пальто, къ немногимъ идутъ. Можно было бы сказать, что Чолоковъ страдалъ общей болѣзнью больныхъ организмовъ нашего времени: желаніемъ примирить тонкія требованія идеализма съ положительными удобствами матеріализма, или, пожалуй, просто комфорта; но дѣло въ томъ, что Чолоковъ, къ-счастью своему, или несчастью, вовсе не страдалъ и не расположенъ былъ страдать ни нервами, ни анализомъ, ни какими бы то ни было требованіями. Онъ былъ очень-здоровъ и чувствовалъ себя прекрасно со всей грубостью и пошлостью здороваго, какъ молодой здоровый бычокъ, человѣка. Онъ увидалъ свѣженькую, хорошенькую, съ горячимъ отливомъ щекъ и волосъ Ольгу, и она понравилась его глазамъ. Онъ заговорилъ съ ней, и ея веселый, игривый, еще неиспорченный ни провинціальностью, ни столичностью умъ и манеры понравились его уму и взгляду. Нѣжная и тонкая поэзія семнадцати лѣтъ, которая, какъ атмосфера, окружаетъ до поры нѣкоторыя созданія, коснулась его среди поэзіи вѣчно-угрюмыхъ и голыхъ скалъ, въ теченіе тысячелѣтій погруженныхъ въ какую-то холодную безвыходную печаль, и сердце Чолокова зашевелилось, и въ немъ затлѣлся тотъ огонекъ, который Прометей, прикованный за воровство, какъ говоритъ преданіе, тутъ же, неподалеку отъ Ларса, къ одной изъ кавказскихъ скалъ, укралъ для насъ грѣшныхъ—доказательство, что у Чолокова еще было сердце. Правда, за малымъ ли количествомъ удобовозгараемыхъ матеріаловъ, или по случаю сырости отчасти лимфатическаго темперамента Чолокова, огонь не разгорался до громадныхъ размѣровъ пожара, и, смѣю думать, хорошо сдѣлалъ, но, могу увѣрить, этотъ огонь былъ сильнѣе тлѣющаго фитиля благовонной курильницы или огнивки для зажиганія сигаръ: онъ какъ разъ доходилъ до прекрасныхъ размѣровъ тихаго огонька въ каминѣ, поддерживающаго пріятную теплоту и разливающаго вокругъ розовый свѣтъ, хотя, какъ говорятъ, и располагающаго къ простудѣ и ревматизмамъ.

Да, Алексѣй Николаевичъ любилъ и, въ качествѣ человѣка, несвязывающаго себя узкими предразсудками, не видалъ причины, почему не любить ему. Онъ отдался влекущему его чувству, и безъ тревогъ и препятствія мирно плылъ съ нимъ, какъ по тихому теченію. Все шло легко и удобно въ его безгрѣшной любви, и ему даже было немножко скучно, что все такъ гладко идетъ. Но, съ смиреніемъ мудреца, онъ терпѣливо несъ бремя счастія и имѣлъ воздержность даже не роптать на него.

Такимъ образомъ шелъ Алексѣй Николаевичъ на условное мѣсто встрѣчи и совершенно-невинно навлекъ на себя, какъ полагаю, и осужденіе многихъ читателей и читательницъ.

Я отчасти согласенъ съ ними, что крайне досадно, какъ въ повѣсти, такъ еще болѣе въ жизни, встрѣчать господина, очень-довольнаго судьбой и идущаго на свиданіе, если мы имѣемъ причины быть недовольными судьбой и нейдти на свиданье. Я согласенъ также съ ними, что весьма-пріятно и даже отрадно назвать такого господина пошлякомъ, незаслуживающимъ своего счастья, или дать ему другое, неменѣе лестное прилагательное, или, наконецъ, презрительно отозваться и о самомъ его счастіи: послѣ этого какъ-то легче переваривается чужой успѣхъ. Мнѣ бы ничего не стоило немедленно же, для собственнаго и читателей моихъ удовольствія, выставить Алексѣя Николаевича безнравственнымъ человѣкомъ, фатомъ, пошля-

комъ, однимъ-словомъ, уязвить его всей тонкостью моего пера, на сколько она ему свойственна, и предать его общему посмѣянію, говоря свѣтскимъ языкомъ, наиперфиднѣйшимъ манеромъ; но добросовѣстность выше всего, и, къ крайнему сожалѣнію, я долженъ отказаться отъ этого удовольствія. Надобно признаться, что Алексѣй Николаевичъ велъ себя до-сихъ-поръ довольно-порядочно. Гордился онъ своимъ успѣхомъ только въ глубинѣ души; и если самодовольство проглядывало нѣсколько въ его физіономіи, то это только потому, что свыше человѣческихъ силъ совладѣть съ самодовольствіемъ физіономіи. Глумился онъ надъ соперникомъ-княземъ весьма-умѣренно, и, можетъ-быть, за отсутствіемъ пріятелей, но никому по секрету не сообщалъ о своихъ успѣхахъ. Итакъ иди съ миромъ, Алексѣй Николаевичъ, на условное мѣсто встрѣчи: я не мѣшаю тебѣ, простираю даже свое великодушіе до того, что позволяю тебѣ тихо насладиться имъ и только изъ чистой любознательности и склонности къ невиннымъ наслажденіямъ подобнаго рода позволяю себѣ посмотрѣть, какъ вы тамъ съ Ольгой Семеновной занимаетесь литературой.

На вершинѣ уединеннаго пригорка, возвышающагося въ самой глубинѣ парка и густо обросшаго лѣсомъ, есть площадка; на этой площадкѣ, укрывшись подъ тѣнь древесъ на скамейку, сидитъ уважаемая и въ свое время тоже, должно полагать, большая любительница чтенія Матрена Тихоновна, съ какимъ-то вязаньемъ въ рукахъ. Она и вяжетъ и не вяжетъ, а болѣе всего, говоря вульгарно, удитъ рыбу, или клюетъ носомъ, то-есть дремлетъ. Подалѣе, надъ самымъ обрывомъ и внѣ пытливыхъ, хотя и дремлющихъ глазъ, Чолоковъ и Ольга помѣстились рядомъ. Огромная долина, вся покрытая густой и цвѣтущей растительностью, стелется далеко внизу передъ ними и замыкается возвышенностью, надъ которой приподнимается голая Лысая и сѣрноводный Машукъ. Солнце жжетъ ее немилосердо и вся она изнываетъ и замираетъ подъ его лучами. Влѣво чуть видѣнъ аулъ, бѣлѣется шотландская колонія, обсаженная стройными раинами; мѣстами соленое озеро тускло свѣтится мертвой водой; иногда всадникъ, въ черкесской одеждѣ, можетъ, казакъ, можетъ, кабардинецъ, или скрипучая арба лѣниво двигаются по извивающейся дорогѣ, до половины закрытые травой, или кустами; омнибусъ шестерикомъ съ пестрыми сѣдоками проскачетъ изъ Желѣзной въ Пятигорскъ. Ольга и Чолоковъ сидятъ близко подъ густою тѣнью, на каменистомъ обрывѣ; возлѣ нихъ мирно лежитъ какая-то закрытая книжечка: они давно ужь не читаютъ болѣе...

Звуки музыки, долетѣвшіе до слуха Ольги и Чолокова, прервали ихъ интересное чтеніе, чтеніе вѣчно новой, занимательной и никогда не исчитываемой книги, подъ заглавіемъ *Любовь*. Наша чета встала; но вдругъ шорохъ въ кустахъ пониже площадки привлекъ ихъ вниманіе; они осмотрѣлись, но никого не было; не обративъ на него вниманіе, они мирно разошлись, чтобъ сойтись вновь на прогулкѣ.

Въ началѣ парка, передъ клѣтчатой деревянной галереей, игралъ, пообыкновенію, полковой оркестръ. Пестрая толпа посѣтителей разсыпалась по аллеямъ и между группъ высокихъ деревьевъ, составляя самыя живыя, разнохарактерныя группы; солнце начинало садиться, обливая розовымъ свѣтомъ и Бештау, и скалистый край Желѣзной, и ложбину между ними, на которой бѣлѣлся маленькій Желѣзноводскъ. Вскорѣ къ гуляющимъ присоединился и Чолоковъ, а немного погодя — и семейство Лысковыхъ, за исключеніемъ больнаго старика.

Чолоковъ попрежнему переносилъ свое пріятное положеніе весьма-прилично, и съ тою воздержною скромностью, сквозь которую умѣренно просвѣчиваетъ маленькое самодовольство.

Съ Лысковыми онъ ходилъ не болѣе чѣмъ съ другими, и старался не подавать повода къ толкамъ и сплетнямъ; но толки и сплетни, то-есть тонкія и подъ-часъ очень-вѣрныя замѣчанія, которыя мы клеймимъ этимъ именемъ, когда они намъ непріятны, слѣдили ужь за нимъ неотвязчивымъ окомъ, точь-въ-точь, какъ утренній незнакомецъ въ папахѣ, продолжавшій и вечеромъ съ безстѣнчивою откровенностью свое прежнее занятіе. Князь Мухрубакаевъ вертѣлся около Лысковыхъ съ настойчивостью и сомнѣніемъ бабочки вокругъ огонька, но какъ-то случалось, что все попадался въ общество Терскихъ, какъ муха въ искусно-развѣшанную паутину. Одинъ только Крапулинскій, всегда суетливый, былъ суетливѣе и озабоченнѣе обыкновеннаго; онъ таинственно говорилъ о чемъ-то съ Терепентѣевымъ, имѣлъ совѣщаніе даже съ мрачнымъ незнакомцемъ въ папахѣ, и увивался, ловко подпрыгивая на костыляхъ, около Чолокова, но не успѣлъ ничего сообщить ему, потому-что тотъ не обращалъ никакого вниманія на его эволюціи. Когда южныя сумерки начали быстро темнѣть, музыка смолкла и гуляющіе стали расходиться.

— Князь, приходите къ намъ чай пить, сказала дѣвица Терская.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, поспѣшно отвѣчалъ князь, хотя его кинуло даже въ жаръ отъ этого приглашенія.

— А вы, М-г Чолоковъ, сдѣлаете намъ удовольствіе? продолжала дѣвица Терская, обратившись къ близь-стоявшему Алексѣю Николаевичу, на французскомъ діалектѣ.

— Очень вамъ благодаренъ; но я ужь далъ слово Лысковымъ, сказалъ Чолоковъ, и бѣднаго князя кинуло въ ознобъ.

Дѣвица Терская отвернулась, сдѣлала какую-то весьма ѣдкую, и даже презрительную гримасу, взяла подъ-руку князя Мухрубакаева и увлекла его.

Чолоковъ улыбнулся и направилъ стопы къ дому Лысковыхъ, но его догналъ Терепентѣевъ.

— Куда вы теперь? сказалъ Терепентѣевъ съ дружеской почтительностью Чолокову.

— Къ Лысковымъ, отвѣчалъ Чолоковъ, стараясь какъ можно проще и безвыразительнѣе произнести эту фамилію.

— Мнѣ нужно сказать вамъ нѣсколько словъ, Алексѣй Николаичъ, продолжалъ Терепентѣевъ и очень-ловко и мягко пропустилъ свою руку подъ локоть Чолокова.

— Сдѣлайте одолженіе, я къ вашимъ услугамъ, отвѣчалъ Чолоковъ.

— Вотъ видите ли: давеча я позволилъ себѣ пошутить надъ княземъ, началъ Терепентѣевъ:— мы это съ нимъ часто дѣлали, у насъ не секретъ его склонность къ Ольгѣ Семеновнѣ. Бывало, въ отрядѣ, или гдѣ тамъ случится, коли кто захочетъ выпить, только скажетъ: «князь! здоровье *ея*!» Князь ужь непремѣнно велитъ подать шампанскаго. Такъ я и давеча хотѣлъ показать вамъ эту штуку, чтобъ посмѣяться. Но я, какъ вы знаете, сегодня только пріѣхалъ, и право ничего не зналъ о вашихъ отношеніяхъ къ Ольгѣ Семеновнѣ, иначе никакъ бы не позволилъ себѣ вмѣшивать ея имя... и если это вамъ было непріятно, то ради-Бога извините меня...

— Помилуйте, я рѣшительно не понимаю, чѣмъ ваша шутка могла быть мнѣ непріятна, сказалъ удивленный Чолоковъ: — и о какихъ отношеніяхъ вы говорите. Имя Лысковой, кажется, не было и произнесено, а если и было, то въ такихъ выраженіяхъ, что я, какъ ихъ хорошій знакомый, ничего не могъ тутъ видѣть для нея обиднаго, а другихъ отношеній къ ней у меня нѣтъ, и я право не знаю, что́ вы подразумѣваете подъ ними...

— Послушайте, Алексѣй Николаичъ, я очень-хорошо понимаю вашу деликатность, мягко возразилъ Терепентѣевъ: — и знаю, что вы другаго отвѣта мнѣ не дадите. Я не смѣю напрашиваться на вашу довѣренность, хотя очень бы цѣнилъ ее; —знаю, что еще не заслужилъ на нее никакого права; но съ другой стороны, я такъ дорожу вашимъ добрымъ расположеніемъ, что боялся потерять его по недоразумѣнію, и потому счелъ нужнымъ объяснить вамъ его.

— Да скажите, Бога-ради, про какія отношенія и деликатность вы говорите?

— Ну, ну, полноте, любезнѣйшій Алексѣй Николаичъ! Я дѣйствительно ничего не знаю и не хочу знать, а только желалъ, чтобъ вы не сердились на меня. Вы не сердитесь—ну и прекрасно! весело сказалъ Терепентѣевъ.

— Нѣтъ, послушайте, М-г Терепентѣевъ, тутъ вѣрно есть какой-нибудь глупый слухъ, какая-нибудь сплетня, которые дошли до васъ, и я прошу васъ сказать мнѣ ихъ, отвѣчалъ Чолоковъ довольно-настойчиво, въ-самомъ-дѣлѣ живо затронутый любопытствомъ узнать, до какой степени вѣрно и непріятно угадана истина.

— Да нѣтъ, право жь, я ничего не знаю. Вы говорите, что ничего нѣтъ — и прекрасно, я и убѣжденъ теперь, что точно нѣтъ; и если кто мнѣ скажетъ противное, или самому что померещится, скажу, что вздоръ! съ улыбочкой, уклончиво продолжалъ Терепентѣевъ.

— Нѣтъ, послушайте, Терепентѣевъ, я васъ прошу сказать мнѣ правду. Отъ кого же мнѣ и узнать ее, какъ не отъ васъ? Что́ за секреты между нашей братьи? (О, какъ смиренъ ты, Алексѣй Николаичъ! А что́, еслибъ этотъ твой братъ, въ своемъ шапсугскомъ нарядѣ... протянулъ тебѣ руку въ гостиной графини Б*.) Ну, говорите прямо, что жь меня женятъ на Лысковой, что-ли, или говорятъ, что я волочусь за ней?

— Да, говорятъ, что вы пока ухаживаете, а, можетъ, и женитесь; но я здѣсь такъ недавно, что право ничего больше не слыхалъ и не видалъ.

— Это вѣрно Крапулинскій вамъ навралъ, съ досадой сказалъ Чолоковъ:—охота вамъ слушать этого пустомелю. Я вамъ скажу откровенно, мнѣ Лыскова нравится; но что жь изъ этого? Мало ли кто нравится! я этого и скрывать не хочу; а остальное,—не вѣрьте, все вздоръ.

— О, вѣрю! вѣрю! отвѣчалъ Терепентѣевъ съ тонкой улыбкой, которой иронія, по его справедливому предположенію, не могла быть непріятна Чолокову.

— Нѣтъ, право такъ, не вѣрьте! равнодушно замѣтилъ Чолоковъ:—а этотъ долгозычный Крапулинскій вѣчно сплетничаетъ и мѣшается куда его не спрашиваютъ. До-свиданья!

— До свиданья. А вы куда?

— Я вамъ говорилъ, что къ Лысковымъ.

— Ахъ да! виноватъ, я и забылъ! сказалъ Терепентѣевъ, пожимая Чолокову руку и не очень сдерживая хитрую улыбку.

Несовсѣмъ-довольный слышаннымъ и даже нѣсколько обезпокоенный этимъ объясненіемъ, Чолоковъ пошелъ къ Лысковымъ, и какъ провелъ тамъ время—намъ неизвѣстно. Должно полагать, однако, что непріятное впечатлѣніе сгладилось другими пріятными вещами, потому-что часу въ одинадцатомъ вечера, при яркомъ лунномъ освѣщеніи, Алексѣй Николаевичъ возвращался домой повидимому въ совершенно-пріятномъ и спокойномъ состояніи духа. Тихая улыбка довольства, которую онъ не считалъ нужнымъ скрывать во тмѣ свѣтлой ночи, лежала на лицѣ его, и даже переходила въ какое-то пресыщенное выраженіе, какъ у человѣка, хорошо пообѣдавшаго, которому ужь нѣсколько и тяжело, что онъ очень-хорошо пообѣдалъ. Подходя къ дому и вспоминая проведенный день, Чолоковъ даже зѣвнулъ отъ нѣкотораго избытка счастья, какъ вдругъ (видно ужь такой день объясненій задался ему) предъ нимъ, быстро выскочивъ изъ кустовъ, явился на своихъ костыляхъ Крапулинскій.

— Здравствуйте, Алексѣй Николаичъ! Я, признаться, поджидалъ васъ здѣсь, сказалъ онъ.

— А, Крапулинскій! я радъ, что встрѣтилъ

васъ. Что́ вы тамъ сплетничаете про меня и мои отношенія къ Лысковымъ?

— Я!.. Клянусь вамъ, Алексѣй Николаичъ, я ничего не говорилъ; это вамъ Терепентѣевъ что-нибудь выдумалъ на меня, а я, дай Богъ съ мѣста не сойдти, если я...

— Ну, полноте, не божитесь! Вы сами проговорились про Терепентѣева, а онъ мнѣ и не называлъ васъ, да я самъ догадался.

— Клянусь же вамъ, я ничего не сказалъ; я только такъ, для васъ же, чтобъ не было вамъ непріятно, предупредилъ его. Я вотъ и теперь поджидалъ васъ...

— Зачѣмъ? спросилъ Чолоковъ сухо.

— А вотъ видите ли, Сушкинъ... вы знаете Сушкина? вотъ чорный, высокій въ папахѣ, влюбленъ страстно въ Ольгу Семеновну.

— Не такъ ли же, какъ я, по вашему мнѣнію?

— Ну, не знаю, какъ вы, сказалъ Крапулинскій, замѣтивъ неблагодарный тонъ словъ Чолокова:—не знаю, какъ вы, а онъ не на шутку, до зарѣзу влюбленъ—ужь онъ такой человѣкъ. Надо вамъ сказать, продолжалъ Крапулинскій ужь добродушно, снова увлекаемый болтовней и желаньемъ подслужиться: — я съ Сушкинымъ давно знакомъ, тамъ еще на правомъ флангѣ знавалъ, и табаку иной разъ давалъ ему, такъ онъ отъ меня и здѣсь ничего не скрываетъ. Онъ мнѣ давно говорилъ, что влюбленъ въ Ольгу Семеновну, «какъ увидалъ, говоритъ, въ первый разъ, такъ меня что-то точно въ сердце кольнуло—такъ и запылалъ» говоритъ. Онъ ужь такой бѣдовый человѣкъ, мы его и звали бѣдовымъ, это ужь у него такъ сразу и дѣлается, а послѣ удержу нѣтъ...

— Да какое жь мнѣ дѣло, что вашъ какой нибудь Сушкинъ влюбленъ въ Ольгу Семеновну? сказалъ Чолоковъ сердито:—пусть его любитъ на здоровье... мнѣ-то что́...

— Ну вамъ, коль Сушкинъ правду говоритъ, можетъ и есть что́. Видите ли, онъ давно васъ ревнуетъ, и слѣдитъ за вами, и сегодня... говорилъ мнѣ, видѣлъ...

— Чтожь онъ видѣлъ? вспыхнувъ, спросилъ Чолоковъ.

— То-есть... онъ ничего особеннаго не видалъ, но говоритъ, что у васъ бываютъ свиданья, и что сегодня онъ подсмотрѣлъ, гдѣ вы видаетесь...

— Послушайте! скажите вашему Сушкину, что онъ лжетъ и что ему мерещатся вещи небывалыя, которыхъ онъ не понимаетъ, горячо сказалъ Чолоковъ. — Мы съ Ольгой Семеновной сходимся иногда читать вмѣстѣ—вещь, надѣюсь, очень позволительная сходиться не тайкомъ, а среди бѣлаго дня—и изъ этого секрета не дѣлаемъ; притомъ же Ольга Семеновна ходитъ не одна, а всегда съ Матреной Тихоновной.

— Ну, на счетъ Матрены-то Тихоновны Сушкинъ говоритъ: эта, говоритъ, старая имъ потворствуетъ, я бы, говоритъ, ей ноги обломалъ, да и...

— Что́?..

— Нѣтъ! онъ только говорилъ, что ей бы, говоритъ, съ удовольствіемъ ноги обломалъ.

— Такъ скажите Сушкину, чтобъ онъ не въ свое дѣло не мѣшался. Онъ можетъ любить Лискову, сколько ему угодно, никто ему не запрещаетъ; но если онъ будетъ распускать про нее нелѣпые слухи и они дойдутъ до меня...

— Нѣтъ, онъ никому, онъ только мнѣ это, по дружбѣ! «Я, говоритъ, Ольгу (онъ ее Ольгой зоветъ) — я, говоритъ, ее наподобіе божества чту».

— Ну и пусть его чтитъ; а вы, пожалуйста, никому этихъ сплетней не разсказывайте. Если Сушкинъ, какъ обѣщаетъ, будетъ молчать, а сплетни разгласятся, такъ я буду знать, что это вы...

— Помилуйте, Алексѣй Николаевичъ, за кого вы меня принимаете? обиженно прервалъ Крапулинскій: — я только вамъ желалъ услужить; повѣрьте, изъ чистой привязанности, а чтобъ я кому нибудь... да дай мнѣ Богъ...

— Ну, хорошо! очень вамъ благодаренъ. Такъ, пожалуйста, предупредите Сушкина и посовѣтуйте ему вздору не болтать.

Чолоковъ поклонился и ушелъ, а Крапулинскій остался на мѣстѣ, нѣсколько сконфуженный и недовольный окончаніемъ разговора, отъ котораго онъ, кажется, ожидалъ сближенія съ Чолоковымъ и участія въ его тайнахъ.

Чолоковъ пришелъ домой, раздѣлся, сѣлъ у растворенаго окна, закурилъ сигару, велѣлъ унести свѣчи, и такимъ образомъ при лунномъ свѣтѣ предался размышленіямъ—да, именно размышленіямъ, а не мечтамъ, потому что ему приходилось о многомъ подумать.

Алексѣй Николаевичъ сознался, что онъ исчерпалъ до дна все маленькое содержаніе такъ-называемой чистой любви, и далѣе по этому пути идти было некуда, а стоять на немъ скучно. Онъ не былъ идеалистъ, чтобъ пуститься въ безвыходное море отвлеченной любви и наслаждаться всѣми ея психическими тонкостями и ощущеніями; да такихъ идеалистовъ, которые бы, какъ говорится, не зарапортовались, прошли насквозь этотъ путь и пристали въ тихую пристань, сколько мнѣ извѣстно, врядъ ли въ наше время и существуетъ. Да! Алексѣй Николаевичъ не былъ рыцаремъ Тогенбургомъ и не чувствовалъ къ его занятію призванія; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ достаточно порядочный человѣкъ, чтобъ недопустить даже мысль о возможности воспользоваться неопытностью и увлеченіемъ дѣвочки въ положеніи Ольги.

Можно было бы еще, пожалуй, остаться нѣкоторое время на настоящемъ положеніи и хоть искусственнымъ образомъ поддержать его, но Чолоковъ чувствовалъ, что ему самому будетъ скучно это положеніе. Начинающіеся слухи — хотя Чолоковъ и былъ доволенъ пока, что ихъ утишилъ, какъ казалось, довольно удачно — начинали его безпокоить и обѣщали въ будущемъ непріятныя мелочи; къ тому же неумолимая потребность но-

ваго, потребность, по которой мы не можемъ остановиться даже на самой, по нашему мнѣнію, блаженной точкѣ, и все хотимъ идти далѣе и далѣе, какъ хлыстъ подгоняла его, и онъ долженъ былъ двинуться впередъ или назадъ. Впередъ—значитъ жениться. Назадъ — отказаться отъ Ольги, отступить съ честью и утѣшать себя этимъ — плохое утѣшеніе!

Жениться! гм! жениться, прекрасно это, безспорно; но женитьба, господа, въ наше время вещь великая, и надо много, глубоко и съ тысячи сторонъ обсудить этотъ шагъ прежде, нежели рѣшиться на него; и Чолоковъ, какъ человѣкъ современный, хорошо понимаетъ это. Пожалуй, можно тоже жениться вовсе не обсуживая, а такъ, окунуться, очертя голову — да и баста! а тамъ, что будетъ. Но жениться, очертя голову, хотя иным счастливцамъ и удается болѣе или менѣе.. было не въ духѣ Чолокова. Его голова была не такъ устроена и онъ слишкомъ заботился объ этомъ полезномъ членѣ, чтобъ рисковать имъ на авось. Съ другой стороны—оставить Ольгу... Но какъ же оставить? Вѣдь онъ ее любилъ; какъ и на сколько любилъ, мы этого не знаемъ, но онъ любилъ ее. Легко это сдѣлать, если любовь находится въ степени игрушки: ну, поигралъ, да и бросилъ; а съ иной и игрушкой, которая тѣшитъ и занимаетъ насъ, не легко разстаться; пожалуй, вѣдь и самое счастье, не глубоко взятое—игрушка, насъ потѣшающая... Но если любовь, начатая, положимъ, необдуманно, безцѣльно и легкомысленно, развилась до искренняго чувства и приходится самому наложить руки на это задушевное, еще полное жизни чувство, чтобъ оно умерло, какъ безплодный звукъ, какъ капля дождя, упавшая въ воду, или задавленное жило въ васъ и червякомъ ѣло и гомозилось въ сердцѣ... Развѣ это легко, господа?..

Чолоковъ сидѣлъ въ сильномъ раздумьѣ, и, сказать правду, было о чемъ ему и подумать. До сихъ поръ онъ шелъ той общей тропкой, которой начинаются многія вещи несовсѣмъ дурныя и несовсѣмъ хорошія, съ которой еще можно повернуть направо и повернуть налѣво. Но теперь онъ стоялъ на раздорожьѣ. Еще шагъ—а шагъ надо сдѣлать—и совершенъ *поступокъ*. Нравственный судъ начинается надъ нимъ, и поступокъ, какъ неумолимый фактъ, какъ ножъ, долженъ взрѣзать грудь его и показать намъ, что тамъ внутри этого человѣка, металлъ ли, изъ котораго выковываются болѣе или менѣе полезныя и благородныя вещи, или пустая и дрянная пыль, которая иногда мимоходомъ бросается вамъ въ носъ и глаза, когда мчитесь вы на конѣ по густому, заросшему лугу, и вдругъ кованая нога скакуна ударитъ въ бѣлый раздувшійся дождевикъ...

Да еще, полно, и чувствовалъ ли Алексѣй Николаевичъ лезвіе этого ножа, поступка, на груди своей?.. Многіе ли чувствуютъ и боятся его?

Не знаю, чувствовалъ ли или не чувствовалъ Алексѣй Николаевичъ, и въ какую сторону клонились его думы, но онъ думалъ немало, думалъ столько, что половина его сигары превратилась въ дымъ и пепелъ. Вдругъ лицо его прояснилось и приняло довольное выраженіе человѣка, очень счастливо разрѣшившаго трудную задачу, даже болѣе — математика, совершенно неожиданно открывшаго третій корень въ уравненіи второй степени. Алексѣй Николаевичъ пересталъ тереть лобъ, смотрѣть въ одну точку и пускать густые и густые пуфы дыма; онъ высунулся изъ окошка, осмотрѣлся кругомъ и, со вкусомъ наслаждаясь благовоннымъ дымомъ сигары, пускалъ его разсчетливой и тонкой струей.

А ночь была чудная! Мѣсяцъ свѣтилъ ярко; высокія липы и карагачъ прямо у окошекъ дремотно стояли подъ его ласкающимъ свѣтомъ; изломанный гребень Бештау ясно рисовался въ синемъ небѣ и съ горныхъ высотъ вѣяло какой-то чистой, освѣжительной прохладой. Только что это дикая коза такъ несносно и жалобно кричитъ сегодня цѣлую ночь на Желѣзной?..

VI.

Утромъ, на другой день, всѣ обычные посѣтители сошлись въ свое время къ своимъ ключамъ. Въ числѣ ихъ пришли, по обыкновенію, и Чолоковъ и Ольга съ Матреной Тихоновной. Обращеніе ихъ тоже не измѣнилось, только Чолоковъ былъ какъ-то разсѣяннѣе и Ольга какъ будто замѣтила это и была къ нему добрѣе и любезнѣе. Передъ тѣмъ, какъ расходиться, Ольга спросила Чолокова:

— Чтожь, мы сегодня поѣдемъ верхомъ, или опять вы захотите *читать?* и на словѣ «читать» она, раскраснѣвшись, сдѣлала легкое удареніе.

— Нѣтъ, мнѣ нужно серьезно поговорить съ вами: по за нами подсматриваютъ. Будьте послѣ обѣда однѣ внизу, на скамейкѣ, возлѣ вашего дома. Тамъ намъ никто не помѣшаетъ; если и увидятъ, то это не возбудитъ никакихъ толковъ. Будете?

— Хорошо! тихо сказала Ольга, и Богъ вѣсть отчего смутилась.

Часу въ четвертомъ послѣ обѣда, Ольга вышла изъ своего домика подъ горою и, повернувъ налѣво, сѣла въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него на скамейку. Мѣсто было дѣйствительно хорошо выбрано для свиданья; съ горы его не было видно; рядомъ съ Лысковыми, по ту сторону, никто не жилъ и, слѣдовательно, никто почти не ходилъ; а между-тѣмъ, домъ былъ почти рядомъ, только высокія деревья, нагнувшись надъ скамьею, заслоняли ее и отъ оконъ, и отъ солнца, да дикій виноградъ, опутавъ деревья, плелся и висѣлъ надъ ней зеленой сѣткой.

Чолокова еще не было видно, Ольга поторопилась выйдти. Она развернула книгу, взятую какъ предлогъ и, стала смотрѣть въ нее: читать она не могла. Пока Ольга находится въ этомъ ожиданіи, взглянемъ на ея положеніе.

Что бъ ни говорили чувствительныя души въ пользу безкорыстнаго влеченія сердца, но первая мысль дѣвушки, при близкой встрѣчѣ съ молодымъ человѣкомъ, который начинаетъ нравиться, заключается въ вопросѣ «партія онъ мнѣ, или не партія», этомъ гамлетовскомъ для дѣвицъ «быть или не быть».

Наша милая Ольга Семеновна не дѣлала въ этомъ случаѣ исключенія, да и не зачѣмъ было дѣлать его. Когда она увидѣла Чолокова и замѣтила его желаніе нравиться, она съ женской проницательностью разомъ оцѣнила его физическія и нравственныя достоинства и совершенно удовлетворилась ими. Въ-самомъ-дѣлѣ, для простой и умненькой, но безъ особенныхъ требованій дѣвочки, Чолоковъ былъ женихъ весьма-пріятный во всѣхъ отношеніяхъ. Особенныхъ требованій у Ольги не было и она довѣрчиво отдалась влеченію, надѣясь, что оно можетъ привесть ее въ желанную пристань, съ тактомъ, свойственнымъ только искренней наивности; она позволяла себѣ не болѣе маленькаго кокетства, которое такъ идетъ хорошенькимъ,—кокетства безъ требовательности и жеманства. Эта простота въ обращеніи, особенно не въ сложной общественной обстановкѣ, избавляла Ольгу отъ тѣхъ ничтожныхъ, но чрезвычайно-непріятныхъ для щепетильнаго вида промаховъ, которые иногда невольно налагаетъ провинціальная жизнь, и еще болѣе привязывала къ Ольгѣ Чолокова. Такимъ-образомъ наша молоденькая героиня, рука-въ-руку съ милымъ порядочнымъ человѣкомъ, мирно шла по пути нѣжныхъ чувствъ, и пройдя безпрепятственно и очень-весело нѣкоторое пространство, имѣла полное право ожидать вождѣленной для дѣвицъ вообще и для любящихъ въ-особенности развязки, и когда Чолоковъ сказалъ, что имѣетъ что-то особенное сообщить Ольгѣ, сердце ея забилось сильнѣе: оно предчувствовало первый шагъ къ своему вѣчному союзу, и не ошибалось.

Ольга ждала, какъ ждетъ дѣвушка предложенія, какъ ждетъ влюбленная объясненія милаго. Густая зелень виноградника нависла на ней и его крайніе молодые листья просвѣчивались и какъ-будто трепетали подъ жгучимъ лучомъ солнца. Сама Ольга, какъ молодой листъ, трепетала отъ внутренняго волненія и играющая кровь, вспыхивая и замирая, просвѣчивала сквозь нѣжную кожу лица ея золотистой головки. Долго она прислушивалась и только слышала журчанье желѣзнаго ключа, сбѣгающаго вдалекѣ съ горы, осматривалась, и южная природа, подъ горячимъ лучомъ лѣтняго полдня, казалась ей какъ-то особенно-полна красоты и жизни, такъ сама Ольга пышно расцвѣла и созрѣла для полнаго пониманія ея. Но вотъ хрустнула вѣтка, послышались шаги по песчаной дорожкѣ, кровь сильнѣе прилила, и отлила къ лицу Ольги; Чолоковъ показался. Алексѣй Николаевичъ шелъ, какъ будто мимо, очень-весело и развязно; на полномъ и красивомъ лицѣ *его лежало маленькое* ловласовское самодовольство. Но, увидавъ Ольгу такою хорошенькою въ своемъ смущеніи, онъ и самъ нѣсколько смутился и ощутилъ себя какъ-то несовсѣмъ-ловко.

— Вы давно здѣсь? спросилъ онъ.

— Не помню! отвѣчала она, довѣрчиво взглянувъ на него съ полузастѣнчивой улыбкой. Это было цѣлое признанье, еслибъ оно еще было нужно.

Чолоковъ сѣлъ возлѣ Ольги и молча нѣсколько мгновеній смотрѣлъ на нее. Богъ знаетъ какія, но казалось весьма-разнородныя и борющіяся мысли пробѣгали въ головѣ его. Онъ смутился еще болѣе, но вдругъ краска бросилась ему въ лицо; красота, которая смутила его, казалось, дала ему новую твердость; онъ взялъ горячую руку Ольги и горячо поцѣловалъ ее.

Ольга покраснѣла въ свою очередь.

— Послушайте, Ольга, сказалъ Чолоковъ, не выпуская ея руки изъ своей:—я васъ люблю—вы это знаете и увѣрять мнѣ васъ въ этомъ нечего. Но, ради этой любви, мой другъ, намъ надобно разстаться... или...

— Или?... спросила Ольга, вдругъ поблѣднѣвъ.

— Или.... принести тяжелую жертву.

Блѣдная Ольга смотрѣла на него съ мучительнымъ безпокойствомъ.

— О насъ начали ходить слухи, продолжалъ Чолоковъ: — теперь еще ничтожные, но которые могутъ повредить вамъ: они заставили меня подумать серьёзнѣе о нашихъ отношеніяхъ, подумать о васъ. Вчера я провелъ нѣсколько мучительныхъ часовъ и рѣшился сегодня же переговорить обо всемъ съ вами. Я буду откровененъ. Какъ мнѣ ни тяжело, но я долженъ сознаться вамъ, что есть обстоятельства... къ-несчастью неизбѣжныя, которыя... не позволяютъ мнѣ просить вашей руки...

Ольга вся вспыхнула и слезы навернулись у нея на глазахъ, слезы стыдливости, оскорбленія и горя. Чолоковъ нѣсколько смутился, но продолжалъ.

— Я виноватъ передъ вами.... я бы долженъ былъ предупредить васъ.... но я самъ не зналъ ихъ прежде... Теперь, какъ мнѣ ни больно, но я счелъ необходимымъ сказать вамъ объ этомъ.... Судите же, что остается намъ дѣлать?... Разстаться — это невыносимо, но я, изъ любви къ вамъ, долженъ дорожить вашимъ именемъ.... и притомъ, что жь? если не теперь, то чрезъ нѣсколько недѣль, черезъ мѣсяцъ, вы поѣдете въ свою деревню, я—на службу: опять разлука и Богъ вѣсть надолго, или навсегда, сказалъ Чолоковъ съ непритворной грустью.

Чувство горя начало смѣнять у Ольги всѣ другія. Прошла минута молчанія.

— Правда, есть средство, началъ опять Чолоковъ:—которое промелькнуло у меня въ головѣ, но я не смѣю предложить его вамъ: оно оскорбительно, оно невыносимѣе для меня, чѣмъ для васъ...

— Говорите, едва-слышно сказала Ольга, глотая слезы.

Чолоковъ затруднился.

— Видите ли.. сказалъ онъ:—еслибъ вы могли

не ѣхать?.. Я слышалъ... князь хочетъ искать вашей руки... Онъ служитъ въ Тифлисѣ... Я могъ бы переѣхать туда: я бы, по крайней мѣрѣ, видалъ васъ тамъ....

— И вы мнѣ совѣтуете выйдти?.. быстро сказала Ольга съ негодованіемъ.

— О, нѣтъ, Ольга!.. Но послушайте... Но Ольга не слушала. Она вырвала у Чолокова руку, зарыдала и почти убѣжала.

Алексѣй Николаевичъ остался одинъ, смущенный и разстроенный. Онъ посидѣлъ нѣкоторое время, потомъ всталъ, привелъ себя въ порядокъ, прошелся по аллеямъ и чрезъ полчаса съ наружнымъ, можетъ быть, спокойствіемъ завернулъ къ князю Мухрубакаеву.

Чтобы яснѣе была читателю послѣдующая сцена, мы должны обратиться за нѣсколько часовъ назадъ, и показать нашего пріятеля съ другой стороны.

Передъ обѣдомъ этого дня, Чолоковъ какъ будто нечаянно встрѣтился съ Терепентѣевымъ въ паркѣ. Оба они заняты были, казалось, однимъ дѣломъ: промаячить часъ времени, который оставался до обѣда. Чолоковъ взялъ Терепентѣева подъ руку, чѣмъ этотъ послѣдній остался очень доволенъ, и оба лѣниво пошли по тѣнистой аллеѣ.

— Ну, такъ я—по вашему, волочусь за Лысковой? спросилъ Чолоковъ.

— Да, таки есть грѣшокъ, замѣтилъ тонко улыбаясь Терепентѣевъ.

— И хочу на ней жениться?

— А кто васъ знаетъ! можетъ, и жениться.

— Полноте! сказалъ Чолоковъ:—вы сами этому не вѣрите. Лыскова — хорошенькая дѣвочка, да вѣдь на всѣхъ хорошенькихъ не переженишься.

— На всѣхъ, конечно, нѣтъ; а отчего же не на этой, напримѣръ? Чего ей недостаетъ? продолжалъ осторожный Терепентѣевъ, несовсѣмъ довѣряя Чолокову и выпытывая его.

— Какъ чего? очень многаго, по крайней мѣрѣ для меня. Во-первыхъ, состоянія. Я не ищу собственно его, но у меня мало, у ней ничего: сложить да раздѣлить надвое, выйдетъ еще меньше; а надо вѣдь и питаться чѣмъ-нибудь. Во-вторыхъ, она, какъ бы вамъ сказать, не того круга, въ которомъ (Чолоковъ выражался деликатно) мы жили и привыкли жить. Здѣсь она хороша, но попробуйте ее ввести въ свѣтскій кружокъ; онъ ей чуждъ. Тысячи бездѣлицъ измѣнятъ ей; къ нимъ не привыкнешь; надо вырость въ нихъ! Можетъ быть, я вамъ кажусь мелочнымъ, какъ и самыя причины; но по моему, при всей кажущейся незначительности, онѣ непреодолимы (вотъ тѣ *неизбѣжныя обстоятельства*, на которыя послѣ Чолоковъ неопредѣленно указалъ Ольгѣ). Но я буду съ вами откровененъ. Лыскова добрая дѣвушка, я ее очень люблю и мнѣ жаль ее... что съ ней будетъ? Заѣдетъ въ свою деревушку съ больнымъ отцомъ, гдѣ никто не увидитъ и неоцѣнитъ ее, и выйдетъ замужъ за какого-нибудь мелкопомѣстнаго, или становаго, и загрязнетъ въ глуши, или состарѣется въ дѣвкахъ—что это за будущность?

— Что жь дѣлать, и какъ знать? Своей судьбы не минуетъ: что-нибудь да будетъ, философски замѣтилъ Терепентѣевъ, закуривая турецкую папиросу.

— Оно такъ! сказалъ Чолоковъ; но до нея не хотѣлось бы допустить этого. Судьбѣ иногда помочь можно. Я думалъ: что бы вотъ князю жениться на ней? Вѣдь онъ ее любитъ?

— Да какъ еще! отвѣчалъ Терепентѣевъ, оживляясь попавъ на любимую тэму.

— Что бы вотъ жениться ему! Въ сущности онъ малый добрый, любитъ кутнуть—да это пройдетъ! Имѣетъ состояніе, положеніе имѣетъ: и ей хорошо, и ему прекрасно. Я не понимаю, что онъ думаетъ?

— Да вотъ подите! Мало ли ужь и мы говорили. Въ Тифлисѣ, бывало, коли Лысковы пріѣдутъ, или мы у нихъ столкнемся, такъ, бывало, съ пріятелями и сводишь ихъ, и тет-а-теты устраиваешь,—нѣтъ, ничего не помогаетъ! Въ дѣлѣ или по службѣ, гдѣ строгость понадобится—звѣрь звѣремъ, боятся его какъ огня; а тутъ—разварная стерлядь! робость обуяла!—Чолоковъ разсмѣялся.

— А это, должно-быть, презабавно, сказалъ онъ.

— Потѣха! потѣха! говорилъ Терепентѣевъ, одушевляясь. Вы не можете себѣ представить, что за сцены бывали: просто комедія, что вашъ Шекспиръ! Иногда, глядя на него, чуть со смѣха не надорвешься, а иногда такъ въ-чужѣ досада возьметъ: родятся же, подумаешь, этакія тетери! плюнешь, да и рукой махнешь.

Чолокову эта забава показалась повидимому крайне смѣшна и интересна и онъ увлекся ей.

— Да это прелесть! сказалъ онъ, смѣясь.—Послушайте, Терепентѣевъ, доставьте мнѣ это удовольствіе, повторимъ попытку вмѣстѣ. Дѣлать же намъ здѣсь нечего; удастся—хорошо, неудастся—бѣда невелика: посмѣемся по крайней мѣрѣ, а можетъ, и устроимъ доброе дѣло. А, вы мастерски умѣете дурачить Мухрубакаева; я и вчера много смѣялся.

— Что жь? пожалуй! отвѣчалъ онъ:—отчего же не попробовать? Только врядъ ли удастся.

— Ну, что будетъ! Такъ по рукамъ? Когда же приняться?

— Когда хотите. Хоть сегодня за обѣдомъ.

— Нѣтъ, тутъ много будетъ. Надобно наступать рѣшительнѣе и осторожнѣе. Заходите сегодня къ князю послѣ обѣда, и я приду. Кстати же это разувѣритъ его; а то онъ, кажется, думаетъ, что я отбиваю у него Лыскову и дуется на меня, а я право люблю его — и это мнѣ непріятно. Онъ добрый малый.

— Отличный! заключилъ Терепентѣевъ, посмотрѣвъ на часы, и оба пріятеля, ближе связанные общей цѣлью, въ веселомъ расположеніи духа, что, говорятъ, очень хорошо для пищеваренія, отправились обѣдать въ гостинницу.

Человѣкъ нетвердыхъ правилъ — существо удивительно гибкое, и съ нимъ можетъ сравняться только его умъ, оправдывающій своего хозяина во всѣхъ его положеніяхъ. Очень интересно поближе посмотрѣть, напримѣръ, какъ такой человѣкъ, будучи порядочнымъ и даже въ другихъ отношеніяхъ честнымъ, дѣлаетъ подлость. Вы полагаете, что онъ дѣлаетъ ее съ полнымъ сознаніемъ поступка? ничуть не бывало! Я думаю, что человѣкъ, рѣшившійся убить васъ изъ за-угла, доходитъ до этой рѣшимости, представивъ въ головѣ логическую цѣпь выводовъ, которые совершенно оправдываютъ его въ собственныхъ глазахъ. У каждаго изъ насъ, у умнаго и дурака, есть въ головѣ свое судилище, судилище немилосердное, безпощадное, которое обречетъ васъ на муки вѣчныхъ угрызеній, если вы сдѣлаете что-нибудь противъ него; но дѣло въ томъ, что прежде, нежели вы сдѣлаете что-нибудь, адвокатъ вашъ, какъ въ запутанныхъ англійскихъ постановленіяхъ, всегда сыщетъ вамъ законъ или прежнее парламентское рѣшеніе по подобному же дѣлу, которое неминуемо оправдываетъ васъ. Въ крайнихъ уже случаяхъ, гдѣ даже и самая гибкая логика не находитъ извиненій, человѣкъ рѣшается довести свои поступки только до той точки, гдѣ еще онъ правъ по-своему, а далѣе говоритъ: «тамъ увидимъ». Бывали также примѣры, что воръ, укравшій разъ состояніе, очень честно и благонамѣренно проживаетъ его: значитъ, его логика, вообще честная и прямая, нашла себѣ извиненіе погнуться въ одномъ мѣстѣ, и только преступники, подпавшіе однажды подъ ярмо собственнаго обвиненія, и ненадѣющіеся на его милосердіе, да люди подъ вліяніемъ страсти, махнутъ на себя рукой и идутъ зажмуривъ глаза по страшной дорогѣ...

Но мы въ настоящемъ случаѣ имѣемъ коснуться только нравственныхъ преступленій, подлежащихъ суду общественнаго мнѣнія и колеблющихся между такъ называемымъ *легкимъ* поступкомъ до подлости включительно, и покопаемся для этого поглубже въ сердцѣ нашего пріятеля Чолокова.

Алексѣй Николаевичъ былъ влюбленъ въ Ольгу, какъ мы сказали, умѣренно, той благоразумной любовью, которою любитъ большая часть порядочныхъ людей нашего времени. Эта любовь не овладѣваетъ человѣкомъ, какъ страсть, не проникаетъ всего его и всѣ его дѣйствія, какъ полное искреннее чувство. Она дѣйствуетъ временно при извѣстной обстановкѣ; вблизи къ предмету любви и вообще при благопріятныхъ обстоятельствахъ она возвышается, какъ фонды на биржѣ, и доходитъ иногда до полныхъ размѣровъ истинной любви со всѣми ея благородными побужденіями; въ другое время она прячется внутрь, такъ, какъ будто бы ея совсѣмъ и не было, и даетъ совершенную свободу и холоднымъ размышленіямъ, и другимъ занятіямъ. Нѣкоторые мужчины-идеалисты, и вообще женщины, конечно, воскликнутъ съ негодованіемъ: *что это за любовь!* вычеркнутъ ее немилосердно изъ ряда нѣжныхъ чувствъ и, пожалуй, еще будутъ охуждать автора, который осмѣлился утверждать противное. Но, милостивые государыни и государи, фактъ существуетъ, девять десятыхъ занимающихся пріятнымъ занятіемъ любви и даже многіе спеціалисты, исключительно посвящающіе себя этому предмету, разработываютъ его именно съ этой точки зрѣнія; этого никто не отвергнетъ, и авторъ обязанъ принять этотъ фактъ и даже найдти ему причину, проистекающую изъ историческаго хода вещей. Причина дѣйствительно существуетъ. Всякій предметъ,—наука, чувства, фабричное производство, имѣютъ свое развитіе. Любовь нынѣ находится именно въ этомъ фазисѣ. Мы достаточно благоразумны, чтобъ понять весь вредъ слѣпыхъ страстей и не позволять имъ господство надъ собою; мы имѣемъ много занятій, тысячи нуждъ и требованій, чтобъ отдаться одному исключительному чувству; въ то же время мы не можемъ и не хотимъ лишить себя его. Отъ этого произошла современная любовь, немѣшающая намъ ни въ чемъ, любовь удобная, мягкая, выдѣланная какъ лайка перчатки, отлично обхватывающей руку, игривая, разнообразная, какъ музыка, восходящая отъ хорошенькой польки до оперы и симфоніи; любовь чрезвычайно полная, измѣняющаяся отъ легонькой и игривой болтовни во время кадрили до глубокаго и искренняго (на нѣкоторое время) чувства. Эту любовь можно, пожалуй, назвать комфортной любовью, но не признавать ея—невозможно.

Такой-то любовью, въ качествѣ современнаго свѣтскаго человѣка, любилъ и Алексѣй Николаевичъ.

Когда, наканунѣ, Чолоковъ предавался тѣмъ размышленіямъ, которыя онъ назвалъ Ольгѣ мучительными часами, когда его мысль билась какъ рыба объ ледъ, о безвыходное, повидимому положеніе,—въ безплодной досадѣ и сожалѣніи онъ подумалъ: что, еслибъ Ольга была совершенная женщина, то-есть дама, могущая вполнѣ понимать и раздѣлять любовь? Потомъ его мысль, охладившись, перешла къ здравому и ясному анализу нѣкоторыхъ невыгодъ положенія дѣвицы. Потомъ онъ подумалъ собственно объ Ольгѣ и пожалѣлъ, отчего судьба ея еще не устроена, отчего она не вышла и выйдетъ ли еще замужъ за хорошаго и положительнаго человѣка, какъ бы, напримѣръ, хоть за Мухрубакаева. Тутъ, сообразивъ все слышанное, ему пришло въ мысль: нельзя ли пособить устройству, по крайней мѣрѣ, матеріальнаго счастія этой бѣдной Ольги, которую онъ любитъ, но на которой (по *непреодолимымъ* обстоятельствамъ) онъ не можетъ самъ жениться? Тутъ... тутъ онъ совершенно повеселѣлъ и, отстранивъ всякія мрачныя мысли, вполнѣ отдался доброму намѣренію устройства судьбы Ольги, которымъ и рѣшился заняться на другой же день. Дѣлъ вообще, и добрыхъ въ особенности, никогда не надобно откладывать.

Мы видѣли, какъ Алексѣй Николаевичъ началъ приводить въ дѣйствіе свой планъ, и должны отдать ему справедливость, что онъ дѣйствовалъ весьма просто и откровенно. Да-съ, прямо и откровенно. Онъ нисколько не притворялся и не игралъ той или другой роли: онъ только измѣнялъ точку зрѣнія, не переносился легкомысленно отъ одного чувства къ другому, но, по мѣрѣ надобности, свободно входилъ въ нихъ, какъ къ себѣ на квартиру, и отрѣшался отъ одного въ пользу другаго.

Такъ, въ разговорѣ съ Терепентѣевымъ, онъ дѣйствительно хлопоталъ объ устройствѣ судьбы Ольги съ безпечностью и веселостью ея добраго свѣтскаго знакомаго, который радъ и позаботиться, и шутя устроить свадьбу. При свиданіи съ Ольгой, Чолоковъ чувствовалъ, что любитъ ее; ему грустно было разстаться съ ней, жаль было отдать и Мухрубакаеву: онъ указалъ ей на необходимость того или другаго, и готовъ былъ поддерживать одной рукой въ то время, какъ другая сталкивала ее...

Вообще очень удобно умѣть отрѣшаться отъ своихъ чувствъ и взглядовъ, становиться во всякомъ положеніи такимъ, какимъ нужно; тогда притворство—эта старая и неловкая маска—становится ненужною, человѣкъ во всякомъ положеніи бываетъ искренекъ и вѣренъ себѣ, а кстати и своимъ цѣлямъ, и только рядъ такихъ положеній, въ общей связи, ясно обрисовываетъ нашъ поступокъ. Въ этомъ и заключается тайна умѣнья обдѣлывать свои дѣла: человѣкъ, кажется, все дѣлаетъ, какъ и другіе, и весьма прямодушно,—анъ, глядь, и вышелъ очень выгодный для него конецъ, который, безъ чистѣйшей низости, другой бы и не добылъ, и свѣтъ часто говоритъ: какое счастье этому господину! Въ частности, въ дѣлахъ сердечнаго свойства, пушкинскій донъ-хуанъ можетъ служить примѣромъ высочайшей способности усвоять себѣ чувства и отрѣшаться отъ нихъ: въ этомъ тайна его вліянія на женщинъ.

Алексѣй Николаевичъ, однакожъ, не легко отдѣлался отъ тяжелаго впечатлѣнія, произведеннаго разговоромъ съ Ольгой: онъ съ полчаса ходилъ нѣсколько-разстроенный; но многими здравыми разсужденіями онъ привелъ чувства свои въ порядокъ и, войдя къ Мухрубакаеву, онъ былъ уже другой человѣкъ.

У Мухрубакаева сидѣлъ уже Терепентѣевъ, и бутылка уже стояла.

— А, Чолоковъ! воскликнулъ Терепентѣевъ, какъ-будто и не ждалъ его.—Вотъ кстати, Алексѣй Николаичъ! а я уговариваю князя жениться на извѣстной особѣ: помогите мнѣ.

Князь нѣсколько поморщился отъ этого приглашенія; но онъ ошибался въ Алексѣѣ Николаевичѣ, въ томъ Алексѣѣ Николаевичѣ, который былъ у него въ настоящую минуту.

— Князь не повѣритъ мнѣ, шутя отвѣчалъ Чолоковъ:—я у него въ подозрѣніи. А впрочемъ, я радъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ Мухрубакаеву: —что у насъ зашла рѣчь объ этомъ: мнѣ давно хотѣлось объясниться съ вами, князь. Въ послѣднее время вы перемѣнились ко мнѣ, и мнѣ это очень-непріятно, тѣмъ-болѣе, что я нисколько не виноватъ передъ вами.

— Полноте, съ чего вы взяли? сказалъ князь, нѣсколько смутившись:—а вотъ не хотите ли стаканчикъ винца? Эй, Иванъ!

— Нѣтъ, благодарю васъ! сказалъ Чолоковъ.— Послушайте, князь, я буду съ вами откровененъ, продолжалъ онъ:—я очень люблю Ольгу Семеновну: она добрѣйшая дѣвушка, но самъ жениться на ней я не могу, да вообще и не думаю о женитьбѣ; а не имѣя этого въ виду, неужели вы думаете, что я позволю себѣ мѣшать кому бы то ни было въ подобномъ дѣлѣ, а тѣмъ-болѣе вамъ, князь? Напротивъ, любя Ольгу Семеновну, я очень былъ бы радъ, еслибъ это устроилось и, если вы мнѣ позволите, готовъ вмѣстѣ съ Терепентѣевымъ серьезно спросить васъ: отчего вы не женитесь на ней?

Князь молчалъ, покраснѣлъ нѣсколько и прилежно занялся своимъ стаканомъ.

— Вѣдь она вамъ нравится? продолжалъ Чолоковъ.

— О, конечно! отвѣчалъ князь.

— Я не знаю вашихъ намѣреній, но если вы дѣйствительно думаете о женитьбѣ на ней, то я не понимаю вашей медленности. Курсъ скоро кончится; Лысковы уѣдутъ въ свою деревню и тогда вамъ труднѣе будетъ дѣйствовать.

— Такъ! я объ этомъ подумываю, отвѣчалъ Мухрубакаевъ:—да какъ откажетъ,—а?

— Почему жь вы думаете? Я-такъ думаю напротивъ.

— А вы развѣ говорили съ ней объ этомъ? спросилъ князь и поглядѣлъ на Чолокова робкими, несовсѣмъ-довѣрчивыми глазами.

— Вообще о васъ была рѣчь не одинъ разъ, и она, какъ женщина, конечно, замѣтила ваши чувства, но всегда говоритъ, что вы какъ-то чуждаетесь, точно боитесь ее.

— Правда, боюсь! Что вы прикажете дѣлать! Ужъ коль она это говоритъ, такъ я вамъ правду скажу: вотъ Терепентѣевъ знаетъ—робость какая-то проклятая обуяла! Вы не повѣрите, хуже чѣмъ на завалъ идти,—да что завалъ, на завалы не почемъ, а тутъ думаешь сказать ей иной разъ про себя, и обдумаешь все на дому, какъ сказать—хочешь—нѣтъ! не говорится! Инда потъ тебя прошибаетъ, а не могу.

— Попробуемъ еще разъ, ваше сіятельство, сказалъ Терепентѣевъ.—Мы съ Алексѣемъ Николаичемъ вамъ тет-а-тетъ устроимъ отличнѣйшій.

— Нѣтъ, ужь пробовалъ, сказалъ князь, махнувъ рукою:—только истомился. Что напрасно и томить себя: толку не будетъ.

— Ну съ родителями переговорите, замѣтилъ Чолоковъ.

— И съ родителями не могу, о ней слова не могу сказать, о здоровьѣ робѣю спросить.

*

— Да вѣдь подумайте, ваше сіятельство: вѣдь она уѣдетъ! вѣдь вы счастія своего лишаетесь, сказалъ Терпентѣевъ съ упрекомъ.

— Знаю, что лишаюсь, грустно сознался Мухрубакаевъ, разводя руками:—да что ужь! себя не передѣлаешь; видно, моя судьба такая!..

На бѣднаго князя, въ-самомъ-дѣлѣ, жалко было смотрѣть. Видно было, что въ немъ происходила жестокая борьба, что глубоко затронута была самая чувствительная струна его сердца; онъ потупился, отодвинулъ отъ себя стаканъ, поблѣднѣть не могъ, но багровый кончикъ его носа позеленѣлъ даже.

— А знаете что? сказалъ Чолоковъ:—дѣло можетъ устроиться очень-просто: сдѣлайте предложеніе письмомъ.

— И объ этомъ думалъ! отвѣчалъ князь: — да вѣдь письмо—это то же *я*, вѣдь его покажутъ ей; это все-равно, что самому бы мнѣ говорить: вѣдь также нелѣпо будетъ. Право, Чолоковъ, меня зависть беретъ, какъ посмотрю, какъ вы съ ней—точно у себя дома... Вотъ какъ бы вы... сказалъ князь нерѣшительно:—какъ бы вы переговорили... ужь коль вы дѣйствительно мнѣ добра желаете.

— Ну, послушайте, князь, этого нельзя, сказалъ Чолоковъ, подумавъ:—какъ вы хотите, это неловко! А вотъ, ежели желаете, я вамъ, пожалуй, помогу письмо написать...

Князь вдругъ просіялъ и вскочилъ съ мѣста.

— Думалъ, ей-ей, думалъ! Вѣдь вотъ, думаю, какъ бы Алексѣй Николаичъ... Онъ эти вещи знаетъ отлично. Такъ вы не шутите?

— Нисколько! Отчего же?

— Благодѣтель! просто, благодѣтель! воскликнулъ князь, бросаясь обнимать Чолокова;—вотъ ужь разодолжите! И думалъ просить васъ: одни вы, помосму, эти штуки знаете, чтобъ оно прилично, несмѣшно было, и просить хотѣлъ, да не вѣрилъ вамъ. Думаю, не сдѣлаетъ онъ, насмѣется еще! Право, думалъ; ужь *ты* меня прости, право, прости, Алексѣй Николаичъ.

— Полноте, князь! Я очень-радъ, что разсѣялъ вашу недовѣрчивость.

— Совсѣмъ разсѣялъ. Когда жь напишешь—а?

— Да хоть сейчасъ. Вы, разумѣется, перепишете.

— Сейчасъ! сейчасъ! а то, пожалуй, еще передумаетъ. Вотъ въ этой комнатѣ чернильница и все есть; вотъ здѣсь.

Князь взялъ торопливо Чолокова за плечо, какъ-будто боялся за свою и его рѣшимость, отвелъ въ другую комнату, далъ все нужное для письма и самъ вышелъ. Онъ сіялъ довольствомъ; налилъ себѣ и Терпентѣеву вина, налилъ еще стаканъ, на цыпочкахъ отнесъ его Чолокову, едва-слышно поставилъ возлѣ него на столъ и вышелъ.

Пока Чолоковъ писалъ, князь съ наслажденіемъ потягивалъ винцо и разговаривалъ съ Терпентѣевымъ-полуголоса. Терпентѣевъ вздумалъ-было узнать, что пишетъ Чолоковъ, полагая, не штуку ли тотъ какую сочиняетъ, но князь остановилъ его.

— Оставь! оставь его, братецъ, не мѣшай! говорилъ князь шопотомъ:—онъ ужь напишетъ! Ужь я знаю, что онъ хорошо напишетъ! ему это ни по чемъ. Онъ до тонкости все это знаетъ. Кромѣ его ужь здѣсь никто такъ не напишетъ, Человѣкъ-то, человѣкъ-то какой! А! золотой человѣкъ! А я, братецъ, скажу тебѣ, виноватъ: подозрѣвалъ его; надуваетъ, думаю,—салонный вѣдь, братецъ, человѣкъ, не то что мы съ тобой: съ женщинами ему обращаться все-равно, что намъ, примѣрно, съ деньщикомъ,—въ усъ себѣ не дуетъ, а вышелъ золотой человѣкъ.

Чолоковъ написалъ черновое письмо и прочелъ его князю, тотъ не сдѣлалъ ни одного замѣчанія —такъ вѣрилъ въ непогрѣшимость человѣка. Онъ хотѣлъ непремѣнно при Чолоковѣ же переписать письмо и, принявшись за это, безпрестанно спрашивалъ, гдѣ начинать, какъ и гдѣ кончить. Наконецъ письмо было написано, запечатано и отправлено. Хотя Чолокову крайне интересно было узнать отвѣтъ, но онъ собрался-было уйдти. Князь опять просилъ его подождать. Наконецъ посланный возвратился и сказалъ, что отвѣтъ князю просятъ позволенія прислать дня черезъ три.

Тогда Мухрубакаевъ не удерживалъ болѣе гостей, расцѣловался съ Чолоковымъ, кстати и съ Терпентѣевымъ, благодарилъ ихъ за искреннюю дружбу, и, проводивъ словами: «Ну, теперь я свое дѣло сдѣлалъ», остался одинъ въ тревожномъ, но не безнадежномъ ожиданіи.

— А вы дѣло-то рѣшительно повернули! сказалъ Терпентѣевъ Чолокову, когда они вышли.— Я думалъ, вы позабавиться хотите!

— Жалко его: онъ такъ ее любитъ, что совѣстно шутить надъ нимъ, и притомъ, знаете ли, я увѣренъ, что она будетъ съ нимъ счастлива!..

VII.

На гуляньѣ въ этотъ день Ольга и никто изъ Лысковыхъ не показывались. На другое утро Ольга вышла на воды позднѣе обыкновеннаго. Она была блѣдна, бѣдная, и разстроена. Чолоковъ, серьезный, нѣсколько-грустный, подходилъ къ ней, обмѣнивался обыкновенными вопросами, получалъ отвѣты холодные и отрывистые. Сама Матрена Тихоновна сдѣлалась какъ-то важнѣе и суровѣе, бросала на Ольгу сострадательные взгляды, а на Чолокова подозрѣвающіе. Чолоковъ отдалился и не заискивалъ. Вечеромъ Ольга показалась опять ненадолго, но грусть ея, кажется, была глубже; въ отвѣтахъ Чолокову проглядывала иногда горькая желчь; раза два онъ подслушалъ ея сдержанные вздохи. Чолоковъ былъ еще холоднѣе и задумчивѣе, особенно, когда не было кругомъ никого изъ наблюдателей. Иногда въ это время онъ даже блѣднѣлъ, какъ-будто отъ затаенной грусти, и разго-

воръ, не бывъ связнымъ, задѣвалъ намеками и мимоходомъ предметы чувствъ, близкіе обоимъ. Матрена Тихоновна постоянно молчала, но иногда грустно вздыхала.

Князь Мухрубакаевъ нигдѣ не показывался, никого не принималъ и не приходилъ въ гостинницу даже обѣдать; но кушанье, а особенно бутылки, тѣмъ не менѣе носились ему на домъ.

На третій день Ольга съ неизмѣнной Матреной Тихоновой пришла на воды рано. На лицо ея уже легла печаль затаеннаго горя и, можетъ-быть, безсонныхъ ночей; блѣдное, но не менѣе хорошенькое, оно стало будто длиннѣе, утомленнѣе внутренней борьбой. Чолоковъ оставался такимъ же. Онъ снова подошелъ къ Ольгѣ, но на этотъ разъ разговоръ завязался живѣе. Они повернули въ боковую аллею и говорили по-французски. Матрена Тихоновна, не понимающая на этомъ языкѣ ничего, кромѣ «бонжура», ходила съ ними, погруженная въ тихую задумчивость, и отъ времени до времени вздыхала. Разговоръ сначала отзывался горькими и уязвляющими упреками, потомъ сталъ тише и звучалъ грустнѣе; потомъ, со стороны Чолокова принялъ выраженіе какой-то просьбы; на это отвѣчали сначала отрицаніемъ, потомъ нерѣшимостью; борьба со всѣхъ сторонъ стала живѣе, мольбы усиливались, отказъ слабѣлъ, наконецъ лицо Чолокова просвѣтлѣло, Ольга зарумянилась и смутилась, и между обоими снова блеснулъ, только горячѣе и глубже, тотъ жгучій и потрясающій взглядъ, который впервые блеснулъ между ними въ неясныхъ сумеркахъ Ларса.

Подгоняемая необходимостью, драма любви развивалась быстро и близилась къ развязкѣ.

—

Вечеромъ въ этотъ же день, когда всѣ больные и здоровые гуляли, въ началѣ парка, у мызы, на боковой аллеѣ, идущей по горѣ отъ ваннъ 5-го и 6-го нумера, сидѣлъ на скамьѣ знакомый намъ мрачный незнакомецъ въ папахѣ—Сушкинъ. Казалось, онъ былъ въ сильномъ волненіи, которое требовало движенья, иногда онъ привставалъ, порываясь вскочить съ мѣста, но какая-то мысль удерживала его; онъ опять садился въ уголъ подъ навѣсъ виноградника, сидѣлъ тихо, и только сильно потиралъ руки и хрустѣлъ пальцами. Долго сидѣлъ онъ такъ; наконецъ какое-то безпокойство, ошибка въ обманутомъ ожиданіи, стали проявляться и усиливаться на его большомъ крупномъ лицѣ. Порывисто скинулъ онъ папаху, запустилъ мощныя руки въ густые волосы, взъерошилъ ихъ и началъ уже оказывать поползновеніе нанести имъ ущербъ, какъ вдругъ по аллеѣ послышался легкій хрустъ песку и шелестъ женскаго платья.

Сушкинъ вскочилъ, поблѣднѣлъ, высунулъ немного длинную шею и, нагнувшись, замеръ, какъ пылкій сеттеръ надъ трепетной перепелкой: вблизи показалась Ольга.

Ольга шла скоро; на головѣ у нея былъ наброшенъ капюшонъ бурнуса, какъ обыкновенно ходятъ изъ ванны; она по временамъ оглядывалась, какъ будто боялась, чтобъ кто не увидалъ ея, но, поровнявшись съ скамейкой, она сильно вздрогнула: Сушкинъ стоялъ передъ нею.

Ольга съ удивленіемъ взглянула на Сушкина; Сушкинъ въ смущеніи ей поклонился. Ольга кивнула ему головой и хотѣла идти далѣе; но движеніе придало ему рѣшимости.

— Ольга... Ольга Семеновна... позвольте одну минуту...

— Что вамъ угодно? спросила Ольга холодно.

— Ольга Семеновна... я... я... не могу, я люблю васъ, Ольга Сем...

— Оставьте меня! прерывая его, сказала Ольга, испугавшись: — оставьте меня, вы забываетесь... и она быстро пошла далѣе.

— Нѣтъ, я не забываюсь; ей-ей, не забываюсь, Ольга Семеновна, говорилъ Сушкинъ, равняясь съ нею: — я васъ люблю, пламенно люблю, терпѣнья моего нѣтъ молчать долѣе, Ольга Семеновна; я только манеры не имѣю, Ольга Семеновна, я не то, что Чолоковъ: Чолоковъ, конечно, манеру имѣетъ, но онъ васъ не любитъ...

— Съ какой стати вы мнѣ говорите о Чолоковѣ? строго сказала Ольга: — оставьте меня.

— Нѣтъ! я все знаю: вы не скрывайтесь отъ меня, я все знаю; вы съ нимъ видѣлись сейчасъ, но онъ обманываетъ васъ, онъ такъ только... онъ васъ за князя отдать хочетъ, а самъ такъ только...

— Оставьте... оставьте меня! говорила Ольга испуганнымъ голосомъ и почти бѣжала.

— Нѣтъ, коль на то пошло, я васъ не оставлю, на зло вамъ не оставлю; я знаю—вы его любите; вы видѣлись съ нимъ, а онъ васъ не любитъ, душу мою отдаю,—онъ васъ не любитъ.

— Оставьте меня, насъ увидятъ, говорила трепещущая, задыхающаяся Ольга, идя сколько доставало силъ скоро.

— А пусть увидятъ, громко и рѣшительно сказалъ Сушкинъ: — а пусть увидятъ, я не таюсь! Я не вызываю на свиданье, не выдаю васъ замужъ, не говорю вамъ одно, а другимъ другое. Я всему свѣту скажу, что люблю васъ, люблю тебя, Ольга, воскликнулъ восторженно Сушкинъ.

Ольга вдругъ остановилась.

— Что жь вы хотите отъ меня? Что вы хотите? спросила Ольга, блѣдная какъ мраморъ, гнѣвная и вся взволнованная.

Сушкинъ, взглянувъ на Ольгу, смутился, онѣмѣлъ и сталъ какъ робкій школьникъ, забывшій урокъ передъ учителемъ.

— Я... я ничего, я только хотѣлъ сказать вамъ... выдержать не могъ, Ольга Семеновна...

— Зачѣмъ же вы мнѣ препятствуете? Вы хотите окомпрометировать меня, хотите разсказать... говорите, ступайте, продолжала Ольга, вспыхнувъ отъ гнѣва.

— Нѣтъ, Ольга Семеновна, я не скажу, видитъ Богъ, не скажу, чуть не со слезами говорилъ Сушкинъ:—я такъ только, по необдуманности, я толь-

ко хотѣлъ сказать вамъ... нѣтъ... предупредить васъ, что Чолоковъ васъ не любитъ... ужь знаю, что не любитъ; меня не надуетъ онъ; а я васъ люблю, клянусь вамъ, больше его люблю... манеръ только я не имѣю, Ольга Семеновна... я не команъ ву порте-ву, я любить умѣю... право, умѣю... я благородный человѣкъ, Ольга Семеновна.

Ольга глядѣла на смущеннаго Сушкина и гнѣвъ ея началъ уступать жалости.

— Хорошо. Оставьте же меня, тихо сказала она.—Вы свое дѣло сдѣлали, предупредили меня, вы благородный человѣкъ и меня любите, то никому не скажете ни слова, ни слова ни о чемъ—слышите! и оставите меня; я прошу васъ...

И Ольга торопливо взглянула на него, еще испуганная и неуспокоившаяся, но добрымъ и просящимъ взглядомъ.

— Ольга Семеновна, клянусь вамъ, я буду молчать...

Ольга повернулась и пошла.

— Ольга Семеновна, одно слово, только одно слово... говорилъ Сушкинъ ей вслѣдъ:—Ольга... не любите его... я... я... жизнь отдамъ... мы убѣжимъ.

Ольга не останавливалась, обернулась и махнула рукой. Она этимъ движеніемъ какъ-будто отталкивала, останавливала Сушкина, какъ-будто хотѣла сказать: «оставь меня съ твоей смѣшной, ненужной любовью; оставь меня съ твоими подозрѣніями; все ужь рѣшено мною...»

И Сушкинъ остался, глядя на просвѣчивающее межь вѣтвей платье Ольги, которая скрывалась вдали.

Нѣсколько мгновеній стоялъ еще Сушкинъ неподвижно, блѣдный, разстроенный, какъ-будто пораженный громомъ. Вечеръ былъ тихій, музыка звучала невдалекѣ, наигрывая веселую польку. Сушкинъ не слыхалъ ничего. Вдругъ онъ схватилъ себя за волосы, и на этотъ разъ не на шутку, пучки черныхъ волосъ остались у него между пальцевъ.

«Участь! участь моя горькая, говорилъ онъ самъ съ собою. Доля моя безчастная! А отчего? Манеры у тебя нѣтъ! воспитанія нѣтъ у тебя... Зачѣмъ вы не дали мнѣ манеру....» говорилъ онъ едва не рыдая, и, тихо повѣсивъ голову, пошелъ назадъ къ темному лѣсу.

Однакожъ, чрезъ нѣсколько времени мысли Сушкина начали приходить въ порядокъ и возвращаться, самоувѣренность стала по-немногу приподнимать его голову. Какъ трагическій герой, размахивая руками, онъ говорилъ самъ съ собой.

«Да! манеры, только манеры, лоску у меня нѣтъ, какъ у щелкопера этого; будь у меня манеры, она бы полюбила меня! и отчего бы не полюбить? Чѣмъ я хуже его? Всѣмъ его лучше, всѣмъ! отвѣчалъ Сушкинъ и повернулъ назадъ. Лоску у меня нѣтъ, но дай срокъ, лоскъ у меня будетъ, продолжалъ Сушкинъ идти и разговаривать; — научусь, будетъ лоскъ... и она меня полюбитъ... а этого... этому я подставлю ногу! я сыграю съ нимъ штуку!.. собью ему спѣсь! говорилъ онъ грознѣе и грознѣе.

«Постой, обобью же я тебѣ перья», сказалъ гнѣвно и рѣшительно Сушкинъ, и быстро пошелъ къ музыкѣ.

Около музыки было еще много гуляющихъ. Между гуляющими былъ и Чолоковъ. Алексѣй Николаевичъ былъ въ духѣ, ловокъ, веселъ, и говорилъ что-то съ дамами.

Толпа, степенныя и чиновныя лица произвели на Сушкина нѣкоторое впечатлѣніе; онъ оправился, привелъ себя въ порядокъ, и не отказываясь отъ мщенія, кажется, измѣнилъ нѣсколько планъ и должно-быть усложнилъ его, потому-что Сушкинъ впалъ въ задумчивую заботливость. Затѣмъ, на этотъ разъ, онъ ограничился только двумя убійственными взглядами, которыми метнулъ въ Чолокова, проходя мимо, и, взявъ Крапулинскаго подъ-руку, увелъ его въ глубь аллеи и началъ о чемъ-то съ жаромъ совѣтоваться.

Но планамъ Сушкина не удалось осуществиться: на другой день онъ получилъ спѣшное порученіе отправиться немедленно къ себѣ на Кубань.

На другой же день, князь Мухрубакаевъ получилъ отвѣтъ Лысковыхъ: Ольга дала ему свое согласіе.

Князь вышелъ изъ добровольнаго заточенія, торжествующій и счастливый, объявилъ всѣмъ о своей радости и залилъ шампанскимъ всѣхъ знакомыхъ и полузнакомыхъ своихъ.

VIII.

Вскорѣ была сдѣлана помолвка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, измѣнились нѣсколько отношенія дѣйствующихъ лицъ нашего разсказа. Князь Мухрубакаевъ началъ (да и пора была) освобождаться отъ своей робости съ Ольгой, но освобождался какими-то порывами, то вдругъ становился очень развязенъ, острился и отпускалъ рифмованныя шуточки, въ которыхъ не всегда былъ разборчивъ, не очень скромно цѣловалъ у невѣсты руки, оказывалъ даже поползновеніе добраться и до щечки, но былъ немедленно останавливаемъ,—то, получивъ предостереженіе и замѣтивъ, что дѣлалъ неловкость, смущался, краснѣлъ и умолкалъ. Впрочемъ, день отъ дня, эти неровности сглаживались.

Чолоковъ, нѣсколько задумчивый, былъ вообще чрезвычайно милъ и добръ съ обрученными. Онъ давалъ имъ совѣты въ выборѣ покупокъ, охотно вызывался на исполненіе маленькихъ порученій, умѣрялъ и съ свѣтской находчивостью придавалъ иное значеніе нѣкоторымъ, не совсѣмъ умѣреннымъ шуткамъ князя; помогалъ Ольгѣ выворачиваться изъ неловкаго положенія, въ которое иногда ставило ее обращеніе жениха; однимъ словомъ, держалъ себя какъ истинный другъ дома, радующійся и способствующій счастью людей, дорогихъ его сердцу. Старички Лысковы умилялись, глядя на

него, а князь Мухрубакаевъ рѣшительно былъ въ восторгѣ отъ Алексѣя Николаевича.

— Человѣкъ-то, человѣкъ-то какой вышелъ этотъ Чолоковъ, говаривалъ онъ часто ему въ глаза: — а я еще, признаться, не довѣрялъ ему, думалъ, ненадежный народъ свѣтскіе эти мирлифлеры, анъ вонъ онъ какой вышелъ — золото, а не человѣкъ, чистѣйшее золото! Ты, братъ, Чолоковъ (онъ былъ ужь на *ты* съ нимъ),—ты, братъ, какъ пріѣдешь въ Тифлисъ,—и не думай гдѣ-нибудь останавливаться кромѣ насъ, и избави тебя Богъ! У насъ такитакъ и живи—не правда ли, Лелечка? (Ольгу Семеновну со втораго дня помолвки онъ называлъ этимъ именемъ).

Лелечка при этомъ обыкновенно немного краснѣла и отвѣчала, что это можетъ стѣснить Алексѣя Николаевича, а впрочемъ, какъ угодно князю.

Вообще Ольга сносила свое положеніе безропотно и, казалось, примирилась съ нимъ. Она понимала его, но находила отраду въ самомъ драматизмѣ его. Едва ли кому изъ насъ не случалось съ удовольствіемъ ѣсть иныя горькія вещи: точно такъ въ иное время нравятся сердечныя страданія; есть пріятность въ ихъ горечи и часто молодость съ тайнымъ наслажденіемъ отдается ихъ волненію и сильнымъ ощущеніямъ. Ольга поблѣднѣла немного, похудѣла даже, но стала отъ этого только интереснѣе: она не драпировалась въ свои тайныя страданія, но была кротка, уступчива и грустно мила. Только иногда изъ какого-нибудь невиднаго угла смотрѣла она пристальнымъ взоромъ то на жениха своего, то на Чолокова, а на послѣднемъ долго и нѣжно останавливались ея подернутыя слезами глаза. Но если ей случалось тутъ же увидать сѣдаго старика-отца, неподвижнаго въ своихъ креслахъ, или хлопочущую за приданымъ мать, она не могла удержаться отъ слезъ и непремѣнно горько начинала плакать: разлука съ ними была для нея самая тяжелая, самая грустная жертва.

Въ хлопотахъ о приданомъ и приготовленіяхъ къ свадьбѣ, въ покупкахъ и въ поѣздкахъ для этого въ Пятигорскъ, время шло быстро и незамѣтно. Курсъ на желѣзныхъ водахъ кончился, многіе начали разъѣзжаться, многіе пріѣхали продолжать его на кислыя. Старикъ Лысковъ окончилъ свой курсъ; ему было нѣсколько лучше. Князю тоже выходилъ срокъ отпуска и онъ торопился свадьбой, и потому Лысковы, Мухрубакаевъ, а съ ними и Чолоковъ, пріѣхали въ Пятигорскъ: тамъ чрезъ нѣсколько дней назначена была свадьба.

—

Утромъ, въ самый день вѣнчанья, Ольга много плакала. Глаза у нея покраснѣли, она жаловалась на сильную головную боль.

— Вы бы прошлись немного, сказала добрая Матрена Тихоновна: — право, прошлись бы, васъ бы .поосвѣжило, а то какъ этакой расплаканной да больной подъ вѣнецъ идти?

Ольга взглянула на мать.

— Чтожь, пройдись въ самомъ дѣлѣ съ Матреной Тихоновной.

Чрезъ нѣсколько времени Ольга съ Матреной Тихоновной вышли.

День былъ пасмурный, но тихій и теплый; гуляющихъ въ эту пору дня никого обыкновенно не бываетъ. Ольга съ своей спутницей пошли вверхъ по пустынному бульвару до самой лѣстницы, взошли по ней и остановились въ Михайловской галереѣ.

— Вы отдохните здѣсь, Матрена Тихоновна, сказала Ольга:—а я взойду повыше взглянуть на Пятигорскъ: я прощалась съ нимъ.

— Проститесь, проститесь нѣжно! говорила Матрена Тихоновна, усаживаясь на скамейку и провожая Ольгу сострадательнымъ и жалостнымъ взглядомъ; а потомъ она грустно улыбнулась и вздохнула.

Добрѣйшая Матрена Тихоновна была вся предана Ольгѣ, до того, что даже разставалась съ старыками Лысковыми и ѣхала съ нею управлять ея новымъ хозяйствомъ. Она была нѣмой свидѣтельницею ея любви къ Чолокову; и, какъ добрая, но невидимая фея, покровительствовала этой любви, страдала вмѣстѣ съ Ольгой, за нее сердилась на Чолокова и вмѣстѣ съ нею простила коварнаго, но милаго человѣка. Женщины, которыя ужь сами устарѣли для любви, но не чуждались въ молодости ея пріятностей, поймутъ чувства Матрены Тихоновны, съ которыми она лелѣяла любовь молодыхъ людей; поймутъ, почему она послѣднее время особенно была хорошо расположена къ Алексѣю Николаевичу: она сама какъ-будто любила его и не могла ему противиться.

Ольга, задумчивая и взволнованная, пошла по густой виноградной аллеѣ, потомъ оглянулась и повернула на боковую тропинку. Тропинка эта шла по крутому обрыву Машука. Видъ на лѣво въ другое время былъ чудный, но теперь сѣрыя облака закрывали даль и снѣговыя горы, и только бѣленькій, чистый городокъ, пріютясь въ потемнѣвшей зелени, стоялъ смирно, какъ-будто выжидая грозы. Впрочемъ, Ольга и не смотрѣла на него; направо въ горѣ былъ гротъ и она быстро повернула къ нему: двѣ знакомыя руки встрѣтили ея руки.

— О благодарю, благодарю, грустно и безпредѣльно-нѣжно сказалъ Чолоковъ.

— Я только на минуту... Пока я еще свободна, я хотѣла проститься, говорила Ольга, и слезы перерывали ея голосъ.

Чолоковъ тоже не говорилъ, онъ былъ глубоко печаленъ и разстроенъ.

Ольга, въ утомленіи, опустилась на скамью; Чолоковъ сѣлъ возлѣ; прошло тяжелое и грустное мгновеніе прощанья.

— Пора! сказала Ольга, вставая:—меня ждутъ.

— Еще минуту, еще минуту, говорилъ Чолоковъ, удерживая ее,—и въ это время онъ любилъ ее страстно; онъ понялъ, чего лишается въ ней; онъ понялъ и всю великость жертвы, которую такъ

послушно и безропотно приносила ему Ольга, выходя замужъ, и то, какъ мало заслужилъ ее.

— Ольга! Ольга, о, какъ я виноватъ передъ тобою! Простишь ли ты меня, простишь ли, что я отдалъ тебя?.. говорилъ онъ, цѣлуя ея руки,—и горе и сдержанныя слезы душили его.

— Пріѣзжай только скорѣе, едва слышно сказала Ольга и, стыдливо зарумянившись, съ любовью склонила къ нему головку.

Немного спустя, Ольга, объ руку съ Матреной Тихоновной, медленно сходила по бульвару.

Въ 7 часовъ вечера этого же дня, въ единственной деревянной церкви Пятигорска, при толпѣ любопытныхъ зрителей, была свадьба Ольги Лысковой съ княземъ Мухрубакаевымъ. Надъ княземъ держалъ вѣнецъ Терепентѣевъ, надъ Ольгой — Чолоковъ.

Послѣ свадьбы у князя былъ вечеръ для немногихъ избранныхъ. Невѣста была весела; князь сіялъ счастьемъ, угощалъ всѣхъ безпрерывно и подъ-конецъ даже самъ немножко угостился. Чолоковъ былъ тоже любезенъ, и повидимому веселъ, но провелъ прескверную ночь.

Дня два-три спустя послѣ этого, на дворѣ дома, занимаемаго Мухрубакаевыми, гдѣ во флигелѣ помѣщались и старики Лысковы, знакомые намъ коляска и одинъ изъ тарантасовъ были подвинуты къ подъѣзду и въ нихъ впрягали почтовыхъ лошадей: князь спѣшилъ къ мѣсту службы и уѣзжалъ съ княгиней.

Клочки сѣна валялись около крыльца и экипажей; люди суетились и носили ковры, чемоданы, тюфяки и подушки. Между ними, то шмыгая съ узелкомъ, то сердито укладываясь въ экипажахъ, являлась и исчезала толстенькая и краснощекая горничная Паша, въ ваточномъ капотѣ сверхъ платья и перекосившемся платкѣ на плечахъ; на ней былъ дорожный чепчикъ, изъ подъ котораго выбивались растрепанные волосы, а покраснѣвшій кончикъ ея вздернутаго носа обличалъ недавнія слезы. Медлительный Иванъ отъ времени до времени двигался съ тяжелыми вещами, которыми преимущественно нагружали его. Одинъ только Ѳедоръ Васильевичъ, камердинеръ Чолокова, стоялъ, положивъ руки въ карманы пальто, и саркастически улыбался.

— Куда ты это ящикъ-то взвалилъ на самыя ноги—тюлень ты заморскій! говорила Паша, стоя на подножкѣ и перевѣсивъ голову въ коляску такъ, что не было видно ни головы ея, ни стана: — самымъ, что ни на есть ребромъ такъ и подвернулъ. Передвинь!

— Что за фря! сама передвинь, отвѣчалъ Иванъ, брякнувъ на землю чемоданъ такъ, что тотъ затрещалъ, и отправился за другимъ.

— Это онъ для удобности, замѣтилъ Ѳедоръ Васильевичъ.

— Ну, а ты-то что стоишь, да глаза пялишь? *хоть бы* пособилъ, право!.. И безъ тебя досадно...

— *Да что же намъ въ ваши обстоятельства* входить, смиренно отвѣчалъ Ѳедоръ Васильевичъ. Однако онъ смягчился, зашелъ съ другой стороны и точно также свѣсился въ коляску.

И въ такомъ положеніи они долго еще укладывали вещи и потомъ удалились. Экипажи стояли одиноко. Наконецъ послышался голосъ князя изъ окошка.

— Готово, что ли?

— Готово! отвѣчалъ ямщикъ.

И вотъ въ домѣ стала тишина, потомъ послышались поцѣлуи, всхлипыванья, и раздирающій сердце женскій плачъ съ завываньемъ раздался и становился громче-и-громче. Появилась на крыльцѣ растерзанная и потерявшая всю степенность Матрена Тихоновна; вышелъ Мухрубакаевъ, за нимъ, обнявшись и рыдая, вышла Ольга съ матерью. Чолоковъ, опустивъ голову, грустный вышелъ за ними. Всѣ пошли къ экипажамъ. Еще прощанья, плачъ и поцѣлуи. Сѣлъ наконецъ князь въ коляску; сѣла съ нимъ Ольга на то мѣсто, гдѣ сидѣлъ когда-то Чолоковъ. Въ тарантасъ усѣлась Матрена Тихоновна съ Пашей.

Насилу оторвали бѣдную старушку Лыскову,— можетъ-быть, въ послѣдній разъ обнимавшую единственную дочь свою. Взмостился Иванъ на козлы. Среди плача и стона послышалось: «съ Богомъ»— и двинулись экипажи. Старушка, рыдая, упала на руки женщины, дворъ обезлюдѣлъ, и одинъ въ окнѣ опустѣлаго дома, опершись на костыли, стоялъ, блѣдный какъ лунь, старикъ Лысковъ. Слезы тихо текли по его изнуренному лицу и дрожащая рука крестила удаляющуюся дочь.

Блѣдный, постоялъ немного за воротами Чолоковъ и медленно пошелъ домой. Въ общемъ прощаньи онъ былъ почти забытъ, онъ былъ почти постороннимъ зрителемъ и тяжело ему было смотрѣть на эту тяжелую сцену, на безвыходную скорбь родителей, сознавая въ душѣ, что онъ всему причиною...

Въ этотъ же вечеръ Чолоковъ уѣхалъ на кислыя воды, а черезъ день одиноко выѣхалъ со двора и медленно потащился какъ-будто подряхлѣвшій тарантасъ со старикомъ и старушкой Лысковыми, уѣзжавшими въ деревню, доживать свою одинокую старость.

IX.

На кавказскихъ водахъ существуетъ мнѣніе, что воздухъ Кисловодска располагаетъ къ любви, что здѣсь разыгрываются окончательныя драмы и комедіи, начавшіяся въ другихъ мѣстахъ,—мнѣніе высказанное Лермонтовымъ въ «Героѣ нашего времени». Послѣднее весьма справедливо, потому-что кислыми водами, то-есть знаменитымъ Нарзаномъ, заключается обыкновенно леченіе, и потому по необходимости, такъ или иначе, здѣсь выходитъ окончательный результатъ сердечной чувствительности, если не увозится эта своего рода болѣзнь въ Россію, на мѣсто излеченныхъ недуговъ. Но по моимъ слабымъ наблюденіямъ, ходъ этого *курса* долженъ идти иначе: влюбляться болѣе или менѣе

легко и игриво, словомъ какъ слѣдуетъ влюбляться на три мѣсяца, въ приличномъ, веселомъ и шумномъ Пятигорскѣ, впадать въ хандру, апатію и разочарованія отъ неудачи въ пустынныхъ Есентукахъ (на щелочныхъ), любить романически и даже мрачно въ лѣсистомъ нагорномъ Желѣзноводскѣ, наслаждаться тихимъ счастіемъ, или утѣшать себя пріятной меланхоліей въ прелестномъ Кисловодскѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, трудно себѣ представить болѣе-милое, отрадное и успокоивающее мѣстечко, чѣмъ Кисловодскъ. Горы кругомъ обступили и укрыли его отъ вѣтра; по подножію ихъ разбросаны домы и избушки. Двѣ чистыя, какъ кристалъ, рѣчки текутъ по камнямъ, сливаются вмѣстѣ (эмблема счастливыхъ сердецъ) и льются далѣе, игриво извиваясь по долинѣ. Чудесный садъ съ цвѣтникомъ и великолѣпными рядами и группами деревьевъ лежитъ по берегу; въ началѣ его богатырскій нарзанъ вѣчно кипитъ, пузырится и точно все поднимается, какъ шампанское въ бокалѣ, въ своемъ бассейнѣ. Чудный воздухъ и кругомъ по долинѣ растительность, которая такъ и брыжжетъ жизнію и силой... Въ вѣкъ бы, кажется, не уѣхалъ изъ этого счастливаго уголка!.. Сюда-то прибылъ унылый и разстроенный послѣдними сценами и чувствами Алексѣй Николаевичъ.

Сначала Чоловковъ хандрилъ и, насупившись, ходилъ одиноко; холодно отвѣчалъ на вниманіе знакомыхъ, потомъ онъ впалъ въ тихую и очень къ нему идущую меланхолію и сдѣлался общителенъ. Въ числѣ своихъ наводныхъ знакомыхъ онъ началъ съ удовольствіемъ встрѣчать семейство Терскихъ и отдавать должную справедливость ихъ такту и умѣнью жить. Его влюбленное сердце требовало случая излиться передъ кѣмъ-нибудь, облегчить хотя нѣсколько накопившійся въ немъ грузъ ощущеній и мыслей, и онъ остановилъ свое вниманіе на дѣвицѣ Терской. Она такъ сострадательно смотрѣла на бѣднаго Чолокова, такъ мягко касалась больнаго мѣста его чувствъ, что отказать ей въ отвѣтѣ на участіе было бы невѣжливо. И Алексѣй Николаевичъ, какъ порядочный человѣкъ, не сдѣлалъ этой невѣжливости. Онъ говорилъ съ Катенькой Терской общими мѣстами о нѣкоторыхъ сердечныхъ влеченіяхъ, и о чувствахъ вообще, и тому подобное. Это ихъ сблизило. Узналъ Чолоковъ, между-прочимъ, что у нихъ много общихъ знакомыхъ въ Петербургѣ, и пошли нескончаемые разговоры объ общихъ знакомыхъ и Петербургѣ. Эти разговоры живо напомнили ему разговоры въ столичныхъ гостиныхъ его свѣтскихъ знакомыхъ, гдѣ только и говорятъ о погодѣ, оперѣ и маленькихъ слабостяхъ, достоинствахъ и приключеніяхъ общихъ знакомыхъ и даже незнакомыхъ. И вспомнился ему и самый Петербургъ съ его веселой и кипящей визитами свѣтской дѣятельностью, который онъ такъ неблагодарно забывалъ въ это время для живописныхъ скалъ, лѣсовъ и ауловъ Кавказа и Грузіи.

Время близилось къ сентябрю и въ этотъ годъ осень нежданно и рано спустилась надъ Кисловодскомъ. Стало холодно; листъ началъ блекнуть, и въ одно прекрасное утро верхушки окружныхъ горъ ярко забѣлѣли первымъ снѣгомъ. Человѣкъ и не съ чолоковскими воззрѣніями на жизнь такъ ужъ устроенъ, что какъ бы ему хорошо ни было, все его тянетъ куда-то, и даже, что замѣчательно, чѣмъ очаровательнѣе мѣсто, чѣмъ болѣе душа настроена счастіемъ и любовью къ воспріинманію впечатлѣній, тѣмъ сильнѣе, тѣмъ тоскливѣе хочется въ невѣдомое куда-то, гдѣ чудится еще болѣе счастья и очарованій. Алексѣй Николаевичъ не былъ счастливъ; счастье его было тамъ, за горами; но ему было хорошо. Въ Терскихъ онъ нашелъ милыхъ добрыхъ людей, понимающихъ всю тонкость свѣтскихъ отношеній. Катенька Терская была хорошо воспитана и — вещь, которая всегда имѣетъ вѣсъ — имѣла состояніе, которое позволяло ей и маменькѣ хорошо жить и быть хорошо обстановленной. Чувства Чолокова пришли въ то прекрасное положеніе, когда благомыслящій человѣкъ вполнѣ владѣетъ ими и беретъ только то, что ему пріятно, и Чолоковъ оставилъ за собой только ту часть ихъ, которая доставляетъ какую-то пріятную теплоту, ласкающую самолюбіе. Несмотря на это Алексѣя Николаевича тоже тянуло куда-то, хотя онъ и не могъ отдать себѣ отчета, куда именно. Правда, дѣвица Терская напоминала ему Петербургъ и говорила не однажды объ удовольствіи столицы и еще бо́льшемъ удовольствіи встрѣтиться тамъ съ добрымъ знакомымъ, котораго коротко узнали и полюбили въ безцеремонной наводной жизни; но Чолоковъ отвѣчалъ сперва, что это невозможно, потомъ, вздохнувъ, сказалъ, что это трудно, потомъ подумалъ, что это бы и возможно, но развѣ только не надолго и въ томъ случаѣ, если онъ найдетъ полезнымъ передъ окончательнымъ поселеніемъ въ Тифлисѣ заѣхать, для устройства дѣлъ, въ Петербургъ, о чемъ ему нужно еще подумать и дождаться отвѣта на свои письма.

Между-тѣмъ время шло. Курсъ кончался; всѣ стали разъѣзжаться; пора было ѣхать и Чолокову, независимо отъ того, что его давно ужъ *куда-то* тянуло. Неизвѣстно, какого рода получилъ онъ отвѣтъ на свои письма и что̀ подумалъ; но кавказская природа, замирающая подъ снѣгомъ, охладила въ немъ вообще не очень-свойственную ему любовь къ природѣ, вмѣстѣ съ ея располагающимъ къ нѣжнымъ ощущеніямъ вліяніемъ. Зима въ горахъ показалась ему суровой и безотрадной. Подумалъ онъ невольно и о другой зимѣ, полной веселостями, балами, спектаклями и другими эстетическими наслажденіями образованнаго общества. Садясь въ экипажъ и приготовляясь къ дорожной скукѣ, подумалъ онъ также и вообще о скукѣ бездомной и вѣчно кочевой жизни холостяка; подумалъ объ удовольствіи теплаго и хорошо меблированнаго и освѣщеннаго угла въ собственномъ домѣ. Не знаемъ, что̀ думалъ онъ еще; но собрал-

ся и выѣхалъ съ водъ почти вслѣдъ за Терскими, которыя выѣхали наканунѣ.

На кавказскія воды и, слѣдовательно, съ нихъ обратно, есть только одна почтовая дорога и конечно по ней, незатрудняясь выборомъ, поѣхалъ Алексѣй Николаевичъ: это дорога въ Новогеоргіевскъ. Въ Новогеоргіевскѣ подъ прямымъ угломъ она выходитъ на большую, которая направо идетъ черезъ Владыкавказъ и горы въ Тифлисъ, и называется военно-грузинской, влѣво на Ставрополь и называется въ Россію. Чолоковъ повернулъ налѣво.

—

Зима и ея веселости въ Петербургѣ были въ разгарѣ. Близилась масляница: спектакли, балы и маскарады учащались, чувствуя скорый постъ и съ нимъ закрытіе всѣхъ увеселеній. Благоразумные холостяки, желающіе упрочить за собой семейное счастіе, спѣшили свадьбами.

Несмотря на то, что мѣсяца четыре прошло съ тѣхъ-поръ, какъ Алексѣй Николаевичъ оставилъ кавказскія воды и отправился не надолго въ Петербургъ, мы, къ крайнему удивленію, находимъ его еще тамъ и находимъ на новой и довольно-помѣстительной квартирѣ, чрезвычайно-занятымъ и глубоко-озабоченнымъ приличнымъ устройствомъ оной.

И не мы одни находимъ тамъ его: его нашло и письмо, присланное издалека, которое подалъ ему почтальонъ.

Письмо, написанное мелкимъ женскимъ почеркомъ, было слѣдующаго содержанія:

«Помните ли вы, Чолоковъ, ту, которая имѣла несчастіе встрѣтиться съ вами на Кавказѣ, ту, которая взялась за перо не съ тѣмъ, чтобъ возобновить въ васъ память о себѣ, лелѣя какую-нибудь надежду, но чтобъ, напротивъ, высказать вамъ мнѣніе, которое вы заслужили, и отдѣлаться этимъ письмомъ отъ всего прошлаго? Помните ли вы, Чолоковъ, нашу встрѣчу въ Ларсѣ и начало тогдашняго разговора, съ котораго началась наша короткость? Мы говорили, что надо много любви со стороны женщины, чтобы оторваться отъ всего близкаго и милаго, и всю посвятить себя мужу и семьѣ, и жить въ тамошнемъ одинокомъ замкѣ? Я сдѣлала больше для васъ. Я оторвалась отъ моихъ добрыхъ и старѣющихъ родителей, оторвалась отъ родины, къ которой такъ радостно возвращалась, связала *навсегда*, слышите? *навсегда*, свою судьбу съ человѣкомъ, къ которому не чувствовала особенной привязанности, и поселилась здѣсь, въ безлюдьи и враждебной степи (мужъ переведенъ въ ***) изъ одной надежды *видать* васъ, васъ, человѣка, къ которому любовь была бы для меня уже преступленіемъ. У меня не было утѣшенія этимъ жертвамъ въ любви къ мужу, въ семействѣ, въ сознаніи исполненія долга; нѣтъ даже вокругъ меня этой дикой, но все-таки чудной и возвышающей душу обстановки тамошней природы: здѣсь степь голая, враждебная, безлюдная и наводящая уныніе степь кругомъ. И вы меня, неопытную, отуманенную первымъ чувствомъ дѣвочку, толкнули въ это безвыходное положеніе для одной прихоти, и вы даже не воспользовались этою прихотью...

«Боже мой! сколько жертвъ, сколько безполезныхъ, вѣчныхъ жертвъ брошено мною на вѣтеръ, такъ безплодно и недостойно.

«Какимъ именемъ назовете вы вашъ поступокъ?

«Знаете ли что? Сначала, когда вашъ отъѣздъ въ Петербургъ и дошедшіе до меня слухи показали мнѣ васъ въ настоящемъ свѣтѣ, мнѣ было горько и обидно, обидно за васъ, что васъ недостало даже на низкую цѣль (потому-что теперь, женщина, я поняла всю низость вашей цѣли), обидно за себя, что единственное мое чувство и всѣ жертвы были истрачены на такого мелкаго человѣка. Я думала—да проститъ мнѣ совѣсть — что мнѣ было бы легче, еслибъ вы дошли до конца, хотя по своей скверной дорогѣ.

«Теперь я каждый день благодарю Бога, что все такъ устроилось. Я избавилась отъ чувства, несовмѣстнаго съ моими обязанностями и избавилась безъ тяжелой борьбы. Женщина можетъ простить любимому человѣку преступленіе, но никогда не проститъ низость. Въ мужѣ я нашла человѣка хорошаго, въ которомъ, за маленькими недостатками, скрывается много достоинствъ. Я его уважаю и надѣюсь, что онъ привлечетъ и другое чувство, котораго вполнѣ достоинъ.

«Я взялась за перо, чтобъ высказать вамъ мое мнѣніе о васъ, мнѣніе о вашемъ поступкѣ, который, къ-несчастію можетъ-быть, не найдетъ даже наказанія въ общественномъ мнѣніи вашихъ свѣтскихъ пріятелей, еслибъ онъ былъ извѣстенъ имъ. Я хотѣла отнять этимъ всякую надежду у вашего самолюбія на то, что я могу питать къ вамъ еще какое-нибудь чувство и страдать отъ него. Еще хотѣла вамъ сказать, что если когда-нибудь судьба сведетъ насъ вмѣстѣ, единственная встрѣча, на которую вы можете разсчитывать отъ меня, это— полное мое презрѣніе, которое вы такъ достойно заслужили».

«Ольга М.»

Чолоковъ прочелъ письмо, съ досадой скомкалъ его и остался въ раздумьѣ. Когда первое чувство стыда и негодованія прошло, подумалъ онъ о той, которая такъ сурово напомнила о себѣ. И начали мало-по-малу вставать въ его воображеніи и живописныя горы Грузіи, и дикія горы Кавказа, и пышная растительность подъ жгучимъ лучомъ, и ласкающая прохлада южной ночи. Среди этихъ картинъ, то въ той, то въ другой обстановкѣ, начала мелькать, какъ-будто дразнить и манить его, молоденькая, розовая и игривая Ольга съ своей золотистой головкой; потомъ онъ увидалъ эту же головку, печально-опущенную, съ безмолвно-упрекающимъ, но еще любящимъ взглядомъ и слабой надеждой, тревожно-ожидающею его послѣдняго отвѣта. Какъ молнія, невольно и на минуту ясно мелькнула въ немъ мысль о его поступкѣ и лобъ его намор-

щился, и поспѣшно подумалъ онъ бросить бы все и летѣть туда, на югъ, къ бѣдной и оставленной имъ Ольгѣ, у ногъ ея вымолить прощеніе и любовью всей жизни исцѣлить тѣ раны, которыя онъ нанесъ ея молодому сердцу...

Въ это время раздался звонокъ и человѣкъ доложилъ, что принесли изъ магазина вещи. Точно отъ сна пробудился Чолоковъ, и даже улыбнулся. Улыбнулся надъ нелѣпостью идеи, которая приходила ему въ голову: бросить все и уѣхать на Кавказъ; улыбнулся отъ самодовольствія, подумавъ о силѣ любви, которую способенъ возбудить; улыбнулся, наконецъ, отдавая должную справедливость силѣ своего воображенія, и при этомъ нашелъ, что съ такимъ воображеніемъ, при маленькомъ желаніи его, Чолокова, могъ выйдти изъ него замѣчательнѣйшій писатель...

Однакожь, писателемъ, къ-сожалѣнію, онъ не сдѣлался, а въ Петербургѣ остался. Да какъ ему было и оставить Петербургъ, когда онъ нанялъ и удобнѣйшимъ образомъ устроилъ свою квартиру, да еще намѣренъ ввести въ нее милую, свѣтскую и понимающую всѣ тонкости обращенія и порядочности хозяйку, именно дѣвицу Терскую, бракъ съ которой, при самыхъ многосторонникъ обсужденіяхъ, не представлялъ ни одного изъ тѣхъ *неодолимыхъ препятствій*, которыя не позволили Алексѣю Николаевичу жениться на Лысковой, а напротивъ, обѣщаетъ связи, прекрасныя знакомства, умѣнье поддержать ихъ, порядочныя средства, гостиную хорошаго тона, словомъ, всѣ залоги счастія, и потому уже объявленъ и долженъ на днихъ свершиться.

X.

Время идетъ да идетъ, сыплетъ своей разрушительной пылью на большія и малыя вещи міра сего, на дѣла и чувства; иныя раны растравляетъ, иныя если не излечиваетъ, то замазываетъ. И много уже дѣлъ и вещей отдаленнаго прошлаго стерто имъ съ лица земли; немногія дѣла и личности, какъ одинокія верхушки невѣдомыхъ зданій, высятся надъ туманомъ старины. Пройдутъ еще года и вѣки, и ихъ совсѣмъ занесетъ, обративъ въ неясныя миѳологическія преданія; скорѣе того занесетъ насъ, маленькихъ людей нынѣшняго великаго вѣка; еще скорѣе сотретъ изъ памяти читателя блѣдныя лица настоящей повѣсти и имя ея автора... Но пока, благодаря Бога, мы еще живы и потому воспользуемся своимъ положеніемъ, и посмотримъ, что сдѣлало время съ нашими маленькими героями.

А время, о которомъ мы отозвались такъ мрачно, несмотря на то, что его прошло очень немного лѣтъ, надѣлало, къ нашему удивленію, очень-хорошія вещи! Смотрите и судите сами.

Въ Петербургѣ, въ бельэтажѣ благообразнаго дома, дѣвственнаго отъ всѣхъ мѣщанскихъ вывѣсокъ, живетъ Алексѣй Николаевичъ Чолоковъ. Квартира его удобна, чиста, какъ зеркальное стеклышко, убрана въ строго-обдуманномъ и изящномъ безпорядкѣ: въ ней немного сухо, безжизненно, но въ высшей степени прилично. Семейство Алексѣя Николаевича размножилось; но, начиная отъ тещи, еще бойкой старухи Терской, до грудной дѣвочки Момми, которая соблюдаетъ опрятность и имѣетъ ужъ граціозныя манеры въ пеленкахъ—всѣ въ высшей степени порядочны и приличны. Впрочемъ, дѣтей бояться нечего: за ихъ манерами и поступками зорко смотритъ строго-приличная гувернантка изъ иностранокъ, и первое неразборчивое слово, которое произносятъ дѣти и которое разобрать трудно, имѣетъ ужъ чистѣйшій иностранный акцентъ. Здоровьемъ женская и дѣтская часть семейства наслаждается несовсѣмъ-много; но если болѣзни доступны и этому благоустроенному семейству, то и самыя болѣзни, допускаемыя домашнимъ докторомъ въ этотъ порядочный домъ, непремѣнно приличны и носятъ хорошія имена мигрени, гриппа и прочее. Кромѣ бдительности доктора (очень-хорошаго и принятаго въ лучшихъ домахъ доктора), такое приличіе даже въ болѣзняхъ объясняется только чистотою крови родителей, а въ дѣтяхъ поддерживается образомъ воспитанія и прекраснымъ шотландскимъ обыкновеніемъ ходить съ голыми ножками. А если у старшаго сына Поппи эти ножки ужъ кривятся, то все-таки отъ болѣзни очень-приличной, такъ-называемой англійской болѣзни.

Что касается собственно до Алексѣя Николаевича, то онъ раздобрѣлъ, обложился солидными бакенбардами, попрежнему румянъ и красивъ, и только какъ-то сталъ неподвижнѣе, самодовольно-сосредоточеннѣе въ себѣ, недоступнѣе; впрочемъ, нисколько не терялъ отъ этого своей порядочности, напротивъ эта порядочность еще глубже пустила въ немъ корни и пропитала его. Ясно, онъ созналъ цѣль своей жизни и шелъ къ ней твердыми стопами. Служебное положеніе его было хорошо, общественное еще лучше. Передъ нимъ отворились двери многихъ, прежде недоступныхъ ему домовъ; кругъ знакомыхъ (пріятелей у него не было) сталъ выше и значительнѣе. Неукоснительно и строго соблюдалъ онъ всѣ тончайшія приличія и условія свѣта, и былъ столько счастливъ, что даже пріобрѣлъ по этой части нѣкоторый авторитетъ. Никакая жертва не была тяжка ему въ этомъ отношеніи: скорѣе согласится Алексѣй Николаевичъ выдержать горячку, нежели пройдти по Невскому въ фуражкѣ, и двери его дома многимъ добрымъ малымъ, его бывшимъ пріятелямъ, невыдержавшимъ съ годами всѣхъ требованій порядочности, незамѣтно съузились и затворились. Вспоминаетъ иногда Алексѣй Николаевичъ и годы холостой жизни и, вздыхая съ самодовольной улыбкой, говоритъ: «и мы шалили»; любитъ въ близкомъ кружкѣ поговорить и о Кавказѣ; но его, къ сожалѣнью, все еще зеленоватая супруга этого не любитъ и по-

сматриваетъ при этомъ на мужа такъ, какъ будто бы рѣчь зашла о какой-нибудь знакомой ей Аделаидѣ Францовнѣ, съ которою, однакожь, знакомъ самъ Алексѣй Николаевичъ: отъ такого взгляда предметъ разговора обыкновенно измѣняется.

Впрочемъ, во всѣхъ отношеніяхъ Чолоковы живутъ прекрасно, и для многихъ изъ моихъ читателей было бы весьма-лестно бывать у нихъ. Но не для всѣхъ изъ нихъ, особенно съ темными и неблагозвучными именами, доступенъ этотъ домъ.

Утѣшимъ послѣднихъ замѣчаніемъ, что домъ этотъ для людей непривычныхъ немного-скученъ, и да наслаждается миромъ Алексѣй Николаевичъ и его семейство.

—

Не такова жизненная обстановка и не таковъ образъ жизни другихъ нашихъ знакомыхъ.

На голой, какъ ладонь, степи, перерѣзываемой военно-грузинской дорогой, стоитъ большая казачья станица, обнесенная заборомъ изъ колючки съ вышкой и часовымъ у воротъ. Въ станицѣ, по широкой улицѣ, свободно разлегся деревянный одноэтажный домъ. Домъ этотъ не блеститъ убранствомъ, но, что можно достать успокоивающаго и украшающаго въ окрестныхъ горахъ, то все есть въ этомъ домѣ. Двери этого дома стерегутся не швейцаромъ, а исправляющей его должность дворовой шавкой, и то единственно по ея собственной склонности: эти двери радушно отворены для всѣхъ знакомыхъ,—а кто не знакомъ другъ съ другомъ въ кавказской станицѣ,—и для всѣхъ хотя и не знакомыхъ проѣзжающихъ.

Лѣтнее утро ясно; солнце еще не подошло къ полудню. Знакомый нашъ князь Мухрубакаевъ сидитъ съ разстегнутой грудью у открытаго окошка.

Идетъ по улицѣ молоденькій господинъ, Маклухинъ.

— Маклухинъ! Куда вы идете? спрашиваетъ князь.

— Къ Петру Петровичу, ваше с—ство, отвѣчаетъ Маклухинъ.

— А пили водку? спрашиваетъ князь.

— Никакъ нѣтъ, ваше с—ство, скромно отвѣчаетъ Маклухинъ.

— Зайдите!

Маклухинъ заходитъ.

— Человѣкъ! подай водки Маклухину.

— Я не пью, ваше с—ство! замѣчаетъ Маклухинъ.

— Вздоръ! Какъ не пить! Се бонъ пуръ л'естома!

Человѣкъ подаетъ Маклухину водку. Маклухинъ наливаетъ, кланяется и пьетъ.

— Принеси сюда, невнятно и тихо говоритъ князь сквозь зубы.

Человѣкъ подноситъ и князю, князь выпиваетъ. Маклухинъ откланивается и уходитъ.

Такъ повторяется и съ другимъ проходящимъ *и съ третьимъ, до тѣхъ поръ, пока* количество посѣтителей не обезпокоитъ хозяйку, которой шепнетъ нѣчто объ этомъ Матрена Тихоновна.

Тогда, по уходѣ гостя, растворяются двери въ гостиную и показывается Ольга Семеновна.

Наша добрая Ольга Семеновна нѣсколько измѣнилась, но она все хорошенькая. Она какъ-будто выросла и навѣрное пополнѣла; лицо ея нѣсколько утратило нѣжность и игривость и стало какъ-будто скучнѣе, но все еще свѣжо и мило. Бѣлый капотъ свободно обхватываетъ мягкій и развившійся станъ ея, давно раззнакомившійся съ стѣснительными узами корсета; вся она смотритъ видной женщиной.

— Вы опять, кажется... говоритъ Ольга Семеновна мужу.

— Я ничего, душенька! Нельзя же, знакомые заходили!

Успокоенная этимъ отвѣтомъ, садится Ольга Семеновна за какую-нибудь работу. Приходятъ другіе, ужь не зазванные, а короткіе знакомые. Ольга Семеновна говоритъ съ ними развязно; у нея иногда вырываются выраженія, отъ которыхъ бы нѣсколько подернуло какого-нибудь щепетильнаго Чолокова, но щепетильныхъ Чолоковыхъ нѣтъ въ безцеремонной казачьей станицѣ и незамѣтно идетъ день въ бесѣдѣ и обиліи яствъ. Правда, Ольга Семеновна иногда позволяетъ себѣ зѣвнуть, но зѣваетъ не отъ скуки, тѣмъ менѣе нервнаго раздраженія, а такъ, по привычкѣ. Въ сущности и положа руку на сердце, она счастлива и довольна своимъ положеніемъ, до такой степени довольна, что уговорила мужа остаться на настоящемъ мѣстѣ, хотя ему и предлагали перейдти въ губернскій городъ ***.

Добрѣйшая Матрена Тихоновна по-прежнему предана Ольгѣ Семеновнѣ, управляетъ всѣмъ хозяйствомъ, которое идетъ прекрасно и обильно, нисколько не безпокоя княгиню, по-прежнему ворчлива и добродушна и ужасно любитъ Терепентѣева, который живетъ въ той же станицѣ, бываетъ часто въ домѣ князя и много смѣшитъ всѣхъ.

Да живутъ и они также счастливо впредь, какъ живутъ теперь.

Намъ остается сказать два слова о Сушкинѣ, этомъ пламенномъ, романическомъ, нѣсколько-мрачномъ, но благородномъ Сушкинѣ, изъ котораго могъ бы выйдти отличнѣйшій герой романа съ рыцарскими поступками, еслибъ онъ, по его выраженію, имѣлъ манеру, лоскъ пріобрѣлъ.

Хотя Сушкинъ, къ сожалѣнію, не пріобрѣлъ еще манеры и лоску, да и трудно было ему пріобрѣсть ихъ, живя въ станицѣ на Кубани, въ передовой линіи; но онъ оставался все такимъ же бѣдовымъ, страстно любилъ Ольгу; при воспоминаніи о ней, ерошилъ свои черные волосы, и хотя, можетъ быть, не всегда оставался ей вѣрнымъ, но не иначе выражался о ней, какъ восторженно и называлъ ее «моя чудная Ольга!» И Сушкинъ жилъ до-днесь прекрасно и мирно, но недавно случилась съ нимъ маленькая непріятность.

Въ прекрасную іюльскую ночь нынѣшняго года, Сушкинъ, вообще охотникъ до романическихъ прогулокъ, счелъ нужнымъ спуститься къ рѣкѣ и насладиться ночью и воздухомъ. Улегшись на травѣ и не боясь ревматизма, Сушкинъ предался мечтамъ о чудной Ольгѣ, любовался луной и поджидалъ свою куму-казачку, которая сбиралась придти по близости за водою.

Ночь была прелестная; мѣсяцъ свѣтилъ, какъ днемъ. Кубань бѣжала у ногъ Сушкина, рисуясь на травѣ темной фигурой. Онъ наслаждался и ночью, и луной, и рѣкой, и, чтобъ полнѣе было наслажденіе, закурилъ турецкую папироску. Вдругъ послышался шорохъ; Сушкинъ приподнялся... съ рѣки раздался выстрѣлъ и черкесская пуля попала прямо въ его горячее сердце...

Въ станицѣ поднялась тревога, но не поднялся бѣдный Сушкинъ...

Итакъ, за исключеніемъ Сушкина, этого образца восторженной и чистой любви, сошедшей въ низшую сферу, которому суждено было и умереть также безплодно, какъ безплодно любилъ онъ, время сдѣлало свое дѣло, уврачевало и засыпало раны сердца, стерло горячіе слѣды прежнихъ склонностей и изъ героевъ повѣсти сдѣлало, какъ обыкновенно бываетъ, простыхъ людей, какъ-будто и небывавшихъ героями, да еще и очень-довольныхъ своею судьбою людей. Касательно Ольги, иная чувствительная барышня готова, пожалуй, пожалѣть, что приличнѣе было бы ей остаться весь вѣкъ героиней, гордо и молча страдать, или тихо увянуть жертвою неудачно-помѣщенной любви, на томъ основаніи, что иная смерть лучше иной жизни. Но мы позволимъ себѣ замѣтить чувствительнымъ барышнямъ, что нужно много твердости и глубины чувства, чтобъ ввѣкъ оставаться вѣрнымъ ему и сквозь всю пыль жизни гордо пронести драгоцѣнную ношу, или пасть подъ ея бременемъ, не разставаясь съ ней; что нуженъ для этого особенный закалъ души, чѣмъ у маленькихъ героинь нашихъ вѣрныхъ обыденной жизни повѣстей, и что многія Ольги Семеновны и всѣ Алексѣи Николаевичи очень довольны, что живутъ покойно, какъ порядочные люди, незнакомые ни съ какими, весьма-интересными въ повѣстяхъ, страданіями, и мы желаемъ имъ этого спокойствія.

Но есть среда, обѣтованная среда, гдѣ порядочность выражается не въ одной наружной формѣ; гдѣ благородные порывы сердца не спотыкаются о мелкія препятствія; гдѣ чувства вносятся въ жизнь и не идутъ, мельчая и ломаясь, наперекоръ ея матеріальнымъ требованіямъ, а дружно сливаются съ нею, согрѣвая и одушевляя ея необходимую прозу,—среда, доступная только ясному, свѣтлому взгляду, чистой и честной душѣ, и ея мы желаемъ читателямъ.—

НА ДОРОГѢ.

РАЗСКАЗЪ.

«Наши женщины (женщины, а не барышни) въ любви какъ-то тяжелы на подъемъ; онѣ туги на любовь; ихъ надо сначала долго раскачивать, чтобы подвинуть на чувство. Это не значитъ, чтобы онѣ были благоразумны или холодны: нѣтъ! онѣ не прочь отъ чувства—но любятъ, чтобы это чувство вымогали у нихъ, брали ихъ, но съ сотнею приговорокъ, какъ папоротникъ въ Иванову ночь. Въ нихъ нѣтъ свободнаго порыва, онѣ просто нерѣшительны и щепетильны; исключенія бываютъ только при мимолетныхъ встрѣчахъ гдѣ-нибудь на водахъ, на дорогѣ, когда онѣ поставлены необходимостью рѣшить тотчасъ «быть или не быть».

(Изъ частнаго письма).

Май былъ въ началѣ. Дороги только-что стали просыхать подъ горячими вешними лучами и отъ свѣжихъ, а порой и теплыхъ вѣтровъ. Мелкія полои сбѣжали, и подъ ними ярче и моложе другой начинала пробиваться зеленая трава; овражки тоже давно ужь отъиграли и, вмѣсто шумныхъ и мутныхъ вешнихъ водъ, весело, но тихо катили по дну еще полныя, но уже просвѣтлѣвшія воды. Однако большія рѣки еще и не думали сбывать и многоводная Волга сильно и высоко налегла на нагорный берегъ, широко разбѣжалась по луговому, верстъ на двадцать затопила всѣ поймы, охватила всѣ пригорки и, какъ глазъ окинетъ, блестѣла водой, среди которой то дремали уремы полузатопленнаго, уже зазеленѣвшагося лѣса, то пестрѣли черные или зеленые острова съ селами, деревнями, или одинокими вѣтряными мельницами.

Въ эту пору, по дорогѣ отъ Казани къ Нижнему, которая перегибается по нагорному, берегу Волги и носитъ названіе сибирскаго тракта ѣхалъ небольшой, такъ-называемый казанскій тарантасъ тройкой. На козлахъ сидѣлъ, избоченясь, ямщикъ въ разстегнутомъ полушубкѣ и пестрядиной рубахѣ, возлѣ него молоденькій мальчикъ-слуга, ко-

торый, кажется, пересѣлъ на козлы ради собственнаго удовольствія, потому-что хозяйство его—шинель и ситцевая подушечка, лежали въ кузовѣ тарантаса; въ самомъ тарантасѣ, съ закругленнымъ, а не колясочнымъ кузовомъ, котораго верхъ былъ открытъ, — сидѣлъ молодой человѣкъ въ темной ваточной шинели съ потертымъ бобровымъ воротникомъ.

Молодой человѣкъ былъ, по-видимому, лѣтъ двадцати пяти, свѣтлорусъ, не дуренъ собой, станомъ жидокъ, словомъ, принадлежалъ къ тѣмъ худощавымъ чиновникамъ, которые, по замѣчанію Гоголя, на службѣ занимаютъ большею частью *косвенныя* и не приносящія существенныхъ выгодъ мѣста.

Начинало уже вечерѣть. Солнечный день былъ ясенъ и тепелъ, воздухъ напитанъ запахомъ оттаявшей земли; шире и свободнѣе дышала грудь въ этомъ воздухѣ и, какъ давно невиданнаго и милаго знакомаго, съ отрадой и волненіемъ встрѣчала его. Кругомъ все стояло тихо, но это была какая-то торжественная и бодрствующая тишина; будто чувствовалось среди нея, какъ пробивается на вольный свѣтъ молодая трава и развертывается въ листъ тугая и ярко-зеленая почка дерева. Весело и пріятно въ такую пору быть въ дорогѣ!...

Молодой человѣкъ ощущалъ, казалось, эти чары весны. Съ удовольствіемъ смотрѣлъ онъ вокругъ, хотя видъ былъ очень обыкновенный, русскій видъ, или, пожалуй, собственно вида, ландшафта не было никакого. Мѣстами покатъ пригорка, съ мелкой и тощей, но зеленѣющей травой и желтыми цвѣтками, мѣстами еще голенькій березникъ, только-что начинающій одѣваться листомъ, мѣстами черныя глыбы недавно взрытой пашни, на которой едва пробивались, тоненькой щетиной, всходы. Но пріятенъ и новъ этотъ видъ вставшей изъ-подъ снѣга природы; умѣетъ нашъ, неизбалованный роскошью красокъ, глазъ, найдти и уловить свою тонкую прелесть въ нашемъ бѣдномъ, русскомъ видѣ, также отрадно и неизъяснимо-сладко щемитъ и тихо ноетъ сердце отъ этого блѣдно-голубаго неба, легкой и незамѣтной чертою ложащагося вдали на землю, отъ этой земли, исподволь переливающейся изъ неясной тѣни въ неясную тѣнь; также многозначительно и чудно шумитъ и шепчетъ нашъ лѣсъ своимъ тонкимъ и мелкимъ листомъ, какъ для человѣка другой стороны блеститъ синее небо, встаютъ своеобразныя горы, шумятъ и зеленѣютъ своимъ пышнымъ листомъ высокія и душистыя рощи юга.

Тарантасъ двигался довольно медленно. Медленно и исподволь измѣнялись окрестные виды. Ямщикъ, помахивая кончикомъ кнута, тихо мурлыкалъ какую-то пѣсню; ему, казалось, пріятно было, среди этого благорастворенаго воздуха, потихоньку везти терпѣливаго барина. Мальчикъ на козлахъ тоже смотрѣлъ кругомъ такими глазами, какъ будто онъ въ первый разъ видитъ голую землю, *тощую траву* и распускающійся листъ. Молодой человѣкъ *смотрѣлъ разсѣянно, но* взглядъ его былъ веселъ и тонкая улыбка изобличала отрадныя мысли: подъ ладъ и строй природы вызывалъ онъ самыя пріятныя и свѣтлыя картины, и если бы можно было постороннему глазу взглянуть на то, что въ настоящую минуту незримо оживало и проходило передъ его внутреннимъ взглядомъ, онъ бы только и увидалъ хорошенькихъ дѣвушекъ да женщинъ, но за то сколько ихъ! въ какой свѣтлой рамкѣ, и съ какими веселыми и милыми сердцу рѣчами являлись, исчезали и снова являлись эти живыя тѣни!.. Экая счастливая, благословенная пора—эта весна! Не говоря уже про молодость,—на другаго, сильно помятаго и потертаго жизнью человѣка отрадно дѣйствуетъ она! и тотъ испытываетъ ея благотворныя силы, какъ полуживое дерево: видитъ оно, что не зазеленѣютъ сучья его засохшей половины, но чуетъ оно, что движутся въ немъ свѣжіе соки, но чувствуетъ, что есть еще у него живыя вѣтви, и съ надеждой глядитъ въ эту сторону и думаетъ, что, можетъ быть, широко и пышно еще развернутся онѣ и снова зацвѣтутъ, и снова раскинутся, и снова зашумятъ густою листвою.

А что, если къ веснѣ-то природы, да прибавится весна жизни!

Долго ѣхалъ такимъ образомъ нашъ проѣзжающій, не замѣчая, кажется, ни длинной станціи, ни тихой ѣзды. Но вотъ, перебравшись черезъ какой-то животрепещущій мостъ, ежегодно сносимый и ежегодно устраиваемый инженерными свѣдѣніями исправника, ямщикъ встрепенулся, лошади тоже, кажется, знали, что съ этого мѣста начинается лихой подъѣздъ на станцію, который, какъ послѣднее впечатлѣніе, долженъ изгладить всю прежнюю медленность и заслужить на водку, лошади тоже встрепенулись и тарантасъ, вздымая пыль, бойко взлетѣлъ на пригорокъ, шибко пронесся еще съ полверсты и въѣхалъ въ зажиточное село.

День былъ праздничный. У воротъ и на завалинахъ иногда кучками, иногда по одиночкѣ, стояли и сидѣли мужики и бабы, и лѣниво провожали тарантасъ глазами; бѣловолосые мальчишки, спустивъ рукава рубашки и перебѣгая черезъ дорогу передъ самыми лошадьми, такъ что ямщикъ раза два выразительно вскрикивалъ: «у, — вы, пострѣлята!» тоже смотрѣли на проѣзжающаго; нѣкоторые изъ нихъ не выдержали и, по сочувствію русскаго человѣка къ тройкѣ, во все горло тоненькимъ голосомъ кричали: «эй вы, что ли!» Плотно срубленныя избы промелькнули длиннымъ и тѣснымъ рядомъ, и тарантасъ остановился передъ станціоннымъ домомъ съ его пестрыми столбами.

Станція помѣщалась не въ казенномъ, а частномъ домѣ, выходящемъ на улицу длиннымъ бокомъ съ четырьмя окнами; по серединѣ было крылечко и дверь. Домъ былъ новый; прочный, и свѣжій сосновый его срубъ блестѣлъ на заходящемъ солнцѣ. Онъ стоялъ какъ-то особнякомъ и, судя по надворнымъ строеніямъ, плотному амбару, клетямъ, клеушкамъ и пристройкамъ, по огороду и даже садику съ двумя вѣтлами, который виднѣл-

ся съ боку, — былъ занимаемъ домовитымъ жильцомъ. Въ сторонѣ отъ дома, противъ воротъ, оглоблями на встрѣчу пріѣхавшему, стоялъ какой-то большой отпряженный экипажъ.

Молодой человѣкъ вышелъ изъ тарантаса, взглянулъ на экипажъ и, не увидавъ въ немъ никого, вошелъ въ сѣни. Направо была дверь къ смотрителю, налѣво въ комнаты для пріѣзжающихъ: онъ отворилъ послѣднюю.

Комната, въ которую онъ вошелъ, была не похожа на обыкновенныя почтовыя комнаты, безживненныя, съ положенными по штату принадлежностями. Напротивъ, все въ ней показывало обитаемость, домовитость: видно было, что станціонный смотритель считалъ ее болѣе предназначенною для своего собственнаго, а не посторонняго комфорта. Были на стѣнахъ, въ черныхъ рамахъ, извѣстныя объявленія, всѣ ограждающія личность смотрителя и почтовыхъ лошадей, а не проѣзжающаго, но было и много картинъ полу-лубочнаго достоинства, большею частью въ родѣ барыни въ шляпкѣ, съ подписью: Юлія. Затѣмъ всѣ вещи, напоминающія обязанность смотрителя, какъ напримѣръ, столъ подъ черной клеенкой съ толстой книгой, для записки подорожныхъ, и тоненькой —для жалобъ, припечатанной къ стѣнѣ на длинномъ снуркѣ, въ родѣ Прометея, прикованнаго къ скалѣ; вообще всѣ эти вещи гдѣ-то скрывались въ отдаленіи, а стоялъ передъ ситцевымъ диваномъ овальный таковый столъ, такой, что хоть бы и въ деревенской гостинной, и въ добавокъ на этомъ столѣ красовался графинчикъ съ водкой.

Все, что я говорю, домовитость комнаты, ея обстановка и особенно графинчикъ съ водкой, прежде всего прямо бросились въ глаза вошедшему и произвели на него такое же, какъ и на насъ, впечатлѣніе; потомъ молодой человѣкъ уже обратилъ вниманіе на двухъ особъ, сидѣвшихъ около графинчика.

Первая особа, помѣщавшаяся на диванѣ, былъ человѣкъ лѣтъ сорока пяти, въ разстегнутомъ архалукѣ, лицомъ совершенно сплошь красный, съ свѣтло-желтыми коротенькими волосами, не высокій и коренастый; возлѣ него лежалъ измятый картузъ въ пуху. Видно было, эта особа была тоже проѣзжающій. Напротивъ, на стулѣ, помѣщалась другая особа, высокая, полная, съ темнымъ, рябымъ, спокойнымъ и самоувѣреннымъ лицомъ. Свободный разстегнутый форменный сюртукъ ясно обличалъ ея общественное положеніе: то былъ смотритель.

Приходъ новаго лица нѣсколько смутилъ бесѣдующихъ: они не слыхали, какъ подъѣхалъ его экипажъ. Вошедшій взглянулъ на сидѣвшихъ, тѣ оглядывали его—смотритель всталъ, но не торопливо. Это продолжалось мгновеніе, но смотрителю, кажется, достаточно было его, чтобы съ разу смекнуть, что былъ за человѣкъ новопріѣзжій. Довольно скромная, молодая и приличная наружность вошедшаго была изъ тѣхъ, которыя съ радушіемъ встрѣчаются во всякомъ порядочномъ домѣ, но которыя не внушаютъ никакого особеннаго уваженія станціоннымъ смотрителямъ и вообще тому сорту людей, надъ которыми, какъ говорится, кто палку взялъ, тотъ и капралъ. Такого рода впечатлѣніе произвела она, по-видимому, и на настоящихъ, засѣдающихъ въ комнатѣ лицъ. Господинъ, сидѣвшій на диванѣ, не перемѣняя развалившагося положенія, осматривалъ его съ ногъ до головы, а смотритель не подошелъ къ нему, не уступилъ мѣста, даже не поклонился, но только тихо приподнялся и спокойно обѣими руками приподнялъ и поправилъ борты своего сюртука. Молодой человѣкъ вынулъ подорожную и подалъ ему.

Точно такъ же спокойно, не торопясь, смотритель развернулъ ее, нѣсколько отставилъ и медленно прочелъ про себя: «отъ Мензелинска до Корчевы, по дѣламъ службы, состоящему при *** гражданскомъ губернаторѣ для особыхъ порученій губернскому секретарю Темрюкову давать изъ почтовыхъ...» далѣе онъ не читалъ. Медленно свернулъ онъ подорожную, подалъ ее губернскому секретарю Темрюкову и сказалъ снисходительнымъ, нѣсколько покровительственнымъ тономъ:

— Повремените немного, лошади скоро будутъ, —и потомъ, въ видѣ утѣшенія и примѣра, прибавилъ: вотъ они тоже ждутъ, — и онъ показалъ на господина, сидѣвшаго на диванѣ.

При этомъ замѣчаніи, господинъ, сидѣвшій на диванѣ, кивнулъ головою, какъ-будто хотѣлъ сказать: «да, и я жду, слѣдовательно ты и подавно можешь подождать». Смотритель опять медленно опустился на стулъ. Молодаго человѣка, прозывающагося, какъ намъ теперь извѣстно, Темрюковымъ, этотъ пріемъ нѣсколько озадачилъ. Онъ видалъ смотрителей учтивыхъ и изрѣдка сознающихъ свое смиренное положеніе: съ ними онъ былъ самъ ласковъ и снисходителенъ; видалъ смотрителей мрачныхъ, не выспавшихся и грубыхъ, и по молодости лѣтъ горячился съ ними,—но такого сановитаго и важнаго смотрителя онъ еще не встрѣчалъ, такъ что это даже его смутило. Онъ не зналъ еще этой особенной породы смотрителей, которые встрѣчаются только въ мѣстахъ промышленныхъ, на путяхъ торговыхъ—преимущественно на приволжскихъ и изрѣдка сибирскихъ станціяхъ. Эти смотрители предназначались, по-видимому, судьбой къ несравненно важнѣйшимъ общественнымъ положеніямъ и только ошибкой попали въ смотрители, но и тутъ не теряли чувства огромнаго собственнаго достоинства. Получивъ станцію на выгодномъ мѣстѣ, сидятъ они на ней лѣтъ по десяти и по пятнадцати, и большею частію не только пользуются въ огражденіе личности, но и дѣйствительно имѣютъ вожделѣнный 14-й классъ. Станція у нихъ дѣло побочное: они ею занимаются слегка, какъ главный надзиратель надъ старостой и прочимъ людомъ, — хотя и тутъ своего не упустятъ; настоящее ихъ занятіе какой-нибудь торговый оборотъ хлѣбомъ или другимъ, чѣмъ удобно. Есть у

нихъ въ комнатѣ ящикъ съ какими-нибудь Павловскими издѣліями, но и ихъ они не навязываютъ; но такова уже внушающая уваженіе эта смотрительская личность, что робкій или безхарактерный проѣзжающій самъ изъ подловатости купитъ что нибудь и заплатитъ въ три-дорога; точно также, болѣе чѣмъ другому, дадутъ ему и за самоваръ или за какую-нибудь порцію телятины, не только потому, что все у него подано хорошо и обильно и не имъ самимъ, а кухаркой, но потому, что совѣстно какъ-то, такой важной особѣ дать двугривенный.

Съ такимъ-то господиномъ встрѣтился въ первый разъ Темрюковъ, и неторопливая самоувѣренность его и сознаніе собственной важности такъ озадачили молодаго человѣка, что онъ нѣсколько растерялся и сѣлъ въ сторонѣ. Съ своей стороны, присутствіе Темрюкова стѣснило отчасти двухъ бесѣдующихъ. Прошла минута затруднительнаго молчанія, однако красный господинъ, котораго мы, по неизвѣстности его имени и званія, будемъ называть проѣзжимъ, скоро, по видимому, оправился и взошелъ въ свою колею; это явствовало изъ того, что онъ взялъ графинчикъ съ водкой, налилъ полную рюмку, выпилъ ее, крякнулъ и опять налилъ.

— Ну-ка! сказалъ онъ, пододвинувъ ее смотрителю и кивнувъ на нее головою, и въ то же время принимаясь за колбасу, завернутую въ сахарную бумагу.

Смотритель чувствовалъ, что онъ можетъ уронить собственное достоинство въ глазахъ Темрюкова и отвѣчалъ:

— Благодарствуйте—довольно!

— Ну-ну, полно! Для новаго знакомства!

— Не много ли будетъ! замѣтилъ смотритель,— а то *они*, пожалуй, меня сочтутъ за пьяницу, и онъ снисходительно повернулся бокомъ къ Темрюкову.

— Чего много! всего вторая!.. сказалъ проѣзжій, и, подмигнувъ, далъ замѣтить, что-де этотъ счетъ вонъ для того—а мы свой знаемъ.

Смотритель, еще повернувъ свой стулъ, скромно замѣтилъ: «ужь развѣ послѣднюю»,—выпилъ рюмку до дна и такъ сморщился, какъ будто крайній недугъ заставилъ его прибѣгнуть къ отвратительному лекарству.

— А колбаски-то! и проѣзжій господинъ отрѣзалъ широкій кружокъ колбасы. Смотритель сталъ закусывать.

Темрюковъ молча смотрѣлъ на эту сцену и отъ нечего дѣлать вынулъ и закурилъ сигару.

— Не хотите ли и вы съ дороги? спросилъ его проѣзжающій, кивнувъ головою на водку.

— Благодарю васъ! я не хочу, отвѣчалъ Темрюковъ.

Проѣзжій не настаивалъ, онъ, кажется, сдѣлалъ предложеніе только, какъ говорятъ эти господа, *для блезиру*. Онъ обратился къ предмету разговора, *невидимому* прерваннаго появленіемъ Темрюкова, *сказалъ смотрителю*:

Ну, такъ какъ же? какъ это ты вывернулся? Я, братецъ, самъ съ низшихъ должностей началъ; прошелъ, какъ говорится, и огнь, и воду, и мѣдныя трубы: я люблю эти штуки!

Смотритель, у котораго черствая колбаса какъ прахъ изчезала въ здоровыхъ челюстяхъ, облизнулся, подбодрился рукой и началъ:

— Ну, далъ я ему покричать, икру-то эту вымётать, да и говорю ему: «напрасно, молъ, вы себя изволите безпокоить, дѣло было совсѣмъ не такъ и все это написано облыжно». «Какъ, говоритъ, такъ, облыжно?»—Точно, молъ, такъ! и человѣкъ этотъ совсѣмъ не стоитъ того, чтобы изъза него да эдакое безпокойство хорошимъ особамъ принимать, пьяный человѣкъ, какъ есть, и все это въ пьяномъ видѣ имъ показалось! что лошадей не было, это дѣйствительно,—вотъ, извольте по книгѣ провѣрить—взялъ счеты, да и началъ ему на счетахъ прокидывать.—«Ну да, говоритъ, это такъ,— а какъ же, говоритъ, ты купцевъ отправилъ?» — Купцовъ дѣйствительно отправилъ, говорю, да на вольныхъ — они и въ книгѣ не записаны. «Ну, а чернильницы-то, чернильницы-то какъ же не далъ?»—А чернильницы, я говорю, хоть и не положено дѣйствительно давать проѣзжающимъ, но и въ ней другимъ не отказываю, а какъ же имъ было и дать, когда они были въ эвдакомъ видѣ: вѣдь они могутъ написать какое нибудь безобразіе, а за книгу я отвѣчаю; пишите, я говорю, своимъ карандашемъ! Да и опять же думалъ, говорю я, не пройдетъ ли у него до слѣдующей станціи эта фанаберія—чтобы безпокойство начальству не причинить и сумленія, молъ, не сдѣлать, что въ нашемъ округѣ да эвдакія клаузы. «Такъ, говоритъ, дѣйствительно пьянъ?» Хмѣльнѣе, говорю, вина, извольте всѣхъ спросить. — «Ну, говоритъ, такъ мы такъ и напишемъ, а что стали лошади, такъ наложить рубль серебра штрафа на содержателя». Такъ и сдѣлали.

— Молодецъ! Важно обдѣлалъ дѣло, замѣтилъ проѣзжій. Молодецъ! Выпьемъ-ка!

Проѣзжій господинъ протянулъ руку къ графинчику, а Темрюковъ, чтобы не стѣснять ихъ бесѣды, всталъ и вышелъ.

Вышелъ Темрюковъ на крыльцо, осмотрѣлся кругомъ, постоялъ и сѣлъ на ступеньку. Справа и слѣва тянулись избы съ крестьянами на завалинахъ. Съ боку, стоялъ экипажъ; у воротъ на камнѣ сидѣлъ ямщикъ и, мурлыкая пѣсню, безсознательно смотрѣлъ въ даль. А даль эта была чудная. Прямо передъ крыльцомъ, съ высокой горы на весь охватъ взгляда, ширился разливъ Волги. Сначала онъ шелъ глубокою и широкою гладью, потомъ въ эту зеркальную гладь начали врѣзываться своеобразными полосами и островами возвышенности незатопленной земли и на каждую изъ нихъ можно было засмотрѣться. Подъ косыми и румяными лучами заходящаго солнца, то пестрѣла деревня своими сѣрыми избами, то большое село съ бѣлою каменною церковью и горящимъ, какъ огонь, золотымъ крестомъ... Далѣе, опять извилинами и

заливами, блестѣла вода, среди нея высился лѣсъ, зеленая поляна луга терялась въ дали; синеватый паръ всталъ надъ разогрѣтой землею и въ его туманѣ, тамъ, далеко, гдѣ уже глазъ ничего не могъ различать, вдругъ ярко сверкала, какъ чистая сталь, еще свѣтлая полоса: и тамъ вода! А вечеръ былъ тихій, ясный; въ воздухѣ стояла та раздражающая свѣжесть весны, отъ которой, какъ паръ отъ земли, поднимается и томитъ, и хватаетъ за сердце чудная и мучительная вешняя истома, словно къ кому-то тянетъ тебя, такъ бы и обнялъ кого-то крѣпко, крѣпко...

Подъ этими чарами весны сидѣлъ Темрюковъ, сначала долго любовался на видъ, потомъ сталъ смотрѣть на него безсознательно: передъ его внутренними очами вставали другія мѣстности, проходили другія лица. Чувствовалъ онъ, что и его тянетъ куда-то, что и его молодой груди хотѣлось бы прижать къ себѣ кого-то, и сталъ онъ думать, кого бы изъ всѣхъ имъ знаемыхъ и видѣнныхъ хотѣлось прижать ему, и рядъ молодыхъ, стройныхъ, хорошенькихъ образовъ, то порывисто, то медленно, проходилъ передъ нимъ.

Долго ли, мало ли, сидѣлъ такимъ образомъ Темрюковъ, онъ и самъ бы не могъ сказать, но въ то самое время, когда его распаленная мечта сильнѣе и сильнѣе вызывала милые образы, когда онъ, какъ зарывшійся въ своемъ гаремѣ султанъ мѣняетъ наложницъ и не удовлетворяется ими,— мѣнялъ эти вызванныя тѣни, то останавливался на одной, то бросалъ ее и быстро проходилъ мимо другихъ, то снова останавливался и все неудовлетворялся, и все искалъ кого-то,—вдругъ мягкій, женскій голосъ, послышалось ему, назвалъ его по имени и онъ весь вздрогнулъ.

— Иванъ Павлычъ! да слышите ли! повторилъ голосъ.

Темрюковъ ясно разслышалъ его, вздрогнулъ и повернулся лицомъ въ его сторону.

Взглядъ его уперся на экипажъ проѣзжаго: это былъ какой-то большой желтый рыдванъ. На длинный тарантасный ходъ былъ постановленъ старый каретный кузовъ, выкрашенный потрескавшейся ярко-желтой краской. Сперва Темрюкову бросился въ глаза этотъ безобразный кузовъ, потомъ черный четыреугольникъ опущеннаго окна, и изъ его темнаго фона ярко выдавалась вся освѣщенная послѣдними лучами солнца, свѣжая, розовая, хорошенькая женская головка въ дорожномъ чепцѣ, изъподъ котораго насильно выбивались курчавые, волнистые свѣтлорусые волосы.

— Анна Петровна! Вы ли это? вскрикнулъ Темрюковъ и бросился къ тарантасу. Сердце его встрепенулось и замерло въ груди; ему показалось, что та желанная, которую такъ упорно искала и не находила мечта его,—что она, какъ вызванная, милая тѣнь, вдругъ выплотилась и явилась передъ нимъ.

— Анна Петровна! Вы ли это, повторялъ Темрюковъ и горячо цѣловалъ протянутую къ нему изъ окошка руку.

Судя по этой встрѣчѣ, можно бы было предположить, что Темрюковъ, страстно влюбленный въ Анну Петровну, былъ съ нею разлученъ, думалъ и мечталъ о ней, можетъ быть даже спѣшилъ къ ней пріѣхать и вдругъ нечаянно съ нею встрѣтился. Ни чуть не бывало! за минуту передъ тѣмъ, когда онъ пріятно проводилъ время, перебирая въ памяти всѣхъ любимыхъ имъ когда-то или еще не любимыхъ, но желаемыхъ любить, особъ и затруднялся въ выборѣ, надъ кѣмъ бы изъ нихъ онъ предпочтительно хотѣлъ исполнить свое невинное весеннее желаніе, прижать къ груди своей—между всѣми этими лицами, собранными имъ со всѣхъ видѣнныхъ или невидѣнныхъ имъ мѣстъ, ни разу и не промелькнуло личико Анны Петровны—такъ мало въ прежнее время производила она на него впечатлѣнія: — судите сами.

Годъ или полтора назадъ, въ городѣ Д* жила, а можетъ быть здравствуетъ и теперь еще, вдова Настасья Семеновна Крестовоздвиженская. Мужъ ея, губернскій чиновникъ, умеръ нѣсколько лѣтъ назадъ, оставивъ въ наслѣдство женѣ своей деревянный домъ, много дѣтей и очень мало денегъ: это ужъ большею частью случается, у кого много денегъ — мало дѣтей, у кого мало денегъ, за то дѣтьми хоть прудъ пруди.

Вдова была женщина простая, добрая, въ свѣтъ, т. е. на званые вечера и обѣды не показывалась, но были у нея между старожилами дома два, три хорошихъ знакомыхъ, къ которымъ она являлась иногда по вечерамъ выпить чашку чайку, посидѣть вдвоемъ съ хозяйкой, когда никого нѣтъ, особливо если съ той случалось *Божіе посѣщеніе*, т. е. какое нибудь семейное горе. Старушку всѣ видали, знали въ лицо—и едва знали по фамиліи. Она рѣшительно была незамѣтная, хотя на своемъ мѣстѣ и полезная единица между губернскими жителями, и гораздо большей извѣстностью она пользовалась у молодежи и мѣстной аристократіи, какъ мать «Анюты Крестовоздвиженской». Анюта была ея старшая дочь, хотя и ея положеніе было далеко не блестящее.

Анюта росла сначала дома; потомъ мать, при помощи сердобольныхъ знакомыхъ, помѣстила ее въ мѣстный дѣвичій институтъ. Мѣстный институтъ былъ очень хорошо устроенъ и всѣ губернскіе аристократы отзывались о немъ съ покровительственнымъ одобреніемъ—но дочерей своихъ въ него не отдавали.

Анюта вышла изъ него 17 лѣтъ, невысокаго роста, полненькой, миленькой дѣвочкой. У нея было розовое, круглое лицо съ ямками на щекахъ, прямой носикъ, веселые темносѣрые глаза и свѣтлые, сильно вьющіеся волосы. Она поселилась въ домѣ матери, половина котораго отдавалась въ наемъ.

Тутъ начались для Анюты тѣ маленькія лишенія, которыя иногда стоятъ большаго несчастія,

Собственно нужды Анюта не испытывала, но вполнѣ несла тяжелое положеніе бѣдной дѣвушки, выѣзжающей въ свѣтъ. Мать ея въ свѣтъ не показывалась, но отпускала ее съ тѣми или другими изъ своихъ знакомыхъ, у дочерей которыхъ она и гостила по нѣсколько дней. Нарядъ ея былъ чистенькій, но бѣденькій. Молодежь, которая въ провинціи гораздо ближе и короче сходится съ дѣвицами, чѣмъ въ столицахъ—любила ее, какъ веселую и умненькую дѣвушку, но не самою по себѣ, а какъ подругу той или другой дѣвицы. Ей повѣряли секреты — просили ея помощи, но за ней никто не ухаживалъ. Она была для молодыхъ людей болѣе пріятелемъ женскаго рода, чѣмъ дѣвушкой. Да кому нужно за ней ухаживать? кому лестна побѣда надъ бѣденькой дѣвочкой m-lle Крестовоздвиженской? Она сама по себѣ была ничто; она осуждена была только оставаться спутницей той или другой планеты; ее охотно выбирали въ повѣренныя, потому что она не выдавала секретовъ никому, кромѣ того, кому слѣдовало выдать; съ нею подруги ходили по залѣ, чтобы не ходить однѣмъ; ее всегда брали подъ-руку, когда надо было идти въ уборную. Кстати! отчего это дамы и дѣвицы не рѣшаются ходить въ уборную одиночкой, а непремѣнно поддѣпять другую барыню или дѣвицу?

Таково было положеніе Анюты въ Д* обществѣ, положеніе, по правдѣ сказать, не завидное. Анюта сознавала его и боялась пристально въ него вглядываться. Прими она это положеніе ближе къ сердцу—страдай ежечасно отъ тѣхъ невыносимыхъ булавочныхъ ранъ, которыя такъ щедро наносятся въ свѣтѣ, особенно нѣжными руками подругъ, Анюта была бы достойна жалости,—но она весело смотрѣла на жизнь своими молодыми глазами и оставалась просто добренькой и никого не интересующей дѣвочкой.

Таково все въ жизни! живописная дорога никуда не годится для ѣзды,—ровная и гладкая ничего не даетъ избалованному глазу; всѣ хорошенькія, несчастныя и страдающія личности болѣе или менѣе интересны; но не многіе остановятся и обратятъ вниманіе на простую, здоровую натуру. А попробуйте-ка пострадать сами, да пострадать истинно!—Богъ съ ней и съ интересностью!..

Анюта имѣла, однакожь, далеко не деревянную натуру, которой недоступны тонкія ощущенія, но, какъ безпечное дитя, она боялась пристально взглянуть въ темную глубину, гдѣ ничего отраднаго не отыскалъ бы глазъ ея — и тихо, подъ-часъ съ затаеннымъ вздохомъ, отдалась теченію.

Такою зналъ ее Темрюковъ въ городѣ Д*, гдѣ провелъ года два своей первой молодости. Чаще всего онъ видалъ ее въ семействѣ одного губернскаго аристократа — нѣкоего господина Сивохвостова, хоть у господина Сивохвостова было собственныхъ дочерей ровно полдюжины. Въ этомъ семействѣ родители не знали ниодного иностраннаго языка и потому не любили, чтобы дѣти говорили по-русски и даже ихъ христіанскія имена передѣлали, для пущей великосвѣтскости, на какой-то не русскій ладъ. Неизвѣстно почему они выбрали для этого преимущественно частичку *ка* и звали Марью—*Мака*, Наталью—*Нака*, и проч., исключенье сдѣлали для одной Катерины, которую сочли за лучшее звать—*Кана*.

Темрюкову очень нравилась худенькая Мака, чѣмъ была особенно не довольна толстенькая Кана. Анюта была дружна съ Макой и потому — какъ это обыкновенно водится въ провинціи — Темрюковъ былъ очень друженъ съ подругой своего *предмета*: даже дружнѣе, чѣмъ съ самимъ предметомъ. Анюта, съ своей стороны, тоже хорошо была расположена къ Темрюкову. Одно время даже питала къ нему чувство болѣе нѣжное — но это чувство у нея было какъ-то слишкомъ отвлеченно. Этимъ отвлеченнымъ чувствомъ она влюблялась довольно часто въ того или другаго изъ порядочной молодежи, но склонность ея выказывалась только тѣмъ, что съ большимъ усердіемъ и готовностію она изыскивала случаи быть полезною своему избранному и даже—повѣрятъ ли!—безъ всякаго чувства ревности способствовала успѣшнѣйшему ходу его сердечныхъ дѣлишекъ съ другой счастливицей. Какъ ни непонятно кажется подобное самоотверженіе, но оно объясняется тѣмъ, что Анюта смотрѣла на хорошую молодежь—какъ на нѣчто ей совершенно недоступное; она очень хорошо чувствовала, что они не для нея, что не женится на ней ни богатый изъ нихъ, потому что имѣетъ право на блестящую партію, ни бѣдный, потому что съ ней будетъ еще бѣднѣе, а что если ей суждено узнать прелесть брачной жизни—такъ изберетъ ее какой-нибудь изъ тѣхъ степенныхъ чиновниковъ, которые, устроивъ свои дѣлишки и рѣшившись жениться, ищутъ дѣвушку, принадлежащую къ порядочному кругу, чтобы могла быть представительной хозяйкой, и не избалованную судьбой, чтобы не была требовательна.

Такимъ образомъ Темрюковъ прожилъ года два въ одномъ городѣ съ Анютой. Мака ему нравиться перестала и онъ перенесъ свое легонькое чувство на другую особу; вмѣстѣ съ тѣмъ разклеилась и дружба съ Анютой,—но они мирно встрѣчались иногда часто, иногда рѣдко. Темрюкова перевели изъ Д*, и онъ простился и съ нимъ, и съ его обитательницами довольно равнодушно:

«Была безъ радости любовь,
Разлука будетъ безъ печали»...

И такъ, вотъ каковы были отношенія Темрюкова къ Анютѣ, т. е. Аннѣ Петровнѣ, до настоящей встрѣчи — но не такова была, какъ мы сказали выше, ихъ неожиданная встрѣча. Еще не отдавая себѣ отчета, какъ и почему, молодые люди страшно обрадовались другъ другу.

— Анна Петровна! Какими судьбами вы здѣсь? говорилъ Темрюковъ, переставъ цѣловать, но не выпуская ея руку изъ своей.

— Мы ждемъ лошадей. Я задремала; — просыпаюсь—ба! Иванъ Павлычъ! Вы куда? не въ Д* ли опять?

— Нѣтъ. Я въ отпускъ къ себѣ въ деревню. Ну, какъ я радъ! Скажите же, однако, куда вы ѣдете? съ кѣмъ?

— Я замужемъ! подсмѣиваясь и немного зарумянившись сказала Анюта.

— За кѣмъ?

— Вы, я думаю, видѣли моего мужа: онъ тамъ на станціи!

Темрюковъ выпустилъ ея руку.

— Куда же вы ѣдете? почти сердито спросилъ онъ ее.

— Ахъ, не спрашивайте! страшно сказать: на край свѣта, въ восточную Сибирь!...

— Зачѣмъ это?

— Мужъ получилъ тамъ мѣсто.

Темрюковъ задумался и молча смотрѣлъ на Анюту.

— Что вы задумались? чтожь вы не распрашиваете про Маку, Наку, Кагу, про Елену Г*, онѣ все также живутъ—замужъ не выходятъ.

— Да, нынче дѣвицы туго выходятъ замужъ, разсѣянно замѣтилъ Темрюковъ.

— Ктожь виноватъ! вы вотъ, что́ не женитесь! Мака васъ вспоминаетъ.

— Что она, не пополнѣла?

— Нѣтъ, все такая же! это вы ее изсушили.

— А Кага не похудѣла? какъ-будто не-хотя спрашивалъ Темрюковъ.

— Увы! не худѣетъ! Леночка все такая же хорошенькая, продолжала Анюта улыбаясь и ямками щекъ, и веселыми глазами. — Вотъ бы вамъ жениться? полно вамъ вести цыганскую жизнь!

Анюта замолчала, смотря на Темрюкова; Темрюковъ все разсѣянно смотрѣлъ на нее.

— Да что съ вами? о чемъ вы думаете? Такъ развѣ встрѣчаются старые знакомые? спросила опять Анюта.—У васъ какъ-будто есть что-то на душѣ, прибавила она, и веселые глаза ея смутились безпокойнымъ любопытствомъ.

— Я думаю о васъ, медленно отвѣчалъ Темрюковъ, продолжая смотрѣть на Анюту.

Смущеніе Анюты сильнѣе проступило въ глазахъ, но она все улыбалась.

— Ахъ, Боже мой! да чтожь обо мнѣ думать! Прежде, кажется, у васъ не было этой привычки!

— И можетъ быть дурно было, что не было, тихо и нѣсколько грустно продолжалъ Темрюковъ: — но время на время не приходитъ: я не знаю почему, но теперь я глубоко, искренно принимаю въ васъ участіе.

Анюта хотѣла подсмѣяться, но въ голосѣ Темрюкова слышалась такая правда, что доброму сердцу грѣшно было бы отвѣчать на нее неискренно — и Анюта смѣшала въ отвѣтъ искренность съ шутливостью.

— Что же? лучше поздно, чѣмъ никогда, отвѣчала она: — однакожь все-таки спасибо вамъ.

И Анюта подала Темрюкову руку; Темрюковъ взялъ и поцѣловалъ ее. Ее слабо потянули назадъ, но онъ тихо удержалъ. Анюта оставила ее, такъ, какъ женщины обыкновенно оставляютъ свою руку; она какъ-будто забыла ее, но краска сильно проступила на ея щекахъ.

— Такъ вы замужемъ! сказалъ Темрюковъ, пристально глядя въ глаза Анюты.

— Да, какъ видите, но всего три недѣли; мнѣ еще самой не вѣрится.

— Но, скажите, какими судьбами, за кого вы вышли? Вы знали прежде вашего мужа? горячо спросилъ Темрюковъ.

— Очень мало, отвѣчала Анюта, подсмѣиваясь. Артемій Семенычъ былъ въ Д* проѣздомъ, и остановился по какимъ-то дѣламъ у насъ на квартирѣ, я его видала всего недѣли двѣ, три, а вышла я очень просто: онъ посватался, а я согласилась.

— Да какъ же согласились? за человѣка, котораго почти не знали! согласились ѣхать съ нимъ въ Сибирь; связали себя съ нимъ навсегда! Навсегда, Анна Петровна! понимаете ли, навсегда, на всю жизнь!

Темрюковъ точно озлобился. Видно было, что его хватала за сердце судьба Анюты и, вмѣстѣ, сердило ея видимое легкомысліе. Онъ не хотѣлъ вѣрить этому легкомыслію, онъ хотѣлъ оправданія.

Анюта видѣла это, и грусть начала подниматься на душѣ ея, и у нея въ первый разъ, громче и яснѣе, началъ возставать строгій вопросъ: какъ и зачѣмъ она навсегда связала судьбу свою съ чуждымъ ей по всему человѣкомъ? но она, вѣрная своей привычкѣ, боялась отвѣчать и себѣ, и Темрюкову; она по прежнему старалась говорить весело и безпечно; лицо ея еще улыбалось, хотя въ голосѣ слышалось уныніе.

— Что же дѣлать! надобно же было выйдти за кого-нибудь, не потому, чтобы я скучала въ дѣвушкахъ — вы знаете, я этимъ не страдала — но... у насъ большое семейство; матушка стара, она уговаривала, просила меня, она говорила, что умретъ спокойно, если пристроитъ меня при жизни, — вотъ я и пристроена!

Темрюковъ нѣсколько мгновеній смотрѣлъ на Анюту такими грустными глазами, что улыбка замерла на лицѣ ея.

— Вотъ и пристроили васъ, добрую, милую, умную, къ... онъ остановился. Послушайте, продолжалъ онъ быстро. Мы одни. Мы съ вами встрѣтились на нѣсколько минутъ и разъѣдемся, вѣроятно, навсегда; намъ некогда прикрывать мысли фразами: будемте говорить прямо! Подумали ли вы, что вы сдѣлали съ собой? Что за жизнь теперь впереди васъ? Что вы будете дѣлать, тамъ, въ Сибири, однѣ, глазъ на глазъ съ мужемъ, съ которымъ у васъ нѣтъ ничего общаго? вѣдь вы отреклись отъ всего, что вамъ было мило, если не навсегда, то на долго! вы тамъ схороните свою молодость, моя добрая Анна Петровна! Знаете ли что? эти жертвы можно дѣлать только для человѣка, который въ состояніи все замѣнить вамъ

собою! Любите ли вы на столько своего мужа, знаете ли вы на столько его?

По мѣрѣ того, какъ говорилъ Темрюковъ, Анюта становилась все блѣднѣе и блѣднѣе. Она уже была не въ состояніи насильственной веселостью скрывать и отъ себя, и отъ другихъ истину своего положенія: эта истина, какъ нагой скелетъ, грозно вставала передъ нею! Слезы стояли въ горлѣ у Анюты, она черезъ силу могла отвѣчать.

— Я едва знала моего мужа, а теперь... мнѣ кажется, лучше и не узнавать его! Но я говорила вамъ, Темрюковъ, настоящее слово, мнѣ нужно было... меня хотѣли непремѣнно пристроить...

— Да, я и забылъ! сказалъ Темрюковъ съ такой сосредоточенной злобой, что блѣдность его приняла зеленоватый оттѣнокъ: — у насъ любятъ пристроивать дѣвушекъ! Знаете ли, что значитъ эта пристройка? Это значитъ — продавать, продавать молодость, красоту, лучшую пору жизни, продавать всю себя!.. И какъ васъ дешево продали, Анна Петровна! Васъ продали за кусокъ насущнаго хлѣба, за сухой, насущный хлѣбъ, безъ всякой радости и отрады въ будущемъ... Васъ ужасно продали, моя добрая Анна Петровна!.. и Темрюковъ припалъ къ похолодѣвшей, какъ ледъ, рукѣ Анюты.

Но Анюта не слыхала и не чувствовала болѣе. Она закрыла другой рукой глаза и на-взрыдъ рыдала...

Такъ прошло нѣсколько мгновеній. И Темрюковъ и Анюта не слыхали, что давно уже лѣнивый ямщикъ лѣниво закладывалъ лѣнивыхъ лошадей; они не замѣчали, что густые сумерки спустились надъ ними и прикрывали ихъ отъ постороннихъ взглядовъ.

Анюта первая пришла въ себя.

— Боже мой! что я сдѣлала съ собой! что сдѣлали со мною! я погубила, погубила себя, говорила она рыдая: — научите меня, Темрюковъ, что мнѣ дѣлать теперь, научите меня!.. говорила она, не переставая рыдать...

Темрюковъ самъ готовъ былъ разорваться; ему было такъ же горько, какъ Анютѣ, и онъ чувствовалъ, какъ-будто что-то сжало его за горло и душило. Планы, самые несбыточные, мгновенно пронеслись въ его головѣ. Первое, что ему пришло на умъ — это схватить бы Анюту и умчаться съ нею, увезти ее куда-нибудь далеко, далеко... потомъ, вздумалось вызвать на дуэль, или нѣтъ, просто подойти прямо и убить ея мужа, убить хладнокровно, какъ бѣшеную собаку... и въ то самое время, какъ эти мысли приходили ему въ голову, онъ очень хорошо сознавалъ всю ихъ нелѣпость и неудобоисполнимость. А между-тѣмъ онѣ занимали его, точь въ точь какъ празднаго человѣка, который лежитъ на кровати, и тѣшитъ себя, придумывая разный вздоръ. Это случается всегда, когда надъ человѣкомъ разразится какое-нибудь неотвратимое горе, которое его ошеломило, но имъ еще не совсѣмъ совнано: думаешь, что онъ весь убитъ и поглощенъ имъ, а въ это время лезутъ ему въ голову мысли одна другой нелѣпѣе. Темрюковъ такъ былъ погруженъ въ эти мысли, что глядѣлъ тупо въ сторону, и забылъ про рыдающую передъ нимъ Анюту. Она вывела его отъ этой забывчивости.

— Говорите же, Темрюковъ! научите меня, что мнѣ дѣлать! воскликнула она голосомъ отчаянія.

Темрюковъ въ смущеніи опустилъ голову; ему нечего было отвѣчать; онъ сознавалъ всю безнадежность положенія.

Анюта поглядѣла на него и вдругъ вырвала руку, подняла голову, и темно-сѣрые глаза ея, еще полные слезъ, блеснули гнѣвомъ.

— Чтожъ? Не знаете? Такъ зачѣмъ же вы мнѣ говорили все это? зачѣмъ же вы открыли мнѣ глаза на то, чего я не хотѣла, боялась видѣть! Вы поддались мелочному, низкому удовольствію благоразумныхъ людей, которые, увидавъ кого-нибудь въ бѣдѣ, начинаютъ, какъ нянька ребенку, пенять и выговаривать: «какъ можно было это дѣлать!» Я была только безпечна, вы меня сдѣлали несчастной! Довольны вы теперь?

Опустивъ голову, Темрюковъ стоялъ, какъ пораженный громомъ. Онъ самъ не зналъ прежде, какъ далеко завело его участіе. Горе душило его, двойное горе, и за себя, и за Анюту. Но упрекъ ея былъ несправедливъ и слишкомъ жестокъ: онъ не могъ принять его. Темрюковъ тихо приподнялъ блѣдное, какъ снѣгъ, лицо; глаза его были полны слезъ; голосъ едва выходилъ изъ стѣсненной груди.

— Вы несправедливы! о, вы несправедливы, Анна Петровна! сказалъ онъ: — знаете, отчего я вамъ высказалъ все это? потому, что я не могъ равнодушно смотрѣть на ваше положеніе, потому, что мнѣ невыносимо было видѣть его, потому, что я васъ люблю, Анна Петровна! Да, люблю! Мнѣ васъ обманывать не изъ чего; черезъ нѣсколько минутъ мы разстанемся, но я не знаю, какъ и отчего это случилось, но въ настоящую минуту я васъ люблю, люблю такъ глубоко, такъ искренно, какъ никого еще не любилъ до сей минуты!

Темрюковъ остановился и вопросительно смотрѣлъ на Анюту. Не знаю, хотѣлось ли ему только увидать впечатлѣніе, которое слова его произвели на Анюту, или, какъ всѣмъ влюбленнымъ, желалось знать, отвѣчаютъ ли ему тѣмъ же, любятъ ли его, нужды нѣтъ, что онъ разстается и что любовь эта умретъ безъ всякихъ послѣдствій, какъ на темномъ небѣ мгновенно вспыхнувшая и потухшая зарница. Анюта не отвѣчала Темрюкову, но по мѣрѣ словъ его различныя чувства быстро смѣнялись на ея лицѣ; какъ въ солнечный день проносятся и скользятъ тѣни отъ бѣгущихъ облаковъ, такъ недоумѣніе смѣнило у нея гнѣвъ, другое чувство уже смѣняло недоумѣніе въ молодыхъ глазахъ ея; и еще полные слезъ, эти глаза смотрѣли уже нѣжно, ласкательно; въ нихъ свѣтилось то отвѣтное чувство, съ которымъ любящая жен-

щина смотритъ только на любимаго человѣка. Темрюковъ продолжалъ:

— Вы думаете, можетъ-быть, что это минутное чувство? не знаю, но что за дѣло, если намъ суждено жить другъ для друга только минуту, и если на эту минуту оно сильно, какъ страсть! Если бы оно развилось въ то время, когда мы мирно жили съ вами въ Д*, оно бы, можетъ быть, долго горѣло тѣмъ тихимъ и тепленькимъ огонькомъ, которымъ мы такъ часто любили. Но то, что я чувствую теперь, могло родиться только теперь, въ нашу мимолетную встрѣчу. По-крайней-мѣрѣ, вы не заподозрите меня ни въ какихъ разсчетахъ: къ чему мнѣ обманывать васъ! Теперь понятно вамъ, почему мнѣ такъ безвыходно горько ваше положеніе. Мнѣ хоть и больно, но страшно отрадно теперь, именно теперь, когда мы почти умираемъ другъ для друга, повторить вамъ, что я васъ люблю, глубоко люблю! И онъ крѣпко сжалъ ея руку.

Темрюковъ сказалъ все, что у него было на сердцѣ и замолчалъ. Анюта не могла говорить. Цѣлый міръ новыхъ ощущеній и мыслей столпился у нея на душѣ. Только что успѣла взглянуть она на безвыходность своихъ отношеній къ мужу, какъ вотъ она слышитъ о любви въ первый разъ въ жизни, слышитъ о любви къ ней, и отъ человѣка, ей симпатичнаго, въ первый разъ въ жизни чувствуетъ, что какая-то новая жизнь разлилась въ ней. Она не могла говорить, но въ свою очередь горячо сжала руки Темрюкова, но говорили за нее въ полумракѣ сумерекъ ея глаза, сквозь влагу которыхъ, застѣнчиво дребезжа, ярко свѣтился огонь отвѣтнаго чувства и ласкательно, казалось, лился на Темрюкова.

Молча сжимая другъ другу горячія руки, молча впиваясь другъ въ друга отуманившимися глазами, Темрюковъ и Анюта нѣсколько мгновеній оставались недвижны; какая-то сладостная и томящая атмосфера любви окружала ихъ; ихъ тянуло другъ къ другу, тянуло къ чему-то лучшему, но имъ было такъ хорошо, что они боялись пошевелиться, чтобы не нарушить очарованія настоящей минуты: эта минута была полна ощущеніями, какъ годы, и прошла быстро, какъ мгновеніе.

— Ну что, готовы, что ли лошади? протяжно и лѣниво спросилъ появившійся со двора заспанный лакей, въ шинели, подпоясанной платкомъ.

— Го-то-вы, лѣниво и протяжно отвѣчалъ ямщикъ и сталъ взмощаться на козлы.

Лакей поплелся въ станціонный домъ.

— Уже! сказала Анюта, и потомъ прибавила съ горечью: не долго же было счастье!

Вдругъ она встрепенулась.

— Прощайте, Темрюковъ! прощайте! Скорѣе отворите дверцы, взойдите! безпокойно и торопливо проговорила она.

Она походила въ эту минуту на умирающую, которая, придя въ память, вдругъ чувствуетъ, что уже жизнь ея на волоскѣ, что вотъ она сейчасъ оборвется, и въ ужасѣ боится умереть, не простясь съ милыми сердцу, боится, что пропадетъ даромъ единственная, оставшаяся ей минута жизни.

Темрюковъ повиновался скоро, но какъ автоматъ: онъ не думалъ ни о чемъ,—онъ только повиновался. Онъ отворилъ дверцы, всталъ одной ногой на подножку, другой въ карету. Кузовъ былъ низокъ; онъ опустился на колѣно передъ Анютой, торопливо схватилъ ея руку—Анюта наклонилась къ его щекѣ, и, не знаю какъ это случилось, — они встрѣтились горячими губами. Въ одно мгновеніе Анюта вырвала свою руку, крѣпко обвила ими голову Темрюкова и крѣпко, крѣпко поцѣловала его! Потомъ она оттолкнула его, закрыла лицо руками и упала въ уголъ кареты. Темрюковъ, какъ ошеломленный, вышелъ, захлопнувъ дверцы, и прислонился къ нимъ: онъ едва могъ стоять.

Все это прошло такъ быстро и неожиданно; чувство, на развитіе котораго судьба дала только нѣсколько минутъ, такъ спѣшило пережить всѣ фазы сердца, свободно отдавшагося ему, такъ спѣшило его перечувствовать, что Темрюковъ и Анюта на нѣсколько мгновеній не могли придти въ себя: они были подавлены массою ощущеній, переходомъ отъ перваго слова любви къ послѣднему слову разлуки. И въ это время стали добивать тѣ немногія свободныя минуты, которыя судьба такъ скупо отсчитала на ихъ встрѣчу и которыя они такъ полно надѣлили жизнью.

На крыльцѣ послышались голоса.

Какъ женщина—Анюта оправилась первая. Она опустила руки, лицо ея было блѣдно, но слезъ на немъ не было; она начала говорить тихо, и голосъ ея, сначала дрожащій, принялъ вскорѣ какой-то полный, грустный и мелодическій, какъ музыка, звукъ.

— Прощайте, Темрюковъ! слышалось ему изъ кареты:—прощайте навсегда, потому что, если и суждено намъ встрѣтиться еще въ жизни, такъ мы уже устарѣемъ, будемъ мертвы для любви! Вы мнѣ открыли пропасть, въ которую я навсегда упала, но вы мнѣ дали одно свѣтлое мгновенье, которое долго будетъ мнѣ отрадой! Вы встрѣтите другихъ и забудете меня. Нужды нѣтъ! но я, одна, тамъ, въ глуши, долго буду вспоминать васъ, который хоть на минуту далъ мнѣ понять счастье жизни!.. Знаю, я его лишилась навсегда, — знаю, тѣмъ безотраднѣе будетъ мнѣ жизнь теперь, но, по-крайней мѣрѣ, я жила хоть минуту! Богъ благословитъ васъ, Темрюковъ, какъ я благословляю васъ.

Темрюковъ молча смотрѣлъ на Анюту и понималъ ее не по словамъ, которыя какъ-то тупо принимались его сознаніемъ, а по звуку голоса, который съ малѣйшими измѣненіями прямо и полно ложился ему на душу. При синеватомъ свѣтѣ сумерекъ, въ послѣдній разъ смотрѣлъ Темрюковъ на Анюту—и едва узнавалъ ее. Казалось, годы пронеслись надъ ея безпечной головкой и сильное чув-

ство, какъ рѣзецъ, прошло по ея круглому личику тѣми линіями и тѣнями, которыя оставляетъ оно, какъ свою печать, въ слѣдъ за собою: передъ нимъ была не беззаботная веселая дѣвочка, но женщина, для которой жизнь уже сбросила свой розовый покровъ. Блѣдная, какъ-будто похудѣвшая, едва выдавалась недвижная фигура Анюты изъ темнаго угла кареты. Тихо звучалъ ея голосъ, полный искренняго и грустнаго чувства; и Темрюкову казалось, что она въ самомъ дѣлѣ точно умираетъ для него, что она говоритъ ему съ края могилы. Безвыходная тоска душила его; ему страшно хотѣлось упасть къ ногамъ Анюты и еще разъ, тысячу разъ сказать ей: «я тебя люблю, я тебя никогда, никогда не забуду».

— А! Вы ужь познакомились съ моей женой!— раздался голосъ надъ самымъ его ухомъ, и широкая рука взялась за ручку дверцы.

Темрюковъ оглянулся—возлѣ него былъ мужъ Анюты: Артемій Семенычъ.

— Я съ нею давно знакомъ. Я служилъ въ Д* и прожилъ тамъ нѣсколько лѣтъ, отвѣчалъ Темрюковъ.

— А! такъ вы старые знакомые съ женой. Можетъ, еще волочились за ней. А? А вѣдь не дурную женку-то я подцѣпилъ! А?

Темрюковъ не отвѣчалъ Артемью Семенычу, но онъ пристально смотрѣлъ на его лѣвую щеку: при всѣхъ миролюбивыхъ наклонностяхъ и уваженіи чужой личности, Темрюкову хотѣлось дать ему пощечину.

Артемій Семенычъ не подозрѣвалъ такихъ враждебныхъ желаній: онъ былъ очень пьянъ, но въ хорошемъ расположеніи духа.

— То-то вы, молодые люди! Вы все такъ-только— поминдальничать, или тамъ на счетъ мелочи, а нѣтъ чтобы жениться, да кормить жену! Вы все на фу-фу! обузу-то не любите! а? не лю-би-те!

Онъ послѣднее слово какъ-то особенно протянулъ.

Темрюковъ не могъ отвести глазъ отъ его лѣвой щеки: мѣсто повыше рыжеватой бакенбарды такъ и тянуло его руку.

— А мы обузы-то не боимся. Мы не любимъ мирлифлерничать-то—понравилась, ну и женился— и корми жену. Слышишь, Анна! (онъ полѣзъ въ карету) я тебя буду кормить, одѣвать,—а ты у меня смотри! въ глаза глядѣть! а этихъ маркизовъ-то помпадуръ подальше! Ну, пошелъ! Демьяныч, пріѣзжай къ намъ въ Сибирь!... Выпьемъ тамъ на славу!

Послѣднія слова относились къ смотрителю, который стоялъ въ нѣкоторомъ отдаленіи, и были сказаны уже на ѣздѣ. Экипажъ двинулся; мимо Темрюкова, полузаслоненная мужемъ, мелькнула бѣлая фигура Анюты, еще нѣсколько мгновеній смотрѣлъ Темрюковъ вслѣдъ отъѣзжающимъ, но онъ не видалъ ничего, кромѣ потряхивающагося *кузова*, который тихо исчезалъ въ пыли и сумракѣ...

— Не прикажете ли чаю? спросилъ смотритель.

— Нѣтъ! Но, ради Бога, дайте мнѣ скорѣе лошадей!

— Теперь можно! флегматически замѣтилъ смотритель. — Антіохъ, закладывай имъ лошадей! и смотритель скрылся.

Ямщикъ Антіохъ, тотъ самый, который, съ пріѣзда Темрюкова, сидѣлъ у воротъ на камнѣ, лѣниво всталъ и пошелъ поить лошадей.

Темрюковъ сѣлъ на крыльцо, подперъ голову обѣими руками и пристально сталъ смотрѣть опять на разстилающійся впереди разливъ Волги, не замѣчая, что ни разлива, ни Волги не было видно, и одинъ темный туманъ медленно поднимался кругомъ.

Темрюковъ не замѣчалъ, какъ мазали тарантасъ, долго ли запрягали лошадей. Онъ очнулся, когда ему сказали: готово, и спросили прогоны. Онъ разсчитался и сѣлъ въ экипажъ точно въ чаду. Лошади тронулись. Темныя очертанія избъ длиннымъ рядомъ прошли мимо; проѣхали околицу, и поля обозначились чернымъ—точно пустымъ пространствомъ. Темрюковъ разсѣянно смотрѣлъ по сторонамъ.—Въ головѣ его происходила какая-то путаница и произволъ. Мысль его не останавливалась ни на Анютѣ, ни на томъ чувствѣ, которое, какъ метеоръ, пронеслось и разразилось надъ нимъ, но бродила и прыгала съ предмета на предметъ, совершенно безъ толку. То вдругъ ему, не извѣстно съ чего, приходила на память почтовая карта, которую онъ разсматривалъ передъ поѣздкой: онъ ясно представлялъ себѣ сѣть дорогъ, которая, поднимаясь выше, все становилась рѣже и рѣже. Вотъ двѣ дороги сходятся вмѣстѣ; вотъ и одна тянется одинокой чертой, кругомъ бѣлая бумага — это пустыня; вотъ отъ Якутска идетъ черточка въ бокъ, съ цифрою—тысяча съ чѣмъ-то верстъ, замыкается кружкомъ и надписью: Портъ Аянъ; далѣе дорога нейдетъ, далѣе пустыня и море! То ему, не знаю съ чего, приходила на память статья Жерара о львахъ; Темрюковъ вспоминалъ, какъ львица равнодушно смотритъ на бой, иногда смертельный, двухъ львовъ и потомъ идетъ за побѣдителемъ, который съ тѣхъ поръ принималъ обязанность кормить ее. «Но вѣдь на то они и звѣри!» думалъ Темрюковъ. То ему, съ поразительной ясностью, представлялась красная щека Артемья Семеныча; онъ, кажется, могъ бы пересчитать на ней всѣ волоски—и тогда безсильная злоба пробуждалась въ немъ: онъ сердился на себя, зачѣмъ не далъ по ней пощечины, зачѣмъ благоразуміе и нравственное чувство были такъ сильны въ немъ, зачѣмъ онъ не отдался своему желанію—«тогда бы хоть что-нибудь да вышло»,— думалъ онъ. Но всѣ эти мысли были, какъ варіаціи и фіоритуры на какую-то однообразную тему, которая была у него на душѣ. Какъ большая басовая труба, которая немолчно гудитъ въ органѣ, потрясая воздухъ и покрывая тоненькія флейточки, которыя выдѣлываютъ разные переливы, въ душѣ

Темрюкова ныла и стонала какая-то сжимающая сердце страшная, безвыходная тоска. Тарантасъ двигался медленно. Мальчикъ, скорчившись, спалъ возлѣ Темрюкова. Кругомъ все было тихо, и прозрачная тьма весенней ночи медленно спускалась все гуще и гуще. «Пошелъ, ямщикъ, пошелъ!» кричалъ Темрюковъ: ему бы хотѣлось врѣзаться всей грудью и утонуть въ этой тьмѣ, которая, какъ черная пропасть, стояла передъ нимъ...

А на долго ли все это?..

ДОРОЖНЫЯ ЗАМѢТКИ.

(ИЗЪ ПОѢЗДКИ НА КАВКАЗЪ).

I.

Отъѣздъ.

Напутствуемый теплыми желаніями и холодными пирожками моихъ добрыхъ знакомыхъ, сѣлъ я въ тарантасъ и выѣхалъ изъ Уфы. Май былъ въ исходѣ; утро теплое, тихое и немного-пасмурное. Родное небо съ привѣтливой задумчивостью отпускало меня въ дальній путь, даже снисходительно поплакало маленькимъ дождемъ; но, найдя, что печалиться много не стоитъ, весело пригрѣло меня вешнимъ солнцемъ. Оренбургскія рѣки вошли уже въ берега, но вровень съ ними были полны водами. Я переправился черезъ Бѣлую, потомъ черезъ закрытую ветлой и кустами Дему, отъѣхалъ верстъ десятокъ и съ пригорка взглянулъ еще разъ на Уфу. Просторно раскинувшись по горамъ и оврагамъ, и своимъ, большей частью, деревяннымъ строеніемъ она стояла издали, какъ и быть городу. Я простился съ нею.

Здѣсь, предъ лицомъ живописной оренбургской природы и бритымъ затылкомъ татарина-ямщика, нахожу нужнымъ повѣдать читателю цѣль моей поѣздки—кавказскія воды, на которыхъ я мечталъ нѣсколько поправить здоровье. Добросовѣстно долженъ предварить его, что если онъ не броситъ меня на первой же страницѣ, я безпощадно провезу его всѣми степями и горами вплоть до Тифлиса, до пресыщенія напою минеральными водами, и измученнаго, усталаго, *проѣздившагося*, оставлю осенью въ Петербургѣ, грѣться воспоминаніями южнаго солнца и пересказывать ничего нечитающимъ и невидающимъ пріятелямъ наши дорожныя впечатлѣнія.

Предостереженіе сдѣлано; затѣмъ въ путь, кто пожелаетъ. Я буду ѣхать скачками и останавливаться только въ мѣстахъ, отмѣченныхъ въ записной книжкѣ.

Глубже погрузившись сначала въ тарантасъ и самого себя, вскорѣ счелъ полезнымъ всмотрѣться поближе въ личность моего новаго слуги, съ которымъ, по волѣ судьбы, мнѣ предстояло сдѣлать тысячъ пять верстъ, а читателю отъ времени до времени прійдется встрѣчаться въ этихъ запискахъ. Дѣло въ томъ, что мой не оригинальный, но вѣрный и неизмѣнный доселѣ блюститель хозяйства, состоящаго изъ самовара и платья, заболѣлъ передъ самымъ отъѣздомъ и я долженъ былъ взять наемнаго. Съискать сколько-нибудь порядочнаго лакея въ городѣ Уфѣ, дѣло не легкое; и чтобъ не хлопотать много понапрасну, я взялъ почти перваго представившагося. Онъ поступилъ ко мнѣ наканунѣ отъѣзда и я рѣшительно не зналъ: кого, силою нѣсколькихъ рублей въ мѣсяцъ, прицѣпляю къ себѣ. Андрей былъ лѣтъ 45-ти, коренастъ, принадлежалъ къ старинному дому, загрубѣлъ въ провинціальной и деревенской прихожей, но отчасти сохранилъ теряющійся нынѣ типъ стараго русскаго слуги; любилъ поговорить, выражался иногда мѣтко и вѣрно, большею же частью нелѣпо, но въ трудныя минуты былъ мраченъ и суетливъ.

Теперь, когда тяжелымъ путемъ опыта я извѣдалъ его, я нашелъ, что онъ до крайности безтолковъ, но чрезвычайно бываетъ озадаченъ, когда, самодовольно отдавая отчетъ въ исполненіи порученія, убѣждается, что вполнѣ перепуталъ его; немилосердо коверкаетъ фамиліи моихъ знакомыхъ, любитъ сдѣлать грошовую экономію, которую надо исправлять рублевой тратой, обладаетъ талантомъ спать безпробудно, когда вздумается, теряется отъ изумленія при видѣ новыхъ вещей и вполнѣ счастливъ, если успѣетъ подсунуть мнѣ вчерашнее бѣлье вмѣсто свѣжаго.

Но на первый разъ я остался доволенъ разсужденіями моего новаго Санхо съ ямщиками, а особенно тѣмъ, что дружба и короткость обращенія съ ними не мѣшали ему зорко и неослабно смотрѣть, чтобы не было фальши въ ѣздѣ; съ своей стороны, я вынужденнымъ нашелся кратко ознакомить его съ нѣкоторыми новыми для него поня-

тіями о чистотѣ и опрятности, и, предоставивъ наше дальнѣйшее знакомство времени, я только пытался разгадать по физіономіи моего слуги, доставитъ ли онъ мнѣ пріятную нечаянность, напившись, какъ стелька, въ первомъ городѣ, или не доставитъ.

Ходко ѣхалъ я, какъ обыкновенно тамъ возятъ, западною полосой роднаго мнѣ края, который такъ разнообразно мѣняетъ свою физіономію. Лѣсистыя горы, озера полной чашей, луга и пашни, изрѣдка татарская разбросанная деревушка, проходили мимо меня, навѣвая впечатлѣніе свѣжаго новаго края, еще непринявшаго на этой переходной грани своего собственнаго, ясно установившагося характера.

На разсвѣтѣ я былъ за двѣсти верстъ, въ Бугульмѣ; своротилъ подъ прямымъ угломъ съ большой дороги,—и зажиточными селами и угодьями удѣльныхъ крестьянъ, процвѣтающихъ въ блаженномъ невѣдѣніи: оренбургской или самарской губерніи принадлежатъ они,—сдѣлавъ еще верстъ сто, пріѣхалъ на сѣрныя воды.

II.

Сѣрныя воды.

Съ горы я увидалъ незатѣйливый Сѣрноводскъ, раскинувшійся въ половинѣ ея надъ источниками сергіевскихъ минеральныхъ водъ, и сталъ къ нему спускаться.

Солнце хотѣло садиться—начало терять ослѣпительный блескъ и краснѣть, точно съ досады. Я былъ радъ, что оно давало мнѣ время взглянуть засвѣтло на воды и уѣхать до ночи. Желая поболѣе разсмотрѣть Сѣрноводскъ, я велѣлъ-было ямщику провести себя изъ конца въ конецъ; но онъ крайне затруднился, какимъ образомъ можно ѣхать не по той улицѣ, по которой обыкновенно ѣздятъ; въ раздумьѣ, потеръ себѣ затылокъ, ударилъ по лошадямъ и поѣхалъ обыкновенной дорогой.

Мимо меня начали проходить деревянные трехъ- и пяти-оконные домики той самородной архитектуры, которую своимъ умомъ изобрѣлъ, невеликій мастеръ въ дѣлѣ вкуса, русскій мѣщанинъ, желая выстроить домъ въ родѣ городскаго. Всѣ украшенія въ этомъ случаѣ состоятъ изъ балкончика съ крыльцомъ и подъ навѣсомъ на столбикахъ, не столько изящнымъ, сколь полезнымъ, потому что даетъ возможность, не проходя грязный дворъ, выходить прямо на грязную улицу. Домики были большею частью пусты, потому что съѣздъ только что начинался, но около одного изъ нихъ я замѣтилъ дѣтей съ гувернанткой.

«Ага, мои золотушные друзья! подумалъ я:— васъ ужь начали свозить сюда: недавно изъ колыбели, вы ужь начинаете лечиться! Прекрасное занятіе! Вы еще пролечитесь десятковъ пять, шесть лѣтъ и среди собственныхъ, тоже лечащихся дѣтей, съ грустью и страхомъ отойдете въ тотъ лучшій міръ, гдѣ нѣтъ никакихъ лекарствъ, глубоко сожалѣя о прелестяхъ сей жизни, въ которой вы такъ много лечитесь.»

Мои размышленія были прерваны появленіемъ молодой дамы на крыльцѣ, то-есть на балконѣ. По слабости человѣческой природы вообще и моего зрѣнія въ особенности, я прищурился во всю длину глазъ, чтобъ всмотрѣться въ нее и—о, пріятнѣйшая неожиданность! узнаю мою добрую Н-скую знакомую, въ домѣ которой бывалъ почти ежедневно съ короткостью стараго пріятеля и корпуснаго товарища ея мужа.

Я схватилъ за воротъ ямщика и потрясъ его всѣмъ безсиліемъ; лошади остановились. Съ быстротою почти здороваго человѣка, я вылѣзъ изъ тарантаса; моя знакомая тоже узнала меня и сошла съ крыльца.

В. Т.! васъ ли я вижу? воскликнулъ я.

М. В.! вы еще живы!.. воскликнула она.

Мы поздоровались.

— А въ Н* прошелъ слухъ, что вы умерли, сказала В. Т.

— Полагаю, что это неправда, но очень радъ узнать, какъ обо мнѣ грустили; скажите откровенно, много было пролито слезъ?

— Слезъ не было, а пожалѣли. Впрочемъ, я не совсѣмъ вѣрила...

— И не хотѣли написать ко мнѣ, чтобъ узнать правду?

— Да кто же бы мнѣ отвѣтилъ, еслибъ вы умерли?

— Въ самомъ дѣлѣ, я бы не могъ отвѣчать вамъ, съ грустью замѣтилъ я.

— Вы останетесь на водахъ?

— Нѣтъ, я ѣду на кавказскія. А вы?

— Я привезла дѣтей, да и самой надо полечиться: плохо здоровится.

— Рано же начали мы старѣться.

— Рано, да что дѣлать? Хотите обѣдать, или пить чай?

Время шло къ чаю и я выбралъ его. Въ разспросахъ и воспоминаніяхъ о знакомыхъ, мы долго сидѣли за самоваромъ, между тѣмъ вечерѣло замѣтно. Я сказалъ, что хотѣлъ бы посмотрѣть воды, и В. Т. вызвалась показать мнѣ ихъ. По той же улицѣ мы начали немного спускаться къ водамъ. Справа и слѣва тянулись все тѣ же полуобитаемые домишки. У нѣкоторыхъ во дворѣ были вмазаны котлы въ маленькія печи, для нагрѣванія воды жильцамъ, берущимъ ванны на дому. Вотъ и каменный воксалъ среди разростающагося сада. Слѣва видны были единственныя въ мѣстечкѣ каменныя зданія, принадлежащія управленію водъ; по такой же загибающейся лѣстницѣ мы спустились внизъ и вошли подъ длинную открытую деревянную галерею, идущую вдоль горы. Въ обоихъ концахъ этой галереи, прямо изъ горы въ каменные маленькіе водоемы, лилась холодная, цѣлебная и, какъ говорятъ, очень крѣпкая вода. Я попробовалъ ее: она сильно отзывалась сѣрой, но

тотчасъ изъ ключа — не была противна. Отсюда, по деревяннымъ желобамъ, вода проведена въ длинное сѣрое бревенчатое строеніе, въ которомъ устроены ванны; немного пониже разстилалось сѣрное озеро, а за нимъ, по долинѣ, роща.

Мы прошлись по галереѣ. Человѣка два-три пріѣзжихъ встрѣтились намъ и любопытно посмотрѣли на меня, какъ на новое лицо. Вѣроятно, они разсчитывали имѣть неудовольствіе часто встрѣчаться съ нимъ; но я обманулъ ихъ ожиданія. Мимо ваннъ мы прошли въ рощу по мостику черезъ рукавъ озера. Тутъ, съ мостика, на каменистомъ ложѣ, сквозь чистую воду видѣнъ тинистый осадокъ сѣрной грязи, которую вычерпываютъ для имѣющихъ нужду въ ней пачкаться.

Мы прошли по длинной аллеѣ, но въ ней было холодно и сыро. Воздухъ непріязненно подѣйствовалъ на наши разстроенные нервы и самый разговоръ началъ принимать какой-то болѣзненно-капризный характеръ. Мы повернули назадъ и стали медленно подыматься въ гору.

На улицѣ, передъ знакомымъ намъ крыльцомъ съ балкончикомъ, свѣжая тройка ждала меня, уже давно заложенная.

— Вы развѣ не ночуете здѣсь? спросила В. Т.

— Нѣтъ! я спѣшу ѣхать.

— Да куда вы торопитесь?

— Лечиться, В. Т., лечиться, а то какъ-разъ умрешь, не успѣвъ совершенно выздоровѣть.

Я поблагодарилъ судьбу за удовольствіе нежданной встрѣчи, мимоходомъ оразнообразившей мою дорогу, поцѣловалъ давно-знакомую мнѣ руку и уѣхалъ.

Вскорѣ, миновавъ мѣстечко, дорога спустилась подъ гору. Мы обогнули рощу и въѣхали въ низкую долину. Я обернулся назадъ: на Сѣрноводскѣ еще были послѣдніе лучи солнца. Отливаясь на нихъ версты за четыре въ сторону, тоже пестрѣлъ, въ полугорѣ, заштатный городъ Сергіевскъ, отъ котораго воды получили свое названіе. Мѣсяцъ еще не всходилъ. Сѣровато-розовые сумерки все болѣе тѣмнѣли и узкій проселокъ, разсѣкая густую траву, терялся въ ней. Тарантасъ мой плавно катился по поясъ въ зелени. Я закутался въ теплую шинель: ночь и дрема спускалась кругомъ на влажную долину.

III.

Городъ Самара.

Городъ Самара, какъ всѣмъ извѣстно, а, можетъ быть, многимъ и неизвѣстно, лежитъ при впаденіи рѣки Самары въ Волгу. Лѣтъ семнадцать назадъ, когда меня везли въ Петербургъ опредѣлять въ институтъ, мы проѣзжали Самару. У меня осталось неясное впечатлѣніе о грудѣ разбросанныхъ деревянныхъ домовъ, смахивающихъ на заживочныя избы, и какой-то пустынной площади; тогда Самара была уѣзднымъ городомъ оренбургской губерніи. Нѣсколько лѣтъ назадъ, съ учрежденіемъ самарской губерніи, Самара возведена въ губернскій городъ и я не узналъ ее. Грѣхъ сказать, чтобъ она походила на настоящій старый губернскій городъ, но она вышла ужь и изъ уѣздныхъ, особенно такихъ уѣздныхъ, которые встрѣчаются въ Заволжскомъ краѣ. Въ ней уже есть первый признакъ цивилизаціи — нѣсколько трактировъ и гостинницъ, а приволжская часть довольно плотно застроена каменными домами. Правда, эти дома, бо́льшею частью купеческіе, только и имѣютъ въ архитектурномъ отношеніи то преимущество передъ деревянными, что выстроены изъ кирпича и оштукатурены, но все-таки хоть прямо стоятъ, и не такъ скоро темнѣютъ и боченятся. Впрочемъ, сознавая, по видимому, парадоксальную истину замѣчанія, вложеннаго Грибоѣдовымъ, въ уста Скалозуба про Москву, что

«Пожаръ способствовалъ ей много къ украшенью»

и принимая во вниманіе заботливость начальства о наружной красотѣ вновь возводимыхъ домовъ, можно пророчить и Самарѣ быструю перемѣну къ лучшему, потому что разрушительный бичъ пожара какъ-то особенно несчастливо тяготѣетъ надъ нею. Неуспѣла она убрать и возобновить остовы одного истребленія, какъ новый пожаръ, за недѣлю до моего пріѣзда, обратилъ въ дымящіяся груды лучшую почти всю каменную часть ея.....

Я пріѣхалъ въ Самару около полудня, на третій день моего выѣзда изъ Уфы, сдѣлалъ слишкомъ верстъ пятьсотъ почти въ двое сутокъ, и остановился въ довольно сносной, за неимѣніемъ лучшей, гостинницѣ. Первымъ дѣломъ моимъ было собрать справки о пароходахъ, потому что я имѣлъ намѣреніе спуститься, съ помощью сего изобрѣтенія ума человѣческаго, до Царицына и такимъ образомъ верстъ на четыреста спасти свои бока отъ различнаго рода толчковъ и тряски.

Нѣтъ ничего труднѣе, какъ въ нашихъ приволжскихъ городахъ узнать время прихода и отхода пароходовъ. Интересуясь главнѣйше перевозкою грузовъ, правленія мало обращаютъ вниманія на пассажировъ, хотя нынѣ вкусъ къ этого рода переѣздамъ, представляющимъ столько удобствъ, начинаетъ распространяться. Въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ учреждены главныя конторы, еще можно въ нихъ получить кое-какіе приблизительные слухи. Въ Казани, гдѣ пароходы пристаютъ верстъ за пять отъ города, о ихъ прибытіи даютъ знать поднятымъ флагомъ на пожарныхъ каланчахъ: пассажиры должны собраться въ два часа и скакать на пристань, ожидая тамъ отплытія иногда цѣлыя сутки. Въ Самарѣ свѣдѣнія получаются болѣе патріархальнымъ образомъ: вы говорите извощикамъ, стоящимъ на биржѣ, чтобъ они увѣдомили васъ, когда завидятъ съ горы дымъ парохода,

обѣщая за это приличное вознагражденіе, и мирно ожидаете ихъ извѣстія.

Я не ограничился однакоже этимъ, сколько простымъ, столь же и удобнымъ средствомъ, отыскалъ контору общества и получилъ весьма смутныя свѣдѣнія, что пароходы едва-ли придутъ ранѣе недѣли, что теперь большая ихъ часть *убѣжала* внизъ и что, если и будутъ пароходы, то врядъ ли пойдутъ они до Царицына; но, впрочемъ, прибавили мнѣ, можетъ статься, на ваше счастье и прибѣжитъ какой-нибудь.

На основаніи этого прочаго и отчасти вѣруя, хотя слабо, въ собственную звѣзду, я рѣшился подождать дня два, тѣмъ болѣе, что въ городѣ у меня былъ издавна дружескій и гостепріимнѣйшій домъ моихъ старинныхъ знакомыхъ, которыхъ я чрезвычайно радъ былъ видѣть.

Я привелъ себя въ нѣкоторый порядокъ, взялъ извощика, которые всѣ обладаютъ здѣсь, къ услугамъ сѣдоковъ, породой сибирскихъ дрогъ, весьма незатѣйливой, но тряской конструкціи, и велѣлъ везти къ М*—М* былъ попрежнему радушенъ; жена его, моя старая (но не годами) соученица, съ которой я направлялъ мои первые робкіе шаги на скользкомъ поприщѣ танцовальнаго искусства, по прежнему хороша, я имѣлъ удовольствіе возобновить знакомство съ ея падчерицею, вышедшею уже изъ института, которую помнилъ ребенкомъ, и не преминулъ ей сообщить объ этомъ обстоятельствѣ.

— Какая досада! сказала хозяйка: — мы (она указала на падчерицу) сегодня должны ѣхать дня на два въ деревню къ ***. А вы долго пробудете у насъ?

— Именно столько, сколько вы въ деревнѣ, если пароходъ не будетъ ранѣе.

Она весьма любезно уговаривала меня дождаться ихъ возвращенія; я тонко намекалъ, что хорошо бы она сдѣлала, еслибъ не ѣздила, и — увы! такова разъединяющая сила времени! остались оба при своихъ намѣреніяхъ...

Послѣ обѣда мы проводили дамъ до перевоза черезъ Самару. Тутъ я пожелалъ моей недоброй, но прекрасной знакомой много маленькихъ непріятностей, въ видѣ дождя, грязи и деревенской скуки, и мы дружески простились, искренно жалѣя, что такъ скоро и надолго разстаемся, какъ будто не отъ насъ это зависитъ!

Дамы съ своимъ кавалеромъ стали переправляться; мы съ М** вернулись къ нему.

Любезности этого уважаемаго человѣка я обязанъ удовольствіемъ не умереть отъ скуки въ незнакомомъ, да и съ знакомствами, должно полагать, не слишкомъ веселомъ городѣ. Въ хорошую погоду мы гуляли и осматривали достопримѣчательности, въ дурную составлялась партія въ картишки. Объ этомъ послѣднемъ развлеченіи ничего не могу сообщить новаго; что касается до перваго, то всѣ достопримѣчательности города ограничивались общественнымъ садомъ.

Сколько мнѣ извѣстно губернскихъ городовъ (а я ихъ видалъ не мало), каждый изъ нихъ обладаетъ общественнымъ садомъ. Садъ этотъ обыкновенно предназначается для доставленія возможности жителямъ совершать пріятныя прогулки, не выѣзжая за заставу. Но — странная вещь! съ той минуты, какъ садъ дѣлается общественнымъ, онъ становится какимъ-то заколдованнымъ отъ посѣтителей мѣстомъ, городской пустыней, отгороженной за тѣмъ, чтобы въ нее трудно рѣшалась заглянуть нога человѣческая!... Еще ни одного публичнаго сада въ губерніи, не исключая и волжскаго откоса въ Нижнемъ, съ котораго открывается восхитительнѣйшій видъ, ни одного еще не знаю я, гдѣ бы въ обыкновенный, ясный день случилось мнѣ встрѣтить нѣсколько гуляющихъ, такъ что, я полагаю, эти сады заведены единственно для удовлетворенія маленькаго городскаго самолюбія, которое можетъ показать его заѣзжему и скучающему господину и сказать: «а вотъ нашъ публичный садъ!» или напечатать въ какой-нибудь газетѣ, что «вечеромъ въ такой-то день (почему-либо замѣчательный) избранная публика собралась въ нашъ прекрасный общественный садъ и долго наслаждалась благоуханіемъ умирающаго дня, который, какъ бы нарочно для сего случая, изъ пасмурнаго сдѣлался совершенно яснымъ и вполнѣ благопріятствовалъ прогулкѣ». А избранная публика состояла изъ мѣщанъ, пощелкивающихъ орѣхи, не наслаждающихся особеннымъ благоуханіемъ, а просто привлеченныхъ въ садъ музыкою полковаго оркестра...

Самарскій садъ довольно длиненъ, расположенъ по крутому, но невысокому надволжскому берегу и принадлежалъ прежде какому-то барину, жившему весело и съ затѣями, въ слѣдствіе которыхъ садъ и купленъ былъ едва ли не съ аукціона. Впрочемъ, по недавности пріобрѣтенія, блестящее время сада, въ которое вѣрятъ счастливые жители, еще въ будущемъ.

Начало, однако, положено; устроены кегли, есть воксалъ, сколоченный изъ досокъ, большой, сырой и довольно неказистый, при воксалѣ буфетъ, около котораго мы даже встрѣтили сильно подвыпившую личность: все заставляетъ предполагать, что надежды добродушныхъ самарцевъ оправдаются. Попытка увеселенія была уже сдѣлана и, должно полагать, очень блестящая, если судить по остаткамъ досчатыхъ арокъ и треугольниковъ съ проволоками для шкаликовъ.

— Вы знали Ш***? Это онъ еще устроивалъ иллюминацію, сказалъ М***.

— Какже, зналъ! Гдѣ онъ?

— Умеръ, бѣдный старичокъ, въ прошедшую холеру!

Ш*** былъ въ самомъ-дѣлѣ, къ сожалѣнію, не въ одномъ переносномъ смыслѣ бѣдный старичокъ, призрѣнный въ домѣ М***, нѣчто въ родѣ неудавшагося писателя стараго времени, составитель губернской хроники, съ готовностью принимавшій

себя хлопоты по устройству публичныхъ иллюминацій и отъ времени до времени посылавшій въ газеты извѣстія изъ Самары.

Онъ умеръ, оставивъ по себѣ нѣсколько никѣмъ незамѣченныхъ статеекъ, хрупкіе обломки сгорѣвшей иллюминаціи и искреннее сожалѣніе семейства, пріютившаго его какъ роднаго.

Утромъ третьяго дня особенное движеніе въ гостинницѣ пробудило мою надежду. Высовываюсь въ корридоръ и вижу человѣка съ узелками въ рукахъ и головой сахару подъ мышкой, который знавалъ меня еще въ Нижнемъ.

— Съ кѣмъ ты здѣсь?

— Сейчасъ пріѣхалъ съ барынями ***; въ ваши края, батюшка, на кумысъ ѣдемъ.

— Не на пароходѣ ли вы пріѣхали?

— На пароходѣ, изъ Нижняго.

Я поспѣшилъ одѣться, слушая хлопоты какой-то француженки, пріѣхавшей въ помѣщичій домъ и незнавшей какъ попасть въ него, потому что ни слова не говорила по-русски (послѣ обѣда я ее встрѣтилъ на крыльцѣ, наблюдавшею русскіе нравы) и отправился на пристань.

Но—увы! пароходъ шелъ недалеко внизъ и не могъ взять моего тарантаса. Потерявъ терпѣніе, я рѣшился отправиться на почтовыхъ, заѣхалъ къ М*** проститься, отобѣдалъ у него и, поблагодаривъ за много-разъ встрѣчаемое мною въ его домѣ радушіе, поѣхалъ самъ въ полицію, чтобъ поскорѣе выхлопотать билетъ на полученіе подорожной. Былъ сильный вѣтеръ; мнѣ предстояла семиверстная переправа черезъ Самару; до вечера оставалось недолго, а ночью не перевозятъ: нужно было поторопиться.

Въ домѣ полиціи все было чисто и опрятно. Прямо передъ окнами его грустно высились остовы недавняго пожара, но сторона улицы, на которой находился онъ, уцѣлѣла. Присутствія послѣ обѣда не было, но писцы собирались для исполненія своихъ обязанностей. Я обратился къ одному изъ нихъ, предъявивъ свой видъ, и онъ весьма услужливо написалъ билетъ и отправилъ для подписанія кому слѣдуетъ. Вскорѣ его принесли обратно и сказали, что нужно подписать ратману.

— А далеко живетъ ратманъ?

— Нѣтъ-съ, въ двухъ шагахъ.

Я успокоился и, отъ нечего дѣлать, пристальнѣе сталъ вглядываться въ окружающихъ меня дѣятелей. Меня поразила какая-то особенная печать ихъ физіономій: ниодна изъ нихъ не походила на обыкновенныя, ничѣмъ незамѣчательныя лица, въ такомъ множествѣ украшающія человѣческія головы; напротивъ, всѣ онѣ были оригинальныя, характерныя, крупныя и хотя устроены весьма разнообразно, но производили одно общее впечатлѣніе, по которому человѣкъ, увидавшій ихъ безъ перьевъ въ рукахъ, подумалъ бы, что они собраны сюда совсѣмъ не для того, чтобъ самимъ участвовать въ дѣлѣ исправленія ближняго.

Писцы, особенно старшій изъ нихъ, мѣнялись замѣчаніями, большею частью юмористическаго свойства; иногда слегка перебранивались, желая одинъ другому сбыть какую-нибудь бумагу для переписки.

Между тѣмъ прошло съ полчаса; я ждалъ нетерпѣливо, наконецъ возвратился посланный.

— Не подписываетъ! отвѣчалъ онъ.

— Да отчего же?

— Документа, говоритъ, нѣтъ.

Послали мой документъ.

Прошло еще долѣе; я боялся, что не успѣю выѣхать. Возвратился и во второй разъ посланный.

— Ну что?

— Не подписываетъ, отвѣчалъ онъ.

— Чего еще надо ему?

— Просто говоритъ, не подпишу.

Писцы смутились и не знали что предпринять.

— Да вы бы, ваше высокоблагородіе, сами съѣздили къ нему, да урезонили его. Мѣщанинъ вѣдь, такъ мѣщанинъ и есть — необразованность! сказалъ мнѣ какой-то полицейскій служитель въ бѣломъ кителѣ, стоявшій все время въ комнатѣ и пользовавшійся, по-видимому, между писцами правомъ гражданства.

Я охотно принялъ его совѣтъ, потому что потерялъ терпѣніе ждать дольше, попросилъ когонибудь проводить меня и, вмѣстѣ съ вызвавшимся писцомъ, отправился къ ратману.

Извощикъ, руководимый моимъ спутникомъ, привезъ насъ на погорѣлое мѣсто. Снисходительный путеводитель отправился въ балаганъ, наскоро выстроенный изъ досокъ возлѣ обгорѣлаго каменнаго дома, и вскорѣ вышелъ въ сопровожденіи какого-то русскаго человѣка съ бородкой, обстриженнаго въ кружокъ.

Человѣкъ этотъ былъ въ поддевкѣ, красной александрійской рубашкѣ и нанковыхъ шараварахъ, заправленныхъ въ сапоги. Я бы его принялъ за плотничьяго артельщика. Онъ былъ крѣпко не въ духѣ.

— Что вамъ надо? спросилъ ратманъ.

— Скажите, пожалуйста, что вы не подписываете моего свидѣтельства на выѣздъ?

— А то, что, можетъ, васъ не слѣдуетъ выпустить.

— Объ этомъ знаетъ полиція, а съ ея стороны препятствій нѣтъ.

— Да съ моей есть! подпиши, а тамъ послѣ достанется! не люблю я подписывать.

— Любите или нѣтъ, а все-таки не можете не подписывать.

— Да что съ вами толковать! что вы за спрощикъ. Не хочу подписывать, такъ и не подпишу!

— Въ такомъ случаѣ, я поѣду просить, кого слѣдуетъ.

— А пожалуй поѣзжай! много васъ! еще спрашиваетъ...

— Ну-ну! полно Савельичъ, скидай рукавицы-то! подписывай, вступился писецъ и, взявъ ратмана за плечи, увлекъ его въ балаганъ.

Чрезъ нѣсколько времени онъ вынесъ оттуда подписанный страшными каракулями билетъ, а черезъ часъ я былъ уже на переправѣ.

IV.

Переправа черезъ Самару.

Вѣтеръ поутихъ немного. Тарантасъ мой поставили на дощаникъ; поставили еще пустую телѣгу подводчика-мальчишки, на которую взмостился инвалидный солдатъ.

— Отчаливай!

Рабочіе начали отчаливать.

Самара была въ полномъ разливѣ. Маленькіе зайчики, бѣлые гребешки волнъ, еще бѣгали по серединѣ, но къ подгорному берегу волна ужь стихала и мѣрно плескалась. Вечерѣло. Солнце начинало прятаться однимъ краемъ за гору. По горѣ раскидывалась восточная часть города, въ которомъ изрѣдка отличались новые деревянные домики, выстроенные послѣ прошлогодняго пожара, изъ-за поворота горы грустно торчали каменные остовы недѣлю назадъ обгорѣлыхъ зданій, рисуясь черными силуэтами трубъ и стѣнъ, сквозь окна которыхъ иногда просвѣчивало пунцовое, ярко освѣщенное небо. Вдоль самаго берега, подъ горой, тянулись стройнымъ сплошнымъ рядомъ новые, плотные сосновые амбары, почти купаясь въ водѣ нижними звеньями. Весело было смотрѣть на этотъ блестящій свѣжимъ деревомъ строй высокихъ житницъ, засыпанныхъ вплоть до верха хлѣбомъ. Это было прямое русское богатство съ прямой русской физіономіей: отъ него вѣяло какимъ-то тихимъ, прочнымъ довольствомъ. А за амбарами, какъ море, синѣлъ темнѣющій разливъ Волги.

Между тѣмъ мы отчалили. Вѣтеръ былъ попутный. Подняли парусъ и онъ, всполоснувшись, тихо надулся и повлекъ насъ противъ воды.

— Молись Богу, православные! возгласилъ рулевой.

Всѣ сняли шапки и перекрестились. Мы поплыли.

Прямо передъ нами, по ту сторону рѣки, на островахъ половодья, отдѣльными группами, пестрѣли тоже хлѣбные амбары и еще какія-то широкія и низкія деревянныя строенія. Иногда возлѣ амбара вѣтреная мельница неутомимо махала поломанными съ одного бока крыльями. Всѣ эти бревенчатыя строенія съ красными или некрашенными тесовыми крышами, освѣщенныя закатомъ, рѣзко и живописно рисовались по темной зелени грунта, мѣстами поросшаго кустарникомъ.

— Что это за строенія? спросилъ я рулеваго.

— Это? А салотопные заводы, батюшка.

— Баранами сало скупаютъ?

— Нешто, батюшка, скупаютъ гурты и бьютъ *тутъ же;* мясо солятъ, солониной бурлакамъ продаютъ. *Сало и шкура идутъ сами* по себѣ.

Рулевой былъ высокій мужчина, лѣтъ за сорокъ, худощавый, съ продолговатымъ, умнымъ, спокойнымъ, честнымъ лицомъ, опушеннымъ маленькой бородой. На немъ была красная рубашка и полушубокъ поверхъ; на головѣ фуражка съ козырькомъ. Стоялъ онъ прямо, перекинувъ правую руку на потесь и отвѣчалъ на мои вопросы почтительно, но съ снисходительною подробностью, которая изобличала, что я въ его понятіяхъ былъ баринъ, можетъ, и хорошій баринъ и ученый, но въ крестьянскомъ и промышленномъ быту непонимающій ни аза, что̀ его, впрочемъ, повидимому, нисколько не удивляло.

— Мы около заводовъ пристанемъ? продолжалъ я.

— Нѣтъ, батюшка! заводы теперь почитай всѣ на островахъ. Мы куда дальше пойдемъ. Заводы только на половинѣ будутъ.

— И на половинѣ не будутъ, положительно замѣтилъ ямщикъ, улегшійся на помостѣ, облокотясь на руку и не спуская глазъ съ маленькой трубочки, которую раскуривалъ.

— Развѣ безъ малаго, что не будутъ, замѣтилъ рулевой.

— Далече не будутъ! продолжалъ самоувѣренный ямщикъ, глянулъ въ противоположную сторону, отрывисто пустилъ сквозь зубы тонкую струйку слюны за двѣ сажени въ рѣку и погрузился въ прежнія мысли.

— А далеко ли до берега? спросилъ я.

— Да верстъ семь будетъ, батюшка.

— Кой-же мѣсто мы пристанемъ?

— А вотъ изволите видѣть кусты въ той сторонѣ!

И онъ показалъ на едва видную полосу зелени, которая тянулась по горизонту.

— Гдѣ бѣлѣется что-то?

— Нѣтъ, это известь свалена, а пристань еще подальше будетъ. Направо то балагашекъ чернѣется, изволите видѣть, во-о-нъ!

И онъ тянулъ это во-о-нъ такъ долго, какъ будто хотѣлъ имъ достать ровно за семь верстъ и попасть прямо въ балагашекъ.

Я долго смотрѣлъ по указанному направленію, убѣдилъ себя, что вижу что-то черненькое и, успокоившись такимъ образомъ перспективой полуторачасоваго переѣзда, влѣзъ въ открытый тарантасъ, закутался въ теплую шинель и закурилъ сигару.

Устроившись въ наиудобнѣйшее положеніе, я ужь началъ погружаться въ тѣ бездремотныя грезы, которыя обыкновенно находятъ на человѣка, когда онъ обреченъ на бездѣйствіе и когда, между тѣмъ, ничего онъ особенно не ждетъ, ни что его не тревожитъ ни физически, ни морально. Это не то дремота, не то бдѣніе. Глаза безцѣльно переносятся съ предмета на предметъ; ничто особенно не привлекаетъ ихъ, но вскорѣ они останавливаются на какой-нибудь точкѣ. Вы и не думаете разсматривать ее, а все смотрите: просто лѣнь глаза отвести. Часто случается, что смотрѣвши такимъ образомъ, вы чрезъ нѣсколько времени со-

вершенно не отдаете себѣ отчета, что̀ вы видите. Воображеніе, которому вы дали полныя поводья, носитъ васъ съ предмета на предметъ, и, Богъ-вѣсть какимъ порядкомъ цѣпляясь одна за другую, въ головѣ проходятъ самыя противоположныя, самыя разнохарактерныя мысли. И вотъ, наконецъ, одна изъ нихъ почему то особенно остановила на себѣ вниманіе: вы отдаетесь ей вполнѣ, развиваете ее и передъ вами стройно проходятъ вызванныя тѣни, и вы переживаете ваше прошлое, или создаете что-либо въ будущемъ: въ эти минуты всякій изъ насъ болѣе или менѣе сочинитель; воображеніе сочиняетъ сцены и картины на яву до тѣхъ поръ, пока не начнетъ сочинять ихъ во снѣ.

Не помню, о какихъ именно пріятныхъ вещахъ думалъ я, но еще не успѣлъ я дойти до блаженнаго состоянія забытья, какъ мое вниманіе привлекъ на себя одинъ, по выраженію моего пріятеля, индивидуй.

Индивидуй этотъ стоялъ сначала по лѣвую сторону тарантаса, но потомъ ему заблагоразсудилось перебраться на правую; а какъ экипажъ совершенно перегораживалъ дощаникъ, то маневръ представлялъ нѣкоторыя затрудненія.

Индивидуй, однакоже, не смутился ими. Онъ взобрался на окранну дощаника, ухватился сперва за одно колесо, изогнувшись шмыгнулъ надъ водою, схватился за другое, опять шмыгнулъ и ловко прыгнулъ на помостъ передъ самымъ рулевымъ.

Это былъ человѣкъ низенькаго роста, жиденькій, юрковатый, въ синемъ нанковомъ, крѣпко засаленномъ, сюртукѣ до пятокъ и фуражкѣ, у которой козырекъ, вслѣдствіе особенной вѣжливости хозяина, едва держался на ниткахъ. Лицо онъ имѣлъ круглое съ мелкими чертами и небольшимъ носомъ, украшенное маленькимъ клинышкомъ бороды и сильно помятое отъ услужливости и готовности сообразно обстоятельствамъ безпрестанно мѣнять свое выраженіе.

Индивидуй былъ по-видимому лѣтъ сорока; я помню, что онъ прыгнулъ на дощаникъ въ то время, когда мы были ужь на аршинъ отъ берега и, вѣроятно, въ попыхахъ попалъ не на то мѣсто, куда желалъ.

Очутившись на новомъ мѣстѣ, онъ почему-то счелъ за нужное сначала обратиться ко мнѣ: скинувъ почтительно фуражку, опустилъ ее до колѣнъ и проворно взбросилъ на голову, причемъ я думалъ, что козырекъ непремѣнно отлетитъ; козырекъ, однакоже, удержался.

Я поклонился ему.

Потомъ индивидуй кивнулъ головой ямщику; ямщикъ лежа взглянулъ на него, промычалъ, не выпуская изо рта трубки: «а! Битокъ», повернулся и плюнулъ на двѣ сажени въ воду.

Битокъ обратился къ рулевому.

— Василью Семенычу мое почтенье, сказалъ онъ пѣвучимъ выговоромъ мѣщанина, мѣтящаго въ купцы, приподнявъ фуражку надъ головою.

— Здравствуй, Иванъ Петровичъ! Куда Богъ несетъ?

— А на сальный къ Балагуеву: дѣльце есть.

— Да ты развѣ не у него живешь?

— Эва! ужь мѣсяцевъ семь, какъ отошелъ. У Ендакова Гаврилы Гаврилыча посляй жилъ, да у Бердяева съ мѣсяцъ занимался.

— А теперь?

— Да теперь такъ, разными дѣлами перебиваюсь. А васъ что давненько не видать было?

Рулевой потупился.

— Меня здѣсь не было, отвѣчалъ онъ, помолчавъ.

— Знаю, что не было. Лѣтось частенько переѣзжалъ: что, думаю, Василья Семеныча нѣтъ? Съ вами, говорятъ, несчастьице приключилось, продолжалъ онъ, таинственно понизивъ голосъ.

— Да, стряслась-было бѣда! сказалъ рулевой.

— Слышалъ, слышалъ! подъ уголовнымъ, говорятъ, были.

— Не подъ уголовнымъ, а былъ-таки грѣхъ.

— Какъ же это, разскажите?

— Арестанта упустилъ! вполголоса сказалъ рулевой.

— Э! скажите! То-то я что-то слышалъ. Какими же это судьбами?

— Да вотъ прошлою весною, объ эту же пору.

— Да, да, должно быть такъ! Ну, такъ какъ же это вы упустили?

Вѣтеръ ровно надувалъ парусъ. Дощаникъ тихо бѣжалъ по широкому разливу. Рулевой осмотрѣлся, повернулъ вправо потесь и началъ:

— А вотъ какъ было дѣло. Прошлой весной передъ половодьемъ призвалъ меня тоже Иванъ Дмитричъ и говоритъ: «ну, говоритъ, Василій, ступай опять ко мнѣ. Будешь у меня, говоритъ, на томъ берегу сборъ собирать, а народу не хватитъ, иной разъ и съѣздить». — «Хорошо, я говорю, Иванъ Дмитричъ!» и поступилъ. Вотъ живу, знаешь, на томъ берегу; только разъ пріѣзжаетъ десятской отъ становаго и арестанта привозитъ. А дѣло-то было къ вечеру, Разливъ, знаешь, большой тоже былъ, почитай-что съ понѣшній.

— Почище будетъ! замѣтилъ лежащій скептикъ ямщикъ и плюнулъ въ воду.

— Пожалуй, что и больше, продолжалъ рулевой. Вотъ и говоритъ мнѣ десятской: «ты, говоритъ, Василій Семенычъ прими отъ меня арестанта, да представь его въ городъ, а меня отпусти; мнѣ, говоритъ, Демьянъ Григорьичъ безпремѣнно велѣлъ сегодня же воротиться: у насъ понимка бродяги будетъ.

— Какъ, я говорю, теперь поѣдешь: ишь какой вѣтеръ! а вѣтеръ въ ту пору сильно разыгрался: —ишь, я говорю, вѣтеръ какой, да и дѣло же теперь къ ночи...

— Ну, какъ знаешь, говоритъ, а меня отпусти и арестанта представь: арестантъ нужный.

— Дѣлать нечего, взялъ я отъ него бумагу и арестанта принялъ, а онъ на той же подводѣ и

уѣхалъ. Арестантъ парень молодой, такой изъ себя красивый. Какъ, молъ, тебя звать, любезный?

— Да безъименнымъ, говоритъ.

— Ну, безъименный такъ безъименный, такъ и звать будемъ. Посмотрѣлъ я, что дѣлать съ нимъ? А въ ту пору надо было хозяину выручку везти; дай, думаю, поѣду, сдамъ его тамъ привощику, да и правъ. Велѣлъ полегче посудину подвести, поставилъ подводы двѣ, взялъ его и отправились. И разыгралась же на ту бѣду такая погода, что страсть. Мы отъ берега, а она насъ къ берегу валитъ. Маялись, маялись, не можемъ изъ плеса выйдти. «Что, братцы, говорю, дѣлать нечего, привалимъ къ берегу: все лучше, чѣмъ на водѣ ночевать»; и привалили немного ниже косы. Вышли, огонь развели. У ребятъ котелокъ былъ; кашицы сварили; сами похлебали и арестанта накормили и улеглись. Не спалось что-то мнѣ: видно, сердце бѣду чуяло. Слышу я, возится мой арестантъ; приподнялся я, а онъ стоитъ у огня.

— Что, молъ, ты, любезный? Али не спится?

— Прозябъ, говоритъ, больно, грѣюсь. На дворѣ, знашь, сиверко таково: онъ же въ одномъ коротенькомъ кафтанишкѣ—какъ не прозябнуть?

— Возьми, говорю, полушубокъ у меня на посудинѣ, али циновкой прикройся.

Пошелъ онъ, взялъ полушубокъ, циновкой прикрылся и легъ; и я опять прикурнулъ. И заснулъ же я, на грѣхъ, прекрѣпко, и такъ сладко спалъ, что, кажись, отъ роду этакъ не спалось. Спалъ я, спалъ, очнулся, гляжу—ужь совсѣмъ бѣло. Разбудилъ я ребятъ и его хочу разбудить; глядь—одна циновка лежитъ и такъ свернута, какъ словно спитъ кто подъ ней. Думалъ, не отлучился ли куда, звать-позвать—нѣтъ! Ушелъ! а полушубокъ подъ циновкой лежитъ, полушубка не взялъ, а самъ ушелъ!

Вотъ мы туда-сюда, зовемъ его, кричу я его: Безъименный! кричу, Безъименный! вернись! не вводи другаго въ грѣхъ. Пожалѣй меня, родной! Нѣтъ! Звалъ я, звалъ, и такъ звалъ, что услышь меня онъ, я чай безпремѣнно бы воротился! Ну, да гдѣ услыхать, коль ужь ушелъ! чай, версты за двѣ улепетывалъ. Что будешь дѣлать? Пришла бѣда и на мой порогъ! Добро бы одинъ былъ—ну куда не шло, а то жена, дѣти — просто горе.

Дѣлать нечего: пометался я, пометался — надо ѣхать. Поѣдемте, я говорю, братцы. Вотъ пріѣхали въ городъ; отправился я прямо къ нашему частному Макару Осипычу. Онъ еще дома былъ.

— Что, говоритъ, любезнѣйшій, скажешь?

— Да вотъ, молъ, такъ и такъ, батюшка.

— Какъ-же, говоритъ, это такъ?

— Да что, молъ, станешь дѣлать? грѣхъ попуталъ!

— Въ рукахъ, говоритъ, было, да между пальцевъ ушло! Только-бы тебѣ, говоритъ, по нашей части и служить. Шутникъ онъ, знаешь, такой, шутитъ, а мнѣ не до шутокъ.

— Жаль, братецъ, мнѣ, говоритъ, тебя, мужикъ ты хорошій, а маху далъ! Дѣлать, говоритъ, нечего. *Посадить тебя придется.*

Меня и посадили.

— А долго сидѣли? заискивающимъ голосомъ спросилъ Битокъ.

— Съ мѣсяцъ высидѣлъ. Однако потомъ на поруки выпустили.

— И теперь по порукамъ ходите? скромно продолжалъ Битокъ.

— Нѣтъ; теперь, благодаря Бога, совсѣмъ ослобожденъ и дѣло кончено.

— Кончено благополучно?

— Кончено-то благополучно, да передъ самымъ концомъ натерпѣлся я страху: вѣкъ не забуду! Ухъ! Рулевой тяжело отдышался, какъ-будто свалилъ съ плечъ страшную ношу.

— Какъ же это, какъ же? разскажите, Василій Семенычъ? спрашивалъ Битокъ, присѣвъ, чтобъ удобнѣе было слышать, на перила.

— Митя? дай-ка трубочки, сказалъ онъ, обращаясь къ ямщику.

Ямщикъ молча протянулъ ему трубку; Битокъ торопливо сунулъ въ ротъ трехвершковый чубукъ и началъ посасывать. Трубочка болѣзненно захрипѣла.

Василій Семеновъ опять осмотрѣлся, далъ право руля и снова началъ:

— Ну, извѣстно, начали меня въ судъ водить. Сняли допросъ, ребятъ всѣхъ перебрали; всѣ въ одно слово говорятъ: «не виноватъ!» Ну, помаячили сначала, а потомъ все и смолкло. Живу я зиму спокойно и думалъ ужь, авось, можетъ, Богъ дастъ, такъ и забудется. Только вдругъ передъ Святой заходитъ городовой ко мнѣ: «Явись, говоритъ, завтра къ Макару Осипычу».

— Зачѣмъ? я говорю.

— Незнаю, говоритъ.

Я поднесъ ему.—Не знаешь ли, говорю, любезнѣйшій?

— «По дѣлу, должно-быть, говоритъ, что-нибудь вышло». Больше ничего отъ него не добился.

Явился я на другой день рано къ Макару Осипычу. «Спитъ еще», говоритъ кухарка: «подожди въ прихожей». Жду я, а у самого сердце не на мѣстѣ. Ждалъ, ждалъ, съ часъ, али болѣ прошло —извѣстно и часъ задолго покажется—только слышу по залѣ зашаркалъ туфлями, идетъ. Растворилъ дверь; самъ въ халатѣ; лицо, знаешь, полное; извѣстно, съ просонья сердитое. Глянулъ этакъ на меня; я поклонился, ни слова не сказалъ и прошелъ въ кухню. Слышу въ кухнѣ началъ мыться; полоскался, полоскался—выходитъ съ полотенцемъ, повеселѣлъ немного и опять ни слова; прошелъ и дверь не затворилъ. Немного погодя, кухарка ему чай принесла, поставила на столъ — вижу я—вышелъ онъ и началъ чай пить, а меня все не зоветъ! Выпилъ стаканъ, другой ему подали; набилъ онъ трубку, закурилъ и кликнулъ: «Поди-ка, говоритъ, сюда, любезный!»

Взошелъ я.

— Ну, братецъ, по твоему дѣлу рѣшенье вышло: велѣно, говоритъ, тебѣ объявить его.

— Слава-Богу, говорю, батюшка. Какое же, молъ, рѣшенье-то вышло?

Онъ помолчалъ, подумалъ, куритъ; а у меня сердце замираетъ!

— Да что, братецъ, вѣдь не хорошо! говоритъ. Мурашки у меня по тѣлу такъ и забѣгали.

— Что, молъ, дѣлать, батюшка; ужь видно такое заслужилъ.

— Да, говоритъ, больно не хорошо! Знаешь ли ты, говоритъ, что долженъ подвергнуться тому наказанью, какому подвергался упущенный арестантъ.

— Знаю, молъ, батюшка!

— Ну, а онъ, братецъ, говоритъ, заслуживалъ ссылки въ Сибирь!

Какъ услыхалъ я это, такъ меня и отуманило! Господи, думаю, жена, дѣти.... всѣхъ долженъ покинуть! Съ ними-то что̀ станется? стою ни живъ, ни мертвъ.

— Да, говоритъ, въ Сибирь, да еще и съ наказаніемъ...

У меня такъ ноги и подогнулись... Упалъ я на колѣни. «Батюшка!» говорю. «Богу и вамъ извѣстно, вина моя безнамѣренная! Пусть я казнюсь, а то жена, дѣти... нельзя ли, говорю, батюшка, подъ манифестецъ милостивый подвести»... а у самого слезы такъ и текутъ, такъ и текутъ.

Взглянулъ Макаръ Осиповичъ и ухмыльнулся— дай Богъ ему доброе здоровье—вѣкъ этой усмѣшки не забуду: словно мнѣ вдругъ солнышко какое показалось. «Ну, ну полно! Встань, говоритъ, Василій! встань! Говори: слава Богу! арестантъ былъ неважный: просто мужикъ къ допросу требовался, да и того поймали, и тебя судъ оправдалъ, а за оплошность тебѣ вмѣнилъ арестъ въ наказаніе!

Я слушаю и ушамъ не вѣрю.

— Да, говоритъ, пошутилъ я надъ тобой, пугнуть тебя хотѣлъ, чтобъ ты впередъ осторожнѣе былъ, а у насъ судъ невиннаго не наказываетъ, у насъ, говоритъ, судъ правильный...

Я ему такъ и повалился въ ноги.

—

Василій Семеновъ провелъ широкой рукой по лицу и смолкъ. Еще нѣсколько мгновеній любопытный Битокъ прислушивался, не скажетъ ли онъ чего, потомъ вдругъ засмѣялся. Разсказъ рулеваго показался ему, по-видимому, очень забавнымъ.

— Ха! ха! ха! Ну, настращалъ же онъ васъ! Чай, душа въ пяткахъ ушла. Проказникъ этотъ, Макаръ Осипычъ! большой шутникъ! А вѣдь предобрый.

— Добрый! сказалъ рулевой.

— Добрѣющая душа! заключилъ Битокъ и снова началъ усиленно насасывать трубочку, которая только хрипѣла. Вдругъ лицо его приняло недовольное выраженіе; онъ выхватилъ чубучокъ изо рта и небрежно подалъ его ямщику.

— Возьми свою носогрѣйку-то, съ ней чахотку насосешь: только хрипитъ, а дыму и не спрашивай!

— Захрипитъ, какъ табаку-то нѣтъ! Я и самъ окурки курю, мрачно замѣтилъ ямщикъ и сталъ лѣниво приподниматься.

Мы были уже въ затонѣ. Затопленные кусты начали ширшать, изрѣдка задѣвая за бока дощаника. Почти совсѣмъ стемнѣло и берегъ, къ которому мы тихо близились, чернѣлъ невдалекѣ.

Черезъ пять минутъ мы пристали, и я поѣхалъ далѣе.

V.

Степь.

Версты черезъ четыре за самарской переправой, мнѣ приходилось еще переѣзжать какую-то рѣчку. Ѣхалъ я, несмотря на сходящую ночь, хорошо; ямщикъ мой, необщительнаго и отрицающаго свойства, оказался хорошимъ ямщикомъ, но держалъ себя, относительно лошадей, сурово, и не нисходилъ съ ними до короткости обращенія. Мальчишка-подводчикъ долго скакалъ за мною, стоя на погахъ въ телѣгѣ и концами возжей погоняя свою лошаденку: ему хотѣлось попасть вмѣстѣ со мною на паромъ, однакоже онъ, бѣдняга, отсталъ, да и хорошо сдѣлалъ, потому что паромъ былъ такого устройства, что и мой тарантасъ едва умѣстился на немъ, и то съ выпряженными лошадьми.

Какъ теперь помню задумчиво-прелестное мѣстечко, встрѣтившее меня на томъ берегу. Не знаю почему, но оно ясно осталось у меня въ памяти, можетъ статься оттого, что это былъ послѣдній живописный уголокъ, съ которымъ на тысячи верстъ я долженъ былъ проститься. А между-тѣмъ ничего не можетъ быть проще этой совершенно въ русскомъ родѣ картинки: песчаная площадка; съ боковъ высокія осокори, новенькая сосновая изба въ сторонѣ, прямо взлобокъ, за которымъ начиналось поле, и надо всѣмъ освѣщеніе поднимающагося мѣсяца, ударявшаго прямо на избушку сквозь вѣтви лѣса. Я полюбовался картинкой, пока ямщикъ, съ помощью перевощиковъ, запрягалъ лошадей, потомъ съ мѣста во весь духъ мы выскакали на взлобокъ, дорога пошла полями и я задремалъ. Просыпаюсь около полуночи, лошади стоятъ, ямщикъ слѣзаетъ съ козелъ, справа изба со столбомъ: мы на станціи.

Я вышелъ изъ тарантаса, сѣлъ на завалину и закурилъ сигару. Сзади и съ боковъ, подъ яркимъ лунным свѣтомъ, спало мертвымъ сномъ большое село. Влѣво на площади стояла темнымъ силуэтомъ каменная церковь; впереди, на сколько глазъ окинетъ, раскинулась безбрежная степь. Помимо села и церкви, мой взглядъ невольно остановился на ней, и долго и тоскливо бродилъ по ея безлюдной равнинѣ. Есть какая-то влекущая сила къ безбрежности, будетъ ли это синее море, или сѣрая степь. Зрѣнію, кажется, хочется испробовать свои силы доглядѣться, что же тамъ, за этой гладью? попытаться проникнуть эту прозрачную стѣну, которая называется даль. И я вглядывался въ глубь ея, но только смѣшанные звуки неслись мнѣ от-

туда и громко раздавались въ мертвой тишинѣ. То было кваканье и бренчанье лягушекъ, которыя, смотря по мѣстности и особенно весною, кричатъ чрезвычайно разнообразно, и поверхъ ихъ нестройнаго хора, какъ одинокое соло, раздавался длинный, изъ минуты въ минуту звонко и уныло вскрикивающій звукъ какой-то птицы. Тоскливое чувство овладѣло мною. Мнѣ будто грустно было пуститься въ это поросшее быліемъ и полынью земляное море и хотѣлось предъ тѣмъ поглядѣть на что-нибудь живое.

Старый ямщикъ проважпвалъ по улицѣ лошадей, новый медленно копошился около впрягаемой коренной. Село по-прежнему спало и, кромѣ степныхъ звуковъ, только слышался глухой шагъ усталой тройки, да иногда звякъ колокольчика подъ вложенной дугой. Что за безжизненность кругомъ— точно и здѣсь какая-то людская степь!

На другомъ концѣ завалины, закутавшись въ некрытый овчинный тулупъ, отъ котораго еще пахло кислотой, сидѣлъ какой-то мужикъ, молчалъ и дремотно поглядывалъ на тарантасъ, на меня и на все окружающее. Я не слыхалъ, когда онъ появился и не знаю, былъ ли это бдительный староста или просто крестьянинъ, хозяинъ избы, которому не спалось на душныхъ палатяхъ и онъ вышелъ поглядѣть на проѣзжающихъ.

— Какое это село? спросилъ я его.

— Каменный Бродъ прозывается, медленно отвѣчалъ онъ мнѣ.

— Скажи, пожалуйста, любезный, кто это въ степи кричитъ?

— А, это змѣя свиститъ.

— Какъ, змѣя свиститъ?

— Да; весной по ночамъ выползаетъ гадина и свиститъ. Это, значитъ, самка самцу голосъ подаетъ.

— Да это голосъ птицы.

— А! голосъ-то! это птица.

— Какая, не знаешь?

— А кто ее знаетъ! степная какая-то.

— А гдѣ же змѣиный-то свистъ?

— А слышите, между лягушечьей-то сумотой точно свиститъ кто, коротко таково, обрывисто— это змѣя свиститъ.

— А много ихъ здѣсь?

— И — много! Да гдѣ этого гаду нѣтъ.

Я долго вслушивался, но посреди тысячи разнообразныхъ лягушечьихъ голосовъ ничего не могъ отличить.

— Старому ямщику на водку, батюшка!

А! значитъ лошади готовы. Новый ямщикъ надѣлъ на коялы. Мужикъ зѣвнулъ и скрылся въ калитку. Спящее село потянулось мимо—и опять въ путь...

Долго еще мѣнять намъ лошадей!

И ночь, черезъ минуту околица осталась за мною, и полной рысью тройки я въѣхалъ въ самарскія степи. Здравствуй, знакомое мнѣ и родное безлюдье! Со стѣны одинокаго Оренбурга, часто еще ребенкомъ, пытливо смотрѣлъ я въ твою пустынную даль за Ураломъ. Отъ Кокана до Кавказа, обхвативъ Аралъ и Каспій, разнообразно мѣняя жителей, климаты, небо, и едва мѣняя оттѣнки, ты затопило цѣлый край Россіи! Два года назадъ, лѣтомъ, я обыдёнкомъ промчался по тебѣ полтораста верстъ, съѣздивъ изъ Оренбурга въ Илецкую Защиту, посмотрѣть соляное сокровище, которое ты окаменила. Тогда была не та обстановка. Голый, едва поросшій песчаный грунтъ безпрестанно волновался пригорками; извиваясь между нихъ иногда пробѣжитъ ручей и надо видѣть, какая пышная зелень, какіе яркіе и большіе полевые цвѣты быстро обростутъ его, и тутъ же изрѣдка пріютятся кибитки кочевья, или казачій форпостъ въ три плетневыя мазанки.

Теперь снова и долго мнѣ приходится ѣхать по тебѣ; но другая картина встаетъ теперь предо мною и пробуждаетъ другое чувство. Тамъ была азіатская кибитка въ кругу родной, ей свойственной пустыни; здѣсь русское село съ своимъ спокойнымъ труженикомъ-мужикомъ; и не эту обстановку мы привыкли видѣть близь него. А между тѣмъ, посмотрите кругомъ: полный мѣсяцъ — это казачье солнышко—стоитъ высоко, и точно желая оправдать названіе, кажется изо всѣхъ силъ свѣтитъ своимъ дребезжащимъ свѣтомъ: такъ ярокъ онъ. Хоть бы облачко на небѣ! блѣдно-голубое, ясное, просторно раскинулось оно, и холодно блеститъ рѣдкими звѣздами. Кругомъ гладь и ширь невозмутимая. Одна высокая полынь привольно разрослась по ней и, отливая бѣлесоватымъ цвѣтомъ, кладетъ какія-то неопредѣленныя, неясныя тѣни. Самый запахъ этой полыни, такъ сильно разлитый съ вечера, замеръ въ ночномъ воздухѣ. Кузнечики смолкли, болото съ лягушками осталось назади и ихъ не слышно. Колокольчикъ звенитъ тоскливо, топотъ некованныхъ лошадей и стукъ тарантаса отзывается глухо на мягкой дорогѣ. Ѣдешь уединенно по этой безграничной пустынѣ и непріятное чувство пустоты сжимаетъ сердце. Хоть бы страхъ какой, хоть бы опасность взволновали и возбудили васъ — нѣтъ! ѣдешь въ спокойномъ тарантасѣ, какъ въ одинокой лодкѣ по умершему океану безъ бурь, острововъ и берега. Только однозвучный крикъ степной птицы изъ минуты въ минуту съ утомительной аккуратностью, какъ плачъ, раздается гдѣ-то. Думаешь увидѣть на яркомъ лунномъ свѣтѣ фигуру этого недремлющаго степнаго часоваго, приподымающагося изъ травы на длинной тонкой ногѣ, выставляющаго острый носъ и, широко раскрывъ его, какъ ножницы, испускающаго свой одинокій оклнкъ. Нѣтъ, и птицы не видно! Одинъ только звукъ, мѣрный, тоскливый, звонкій встаетъ надъ пустыней и, длинно прозвучавъ въ ночномъ воздухѣ, умираетъ на минуту. Какой великій, какой томительный просторъ!..

КОНЕЦЪ.

Библиотека
Института Ленина

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА СОЧИНЕНІЙ

М. В. АВДѢЕВА.

ТАМАРИНЪ. РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ:

Стр.

I. **Варинька.** Разсказъ Ивана Васильевича 7

II. **Тетрадь изъ записокъ Тамарина** 38

III. **Ивановъ.** Повѣсть 70

Ясные дни. Идилія 108

Горы. Разсказъ. 131

Деревенскій визитъ. Анекдотъ 150

Нынѣшняя любовь. Повѣсть. 158

Огненный змѣй. Разсказъ. 175

Поѣздка на кумысъ 192

Порядочный человѣкъ. Повѣсть 213

На дорогѣ. Разсказъ 245

Дорожныя замѣтки. Изъ поѣздки на Кавказъ. 255

КАТАЛОГЪ

романамъ, новѣстямъ, драмамъ, комедіямъ, либретто оперъ и программамъ балетовъ,

изданнымъ Ѳ. СТЕЛЛОВСКИМЪ,

владѣльцомъ музыкальнаго магазина, въ Большой Морской, въ домѣ Лауферта № 27, въ С. Петербургѣ.

ПОЛНЫЯ СОБРАНІЯ.

	р.	к.
Авдѣевъ, М. Полное собраніе сочиненій, томъ I, заключающій въ себѣ: «Тамаринъ», романъ въ трехъ повѣстяхъ, «Горы» разсказъ, «Деревенскій визитъ» анекдотъ, «На дорогѣ» повѣсть, «Огненный змій» разсказъ, «Нынѣшняя любовь» повѣсть, «Поѣздка на кумысъ», «Ясные дни», идилія, и «Дорожныя замѣтки» изъ поѣздки на Кавказъ. Цѣна	3	—
Достоевскій, Ѳ. Полное собраніе сочиненій, напечатанное въ трехъ томахъ, заключающихъ въ себѣ: «Записки изъ мертваго дома», въ новомъ, полномъ изданіи и съ новой главой «Товарищи» во второй части, романы и повѣсти: «Хозяйка», «Слабое сердце», «Господинъ Прохарчинъ», «Бѣдные люди», «Бѣлыя ночи», «Честный воръ», «Записки изъ подполья», «Крокодилъ», «Скверный анекдотъ», «Село Степанчиково», «Неточка Незванова», «Дядюшкинъ сонъ», «Чужая жена и мужъ подъ кроватью», «Елка и свадьба», «Двойникъ», «Игрокъ» и «Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ». Цѣна за три тома	9	—
Крестовскаго, Вс. Полное собраніе сочиненій, напечатанное въ двухъ томахъ, заключающихъ въ себѣ: «Петербургскія трущобы», Книга о сытыхъ и голодныхъ, романъ;—всѣ поэмы, стихи, сказки, повѣсти и разсказы. Цѣна за оба тома.	6	—
Писемскаго, Ѳ. Полное собраніе сочиненій, напечатанное въ четырехъ томахъ, заключающихъ въ себѣ романы и повѣсти; «Взбаломученное море», «Батька», «Записки чорта», «Завѣщаніе», «Боярщина», «Тюфякъ», «Бракъ по страсти», «Комикъ», «Богатый женихъ», «М-г Батмановъ», «Питерщикъ», «Лѣшій», «Виновата ли она», «Фанфаронъ», «Плотничья артель», «Старая барыня», «Тысяча душъ», «Старческій грѣхъ»; «Горькая судьбина» драма, «Самоуправцы» трагедія, «Раздѣлъ» комедія, «Ветеранъ и новобранецъ», «Ипохондрикъ» комедія, «Армяне, Татары, Калмыки, Бирючья коса, Баку, Тюкъ-караганскій полуостровъ и Тюленьи острова» путевые очерки, «Записки статскаго совѣтника Салатушки» и разборъ сочиненій Гоголя. Цѣна за четыре тома	12	—
Толстаго, Л. Н. Полное собраніе сочиненій, напечатанное въ двухъ томахъ, заключающихъ въ себѣ романы и повѣсти: «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика», «Записки маркера», «Люцернъ», «Альбертъ», «Два гусара», «Три смерти», «Семейное счастіе», «Мятель», «Поликушка», «Казаки», «Встрѣча въ отрядѣ съ московскимъ знакомымъ», «Набѣгъ», «Рубка лѣса», «Севастополь въ маѣ и Августѣ 1855 года» и «Педагогическія статьи». Цѣна за оба тома	6	—

РОМАНЫ, ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ и проч.

Богатый женихъ. Романъ *А. Писемскаго*	1	—
Бракъ по страсти. Повѣсть *А. Писемскаго*	1	—
Боярщина. Романъ *А. Писемскаго*	1	—
Бѣдные люди. Романъ *Ѳ. Достоевскаго*. Новое, просмотрѣнное изданіе	—	75
Бѣлыя ночи. Романъ *Ѳ. Достоевскаго*	—	40
Виновата ли она? Повѣсть *А. Писемскаго*	—	50
Господинъ Прохарчинъ. Разсказъ *Ѳ. Достоевскаго* .	—	30
Двойникъ. Романъ *Ѳ. Достоевскаго*. Новое, просмотрѣнное изданіе	—	75
Дядюшкинъ сонъ. Изъ мордасовскихъ лѣтописей. *Ѳ. Достоевскаго*. Новое, просмотрѣнное изданіе . . .	—	50
Елка и свадьба. Изъ записокъ неизвѣстнаго, *Ѳ. Достоевскаго*. Новое, просмотрѣнное изданіе	—	30
Записки изъ мертваго дома. *Ѳ. Достоевскаго*. Третье изданіе, вновь просмотрѣнное и дополненное новой главой **„Товарищи“**, во второй части. Изданіе это не должно быть смѣшиваемо съ *неполнымъ* изданіемъ Базунова.	1	50
Записки изъ подполья. Повѣсть *Ѳ. Достоевскаго*.	—	60
Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ. Разсказъ *Ѳ. Достоевскаго*	—	40
Краткій очеркъ жизни Ф. Шиллера и его произведеній, составленный по Вейлю.	—	60
Комикъ. Разсказъ *А. Писемскаго*	—	50
Крокодилъ. Необыкновенное событіе въ Пассажѣ. Разсказъ *Ѳ. Достоевскаго*	—	30
Лѣшій. Повѣсть *А. Писемскаго*	—	50
Мазепа. Поэма *Байрона*, переводъ *И. Гошіева*. . .	—	30
Маленькій герой. Изъ неизвѣстныхъ мемуаровъ *Ѳ. Достоевскаго*. Новое изданіе	—	40
Мосьѣ Батмановъ. Повѣсть *А. Писемскаго*	—	75
Неточка Незванова. Романъ *Ѳ. Достоевскаго*. Новое, просмотрѣнное изданіе.	—	75
Паризина. Поэма *Байрона*, переводъ *Ап. Григорьева*.	—	50
Питерщикъ. Разсказъ *А. Писемскаго*	—	30
Плотничья артель. Романъ *А. Писемскаго*	—	75
Разборъ соч. Гоголя. Критич. статья *А. Писемскаго*.	—	30
Село Степанчиково и его обитатели. Записки неизвѣстнаго. *Ѳ. Достоевскаго*. Новое, просмотрѣнное и дополненное изданіе.	1	—
Скверный анекдотъ. Разсказъ *Ѳ. Достоевскаго* . .	—	40
Слабое сердце. Повѣсть *Ѳ. Достоевскаго*.	—	30
Старая барыня. Романъ *А. Писемскаго*	—	75
Старческій грѣхъ. Повѣсть *А. Писемскаго*	—	75
Тысяча душъ. Романъ въ двухъ частяхъ *А. Писемскаго*. Новое изданіе, исправленное и дополненное новой главой во второй части	2	—
Тюфякъ. Повѣсть *А. Писемскаго*	1	—
Униженные и оскорбленные. Романъ въ четырехъ частяхъ, съ эпилогомъ, *Ѳ. Достоевскаго*. Третье, просмотрѣнное изданіе.	1	50
Фанфаронъ. Повѣсть *А. Писемскаго*	—	50
Хозяйка. Повѣсть *Ѳ. Достоевскаго*	—	50
Честный воръ. Разсказъ *Ѳ. Достоевскаго*	—	30
Чужая жена и мужъ подъ кроватью. Необыкновенное происшествіе, *Ѳ. Достоевскаго*. Новое, просмотрѣнное изданіе	—	40
Біографія Фредерика Шопена.	—	40
Біографія знаменитой трагической актрисы Ристори .	—	25
Письма (Reisebriefe) Ф. Мендельсона-Бартольди . .	—	50
Исторія семиструнной гитары, *М. Стаховича* . . .	—	50
Домашнія и жизненныя правила для музыкантовъ, сочиненіе *Роберта Шумана*	—	20
Театральныя воспоминанія. Автобіографическія замѣтки *Р. Зотова*	1	—

ДРАМЫ, КОМЕДІИ и ВОДЕВИЛИ:

А. и Ф. Водевиль въ 1 д., *П. Ѳедорова* . . . . — 50
А вѣдь я не уѣхалъ! Водевиль въ 1 д., *С. Бойкова*. — 50
Адріена Лекувреръ. Драма-ком. въ 5 д., *Е. Скриба*. — 75
Андрей Степановичъ Бука. Комедія *П. Григорьева* . — 75
Анджело (Венеціанская актриса), драма въ трехъ сутках. соч. *В. Гюо* . . . . . — 50
Бабушкины грѣшки. Комедія въ 1 дѣйствіи . . . . — 30
Батистовый платокъ. Комедія въ 1 д, *К. Ушакова*. — 50
Билетъ на лотерею Шимановъ и Сероки. Водевиль, *А. Похвиснева*. . . . . — 60
Бланка-Марія Висконти. Трагедія въ 5 дѣйствіяхъ соч. *Джіакометти*. . . . . — 50
Бродяги. Водевиль въ 1 д. и 6-ти карт., *С. Бойкова*. — 60
Больной отъ воображенія. Водев. въ 1 д., *С. Бойкова*. — 50
Бобыль. Сцены изъ русскаго быта, *П. Крушополева*. — 50
Бѣдность не порокъ. Комедія въ 3 д., *А. Островскаю*. — 75
Валенштейновъ лагерь. Поэма *Шиллера* пер. *Л. Мея*. — 60
Весною. Фантазія въ 1 д., въ стихахъ, *Н. Куликова*. — 50
Ветеранъ и Новобранецъ. Драмат. случай, *Писемскаю*. — 30
Ворона въ павлиньихъ перьяхъ. Водевиль въ 3 дѣйствіяхъ, *Н. Куликова* . . . . . — 50
Въ гостяхъ хорошо. Комедія въ 2 дѣйствіяхъ, переводъ *К. Тарновскаю* . . . . . — 50
Вѣчный жидъ въ новомъ родѣ. Водев. въ 1 д, *П. К.* — 40
Все изъ за камелій! Комедія въ 1 д., *М. Ѳедорова*. — 40
Гамлетъ. Трагедія въ 5 д., пер. съ англ., *М. Загуляева*. 1 —
Гдѣ тонко, тамъ и рвется. Комедія *И. Тургенева* . — 60
Горькая судьбина. Драма въ 4 д., *А. Писемскаю*. . — 75
Дебора. Драма въ 4 дѣйствіяхъ, соч. *Мозенталя*. . — 50
Екатерина Говардъ. Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ и восьми картинахъ, соч. *Александра Дюма*. . . . . — 50
Елизавета, королева англійская. Драма въ 5 дѣйствіяхъ, соч. *Джіакометти* . . . . . — 50
День рожденія Жана-Пьера Беранже. Анекдотъ *А. Б.* — 30
Димитрій самозванецъ. Траг. *Шиллера*, пер. *Л. Мея*. 1 —
Дикобразъ. (Провинціальныя сцены) *А. Иванова* . . — 50
Дѣло въ шляпѣ. Комедія, съ французскаго, *Лашкевича*. — 40
Женихъ, чемоданъ и невѣста. Водевиль *П. Григорьева*. — 50
Жена или карты. Водевиль въ 1 д., *П. Григорьева*. — 50
Жена кавалериста. Комедія въ 1 д., *П. Григорьева*. — 50
Женихъ и невѣста. Сцены изъ провинціальной жизни. — 40
Жилецъ съ тромбономъ. Шутка въ 1 д., *С Бойкова*. — 40
Завтракъ у предводителя. Комедія *И. Тургенева* . — 50
Заколдованный принцъ. Комедія въ 1 д., *Н. Куликова*. — 50
Золотой ключикъ. Комедія въ 3 д., *Октава Фелье* . — 50
Испорченная жизнь. Комедія въ 5 д., *И. Чернышева*. 1 —
Ипохондрикъ. Комедія въ 4 д., *А. Писемскаю* . . . 1 —
Іоанна Д'аркъ, прологъ изъ трагедіи *Ф. Шиллера* . — 25
Іоанна Безумная. Драма въ пяти дѣйствіяхъ соч. *Донъ Мануэля Томаіо* . . . . . — 50
Карьера. Комедія въ 4 д., соч. *Королева*. . . . . — 60
Камма. Трагедія въ 3 дѣйств., соч. *Монтанелли* . . — 50
Кассандра. Трагедія въ 5 дѣйств., соч. *Сомма* . . . — 50
Князь Холмскій. Драма *Н. Кукольника* . . . . . — 75
Купленный выстрѣлъ. Водевиль въ 1 д., *С. Бойкова*. — 60
Китайская роза. Водевиль *Маркевича* и *Бѣличева* . — 50
Король Лиръ. Трагедія *Шекспира*, пер. *Дружинина*. 1 —
Которая изъ двухъ? Комедія въ 1 д., *Н. Куликова*. — 40
Любовь и предразсудокъ. Ком. въ 3 д., *П Ѳедорова*. — 75
Любовный напитокъ. Водевиль въ 1 д., *А. Баженова*. — 40
Макбетъ. Трагедія въ 5 дѣйств., соч. *Шекспира* . . — 50
Марія Стуартъ. Трагедія въ 5 дѣйств., соч. *Шиллера*. — 50
Медея. Трагедія въ 3 дѣйств., соч. *Легуве*. . . . . — 50
Мирра. Трагедія въ 5 дѣйств , соч. *Альфіери* . . . — 50
Мечты любви. Комедія въ 3 д., *А. Весловскаю* . . — 40
Минутное заблужденіе. Ком. въ 4 д., *Н. Куликова*. — 75
Мишура. Комедія въ 4 дѣйствіяхъ, *А. Потѣхина*. . — 75
Мольеръ дитя. Комедія въ 1 д., пер. *А. Баженова* . — 50
Нареченные. Комедія въ 1 д., *Корженевскаю* . . . — 40
Небывалая исторія. Сцены изъ жизни, въ трехъ отдѣленіяхъ, М. Іюльской . . . . . — 50
Не въ свои сани не садись. Комедія *А. Островскаю*. — 75
Нервная женщина. Водевиль въ 1 д., *А. Похвиснева*. — 50
Несчастіе особаго рода. Ком. въ 1 д., *В. Пенькова* . — 50
Не въ деньгахъ счастье. Комедія въ 4 д., *И. Чернышева*. — 75
Норма. Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, соч. *Суме*. . . — 30
Ничто не вѣчно подъ луною. Комедія *П. Акилова* . — 50
Новѣйшій оракулъ. Комедія въ 4 д., *А. Потѣхина* . — 50
Ночное. Лѣтняя сцена изъ русск. быта, *М. Стаховича*. — 50
Нужда лучшій учитель. Комедія *Брянцева* . . . . — 75
Октавія. Трагедія въ 5 дѣйств., соч. *Альфіери* . . . — 50
Осенній вечеръ въ деревнѣ. Водевиль *Н. Куликова*. — 30
Отецъ семейства. Драма въ 4 д., *И. Чернышева* . . — 75
Отрывки изъ донъ Карлоса. *Шиллера*. Перев. *И. С.* — 50
Отверженная любовь. Драма въ 2 д., *П. Акилова* . — 50
Отольются волку овечьи слезки. Ком. *Вечеслава*. . — 60
Охота пуще неволи. Шутка въ 1 д., *И. Ч.* . . . . — 20
Петербургскіе шалуны. Оперетка *П. Григорьева*. . — 30
Позднее признаніе. Комедія въ 4. *А. Дюма-сына*. . — 75
Послѣднее число мѣсяца. Комедія въ 1 дѣйствіи . . — 60
Пія Ди-Толомеи. Трагедія въ 5 дѣйств., соч. *Маренко*. — 50
Продавецъ дѣтскихъ игрушекъ. Комедія въ 1 д. . . — 50
Праздникъ жатвы. Комедія въ 1 д., *Корженевскаю* . — 40
Просто случай. Сцены изъ купеч. быта, *И. Горбунова*. — 30
Провинціалка. Комедія въ 1 д., *И. Тургенева* . . . — 50
Псковитянка. Драма въ 5 д., въ стихахъ, *Л. Мея* . 1 —
Раздѣлъ. Комедія въ 1 д., *А. Писемскаю* . . . . — 50
Розамунда. Трагедія въ 5 дѣйств., соч. *Альфіери*. . — 50
Роковой колокольчикъ. Комедія въ 1 д., *Каратыгина*. — 40
Русскіе въ Эмсѣ. Комедія въ 1 дѣйствіи . . . . . — 40
Рыцари тумана. Драма въ 5 д. и 10 карт., пер. *Иванова*. — 75
Святки. Зимняя сцена изъ русскаго быта, *Стаховича*. — 40
Сервилія. Драма въ 5 д., въ стихахъ *Л. Мея* . . . 1 —
Сиротка. Водевиль въ 1 д., *В. Бѣличева.* и *П. Мендена*. — 40
Снявши голову, по волосамъ не плачутъ. Комедія . — 60
Соль супружества. Комедія въ 1 д., *В. Пенькова* . . — 40
Сонъ въ лѣтнюю ночь. Комедія въ 5 д., *Шекспира* . — 75
Станціонный смотритель. Драма изъ поэмы *Пушкина*. — 75
Странный закладъ. Комедія въ 1 д., *Н. Куликова* . — 40
Супруги-скороспѣлки. Комедія въ 1 д., *Петрова*. . — 30
Счастливые ревнивцы. Комедія въ 1 дѣйств., соч. *Жиро де-Ромъ* . . . . . — 30
Съ волками жить, по волчьи выть! Комедія *В. И*. — 40
Трактирщица. Комедія въ 3 дѣйств., соч. *Гольдони* . — 50
Управитель. Комедія *Октава Фелье*, пер. *Тарновскаю*. — 75
Франческа да Римини. Трагедія въ 5 дѣйств., соч. *Сильвіо Пеллико*. . . . . — 50
Холостякъ. Комедія въ 3 д., *И. Тургенева* . . . . — 75
Царская Невѣста. Драма въ 3 д., *Л. Мея* . . . . 1 —
Цыганка. Водевиль въ 1 д. *Н. Куликова* . . . . . — 60
Чаттертонъ. Драма въ 3 д., переводъ *Д. Ш.* . . . . — 60
Чужое добро въ прокъ нейдетъ. Драма *Потѣхина*. — 75
Шейлокъ, венеціанскій жидъ. Пер. *Ап. Григорьева*. — 75
Школьный учитель. Вод. въ 1 д., *П. Каратыгина* . — 50
66. Оперетка-водевиль въ 1 д., *П. фонъ Мендена*. . — 40
Этра. Послѣдняя сивилла Помпеи. Драма . . . . . — 30
Юдиѳь. Трагедія въ 5 дѣйст., соч. *Джіакометти* . . — 50
Ѳедра. Трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, соч. *Расина*. . . — 50
Фофочка. Водевиль въ 1 дѣйствіи, *К. Тарновскаю* . — 40
Система супружескаго счастія. . . . . — 40
Вдовушка. Водевиль . . . . . — 40

ЛИБРЕТТО ОПЕРЪ.

по 50 коп. за экземпляръ.

НА РУССКОМЪ И ИТАЛЬЯНСКОМЪ ЯЗЫКАХЪ.

СЪ МУЗЫКОЙ.

Балъ-Маскарадъ. Опера въ четырехъ дѣйств., музыка *Верди*.
Донъ-Жуанъ. Опера въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка *Моцарта*.
Лукреція Борджіа. Опера въ трехъ дѣйств., муз. *Доницетти*.
Отелло. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, музыка *Россини*.
Робертъ-дьяволъ. Опера въ пяти дѣйств., музыка *Мейербера*.
Севильскій цирюльникъ. Опера въ двухъ дѣйств., муз. *Россини*.
Трубадуръ. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, музыка *Верди*.
Фиделіо. Опера въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка *Бетховена*.
Эрнани. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, музыка *Верди*.

БЕЗЪ МУЗЫКИ.

Африканка. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, музыка *Мейербера.*
Беатриче ди Тенда. Опера въ двухъ дѣйств., муз. *Беллини.*
Бѣлая дама. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Буальдё.*
Геркуланумъ. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, муз. *Давида.*
Графъ Ори. Опера въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка *Россини.*
Динора (Le Pardon de Ploërmel). Опера муз. *Мейербера.*
Донъ Пасквале. Опера въ трехъ дѣйств., музыка *Доницетти.*
Донъ Себастіанъ. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, муз. *Доницетти.*
Зора. (Mose in Egitto). Опера въ четырехъ д., муз. *Россини.*
Капулетти и Монтекки. Опера въ четырехъ д., муз. *Беллини.*
Кристино и кума. Опера въ трехъ дѣйств., музыка *Ф. Риччи.*
Линда ди Шамуни. Опера въ трехъ дѣйств., муз. *Доницетти.*
Ломбардцы. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, музыка *Верди.*
Луиза Миллеръ. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Верди.*
Лючія. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Доницетти.*
Любовный напитокъ. Опера въ двухъ д., муз. *Доницетти*
Марія де Роганъ. Опера въ трехъ дѣйств., музыка *Доницетти.*
Марта. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, музыка *Флотова.*
Микель-Анджело и Рояла. Опера въ трехъ д., муз. *Ф. Риччи.*
Норма. Опера въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка *Беллини.*
Осада Гента. Опера въ четырехъ дѣйств., музыка *Мейербера.*
Поліевктъ. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Доницетти.*
Пуритане. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Беллини.*
Риголетто. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, музыка *Верди.*
Саффо. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Пачини.*
Сомнамбула. Опера въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка *Беллини.*
Сила судьбы. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, музыка *Верди.*
Сорока-воровка. Опера въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка *Россини.*
Страделла. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Флотова.*
Травіата. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Верди.*
Фаворитка. Опера въ четырехъ дѣйств., музыка *Доницетти.*
Фаустъ. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, музыка *Гуно.*
Фіорина. Опера въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка *Педротти.*
Чаттертонъ. Опера въ трехъ дѣйств., муз. *Е. Гамміери.*
Ченерентола. Опера въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка *Россини.*

НА ОДНОМЪ РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ.

Аскольдова могила. Опера въ четырехъ д., муз. *Верстовскаю.*
Вильгельмъ Телль. Опера въ четырехъ дѣйств., муз. *Россини.*
Влюбленная баядерка. Опера въ двухъ дѣйств. муз., *Обера.*
Волшебный стрѣлокъ. Опера въ трехъ д., музыка *Вебера.*
Гугеноты. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, музыка *Мейербера.*
Жизнь за Царя. Опера въ четырехъ д., муз. *М. И. Глинки.*
Жидовка. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, музыка *Галеви.*
Запорожецъ за Дунаемъ. Опера въ трехъ д., *С. Артемовскаго.*
Королева кипрская. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, муз. *Галеви.*
Кроатка. Опера въ четырехъ дѣйствіяхъ, музыка *Дютша.*
Молнія. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Галеви.*
Нанда. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Флотова.*
Наташа. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Вильбоа.*
Орфей. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *И. Глука.*
Рогнѣда. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, музыка *А. Н. Сѣрова.*
Русалка. Опера въ пяти д., музыка *А. С. Даргомыжскаго.*
Русланъ и Людмила. Опера въ пяти д., муз. *М. И. Глинки.*
Травіата. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Верди.*
Фенелла. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, музыка *Обера.*
Фра-Дьяволо. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Об*
Цампа. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Герольда.*
Цыганка. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ, музыка *Бальфе*
Юдиѳь. Опера въ пяти дѣйствіяхъ, музыка *А. Н. Сѣр*

ПРОГРАММЫ БАЛЕТОВЪ,

НА РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ.

Валахская невѣста или золотая коса. Балетъ въ одномъ
віи, соч. *Сен-Леона*, муз. *Граціани* и *Матіоци.* Цѣн
Газельда или Цыгане. Балетъ въ 2 д. и 4 картинах
Перро, музыка *Пуни.* Цѣна 25 коп.
Голубая георгина. Фантастическій балетъ въ 2 д., с
Петипа, музыка *Пуни.* Цѣна 25 к.
Дочь Фараона. Большой балетъ въ 3 д. и 9 картинахъ, съ
гомъ и эпилогомъ соч. *Сен-Жоржа*, музыка *Пуни.* Цѣна
Жизель или Виллисы. Фантастическій балетъ въ 2 д
Сен-Жоржа, Готье и Корали, муз. *А. Адана.* Цѣна
Конекъ-Горбунокъ или царь-дѣвица. Волшебный бал
4 д. и 9 картин. соч. *Сен-Леона.* муз. *Пуни.* Цѣна
Корсаръ. Балетъ въ 5 картинахъ, соч. *Сен-Жоржа* и *М*
танцы *Ж. Перро*, музыка *Адана* и *Пуни.* Цѣна 25
Ливанская красавица. Балетъ въ 3 д. и 7 картинахъ,
логомъ и апоѳеозомъ, соч. *Петипа*, муз. *Пуни.* Цѣна
Мельники или ночное свиданіе. Комическій балетъ
номъ дѣйствіи, музыка *Пуни.* Цѣна 15 коп.
Метеора. Фантастическій балетъ въ 2 дѣйств. и 4 карт
соч. *Сен-Леона*, музыка *Пуни.* Цѣна 25 коп.
Наяда и Рыбакъ. Фантастическій балетъ въ 3 д. и 5
нахъ, соч. *Перро*, музыка *Пуни.* Цѣна 25 коп.
Парижскій рынокъ. Балетъ въ одномъ дѣйствіи, соч.
типа, музыка *Пуни.* Цѣна 25 коп.
Пакеретта. Балетъ въ 3 д. и 7 картинахъ, соч. *Сен-*
музыка *Бенуа* и *Пуни.* Цѣна 30 коп.
Путешествующая танцовщица. Эпизодъ въ одномъ дѣ
сочиненіе *Петипа*, музыка *Пуни.* Цѣна 15 коп.
Робертъ и Бертрамъ или два вора. Балетъ въ 3 д. и
соч. *Оне*, музыка Гг. *Шмидта* и *Пуни.* Цѣна 25 к
Сатанилла. Большой балетъ въ 3 д. и 7-ми картинах
Сен-Жоржа и Мазилье, муз. *Пуни.* Цѣна 25 коп.
Севильская Жемчужина. Большой балетъ въ 3 д. и
тинахъ, соч. *Сен-Леона*, музыка *Пуни.* Цѣна 30 ко
Сирота Теолинда или духъ долины. Фантастическій ба
3 д., съ прологомъ, соч. *Сен-Леона*, муз. *Пуни.* Цѣна
Сильфида. Балетъ въ 2-хъ дѣйствіяхъ, соч. *Тальони*,
Швейцеферра. Цѣна 25 коп.
Тщетная предосторожность. Комическій балетъ въ
ствіяхъ, музыка *Пуни.* Цѣна 25 коп.
Фаустъ. Большой фантастическій балетъ въ 3 д. и
типахъ, соч. *Перо*, музыка *Пуни.* Цѣна 30 коп.
Фіаметта или торжество любви. Фантастическій ба
2 д. и 4 картинахъ съ прологомъ, соч. *Сен-*
музыка *Минкуса.* Цѣна 25 коп.
Флорида. Балетъ въ 3 д. и 5 картинахъ, соч. *Петип*
зыка *Пуни.* Цѣна 25 коп.

ПРІОБРѢТЕНЫ ВЪ СОБСТВЕННОСТЬ, ДЛЯ ИЗДАНІЯ,

нижеслѣдующія либретто оперъ, имѣющихъ быть постановленными на сценахъ императорскихъ теат

Нижегородцы. Опера *Направника*, текстъ П. И. Калашникова.
Капулетти и Монтекки. Опера *Беллини*, переводъ Калашникова.
Вражья сила. Опера *Сѣрова*, текстъ А. Островскаго.
Галька. Опера *Монюшко*, переводъ Н. И. Куликова.
Донъ Карлосъ. Опера *Верди*, переводъ А. Н. Николаева.
Дочь полка. Опера *Доницетти*, переводъ П. И. Калаш
Анна Болена. Опера *Доницетти*, переводъ Ал. Гр
Оберонъ. Опера *Вебера*, переводъ Калашникова.
Пророкъ. Опера *Мейербера*, переводъ Калашникова.

Требованія Гг. иногородныхъ въ магазинѣ Ѳ. Стелловскаго исполняются съ первою почтою

STANFORD UNIVERSITY
05 00015 3341

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE